АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

САДРИДДИН АЙНИ

ЁДДОШТҲО

САДРИДДИН АЙНИ

ВОСПОМИНАНИЯ

ПЕРЕВОД С ТАДЖИКСКОГО
АННЫ РОЗЕНФЕЛЬД

*

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
А. РОЗЕНФЕЛЬД, А. А. СЕМЕНОВ,
Н. А. КИСЛЯКОВ, А. Н. БОЛДЫРЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1960

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»:

Академики *В. П. ВОЛГИН* (председатель), *В. В. ВИНОГРАДОВ*, *Н. И. КОНРАД* (зам. председателя), *И. А. ОРБЕЛИ*, *С. Д. СКАЗКИН*, *М. Н. ТИХОМИРОВ*, члены-корреспонденты АН СССР *Д. Д. БЛАГОЙ*, *В. М. ЖИРМУНСКИЙ*, *Д. С. ЛИХАЧЕВ*, профессора *И. И. АНИСИМОВ*, *А. А. ЕЛИСТРАТОВА*, *Ю. Г. ОКСМАН*, *С. Л. УТЧЕНКО*, кандидат исторических наук *Д. В. ОЗНОБИШИН* (учёный секретарь)

Ответственный редактор

А. А. СЕМЕНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

В многонациональной советской литературе «Воспоминания» крупнейшего таджикского писателя Садриддина Саидмурадовича Айни (1878—1954) занимают почетное место. «Воспоминания» («Ёддошт-ҳо») являются наиболее значительным произведением современной таджикской литературы, охватывающим период истории общественной и литературной жизни Бухары с конца 80-х годов XIX в. до первых лет XX в. (1904 г.). Из-за смерти С. Айни «Воспоминания» остались незавершенными, хотя автор предполагал довести свои мемуары до наших дней. Тем не менее по охвату материала, по художественной ценности опубликованные четыре части являются вполне законченным литературным произведением.

Две первые части «Воспоминаний», удостоенные Сталинской премии, были изданы на таджикском языке в 1949 г., третья часть — в 1950 г. и четвертая — в 1954 и 1955 гг.

Данный перевод «Воспоминаний» С. Айни осуществлен А. З. Розенфельд с таджикского языка.[1] А. З. Розенфельд принадлежит и статья «Садриддин Айни и его „Воспоминания“», помещенная в приложении к книге. Ответственный редактор издания и редактор перевода — известный советский востоковед, покойный академик Академии наук Таджикской ССР, профессор Александр Александрович Семенов (ум. в 1958 г.). Его же перу принадлежит статья «Из прошлого Бухары», помещенная в приложении.

---

[1] По изданию: Садриддин Айни. Ёддошт-ҳо. Тадж. гос. изд., Сталинабад, кн. I, чч. 1 и 2 — 1954, чч. 3 и 4 — 1955.

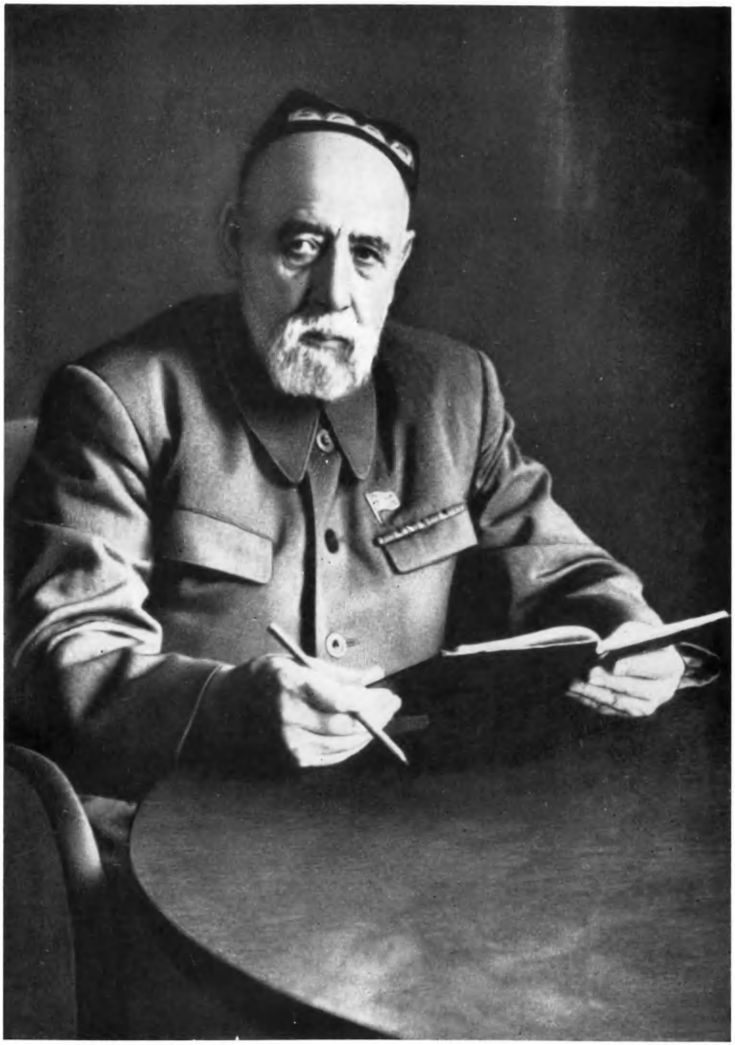
Проф. А. А. Семенов жил и работал в Средней Азии с конца XIX в. до самой смерти и непосредственно наблюдал порядки, быт и нравы дореволюционной Бухары.

Литературный комментарий составлен доктором филологических наук проф. А. Н. Болдыревым, исторический комментарий дан доктором исторических наук Н. А. Кисляковым. Стихи в первой и четвертой частях поэтически обработаны Я. А. Часовой, во второй и третьей — В. Г. Эрманом.

«Воспоминания» С. Айни на русском языке и на языках других народов СССР, а также за рубежом издавались неоднократно под различными названиями («Бухара», «Деревня», «Школа» и др.), однако эти переводы были неполными. Полный перевод «Воспоминаний» на русском языке публикуется впервые.

Этот дом я из старых возвел кирпичей,
Пир устроил я в нем в честь ушедших друзей,
Чтобы все современники наши узнали,
Как провел я дни юности ранней моей.

ВОСПОМИНАНИЯ



Садриддин Сайидмурадовчч Айни.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

С тех пор, как я, взяв в руки перо, вступил в ряды советских писателей, меня не оставляла мысль записать свои воспоминания и преподнести их читателям, в особенности детям и молодежи. Для большинства моих исторических романов, повестей, очерков и рассказов основным материалом всегда служили мои личные наблюдения и воспоминания. Думаю, что и в них самих может оказаться немало полезного тем, кто сейчас вступает в жизнь. Как мне представляется, писать мемуары гораздо труднее, чем роман или рассказ, и я откладывал это дело до тех пор, пока мой жизненный опыт не станет более богатым. Ведь если мы не будем точно и реально представлять себе наше прошлое, мы не сможем по достоинству оценить нашу современную жизнь — нашу советскую социалистическую действительность. Пока человек не приобретет опыт в советском и социалистическом строительстве, в частности пока писатель не овладеет литературным мастерством и не усвоит полностью уклад нашей современной жизни, он не сможет изобразить точно и реально прошлую — феодальную жизнь.

Хорошо известно, что запас наблюдений человека в любой области достигает полноты только к концу жизненного пути, известно также, что никто не знает, когда же наступит этот конец. Однако мне уже перевалило за семьдесят, день ото дня мое тело слабеет, работоспособность уменьшается, и я вижу, что настало время довести до конца задуманное дело, которое представляется мне немаловажным. Я хочу полнее использовать оставшиеся еще у меня дни и приступаю к исполнению моего старого замысла.

Я придам моим воспоминаниям примерно такой порядок: I — «В деревне»; II — «В городе». Второй раздел охватит жизнь старых медресе, их учебные программы, позволит обрисовать быт и занятия различных слоев населения старой Бухары. Я намерен осветить в книге движение против эмирского строя и то, что было со мной в те далекие дни. Под конец мне хочется поделиться с читателями воспоминаниями о переезде в Самарканд и событиях, происходивших между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года и в Октябрьские дни.

Часть первая

В ДЕРЕВНЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Мои детские годы проходили в сельской местности, точнее — в двух деревнях, и обе эти деревни очень отличались одна от другой по благоустройству, развитию, нравам и обычаям. Прежде чем приступить к своим воспоминаниям, я хочу дать некоторые географические сведения об этих селениях, чтобы облегчить читателям понимание моих мемуаров.

Соктари. Эта деревня относится к Гидждуванскому району и расположена в одном фарсахе (в восьми километрах) на восток от центра района на берегу реки Зеравшан. Так как эта деревня находится вблизи реки Зеравшан и через нее проходит большой канал под названием Мазрангон, она богата водой и благоустроена, большая часть дворов имеет палисадники, хорошие сады и много фруктовых деревьев. Земли этой деревни всегда славились своим плодородием, на них произрастали всевозможные злаки, там сеяли и сажали все — начиная от риса до различных плодов и овощей, требующих много воды.

Население деревни было пестрым. Здесь жили таджики, арабы, ургенчцы и ходжи. Последние, в свою очередь, делились на четыре

рода: мираконцев, сайид-ато, гидждуванцев и соктаринцев. Коренным, исконным населением деревни считались таджики и соктаринские ходжи. Ургенчцы были выходцами из Ургенча, мираконцы из Мешхеда, гидждуванцы — из крепости Гидждуван, ходжи рода сайид-ато — из деревни Сайид-Ато Шофуркомского тюменя, арабы же считались потомками *арабских поселенцев.*

Главным занятием населения было сельское хозяйство, однако большая часть крестьян была безземельной или малоземельной. Обширные массивы частновладельческой земли принадлежали двум семействам из рода мираконцев, которых называли козибача и мутевалли. Малоземельные и безземельные крестьяне являлись издольщиками-чайрикорами, батраками или занимались каким-либо другим делом. Таджики обычно обрабатывали казенные земли, а ургенчцы вели мелкую бакалейную торговлю.

Ходжи, в особенности ходжи-мираконцы и гидждуванцы, добывали себе пропитание чтением и писанием целительных молитв. Со всех окрестностей люди приводили к ним больных и сумасшедших или приглашали их самих к тяжело больным. Ходжи читали над больными молитвы и таким путем старались добиться «исцеления»...

Пожилые ходжи каждое утро после первого намаза хором читали нараспев молитву, называвшуюся «авроди фатхия». Возле них по утрам собирались больные из окрестных деревень в надежде, что, услышав молитву, они исцелятся.

В деревне при мечети была школа, которая действовала летом и зимой, а также небольшое медресе, где учащимся давались начальные знания из более обширной программы медресе. Поэтому нигде во всей округе не было столько грамотных и образованных людей, как в Соктари.

Все духовные учреждения этой деревни находились в руках мутевалли, которые принадлежали к богатым землевладельцам из числа мираконских ходжей. Гражданские учреждения были всецело в руках богатых таджиков. Из их среды «избирались» (точнее, назначались) представители местной администрации, своего рода старосты.

Мой отец и дед происходили из соктаринских ходжей.

Махаллаи-Боло. Деревня находилась в одном фарсахе на северо-запад от крепости Гиджduван и вместе с несколькими другими селениями относилась к Шофуркомскому тюменю. Эти селения, известные под общим названием Дехнави Абдулло-джон, были расположены у самой границы подвижных песков, простиравшихся до пустыни Кизылкум. Жители их всегда испытывали недостаток в воде. Особенно остро это чувствовалось в деревне Махаллаи-Боло, находившейся в нижнем течении канала. Она почти совсем обезводела после того, как песок засыпал старый шофуркомский канал, который протекал в северной части селения. Новый канал на юге был прорыт в более низком месте, чем стояла деревня, и вода до нее не доходила. Поэтому в Махаллаи-Боло совсем не было фруктовых деревьев и садов, лишь кое-где на межах зеленели яблони-дички, называвшиеся «ходжи-хони». Здесь росло много винограда, хорошо созревавшего в песках. Лучшие земли этой деревни являлись эмирским владением — амляком. Значительная часть земли хотя и считалась амлячной, была отдана в вакф бухарскому медресе Мир-Араб, и десятина с урожая поступала в его пользу.

Из-за безводья здесь сеяли только пшеницу, ячмень, просо и мелкие бобы — мош; овощей совсем не сажали. Для повседневных нужд выводили местный сорт хлопка, но из-за отсутствия воды он часто не вызревал, и на каждом кусте появлялись лишь одна-две нераскрывшиеся коробочки.

Деревня была крайне бедной, почти все жители ютились в убогих глинобитных домах. В Махаллаи-Боло хорошо жили лишь один или два богатея и два-три середняка, все остальные если и добывали себе пропитание на один день, то на другой уже оставались голодными. Основным занятием жителей считалось земледелие, однако никто из них не мог на это существовать; более того, земледелие приносило даже убытки, которые приходилось покрывать доходами от других занятий.

Крупные баи вели торговлю и получали также доходы со своих обширных земельных владений. Налогов в казну они не платили или же платили очень мало, будучи в близких отношениях с правителями и чиновниками. Всю тяжесть податей и налогов переклады-

вали на шею неимущих крестьян, что еще больше способствовало их обнищанию. Все это я уже описывал в своем романе «Рабы».

В Махаллаи-Боло настоящих ремесленников почти не было, здесь жили только починщики одежды и обуви, которые обслуживали таких же, как и они, голодранцев. Только в центре, в деревне Дехнави Абдулло-джон, были «заготовщики» — люди, которые к старым голенищам сапог пришивали союзки и подошвы, но плоды их труда пожинали монополисты-скупщики. Об этом я тоже рассказывал в романе «Рабы».

Некоторые жители деревни Махаллаи-Боло были пастухами, собирали на продажу хворост или же работали у баев батраками; зимой все население занималось очисткой хлопка от семян. Получив от местных скупщиков хлопок, крестьяне разбирали его руками, трепали и, получив чистый сырец, вместе с хлопковыми семенами сдавали хозяину, довольствуясь ничтожной платой. Считалось, что остающиеся крестьянам хлопковые коробочки, употреблявшиеся на топливо, служат вознаграждением за их труд.

Мой дед со стороны матери и ее братья происходили из Махаллаи-Боло.

Расстояние между этой деревней и Соктари составляло шестнадцать километров, до Бухары от них было по сорок километров, разница заключалась лишь в том, что Соктари находилась на северо-восток от города, а Махаллаи-Боло — на север.

* *
*

Как рассказывал мой отец — Сайид-Му́рад-ходжа, его отец — Сайид-Умар-ходжа был грамотным человеком, хорошо знал ткацкое и плотницкое ремесла и особенно славился как хороший плотник.

Однажды в деревне Махаллаи-Боло обрушилась мечеть, жители деревни стали разыскивать плотника и по чьему-то совету пригласили моего дедушку Сайид-Умар-ходжу. Дедушка очень красиво от-

делал мечеть и на одном из столбов вырезал надпись: «работа Сайид-Умар-ходжи соктаринского».

Жители деревни, в которой не было ни одного грамотного человека и даже отсутствовала школа при мечети, немало дивились, увидев грамотного плотника; они стали просить деда от имени общины быть имамом той мечети, которую он сам отремонтировал, дабы по «благодати» его и в их деревне появились грамотные люди. Их прежний имам был безграмотным и знал лишь на память несколько сур из Корана и молитвы, читаемые во время намаза. Кроме того, говорили они дедушке, он сможет заниматься своим плотницким ремеслом, потому что в округе имелась нужда в плотниках.

Моему делу понравилось их предложение. Несмотря на то, что его считали хорошим мастером, в Соктари он не мог достаточно обеспечить себя своим ремеслом, потому что в этой деревне были и другие плотники, даже из числа его родственников. Здесь же, кроме плотников, изготовлявших прялки, и мастеров, делающих смычки для трепания хлопка, не было других ремесленников. Кроме того, вблизи этой деревни, в селениях Болои-Руд, Сарвари, Табариён находилось несколько мельниц, но не имелось мастеров, вытачивающих мельничные колеса. Дед и это умел хорошо делать, что сулило ему, по его предположениям, дополнительный заработок. Сверх того имамство тоже должно было приносить доход.

Рассудив так, дед принял сделанное ему предложение. Вначале ему выделили под жилье мехмон-хону некоего Хамрох-хона, двор которого находился по соседству с мечетью.

Дедушка много лет прожил все в той же мехмон-хоне; по вечерам, освободившись от плотничанья, он учил грамоте Дехкона — старшего сына хозяина дома.

В то время старший сын деда — мой отец — учился в Бухаре; младший его сын, рано овдовевшие сестры, племянники и жена жили в Соктари. В конце концов, одиночество и затянувшаяся отлучка из дому надоели деду. Он купил землю в западной части деревни Махаллаи-Боло и построил себе там дом с садиком; в этом садике он посадил несколько абрикосовых деревьев, требующих мало воды, и, завершив постройку, перевез из Соктари всю свою семью.

Однако спустя два-три года дед увидел, что его усадьба в Соктари стала разрушаться, садик заброшен и земля, которая у него там была, оставшись без посева, приходит в запустение.

Сам он тоже состарился и не мог уже работать по-прежнему; тогда он решил женить отца, прервав его учение.

Лишь только дед рассказал соседям о своем намерении женить сына, ему сразу же нашли невесту. Отцу посватали одну из дочерей Хамрох-хона; она была третьим ребенком в семье, и звали ее Зеварой. Хамрох-хон принадлежал к числу крестьян среднего достатка, его считали простым человеком, поэтому на свадьбу затратили немного средств, а в *обеспечение невесты на случай развода* определили садик, который принадлежал моему деду в Соктари.

Когда отец рассказывал о годах молодости, он говорил:

— У меня было большое стремление к знанию, поэтому я не хотел обзаводиться семьей и бросать учение. Но я видел, что отец и мать состарились и без моей помощи им будет трудно жить, поневоле мне пришлось согласиться. Летом я жил с твоей матерью в Соктари, работал на огороде и в поле, собирал фрукты в саду, а зимой отправлялся к отцу в Махаллаи-Боло, где занимался тесанием мельничных колес и ткачеством. Однако я никак не мог заглушить своего интереса к знанию и, как говорится в поговорке — «мы не достигли, может быть ты достигнешь», — обучал грамоте твоего дядю Мулло-Дехкона и несколько деревенских мальчиков. Когда они оказались достаточно подготовленными, я отвез их в Бухару и определил в медресе. Твой дядя продолжал учиться, но другие, проучившись в медресе два-три года, уходили из города, и каждый из них, став имамом в какой-нибудь деревне, занимался обманом людей. Все труды мои пропали даром.

Однажды к нам домой пришли навестить отца его ученики Мулло-Бобо-джон, Мулло-Хамрох, Мулло-Абдулвохид и Мулло-Собит. Мулло-Бобо-джон был имамом в деревне Рубахо, находившейся к югу от Махаллаи-Боло. Отец, обратившись к нему и показывая на других, сказал:

— Все они дети состоятельных родителей и не смогли вынести трудностей жизни в медресе. Но ты ведь сын бедняка, твое детство

было тяжелым, и у тебя были неплохие способности. Я надеялся, что ты преодолеешь трудности жизни в медресе и выйдешь оттуда львом. Как жаль, что *ты стал лишь «старшим над лисицами».*

Мулло-Бобо-джон рассмеялся, а затем, показав на своих приятелей, спросил:

— Ну, а кем они стали?

Посмотрев на них полусердито и полунасмешливо, отец ответил:

— Они были волчатами, а стали волками, ведь говорят же, что из волчонка в конце концов вырастает волк.

Намерение отца было ясным. Он не собирался осуждать Мулло-Бобо-джона, потому что тот из-за бедности не мог больше оставаться в медресе. Отец хотел проучить других — тех, кто, несмотря на имевшиеся у них возможности, бросили занятия и стали по деревням имамами. (Один из них, Мулло-Собит, был сыном Абдурахим-бая, и ему посвящена часть романа «Рабы»).

Прошло немного времени, и нашу семью посетило горе. Умерла бабушка, спустя два года скончался и дед. Однако мой отец и после их смерти по-прежнему жил в двух местах: летом крестьянствовал в Соктари, а зимой занимался тесанием мельничных колес и ткачеством в Махаллаи-Боло. Ткал отец лишь для того, чтобы снабдить семью одеждой и постелью, а мельничные колеса делал на продажу.

Я родился в деревне Соктари Гиждуванского тюменя, а мои детские годы до школы проходили летом в Соктари, зимой — в Махаллаи-Боло.

ТУЙ

Довольно обширный двор, огражденный с трех сторон стеной в четыре пахсы; с юга стена отсутствовала и двор примыкал к садику, отделенному в свою очередь стеной в две пахсы от посевных земель. Восточная часть двора примыкала ко двору соседа, западная — к полям, а северная — к большой деревенской улице. Ворота выходили на улицу.

Возле крытого прохода у ворот находился глинобитный хлев с навесом для скота. Напротив хлева и навеса была построена

мехмон-хона из сырцового кирпича с суфой перед ней. В передней части комнаты стоял ткацкий стан; с юга к ней примыкала небольшая терраса. Здесь отец разместил свой станок для обтесывания мельничных колес. Абрикосовые деревья в садике возле террасы создавали летом прохладу. К северу от мехмон-хоны над невысокой глиняной суфой раскинул густые ветви старый балхский тут; с него собирали ягоды и пользовались его тенью в знойные дни.

Между суфой и навесом находилась помойная яма, в нее сваливали навоз и мусор со двора.

Все это называлось «внешним двором». По крытому проходу можно было попасть во внутренний двор. Здесь за хлевом и навесом были построены два деревянных дома, один против другого, с дверями на южную и северную сторону. Южные двери южного дома выходили в садик, а северные двери северного дома открывались в сторону высокой стены, отделявшей двор от улицы. Между домами был расположен внутренний двор, и остальные двери выходили в него. Два больших абрикосовых дерева покрывали двор своей тенью.

С восточной стороны двор замыкали две террасы; одна из них с очагами для приготовления пищи и печения лепешек относилась к южному дому, а другая — к северному. На террасе северного дома у очага стоял еще один станок для вытесывания мельничных колес.

Южный дом был без сеней, и место для снимания обуви находилось у порога комнаты; северный же дом хотя и имел сени, однако они служили не только для входа и снимания обуви, но и для работы на устроенном там ткацком стане.

Западную часть двора, за хлевом и навесом, занимала длинная суфа, где проводили летние вечера обитатели обоих домов.

* *
*

В тот день, к которому относятся мои первые воспоминания об этом дворе, в южном доме и на суфе было полно гостей-мужчин, а северный дом наполнен пришедшими в гости женщинами. Посреди двора между двумя домами был поставлен большой медный котел,

Дом в деревне Соктари, где родился С. Айни.
Рис. Т. Полетика

повар доставал из него плов и раскладывал на глиняные тарелки; юноши относили плов к гостям-мужчинам, а пустые тарелки возвращали повару. В доме, где находились женщины, угощением ведала старуха, которую некоторые называли «услужающая», а другие «распорядительница»; ей помогали еще несколько старух, *у которых на головы были накинуты детские халатики.*

Отец, дядя — его брат, дедушка со стороны матери, ее братья и другие родственники встречали и провожали гостей-мужчин со словами «добро пожаловать!»; женщин принимала мать вместе с бабушкой и невестками.

В углу на суфе сидели музыканты — барабанщик, сурнайчи, трубач и двое с бубнами. Играющие на бубне иногда вместе, иногда порознь распевали газели. Напротив музыкантов у суфы высокий парень, повязанный платком вместо пояса, держал в руках по паре камешков, ударял ими один о другой, пел и танцевал в такт барабану и бубну.

Мы, ребятишки, не отходили от музыкантов, следили за каждым их движением и слушали музыку. Я чувствовал себя счастливей других детей: на мне была красивая одежда, какой еще не приходилось носить ранее, — рубашка и штаны из белой гладкой материи и новый халат с крупными цветами, а на голове узорная тюбетейка, которую вышивала мать.

Моя одежда, в особенности белые чистые штаны и рубашка, не только радовали меня, но и привлекали внимание других мальчиков. Один из них, постарше меня, потерев в пальцах подол моей рубашки, подозвал другого мальчика и спросил, показывая на мою рубашку:

— Из какой она материи?

Тот, неодобрительно взглянув на мой наряд, ответил:

— Бязь! Это бязевая рубашка! Мой отец к моему тую сшил мне шелковую рубашку. — Потом добавил:

— Эргаш,[1] отец которого был рабом у моего отца, сегодня тоже щеголяет в бязевой рубашке и штанах.

---

[1] Эргаш был молочным братом моего старшего брата; отец сшил ему такую же, как и мне, новую одежду к нашему общему тую. Он выведен положительным героем в романе «Рабы». (*Примеч. автора*).

Тогда я не знал еще разницы между бязью и шелком и понимал лишь, что моя рубашка гораздо белее и глаже обычной нашей одежды из хлопчатобумажной материи, которую ткал сам отец. Насмешки нисколько не уменьшили моей радости и лишь усилили неприязнь к этому высокомерному мальчишке,[2] который нередко во время игры колотил меня.

Когда музыканты сложили свои инструменты и собрались уходить, я увидел, что гостей уже не осталось. Во дворе находились лишь наши родственники.

Отец уплатил музыкантам и проводил их до ворот. Я стал просить, чтобы он не отпускал музыкантов, потому что они мне очень понравились.

— Мы сейчас пойдем на такой же праздник в другой дом, а потом снова к вам, — утешил меня один из музыкантов.

Они сели на своих ослов и двинулись в путь.

— Если так, то я тоже пойду с вами в тот дом на праздник, — сказал я и бросился за музыкантами. Но отец подскочил ко мне и схватил за руки. Я рвался, плакал, кричал: «Я пойду, я пойду!». Другие ребята, надеявшиеся попасть еще на один туй, побежали впереди барабанщика и все время знаками показывали, чтобы я спешил за ними.

В это время ко мне подошел дедушка:

— Тебе туда незачем ходить, — сказал он, — мы сами здесь сделаем барабан и сурнай: ты будешь бить в барабан, а я — играть на сурнае.

Такое предложение мне понравилось, я перестал плакать и успокоился; я подумал: зачем слушать, как другие бьют в барабан, гораздо приятнее и интереснее делать это самому. Но я не поверил, что дед найдет мне барабан, и ответил ему с сомнением:

— Вы говорите неправду и обманываете меня, где вы найдете барабан?

Он собрал в руку большую белую бороду, покрывавшую его грудь, и, посмотрев на нее, сказал:

---

[2] Этот высокомерный мальчик был сыном Абдурахим-бая — рабовладельца и торговца хлопком, который в романе «Рабы» играет резко отрицательную роль. (*Примеч. автора*).

— Неужели я с этой седой бородой обману такого ребенка, как ты?

Дед пошел в дом к женщинам, взял там небольшой бронзовый поднос, захватил на кухне камышинку, которой мать раздувала огонь, потом сломал на абрикосовом дереве два прутика и все это принес на суфу. Перевернув подносик, он посадил меня возле него, дал мне в руки два прутика и, сев рядом со мной, приложил к губам камышинку. Я стал бить прутиками по подносу, который издавал протяжный звон, дедушка свистел, словно играл на сурнае...

Нашу «музыку» неожиданно нарушил отец. Он растерянно бегал по двору, разыскивая моего старшего брата и Эргаша. Их отсутствие зародило в моем сердце сомнение и зависть: я подумал, что они бросили меня, а сами ушли с музыкантами.

Однако кто-то сообразил, что они, наверное, «спрятались»... Их обнаружили на абрикосовом дереве в садике. Эта весть угасила мои «подозрения», и я побежал вместе с другими в садик, чтобы посмотреть на «спрятавшихся».

Отец укорял брата:

— Мухиддин, ведь ты взрослый парень, учишься в школе, тебе должно быть стыдно трусить. Посмотри на своего брата. Он на восемь лет младше тебя, а как он весело бьет в барабан, слезай сейчас же!

— Он еще глупый и не понимает, — со слезами отвечал брат, — я не пойду!

Наш дядя со стороны матери — Курбон-Ниёз, молодой сильный парень, тотчас забрался на дерево, стащил с веток сперва моего старшего брата, потом Эргаша и спустил их вниз. Их сразу же подхватили на руки и, не давая убежать, отвели в южный дом.

С чувством гордости, которую вызвала в моем сердце похвала отца, я вернулся к суфе, к своему «барабану», принесшему мне столько славы. Дедушка все еще сидел там.

— Иди же, — сказал он, — сурнай без барабана не может играть.

Я взял палочки в руки и снова начал бить по бронзовому подносу. Отец не пошел вместе с другими в дом, а уселся с нами рядом на суфе. «Он тоже слушает, как я играю», — подумал я. Это еще

больше укрепило мое самомнение, и я еще громче стал стучать палочками...

Вскоре во дворе снова появился дядя Курбон-Ниёз, приблизился к нам и стал приглашать меня в дом бить в барабан.

— В доме нет суфы! — ответил я.

— Не беда, — возразил дядя. — Мы сделаем из одеял очень хорошую суфу.

Я вопросительно посмотрел на «своего товарища» — деда.

— Ладно, пойдем, — сказал дедушка, — братья услышат твою искусную игру и придут в восхищение.

Это соображение мне очень понравилось. Я схватил свои палочки и поднос и побежал к дому, чтобы скорее поразить своих старших братьев; дедушка и дядя пошли за мной. Отец по-прежнему остался на суфе.

На полу в комнате были разложены три постели, на двух из них ничком лежали мой старший брат и Эргаш; третья постель и была, очевидно, моей «суфой для игры на барабане». Когда я подошел к постели, мои глаза встретились с глазами брата; он уже не плакал, но почему-то смущенно смотрел на меня, слегка обнажив зубы, словно при улыбке. Я ничего не понял, что здесь происходило, и, чтобы выразить свое недоумение, выпятил вперед нижнюю губу. Впрочем, все мои мысли и чувства были устремлены на другое — на прославивший меня барабан; я думал лишь о том, что своей игрой должен буду поразить братьев.

Я залез на свою «суфу». Дед тоже забрался на постель.

— На одеялах барабан будет плохо звучать, — сказал он, — ты лучше возьми палочки в руки и ложись на спину, я буду держать перед тобой поднос, а ты бей в него. У нас с тобой пойдет такой звон, какого не издают даже бубенцы на верблюдах Абдурахим-бая!

Я снова забарабанил, но в это мгновение кто-то раздвинул мне ноги и прижал их сильными руками. Я хотел вскочить, но дедушка, не отпуская подноса из рук, навалился мне на грудь и не давал шевельнуться. Все мое тело вдруг обожгла сильная боль, так что у меня дух захватило. Переведя дыхание, я вцепился своими тонкими слабыми пальцами, ставшими от гнева острыми, как петушиные когти,

деду в лицо, схватил его за бороду и рванул изо всех сил на себя. Плачущим, душераздирающим голосом я закричал:

— Вы меня обманули, забыли про свою седую бороду!

В комнате все захохотали. По правде говоря, хоть я от боли и не мог сдержать слез, но про себя тоже смеялся. Пострадавший от моих рук дедушка, при всей своей почтенности и старости, стонал и кричал, как ребенок, и в глазах его блестели слезы.

Таковы были события на туе по случаю нашего обрезания. Это первые воспоминания, сохранившиеся в моей памяти. Я был тогда еще очень мал, но все происшествия этого дня отчетливо запечатлелись в моей памяти, должно быть, по той причине, что они были очень горестны, что мне очень понравилась музыка и, вероятно, еще также из-за сладости мщения.

Описанная мною усадьба была той самой, которую построил дедушка в селении Махаллаи-Боло для временного пребывания там своего многочисленного семейства. Ткацкий стан и станок для вытачивания мельничных колес, находившиеся во внутреннем дворе, принадлежали отцу.

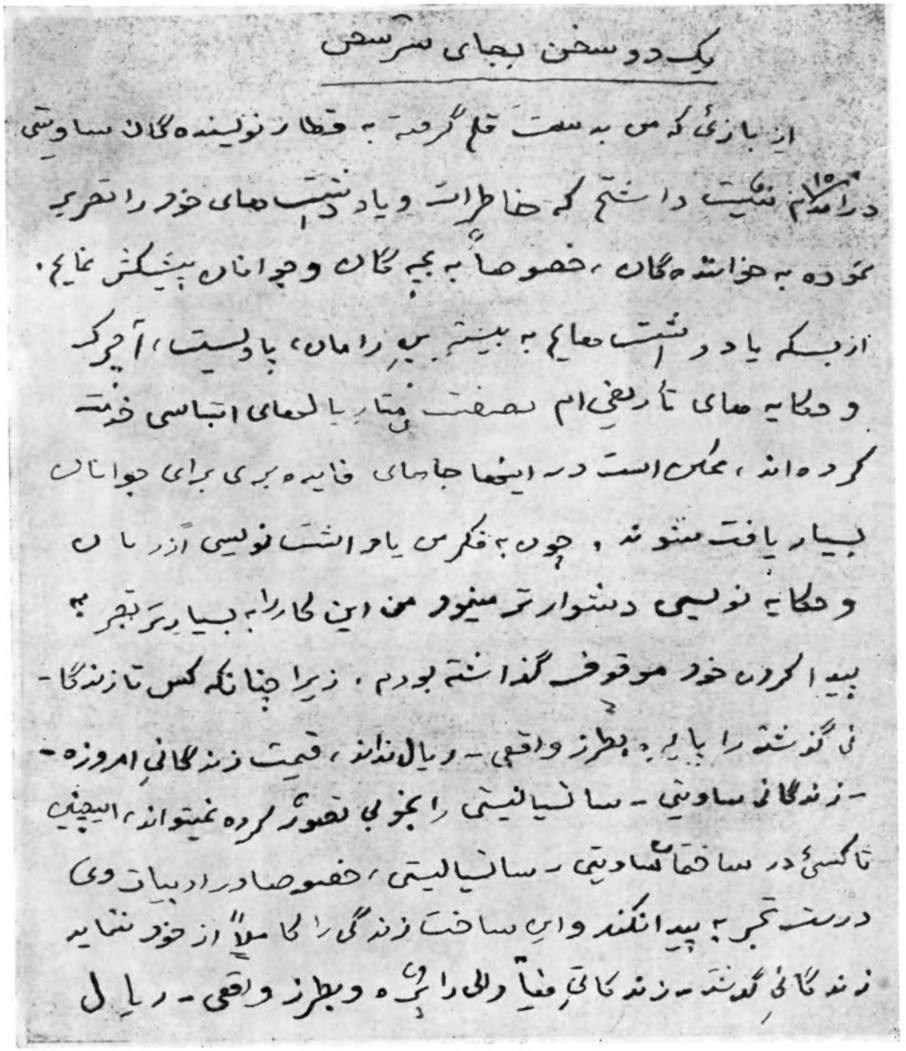
Южный дом был нашей собственностью, а северный — брата отца. Ткацкий стан в сенях северного дома и станок для вытачивания мельничных колес, расположенный на террасе кухни, составляли мастерскую моего дяди.

ПОСЛЕ ТУЯ

Мне кажется, что положение нашей семьи вскоре очень ухудшилось. Хотя я непосредственно этого и не ощущал, но по невеселым разговорам, которые обычно вели родители перед сном, я понял, что произошло что-то неприятное.

Однажды вечером отец сказал матери, что из-за туя он очень задолжал.

— Как хорошо, — добавил он, — что я брал в долг не у какого-нибудь ростовщика и не заложил сыновьям казия сокгаринскую землю, а то пришлось бы нам лишиться земли и усадьбы в Сокгари и остаться на всю жизнь чужаками в этой нищей деревне.



یک دو سخن بجای سرسخن

از بازی که من به دست قلم گرفته ام قطار نویسنده گان ساوتی
در اسلام شکایت داشتم که خاطرات و یادداشت های خود را تحریر
نموده به خواننده گان، خصوصاً به بچه گان و جوانان پیشکش نمایم،
از بسکه یادداشت هایم به بیشتر بیرامان، پاولستیا، آچرکه
و حکایه های تاریخی ام بصفت منابع یا لغای اتباسی خدمت
کرده اند، ممکن است در اینها جاهای فایده بری برای جوانان
بسیار یافت شوند، چون به فکر من یادداشت نویسی از رمان
و حکایه نویسی دشوارتر مینمود من این کار را به بسیار تجربه
پیدا کردن خود موقوف گذاشته بودم، زیرا چنانکه کس تا زندگانی
نی گذشته را با یک طرز واقعی - ربال ندانند، قیمت زندگانی امروزه -
- زندگانی ساوتی - سانیالیتی را بخوبی تصور کرده نمیتواند، اینچنین
تا کسی در ساختمان ساوتی - سانیالیتی، خصوصاً در ادبیات وی
درست تجربه پیدا نکند و این ساختن زندگی را کاملاً از خود نمایه
زندگانی گذشته - زندگانی فنا والی را پیدا کرده و بطرز واقعی - ربال

Автограф первой страницы рукописи «Воспоминаний».

— Неужели вы получили взаймы без процентов? — удивленно спросила мать.

— Разумеется, без процентов, — ответил отец, — я занимал понемногу, по двадцать-тридцать тенег. Больше всего я взял у твоего отца — пятьдесят тенег, все, что он отложил себе на саван и на похороны. Он сказал мне: «Если отдашь до моей смерти, то и ладно, только смотри, чтобы не узнал Али-хон».[1] Ты лучше не говори никому.

— Неужели все одалживали вам без процентов? — с недоумением переспросила мать.

— Конечно, я ведь брал не у ростовщиков, а у своих соктаринских родственников и близких знакомых. Они даже говорили: «Не считайте взятую у нас мелочь долгом, пусть она будет нашим праздничным подарком». Я им отвечал: «У меня сейчас трудное время, а вы даете в долг без процентов, это уже хороший подарок, все знают, что вы не состоятельней меня».

— Если бы туй устроили в Соктари, то расходов было бы меньше, — с горечью проговорила мать. — А наша деревня голодная, если вы наварите сто котлов плова, то гости и тогда не насытятся.

— Ты не права, — возразил отец. — Расходы на туй зависят не от аппетита приглашенных, а от их богатства и важности или бедности. Бедняку что ни дашь, он всему обрадуется и все съест, а если ничего не дать, то, как бы он ни был голоден, не попросит. А вот перед богатым, как бы он ни был сыт, вместо одной тарелки надо ставить целых три, а иначе он рассердится и скажет: «Меня не уважают». По-моему, расходы на угощенье в Соктари были бы втрое больше, а тамошние заправилы — мираконцы все равно остались бы недовольными. Ведь они привыкли к большому почету на туях, перед ними ставят больше еды, а в заключение одаривают халатом или по крайней мере преподносят сахарную голову. Конечно, мы не могли бы этого выполнить.

Немного успокоившись, отец продолжал:

---

[1] Али-хон был пятым сыном моего деда по матери. (*Примеч. автора*).

— С тех пор как я обзавелся семьей и стал самостоятельно вести хозяйство в Соктари, я угощался на туях только у одних родственников. Зимой я там не бываю, а туи обычно устраиваются зимой. А здесь, в домах этих бедняков, которых ты назвала «голодающими», меня по разу или по два приглашали на праздники. Мне тоже нужно было устроить для них угощение, а что касается соктаринских родственников и знакомых, то они могли сами прийти сюда, как и прежде приходили.

— Уже год прошел после туя, — сказала мать. — Сколько вы выплатили долгов за это время?

— Не так уж много. Я отдал долг твоему отцу, да еще двум или трем знакомым, кто особенно нуждался.

— Вы могли бы и не спешить с долгом отцу, ведь он сам говорил: «Если отдадите до моей смерти, то и ладно», так зачем же ему надо было выплачивать раньше, чем другим?

— Кому известно, кто раньше умрет — он или я, — ответил отец. — Кроме того, старые люди всегда больше ценят деньги, чем молодые. Может быть, с тех пор, как я занял у него, он каждую ночь думал о долге, и я счел необходимым успокоить старика.

Подумав немного, отец продолжал:

— Я не для того затеял разговор, чтобы подсчитывать долги или расстраивать тебя. Мне хотелось предупредить, чтобы ты не огорчалась, если иногда нам будет не хватать денег и мы не сможем купить на базаре мяса или купим его мало. Пока мы не разделаемся с долгами, придется довольствоваться постной похлебкой и свежим или кислым молоком. Можно будет иногда прикупить рис, чтобы в базарные дни или на случай гостей сварить молочную рисовую кашу.

— Рис покупать тоже незачем, — ответила мать.

— Почему? — удивился отец. — Ведь одно молоко без риса не еда.

— Рис у нас есть!

— Откуда? — отец от изумления даже привстал с постели.

— Когда вы принесли рис для туя, — ответила мать, — я отсыпала мешок и спрятала его в сундук, чтобы взять, когда придется туго. Вот теперь мы и будем готовить этот рис.

— Молодец! — похвалил отец. — Не зря говорится: сберегая у очага, можно стать купцом в Индии!

Брат спал вместе со мной. Я внимательно слушал тихий разговор родителей и думал, что они его едва ли разбудят. Вдруг я услышал, что Мухиддин, накрывшись одеялом, всхлипывает. Отец и мать тоже обратили внимание на плач и, вскочив с постели, наперебой стали спрашивать брата:

— Что случилось? Почему ты плачешь?

— Как же я теперь поеду учиться в Бухару? Разве нельзя было обойтись без этого туя? — отвечал он сквозь слезы.

— Успокойся, не плачь! Придет время, и я сам тебя отвезу.

— Да ведь у нас нет денег. Разве можно жить и учиться в городе без денег? — все так же всхлипывая, проговорил брат.

— Не печалься, сынок, до твоего отъезда в Бухару осталось еще два года, до тех пор я выплачу долги и добуду денег тебе на ученье.

* *
*

На следующее утро мать варила домашнюю халву; а я помогал ей поддерживать огонь. Сначала она поджарила в котле на коровьем масле немного муки, потом взяла чашку тутовой патоки, привезенной из Соктари, и перекипятила ее на огне. Когда патока загустела наподобие похлебки, мать высыпала в нее пережаренную муку и смешала. После этого мука с патокой превратилась в густое тесто. Посыпав поднос мукой, мать выложила на него тесто и разровняла его. Когда халва остыла и затвердела, мать отрезала кусочек и дала мне, а остальные куски посыпала мукой и сложила в коробочку.

Поедая с хрустом халву, я вышел на улицу, и там мне вдруг повстречался старший брат. Увидев меня, он заявил:

— Это не халва, а сухая лепешка, настоящая должна быть масляная...

— А где вы ели масляную халву?

— У дедушки в доме. Ее принес дядя Курбон-Ниёз. Мне тоже дали. Такая вкусная! — и добавил:

— А ты хочешь попробовать?

— Когда будет — попробую, а если нет, то и домашняя годится.

— А если я достану халвы и дам тебе, ты будешь есть?

— Буду!

— Ну, тогда пойди к отцу, похнычь и попроси: «Купите мне масляной халвы!».

— А разве вы не будете есть?

— Я тоже буду.

— Так почему же вы сами не попросите у отца?

— Я боюсь, что он мне скажет: «Я все деньги истратил ради тебя» — и надолго отложит мою поездку в Бухару.

— Я тоже поеду учиться в Бухару.

— Ты еще маленький, пока придет твое время ехать в Бухару, отец заработает много денег и о расходе на халву забудет.

— Хорошо, я попрошу.

Мы вместе пошли к отцу в ткацкую мастерскую. Я с хрустом откусил кусочек домашней халвы и, еще не прожевав ее, начал просить:

— Купите мне масляной халвы!

Отец, не отрывая глаз от берда и челнока и не прекращая работы, ответил мне:

— Халва, что у тебя в руке, тоже сделана на масле, какую же ты еще хочешь?

— Я хочу масляную халву, которая очень вкусна и которую я никогда раньше не ел.

— Если ты ее никогда не ел, откуда же ты знаешь, что она вкусная?

— Мне старший брат сказал.

Мухиддин стремглав бросился бежать... От моего неосторожного ответа всем стало ясно, кто был подстрекателем в этом деле. Отец засмеялся и проговорил:

— Иди, скажи матери, пусть приведет ко мне твоего брата.

Я пошел к матери и передал ей приказание отца. Брат был там и стал меня ругать:

— Зачем ты сослался на меня, что масляная халва вкусная?

Я чувствовал справедливость упреков брата, но гордость не позволяла признать себя виновным. Поэтому я сказал ему:

— Ну хорошо, а если бы вы были на моем месте, что бы вы ответили на вопрос отца?

Брат не нашелся, что сказать, и густо покраснел. Конечно, другого ответа нельзя было дать. Моя ошибка состояла в том, что, еще не испробовав халвы, я уверял отца, будто она вкусная. Но брат не сообразил, из-за чего получилось недоразумение.

Как Мухиддин ни сопротивлялся, мать все-таки потащила его к отцу. Мы все думали, что отец отругает его за подстрекательство. Но отец этого не сделал. Смеясь, он снял очки и, протирая их, сказал брату:

— Мухиддин, ты знаешь деревню Болои-Руд?

— Знаю.

— Там у канала есть мельничный ручей, когда мы осматривали мельницу, я тебе показывал.

— Да, да!

— Знаешь?

— Знаю.

Взглянув на мать, отец добавил:

— Они оба решили, что я должен купить масляной халвы. Ладно, сегодня базарный день, пусть это будет для них угощение. На ужин ничего готовить не надо. Ты садись и помоги мне делать цевки, они почти все кончились. Я опасался, что если Мухиддин не знает, где Болои-Руд, то мне придется идти покупать им халву. Оказывается, дорога ему известна, халву он принесет сам, и мне не нужно бросать работу.

Отец достал из кармана теньгу (15 копеек) и дал брату со словами:

— Как только пройдешь мельничный ручей, будет мост через канал, за мостом большая усадьба мастера Барота, ворота ее — прямо против моста. Во дворе большой дом, там мастерская, где приготовляют халву. Когда войдешь в мастерскую, поздоровайся с теми, кто там будет, скажи, что пришел от меня, и дай им эту теньгу. Не забудь сказать: «Меня послали купить палочку халвы». Заверни ее в бумагу и принеси домой.

— Сколько это будет «палочка халвы?» — спросил я у отца.

— Целый кусок!

— А этот кусок кто из нас съест: я или брат? — не унимался я.

Отец оставил ткацкий станок и челнок, растопырил пальцы, потом сблизил обе руки и показал нам:

— Вот какой это будет большой кусок. Такого куска хватит на всех, — добавил он.

Брат собрался в дорогу, я, с разрешения родителей, отправился вместе с ним покупать халву.

Деревня Болои-Руд находилась к северу от Махаллаи-Боло, и расстояние между ними не превышало тысячи шагов. От нашего дома, стоявшего на краю деревни, прямо возле поля, виднелись деревья и постройки Болои-Руд. По полю, покрытому снегом и льдом, катаясь на скользких местах, мы незаметно дошли до канала.

Деревня Болои-Руд была расположена на берегу старого Шофуркомского канала, в северной его части. Поэтому ее и называли Болои-Руд — «Над каналом». К югу от канала протекал небольшой ручей, когда в него пускали воду, он вертел мельничный жернов.

Добравшись туда, мы увидели, что в мельничном ручье воды совсем нет, лишь на дне канала кое-где стояли замерзшие лужицы. Я попросил Мухиддина показать мне мельницу, находившуюся шагах в двадцати от переправы через канал.

Брат согласился.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ХАЛВЫ

Мельницу мы осматривали недолго, не задерживаясь, вышли наружу и спустились на дно канала. Покатавшись по замерзшим лужам, решили не возвращаться к мосту и выбрались на северный берег у самых ворот усадьбы.

Посреди двора стоял большой глинобитной дом. По величине он почти в четыре раза превышал обычные жилые дома с перекрытиями в восемь балок. С юга в него вели закрытые двери: двухстворчатая и одностворчатая. Мы открыли ту, которая была ближе к воротам, и вошли в мастерскую. Почти от самой двери тянулся ряд очагов с косо поставленными котлами; задняя стенка каждого из них была припод-

нята, а передняя слегка наклонена. В одних котлах кипятили до полной густоты патоку, в других сбивали веничком — «чилчуб» — сок мыльного корня. На самом дальнем очаге кипятили масло. В один из больших котлов с загустевшей патокой какой-то человек понемногу сыпал пережаренную муку, а два других деревянными лопатами мешали массу, поддевали лопатами тягучую смесь, осторожно переворачивали и снова бросали в котел. Распоряжался средних лет высокий смуглый человек с большой бородой и показывал, что надо делать.

С другой стороны комнаты, на высокой и широкой суфе, стоял громадный поднос не менее двух метров в поперечнике. Вокруг подноса были разостланы бараньи шкурки. У самой суфы стоял ящик с мукой.

Распорядитель достал из ящика железным совком муку и насыпал на деревянный поднос, затем подошел к котлу, где смешивали патоку с мукой, и стал наблюдать за работой. Когда масса сделалась похожей на тесто для печения лепешек, он приказал рабочим:

— Довольно, вынимайте!

Рабочие, подняв лопатами тесто, начали его выкладывать на деревянный поднос.

Распорядитель, освободившись, видимо, от неотложного дела, обратился к нам:

— Вам кого?

Брат, поздоровавшись, протянул ему монету и сказал, как велел отец:

— Дайте, пожалуйста, палочку халвы!

— Хорошо, — сказал старший, — но всё, что мы варили утром, уже отвезли на базар. Побудьте здесь немного, пока приготовят новую халву.

Загустевшее тесто с патокой выложили на деревянный поднос. Люди, работавшие возле котлов, вымыли до локтей руки, затем опустились на колени вокруг деревянного подноса, на разостланные там бараньи шкурки. Впереди стоял на коленях сам распорядитель. Только один, с виду совсем молодой человек взял в руки железную лопаточку и отошел к ящику с мукой.

Рабочие раскатали руками тесто наподобие длинного валика, оба конца его соединили вместе, так что получилось кольцо. Склонившись над подносом, они раскатывали этот валик до тех пор, пока он не расширился до краев деревянного подноса. Тогда парень с лопаткой посыпал раскатанное тесто мукой, рабочие снова сложили его вдвое, и получился меньший валик в два слоя. Этот валик опять начали раскатывать, и он получился такой же большой, как вначале; снова парень с лопаткой насыпал муки, и снова рабочие сложили его пополам, так что тесто в нем было уже в четыре слоя.

Рабочие продолжали катать и складывать тесто: в третий раз вышел валик в восемь слоев, в четвертый раз — в шестнадцать, в пятый раз — в тридцать два слоя, в шестой раз — шестьдесят четыре, в седьмой раз — сто двадцать восемь слоев, в восьмой раз — двести пятьдесят шесть, в девятый раз — в пятьсот двенадцать слоев, в десятый раз получился валик уже в тысячу двадцать четыре слоя. Так продолжалась работа до двадцати пяти раз, и образовалось кольцо, слои которого казались такими тонкими, как нити в мотке пряжи.

Мастер обратился к своим рабочим:

— Ну, теперь довольно! — и большим ножом начал разрезать круг халвы на куски в локоть длиной. Положив один кусок на весы, стоявшие с краю суфы, он взвесил его, оказалось мало, тогда отрезал еще кусочек и положил сверху. Теперь вес был правильный. Завернув в бумагу первый кусок, он дал его брату со словами:

— Отнеси это отцу! — Второй кусок он разделил пополам и дал каждому из нас.

— Пойдете и будете есть по дороге! — добавил он на прощанье.

Мы бегом пустились домой, потому что уже было поздно.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПЕСКОВ

Была весна, в нашем садике расцвели абрикосовые деревья и своими цветами украсили сад. Крестьяне деревни Махаллаи-Боло пахали, исправляли арыки, раскрывали виноградные лозы. Ребятишки пасли своих или хозяйских коров, быков и овец по зеленеющим берегам арыков и на еще не запаханных землях.

В один из таких дней я почувствовал, что меня уже не радует зрелище расцветших деревьев и свежей зелени у нас в садике, тянуло на волю — в степь, в поля. Я сказал об этом брату и просил его присоединиться ко мне. Он согласился, но просить разрешения у родителей отправил меня.

Прежде всего я обратился со своей просьбой к матери.

— Сначала спроси у отца, если он разрешит вам пойти в степь, я не буду препятствовать, — сказала она мне.

Я пошел к отцу. Он сидел на террасе мехмон-хоны и обрабатывал мельничные колеса. Надев очки, он внимательно размечал их и выдалбливал долотом отверстия для лопастей. Палочкой с нанесенными на ней чернилами делениями отец измерил глубину одного из отверстий, затем узкой стальной стамеской зачистил изнутри и только после этого, взглянув на меня, спросил:

— Ну, что скажешь?

— Мы хотим пойти в степь, я пришел спросить разрешения.

— С кем ты пойдешь?

— Со старшим братом-муллой.

— Брат твой никуда не пойдет, он не повторял и не учил своих уроков за целую неделю. Пока не выучит и я не проверю его, не позволю ему ни играть, ни гулять. Если ты хочешь — иди, пожалуйста, — добавил отец.

— А вы тогда сами пойдете со мной гулять?

— Иди один! Тебя волки не съедят, в степи много мальчиков, на берегу канала, наверное, сейчас твой брат Эргаш, он там чаще всего пасет свое стадо.

Я пошел в степь. Здесь были ширь и простор, не то что в нашем садике, даже воздух казался приятнее, дул легкий ветерок и доносил нежные ароматы степных цветов. Всходы озимой пшеницы и ячменя покрывали черную землю, делали ее зеленой и праздничной. Дикие травы и клевер, росшие по берегам канала, радовали взгляд своей свежестью. Воздух был ни жарким, ни холодным. Крестьянские мальчики вели ослов, нагруженных корзинами с навозом, высыпали его на поля, подготовленные к посеву, а на обратном пути садились на освободившихся от клади животных и устраивали ослиные скачки и гонки.

Я направился прямо к берегу канала, от самого нашего дома мне хорошо были видны росшие там деревья. С южной стороны никого не было, лишь на ветвях плакучих ив, недавно покрывшихся молодой зеленью, сидели ласточки, да суетились и чирикали воробьи. Их голоса казались мне такими же приятными, как и напоенный запахами степных трав воздух.

К северу от канала на невысоких песчаных холмах боролись пастушата. Среди них находился и мой старший брат Эргаш. Усевшись на берегу, я с увлечением наблюдал за их борьбой.

Вдруг меня увидел Эргаш.

— Иди, иди сюда, — закричал он и быстро сбежал на берег. — Здесь легко перейти, вода в канале не достанет тебе и до щиколотки, иди, не бойся!

Я закатал штаны и шагнул в воду; действительно, здесь было мелко. Перебравшись на другой берег, я следом за Эргашем поспешил к его товарищам.

Когда мы подошли, ребята уже оставили борьбу и играли в пятнашки. Один мальчик убегал, другой гнался за ним и если не мог поймать, то считался проигравшим. Бежать было не легко — красный чистый песок, нежный и мягкий, как просеянная мука, не оставался неподвижным. Ребята, проваливаясь в него то одной, то другой ногой, скользили и падали.

Эта игра скоро всех утомила; некоторые из мальчиков растянувшись на мягком песке, грелись на весеннем солнце, другие пошли к своим стадам.

По сравнению с юными пастухами, новорожденные ягнята и козлята казались мне более искусными: они без всякого труда проворно носились по песку. Козлята, совсем как мальчишки, дрались, сталкиваясь рожками, один убегал, другой его догонял; ягнята, спокойно пощипывая травку, отставали от маток, а потом, блея, бежали за стадом, и никто из них не падал.

Эргаш спросил меня:

— Ты снесешь родителям гостинец?

— Какой же гостинец можно принести из песчаной пустыни? — с недоумением спросил я его.

— А ты ел когда-нибудь грибы?

— Нет, наверное, а если и ел, то не запомнил!

— После вчерашнего дождя их столько выросло в песках, что можно набрать целые мешки. Я уже собрал для дома торбу. Хочешь, соберу и для тебя?

— Ладно, — согласился я.

Эргаш взял в руки свой пастуший посох. Вместе с ним мы миновали два невысоких песчаных холма, на третьем холме увидели небольшой бугорок. Брат разрыл его концом палки, и из-под тонкого слоя песка показался гриб. Я с увлечением стал собирать грибы и набрал их почти целый подол, как вдруг Эргаш сказал мне:

— Ну-ка покажи, что у тебя там?

Я отвернул подол. Взглянув на грибы, брат приказал:

— Бросай на землю!

Я высыпал все, что собрал, у его ног. Эргаш разделил грибы на две части: отдельно сложил крупные на коротких ножках, в стороне от них — длинные с тонкими ножками и плоскими шляпками в чешуйках. Крупных грибов было очень мало, Эргаш показал мне на них и сказал:

— Вот эти можно есть, они вкусные, — затем добавил, — а тонконогие — горькие и ядовитые, их не едят.

Мы обошли еще несколько песчаных холмов и набрали полную тюбетейку крупных съедобных грибов. В это время поднялся ветер, погода испортилась, и пока мы добрались до берега канала, ветер еще больше усилился и все кругом заволокло песком и пылью. Скот стал беспокоиться, дети кричали «бяша, бяша, бяша» и не давали овцам и козам разбредаться. Эргаш также собрал свое стадо и погнал его к берегу канала, где было немного тише, чем в песках.

— Песок движется! — испуганно закричал какой-то мальчик с песчаного холма.

Эргаш торопливо взбежал на пригорок, я поспешил за ним. Повернувшись спиной к ветру, дувшему с северо-востока, я боком с трудом поднялся на холм. Подобно застоявшейся воде, колеблемой ветром, песок, так же колеблясь, тихонько двигался вперед. Волнуе-

мые ветром верхние слои песка двигались по направлению к берегу, а нижние слои следовали за ними.

Ветер все усиливался, и воздух все больше темнел от пыли.

Ребята гнали свои стада к деревне, скот, как будто за ним гнались волки, с диким ревом бежал вперед. Я тоже, крепко прижав к груди тюбетейку с грибами, мчался домой. Земля на полях не была такой скользкой, как песок, а ветер дул мне в спину, поэтому бежать было не очень тяжело. Однако ни на земле, ни в воздухе не осталось и следа былой свежести, которой я наслаждался, когда вышел гулять, всходы и трава сразу же поблекли от горячего песка и пыли.

Когда я прибежал домой, отец все еще был занят высверливанием отверстий в мельничных колесах. Он так увлекся, что даже не спросил меня, что я видел, до какого места дошел. Постояв немного возле отца и насмотревшись на его работу, я пошел к матери, отдал ей грибы и попросил, чтобы она скорее их сварила, так как я очень проголодался.

Мать взглянула на грибы и сказала:

— Ого! Здесь много, всем нам хватит.

— Будьте осторожны, как бы он не набрал ядовитых грибов, — предостерег ее брат. Он приготовлял у порога комнаты свои уроки.

— Я умею отличать съедобные грибы от ядовитых, — гордо ответил я.

— Все это хорошие, пригодные для еды грибы, — подтвердила мои слова мать и отнесла грибы к очагу, чтобы там их почистить и зажарить на масле.

Пока было светло, отец продолжал высверливать мельничные колеса, но в тот день стало темнеть гораздо раньше, чем обычно; ветер все усиливался, из наполненного пылью воздуха пошел настоящий песчаный дождь. Песок так сыпался, что вскоре покрыл всю землю, и хотя мы закрыли окна и двери и зажгли светильники, песок проникал сквозь щели в комнату.

Мы поели жареных грибов, в которые впервые в жизни была вложена моя доля труда, и я быстро уснул.

От усталости я спал ночью так крепко, что проснулся поздно, когда уже было совсем светло; отец с матерью взволнованно и пе-

чально о чем-то разговаривали. Отец рассказывал, что песок засыпал много деревень в окрестностях, уничтожил посевы; погиб под песком и виноградник моего деда.

— Скорее пей свой чай, — сказал он матери, — нужно помочь твоему отцу очистить от песка виноградник и принять меры, чтобы опять не повторилась такая беда.

Встав с постели, я вышел на двор, воздух был чистым и спокойным, дул легкий ветерок, но весь двор и садик стали похожи на песчаную пустыню. Каблуки туфель глубоко погружались в песок, цветы на абрикосовых деревьях казались мертвыми пчелами, а трава и всходы совсем исчезли под слоем песка. Садик, еще вчера веселящий всякого своими расцветшими деревьями и молодой травкой, сегодня казался печальным, подобно дому, где царит смерть.

Умывшись, я вошел в дом и сел возле отца, мы вместе попили чай со сливками. Брат, как всегда, отправился в свой угол делать уроки. Отец велел матери приготовить тесло, цапку, пилу-ножовку и садовый нож, надел рабочую одежду, подвязался и собрался идти к дедушке на помощь.

— Я тоже пойду, — обратился я к нему.

— Ладно, вчера ты ходил смотреть свежую зелень в полях, сегодня увидишь только засушливую песчаную пустыню. В жизни все нужно видеть, — сказал отец.

Мы вместе пошли к дедушке. Там уже готовились работать мои дяди — сыновья дедушки — Курбон-Ниёз, Равшан-Ниёз и Ниёз-хон. Только Али-хон, пятый его сын, нагрузив на свою лошадь переметную суму, наполненную чаем, собирался на базар: он торговал чаем вразнос.

— Что же это ты не присоединяешься к нам, чтобы помочь общей беде, а даже в такой день собрался на базар? — спросил у него отец.

— Мне не нужен ни сад, ни земля, для меня был бы лишь базар. Пусть хоть потоп, хоть какие угодно беды, мне нет дела! — ответил Али-хон.

— Черное сердце, черное нутро! — проворчал про себя отец.

Из дома послышался голос деда:

— Не разговаривайте с ним, он не нашего рода, это свинья!

Было ясно, что из-за очистки земли и виноградника от песка между отцом и сыном произошла ссора.

Мои дяди, нагрузив в тачку тесла, цапки, садовые ножи и другие инструменты, покатили их в поле. Дедушка положил в переметную суму лепешки, кувшин для кипячения чая и другие необходимые вещи, сел на осла и посадил меня позади себя. Отец шел пешком; все вместе мы направились в степь. Бабушка громко читала молитвы. Она просила бога помочь устранить несчастье и способствовать успеху работы.

БОРЬБА С ДВИЖУЩИМСЯ ПЕСКОМ

Сад и поле моего дедушки находились на самом краю равнины Ко-Ко.

Равнина Ко-Ко тянулась на восток от Махаллаи-Боло и примыкала к полям деревни Карахони, расположенной еще восточней. Эти места находились в южной части Шофуркомского канала и считались до того дня наиболее обильными водой из всей округи. Когда мы достигли равнины, то ничего не увидели, кроме песчаной пустыни: на северо-востоке громоздились высокие холмы движущегося песка, к юго-западу наносов становилось меньше, а на окраине степи песок доходил лишь до колен.

По всей равнине, как муравьи, копошились люди; особенно много их было в садах и виноградниках, расположенных на северо-востоке. Они плели из веток маты, раскапывали лозы, которые были недавно раскрыты и теперь оказались засыпанными песком. С тех мест, где песка было много, его вывозили на тележках или таскали в мешках. Песок сбрасывали там, где он меньше всего мог повредить насаждениям.

Мы добрались до виноградников деда. У него было два сада: один, площадью в два таноба (полгектара), не был огорожен, а другой, поменьше — в один таноб, окружен глинобитной стеной вышиной в три пахсы. Неогороженный сад оказался весь засыпанным песком; в том месте, где был виноградник, появился большой пес-

чаный холм. Сад, находившийся на берегу канала и огороженный забором, был засыпан лишь на треть: движущийся песок сначала целиком заполнил канал, потом подошел к стене и начал перекатываться через нее. Сейчас воздух был уже спокоен и ветер стих, но опасность еще не миновала. Песок медленно двигался с северо-востока на юго-запад и, подобно воде, которая переливается через край полноводного арыка и растекается по земле, постепенно пересыпался через стену, не спеша захватывал в свои объятия виноградные лозы с распукающимися почками.

Дедушка положил переметную суму и ватную подстилку под тенистым карагачем, росшем у бассейна в неогороженном саду; два дня назад на этом самом месте он любовался садом и каналом. Теперь же здесь не было ни бассейна, ни канала, на их месте высились лишь песчаные холмы, высота которых почти достигала ветвей могучего дерева.

Отец велел дядям рубить ветви ив, тополей, тутовых и карагачевых деревьев, часть заготовленного материала тащить к огороженному саду, все остальное разложить повсюду с северной и восточной стороны неогороженного сада.

Дяди начали перетаскивать ветки к ограде сада. Отец садовым ножом строгал из длинных сучьев тонкие жерди и вбивал их за оградой наподобие частокола, затем мелкими ветками и прутьями переплел их, словно корзину. Закончив работу, он сказал:

— Если вы постараетесь и за один день выберете весь песок из сада, виноградник будет спасен.

Потом отец пошел к неогороженному саду, с севера и востока также вбил жерди и велел дядям переплести их ветвями.

Пока отец не кончил работы, он не ел лепешек и не пил чая, дяди, конечно, тоже подражали ему. Когда вбили последнюю жердь, все собрались возле дедушки, чтобы пообедать и отдохнуть.

Поев, отец сказал дедушке:

— Теперь я пойду, ребята хорошо научились переплетать жерди ветками, они все сами смогут сделать. Расчистка виноградника от песка — непосильный для вас труд, вы посидите, а сыновья ваши и одни справятся с работой.

Старый, начавший дряхлеть дед с благодарностью и благословениями проводил отца. Когда отец уходил, дядя Курбон-Ниёз сказал ему:

— Дорогой зять-мулла! Я очень хочу быть таким же неутомимым и настойчивым, как вы.

— Это не так уж и трудно, — отвечал отец, — все дело в добром желании и в том, чтобы его не отступая осуществлять. Если бы лентяи и лодыри знали, каким сильным делает человека работа, какую радость она приносит его сердцу, они никогда бы не были бездельниками.

* *
*

Мы отправились в путь. Но отец не пошел в деревню по старой дороге, а перебрался через занесенный песком канал и решил идти вдоль его берегов.

Так достигли мы деревни Болои-Руд. На месте цветущего селения, существовавшего здесь до вчерашнего дня, мы увидели какие-то жуткие развалины. Все дворы были полны песка, и лишь кое-где торчали уголки крыш. Женщины, девушки, дети — все находились на улице, небольшими группами сидели на песчаных холмах. Перед лишившимися крова людьми были навалены паласы, одеяла, подушки, котлы, тарелки и другая домашняя утварь.

— Похоже, что мужчины разбрелись по деревням искать пристанища, — тихо, как бы про себя заметил отец, но так, что мне было слышно.

Мы зашли во двор мастера Барота, изготовлявшего халву. Здесь виднелась лишь крыша мастерской, самой высокой постройки в усадьбе и среди деревенских домов. С трех сторон здание до самой крыши было полно песка, небольшое свободное пространство оставалось лишь с южной стороны; ворота и проход совсем исчезли под песком, к дому можно было пробраться только по зыбким наносам.

Отец по песчаному холму спустился к дому:

— Усто-Барот! Где вы? — закричал он.

— Мы сидим здесь с детьми, заживо погребенные, — отозвался кто-то из дома. Приоткрылась одностворчатая дверь, через которую мы недавно заходили, чтобы купить халву, вышел мастер и дружелюбно приветствовал отца.

В ответ на расспросы отца он рассказал:

— Когда песок начал наступать и наш жилой дом оказался в опасности, я перевел жену и детей в мастерскую, перетащил домашние вещи, а сам с сыновьями забрался на крышу, и мы стали сбрасывать песок лопатами, как снег зимой. Так нам удалось сохранить крышу над головой.

В глазах у него заблистали слезы.

— Благодарите бога, другие совсем без крова остались! — уговаривал его отец.

Когда мастер немного успокоился, мы отправились дальше.

Перед усадьбой Усто-Барота не было больше ни канала, ни моста через него, исчез совсем мельничный ручей, не осталось следа и от самой мельницы. Тем не менее, отец подошел к тому месту, где она раньше стояла. Ветхое здание мельницы обрушилось под тяжестью песка и погребло под собой все, что там было внутри; на печальном пустыре виднелась теперь лишь куча песка.

Мы вернулись домой. У ворот нас встретил дядя — брат отца. Несколько дней назад он уходил строить кому-то дом в деревне Тезгузар и только сегодня вернулся домой. Из его рассказа мы узнали, что движущийся песок целиком засыпал поля деревень Боги-Афзал, Тезгузар, деревню Караягоч со всеми ее полями, северный край деревни Дехнави Абдулло-джон, Мухаммад-Боки и часть деревни Кочихурон. Говорят, что песок дошел до деревни Сайид-Ато и крепости Вардонзи.

— Теперь канала больше нет, он целиком засыпан песком, — сказал отец, когда мы вошли в дом. — Даже и от уцелевших после наступления песка земель нельзя ждать ничего хорошего. Можно сказать, что Шофуркомский тюмень превратился в безводную и бесплодную пустыню.

Мать расспросила отца, каковы дела у деда, и, узнав, что ее интересовало, сказала:

— Сегодня вы пошли помогать моему отцу, а своих дел не сделали, ведь вы сами говорили, что вам нужно как можно скорее закончить колеса, над которыми вы начали работать.

Отец в ответ только улыбнулся и грустно покачал головой. Помолчав, он сказал:

— Эти колеса мне заказал мельник с мельницы на берегу канала, он уплатил вперед двадцать тенег и попросил меня сделать их за неделю. Завтра срок. Но теперь колеса никому не нужны, ведь не осталось ни ручья, ни мельницы. Сейчас я горюю о том, что мне неоткуда добыть денег и рассчитаться с ним.

Отец больше ничего не сказал, только напомнил матери, что пора приготовить чай, а сам занялся проверкой уроков моего старшего брата.

В СОКТАРИ

Прежде чем начать рассказ о днях моей жизни в Соктари, я должен описать нашу соктаринскую усадьбу.

Находилась усадьба поблизости от деревенской мечети. Пройти к ней можно было по переулку, который ответвлялся от главной деревенской улицы. С востока этот переулок ограничивали школа и мечеть с садом, с запада — большой двор, вход в который был с главной улицы. По соседству располагались еще несколько усадеб, но только ворота нашего просторного двора выходили прямо в переулок. Двор этот не был полностью нашей личной собственностью, в его пределах жили все наши родственники, и каждый из них владел какой-либо частью. Ширина двора с запада на восток составляла приблизительно сто пятьдесят метров, а длина его с юга на север была около двухсот метров. Вся площадь делилась на четыре части, вернее — на четыре небольших двора. Та часть, которая находилась прямо против входа, была нашей, три другие части, примыкавшие к ней с востока, принадлежали моему дяде по отцу и его двоюродным братьям.

Усадьба отделялась от большого сада мечети стеной высотой в полторы пахсы; с востока и запада к нашим дворам вплотную под-

ходили огороды соседних владений. Северная сторона усадьбы отделялась от степи стеной высотой в два ряда пахсы. У каждого из двориков был свой выход в степь.

По моим первым воспоминаниям, в нашем внутреннем дворе стоял деревянный жилой дом, а рядом с ним находилась небольшая постройка из сырцового кирпича для ткацкого стана.

Нашим ближайшим соседом был дядя отца Абдулло-ходжа. В то время, насколько я помню, родители говорили, что ему уже девяносто лет. На внутреннем дворе во владениях старика виднелся ветхий дом, в котором жила его сноха. Значительную часть внешнего двора занимала четырехугольная мехмон-хона со столбом посередине, похожая на мечеть, — здесь жил он сам.

Старик прежде был плотником и имел немного земли. Однако сын его вырос никчемным человеком, шатался повсюду и не занимался ни земледелием, ни плотничеством. Когда Абдулло-ходжа совсем состарился и не смог больше работать, он продал землю и проел с сыном все, что получил. В то время, которое я вспоминаю, этот бедняк уже не имел никаких доходов и его кормили из жалости родственники. Он постоянно сидел в мехмон-хоне, ни с кем не разговаривал и выходил лишь на суфу для омовения.

Сын старика бродил из деревни в деревню. Был он грамотным человеком, звали его Иброхим-ходжа. Говорили, что он занимается заговорами и заклинаниями. Было очевидно, что и в этом легком деле ему не сопутствует удача. Через каждые две-три недели Иброхим-ходжа возвращался домой, но той еды, какую он приносил с собой, всегда не хватало ему самому, жене и дочери сестры, жившей с ними вместе. Беспомощному Абдулло-ходже он вообще ничего не давал. Мой отец называл знахаря «несчастным бездельником».

Однажды мой отец стал его упрекать за то, что он не ухаживает за своим престарелым отцом, и сказал ему:

— Если пророк Авраам, чтобы угодить богу, принес в жертву собственного сына, то ты принес в жертву своей лени родного отца. Пусть тебе будет стыдно и пусть падет на тебя проклятие мира!

В ответ на горькие упреки тот лишь усмехнулся, сел на осла и снова отправился бродяжничать.

Восточнее двора Абдулло-ходжи жила старуха, которую звали Тута-пошшо. Я не знал ее настоящего имени и, как всякий, кто слышал такое пышное прозвище, думал, что эта женщина была очень знатной, надевала одно на другое несколько шелковых платьев, сидела на одеялах, положенных в несколько слоев, и надменно распоряжалась слугами. На самом деле все было не так. Она носила ветхие штаны и платье с тысячей заплаток; из всех домашних вещей у нее была лишь старая шкурка для сидения с облезшей шерстью, кусок рваного войлока, одеяло и несколько круглых подушек, похожих на валики, из которых торчала старая вата.

Говорили, что ей перевалило уже за восемьдесят лет; она настолько согнулась, что когда садилась, то грудь ее доставала до колен. Ходить и сидеть было ей очень трудно, поэтому она всегда лежала на животе, подложив под голову и под бока подушки, и таким образом удерживала равновесие своего согнутого тела.

Она была вдовой второго дяди моего отца — Абдулкуддус-ходжи, который давным-давно умер. У нее остался один сын, Шароф-ходжа, который тоже бегал от работы. После смерти своего отца он продал и проел оставшуюся ему в наследство землю и подался в сторону Карши, где тоже жили наши родственники. Было известно, что Шароф-ходжа и в Карши, кроме шатания, не знал иного дела; раз в год он приезжал на свидание с матерью и все, что ни привозил, съедал сам за те несколько дней, которые здесь проводил. После его ухода Туту-пошшо кормили родственники и соседи.

В самом конце нашего обширного двора, в восточной его стороне, жил двоюродный брат моего отца. В то время, о котором я пишу, ему было около пятидесяти лет, и он славился как искусный плотник. Говорили, что даже и в Бухаре трудно было найти такого мастера резьбы по дереву. Имя его было Хидоят-ходжа, но за мастерство все звали его Усто-ходжа. Он был грамотным человеком, приветливым и мягким в обращении с людьми.

У него росли два сына, родившихся от первой жены. Старшего звали Сайид-Акбар, он был ровесником моего брата и учился у деревенского хатиба, второго сына звали Икром-ходжа, он был малограмотным и помогал отцу в работе.

После смерти первой жены Усто-ходжа женился второй раз, и от новой жены у него родились две дочери. Девочки были еще маленькие, а жена совсем молодая. Происходила она из рода потомственных ходжей, чем очень кичилась, и, кроме приготовления пищи, не занималась никакими другими делами. Абрикосы опадали и загнивали, но она их не собирала и не сушила.

Хотя Усто-ходжа и был искусным мастером и редко сидел без заказов, все же они жили не лучше нашего; несмотря на это, он никогда не отказывал в помощи ни Абдулло-ходже, ни Туте-пошшо.

* *
*

В тот год, когда песком был засыпан канал Шофурком и деревня Махаллаи-Боло осталась без воды, отец раньше обычного переселил нас в Соктари. Если в прежние времена мы переезжали из Махаллаи-Боло, когда поспевал тут, то в тот год мы перебрались, когда тутовые ягоды еще не завязались.

В Соктари мой старший брат начал учиться у деревенского хатиба вместе с Сайид-Акбар-ходжой, а я проводил время в играх со своими сверстниками. В этой обильной водой деревне нашей любимой забавой было рыть небольшие канавки. Отец решил зимой не брать меня в Махаллаи-Боло, потому что там даже питьевую воду трудно было достать и приходилось тащить ее домой из дальнего деревенского колодца.

Отец сломал наш обветшавший дом в Соктари и построил новый с кладовой и террасой для приготовления пищи. Поблизости он возвел хлев и глинобитный сарай для соломы и мякины. При постройке дома отцу помогал Усто-ходжа. В приготовлении глины, обмазке и штукатурке стен в меру своих сил участвовали также мой старший брат и Икром-ходжа. Только Сайид-Акбар-ходжа, несмотря на просьбу отца, помогать отказался: «Я, — говорил он, — хочу стать каллиграфом, а если буду возиться с глиной и кирпичами, то не смогу потом держать в руках калам».

В тот год я, Хомид-ходжа — сын сестры Иброхим-ходжи — и маленькие дочери Усто-ходжи большую часть времени проводили у Туты-пошшо, она рассказывала нам интересные истории и удивительные сказки. Она знала на память рассказы о Рустаме, Исфендияре, Сиявуше и Абумуслиме, охотно пересказывала нам многие эпизоды из этих сказаний. Каждый из нас приносил ей лепешки, сушеные абрикосы или еще что-нибудь съедобное и ждал, когда она примется за свои истории. Лежа ничком с высоко положенными подушками под головой и ногами, старушка начинала рассказывать.

Однажды я услышал от нее историю об умном батраке и баеобманщике, которую помню до сих пор.

УМНЫЙ БАТРАК И БАЙ-ОБМАНЩИК

Как рассказывала нам Тута-пошшо, было — не было, жил-был один бай-обманщик. Он заставлял всех своих батраков работать даром, а если они требовали платы, то, придумав какую-нибудь небылицу, их же делал своими должниками. Они не могли вырваться из его лап, пока не выплачивали свой «долг». Если же батрак отдавал ему деньги, то бай опять выдумывал новую небылицу и снова его закабалял. Так вот его работники до самой смерти не могли от него избавиться.

Наконец, дело дошло до того, что никто уже не соглашался идти к нему работником или батраком, всякий, кого он приглашал, отвечал: «Ты обманщик, ты клеветник!».

Какие бы он ни давал прекрасные обещания, никто ему не верил.

Настало время, когда все его старые работники перемерли, и он остался совсем без помощников. Однажды, собрав перед мечетью деревенских бедняков, он поклялся перед имамом разводом с женой, что он сполна уплатит тому, кто пойдет к нему работником и не будет на него клеветать.

Однако бедняки все равно ему не поверили:

— Кто ты таков, чтобы верить твоей клятве? — говорили они.

Тогда, поразмыслив, бай придумал другую уловку. В той деревне жил мальчик-сиротка, он пригласил его к себе домой.

— Сынок, приходи ко мне, я хочу тебе сказать что-то важное, — посулил он сироте.

Когда мальчик пришел, бай стал его уговаривать:

— Сынок, у тебя нет отца, а у меня нет сына. Если ты будешь жить у меня в доме и помогать мне, я буду к тебе относиться, как к родному сыну, и отдам со временем тебе в жены мою дочь; ей сейчас пять лет, и она мой единственный ребенок, ты же станешь хонадомодом — зятем при доме.

Сказав так, бай привел свою дочку и показал ее батраку:

— Вот эта моя милая любимая дочка, когда подрастет, станет твоей женой.

Мальчик-сиротка принял предложение бая и стал ему помогать во всем.

Проходили дни, недели, месяцы и годы, мальчик честно работал на бая, выгоду бая он считал своей выгодой, а его убытки — своими убытками. Он думал: «Ведь я буду зятем бая, и все его имущество станет моим».

Маленькой дочке бая он мастерил всякие игрушки, рассказывал интересные сказки, ласкал ее и всегда развлекал.

Девочка тоже всем сердцем привязалась к доброму веселому юноше, ни на секунду не хотела с ним разлучаться и оставаться одной.

Когда девочка подросла и узнала, что отец хочет сделать своим зятем этого сироту, она стала смотреть на него как на своего будущего мужа и вечного друга и любовь ее к нему еще больше возросла: она помогала ему в работе, старалась, как могла, облегчить ее, и если раньше она, обращаясь к нему, называла его «брат», то теперь постепенно стала называть «братик», «дорогой брат».

Батрак еще больше полюбил девушку, ему трудно было провести без нее хотя бы один час; каждый раз, уходя работать в поле, он словно покидал что-то драгоценное и время от времени, оглядываясь на байский дом, смотрел на него с нежностью. Что же касается до службы баю, то он выполнял ее с еще большим рвением. Юноша надеялся, что смягчит сердце бая и тот скоро устроит туй и соединит два любящих сердца.

Бай также относился к нему благожелательно. Когда бай, например, отдавал приказание батраку, он никогда не говорил «прополи хлопок» или «иди жать пшеницу», — а «прополи свой хлопок», «иди жать свою пшеницу».

Время шло, девушка стала проявлять нетерпение. Она посоветовала батраку, чтобы тот через кого-нибудь потребовал от ее отца ускорить свадьбу.

Батрак не согласился с девушкой.

— Если бай без моего напоминания сам устроит свадьбу, будет лучше, — сказал он.

Когда девушке исполнилось семнадцать лет, то отовсюду стали приходить сваты. Девушка из-за двери подглядывала, как принимала их мать. Ни одному свату она не говорила: «У моей дочери есть жених, она обручена», — а только и делала, что подсчитывала расходы на свадьбу да *запрашивала за дочку высокую цену.* Она всем давала один ответ:

— Если судьбе будет угодно, то мы не найдем лучших сватов, чем вы. Только помните, что отец моей дочери угощался на свадьбах у многих соседей и сам теперь должен всех хорошо угостить. Для свадьбы нам понадобится десять ман риса и другие припасы. Он потребует от вас еще одежду и наличные деньги соответственно достоинствам дочери. Если судьба позволит и сваты сумеют приготовить все это, то мы не одну, а будь у нас сто дочерей, и их тоже отдали бы вам!

Из слов матери девушка поняла, что родители никогда не отдадут ее замуж за батрака, они заняты поисками богатого жениха, чтобы продать ее за хорошую цену. При встрече с батраком она рассказала ему о сватовстве и ответе матери.

— Поскорее посылай к отцу своих сватов. Если ты меня не посватаешь или отец отдаст за другого, то знай, что я себя убью, — говорила девушка.

— Не дай бог, если отец твой не отдаст тебя замуж за меня или захочет отдать за другого, тогда я прежде всего сам себя убью! — ответил батрак и пошел прямо к имаму деревни. Юноша рассказал ему об условии, заключенном с отцом девушки, и попросил его быть

посредником между ним и баем. Имам согласился и поспешил сообщить о просьбе батрака баю. В ответ бай только рассмеялся:

— Поручите мне самому ответить батраку. Если он спросит, что я сказал, посоветуйте ему обратиться ко мне.

Тотчас же бай пошел к батраку и, смеясь, сказал ему:

— Сынок, ты не горюй и не бери кого попало в посредники. Вот я немного соберусь, приготовлю все, что надо к свадьбе, и выполню ваше доброе намерение. Ты не должен тревожиться, когда приходят сваты. К твоему счастью, та, которая предназначена тебе, не уродлива, поэтому многие хотят на ней жениться. Мы никого не хотим обижать, поэтому и не говорим грубо: «Уходите прочь, мы не отдадим вам дочери». Все знают, что «махр» за девушку, которую не собираются выдавать замуж, очень тяжелый, вот почему мы и не гоним сватов от своего порога, а заламываем за дочку высокую цену.

Батрак поверил словам бая, успокоил девушку и еще пуще прежнего стал трудиться.

Однажды у ворот хозяйского дома остановился караван верблюдов. Верблюды были покрыты богатыми коврами, на шеях, хвостах и коленях у них висели серебряные колокольчики. Во вьюках на их спинах лежали мешки, наполненные рисом, мукой, сахаром-рафинадом, леденцами и халвой. На некоторых верблюдах были нагружены дорогие ткани: атлас, адрас, шелк, бархат, парча и расшитые золотом материи. Верблюдов заставили опуститься на колени, сняли груз и начали вносить его в дом.

Все поняли, что бай просватал свою дочь за какого-то богача и эти подарки присланы для свадьбы. Скоро должна состояться помолвка — «туи фотиха».

Когда батрак увидел караван, у него потемнело в глазах и закружилась голова, ему показалось, что на него свалилось небо и, вертясь, как мельничный жернов, стало перемалывать его тело, словно пшеницу, в муку; беднягу охватила дрожь.

Юноша сначала хотел лишить себя жизни, но потом подумал: «Убить себя успею всегда, но нужно, пока я еще жив, сделать все, что можно, для спасения. Если я не добьюсь успеха, тогда только оборвется мое существование».

Все были заняты переноской грузов, радовались и рассматривали материи для невесты и жениха. Батрак воспользовался суетой, незаметно вошел во внутренний двор, увидел девушку и, сделав ей знак, повел в уголок двора.

Когда девушка осталась с ним с глазу на глаз, она заплакала, достала из-под платья кинжал и показала его батраку:

— Я ищу лишь случая, чтобы себя заколоть!

— Я тоже так думал, — ответил батрак, — но мне пришла в голову хорошая мысль, и если удастся ее осуществить, то я спасу и тебя и себя...

Услышав такие слова, девушка обняла батрака и впервые поцеловала его:

— Говори скорей, — сказала она, — а то я боюсь, что могу умереть от радости и тогда не узнаю о нашем спасении.

— Сейчас потерпи немного, веди себя перед всеми так, будто согласна на свадьбу и даже очень рада. Но будь готова к побегу. Как только представится случай, я тайком приду за тобой и мы убежим. Но я не могу находиться на вашей помолвке, которая для меня будет трауром, я уйду куда-нибудь, скроюсь и займусь подготовкой к побегу. После же помолвки я встречусь с твоим отцом и потребую от него платы за мою двенадцатилетнюю службу. Ведь он *поклялся перед всеми разводом с женой* и, чтобы не нарушить обет, должен мне заплатить. Я хочу потребовать плату, чтобы после побега у нас были деньги, пока удастся найти какую-нибудь работу.

В тот же день батрак скрылся из деревни и только через неделю после помолвки снова в ней появился. Бай с имамом и почетными жителями деревни сидели возле мечети.

— Хозяин, — обратился батрак к баю, — *я много ел вашего хлеба-соли, трудился — мало,* а теперь рассчитайтесь со мной. Если вы заплатите за мой труд, я буду считать это вашей последней милостью и буду век вам благодарен!

— Какой расчет? — рассердился бай.

— Расчет за двенадцать лет, ту плату, которую вы обещали дать любому батраку, согласившемуся у вас работать, и даже поклялись разводом с женой в присутствии моего дедушки-муллы.

Бай так вытаращил глаза, что они у него чуть не выскочили на лоб.

— Ты просишь вознаграждения за свой труд? — сказал мягко бай, — я заплачу тебе. Утром я собирался поехать на мельницу, вытащил из амбара полмешка пшеницы, она лежит возле амбара. Вот, иди и возьми себе эту пшеницу.

— Разве мне за двенадцать лет работы следует лишь полмешка пшеницы? Или *вы хотите сами опорочить этим свою невинную жену?*

Услышав от батрака подобные слова, бай побоялся оказаться в глазах людей бесчестным лжецом, не выполнившим клятвы «развода с женой». Он растерялся, посмотрел на имама — свидетеля его клятвы.

Тот поспешил на помощь баю и спросил у батрака:

— Когда бай взял тебя к себе в помощники, какую ежегодную плату он тебе определил?

— Я не сговаривался с ним о плате, но он должен был сделать меня своим зятем.

— Замужество девушки не может считаться платой за работу. Ты лучше скажи, сколько он обещал тебе давать натурой или деньгами?

— Он ничего не обещал.

— Очень хорошо, — промолвил имам, — значит, что́ бай сам пожалует, то и будет вознаграждением за твой труд. Хочет дать тебе полмешка пшеницы, возьми ее и будь доволен. Если он даже решит дать тебе всего только одну чашку пшеницы, то и тогда ты не смеешь просить больше, потому что он уже вполне будет свободен от клятвы. Согласно шариату, тебя не заставляли работать бесплатно и ему не надо разводиться с женой.

Услышав шариатские хитрости имама, батрак сначала вспылил, но потом взял себя в руки и сказал, обращаясь к баю:

— Ладно, пусть будет по-вашему, что пожалуете, тем я и удовлетворюсь. Но вот чего я боюсь, если я захочу взять пшеницу, а хозяйка мне ее не отдаст, как тогда быть?

— Если она не поверит тебе, ты скажи, чтобы она вышла за ворота и посмотрела на меня, я дам ей знак: «Отдай!».

Батрак побежал на байский двор, оседлал лошадь и сказал хозяйке:

— Дядя хозяин приказал мне: «Отвези пшеницу на мельницу и возьми с собой сестру, пусть она перед свадьбой, прежде чем покинуть родной дом, посмотрит мельницу». Велите ей приготовиться и выйти поскорей.

— Ты врешь, — отвечала хозяйка, — он никогда не пошлет с тобой взрослую, только что помолвленную девушку.

— Если вы не верите, выйдите за ворота и спросите у него сами, — сказал батрак.

Хозяйка, накинув на голову халатик, вместе с батраком вышла за ворота. От ворот были видны сидящие возле мечети и чинно беседующие люди. Указывая на хозяйку рукой, батрак громко закричал баю:

— Они мне не верят, не дают!

Бай тоже поднял руку, махнул и громко закричал жене:

— Ладно, пусть берет!

Батрак бегом вскочил во двор, погрузил мешок с пшеницей на лошадь, сам сел верхом, потом подсадил позади себя девушку, которая уже давно была готова и ждала его.

Выехав за ворота, батрак погнал лошадь вскачь в противоположную от мечети сторону. Когда бай узнал о случившемся и поскакал за ними в погоню, батрак с девушкой уже совсем скрылись из глаз. Они уехали в дальнюю область, стали там жить да поживать в добром мире и согласии и достигли исполнения своих желаний.

* *
*

Тута-пошшо так трогательно рассказывала эту историю, рисовала такие яркие образы и простые, знакомые нам картины, что, несмотря на свое малолетство, я, как и другие дети, пришел в волнение от услышанного. Как жаль, что я забыл подлинные слова и описания этой старухи и вынужден передавать ее рассказ через шестьдесят с лишним лет своим языком. Но я старался по возможности пересказать историю о батраке и бае как можно проще. Во всяком слу-

чае, я считаю эту восьмидесятилетнюю старуху своим первым учителем в мастерстве слагать рассказы и всегда вспоминаю ее добром.

Однажды вечером, еще засветло, мать дала мне чашку молочной рисовой каши, чтобы я снес ее старухе. Я отдал кашу, и старуха попросила меня:

— Посиди немного, я поем и верну тебе чашку, ты отнесешь матери, и она помоет ее вместе с другой посудой.

Я сел. В это время пришел сын Усто-ходжи, Икром-ходжа, и, усевшись рядом со мной, стал просить Туту-пошшо, чтобы она что-нибудь рассказала.

— У меня нет сегодня сил рассказывать, я чувствую себя очень слабой, ночью от голода я не могла уснуть, а теперь, когда я поем, то буду спать, — сказала старуха.

Икром-ходжа был грубоватым парнем, он постоянно досаждал старухе разными проделками.

— Если вы не расскажете какой-нибудь истории, то я не дам вам есть. — Он выхватил у старухи чашку с кашей и, отбежав немного, остановился.

Старуха была вынуждена согласиться и, пообещав занимательную историю, взяла кашу из рук Икром-ходжи, поела и приступила к рассказу.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Как рассказывала Тута-пошшо, жил-был один бедный мулла. В каком-то медресе ему принадлежала келья. Был у него добрый знакомый, который постоянно его угощал. Мулла все время мечтал о том, чтобы хоть один раз он сам смог угостить своего приятеля.

Однажды в его келью случайно залетел дикий голубь. Мулла быстро вскочил с места, побежал, закрыл дверь кельи и, схватив голубя, зарезал его, ощипал и выпотрошил. Затем он пошел в келью к соседу, рассказал ему о своей удаче, попросил ложку масла, чтобы зажарить голубя и угостить знакомого.

Сосед дал масла. Мулла зажарил голубя на масле, закрыл котелок и пошел приглашать своего приятеля.

Когда мулла вышел из кельи, его сосед вытащил из котла жареного голубя, на его место посадил живого и, как прежде, все закрыл крышкой.

Прошло немного времени, мулла привел своего гостя и посадил его в почетный угол кельи. Потом он, не спеша, помыл руки, засучил рукава до локтей, вымыл тарелку, поставил ее перед очагом на скамеечку и, взяв в правую руку шумовку, левой рукой поднял крышку котла... Голубь выпорхнул из котла и, кувыркаясь, полетел из кельи на улицу. Это неожиданное происшествие уничтожило все надежды муллы. Бедняга едва не лишился чувств, он уронил шумовку на пол и, воздев руки к небу, воскликнул:

— О милосердный боже! Оживить после умерщвления — вполне справедливо и правильно, но всему свое время! Неужели же ты должен был оживить зажаренного мною голубя, чтобы опозорить меня перед гостем и лишить вкусного угощения?!

Закончив свой рассказ, старуха обратилась к Икром-ходже:

— Сынок, и для сказок тоже должно быть свое время; ты же, когда я больна, заставляешь меня говорить и причиняешь мне мучения.

Я много слышал рассказов Туты-пошшо и, возможно, когда-нибудь включу их в свои воспоминания. Здесь лишь хочу отметить, что восьмидесятилетняя, прожившая тяжелую жизнь старуха уставала после одной-двух историй или сказок, но ребята не щадили ее, заставляли рассказывать еще и еще. В особенности мучил старуху Икром-ходжа. Иногда он, схватив у нее из-под головы или из-под ног подушки, убегал, и тогда у Туты-пошшо начинала сильно болеть поясница.

В таких случаях, стараясь избавиться от озорников, старуха начинала рассказывать мрачные истории о дивах и оборотнях. Дети пугались, убегали от нее, и она спокойно лежала, глядя на небо, положив голову и ноги высоко на подушки.

В особенности страшной была сказка о Семиголовом диве; хотя в конце концов этого дерзкого, коварного дива, похищавшего детей, убивал «на горе Коф» легендарный Рустам, все же начало ее было жутким. Я был единственным из детей, кто дослушал до конца

сказку о Семиголовом диве. Через много десятилетий, в дни Великой Отечественной войны, я сравнивал Гитлера и немецких фашистов с этим Семиголовым дивом и выражал уверенность, что они погибнут от руки легендарного Рустама наших дней — Красной Армии. Это было напечатано тогда в газетах «Тоджикистони сурх», «Коммунист Таджикистана» и «Ленин юли».

Из взрослых сказки о дивах и пери очень любила слушать жена Иброхим-ходжи, Султон-пошшо; ее дом, стена к стене, стоял рядом с домом Туты-пошшо, и суфа их также примыкала к суфе старухи. Летом они обе ночевали каждая на своей суфе. Султон-пошшо не любила простые истории. Всякий раз, когда она слышала, что Тута-пошшо начинает сказку о дивах и аджина-оборотнях, она вскакивала со своего места, садилась возле старухи и настаивала, чтобы та рассказывала дальше.

Ко всему услышанному от Туты-пошшо о дивах и оборотнях Султон-пошшо добавляла многое еще и от себя и пересказывала все это затем детям и женщинам.

Если верить словам Султон-пошшо, то она сама видела разных дивов, пери, в том числе даже Семиголового дива. Она говорила, что за мехмон-хоной дяди (так она называла своего свекра, девяностолетнего Абдулло-ходжу) живет Семиголовый див; сначала он принимает вид кошки, потом собаки, волка, осла и других животных, потом превращается в черного страшного человека о семи головах и постепенно начинает расти вверх, пока не коснется неба. Если в этот момент он увидит какого-нибудь человека, а особенно ребенка, то схватит его цепкими руками, подымет на небо, помнет, помнет и, зажарив на солнце, разорвет на куски и съест.

Я как-то спросил у нее:

— А разве, когда вы его видели, он вас не заметил и не съел вас?

Она ответила:

— Твой старший брат-мулла (так она называла своего мужа, Иброхим-ходжу, бродягу и заклинателя) научил меня *«великому слову».* Всякий раз, когда я видела Семиголового дива, я произносила «великое слово», и он не мог меня коснуться и причинить мне вред. — Потом она добавила:

— Ты нигде не рассказывай сказок о дивах и оборотнях, потому что они могут сразу же причинить тебе вред. Я и Тута-пошшо не боимся их, потому что знаем «великое слово», и они ничего не в силах нам сделать.

С этого времени я стал очень трусливым, всюду мне мерещились дивы или аджина, и я часто начинал дрожать. А так как Султон-пошшо напугала меня и велела никому о них не рассказывать, то я даже своим родителям ничего не говорил.

«ДИВ» И «ДРАКОН»

Вообще в Соктари, которая считалась деревней «заклинателей», в частности «заклинателей дивов», ходило много сказок о дивах, джиннах и драконах. На северо-запад от нашей усадьбы находилось «священное место» — мазар, до которого от нас было не более четырехсот метров. Этот мазар представлял собой холм с множеством могил. В северо-западном углу холма темнела пещера.

Любители сказок говорили, что в пещере живет дракон и каждую ночь, когда все люди засыпают, он выходит наружу и ползет на берег Зеравшана. Погрузившись в реку, дракон опускает нижнюю губу на самое дно, а верхнюю держит на поверхности, таким образом перекрывает воду, и вся она уходит в него. Когда он напьется досыта, то возвращается к себе обратно. Если при этом кто-нибудь встретится ему на пути, то дракон проглотит его живьем. Дракон боится лишь ветра и всякий раз, когда поднимается ветер, он начинает стонать.

Я верил этому и, когда подымался ветер, обращался в сторону мазара и прислушивался. Действительно, при большом ветре из пещеры слышался вой.

В западной части мазара возвышался небольшой холм, который называли Гариб-Мазар. На холме хоронили путников, пришельцев из других мест. Гариб-Мазар густо порос колючим кустарником, через его цепкие заросли невозможно было пробраться. По ночам оттуда раздавались рыдания и вой. Любители сказок уверяли, что там воют оборотни. Колючих зарослей на холме я тоже боялся.

* *
*

Однажды моя мать собралась навестить своих родителей в Махаллаи-Боло, и старший брат отправился вместе с ней. Мы с отцом остались вдвоем в нашем соктаринском доме. В садике под абрикосовыми деревьями отец посеял пшеницу и только что закончил жатву. В те времена предусмотрительные крестьяне сжатое поле поливали в ветреный день, чтобы сухую солому отнесло в сторону и земля стала бы чистой.

В один из таких вечеров, когда мы были одни, после захода солнца поднялся ветер, и отец пустил воду на сжатое поле. Однако вода не успела еще разлиться по всей земле, как ветер стих.

Оставив меня одного на суфе, отец пошел в садик и стал ветками гнать воду, чтобы солома собралась в одном месте.

Когда отец удалился и стало темнеть, я сразу же вспомнил Семиголового дива, о котором рассказывала Султон-пошшо. Мне показалось, что к суфе подошла кошка, прошло немного времени, как появились собаки и ослы. Среди ослов было несколько хорошеньких ослят, а я уже давным-давно мечтал приобрести такого осленка и ездить на нем верхом. Я увлекся разглядыванием ослят, как вдруг все животные слились вместе и превратились в черного семиголового человека; он начал быстро увеличиваться. Я закричал, что было силы:

— Ой, умираю!

— Что случилось, что случилось? — спросил громко отец, и как только раздался его голос, тот черный человек о семи головах сразу же исчез.

Отец подошел ко мне и стал расспрашивать, я рассказал ему о чудовище и, ссылаясь на слова Султон-пошшо, уверял его, что это был Семиголовый див.

Отец засмеялся.

— Был когда-то большой ученый человек шейх Саади, он говорил: «Не бойся дивов, див не трогает человека, но бойся дивоподобных людей». Див не может повредить человеку, человек сильнее всего на свете. Если тебе что-нибудь почудится, ты не бойся и всегда

вспоминай слова шейха Саади, этот человек никогда не говорил неправды.

— А кто такие «дивоподобные люди», что их нужно бояться?

— «Дивоподобные люди» есть повсюду, много их и в нашей деревне, некоторые из них всю жизнь обманывают своих односельчан, читают и пишут заклинания и называют себя «заклинателями дивов». Они-то и есть «дивоподобные люди». Сначала они пугают доверчивых слушателей нечистой силой, а потом говорят: «Мы укротим дивов» — и берут за это деньги.

Отец задумался, немного помолчал и продолжал:

— Вот, мой двоюродный брат Иброхим-ходжа тоже стал «дивоподобным»... Только он оказался глуп. Если другие «дивоподобные» на заклинаниях дивов и талисманах наживают богатства, то этот дурак даже не может насытить свой собственный живот. И все же он не бросает своего бесчестного занятия. Мало того, он еще и жену свою приспособил в помощники, и она тоже стала «дивоподобной». Ты больше не ходи к Султон-пошшо и не слушай ее басен, а если она заговорит о дивах и пери, то ты ей не верь.

Слова отца придали мне мужества, но все же на сердце было неспокойно из-за дракона и оборотней, которые скрывались в пещере и колючих зарослях Гариб-Мазара. Ведь я собственными ушами много раз слышал исходившие оттуда вой и стоны. Я спросил отца, что все это значит.

— В зарослях на Гариб-Мазаре живут и воют шакалы. Ты слышал их голоса. С холма прибегали и те шакалы, которые утащили у нас нынче двух куриц. А что за странные звуки раздаются из пещеры, ты узнаешь завтра.

На следующий день отец собрался вести меня к норе «дракона». Перед уходом он поставил передо мной пустой кувшин.

— Приложи рот к отверстию кувшина и сильно подуй, — приказал отец.

Я подул, из кувшина раздалось громкое гудение.

— Теперь запомни, что получилось, это тебе пригодится, когда мы будем осматривать пещеру, — посоветовал отец и повел меня на мазар.

От страха перед «драконом» я никогда прежде не подходил близко к пещере и теперь впервые увидел ее прямо перед собой. С северо-западной стороны холма, метрах в пяти от его подножия, было выкопано углубление, напоминающее крытую террасу; чтобы земляной навес террасы не обрушился, его подпирал сложенный из жженого кирпича столб. Под навесом в самом холме виднелась пещера, может быть искусственная; она уходила наклонно в глубь холма.

Отец все это мне показал.

— Всякий раз, — объяснил он, — когда подымается сильный ветер, он дует под навес и устремляется в пещеру. Там нет другого выхода, и потоки воздуха, не найдя себе пути, снова возвращаются обратно. Тот вой, который ты слышишь из пещеры в ветреную погоду, есть не что иное, как шум ветра в ее переходах.

Потом отец напомнил мне, как я дул в кувшин, и добавил:

— Ты слышал, как от одного твоего дуновения загудел кувшин? Сила ветра в тысячи раз больше, чем сила твоего дыхания, а величина и глубина пещеры несравнимы с нашим кувшином. Поэтому и ветер с таким жутким завыванием вырывается наружу. Здесь нет ни дракона, ни звуков его голоса.

Отец мой верил в существование дивов и оборотней, но от других односельчан он отличался тем, что говорил: «Дивы и оборотни не могут причинить людям вреда», — и в подтверждение своих слов приводил уже упомянутый мною стих Саади Ширазского.

Так отец избавил меня от страха перед дивами и джиннами, и это принесло мне большую пользу. С тех пор я уже не боялся ни одиночества, ни темноты. Однажды, когда я стал старше, мне пришлось даже побиться об заклад с ребятами, которые думали, что в зарослях Гариб-Мазара находится «обиталище оборотней». Ночью я один пошел к наводящим страх зарослям и воткнул там в землю нож.

Свои воспоминания об этом споре и некоторые связанные с ним события я описал потом в очерке «Ахмад — заклинатель дивов».

* *
*

Осенью того же года отец и Усто-ходжа, посоветовавшись, договорились послать своих старших сыновей учиться в Бухару.

Отец взялся отвести будущих учеников в город, определить куда-нибудь и найти им жилье.

В первых числах сентября — месяца, предшествовавшего началу учебного года в бухарских медресе, — отец отвез в Бухару старшего сына Усто-ходжи, Сайид-Акбар-ходжу, и моего брата Мухиддина. Как говорил отец, присматривать за ними и руководить их занятиями взялся брат моей матери по имени Мулло-Дехкон.

После этого я остался в семье единственным подрастающим помощником. Правда, в то время у меня уже появился младший брат Сироджиддин, но он был слишком мал и, по словам отца, еще «не вошел в ряды сыновей». Я старался в меру моих небольших сил помогать родителям, чтобы они не ощущали отсутствия старшего брата.

Поздней осенью со стороны Гариб-Мазара участились нападения шакалов на деревенских кур. Первыми жертвами пали наши и соседские курицы. Так случилось потому, что усадьбы наши находились на северной окраине деревни, а логовища шакалов примыкали к полям. Чтобы бороться с хищниками, отец съездил к моему дяде — пастуху из деревни Махаллаи-Боло — и взял у него шестимесячного щенка пастушьей собаки, которого звали Хайбар.

ХАЙБАР

Хайбар был очень умной собакой и за весьма короткий срок стал отзываться на наши слова и усвоил свои основные обязанности. Он понял, что в этом доме наибольшей опасности подвергаются куры и опасность эта грозит со стороны шакалов.

Его всегда можно было застать возле деревьев, на которых спали куры. Время от времени он бегал к садику, где обычно проходили шакалы, проверял, все ли в порядке, и возвращался обратно.

Была весна, начали цвести абрикосовые деревья. Собаке уже

почти исполнился год. Однажды утром, на рассвете, отец отправился в мечеть на первую утреннюю молитву. Я тоже рано проснулся. Неожиданно я услышал, как закудахтала курица, следом за этим послышался звук падения с крыши на землю какого-то тяжелого предмета.

Я тотчас же вскочил, набросил на себя халат, выбежал из дома и стал звать Хайбара. Он не откликнулся, его нигде не было видно. Прежде чем разыскивать собаку, нужно было проверить кур на деревьях. Одной из них не хватало. Было очевидно, что ее утащил шакал.

Я побежал в садик, а оттуда вышел в поле. Уже совсем рассвело, и даже дальние предметы были отчетливо видны. Метрах в двухстах от ограды стоял Хайбар, повернувшись в сторону нашего двора. Увидав меня, он отрывисто пролаял, словно чем-то был занят. Я окликнул его по имени и подозвал к себе. Подхватив что-то в пасть с земли, Хайбар стал приближаться к усадьбе. На полпути он снова положил свою ношу на землю и, обернувшись, внимательно посмотрел назад, потом стремглав подлетел ко мне, схватил зубами за подол халата и с отрывистым лаем потянул за собой. В ту же минуту пес снова бросил меня, подбежал к оставленному на земле предмету и остановился.

Мне стало ясно, что собака вырвала курицу из лап шакала, но боялась сама принести ее, чтобы не задушить, она звала меня следовать за ней и взять курицу.

Когда я подошел, курица, еще живая, лежала на земле. У нее на спине, животе и на крыльях виднелись следы зубов шакала.

Я поднял курицу и понес домой, а впереди меня, резвясь и играя, бежал Хайбар. Когда мы пришли к матери, то Хайбар стал кататься перед ней по земле, словно просил прощения за то, что из-за его недосмотра шакал утащил курицу, и вместе с тем выражал радость, что ему удалось ее спасти.

Обычно Хайбар не спал всю ночь, пока на рассвете из дома не выходил отец, чтобы совершить омовение. Тогда, успокоившись, Хайбар забирался на крышу отцовской мастерской, где было положено сено, и, зарывшись в него, засыпал.

Постоянно охотившиеся за курами шакалы от страха перед Хайбаром не решались приблизиться к нашему двору. Однако со временем они освоились с привычками Хайбара. Когда собака засыпала, было уже светло, шакалы, набравшись храбрости, нападали на кур. Хайбар понял коварство своих врагов и уже больше не ложился спать на рассвете. Он исполнял свои сторожевые обязанности до тех пор, пока выходили из дома члены нашей семьи и куры спускались с деревьев.

Хайбар был исключительно благороден и деликатен. Однажды, придя на террасу, где была кухня, он обнюхал стоявшую там тарелку. Мать рассердилась и ударила его поленом. После этого случая Хайбар перестал есть то, что она давала ему. Целый день он спал на сене, а ночью, спустившись с крыши, караулил кур.

Мать сказала отцу:

— Хайбар захворал, вот уже два дня, как он ничего не ест.

Эта весть меня сильно встревожила. Я очень привязался к Хайбару, а после истории с шакалом полюбил его еще больше. Захватив из дома кусок лепешки, я отправился к собаке узнать, что с ней случилось. Хайбар был на крыше, на мой зов он спустился вниз и с жадностью съел брошенную ему лепешку. Я сказал об этом родителям. Тогда отец велел матери тоже дать Хайбару лепешку, но собака даже не взглянула на нее. Я снова дал ей кусок, и она опять съела.

Отец спросил у матери:

— Хайбар на тебя обиделся, в чем дело?

Мать рассказала о случившемся.

— Хайбар прав, — ответил отец, — ведь он пастуший пес, а пастухи не запрещают своим собакам подходить к котлам и тарелкам. Вот почему он без страха подошел к тарелке и обнюхал ее. Тебе нужно было спокойно, мягко дать понять Хайбару, что он плохо поступил, а так как ты этого не сделала, он обиделся.

Хайбар на самом деле обиделся не на шутку и еще долго не брал еду из рук матери. Эту собаку, ее повадки и гордый нрав я описал в романе «Рабы».

* *
*

Когда мы вернулись в Соктари, отец сказал матери, чтобы она посылала его дяде Абдулло-ходже часть той пищи, которую готовила для нас. Мне он наказал носить ему еду и проверять, есть ли у старика в кувшине свежая вода; если кувшин окажется пустым, я должен был его наполнить.

По нескольку раз в день я ходил к Абдулло-ходже, которого все звали «амак-бобо» — «дядюшка-дед». Это был высокий, худой, смуглый старик с небольшой седоватой бородой. У него были нависшие густые и длинные брови. Если Абдулло-ходжа хотел на кого-нибудь посмотреть, то был вынужден кончиками пальцев отодвинуть волосы с глаз.

Однако он обычно ни на кого не смотрел и ни с кем не разговаривал, а молча сидел в углу мехмон-хоны. Несмотря на свои девяносто лет, «амак-бобо» был еще довольно крепок; днем он один-два раза выходил во двор — совершал омовение, дышал свежим воздухом — и снова возвращался в уединенный угол.

Рассказывали, что за всю свою жизнь он ни разу не болел, даже перед смертью не чувствовал недомогания. Однажды вечером я принес и поставил перед ним похлебку, на следующее утро снова явился к нему с молоком и лепешкой. Старик лежал и спал; чашка стояла перед ним пустая. Я не решился оставить молоко и лепешку, чтобы не съела кошка, и рассказал отцу, что Абдулло-ходжа все еще спит.

— В это время дядя никогда не спит, он встает всегда за два часа до восхода солнца. Нужно сходить его проведать, — сказал отец. Я пошел вместе с ним.

У жилища старика отец проверил стоявший возле двери кувшин.

— Кувшин пуст! Видно, он вставал утром, — сказал отец и вошел в мехмон-хону. Склонившись над Абдулло-ходжой, отец сначала пощупал руку, а потом сердце.

Он только что умер и даже еще не застыл.

Отец велел мне позвать Усто-амака. Я привел его. Они вместе обрядили старика, дали материи на саван. Сына его в Соктари не было, и никто не знал, где он находится.

Оповестили жителей деревни и в тот же день после полудня покойника отнесли во двор мечети, где прочли заупокойную молитву. После чтения молитвы люди сняли материю, покрывавшую погребальные носилки, разорвали ее на куски и разделили среди присутствующих.

Я спросил отца:

— Зачем они разорвали и взяли материю с погребальных носилок?

— Эти дураки считают благословенными носилки, на которых лежал старик. А когда он был жив, ни один из них даже не справился о его здоровье, теперь же ждут, что обрывки ткани, которые я дал из своего дома, принесут им счастье.

ДЯДЯ-МАСТЕР

Зимой жители Соктари ничего не строили. Однажды Усто-амак (Усто-ходжа) сидел на небольшой террасе и мастерил из карагача дверь. Он так старательно полировал карагачевые доски, что в них хоть и неясно, но отражались все окружающие предметы. На эти крепкие доски, которые вполне можно было называть «железными», он наносил резьбу различными стальными стамесками. Вырезанные им узоры казались такими тонкими, изящными и красивыми, словно искусный художник нарисовал их кисточкой на бумаге.

Усто-ходжа был веселый, открытый, общительный человек и немножко шутник. Он никогда не зазнавался, одинаково приветливо держался с высшими и низшими, был ровен со всеми. Со мной, в то время еще маленьким ребенком, он обращался, как со взрослым. О чем бы я его ни спрашивал, он охотно отвечал, особенно если дело касалось резьбы по дереву, старался объяснить все тонкости своего искусства. Работа, которая казалась мне однообразной и скучной, ему никогда не надоедала, с раннего утра до позднего вечера он не бросал стамески и долота.

Однажды я спросил его.

— Дядя! У кого вы научились такому искусству?

— Все наши родственники издавна плотничали или занимались

столярным ремеслом. Разве ты не видишь: отец и дядя у тебя мастера, двоюродный дядя тоже был мастером, славились своим мастерством дед и прадеды наши. Но никто ни у кого не брал уроков, учились друг от друга, а потом по способностям одни становились очень искусными мастерами, другие менее искусными. Я тоже научился плотничать, глядя на своего отца и деда, а дальше уже до всего додумался сам. Первые узоры для резьбы я делал, глядя на могильные камни возле нашей мечети, а потом по своему разумению стал придумывать более разнообразные красивые рисунки.

Дядя показал мне узор, который только что нанес на бумагу, и сказал:

— Этот узор называют «дувоздах-гирех» — двенадцать узлов.

Потом принес другую бумажку и добавил:

— Это тоже «двенадцать узлов», но разница заключается в том, что там у меня среди двенадцати узелков нарисованы звездочки и миндалинки. Видишь, насколько новый узор «двенадцать узлов» красивее и приятнее старого. Вот эти маленькие дополнения к старому узору я сам прибавил.

Дядя сложил в кожаную папку бумаги, которые называл образцами, и продолжал:

— Если бы все подмастерья довольствовались только искусством своих учителей, то никакое мастерство не двигалось бы вперед. Лишь тот из учеников хорош, кто сам что-нибудь изобретает и дополняет своим умением мастерство учителя. Постой, постой, — сказал дядя, — я устрою сейчас для тебя что-то интересное.

Он пошел во внутренний двор и принес оттуда тростник длиною в полметра, полая сердцевина его была примерно в полсантиметра.

Дядя взял свою круглую шлифовальную палочку и отполировал внутренность тростника, потом с одного конца сделал продольный разрез, равный примерно половине ногтя. Затем он тонко оскоблил кусок овчины и отрезал небольшой лоскуток, достаточный, чтобы закрыть разрез на тростнике. С одной стороны кожаного лоскутка дядя пришил иглой кусок тонкой веревочки; со стороны разреза шилом просверлил дыру в тростнике и пропустил сквозь от-

верстие привязанную к коже веревочку, затем загнутой проволочкой вытащил конец ее наружу. Когда он сильно притянул веревку, кожа изнутри плотно прилегла к разрезу и закрыла его. Потом дядя обстругал кусочек дерева наподобие пробки и заткнул им конец тростника с той стороны, где был разрез.

После этого он нашел сухой прут от тутового дерева, расщепил один конец его на четыре части и обстругал другой конец прута. Из тонкого куска овчины дядя вырезал кружок такой величины, чтобы он смог закрыть внутреннее отверстие в тростнике, в середине кружка сделал дыру, пропустил сквозь нее тонкий конец прута и привязал получившийся кожаный поршень к расщепленному на лопасти второму концу этого прута.

С другого конца тростника он просверлил еще одну скважину и привязал к ней ткацкую цевку.

Затем дядя налил немного воды в ведро, прут с поршнем вставил в тростник и опустил его надрезанной стороной в воду, а второй конец с цевкой поднял кверху.

Когда он начал двигать «ручку» вверх и вниз, вода поднялась по тростнику и стала выливаться сквозь цевку.

Меня очень удивило это устройство, я спросил у Усто-амака, как вода попадает внутрь тростника и почему она поднималась вверх.

Усто-амак пояснил мне:

— Когда я подымаю ручку, кожаный кружок плотно лежит на лопастях прута и гонит воздух кверху внутри тростника. Нижняя часть тростника освобождается от воздуха, вода устремляется в отверстие, отжимает своей силой кожаный лоскуток, который его закрывал, и наполняет образовавшуюся пустоту. Теперь мы опускаем ручку вниз — под действием сжавшейся воды кожаный лоскуток плотно прилегает к отверстию, не дает воде вылиться обратно в ведро. Ручка опускается, вода давит снизу на кожаный кружок, лежащий поверх лопастей, отгибает его края и заполняет свободное пространство внутри тростниковой трубки. Если два-три раза поднять и опустить ручку, то вода начнет выливаться сверху через цевку.

Кончив объяснять, дядя отдал мне эту вещь.

— Она будет для тебя хорошей игрушкой, — сказал он, — а называют ее «насосом».

Я был восхищен его работой.

— Вы сами придумали эту игрушку? — спросил я.

— Нет, — ответил дядя, — подобный насос сделал мой отец Сайид-Ахмад-ходжа — твой дедушка. Он распилил пополам толстое длинное бревно самаркандского тополя (этот тополь в Самарканде называют самшитом), каждую половину бревна выдолбил наподобие желоба, потом соединил их вместе. У него получилась деревянная труба, похожая на тростник. Поверх дедушка набил еще два-три обруча, чтобы бревно не разошлось от напора воды. Наконец работа была окончена. Однажды в конце недели, когда люди собрались в мечети на пятничный намаз, дедушка с помощью насоса поднял воду из бассейна внизу на крышу мечети и опять изумил всех. К сожалению, насос был таким тяжелым, что один человек не в силах был передвигать ручку. Тогда к ручке присоединили поперечную палку, и два сильных парня, взявшись за оба конца ее, стали поднимать и опускать поршень, вода полилась, как из горлышка кувшина.

Усто-амак снова уселся на свое рабочее место и принялся точить на бруске стальные стамески; помолчав немного, он добавил:

— В тот год в Зеравшане очень понизился уровень воды, а летом река вовсе пересохла. Посевы на берегу реки всегда раньше созревали без поливов, им достаточно было речной влаги; оставшись теперь без воды, они начали засыхать. Тогда крестьяне, притащив на берег Зеравшана насос твоего деда, начали поливать поля из оставшихся в реке озерков и лужиц воды.

Вырезая острой стамеской тонкий узор, Усто-амак говорил:

— Мне было семь лет, когда твой дед изобрел приспособление для подъема воды. Ты кажешься мне способным к ремеслу мальчиком, вот я для тебя и сделал по этому образцу игрушку. Иди, играй.

Лет десять спустя я впервые увидел сделанный из металла и более совершенный насос, который привезли из России. С его помощью перекачивали из бочек керосин и бензин.

* *
*

Усто-амак хотел вырастить своего младшего сына, Икром-ходжу, искусным мастером. Но тот не желал учиться отцовскому ремеслу и нарочно портил всякую резьбу, которую заставлял его делать отец.

Однажды Усто-амак жаловался моему отцу на своих сыновей:

— Сайид-Акбар, как видно из его важного имени, уже перерос сам себя.[1] Он не хотел учиться ремеслу, считал для себя постыдным это занятие. Я тогда подумал: «Ладно, раз он не хочет стать ремесленником, человеком, прах его побери, пусть хоть будет муллой-недоучкой» — и определил учиться в медресе. А вот младший — так тот уже совсем неудачный орешек. Два года я учил его сам, три года держал в школе, но за все это время он едва-едва только научился читать, а обучаться ремеслу вообще не желает. Он не будет ни человеком, ни муллой, а постепенно вообще превратится в осла!

— Уж лучше стать просто ослом, чем муллой, — ответил отец.

Действительно, Икром-ходжа был очень упрям. Однажды Усто-амак нарисовал на доске узор «ислими» — гибкий побег деревца — и дал ему, чтобы он поупражнялся в резьбе. Но Икром-ходжа вырезал те места, которые надо было оставить, а то, что надо было вырезать, оставил нетронутым. Сколько я ни напоминал, что наказывал ему отец, он не слушался и только твердил: «Ты не знаешь!».

Когда он показал работу своему отцу, тот рассердился, поднял палку, которую тесал для топорища, и закричал:

— Убегай, а то отколочу!

Икром-ходжа отступил на два-три шага назад. Усто-амак вскочил с места и повторил:

— Убирайся, бить буду! — и кинулся вслед за сыном.

Икром-ходжа убежал во внутренний двор. Я очень испугался: если дядя догонит упрямца и побьет палкой, как бы он его не изувечил. С криком: «Дорогой дядя, не бейте его» — я бросился следом за ними. Икром-ходжа из внутреннего двора выскочил в садик и на ми-

[1] Акбар (арабское) — старший, высший. *(Примеч. автора).*

нуту остановился у выхода в поле. Усто-амак выбежал на середину садика, сел на землю, чтобы перевести дыхание, потом снова вскочил и приказал:

— Убегай, а то отколочу!

Икром-ходжа побежал, дядя опять погнался за ним, а я кричал им вслед: «Не бейте»... Таким образом они дважды обежали поле. Наконец Усто-амак окликнул сына:

— Иди сюда, теперь я тебя не буду бить, гнев мой уже утих.

Дядя направился домой, а я пошел следом за ним. По дороге он сказал:

— Ты боялся, что я побью Икром-ходжу? Нет, я не хотел его бить. Осел не бьет своего детеныша, корова не бьет теленка, для чего же человеку бить своих детей? Я только попугал его, чтобы он учился ремеслу. Не рассказывай об этом своему отцу, а то он будет смеяться надо мной.

* *
*

Усто-амак был не только родственником, но и близким другом моего отца. Оба они одинаково относились к людям и держались одних и тех же мыслей и убеждений. Разница была лишь в том, что Усто-амак обладал более веселым и обходительным характером, чем мой отец. Он умел пошутить и о дурных поступках людей говорил им ласково и правдиво прямо в лицо. Однажды наш сосед Азиз-ходжа привязал к дереву за какую-то провинность своего сына Элом-ходжу и стал его избивать. Услышав вопли Элом-ходжи, Усто-амак пошел к ним во двор и схватил Азиз-ходжу за руку:

— Довольно, дядюшка-ишан, он раскаялся, он больше никогда вас не ослушается.

— Мой сын спятил с ума, его надо привести в чувство, он не знает, что такое раскаяние! — Азиз-ходжа пытался вырваться из рук Усто-амака, чтобы дальше бить сына.

— Вы, дядя-ишан, странный человек, разве в одном дворе нельзя оставить двух сумасшедших! У нас в деревне я знаю десяток дворов, в каждом из которых живет по нескольку сумасшедших.

Так Усто-амак назвал самого Азиз-ходжу безумцем и одновременно бросил камень в огород других ишанов, которые занимались заговариванием сумасшедших. Все это он обычно говорил так остроумно, что если слушатель и мог отнести подобные слова на свой счет. то не нашел бы уместным отвечать на них.

Мой отец был немного грубее и более резок. Если ему что-нибудь не нравилось, то он говорил об этом прямо в глаза, не выбирая слов, и его совершенно не интересовало, будет или не будет обижена противная сторона.

ТОЛСТЯК ЛУТФУЛЛО

В Соктари жил еще один человек, который привлекал к себе мое внимание с малолетства. Звали его Лутфулло-толстяк. Он был сыном нашего непосредственного соседа Авез-ходжи. Отец Лутфулло работал чайрикором — издольщиком или, как тогда говорили, «был сеятелем» на землях у тех крестьян, которые сами их не обрабатывали. У него подрастали еще два сына, старшего из них звали Низом-ходжа, он учился, а младший, мой ровесник, еще ничего не делал. Сам Авез-ходжа отличался болтливостью и ленью; двадцать танобов земли (пять гектаров), которые он взял исполу, обрабатывал только один Лутфулло-толстяк.

В Соктари крестьяне работали кетменями, которые делал Усто-Дуст-бай (из Гиждувана); каждый изготовленный им кетмень весил четыре килограмма. Говорили, что имеется лишь десять человек, которые заказали Усто-Дуст-баю кетмени по пяти килограммов. Одним из них был Лутфулло-толстяк.

Однако местные крестьяне отличали Лутфулло-толстяка от других девяти человек, работавших тяжелыми кетменями, они говорили: «Он работает, как див!». И верно, Лутфулло-толстяк с утра до полудня и с полудня до ужина без передышки перекапывал землю, а во время обеда ел столько, сколько съедали четверо рабочих.

Однажды я играл на берегу ручья Мазрангон, протекавшего посреди деревни, в руках у меня был насос Усто-ходжи. К ручью подошел один человек из рода сайид-ато — Абдушукур-ходжа —

с несколькими парнями, он хотел перепрудить ручей и отвести воду в свой сад. Но это им никак не удавалось: все, что они сыпали в ручей, — землю, песок — все уносила вода.

В это время появился толстяк Лутфулло и, понаблюдав некоторое время за их работой, сказал Абдушукур-ходже:

— Дядюшка-ишан! Что вы мне дадите, если я один запружу ручей?

— Я дам тебе лепешку и масляной халвы, — ответил Абдушукур-ходжа.

Лутфулло-толстяк согласился и, сняв с себя всю одежду, кроме штанов, принялся за работу. Сначала на обоих берегах ручья он навалил по куче земли. Трудность заключалась в том, что у него под руками не было дерна и жидкой грязи. Дно ручья все было песчаное, а берега — супесчаные. Тем не менее Лутфулло-толстяк не смутился и, войдя в воду, стал сбрасывать в нее собранную с одной стороны землю. Так он запрудил третью часть русла и перешел к другому берегу; там тоже засыпал третью часть. Самое трудное начиналось теперь: стесненная в своем движении вода с силой рвалась в узкий проход и начала размывать рыхлую, только что насыпанную землю.

Лутфулло не стал терять времени даром и лег поперек течения. Головой и шеей он касался земляной насыпи у одного берега, ногами — у другого. Тело его было похоже на бревно, через которое с шумом перекатывалась вода.

В таком положении Луфтулло принялся работать кетменем Дустбая, он выгребал со дна ручья ниже запруды землю и обкладывал ею свое туловище. Руки его так быстро поднимались и опускались, что я даже не находил, с чем их можно сравнить. Лишь позже, когда по бухарской земле пошла железная дорога и я увидел, как мелькают шатуны у паровоза, сразу вспомнил движения рук Лутфулло-толстяка. Тогда между этими движениями я обнаружил полное сходство.

Когда плотина посреди ручья поднялась выше туловища Лутфулло, он встал на колени и, поддерживая животом свое сооружение, снова с той же быстротой продолжал доставать кетменем пе-

сок со дна, пока не укрепил запруду. Выбравшись из воды, он стал бросать на плотину сухую землю, стремясь предохранить ее таким образом от размыва.

В это время на берегу ручья находился Усто-амак и наблюдал за работой Лутфулло. В восторге он воскликнул:

— Братец, дай бог жить тебе тысячу лет и не умирать!

Абдушукур-ходжа засмеялся и сказал дяде:

— Усто-ходжа, вы наградили Лутфулло таким пожеланием, что его нельзя принять и ему оно не принесет ни на грош пользы. Кто живет на свете тысячу лет и кто в нашем мире не умирает? Лучше бы вы ему пожелали: «Дай бог тебе разбогатеть и всегда быть сытым!».

Усто-амак, как всегда, не скрывая своих мыслей, ответил Абдушукур-ходже:

— Разрешите, дядя-ишан, объяснить смысл моего благословения.

— Пожалуйста!

— Пожелание достичь тысячелетия вовсе не означает, что человек должен прожить столько лет. Пусть он за свою обычную жизнь совершит такое дело, для которого другим потребовалась бы тысяча лет. Когда я пожелал ему не умирать, мне и в голову не приходило, что он, выпив волшебной «живой воды», будет жить до дня воскресения из мертвых жизнью, которая хуже смерти; нет — смысл здесь был другой. За те дела, что он способен совершить на земле, пусть имя его останется жить вечно, — вот что я хотел сказать.

Абдушукур-ходжа в недоумении помолчал, затем насмешливо спросил:

— Ну, а какое именно дело, на которое надо тысячу лет, может совершить Лутфулло, и благодаря чему его имя будет жить вечно?

— Лутфулло прожил на свете тридцать лет, — ответил дядя, — и с тех пор, как подрос и взял в руки кетмень, он кормит своим трудом целую семью. А вот вы за свои шестьдесят лет не только не прокормили своим трудом семью, но даже и себя самого не смогли насытить.

— Почему? — иронически спросил Абдушукур-ходжа и добавил:

— Я всегда был озабочен приобретением последователей — мюридов. Каждый месяц они дают мне сто-двести тенег дохода. На эти средства я и моя семья живем, как шахи. А что же еще я должен был делать?

— Удружили, — смеясь, сказал Усто-амак, — вот вы теперь и сами подтвердили мои слова! Разве «приобретение» мюридов можно считать работой? Впрочем, охота за птицами и животными является ремеслом, а приобретение мюридов — не что иное, как охота за людьми...

— Хитростью и обманом ловят людей в свои сети! — сказал кто-то из присутствовавших.

Все засмеялись, а Абдушукур-ходжа, покраснев от стыда и скрытого гнева, засмеялся вместе с другими:

— Ну, довольно об этом, — проговорил он. — Теперь давайте посмотрим, как Лутфулло будет есть заработанную халву.

Он велел своим помощникам принести из дома лепешку и взять в лавке ургенчцев халву.

* *
*

Толстяк разломил лепешку на четыре части, завернул в каждую из них по куску халвы и отправил все по очереди в рот. Затем зачерпнул пригоршней воды из ручья и напился.

— Губы сказали «пришло», а рот сказал «вошло», живот спросил: «а что же там было наверху, что не дошло донизу?» — пошутил Лутфулло.

Все засмеялись, и какой-то молодой крестьянин его спросил:

— Братец Лутфулло, сколько вы сейчас могли бы еще съесть кусков халвы?

— Если сейчас, — ответил Лутфулло, — то еще три куска, а если вечером, то четыре.

— Зря говорите, вы и одного куска больше не сможете съесть, — усомнился другой парень.

— Приготовьте халву и увидите, сколько я ее съем.

— Давайте биться об заклад, — вмешался еще один из присутствующих. — Ведь нам негде взять даровой халвы!

— Какое бы вы ни поставили условие, я согласен, приготовьте халву, — сказал Лутфулло.

— Три куска халвы, это три теньги денег, — подсчитал крестьянин, приглашавший биться об заклад, — если вы сможете съесть — ешьте на здоровье, сверх того я доплачу еще три теньги. А если не сможете, то вернете мне три теньги за халву и три теньги заклада — всего шесть тенег. Ну, что скажете?

— Что скажу? Несите скорее халву, пока я еще не почувствовал, что сыт.

Принесли халву. Лутфулло принялся ее есть, запивая каждый кусок глотком воды. Покончив с едой, он получил от споривших заклад.

— На самом деле вы выиграли не шесть тенег, а семь, — сказал крестьянин, принесший халву. — В трех кусках обычной халвы три нимчи (полтора килограмма), а я, чтобы вас обмануть, принес четыре нимчи (два килограмма), стоит это четыре теньги.

— Вы очень хорошо сделали, — сказал Лутфулло и, показав на Абдушукур-ходжу, добавил:

— Дядюшка-ишан, обманывая людей, проедает их деньги, а вы, обманув меня, потратили деньги мне на еду. Это очень славно!

Все засмеялись и разошлись.

Я упоминаю о Лутфулло-толстяке в своем произведении «Ахмад — заклинатель дивов».

* *
*

После окончания сельских работ в Соктари отец постоянно был занят ткачеством. Он чаще всего изготовлял хлопчатобумажную ткань — карбос. Значительную часть готовой ткани отец относил для обработки отбельщику, а затем заказывал из нее одежду, подкладку для одеял и тюфяков, наволочки на подушки, скатерти и другие нужные в хозяйстве вещи. Только после того, когда вся одежда была сшита, мы отдавали ее красильщику. Он наносил на

каждую вещь узор, который должен был соответствовать ее назначению.

Пестрядь — калами отец оставлял дома, из нее шили для нас халаты без подкладки — «яктак», а также рубашки и штаны. Более тщательно выделанная цветная ткань алача шла на верх и на подкладку ватных халатов. Только для старшего брата, который учился в Бухаре, отец заказал легкий халат из фабричного ситца и бязевые рубашку и штаны. Все остальные члены нашей семьи носили одежду из домашней материи. Отец чаще всего сам приготовлял краску для вытканный им алачи. Из растения живокост он делал желто-гороховую краску, из корок граната — черную, из смеси живокости с чем-то еще черным получалась краска фисташкового цвета, из марены — красная, а также и другие. Лишь оливковую и синюю краски он брал у красильщиков, так как для изготовления этих красок требовалось индиго, привозимое из Индии.

Во всех этих делах мать оказывала отцу большую помощь. После сбора урожая фруктов большая часть ее времени протекала за прялкой, целыми днями она наматывала пряжу или приготовляла цевки. Случалось ей по указанию отца иногда окрашивать пряжу.

В конце зимы отец решил поехать в Махаллаи-Боло, чтобы из имевшегося у него там запаса дерева изготовить мельничные колеса и продать их на окрестные мельницы.

Мать боялась оставаться одна с двумя маленькими детьми в полуразрушенном дворе и была против того, чтобы отец уходил, но он не стал ее слушать:

— Волк вас не загрызет, а если даже и заберется сюда, то у вас есть Хайбар, — сказал он на прощанье и уехал.

НОВОЕ РУСЛО ШОФУРКОМА

Настала весна, с деревьев уже опали цветы, на балхском туте появились завязи плодов, а с тутовых дичков уже начали срезать ветки на корм шелковичным червям. Ручей Мазрангон, разлившийся и мутный после весенних ливней, бурлил и стремительно нес красную воду. Крестьяне выводили упряжки волов, пахали, боронили и

сеяли. Ласточки скатывали жидкую грязь в комочки, напоминавшие хлопковые семена, и на крышах домов под балками искусно строили себе гнезда, словно лодочки. Аисты предпочитали устраивать гнезда на Мазаре под навесом гробницы; в зарослях на берегу канала они охотились за ужами, приносили их и тут же съедали.

Птицы, похожие на фазанов или павлинов, с ярким разноцветным оперением, остерегаясь аистов, перепархивали с куста на куст и своим испуганным писком предупреждали других птиц об опасности. Жизнь кипела вокруг, люди, птицы, растения — все было в движении.

В один из таких дней, когда весеннее облачко укрыло своей тенью работающих в поле людей от жгучих лучей солнца, из деревни Махаллаи-Боло вернулся мой отец. Я в это время скакал верхом на Хайбаре по переулку за мечетью. Увидев отца, я радостно бросился к нему навстречу; тут же прыгал Хайбар и приветливо вертел хвостом, словно хотел сказать на своем собачьем языке: «добро пожаловать». Отец не обратил на нас никакого внимания, молча привязал осла к тутовому дереву, взял в руки переметную суму и вошел во внутренний двор. Мы с Хайбаром первые прибежали домой и дали знать матери о приезде отца, она выбежала из дома, взяла у него из рук переметную суму и осведомилась о здоровье.

Он и ей ничего не сказал, ограничился лишь обычными расспросами да передал привет от ее родителей. Мать оставила переметную суму на террасе, где была кухня, и быстро вошла в дом. Там она взяла у отца чалму и халат, повесила их на гвоздь и, расстелив на обычном месте отца стеганый тюфячок, заботливо положила несколько подушек.

Отец все также рассеянно и невесело сказал матери:

— Поставь поскорей самовар и завари чай, достань из переметной сумы мясо и убери его куда-нибудь, чтобы не съела кошка. — Он подтянул подушки к изголовью и лег, а я сидел тихо, наблюдая за его печальным лицом.

Мама заварила чай, расстелила возле тюфячка скатерть, принесла лепешки и густой компот из сушеных абрикосов. Отец сел,

стал пить чай и есть, но лицо его по-прежнему оставалось нахмуренным. Пытаясь угадать причину мрачного настроения мужа, она осторожно спросила:

— Разве не удалось продать мельничные колеса?

— Те, что были готовы, проданы, я купил еще два карагачевых дерева, срубил их и распилил на части, чтобы летом можно было обтесать, — ответил отец и снова умолк.

— Не дай бог, уж не захворали ли вы, что так расстроены и огорчены? — наконец прямо обратилась к нему мать.

— Мое расстройство не от болезни, — ответил он, — я огорчен тем, что видел в Шофуркомском тюмене.

Мама словно отыскала кончик запутанного клубочка — поняла причину его печали. Но ей хотелось знать подробности, и она стала допытываться:

— Говорили, что в Шофуркоме выкопали новый канал, это верно?

— Верно, —ответил отец, но сразу же добавил: — Да, лучше бы они его и не прорывали! После тех бед и разрушений, которые свалились на головы жителей из-за передвижения песка, новый канал обернулся для них по пословице: на покойника еще и сто палочных ударов.

Немного придя в себя, отец стал рассказывать:

— Жители Шофуркомского тюменя решили углубить старое русло канала и сделать его проточным, только осуществить это им не удалось. Они несколько раз выгребали песок и до самой степи Ко-Ко пустили небольшой ручей; но не прошло и двух дней, как с берегов канала снова осыпался песок и все завалил. После пережитой неудачи именитые люди округи, старосты, амины обратились к эмиру с прошением, в котором говорили о необходимости провести новый канал, а расходы за выполнение работ советовали возложить на население тюменя.

— Эмир отдал распоряжение четырем управителям Шофуркомского тюменя — казию, раису, амлокдору и миршабу — довести до конца начатую работу. После определения места, где надо рыть новый канал, они предложили населению собираться на хашар и при-

ступили к работе. С осени до весны уже прошло шесть месяцев, за это время они с трудом сумели прокопать полсанга (четыре километра), а все средства, сохранившиеся после разрушения у тамошних жителей, ушли на содержание четырех управителей.

Отец рассказал нам и о том, как ведется работа.

— Однажды я пошел посмотреть, что происходит на канале. На широкой площади были разбиты шатры. В них расположились четыре управителя со своими людьми, со старостами и аминами тюменя в количестве около двухсот человек. Сотни людей — участников хашара — лежали повсюду на земле. Мясники резали баранов, повара варили плов, жарили шашлыки, а пекари пекли сдобные лепешки. Лошади этих двухсот человек перед шатрами своих хозяев пережевывали свежий клевер, и для них на ночь были приготовлены полные мешки ячменя. Деревенские старосты, нагрузив ослов, подвозили рис, ячмень и муку. Повсюду перед шатрами кипели большие самовары. Собравшиеся здесь двести человек ели плов и шашлыки и запивали их чаем. Было уже поздно, и до захода солнца оставалось около двух часов. В это время амины вышли из шатров, вызвали десятников и приказали им, собрав участников хашара, приступить к работе на канале. Пока разыскивали людей, пока готовились, прошел еще час. Когда работа началась, каждый десяток выкопал на своем участке приблизительно один-два газа земли. К этому времени совсем стемнело, и по приказу амина десятники закричали крестьянам: «Сегодня работе конец, завтра вставайте и приходите пораньше, а не то раздадут все деньги». Вот как идет работа! — заключил отец свой рассказ.

— А какая польза управителям так тянуть работу? — спросила мать.

— Если хашар кончится, где эти двести человек будут есть плов, шашлык, сдобные лепешки и где найдут они для своих лошадей клевер и ячмень? — ответил отец. — К тому же их выгода не ограничивается только едой: если они ежедневно требуют от населения на участников хашара по десять тысяч тенег, то половину собранных денег присваивают наличными, а другую половину проедают под видом угощения.

Отец, выпив пиалу чая, немного помолчал, но вот в глазах его засветилась гордость, он взглянул на мать и произнес:

— Я затеял одно дело, не знаю только, принесет ли оно пользу или нет?

Мать немного подождала, но видя, что он дальше ничего не рассказывает, спросила:

— Что же это такое?

— Пока еще не следует открыто говорить о нем. То, что ты от меня услышишь, никому не передавай, — сказал он и стал рассказывать:

— Я понял, что люди Шофуркомского тюменя будут совсем обездолены, а нового канала все равно не проведут. Тогда мне пришла в голову мысль написать обо всем эмиру. Целый лист бумаги заполнил, описал ход работы на канале, так же, как я сейчас вам рассказывал. Ради успеха хашара я просил эмира прислать к нам какого-нибудь честного богобоязненного человека, который без промедления закончил бы работу. Каждый день задержки приносит вред и народу, и правительству. Ведь если канал не будет вскоре прорыт и по нему не пойдет вода, земли останутся без посева, от кого же тогда эмир будет получать подати и налоги?

— От чьего имени вы написали жалобу?

— От своего собственного, — отвечал отец, — только я не указал своего имени. В конце прошения я написал: «Пищущий эти строки в Шофуркомском тюмене не имеет земли и в воде не нуждается. О работах на канале искренне докладывается вашему величеству с надеждой принести пользу и народу и правительству».

— Вы свое письмо доставили эмиру? — спросила мать радостно.

— Оно должно дойти. Я отдал его твоему брату Курбон-Ниёзу, он смелый, умный парень и без задержки доберется до Бухары. В пятницу эмир поедет из Арка в мечеть, Курбон-Ниёз будет ожидать его среди народа. При проезде эмира по улице он подымет высоко мое прошение. Скороход возьмет письмо и отдаст эмиру. Когда тот прочитает его, то должен будет принять какие-нибудь меры. Ведь это для его собственной пользы!

Когда отец кончил свой рассказ, ему наверное показалось, что письмо уже принесло пользу общему делу. На лице его не осталось и следа той печали, которая была видна при возвращении в Сокта́ри, и он как прежде занялся своими повседневными делами.

* *
*

Через две недели после возвращения отца из Махаллаи-Боло приехал на лето мой старший брат вместе с Сайид-Акбар-ходжой. Учебный год у них закончился, но они, отдохнув две недели, стали дальше учиться у деревенского хатиба.

Еще через месяц к нам пришел мой дядя Мулло-Дехкон проведать свою сестру — мою мать. Он рассказал, что в Бухаре он учился вместе с сыном гидждуванского казия Абдулвохида. После окончания занятий они оба отправились в Гидждуван, чтобы продолжать там учение у казия. Но на имя казия от эми́ра пришел фирман, чтобы он отправился в Шофуркомский тюмень и стал руководителем работ по рытью нового канала. Абдулвохид должен был так повести дело, чтобы к концу лета в новом канале потекла вода и народ смог бы брать ее для осенних посевов.

Услышав об этом от дяди, мой отец едва не вскрикнул от радости; казалось, что он вдруг стал расти, выше поднял голову, расправил грудь. Было видно, что радость от полученного известия не вмещается в его сердце. Но отец сдержался, только многозначительно взглянул на мать, радостно улыбнулся и не промолвил ни слова о своем письме. Он лишь спросил у дяди́:

— Ну, а после назначения нового начальника как наладилось дело?

— Когда я был в Гидждуване, — ответил дядя, — этот указ был только что получен нашим учителем-казием. Прекратив уроки, он немедленно поехал на хашар, а я со своим приятелем — его сыном — еще остался в Гидждуване. Оттуда отправился повидать сестру, а потом пойду к отцу с матерью, поэтому мне не известно, как сейчас

ведутся работы на канале. Я только слышал, что эмир разжаловал всех четырех управителей Шофуркома, которые раньше руководили работами, и отобрал все их имущество.

* *
*

Погостив у нас дней десять, дядя собрался домой, отец хотел пойти вместе с ним и посмотреть, что теперь происходит в тех местах под руководством гидждуванского казия. Я попросил отца, чтобы он взял меня с собой. Отец согласился, и мы втроем направились к дому моего деда в Махаллаи-Боло, где и остановились. Деревенские старики приходили повидаться с отцом и дядей. Они рассказывали о том, как правильно и умело руководит теперь хашаром новый начальник, и каждый из них выражал свою радость. По их словам, гидждуванский казий приказал участникам хашара являться на канал утром и работать дотемна, только в полдень он давал им час на отдых.

Каждый крестьянин должен был приносить себе лепешки из дома, а старосты и амины — также питаться своими продуктами и ничего не вымогать у населения. Сам казий приходил на хашар с двумя своими людьми: один должен был разносить бумаги и распоряжения, другой использовался для личных нужд казия. Еду казий приносил для себя из дома. За десять дней при Абдулвохиде было выполнено столько же земляных работ, сколько за предыдущие шесть месяцев.

Услышав эти новости, отец еще больше обрадовался и сказал моему дяде:

— Пойдем, посмотрим, что там делается, и пожелаем успеха.

Дядя согласился. Меня они тоже взяли с собой. Работа по рытью канала достигла деревни Рубахо, находившейся к югу от Махаллаи-Боло, приблизительно в тысяче шагов. Мы направились туда. Казий, опоясанный платком, с длинным ивовым посохом в руках, стоял на берегу нового канала. Это был худощавый смуглый человек среднего роста, с небольшой седой бородой; у него

были густые нависшие брови, как у девяностолетнего Абдулло-ходжи у нас в Соктари.

Мой дядя поздоровался, склонившись перед ним, как ученик, затем представил ему отца и сказал: «Это мой шурин, он пришел к вам за благословением».

Казий спросил у дяди:

— Это, должно быть, тот самый человек, который научил вас грамоте и определил учиться в медресе?

— Да, это он, — подтвердил дядя.

Тогда казий обратился к отцу:

— Я слышал от своего сына, соученика вашего шурина, как вы содействовали его учению. — И он еще раз приветствовал отца.

— А это чей сын? — спросил казий, заметив меня.

— Мой, — ответил отец.

Казий приподнял меня и снова поставил на землю со словами:

— Дай бог вырасти тебе, стать грамотным, стать ученым! — Из кармана на груди он вынул конфетку в красной бумажке, дал ее мне и обратился к отцу с вопросом:

— Ваш сынок учится?

— Этой осенью отдам его в школу.

К нам подошли братья моей матери — Курбон-Ниёз, Равшан-Ниёз и Ниёз-хон, вместе со всеми работавшие на канале. Они поздоровались с отцом и дядей.

— Кто они такие? — спросил казий.

— Мои братья, — ответил дядя.

— Очень хорошо! Они оба отлично трудятся, — сказал казий и добавил, обращаясь к ним:

— Теперь идите работать, а вечером поговорите. — Курбон-Ниёзу он велел немного задержаться и обратился к дяде-мулле со словами:

— Этот твой младший брат (он показал на Курбон-Ниёза и перешел с «вы» на «ты») прекрасный работник. Среди участников хашара таких, как он, найдется еще человек десять. Но по уму и смелости он их выше...

Видимо, старому казию трудно было стоять, опираясь на свой посох, он сел и пригласил сесть своих собеседников.

— В первый день моего прихода на хашар, — начал он, — я приказал аминам найти десяток плотников, чтобы одновременно с рытьем канала мы могли бы строить мосты, плотины и запруды. Один из аминов сказал мне: «Каждый мастер ежедневно зарабатывает по пять тенег, оплата десяти мастеров обойдется в пятьдесят тенег. Вы запретили брать у населения на расходы по хашару, кто же оплатит работу плотников?». Услышав слова амина, этот парень (он показал на Курбон-Ниёза) обратился ко мне: «Таксир, я прошу вас выслушать мой совет». Говори, — велел я. «Среди работающих на хашаре есть человек пятьдесят плотников и токарей, они наравне со всеми копают землю. Если их освободить от земляных работ и приказать заняться своим плотницким ремеслом, они только обрадуются и будут все делать бесплатно». Я тотчас же собрал всех плотников, отобрал из них человек десять наиболее искусных мастеров и поставил строить мосты, плотины и запруды. Мне понравились ум и смелость Курбон-Ниёза. Если бы у него не хватило храбрости, то и от ума его не было бы пользы и он не смог бы так самонадеянно дать мне совет в присутствии аминов. Вот поэтому каждому надо, кроме ума, обладать еще и смелостью. Но и безрассудная смелость бесполезна.

Казий обратился к моему дяде-мулле:

— Оставь своего брата у меня, я буду очень доволен. Потом спросил:

— Он грамотный?

— Нет, — ответил дядя.

— Ничего, ведь он умный и не робкий парень, значит сможет быть мне полезен и сам тоже многому научится.

Казий отослал Курбон-Ниёза работать, а своему слуге велел принести чаю. Тот снял с ветки дерева кожаный мешок, развязал и достал из него пиалу и бронзовый кувшин для кипячения воды, налил в пиалу чай и подал казию. Двумя глотками казий выпил чай и приказал слуге угостить чаем своих собеседников. Обратившись к отцу, он заметил:

— Этот чай мы заварили еще в Гидждуване и принесли сюда. Жаль только, что он остыл. Вы уж не обессудьте, как бы там ни было, а это лучше сырой холодной воды.

После того как отец и дядя выпили по пиале остывшего чая, казий поднялся с места, остальные тоже встали. Казий предложим им:

— Пойдемте, *пожелаем работающим на хашаре «не знать усталости».*

Казий шел впереди, а отец с дядей следовали за ним, чуть поотстав. Я тоже поспешил вместе с ними. Казий останавливался возле каждой группы работающих, желал им: «Не знайте усталости!». К тем, кто работал лучше других, он обращался отдельно, хвалил их за старанье и называл «молодцами».

В тени деревьев сидели, подпоясавшись, амин и старосты. Завидев издали казия, они вскакивали с мест, бежали к рабочим и громко кричали «копай здесь!» Какой-то очень толстый амин торопливо покинул свое место под деревом и стал громко, так, чтобы слышал казий, поучать землекопов, как надо работать. Когда казий подошел, амин приветствовал его, склонившись в низком поклоне. Казий сказал ему:

— Амин, вы очень растолстели. Этот лишний груз вас тяготит и не дает покоя. Та работа, которую вы вместе с другими аминами и старостами стараетесь делать при мне, нисколько не поможет вам избавиться от жира. Было бы много лучше, если бы вы иногда брали в руки кетмень и трудились, как все на канале. Это облегчило бы не только ваше собственное тело, но и работу участников хашара.

Амин произнес: «Слушаю, таксир», — и поспешно спустился на дно канала. Взяв у какого-то рабочего кетмень, он начал копать землю. Однако после десяти-двенадцати ударов кетменем он так сильно вспотел, словно на голову ему вылили ведро воды, и, совершенно ослабев, сел на землю. Все вокруг громко засмеялись. Казий сказал амину:

— Вот видите, насколько труднее работать, чем поучать и приказывать. А вы даже эти легкие приказания ленитесь отдавать, а улеглись в холодочке и чешете себе живот!

Мы пошли дальше. Пройдя немного, казий оглянулся назад. Все амины и старосты суетились среди работающих.

Миновав деревню Рубахо, мы пришли к тому месту, где к северу от главного канала отходил канал Махаллаи-Боло, а к югу — канал Истамзе. В головной части каждого из этих каналов плотники заканчивали сооружение запруд и для того, чтобы доски на щитах сошлись плотнее, равняли с боков рубанками. Шагах в пятидесяти ниже основной плотины канал уже был готов, а еще ниже продолжалась работа.

Казий велел работающим в конце готового участка канала связать из прутьев временную запруду, а наблюдавшему за постройкой мирабу приказал пойти открыть верхнюю плотину Ко-Ко и спустить воду вниз.

Мираб со словами «слушаю, таксир» отвязал от дерева свою лошадь и поскакал в степь Ко-Ко. Казий обратился к отцу:

— Я стараюсь так наладить работу, чтобы следом за землекопами шла вода. Когда участники хашара собственными глазами видят плоды своей тяжелой работы, у них прибывают силы и крепнет желание довести дело до конца. Уже на следующий день в подготовленной части канала начинает течь вода. Завтра мы проведем воду до деревни Рубахо, а послезавтра до Дехнав.

Опершись спиной о дерево, казий опустился на корточки, а его собеседники сели против него. Казий что-то объяснял им, но я ничего не мог понять, потом он разъяснял сказанное по-таджикски. Отец мой, как школьник, с большим уважением и вниманием слушал его, иногда, получив особое удовольствие от сказанного казием, покачивался всем телом взад и вперед.

В это время прискакал мираб и сообщил, что пришла вода. Казий и его спутники покинули свои места и подошли к запруде. Вода текла, покрытая грязно-желтой пеной; достигнув запруды, она остановилась и начала медленно подыматься. Хотя вода и просачивалась сквозь щели между досок, но это все же не мешало повышаться ее уровню.

Наконец вода достигла до верха запруды и потекла в каналы Махаллаи-Боло и Истамзе. Мутный поток с шумом переливался

через деревянную плотину в русле главного канала и остановился, лишь натолкнувшись на высокую земляную перемычку ниже по течению. Отец и дядя попросили у казия разрешения вернуться домой. Мы шли по берегу канала вдоль течения, и отец говорил дяде:

— Этот человек не только один из самых образованных, умных и ученых людей нашего времени, он беспредельно честен, и тело его как будто сделано из железа. Несмотря на свою старость, он не устает ни сидеть на корточках, ни стоять, ни ходить. Ведь ему уже больше семидесяти лет.

— По словам его сына, ему в этом году исполнилось семьдесять семь лет, — сказал дядя.

Мы пришли в деревню вместе с водой. Мальчишки, радуясь, бегали вверх и вниз по берегу канала, хлопали в ладоши и кричали: «Вода пришла, вода пришла — согласно книге пришла!».

Мы отправились к деду. Там только и говорили о новом начальнике строительства канала, дивились его опытности и умению вести дело. Дядя рассказал дедушке о новой работе, которую поручил казий Курбон-Ниёзу. Мой отец одобрил назначение.

— Хотя я и не люблю службу у чиновников, особенно у казиев, — сказал он, — но сейчас считаю это правильным. Служба у старого казия будет хорошей школой для Курбон-Ниёза.

Руководитель строительством канала Абдулвохид был тот самый казий Абдулвохид, известный под поэтическим псевдонимом Садри Сарир, которого я помянул добрым словом в сборнике «Образцы таджикской литературы». Его стихи приведены на 385—391 страницах этой книги.

В ШОФУРКОМСКОМ ТЮМЕНЕ ПОСЛЕ ПРОРЫТИЯ НОВОГО КАНАЛА

Осенью, когда был прорыт новый канал, крестьяне Шофуркомского тюменя, одушевленные удачей, приступили к полевым работам. Начали сеять озимую пшеницу, очищать и прорывать арыки, готовясь к весенней пахоте.

Хорошо устроенная головная часть нового Шофуркомского канала позволяла брать из Зеравшана воды больше, чем прежде. Од-

нако крестьяне не удовлетворились этим и сами, без всякого руководства со стороны эмирского правительства, очистили от песка и старое русло Шофуркомского канала, расчистили также значительную часть засыпанных песком земель, оросили их и снова превратили в пахотные. Переселившиеся на юг после наступления песка крестьяне вернулись на свои исконные земли и приступили к сельским работам.

Безземельные крестьяне своими силами очистили канал Джильвон, который находился на границе культурных земель и много лет был заболоченным и высохшим; пустили в него воду из полноводного вновь прорытого Шофуркомского канала и оросили земли на берегах Джильвона, которые считались бесплодными пастбищами.

На второй год после появления воды в новом канале Шофуркомский тюмень превратился в цветущий сад. Однако на этот сад сразу же устремились совиные глаза эмира Музаффара; он поставил во главе тюменя амлокдором некоего Мурод-бека, славившегося своей жестокостью, и одного муллу по имени Сафи, который пленил сердце эмира своей «ученостью».

Эти два грабителя с массой саранчи — своими слугами и прислужниками — превратили «расцветший сад» в пустыню. Под предлогом того, что «население Шофуркомского тюменя в течение нескольких лет не выплачивало налоги» (из-за движения песка и безводья), они в уплату долга отобрали весь урожай, а крестьян превратили в должников и обязали в последующие годы прежде всего выплачивать с собранного урожая этот долг.

Казий Сафи, основной обязанностью которого было вершение судебных дел, под сенью шариата грабил население и, чтобы еще больше угодить своему эмиру, стал добровольным помощником амлокдора. Согласно обычаю, амлокдор приходил на поле, когда созревал урожай, и определял эмирский налог на все, что было выращено крестьянином. В конце осени, после сбора урожая, казий докладывал эмиру о базарных ценах на каждый вид сельскохозяйственных продуктов, и эмир приказывал управителю взимать по ним с крестьян подати.

Вот в это-то время казий Сафи и считал нужным оказывать свою помощь амлокдору, а через него эмирской казне. Когда он доклады-

вал эмиру о действующих на базаре ценах, то искусственно вздувал их; так, если один ман пшеницы стоил двадцать тенег, он прибавлял к ним еще пять тенег. Эмир по его заявлению устанавливал денежный налог. По примеру Сафи так стали поступать и все другие казии бухарского округа. Удивительным было то, что эмир отлично знал, каким путем определялись базарные цены, и никогда не пытался их проверить; нисколько не стесняясь, он говорил своим наперсникам и собеседникам: «Я не считаю себя в подобных делах грешником перед богом, за все в день страшного суда ответ будут держать казии».

Крестьяне оказывались ограбленными с самого начала — при определении суммы налога. Когда дело доходило наконец до уплаты денег, они окончательно разорялись, одни вынуждены были по дешевой цене продавать баям свою землю, другие — рабочий скот и земледельческие орудия. Чтобы выплатить «свой долг государству», некоторым крестьянам приходилось лишаться даже собственных детей: их продавали баям или, приравняв к сумме налога, отдавали правителям — дочерей как «служанок», а сыновей как «мальчиков-рабов». Из таких крестьянских ребят эмир Музаффар к концу своей жизни создал особый отряд под названием «мальчики-рабы» — гулом-бача. Те же крестьяне, которые никакими средствами не могли освободиться от налогов, попадали в тюрьму, скрывшиеся занимались грабежами или, наконец, убежав в русский Туркестан, становились там бродягами.

Мурод-бек и казий Сафи не оставили в покое и берега вновь благоустроенного канала Джильвон; крестьяне, сеявшие там хлеб, были совершенно лишены рабочего скота и обрабатывали заброшенные прежде земли лишь кетменями и лопатами. Амлокдор обложил налогами эти земли наравне со старыми землями. Основным занятием местного населения был сбор хвороста, крестьяне продавали вязанки хвороста и пытались вернуть «долг государству». Обычно им не удавалось выплатить налог, и они становились должниками. Обо всем этом рассказано мною во второй части романа «Рабы».

Согласно неписаному закону бухарского эмира, казии объявляли казенным оставшееся бесхозным имущество (под названием «вымо-

рочное»). Казий Сафи решил извлечь пользу из этого закона и выпустил на берега канала Джильвон своих «охотничьих собак» — прислужников, чтобы они захватывали как «выморочное» имущество принадлежащий населению скот. Прислужники казия начали пригонять к нему коз и баранов, пасшихся на границах культурных земель вдоль берегов канала Джильвон. Хозяева объявленного «бесхозным» скота в это время были заняты сбором хвороста. Если владелец животного успевал появиться вовремя, все равно он не мог отнять свою собственность, так как прислужник казия обычно заявлял: «Я гоню скот в канцелярию казия, ты приведи с собой свидетеля и докажи свою правоту согласно шариату, и тогда сможешь его забрать».

Когда владелец скотины приводил свидетеля и жаловался на прислужника казия, все равно ему не удавалось получить свою собственность обратно. Свидетельства теряли силу по многим причинам. Чаще всего это происходило потому, что свидетель не знал всех тонкостей шариата, иногда на него возводили клевету: говорили, что он ложный или подкупленный свидетель. Если свидетель был соседом владельца скота или жил с ним в одной деревне, немедленно возникало обвинение в приятельских отношениях, и человека считали опороченным. В других случаях свидетель вообще отклонялся из-за того, что был из далекого селения. Но если крестьянин узнавал об угоне своего скота после того, как скот был передан канцелярии казия, он уже не имел права просить его обратно, не смел даже раскрывать рот, потому что в таком случае он как бы предъявлял иск самому казию, что считалось совершенно недопустимым и всегда запрещалось.

Все эти беззаконные дела привели к тому, что старый канал Шофурком и канал Джильвон вторично превратились в «иссякшие». В местах, орошаемых из нового канала, также остались незасеянными земли, принадлежавшие малоземельным крестьянам и середнякам, если они только не перешли в руки богачей. Излишки воды в новом Шофуркомском канале разливались по окрестностям, образовали болотца и лужи, вскоре вся местность здесь превратилась в рассадник лихорадки. В течение многих лет старый Шофуркомский канал и канал Джильвон оставались заболоченными, только после Великой Ок-

тябрьской социалистической революции, во время земельной реформы, оба они снова были отрыты, и их вода оросила окрестные земли.

* *
*

Казий Абдулвохид Садри Сарир, без устали трудившийся ради нового расцвета Шофуркомского тюменя, относил благоустройство канала к лучшим воспоминаниям своей старости. Он не мог равнодушно перенести всего, что случилось затем на возрожденной земле, и был подобен садовнику, на глазах которого рубят и воруют распустившиеся недавно деревца, ломают розовые кусты, а цветники превращают в хлевы для скота.

Все это заставило старого судью возненавидеть не только казия Сафи и Мурод-бека, но и самого эмира и всех его приближенных. Не подавая заявления об отставке, он преднамеренно бросил свой пост казия в Гиждуване и уехал в Бухару к себе домой и там, проболев недолго, умер от горя.

Казий Абдулвохид Сарир был единомышленником передового ученого Бухары — Ахмад-махдума Дониша; однако он не был способен к активным действиям и не мог должным образом проявить свое возмущение сложившимися в стране порядками; подобно дымящемуся костру из мелкой соломы, старик умер, сжигаемый внутренним огнем.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Свои школьные годы я подробно описал в книге «Старая школа». Здесь я расскажу лишь о тех событиях, которые не нашли в ней отражения или же были даны слишком кратко.

Как я уже писал в упомянутой книге, отец определил меня в шестилетнем возрасте в школу при мечети, но учение там у меня совсем не двигалось, и он решил перевести меня в школу для девочек. Эта школа находилась во внутреннем дворе усадьбы нашего деревенского хатиба, и занятия вела его жена. Из мальчиков в этой школе училось лишь двое — я и еще один гиждуванский мальчик по имени

Абдулло. Абдулло был постарше и несколько грубоват, девочки его не любили и не знались с ним. Но со мной они обращались очень нежно и ласкали, как родного брата.

На второй год моего учения в школу поступила девушка по имени Хабиба из деревни Работи Казок. Деревня Работи Казок находилась в километре на юго-запад от нашей деревни. Девушка не уходила по вечерам домой, а оставалась в семье хатиба и жила в одной комнате с его дочерью.

Хабиба и ее ровесница Кутбия, дочь хатиба, считались самыми старшими ученицами в нашей школе. По сравнению со своей сверстницей Хабиба была более образованной и общительной девушкой и лучше ее читала. Умела она и писать. Мой отец говорил, что Хабиба — дочь одного из наиболее грамотных имамов во всей округе и он сам научил ее читать и писать. Мой отец никак не мог понять, зачем ее послали в нашу школу, и говорил, что здесь она едва ли сможет еще чему-нибудь научиться у жены хатиба. Удивлялся он и тому, что девушку, которой исполнилось уже двадцать лет, отец до сих пор не выдает замуж.

Я любил Хабибу больше других девочек: она помогала мне готовить уроки и мастерила для меня хорошеньких куколок. Я в то время еще не понимал любовных стихов, но всякий раз, когда нам приходилось разучивать газели Хафиза, она старалась разъяснить мне их содержание. Если в газели упоминались слова «друг», «любимая» или «возлюбленная», она показывала на дочь хатиба. Если же в стихе были слова «влюбленный», «плененный», «очарованный» или «несчастный», она для примера ссылалась на себя.

Дочь хатиба внешне как будто сердилась на Хабибу, морщила лоб, хмурила брови и гневно смотрела, но про себя смеялась и говорила лукаво: «Смотри, я обо всем расскажу матери, тебя так поколотят, как отец твой никогда тебя не бил. Может быть, тебя за это даже выгонят из школы».

Хабиба в ответ только вздыхала и говорила: «Ах, если бы меня выгнали!..», — и эти слова вовсе не казались шуткой.

Девочки часто спорили между собой, кто красивее — Кутбия или Хабиба: некоторые считали, что Кутбия, другие отдавали предпочте-

ние Хабибе. Несмотря на это, в школе их обеих не любили и тайно сплетничали о них. Уверяли, что Кутбия — «грубая, дерзкая, высокомерная девушка и командует отцом и матерью». А о Хабибе говорили, что «она легкомысленна, болтлива, поет газели, как артистка, и влюблена в свою красоту».

Но я не мог согласиться с их мнением. Я никогда не замечал грубостей или резкостей со стороны Кутбии и не чувствовал ее высокомерия. А то, что Хабиба пела газели, как настоящая артистка, чем особенно вызывала осуждение со стороны девочек, напротив, мне очень нравилось.

Однажды я учил в школе одну из газелей Хафиза, начинавшуюся со следующего двустишия:

Пока не достигну цели, стремиться к ней не устану,
Либо с любимой буду я, либо с жизнью расстанусь...

Учительница велела повторить мне эту газель с Хабибой, а сама ушла по своим домашним делам.

После того, как Хабиба заставила меня два-три раза прочесть заданные строки, она взяла в руки книгу и так печально прочла эту газель, что у нее самой заблистали в глазах слезы. На меня ее грустный голос произвел такое впечатление, что дрожь пробежала по спине, особенно когда она произносила слова:

Менять друзей поминутно может лишь вероломный,
Я у его порога с жизнью своей расстанусь.

Она вся переменилась, я подумал, что она сейчас упадет без чувств на землю. Но девушка только закрыла глаза и немного помолчала. Слезы, блеснувшие в ее глазах при чтении нараспев стихов, потекли по щекам. Потом она открыла глаза и взглянула на меня, смущенно улыбаясь. Хоть в те времена я ничего еще не знал о любви, но Хабиба очень меня тронула. Я понял тогда, что у нее на сердце какое-то горе, и мне очень хотелось совершить что-нибудь такое, чтобы снять с нее это горе или облегчить его. Конечно, я ничего не мог сделать и даже не понимал причину ее грусти.

Теперь я уже не помню, было ли это в тот самый день или в другой, но как-то после уроков Хабиба спросила меня:

— У вас дома есть цветы?

— Есть, — ответил я.

— Принеси мне завтра душистую свежую розу.

— Хорошо, — согласился я и пошел домой. Эта просьба заронила мне в сердце радость, я думал: «Может быть, роза, которую я принесу, утешит ее или облегчит ей горе, и то волнение, которое она пробудила во мне своим пением, не будет напрасным».

У нас в садике росли два куста роз, на одном из них цвели белые розы, на другом — розовые. На следующий день, еще до восхода солнца, я пошел в садик, чтобы нарвать для Хабибы роз. Оба куста были покрыты вновь распустившимися цветами, издававшими чудесный аромат. Я задумался, каких нарвать для нее роз, чтобы угодить, и внимательно рассматривал оба куста.

Розовые цветы напоминали лицо Хабибы, в особенности теперь, когда еще не испарились капельки росы с их лепестков; мне роза очень понравилась, она была так же прекрасна, как лицо девушки, покрытое слезами во время чтения газелей.

Я решил, что розовый цветок больше всего подойдет Хабибе, и сорвал три розы. Но, может быть, и белая роза тоже ей понравится, — вдруг пришла мне в голову новая мысль, — и, сорвав с другого куста еще три цветка, я побежал в школу. Возле усадьбы хатиба я забеспокоился, как бы девочки не отобрали у меня розы, и спрятал их за пазуху. Как только я вошел в ворота, мне встретилась в проходе Кутбия.

— Что у тебя за пазухой? — сразу же спросила она.

Чтобы не раскрыть тайну, я ответил:

— Книга!

Однако я испугался своего вранья, ведь книги лежали в папке, которая висела у меня на руке, и ложь была слишком очевидна. Кутбия могла сразу уличить меня, если бы только сунула руку за пазуху. Я с опаской внимательно посмотрел ей в лицо. Ее внешность отличалась от внешности Хабибы: если Кутбию можно было сравнить с белой розой, то Хабиба была похожа на розовую. Что касается меня, то мне белые розы не очень нравились. Отец запрещал рвать розовые цветы, потому что он их обменивал у торговца пряными травами

и духами на розовую воду. Но всякий раз, когда отец с матерью не видели, я срывал приглянувшиеся мне розы с куста.

Во всяком случае Кутбия ни о чем не догадалась и, не узнав, что у меня за пазухой, вышла за дверь привязывать корову. Я заглянул в класс. Еще никого не было, и Хабиба подметала комнату.

В одну руку я взял белые розы, в другую розовые и преподнес их девушке. Она похвалила меня, порывисто схватила розовые цветы, понюхала их, потом две лучших розы заложила за уши под тюбетейку и посмотрелась в зеркальце, а третью приколола булавкой на груди. Когда Хабиба взяла белые розы, она почему-то вдруг нахмурилась и погрозила в мою сторону рукой, сжимавшей цветы.

— Зачем ты мне их принес? — спросила девушка недовольным тоном.

— Я думал, что вам они понравятся.

— А тебе какие больше нравятся?

— Розовые!

— Почему?

— Не знаю, но мне они больше нравятся.

Хабиба приложила к лицу белую розу и спросила меня:

— Какая мне больше идет — розовая или белая?

— Розовая, — ответил я.

— Почему?

— Потому что розовая одного цвета с вашим лицом.

Услышав мой ответ, она воскликнула:

— Ах, негодник! — и засмеялась, ласково обняв меня. Потом, показав на белую розу, Хабиба спросила:

— А эта роза на кого похожа?

Я, не задумываясь, с детским простодушием, ответил так, как думал сам две минуты назад при встрече с Кутбией:

— Белая роза похожа на мою сестричку Кутбию.

Наверно, этот ответ понравился ей еще больше прежнего, она громко рассмеялась, снова обняла меня, крепко и горячо расцеловала. Потом, отпустив меня, она сказала:

— Смотри, никогда больше об этом не рассказывай, не повторяй никому, что алые розы похожи на лицо сестрички Хабибы, а бе-

лые — на лицо сестрички Кутбии... Если ты будешь так говорить, я очень на тебя обижусь. А теперь сядь на свое место, — распорядилась Хабиба, — и учи уроки.

Образ девушки под тем же именем Кутбии я вывел в романе «Рабы».

* *
*

Снова пришла весна, поспевал тут, мой старший брат вместе с Сайид-Акбар-ходжой вернулся из Бухары. Как всегда, после небольшого отдыха они начали заниматься у хатиба. Сайид-Акбар-ходжа, который из-за своей кичливости никак не мог поладить со взрослыми, стал моим «другом в играх». Он обычно сидел в мехмонхоне своего отца, двери которой выходили в сторону сада при мечети. Всякий раз, когда я возвращался из школы, он подзывал меня, делал мне разные игрушки, расспрашивал о школе и о том, как учатся некоторые соседские девочки. Между прочим, он спрашивал и о Хабибе. Я с детским простодушием, как мог, отвечал на все его вопросы.

Однажды утром, когда я спешил в школу и проходил мимо мехмон-хоны Усто-амака, меня окликнул Сайид-Акбар-ходжа. Я привык к тому, что он меня всегда звал к себе после занятий, но сегодня он почему-то поступил вопреки обычному и остановил меня на пути в школу.

— Потом зайду, а то опоздаю на урок, — сказал я ему.

— Не опоздаешь, — снова позвал он, — послушай только, что я тебе скажу, потом пойдешь.

Я вынужден был подойти. Он протянул мне запечатанный конверт и сказал:

— Это письмо для Хабибы, принеси мне на него ответ. Только смотри, чтобы никто не видел, как ты будешь его передавать.

Конечно, я еще не понимал тогда смысла таких посланий и взял письмо. В тот же день, улучив момент, я вручил его Хабибе. С письмом в руках она отошла в сторонку, но вскоре вернулась ко мне. Глаза ее горели от гнева, губы дрожали, как у больного лихорадкой, лицо дергалось. Она на меня не смотрела. Однако я все еще не по-

нимал, в чем дело, и думал лишь о том, как бы отвлечь ее от неведомых мне неприятных мыслей. Я спросил:

— Когда вы напишете ответ на письмо?

Глаза ее загорелись еще большим гневом. Сердито взглянув на меня, Хабиба вскочила с места.

— Иди сюда, — коротко сказала она и повела меня за собой.

По узкому проходу мы попали во двор, где привязывали скот. Там она сняла туфлю, ткнула ее в навоз и бросила мне под ноги.

— На, возьми эту туфлю, брось ему в лицо и скажи: «Вот ответ на ваше письмо!».

...Конечно, я не отнес той туфли. Но когда шел из школы и Сайид-Акбар спросил, что я сделал с письмом и принес ли ответ, я рассказал ему о «туфле».

Сайид-Акбар пришел в такую ярость, что у него изо рта показалась пена. От злости он даже стал заикаться.

— Твоя Хабиба дура, гулящая девчонка! — и он грязно выругался. — А ты без стеснения всякое..., которое она съела, готов, не стыдясь, принести и бросить мне в лицо!... — В порыве раздражения он размахнулся и дал мне пощечину.

Первым моим чувством было удивление, я никак не ожидал, что за свою службу посыльным получу такое «вознаграждение», о котором не мог и помыслить. Потом меня охватил гнев, ведь расправа была совершенно незаслуженной. И, наконец, мне стало смешно оттого, что ослепленный гневом Сайид-Акбар не замегил, как обругал самого себя.

Конечно, я затаил мысль о мести. Но что мне тогда было по силам: ведь я был маленьким ребенком, а он — здоровым взрослым парнем. Поневоле пришлось ждать, когда появится удобный для расплаты случай. И он вскоре подвернулся.

* *
*

Мой двоюродный дядя Иброхим-ходжа после смерти своего девяностолетнего отца получил в наследство дом и стал заниматься писанием молитв и «заклинанием дивов», не отлучаясь более из Сок-

тари. Однажды из какой-то деревни к нему привели сумасшедшего. Это был высокий сильный человек лет тридцати-сорока с большой окладистой бородой.

Иброхим-ходжа надел на ноги безумца оковы и запер их замком, конец цепи от оков он пропустил под порогом мехмон-хоны и привязал к столбу, стоявшему посредине комнаты. Безумец обычно сидел на суфе возле мехмон-хоны или стоял, больше он никуда не мог двигаться.

Лечение заклинаниями безумцев у Иброхим-ходжи, подобно лечению, применяемому другими ишанами, было очень простым: за сутки он давал больному лишь кусок сухой лепешки величиной с ладонь и больше ничем не кормил. Кроме того, каждый день, утром и вечером, обнажив спину сумасшедшего, он избивал его плеткой. Как это было принято у ишанов, он наносил удары без счета, пока не уставала рука.

Сумасшедший с плачем и стонами обращался к каждому, кто появлялся издали или проходил мимо: «Разве вы прогневите бога, — молил он, — если дадите мне кусочек лепешки? Ведь я тоже раб божий, нельзя же убивать голодом живое существо, пощадите меня...». Мне было его очень жаль, и я всякий раз, когда ел лепешку, давал и ему кусочек, иногда добавляя еще горсть сушеных абрикосов или тута.

Постепенно сумасшедший стал ко мне привыкать. Не опасаясь, я садился рядом с ним на суфу и не замечал у него никаких проявлений безумия. Он только очень странно разговаривал, однако необычное содержание его речей скорее можно было отнести за счет шутовства, а не душевной болезни. Иногда, выпрямившись во весь рост, он разговаривал с солнцем, просил освободить его от оков и умолял взять с собой на небосвод, чтобы, гуляя там, он мог любоваться землей.

Один раз сумасшедший сказал мне:

— Что тебе стоит уговорить твоего дядю-ишана, чтобы он хоть раз в день отпускал меня на свободу. Я схожу, погуляю в саду мечети и вернусь. Я дам ему клятву, что не убегу и, вернувшись, сам, собственными руками надену себе на ноги оковы. Если ты окажешь

мне такую милость, я сниму солнце и дам его тебе, ты сядешь на него верхом и будешь смотреть, что делается кругом.

В этот момент я увидел, что Сайид-Акбар-ходжа вышел из медресе и направляется к себе во двор. Мне пришла в голову мысль: «Теперь настало время ему отомстить». Указав безумцу на чванливого ходжу, я сказал:

— Ишан хотел тебя отпустить, но вот этот человек не позволил, если я сниму с тебя кандалы, ты пойди и побей его, он тогда одумается и больше уже не будет требовать, чтобы тебя привязывали.

— Отпусти меня, — сказал сумасшедший, и глаза его засверкали от вожделения, как у волка, увидевшего овцу.

Я вошел в мехмон-хону и отвязал цепь от столба. Сумасшедший вытащил ее из-под порога, свернул и, не выпуская из рук, вскочил с места. Он медленно пошел в сторону сада возле мечети. Тяжелые оковы на его ногах были так надеты, что одна нога могла отстоять от другой не больше чем на длину ступни. Ведь если он замешкается, то «враг» успеет скрыться. Вероятно, так думал и сумасшедший. Вместо того, чтобы идти обычным шагом, он начал прыгать одновременно обеими ногами и перескакивал сразу на два-три шага вперед. Сайид-Акбар-ходжа еще не дошел до своего дома, как сумасшедший настиг его, приподнял обеими руками над головой, потом бросил на землю и, усевшись на грудь, стал давить коленями.

Сайид-Акбар-ходжа, лишь только сумасшедший схватил его, закричал душераздирающим голосом:

— Сумасшедший убивает меня! Спасите!

Должно быть, он потерял сознание или задохся, но больше не произнес ни звука. При первом же крике из дома выбежал его отец, а из медресе и мечети — другие люди и освободили его из рук сумасшедшего, безумца же отвели назад и привязали на прежнем месте.

Я тогда же понял свою ошибку, ведь если бы люди, освободившие Сайид-Акбар-ходжу, немного запоздали, сумасшедший несомненно убил бы его. Тогда моя месть оказалась бы слишком жестокой; вышло так, что я отомстил ему с избытком.

Из-за страха перед отцом я никому не рассказывал о своей мести Сайид-Акбар-ходже. Если бы отец узнал, какое меня постигло нака-

зание за передачу письма, он бы еще выругал меня и наказал за то, что я осмелился вручить письмо молодого парня взрослой девушке. Не меньше, чем отца, я боялся и Сайид-Акбар-ходжи, поэтому никому ничего не рассказал.

* *
*

Мой дядя Усто-амак, кроме резьбы по дереву, рисовал также красивые узоры для других ремесленников. Эти узоры заказывали ему гончары, красильщики материй и штукатуры. Для гончаров и красильщиков он накалывал иглой на бумаге своеобразные завитки и цветы. Заказчики забирали рисунки и использовали их для своих изделий: к посуде или ткани они прикладывали бумагу с наколотыми отверстиями и сыпали на нее угольную пыль. Сняв бумагу, мастер раскрашивал отпечатавшийся узор различными красками.

Среди гончаров в деревне Казок-Работ жил один мастер, который искусно делал расписные миски и тарелки. Для каждого обжига он заказывал Усто-амаку все новые и новые узоры. Этот гончар имел сына лет двадцати четырех-двадцати пяти. В детские годы сын гончара упал с дерева и сломал себе ногу; из-за того, что ее неправильно срастили, левая нога на два пальца была короче правой. Ему было трудно ходить, поэтому он всегда ездил верхом. Раз в неделю он приезжал к Усто-амаку, заказывал ему узоры, затем снова приезжал, забирал готовые рисунки и отвозил их домой. Однако за последнее время заказы его увеличились, он приезжал ежедневно, договаривался о рисунке, иногда даже оставался на ночь, ждал, пока будет готов узор, и утром его увозил; вернувшись, он делал новый заказ.

Все были удивлены обилием его заказов.

— Обычно гончары, — говорил Усто-амак, — ежегодно берут один узор для тарелок и один для мисок. Знаменитые гончары для каждого обжига берут по новому узору. Однако этот мастер из Казок-Работа за последние дни взял у меня столько рисунков, как будто для каждой миски и для каждой тарелки ему требуется особый узор.

Пожалуй, его глиняные чашки и тарелки будут в десять раз дороже фарфоровой посуды; не могу понять, для чего он так делает?

Вскоре произошло событие, благодаря которому я раньше всех узнал причину, заставлявшую сына мастера из Казок-Работа заказывать так много узоров.

Дело было так: после хашара по рытью нового Шофуркомского канала мой дядя Курбон-Ниёз поступил к гидждуванскому казию Абдулвохиду в прислужники. В это же самое время другой мой дядя — Али-хон, торгующий на базарах, — сосватал в Гидждуване дочь одного гончара. Бабушка из-за того, что ее сын служил у казия, хотела пригласить жену казия на свадьбу. Я, испытавший на себе доброту старого казия, попросил разрешения пойти вместе с бабушкой. Отец согласился. Мы пошли в Гидждуван и там заночевали в доме гончара. Посреди ночи кто-то закричал: «Воры!». Взрослые и дети проснулись и вскочили с постелей. Женщины, трясясь от страха, говорили шепотом; мужчины ночевали на внешнем дворе. Поднявшаяся суматоха вскоре улеглась. Сын гончара сообщил, что это были не воры, а гости, и этим известием успокоил женщин.

На другой день рано утром моя бабушка, взяв завернутое в скатерть угощение, пошла в дом казия. Я увязался за ней, надеясь еще раз повидать этого славного старика. Когда мы пришли в канцелярию казия, слуги его взяли из рук у бабушки скатерть и проводили ее во внутренний двор усадьбы. Однако меня, как мальчика, не пустили во внутренний двор, где находились женщины, потому что я *«не свой»* (хоть я был совсем еще ребенком). Я остался во внешнем дворе и сел на корточки, опершись спиной о стену конюшни. С того места, где я находился, был виден старый казий. Он сидел у двери своей мехмон-хоны и рассматривал жалобы. Но он меня не видел или, быть может, и видел, но не узнал; наконец, если даже и узнал, то не счел удобным заговорить. Как бы там ни было, он не оказал мне той ласки, которой я ждал от него.

В это время в канцелярию казия, хромая, вошел сын гончара из Казок-Работа. Рядом с ним шла девушка с детским халатиком на голове, она крепко держалась за подол халата юноши. Прислужники казия и уличные зеваки сразу наполнили канцелярию казия. Все

с любопытством переговаривались: «Девушка-беглянка... *Брак у казия*...». Я покинул свое место у стены конюшни и вслед за людьми тоже поднялся на суфу возле мехмон-хоны казия, однако ничего не мог разглядеть. Но вот раздался голос казия:

— Дочь моя, кто свел тебя с пути?

— Меня никто не сводил с пути, я сама, по доброй воле выбрала в мужья этого юношу! — послышался голос девушки, в котором чувствовались слезы.

— Что скажут твои родители, если они узнают о твоем поступке? — это был второй вопрос казия.

— Теперь мой отец — этот юноша, этот юноша — моя мать! Мне нет дела до того, согласны или нет мои родители, — отвечала девушка, и голос ее приобрел бóльшую уверенность.

Казий прочел брачную молитву. После чтения арабского начала молитвы и таджикского его дополнения казий на таджикском языке обратился к сыну гончара:

— Вы, находясь в полном сознании и достигши зрелого возраста, присутствуете в этом благочестивом собрании, берете ли вы мусульманским браком в жены девушку, находящуюся здесь?

— Беру! — ответил сын гончара из Казок-Работа.

После этого казий обратился к девушке:

— Вы, находясь в полном сознании и достигши зрелого возраста, присутствуете в этом благочестивом собрании, отдаете ли вы себя в жены мусульманским браком юноше, находящемуся здесь?

— Тысячу раз согласна! — Голос девушки теперь был спокойным и показался мне знакомым. Но я не знал, где и когда я слышал его.

Народ бросился к чашке с водой, которую употребляют во время брачного обряда. Сын гончара вместе с девушкой спустились с суфы казия и пошли к воротам. Девушка и сейчас еще держалась за полу халата жениха, так же как при входе в дом казия. Двумя прыжками я спрыгнул с суфы и, опережая их, выбежал за ворота, чтобы узнать, кому принадлежит этот знакомый мне голос. С улицы мне хорошо были видны все выходящие из дома казия. Я не мог поверить своим глазам: девушка, шедшая рядом с сыном гончара, была Хабиба! Уви-

дев ее, я застыл от удивления и даже не посторонился, чтобы дать ей дорогу.

Хабиба тоже меня увидела, но не удивилась так сильно, как я. Улыбаясь, она подошла ко мне и, дружески толкнув в грудь, велела пропустить ее.

— Ах, негодник! Ты что здесь делаешь? Ты, оказывается, раньше всех разведал, да? Передай всем привет!..

Счастливые жених с невестой прошли мимо меня, сели на лошадь, привязанную на улице возле дома казия, и уехали.

Только теперь мне стало понятно, почему Хабиба так грустно напевала газель Хафиза:

Пока не достигну цели, стремиться к ней не устану,
Либо с любимой буду я, либо с жизнью расстанусь.

Эта смелая девушка в условиях феодальной средневековой деспотии лишь благодаря своему сильному характеру смогла растоптать все препятствия, стоявшие на ее пути, и соединилась с возлюбленным. По правде сказать, «возлюбленный» Хабибы мне не очень пришелся по душе. Он не только сильно хромал, но был еще и весьма некрасив; однако все это еще больше увеличивало силу любви девушки, укрепляло ее верность и решительность. Впоследствии, когда я стал взрослым, мне неоднократно приходилось наблюдать в канцеляриях казиев Вобкента, Зандани, Джондора и Каракуля, как вступали в брак бежавшие от родителей девушки. В своих мемуарах я вывел Хабибу не только как реального человека, но и как собирательный образ. В те времена она олицетворяла собой многих девушек, которые противились насилию и мучениям, существовавшим в эмирате, бунтовали и убегали вместе со своими женихами, чтобы в какой-нибудь канцелярии казия громким голосом требовать осуществления своего права на заключение брачного союза.

Мне стало ясно, что те люди, которых ночью в доме тестя моего дяди приняли за воров, а потом назвали гостями, были Хабиба и ее жених. После бегства из Соктари они остановились в доме у такого же ремесленника, а днем пошли к казию.

Я понял также и причину, побудившую отца Хабибы послать свою хорошо подготовленную дочь учиться в нашу сельскую школу. Конечно, он хотел разлучить Хабибу с ее возлюбленным, сыном гончара.

Эта девушка явилась прототипом героини романа «Дохунда» Гульнор.

ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Я кончил школу, но все еще оставался неграмотным. Я мог разобрать лишь то, что читал в школе, и только по той книге, которой мы пользовались на занятиях. Но незнакомую книгу я читать не мог. Несмотря на это, отец определил меня учиться к деревенскому имаму. В школе у хатиба я начал изучать книжечку на таджикском языке «Начатки знаний», в которой догматы религии были изложены в виде вопросов и ответов. Мы ее одолели за месяц, затем я стал читать книжку «Бидон», в ней по-таджикски излагались правила арабской грамматики. Однако содержание этих книг я толком не понял и лишь заучил наизусть то, что велел учитель. Чтобы двигаться вперед, требовалось не очень много — на память без запинки, не заикаясь, прочесть учителю предшествующий урок. Учитель совершенно не интересовался, понимаю ли я таджикские определения, смешанные с арабскими примерами, да и я сам не считал для себя обязательным понимать их, хотя книга начиналась со слова «Знай». В первый день, когда мы обратились к ней, учитель заставил меня выучить несколько вопросов и ответов. Первый вопрос был такой: «Почему автор сказал „знай“, но не сказал „прочти“?». Ответ: «Чтобы читать, не надо знать, но чтобы знать, надо читать. Поэтому автор и сказал „знай“, но не сказал „читай“».

Конечно, я тогда не понимал смысла эти вопросов и ответов, но самым удивительным было то, что мой покойный учитель тоже не понимал их значения, а если и понимал, то не находил нужным мне разъяснять и никогда не спрашивал меня, «знаю» ли я или «не знаю». Даже мой отец, при всей своей придирчивости, не спрашивал никогда, «знаю» ли я или «не знаю». Он лишь каждый вечер заставлял меня хорошо учить уроки, чтобы назавтра не пришлось краснеть пе-

ред учителем. Иногда отец заставлял меня читать наизусть. Если я повторял заданное гладко, без ошибок, он говорил:

— Молодец, вот так учи всегда!

За все время моего учения лишь два предмета произвели на меня большое впечатление: это «счет по абджаду» и таджикские стихи. Первый из них я описал в своей повести «Старая школа». Этот счет объяснил мне отец. Основываясь на определенных правилах, я охотно подсчитывал сумму арабских букв, мне очень нравилось выписывать девятизначные индийские (арабские) числа с нулями и складывать их.

Но особенно я любил читать таджикские стихи, хотя в те времена не очень-то понимал их смысл. Мне нравилась мелодия стиха, и те газели, которые учил на память, я в одиночестве громко бормотал про себя, испытывая полное наслаждение. Больше всего мне нравились стихи, любовное содержание которых поясняла Хабиба, а среди них — те газели, которые девушка читала мне в школе своим печальным голосом, «как артистка». Когда я перечитывал их, у меня перед глазами возникало грустное лицо Хабибы, ее взгляд и улыбка, и я испытывал какое-то особое удовольствие. Потом я вспоминал, как она добилась соединения с любимым, и тогда образ этой прекрасной, нежной девушки вырастал в моих глазах еще больше. Хабиба превращалась для меня в сказочную героиню, и я мечтал стать таким же сильным и смелым, как и она, добиться осуществления своих желаний.

Мне очень хотелось уяснить содержание всех стихов, которые я знал или слышал. Единственный человек, который мог мне помочь в них разобраться, был мой отец; на мои вопросы он обычно давал ясные и обстоятельные ответы. Но когда я спрашивал его о значении любовных стихов, отец хмурил брови, морщил лоб и говорил:

— Сейчас для тебя еще не настало время понимать их, вырастешь — все узнаешь.

В те ранние годы я не предполагал, что и в наших местах тоже есть поэты. Мне казалось, чтобы слагать стихи, необходимо быть «святым», а мы живем накануне «светопреставления», и никто из нас уже не может стать святым, значит нельзя писать стихи...

Эти мысли мне внушила учительница школы для девочек. Однако вскоре случилось событие, которое разрушило мои наивные представления, и я понял, что и в наше время можно сочинять стихи.

Дело было так: однажды отец пошел в мечеть на послеполуденный намаз, но очень скоро вернулся, остановился в проходе, ведущем во двор, подозвал меня и торопливо поспешил назад. Я побежал за ним.

Во внешнем дворе он подсадил меня на невысокую глинобитную стену, отделявшую наш двор от сада мечети и медресе, а сам стал возле меня.

— Сейчас из медресе выйдет учитель твоего брата, я тебе его покажу, посмотри на него.

Через несколько минут в дверях медресе показались двое: хатиб нашей деревни, у которого я теперь учился, а рядом с ним худощавый смуглый человек среднего роста с коротко подстриженной седой бородой. Одет он был в легкий белый халат, голову его украшала небольшая белая чалма. Вот на него мне и показал отец.

— Человек в белом халате — учитель твоего брата, — сказал он, — это очень крупный человек, большой ученый и хороший поэт.

Я с недоумением посмотрел на отца и обратился к нему с вопросом:

— Вы сказали про учителя моего брата: «очень крупный человек», «большой ученый», а ведь он не особенно высокого роста, и чалма его поменьше, чем у нашего имама.

— Величие человека не определяется его ростом, а его ученость — размерами его чалмы. Большинство малограмотных мулл делают себе громадные чалмы, чтобы простые люди заблуждались и принимали их за крупных мулл, а настоящие ученые повязывают небольшие чалмы, чтобы о них судили только по их знаниям.

Мне раньше часто приходилось читать стихи, но слово «поэт» я услышал впервые. Я спросил у отца:

— Вы назвали его «поэтом», что это значит?

— Поэт — такой человек, который сочиняет стихи.

Я хотел узнать у отца, какие стихи сочиняет учитель моего брата, но не успел, уже настало время предвечернего намаза. Отец спустил

меня на землю, но, должно быть, почувствовал мой вопрос и сказал мне:

— Сейчас иди домой. После намаза я прочту тебе стихи этого человека.

Вернувшись из мечети, отец позвал меня в комнату и взял с полочки какую-то тетрадь со многими записями, сделанными его рукой. На обложке тетради и на некоторых страницах из угла в угол было написано несколько газелей. Отец показал их мне.

— Вот это и есть газели учителя твоего старшего брата, — сказал он и начал читать. Отец читал их одну за другой и объяснял мне значение некоторых бейтов (тех бейтов, которые, по его мнению, были для меня полезны или безвредны). В конце каждой газели стояло слово «Исо». Отец указал мне на него и пояснил:

— Исо — имя, которое взял этот человек и сделал его своим тахаллусом.

В редифе одной из газелей я увидел слово «бедность». Конечный бейт газели был следующим:

Тридцать лет ушло из жизни, все я в путах разоренья,
Может, в сорок-пятьдесят вырвусь я из нищеты.

— Эту газель поэт сочинил, когда ему минуло тридцать лет и он надеялся, что к пятидесяти годам избавится от бедности. Но увы, ему теперь уже больше шестидесяти, а богаче он все еще не стал. Ученый старец вынужден и сейчас, как прежде, зарабатывать себе на жизнь переписыванием книг и уроками вне медресе.

Затем он добавил:

— Ученые люди чаще всего выходят из народа, и очень жаль, что дети бедняков не имеют возможности учиться. Сыновья баев и крупных мулл почти всегда дураки или бездельники, если они и учатся, то из них обычно ничего не выходит, а если и выходит, то они оказываются дурными людьми. Недаром пишется в книгах: «Знания в руках дурного человека — все равно что острый меч в руках у пьяного»...

Отец умолк и задумался. Печально вздохнув, он продолжал:

— Если бы я окончил медресе, может быть, и из меня бы что-нибудь получилось. Как жаль, что мне помешала проклятая бедность. Учись, сынок, как бы ни было трудно, учись! Я хочу верить, что из тебя выйдет ученый человек: «Нам не удалось, удастся тебе».

Отец прочел еще один бейт из газели Исо:

Доколе от безделья нам погибать в тоске?
Сложи скорее вместе листы в твоей руке.

— Видишь, — сказал отец, — этот ученый человек безделье приравнивает к смерти; что бы с тобой ни было, говорит он, трудись!

Потом отец достал с полочки еще какие-то разрозненные листки и, перевернув их несколько раз, нашел следующий бейт:

На плечи упованья свой груз не возлагай,
Лишь то, что сам ты сделал, за благо почитай.

Этот бейт он так пояснил:

— Смотри, как одинаково мыслят великие люди. Дедушка Соиб жил двести пятьдесят лет назад. (Отец очень любил стихи Соиба Исфахони и читал их с таким наслаждением, как маленькие дети сосут леденец). Поэт Исо — наш современник, а пишут они об одном и том же: призывают людей работать, а не быть беспечными бездельниками.

Этот разговор имел исключительное влияние на мою жизнь и на мои мысли, я возненавидел огромные чалмы людей, выдающих себя за ученых, и с отвращением стал относиться к безделью.

После разговора с отцом я понял, что и в наше время могут быть поэты. Но осталось еще одно сомнение: «Исо пишет стихи — неужели он святой? Или для того, чтобы стать поэтом, не нужно обладать святостью?».

Поэтому я спросил отца:

— Разве поэт не обязательно должен быть святым?

— Конечно, нет, — сказал он, — я сам, когда твой дядя Хидоят-ходжа построил нашу мечеть, написал стихи, которые выражали дату ее основания.

Хидоят-хон прославлен мастерством,
Не превзойден он в зодчестве своем.

В *год курицы* мечеть он строил эту,
Дай курице его воды с зерном.

Потом отец объяснил: «мург» — курица по счету «абджад» равняется числу 1240, если к нему прибавить «обу дона» — вода и зерно, то будет 1303, и таким образом получится год постройки мечети по хиджре — мусульманскому летосчислению.

Разговор с отцом обрадовал меня. Я узнал о его умении сочинять стихи и убедился, что поэт может и не быть святым. В том, что мой отец не отличался особой «святостью», я нисколько не сомневался.

Мне хотелось также послушать и другие стихи отца. Я просил его прочесть мне что-нибудь из их числа.

Отец ответил:

— Не принимай меня за стихотворца, человек, сочинивший один-два бейта, еще далеко не поэт. Всякий, имеющий хоть немного способностей, может сочинить несколько бейтов. Ведь *в основе слов «способность» и «стих» лежит один и тот же корень*. Однако чтобы стать поэтом, этого недостаточно. Поэт по любому поводу должен уметь писать хорошие стихи, такие, какие писали Исо, Бобо Соиб, Бедиль, Хафиз.

Так как, кроме Исо, отец не назвал больше ни одного из современных стихотворцев, я подумал, что учитель моего старшего брата — единственный поэт нашего времени. Чтобы удостовериться в правильности этой догадки, я опять обратился к отцу:

— А теперь есть поэты, кроме Исо?

— Конечно, есть, — ответил отец, — и не мало. Одного из них ты сам хорошо знаешь — это наш гиждуванский казий.

Слова отца взволновали меня. Я пожалел, что несколько лет назад, когда беседовал с Абдулвохидом и был им обласкан, мне и в голову не приходило, что он поэт. Я расспрашивал отца не случайно. Меня в ту пору тревожил вопрос — смогу ли я сам когда-нибудь писать стихи.

— Наверное, сможешь, — ответил отец, — только это не легко. Тебе нужно побольше читать стихи великих поэтов, беседовать с поэтами, которые живут в наше время, усваивать их мастерство. Сейчас, пока ты еще маленький, запоминай хорошие стихи и учись

получше читать и писать. А самому заниматься стихотворством тебе еще рано.

Я и без наставлений отца любил стихи, но книги читал с трудом. Писать же я совсем не мог, так как кроме букв, обозначавших девятизначные числа в счете «абджад», не был в состоянии написать ни одной другой буквы. Я спросил у отца, как мне научиться писать. Он ответил, что сам меня научит, и добавил:

— Как только ты научишься писать, станешь гораздо грамотнее и все сможешь прочесть.

Во время беседы с отцом я выучил несколько бейтов из стихов Исо, которые мне особенно понравились. Два из них были следующими:

Сердце грацией пленяешь, душу в муки повергаешь,
О, тщеславная кокетка, хоть немного пожалей.
Ведь пришла пора цветенья, взор с восторгом распахни,
В жертву брось хоть лепесток мне ты к ногам с густых ветвей.

Краткую биографию Исо и некоторые его стихи я привел в книге «Образцы таджикской литературы».

УПРАЖНЕНИЕ В ПИСЬМЕ

Когда я попросил отца научить меня писать, он сказал:

— У меня неразборчивый почерк, если я начну тебя учить, то ты будешь писать плохо. Потерпи немного, из Бухары вместе с твоим братом скоро вернется Сайид-Акбар, он очень красиво пишет, и ты будешь у него заниматься...

Хотя следы пощечины, отпущенной мне Сайид-Акбаром, давно уже изгладились на моем лице, но в сердце память о них все еще сохранялась. Мне не хотелось быть учеником у такого человека. Но я подумал: для того чтобы чему-нибудь научиться, нужно претерпеть некоторые неприятности; кроме того, с помощью сумасшедшего я все-таки утолил свою жажду мести. Зачем же мне еще копить в сердце злобу на него?

Отбросив сомнения, я с радостью согласился на предложение отца.

— Прежде чем начать упражняться в письме, — сказал однажды отец, — тебе нужно приготовить письменные принадлежности. Не даром люди говорят:

«Палка — перо, чернила — вода, бумага — земля, линейка — камыш,
Как хорошо человек инструментами этими неподходящими пишет»...

В один из ближайших дней отец отправился в Махаллаи-Боло и решил по пути заглянуть в Гидждуван, где как раз начинался базар. Он взял меня с собой и купил на базаре пенал, два тростниковых пера, перочинный ножик, костяной прибор, на котором затачивают перья, кожаную папку, пучок шелковых ниток в чернильницу, чтобы на перо меньше набиралось чернил, и четыре листа кокандской бумаги для упражнений. Все это отец вручил мне и, проводив меня в сторону Соктари, сам пошел в Махаллаи-Боло.

Я уселся на осла; к сожалению, на нем не было переметной сумы, и я должен был положить перед собой папку, пенал с письменными принадлежностями и свернутую трубкой бумагу. Так я выехал с базара, и радости моей не было предела. Однако она оказалась недолговечной.

Как только я выехал с гидждуванского базара, седло у осла сдвинулось вперед. Пришлось остановиться и слезть с осла, чтобы поправить седло. В этом месте, с левой стороня у дороги, была невысокая стена, я положил на нее узелок с письменными принадлежностями и хотел развязать подпругу, как вдруг пенал выпал из узелка и скатился по другую сторону стены прямо в арык.

Я бросил седло, перегнулся через стенку и стал смотреть вниз. Арык был сухой, но пенала в нем не было видно. В этом месте была вырыта яма, наподобие траншеи, и мой пенал, мой дорогой пенал, упал прямо в нее.

Я никак не мог спуститься в яму и вытащить оттуда свой пенал. Подобно матери, потерявшей ребенка и рыдающей у его могилы, я уселся на краю ямы и горько заплакал.

Какой-то прохожий подошел ко мне и спросил о причине моего горя. Всхлипывая, я рассказал ему историю с пеналом. Прохожий стал снимать с себя одежду.

— Не плачь! — сказал он. — От твоих слез пенал не выскочит из ямы, я сам тебе достану его.

Я немного успокоился. Он снял свой халат, чалму и туфли, положил их на забор и, оставшись в одной рубахе и штанах, по вырытым в стенках ямы ступеням спустился на дно и через минуту с пеналом, прикрученным к поясу у штанов, вылез наверх и отдал его мне.

Теперь моя радость был беспредельной. В течение одного дня, даже в течение одного часа, пенал дважды сделал меня безмерно счастливым. Хотя я и был очень благодарен отцу за то, что он, потратив теньгу (пятнадцать копеек), купил мне пенал, но еще большую благодарность испытывал к этому незнакомому человеку. Ведь пенал куплен был для меня моим отцом, и я имел право просить у него все, что необходимо для занятий, в том числе и этот пенал. Но прохожий не имел ко мне никакого отношения, он даже не был моим случайным знакомым. Тем не менее, он оказал мне такое благодеяние.

Я был еще ребенком, но мысль, о которой говорю сейчас, вполне отчетливо сложилась в моей голове. Волнение охватило меня, но по малолетству я не знал, как выразить ему свою благодарность. Я лишь вытер рукавом глаза, которые только что проливали слезы от безмерной печали, и с улыбкой смотрел на встречного человека. Я чувствовал, что не только губы, но и глаза мои, смеясь, излучали благодарность.

Падение в арык не испортило мой пенал, лишь с одной стороны на ноготь оказалась поцарапанной поверхность, а внутрь вода совсем не попала.

Когда я рассказал о случившемся отцу и подивился прочности пенала, он объяснил мне:

— Этот пенал работы искусного мастера-переплетчика Мир-Одиля (Мир-Одиль был братом ученого Кори-Ибода, работавшего в отделе восточных рукописей Государственной узбекской публичной библиотеки в Ташкенте, умер в 1944 г.). Он с таким совершенством склеивает бумагу в несколько слоев, что пенал становится крепким, как дерево, и водонепроницаемым. Самый верхний слой мастер делает из масля-

ной самаркандской бумаги, а эта бумага не впитывает в себя влагу. То небольшое повреждение, которое получил пенал, не от воды. Падая, он, по-видимому, ударился о палку или острый камень, здесь ясно видна царапина.

* *
*

Приехал из Бухары Сайид-Акбар. Я стал учиться у него письму. По обыкновению учителей каллиграфии, он на листке бумаги изобразил несколько больших арабских букв, и я должен был упражняться в красивом и четком их переписывании. Если обычный мелкий почерк у Сайид-Акбара был отчетливым, то крупные буквы у него получались очень плохо. Мой учитель написал их вкривь и вкось, потом соскреб ножичком у себя с зубов налет, кончиком же ножа растер этот налет по выступающим частям букв и стал скрести замазанные места. Таким образом он счистил вместе с налетом и все лишние черточки у букв.

Затем кончиком пера он зачернил получившиеся пробелы, как требовали этого правила каллиграфии. После немалых трудов у него вышли такие буквы, что всякий, увидевший их, ни в чем не мог бы упрекнуть учителя.

Сайид-Акбар вручил мне буквы и приказал:

— Иди домой и упражняйся до тех пор, пока твои буквы станут, наконец, похожими на мои. Потом на отдельном листке бумаги перепиши их начисто и завтра принеси. Я проверю, если ты написал хорошо, то я дам тебе другое упражение, а если плохо, то велю снова поупражняться.

Я взял листки и пошел домой. Никогда прежде мне не приходилось писать, дрожащей рукой я взял перо и стал переписывать буквы на листке бумаги. Эти буквы были такие кривые и косые, такие уродливые, что напоминали скорее не упражнение в каллиграфии, а разбрызганные по бумаге чернила. Но неудача меня нисколько не обескуражила, и, подобно своему учителю, я кончиком ножа счистил у себя с зубов налет, затем растер его по лишним линиям

букв и, как Сайид-Акбар, подправил стертые места чернилами. На бумаге появились буквы, которые можно было различить.

Когда я показал отцу свое первое упражнение, он его похвалил, так как ничего не знал о моих исправлениях. Удивительно было то, что когда я на следующий день отнес свои упражнения учителю, он тоже их одобрил; он и не подозревал, что, прежде чем научиться писать, я усвоил от него, как заниматься подделкой. Сайид-Акбар задал мне следующий урок. Таким образом, за короткое время я научился писать отдельные буквы и перешел к слитному написанию.

Для образца учитель написал мне следующий бейт:

Раз труда не составляет букв отдельных начертанье,
Значит время наступило перейти к правописанью.

Упражнение по слитному написанию букв Сайид-Акбар выполнял небольшим пером, и ему не было нужды пользоваться ножичком и зубным налетом для подчистки. А я совершенно не умел четко выводить буквы и должен был при упражнении в слитном написании по-прежнему прибегать к подделке.

Наступил день, когда занятия подошли к концу и я мог осуществить свою главную цель — записать интересовавшие меня стихи. Но я так плохо написал, что прочесть их, кроме меня, никто не мог, да и я сам спустя несколько дней был не в силах разобрать то, что написал. Потом в течение долгих лет мне пришлось много писать и почерк мой улучшился, но остался все же очень некрасивым. К этому привели меня подчистки и подрисовки моего учителя Сайид-Акбара.

ПОСТ И НАРУШЕНИЕ ПОСТА

Месяц рамазан пришелся на июнь, когда поспевали абрикосы. Дни стояли жаркие и длинные. В это знойное летнее время мать начала настаивать, чтобы я постился. Я согласился. Но не прошло и десяти часов с начала моего поста, как я все сильнее стал испытывать жажду и голод. Пришлось обратиться к матери и попросить у нее разрешения выпить немного воды и съесть кусочек лепешки. Она не позволила.

— Всякий, кто нарушит пост, станет грешником и будет гореть в аду, — сказала она мне.

— Но ведь прошла уже бóльшая часть рамазана, а ты меня не заставляла поститься, — убеждал я ее. — Выходит, что мне все равно придется гореть в аду. Так пусть уж лучше я сгорю. А что толку, если я на один день избавлюсь от ада? — И я снова стал умолять мать освободить меня от поста.

— Если бы ты с утра не высказал намерения поститься, то по малолетству мог бы продолжать есть, как всегда. Но сегодня, на рассвете ты решил соблюдать рамазан и если прикоснешься к пище, то нарушишь свой обет и станешь грешником, — ответила мать на мои возражения.

Я еще потерпел часок, но больше у меня уже не осталось сил. Нёбо, язык, губы — все пересохло, в желудке было очень неспокойно, словно там поселился огненный голодный змей, который требует воды и лепешек, и если я не удовлетворю его желания, он меня спалит и уничтожит.

Я был совсем в бедственном положении, когда отец поднялся, наконец, из-за своего ткацкого станка и подошел к матери, чтобы попросить у нее цевки. Заметив мой болезненный вид, он спросил, что со мной.

Я рассказал ему историю моего поста и повторил то, что говорила мне мать. Он рассмеялся и обратился к матери:

— Он еще не достиг совершеннолетия, и его нельзя винить в каких-либо проступках против шариата. Если ты сама не знаешь обычаев, зачем тогда мучаешь ребенка именем шариата. Дай-ка ему поскорее чего-нибудь съестного, пусть поест!

Я съел тогда всего значительно больше, чем обычно, потому что глаза мои были такими же голодными, как желудок. После обеда я отправился в сад, съел очень много абрикосов и в тот же вечер заболел. Мать решила, что болезнь моя возникла из-за того, что я нарушил пост, но свои убеждения не высказывала, опасаясь отца.

Все же от меня она не отступилась и старалась заставить попоститься два-три дня, чтобы, немного привыкнув, я не нарушал поста, когда подрасту. Но я ее уже больше не слушался.

В конце концов, мать догадалась, как нужно действовать, чтобы я согласился поститься. За соблюдение поста она пообещала мне прогулку в Дарвешобод. В те времена в одном из кварталов Гиджду-вана в течение месяца мизона (с 23 сентября по 23 октября) еженедельно происходили гулянья, длившиеся целые сутки. Все, что мы слышали об этих гуляньях, казалось нам таким же чудесным и удивительным, как сказки из «Тысячи и одной ночи». Рассказы о фейерверках, ракетах, скачках на ослах, бараньих битвах были страшными, как сказки о дивах и пери, и казались нам такими же увлекательными. Во всем гиджду-ванском тюмене мало нашлось бы людей, которые хоть один раз не сходили на этот праздник. Дети бедных крестьян, отцы которых не могли дать им денег на гулянье, старались каким угодно способом добыть две-три теньги, чтобы принять участие в праздничных забавах. Перед самым гуляньем они ходили поденно собирать хлопок, работали у богатых крестьян, а если не находили работы, то воровали на огородах и бахчах.

Я тоже каждый год, как только наступал праздник, просил отца отвести меня в Гиджду-ван. Сперва он старался очернить праздничные гулянья в моих глазах, но, конечно, понимал, что я ему не верю; потом стал ссылаться на мое малолетство.

— Ты ведь не сможешь пойти один, — говорил он, — я идти не могу, а если послать тебя с кем-нибудь другим, то уйдет много денег. Потерпи немного, подрастешь и осуществишь свое желание.

Вот мать и решила воспользоваться этим моим желанием, чтобы заставить поститься.

— Если ты три дня будешь держать пост, — сказала она, — я буду давать тебе каждый день по теньге, таким образом ты соберешь столько денег, что сможешь пойти в Дарвешобод.

Я согласился с матерью и принял твердое и бесповоротное решение держать пост. В тот же день мать заставила меня лечь спать, чтобы я мог бодрствовать ночью, когда есть разрешается, а следующий день снова проспать, и тогда пост пройдет для меня незаметно. Так как я сам выразил желание воздерживаться от еды, то отец тоже не препятствовал.

— Сумеешь выдержать пост, ну и держи его, мне-то какое дело! — заявил он.

Ночью я не спал, и перед рассветом мы хорошо поели. Днем до жары я бегал по улице с ребятами, играл и не спал. Лишь только меня стало клонить ко сну, я пришел домой, чтобы лечь. Мать постелила для меня и для себя под абрикосовыми деревьями. Но мне хотелось лечь в пустой комнате, и я перетащил туда свою постель. Отец в дни рамазана спал отдельно от нас в своей мастерской.

Я запер двери, лег и очень быстро уснул. Неожиданно сон прошел, и меня охватило чувство острого голода. Закрыв глаза, я хотел опять уснуть, чтобы не замечать времени до вечера, однако проклятый желудок не давал покоя.

Я вспомнил о кушаньях, приготовленных на завтра, чтобы разговляться после захода солнца. Особенно вкусной мне представилась горячая на коровьем масле лепешка, которую обещала испечь мать, и тутовая патока. Ее варили во время сбора тутовых ягод специально для месяца рамазана. Чтобы как-нибудь успокоить свой голод, я стал думать о предстоящем ужине, но действие таких мыслей было прямо противоположным. Мой аппетит потребовал, чтобы я тотчас же отведал этих вещей. От нетерпения глаза мои широко раскрылись, я стал осматривать стены комнаты, чтобы убедиться, на месте ли горшок с патокой. Горшок оказался на своем месте. При виде его аппетит мой еще больше разгорелся. Обычно мама горшок с патокой вешала на вбитый в стену гвоздь, чтобы туда не забрались муравьи. Каждый вечер по мере надобности она брала оттуда патоку и снова возвращала горшок на прежнее место.

Я вскочил с постели и подошел к горшку, но не смог до него дотянуться. Тогда пришлось перетащить к стене свою постель и нагромоздить друг на друга подстилки и подушки. Взобравшись на это сооружение, я увидел, что могу достать до горшка. Прежде всего я раскрыл ящик, где хранились лепешки, и вытащил оттуда несколько больших кусков. Потом подвязался, засунул лепешки за пазуху и, забравшись на свои подстилки, снял материю, которой было завязано горлышко горшка. Одной рукой я придерживал горшок, чтобы

он не сорвался с гвоздя, а другой, достав из-за пазухи лепешку, макал ее в патоку и ел. По мере того как опустошалась моя пазуха, насыщался желудок. Снова завязав по-прежнему горшок тряпкой, я пошел к порогу комнаты, ополоснул водой из кувшина руки и рот и выпил воды, сколько мне хотелось. Затем опять расстелил свою постель и улегся спать. Мама разбудила меня перед самым ужином, когда она уже накрыла скатерть для разговенья и заставила ее горячими лепешками и патокой.

Вот так «попостившись» три дня, я стал обладателем трех тенег, которые были предназначены для предстоящего гулянья в Дарвешободе.

ГУЛЯНЬЕ В ДАРВЕШОБОДЕ

Пришла осень, и наступило время гулянья в Дарвешободе. В первую неделю отец меня не пустил.

— Поначалу там обычно давят детей и ничего интересного не бывает, — сказал он. — Я пущу тебя во вторую неделю.

На следующую неделю в Дарвешобод собрался идти мой двоюродный дядя Иброхим-ходжа. Отец дал ему три теньги и наказал, чтобы он взял с собой меня и своего племянника Хомид-ходжу — вместе нам будет веселее. В Гиждуване отец велел нам остановиться у тестя моего дяди по матери — мастера-гончара.

Обычно гулянье в Дарвешободе начиналось еженедельно во вторник с утра и продолжалось до середины среды.

Утром во вторник мы вышли из дома и отправились в Гиждуван, там, как велел нам отец, зашли в дом к гончару. Во дворе у него толпилось много людей. Это были не гости, а рабочие гончарных мастерских. Они готовили сосуды для фейерверка: одни катали глину, другие толкли порох, третьи перемешивали порох с просеянными чугунными опилками, а четвертые заряжали сосуды.

Эти сосуды — «тарф» — были похожи на чугунные кувшины для кипячения воды, без носиков и ручек, только дно у них имело отверстие. Гончары, занятые изготовлением ракет, замазывали глиной изнутри дно сосудов, затем насыпали порох и палкой, похожей на

пест, уплотняли его. Взрывчатая смесь состояла из ружейного пороха, к которому для яркости вспышки прибавляли опилки различных металлов и мелкие кусочки чугуна.

Наш руководитель Иброхим-ходжа некоторое время наблюдал за работой мастеров, начиняющих сосуды и занятых приготовлением пороховой смеси.

— Как много денег расходуется на это дело? — спросил он у них.

— На каждый сосуд по десяти тенег, — ответил один из мастеров.

— А кто же дает на это деньги? — опять задал он вопрос.

— Мы сами, рабочие-гончары, а с нами вместе рабочие чугунолитейных и других мастерских.

— Скажите, какая вам от этого польза?

— Если мы победим своих соперников, вобкентцев, то это будет для нас великим счастьем. Что в этом мире есть лучшего?

На одеяле, постеленном на суфе, сидел, скрестив ноги, наш хозяин — мастер-гончар. Мигнув Иброхим-ходже и насмешливо улыбаясь, он вмешался в разговор:

— *Подмастерьев у нас в мастерских часто зовут «блажными» *. Им не нужно заботиться о жене или детях, не приходится печалиться им также о еде и одежде. Единственная их забота— дважды в году устраивать в Дарвешоболе фейерверки. Это счастливые парни. Мне бы тоже хотелось вместе с ними весело проводить время. Очень жаль, что повседневные заботы, жена и дети лишили меня этой беспечальной жизни.

Иброхим-ходжа хотел ему возразить. Но мастер не дал ему ничего сказать и опять многозначительно подмигнул.

— Хоть я сам и лишен возможности участвовать в этих развлечениях, но все же, оказывая им помощь, стараюсь удовлетворить и свою страсть.

— О, — удивился Иброхим-ходжа, — вы что ж, из своего собственного кармана даете им деньги?

Мастер опять ему подмигнул:

— Вроде того, что даю из своего кармана! Большей части из

их годичного заработка не хватает на устройство фейерверков дважды в год. Поэтому, когда они нуждаются в деньгах на это развлечение, я даю им задаток в счет будущего заработка. Для тех, у кого нет денег, моя ссуда оказывается очень значительной помощью.

Помолчав немного и поглядев на подмастерьев, мастер продолжал:

— Вы не думайте, что единственная польза задатка для подмастерьев заключается в том, что они могут устраивать фейерверки. Нет, это не так. Фейерверки лишь для развлечений. Главная польза задатка состоит совсем в другом. Ведь таким путем они оказываются привязанными к одной мастерской, а все знают, что особенно хорошо «дерево зеленеет на одном месте». Так и их мастерство день ото дня возрастает. Если бог пошлет им счастья, то с помощью своего искусства они могут стать когда-нибудь самостоятельными хозяевами. Ведь и я в юности был учеником, потом подмастерьем. А если отказаться от задатка, то блажные в погоне за удовлетворением своих прихотей, польстившись на лишнюю теньгу, каждый день будут переходить из мастерской в мастерскую. Из-за вечных шатаний они потеряют возможность совершенствовать свое мастерство, а кроме того, хозяевам может надоесть их непостоянство, и тогда подмастерья нигде не найдут себе места...

Мне наскучило слушать многословного хозяина, и я стал просить Иброхим-ходжу, чтобы он скорее повел нас на гулянье.

* *
*

Мы отправились к месту, где обычно происходило гулянье. Оно находилось к западу от большой дороги, которая начиналась у скотного базара в Гиждуване и шла в сторону Бухары. Эта дорога от самого базара до медресе гиждуванского Чубина была очень широкой и прямой, подобно проспекту. По ее сторонам росли тенистые деревья. Вблизи от дороги виднелась четырехугольная площадь, примерно в десять гектаров, где и происходили гулянья. Это

просторное поле было разделено на небольшие участки, каждый размером в таноб или полтаноба. Владельцы земли в самом начале сентября собирали свой урожай и подготавливали участки для гулянья. Деньги, которые они получали за аренду земли от лавочников, вдвое покрывали убытки, вызванные преждевременным сбором урожая.

Весь этот участок из конца в конец, с севера на юг, был разделен на ряды. По обеим сторонам рядов тянулись похожие на шалаши лавчонки, сооруженные из жердей и циновок. В некоторых из них размещались чайханы и харчевни, в других шла бойкая торговля рыбными, мясными и прочими товарами.

Мы обошли все ряды, и мне показалось, что это был самый обычный деревенский базар, я никак не мог понять, что здесь привлекает народ. Если люди любуются здешними харчевнями и чайханами, то их гораздо больше можно найти в самом Гиждуване, где они к тому же более чистые и открыты ежедневно.

Чайхана базарчика у мостика Эшон, недалеко от нашего дома, много лучше и красивей всех этих лавок; она расположена у бассейна, там растут деревья, и воздух куда приятнее, чем здесь.

Я очень расстроился и сказал Иброхим-ходже:

— Отведите нас в другое место, где можно хоть что-нибудь увидеть!

Он согласился и повел нас в сторону, к какой-то ограде за рядами с лавками из циновок. Эта ограда отделяла участок от проезжей дороги, проходившей мимо медресе Чубина, в направлении к высокому мосту через канал Ходжа Хомони. У ограды толпились и собирались в тесные кружки люди. Наш проводник подводил нас к каждому кружку и давал объяснения. В одном месте крутили волчок, в другом *играли с ремнем* или пробовали свое счастье в карты. Все это были азартные игры, и вокруг толкались самые беспечные люди со всей округи.

В надежде на удачу они проигрывали свои деньги, скопленные с невероятными трудностями для участия в гулянье.

— Здесь нет ничего интересного, — сказал я своему проводнику сердито и недовольно.

— Ты вроде своего отца, такой же привередливый и несговорчивый, — сказал, рассердившись, Иброхим-ходжа, но, помолчав минуту, смягчился.

— Ну ладно, идемте, я покажу вам самое интересное место гулянья!

Он снова повел нас через ряды с лавками из циновок, пока мы не достигли северо-западного угла площади. Там был большой бассейн, с северной стороны которого находились лавки по продаже халвы, фруктов и лепешек. Пекари, прислонив к деревьям у бассейна высокие деревянные лестницы, разложили на их ступеньках притягивающие к себе взоры прохожих большие сдобные гиждуванские лепешки из дважды просеянной муки. Продавцы халвы тоже выставили напоказ свои товары в коробках, возвышавшихся одна над другой. Халва была красиво завернута в золоченую и посеребренную бумагу, что делало ее еще более аппетитной. С северной стороны дороги, проходившей мимо бассейна, виднелся невысокий холм, на котором был расположен мазар Ходжа-Дарвеша. Ежегодное гулянье здесь устраивалось в его честь; с восточной стороны бассейна находилась большая чайхана на открытом воздухе.

Я не нашел для себя ничего интересного и с этой стороны площади. Конечно, сдобные лепешки и халва, завернутая в золоченую бумагу, выглядели очень привлекательно. Но при наличии денег ее можно было купить в любое время и съесть дома. Для этого вовсе не требовалось идти в Дарвешобод, да и вообще не стоило устраивать и само гулянье. Но я не поделился своими впечатлениями с нашим проводником, который только что упрекнул меня в том, что я «привередливый» и «несговорчивый».

Но, по-видимому, он и сам догадался о моих мыслях, потому что сказал мне:

— Настоящее гулянье начнется вечером, сейчас люди только проводят время, как умеют, едят, пьют чай; мы тоже купим что-нибудь, поедим и пойдем домой, вечером мы снова вернемся сюда.

Наш провожатый купил за восемь пулей две небольшие сдобные лепешки, на полтеньги масляной халвы в золоченой бумаге и повел нас в чайхану у бассейна. Мы заказали чай и стали завтра-

кать. Возле суфы на маленькой площадке, собрав небольшую толпу людей, маддох рассказывал о «чудесах» Ходжа-Дарвеша. Как говорил он, Ходжа-Дарвеш был бедным человеком и хорошо знал, что такое голод. Но, несмотря на это, если он и доставал что-нибудь, то раздавал нищим и маддохам. Зимой, в снежные и дождливые дни, он выходил на улицу в одном лишь халате. Случалось, например, что он замечал на улице группу людей, слушающих маддоха, и если тот просил у него одежду, то Ходжа-Дарвеш снимал с себя халат и отдавал маддоху, а сам в сильный мороз возвращался в одной рубашке и штанах к себе в келью.

Закончив рассказ, маддох стал просить у собравшихся сначала халат, потом теньги и, в конце концов, медные пулы. Все стали давать ему, что могли. Иброхим-ходжа тоже дал маддоху одну теньгу. Я очень удивился его щедрости, от отца мне приходилось слышать, что Иброхим-ходжа сам живет на подаяния других людей.

— Зачем вы дали ему денег? — спросил я.

Он улыбнулся и посмотрел на меня понимающе.

— Наверно, ты про себя решил, что я дал маддоху теньгу из тех трех, которые мне вручил отец на твои развлечения? Нет, я эти деньги дал из собственного кармана.

Это объяснение Иброхим-ходжи не устранило моих сомнений относительно его «благородства» и «щедрости», я все еще смотрел на него удивленно и вопросительно. Возможно, он понял мои сомнения, потому что добавил:

— Нужно приучить народ делать благодеяния и подавать милостыню; то, что я, носящий белую чалму, дал маддоху денег, будет служить людям примером, и они скажут: «Если бы не следовало подать маддоху, то этот человек, который является муллой, ишаном и сам живет милостыней, не дал бы ему». Каждый из них подаст в меру своих возможностей.

Невдалеке от Гиждувана, к югу, находилась деревня, которую называли Па'муза (Пахнмуза). Бо́льшая часть взрослого населения этой деревни являлась маддохами, а молодежь служила им помощниками. Как было сказано выше, маддохи на базарах и гуляньях собирали

группы людей, рассказывали поучительные истории на религиозные темы и собирали подаяния. Помощники маддохов усаживались в чайхане в кружок вместе с посетителями, пьющими чай, пели песни и собирали деньги.

Когда маддох кончил рассказывать, в чайхану пришли два юноши-маддоха с запевалой. Юношам было лет по шестнадцати-семнадцати, а запевале на вид казалось лет двадцать пять. Они подходили то к одной, то к другой группе посетителей, и юноши сразу же к ним присаживались. Запевала, стоя среди чайханы, начинал какую-нибудь песню, а его помощники подтягивали. Однако ни одной песни они не доводили до конца. Запевала начинал песню, и как только юноши ее подхватывали, он замолкал и принимался просить у слушателей. Просьба его была грубоватой и бесцеремонной.

— Ну-ка, поройтесь в карманах! — говорил он. — Потратьтесь! Пусть ваши даяния будут такими же, как ваши усы! Эй, парень с закрученными кверху усами! Почему ты молчишь?

Люди, пившие чай, были явно смущены. Одни из них подавали запевале по примеру соседей, другие потому, что им надоела его назойливость. Но запевале сбор показался все же недостаточным.

— О, находящиеся под покровительством ходжи всех времен Ходжа Абдулхолика гиждуванского! — снова заговорил он. — Я приехал к вам в гости из Бухары с добрыми намерениями. Я хочу в нынешнем году отправиться в хадж в Мекку. Меня зовут Хромой Джура, и живу я в квартале Маддохов в Бухаре. Все, что вы до сих пор давали, предназначается моим помощникам — этим юношам с хорошими голосами, это их доля. А теперь я прошу во имя бога, ради расходов на хадж в благословенную Мекку для себя самого. Как только пройдет срок, необходимый для ха́джа, каждый из вас, кто приедет в Бухару по своим делам, может заглянуть в квартал Маддохов и спросить, ездил ли я в Мекку или нет. Если вам скажут, что Хромой Джура не ездил в хадж, тогда тот, кто дал мне здесь одну теньгу, пусть получит с меня десять тенег.

Конечно, люди стали подавать и запевале.

Мне очень понравилось пение мальчиков-маддохов, у них были действительно хорошие голоса, и пели они превосходно. Я пожалел лишь, что бессовестный запевала не давал им петь как следует и надоедал всем беспрестанным вымоганием денег.

* *
*

Вечером мы вернулись домой. Во дворе повсюду стояли сосуды, наполненные порохом и вставленные один в другой, подобно гончарной посуде. Отдохнув часа два, мы опять пошли на площадь. В чайханах и лавках горели большие свечи, на площади повсюду виднелись сосуды с маслом, в них были зажжены старые тряпки, и они подобно факелам освещали все вокруг. Мы гуляли и любовались иллюминацией. Иброхим-ходжа купил нам связку бумажных ракет. В это время закричали: «Начинаются фейерверки!..». Поднялся страшный шум и волнение. Иброхим-ходжа повел нас на горку. Здесь, кроме мазара Ходжа-Дарвеш, был еще небольшой домик, который примыкал к постройкам мазара. Между мазаром и этим домиком росло тутовое дерево. Из щелей домика пробивался слабый свет какого-то светильника.

Иброхим-ходжа велел нам остановиться возле домика, отсюда хорошо был виден бассейн и лавки по продаже лепешек и халвы.

— Фейерверк начнется около этого бассейна, — сказал он. — Вам там находиться опасно, вы можете испугаться, или вас могут растоптать. Здесь же без всякой опасности удастся наблюдать фейерверк.

Иброхим-ходжа достал из кармана коробку спичек, вручил ее своему племяннику Хомид-ходже и сказал ему:

— Если вы до начала фейерверка соскучитесь, можете зажечь одну ракету.

Иброхим-ходжа ушел. Как только мы остались одни, Хомид-ходжа поджег спичкой ракету. Раздался оглушительный треск, и в ту же минуту из дома послышался душераздирающий вопль нескольких человек: «Ой, умираем!» — дверь домика распахнулась, и от-

туда выскочили люди. Испугавшись, мы бросились бежать. Я спрятался внутри строения возле мазара. Хомид-ходжа побежал в другую сторону и сразу же оказался схваченным. Люди, выскочившие из домика, с озлоблением стали драть ему уши и надавали пощечин. Только после того, как Хомид-ходжа покаялся и обещал, что мы больше не будем пускать ракет, они снова вернулись в домик и заперли дверь.

Я тихонько выбрался из мазара и подошел к Хомид-ходже. Он все еще плакал, но при виде меня смутился и, когда немного успокоился, сказал:

— Давай посмотрим, кто сидит в домике и что они там делают.

Мы подошли к самой двери в заглянули в щелку. Там сидели три или четыре бледных человека, перед каждым из них на грязном платке лежали сласти — леденцы, изюм и халва. В сторонке один из посетителей этого дома что-то мял в чашке, остальные сидели, наклонив головы и прикрыв глаза. Тот человек, который держал чашку, тоже наклонил голову и полуприкрыл глаза. Некоторые из них, не поднимая головы и не открывая глаз, тихонько гудели, как мухи; другие, не меняя своего положения, отвечали им таким же гудением.

Было очевидно, что они тихо ведут какой-то разговор. Но, не говоря уже о самом разговоре, голоса их тоже не были отчетливо слышны.

Хомид-ходжа, не проронив ни звука, взял меня за руку и сделал знак отойти в сторону. Когда мы сели на прежнее место, он стал объяснять:

— Это опиеманы, то, что тот человек приготовлял в чашке, — была головка мака, они ее растирают, пьют сок и погружаются в забвение.

— Откуда ты знаешь, что они опиеманы и что это опиум?

— Знаю. В Ришти я вместе со своим дядей видел их притоны. Мой дядя такой же, как они, и тоже болен, он сейчас учится. Опиеманы боятся громких звуков. Сейчас увидишь, как я им отомщу.

Хомид-ходжа положил ракеты за пазуху, влез на тутовое дерево и повесил связку на одну из растущих высоко веток. Затем он достал

из кармана спички, поджег конец веревки, на которой были нанизаны ракеты, а сам быстро спустился вниз и дал мне знак спрятаться где-нибудь подальше от притона.

Спустя минуту огонь по веревке дошел до первой ракеты, и она с треском взорвалась. Опять опиеманы, как и в первый раз, с криком выскочили наружу; но сколько они ни искали, никого не нашли. С ругательствами вернулись они в домик и заперли его. Когда опиеманы ушли, Хомид-ходжа даже завизжал от восторга.

— Ну уж, я покажу им могилы их матерей! Будут они меня помнить!

Бумажные ракеты так были нанизаны на веревку, что между ними оставалось примерно расстояние в сустав пальца. После взрыва первой ракеты огонь потихоньку по веревке добрался до второй. Опять раздался треск, опять послышался душераздирающий вопль, снова опиеманы выскочили из домика, и так же радостно завизжал Хомид-ходжа. Когда разорвалась третья ракета, все повторилось снова.

— Если бы это не случилось, — сказал я Хомид-ходже, — то я вернулся бы из Дарвешобода, ничего не повидав. Теперь я могу сказать: «Я такое видел на гулянье!..».

В этот момент взорвалась четвертая ракета, и мы были заняты наблюдением за криками и беготней опиеманов, как вдруг за нами раздался душераздирающий вопль, послышалось шипение, и все вокруг озарилось ярким огнем. Мы посмотрели назад, в сторону бассейна. Там начался фейерверк. В узких проходах у бассейна народ сгрудился так тесно, что не было просвета; как говорится в поговорке, «если бросить иголку, она не упадет на землю». Лавки, крыши — все было усеяно людьми. По обеим сторонам толпы стояли два высоких, сильных парня с засученными до локтей рукавами, и у каждого в правой руке было по сосуду. Эти сосуды, подобно сказочным драконам, издавали жуткое шипение и, как они, изрыгали огонь. Языки пламени напоминали фонтаны воды, бьющие в небо; над ними раскрывались огненные шары, разбрасывавшие во все стороны сверкающие искры.

Когда эти парни пошли навстречу друг другу, пламя в их сосудах стало спадать, им на смену пришли два других человека. В руках у сменивших было уже не по одному, а по два сосуда, так с четырьмя горящими сосудами они и пошли друг к другу навстречу. Один из этих парней казался совсем молодым, подобно танцорам на пирах, он вертел в воздухе горящим сосудом. Со всех сторон раздавались крики: «Живи долго, Абдулло! Стань князем! Ты настоящий герой!».

При свете фейерверка я разглядел лицо этого подростка и не поверил своим глазам: Абдулло был тот самый мальчик, который вместе со мной учился в женской школе; отец его, красильщик Ботур-бай, привел его из Гидждувана в Соктари, чтобы он не пошел дурной дорогой. Но после того, как Абдулло вернулся в Гидждуван, несмотря на то, что был еще совсем мал, он подружился со взрослыми парнями и проявил большое искусство в драках, происходивших между гуляками, даже заслужил среди них прозвище «герой».

Когда погас фейерверк у Абдуллы и его товарища, на их место вышли шесть человек и зажгли шесть фейерверков. Послышались крики: цветы, цветы! Огонь, вырывавшийся из сосудов, был различной окраски: красный, желтый, голубой, зеленый, синий; все это напоминало громадный куст, на котором распустились разноцветные розы.

Вдруг в одном сосуде пламя вырвалось из дна, парень вместе со своей пылающей ношей упал на землю. Крики людей усилились:

— Огонь вырвался снизу!.. у гидждуванцев огонь из сосуда вырвался снизу!.. Вобкентцы выиграли... Бросьте в бассейн! Эй, мулиёнские литейщики, скорей выходите, гидждуванцы осрамились!..

В том месте, где из сосуда вырвалось снизу пламя, подняли с земли несколько человек и бросили в бассейн. Их одежда дымилась и кое-где даже загорелась.

— Литейщики! Литейщики! — слышались радостные крики одной группы зрителей. Противная сторона тоже кричала:

— Вобкентские литейщики готовы выступить против гидждуванских литейщиков! Поле битвы покажет мужество каждого тюменя! Не радуйтесь раньше времени!

С обеих сторон появилось по восьми сосудов. Но не прошло и минуты, как один из сосудов вобкентцев взорвался внизу, тотчас же со страшным треском лопнул и другой их сосуд. Силой взрыва лестница какого-то пекаря, на которой были выставлены сдобные четырехкилограммовые лепешки, оказалась сдвинутой с места и свалилась в бассейн.

Мы с Хомид-ходжой, чтобы не видеть происходящего, упали и уткнулись в землю. Вопли, стоны, плач, крики о помощи многих людей смешивались с шипением горящих сосудов и создавали жуткую картину. Я все еще не мог от страха поднять голову. Но вот шипение фейерверков ослабло, и стали слышны крики:

— Довольно! Вобкентцы проиграли! На будущей неделе мы еще проучим гидждуванцев, сейчас радоваться преждевременно!

После того как все утихло, вокруг бассейна воцарилось грустное молчание. Мы подняли головы.

— А что стало с опиеманами? — спросил Хомид-ходжа и побежал к домику. Я поспешил за ним. Дверь была раскрыта, светильник еле горел, посреди комнаты лежала опрокинутая чашка с опиумом, повсюду валялись платки опиеманов с их чашками для растирания мака. Но от самих опиеманов не осталось и следа. Было ясно, что лишь только начался фейерверк, как они разбежались в разные стороны.

Вскоре пришел Иброхим-ходжа, чалмы на нем не было, в руках он держал мокрый верхний халат. Мы спросили, что случилось. Он рассказал нам следующее:

— Когда со стороны вобкентцев и гидждуванцев появились ребята, державшие по два сосуда, я подошел к гидждуванцам и благословил их: «Пусть бог сохранит вас от несчастья с сосудами, и вы выйдете из этого состязания победителями!». Один из них ответил: «Если мы выйдем без урона, я сделаю вам хорошее подношение». Я еще раз благословил того парня. Но не прошло и минуты, как его сосуд разорвался, он оказался раненным в обе ноги и упал на землю, одежда у него загорелась. Люди подняли его и еще нескольких других человек, у которых загорелась одежда, когда взорвались сосуды,

всех их бросили в бассейн. Вдруг я увидел, что у меня загорелся халат. Я его быстро снял и тоже бросил в воду.

— А что случилось с вашей чалмой? — спросил Хомид-ходжа своего дядю.

— Я еще не кончил, — сказал он и продолжил рассказ о несчастьях, вызванных фейерверком:

— После того, как мне удалось потушить огонь на халате, чтобы лучше и спокойнее наблюдать за фейерверком, я пошел в лавку Файзи-бая, сына Назрумо-бая — мастера, приготовляющего халву. Там действительно было спокойней. Лавка находилась далеко от толпы, искры от ракет до нее не долетали, и здесь было безопаснее. Однако, когда взорвался проклятый сосуд вобкентцев, место это оказалось самым опасным. Лавка лепешечника вместе с его лесенками свалилась в воду, несколько человек, находившихся там, были ранены, а я, только что пострадавший от взрыва сосудов гиждуванцев, отбежал в сторону, как только начали разрываться сосуды вобкентцев. Вдруг кто-то крикнул мне: «Брат мулла, на вас загорелась чалма!». Я сразу же сорвал с головы чалму и хотел бросить ее в бассейн, но не успел, тонкая кисея вспыхнула, и пока я снимал ее с головы, обжег себе руки. Я бросил чалму на землю, и она на моих глазах превратилась в пепел.

Как рассказывал Иброхим-ходжа, у вобкентского парня, державшего взорвавшийся сосуд, оторвало кисти рук, а остальные части рук обгорели до самых плеч, и сам он упал без чувств. Ничего не было известно, остался жив этот парень или умер.

Когда я был уже взрослым, мне пришлось быть свидетелем гибели многих людей на базаре в Гиждуване во время фейерверка в ночь перед рамазаном. Позже я описал это бедствие в своем сочинении «Ахмад — заклинатель дивов».

* *
*

Мы переночевали у нашего хозяина и утром опять отправились на гулянье. Хотя у бассейна уже не оставалось вчерашних украшенных лавок, но следы пожара были уничтожены и все приведено в по-

рядок. Мы сели пить чай в чайхане у бассейна; войлоки и ковры в чайхане оказались разорванными во многих местах и напоминали тень, отбрасываемую тополями.

Мы еще не кончили чаепитие, как к нам подошел вчерашний маддох и очень почтительно, как мюрид, поздоровался с Иброхим-ходжой; он сел возле нас и, обращаясь к нему, сказал:

— Я слышал, что во время вчерашнего бедствия у вас сгорел халат, поэтому прошу вас принять от меня в дар один из лучших халатов, который мне преподнесли, благодаря вашему благословению.

Он положил перед Иброхим-ходжой бывший у него в руках сверток.

— В добром деле нет нужды в гадании, — сказал дядя и взял халат. Маддох ушел. Когда он удалился на значительное расстояние, Иброхим-ходжа обратился ко мне:

— Ты видишь, каково действие той теньги, которую я вчера подал маддоху? Мои деньги, подобно капиталу ростовщиков, увеличившись, ко мне же и вернулись.

После чаепития мы пошли смотреть ослиные скачки.

* *
*

В восточной стороне площади, на большой дороге, ведущей от скотного базара до медресе Чубина, был выделен участок для ослиных скачек.

Здесь стояло около пятидесяти ослов. Все это были крупные белые животные с пышными хвостами, коротко подстриженной гривой и торчащими ушами. В каждый заход выпускали сразу не менее двух ослов. Вместе с ослами участие в гонках принимала также и лошадь. На лошади сидел хороший наездник, а на ослах — мальчики лет по двенадцати-четырнадцати. Старт был дан у входа в скотный базар, а финиш — перед медресе Чубина, и судьи находились там.

Сначала выпустили двух-трех ослят с ребятами верхом на них и ослов, принадлежавших любителям скачек. Затем наступила очередь

известных наездников скакать на испытанных в состязаниях животных. Владельцы восхваляли достоинства своих ослов и бились между собой об заклад от десяти до двадцати тенег. Многие из собравшихся следовали примеру игроков. Разгоряченные спорщики ставили залог на одного из соревнующихся в беге ослов от двадцати до пятидесяти и даже до ста тенег. Так, на быстроте чужих ослов люди проигрывали или выигрывали несколько сот тенег.

В самом конце скачек появился человек по имени Истам-Хархур. Осел его был очень крупный и жирный и такой разгоряченный, что даже минуты не стоял спокойно, все время брыкался и ревел. Несмотря на то, что Истам держал осла обеими руками за недоуздок, тот беспрестанно пытался нападать на других ослов.

Истам долго распинался о достоинствах своего осла, а потом предложил биться кому-нибудь с ним об заклад на двести тенег. Но желающих не было, так как все боялись, что прочие ослы не смогут одержать победу и они проиграют заклад.

В конце концов один молодой парень, Клыкастый Рустам, выступил против Истам-Хархура. Это был юноша лет шестнадцати-семнадцати, с торчащими вперед тремя верхними зубами. Его осел по сравнению с ослом Истам-Хархура был меньше, казался тощим и длинноухим. Все смеялись над парнем и говорили: «Зря проиграет двести тенег».

Истам-Хархур разозлился.

— Мне не пристало, — кричал он, — состязаться с этим слезливым мальчишкой и своего «боевого козла» пускать вместе с его паршивым ослом!

Зрители ему отвечали:

— Если ты не пустишь состязаться своего осла с его ослом, мы будем считать твоего осла побежденным.

Истам совсем рассердился:

— Хорошо же, пусть он раньше достанет деньги, потом я буду биться с ним об заклад. Если я выиграю, как я смогу иначе взыскать деньги с этого несчастного батрака?

Парень имел всего лишь сто тенег. Тогда он решил обратиться за помощью к собравшимся на бега и продать кому-нибудь из них своего

осла на таком условии: если он выиграет заклад, то отдаст покупателю сто пятьдесят тенег и заберет осла назад, если же проиграет, то осел останется у того, кто его купил.

Наконец, один старик, который сам в молодости увлекался ослиными бегами, а теперь, по старости, оставил это увлечение, согласился и без покупки осла дать Рустаму сто тенег в долг и успокоил его:

— Не бойся, сынок, твой осел обгонит осла Истама, и если, выиграв, ты прибавишь к своему долгу пять тенег, этого будет вполне достаточно. Пусть осел останется у тебя.

Он отсчитал из кошелька сто тенег и передал Рустаму.

Истам услышал слова старика «твой осел обгонит осла Истама» и вспыхнул, как сухой хворост. Он сердито обратился к старику:

— Я в прошлом году купил этого осла за двести тенег, целый год ухаживал за ним и готовил ради сегодняшнего дня. Если мой осел отстанет от этого паршивого осла, то я переменю и мое прозвище «Хархур» — «поедающий ослов», которое станет мне противным, и вот этим самым ножом (он показал длинный нож) я сам распорю живот негодному животному.

Старик, улыбнувшись, ответил Истаму:

— Не сердись, братец! Знаешь ведь, как сказано в поговорке: мужчину испытывает поле боя, а осла — бег. Пока еще твой осел не показал себя, не хвастай напрасно, а вот когда он победит, тогда можешь хвалиться, сколько тебе будет угодно.

Начались состязания. Осел Истама с ревом вырвался вперед. Рустам никому не доверил своего осла и уселся на него сам; подтянув поводья, он поскакал за противником. Подбрасывая свою чалму в воздух, Истам издавал радостные крики. Когда оба животных прошли половину расстояния, Рустам опустил поводья и закричал:

— Эй, сокол, наверстывай упущенное! — и его осел, вскидывая кверху все четыре ноги, стал догонять осла Истама. Вскоре оба скрылись из глаз зрителей. Прошло немного времени, и судьи пришли с известием о победе осла Рустама. Сам он тоже вернулся со своим ослом, но на лице его совсем не отражалась радость победы. Что касается Истама, то он не смог перенести поражения и, вытащив из

ножен длинный нож, всадил его по рукоятку в живот ослу. Животное рухнуло на землю, а старик укоризненно сказал Истаму:

— Осел твой ни в чем не повинен, виноват лишь хозяин, что так раскормил животное. Ты должен был сам себе в живот всадить нож!

Зрители испытывали отвращение к зверскому поступку Истама и с негодованием разошлись.

* *
*

С конного базара мы пошли на базар, где продавали овец и баранов, там происходили бараньи бои. Как и на ослиных скачках, здесь так же бились об заклад, зрители выигрывали или проигрывали большие деньги. В самом конце состязания привели биться барана, у которого, как определили знатоки, курдюк был весом в полтора пуда. Во время боя от сильного удара, который этот жирный баран нанес своему противнику, у него лопнул курдюк. Хозяин был вынужден отрезать ему голову и продавать мясо и сало по обычной цене.

Этим закончилось гулянье в Дарвешоводе, и я поклялся никогда больше не ходить туда, так как там не было ни одного интересного для меня зрелища.

«ПАРВАРДИГОР-ХУДЖА»

В деревне Соктари жил один человек из мираконцев по имени Кори-Махмуд. Это был веселый, общительный и находчивый человек. Отец еще в детстве отдал его в школу для усвоения на память Корана, и поэтому ему было присвоено прозвище Кори. Когда он вырос, то стал служить в канцеляриях и выполнять различные поручения областных эмирских правителей. После нескольких лет такой службы он вернулся в деревню и избрал себе профессией ишанство и писание талисманов и заговоров.

Однажды я его спросил:

— Почему вы бросили служить и стали ишаном? Ведь служба, какая бы она ни была незначительная, все же дает своего рода власть,

а ишанство и писание талисманов, хоть и считается почетным занятием, на деле почти не отличается от нищенства.

— В поговорке говорится: пельмени едят для того, чтобы отведать мяса, — отвечал он. — Чем бы ни занимался человек — службой или ишанством и писанием талисманов и заговоров, — цель у него одна: найти, не трудясь, кусок лепешки и насытить свой желудок. Как бы плохо ни управлял в своем округе чиновник, народ вынужден ему подчиниться. Все считают его тираном, все ненавидят, в особенности, если он принадлежит к числу прислужников казия, которые действуют от имени эмира, везирей и правителей, но безропотно выполняют его распоряжения, потому что боятся возмездия со стороны правительства. Если же такой чиновник попадется в руки рассерженных людей, то живым его не выпустят. За десять лет своей службы я это хорошо усвоил. А вот ишанство и писание талисманов — очень спокойная профессия. Хотя по сдиранию шкуры с народа ишаны и заклинатели не отличаются от чиновников, но умеют взять душу человека в вату, и люди, попавшие им в лапы, не понимают, что отдали душу. Их не только не ненавидят, но даже считают избавителями от всех бед и проявляют по отношению к ним полнейшее доверие и любовь. Вот почему я службу у чиновника сменил на профессию ишана.

В нашей деревне жил тогда человек из рода мираконцев, которого звали Убайд-ходжа. Это был бедный неудачливый человек, не отличавшийся какими-нибудь особенными способностями или стремлениями. Владел он лишь четырьмя танобами (одним гектаром) земли и абрикосовым садом. На скудные доходы со своего хозяйства он влачил с семьей жалкое существование. Убайд-ходжа никогда не служил чиновником, не был он также ишаном или заклинателем, но зато всех их очень любил. Он выдумывал и рассказывал истории о «справедливости» самых жестоких правителей и о «чудесах», совершаемых неграмотными ишанами-обманщиками. Если находился слушатель, он готов был рассказывать целый день.

Кори-Махмуду нередко приходилось слушать рассказы Убайд-ходжи. Он высмеивал его лживые вымыслы и напоминал людям, как обстоит дело в самой жизни.

— Брат, — говорил он, — ты несчастный бездельник. Если бы ты был чиновником или занимался заклинаниями, я не стал бы упрекать тебя за нелепые выдумки, потому что, кроме меня, «ни один араб не признается в том, что его пахтанье кислое». Но ты даровой маддох — хвалитель мнимых благостей чиновных людей и ишанов, тебе хочется освободить их от грехов, а это уже глупо.

Однажды я сидел на берегу канала Мазрангон, протекавшего через нашу деревню. Кори-Махмуд подъехал верхом на лошади и спешился на противоположном берегу канала. Он отвел лошадь во двор, а сам спустился к каналу и стал умываться. Я спросил его, откуда он приехал.

— Из деревни Обкена, с похорон одного человека.

— Вероятно, вы к нему ездили, когда он заболел, чтобы прочесть молитву? — спросил я опять.

— Конечно, ездил, читал, получил подношение, а сегодня ездил его хоронить.

— Когда родные увидели, что ваша молитва не помогла больному и он умер, они на вас не рассердились и все-таки пригласили вас на похороны?

— У простого народа удивительное свойство, — сказал он. — Обмывателей покойников, у которых нет никаких грехов, считают приносящими несчастье и не пускают на похороны. А вот ишанам и заклинателям так верят, что их приводят читать молитвы над больными, надеясь, что они помогут, и не жалеют денег на большие подношения. Если больной выздоравливает, все думают, что это произошло благодаря молитвам и заговорам обманщика, ему беспрестанно выражают свою признательность и одаривают подарками. Но если больной умрет, то считают это проявлением божьей воли, исполнением предначертанного и вера в силу ишанов нисколько не уменьшается. Их уважают больше, чем других имамов и мулл. Если муллам во время похорон снимают с погребальных носилок аршин бязи, то ишанам дают целую штуку кисеи. Во всяком случае, ишаны и заклинатели много счастливее обмывателей покойников, — закончил свой рассказ Кори-Махмуд.

Рассуждения Кори-Махмуда я привел в «Дохунде» в главе «Похороны», где описана беседа Хаджи Якуб-бая с ишаном Султонхоном.

* *
*

В нашей деревне взрослые парни устраивали вскладчину мужские вечеринки. Однажды в одной из таких вечеринок участвовал Кори-Махмуд, которого пригласили как веселого человека, и Сайид-Акбар, потому что он был учащимся бухарского медресе. Приглашенные, а вместе с ними и постоянные участники вечеринок, собрались к ужину в одном доме, однако Сайид-Акбара все не было (должно быть, он этим хотел доказать свою значительность, так как обычно почтенные люди на всякие собрания приходят поздно).

Гости, находившиеся друг с другом в приятельских отношениях, спросили хозяина дома:

— Если ты приготовил какое-нибудь угощение, то скорей неси, а то мы больше не можем переносить голода, а если у тебя ничего нет, то скажи прямо, мы разойдемся тогда по домам и поужинаем.

Хозяин дома ответил:

— Все готово, но я жду Сайид-Акбар-ходжу, потому что я его пригласил. Нужно еще немного подождать.

Но прождали еще немного, Сайид-Акбар-ходжа так и не пришел, и угощение съели без него.

На следующий день, когда Сайид-Акбар-ходжа сидел с приятелями на улице, к нему подошел Кори-Махмуд.

— Почему вы вчера не были на вечеринке? — спросил он. — В мехмон-хоне собралось много народа, и вас все ждали более двух часов. Это нехорошо.

— Я приходил, — ответил Сайид-Акбар-ходжа, — но, не войдя в дом, вернулся.

— Почему? — удивился Кори-Махмуд.

— Потому что я услышал своими ушами, как безграмотный хозяин назвал меня просто по имени, сказав: «Такой-то до сих пор не пришел». Разве это не проявление неуважения ко мне, ученику бухар-

ского медресе! Поэтому я решил: «Пусть сам ест свое угощение!» — и вернулся от дверей мехмон-хоны.

Кори-Махмуд громко рассмеялся.

— Каждому человеку и всякой вещи, — сказал он, — полагается иметь свое имя или название. Если говорят об отсутствующем, то поневоле приходится упоминать и его имя. Ну, если вы стесняетесь того имени, которым назвал вас отец, мы дадим вам другое, более высокое, чтобы вы его не стыдились. По моему разумению, вас следует величать именем бога — «Парвардигор-худжа»; насколько я понимаю, выше этого в мире нет ничего. Так как к слову «Парвардигор» прибавляется еще слово «худжа», то ваше имя будет выше, чем имя бога, а это вам очень подойдет.

Все засмеялись. Сайид-Акбар очень рассердился, но ничего не смог ответить. Разгневанный, он вскочил с места, ушел домой и несколько дней нигде не показывался, но с тех пор кличка «Парвардигор-худжа» прочно к нему пристала.

ОТЕЦ

Я хочу немного остановиться на характере и поступках моего отца, оказавшего большое влияние на всю мою жизнь. Отец ненавидел официальных духовных лиц — имамов, казиев и раисов, постоянно обвинял их в невежестве и бессовестности. Из всех казиев он любил лишь одного Абдулвохида Садри Сарира, а из имамов — нескольких человек, которых я не знал.

Нередко между моим отцом и имамами возникали споры, из них отец всегда выходил победителем. Он хорошо знал все, что необходимо для словесного состязания: простые и стихотворные загадки, счет «абджад», значение некоторых стихов, понимание которых связано со знанием какого-либо события. Что же касается простых деревенских мулл, то они понятия об этом не имели, а некоторые из них даже были неграмотны. Вот подобными средствами отец и побивал деревенских мулл, унижал их, говоря им прямо в лицо, что они невежды.

Деревенские жители, особенно женщины, ненавидели казиев. Один из них был уроженцем Соктари, я его не видел, но знал его сыновей, которых звали «козибача» — сыновья казия. Лучшие земли Соктари и Сайидкента находились в руках его многочисленных родственников. В северной части нашей деревни был участок земли, где росли абрикосовые деревья, это место называли «сад казия». Во времена моего детства деревья там были уже очень старые и перестали плодоносить. Сыновья казия продали их угольщикам, которые устроили в саду несколько печей, срубили деревья и нажгли углей.

В те дни жена Усто-амака по какому-то случаю пригласила соседок к себе в гости. Я был тогда еще очень мал и поэтому пошел туда вместе с матерью. Но так как я любил слушать разговоры и был очень любопытным, то не стал играть на суфе с другими ребятами, а сел возле матери среди женщин.

Женщины беседовали о казиях; одна из них назвала казиев «адским топливом» и пояснила:

— Они в аду будут так гореть, что идущий от них дым еще больше увеличит жар адского пламени.

Другая сказала:

— Если бог определил в аду для человека место величиной в одну подстилку, то для каждого казия он построит целый двор, в котором двери, стены, вся утварь и все принадлежности будут огненными.

Третья женщина подтвердила ее слова.

— Так будет для всех казиев, — сказала она, — что же касается нашего земляка, то, кроме огненного двора, бог даст ему еще и огненный сад. Вот почему его сыновья продали свои абрикосовые деревья угольщикам. Это пламя, которое вырывается из печей, пойдет на тот свет и будет употреблено для огненного двора.

Мать, знавшая, как отец любил казия Абдулвохида, вмешалась в разговор:

— По-моему, казий Абдулвохид попадет в рай, потому что все называют его справедливым. Ему простят все его грехи за то, что он прорыл новый Шофуркомский канал, без которого невозможно было процветание целого тюменя.

Другие женщины не согласились с мнением матери, а та, которая говорила, что нашему казию-земляку будет устроен в аду огненный двор, добавила:

— Казию нельзя быть справедливым. Если Абдулвохид совершал на своем веку добрые поступки, то он избавится в аду от огненного двора и сада. Но все же вместе с другими грешниками получит свое место в аду, равное подстилке для лежания.

Одна из женщин поставила казию в вину то, что он оформил брак Хабибы без согласия ее отца.

Мне не понравились рассуждения этих женщин об Абдулвохиде, потому что я полюбил его при первой встрече, а после того, как он помог Хабибе соединиться с ее любимым и я узнал, что он поэт, моя любовь к нему возросла во много раз. Мне очень не хотелось, чтобы он горел на адском огне, и я спросил об этом у отца.

Он никогда не рассказывал, подобно женщинам, что для казиев бог построит в аду двор и сад, но зато говорил:

— Они нечестивые, они жестокие, они служат посредниками зла между эмиром и народом и неминуемо должны попасть в ад.

Отец был религиозным человеком, верил в бога, в день страшного суда, в ад и рай.

Когда я захотел узнать его мнение о казии Абдулвохиде, он ответил:

— Да простит его господь, он был хорошим человеком (казий Абдулвохид как раз в эти дни скончался). Он, наверное, попадет в рай, и я в конце каждого намаза произношу в память его благословение, — и отец перечислил все те добрые дела, которые Абдулвохид совершил для народа. Однако среди добрых дел отец не упомянул о том, что казий был поэтом.

— Должно быть, к его добрым делам можно отнести и стихи, — сказал я, стараясь напомнить отцу, что Абдулвохид был поэтом.

Отец засмеялся, но затем уже серьезно добавил:

— Способность писать стихи не может являться всегда и для всех добрым делом. Стихи, так же как и наука, подобны мечу: если ты мечом убьешь дурного человека, врага — это хорошо, но если меч поразит простого человека, это будет напрасным кровопролитием,

тогда надо убить убийцу. Так же и стихи: если они направлены на добро — это хорошо, а если во зло — хуже этого ничего не бывает.

Осмелев от удовлетворившего меня объяснения, я напомнил ему о заключении брака между Хабибой и сыном гончара вопреки согласию их родителей.

— Это доброе дело или дурное? — спросил я отца.

— Брак юноши и девушки по их желанию, если они достигли совершеннолетия, дозволяется шариатом. Это делает каждый казий. Но разница заключается в том, что другие казии после совершения брачного обряда начинают разбирать тяжбу, возникшую в связи с бегством девушки из отчего дома, и становятся причиной разорения вновь созданной семьи, так как от подобных дел они получают значительный доход. Благодеяние казия Абдулвохида состояло в том, что после бракосочетания Хабибы он не стал разбирать претензии, которые подготовили влиятельные старосты, и прогнал лицемерных истцов. Конечно, дело его было добрым.

* *
*

В те времена в Бухаре среди бедных учащихся медресе существовал обычай приходить в месяц рамазан к знакомому казию. Тот их посылал в какую-нибудь деревню, где не было имама и учителя духовной школы. В то время учителей начальных духовных школ называли «мактабдор»; учеников же медресе, которые в месяц рамазан временно давали уроки в деревнях, называли «муаллим». В конце рамазана жители собирали такому «учителю» небольшую сумму денег.

Мой старший брат был соучеником сына какого-то казия. В один из рамазанов он вместе с товарищем пришел к его отцу, и тот направил брата «учителем» в деревню.

Мой отец неизвестно откуда узнал об этом и очень рассердился. Он пришел домой в таком гневе, что весь дрожал. Обратившись к моему дяде Курбон-Ниёзу, гостившему у нас в то время, отец сказал:

— Иди в город и приведи сюда Мухиддина. Я бы сам пошел, но боюсь, что отколочу его при муллах и этим опозорю и его, и себя.

Спустя три дня дядя привел моего брата. Когда брат с приветствием вошел в дом, отец выхватил из-под войлока палку, приготовленную заранее, и побежал ему навстречу. Но дядя и мама его удержали и настояли на том, чтобы на этот раз он ограничился только внушением.

Отец был вынужден согласиться. Однако его внушение явилось для брата более сильным наказанием, чем побои.

— Казии — свиньи, — говорил отец, — они всюду вынюхивают падаль, сами ее едят и скармливают другим. Всякий учащийся медресе, который к ним обращается, становится поросенком. Если ты хочешь быть человеком, то должен удовлетворяться тем куском черствой лепешки, что я тебе посылаю, и чашкой воды, которую всюду можно достать; но если ты намерен превратиться в свинью, то всякие отношения между нами как отцом и сыном будут порваны.

Брат дал слово, что впредь никогда больше не будет посещать дом казия.

* *
*

Имамом нашей деревни был некий мулла из Дарваза, который выдавал себя за правоверного мусульманина. Он читал на базарах людям наставления, предостерегал их от святотатственных поступков и постоянно направлял на благочестивые дела. В те времена по базарам часто бродили люди с кальянами в руках. Они предлагали курильщикам свой кальян и получали за это небольшую плату. Такого рода разносчиков называли «пояки».

Эти люди с целью привлечь побольше клиентов-курильщиков обычно украшали головку и ножку кальяна серебром.

В один из базарных дней в Гидждуване наш деревенский имам, думая удержать народ от курения, сломал три таких кальяна; о своем поступке он с религиозным рвением рассказывал на берегу канала крестьянам нашей деревни.

Отец присутствовал при этом разговоре и сказал имаму:

— Вы поступили неправильно!

— Почему? — рассердился имам.

— Во-первых, в шариате ничего не говорится о запрещении или дозволенности табака, потому что, когда появился ислам, никто не курил кальян; все дело в том, что курить вредно, но это касается только самих тех, кто курит кальян. Во-вторых, от того, что вы сломали три кальяна, курильщики не перестанут курить и не раскаются. Однако, поломав кальяны, вы нанесли большой ущерб их владельцам, несчастным беднякам. Если курение кальяна на базарах будет вами или правительством совершенно запрещено, то они могли бы продать свои дорогие кальяны и некоторое время питаться с семьями на вырученные деньги.

На эти слова отца имам сердито ответил:

— Вы слишком чванитесь своей грамотностью, постоянно вступаете с муллами в споры и не даете возможности сделать доброе дело или пресечь дурное.

Люди думали, что они сразу же вцепятся друг в друга. Но вопреки их ожиданиям, отец не промолвил ни слова, поднялся с места и ушел домой. Я побежал за ним.

Во дворе отец заседлал осла, затем вошел в дом, повязал чалму и надел халат. Из ларя он достал все лепешки, что там были, положил их в переметную суму и сказал матери:

— Я еду в город.

— Зачем это вы вдруг собрались в город? Подождите немного, сегодня я испеку горячих лепешек, чтобы отвезти нашему мальчику (моему старшему брату). — упрашивала его мать. Но он ничего не ответил, вышел из дома, сел на осла и уехал.

Мама спросила меня, что произошло на улице, я рассказал ей о ссоре с имамом. Однако она в этой ссоре не нашла причины для безотлагательной поездки в город.

Спустя три дня отец вернулся. Он поставил осла на место, положил переметную суму на край суфы и, не сказав маме ничего о том, как живет брат в городе, вышел со двора.

Он пришел домой через час. На его лице не осталось и следа той печали, которая появилась после спора с имамом, не было никаких признаков гнева или раздражения; улыбаясь, он рассказал матери о своей ссоре с имамом:

— Я привез из города от муфтия подтверждение правильности моих слов, — и отец вынул из-за пазухи бумагу, прочел и пояснил нам ее содержание. В документе было сказано следующее: «Уничтожение своего или чужого имущества является неправильным поступком; если кто-либо уничтожил чужое имущество, то он должен быть признан виновным и обязан вернуть пострадавшему точно такую же вещь или возместить стоимость ее».

Внизу стояла большая печать муфтия размером с пиалу.

— Вот этим толкованием я доказал справедливость своих слов и осрамил имама перед народом. Наши муллы — невежды. Они слушают лишь то, что говорят им такие же, как они сами, обладатели громадной чалмы, а если говорим мы, простые крестьяне, они никогда не согласятся, даже если будет видно, что это вполне справедливо. Муллы не хотят знать мудрого изречения: «Не смотри на то, кто говорит, а смотри на то, что он говорит», — а если и знают, то притворяются неведающими. Им можно запечатать рот только печатью муфтия. Здесь все так, как говорится в пословице: «Ослиное мясо подходит для зубов собаки» — одно другого стоит.

* *
*

Отец мой был очень вспыльчив, но меня он никогда сильно не бил и не ругал. В те времена, сколько я помню, он только дважды меня отчитал. Первый раз — вот по какому поводу.

Однажды отец купил норовистого осла: если кто-нибудь дотрагивался до его загривка, осел начинал реветь и брыкаться. Как-то летом отец отвел осла на убранное поле и оставил его там пастись на привязи. В полдень, когда стало очень жарко, мне пришлось пойти за ослом.

— Смотри, не садись верхом, — предупредил меня отец, — ты можешь нечаянно задеть его загривок, он начнет брыкаться, и ты слетишь!

Я пошел в поле, отвязал осла и погнал домой. По дороге мне показалось глупым вести его налегке, а самому идти пешком. Я поду-

мал: «Если сесть на него с возвышения и не притрагиваться к загривку, он, наверное, не станет брыкаться»...

Чтобы осуществить свое намерение, я поставил осла в арык и с берега, не дотрагиваясь до загривка руками, осторожно вскочил на его спину; осел стоял спокойно и ничего плохого мне не сделал. Но когда я выезжал из арыка, верхняя часть его туловища поднялась, а задняя опустилась. Осел был не заседлан, я начал скользить вниз и едва не свалился; чтобы удержаться, невольно ухватился обеими руками за его гриву. Осел сразу же стал громко реветь и брыкаться. Из боязни упасть я все крепче цеплялся за его гриву, а он все сильнее брыкался. В конце концов я, перекувырнувшись, свалился на землю. У меня нестерпимо заболела правая рука, словно ее отрезали или я разбил локоть, а осел с отчаянным ревом, высоко взбрыкивая задними ногами, поскакал к дому.

Больше, чем боль, меня пугал гнев отца. Я его ослушался, доставил большие неприятности и ему, и себе, значит достоин теперь сильного наказания.

Спустя минуту я поднялся, но боль в руке усилилась. Мне казалось, будто в меня впились железные когти и тянули мое сердце, легкие, руки, плечи вниз, к земле, и вынуждали сесть. В это время со стороны двора показался отец; приготовившись к взбучке, я заставил себя сдержаться.

Отец подошел ко мне. Но он меня не ударил и не выругал. Осмотрев мою ушибленную руку, он лишь сказал:

— Вот ты меня не послушался и лишился руки. А так как это правая рука, то для тебя это будет особенно тяжело, ведь ты теперь не сможешь писать.

Слова отца так меня расстроили, что если бы он сто раз ударил меня прутом, я не испытывал бы подобных мучений.

Отец подвязал мне платком руку к шее, затем привел из деревни лошадь, посадил меня позади себя и повез в Гидждуван к костоправу.

По определению костоправа, рука моя была вывихнута в двух местах — в локте и в кисти. Когда лекарь стал вправлять руку, он так нажал, что послышался хруст вправляемых костей у локтя. Причиненная им боль была гораздо сильнее, чем та, которую я испытал,

когда повредил руку, но от страха перед отцом и от стыда перед костоправом я сдержался и не закричал.

Отец, увидев такую мою выносливость, воскликнул:

— Молодец, сынок!

После того как у меня зажила рука и когда уже забылось это несчастье, отец подозвал меня к себе. Он взял меня за левую руку, достал из-под кошмы прут и один раз хлестнул меня по ногам.

— Смотри, — сказал он, — будь внимателен и запомни, что если ты еще раз меня ослушаешься, я больно тебя поколочу. Понял?

— Понял!

Второй раз отец наказал меня более строго. Недалеко от нашей деревни был базарчик, который назывался Сари-Пули-Эшон; от нас до него было около двух километров. Однажды отец послал меня туда за солью. На обратном пути мне встретился один наш знакомый и велел что-то передать отцу. По пути домой я забыл не только то, что он мне говорил, но и его самого тоже.

Когда отец спросил меня, кого я видел на базаре из его знакомых, мне сразу вспомнился тот человек.

— Что он тебе сказал? — задал вопрос отец.

Но я не мог вспомнить его слов и сказал первое, что пришло в голову.

По-видимому, сказанное мною не имело смысла и было похоже на ложь, потому что отец снова спросил:

— Не забыл ли ты его слова, может, ты переврал?

— Нет, он так говорил, — снова подтвердил я свой вымысел.

Через несколько дней встретившийся мне человек зашел к нам в дом. Отец пригласил его в мехмон-хону, усадил, потом позвал меня и подвел к гостю.

— Что вы через него передали? — спросил отец у своего знакомого.

Тот повторил все сказанное мне, но его слова не имели ничего общего с тем, что я рассказал отцу. От стыда я вспотел. Отец схватил меня за уши, больно оттрепал и сказал:

— Отныне запоминай хорошенько все, что видишь, вслушивайся внимательно в то, что тебе говорят или велят сделать, если плохо понял — переспроси и запомни. Но никогда не лги, а то самому будет стыдно, да к тому же ты окажешься еще опозоренным. Сейчас ты совершил два проступка: во-первых, забыл, что говорил тебе почтенный человек, во-вторых, солгал мне. Если бы ты тогда честно сказал: «Я забыл, что мне наказывали», — я бы не опозорил тебя перед нашим гостем. Иди, играй!

Это наказание оказало большое влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Оно научило меня быть внимательным, не забывать слышанного, виденного, людей и предметы. Сколько бы я ни учил стихи, всегда быстро их забываю, даже если сам их сочинил, все равно забываю уже на второй день. Но никогда не изглаживаются из памяти слова, события, мысли, которые произвели на меня в свое время впечатление. За последние десять-двенадцать лет моя память сильно ослабела, в ней часто не остается следа от того, что я недавно услышал или увидел, но зато все старые воспоминания ясно, как нарисованные, сохраняются в моем сознании. Этим я обязан отцу, который заставил меня упражнять память.

После ухода гостя я хотел пойти к отцу и признаться в старом своем обмане. Но мне было стыдно. Поэтому я молчал.

Отец догадался, что я хочу что-то сказать, но не понял причины моего молчания. Он спросил:

— О чем ты задумался? Говори!

— Я хочу признаться еще в одном обмане.

— Признавайся!

— Я обманывал, что держу пост.

Отец засмеялся.

— Я сразу понял, что ты не постишься, а только притворяешься и думаешь добыть денег на гулянье. Но тогда я ничего не сказал, чтобы не огорчать твою мать, которая очень хотела заставить тебя поститься. Не наказал я тебя за ложь и обман еще потому, что ты был слишком мал. Надеюсь, что впредь ты не станешь так поступать.

* *
*

За год до своей смерти отец решил отвезти меня в Бухару, чтобы я посмотрел город и под надзором старшего брата познакомился с жизнью медресе. Еще через год в начале учебного сезона я должен был уже сам начинать там учиться. В один из осенних дней отец сел на осла, посадил меня позади себя, и мы отправились в путь.

Когда мы проехали стоянку Яланги, находящуюся между Вобкентом и Бухарой, осел сошел с дороги и остановился под ивовым деревом. Ударами плети отец заставил осла опять выйти на дорогу.

— В прошлом году весной по пути в Бухару я не остановился у базара Яланги, а спешился под этим деревом, поел лепешек и дал отдохнуть ослу. Прошло уже много времени, а осел все еще помнит о стоянке и хочет, чтобы я опять дал ему здесь передохнуть. Вот почему он и не пожелал миновать это место.

Помолчав немного, отец продолжал:

— Осел памятливее человека, забывающего все виденное и слышанное. Будь внимателен и ничего не забывай.

Так простым примером он подкрепил свое наставление, о котором я говорил раньше.

МОИ ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О БУХАРЕ И МЕДРЕСЕ

Мы добрались до Бухары поздно вечером и через самаркандские ворота въехали в город. Нам достаточно было опоздать всего лишь на пять минут, говорил отец, и мы остались бы ночевать за городом. Городские ворота запирались, как только заканчивалась последняя молитва в мечети, т. е. спустя полтора часа после захода солнца, и ключи отсылали миршабу.

В городе было темно. В караульном помещении у ворот перед караульщиком тускло горела коптилка с фитилем, пропитанным льняным маслом. Больше нигде в городе не было видно огня свечи, светильника или фонаря. Дома́ и усадьбы в Бухаре не имели наружных окон, и свет на улицу не падал. Узкие улицы, по обеим сторо-

нам которых возвышались безмолвные окутанные мраком двух- или трехэтажные дома, напоминали кладбище.

Уныло проехав по улицам этого «темного царства», мы добрались до медресе Мир-Ара́б, где жил мой старший брат вместе с Сайид-Акбаром.

На запад от медресе виднелся мутный свет и доносились звуки барабана и сурная. Очевидно, там, между медресе Мир-Араб и Большой мечетью, происходило народное гулянье. В те времена был такой обычай, что если эмир останавливался в каком-нибудь частном доме вне своего дворца, то там устраивались народные развлечения.

В ту ночь я впервые наблюдал такое гулянье. На небольшой площади, шириной примерно в десять и длиной в двадцать метров, собралось много зрителей. Посреди площади горел костер, у которого сидели в ряд бубнисты, а возле них около двадцати красивых мальчиков-танцоров с фальшивыми косичками пели и танцевали. Повсюду на площади стояли плошки с маслом, положенные в них тряпки горели наподобие факелов. Есаулы с палками в руках отгоняли зрителей, чтобы они не смяли музыкантов и танцоров.

Этот праздник мне не понравился, он очень был похож на фейерверки гидждуванцев.

Отец снял переметную суму, положил ее возле меня, а сам отвел осла и привязал его в караван-сарае. Мы вместе вошли в медресе Мир-Араб. Это медресе считалось одним из лучших в Бухаре, у него были высокие порталы и просторное помещение под входной аркой.

Миновав ворота медресе, мы повернули вправо. Там начиналась лестница, по которой мы и стали подниматься. Она была совершенно темная и извилистая. Отец все время меня окликал, а я шел ощупью за ним, на звук его голоса, осторожно переставля́я ноги.

Лестница кончалась, но света все еще не было, так как она упиралась в закрытое со всех сторон пространство. Отец тихонько ногтем, по обычаю, постучался в какую-то дверь. Ее тотчас открыли, и мы вошли. Келья в верхней своей части заканчивалась высоким и довольно широким куполом, но кроме входной двери, ведущей из темных крытых сеней, не имела другого выхода или окон. Посреди кельи стояло сандали́, на котором горела тонкая свеча местного про-

изводства. Свеча с трудом освещала сандалй, другие же места кельи, в особенности ее высокий куполообразный потолок, в полутьме казались жуткими. Когда мы вошли, мой брат был занят раскладыванием в чашки плова, а Сайид-Акбар, удостоившийся в нашей деревне прозвища «Парвардигор-худжа», сидел у сандалй.

После обычных приветствий и расспросов мы разместились вокруг сандалй, а брат принялся нас угощать. Ужин, состоявший из жирного плова с курицей, был очень вкусным.

Когда мы принялись есть, отец спросил:

— Где вы раздобыли куриное мясо?

На этот вопрос брат ничего не ответил, но зато Парвардигор-худжа подробно все объяснил. По его словам, эмир Абдулахад, который в то время царствовал третий год, ввел такой обычай: если он останавливался вне Арка в каком-нибудь частном доме, то требовал, чтобы из ближайшего медресе ему приносили плов. Выполняя приказ, один из эмирских поваров приходил в медресе и громким голосом предлагал всякому, у кого имеется готовый плов, принести его эмиру. Учащиеся выносили в котлах приготовленный плов, и повар посылал их к эмиру. Там главный повар открывал котлы, пробовал плов и, выбрав лучший, оставлял его для эмира. Владельцы отвергнутого плова забирали свои котлы и уходили.

Оставленным пловом повар наполнял блюдо эмира, а в котле учащегося медресе оказывался плов из эмирской кухни. Кроме того, владельцу плова по распоряжению эмира выплачивалось десять тенег (полтора рубля).

Этот обычай был широко известен во всех бухарских медресе. Если эмир останавливался в каком-нибудь доме, учащиеся окрестных медресе, надеясь, что их плов будет одобрен поваром, готовили плов. Вечером эмир остановился поблизости от Мир-Араба, и во всех ста сорока трех кельях этого медресе был приготовлен плов. В некоторых из келий жили бедняки, которые в течение зимы вряд ли имели возможность хоть один раз позволить себе такую роскошь, но и они тоже, в надежде на милость эмира, залезали в долги, брали у мясников и бакалейщиков в кредит все, что нужно, и варили плов.

Сайид-Акбар с гордостью закончил свой рассказ:

— Сегодня вечером из ста сорока трех котлов плова, к счастью, был одобрен наш, а этот плов с курицей нам дали из эмирской кухни.

В начале объяснений Сайид-Акбара отец молча ел плов, но когда понял, в чем заключалась суть дела, отстранился от угощения и на лице у него появились признаки гнева.

Я подумал, что он сейчас же схватит палку, которой погонял осла, и поколотит моего брата. Но он этого не сделал. Когда убрали скатерть, отец долгое время не ложился спать. Он ничего не сказал ни Сайид-Акбару, ни моему брату, и даже не взглянул на них. Он сидел, как шейх-отшельник, закрыв глаза и склонив голову, иногда только чуть поднимал ее, вздыхал и снова опускал.

Спал ли он в ту ночь или нет, я не знаю, так как сам я скоро уснул. На рассвете я проснулся от того, что брат зажег свечу, отец одевался и готовился к возвращению в деревню. Как только совсем рассвело, отец встал и обратился ко мне:

— Сынок, идем, я возьму тебя с собой в деревню. Здесь, с этими эмирскими холуями, ты не научишься приличию, как должно быть в медресе, а привыкнешь вылизывать блюда на эмирской кухне.

Я стал плакать и умолять отца, чтобы он так быстро не увозил меня в деревню, а позволил остаться здесь некоторое время, осмотреть город и повидать моего дядю-муллу — брата матери.

Отец согласился, только очень серьезно меня предостерег:

— Смотри, не стань таким же, как они; если ты не выполнишь моего наказа, то лучше не показывайся мне на глаза.

Взяв переметную суму из рук брата, который хотел ему помочь, отец вышел из кельи. Мы проводили его до караван-сарая, где стоял осел. Там он тоже не произнес ни слова, уплатил хозяину и, сев на осла, уехал в деревню.

* *
*

Та келья, в которой жил мой брат, называлась «обиталищем дивов». Днем она была еще более жуткая, чем ночью; если днем вы попадали с улицы в это громадное темное дымное помещение, то на

самом деле начинали думать, что повсюду, в каждом уголке таятся «дивы». Этот страшный купол лишь в южной части имел небольшое окошко, забранное алебастровой решеткой, но и оно выходило не на улицу, а под еще более высокий купол мечети медресе. Если сквозь окошечко вы смотрели наружу, то страх еще более усиливался, потому что громадный купол мечети казался какой-то темной бездной. В сводах кельи было другое небольшое отверстие. В ясные безоблачные дни в полдень через него падало на пол кельи пятно света величиной с пиалу. Этот неестественный свет на темном полу кельи казался страшным, подобным сверкающим глазам дикого зверя в темной ночи.

Жизнь наша здесь была очень простой. Утром и вечером мы пили чай с черствой деревенской лепешкой. Около часу дня брат мой готовил какую-нибудь горячую пищу. Она тоже не отличалась обилием и разнообразием: похлебка с рисом и мошем, иногда рисовая каша с мошем, иногда луковая похлебка, которая с сухой лепешкой казалась очень вкусной.

Всю работу в келье — приготовление пищи, стирку, уборку — все делал мой брат, а я помогал ему в меру моих сил. Сайид-Акбар вполне оправдывал свое прозвище Парвардигор-худжа, он держался так, словно был в этой келье гостем, постоянно сидел у сандали́, грел у огня ноги и учил уроки или упражнялся в каллиграфии. Те слова, которые мы обычно слышали от него, всегда произносились начальническим тоном: «Когда будет готова ваша еда?» — или: «Когда вы приготовите чай?».

Брат на эти вопросы отвечал совершенно спокойно, с веселым видом. Но я приходил в ярость и считал неправильным такое вежливое его поведение.

В тот год я немного постиг, что представляют собой кельи Мир-Араба, как живут там учащиеся медресе вне занятий и как важничают и чванятся их руководители. Медресе Мир-Араб было в основном двухэтажным зданием, бóльшая часть келий, расположенных в первом и втором этажах, находилась за арками, кельи в угловых башнях занимали четыре этажа, а во внутренних угловых башнях — три этажа. Кельи во втором этаже внутренних угловых башен назывались

«висячими», и действительно они ничем не отличались от висячих могил.

Кельи первого этажа имели по одной двери, а второго и четвертого — по две: входную и вторую небольшую дверцу, открывавшуюся прямо на улицу, вместо окна.

С северной и с южной стороны вход в медресе украшали два портала. За порталами оставалось немного свободного места, и строители здесь тоже устроили кельи. Длина этих келий была такова, что человек с трудом мог в них улечься, а ширина — совсем незначительной. Так как в огромной арке обычные двери выглядели бы некрасиво, строители к тесным кельям приделали очень широкие и высокие двери, напоминавшие ворота. Учащиеся медресе называли эти кельи «верблюжьим сараем». Что касается дверей, то к ним это название как нельзя лучше подходило, но в отношении внутренности келий их могли так назвать лишь в насмешку, следуя укоренившейся в Бухаре привычке именовать людей и предметы по несоответствующему им или противоположному признаку. Так, например, в те времена в большой бухарской мечети был хатибом один чрезвычайно толстый человек. Когда наступало время читать хутбу, два помощника, взяв его под руки, помогали ему подняться на кафедру, так как из-за тучности он сам не мог туда взобраться. Этого человека народ иронически прозвал «тощий Зайд».

Многие учащиеся медресе жили в крайней нищете, зимой они ходили в заплатанных тонких халатах и в кожаных калошах без ичигов.

Младшие по возрасту учащиеся в снежные и дождливые вечера готовили свои уроки, сидя на камнях под открытым небом, старшие занимались под входной аркой.

Те немногие, которые уже достигли степени мударриса — преподавателя медресе — или имели здесь две-три собственные кельи, приобретенные за деньги, очень важничали и зазнавались. Обычно между третьим и четвертым намазом они сидели и большую часть времени сплетничали об отсутствующих. Если один из них выходил по какому-нибудь делу, тотчас же начинали злословить и о нем, в то время как в его присутствии оказывали ему всяческое почтение.

Иногда они затевали споры. Я тогда еще не понимал существа их разногласий, но слышал, как они бранились и ругали друг друга самыми непристойными уличными словами. Наиболее обычным было обвинять друг друга в безграмотности и невежестве. Впоследствии я понял, что спорщики говорили правду, — все они были безграмотны и невежественны до предела, грамотные люди с ними не якшались. Но лишь только кончались споры, как эти бездельники опять лицемерно начинали оказывать друг другу уважение.

* *
*

Пребывание наше в «обиталище дивов» продолжалось недолго. Хозяином кельи был мулла-ростовщик, он требовал, чтобы мой брат и Сайид-Акбар устраивали ему угощения; в начале учебного года, когда у них были еще рис и сало, привезенные из деревни, они дважды его угощали. К тому времени, когда я приехал, у них уже все запасы иссякли, а остатки риса ушли на плов для эмира. Поэтому они не смогли угостить владельца кельи, и однажды, когда шел снег, хозяин предложил им освободить помещение. Обычные по тому времени поступки владельцев келий в Бухаре я отразил в своей повести «Смерть ростовщика».

Мои братья искали себе пристанища целых три дня и, наконец, нашли его в квартале Бозори-Ходжа. Это была надстройка над лавкой бакалейщика, которую он, ради «богоугодного дела», отдавал под жилье бездомным учащимся медресе. В тот год в надстройке никто не жил из-за очень плохого ее состояния.

Мы приступили к переселению и, хотя между медресе Мир-Араб и нашим новым местожительством было больше километра, очень легко перетащили туда свои вещи. Подстилки, паласы, посуда и книги были перенесены за один раз, горшочек масла и щепки мой брат отнес на спине. Оставалось лишь немного древесного казахского угля, доставить который было сложнее. У нас не оказалось мешка, чтобы перенести его.

После долгих размышлений брат решил, что уголь можно перенести в корчаге для воды. Мне эта мысль тоже понравилась. Тот-

час же мы вылили из корчаги воду, наполнили ее углем и, взяв вдвоем, осторожно снесли с лестницы. Внизу брат завязал накрест корчагу бельевой веревкой и перекинул себе за спину, я взял самовар, а Сайид-Акбар понес одну только свою книгу, засунув ее в рукав халата.

С этим неудобным грузом мы не могли пройти через базар вдоль крытых рядов и направились к своему новому жилью узкими переулками. Шел снег, было скользко. Когда мы добрались до квартала Кемухтгарон, брат неожиданно поскользнулся и упал, корчага разбилась и весь уголь рассыпался.

Поднявшись, брат рукавом расчистил местечко у стены. Мы с ним стали по кускам собирать рассыпавшийся в снегу уголь и складывать в стороне от дороги. Парвардигор-худжа, когда корчага разбилась и уголь рассыпался, отскочил к стене и, осторожно счищая ногтем угольную пыль, севшую ему на халат, спокойно наблюдал за нашей работой.

Брат страшно рассердился. В ярости он подбежал к нему, схватил без всякого предупреждения, приподнял и бросил на снег, потом сел ему на грудь и хорошенько отколотил.

— Эта плата тому, кто плохо делает свое дело, кто свой груз перекладывает на чужие плечи, а сам важничает и зазнается.

Как только брат с него слез, Парвардигор-худжа торопливо поднялся, отряхнулся от снега и убежал. Если раньше я недоумевал при виде деликатного обращения моего брата с Сайид-Акбаром, то теперь еще больше удивился его бурному порыву. Поступил он вполне справедливо, но совершенно неожиданно и вопреки своему обычному поведению. Я тогда понял правильность арабской поговорки, которой научил меня отец. Смысл этой поговорки был таков: «Избави бог от гнева мягкого, деликатного человека».

Я рассказал брату, как несколько лет назад безумец помог мне наказать Сайид-Акбара, и добавил, что сейчас он отколотил зазнайку не хуже, чем тот!

От моих слов злость брата сразу прошла, и, улыбнувшись, он сказал:

— Ты хорошо сделал, но смотри, чтобы об этом не узнал отец, а то он будет тебя ругать.

— Я впервые рассказал вам эту историю, — отвечал я, — больше не скажу о ней никому, даже отцу.

* *
*

На новом месте наша жизнь стала очень трудной. Надстройка представляла собой маленькую комнатку над бакалейной лавкой. Стены ее состояли из тонких досок и не примыкали ни к какой другой постройке. У нее была одна входная дверь, и свет падал тоже через нее. Но холода в комнату проникало гораздо больше, чем света. По-видимому, из-за того, что стены были тонкими, комната никогда не нагревалась. Если мы сидели у сандали́ и грели ноги, то все остальные члены тела дрожали от холода. В этой мансарде в течение двух дней лопнули два кувшина с замерзшей водой. Мы были вынуждены приносимую из бассейна воду сразу же использовать для домашних нужд, а остатки выливать. В этой келье не было даже места для умывания, и нам приходилось идти умываться на улицу.

У нас оставались еще маш и рис-сечка, но все запасы масла кончились. Для приготовления горячей еды мы на восемь пулей (2 копейки) покупали у бакалейщика — хозяина нашей комнаты — пять мисколей (125 граммов) льняного масла, чего хватало нам на два или три дня. Бакалейщик отмерял нам масло меркой из тыквы; хотя он и разрешал жить в своей комнате бесплатно, только «во имя бога», но когда мерил, то никогда не доливал мерку, а если случайно мерка оказывалась полной, хозяин, шевельнув ручку, выливал немного масла на свой поднос.

Однажды ночью был сильный мороз, мы ночевали в келье у нашего дяди; на утро бакалейщик нам сказал:

— Нехорошо оставлять на ночь мансарду. Ничего не будет удивительного, если туда заберется вор и, проделав в потолке лавки дыру, все дочиста вынесет.

Отсюда нам стал ясен смысл «богоугодного дела» бакалейщика.

В этот свой приезд мне не удалось хорошенько осмотреть Бухару, я видел лишь Регистан и мечеть Боло-Хауз. Ходить один по городу я не мог, так как ничего здесь еще не знал, а брат постоянно был занят уроками. В свободный от занятий день мы с ним дошли до книжного базара, но, кроме ссор арбакешей, не желающих уступать дорогу на узких улицах, больше ничего не увидели. Если в медресе Мир-Араб я хоть наблюдал споры между муллами, то здесь не было и этого.

Моей единственной радостью было посещение кельи дяди Мулло-Дехкона. Он женился в Бухаре и жил в доме жены. Так как у них в доме отсутствовала мехмон-хона, то он нашел келью в медресе Фатхулло-кушбеги, находившемся недалеко от нас, и там давал уроки.

Дядя только недавно начал преподавать, и у него было мало учеников. Каждая группа учеников состояла из четырех-пяти человек. Больше всего он давал уроки по книге «Кофия» — синтаксису арабского языка — и по книге «Шамсия», дополнительному комментарию к «Кофии».

Ученики его, заучивая уроки, кричали так же, как и он сам. Я не мог решить, приходят ли к нему ученики учиться или спорить? По-моему, уроки нашего деревенского имама были лучше, так как ученики сидели тихо и он спокойно объяснял им. Правда, там бóльшая часть учеников тоже ничего не понимала, но все же у них имелась какая-то возможность вникнуть в слова учителя. Здесь же ученики кричали вместе со своим учителем, и я думал, что у них не было никакой возможности что-либо усвоить.

* *
*

Сайид-Акбар Парвардигор-худжа отделился от нас и стал прислужником у бухарского ахунда Ориф-хона. Когда драка его с братом начала уже забываться, он однажды пришел к нам и рассказал о своей службе. По его словам, куда бы ни отправлялся ахунд — на свадьбу, в гости, на похороны или в эмирский дворец, — ему приходилось идти пешком у его стремени вместе с конюхом. По прибытии в назначен-

ное место конюх садился на лошадь ахунда и ждал хозяина, а Сайид-Акбар вместе с ахундом доходили до дома, здесь ахунд снимал туфли и отдавал их Сайид-Акбару. Тот очищал с них пыль или грязь и прятал у себя за пазухой. Когда ахунд выходил из дома, Сайид-Акбар ставил перед ним туфли, помогал их надеть и опять-таки рядом с конюхом возвращался домой пешком у стремени ахунда. Хотя, как он говорил, эта работа и была нелегкой и беспокойной, но зато жил он хорошо: спал в одной из комнат дома ахунда, эта комната была теплой и чистой. По утрам он пил чай со сливками, каждый день ел плов.

— Как же вы, который так высоко себя ставите, никого не признаете, считаете постыдным мести собственную комнату, вдруг согласились выполнять такую низкую работу?! — спросил его мой брат.

— Человек, у которого я служу, — ответил Сайид-Акбар, — по своему происхождению ходжа и равен мне, но по знаниям он выше меня, поэтому я и не стыжусь служить у него. Люди, перед которыми я чувствую свое превосходство, по большей части ниже меня по происхождению, другие же хоть и равны мне, как ходжи, но зато по знаниям ниже меня, поэтому я имею право кичиться перед ними.

* *
*

Мы не могли больше терпеть неудобства нашего нового жилья и еще до окончания учебного года вернулись в деревню. Брат отвез меня домой и, отдохнув дня два-три, вернулся в Бухару.

Я поделился с отцом своими впечатлениями о Бухаре, рассказал ему и о причинах кичливости Сайид-Акбара, как это слышал от него самого. Отец сначала засмеялся, а потом очень серьезно сказал:

— «Зачем ты кружишь вокруг имени отца? — Будь сам себе отцом, если ты мужчина», — говорится в пословице. Однако эти мудрые слова мало кто признает. Гордиться своим происхождением — дело дураков. Несчастная «принадлежность к роду ходжей» многих сде-

лала дураками. Я знаю людей, которых высокое мнение о своем происхождении превратило в еще больших глупцов, чем Сайид-Акбара.

Для подтверждения своих слов отец рассказал мне поучительную историю, свидетелем которой он когда-то был.

ПОСЕЩЕНИЕ СВАДЬБЫ МИРАКОНСКИХ ХОДЖЕЙ

В молодости отец с одним из своих земляков, мираконских ходжей, поехал в Самарканд, где им пришлось остановиться в доме такого же, как они, мираконского ходжи.

В те дни в селении Дахбед у одного из местных жителей была свадьба, на которую пригласили и мираконских ходжей. Те, у которых были лошади и слуги, очень быстро собрались, те же, у кого их не было, испытывали большие затруднения. Им пришлось нанимать двух лошадей и одного человека, чтобы он изображал слугу: на одну лошадь садился хозяин, а на другую, вместе с кладью, — нанятый слуга. Моему отцу и его спутнику тоже дали двух лошадей.

— Как бы там ни было, — сказал отец, — нам, к счастью, не дали по добавочной лошади и сопровождающему.

Ходжи с эмирской пышностью выехали из Самарканда и направились в деревню Дахбед на свадьбу. Перед ходжами поставили разнообразные угощения и подарки. Однако ни один из гостей не протянул к ним руки. Хозяева стояли у входа в мехмон-хону и с поклонами просили: «Пожалуйста, отведайте наши кушанья!». Но ходжи даже не смотрели на яства.

В конце концов, после долгих упрашиваний, старший из гостей-ходжей, сидевший на почетном месте, достал из кармана перочинный нож, взял с блюда зернышко риса и разрезал его пополам, половину он положил себе в рот, а вторую половину — на скатерть.

— Мы, соктаринцы, — рассказывал отец, — увидели, что дело обстоит плохо и при всем этом изобилии вернемся в город голодными. Не теряя времени, мы первыми приступили к угощению. Ходжи от важности или для того, чтобы доказать свою значительность, во время пира без конца говорили друг другу: «Ешьте, ешьте!». Когда, наконец, пришло время читать после обеда благодарственную мо-

литву, они долго обращались друг к другу с предложениями: «Начинайте вы, начинайте вы». Мы же в это время хорошенько поели.

После того как прочли молитву, хозяева, согласно обычаю, отсылали не съеденное гостями угощение сопровождавшим их слугам.

Ходжи, выпив по пиале чаю, снова с той же эмирской пышностью вернулись в город. Когда доехали до берега реки, старейшины ходжей стали советоваться. То один, то другой из них говорил: «Здесь подходящее место» — или: «Здесь будет хорошо». Наконец, выбрали местечко под ивовым деревом; тотчас слуги расстелили на земле конские попоны и приготовили все, что нужно для отдыха. Ходжи слезли с коней и сели в своих шелковых и парчевых халатах на грязные попоны, поджав под себя ноги. Затем старейшина ходжей приказал конюхам:

— Ну-ка, поскорей доставайте припасы, а то мы умираем от голода!

Конюхи со словами: «Слушаюсь, таксир, сейчас!» — достали из переметных сум торбы для корма лошадей и поставили их перед ходжами. Каждый ходжа, развязав торбу своей лошади, доставал оттуда плов и жадно ел до тех пор, пока не насыщался.

Это был тот самый плов, от которого ходжи отведали на пиру только по половинке рисинки. Часть угощения съели сами конюхи, а застывшие остатки они сложили в торбы для своих хозяев. Так бывало всегда, и конюхи в этом деле сильно навострились.

Я не почувствовал тогда в рассказе отца никакого преувеличения. Но потом, когда сделался старше, я понял, что он сам выдумал всю эту историю. Однако собственный опыт подсказывал мне, что его вымысел близок к действительности и вполне соответствует поведению ходжей.

Во всяком случае рассказанная отцом история произвела на меня очень большое впечатление. Задолго до того, как мне удалось познать жизнь, я постиг, насколько бессмысленно и глупо кичиться своим происхождением. Мой собственный житейский опыт укрепил мое мнение.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Познакомившись немного с жизнью медресе, я вернулся домой. В следующем году мне уже предстояло ехать учиться в Бухару. Перед моим отцом возник трудный вопрос, где достать денег, чтобы полностью содержать в бухарских медресе двух человек. Поразмыслив, он предложил мне самому добыть средства для расходов на учение.

У суфы возле нашего дома было немного свободной земли, на которой отец посадил абрикосы. Саженцы уже трижды зеленели, и около них нельзя было пахать на быках, чтобы не повредить молодые побеги. Отец велел мне взрыхлить для посева пустующую землю кетменем и пообещал, что все, что там произрастет, пойдет на мои расходы по учению.

Отец купил мне небольшой кетмень, и я приступил к работе. Я трижды взрыхлил землю, и она на глубину трех кетменей стала мягкой. Теперь передо мной стал вопрос о бороновании и заравнивании земли. Для этой цели я решил использовать створку от старой двери. Но моя «борона» не имела зубьев, поэтому мне пришлось раньше острием кетменя и обухом разбить комья земли. Теперь доска могла служить бороной. Хомид-ходжа и Икром-ходжа захотели тащить ее вместо быков, но после двух-трех раз им это надоело.

Я нашел другого «быка» — Хайбара — и запряг его в свою борону. Сильная умная собака, как только прошла несколько раз по участку, усвоила это дело не хуже старых опытных быков. По моему приказанию она тащила доску вперед, поворачивала назад или останавливалась. Я же, стоя на доске, словно пахарь — быков, погонял собаку.

После боронования я наносил к себе на участок навоз и глину со старых развалившихся заборов, затем еще раз разрыхлил кетменем землю и заровнял ее дверной створкой. Теперь моя земля была готова к посеву, и я спросил у отца:

— Что надо сеять?

— Люди говорят: «От безделья сажают тыкву»; но я говорю: «Для начала сажай тыкву». Ты теперь впервые приобщаешься

к крестьянскому хозяйству, вот и постарайся вырастить тыкву. Это очень неприхотливое растение и требует мало ухода, в особенности сорт съедобной тыквы, к тому же она еще очень урожайная.

После того как солнце дня два-три обогревало землю и подготовленные для посева семена стали влажными, отец посадил их в землю.

Когда появились всходы, я дважды сделал прореживание, недели через две окучил их — подвалил под каждый росток землю вышиной с него самого.

Когда появились плети, я сделал первый полив. На покрытой водой земле отец показал мне, как надо копать канавки, я прорыл их, а выбранную землю высыпал на грядки. В Бухаре бахчевые сажают до того, как прорывают канавки; роют их после того, как произведут первый полив, этот способ называют «варкони».

* *
*

В том году отец работал по крестьянству больше, чем всегда. Он посеял один таноб (четверть гектара) хлопка и один таноб сорго. Лето выдалось жаркое, хлопок весь засох, и труд отца пропал даром, поэтому я остановлюсь только на посеве сорго.

Минувшей осенью отец взрыхлил кетменем землю, зимой произвел первый и второй полив, а весной, после еще одного разрыхления земли кетменем, вывез удобрения. В нашей усадьбе стояла старая обрушившаяся стена, много лет палимая солнцем, землю с этой стены отец тоже вывез на участок сорго. Я усердно помогал отцу. Навьючив на осла корзину, он наполнял ее доверху землей, а я вел осла на участок, высыпал землю и возвращался обратно.

С помощью взятого в наем быка отец дважды вспахал землю, забороновал ее и заровнял доской — волокушей. После посева он еще раз забороновал весь участок, чтобы семена ушли на необходимую глубину.

Посев получился очень редкий, ростки сорго взошли на расстоянии одного шага друг от друга. Соседи советовали отцу перепахать землю и посеять погуще, потому что в таком виде часть пашни пропадет зря. Однако отец был другого мнения.

— «Хлопок нужно сеять так, чтобы между растениями было расстояние на кетмень, а сорго — чтобы между стеблями мог скакать верблюд», — говорится в поговорке, — отвечал он.

Когда сорго пошло в рост, отец трижды его окучил и подвалил побольше земли вокруг стеблей. Летом от жаркого солнца посевы начали вянуть, тогда отец пустил воду на поле. После щедрого полива от корня каждого стебля появились десять-двенадцать отростков.

Отец оставил лишь по четыре отростка, а остальные вырвал и бросил. Он надеялся с одного таноба земли снять осенью тридцать ман (240 пудов) урожая.

Однако тот год в Бухарской области выдался тяжелый, разразилось бедствие, погубившее не только надежды отца и наш покой, но и покой и жизнь многих людей.

СМЕРТЬ ОТЦА И МАТЕРИ

В начале лета 1306 года хиджры (в июне 1889 г.) в Бухаре вспыхнула страшная эпидемия и началась массовая смертность. Среди заболевших был мой брат, он покинул город и приехал лечиться домой в деревню. Мой старший дядя по матери, Мулло-Дехкон, заболел и скончался в городе, родные перевезли его тело к себе домой, в деревню Махаллаи-Боло. Отец чувствовал себя нездоровым и остался дома ухаживать за моими старшим и младшими братьями, а я отвел мать к ее умершему брату в дом деда.

Не знаю, заразилась ли мама там или ее убила смерть ее брата, но она тоже заболела. Я с трудом посадил ее на осла и привез домой; отец и мои маленькие братья, одному из которых было девять лет, а другому четыре года, — все лежали больные.

Теперь наш дом превратился в больницу, в которой я один был и доктором, и фельдшером, и сестрой, и санитаром. В просторной комнате с потолком на семи балках все больные лежали в ряд, и я по очереди подавал им холодную или горячую воду, молоко, сгонял с них мух и, насколько хватало моих сил, помогал им подняться и выйти по своим надобностям.

В течение одной недели все дома в деревне стали похожи на наш

дом, и не только в нашей деревне, но и по всему тюменю мало осталось здоровых людей. Наступил повальный мор. Из нашей деревни, в которой было около трехсот хозяйств, каждый день относили на кладбище одного или двух покойников.

В те времена, да и сейчас еще я не могу с полной определенностью сказать, чем были больны мои близкие, так как тогда в деревнях докторов не было. В нашей деревне не было даже невежественного знахаря, который мог бы утешать больных и их родню, давая под видом лекарства какой-нибудь отвар. У нас в деревне имелось только несколько имамов и заклинателей, которым не верили даже неграмотные односельчане, и им приходилось читать молитвы и заклинания в дальних деревнях.

Однажды я спросил Кори-Махмуда, о котором я уже упоминал раньше:

— Дядя ишан, вы постоянно читаете заклинания в чужих деревнях, в то время как и в нашей деревне появилось много больных, почему же вы не хотите читать над ними? Может быть, благодаря вам они поправятся...

— Никакой вор не грабит в своей деревне или в своем квартале, — ответил он. — Неужели же я более бессовестен, чем вор, и буду обманывать соседей?!

Если признание Кори-Махмуда в обмане было справедливым, то слова о том, что он не предлагает своих услуг соседям, чтобы не оказаться бессовестным, были ложью. На самом деле соседи хорошо знали, что собой представляют эти заклинания, и сами не поддавались на обман.

Из моих больных в самом тяжелом состоянии находился отец, он почти все время был без памяти и только просил пить. Однажды, открыв глаза, он спросил меня:

— Ты полил второй раз сорго?

— Нет.

— Сколько прошло дней после первого полива?

— Десять дней.

— Ну, ладно, поливать второй раз еще рано! — Отец закрыл глаза и снова впал в забытье.

После этого он по нескольку раз в день обращался ко мне с таким вопросом. Наконец, наступил срок, когда я ему ответил:

— Прошло двадцать дней.

— Ну, значит, уже время поливать, — сказал отец. — Если можешь, пойди и пусти воду на участок, я насыпал там много комьев земли от стены. Если посев не получит сейчас воду, все пропадет.

Я взял свой маленький кетмень и хотел пойти в поле. Только теперь я понял, каким умным псом был Хайбар: всякий раз, когда я куда-нибудь шел, он всегда меня сопровождал и никогда не оставлял одного. С тех пор, как я стал ухаживать за своими больными и оставался дома, он тоже никуда от дома не отходил. Сегодня, когда я, взяв кетмень, собрался идти в поле, он с беспокойством смотрел на меня, помахивая хвостом. Затем подбежал к дому, положил морду на порог и улегся, не спуская глаз с больных. Словно поняв, что я ухожу далеко, он решил сам присмотреть за больными вместо меня.

Год тогда выдался обильный водой; кроме того, многие крестьяне были больны и воду не разбирали. Поэтому я без труда пустил воду на участок с сорго из большого канала и быстро вернулся к больным. Спустя примерно час после моего прихода, отец открыл глаза:

— Пустил воду? — спросил он.

— Пустил!

— Молодец! — одобрил отец и снова закрыл глаза.

На сороковой день болезни он сильно пропотел и очнулся. Он попросил молока, я подал ему, и он выпил. На второй день он поднялся с места и сел, на третий день, опираясь на посох, вышел во двор; мы очень обрадовались, что отец поправился. Однако на десятый день он почувствовал себя опять плохо и снова слег.

Усто-амак и все его семейство тоже были больны. Несмотря на это, дядя поначалу ежедневно приходил проведать отца, утешал меня и старался внушить мне мысль, что он поправится.

— Нужно лишь, чтобы его четырежды прошиб холодный пот! — говорил дядя.

Действительно, после того как отец пропотел, началось выздоров-

ление. Но когда он заболел вторично, Усто-амак уже ничего не говорил и нас не успокаивал. По-моему же, эта его болезнь была много легче первой, теперь он спал спокойней и не терял сознания.

На седьмой день второго периода болезни, когда Усто-амак пришел проведать отца, он сказал мне, что если отцу станет плохо, чтобы я сразу же его известил.

— Откуда же я узнаю, стало ему лучше или хуже, — спросил я со слезами на глазах.

— Не плачь, будь мужчиной, будь достойным своего отца! Состояние твоего отца очень тяжелое, но чтобы раньше времени не ввергать вас в несчастье, он старается держаться. Ты тоже, чтобы не приносить ему излишних страданий, старайся быть спокойным! Ухудшение его состояния будет видно по тому, как начнет прерываться у него дыхание и из горла послышатся хрипы. Я пойду, потому что твоя тетя тоже очень больна.

Настала ночь. Я зажег светильник и вставил его в светец. Кроме меня, все спали. Было только еще начало ночи, а отец стал очень тяжело дышать и в горле у него что-то захрипело. Я привел Усто-амака. *Он начал ватой капать отцу воду в рот*. Больной открыл глаза, сначала посмотрел на меня, потом на Усто-амака.

— Дайте скорей воды, давайте ложкой.

Дядя налил ему в рот две ложки воды.

— Довольно, — остановил его отец и посмотрел на меня:

— Учись! Как бы тебе ни было трудно, учись! Но не стремись быть ни казием, ни раисом, ни имамом! Если станешь мударрисом, ладно!

Больной снова закрыл глаза. Хрипы сильнее вырывались у него из горла. Дядя опять стал капать ему ватой воду в рот. Больной хотел подняться во весь рост, посмотрел на меня, но снова упал, руки его судорожно задвигались, и он успокоился. Успокоился навеки!

Отцу тогда по солнечному летосчислению было ровно пятьдесят семь лет.

Подвязав умершему подбородок, большие пальцы ног и закрыв ему глаза, Усто-амак обратился ко мне:

— Если я схожу проведать своих больных, ты не будешь бояться?

— Почему же я буду бояться? Разве я испугаюсь своего отца? — ответил я.

— Молодец, ты храбрый мальчик, — похвалил меня дядя. Он пошел домой и снова вернулся к телу отца. Мама и старший брат, после того как дядя вернулся, поняли, что отец умер, младшие же братья узнали об этом только утром.

* *
*

В соседней деревне жил крупный купец, торговавший с русскими городами, по имени Юлдош-бай. Он скупал изюм, сушеные абрикосы, домотканные холсты — карбос, толстые ватные гиждуванские халаты и отвозил их в Казалинск, Ак-Мечеть, Оренбург и другие казахские и башкирские города, а оттуда привозил русские товары. Когда начался мор, он стал продавать саваны.

Он говорил, что занялся «таким низким делом, как продажа саванов, лишь для того, чтобы выручить людей из беды, а для него не было в этом никакой необходимости». Так же точно, чтобы «выручить меня из беды», он дал мне в долг материю на саван и все, что было нужно на похороны, и я задолжал ему сто тенег. По словам Устоамака, если бы мы имели наличные деньги, то все это можно было бы купить на базаре за двадцать пять-тридцать тенег.

На расходы понадобилось еще двадцать тенег наличными, которые он дал мне для «облегчения нашей нужды» при условии возвращения ему двадцати пяти тенег. На чтение заупокойной молитвы в вечер понедельника и чтения Корана понадобилось еще столько же денег, которые мы взяли в долг у разных людей. Таким образом, похороны отца обошлись мне в сто пятьдесят тенег (двадцать два рубля пятьдесят копеек).

* *
*

После траура по отцу, не знаю, по моему ли недосмотру или по какой-нибудь другой причине, но наша корова однажды ночью заболела и издохла. Услышав об этом, мать, лежавшая больной, сказала:

— Пусть все беды, какие придут, падут на голову этой коровы. Если бы она подохла раньше, может быть, отец твой выжил. Нужно зарезать и теленка ради здоровья твоего и твоих братьев.

Она велела отвести теленка Ходжа-хону: это был несчастный калека, без рук и ног, жил он на краю деревни на милостыню, которую подавали ему люди.

Я отвел к нему теленка, но он не взял его:

— Сейчас вы нуждаетесь больше меня, — сказал он, — люди подают мне милостыню, и я кое-как перебиваюсь. Но вы не привыкли принимать милостыни. Теперь, после смерти отца, еще неизвестно, как вы будете жить дальше.

Однако мама опять отослала ему теленка и просила взять ради здоровья своих сыновей. На этот раз, чтобы успокоить мать, я насильно заставил его принять теленка.

В то время я понял, что у несчастного калеки Ходжа-хона больше совести, чем у деревенского имама. В день похорон отца имам взял предложенные ему десять тенег, не сказав ни слова. Это в то время, когда у него в амбаре лежало пятьдесят ман (четыреста пудов) ячменя, и, конечно, я не знал, сколько он еще имел наличных денег и разного имущества. А Ходжа-хон, кроме двух глаз, взиравших в надежде на подаяние, ничего больше не имел.

Мои братья, по словам стариков, избежали опасности, но состояние матери день ото дня ухудшалось. В последние дни она была уже не в силах выходить на двор и отправляла свои естественные потребности под себя, а я все убирал.

Хотя братья и начали поправляться, они все же еще не могли вставать на ноги и ходить, но уже немного ели. По совету старых людей я кормил их куриным мясом. Как говорили опытные люди, единственное, что могло придать им силы, это был куриный бульон. Я поодиночке перерезал всех кур, солил их и из каждой курицы три-четыре раза варил бульон.

* *
*

Хоть я и вовремя поливал сорго, но не мог уберечь его от птиц; когда в початках появился сок, воробьи так выклевывали зерна, что

некоторые початки остались совершенно пустыми. Сохранившиеся же початки, подобно бочку́ глиняного кувшина, были толстыми и полными зерен. Теперь нападения воробьев уже не представляли большой опасности, зато начались нападения ворон и галок, которых у нас в деревне было очень много. Если воробей мог склевать десять-двенадцать зерен, то эти разбойники были ненасытны. Посеву сорго угрожала гибель, а вместе с ним и всем нам, потому что выплата наших долгов после похорон отца и наше зимнее пропитание целиком зависели от урожая сорго; что же касается хлопка, то он засох и уже ни на что не годился. В доме оставалась лишь пшеничная мука, которой должно было хватить не более, чем на один месяц.

Но я не мог оставить мать в таком состоянии и идти на поле гонять птиц (в те времена обычно птиц гнали с посевов криками: эй, эй, стая-стая, эй!).

В это время мои домашние дела неожиданно изменились, и я смог спокойно заняться отпугиванием птиц с нашего поля. Когда матери стало особенно плохо, один из ее братьев, Али-хон, пришел ее проведать вместе со своим односельчанином. Как он рассказывал, после похорон его старшего брата, моего дяди-муллы, отец, мать и все члены их семьи заболели. Его жена и жены братьев умерли, сам он тоже заболел. Когда немного поправился, родители послали его проведать нас.

Увидев, в каком тяжелом состоянии находится мать, дядя решил отвезти ее к себе домой.

— Там живы наши отец и мать, сам я тоже поправился, — сказал он, — а тебе здесь одному, такому малышу, трудно ухаживать и за своими братьями и за матерью.

Мы согласились. Он взял две жерди и в нескóльких местах соединил их веревками; получились носилки, напоминавшие лестницу и называвшиеся «сароджа». Поставив одного осла впереди, а другого позади, он прикрепил к ним носилки, а на веревочные перекладины положил несколько ватных одеял, на них дядя уложил больную и, покрыв ее вышитым покрывалом, отправился в путь.

Я не знаю, какое впечатление произвел на моих братьев отъезд матери, но у меня на сердце было очень тяжело. Я старался не пла-

кать, чтобы не тревожить больную, но не в силах был удержаться от беззвучных рыданий. Когда я встретился глазами с матерью, из ее потухших глаз на желтое исхудавшее лицо выкатилось несколько слезинок.

Ослы двинулись в путь, я расслышал ее шепот:

— Доживи до тысячи лет!

Они скрылись из глаз. «Теперь она не умрет, неужели я сразу лишусь отца и матери?» — утешал я себя, вытирая рукавом глаза, горевшие от горьких слез.

* *
*

Теперь большую часть времени я проводил на поле. Дома я бывал лишь для того, чтобы согреть воды или покормить своих больных. Ночами, после того как становилось совсем темно, я возвращался домой и ложился спать; утром, лишь только начинал брезжить рассвет, вставал и шел на сорговое поле. Самым главным моим занятием было теперь криками отгонять птиц. Но эти назойливые твари, лишь только я прогонял их с одного края, тотчас появлялись на другом и усаживались на жемчужных початках сорго. Птицы не обращали никакого внимания на те комья земли или камни, которыми я запускал в них из пращи. Хоть от звука летящего камня или комка земли они и взлетали со стеблей сорго, но еще до того, как камень или комок земли падал на землю, они уже опять садились обратно.

Наконец, Икром-ходжа (второй сын Усто-амака) придумал одну хитрость, благодаря которой мне стало намного легче. Он велел мне найти толстую, в руку человека, крепкую палку длиной с аршин и принести ее на участок вместе с пилой, топориком, рубанком и буравом. Он обстругал палку и с одной стороны буравом просверлил в ней продольное отверстие. Это отверстие было не сквозным, сбоку он проделал еще одну дыру и назвал палку «деревянным пистолетом».

В те времена в нашей деревне было много охотников, которые стреляли из старинных фитильных ружей на подставках, а ружейный порох изготовляли сами. Икром-ходжа от одного охотника принес мешочек пороха, наполнил отверстие в палке, сверху закрыл его кусочком ваты и, направив палку на птиц, зажег огонь в дыре.

Как только огонь дошел до пороха, палка разорвалась. Хорошо, что ни я, ни он не пострадали. Но от запаха пороха птицы быстро скрылись и в течение часа не возвращались.

Мой изобретательный родственник, несмотря ни на что, не отказался от своей затеи и во второй раз сделал «деревянный пистолет» из палки, которая была толще первой. На этот раз он засыпал в отверстие меньше пороха и не так плотно закупорил его. Теперь наш «пистолет» не разорвался, и мы достигли своей цели: лишь только раздался выстрел, птицы улетели.

Мы подождали, пока птицы снова вернутся, и снова выстрелили. Таким образом сорго было спасено от потравы.

На другой день Икром-ходжа принес от охотников немного свинца и принялся отливать дробь. Его дробь по сравнению с дробью охотников была мельче, подобно зернам проса. С этой дробью и «деревянным пистолетом» Икром-ходжа охотился на воробьев и диких голубей, мы нанизывали их на прутья и жарили на огне. За один день охоты мы подстрелили четырех голубей, двух из которых я зажарил для моих больных братьев.

Початки сорго начали поспевать. В те дни отец Икром-ходжи, Усто-амак, который слег после смерти моего отца, встал с постели и, опираясь на палку, пришел на поле. Осмотрев мое сорго, он дал мне совет:

— Прежде всего обломай созревшие початки и сложи их на одном месте. Если ты будешь ждать, пока они все созреют, тебе будет очень тяжело, времени не хватит и один ты не сможешь справиться с этим делом.

Он показал мне на соседний с моим участок сжатой пшеницы и добавил:

— Вот здесь и сложишь, это сухая, твердая и ровная земля, здесь тебе не представит труда и обмолотить зерна.

С этого же дня я приступил к сбору сорго. Теперь мне и по ночам надо было оставаться на поле. Поэтому я стал срезать стебли уже убранного сорго и построил себе из них шалаш. Чем больше я ломал початков, тем больше у меня было стеблей и тем больше мой шалаш оказывался защищенным от ветра и дождя. В конце концов стеблей

сорго стало так много, что половина моего дневного времени уходила на то, чтобы отнести их домой.

Вместе со мной в шалаше ночевал и Икром-ходжа, так как у него была мачеха и ему не хотелось идти домой. Здоровые или выздоровевшие ребята нашей деревни тоже собирались к нам, и до полуночи мы сидели, беседуя, затем они расходились по домам, а некоторые из них, у которых были мачехи, тоже ночевали здесь, на початках или стеблях сорго.

* *
*

Однажды ночью погода была очень ясной, пронизывающий осенний холод колол тело, подобно раскаленному на огне шилу. При свете луны лежавший на растениях иней сверкал, как свежевыпавший снег. Каждый понимал, что сегодня ночью все замерзнет и завтра надо будет начинать спешную уборку остатков урожая.

Я думал о том, что если этой ночью ударит мороз, завтра нужно будет собрать все сорго, в то время как почти половина сорго была не обломана и стебли стояли нетронутыми. После того, как ударил мороз, уже нельзя медлить, потому что скоро скот начнет свободно бродить по окрестностям, жители деревни станут его выпускать пастись на сжатые поля; возможно, пойдут дожди, и тогда все мое сорго погибнет.

Я так размышлял, когда пришел Икром-ходжа. Он дрожал от холода и стал мне жаловаться:

— Я хотел взять одно из ватных одеял, оставшихся мне в наследство от матери, но мачеха не дала. Я пожаловался отцу, но он принял ее сторону. «Если я дам тебе одеяло, — сказал он, — жена будет недовольна, а ведь она только недавно встала после болезни и может опять заболеть. Такой мороз людей не убивает. Иди!».

Пришло еще трое ребят, и один из них сказал мне:

— Ты что ж не пошел в Махаллаи-Боло поплакать по своей матери?

Эти слова были как котел кипящей воды, опрокинутый мне на голову, или как мельничный жернов, завертевшийся надо мной и

измельчивший меня в муку. Я понял, что моя мать умерла, а этот мальчик откуда-то узнал об этом и таким способом, представлявшимся ему поэтическим и более деликатным, хотел мне поведать об этом. Однако я не заплакал, меня словно бросили в огонь и расплавили, все во мне застыло. Я стал думать: «Что же я теперь буду делать? В свои двенадцать лет я остался без отца и матери, младшие братья больны, старший брат, как только поправится, уедет учиться, и я останусь единственным опекуном своих маленьких братьев. Учиться... что будет с моим учением, о чем я так мечтал и что отец завещал мне перед смертью?».

Один из приятелей мальчика, сообщившего мне о смерти матери, сказал с упреком:

— Это не дело, тебе нужно было утешить его, а не расспрашивать неизвестно для чего.

Взглянув на меня, он продолжал:

— Ничего. Как-нибудь проживете. Ведь у Икром-ходжи тоже нет матери.

— Не горюй, — поддержал его Икром-ходжа, — все обойдется! «Что не проходит?» — говорит пословица, вот уже десять лет, как я лишился матери, меня ведь волк не съел.

— Ты хоть и не имеешь матери, — возразил ему один из мальчиков, молчавший до сих пор, — но у тебя есть отец, есть мачеха. Но вот ему тяжело (он показал на меня), он сразу лишился и отца и матери. Пусть бог облегчит его.

— Лишившись матери, было бы лучше мне лишиться и отца, — вздохнул Икром-ходжа, — чтобы не попасть в лапы мачехи.

Когда человек оказывается в безвыходном положении, он старается найти себе в чем-нибудь утешение. Так и я нашел себе утешение в словах Икром-ходжи и подумал: «Если бы после смерти матери отец взял себе другую жену, что бы я тогда стал делать? Конечно, мачеха не взлюбила бы меня, не пускала бы домой, не давала материнских одеял и сверх того еще отдалила бы от меня любимого отца. Теперь же хоть я и лишился родителей, зато я сам себе хозяин, сорго принадлежит мне, осел принадлежит мне, братья находятся под моим присмотром. Конечно, положение мое тяжелое,

но все же это лучше, чем иметь мачеху». Вот какими безрадостными мыслями я утешался.

Мое самоуспокоение длилось до тех пор, пока уснули мои приятели, только тогда я почувствовал свое полное одиночество, сердце сжалось от мысли, что я навеки лишился родителей, которые берегли и любили нас, и снова волна печали и тоски охватила меня. Теперь мне хотелось громко плакать, но я сдержался из боязни разбудить своих товарищей, которые собрались ко мне, чтобы меня утешить, и спали на холоде.

Я мечтал хоть на несколько минут забыться, и мне на память пришел один бейт Бедиля, который часто повторял отец в подобных случаях. Я стал тихонько напевать:

О, забвенье, где ты, где ты? Ты на мой призыв приди,
Вновь меня томит печаль, что живет в моей груди.

В это время послышалась песня пахарей, которая привела меня в себя.

Крестьяне Гиджduванского тюменя в летние ночи обычно приступали к пахоте после десяти часов, до восхода солнца они старались забороновать и разровнять землю, чтобы сохранить в ней влагу и спасти от иссушающих лучей солнца. В долгие осенние ночи крестьяне начинали пахать немного позже — уже после полуночи — и кончали работу незадолго до того, как взойдет солнце. Среди ночи песня была единственным утешением пахарей, которых необходимость заставляла прервать сладкий сон и работать во мраке на поле.

Большая часть крестьян Гиджduванского и Вобкентского тюменей была певцами и знатоками «шаш-макома». Несмотря на свою неграмотность, они хорошо знали старинные мелодии и газели классических поэтов, которые изустно переходили к ним от отцов и дедов. Музыкальные силы Бухары постоянно пополнялись за счет жителей Гиджduвана и Вобкента. Наш современник народный певец Таджикистана, большой знаток «шаш-макома», Бобокул Файзуллаев, происходит из Гиджduвана, а заслуженный деятель искусств Узбекистана, композитор и тоже знаток «шаш-макома», Шохназар Сохибов — уроженец Вобкента.

«Шаш-маком» с его очень печальными мелодиями хорошо отражал жизнь трудящихся, особенно крестьян, в те далекие времена.

Каждая мелодия «шаш-макома» заканчивалась припевом, состоящим из песен и очень веселой танцевальной музыки, но все это исполнялось только на частных пирушках с танцорами, пахари же удовлетворялись основной мелодией, которая отвечала их положению.

Крестьянин, пахавший землю неподалеку от моего тока, запел стихи Бедиля на один из мотивов «шаш-макома», который называют также «савти калон»; другой, работавший недалеко от него, подхватил песню. Услышав эту мелодию, я, не произнося ни звука, внутренне горько зарыдал и немного сблегчил свое несчастное сердце. Я считаю уместным привести три бейта той газели, которая тогда очень подходила к моему настроению:

Я погонщику слез каравана
или вздохов глубоких подобен,
Караульщику тяжкого горя, слов печали
жестоких подобен,
Нет друзей у меня, кроме горя,
кроме дикого друга — печали.
Одиноко плывущему солнцу
в небосводе высоком — подобен,
Так уж зная, решила судьба:
жить в разлуке с друзьями Бедилю,
На раскрытом листе в книге судеб
я строке одинокой подобен.

Когда первый пахарь кончил свою песню, второй запел на мелодию «ирок» газель Хафиза, которая начинается следующим бейтом:

Ветерок, той газели прелестной скажи ты без зла:
«Ты меня на скитанья средь гор и пустынь обрекла».

На высоких нотах к нему присоединился еще один певец.

Так звучала песня пахарей в том мирном поле до самого рассвета. Когда наступил день, она умолкла, и проснувшиеся товарищи вернули меня к действительности.

Этот отрывок — элегия, которую спустя шестьдесят лет я посвятил своей матери. Если эта повесть окажется слишком грустной и расстроит моих уважаемых читателей, прошу принять мои извинения и простить меня за то, что я, хоть и очень слабо, попытался выполнить свой сыновний долг.

УБОРКА УРОЖАЯ И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

С помощью осла и лошади соседей и деревенских ребят я обмолотил сорго и, провеяв, сложил в кучу. Урожай был выше обычных урожаев такого рода злаков. Прежде всего, измерив решетом, мы приблизительно пятнадцать ман (сто двадцать пудов) отдали Юлдош-баю в счет долга по похоронам отца. Посредники каждый ман (восемь пудов) сорго оценили в десять тенег (один рубль пятьдесят копеек). Хотя на базаре один ман сорго стоил двенадцать тенег, но так как он брал сорго прямо на току и перевозил его на своих лошадях и ослах, то ему снизили по две теньги с мана.

Засчитав сто двадцать пять тенег из стоимости сорго в погашение долга, Юлдош-бай оставшиеся двадцать тенег роздал мелким кредиторам.

После расчета с Юлдош-баем и с другими кредиторами нам на пропитание осталось приблизительно пять ман (сорок пудов) сорго, которые я перенес домой. Недозревшие початки я, не взвешивая, тоже забрал домой.

Спустя неделю после уборки урожая к нам пришел дядя Алихон, который отвозил мать. Он заявил, что на похороны матери израсходовал сто тенег, и потребовал, чтобы мы возместили ему эту сумму.

Пришлось в зачет долга отдать ему двадцать ман (сто шестьдесят пудов) недозревших початков, оценив их по пять тенег за ман (семьдесят пять копеек). На базаре один ман недозревших початков стоил семь тенег, но по две теньги с мана мы ему скостили за то, что он сам отвез к себе сорго. Кроме прочего, и осел наш всю зиму питался этими недозревшими початками.

Это был такой урожай, какого до тех пор не знали в нашей деревне. Усто-амак в тот год тоже посадил сорго на участке земли

в полтаноба, а снял три мана спелого сорго и два мана недозрелых початков, хотя сын его Икром-ходжа все время оберегал сорго от нападения птиц. Люди говорили Усто-амаку:

— Если бы вы хорошо ухаживали за сорго, то собрали бы сорок ман.

Видя наш обильный урожай, деревенские старики говорили:

— Такой обильный урожай не к добру. Ведь съел же он жизнь Сайид-Мурод-ходжи.

Но я, несмотря на свою молодость, не мог согласиться с их утверждением. Я рассуждал очень просто: «Отец трудился и засеял один таноб земли хлопком. Хлопок засох, и весь его труд пошел прахом, однако это не нанесло никакого ущерба его жизни. Почему же хороший урожай должен был сократить его жизнь?».

* *
*

Тыква, которая была первым плодом моего земледельческого труда, тоже дала небывалый урожай. Как только опали листья на деревьях, я снял покрасневшие тыквы и сложил их в мастерскую отца. Обширное помещение с потолком из пяти балок от пола до самого верха оказалось заполненным тыквами. Полуспелые и недозревшие тыквы я сложил перед домом, чтобы мы могли ими питаться.

Зимой я занялся продажей тыкв. Это я проделывал в определенном порядке: два раза в неделю, по воскресеньям и средам, в Гидждуване был базар. Каждый базарный день я накладывал в мешок шестнадцать тыкв и продавал их поштучно. За постой осла в караван-сарае я уплачивал два пуля (полкопейки), за место для торговли — четыре пуля (одну копейку). Кроме того, каждый раз я покупал на четыре пуля сдобную лепешку и на четыре пуля винограда себе на завтрак, также я покупал две сдобных лепешки своим больным братьям. Таким образом я тратил в базарный день 22 пуля (пять с половиной копеек), и еще удавалось раз в неделю покупать для дома одну нимчу (пятьсот грамм) мяса.

Когда от продажи тыкв у меня скопилось немного денег, я купил себе и младшим братьям одежду. (Старший брат имел необходимое платье). Несмотря на все траты, из оставшейся суммы весной я купил еще овцу с ягненком.

ГЛАВА СЕМЬИ И ЕЕ ПОМОЩНИК

В тот год я был для своей семьи и отцом, и матерью, и помощником.

Мой старший брат все еще не мог окончательно поправиться, а младшие братья только что поднялись с постели, и никто из них ни в чем не мог мне помочь.

Из-за болезни в тот год мать не заготовила тутовой патоки и только насушила мешочек тута.

Одна соседка научила меня готовить из сушеного тута халву, и я дважды в неделю варил жидкую халву, служившую нам пищей в течение нескольких дней. Я носил на мельницу сорго и приносил оттуда муку. Жена Иброхим-ходжи пекла нам сорговые лепешки. В ту зиму мы питались главным образом халвой, сваренной с сорговой мукой, и сорговыми лепешками. Раз в неделю варили похлебку из раздробленных зерен сорго.

Я ходил на базар, готовил, стирал и чинил нашу одежду. Стирать я научился еще в женской школе, об этом упоминается в моей повести «Старая школа».

* *
*

В середине зимы старший брат окреп и поднялся с постели. Но он не стал долго задерживаться дома, а пошел по деревням, надеясь устроиться где-нибудь имамом, чтобы заработать себе на будущий учебный год.

Я остался с двумя младшими братьями; старшему из них, Сирождиддину, исполнилось только восемь лет. Болезнь его уже оставила, но сил было еще мало. Он вообще был слабеньким и бледным ребен-

ком, а теперь напоминал сухую палочку, есть ему тоже никогда не хотелось.

Зато самый младший, четырехлетний брат, Киромиддин, стал после болезни очень быстро поправляться.

Он отличался странным сложением для своих лет, был необыкновенно высоким мальчиком, с большой головой и полной шеей. Грудь у него казалась очень широкой, и когда он шел, то выставлял ее вперед, подобно борцу. Он мало смеялся и говорил очень умно и серьезно. Это был сообразительный и находчивый ребенок. Однажды он дал такой остроумный ответ, что я его и сейчас помню.

Старший брат стал имамом в деревне Табариён, находившейся от нас в шестнадцати километрах. Однажды он пришел к нам и принес мясо, масло и рис, чтобы приготовить плов. Он сам сварил плов, и мы пригласили в гости Усто-амака и его сына Икромходжу.

Мы сидели вокруг сандали́ и ели плов. Почетное место занимал Усто-амак, по сторонам от него разместились старший брат и Икромходжа, а спиной к двери, с четвертой стороны сандали́, сидели мы, все трое младших братьев.

Среди кусков мяса поверх плова лежала большая кость. Старший брат вежливо, как полагалось по обычаю, взял кость и протянул ее Усто-амаку.

— У меня нет зубов, — сказал дядя, — ешьте сами на здоровье. Пусть вам пойдет на пользу!

Так как все остальные были младше его, он больше никому эту кость не предложил, а стал ее грызть сам. Кость оказалась очень большой, с крепкими жилами, поэтому брат взял ее обеими руками и начал обгладывать.

Вдруг брат заметил, что самый младший братишка, Киромиддин, сердито наблюдает за тем, как он обгладывает кость.

— Что ты смотришь? — спросил брат.

— Вы гложете кость, как Хайбар! — сердито ответил тот.

Мы все засмеялись. Мне очень понравился этот ответ. Видимо, Киромиддину хотелось получить кость из плова, а так как брат не дал ему ее, он рассердился и сравнил действия брата с тем, как

гложет кости собака; его наблюдение было очень верным и справедливым.

Мне больше всего нравились поэтические сравнения, но эти слова четырехлетнего ребенка показались гораздо удачнее того, что я находил в стихах. А то, что он, не задумываясь, отомстил таким остроумным образом, понравилось мне еще больше.

Мне в то время очень хотелось стать поэтом, но я не верил в возможность осуществления своего желания. Про себя же подумал, что у Киромиддина есть способности к поэзии. Когда все перестали смеяться, я сказал ему:

— Ты, видно, будешь поэтом!

Меня никто не поддержал. Конечно, не только этот четырехлетний ребенок, но и все другие не поняли смысла моих слов. Я даже заметил, что старший брат немного обиделся. Ведь вместо того, чтобы выругать ребенка, допустившего неучтивость по отношению к брату, я похвалил его.

* *
*

Жизнь заставила меня выбросить из головы мечты о том, чтобы поехать в Бухару учиться. Но от этого желание учиться, особенно после отцовского напутствия, сильно возросло, только оно казалось мне теперь совершенно несбыточным. Мой старший брат брался за любое дело и, преодолевая любые затруднения, продолжал учиться. Я же должен был вместо родителей воспитывать младших братьев. Если бы я тоже решил уехать в Бухару, то два малолетних брата неизбежно погибли бы. Совесть подсказывала мне, что задача воспитания осиротевших детей выше всех моих желаний. Поэтому в том году я перестал брать уроки у деревенского имама и занялся домашними делами.

Весной на деньги от продажи тыкв я купил овцу с ягненком и теперь стал их пасти; я мечтал, что к зиме они станут большими и жирными. Овцу я продам для расходов по дому, а ягненка мы зарежем, заготовим мясо впрок и будем этим жить.

Чаще всего я пас свою овцу в кустах и зарослях на нашем кладбище. Это место никому не принадлежало, соседи боялись сюда ходить из-за «гнева святого» и потому, что опасались нападения «оборотней» и «драконов». Скот на кладбище тоже не выгоняли, и травы там было больше, чем в других местах.

Я взбирался на холм, садился на нем и любовался окрестными крестьянскими полями и садами, иногда прочерчивал углем высеченные на могильных плитах надписи, читал их, и это очень меня воодушевляло. О том, как я пас свою овцу на кладбище, я позже рассказал в очерке «Колхоз „Коммунизм“».

На одном из камней хорошим почерком «наста'лик» было начертано следующее народное четверостишье:

Как горько, что мир сожаленья не знает,
Что друга от друга навек отторгает,
Того, с кем мы близкими стали друзьями,
Он сотней уловок от нас отдаляет.

На другой плите было высечено четверостишье Саади:

Джемшид счастливый как-то, я слыхал,
На камне у потока написал:
*«Таких, как мы, тут много отдыхало,
Ушли, в мгновенье ока их не стало».*

* *
*

Когда пришла весна, трава на кладбище выгорела и я стал пасти овцу в пойме реки, которая по-местному называлась одог (обдог). Во время паводка сюда доходила вода из Зеравшана, а в другое время было сыро и влажно, здесь росли хорошие травы. Все деревенские ребята пасли свой скот в этих местах. Оставив скот пастись, мы забирались под сень ивовых деревьев и затевали разные игры. Когда мы чувствовали голод, то рвали зеленую фасоль, росшую по межам и берегам канав, варили ее с солью и ели. Как мы проводили время и варили фасоль, я изобразил в романе «Рабы».

Иногда у нас бывали удачи и в рыбной ловле, мы вылавливали мелкую рыбешку в заливчиках по берегам реки. Тотчас же жарили на костре свою добычу, ели ее с солью, и такое кушанье казалось нам очень вкусным.

* *
*

Незадолго до осени мы лишились пастбища на заливном лугу. Это произошло следующим образом.

Заливной луг — одог — считался казенной землей. Крестьянин, который поднимал там целину и засевал ее, должен был четыре десятых урожая отдать эмиру. В те годы сбором податей в Гидждуване ведал амлокдор по имени Кара-бек. Это был очень жестокий человек. Всякими уловками и хитростями, притеснениями и силой он собирал урожай с амлячных земель. (Это отражено в романе «Рабы»). Крестьяне перестали засевать амлячные владения, и плодородные земли заглохли, заросли колючкой; тогда Кара-бек стал взимать налог за хворост с тех, кто раньше пользовался этой землей.

Пахотные земли в пойме реки также остались незасеянными и заглохли.

Кара-бек лично пожаловал к нам и обложил прибрежные места сбором за хворост. Он увидел, что на заливном лугу пасется много мелкого и крупного скота и решил обложить владельцев «пастбищной податью»; с этой целью он велел явиться к нему всем пастухам. Однако пастухи по знакам крестьян поняли, что в этом таится какой-то злой умысел; поэтому, пригнав скот домой, сами разбежались в разные стороны.

Вот почему мы больше не выгоняли скот на заливной луг, а пасли его на землях, с которых был убран урожай, называвшихся по тогдашнему выражению «ангор».

* *
*

В ту осень мы ничего не получили с двух танобов земли, оставшихся нам в наследство от отца. Конечно, я и не мог один их засеять. После смерти отца мне стал помогать его друг, крестьянин

Мирзо-Му'мин, происходивший из таджиков нашей деревни. Он засеял озимой пшеницей поле, на котором стояли засохшие стебли хлопка, а землю, бывшую под сорго, засеял яровым ячменем.

— Теперь ты сам смотри, — сказал он мне, — урожай будет зависеть от тебя, а со мной рассчитаешься мелкой соломой для корма моих быков.

Но лабазник, у которого я брал семена ярового ячменя, подсунул мне семена озимого ячменя. Поэтому лишь только ячмень зазеленел, он лег, подобно свинорою, на землю и не заколосился.

Что же касается пшеницы, то во время цветенья на нее напал вредитель, она вся сгорела, и с этого участка мы не собрали даже семян.

Получив в прошлом году столько выгоды от тыквы, я и в этом году на маленьком участке земли около суфы опять посадил тыкву. Однако тогда я еще не знал, что на одной и той же земле, особенно на огороде, не сажают два года подряд одни и те же овощи.

Когда тыквы выбросили петли, зацвели и начали образовывать завязь, среди них оказалось много пустоцвета, который на поэтическом языке называется «цветком обмана». Почти все завязи пожелтели, опали, и ни одна тыква не созрела настолько, что ее можно было есть.

Таким образом, к зиме я ничего не смог получить от земледелия; весна была холодной, мороз побил в саду абрикосы, и я не собрал даже урожая фруктов.

ПОЛОЖЕНИЕ В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ В ТЕ ГОДЫ

До 1868 года, когда закончилась война между бухарским эмиром и русским царем, гиждуванские амлокдоры, в том числе и амлокдор нашей деревни, по заведенному повсеместно в Бухарском ханстве обычаю, вносили в казну налог в размере сорока процентов урожая. После заключения мира между эмиром и русским царем официально этот порядок был уничтожен, но эмир Музаффар под предлогом уплаты царю контрибуции тайно нарушил запрет и отдал устное распоряжение своим чиновникам как можно больше собирать налогов с крестьян.

Представители эмирского правительства, следуя правилу: «Если эмир велит принести чалму, то они принесут голову», — сняв с крестьян и чалмы и головы, стали сдирать с них шкуру.

Эмир Абдулахад, вступив на престол, не только продолжал нарушать установленный порядок, но каждый год требовал налогов больше, чем в предшествовавшем году. Для того чтобы успешнее осуществлять грабеж населения, он назначал амлокдорами «опытных» и «знающих» людей.

Кара-бек был ранее секретарем у разных правителей. После воцарения на бухарском престоле Абдулахада он получил повышение ввиду своей «опытности» и был назначен амлокдором в Гиждуван, который считался самой плодородной и благоустроенной областью Бухарского ханства.

Кара-бек происходил из селения Тахти-Кургон, относившегося к числу соседних с Соктари деревень. Этот жестокий тиран хорошо знал район Гиждувана и в особенности окрестные селения. Именно здесь он был особенно беспощаден. В Тахти-Кургоне имелось большое озеро. Кара-бек собрал крестьян и заставил их работать бесплатно по осушению озера. Они должны были засыпать озеро землей с холмов, разровнять образовавшийся участок, посадить большой сад и построить для него дворец. Эта бесплатная принудительная работа не прекращалась даже в год эпидемии.

Кара-бек был первым, кто стал взимать налог с амлячных необработанных земель под названием «налог с колючки». Тогда крестьяне запахали эти земли, чтобы на них не росли даже колючки, и оставили их незасеянными. Однако Кара-бек придумал другой налог и назвал его «налогом на землю под паром». По примеру Кара-бека, этот налог был затем введен во всех районах Бухарского ханства.

В деревне Тахти-Кургон жил восьмидесятилетний старик, бывший военачальник, которого люди называли Бек-бобо (его настоящее имя я забыл). За ним было закреплено сорок танобов амлячной земли в окрестностях Соктари к северу от Сари-Мазора. Крестьяне, обрабатывавшие эти земли, находились от него в ленной зависимости. Он был очень добрым, отзывчивым человеком, ни к чему не принуждал крестьян, никогда не приходил на поле во время сбора урожая

и не посылал туда своих людей. Среди таджиков нашей деревни были два брата, Мирзо-Юлдош и Мирзо-Му'мин, очень близкие друзья моего отца. Они рассказывали ему:

— Мы трудимся и год от года увеличиваем урожай с земли, но Бек-бобо не требует с нас больше, и все, что мы ему приносим, он принимает с радостью.

Как только Кара-бек стал амлокдором в Гиждуване, он устремил на эту землю свои жадные взоры. Он сам пошел к Бек-бобо и спросил, сколько тот получает доходов с сорока танобов земли; согласно ответу Бек-бобо амлокдор подсчитал, что ежегодный доход составляет четыре тысячи тенег. Он заявил об этом эмиру и попросил разрешения выдавать ежегодно Бек-бобо из эмирской казны четыре тысячи тенег, а сорок танобов земли присоединить к амлячным землям и самому взимать с них налог.

Конечно, эмир принял его предложение и для осуществления своего намерения прислал на имя Бек-бобо фирман. В результате этого сорок танобов земли в течение трех лет попали в разряд непаханых земель, а Мирзо-Юлдош и Мирзо-Му'мин стали выплачивать «налог на колючки» и «налог на земли под паром».

* *
*

В начале того года, когда была эпидемия, Кара-бек, «приобретший большой опыт», был назначен чиновником в район Зиёутдина, — это был хлопководческий и рисосеющий район. Однако народ все еще бесплатно и принудительно работал у него на постройке, и этим руководил амлокдор, назначенный на его место в Гиждуван.

Мы, деревенские ребята, когда бывали свободны, ходили смотреть на строительство. Внутри комнат штукатуры вырезывали различные узоры по алебастру. В конце лета на второй год после эпидемии пришла весть о смерти сына Кара-бека, и он прислал приказ, чтобы мастера построили для его сына мавзолей из сырцового кирпича и побелили алебастром.

Во время возведения мавзолея мастера говорили между собой:

— Хоть бы бог сделал так, чтобы пришло известие о его собственной смерти и мы бы тогда построили ему черный мавзолей!

Не прошло и месяца, как стало известно о смерти амлокдора. Мастера в это время трудились в комнатах над панелью. Чтобы оштукатурить нижнюю часть стен, они смешали угольную пыль с алебастром и приготовляли темный раствор.

После смерти Кара-бека никто их уже не принуждал работать, но они сами, чтобы осуществить задуманное, достроили мавзолей и покрыли его черным раствором. Народ говорил:

— Как только умер Кара-бек, господь стал проявлять свой гнев и почернил его мавзолей, подобно задымленной комнате: наверное, могила его полна огня.

Постройка дворца замерла, рабочие и мастера разошлись в разные стороны. Во дворе и в комнатах кучами лежали строительные материалы, — такие, как известь, кирпич, алебастр и краски. Новый гидждуванский амлокдор запер двор и передал его в казну. Развалины этой усадьбы стояли вплоть до революции. После революции народ дочиста разрушил здание, а дерево и кирпич использовал для собственных нужд, и люди говорили между собой:

— Наконец-то право оказалось на стороне правого!

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПОЕЗДКЕ В БУХАРУ НА УЧЕНИЕ

Я совсем было оставил всякие надежды на ученье, но в это время произошло событие, неожиданно открывшее передо мной возможность поехать учиться в Бухару.

В конце лета 1889 года моя бабушка со стороны матери, которой было семьдесят лет, послала за мной и просила меня с братьями прийти к ней повидаться перед смертью.

Я поручил своих овец Икром-ходже, запер дом и сел на осла, старшего из братьев я посадил позади себя, а младшего взял на руки, и мы отправились в деревню Махаллаи-Боло.

В те дни, когда мы там гостили, в деревню Махалла, расположенную невдалеке от деревни дедушки, приехал гость из Бухары. Гость

был сыном умершего перед этим верховного судьи Абдушукура, звали его Шариф-джон-махдум. Дом, в котором он остановился, принадлежал Мулло-Абдусалому, учителю-репетитору моего старшего брата. Мулло-Абдусалом пригласил брата помогать ему в приеме гостей, а узнав, что я нахожусь в Махаллаи-Боло у своей бабушки, он и меня тоже просил помочь.

Шариф-джон-махдум прибыл со своими близкими друзьями и слугами, а хозяин в его честь пригласил других гостей. Мой брат прислуживал в мехмон-хоне при подаче угощения и чаепития, а я был занят разжиганием самоваров на суфе. Я кипятил самовары, заваривал в чайниках нужное количество чая, а другие относили эти чайники в мехмон-хону.

В то время, когда я сидел возле самовара и вытирал салфеткой чайники, из мехмон-хоны вышел мальчик; он был одного со мной роста, но более худощав. Печально усевшись на край суфы, он как бы про себя пробормотал:

— Мавлоно Джалолиддин Руми писал:

Не стремись в деревню, люди там глупеют,
Мысль теряет ясность, ум у них тупсет.

Я не послушался совета Мавлоно и приехал в деревню, а мне уже наскучило. Здесь даже нельзя найти человека, с которым по крайней мере можно было бы сыграть в бейты.

— Что это за игра в бейты? — спросил я.

Взглянув на меня удивленно, он спросил:

— Разве ты грамотный?

— Немного умею читать.

— Знаешь на память стихи?

— Да, несколько стихотворений.

— Игра в бейты заключается в том, — начал он объяснять, — что, например, я прочту бейт, а ты в ответ прочтешь такой бейт, чтобы первая буква твоего бейта совпадала с последней буквой моего. В ответ я тоже должен прочесть такой бейт, начинающийся с последней буквы твоего бейта, так мы и будем играть. Кто не сможет найти

подходящий бейт, тот будет считаться проигравшим, только запомни, что один и тот же бейт нельзя читать дважды. Если хочешь, давай поиграем.

— Ладно, — согласился я.

Он прочел один бейт, я ответил ему другим, потом он ответил мне, потом опять я, и таким образом мы без перерыва соревновались в течение пятнадцати минут. Наконец, я вышел из игры, хотя помнил еще не мало бейтов, но таких, чтобы они начинались с последней буквы его бейта, мне мало приходило на память. Мой соперник гораздо быстрее находил нужные двустишия. Я чувствовал, что у него в этой игре имеется достаточный опыт, он знает много бейтов на любую букву, кроме того, он хорошо умеет читать их. Однако по тому, как он читал, было ясно, что смысл большинства бейтов он понимает смутно.

Используя слабое место моего противника, я прибегнул к такой уловке: слова в некоторых бейтах, в которых начальная буква была мне не нужна, я переставлял на другие места, в начало или конец бейта, или вместо первого слова брал слово из середины бейта, начинающееся с нужной мне буквы. Конечно, при этом нарушался смысл стиха, но мой противник этого не понимал.

Вдруг он прочел бейт, который кончался на букву «ж». Мне до того никогда не встречались бейты, начинающиеся с буквы «ж». Я знал лишь два слова с начальной буквой «ж»: первое — «жола» и второе — «жож», «жожхои». Я пытался поставить одно из них в начале бейта вместо того, которое там было. Но быстро ничего не удавалось придумать. Партнер мой стал меня торопить:

— Отвечай скорее или «сдавай свой город».

Его слова привели меня в еще большее замешательство. Но безвыходность положения заставила вдохновиться, и я сразу выпалил:

*Жож и мож, жож и мож, жож и мож,
Он начала до конца все это ложь.*

Если этот бейт можно вообще отнести к стихосложению, то он был первым моим поэтическим опытом.

Мой противник заявил, что первой буквой в этом бейте является не «ж», а *«дж»*, и начал спорить. Я же твердо стоял на том, что это буква «ж». Я точно знал, что в этом слове начальная буква «ж», а не «дж». Но в душе я смеялся, ведь этот бейт не имел никакого смысла и я сам его сочинил. К счастью, самого главного мой соперник не понял...

На наш спор из мехмон-хоны вышел одноглазый человек средних лет, это был слуга Шариф-джон-махдума из Бухары.

— Нужно спросить Махдум-джона (Шариф-джон-махдума), — сказал он, — кто из вас прав.

Мой противник написал этот бейт карандашом на бумаге (у него был очень красивый почерк) и, подобно человеку, который твердо уверен в справедливости своих притязаний, горделиво вошел в мехмон-хону. Спустя две минуты он выскочил оттуда, как мокрая курица, покрытый потом от стыда, и промолвил печально:

— Махдум-джон зовет тебя.

— Ну, как, ты оказался прав или нет? — спросил я, будто не понял, что произошло.

Он ничего не ответил на мой вопрос и повторил:

— Махдум-джон тебя зовет, иди скорей!

Но я не пошел. Как я мог войти в своей грязной рваной деревенской одежде к человеку, которого все уважали и у которого слуги были в чистой городской одежде?! Спустя две минуты из мехмон-хоны вышел брат и позвал меня:

— Не стесняйся, — сказал он, — иди. Ты знаешь, что в поговорке говорится: «Приказание — выше приличий».

Я вошел в комнату, остановился у порога и поздоровался. Комната была полна людей. Большинство присутствовавших были в белых чалмах и казались муллами, среди них находились и деревенские старики. На почетном месте сидел юноша лет двадцати пяти, белолицый, с рыжеватыми волосами. Было ясно, что это Шариф-джон-махдум.

Шариф-джон-махдум посмотрел на меня внимательно и спросил:

— Как тебя зовут?

— Садриддин!

— Очень хорошо. Ты играл в бейты с Мирзо-Абдулвохидом?

В ответ я только утвердительно кивнул головой, не промолвив ни слова.

— Ты сказал правильно: слово «жож» пишется с буквы «ж», а не с «дж». Ты не хочешь ехать в Бухару учиться?

Я опустил голову и ничего не ответил. Но от того, что мое заветное желание не может быть осуществлено, сердце у меня сжалось и в глазах закипели слезы.

Тогда заговорил мой брат:

— Наши родители умерли. Кроме нас, остались еще маленькие братья. Он единственный их кормилец. Все это и лишает его возможности учиться.

— Как бы то ни было, — сказал Шариф-джон-махдум, — его нужно учить. Он кажется способным ребенком. Нашего всезнайку (он показал на Мирзо-Абдулвохида) не легко одолеть в игре в бейты.

Хозяин дома, репетитор брата, вступил в разговор.

— Я тоже попытаюсь сделать так, чтобы он учился, — потом, обращаясь ко мне, он добавил:

— Иди, вскипяти поскорей самовар!

Я вышел из мехмон-хоны, очень довольный беседой. Радость моя происходила не от того, что Шариф-джон-махдум подтвердил, что слово «жож» пишется с «ж», я это и сам хорошо знал. Я радовался тому, что он не понял моей хитрости, а если и понял, то не осрамил перед всеми; кроме того, разговор меня воодушевил, и я твердо решил, преодолев все препятствия, поехать учиться в Бухару.

Через два дня гости уехали, и я перед братом и его учителем решительно поставил вопрос о своем учении.

В конце концов они пришли к заключению, что нам придется оставить своих младших братьев у бабушки, а Мухиддин возьмет меня с собой в Бухару.

— Он как-нибудь перебьется в медресе, — сказал Мулло-Абдусалом, — все в руках божьих. Раз мы дали обещание в присутствии высокого лица, мальчика нужно обязательно послать в Бухару.

Позже я узнал, что Шариф-джон-махдум, с которым я тогда познакомился, был автором поэтического трактата и писал под псевдо-

нимом Садр Зиё. Должен еще упомянуть о своем противнике по игре в бейты — Мирзо-Абдулвохиде. Полное его имя — Мирзо-Абдулвохид Мунзим. С того самого дня до конца своей жизни он был моим самым близким другом. Мирзо-Абдулвохид скончался от простуды в марте 1934 года в Сталинабаде.

* *
*

По обычаям того времени, перед отъездом в Бухару мы должны были выполнить две обязанности: во-первых, справить поминки по родителям, во-вторых, совершить обрезание нашим маленьким братьям. Если бы мы этого не сделали, то люди сочли бы нас отщепенцами. Однако все это требовало больших расходов. Мы долго раздумывали со старшим братом, но не могли найти никакого выхода.

Неожиданно мне пришла в голову мысль продать двор с садиком, которые остались нам в наследство от отца в деревне Махаллаи-Боло, и деньги потратить на устройство дел. Я говорил брату:

— Здешняя усадьба нам совершенно не нужна, мы больше никогда не будем жить в этой деревне. Если же мы при жизни бабушки и дедушки не продадим эту усадьбу, то вполне вероятно, что какой-нибудь гнусный человек вроде Мулло-Навруза бесплатно приберет ее к рукам.

Гнусные дела Мулло-Навруза были описаны мною в романе «Рабы», а также в статье, посвященной выборам в Верховные Советы Таджикской и Узбекской советских социалистических республик, напечатанной в 1947 году в местных газетах.

Эта мысль брату тоже понравилась. Мы тотчас же продали дом и, вернувшись в Соктари, устроили поминки по родителям, а на следующий день — небольшой туй по случаю обрезания братьев.

* *
*

Когда младшие братья оправились после обрезания, мы продали овцу с ягненком и заказали себе рубашки, штаны и зимнюю одежду. От продажи овец осталось еще пять тенег (семьдесят пять копеек),

я их крепко завязал в пояс. Из сушеного тута и сушеных абрикосов бóльшую часть я выделил младшим братьям и немного оставил нам для Бухары. Часть одеял и подушек я взял для себя и братьев, а все остальное вместе с посудой запер в доме. В наследство от отца нам еще остался небольшой котел и горшочек для масла, которые он брал с собой, когда учился в медресе. Я решил, что нам это тоже пригодится в Бухаре. Осла старший брат продал и деньги взял с собой на расходы по нашему питанию в медресе. Хайбара, которого мы взяли у дяди-пастуха шестимесячным щенком, мы возвратили ему.

Я отвез братьев со всеми их вещами в Махаллаи-Боло, а сам приготовился к отъезду в Бухару.

Конец 1-й части.

Часть вторая

В ГОРОДЕ

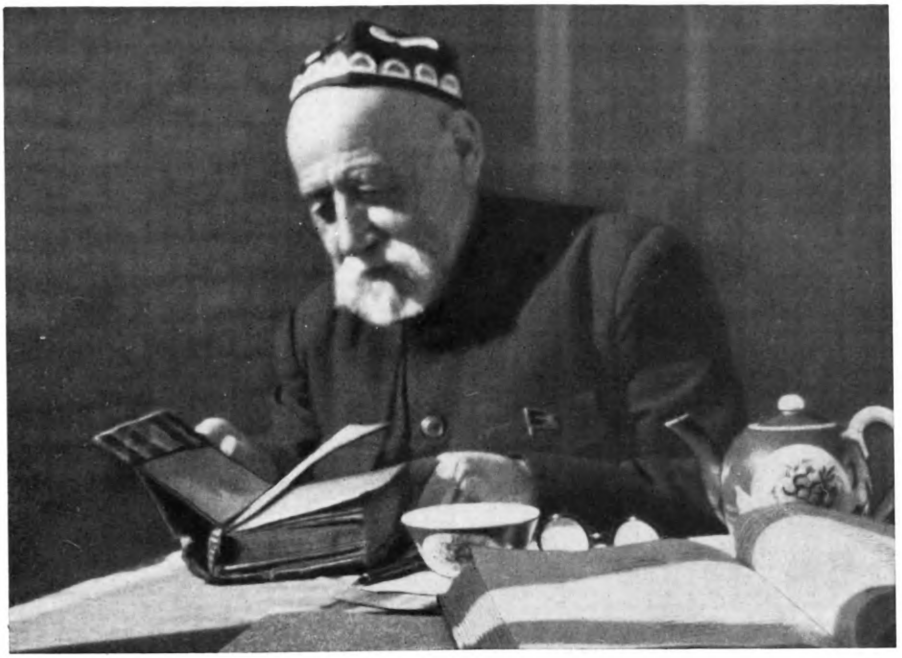
ВСТУПЛЕНИЕ

Бóльшая часть моей жизни проходила в городе, в медресе. Прежде чем излагать эту часть своих воспоминаний, я счел необходимым дать краткие сведения о бухарских медресе, образе жизни в них, о программе занятий, приемах обучения, которыми пользовались мударрисы и вообще обо всем том, что имело отношение к высшей духовной школе.

Эти краткие сведения нужны еще и потому, что наши молодые современники мало знают о медресе вообще и о бухарских в частности; о некоторых же вещах они имеют настолько приблизительное представление, что оно подчас противоречит исторической правде.

Меня иногда спрашивают: «Какое вы кончили бухарское медресе?» — или: «Какую науку вы изучили там?».

Подобные вопросы показывают, что те, кто их задает, представляют себе бухарские медресе чем-то вроде университетов нашего времени. Они думают, что всякий, поступивший в медресе, вероятно, живет в общежитии, учится до самого конца курса у определенных учителей; иным кажется, что медресе в Бухаре делились на факультеты и каждый учащийся мог по своему желанию выбрать любой из них и стать специалистом в определенной области.



Садриддин Айни за работой.

Тому, кто сам учился в бухарских медресе или имеет о них достаточно полные и достоверные сведения, подобные вопросы кажутся наивными.

Во всяком случае это вступление избавит читателей от многих сомнений и не даст им впасть во время чтения «Воспоминаний» в новые ошибки.

ЗДАНИЯ БУХАРСКИХ МЕДРЕСЕ

По всей Средней Азии, как и в Бухаре, здания медресе чаще всего были двухэтажными или одноэтажными. И в наши дни мы можем видеть такие постройки в Бухаре, Самарканде и Ташкенте.

Снаружи и внутри медресе имели обширные, выложенные плитами площади; массивные и крепкие стены их были возведены из жженого кирпича, украшены пышными порталами, арками и угловыми башнями, у многих зданий порталы, купола и стены были облицованы цветными изразцами.

Совсем по-иному выглядели жилые помещения в медресе. Это были чрезвычайно тесные и темные кельи, с трудом вмещавшие двух человек.

Обычно эти кельи имели только одну дверь, расположенную внутри арки, она служила входом, и через нее проникали в помещение воздух и свет. У порога кельи находился очаг для приготовления пищи, лежали дрова и уголь и было место для умывания.

Здания старых медресе, пышные и великолепные с фасада, тесные и неудобные внутри, отражали (если читатели найдут уместным подобное сравнение) образ жизни при феодализме: пышный снаружи и совершенно прогнивший внутри. В этих зданиях словно бы воплотились лицемерие, вражда и внешний блеск феодальной эпохи.

В старину некоторые честолюбивые правители и богатые люди в погоне за славой нередко выдавали себя за покровителей наук. Обычно они строили медресе, чтобы «приблизиться к богу», и назначали на их содержание вакфы. В пользу медресе отходили пахотные земли, караван-сараи, лавки, бани и вообще всякое доходное недвижимое имущество. Средства, полученные от этого имущества, дели-

лись на определенные части и прежде всего предназначались на ремонт зданий, оставшиеся же суммы шли учащимся, имамам, мударрисам и всем, имевшим отношение к медресе.

В прежние времена при некоторых медресе были даже свои учебные библиотеки; основатели медресе закупали для них нужные книги, а на содержание библиотекарей назначали определенную часть из вакфа.

В вакуфных документах, относящихся к медресе и его доходным источникам, обычно писалось на арабском языке с соответствующими религиозными изречениями: «Не может быть продан, не может быть куплен, никому не может быть подарен, никому не может быть завещан и не может быть оставлен в наследство; на всякого, кто это нарушит, пусть падет проклятье божье, проклятье пророка и проклятье всех ангелов».

Но несмотря на все религиозные наставления и устрашения, в эмирской Бухаре, которая благодаря фанатизму ее жителей получила эпитет «священная», кельи в медресе стали частной собственностью и предметом купли-продажи.

ИСТОРИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ КЕЛИЙ В БУХАРСКИХ МЕДРЕСЕ В ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ

В конце владычества династии аштарханидов, когда царствовал Абулфайз-хан (1711—1747), все бухарские и самаркандские медресе были разрушены. Самаркандские медресе превратились в хлевы, а бухарские — в странноприимные дома. В зданиях медресе этих двух городов не сохранилось никаких деревянных частей, повсюду отсутствовали двери и рамы; обычно подобные рамы заклеивались промасленной, пропускавшей свет бумагой; кельи напоминали разрушенные могилы. Вакуфные земли запустели, перешли в частное владение богатых баев или отдавались вместе с прикрепленными к ним крестьянами в пользование чиновникам. Торговля и ремесла в стране находились в жалком состоянии; все это вело к тому, что караван-сараи и лавки, приписанные к вакфам, перестали приносить доход.

Это запустение продолжалось и при династии мангытов. Когда же на престол взошел эмир Шах-Мурад (Ма'сум-бий) из той же династии, то, хоть и под влиянием сильного религиозного фанатизма, все же он произвел в Самарканде и Бухаре некоторые реформы. В результате его усилий стала вновь обрабатываться часть запущенных пахотных земель, оживились базары и было восстановлено заброшенное вакуфное имущество.

Однако разрушенные медресе оставались непригодными для жилья, у правительства не было денег на их восстановление, а возобновленные вакфы не давали еще необходимых средств на ремонт зданий. Поэтому эмир Шах-Мурад издал следующий указ: «Если ученик, восстановивший на свои средства келью, захочет в ней поселиться, то она перейдет в его собственность, а если он решит вернуть деньги, затраченные на ремонт, то может передать келью другому лицу».

Этот указ помог изыскать средства, и в течение двух-трех лет бухарские и самаркандские медресе были благоустроены; на протяжении ряда лет практиковалась передача келий от одного ученика к другому с возмещением средств, затраченных на ремонт. Однако когда вакуфные земли стали давать обильные урожаи, расцвела торговля и принадлежащие вакфам торговые заведения начали приносить большую прибыль, то в медресе появился оборотный капитал. Купля-продажа келий получила широкое распространение, но стоимость их уже определялась не по деньгам, затраченным на ремонт, а в зависимости от степени доходности вакфа. Чтобы получить келью, стало уже не обязательно быть учащимся медресе, всякий богатый человек мог приобрести одну или несколько келий в наиболее доходных медресе Бухары.

Однако в самой купле-продаже келий, благодаря «шариатским тонкостям», остался прежний порядок. Дело дошло до того, что какой-нибудь богач покупал глиняный таз для слива воды и дверную раму за двадцать или тридцать тысяч тенег. Например, построенные из дерева кельи в медресе Джа'фар-ходжа постепенно разрушались и не могли больше служить жильем, в них уже не было ни дверных рам, ни тазов; но так как они находились в очень доходном медресе, то продавались по пятьдесят тысяч тенег. Любой богач выплачивал

за отсутствующие тазы и дверные рамы установленную сумму, верховный судья ставил большую печать на документе, удостоверяющем эту сделку, и получал соответствующий сбор за наложение печати.

Зато кельи при мечетях, не имевших вакфа, или кельи при мазарах, вакф которых перешел в казну, никто не покупал, хотя они обычно были в хорошем состоянии и даже имели застекленные окна.

После занятия Самарканда войсками царской России этот порядок был отменен повсюду, кроме эмирской Бухары, которая во всех творимых там безобразиях была «независимой». Трагикомическое положение с продажей келий прекратилось лишь после Бухарской революции.

Читателю теперь должно стать ясным, почему в эмирской Бухаре, где имелись десятки больших и сотни небольших медресе, неимущие ученики вынуждены были вести скитальческий образ жизни.

ПОИСКИ КЕЛИЙ УЧАЩИМИСЯ БУХАРСКИХ МЕДРЕСЕ

Если ученик бухарского медресе имел деньги, он, купив себе келью, поселялся в ней, если же денег на покупку у него не хватало, то мог вселиться в нее «под залог». Смысл вселения «под залог» заключался в том, что ученик давал владельцу кельи от тысячи до трех тысяч тенег (в зависимости от состояния кельи и расстояния местонахождения медресе от центра эта сумма могла быть большей или меньшей) и поселялся там. Владелец кельи получал проценты с этой суммы на основании торговых или ростовщических расчетов. В том случае, если давший залог или получивший его хотели нарушить договор, они освобождались от взаимных обязательств и деньги и келья возвращались их владельцам.

Если ученик не в состоянии был дать залог, то путем угощения или иным способом удовлетворял претензии владельца кельи и поселялся в ней. Иногда случалось, что безграмотные муллы, владевшие кельями, предоставляли их ученикам с условием, что те будут им давать уроки. Таким путем эти «почтенные ученики» старались укрепить свое положение, приобретали какие-то знания и по крайней мере освобождались от упреков в безграмотности.

Некоторые учащиеся искали покровительства важных лиц или становились учениками влиятельного муллы, чтобы с их помощью получить келью. Тогда они избавлялись на некоторое время от скитаний.

Короче говоря, хоть владельцы открыто и не сдавали своих келий ученикам, но фактически, благодаря всяким «шариатским тонкостям», аренда келий существовала.

Многие люди, не имевшие никакого отношения к учению и занятые другими делами или вовсе ничем не занятые, до конца жизни проживали в медресе. Они считали даже медресе наиболее приемлемым для себя жилищем. Это происходило потому, что муллы пользовались особым уважением эмирского правительства и медресе были защищены от всякого рода посягательств со стороны чиновников.

Наставники — мударрисы — и ученики медресе жили на доходы с одного и того же вакфа, никаких иных отношений между ними не существовало. Мударрисы не могли даже принудить обитателей медресе заниматься именно у них. Поэтому учащиеся пользовались правом брать по своему желанию уроки у мударрисов других медресе или у любого муллы, а если этот мулла им не нравился, то они его бросали и переходили еще к кому-нибудь.

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ В БУХАРСКИХ МЕДРЕСЕ И МУДАРРИСЫ

В бухарских медресе изучались следующие науки: этимология и синтаксис арабского языка, логика, основы ислама (мусульманской религии), философия, состоявшая из богословия и медицины, и законоведение — фикх. Последняя из названных наук трактовала правила омовения, молитвы, поста, похорон, паломничества, закета, налога на движимое и недвижимое имущество, купли-продажи, рабовладения, освобождения рабов, женитьбы, развода с женой и другие вопросы, связанные с религиозными установлениями или общественными отношениями.

Желающие могли изучать счет у любого преподавателя. Литературой каждый мог заниматься по собственному усмотрению, уроки

родного языка не были обязательными. Родной язык каждый по мере своих сил и способностей изучал самостоятельно на опыте и путем чтения книг.

Программа занятий и учебная литература всегда оставались неизменными.

Когда ученик кончал начальную школу, никто не интересовался, овладел он или не овладел грамотой. Чтобы «стать муллой» или называться муллой, ему прежде всего было необходимо изучить у любого учителя книгу «Бидон» — «Знай». В этой книге по-таджикски излагались основы арабской грамматики с арабскими же примерами. Кроме того, он должен был читать таджикскую книжечку «Аввали илм» — «Начатки знаний», в которой приводились в вопросах и ответах важнейшие религиозные правила.

После этого учащийся переходил к арабской этимологии по книгам «Муиззи» и «Занджони» и к арабскому синтаксису по книге «Авомил». Арабские выражения он учил на память вместе с переводами на таджикский язык.

Затем он изучал часть арабской книги «Кофия», в которой арабский синтаксис излагался более подробно.

Все эти книги проходили у муллы, который мог быть мударрисом, но мог им и не быть. Его обычно называли «учителем-репетитором». На эти занятия уходило приблизительно три года.

Следующая ступень обучения начиналась с чтения одного из произведений Мавлоно Абдурахмана Джами — «Шархи Мулло», являвшегося комментарием к книге «Кофия». Ученик теперь уже изучал книги у какого-нибудь более крупного преподавателя; обычно эти уроки назывались «классными занятиями». Они продолжались в течение пяти лет. Кроме этого, ученик брал уроки и у репетитора — он учил с ним последние части книги «Кофия» и книгу по логике «Шамсия». Прежде чем идти к преподавателю, дававшему классные уроки, и читать с ним книгу «Шархи Мулло», он готовился к этим занятиям с репетитором.

Вслед за книгой «Шархи Мулло» на классных занятиях начиналось изучение книги под названием «Хошияи Кутби», которая являлась комментарием к ученому труду по логике «Шамсия»; в течение

одного года ученик должен был усвоить ее содержание, одновременно он изучал религиозный трактат «Акоиди Насафи».

После «Хошияи Кутби» приступали к чтению комментария на книгу «Акоиди Насафи», автором которой был Аллом Тафтазани; обычно эту книгу изучали четыре года. После нее в течение двух лет читался «Тахзиб», посвященный вопросам логики и схоластической философии. Затем еще два года читали книгу по естествознанию и метафизике «Хикмат-ул-Айн».

Наконец, после всего в течение двух лет изучалось богословское сочинение под названием «Мулло-Джалол»; в день окончания медресе читался хадис — предание о поступках или изречениях Мухаммеда. Затем преподаватель проверял знания своих учеников. Он спрашивал у них и то, что они у него проходили, и то, чего не проходили (например, объяснения Корана, хадисы или другие вопросы, касающиеся религии), и отпускал их.

Бухарские медресе славились своей религиозной ортодоксальностью, а бухарские муллы считались специалистами в области богословия, поэтому не только в Средней Азии, но и у мусульман России — татар и башкир — Бухара пользовалась большой известностью и авторитетом. При всем том удивительным кажется, что, кроме богословия, бывшего чисто схоластической наукой средневековья, ничего больше, связанного с изучением религии, не было в программах бухарских медресе. Всякий, кто имел желание, мог еще неофициально изучать толкование Корана, хадисы пророка и мусульманское законоведение у какого-нибудь специалиста по этим вопросам.

Занятия и учебные книги, о которых было сказано выше, не претерпели никаких изменений в течение нескольких столетий. Если будет позволено употребить такое определение, то эти программы были * «стандартными» * начиная с XV—XVI веков до самой революции. Различие заключалось лишь в том, что с течением времени к самым древним книгам появлялось все больше и больше комментариев и суперкомментариев; преподаватели и ученики значительную часть времени тратили на эти бессмысленные толкования, и вполне естественно, что при таком положении не было возможности усваивать содержание даже основных книг, входящих в учебную программу.

Читатели моих записок могут подумать, что учащиеся бухарских медресе, занимавшиеся девятнадцать лет весьма ограниченным кругом вопросов, должны были стать крупными специалистами в науках, предусмотренных программой. Как жаль, что подобное заключение неверно! Значение этого станет ясным из нижеследующего отрывка.

УЧЕБНЫЙ ГОД И ПОРЯДОК ЗАНЯТИЙ В БУХАРСКИХ МЕДРЕСЕ

Занятия в бухарских медресе начинались в месяц мизон (22 сентября) и кончались в начале месяца хамал (22 марта) и длились ровно полгода. Этот срок выдерживали только ученики, имевшие средства на шесть месяцев жизни в медресе, или те, кто был в силах выносить голод и другие лишения.

Но большинство неимущих деревенских учащихся если и приезжали в медресе ранней осенью и удостоивались «милости присутствовать на начале занятий», то потом были вынуждены возвращаться в деревню. После уборки урожая или после того, как им удавалось положить в карман некоторую сумму денег за исполнение обязанностей имамов в сельских мечетях, в ноябре они снова появлялись в Бухаре и принимали участие в занятиях, значительно продвинувшихся вперед. Начиная с февраля, эти учащиеся опять расходились по деревням.

Если, например, по средним подсчетам, в начале учебного года на уроке собиралась группа в пятьдесят человек, то уже на следующую неделю из этого количества оставалось лишь двадцать человек, а в ноябре и декабре группа снова пополнялась.

Когда зимой вторично начинался отъезд учеников, то к началу марта из группы оставалось приблизительно человек десять, и эти десять человек «удостоивались милости присутствовать на завершении учебного года».

Так продолжалось ежегодно на протяжении девятнадцати лет. Но еженедельные занятия проходили еще хуже.

В бухарских медресе для официальных занятий отводилось лишь четыре дня в неделю — с воскресенья до среды. Четверг, пятница и суббота считались днями отдыха.

Некоторые мударрисы, преподававшие в классах, люди обычно очень пожилые, во вторник тоже не занимались, ссылаясь на нездоровье. Уроки в этот день объявляли «вторничными уроками» (отдыхом). В таком случае в неделе оказывалось четыре неучебных дня.

Но если учесть порядок занятий, принятый в рабочие дни, то количество действительных учебных часов придется тоже значительно уменьшить. Например, ученик ежедневно учил с муллой-репетитором один урок по какому-нибудь определенному тексту (например, по книгам «Кофия», «Шамсия» или вероучению); кроме того, с этим же репетитором или с другим таким же он учил один из школьных уроков, затем этот школьный урок он повторял и со своим преподавателем медресе. Некоторые ученики школьные уроки, «чтобы лучше их усвоить», проходили одновременно у двух крупных преподавателей медресе. Таким образом, каждый ученик читал текст по книге один раз в день в одном месте, а школьный урок повторял в двух-трех местах.

На каждый урок в среднем тратился один астрономический час, но ученик этот урок изучал в действительности четыре часа. Все дополнительное время уходило лишь на чтение. Но если мы примем во внимание часы, которые у ученика пропадали между всеми этими занятиями, то увидим, что на один урок он тратил целый зимний день.

Как уже говорилось ранее, жилье, где получал пристанище учащийся, обычно находилось на значительном расстоянии от места занятий. Помещения, в которых давали уроки мударрисы, будь то репетиторы или классные преподаватели, также были разбросаны по всему городу, и чаще всего до них нужно было пройти два-три километра.

Кроме того, от получаса до часа уходило на ожидания начала занятий. Для того чтобы понять причину такого промедления, нужны некоторые пояснения.

Обычно бухарские мударрисы в течение одного дня давали от восьми до двенадцати уроков, а время для общих занятий назначалось на определенный час. Например, общий урок для изучающих комментарии («Хошия») начинался в семь часов утра, а после него

в восемь часов уже следовал урок для изучающих основы вероучения; вторая группа была вынуждена находиться в аудитории уже в семь с половиной часов утра, чтобы к началу урока отдохнуть от дороги.

Иногда случалось, что первый урок для изучающих комментарий из-за какого-нибудь бессмысленного спора затягивался на лишних полчаса. В таком случае учащиеся второй группы были вынуждены ждать целый час начала своих занятий.

ИТОГИ ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЕГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ

Если мы скажем, что официальный курс девятнадцатилетнего обучения в бухарских медресе не давал никаких результатов, читатели могут нам не поверить и обвинят писателя в обмане или, по крайней мере, в восточном преувеличении. Однако если они прочтут нижеследующего, то уверятся в справедливости сказанного пишущим эти строки. Чтобы подтвердить такой вывод, достаточно нескольких примеров.

Самый простой подсчет показывает, что у учащихся бухарских медресе восемь лет уходило на изучение этимологии и синтаксиса арабского языка. Известно, что для усвоения чужого языка — при условии, что человек не будет занят другими уроками, — ему вполне хватит двух лет. Бухарские учащиеся, если они даже имели способности и серьезно занимались, за восемь лет успевали поверхностно усвоить всего лишь правила чтения арабских слов с «забаром» или с «зером» и составлять простые предложения.

Но и эти ничтожные сведения усваивались лишь незначительной частью учащихся, да и то благодаря их занятиям с муллами-репетиторами.

Официальное же изучение арабского языка на уроках в классе в течение пяти лет по книге «Шархи Мулло-Джами» вообще не давало никаких результатов. Учащийся ежегодно в течение этих пяти лет успевал изучить лишь пять-десять строк из Джами, и то это было обращение и вступление, а бóльшая часть времени ученика за эти пять лет проходила в чтении и изучении толкований и многочисленных примечаний, имеющихся на полях рукописей Джами. Так,

один из современников Джами, мулла Исомиддин, дал толкование к книге «Кофия» и во многих местах выступил со схоластическими опровержениями рассуждений автора книги.

После него один из учеников Абдурахмана Джами, мулла Абдулгафур Лори, написал примечания на полях книги «Шархи Мулло», взял под защиту Джами и опроверг все, что было сказано муллой Исомиддином. Затем ученик Абдулгафура Лори, некий Лабиб, в свою очередь составил дополнительные примечания, объяснил сказанное Джами и Абдулгафуром и окончательно разбил муллу Исомиддина.

После них Мавлоно Шарифи Бухорои, живший в XVII в., дал к книге «Шархи Мулло» подробный комментарий и, изложив все упомянутые выше полемические комментарии, включил в них и свои возражения и попытался установить «истину» в высказываниях прежних полемистов.

Пять лет жизни тупых преподавателей и несчастных учеников протекали вот в такого рода обсуждениях и спорах по поводу комментариев на полях книги, и даже нередко все это отбрасывалось в сторону и весь часовой урок уходил на споры между учителем и учениками или между самими учениками.

Чтобы понять, в чем состоял смысл этих споров, прочтите нижеследующие разъяснения.

Во время урока учащиеся, войдя в «класс», садились в ряд на колени, поджав под себя ноги, против учителя. Если класс был тесным, а учеников было много, то они рассаживались очень плотно друг за другом. Обычно каждая группа имела одного «кори» — чтеца, который читал вслух из книги, лежавшей перед учителем.

Когда ученики рассаживались, учитель обращался к кори со словами:

— Начинайте!

Кори читал из учебника арабскую фразу, а учитель переводил ее на таджикский язык. Как только заканчивался перевод, а иногда после разъяснений учителя, возникал спор. Некоторые ученики, обратившись к преподавателю, высказывали свои сомнения, другие, не раздумывая, сразу же начинали спорить друг с другом. В таких словесных состязаниях участвовала не только незначительная часть спо-

собных учеников, но вообще все учащиеся. Самые невежественные кричали даже громче других, чтобы их тоже называли «способными» и «сообразительными». В этих спорах победу одерживал тот, кто имел громкий голос и говорил складно.

Когда спорщики уставали кричать, учитель, подняв руки кверху, знаками и голосом призывал их успокоиться:

— Тише, тише! — говорил он ученикам и смотрел на часы. Если время урока истекало или истекло, то урок на этом кончался, если же еще оставалось время, то читалась следующая фраза.

Другой, более яркий пример приведем из чтения «Хошияи Кутби». Как уже говорилось выше, «Хошияи Кутби» являлась комментарием к книге «Шамсия» и относилась к логике. Эта наука во всех культурных государствах Запада и Востока всегда входила в учебные программы и сейчас изучается в советских школах.

Однако в бухарских медресе в то время, когда там учился пишущий эти строки, — можно с уверенностью сказать, — существовало лишь слово «логика», а все споры, возникавшие при ее изучении, были целиком нелогичны.

На чтение «Хошияи Кутби» отводился целый учебный год, но он полностью уходил на споры по поводу одного лишь слова из книги по логике «Шамсия». В начале своего труда автор написал по-арабски следующее: «Я составил эту книгу из предисловия, трех очерков и заключения»; затем он добавляет: «Но очерков три».

Таким образом, автор в приведенных мною предложениях *дважды употребил слово «три».* По-видимому, одно из них является лишним. Однако целый год спорили о том, является ли оно лишним в первом предложении или во втором. При обсуждении этого вопроса сначала тратили время на чтение комментариев, затем начинались споры учеников с учителем. В конце учебного года приходили к выводу, что автор «Шамсии» был образованным человеком (Наджмиддин Умари Казвини жил в XIII в.) и не мог совершить ошибки. Но несомненно все же, что эту ошибку совершило его перо.

То, что в этих спорах учащиеся ничего не понимали, видно по такому случаю. Однажды у нас на классном уроке разгорелся спор об «определении человека». Человек определялся как «говорящее живот-

ное». Каждый выражал свое мнение по поводу слов «животное», «говорящий», «речь» и других, и все это продолжалось целых полтора часа. После урока один из учеников спросил:

— Что такое «говорящее животное»?

Учитель ответил ему:

— Поскольку после такого обсуждения, в котором ты сам участвовал, ты не понял значения этих слов, толковать с тобой бесполезно. Всякое понятие легче объяснить с помощью примера, чем прибегая к подробным описаниям; я приведу тебе самый простой пример: ты и есть «говорящее животное»!

За непонятливым учеником укрепилось это как прозвище. Покуда он жил в Бухаре, все знакомые обращались к нему со словами: «говорящее животное».

Конечно, некоторые дельные люди выходили образованными и из бухарских медресе. Но, во-первых, таких ученых было очень мало, подобно плодоносящим кустам на солончаковых землях; во-вторых, появлялись они не потому, что усваивали все предусмотренное программой медресе или занимались схоластическими спорами в классах, а совсем по другой причине. Это чаще всего были одаренные люди, которые при благоприятных условиях изучали таджикский и арабский языки, много читали и благодаря неустанному личному труду сумели расширить и обогатить свои знания. Однако большинство этих образованных людей было далеко от какой-нибудь высокой идеи. Их основная цель заключалась в том, чтобы стать мударрисом в крупном медресе или мулевалли (заведующим) доходного вакфа, затем собрать вокруг себя побольше учеников (вне зависимости от того, соображают они что-нибудь или нет), кричать вместе с ними и таким путем прославиться, чтобы получать как можно больше подношений.

Этот отрывок мы закончим словами Ахмада-махдума Дониша, мастерски описавшего печальное положение с учебным делом в те времена и низменные цели преподавателей. Для занятий достаточно «собраться вместе нескольким невеждам и, не понимая смысла, громко кричать по всякому поводу; у бедняков, стремящихся к знаниям, притеснениями и насилием вымогать большие тарелки с изюмом и

халвой, халаты и деньги, чтобы присвоить и положить все это себе в карман. А сам учитель лишался здоровья от бесконечных разговоров, зубы у него расшатаны, пищеварение расстроено и он уже не может пережевывать пищу и переваривать ее. Ночью вместо сна он видит книгу, а днем с утра до вечера слушает крики и не имеет возможности выйти за пределы медресе; у него даже не остается времени поесть, и в жару, и в холод он сидит под огромным куполом, как арестованный...» (Из книги «Редкости событий», глава о ремесле).

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАЩИМИСЯ И УЧИТЕЛЯМИ В МЕДРЕСЕ

Бухарских мударрисов можно было разделить на три группы.

К первой группе относились наиболее подготовленные и способные учащиеся, которые сами еще не закончили курса, но уже давали уроки начинающим.

Во вторую группу входили низшие преподаватели, у которых доходы от преподавания не покрывали расходов или даже совсем отсутствовали.

Третью группу составляли крупные мударрисы; это были видные муллы, которые много лет преподавали, прославились и стали мударрисами в обильных вакфами медресе. Некоторые из них имели также звание муфтиев, что еще приносило им немалый доход.

Учащиеся бухарских медресе не вносили определенной «платы за право на учение», но в ознаменование начала занятий (ифтитохона) собирали между собой деньги и расходовали их на подношение учителю.

В двух первых группах затраты на начало занятий у репетиторов были очень незначительными. По-иному обстояло дело у крупных мударрисов, которые вели классные занятия и получали свое жалованье от вакфа. На их угощенье в начале занятий часто затрачивались значительные суммы.

В то время как пуд пшеницы стоил пять тенег (семьдесят пять копеек), ученики, приступая к чтению «Шархи Мулло», собирали

с каждого от пяти до пятнадцати тенег. Когда начинали чтение книги «Акоид», вносили от пятнадцати до двадцати пяти тенег. Таким образом, сумма все время возрастала и к началу чтения «Мулло-Джалол» достигала значительных размеров — в пределах от пятидесяти до ста пятидесяти тенег, а при ее окончании — от ста до двухсот тенег. Бóльшая или меньшая сумма взноса зависела от благосостояния учащегося и его щедрости.

Начало уроков обычно падало на декабрь, когда съезжались все ученики.

Часть собранных денег тратили на изюм, халву, сахар, леденцы, лепешки и покупку халата, все это клали на подносы, каждый ученик брал свой поднос и относил учителю в классное помещение. Другую часть наличных денег завертывали в бумажку и также вручали учителю.

Иногда ученики удерживали немного денег и устраивали для себя пиршество, которое носило название «иджтимоона».

Если кори (чтец) группы происходил из бухарских мулл, то и в его честь устраивали угощение. Обычно это делалось, когда начинали чтение книг «Акоид» и «Мулло-Джалол», а также в конце всего курса обучения.

Они относили эмиру какой-нибудь подарок и получали от него разрешение на пирушку. После этого по очереди приглашали муфтиев, верховного судью, раиса столицы, некоторых лиц служилого сословия, связанных с высшим духовенством, всех видных мулл, учеников того мударриса, в группе у которого устраивалась пирушка, а также всех, живущих в данном медресе.

Конечно, расходы почти всегда были очень значительными, но большая их часть падала на кори (чтеца) группы, по требованию которого обычно и устраивалась эта пирушка.

Доходы от подношений у видных мударрисов, проводивших классные занятия, были очень значительными. Если такой мударрис давал уроки в двенадцати группах, то в среднем он получал двенадцать тысяч тенег (тысяча восемьсот рублей).

Верховный судья и бухарский раис, которые официально были заняты судебными и административными делами и ведение занятий

не входило в их обязанности, прельстившись подношениями, тоже давали уроки. Без помощи этих лиц нельзя было достичь никаких ученых степеней, и учащиеся, заботясь о своем будущем, группировались вокруг них. В последние годы обучения, при приближении завершения курса, большая мехмон-хона верховного судьи с трудом вмещала всех учащихся.

Теперь мне уже можно начать свои воспоминания.

В МЕДРЕСЕ МИР-АРАБ

В 1890 году вместе со своим старшим братом я приехал в Бухару. Репетитор брата Мулло-Абдусалом нашел для нас в медресе Мир-Араб келью, и мы оба в ней поселились.

Наша келья находилась на четвертом этаже угловой северо-западной башни, и чтобы в нее попасть, надо было подниматься по внутренней темной винтовой лестнице. Келья имела небольшое окошко, выходившее на улицу, через которое в наше жилье проникал свет и воздух. Помещение было очень тесным, но, учитывая тогдашние бухарские условия, мы были вполне довольны.

На деньги, вырученные братом от продажи осла и полученные им за свою деятельность имама, он купил немного риса, моша и масла для нашего питания, заготовил сальные свечи местного производства (в то время керосиновые лампы в Бухаре еще не применялись), древесный уголь и дрова для топлива.

Брат мой был одним из передовых учеников,[1] поэтому он нуждался в более опрятной одежде, всевозможных книгах и ему требовалось больше средств, чем другим, на подношения (ифтитохона). Он не мог истратить все деньги на еду; ему нужно было отложить некоторую сумму на дополнительные расходы и сберечь ее. Заготовленных продуктов нам не хватило бы до весны на двоих, и мне требовалось самому позаботиться о своем пропитании. И выход нашелся.

[1] По выражению учащихся бухарских медресе, «передовым учеником» считался не тот, кто лучше понимал или усваивал, а тот, кто по программе шел впереди. Например, изучающий «Акоид» считался «более передовым», чем изучающий «Шархи Мулло», даже в том случае, когда первый понимал меньше, чем второй. (*Примеч. автора*).

Мулло-Абдусалом, который тоже настаивал на моем обучении в Бухаре, посоветовал мне стать поваром у его сотрапезников.

В бухарских медресе существовал такой обычай: более состоятельные ученики объединялись по двое, по трое, а иногда даже по четыре человека и вместе питались; такую группу называли «сотрапезниками». У Мулло-Абдусалома сотрапезниками были Мулло-Косим из Вардонзи и Кори-бек из Гиждувана. Все трое происходили из состоятельных семей и учились тоже вместе. Но по успехам их нельзя было считать равными. Кори-бек, обладавший некоторыми способностями, выучил, подобно попугаю, на память Коран и мог читать его, поэтому, кроме денег, получаемых от отца, имел также значительные доходы во время рамазана. Однако по-таджикски он едва овладел грамотой, писать тоже не умел, а по-арабски совсем ничего не понимал. Мулло-Косим был сыном одного из купцов Вардонзи, торговавшего с русскими городами Казалинском и Ак-Мечетью. Арабским языком он совсем не владел, по-таджикски писал с трудом, и написанное им, кроме него самого, никто прочесть не мог. По-видимому, грамоте он научился только для того, чтобы вести книги отца. Мулло-Абдусалом, сын крестьянина из деревни Махаллан-Боло Шофуркомского тюменя, был грамотен, хорошо говорил по-таджикски и по-арабски, имел красивый почерк и отлично усвоил все пройденное в медресе, поэтому хоть он еще и не кончил курса, но занимался с учениками.

Под своим руководством брат заставил меня два-три раза сварить плов, обучил меня этому делу и отдал в услужение сотрапезникам Мулло-Абдусалома. Плов готовился в келье каждого из них по очереди. Они обедали обычно в час дня, в то время, когда были свободны от занятий.

Ежедневно в одиннадцать часов утра я являлся в келью того, чья наступала очередь. Хозяин кельи давал мне мясо и морковь (обычно рис и сало уже были заранее приготовлены), а сам уходил на занятия. На четырех человек (четвертым был я сам) мне приходилось брать четыре пиалы риса, полнимчи (двести пятьдесят граммов) мяса, морковь, лук и различные специи, из всего этого я варил плов. К часу дня обед был готов.

Когда приходили сотрапезники, я выкладывал плов на блюдо и все мы, усевшись кружком, ели из одного блюда. После обеда я мыл посуду, колол дрова для следующего дня и возвращался в келью своего брата.

Накануне свободных от занятий дней (среда, четверг, пятница) я обычно готовил плов по вечерам. В такие дни мои хозяева устраивали вечеринки и ужинали поздно. Я тоже был вынужден по вечерам находиться в их распоряжении, заваривать чай и готовить плов тогда, когда им заблагорассудится.

Обычно вечеринки бывали очень скучными: чаще всего собравшиеся говорили о вакфах, об ученых степенях, о том, правильно или неправильно то или иное лицо достигло высокого положения. Все это не приносило мне никакой пользы, куда больше мне нравились беседы Усто-амака и Туты-пошшо.

В течение трех дней отдыха я по очереди стирал им белье и всегда с благодарностью вспоминал учительницу школы девочек, которая научила меня выполнять домашние работы. Она говорила: «Это тебе пригодится в медресе». Об этом рассказано в повести «Старая школа».

* *
*

В день я бывал на трех уроках, два из них велись по книге «Кофия» и были посвящены арабской грамматике. Согласно обычаям, существовавшим в то время в бухарских медресе, «Кофию» изучали не с самого начала, а несколько отступя — с более легкого места, а начало, которое считалось трудным, читали после всего.

Однако такой «порядок» был нелогичным и лишенным последовательности. В начале книги давалось объяснение понятия «слово», его отдельных частей. Далее же подробно говорилось об имени. Затем описывались четыре группы имен, а в двух последних главах шла речь о «глаголе» и «частицах».

По обычаям бухарских медресе ученик, не понимая еще, что такое «слово», был вынужден приступать сразу к изучению отдельных его частей. Как бы там ни было, я также приобщился к таким «методам»

преподавания и начал изучать с Мулло-Абдусаломом, у которого был поваром, одну из глав в середине книги, а другую главу с Мулло-Бозором, земляком Мулло-Абдусалома, который жил в медресе Бадалбек.

Мулло-Бозор только что кончил курс, но еще не получил место мударриса и давал уроки в своей келье. Мулло-Абдусалом, как уже было сказано выше, одновременно учился и давал уроки; освободившись от своих уроков, он занимался с учениками.

Четверо моих и брата соучеников были земляками наших репетиторов и даже происходили из одной с ними деревни. Кроме того, у репетиторов учились еще два гиждуванца.

По совету мутевалли медресе я начал уроки по книге «Мухтасари Викоя» у Мулло-Авеза из Ходжента. Действительно, Мулло-Авез был очень знающим человеком и объяснял уроки лучше и понятнее двух других моих учителей.

Мулло-Авез тоже совсем недавно кончил курс, но еще не стал мударрисом. Он был бедным муллой и жил в медресе Мир-Араб в темной келье с одной лишь дверью. Эту келью нашел ему мутевалли медресе; здесь он и давал уроки. Келья его была такая тесная, что там одновременно могли сидеть и учиться лишь два ученика. Поэтому он был вынужден один и тот же урок повторять по многу раз группам в два человека.

Сначала вместе со мной у него учился один гиждуванец, потом учитель присоединил ко мне своего племянника, который вынужден был по бедности работать подмастерьем у переплетчика, а гиждуванца перевел в другую группу. Племянник его оказался малограмотным и тупым парнем, и учитель велел мне, чтобы я ежедневно после урока «беседовал» с ним в течение получаса под входной аркой, т. е. попросту учил бы его. Мне это было трудно; он ничего не понимал и не хотел понимать и только огорчал меня.

Мой прежний сотоварищ — гиждуванец — был способней и грамотней его. И главное, мне не нужно было заниматься с ним. В бухарских медресе не существовало обычая задавать уроки. Но учителя требовали, чтобы все пройденное на уроках мы переводили на таджикский язык и повторяли до тех пор, пока не заучим наизусть.

Они говорили также, что учить уроки, «сидя у сандали́», бесполезно. Повторение только тогда может быть успешным, когда ученик будет сидеть в холоде, в помещении без крыши, испытывая трудности. Это путь к овладению знаниями, и чем больше мучений и тягот на этом пути, тем больше и пользы.

Согласно этому правилу, моей главной обязанностью в те времена было повторять уроки подобно попугаю. Но сколько бы ни убеждали нас учителя, что помещение без кровли над головой — самое лучшее для повторения уроков, в холодные вечера каждый учащийся старался занять себе место под аркой входа, имевшей крышу. Однако далеко не каждый мог туда попасть; места там захватывали более взрослые и сильные ученики, а на нашу долю, долю малолетних и новичков, доставался открытый двор перед входом.

Каждый вечер после ужина я вместе со своими ровесниками устраивался во дворе и громким голосом повторял урок. Даже и в те вечера, когда шел снег, мы не бросали своих занятий на открытом воздухе; смахнув рукавом или полой халата снег, мы садились на колени, поджав под себя ноги или скрестив их, и начинали зубрить. Мне, не имевшему подходящей одежды, приходилось туго.

В те времена ученики не носили ни кафтанов, ни брюк. Когда нужно было заниматься под открытым небом, все состоятельные ученики надевали на себя несколько ватных халатов и ичиги с шерстяными обмотками. Я же не имел ичигов. Мне приходилось носить на босу ногу кожаные калоши местного шитья, которые всегда были сырыми, так как пропускали воду. Отправляясь заниматься во двор медресе или выходя на улицу, я поверх рубашки и штанов надевал лишь ватный халат. Несмотря на это, я тогда не мерз и даже ни разу не схватил насморк. Но меня очень мучило отсутствие ичигов, подошвы ног у меня потрескались и стали похожи на землю, по которой прошлись бороной. В те дни, когда шел дождь или снег, если мне приходилось выходить из помещения медресе на улицу, мои кожаные калоши сразу же наполнялись водой и из трещин на ногах, словно их поранили ножом, сочилась кровь.

Единственным моим лекарством было сало от местных свечей: я зажигал свечу, наклонял ее, расплавленное сало капало на мои раны и тотчас же успокаивало боль.

Конечно, такая жизнь была очень тяжелой, пожалуй даже невыносимой, но я стойко терпел все эти лишения, лелея мечту стать грамотным.

* *
*

В медресе Мир-Араб, в котором было более трехсот учеников и мулл, закончивших курс обучения, я не встречал ни одного человека, который бы любил стихи или интересовался литературой. Это огорчало меня еще сильнее, чем отсутствие обуви.

Из соучеников моего брата были двое — Мулло-Хомид из Гиждувана и Зайниддин-ходжа из Мир-Кулола, — которые хорошо исполняли газели. Но они выучили газели, не вникая в их смысл, и пели на различные мотивы. Поэтому их нельзя было считать любителями поэзии. В кельях же моих хозяев, кроме учебных книг и книг со славословиями шейхам, мне не приходилось видеть ничего другого. У них нельзя было даже найти ни одной газели.

В нашем медресе жил тогда некий Мулло-Абдулхаким из Куляба, который торговал вразнос книгами. В свободные от занятий дни, когда в Бухаре обычно шла самая оживленная торговля, он засовывал за пазуху связку книг и отправлялся на базар. Там он сбывал их любителям, а сам старался выгодно купить другие вынесенные на продажу книги. Таких, как он, торговцев вразнос, без лавок, на книжном базаре в Бухаре было много.

Однажды вечером Мулло-Абдулхаким пришел в медресе с объемистой пачкой книг за пазухой. Он остановился под входной аркой и стал показывать ученикам и муллам покупки, только что сделанные им на базаре. Беря в руки одну книгу за другой, он расхваливал их, как опытный торговец: называл имена авторов или известных переписчиков прошлого, сообщал, у какого муллы была эта книга и какие тот делал важные пометки и пояснения на полях, хвалил ясность и красоту почерка переписчика и в конце концов предлагал купить книгу.

Я просматривал его книги в надежде наткнуться на какой-нибудь баяз (сборник стихов) или диван. Но все это были учебные пособия, написанные плохим почерком, на полях которых красовались неразборчиво и небрежно набросанные примечания, напоминавшие цепочки мелких муравьев.

В это время из одного учебника неожиданно выпала книжечка стихов. По обложке книжки было видно, что она напечатана в Индии и называется «Махмуд и Аёз».

— За сколько вы купили эту книжечку? — спросил я у муллы.

— Это пустая книга. Я купил ее случайно среди других нужных книг, так как владелец сказал, что не продает их отдельно.

Мулло-Абдулхаким показал мне книгу, к которой она была дана в виде *«нагрузки»*, и продолжал:

— Вот за них вместе я уплатил десять тенег. Дай двенадцать тенег и возьми эту книгу. Ту книжечку я отдам тебе даром.

То, что он предлагал, было суперкомментарием Мулло-Абдулгафура Лори к книге «Шархи Мулло» Джами. Из уважения к продавцу я перелистал несколько страниц и сказал ему:

— Это хорошая книга, но она мне сейчас не нужна. А поскольку это книжечка пустая, вот ее-то вы мне и продайте.

— Такую книгу очень трудно достать, — твердил свое мулла, показывая мне на полях комментарии Мулло-Абдулгафура, — это редкость. Когда тебе понадобится, ты ее нигде не найдешь. Хоть теперь она тебе и не нужна, но когда ты станешь изучать «Шархи Мулло», она тебе понадобится, послушайся моего совета, купи эту книгу, а ту книжонку возьми даром. Ведь в ней сплошная бессмыслица, — он показал на книжечку со стихами, — ее не стоит покупать.

— У меня нет денег на большую книгу. Если вы отдадите дешево, то я куплю эту книжонку.

Потеряв надежду, продавец ответил:

— Ну хорошо, дай одну теньгу и бери!

— Сейчас принесу деньги.

Я бросился к себе в келью и от радости и спешки не заметил даже, как взбежал по двум маршам извилистой лестницы и очутился в нашем мрачном жилье. Там у меня из пяти привезенных

из деревни тенег сохранилось еще три; взяв одну из них, я опять торопливо спустился по лестнице, добежал до продавца, вручил ему деньги и стал обладателем книжечки.

Тот день в медресе Мир-Араб стал для меня днем нового года — Наврузом — и вопреки ожиданиям принес мне новое счастье. Взяв книжечку, я опять взобрался к себе в келью и, поспешно перелистывая страницы, просмотрел ее от начала до конца; книжечка казалась мне тогда равной целому миру. Если бы продавец знал, какой важной казалась мне она, то наверное не продал бы за все имевшиеся у меня в наличности деньги. Это была книга одного из забытых талантливых поэтов *индийской школы*, который, как в «игре в бейты», на каждую букву арабского алфавита сочинил газель. Та буква, с которой начинался каждый стих двустишья (мисра) газели, повторялась в конце второго стиха двустишья этой же газели. Например, газель, сочиненная поэтом *на букву арабского алфавита «с» с тремя точками*, начиналась со следующего бейта:

Увы, не остался он верен своим обещаньям, друзья,
помогите!
Беда исторгает из сердца стенанье, в отчаянье я, помогите!

Особая ценность этой книжечки для меня заключалась в том, что если бы я выучил все содержащиеся в ней газели, то никто не смог бы победить меня в «игре в бейты».

* *
*

Постепенно я познакомился со всеми обитателями медресе Мир-Араб. Многие жившие там пожилые люди давным-давно окончили курс, но, как они сами говорили, «из-за отсутствия счастья не смогли достичь каких-либо научных степеней», другие были «паломниками»; каждый день по очереди они ходили на какой-нибудь мазар, совершали там обряд поклонения и возвращались обратно и за эту свою «службу» получали от государства ежемесячную пенсию в тридцать тенег.

«Паломников» к эмиру бухарскому было тридцать человек и некоторые из них тоже жили в медресе Мир-Араб. Каждое утро во время послеполуденного намаза они приходили в эмирскую цитадель и там, просидев с час в мехмон-хоне «Рахим-хони» (мехмон-хона, построенная основателем мангытской династии Рахим-ханом), читали молитву в честь пророка и возвращались обратно. Они также каждый месяц получали от государства по тридцать тенег. Кроме того, ежедневно им выдавали одну лепешку и горсть черного изюма.

Таких паломников к эмиру в Бухаре было большое количество. Существовало множество групп по тридцать человек. Одни группы ходили в эмирскую цитадель ежедневно, другие — раз в неделю по четвергам, третьи — раз в неделю по понедельникам. Здесь речь пойдет лишь о тех, которые ходили на молитву ежедневно и проживали в медресе Мир-Араб.

Это были бессемейные, не имевшие своего дома люди, жили они в своих собственных, купленных за деньги кельях. Главным источником существования для них был доход от вакфа, приходившийся на келью, и эмирское жалованье. Некоторые из них, несмотря на то, что этих средств не могло хватить даже одному человеку, не тратили свой доход, а откладывали его «про черный день». Не удовлетворяясь накоплениями, они занимались также ростовщичеством и давали в долг под проценты деньги нуждающимся учащимся, мелким лавочникам и разносчикам. Когда один из них умер, то у него в келье обнаружили десять тысяч тенег наличными деньгами и другие ценности. Так как у этого человека не было наследников, то верховный судья все его деньги и вещи конфисковал в доход государства, а на похороны выделил лишь двадцать тенег. Этот несчастный скупец при жизни не имел даже сносной одежды и ни разу не поел досыта, а когда умер, то его похоронили в нищенском саване, купленном на пожертвования мулл.

Но многие из этих «бесталанных» пожилых обитателей медресе целиком тратили доходы с вакфа, а если они имели какую-нибудь должность, то тратили и жалованье, а жили все же подобно бродячим дервишам. Цели этих людей были мне непонятны: для чего они родились на свет и для чего живут?!

Часть окружавших нас пожилых людей вела семейную жизнь. Они имели свои дома, были имамами в каком-нибудь квартале или мударрисами в медресе. Но так как у них были собственные кельи, они не порывали связи с медресе. В свободные от занятий дни после полудня они приходили в медресе в гости к своим «квартирантам», ели у них плов и таким образом, кроме доходов с вакфа, получали еще дополнительное удовольствие за сдачу в наем своей кельи. Потом они садились под входной аркой со своими сверстниками, сплетничали и «облегчали» скуку, накопившуюся в их сердцах от сидения дома.

Остальные обитатели медресе были учащимися. В большинстве своем они не имели никаких средств к существованию, всякими способами добывали для себя кельи и временно в них проживали. Говоря яснее, это были бездомные учащиеся, которые в продолжение месяца или года находили себе пристанище в одном месте, а на следующий месяц или год вынуждены были перекочевывать в другое, такое же случайное жилье. По мнению пожилых мулл, о которых говорилось выше, они были самыми «низкими людьми».

Некоторые ученики имели в медресе собственные кельи; они считались уважаемыми и полноправными обитателями медресе.

МАХДУМ-БЫК И ПИРАК

В медресе Мир-Араб жили два брата, особенно привлекавшие мое внимание; сначала я с ними был знаком издали, а потом сошелся поближе. Старшего из братьев звали Ма'сум-ходжа, но прозвали его «Махдум-Бык». Верхняя часть туловища у него была длинной, но он отличался такой толщиной, что казался ниже своего роста. Это был смуглый до черноты человек с большими черными сверкающими глазами. Круглое и полное лицо его почти сплошь заросло черной жесткой бородой. Широкие густые брови срослись на переносице, а длинные ресницы загибались на концах; руки до локтей и ноги до колен, чаще всего голые, сплошь были покрыты вьющимися волосами.

Этот очень страшный по описанию человек был на самом деле мягким, открытым, добрым малым и с первого же взгляда завоевы-

вал всеобщую симпатию. С его уст никогда не сходила улыбка, а глаза с любовью взирали на всех.

Он всегда ласково здоровался со всеми, особенно с учениками, временно проживавшими в чужих кельях, и очень внимательно осведомлялся об их здоровье. Если какой-нибудь ученик заболевал, он всегда ухаживал за больным, приготовлял для него чай, кипятил воду, подметал келью и стирал для него белье.

Он не носил ичигов и не повязывал голову чалмой. В теплую погоду он ходил в одной рубашке и штанах, а зимой сверху надевал легкий халат без ваты. Летом чаще всего оставался с непокрытой головой, а зимой надевал только шапку.

Хотя этому молодому человеку было всего двадцать пять лет, но по бороде, обилию волос, плотности фигуры ему можно было дать более тридцати. Что же касается успехов в занятиях, то он казался тринадцати-четырнадцатилетнем ребенком. По его признанию, он читал еще только «Кофию» и мог считаться моим «соучеником».

Мне не нравилось прозвище «Бык», которое ему дали бухарцы. По внешности он, правда, напоминал быка, но его поведение, поступки, обращение с людьми свидетельствовали, что это был очень хороший, настоящий человек.

Брата его звали Пирак. Родители дали ему имя Пир, но так как он был на много младше своего взрослого брата, то все называли его «Пирак». Ему уже исполнилось пятнадцать лет, но на вид казалось не больше десяти. Это был мальчик маленького роста, узколицый, худой, с тусклыми глазами и редкими ресницами. На лице его проступала нездоровая желтизна, и, глядя на него, можно было подумать, что он недавно поднялся после тяжелой болезни.

По словам Пирака, он учился вместе со своим старшим братом и читал «Кофию». Однако я никогда не видел, чтобы они выходили во двор медресе и повторяли уроки, подобно нам, «любителям науки». Я не знал, у какого мударриса в нашем медресе или в другом месте занимаются братья. Пирак уверял меня, что они учатся у своего отца.

Отцом этих юношей был восьмидесятилетний мулла, живший с женой и детьми в собственном доме к югу от медресе Мир-Араб.

Родная мать братьев умерла, когда их отцу было около семидесяти лет. Он женился вторично. От этой молодой жены у него родилось три сына, из которых старшему исполнилось десять лет, а самому младшему — один год. Врачи утверждают, что человек после семидесяти лет не может больше иметь детей, однако последний ребенок в семье у них родился, когда отцу исполнилось семьдесят девять лет.

Старик числился мударрисом в каком-то медресе, но уроков не давал. Он получал небольшой доход с вакфа, считал его как бы своей пенсией и ничего не делал. Кроме того, у него были две кельи в медресе Мир-Араб, которые он отдал своим старшим сыновьям, выделив их из семьи. Братья жили в этих двух кельях на свою долю доходов с вакфа.

Знакомство мое с братьями произошло при следующих обстоятельствах. По установившемуся издавна обычаю, бóльшая часть обитателей медресе в предвечерние часы выходила подышать воздухом. Более пожилые сидели под входной аркой, младшие же располагались во дворе. Это называлось «отдых перед вечером» или «время перед вечером».

Однажды мне пришлось сидеть во дворе рядом с Пираком. Я постоянно искал людей, любящих стихи, и заговорил об этом с соседом.

— Ты знаешь какие-нибудь бейты или газели? — спросил я его.

— А если знаю, что тогда? — задал он вопрос в свою очередь.

— Давай тогда поиграем в бейты.

— Нет, я никаких бейтов не знаю, — ответил он и добавил:

— Иногда к нам в келью приходят певцы Мулло-Хомид и Зайниддин-ходжа, они поют, но я не запомнил ни одной газели. А разве ты знаешь стихи?

— Да, я помню несколько бейтов.

Этот ответ вызвал у него на лице краску зависти и стыда. Подобно трех-четырехлетним детям, которые хвастают друг перед другом своими игрушками, он гордо заявил:

— А я знаю зато одну вещь, которую ты не знаешь!

— А что это такое? — спросил я удивленно.

Было весьма вероятно, что он знал не одну, а множество вещей, которых не знал я. Но откуда ему было известно о моем незнании? Вот что меня удивило.

— Я знаю русский язык! — сказал он с прежней гордостью.

Я не поверил ему, а про себя подумал: «В медресе, где ученики не могут выучиться даже родному языку, а сам он не запомнил ни одного стиха наизусть, как он мог усвоить русский язык?». Все же я сказал ему:

— Ну-ка, скажи что-нибудь по-русски, я послушаю, что это за язык.

— Час! — сказал он.

— А что ты еще знаешь?

— Я знаю еще несколько слов, но сейчас забыл, они записаны у меня на бумажке. Если придешь когда-нибудь ко мне в келью, я прочту тебе.

В тот же вечер, после ужина, я зашел к нему. Его келья находилась в юго-западном углу во внутренней части медресе и была такой тесной, что в ней с трудом могли поместиться два человека. Посредине кельи стояло сандали́, с одной стороны у порога, примыкая к стене, шла дымовая глиняная труба и находился очаг для приготовления пищи, возле которого в яме лежали дрова. Против входа виднелось углубление, куда складывали уголь. Палас, покрывавший пол, был простой, но чистый, вообще эта келья по условиям бухарских медресе могла считаться вполне достаточной для одного человека.

Пирак провел меня в келью, посадил против себя у сандали́ и без всяких предисловий достал из-под ватной стеганой подстилки, на которой сидел, какую-то бумажку. На бумажке простым карандашом были выведены две строчки. Форма букв говорила о том, что запись сделана арабским алфавитом, но сложить эти буквы в слова и прочесть их было совсем невозможно.

Пирак протянул мне бумажку:

— Читай, учи русский язык!

— Здесь ничего нельзя прочесть. Кто это писал? — спросил я, после того, как просмотрел написанное.

На бледном лице Пирака проступила краска.

— Это я сам записал, — ответил он и добавил:

— Я не умею писать и никогда не упражнялся в письме, а здесь просто перерисовал с чужого почерка.

Я протянул ему бумажку:

— Ну-ка, прочти сам!

Водя указательным пальцем левой руки по буквам, он облокотился другой рукой на сандали́, подпер голову и, внимательно вглядываясь в написанное, стал читать:

— Вот это «ледина»... вот это «часы», потом «хилеб» — значит «лепешка», — чтец умолк.

— Это все? — спросил я.

— Да, все!

— Если так, то ты, не добавляя от себя слов «вот это», прочти одно за другим, я послушаю и выучу.

Пирак дважды повторил мне русские слова, опуская «вот это», но зато добавлял всякий раз «потом», «затем» и «еще». После моих упреков и настояний он, раскачиваясь, наподобие того, как читали в начальных школах, произнес то, что было нужно:

— Ледина — ях, часы — соат... хилеб — нон.

Я на слух выучил эти слова и, словно читая таджикские стихи, быстро проговорил:

— Ледина — ях, часы — соат, хилеб — нон.

На лице моего собеседника появилось радостное выражение, и он в волнении воскликнул:

— Да ведь это совсем как «Нисоб-ус-Сибьён».[1]

— Разве ты знаешь «Нисоб-ус-Сибьён?» — спросил я у него.

---

[1] В Бухаре существовала книжка под названием «Нисоб-ус-Сибьён», в которой арабские слова были переведены стихами на таджикский язык. В книге имелось несколько стихотворных отрывков в форме месневи, и каждый отрывок был написан другим стихотворным размером. В начале отрывков название размера тоже пояснялось в стихах. Эта книга считалась очень полезной для новичков, но не была в употреблении ни в начальных школах, ни в медресе. Некоторые хорошо образованные муллы, знающие поэзию, сами учили по ней своих детей. (*Примеч. автора*).

— Когда я был маленьким, отец научил меня нескольким бейтам из этой книги. Я помню еще до сих пор одну строку:

* «Само — осмон, арзу габро — замин».*

Затем он продолжал:

— Давай сделаем так: я буду находить русские слова и переводить их на таджикский язык, а ты составишь русский «Нисоб-ус-Сибьён»!

— Ладно, — согласился я, — а где ты будешь искать русские слова?

— У нас в медресе есть такой Мулло-Туроб, он все время ездит в Самарканд. Там, оказывается, живет много русских. Он записал себе в тетрадку несколько русских слов, а я у него списал. Когда Мулло-Туроб опять туда поедет, я попрошу, чтобы он записал на этот раз побольше новых слов с объяснениями. Я их спишу и дам тебе.

— Очень хорошо! — одобрил я.

Помолчав и немного подумав, Пирак снова заговорил.

— Ты смотри только, никому не проговорись, что я записываю русские слова. Муллы очень плохие люди, если они узнают об этом, они могут сделать нам много неприятностей.

— Почему? — удивился я.

— Об этом ты спроси у них самих. Я знаю только, что в прошлом году они очень досадили Мулло-Туробу.

— Как?

— Наши муллы откуда-то услышали, что тот привез из Самарканда русские слова. Они начали говорить, будто Мулло-Туроб стал неверным и его надо изгнать из медресе. Но поскольку он живет в своей собственной келье, его не смогли выгнать. Тогда несколько почтенных обитателей медресе, взяв с собой моего отца, пошли к верховному судье и потребовали изгнания Мулло-Туроба из медресе. Но верховный судья с ними не согласился и ответил: «Человек не станет неверным от того, что запишет русские слова». Он добавил также, что русские являются друзьями его величества (эмира) и если его величество услышит, по какой причине Мулло-Туроба хотят изгнать из своей кельи, то очень огорчится. «Не занимайтесь

подобными интригами», — посоветовал им верховный судья. Я все это слышал от своего отца. Мой старший брат был знаком с Мулло-Туробом, но отец наказал ему впредь с ним не общаться.

Я понял, что невзрачная внешность и болезненное лицо не помешали Пираку стать любознательным мальчиком.

— Читай понемногу стихи, они тоже понадобятся, — посоветовал я ему.

— Певцы Мулло-Хомид и Зайниддин-ходжа часто приходят к брату в келью и поют. Я попрошу их, и они меня тоже научат петь газели.

— Это совсем другое дело. Таким путем нельзя стать знатоком поэзии. Лучше всего, если ты станешь читать стихи из какого-нибудь сборника или дивана.

— У нас нет сборников стихов. Когда я учился в школе, отец давал мне диван Ходжа-Хафиза, а теперь эта книга у моего младшего брата.

— Я принесу тебе стихи, ты почитай, — пообещал я.

Он согласился. В тот вечер наш разговор с Пираком на этом и кончился.

На следующий вечер после ужина я принес Пираку в келью книжечку «Махмуд и Аёз». Он взял ее, перелистал от начала до конца и вернул мне назад.

— Не могу ее читать, я не понимаю этого почерка. Если бы был мой собственный «Ходжа-Хафиз», может быть я и смог бы прочесть, — сказал он печально.

Я понял, что, подобно большинству школьников того времени, он научился в школе читать только один привычный список книги. По другой книге он не мог прочесть ни одного слова. Но я не терял надежды, что он может стать грамотным, и в утешение ему сказал:

— Я покажу тебе, как ее прочесть, через два-три дня ты сам сможешь читать.

Я говорил с ним очень осторожно и не сказал «я научу тебя», а только — «покажу тебе, как прочесть». Если бы я выдал себя за учителя, то ничего не было бы удивительного, если бы он обиделся и вообще отказался учиться.

— Ну-ка, покажи, как надо читать, — попросил он, заинтересовавшись.

В тот же вечер я громко прочел четыре начальных бейта из одной газели. Потом я заставил его повторить это. Когда он усвоил все выражения, я показал ему их по книге.

После этого каждый свободный вечер, когда мне удавалось пораньше закончить дела у своих хозяев, я приходил в келью к Пираку и мы занимались с ним по книжечке «Махмуд и Аёз».

Спустя два месяца он научился читать эту книжку, постепенно стал разбирать и другие четкие почерки. После этого я заставил его списывать из моей книжки. Когда рука его привыкла к перу, он уже сам начал писать. Таким образом, к весне хоть и не полностью, но он все же овладел грамотой.

К этому времени Мулло-Туроб еще раз съездил в Самарканд. Опасаясь нападок со стороны мулл, он больше не записывал русских слов, но все же по просьбе Пирака привез еще три русских слова с переводами. Это были: «снег — барф, дождь — борон, душа — джон».

Пирак списал новые слова у Мулло-Туроба и попросил меня, чтобы я зарифмовал их и присоединил к прежнему «Нисоб-ус-Сибьён». На этот раз я тоже смог разобрать почерк Пирака и стал думать, как лучше переложить эти слова на стихи. Вскоре без особых затруднений получилась стихотворная строчка. Но пришлось после слова «барф» *прибавить «у»* и переставить местами «дождь — борон», «душа — джон». Я вписал этот стих в тетрадку Пирака и прочел ему:

«Снег — барфу, душа — джон, дождь — борон».

Пирак попросил меня новую строку для «Нисоб-ус-Сибьёна» приписать к первой и посмотреть, получилось ли складно.

Я написал обе строки рядом и прочел:

«Ледина — ях, часы — соат, хилеб — нон,
«Снег — барфу, душа — джон, дождь — борон».

Лишь только я кончил читать, как Пирака охватило страшное волнение, он подпрыгнул, словно искра от горящего можжевель-

ника, вскочил с места и так заплясал, что я удивился. Он трепетал всем телом под аккомпанемент напеваемой им песни и, переплетя пальцы, ударял ими в такт движениям тела.

Подобный танец я видел только один раз в жизни — в Соктари: на туй к одному из наших соседей пришли музыканты из Гиждувана, среди них был танцор Тоджи-хон. Он танцевал точно так же, и после каждого танца зрители ему кричали:

— Князем будь! Живи долго! Молодец!

Но ведь Тоджи-хон был профессиональным танцором и танцевал под аккомпанемент бубна, на котором играл опытный музыкант. В танце Пирака удивительным было то, что он исполнял его не хуже, чем Тоджи-хон, но без всякого аккомпанемента и руководителя.

Кончив танцевать, Пирак подошел ко мне и торжественно поздравил с удачным стихом для «Нисоб-ус-Сибьён», а я похвалил его редкостный танец и спросил, где он ему научился.

— В нашем медресе живет певец Мулло-Хомид, он из твоего тюменя, из Гиждувана. Если Мулло-Хомид не бывает в гостях или еще где-нибудь, то заходит в свободные от занятий вечера к моему брату вместе со своим соучеником Зайниддин-ходжой. Мулло-Хомид очень хороший певец и умеет использовать поднос как бубен. В конце каждой песни он в ритме «уфара» аккомпанирует на подносе, а для того, чтобы подогреть пирушку, нужен танцор. Вот он и научил меня танцам.

Помолчав немного, Пирак продолжал:

— Как только Мулло-Хомид появится в келье у брата, я тебя извещу, ты приходи, послушаешь его пение и посмотришь, как я танцую.

Я согласился.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ БОГАТЫРЬ

Однажды во вторник днем Пирак сообщил, что вечером у брата в келье состоится пение газелей и просил меня быть у них после окончания последнего намаза «хуфтан».

— Сегодня свободный от занятий вечер и мне нужно варить плов у своего учителя Мулло-Абдусалома, — сказал я, — но как

только освобожусь от работы, попрошу у него разрешения и приду.

Как было обещано, часов в десять вечера я пришел в келью Махдума-Быка; это оказалось высокое сводчатое помещение, раза в три более обширное, чем келья его брата. Хотя и эта келья имела только одну дверь, а умывальник и очаг находились у самого порога, размеры ее и ширина той части, которая примыкала ко входу, были такими, что позволяли без особого труда заниматься приготовлением пищи и пользоваться умывальником. Кроме того, келья имела антресоли, где хранились съестные припасы, лежали дрова и уголь, а также вся домашняя утварь.

В передней части кельи стояло сандали́, возле него с почетной стороны сидел певец Мулло-Хомид, а по бокам — Зайниддин-ходжа и Пирак. Но Махдума-Быка там не было. Когда я вошел, Пирак встал со своего места и посадил туда меня, а сам сел спиной к двери.

После того как все выпили по пиале чая, началось пение. Голос у Мулло-Хомида был густой, резкий, подобно сурнаю. Голос Зайниддин-ходжи тоже был густой, но не такой звонкий, он не мог брать высоких нот. Кончив петь, оба певца взяли в руки подносики и стали выбивать на них такт в ритме «уфара», а Пирак пошел танцевать. Танец его под опытным руководством Мулло-Хомида был еще искуснее и редкостней.

После завершения первой части пирушки, во время чаепития, я спросил Пирака, почему нет его брата.

— Мой брат дружит с Асад-джон-махдумом, зятем младшего брата верховного судьи. Сегодня его приятель пошел в квартал Мир-Дустум в гости к своему родственнику. Чтобы одному не возвращаться ночью домой и не подвергнуться нападению воров или хулиганов, он взял с собой моего брата. Брат обещал скоро вернуться, не понимаю, почему его нет до сих пор.

Пирак выпил находившуюся у него в руках пиалу чая, снова наполнил ее крепким чаем, подал Мулло-Хомиду и со смущенной улыбкой продолжал:

— Мой брат силен «как бык», поэтому его и прозвали «Махдум-Бык». Если ему где-нибудь попадется в руки вор или хулиган, то он

не отпустит его до тех пор, пока тот не попросит пощады. Вот почему Асад-джон-махдум, когда отправляется в какое-нибудь опасное место, всегда берет с собой брата!

Мулло-Хомид присоединился к нашему разговору:

— Мы, гидждуванцы, — сказал он, — умеем и пировать, и воевать. Поэтому я и люблю Махдума-Быка, что он смелый человек, и как только выберу свободное время, прихожу к нему, спою что-нибудь и развеселю его. Как жаль, что его нет до сих пор.

Певцы спели еще несколько газелей, потом стали аккомпанировать на подносах в ритме «уфара», а Пирак очень хорошо танцевал. Но Махдума-Быка все не было.

Посмотрев на часы, Мулло-Хомид сказал Пираку:

— В желудках у нас тоже играет музыка. Скорей приготовь ужин, поедим и пойдем, пора спать.

Пирак приготовил и роздал плов. После того как поели и убрали скатерть, явился Махдум-Бык. Глаза его метали искры, подобно пылающим факелам. Вместо своей обычной улыбки, он громко хохотал. Я подумал, что он сошел с ума, и про себя пожалел его.

Он же с безумным смехом, но вполне разумно заговорил, попросил извинения у своих друзей и, взвалив всю вину за опоздание на хозяина дома, где только что был, и на его гостей, стал рассказывать:

— Эти сынки казиев уже несколько раз, желая меня испытать, спаивали вином. Сегодня тоже началось испытание. Но сколько ни поили меня вином, я не пьянел и не падал, тогда, желая во что бы то ни стало свалить меня с ног, они стали давать мне банг. Я раньше никогда не употреблял этого наркотика. Но, несмотря на это, с мыслями о том, что «я не дам себя посрамить», я один выкурил две трубки банга. Другие же, хоть и выпили меньше меня и сделали всего одну-две затяжки, — все повалились на пол пьяные и одурманенные. Что касается Асад-джон-махдума, то он еще до того, как затянулся бангом, уже свалился. Я же хоть и не опьянел, но чувствовал сильную боль в сердце. Тогда я попросил у слуги дома какое-нибудь лекарство. Он сказал, что лекарством является сушеный овечий сыр, но не смог найти сыра. Тогда я закричал: «Мой дорогой братишка найдет для меня сыр», — и побежал к себе домой.

Все это Махдум-Бык говорил, громко смеясь. Когда же кончил свой рассказ, то горько заплакал, прижал брата к груди и, рыдая, стал его умолять:

— Дорогой братик, вся моя надежда на тебя. После смерти нашей матери мы остались с тобой одни на всем белом свете. Если ты не разыщешь сушеного сыра и не облегчишь мою головную боль, то наша покойная мать тебе не простит этого!

Показав на часы, Пирак стал объяснять ему, что теперь два часа пополуночи и в такое время невозможно найти сыр. Но сколько он ни толковал об этом, какие только ни приводил убедительные доводы, тот ничего не хотел слушать, все сильнее настаивал и все громче плакал.

Наконец, Пирак сказал:

— Потерпи немного, у нас самих было немного сыра, я совсем забыл. Сейчас я достану с антресолей.

— Молодец, братик, вот это другое дело! Я еще не поел сыра, а головная боль уже стихает, — и он снова засмеялся. Махдум-Бык хохотал, наклонив голову и держась обеими руками за живот. Вместе с ним хохотали Мулло-Хомид и Зайниддин-ходжа. Келья наполнилась их громким смехом.

Пирак взял небольшую лестницу, висевшую на гвозде у порога кельи, подставил к антресолям, захватил с собой тарелку и поднялся по лестнице. Спустя несколько минут, пошуршав чем-то наверху, он с тарелкой в руках спустился вниз. На тарелке лежало несколько очищенных от шелухи белых луковиц, напоминавших сыр. Тарелку с луком он поставил перед братом. Тот, смеясь, стал есть лук и запивать его чаем. Все также смеясь, он обратился к брату:

— Это хороший, сочный сыр. Обычно сыр бывает крепкий, как камень, и есть его совершенно невозможно. Но этот «сыр» мягкий, и его можно разжевать. Правда, он немного острый, но зато приятный. Возможно, эта острота быстрей успокоит головную боль.

Поедая «сыр», Махдум-Бык стал описывать тех, с кем провел эту ночь.

— Сегодня ночью моими собеседниками были известнейшие бухарские махдумы — пребольшие дураки, — рассказывал он. — Арабы

говорят: валад ун-наджиби ла янджаб уа ин наджаба фа'аджаб — «у благородного и значительного человека не может быть благородного, нравственно чистого сына, а если у такого человека и родится честный сын, то это будет исключительным событием». Все это совершенно верно. Ну, что это за веселое времяпровождение, когда вдребезги пьяные люди валятся и засыпают! Зачем доводить до головной боли несчастного, попавшего в ваши сети!? Я и сам дурак, что знаюсь со всеми этими прирожденными дураками.

Махдум-Бык снова заплакал. Наевшись луку, он опять засмеялся и стал жаловаться, что у него еще больше разболелась голова. Мулло-Хомид посоветовал ему принести из комнаты для омовений несколько кувшинов холодной воды и вылить себе на голову: это, по его словам, должно успокоить головную боль.

Махдум-Бык поспешил с кувшинами в комнату для омовений, мы тоже разошлись по своим кельям.

Как бы поздно я ни ложился спать, но утром вставал всегда затемно, потому что мне нужно было купить на базаре сливки и приготовить своим хозяевам чай со сливками. Как только рассвело, я пошел на молочный базар, и мне встретился во дворе медресе Махдум-Бык. По своему обычаю, он был в одной рубашке, а в руках держал чайник с заваренным чаем, который нес из чайханы. Поздоровавшись со мной, он сказал:

— Твой приятель — несчастный Пирак — вместо сыра накормил меня луком. Я хоть и понял, но стал есть, чтобы не огорчать собственного брата. Этот проклятый лук еще увеличил мою головную боль. Но зато средство Мулло-Хомида принесло пользу, и после того, как я полил себе голову холодной водой, боль успокоилась. Ночью я спокойно спал и встал раньше Пирака.

* *
*

Однажды во время вечернего отдыха мы встретились с Пираком во дворе медресе. Шел дождь. Пирак решил, что лучше будет, если мы не останемся на обычном месте, а посидим под навесом какой-нибудь лавчонки.

Мы вышли со двора и под навесом чайной лавки Шарофа увидели Махдума-Быка с Мулло-Хомидом и Зайниддин-ходжой; рядом с ними сидел юноша по имени Джамоль-джон, золотых дел мастер, дом которого находился на улице, примыкавшей к медресе. Мулло-Хомид что-то тихонько напевал. Мы присоединились к ним.

В это время со стороны купола Заргарон, расположенного с восточной стороны медресе Мир-Араб, показались двое; один из них был высокий, плотный человек, белолицый, с огромными густыми усами. По виду ему можно было дать лет тридцать. Другой был молодой приземистый смуглолицый человек, лет тридцати пяти.

Когда они подошли к нам, высокий обратился к сыну золотых дел мастера:

— Джамоль-джон, вы, оказывается, добыли себе сильного покровителя. Но знайте, если вы найдете даже сто заступников, все равно не избавитесь от уплаты дани!

Они пошли дальше. Его слова так задели Мулло-Хомида, что он хотел тут же вскочить, бежать за ними следом и сцепиться в каком-нибудь переулке. Но Махдум-Бык остановил его.

— Этого человека зовут Рузи-Усач, он известный скандалист, — сказал Махдум-Бык, — к тому же он очень сильный. Вам не пристало драться с ним. Поручите это дело мне. Я выберу подходящий момент и рассчитаюсь с ним.

Затем Махдум-Бык спросил Джамоль-джона:

— Какие у тебя с ним счеты?

— Однажды он неожиданно появился передо мною в одном из переулков квартала Тангбандбоф, стащил с меня верхний халат и заявил: «Вы не отделаетесь от меня только этим халатом, если хотите сохранить свою жизнь и честь, то должны будете всегда выплачивать мне дань», — и пошел себе дальше. Через неделю он явился ко мне в лавку с тем парнем, который был сегодня с ним вместе. Я в это время тянул проволоку через доску — «кирьётахта».[1] Он сказал мне:

[1] Кирьётахта — стальная доска с крупными и маленькими отверстиями. Золотых дел мастера сначала расплавляют золото или серебро и отливают его наподобие толстой проволоки, затем эту проволоку пропускают сквозь отверстия в стальной доске и доводят до необходимого диаметра. Такую доску называют

«У вас, я вижу, очень срочное дело, но на минутку оторвитесь от него и, как говорится в пословице — из целой квашни — одна лепешка, — дайте каждому из нас по перстню!». Я дал им два серебряных кольца, они не взяли. «Дайте золотые!» — потребовали они. Я был вынужден дать одно золотое кольцо и одно серебряное. Это уже наша третья встреча, он хочет, по-видимому, завтра еще что-нибудь получить от меня.

В глазах Джамоль-джона заблестели слезы, и, всхлипывая, он сказал:

— Теперь я буду вынужден постепенно отдать ему все свое имущество, либо закрыть совсем лавку и сидеть дома.

— Не беспокойся, что-нибудь сделаем, — сказал Джамоль-джону Махдум-Бык. На этом разговор закончился, и Мулло-Хомид снова принялся напевать.

* *
*

Спустя несколько дней после происшествия у лавки Шарофа-маклера я как-то вечером вышел во двор; ученики группами по двое, по четверо сидели повсюду и тихо беседовали. Пирака среди них не было. Я стоял и думал, к кому из сидящих мне присоединиться. В это время из медресе вышел Пирак; ни на кого не глядя, он быстро направился к ступенькам в северной части двора. Я окликнул его и спросил, куда он так торопится. Предложив мне жестом следовать за собой, он поспешил дальше.

В два прыжка я догнал его у самых ступеней, и мы вместе спустились вниз. Он пошел на запад по большой улице мимо медресе, я последовал за ним.

Когда мы миновали людные места у медресе и очутились на тихой улице возле главной мечети, я спросил Пирака:

— Куда ты так торопишься и куда меня ведешь?

Он немного замедлил шаги и стал объяснять:

«кирьё» или «кирьётахта», а процесс вытягивания золотой или серебряной проволоки — «симкаши». (*Примеч. автора*).

— Ты помнишь историю с Рузи-Усачом и Джамоль-джоном?

— Да.

— Вчера мой брат привел Рузи-Усача в свою келью и устроил ему угощение. Я приготовил плов. После плова брат сказал ему: «Рузи-бай, ты сильный человек. Тебе должно быть стыдно хулиганить. Ты такой сильный, что к какому бы ремеслу ни приобщился, можешь жить, как шах! Я советую тебе оставить все свои скандальные дела и начать жить по-человечески». Рузи опустил голову и стал разглядывать свои колени, он теребил шерсть на войлоке, которым застелена келья, и внимательно слушал; когда брат кончил говорить, тот все с тем же задумчивым видом ответил ему: «У эмира есть виселица, есть и *минарет смерти*, а ведь и он не смог меня остановить. Дело повернулось так, что он сделал меня солдатом и дал мне в руки ружье. А вы теперь думаете, что своими старушечьими советами можете заставить меня свернуть с избранного пути. Но я хочу вам посоветовать, как говорится в пословице: „Этот свой сон расскажите воде, и она его унесет"». Рузи-Усач засунул руку в карман, достал оттуда пять тенег и со словами: «Это деньги за ваш плов» — положил их на войлок. Не взглянув на брата, он пошел к выходу. Брат крикнул ему вдогонку: «Моя келья — не харчевня, забери свои деньги и уходи. Я приду в твой квартал и там дам тебе совет, как мужчина. Вот тогда ты наверное прозреешь!». Все это брат сказал спокойно, с ласковой улыбкой. Рузи, надевая свои кожаные калоши, ответил: «Эти деньги вернете мне в моем квартале. Каждый вечер я буду ждать вашего прихода». С этими словами он вышел из кельи. Сегодня вечером брат под каким-то предлогом послал меня домой. Я вернулся очень быстро, но его уже не было в келье. Конечно, он пошел в квартал Рузи-Усача, а меня отослал для того, чтобы я не присутствовал «на поле битвы» и чтобы Рузи-Усач не мог сказать: «Бык привел с собой своего теленка». Но мне обязательно нужно там быть, чтобы в случае какого-нибудь несчастья помочь ему.

Мы прошли через ряды Кандалотфуруши, Мисгари и Тиргарон, а оттуда, повернув на север, выбрались через ряд Собунфуруши на Регистан. Здесь нам опять пришлось направиться на запад. Вскоре мы миновали лавчонки с арбузами и виноградом, обогнули с север-

ной стороны квартал Боло-хауз и оказались, наконец, в квартале Усто-Рухи, где находился дом Рузи-Усача. Возле квартальной мечети мы увидели Махдума-Быка, беседовавшего со стариками.

— Еще ничего не начиналось, — сказал Пирак. — Хорошо, что поспели вовремя.

Посоветовавшись, мы сочли более правильным не показываться ему на глаза и уселись в сторонке поодаль.

В это время Рузи-Усач вышел из переулка за мечетью Боло-хауз со своим подручным и, оставив его в переулке, подошел к старикам:

— Что прикажете? — спросил он.

— Что мы можем тебе приказать? — сказал один из стариков. — Мы советуем тебе послушаться советов Махдума и сойти с дурного пути.

— Опять все те же старушечьи советы! — ответил Рузи-Усач.

— Если желаешь, — откликнулся Махдум, — то можешь услышать и мужской совет!

Рузи-Усач снял верхний халат, бросил его в сторону от дороги и вышел на середину улицы.

— Мужчина познается на поле битвы! — сказал он.

Рузи был крепко опоясан куском зеленой ткани, с левой стороны у него висел в ножнах с шерстяными концами большой нож.

Махдум-Бык тяжело поднялся с места, улыбаясь, вплотную подошел к Рузи и обеими руками схватил его за пояс с обеих сторон талии; правой рукой он держался за его нож с ножнами, прихватив и пояс.

Рузи, бывший выше Махдума, сильно стукнул обеими кулаками Махдума по плечам и, как клещами схватив за плечи, изо всей силы стал его раскачивать. Но Махдум, подобно столбу, наполовину вкопанному в землю, стоял недвижимо.

Когда настала очередь Махдума, он легко поднял Рузи за голову. Длинное тело Рузи болталось в руках Махдума над его головой.

Увидав, в какое положение попал Рузи, ученик его, бывший неподалеку, кинулся на помощь своему учителю. Махдум, стоя на одной ноге, другой так ударил его в низ живота, что тот, подобно собаке, в которую бросили камень, с воем отлетел в сторону.

Махдум, не выпуская Рузи, завертелся быстро, как танцор. Рузи заболтал в воздухе руками и ногами, но никак не мог задеть Махдума. Наконец Махдум бросил его ослабевшее тело на землю и тотчас же уселся ему на грудь. Он крепко схватил Рузи за запястья рук, приложил их к его же горлу, прижал и некоторое время держал в таком положении.

Улица наполнилась зрителями. По-видимому, Рузи всем им достаточно досадил, если ни один из них не шевельнулся, чтобы спасти его из лап Махдума. Зрители даже не допустили помощника Рузи подойти к дерущимся, хотя тот, переведя дыхание, снова хотел напасть на Махдума. Старики удерживали его и говорили: «Драка — дело шайтана!».

Когда Махдум немного высвободил горло Рузи, тот сказал ворчливо:

— Саттор, я сдал город!

В жаргоне бухарских гуляк «сдать город» значит оказаться побежденным, а слово «саттор» — всепрощающий (эпитет бога) — было их самой великой клятвой. Если какой-нибудь гуляка, поклявшись таким образом, нарушит клятву, то его убийство по обычаю считалось праведным делом.

Махдум-Бык отпустил горло Рузи-Усача, слез с него и, взяв за руку, помог встать с земли. Когда Рузи поднялся и очутился лицом к лицу с Махдумом, тот достал из кармана пять тенег и протянул своему противнику.

— Ну, теперь ты раскаялся?

— Раскаялся! — нехотя ответил Рузи и взял из рук Махдума пять тенег.

Мы с «победой» возвратились в медресе.

ГУЛЯНЬЕ В ФАЙЗАБАДЕ

Физическую силу, ловкость и мужество Махдума-Быка мне удалось увидеть во время гулянья в Файзабаде.

В Бухаре в те времена очень почитался Навруз, который был национальным праздником всех, говоривших по-персидски и по-тад-

жикски. Этот праздник отмечался народом издавна и сохранился даже после арабского завоевания. Только мусульманские законоведы придали ему мусульманскую окраску и стали извлекать из него для себя выгоду. Они давали людям пить компот из сушеных абрикосов, в который макали бумажку с молитвой, составленной из стихов Корана, и брали за это деньги. Такой компот считался ритуальным напитком во время Навруза еще до ислама. Во время празднования в эмирской цитадели устраивали религиозные церемонии и угощения; многие награждались деньгами или халатами.

Новый год в Бухаре отмечался 22 марта или на день раньше в високосные годы. Однако народные гулянья начинались задолго до праздника.

Местом для гулянья всегда избиралась деревня Файзабад, расположенная в одном километре к северо-востоку от Бухары. Здесь было много воды, орошавшей цветущие сады и обширные привольные пастбища; теперь на этих землях создан крупный колхоз «Маориф».

Народные гулянья происходили каждую пятницу в продолжение месяца хут (с 22 февраля по 22 марта).

Мы решили пойти в Файзабад во вторую пятницу, когда там собиралось особенно много народа. Обычно любители развлечений отправлялись туда из окрестных селений большими группами, но наша группа оказалась малочисленной — нас было всего шесть человек: Махдум-Бык и его брат Пирак, певцы Мулло-Хомид, Зайниддин-ходжа и я с братом.

Махдум-Бык взял из своей кельи медный кипятильник, который должен был служить нам чайником, две пиалы и байковое одеяло. Кипятильник и пиалы поручили нести мне, а байковое одеяло взял Пирак.

В девять часов утра мы вышли из города через ворота Мазор. От самых ворот прямо на восток шла большая дорога, которая вела к мазару Бахауддина Накшбанда. Отсюда появилось и название ворот — «Мазор», хотя исторически здесь были «Ворота воды», так как именно в этом месте канал Шахруд входил в город.

От городских ворот начиналась также и большая дорога на северо-восток, которая, минуя деревни Файзабад и Дилькушо, доходила до Гурбуна.

Между двумя проезжими дорогами среди кладбищенских холмов и полей тянулась пешеходная тропа, ведущая прямо к месту гулянья. Вот мы и пошли по этой тропе. Когда миновали мазар Ходжа-Исхака Калободи, перед нами открылась равнина, окруженная с востока, юга и запада кладбищенскими холмами. С северной стороны тянулась возвышенность, на которой цветоводы выращивали цветы. На равнине возвышалось несколько карагачей с засохшими верхушками, возле них были устроены глинобитные суфы для отдыха и чаепития. Дальше к северу виднелся небольшой дом с открытой террасой и длинной суфой возле него.

Повсюду сидели люди и пили чай. Мы тоже по приглашению Махдума-Быка расположились в стороне на небольшой суфе.

Самоварщик поставил перед нами пиалу, чайник с чаем и спросил:

— «Чарс» нужен?

В подобных случаях Махдум-Бык брал на себя обязанности «руководителя».

— Нет, нет, — решительно отказался он.

Мы не спеша пили чай и разглядывали сидевших вокруг нас людей. На длинной суфе возле дома расположились на отдых несколько дервишей, из числа тех, которые большими группами обходили по четвергам и воскресеньям весь город и во имя Аллаха собирали подаяния. Каждый из них поверх обычной дервишской одежды был повязан в несколько рядов шерстяной веревкой с прикрепленным к ней «камнем удовлетворения» [1] и облачен в новый дервишский халат самаркандского шитья.[2] На земле возле них лежали выдолблен-

---

[1] Камень удовлетворения (санги каноат) — камень, который, по поверью, якобы поддерживал дервишей во время голода. (*Примеч. автора*).

[2] Духовный руководитель всех бродячих дервишей Средней Азии жил в дервишском монастыре в Самарканде. Ни один из дервишей не мог носить свой халат, если не получал его в дар от духовного руководителя. Этот «подарок» они могли приобрести лишь за очень крупную сумму. (*Примеч. автора*).

ные тыквы для сбора подаяния [1] и высокие шапки, сшитые из четырех клиньев [2]; волосы у дервишей падали на лицо и плечи, как у женщин, приготовившихся мыть голову. Каждый дервиш имел также толстый посох с острой пикой. Сейчас посохи были воткнуты в ряд в землю перед домом.

Возле суфы, растянувшись на земле, лежали два длинноухих пса с закрученными колечком хвостами; положив морду на передние лапы, они не спускали глаз с дервишей. Собаки были совершенно неподвижны, не шевелили ни одним мускулом, не оглядывались по сторонам и никуда, кроме как на дервишей, не смотрели. Они очень напоминали мюридов, которые сидели, как мертвые, перед своим духовным руководителем во время бдений.

Среди дервишей выделялось несколько шестнадцати-восемнадцатилетних юношей, с которыми очень горячо беседовали их спутники. Эти юноши были хорошо одеты, красивы, их сверкающие глаза свидетельствовали о физическом здоровье.

На других суфах сидели обособленно небольшие группы людей, по виду которых легко можно было определить, к каким именно слоям общества они принадлежат. Вот на этой суфе разместились скромные ученики медресе, на той — махдумы и сыновья духовенства, немного подальше — купеческие сынки, потом ремесленники и мелкие торговцы.

Мы еще не выпили и одного чайника чая, как какой-то молодой дервиш вынес из домика кальян. Этот кальян по форме напоминал немного обычные приборы для курения табака, только был сделан не из тыквы-горлянки или из меди, а вырезан из орехового дерева. Он был пошире обычных кальянов, его нижняя пузатая часть казалась побольше, это устройство увенчивала высокая и большая чашечка.

---

[1] Это были особые тыквы — травянки, которые дервиши привязывали к поясу. Когда они отправлялись в путь, то вешали тыквы себе на руку. (*Примеч. автора*).

[2] Сшитые из клиньев колпаки духовный руководитель давал каждому дервишу. (*Примеч. автора*).

Молодой дервиш наполнил чем-то не известным мне чашечку кальяна, зажег ее содержимое и через мундштук сделал одну-две затяжки.

— Началось куренье «чарса», — заметил недовольно Махдум-Бык.

Только теперь я понял, что в чашечку кальяна положили наркотик.

После этого молодой дервиш протянул мундштук одному из своих спутников, сидевшему на почетном месте. Дервиш, которому он передал кальян, был в новом самаркандском халате, на вид ему казалось около пятидесяти лет, и в бороде уже кое-где мелькали седые волоски. По его внешности сразу же можно было определить, что он среди дервишей старейший.

Как только старшина дервишей взял в руки кальян, собаки начали проявлять нетерпение. Хотя они все еще не двигались с места, но шерсть у них от нервного возбуждения дрожала и прыгала.

Старшина, затянувшись несколько раз, заговорил: «О, боже! Высшая истина — друг! Накшбанд-безумец — мой духовный наставник!» (Хакк-дуст! Ла иллахи иллаллах! Пирам Накшбанд-девона!). Это было обычное для дервишей выражение. Затем он с улыбкой взглянул на собак, те в ответ на его ласковый взгляд завиляли хвостами и стали кататься по земле.

Старшина крикнул собакам:

— Идите ко мне, праведные животные, призывающие Истину!

Тотчас же оба пса одновременно вскочили с мест и подошли к хозяину. Передними лапами они стали на край суфы, раскрыли пасти, не отрывая взгляда, с ожиданием смотрели на старшину.

Старшина закрыл пальцем отдушину в трубке и сделал две или три глубокие затяжки. Когда кальян наполнился дымом от наркотика, он убрал палец с отверстия и приблизил трубку к пасти одной из собак. Та с большим наслаждением втянула в себя дым. Таким же образом он дал потянуть дым и другой собаке. После этого псы пошли и улеглись на прежнее место.

Молодой дервиш почистил чашечку кальяна, положил в нее новый запас чарса, снова разжег в ней огонь и поочередно дал покурить наркотик всем дервишам и их собеседникам.

Беседа дервишей стала более оживленной, и все громче раздавались из уст дервишей и их собеседников возгласы: «О, Истина — друг! О, тот, который он!..». Даже собаки — и те как-то особенно повизгивали, словно хотели присоединиться к радости своих хозяев. В это время другой молодой дервиш приготовил еще один кальян орехового дерева и стал обходить группы людей, пивших чай на других суфах. Там тоже было мало людей, которые не курили бы наркотик, такого человека обычно высмеивали и упрекали в том, что он «необщителен». Каждая группа в зависимости от ее численности давала дервишу с кальяном от двух до пяти тенег. Дервиш время от времени уходил, вычищал чашечку кальяна и снова возвращался.

Хотя наша группа вначале и отказалась от наркотика и мы заявили, что «чарс не нужен», все же дервиш, должно быть «из уважения», принес свежий кальян и с поклоном предложил его нам. Махдум-Бык сделал отрицательный знак головой. Молодой дервиш направился к другой группе.

— Никто из нас, — сказал Мулло-Хомид Махдуму-Быку, — никогда в жизни не курил банг. Но вы ведь раньше в один присест выкуривали две чашечки банга и заедали луком, называя его сыром, почему же вы теперь не стали курить?

Выражение лица Махдума-Быка сразу изменилось, я впервые увидел у него между бровей морщинку. Но его обычная улыбка все еще не исчезала с уст, и, отвечая на вопрос Мулло-Хомида, он по-прежнему приветливо глядел на него.

— Вы думаете, что я не знаю всю мерзость банга, — отвечал он, — а если и знаю, то курил эту дрянь у махдумов ради удовольствия? Если вы так думаете, то очень ошибаетесь.

Выпив стоявшую перед ним пиалу чаю, он продолжал.

— Глупые махдумы хотели одолеть меня и высмеять. Я считал для себя постыдным оказаться побежденным ими и выполнял все, что они предлагали. Это было своего рода оружием в борьбе с невежественными бездельниками. В конце концов они сами оказались в смешном положении.

Дервиши снова наполнили чашечку кальяна, сами затянулись и дали вдохнуть собакам. После этого дервиши еще больше загалдели.

Бывшие с ними молодые парни то смеялись, то плакали, разрывали на себе платье и метались по сторонам. Собаки, вторично надышавшись наркотика, вернулись на прежние места, улеглись и уснули как мертвые.

Махдум-Бык продолжал.

— Вот дервиши, которые сидят здесь, это те самые люди, что дважды в неделю обходят город и именем бога, именем пророка, именем Бахауддина и других святых собирают от мусульман подаяния, а теперь вы видите, на что они тратят пожертвованные бедняками деньги. Они не только сами подлые и развратные люди, но развращают также и других. Эти молодые ребята, которые сидят с ними, напоминают невинных птенцов, попавших в силки безжалостного охотника. Будущее для них гибельно. Если бы эти парни занялись каким-нибудь ремеслом, то могли бы стать настоящими людьми и занять свое место под солнцем. Теперь же, если судьба смилуется над ними и они сохранят свою жизнь, то, может быть, тоже станут дервишами, подобно своим духовным руководителям. Эти безжалостные, не боящиеся бога обманщики губят не только людей, но и животных. Видите, до какого состояния дошли от наркотика две прекрасные охотничьи собаки?

У Махдума-Быка от такой длинной речи пересохло в горле, он выпил еще одну пиалу чаю и снова заговорил.

— Все, что вы сейчас видите, — а я специально привел вас сюда, чтобы показать вам, — это только то, чего они не скрывают. Но то, что они выделывают ночью, тайком, еще отвратительней. Те посохи, которые стоят в ряд у стены, — это их орудие грабежа. Большинство дервишей не удовлетворяется милостыней, какую им подают люди добровольно, ночью на пустынных дорогах они совершают нападения на одиноких путников, а если человек оказывает сопротивление, то не останавливаются и перед тем, чтобы пикой распороть ему живот. Вот сейчас при людях они довольно чинно сидят и курят свой банг, но то, что они делают по ночам, — об этом стыдно и рассказывать и слушать. Если порядочный человек увидит их дела, то не сможет удержаться, чтобы не убить их.

Веселье дервишей становилось все более бурным, но нам уже надоело говорить о них, и мы решили отправиться дальше. Все одновременно сунули руки в карманы, чтобы достать денег и отдать за чай, но Махдум-Бык заявил:

— Деньги за чай во время сегодняшней прогулки плачу я! — и расплатился. Мы пошли дальше.

* *
*

Среди холмов, в стороне от пешеходной тропы, которую с севера ограничивали поля, а с юга — могилы, в укромных уголках расположились кучки заядлых игроков. Здесь азартно играли в самые недозволенные, «тайные» игры: в ремень, волчок, карты и кости. Мы прошли среди цыганских шатров и повернули к Файзабаду. Поблизости от селения мы снова увидели группы людей, играющих уже в открытые игры, такие, как «иштибози», орехи, абрикосовые косточки и разбивание крутых яиц; участники их как бы готовились к крупным азартным играм.

Мы отправились дальше и вскоре достигли центра гулянья, происходившего возле дервишского монастыря Файзабада. С восточной, южной и западной стороны монастыря — всюду расположились продавцы, окруженные множеством покупателей. Здесь торговали пловом, лепешками, мясом, похлебкой из бараньих голов и ножек, изюмом, орехами, соленым жареным горошком, абрикосовыми ядрышками и другим, а участники гулянья все это раскупали и тут же съедали. Некоторые ели стоя, а другие присаживались на корточки возле продавцов.

Во дворе монастыря самоварщики расстелили паласы и устроили лавочки, там тоже группами сидели люди и пили чай.

Мулло-Хомид предложил и нам сесть где-нибудь и выпить чаю. Но Махдум-Бык не согласился.

— Настоящее гулянье происходит не здесь, а в другом месте, — сказал он, — мы сейчас пойдем туда и если захотим, то заварим чай в своем кипятильнике.

Мулло-Хомид купил несколько лепешек, Зайниддин-ходжа — немного соленых абрикосовых ядрышек, брат — жареного гороха. Пирак в одной из чайной заварил чай в нашем кипятильнике и дал его нести мне.

Мы направились дальше по межам мимо северной стороны монастыря.

Весна в Бухаре начинается дней на пятнадцать раньше, чем в Самарканде. Несмотря на то, что до Нового года оставалось еще две недели, озимые посевы — пшеница, ячмень и клевер — уже поднялись на четверть из земли. Дикие травы покрыли берега арыков и межи и всю влажную черную весеннюю землю. Степь в это время была прекрасной. Свежие всходы и травы напоминали густой зеленый бархат, который расстелили в степных просторах навстречу волнующему сердца Новому году. Чудесный весенний воздух, наполненный ароматом свежей зелени, безмерно радовал и одушевлял всякого, кто дышал им. Хотелось полной грудью вдыхать это живительное благоухание. Белые, красные, желтые, лиловые легкие разрозненные облака, плывшие по синему небу, придавали всему особую прелесть; они бросали тень на одноцветную зеленую землю, как будто хотели показать превосходство неба над землей. Короче говоря, земля и небо сверкали яркими красками, а вся природа была охвачена пробуждением.

Среди цветущих полей всюду носились мальчишки с птицами в руках; одни держали чижей, другие — галок, третьи — скворцов и были очень увлечены игрой. Приученные птицы по знакам своих хозяев выполняли все их приказания.

Мальчики с галками и скворцами, привязав к лапкам птиц нитку, заставляли их состязаться в воздухе; птицы взлетали до двухсот метров и всякий раз, когда начинали уставать, садились на головы или руки своих хозяев. Выигравшим в соревновании считался тот мальчик, чья галка или скворец взлетали прямее и выше и дольше других птиц держались в воздухе.

Игра с чижами была уже другой. Зрители становились в два ряда, приблизительно на расстоянии ста шагов один ряд от другого. Чиж, сидевший на руке у своего хозяина, не отрываясь смотрел на

зрителей. Как только птица замечала, что кто-нибудь показывал зажатую между пальцами монету, эта незаметная маленькая птичка сразу же взлетала, подлетала к тому человеку, брала в клюв монетку и, возвратившись, бросала ее в ладонь хозяина; потом она тихонько начинала долбить клювом его ладонь, тот доставал крошки фисташек и давал птице. Чиж, склевав свое «угощение», снова всматривался в зрителей в ожидании новых подношений.

* *
*

Мы пошли еще дальше на север и уклонились в сторону от толпы. Расстелив одеяло на поросшей клевером земле, наша компания уселась на него и приступила к чаепитию. Всякий раз, когда кипятильник оказывался пуст, Пирак бежал в чайную и приносил свежий чай.

После еды каждый из нас растянулся на молодой травке. Только Мулло-Хомид и Зайниддин-ходжа остались сидеть и, взяв в руки для аккомпанемента вместо бубна пиалы, запели. Песня далеко разносилась в чистом весеннем воздухе и вливала в душу новые силы.

Еще не утихла песня, как на меже клеверного поля, где мы расположились, появилась группа молодежи, затеявшей состязание в прыжках. Двое юношей натянули над межой кусок материи примерно в три метра длиной, скрутив ее наподобие жгута, и стали лицом друг к другу. Сначала жгут подняли от земли на высоту колен. Собравшиеся парни стали прыгать через него. Во второй раз жгут подняли на высоту талии. Многие из прыгунов преодолели и эту высоту, не задев жгута, но двое, зацепившись, упали плашмя на землю.

В третий раз жгут подняли до уровня груди. Теперь перепрыгнуть через него смогла лишь половина соревнующихся, остальные попáдали на землю.

Когда же жгут подняли до уровня плеч, то никто уже не смог перепрыгнуть через него, и все, кто прыгал, упали.

В это время к месту соревнований подошли и многие взрослые. Махдум-Бык лежа наблюдал за состязанием. Убедившись, что никто

не смог преодолеть препятствие, он встал, подошел к парням, державшим жгут, и велел поднять его до плеч.

Все удивились решимости Махдума и стали горячо обсуждать, сможет ли преодолеть препятствие этот грузный человек. Большинство присутствующих склонилось к мысли, что он перепрыгнуть не сможет.

Махдум-Бык отошел примерно шагов на пятьдесят и оттуда взял разбег. Когда он приблизился к жгуту, то, подобно наполненному воздухом мячику, подпрыгнул вверх, перескочил жгут, находившийся на уровне плеч парней, и ловко стал по другую сторону на обе ноги. Отовсюду раздались возгласы восхищения.

Вдруг из среды зрителей вышел высокий человек и заявил:

— Посмотрите, какого роста эти парни, что держат жгут, и какого уровня достигают их плечи? Пусть выйдет кто-нибудь, у кого такой же рост, как и у меня. Мы будем держать жгут. Вот если Махдум и в этом случае перепрыгнет, то мы признаем его победителем.

Нашелся еще один высокий человек. Сначала они держали жгут на уровне своих плеч, потом головы и, наконец, на уровне вытянутых вверх рук. Махдум-Бык без колебаний одолел все эти препятствия и стоял, улыбаясь.

После прыжков начались состязания в беге. В конце этих состязаний Махдум-Бык захотел бежать наперегонки с победителями, которых оказалось пять человек. Площадь состязаний с восьмисот шагов увеличили до тысячи. Махдум-Бык на сто пятьдесят шагов обогнал своих соперников и опять удостоился всеобщего одобрения.

После бега началась борьба. Перед ее началом объявили, что будут бороться жители Гала-Осиё с жителями Мазора (Бахауддина). Горожане не должны вмешиваться, но могут прийти на помощь побежденным.

Зрители уселись вокруг площадки размером в один таноб. Жители Гала-Осиё сели с западной и частично северной стороны, жители Мазора заняли вторую часть северной стороны и восточную, горожане расположились с южной стороны.

Сначала с обеих сторон вышли подростки и стали меряться силами: одни одерживали верх, другие оказывались побежденными. Затем вышли борцы постарше, и наконец очередь дошла до знаменитых борцов. Победителями оказались мазорцы, и горожане пришли на помощь побежденным. Но и при их помощи успех оставался на стороне мазорцев; после многих побед и поражений у мазорцев осталось пять человек, которых никто не мог побороть.

В это время опять выступил Махдум-Бык и начал бороться с победителями; он по очереди положил на спину каждого из них, улыбаясь, обошел весь круг и снова сел на прежнее место.

Не успел еще Махдум-Бык перевести дыхание, как к нему подошли предводители всех трех сторон и сообщили, что его вызывает на борьбу двадцатилетний борец Рустамча из Шуркуля.

Сначала Махдум-Бык отклонил этот вызов. Он считал для себя неприличным бороться с двадцатилетним парнем. Но в конце концов должен был уступить (возможно, он не хотел, чтобы его считали потерпевшим поражение) и ответил:

— Ну что ж, скажите, пусть он выйдет, померяемся силами.

Рустамча вышел на середину. Он не только был очень молод, но к тому же мал ростом, худощав, и по виду никто не мог бы дать ему его двадцати лет.

Махдум-Бык, смущаясь, подошел к своему противнику и попытался несколько раз схватиться с ним. Оба они применили разнообразные приемы борьбы. Но ни один из них не оказался побежденным. Парень начал заметно уставать, он тяжело дышал. В конце концов предводители сторон вышли на середину, развели борцов и дружески, взяв их за руки, отвели каждого на его место. На этом борьба кончилась, и народ разошелся.

Когда мы с товарищами собрали свои вещи и направились к городу, к нам подошел Рустамча с главарем своей группы, взял Махдума-Быка за руку и поздоровался с ним:

— Дядя Махдум, — сказал он, — вы поступили со мной по-братски. Я с самого начала понял, что не гожусь вам в партнеры и, вызвав вас, поступил по-мальчишески глупо. Но время было упущено, и я уже приготовился оказаться побежденным. Вы меня пожалели и не осра-

мили перед людьми, вы словно заставили меня вторично родиться. Ведь вы могли поднять меня, как перышко, и далеко отбросить от себя. Пока я живу, я буду хранить к вам благодарность.

— Побольше тренируйся и не надейся зря на себя. Станешь знаменитым борцом, — сказал ему Махдум, и мы пошли дальше своей дорогой. (О трагическом конце Махдума-Быка и Рустамчи я расскажу в третьей книге своих воспоминаний).

МУЛЛО-ТУРОБ И МУЛЛО-КАМАР

Мулло-Туроб был единственным сыном одного крестьянина из Зандани, он учился в местной школе и вышел оттуда малограмотным. Еще при жизни своего отца он два года занимался в бухарских медресе и немало натерпелся без жилья. После смерти родителей Мулло-Туроб продал дом, землю, скот и весь земледельческий инвентарь отца, полностью порвал с деревней и переехал в Бухару. Здесь он купил хорошую келью в медресе Мир-Араб, считавшемся одним из лучших бухарских медресе, и зажил подобно другим материально обеспеченным ученикам.

Однажды летом он вместе со своим соучеником из Самарканда поехал в его родной город, ему очень понравился тамошний климат, и он приобрел в тех местах много знакомых. После этого всякий раз, когда ему надоедало бухарское зловоние, он уезжал в Самарканд, дышал там свежим воздухом и снова возвращался в Бухару.

Во время поездок в Самарканд в поезде или во время прогулок по малознакомому городу ему нужен был русский язык, и он стал записывать в особую тетрадь услышанные им русские слова с переводами на таджикский. Так у него получился для себя небольшой словарик, который пополнялся после каждой его поездки в Самарканд.

Пирак, благодаря тому, что был с ним из одного медресе, знал о словарике, ему тоже захотелось изучить русский язык, и, как говорилось выше, он записал от Мулло-Туроба некоторые слова.

После того как муллы, узнав про записи русских слов, хотели изгнать Мулло-Туроба из медресе, он из осторожности стал реже ездить

в Самарканд, перестал записывать русские слова и больше никому не показывал свои прежние записи, даже с Пираком, пользовавшимся его доверием, он теперь мало говорил о русском языке.

Однако, несмотря на принятые им меры предосторожности, нападки мулл не прекращались. Хотя из-за вмешательства верховного судьи муллы и не смогли изгнать Мулло-Туроба из медресе, они не переставали унижать его и постоянно преследовали злыми нападками. Всякий раз, когда он проходил через входную арку, ему кричали вслед: «Урус... урус идет... он даже стал похожим на уруса» — и другой такой же вздор. Между тем, Мулло-Туроб не имел никакого сходства с русскими. Это был смуглый человек с жесткими волосами и большими черными глазами, он скорей напоминал араба, чем русского.

Однажды Мулло-Туроб привез из Самарканда пару калош и надел их в дождливый день. Когда муллы заметили у него на ногах новую обувь, то стали называть его вором. По их мнению, подобную бесшумную обувь надевают лишь ночные грабители, чтобы хозяин дома не услышал их шагов.

Слух о Мулло-Туробе как о «воре» широко распространился. Каждый день муллы придумывали все новые доказательства для подтверждения своей сплетни. Как они утверждали, поездки его в Самарканд имели под собой определенную почву: он возил в Самарканд вещи, ворованные в Бухаре, и там их сбывал, а украденное в Самарканде продавал в Бухаре. Оказывается, даже и свою келью он купил на деньги, вырученные от продажи краденого. А то разве мог бы бедный ученик, который в течение двух лет переходил из одной кельи в другую как квартирант, потом вдруг сделаться владельцем прекрасной сводчатой кельи в медресе Мир-Араб? Без воровства это невозможно было бы осуществить.

* *
*

Вскоре произошло событие, из-за которого Мулло-Туроб был вынужден покинуть медресе Мир-Араб. Дело обстояло так. Мулло-Туроб привез из Самарканда кожаные калоши казанского шитья

и, надев их, впервые вышел во двор медресе. Спиртовые подошвы при каждом шаге издавали скрип. Те самые муллы, которые из-за бесшумности резиновых калош обвиняли Мулло-Туроба в «воровстве», теперь решили найти причину, почему эти калоши скрипели, и возвести какую-нибудь новую клевету на их владельца. Самые «догадливые» из них утверждали, будто здесь кроется какая-то тайна и ничего не будет удивительного, если окажется, что «урусы» написали имена Аллаха и его пророка Мухаммеда на пластинке меди, засунули пластинку под подошву калош, чтобы священные имена при надевании обуви оказывались внизу и подвергались поруганию.

Некоторые муллы советовали подговорить его учеников и, когда Мулло-Туроб войдет в мечеть читать намаз, украсть его обувь. Подошву можно будет разорвать и посмотреть, заложены ли там внизу имена бога и пророка. Если это действительно так, то грех Мулло-Туроба будет доказан и законоведы подтвердят, что он стал неверным — кафиром. Тогда не трудно будет подвергнуть его самому суровому наказанию.

Другие же не считали подобную меру подходящей. Они говорили: «А что, если из калош не удастся извлечь имена бога, а Мулло-Туроб, увидев пропажу обуви, пожалуется верховному судье и тот начнет ругать мулл за испорченные калоши русского шитья? Все это для нас тогда может плохо кончиться!».

В конце концов решили поручить какому-нибудь ученику незаметно выпытать у Мулло-Туроба, что кладут «урусы» при шитье в обувь для скрипа. Вполне возможно, что в таком случае Мулло-Туроб простодушно все откроет и тогда станет ясно, как надо с ним поступить.

Когда по наущению мулл один ученик спроси́л у Мулло-Туроба, почему у него скрипят калоши и что́ «урусы» положили туда, он ответил, что эту кожаную обувь шили не русские, а казанские татары, а что́ они туда кладут и почему калоши скрипят, он не знает.

Ответ Мулло-Туроба послужил руководящей нитью для раскрытия «тайны скрипа». В том медресе жил некий Мулло-Камар, происходивший из казанских татар, у него можно было получить необходимые сведения.

Мулло-Камар учился вместе с моим репетитором Мулло-Абдусаломом. Как говорили знавшие его люди, бухарский купец по имени Махмуд-ходжа вывез его из Казани, когда ему было всего лишь шестнадцать лет, под видом «секретаря» или даже «близкого друга».

Мулло-Камар до зрелого возраста, пока у него не выросла уже борода, все жил в доме у купца Махмуда-ходжи. Когда этот купец нашел себе другого «секретаря» и «близкого друга», Мулло-Камар переехал учиться в медресе. Осведомленные люди утверждали, что и теперь он продолжал жить на средства своего прежнего хозяина. Учащиеся и другие муллы из казанских татар стыдились его подозрительного прошлого и не общались с ним.

Во всяком случае, по мнению самых почетных обитателей медресе Мир-Араб, он был единственным «знатоком» положения в России и существующих там законов, «знатоком» самих русских, а также условий жизни в Казани и обычаев тамошних татар. Поэтому любой вопрос, относящийся к русским или татарам, задавали ему. Его и спросили о причине «скрипа» кожаных калош Мулло-Туроба, шитых в Казани: положена ли в них «медная пластинка» или что-нибудь другое.

Мулло-Камар ответил: «То, что эти калоши казанского шитья, на самом деле верно. Но не всю обувь там шьют мусульмане-татары. В Казани не мало и русских сапожников. Однако разница в том, что калоши, которые шьют мусульмане, не издают скрипа, а калоши русского шитья скрипят из-за того, что под подошву кладут свиной ус. Туркестанские мусульмане по неведению покупают и носят всю эту обувь, думая, что ее шьют татары. Калоши Мулло-Туроба шиты „урусами“, и туда подложен свиной ус».

Какое волнение поднялось в медресе после ответа «ученого» Мулло-Камара! «Этот безбожник принес с собой в туфлях свиные усы и осквернил медресе!.. Разве он не знает, что свинья грязное животное? Знает! Но он ведь стал почитателем „урусов“ и нарочно хочет осквернить чистую мусульманскую землю», — подобные крики неслись отовсюду.

Бедняга Мулло-Туроб опасался обвинения в том, что он неверный, и не решился пропустить общую молитву в мечети. Ученики

тех мулл, которые подстрекали к возмущению, сначала вышвырнули калоши Мулло-Туроба, а потом и его самого вытащили из мечети и бросили во двор медресе.

После окончания намаза старшие муллы одобрили действия своих учеников, но добавили, что «этого мало». Его поганые калоши не должны стоять в келье, построенной Амир-Абдуллахом Ямини (Мир-Арабом), место их среди нечистот! «Вы, ребята, — продолжали они, — глупы и невежественны, вы совершили великий грех, прикоснулись к ним руками, но это ничего, бог прощает грехи, совершенные по неведению. Впредь подобную обувь нужно брать щипцами для углей». После такого «наставления» человек десять-двенадцать учеников со щипцами в руках ворвались в келью Мулло-Туроба. Они обыскали келью, нашли тетрадку с русскими словами и щипцами засунули ее внутрь одной из калош, потом щипцами же схватили обе калоши и положили их в новую, один лишь раз надетую рубашку хозяина кельи, сверху придавили двумя кирпичами и, связав узлом, бросили все это в уборную медресе; узел потонул в нечистотах.

Мулло-Туроб до ночи не выходил из кельи, а ночью исчез, и больше его уже никто не встречал в медресе. Он нашел какого-то постороннего ростовщика-покупателя и продал ему за двенадцать тысяч келью стоимостью в пятнадцать тысяч тенег. Весьма возможно, что руководители медресе не утвердили бы такую сделку с посторонним лицом, ведь они сами могли купить келью по еще более низкой цене. Предвидя это, невольный продавец и заинтересованный в прибыли покупатель пошли к верховному судье и с помощью купчей крепости придали сделке официальный характер. Когда покупатель явился в медресе, он прежде всего угостил всех руководителей, задобрил их некоторой суммой денег и лишь после этого предъявил документ, из которого стало известно, что Мулло-Туроб продал келью. В купчей крепости было указано: «Мулло-Туроб продал одну дверь, оклеенную бумагой, корыто для воды, находящееся в медресе Мир-Араб, за двенадцать тысяч тенег».

В силу того что сделка состоялась в присутствии верховного судьи, была скреплена его печатью и обложена сбором за наложе-

ние печати, руководители медресе не осмелились ее нарушить, им пришлось удовлетвориться обильным угощением и магарычом.

Как говорили старики-муллы, это была первая продажа кельи, состоявшаяся в присутствии верховного судьи и оформленная купчей крепостью. Ранее такая продажа происходила лишь в присутствии руководителей медресе. Мулло-Туроб указал иной путь, и после него во всех спорных случаях сделки на куплю-продажу келий совершались в присутствии верховного судьи. Руководители медресе Мир-Араб это «вредное новшество» также возложили на плечи бежавшего Мулло-Туроба.

Таким образом закончилось изучение Пираком русского языка и составление мною своего «Нисоб-ус-Сибьён». О трагической гибели Мулло-Туроба я расскажу в конце этой части.

* *
*

Несмотря на все интриги и поднятый в медресе шум, осталось все же неясным, имеют ли свиньи жесткие толстые усы, издающие «скрип», или нет, а также и то, действительно ли в обувь Мулло-Туроба был положен свиной ус. Ведь в те времена никто из нас (в том числе и муллы) не видел в жизни ни свиньи, ни ее усов. Однако лишь благодаря признанию Мулло-Камара в присутствии Мулло-Абдусалома дело это приняло совсем другую окраску.

Мулло-Абдусалом был бедным, нуждающимся человеком, он и его сотрапезники не принимали никакого участия в скандале со скрипучими калошами. Однажды, чтобы узнать подлинную суть дела, Мулло-Абдусалом устроил в своей келье угощение для Мулло-Камара. Его сотрапезники тоже были там, и я готовил плов. Во время беседы Абдусалом заговорил о калошах Мулло-Туроба и попросил Мулло-Камара рассказать правду.

Тот ответил так.

— Мне было шестнадцать лет, когда я приехал из России в Бухару. Хотя я и видел там свиней, но не обращал внимания, есть у них твердые усы или нет. О том, что русские кладут в обувь для скрипа свиной ус, я слышал в Казани от одного старого муллы,

учившегося в Бухаре. Когда я в Бухаре рассказал об этом купцу Махмуд-ходже, тот отверг мое объяснение и сказал, что если подошвы обработать спиртом, то они будут скрипеть. Для меня, — продолжал Мулло-Камар, — было безразлично, обработаны ли подошвы калош Мулло-Туроба спиртом или в них вложен свиной ус. Что бы там ни было, все равно его обувь была поганой. Я не соврал, когда меня спросили муллы, и ответил так, как слышал. Сам я не потерпел никакого ущерба: я был свидетелем скандала, поел вместе с руководителями медресе угощение, устроенное в связи с продажей кельи Мулло-Туроба, и получил еще две теньги магарыча (ранее Мулло-Камар не входил в число руководителей медресе).

Мулло-Камар рассказывал о происшествии беспечно и весело, как было принято тогда в медресе, а слушатели тоже спокойно воспринимали его рассказ, словно обычную житейскую сплетню, и никто при этом не думал о муках, которые пришлось испытать Мулло-Туробу из-за грязной интриги.

Вот что главным образом привлекло мое внимание.

СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Однажды между предвечерним и вечерним намазом, по заведенному обычаю, муллы сидели под главной аркой, как вдруг снаружи показался какой-то высокий человек, направлявшийся в сторону медресе. Он был такого роста, что надетый на нем жалованный эмирский шелковый халат с черными и серебристыми полосами едва доставал до колен, в то время как обычному человеку такой халат доходил бы до пят. Незнакомец оказался настолько тучным, что его высокий рост не был особенно заметен и он выглядел человеком среднего роста. Великий портной — природа — скроила и сшила его на редкость пропорционально. Только голова у незнакомца была неестественно громадной. Посаженная на длинную и полную шею, она отяжеляла ее настолько, что во время ходьбы шея клонилась то в одну, то в другую сторону, словно просила помощи у своего обладателя.

На смуглом и полном лице этого человека не было заметно морщин, хотя ему перевалило уже за шестьдесят. Зато небольшая окла-

дистая борода, в которой седых волос проглядывало больше, чем черных, выдавала его возраст.

В руках незнакомца была палка. Обычно такие палки делают для людей нормального роста, поэтому палка в руках пришельца казалась коротковатой, и когда он шел, опираясь на нее, ему приходилось слегка наклоняться.

Когда этот человек, тяжело ступая, вошел в ворота медресе, все сидевшие там старшие муллы вскочили с мест, скрестили руки на груди и, кланяясь, стали с ним здороваться.

Однако он даже не взглянул в сторону здоровавшихся, не ответил на их приветствия и только слегка кивнул головой. Так и осталось неясным, был ли этот кивок ответом на приветствия или из-за тяжести головы он кивал ею постоянно.

Когда человек, миновав арку, вошел во двор медресе, старшие муллы уселись на свои места и стали о нем судачить. Один говорил:

— Опять он явился к нам, чтобы ночью беседовать с джиннами, дивами, пери и шайтаном, а поутру рассказывать об этом своим ученикам. Он погубит их, потому что сам уже сошел с праведного пути.

Другой мулла подхватил:

— Он говорил, что якобы знает, когда будет затмение солнца и в какой час произойдет затмение луны, и что он якобы заранее может это предсказать, — ха-ха-ха..! — засмеялись все, слушавшие его. Еще не утих смех, как кто-то заметил:

— Один лишь бог владеет тайной провидения. Этот безбожник, заявляя, что он постиг все тайны, ставит себя на одну доску с богом.

— Спаси нас Аллах, — добавил какой-то мулла, — этот безбожник не стал кафиром, но, подобно Фир'авну и Намруду с Шаддодом, тоже хочет выдавать себя за бога.

К ним присоединился еще один.

— Я удивляюсь терпению эмира и верховного судьи, — заговорил он. — Тем, кто не знает основ веры, дают тридцать девять ударов плетью, должников убивают за неуплату налогов, а вот этому

человеку, который открыто кощунствует и даже хочет быть подобным богу, не только ничего не говорят, но даже награждают вместе с улемами почетным шелковым халатом, чтобы он мог хвастать.

Лишь только заговорили об эмире и верховном судье, как разговор оборвался. Собеседники словно почувствовали себя придавленными огромной тяжестью, губы их перестали улыбаться, на лицах старших мулл не осталось и следа прежнего волнения и злости, все сразу притихли.

Наконец какой-то пожилой мулла нарушил молчание.

«Благоденствие страны — в руках правителей», — сказано в пословице, — обратился он к последнему из говоривших. — Вот вы вспомнили, что за «незнание основ веры дают тридцать девять ударов плетью». Что же здесь удивительного? Разве это против шариата? Если невежд не будут наказывать, мы очень скоро утратим свою веру. Вот эта самая плеть раисов и меч его величества поддерживают мусульманскую веру. Иначе бы все невежды в один день сошли с пути праведного. Даже «медведь при помощи палки может стать муллой», — гласит пословица.

Говоривший перевел дыхание и продолжал:

— Если бы его величество эмир уклонился от взыскивания податей и налогов, то и он сам, и везири, и верховный судья, а вместе с ними и мы с вами — все бы впали в нищету. Вот теперь мы подошли к тому, почему наши правители ничего не говорят этому безбожнику и еретику... Знаете ли вы, что причиной такого снисходительного отношения является «благоденствие страны»? Его величество верный друг русского царя. Этот еретик уже несколько раз ездил к русским, говорят, что он беседовал с русским царем и даже принял веру христиан. Если его величество начнет угрожать старому безбожнику, то огорчит царя, а из-за этого может пострадать наша страна. Среди такого множества «урусов» оставьте еще одного кафира, пусть он поживет немного, до того как собственными ногами отправится в ад.

Из объяснений старика-муллы я понял, почему обитатели медресе, поднявшие такой шум из-за резиновых и кожаных калош Мулло-Туроба, ничего не могли сделать молчаливому пришельцу, хотя в руках

у него была русская трость. Но мне все еще оставалось неясным, почему они так почтительно здоровались с ним и низко кланялись, а за его спиной сплетничали и говорили о нем столько дурного.

После расспросов я узнал, что этот странный человек был геометр Ахмад-махдум Дониш, которого из-за громадной головы прозвали Ахмад-Калла. Но почему муллы в лицо выражали ему почтение, а за спиной поносили его, по какой причине он сам не отвечал на их приветствия и высокомерно проходил мимо них, — я узнал значительно позднее.

Ахмад-Калла имел дом в квартале Джа'фар-ходжа и жил в нем сам, а в медресе Мир-Араб ему принадлежала келья, в которой поселился его зять. Когда Ахмаду-Калла очень надоедали посетители и нужно было обдумать какой-нибудь сложный вопрос, он удалялся в медресе, ночь проводил в келье, в одиночестве, а на другой день возвращался к себе домой.

* *
*

Однажды произошло событие, которое дало мне возможность услышать слова Ахмада-Калла, и я понял тогда, какой он был великий ученый. Не помню, в тот же самый год или немного позже Дониш, как обычно, пришел в медресе между предвечерним и вечерним намазами. Сидевшие под входной аркой муллы по обыкновению вскочили с мест и с поклонами встретили его. Он и на этот раз не отозвался на их приветствия. Не глядя ни на кого и слегка заикаясь (он немного растягивал слова и повторял их начальные буквы), Ахмад-Калла заговорил, словно обращаясь к самому себе:

— Сегодня ночью в таком-то часу будет затмение луны, оно продлится столько-то минут, всякий, кто в это время подымется на крышу медресе, может сам наблюдать это явление природы, — и пошел дальше.

Когда он ушел, как всегда, послышались негодующие возгласы и жалобы мулл. Раньше я с недоверием относился к их нападкам на Ахмада-Калла и на этот раз не мог оставаться бесстрастным слушателем. Я невольно стал думать, что они правы, так как его слова по-

казались мне очень странными. Я постоянно слышал, что затмение луны происходит из-за того, что «ей неприятно смотреть на грехи». Если действительно сегодня ночью произойдет затмение луны, то не будет сомнений, что он великий ученый. Люди называли его «астрологом» (т. е. предсказателем судьбы). Но если слова его оправдаются, то он несомненно окажется астрономом, а не каким-нибудь предсказателем. На этот раз в нападках и сплетнях мулл я почувствовал зависть и озлобление соперников.

Наступила ночь; в тот час, который указал Ахмад-махдум, большинство мулл и учеников влезли на крышу медресе, я тоже поднялся вместе со всеми.

Ахмад-махдум был там уже раньше всех. Он сидел на покрытой ковриком широкой суфе, которую построил в юго-восточном углу крыши медресе над своей кельей. Напротив него сидел его зять. Возле них стоял фонарь, в котором горела толстая свеча местного производства и освещала его заранее открытые карманные часы. На коленях Ахмад-махдума лежали листки бумаги с рядами цифр. Некоторые цифры были красного цвета, и над ними стояли черные черточки. Между строками с цифрами и на полях бумажек повсюду виднелись вписанные его рукой короткие слова из двух или трех букв, смысл которых был мне непонятен.

Ахмад Дониш внимательно разглядывал эти цифры. Иногда он смотрел на часы, потом обращал взор на ясное небо, где светила полная луна.

Вдруг он сказал, заикаясь:

— С-с-смотрите на небо!

Все подняли головы кверху. Начиналось затмение. Небольшое потемнение луны постепенно усиливалось, это заметили теперь и жители города. На улицах раздался грохот барабанов ночной полиции, отовсюду из дворов послышался звон ударов в подносы, ведра и медные котлы. В течение нескольких минут город наполнился шумом, повергшим в ужас все сердца.

Во время лунных затмений я и у себя в деревне слышал грохот ударов по медным предметам. Но так как народу там было мало, то и грохот не был таким оглушительным. Но в Бухаре, где одновре-

менно из тысячи дворов разносились нестройные удары в сотни барабанов, котлов и тому подобных предметов, этот грохот действовал на нервы.

На губах Ахмад-махдума появилась ироническая улыбка. Словно желая объяснить причину своего насмешливого отношения, он сказал:

— Пройдет положенное время, и луна сама откроется, нет никакой нужды в этом звоне и грохоте. — Потом он добавил:

— Сейчас лунный диск начнет увеличиваться, а еще через несколько минут совсем очистится.

Действительно, минута в минуту, как указывал Ахмад Дониш, луна начала открываться, и лишь только истек срок, который он назвал, на ее сияющей поверхности не осталось никаких следов затмения.

Ахмад-Калла с фонарем в руках раньше всех спустился с крыши, за ним следом с ковриком и листками бумаги спустился его зять, остальные, поговорив немного, пошли за ними. На этот раз муллы осуждали уже «колдовство» Ахмада-Калла. По их словам выходило, что непонятные цифры и слова, написанные на бумажках, были «заклинаниями». Кто занимается такого рода заклинаниями, может подчинить себе джиннов, дивов, пери и даже самого шайтана, и эта погань раскроет ему все тайное. Однако, согласно шариату, запрещается заниматься колдовством и заклинаниями. И все же такие еретики, как Ахмад-махдум, занимаясь колдовством, рассказывают об этом народу и других тоже сводят с пути истинного.

Мой учитель Мулло-Абдусалом во время затмения луны не поднимался на крышу. На следующий день я спросил его на уроке:

— Откуда Ахмад-Калла мог заранее знать о затмении луны?

— Среди людей, постигающих тайны бытия, есть две группы: святые и колдуны, — ответил он. — Святые все, что рассказывают о сокровенном, узнают по божьему вдохновению или по наущению ангелов. Но достичь этой степени познания очень трудно, так как человек должен в течение многих лет под руководством своего духовного покровителя вести аскетическую жизнь. В шариате раскрытие сокровенного святыми называется «чудом», но святые, чтобы сохранить то, что было открыто им Аллахом, никому об этом не

говорят. Что же касается волшебников, то все, что они рассказывают из области сокровенного, исходит от джиннов и пери, которые, будучи невидимыми, находятся в духовном мире рядом с ангелами и воруют у них эти сведения. Распространение же колдунами сведений о тайном в шариате считается «неисправимым грехом», подобного рода дела можно ожидать и от неверных. Чтобы свести людей с праведного пути, колдуны все, что ни услышат от джиннов, рассказывают кому попало. Ахмад-Калла колдун и приятель шайтана, и всякий, кто слушает, что он говорит, сам станет еретиком и другом шайтана.

* *
*

Хотя здесь это и не к месту и история моя очень затянется, все же я остановлюсь еще на одном событии, связанном со словами моего учителя о том, что Ахмад-махдум черпает свои сведения от джиннов.

Спустя два-три года после описанного мною события, когда я со своим учителем читал «Шамсию», нам попался один пример. В нем говорилось, что лунное затмение происходит всегда, когда земля становится между луной и солнцем. Мой учитель так и объяснил мне, как это было написано в книге. В связи с этим я вспомнил о том, как Ахмад-махдум предсказал затмение луны, и обратился к учителю:

— Теперь понятно, что Ахмад-махдум, рассчитав положение луны, солнца и земли, мог заранее определить время затмения луны.

Я напомнил ему о тех цифрах, которые были написаны на бумажке, и вычислениях, производившихся Ахмадом Донишем перед затмением.

Услышав от меня эти слова, учитель нахмурился. Между бровей у него появилась морщинка, и после непродолжительного молчания он сказал:

— Автор этой книги — крупный ученый. А ученые не имеют никакого отношения к шариату и болтают все, что им приходит в голову, они ученики шайтана и еретики. Ахмад-Калла тоже его ученик. Не следует особенно вникать в то, что они пишут.

В словах учителя логики я почувствовал определенную нелогичность и подумал про себя: «Если автор книги „Шамсия" был ученым, а все ученые — еретики и не следует особенно вдаваться в их писания, то почему же их книги в течение многих веков служат учебниками в школах мусульманского мира и даже сейчас мой учитель дает мне урок по этой самой книге?».

До этого времени я считал своего учителя образованным и умным человеком, ведь он не присоединялся к нападкам других мулл на Ахмад-махдума и не принимал участия в сплетнях под входной аркой медресе. Однако в тот день я понял, что он ничем не отличается от других невежественных и безграмотных обитателей Мир-Араба.

* *
*

В первую же весну моей жизни в медресе Мир-Араб мне удалось побывать в доме Ахмад-махдума Дониша. Это счастье выпало мне на долю при следующих обстоятельствах. В дни поспевания тутовых ягод мои хозяева-муллы, которым я готовил обед, захотели пойти куда-нибудь полакомиться ягодами.

К сотрапезникам пришел в тот день их соученик Мулло-Мухиддин. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что рисовал орнаменты, узоры и заставки на рукописях. Мулло-Мухиддин был коллегой Ахмада Дониша и обучался у него некоторым тонкостям своего искусства. Он предложил своим товарищам идти лакомиться тутовыми ягодами во двор к Ахмад-махмуду. По его словам, у Дониша был небольшой сад, в котором росли хорошие тутовые деревья.

— Если хотите, — сказал он, — я вас могу туда отвести.

Мои хозяева охотно приняли его предложение. В этот момент они и не думали о том, что он «еретик, безбожник и друг шайтана». Все «отрицательные» качества Ахмад-махдума не могли служить препятствием к тому, чтобы полакомиться тутовыми ягодами из его сада.

Муллы взяли с собой меня и еще несколько учеников-подростков; нам предстояло трясти деревья и держать под ними паласы для

ягод. По большой улице, примыкавшей к медресе с севера, мы направились в восточную часть города. Чтобы попасть в квартал Джа'фар-ходжа, где находился дом Ахмад-махдума, нам нужно было пройти под куполом Заргарон через ряд золотых дел мастеров, миновать медресе Мирзы Улуг-бека, кварталы Дегрези, Мехчагарон и Калобод. Когда в конце пути мы достигли квартала Джа'фар-ходжа, нам пришлось свернуть с главной улицы направо, к югу. Здесь, в самом конце небольшого тупика, виднелись красивые невысокие ворота.

Мы вошли в ворота. К саду прямо от входа вел навес, увитый виноградом. Под навесом тянулась покатая дорожка; во время дождя вода на ней не задерживалась, а стекала в прорытые по бокам канавки. Обвитый виноградом двускатный навес напоминал крыши на домах в дождливых районах и держался на двух рядах столбов, вбитых по берегам канавок в поперечные бревна.

Возле каждого столба была посажена виноградная лоза; она вилась вверх по столбу до поперечной балки. Лозы пустили отростки, от которых в свою очередь шли ветки и молодые побеги. Изумрудные листья побегов сплошь покрывали всю галерею. По обеим сторонам навеса в шахматном порядке были посажены разнообразные фруктовые деревья, и ряды их по диагонали уходили в глубь сада.

Виноградник вел прямо к небольшой красивой террасе, покрытой алебастром. Над ней находилась мансарда тоже с небольшой террасой, откуда открывался вид на весь сад.

К востоку от нижней террасы стояла высокая просторная беседка на восьмигранных столбах с основаниями, похожими на круглые желтые дыни. Сами столбы были покрашены зеленой масляной краской. На них опирался дугообразный сводчатый потолок под двускатной крышей.

С западной стороны к террасе примыкала высокая длинная суфа, равная по длине и ширине самой беседке. Восточная и южная части террасы были открытыми, а западная упиралась в стенку, здесь была дверь, которая открывалась в какую-то похожую на коридор комнату. Этот коридор вел в зимние помещения: по одну

сторону была мужская половина (мехмон-хона), а по другую — женская (внутренний двор). По обеим сторонам крытого перехода — между зимним домом, беседкой и суфой — был цветник, в котором росли разнообразные яркие цветы.

По словам Мулло-Мухиддина, план этого сада был сделан самим Ахмад-махдумом; постройка, посадка деревьев и цветов производились при его участии. Он был знатоком геометрии и все свои знания и искусство вложил в свой сад.

Слуга Ахмада Дониша встретил нас в самом начале виноградника, повел на террасу, находившуюся между беседкой и суфой, а оттуда по лесенке мы поднялись в мансарду.

На стенах мансарды висели всевозможные карты, а среди них карта полушарий Старого и Нового света; на двух вертящихся столиках стояли большие глобусы земли и небесного свода. Конечно, в те времена я не знал еще ни карт, ни полушарий, не знал даже, для чего они нужны. Мулло-Мухиддин принялся подробно объяснять своим приятелям назначение всего, что мы видели вокруг, я внимательно прислушивался к его словам.

Муллы воспользовались глобусами и картами для насмешек над Ахмадом-Калла. Один из них говорил:

— Кто мог пядь за пядью измерить землю, чтобы изобразить ее так подробно вместе с городами, пустынями и реками? Карты придумали и напечатали несколько мошенников, чтобы обмануть необразованных людей и содрать с них побольше денег.

Другой вторил ему:

— Ахмад-Калла считает себя ученей всех других, а сам первый в Бухаре поверил этому обману, принес карту и повесил у себя на стене. Ха-ха-ха, — засмеялся он, — разве есть на свете что-нибудь глупее этого!

Когда же Мулло-Мухиддин со слов Ахмад-махдума рассказал, что земля вертится и может оказаться между солнцем и луной, они уже без всяких колебаний причислили Ахмада-Калла к безбожникам.

На полках мансарды лежали различные музыкальные инструменты — бубен, тамбур, дутар и рубоб. Муллы и их причислили

к предметам развлечения шайтана, и, по их мнению, это было лишнее доказательство ереси Ахмад-махдума.

Их рассуждения, несмотря на то что я был еще мал, казались мне смехотворными. Когда у нас в деревне устраивались пирушки, отец водил меня туда. Он внимательно слушал пение и музыку и всегда поощрял певцов, музыкантов, танцоров возгласами одобрения:

— Молодец, молодец! Пусть тебе сопутствует удача! Живи долго! Не умирай! Будь князем!

Я верил, что мой отец был самым справедливым человеком на свете, и так же, как он, считал музыкальные инструменты хорошими вещами. Мне очень не понравилось, когда муллы стали осуждать Ахмад-махдума за музыкальные инструменты.

Я вспомнил свою первую поездку с отцом в Бухару, тогда возле медресе Мир-Араб было празднество в честь эмира и все, жившие в медресе, смотрели на танцоров и слушали музыкантов. Почему же муллы не стали в то время доказывать народу еретичность самого празднества и вред музыкальных инструментов и не покинули зрелища? Почему же теперь наличие в доме Ахмад-махдума бубна, дутара и других инструментов явилось основанием для обвинения его в ереси и греховности? Раздумывая так, я пришел к заключению, что все рассуждения мулл бессмысленны, нелогичны и смехотворны.

Нужно отметить, что моя любовь к Ахмад-махдуму была тогда бессознательной. Она родилась в моем сердце из чувства протеста против бессмысленных нападок на него мулл. В то время я по возрасту не знал еще идей и теорий Ахмад-махдума, да и не мог знать. О нем самом я постоянно слышал только от его врагов. Сплетен, наговоров на Ахмад-махдума в той среде, где я жил, было так много, что в моем сердце не смогло не зародиться сомнение в их справедливости.

Слуга дома принес для незваных гостей скатерть с угощением и чай. Нам не было нужды трясти тутовые деревья, так как слуга поставил на скатерть два подноса с тутовыми ягодами, при этом он сказал:

— Ишан немного нездоров, поэтому не может к вам выйти и просит его извинить. (В Бухаре пожилых мулл в знак уважения называли ишанами).

Слуга ушел, а Мулло-Мухиддин, знавший жизнь Ахмад-махдума, сказал:

— Вероятно, болезнь Ахмад-махдума вымышленная, у него такой обычай: он сидит вот в этой мансарде и наблюдает за всеми входящими в ворота и выходящими из них, ему даже видны те люди, которые идут по переулку и по большой улице. Если он считает для себя беседу с пришедшими утомительной и неприятной, он спускается вниз и через дверь, которая имеется в стене террасы, проходит в другую комнату и там ложится, притворившись больным. Старик вас не любит, и нет ничего удивительного, что он, удалившись отсюда, назвался больным.

— Почему он нас не любит? Разве мы такие же еретики, как он? — спросил Кори-бек.

— Я не говорю, что вы еретик или он еретик, — ответил Мулло-Мухиддин, — но я лишь вижу, что между вами и им существует неприязнь. Как огонь не любит воду, так и вода не любит огонь. Поскольку вы его не любите, требовать от него к себе любви неверно и нелогично.

В разговор вмешался мой учитель, Мулло-Абдусалом:

— Ахмад-махдум очень высокомерен, хотя Аллах высокомерие и спесь считает свойствами шайтана...

— На каком основании вы называете Ахмад-махдума спесивым? — перебил его Мулло-Мухиддин.

— На том основании, — ответил Мулло-Абдусалом, — что я сам видел много раз: когда он входит в медресе и все старейшины медресе встают и с большим почтением здороваются с ним, он даже не отвечает на их приветствие. Если это не высокомерие, то что же еще такое?

— Эти самые старейшины, — возразил Мулло-Мухиддин, — встают ему навстречу под входной аркой и почтительно приветствуют, но в душе всячески его поносят, когда же он уходит, они, уже не стесняясь, называют ученого еретиком и кафиром. Ведь вы

этого не можете отрицать? Зачем называть его кафиром? Согласно бухарским законам это значит, что он «достоин смерти». Ахмад-махдум проницательный человек и знает, что вся мнимая почтительность и неискренние приветствия — не что иное, как лицемерие, а он не хочет уличать их и разжигать вражду, поэтому молча показывает, что думает о них, и не отвечает на их приветствия.

Между тем слуга принес блюдо с горячей молочной рисовой кашей, поверх которой растекалось растопленное коровье масло, поставил на скатерть и ушел. Мулло-Мухиддин, замолчавший при входе слуги, теперь снова заговорил:

— Я много раз слышал от Ахмад-махдума: «Ненависть — это худший человеческий порок, я лучше позволю себя убить, чем дам в своем сердце место вражде». Но мы с вами, — Мулло-Мухиддин присоединил и себя к присутствующим, чтобы несколько смягчить неприятное впечатление, которое могли бы произвести на собеседников его слова, — мы с вами настолько привыкли к раздорам, что не считаем их отвратительными. А ведь худшее, что может быть, это когда сердце говорит одно, а язык — другое.

Муллы торопливо ели молочную кашу и не обращали даже внимания на то, что масло текло по пальцам и капало на скатерть. Набив рот кашей, Мулло-Косим спросил Мулло-Мухиддина:

— А по вашему мнению спесь лучше вражды?

— Ахмад-махдум, — ответил Мулло-Мухиддин, — не спесив. Он со всеми обращается ласково и скромно, он даже дружит с неграмотными людьми. Ежегодно Ахмад-махдум выезжает на прогулку в деревню и по-братски общается с простыми крестьянами-земледельцами. Спесь и высокомерие на много фарсахов отстоят от него. То, что он не отвечает на приветствия старейшин медресе, происходит не от его высокомерия, а от того, что ему ненавистны вражда и раздоры.

Мулло-Абдусалом, который раньше всех кончил есть и сидел, вытирая руки, сказал, глядя на Мулло-Мухиддина:

— Ну, хорошо, допустим, Ахмад-махдум и не спесив, допустим, что он ненавидит вражду и раздоры и поэтому не отвечает на приветствия старейшин медресе, но разве он не знает того, что гово-

рят арабы: «Хорошенько принимай гостя, если даже он твой враг». Неужели мы хуже его врагов, что он даже ради приличия не захотел выйти к нам?

— Он знает, что мы будем судачить о нем, — ответил Мулло-Мухиддин, — но все же прислал для нас скатерть с угощением, чай, тутовые ягоды, кашу и даже извинился за то, что сам не мог выйти. Это такое уважение по отношению к незваным гостям, какое мог оказать лишь Ахмад-махдум.

Сытые, не спеша, мы ушли из дома Ахмад-махдума. В квартале Калобод Мулло-Мухиддин отделился от нас, так как там находился его дом. Мои же хозяева до самого медресе не переставали попрекать Ахмад-махдума. Теперь они могли говорить свободно, потому что среди них не было человека, который, подобно Мулло-Мухиддину, принял бы сторону Ахмад-махдума.

Что же касается меня, то я совсем по-другому стал думать с тех пор о Мулло-Мухиддине. Среди соучеников он был известен своей тупостью и неграмотностью. Некоторые из них даже откровенно ему говорили: «Приятель, зачем вы учитесь? Все равно вы не станете хорошим муллой. А кусок хлеба вы всегда добудете письменными принадлежностями — досками, линейками и кисточками». — В ответ он лишь смеялся: «Теленка, отставшего от стада, задирает волк. Поэтому хоть я и не дорасту до степени быка, но для собственной безопасности мне лучше всего быть в стаде».

Я убедился в тот день, что он рассуждает гораздо умнее и толковее своих однокашников, среди которых находился и мой учитель Мулло-Абдусалом.

Учебный 1890—1891 год окончился. Одновременно иссякли и припасы моего брата, он решил ехать куда-нибудь в деревню, чтобы там стать имамом или учителем начальной школы. Один его знакомый, родом из Карши, предложил брату отправиться с ним вместе к туркменам.

— Там я устрою вас учителем в каком-нибудь туркменском ауле, — говорил он.

— Я не только не знаю туркменского языка, — возразил брат, — но даже не владею достаточно хорошо узбекским языком. Как же

я буду учить туркменских детей, которые не знают таджикского языка?

— Для того чтобы быть учителем в туркменском ауле, — возразил туркмен, — не надо знать туркменского языка и ничему учить не нужно. Туркменские баи держат учителя только для одной видимости, чтобы люди говорили: «Такой-то бай открыл у себя школу». Если вы будете в дружбе с ишанами, то станете учителем в каком-нибудь ауле. Их ишаны — хозяева жизни и смерти туркмен. Они имеют мюридов и сами бывают имамами, т. е. присутствуют на свадьбах и похоронах. Но учительством они не занимаются по той причине, что в большинстве своем неграмотны. Однако перед народом они хотят показать, что занятие учительством является делом низким и не подходит к их сану. Вместе с тем они помогают тому учителю, которого уважают, и даже за глаза хвалят его перед народом. В противном случае они говорят: «Этот учитель безграмотен» — и изгоняют его из аула.

Брат решил угодить туркменским ишанам и вместе со своим товарищем в начале месяца хамал (конец марта) уехал в Керкинскую степь.

Я вместе со своими хозяевами оставался в Бухаре до наступления жары и конца плодоношения тутовых деревьев. Когда сотрапезники решили отправиться в деревню, я поехал вместе с ними.

ПОЕЗДКА В ДЕРЕВНЮ

Вместе со своим учителем-репетитором Мулло-Абдусаломом, являвшимся моим основным хозяином и заступником перед остальными сотрапезниками, я направился в деревню Махалла, где был его дом, а оттуда в деревню Махаллаи-Боло к родителям моей матери, у которых жили мои младшие братья.

Но там меня встретило большое горе — я узнал, что этой зимой умер мой самый младший брат Киромиддин. Я его очень любил и возлагал на него в будущем большие надежды. Мои дяди не сообщили мне о его смерти, чтобы не расстраивать меня и не отвлекать от занятий.

Здоровье второго брата, Сироджиддина, тоже оказалось неважным. Он от рождения был слабым, истощенным ребенком, а в доме у бабушки еще больше исхудал и ослабел. Мой младший брат, достаточно крепкий и полный для своих лет мальчик, не смог выдержать постоянного недоедания и голода. Сироджиддин оказался выносливее его и уже немного привык к такой тяжелой жизни. Однако я хорошо понимал, что он хоть и остался в живых, но тоже был недалек от смерти.

Положение семьи деда стало во много раз хуже, чем прежде. По утрам, бросив горсть моша и горсть сорговой муки в большой котел с водой, они варили суп — «мошоба», и каждый выпивал по большой чашке этой жидкой похлебки. В полдень ели горячие лепешки из сорговой муки и запивали холодной водой, а на ужин делали из двух-трех головок лука луковую похлебку — «пиёба» — и ели с той же сорговой лепешкой, иногда вечером готовили жидкую похлебку из моша.

Моя семидесятилетняя бабушка от пережитого горя и лишений не могла уже двинуться с места. Дедушка, которому перевалило за восемьдесят, казался не крепче своей жены. Крестьянствовал только один мой дядя Равшан-Ниёз. За те несколько дней, что я у них прожил, мне удалось приглядеться к его работе. С поля дядя возвращался поздно, когда уже было совсем темно, заходил к матери и съедал что-нибудь горячее, оставленное стариками для него; он печально смотрел на своих родителей, и в глазах его блестели слезы. Ни проронив ни слова, он шел к себе, ложился спать, а утром выпивал чашку жидкой похлебки с мошем, клал за пазуху сорговую лепешку и шел в поле.

Как говорила моя бабушка, Равшан-Ниёза бог создал только для труда.

— Даже в те годы, — рассказывала она, — когда мы жили не так плохо, он молча работал и ничего для себя не требовал. Но он тогда не был таким печальным и расстроенным. В последние годы наша жизнь очень ухудшилась. Во время эпидемии на поле ничего не уродилось, в прошлом году хотя и был небольшой урожай, но, кроме трех манов (двадцати четырех пудов) моша и пяти манов (сорока

пудов) сорго, больше ничего не осталось. Взятые в долг у Абдурахимбая семена мы отдали ему прямо с тока в двойном размере. Земельный налог и десятую часть урожая для вакфа проклятый амлокдор и арендатор-безбожник взяли с нас в тройном размере; кроме того, они взыскали налог за урожай того года, когда была эпидемия и ничего не уродилось. Вот с тех пор Равшан-Ниёз всегда находится в таком удрученном состоянии, и я боюсь, что он долго не протянет.

Самый младший дядя, Ниёз-хон, был пастухом и бóльшую часть времени зимой и летом проводил со стадами своих и чужих баранов в Кызылской степи. По словам бабушки, бараны, оставшиеся без присмотра в год эпидемии, сильно отощали и бóльшая часть из них пала. Ягнят нынешнего приплода решили не резать в надежде на увеличение поголовья стада, поэтому у овцеводов не было каракулевых шкурок для продажи и они не получали никаких доходов. Часть собранной овечьей шерсти обычно расходовалась на оплату труда пастухов. Все это теперь шло сборщику закета в счет долга за баранов, погибших в год эпидемии, и содержание моего дяди-пастуха легло тяжелым бременем на плечи неимущих крестьян.

Другой мой дядя, Курбон-Ниёз, оставшийся в семье старшим после смерти дяди Мулло-Дехкона, после того, как казий Абдулвохид ушел со своего поста, перестал служить в канцелярии казия и занялся очисткой хлопка. Он брал по весу у скупщиков местный хлопок, очищал его от семян с помощью станка, чесал, взвешивал вату и семена и возвращал баю; за свой труд он получал ничтожную плату.

Бабушка говорила:

— Мы с дедушкой живем лишь благодаря трудолюбию твоего дяди Курбон-Ниёза. На заработанные деньги он покупает для семьи самую необходимую одежду, иногда приносит еще немного мяса и леденцов, что придает силы нашим немощным телам.

По словам бабушки, все это Курбон-Ниёз добывал лишь потому, что работал сверх силы. Иначе незначительного дохода от очистки хлопка ни на что не могло бы хватить.

Меня поражала работоспособность этого железного человека. Когда я там был, сезон очистки хлопка уже кончился, но, несмотря

на это, Курбон-Ниёз ходил к скупщикам и добывал у них один-два мана неочищенного хлопка. Он приносил хлопок домой и вместе со своей женой и женой Равшан-Ниёза приступал к его сортировке. Когда некоторая часть хлопка была рассортирована, он принимался за работу, и вал станка, у которого он сидел, вертелся быстро, как мельничное колесо. Мы, достававшие хлопок из коробочек, — две женщины, я, помогавший им, и двое стариков, старавшихся по мере своих сил быть хоть чем-нибудь ему полезным, — не поспевали подавать хлопок.

Другой мой дядя, по имени Али-хон, был младше Курбон-Ниёза и Равшан-Ниёза, но старше Ниёз-хона. Хоть он и жил в усадьбе у отца, но вместе со своей семьей отделился от него. Он занимался мелочной торговлей чаем на базаре. Капитал его состоял из одной лошади, переметной сумы с чаем и небольших весов с гирями. Каждый день, кроме пятницы, он отправлялся на какой-нибудь базар в окрестностях и там, усевшись на небольшую суфу или под навес, продавал свой товар. Когда чая оставалось мало, он ездил в Гиждуван или Бухару и покупал его у оптовых торговцев.

Еду они готовили отдельно от других членов дедушкиной семьи и питались лучше их. Жена Али-хона не принимала никакого участия в домашних работах. Она была родом из Гиждувана и занималась тем, что стегала толстые ватные халаты гиждуванского покроя. По словам Курбон-Ниёза, доходы у Али-хона были неплохие. Он имел также прибыль от ремесла жены. Однако дядя был очень скуп и совершенно не заботился о своих родителях.

Бабушка так рассказывала:

— Каждый день Али-хон ездит на базар. Но еще не было случая, чтобы он привез с базара мне или отцу сдобную лепешку, хотя наши старые желудки не могут переварить эту несчастную сорговую лепешку. Однажды дедушка решил все же попросить его принести с базара сдобную лепешку. Он не принес и сослался на то, что на базаре лепешек не продавали. Однако и малому ребенку было ясно, что он говорит неправду.

Когда мы оставляли своих младших братьев в доме у деда, нам были известны стесненные обстоятельства семьи, но мы надеялись,

что наш дядя-торговец не даст своим племянникам умереть с голоду. Со слов бабушки мне стало ясно, что он ничем не помогал моим братьям. Я никак не мог понять такую бесчеловечность и с недоумением спросил бабушку:

— Значит, выходит, что Али-хон почти не заботился о моих братьях. А ведь вся надежда была на него.

— Он не только почти не заботился, — ответила бабушка, — он совсем не заботился о них! Киромиддин от грубых сорговых лепешек заболел несварением желудка. Он съедал лепешку, и сразу же у него начиналась рвота. Проходило немного времени, он снова просил есть, и я опять давала ему сорговую лепешку, все повторялось, как и раньше. Этот полный мальчик в течение месяца стал тоненьким, как лучинка, он таял, словно снег. Один раз мы попросили у Али-хона и его жены пшеничную лепешку для ребенка. Они ответили, что у них ничего нет, и не дали, а сами каждую неделю выпекали целую печь пшеничных лепешек.

Бабушка тяжело вздохнула и продолжала:

— Уж не будем говорить о том, что он не помогал твоим братьям, ведь он хотел вам самим предъявить иск.

Меня очень удивили слова бабушки. Какие претензии мог предъявить нам дядя? Между ним и нашей семьей никогда не было никаких денежных или имущественных отношений. Я подумал, что Али-хон, вероятно, ничего не сказал своим родителям о полученном от нас возмещении за похороны нашей матери и требовал, чтобы мы его отблагодарили. Этими мыслями я сразу же поделился с бабушкой.

— Чего́ хочет от нас дядя? — спросил я ее. — Ведь мы с излишком возместили ему все, что он израсходовал на́ похороны нашей матери.

— Нет, причина другая, — ответила бабушка.

По ее тону мне стало ясно, что претензии у Али-хона более серьезные. Я очень расстроился. Меня возмущало бессердечное отношение к нам родного дяди и тревожили его недобрые намерения

В конце концов я сердито спросил бабушку:

— Какие это претензии, высосанные из пальца?

Бабушка заметила мое огорчение и раскаялась в том, что мне все это рассказала. Решив как-нибудь замять разговор, она пояснила:

— Али-хон из-за мелочной торговли стал скаредным и жадным. Он подражает крупным баям и всем, кому нужно или не нужно, предъявляет иски. Я состарилась, в голове у меня пусто, поминутно все забываю и сама не знаю, что говорю, ведь о его претензиях к вам я ни от кого не слыхала и ничего о них не знаю.

Конечно, меня не могла успокоить такая ее непоследовательность, и беспокойство мое не уменьшилось. Однако на следующий день его намерения мне стали уже ясны.

* *
*

По воскресеньям в деревне Дехнави-Абдулло-джон был базар. Площадь, где шла торговля, находилась поблизости от нашей деревни. Вместе со своим старшим дядей, Курбон-Ниёзом, я отправился на базар. Мы сели возле лотка дяди-чаеторговца, расположившегося на высокой суфе. Там вскоре собралось несколько знакомых, пришедших купить чай. Речь шла о том, можно ли распознать качество сухого чая. Одни говорили, что пока чай не заварят и не попробуют, нельзя судить о его достоинствах; другие утверждали, что даже если заварить чай и сразу начать его пить, то все равно не узнаешь, каков он, нужно дать ему настояться: если за это время цвет чая не изменится и не появится какой-нибудь посторонний запах, значит чай высшего сорта. Находились и такие, которые доказывали, что качество сухого чая можно сразу определить по его цвету и запаху.

В разговор вмешался Курбон-Ниёз.

— Распознать заранее можно все, что угодно, — чай, муку, рис, — нужно лишь иметь небольшой опыт. Только одно на свете совершенно невозможно распознать, даже если у тебя будет многолетний опыт, всегда обнаружится что-то ранее не известное. Это непознаваемое — человек. Некоторые утверждают, что личные свойства людей можно определять по их происхождению. Если у кого-либо отец, мать, деды и прадеды были порядочными людьми, то и он хорош, если же они были плохими, то и он ничем от них не отличается.

Это неверно. По породе можно судить лишь о достоинствах и недостатках животных. Но человек не имеет породы. Каждый рождается со своими чертами характера, получает воспитание и вырастает.

Дядя выпил находившийся у него в руке чай, отдал пиалу своему брату Али-хону и, бросив на него острый взгляд, продолжал:

— Не только чужих людей, но даже близкого человека или родственника нельзя распознать; целую жизнь можешь его изучать и решишь уже: «Ну вот, теперь я его понял», — а он вдруг такое выкинет коленце, что тебе никогда и в голову не приходило. Вот, например, мой младший брат Али-хон...

Взоры сидящих с удивлением устремились на Али-хона, который с сомнением и тревогой смотрел на старшего брата. Казалось, что его охватило внутреннее волнение и он с нетерпением ждал, что скажет брат о его характере.

Курбон-Ниёз продолжал:

— Мы с ним дети одних и тех же родителей, только я старше его на восемь лет. Могу сказать, что я сам вырастил Али-хона и, казалось бы, должен хорошо знать его свойства. Но только в этом году я убедился, что все еще не понял своего брата как следует.

— Почему? Как? — посыпались отовсюду вопросы.

— А вот как! Со мной здесь мой племянник, — он показал на меня, — сын моей сестры, которая тоже происходит от тех же родителей, что и мы. У него есть еще и старший брат, которого многие из вас знают. В этой семье были еще два брата, один из них умер этой зимой. Теперь их осталось трое. В год эпидемии они лишились родителей и оказались в очень тяжелом положении. Несмотря на это, два наших старших племянника стали учиться в Бухаре. И вот теперь мой родной брат, торговец, вместо того чтобы помочь им, решил предъявить иск.

— Как? Каким образом? — опять послышались отовсюду недоуменные вопросы. У меня сильно забилось сердце и стеснилось дыхание. Прошло уже два дня после разговора с бабушкой, а мысль о неведомых намерениях Али-хона не оставляла меня и словно тисками сжимала мое сердце. Однако сколько я ни думал об этом, ничего путного не приходило в голову. Теперь, наконец, наступило

время узнать обо всем, но у меня уже больше не было сил ждать объяснений Курбон-Ниёза. Мне хотелось сразу же без слов понять, в чем суть дела, как бы увидеть воочию, что нам грозит, и освободить сердце от тяжести.

Курбон-Ниёз неторопливо продолжал.

— Когда мою сестру отдали замуж, то по обычаю во время совершения брачного обряда потребовали, чтобы родственники жениха установили «махр» — обеспечение невесте на случай развода. Родственники зятя определили в «махр» садик, которым он владел в деревне Соктари.

Удивление слушателей все больше возрастало, но никто не мог понять, какое отношение имеет этот рассказ к иску Али-хона. Я же испытывал еще большее чувство удивления, смешанное со злостью.

— Вот мой брат-торговец, — говорил Курбон-Ниёз, — не знаю от кого, услышал, что после смерти их отца садик должен был перейти по брачному договору в собственность нашей сестры, а из двух танобов земли ей в наследство оставалась восьмая часть, что составляет четверть таноба. Вместе с четвертью таноба сада это будет уже полтаноба. Сестра умерла еще при жизни наших родителей и согласно шариату шестая часть ее имущества досталась им в наследство. Вот теперь наш брат-богатей захотел от имени своих родителей предъявить иск племянникам и отобрать у них шестую часть от этих полтаноба.

— Ай, ай! — горестно восклицали и качали головами слушатели. Не знаю, было ли стыдно Али-хону или нет. Но мне было стыдно, что у меня такой дядя, и я не мог смотреть в глаза ни ему, ни людям.

— Вы только подумайте, — опять заговорил Курбон-Ниёз, — какая это мерзость и жадность! Я знал, что брат мой скверный человек, я давно уже понял, что ему не жаль ни своих родственников, ни даже отца с матерью, я знал, что он себялюбив, эгоистичен и спесив, но что он пал так низко, я убедился лишь теперь.

Выпив чаю, Курбон-Ниёз снова заговорил.

— Если он все же предъявит свой иск и отнимет шестую часть от этих полтаноба у племянников, ему-то ничего не достанется, потому что земля считается собственностью наших родителей. Но после их

смерти, если этот торгаш будет еще жив, то вместе с другими пятью наследниками может получить свою долю, которой не хватит даже на то, чтобы купить одну нимчу чая (пятьсот грамм). Отец с матерью не дали своего согласия на совершение такой подлости, а без их доверенности он не может предъявить иск от их имени. Но он каждый день терзает своих немощных родителей и грубо требует от них доверенности на свое имя для предъявления иска.

Теперь, после рассказа Курбон-Ниёза, мне стало немного легче, я поднял голову и посмотрел на сидящих. Вдруг я встретился глазами со своим дядей-торговцем: он сидел, обливаясь по́том, опустив голову, и не мог смотреть ни на кого из нас. Чтобы облегчить его положение, покупатели и те, кто пили чай на суфе, постепенно разошлись.

Когда мы остались одни, Али-хон, не поднимая головы, сказал брату:

— Не нужно было позорить меня перед людьми.

— Я хотел хорошенько тебя наказать, — ответил Курбон-Ниёз. — Если бы я тебя отколотил или даже переломал руки и ноги, такое наказание все равно бы не могло искупить твоего греха и не было бы от того никакой пользы. А драка с тобой очень огорчила бы отца с матерью. Для тебя это ничего не значит, но для меня это было бы великим грехом. Я долго думал и решил, что самым лучшим наказанием будет пристыдить тебя на глазах у народа, чтобы ты навсегда бросил свои мерзкие дела. Если ты перестанешь дурно обращаться с отцом и матерью, я буду считать наказание достаточным, а себя — вполне счастливым. Но смотри, если ты опять пойдешь прежним путем, то будь готов к тому, что я тебя опозорю еще сильнее!

Меня очень обрадовал этот разговор. Во-первых, я узнал, что замышлял против меня Али-хон, и был свидетелем того, как посрамили его без моего и братьев вмешательства; во-вторых, мне стало ясно, что за люди оба мои дяди. Теперь я убедился, насколько мой дядя-торговец был черствым и гнусным скрягой, а дядя — чесальщик хлопка — благородным и умным человеком.

Оба они были детьми одних и тех же неграмотных родителей, воспитывались и выросли в одной и той же деревенской среде.

Однако я тогда не понимал еще, что на дядю-торговца оказывали влияние поступки и душевные свойства купцов и он перенял у них скаредность и жадность, а старший дядя, кроме того, что жил честным трудом, испытал на себе благотворное влияние казия Абдулвохида Сарира, крупного поэта и ученого, принадлежавшего к единомышленникам Ахмад-махдума Калла.

* *
*

Курбон-Ниёз решил навестить своего младшего брата — пастуха.

— Если ты хочешь, — предложил он мне — то я возьму тебя с собой.

Я с радостью согласился. Только степной ветер мог выветрить из меня гнилостный воздух города Бухары. Курбон-Ниёз велел испечь для нас целую печку сорговых лепешек и положил их в переметную суму. Мы оба сели на ослов и отправились в дорогу. Лишь только мы выехали за деревню, как воздух стал более свежим и приятным. Когда мы пересекли старое русло Шофуркомского канала и оказались за пределами населенных мест, стало еще лучше. Несмотря на то, что наступило уже начало лета, благодаря обилию дождей весной дикие степные травы все еще были свежими и зелеными, повсюду виднелись лужайки с пестрыми тюльпанами.

Дяде, по-видимому, стало скучно ехать молча, и он заговорил обо всем, что видел и слышал. Прежде всего он начал рассказывать мне о казии Абдулвохиде и с волнением вспоминал, каким он был хорошим человеком.

— Почему же вы после ухода с поста казия Абдулвохида не перешли служить к какому-нибудь другому казию? Разве чесание хлопка не кажется вам тяжелым трудом? — спросил я дядю.

— Когда покойный казий оставил свое место в Гиждуване и решил переселиться в Бухару, — начал он, — мы, несколько преданных ему служащих, помогли перевезти в город вещи и семью. Он пригласил нас на ночь к себе в гости. На следующее утро, несмотря на недомогание, он позвал меня к себе и спросил: «Ты хочешь слу-

жить у другого казия?». Я в то время думал, что все казии похожи на него, и поэтому без смущения ответил: «Да, хочу». Он задумался, но через минуту поднял голову и сказал: «Все казии богоотступники и угнетатели, у них в доме можно научиться только дурному». Он еще немного подумал и добавил: «Сын Ориф-хона 'алама, Порсо-хон, на-днях стал казием. Весьма возможно, что он еще не привык быть несправедливым и жестоким. Ладно, если ты хочешь и дальше служить у казиев, то я пошлю тебя к нему. Несколько других близких мне служащих тоже просили устроить их куда-нибудь, я их вместе с тобой решил направить к нему и всем вам дам одно письмо». Нас было пять человек. В тот же день с письмом казия Абдулвохида мы отправились в канцелярию казия Порсо-хона, находившуюся в тюмене Гаждумак. Мы передали ему письмо. Спустя два дня он пригласил нас всех к себе и расспросил, долго ли мы служили у казия. Потом сказал: «Обычаи и действия у казия Абдухвохида, к которым вы привыкли, были одни, а у нас, молодых казиев, — совсем иные. Его величество оценивает нас по тому, как мы служим государству и как стараемся угодить лично ему. Мы своих служащих тоже будем оценивать по их верной службе для нас. Только тот из служащих казия может считаться опытным и хорошим работником, кто умеет получать от народа как можно больше денег за приложение печати, а с тяжебщиков взыскать побольше взносов и половину их отдает своему начальнику — казию. Если вы станете так служить, то и я буду вами доволен, и его величество будет рад. Вместо одной лошади вы приобретете две и заживете припеваючи. А не то ступайте и займитесь каким-нибудь другим делом». Услышав это «наставление» молодого казия, я, не спросившись у него, вернулся домой и с тех самых пор занялся чесанием хлопка.

— Ну, а что дает вам это ремесло? — спросил я его.

Помолчав немного, дядя ответил:

— Вообще-то чесание хлопка — занятие неплохое, для здорового и сильного человека не такое уж и трудное, и если работодатели честно расплачиваются, то можно хорошо жить на этот заработок. Однако, к сожалению, все скупщики хлопка, являющиеся работодателями, воры и мошенники. Во время взвешивания они дают че-

сальщикам хлопка «вместо причитающейся целой лепешки лишь маленький ее кусочек», иначе говоря — жестоко их обманывают.

Здесь дядя кратко рассказал мне о том, как во дворе Абдурахим-бая брали у крестьян по весу хлопок и выдавали его чесальщикам, о происходивших при этом ссорах и спорах, которые обычно разрешались в пользу скупщика в канцелярии казия. Все это я изобразил впоследствии в первой части романа «Рабы» и вывел там образ своего дяди под именем Рустама-Тути-Бурута.

* *
*

В это время мы подъехали к заболоченному каналу, который при таянии снега наполнялся водой из пересыхающего летом канала Джильвон. Я спросил, имеет ли название этот канал.

— Он называется Тезгузар, по имени деревни, которую орошает во время половодья.

Меня всегда интересовало не совсем ясное значение некоторых слов и их связь с предметами. Я обратился к дяде:

— Почему эту деревню назвали Тезгузар?

В ответ дядя рассказал мне народное предание. По его словам, в старые времена здесь на берегу однажды сидела прекрасная байская дочь. Она пила воду, зачерпнув ее большой чашкой из канала.

В это время из степи к каналу пришел молодой пастух. Он увидел девушку и остановился, пораженный ее необыкновенной красотой.

— Что за удивленный взгляд? — спросила девушка.

— Я безумно влюбился, — ответил молодой пастух.

Девушка протянула ему чашку.

— Возьми чашку и наполни ее золотом!

Молодой пастух ответил:

— Я беден, путник я!

Байская дочь рассердилась.

— Так не стой же здесь, проходи скорей!

Вот почему деревня с тех пор называется *Тезгузар*.

* *
*

За каналом Джильвон мы подъехали вскоре к мазару Чиль-Духтарон. Этот мазар стоял на краю степи. Вблизи от него не было ни деревень, ни глинобитных стен, ни деревьев, ни полей. Повсюду рос лишь низкий кустарник, обглоданный проходившими в глубь степи стадами.

Дядя рассказал мне о мазаре Чиль-Духтарон старинную сказку. В давние времена, говорил он, в деревнях Тезгузар и Боги-Афзал рабство достигло больших размеров. В этих двух деревнях жили сорок юных рабынь, которых очень угнетали их хозяева.

Настало время, «когда душа больше уже не могла терпеть, а нож дошел до костей», и девушки, сговорившись, дождались ночи, когда их хозяева уснули, и убежали в степь.

Узнав о побеге, их хозяева подвязали к поясам мечи, сели на быстроногих коней и пустились в погоню. У канала Джильвон-Руд они заметили девушек и поскакали за ними.

При приближении хозяев рабыни стали молить бога укрыть их под землей, чтобы они снова не попали в лапы своих безжалостных мучителей и не подверглись невыносимым истязаниям.

Аллах принял их молитву и разверз землю. Все сорок девушек спустились в образовавшуюся трещину, а земля сошлась по-прежнему, и никто не мог понять, куда девались рабыни. Вот почему это место называют Чиль-Духтарон — «сорок девушек».

Миновав мазар, мы оказались в месте, которое называлось Хариз; там раскинули свои юрты скотоводы из деревень, относящихся к району Дехнави-Абдулло-джон. Их слуги сбивáли и перетапливали масло, жарили молодых барашков. Пастухи же перегоняли отары баранов по всей степи. Среди скотоводов был и мой дядя, пасший порученных ему овец. Позже я услышал от дяди предание, в котором название Хариз связывалось со сказкой о сорока девушках, но здесь неуместно его приводить.

Курбон-Ниёз отвел меня в юрту своего брата, а сам отправился на розыски и спустя час привел его. Дядя Ниёз-хон угостил нас

кислым молоком и занялся приготовлением сорговой каши. Жизнь пастухов и то, как они варили свою кашу, я изобразил в третьей части романа «Рабы».

Курбон-Ниёз улегся спать в юрте. Я тихонько отошел от жилья и решил прогуляться. Степь была покрыта небольшими холмами красного песка и низенькими бугорками. Миновав два-три холма и бугра, я услышал несущуюся откуда-то грустную мелодию пастушьей свирели.

Я перебрался еще через несколько холмов и подошел к месту, откуда раздавались звуки свирели. Там на холме сидел старик лет восьмидесяти, это был пастух Бобо-Гулом, сын которого Эргаш считался молочным братом Мухиддина. Выгнав пастись отару своего хозяина в степь, старик наигрывал на свирели.

В детстве я много раз встречал этого человека, но ничего толком не знал о его жизни. Увидев меня, он отложил в сторону свирель и стал расспрашивать, как мы жили после смерти родителей.

Я очень кратко рассказал ему о себе и братьях, потому что хотел поскорее узнать о его собственной жизни. Мне приходилось слышать, что он был рабом; его в раннем детстве захватили во время набега разбойники-туркмены. Я с нетерпением ждал, чтобы он сам поведал мне о прошлом.

Старик подробно рассказал о себе и своих земляках. Это был тот самый Рахим-Дод, которого продали в семилетнем возрасте под именем Некадама в деревню Махаллаи-Боло Абдурахим-баю. История его легла в основу сюжета первой части романа «Рабы».

Я так увлекся рассказом Бобо-Гулома, что забыл о своих дядях и надвигавшейся темноте. Вдруг мне послышалось, что кто-то меня зовет. Я встал во весь рост на вершине холма и посмотрел туда, откуда слышался голос: мой младший дядя, Ниёз-хон, стоял на бугорке и, сложив руку трубочкой, звал меня, поворачиваясь во все стороны.

Я тотчас же откликнулся, подбежал к нему, и мы пошли в юрту. Курбон-Ниёз очень беспокоился, что меня долго не было, он боялся, как бы я не попал в лапы к волку. Поев каши, мы с Курбон-Ниёзом

отправились в обратный путь и в три часа ночи вернулись в дом деда.

Теперь мне предстояло решить вопрос об оставшемся в живых другом младшем брате — Сироджиддине. Если он и дальше будет оставаться в семье дедушки, думал я, то непременно умрет, поэтому я решил взять его с собой в город; что бы там ни случилось, он всегда будет со мной. Однако до того, как возвращаться в город, мне нужно было сходить к нам домой в Соктари. Мне не хотелось расставаться с братом, и я взял его с собой.

Дядя Курбон-Ниёз довел нас до Гиждувана, а оттуда мы вместе с возвращавшимися с базара соктаринцами отправились к себе в деревню. Бедственное положение моих родственников, разрушающийся дом и двор очень меня расстроили. Тута-пошшо умерла, и дом ее совсем развалился. Двор зарос какой-то сорной, вонючей, теперь засохшей травой, дверь дома была распахнута настежь, а шкурка, которая служила Туте-пошшо единственной подстилкой, лежала на полу в куче старой ваты. Когда я вошел в дом, чтобы помянуть старуху и «развеселить ее дух», из груды ваты выскочила спавшая там одичавшая кошка; фыркнув, она выбежала на двор. Это была единственная наследница Туты-пошшо.

Оттуда я направился в дом к Султон-пошшо, жене Иброхим-ходжи. Она была больна, а возле нее лежал заболевший вместе с ней мальчик лет четырех. За ними ухаживал племянник ее мужа — Хомид-ходжа.

Увидев меня, Султон-пошшо стала расспрашивать о нашей жизни и велела мне не смотреть на дом Туты-пошшо, потому что «там поселился Семиголовый див». По-видимому, она в бреду сочла одичавшую кошку за Семиголового дива. Я спросил ее о муже.

— Он находится на мазаре, где проводит чиллю — сорокодневье, — и вот уже целый месяц, как не возвращается домой.

От Султон-пошшо я пошел в дом к Усто-амаку. Там вместо веселого, общительного, энергичного дяди нашел близкого к смерти человека, у которого не хватило сил даже на то, чтобы разговаривать. Он был очень слаб и еле слышным голосом спросил, как я живу. Потом сказал мне, что болеет с самой зимы, не может совсем рабо-

тать и вынужден был по дешевке продать сыновьям казия кусок земли.

Я спросил о его сыне Икром-ходже.

— С тех пор, как я заболел, больше его не видел. Не спросив у меня разрешения, он сел на осла и уехал. Говорят, что он живет в Вобкенте у родни своей матери. Если ты увидишь в городе Сайид-Акбара, — продолжал дядя, — то передай ему, что я болен, пусть он навестит меня и похоронит, когда я умру.

В доме возле больного Усто-амака находилась его жена, две дочери и новорожденный младенец; они тоже выглядели так, будто много месяцев проболели.

Состояние нашего дома привело меня в полное уныние. Оставшиеся без воды фруктовые деревья в садике и возле суфы наполовину засохли, место, где я сажал тыквы, заросло сорными травами и колючками. Одеяла были прогрызены мышами, а войлоки съедены молью.

Старший брат разрешил пользоваться нашей землей одному крестьянину, я зашел к нему. По его словам, он засеял хлопком один таноб земли, но все стебли хлопка засохли и урожая не хватило даже на покрытие собственных трудов. В конце разговора крестьянин предложил продать землю ему самому или сыновьям казия. Но я не согласился и сослался на то, что ничего не могу сделать без разрешения старшего брата.

Мне нужно было придумать, как обеспечить на лето свое и младшего брата существование. Пришлось приступить к распродаже домашнего имущества. Прежде всего я продал проеденные мышами одеяла и стеганые на вате подстилки, съеденные молью войлоки, котлы и тарелки. Потом продал отцовский ткацкий станок и инструменты по вытачиванию мельничных колес. Благодаря этому летом мы неплохо питались и на лице у брата заиграл румянец.

На эти же деньги мы справили себе рубашки и штаны.

Многие мои односельчане, старики и люди средних лет, уцелевшие в эпидемию, умерли этой зимой. Земли их в оплату расходов по похоронам перешли к сыновьям казия, которые стали самыми крупными землевладельцами в нашей деревне. Дети погибших сде-

лались издольщиками или батраками. Среди людей, умерших в ту зиму, был и Лутфулло-толстяк, которого мне было особенно жаль.

И все же условия жизни в Соктари показались мне более сносными, чем в Махаллаи-Боло. Люди здесь хотя бы не томились из-за отсутствия воды. Посреди деревни протекал большой канал, и до реки Зеравшан тоже было недалеко.

В те дни я заметил в Соктари нечто новое, чего раньше никогда не встречал. К имаму нашей деревни приехал погостить мулла-дарвазец по имени Мулло-Шох. Он был близок к завершению курса обучения и очень интересовался литературой. В то лето имам часто болел, редко выходил из дома, и Мулло-Шох на террасе мечети сам занимался с учащимися местного медресе. Вместо обычных уроков они чаще всего знакомились с литературными произведениями. Собрав вокруг себя учеников, он читал им стихи Бедиля.

Узнав об этом, я каждый день приходил к мечети и садился среди его учеников. В руках у Мулло-Шоха был рукописный диван избранных произведений Бедиля, откуда он читал газели по бейтам и разъяснял их ученикам.

Однажды он читал газель Бедиля, начинающуюся со следующего бейта:

И сердцу слабых стойкость дарует о стане твоем мечта;
Сражает сияньем того, кто взглянет, лица твоего красота.

Когда он дошел до следующего бейта, то прочел его таким образом:

*Пьянит твой томный взгляд сильнее, чем сто кувшинов вина,
Краса твоя несравненна, и жизней стоит, таких как я, более ста.*

Он толковал этот стих так же, как и читал. Но мне показалось, что слова «как я» (чу ман) не очень сюда подходят. Я, наклонившись, заглянул в открытую перед ним книгу. Действительно, в рукописи было написано «как я» (чу ман). Мне пришло в голову, что здесь, возможно, сделана описка, потому что *я видел когда-то в другой такой же рукописи слово «зеленый луг» (чаман)*. Однако я не решился высказать свои сомнения в присутствии взрослых.

Мулло-Шох продолжал читать Бедиля:

Отточены блеском лукавого взора лезвия дивных ресниц.
Пьянят твои очи хмельнее крови, которой груша, созрев, налита.

По его чтению и объяснению выходило, что груша (нок) полна крови.

Один из учеников, Мулло-Бахром, мой земляк стал возражать против такого толкования.

— У нас во дворе растет грушевое дерево, — сказал он, — и каждый год плодоносит, но я никогда не видел, чтобы плоды груши были полны крови или хотя бы внутри были красны, как кровь.

Но Мулло-Шох не сдавался.

— У нас в Дарвазе, — возразил он, — есть такие груши, что только дотронешься до них ножом, из них, словно из зарезанного петуха, брызжет сок, красный, как кровь, и руки окрашивает в алый цвет.

Я подумал про себя: «Как хорошо, что из дарвазских груш не брызжет кровь, как из зарезанного барана. А то, пожалуй, у всех, кто ест эти „груши", руки, лицо, голова, вместе с чалмой, халатом, калошами и сапогами, — все было бы залито кровью!».

Но при этом я подумал, что там было написано не «нок» (груша), а «ток» (виноградник), и, расхрабрившись, как Мулло-Бахром, высказал свое предположение учителю — «знатоку Бедиля». Но на этот раз он не счел необходимым упорствовать и сказал:

— Может быть, на самом деле там было «ток», но *неграмотный переписчик написал «нок»* и ввел нас в заблуждение.

Воспользовавшись удобным случаем, Мулло-Бахром заявил, что у виноградника тоже нет крови. Однако учитель привел много примеров из поэзии и убедил его.

— По выражению поэтов, — говорил он, — кровь виноградника — это вино.

При большом числе ошибок рукописи и неправильном толковании газелей Бедиля учителем многое мы поняли неверно. Однако сама попытка ознакомить учеников медресе с литературой была отрадным явлением для деревни.

Раньше мне не приходилось присутствовать на таких занятиях не только в нашей деревне, но даже и в бухарском медресе Мир-Араб.

* *
*

Когда начал поспевать виноград, мы с младшим братом вернулись в дом деда. Там в саду у него мы несколько дней лакомились виноградом. Но уже приближался месяц мизон — сентябрь, — когда начинались занятия в бухарских медресе, и я стал готовиться к возвращению в город. Дядя Курбон-Ниёз собрался отвезти нас с братом в Бухару.

ПО ДОРОГЕ В ГОРОД. МАДЖИД ИЗ ДЕРЕВНИ КАХКАШОН

Дядя Курбон-Ниёз посадил меня с братом на осла, сам сел на другого, и мы отправились в путь. Ослы были старые и тощие, нам приходилось много раз останавливаться и пасти их. Спустя час после наступления темноты мы добрались до Гала-Осиё, откуда до города оставался еще один фарсах (восемь километров), городские же ворота закрывались сразу после последнего намаза и до первого утреннего намаза въезд в город прекращался. Нам нужно было искать пристанища на ночь. Желая избежать лишних расходов, дядя не остался ночевать в чайной у базара Гала-Осиё и сказал нам, что мы остановимся по дороге у какого-нибудь знакомого.

Мы проехали еще полфарсаха и достигли деревни Кахкашон, расположенной как раз на полпути между Гала-Осиё и городом.

Дядя подъехал к каким-то воротам и постучался. Никто долго не выходил. Только после того, как он постучал еще несколько раз, появился, наконец, человек, открыл калитку и спросил:

— Кто вам нужен?

— Это усадьба Маджида?

— Да. Что скажете?

— Мы ехали в город, запоздали. Если разрешите, то эту ночь мы проведем здесь, — сказал дядя.

— Пожалуйста, — ответил встречавший нас и распахнул ворота.

Мы въехали во двор. Из мехмон-хоны вышел еще один человек, и они вдвоем отвели наших ослов под навес, а нас проводили в мехмон-хону.

Это была небольшая комната с пятью балками в потолке. Ближе к почетному месту находилось сандали́, по обеим сторонам которого сидели два старика и доставали из нераскрывшихся коробочек хлопок. На полу лежали вороха хлопка, а на сандали́ было полно хлопковых коробочек. По обе стороны комнаты у самых стен друг против друга стояли четыре чесальных станка, за которыми белели груды очищенного хлопка, а перед ними скопились хлопковые семена. Под поперечным брусом каждого станка была подвешена занавеска, которая предохраняла очищенный хлопок от засорения семенами. Возле сандали́ в высоком подсвечнике горел масляный светильник. Форма его показалась мне необычной и напоминала лодочку. С двух сторон светильник заканчивался острыми выступами, в которых горели фитили, а посредине виднелась дугообразная ручка. Светильник был расположен так, что освещал поверхность сандали́, где сидели старики, выбирающие хлопок из коробочек, и нижнюю часть стен, где стояли чесальные станки.

У ближнего станка сидел парень лет двадцати, который при нашем появлении привстал со своего места, поздоровался и снова принялся за работу. Те два человека, которые встретили нас и ввели в комнату, сели возле сандали́ спиной к двери.

Не прошло и минуты, как в комнату вошел довольно молодой мужчина. При виде его мой дядя вскочил с места и бросился ему навстречу. Вошедший тоже побежал к дяде, они обнялись и расцеловались. Усевшись, они стали расспрашивать друг друга о делах и здоровье. Вошедший объяснил Курбон-Ниёзу, что старики — его дяди по отцу, встретившие нас парни — их сыновья, а юноша, работавший у станка, — его младший брат.

— Мы явились к вам незваными гостями. Вас не было в комнате, а мы все же бесцеремонно ворвались сюда, — сказал дядя.

— Пусть бог не допустит бесцеремонности, — ответил хозяин, — но ведь здесь ваш дом. Неужели, если человек явится к себе домой,

это будет считаться бесцеремонностью? Не говорите так, а то вы меня обидите!

Хозяин дома велел брату принести чай и угощение.

— Когда вы постучали в ворота, я был здесь. Но я подумал: «Упаси бог, уж не пришли ли люди правителя арестовать меня», — поскорее вышел отсюда и спрятался. А когда сквозь щель двери разглядел вас при свете масляного светильника, успокоился и вернулся обратно.

— Очень хорошо! А теперь расскажите, как вы живете? — спросил дядя.

— Если бы меня оставили в покое, то жил бы неплохо и спокойно, — ответил наш хозяин. — Видите, мы занимаемся очисткой хлопка. Это не легкое дело. На такой работе у людей слезают ногти и сгибаются плечи. Но зато это честный труд, и здоровый человек не должен его бояться.

— Я тоже занимаюсь очисткой хлопка, — сказал дядя, — дело неплохое. Однако оплата не соответствует затраченному труду. Скупщики хлопка обманывают нас и при взвешивании и при определении качества хлопка. Я не говорю уже о ничтожной оплате за работу, но ведь нам приходится даже возмещать их «убытки».

— Сначала меня тоже обсчитывали, — сказал хозяин, — но я на их обман ответил кулаками. Теперь они меня остерегаются.

Принесли чай и скатерть с угощением. Все принялись за еду. *Хозяин дома, перелив из чайника чай в пиалу, а из пиалы обратно в чайник, налил снова в пиалу, сначала выпил сам*, потом протянул чай дяде и продолжал свой рассказ.

— Но власти не дают заниматься честным трудом. Лишь только они поняли, что я живу в своем доме, одет, почти сыт, как принялись то и дело наведываться ко мне. Один служитель казия шел за другим, чиновник за чиновником, полицейский за полицейским. Они шарили по всему дому, повсюду разыскивали меня. Вот тогда я вынужден был снова бежать в отдаленные места, чтобы искать себе там пропитание с помощью всяких темных дел и воровства.

Напившись чаю и поужинав, мы легли спать. Еще не рассвело, как, простившись с хозяином, мы отправились в путь.

* *
*

В дороге я спросил дядю, кто был наш хозяин.

В ответ он рассказал следующее:

— В те времена, когда я служил у гидждуванского казия, тамошний амлокдор посылал в Бухару, в эмирскую казну, денежный налог за пользование землей. По обычаю налоги и подарки должны всегда вручаться эмиру во время утреннего приема — салама, когда его приветствуют приближенные. Чтобы успеть вовремя, амлокдор ночью выпроводил свой караван из Гидждувана. Однако разбойники проведали об этом и вблизи деревни Розмоз совершили нападение на караван амлокдора. Они сумели одолеть охрану, отобрали много вещей, предназначавшихся в дар эмиру, и захватили часть наличных денег. Сколько ни искали воров правители Гидждувана, Бухары и Вобкента, в чьем тюмене произошло нападение, они не смогли обнаружить их следов или похищенных вещей. Спустя некоторое время эмир через своих доносчиков узнал, что какая-то шайка грабителей собирается по ночам в заброшенном постоялом дворе вблизи Тали-Зарангари и совершает оттуда набеги. Получив это известие, эмир послал приказ четырем главным правителям Гидждувана — казию, раису, амлокдору и миршабу, — чтобы они ночью, в то время как воры там соберутся, напали на постоялый двор, захватили грабителей по возможности живыми и прислали их к эмирскому стремени. Когда был получен этот приказ, гидждуванские власти вооружили своих людей, приготовились и ночью все втроем, кроме казия, сославшегося на свою старость, во главе многочисленного отряда напали на постоялый двор. Я вместе с другими служителями тоже был с ними. Зажгли факелы и осветили все вокруг. Часть вооруженных людей, окружив постоялый двор, ворвалась внутрь, другая часть караулила снаружи. Я тоже стоял с шашкой в руке возле пролома в стене. Это было небольшое отверстие, прикрытое обломком стены. Вдруг со двора ко мне подскакал всадник, пытавшийся скрыться через пролом. Я уже приготовился подсечь шашкой ноги коню, но всадник — молодой парень — понял мое намерение и стал меня умолять: «Эй, храбрец, сжалься над моей юностью! Пропусти меня, дай мне

спастись!». Я увидел, что он на самом деле был славным юношей. Мне стало его жаль, я спрятал шашку, а он, выбравшись через отверстие наружу, ускакал. После того как казий Абдулвохид переехал в Бухару, я тоже оставил свою службу в канцелярии казия. Однажды в ту зиму выдался снежный морозный день. Брат был в степи. Отец попросил меня отвезти ему продукты и теплую одежду. Я повязал шашку, сохранившуюся у меня после службы у казия, заседлал коня, которого не успел еще продать, положил продовольствие и одежду в переметную суму и отправился в степь. Отдав все брату, я взял у него несколько шкурок неполноценного каракуля, которые он снял с ягнят, добытых от издохших овец, положил их в переметную суму и отправился назад. Ночь была темной. Когда я подъехал к Харизу, конь насторожил уши и рванулся вперед, но миновать это место ему не удалось: кто-то крепко схватил его за узду. Я взялся за рукоятку шашки, но остановивший меня человек приказал: «Слезай с коня!». Вместо того чтобы выполнить приказ, я ударил неизвестного шашкой по руке. Узда оказалась свободной и конь, фыркая, пустился вскачь. Однако при первом же прыжке он споткнулся и упал, а я слетел с него на землю. Встать я уже не успел. Трое сильных мужчин с лицами, завязанными платками, крепко меня схватили и скрутили руки за спину. Конь лежал, трепыхаясь, они подсекли ему шашкой ноги. Лишь только меня схватили, как тот, что вначале держал мою лошадь за узду и пальцы которого я поранил своей шашкой, предложил тут же на месте прикончить меня, но его соучастники не согласились: «Это будет самоуправством, — заявили они, — мы отведем его к начальнику, как он прикажет, так и сделаем». Взяв мою шашку и переметную суму, они повели меня в какую-то лощину, где был раскинут шатер. В шатре сидело несколько человек. Лица у всех были завязаны платками, лишь глаза оставались открытыми. Один из тех, кто захватил меня, рассказал присутствующим о происшедшем. Здесь был и тот, кому я поранил руку, он опять потребовал, чтобы меня немедленно предали смерти. Однако человек, по голосу которого можно было узнать главаря шайки, отверг его предложение. «Убить успеем, — сказал он. — Прежде нужно выяснить, кого мы убиваем», — и стал задавать мне вопросы. Я не отвечал. «Раз уж они решили

меня прикончить, — думал я, — то почему бы и мне, улучив удобный момент, не попытаться уничтожить кого-нибудь из них, чтобы наперед отомстить за себя». Но мои связанные руки не давали мне возможности осуществить свое намерение. Главарь шайки убедился, что я не хочу открыть им, кто я. Он приказал зажечь палку, обмотанную масляной тряпкой, и поднести к моему лицу. Лишь только они разглядели мое лицо, как он воскликнул: «О, так ведь это мой друг, тот, кто спас меня от смерти!». И, бросившись ко мне, сам развязал мне руки. Передо мной был тот самый молодой парень, которого я за год до нашей новой встречи спас из когтей правителей. С тех пор я его еще ни разу не видел, но он много раз видел меня при свете дня и расспросил обо мне у людей. После этого случая мы с ним подружились.

В заключение дядя пояснил:

— Хозяин дома, где мы ночевали, и есть тот самый человек, о котором я тебе рассказывал. Его зовут Маджид из Кахкашона.

Образ Маджида из Кахкашона я вывел в своей книге «Бухарские палачи».

ВТОРОЙ ГОД В МЕДРЕСЕ МИР-АРАБ

Утром мы въехали в город и остановились у старшего брата, который уже вернулся из Керки. Он жил в той же самой келье в медресе Мир-Араб, что и в прошлом году. Дядя сразу же отправился обратно в деревню. Если бы он не уехал, нам вчетвером трудно было бы поместиться в маленькой келье. По-видимому, Курбон-Ниёз понял это и, несмотря на усиленные приглашения, не остался у нас ночевать.

Сначала старший брат выразил сильное недовольство тем, что я привез в город младшего брата, но после моего рассказа о положении в семье деда и о смерти нашего меньшего брата, он согласился и даже сказал:

— Ты хорошо сделал, что взял его сюда.

Мой репетитор Мулло-Абдусалом и его сотрапезники тоже вернулись. Как и в прошлом году, я договорился о том, чтобы работать

у них поваром. Уроки еще не начались. От скуки я открыл дверцы кельи, обтянутые масляной бумагой, чтобы наблюдать за прохожими. Но с улицы сюда доносилось невыносимое зловоние. Это был какой-то новый, чуждый запах, и сколько я ни думал, не мог понять, откуда он исходит.

Я быстро закрыл дверцы и спустился вниз. Северная часть двора медресе граничила с чайной. Я забрался на крышу чайной, все с той же целью наблюдать за прохожими. Но зловоние доходило и сюда. Поневоле пришлось отправиться в западную часть двора и поискать себе место там.

Здесь зловоние почти не чувствовалось, но вместо него стоял такой шум, что разрывал уши. Поблизости отсюда, между двором медресе и большой пятничной мечетью, находилась тесная площадка, где размещался тогда бухарский хлопковый базар.

Крестьяне привезли из окрестностей города сотни мешков и кулей с хлопком и, свалив их вокруг больших весов, ждали, когда можно будет взвесить свой товар и передать скупщику. Они волновались и думали только о том, как бы получить от его служащих деньги без всяких ошибок и просчетов. Весовщики, словно для того, чтобы «не возиться» с одним крестьянином, брали мешки у десяти-двенадцати человек и одним разом взвешивали.

Я никак не мог понять, как они потом рассчитываются с каждым крестьянином в отдельности, да еще в тех условиях, когда взвешенный на весах хлопок высыплют в кучу к одному скупщику. Я только слышал, что весовщик, подходя к тому или иному крестьянину, громко повторял какое-нибудь число. Например, одному он кричал: «три-три», другому — «пять-пять» и шел дальше.

Часто случалось, что крестьянин не признавал этот счет и кричал: «Не пять, а шесть!». Однако весовщик не слушал его и продолжал делать свое дело. Если же крестьянин твердо стоял на своем и, желая доказать свою правоту, брался за весы, весовщик грубо отталкивал его, сбрасывал хлопок с весов на землю и подходил к другому поджидавшему своей очереди крестьянину; до тех пор, пока крестьянин, «знающий счет», не начинал его умолять, весовщик не соглашался взвесить его хлопок.

Такие же споры происходили и при расчетах. Крестьяне не соглашались с суммой, названной скупщиком, а скупщик настаивал на своем. Если же крестьянин призывал в свидетели весовщика, то тот, кивнув головой, продолжал делать свое дело, и по этому знаку никто не мог понять, согласен ли он с предъявленной претензией или нет. Когда крестьянин «упрямился» и настаивал на своем, то скупщик и его служащий откладывали в сторону расчеты с ним и начинали заниматься с другими, которых было не меньше десяти человек.

* *
*

Я был увлечен спорами на базаре, как вдруг почувствовал, что кто-то осторожно притронулся к моей голове. Обернувшись, я увидел Пирака. После возвращения из деревни мы с ним еще не встречались. Вместе с братом он тоже был где-то за городом и только сегодня вернулся.

После взаимных приветствий Пирак спросил меня:

— Что ты сидишь в этом улье? Разве на крыше чайной не тише?

Я рассказал ему о зловонии и спросил, откуда оно исходит.

— Этот запах идет от бойни, — объяснил Пирак. — Раньше бойня находилась на большом расстоянии от нашего медресе, поблизости от дровяного базара. Мясники говорили, что это слишком далеко, и попросили главного раиса перевести бойню сюда. Много лет дышать этим зловонием приходилось тем, кто находился вблизи дровяного базара. «Пусть живущие в медресе Мир-Араб и вокруг него тоже вкусят этой „благости“ — сказал раис и разрешил устроить бойню здесь.

— Да ведь эти зловонные постройки нужно было отнести подальше от человеческого жилья, за город, а не приближать к месту, где живут тысячи людей, — удивился я.

— Эге! Ты, приехавший лишь вчера из деревни, хочешь научить опрятности бухарские власти, которые считают себя принадлежащими к самым деликатным людям мира. Если к нашему медресе перенесли бойню только в этом году, то вблизи медресе Кукельташ, одного из самых больших и известных в Бухаре, бойня существует много лет, и никто и слова не молвит. Бесполезно даже думать об этом,

ведь бойня мясников Регистана расположена прямо против эмирской цитадели и ее зловоние вдыхают сам его величество и кушбеги. Но они не жалуются.

Пирак высмеял таким образом бухарские власти, и мне была понятна его мысль.

— В Бухаре, — продолжал он, — кроме мясников, расположившихся возле нашего медресе, имеется еще три крупных мясных ряда. Один из них, мясной ряд Тагишур, состоит более чем из сотни лавок. Их бойни находятся к западу от медресе Кукельташ, рядом с соборной мечетью Шейх-шо, и, кроме улемов самого медресе Кукельташ, по пятницам еще угощают своим «ароматом» тысячи молящихся. Второй мясной ряд размещается на Регистане, в него входит свыше двухсот мясных лавок. Их бойня устроена рядом с известной мечетью Боло-хауз, прямо против эмирской цитадели. Третий ряд расположен на улице Хиёбон, а его бойня — рядом с медресе Хиёбон. Кроме того, мясники торгуют на Новом базаре, на базаре Ходжа, Гозиён и других базарах; они режут скот у себя возле лавок и тут же продают мясо.

Пирак очень разволновался и в заключение добавил:

— Вот тебе не нравится, что бойня для баранов и крупного рогатого скота находится в городе, а ведь здесь имеется и бойня людей!

Я подскочил на месте:

— Где! Что это такое?

— Я как-нибудь покажу тебе, — ответил Пирак. У него, видимо, было срочное дело, потому что он встал и ушел.

Споры и шум на хлопковом базаре еще больше усилились. Но я уже ничего не слышал. Все мои чувства были устремлены к «бойне людей».

* *
*

Мой репетитор Мулло-Абдусалом познакомил меня с мясником, у которого я должен был всегда брать мясо для плова.

— Они считают тебя маленьким и обвешивают, — сказал он, — кроме того, всегда дают мясо с костями. Если я сам пойду с тобой

и попрошу, чтобы тебе давали хорошее мясо, то им будет неловко обманывать.

Однажды я пошел к этому мяснику за мясом, его самого не оказалось на месте, но лавка была открыта. Я спросил соседнего лавочника, где хозяин, он велел мне немного обождать. Прошло несколько минут, но мясник все не появлялся, тогда я стал расспрашивать лавочника, куда мог пойти мясник, тот сказал, что он ушел на бойню и сейчас вернется.

— А где находится бойня? — спросил я.

— Вот здесь, близко, — объяснил лавочник, — в этом переулке.

Я подумал, что если мясник вернется поздно, то плов запоздает и это огорчит моих хозяев. Лучше мне сходить туда самому и позвать мясника, одновременно я посмотрю, откуда идет этот смрад, и узнаю, почему от бойни исходит такое зловоние.

В начале переулка я увидел большие двустворчатые ворота для прогона скота. Когда я подошел к бойне, зловоние перехватило мне дыхание. Зажав пальцами нос, я вошел внутрь. Там было большое четырехугольное полутемное помещение, по четырем углам которого стояли столбы. Вдоль стен тянулись ряды крюков, на которых висели бараньи туши. Посреди помещения проходила канава, выложенная кирпичом с двух сторон. По краям канавы резали баранов и быков. Канава была полна крови, сюда же выбрасывали и содержимое внутренностей животных. В центре бойни над канавой находилось вытяжное отверстие, которое виднелось из нашей кельи. Теперь мне стало ясно, что эта вонь раньше всего и больше всего попадала к нам, так как келья была расположена во втором этаже.

Среди других торговцев я нашел и «своего» мясника, который присутствовал при убое принадлежащего ему скота. Я объяснил ему, что мне нужно. Мы вместе вышли из бойни. По дороге я спросил мясника:

— Канава уже почти переполнена кровью и отбросами. Что вы с этим потом делаете? Куда спускают кровь зарезанных животных?

— За бойней напротив вашего медресе находится сарай для ослов, там вырыта огромная сточная яма. В эту яму стекает талый снег и дождевая вода. Когда канава на бойне наполняется, рабочие,

забивающие скот, выносят туда свернувшуюся кровь, потом ее съедают бродячие собаки. А что же еще остается делать? — удивился мясник.

Вид бойни наполнил меня отвращением, но в то же время укрепил желание попасть на площадь, где убивают людей. Подобное место должно было вызвать во мне еще большее отвращение, так как оно было связано с человеческой жизнью, но я обязательно хотел повидать его. Я попросил Пирака как можно скорее пойти туда, и он обещал мне показать все на следующее утро.

— Если удастся, — сказал он, — то ты сможешь присутствовать и на самой казни.

ПРОГУЛКА НА РЕГИСТАН. ЦЕРЕМОНИЯ «ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ». СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПАЛОК. УПРАЖНЕНИЯ СОЛДАТ И БОЙНЯ ЛЮДЕЙ

На рассвете мы с Пираком направились в сторону Регистана. Пирак говорил, что если мы опоздаем, то не увидим наказания палками. Еще полностью не рассвело, когда мы пришли на Регистан, оказавшийся всего лишь небольшой площадью перед эмирской цитаделью.

В те времена эта площадь была очень узкой и занимала примерно один таноб (четверть гектара) земли. В северной ее части находилось медресе Дор-уш-Шифо, которое в прошлом считалось центром медицинского образования. С юга на Регистан выходили стены соборной мечети Поянда, а на востоке находилась эмирская цитадель — Арк, построенная на одном из высоких холмов. Цитадель была соединена с площадью мостом, который назывался Тахта-Пуль. На север от моста Тахта-Пуль возвышался эмирский арсенал. Это здание с запада отделялось от медресе Дор-уш-Шифо узким переулком, а с востока примыкало к холму цитадели. С южной стороны моста Тахта-Пуль была длинная галерея, которая примыкала к восточной стене мечети Поянда и вела в сторону цитадели. Между галереей и стеной цитадели образовалась небольшая площадь удлиненной формы. На этой галерее стояли эмирские пушки.

Под мостом Тахта-Пуль находилась эмирская темница Кана-хона, а рядом с мостом виднелся небольшой дом, где сидел мирзо, пишущий заявления. У моста Тахта-Пуль на площади Регистан, около стены мечети Поянда и рядом с ее северной дверью, стояли старинные фитильные пушки на подставках.

Западная сторона площади Регистан была открытой и примыкала к большой улице. Между этой улицей и мечетью Боло-хауз тоже имелась площадь, на которой с востока на запад шел ряд временных лавчонок, торговавших фруктами и другими съестными товарами.

Когда мы пришли на Регистан, то уже все крыши медресе Дорушн-Шифо и соборной мечети Поянда были усеяны людьми. У стены мечети Поянда также в два-три ряда сидели зрители. Несмотря на ранний час, нам никак не удавалось отыскать для себя удобное местечко. В надежде найти что-нибудь подходящее мы отправились в восточную часть площади перед стоявшими в ряд людьми. До самых пушек нигде не было ни одного свободного места. По предложению Пирака мы подошли к пушкам и взобрались на одну из них, свесив вниз ноги. Некоторые из зрителей тихонько нам шептали:

— Не садитесь там, это неуважение к пушкам его величества!

Однако караульные и слуги эмира и кушбеги, входившие и выходившие из цитадели, ничего нам не сказали. По-видимому, они считали эти пушки чем-то ненужным, не имеющим значения.

С нашего места были видны ворота цитадели и мост Тахта-Пуль. От ворот цитадели через мост была протянута большая цепь. Увидев эту цепь, Пирак пояснил мне:

— Если сегодня состоится «открытие дверей», то цепь уберут и тогда будет очень интересное зрелище, а если «открытие дверей» не состоится, то цепь провисит здесь до полудня и тогда все разочарованно разойдутся.

Не прошло и минуты, как из ворот цитадели выбежали два стражника и убрали цепь. Тотчас же с западной части площади и с севера — там, где начиналась большая улица, между лавочками с фруктами и едой, — проскакали верховые. Это спешили занять свои места придворные эмира. Они были в парчевых, атласных и шелковых халатах, на них сверкали расшитые золотом и серебром пояса. Наряд

их довершали лаковые сапоги на ногах и белые чалмы, повязанные на голове в форме репы. У некоторых сбоку висели сабли в золотых или серебряных ножнах.

Рядом с лошадью каждого из придворных бежал сильный парень, одетый просто, повязанный вместо пояса куском материи, с шапкой на голове и обутый в цветные юфтевые сапоги. Это были конюхи, сопровождавшие своих хозяев. Они били по мордам всех попадавшихся им на пути лошадей и старались опередить других всадников. То один, то другой конюх, взяв под уздцы лошадь своего хозяина, тащил ее вперед, а если она упиралась и не хотела пробиваться через ряды других лошадей, то он громко кричал непристойные ругательства в адрес всадника; слушая грубое сквернословие, зрители хохотали. Однако хозяин лошади, которого эта брань непосредственно касалась, не придавал ей никакого значения, так как все его внимание было поглощено лишь тем, чтобы его лошадь опередила других и первой подошла к мосту Тахта-Пуль.

У самых ворот цитадели, опершись на жезл с золотой ручкой, украшенный инкрустацией, стоял какой-то человек в парчевом халате, подпоясанный поясом с золотыми пластинами. Когда всадники слезли с коней, он поднял свой жезл, словно хотел кого-то ударить, и, грозя спешившимся, закричал грубым голосом:

— Установите порядок, а не то придется палками научить вас вежливости.

При звуках его голоса собравшиеся, которые и пешком стремились опередить один другого, сразу же успокоились и начали входить по очереди: сначала вошли придворные, одетые в парчевые халаты, за ними последовали придворные в шелковых халатах, а после них — в атласных халатах. Человека с жезлом называли «удайчи», это был церемониймейстер.

После того как их хозяева спешились, стремянные сами сели на коней и принялись хлестать чужих лошадей нагайками. С криками и спорами, словно в козлодрании, отправились они к мечети Дор-уш-Шифо и поставили там лошадей в ряд, хвостами к стене, а головами к площади. Тот, кто был более ловким и чья лошадь оказалась сильнее, стал ближе к мосту; кто проявил нерасторопность, оказался

в конце ряда, подальше от цитадели. Конюхи ссорились между собой из-за места. Они готовились опередить друг друга, когда придет время подавать лошадь при выходе хозяина из цитадели, чтобы тот раньше других мог выехать с площади.

* *
*

Как только придворные вошли в цитадель, на Регистан под звуки военного оркестра выехала из своих казарм эмирская кавалерия. Все конные войска эмира назывались «кавказ», их форма была похожа на одежду, которую носили в те времена жители Дагестана и Северного Кавказа. По цвету одежды различались три отряда: «кубанский», «терский» и «турецкий». Хотя каждый отряд и имел свою форму, но она скорее напоминала цирковую, чем военную. «Кавказцы» постоянно жили в казармах и не могли свободно ходить по улицам. Куда бы ни направлялся эмир, казармы для них устраивались там, где он останавливался.

В рядах кавказского войска служили юноши, старшему из которых с трудом можно было дать восемнадцать лет, те же солдаты, которым исполнялось больше восемнадцати лет, переводились в пехоту. Что же касается срока «военной службы» пехотинцев, то он продолжался до конца их жизни, до самой смерти.

Конница под музыку отдала эмирской цитадели военное приветствие и покинула площадь. На ее место вступила пехота.

Эмирская пехота делилась на две части: «субботнюю» и «вторничную». Солдаты «субботней пехоты» в субботу, воскресенье и понедельник, а солдаты «вторничной пехоты» во вторник, среду и четверг должны были по утрам проводить двухчасовые занятия; остальное их время поглощала караульная служба, бесплатная работа на начальников и сотников или для себя лично.

Вооружение «субботней пехоты» состояло из русских ружей, заряжавшихся одним патроном с казенной части, — берданок. Жили пехотинцы в казармах, точнее — после военных упражнений они оставляли там свое оружие, и кто из них не нес караульной службы или не назначался на работу к начальникам, мог идти, куда хотел.

Каждый солдат должен был являться только в дни занятий в точно назначенное время.

У «вторничной пехоты» были ружья, заряжающиеся с дула с помощью шомпола одним патроном. Они жили не в казармах, а на постоялых дворах в наемных комнатах. Ружья оставались у них, и они должны были сами их беречь.

Время «вторничной пехоты» уходило главным образом на бесплатный принудительный труд для начальников и сотников. Все остальное время они затрачивали на то, чтобы обеспечить себе пропитание. Солдаты занимались разной черной работой, починкой обуви или другим мелким ремеслом.

Обмундирование пехотинцев было военным: летом они носили белый мундир, а зимой — черный, брюки из овечьей кожи, сапоги и небольшую черную шапочку. Во время упражнений солдаты надевали военную форму поверх халата, рубашки и штанов и казались поэтому очень толстыми. В свободное от занятий время они ходили в обычной одежде.

Солдаты (сарбазы) получали двадцать тенег (три рубля) жалованья в месяц. Военное обмундирование давалось им в счет жалованья. Когда «субботние пехотинцы» несли караульную службу в казарме, им полагалась раз в день одна миска каши на десятерых.

Только «кавказцы» составляли исключение: обмундирование и еда выдавались им из эмирской казны.

В тот день, когда мы пришли на Регистан, была очередь проводить занятия лучшей части эмирской пехоты — «субботней». Их оркестр состоял из национальных инструментов — барабана, флейты, сурная и медных тарелок. Приблизившись к цитадели, оркестр сыграл военный марш, солдаты отдали воинское приветствие и выстроились рядами на площади.

* *
*

В это время из тюрьмы привели четырех узников с завязанными назад руками. Их конвоировали полицейские в обычной для всех

бухарцев одежде, но в руках у них были длинные палки, перехваченные тремя металлическими кольцами.

В волнении я спросил Пирака:

— Разве их будут убивать?

— Нет, — сказал он, — их накажут ударами палок. — И добавил:

— Тем, кто приговорен к казни, завязывают руки не сзади, а спереди.

Арестованных провели сквозь строй солдат, стоявших в два ряда, вывели на мост Тахта-Пуль, провели через него и остановили у ворот цитадели. Возле осужденных стал миршаб с секирой в руках. Полицейские с палками заняли места на мосту, охраняя арестованных. Мир-газабы — палачи — выстроились в ряд против миршаба с другой стороны от узников. Один из палачей, принесший под мышкой кизилевую палку длиной в полтора газа, бросил ее на землю перед арестованными.

Кушбеги, сидевший в официальной одежде на суфе в воротах цитадели, спустился на землю и направился к наружной стороне ворот. Он достал из-за пазухи бумагу, просмотрел ее и, показав на одного из арестованных своим людям и придворным, стоявшим рядами снаружи и внутри цитадели, спросил:

— Это арестованный Ахмад или нет?

Все люди громко ответили:

— Это Ахмад, и он достоен смерти!

Один из зрителей, человек средних лет, сидевший недалеко от нас, тихонько засмеялся и пробормотал:

— Они даже и во сне не видели этого несчастного узника.

Я шопотом поинтересовался у соседа:

— Зачем у них спрашивают имя арестанта?

Человек поднялся со своего места и подошел ближе ко мне.

— Сынок, ты еще мал и не понимаешь, в чем здесь дело; это называется «царская мудрость». — Мой рассказчик незаметно осмотрел своих соседей и, увидев, что они не обращают на него внимания, продолжал:

— В подобных случаях нередко бывало, что кушбеги или начальник полиции, получив от эмира приказ о наказании палками или

казни какого-нибудь человека, за взятку освобождали осужденного, а вместо него наказывали или казнили другого бедняка. Вопрос задается им для того, чтобы предотвратить мошенничество, хотя эти люди не знают ни самого преступника, ни того преступления, которое он совершил.

— А в чем же заключается вина осужденных?

— Преступление арестованных известно, если только их не привлекли к ответу вместо других людей. Все они, наверное, крестьяне, которые не смогли по бедности выплатить налог, а может быть, не подчинились правителю или казию области. Если же осужденные совершили особенно значительное «преступление», то оно состояло, вероятно, в том, что они отказались отдать своих дочерей эмирским агентам, рыскающим за девушками, или не соглашались, чтобы их сыновей подарили эмиру, который водворил бы их к себе в свое грязное «кавказское войско», какие же у них могут быть другие преступления?

— Может быть, они воры? — спросил Пирак.

Незнакомец засмеялся.

— Возможно, — согласился он. — Однако большинство воров после месячного сидения в тюрьме освобождается с помощью взяток и снова возвращается к своему прежнему занятию.

После «установления личности арестанта» кушбеги дал знак палачам. Те стащили с арестованного верхнюю одежду. Малорослый плотный палач взвалил осужденного себе на спину. Два других палача, став перед нагнувшимся палачом, крепко держали руки и ноги подвергавшегося наказанию. Еще один палач задрал ему рубашку до самой шеи так, что вся спина его от шеи до пояса оказалась оголенной. Два палача с кизилевыми палками в руках заняли места по обеим сторонам осужденного.

Войсковой оркестр заиграл на флейтах и сурнаях мотив «яккарез». Под эту музыку палачи, державшие в руках палки, начали бить арестанта по голой спине. Подобно кузнецам, работающим в паре и ударяющим молотами по наковальне, они по очереди колотили арестованного: когда с его спины поднималась одна палка, на ее место опускалась другая.

Арестованный закричал. Но музыка заглушала крики. Зрители лишь видели, что, когда палка поднималась, на ней висели клочья кожи, а из раны во все стороны брызгала кровь.

После семидесяти пяти палочных ударов по знаку кушбеги избиение прекратилось и палач, державший арестанта на спине, сбросил его, израненного, на землю. Узник лежал, как труп, у ног миршаба и палачей. Два палача потащили его за ноги внутрь цитадели.

— Теперь его бросят в «обхону», — сказал пожилой человек, занявший место около нас.

Подошла очередь наказания трех других арестованных. Их так же избили, как первого, и потащили в «обхону».

После этого начались упражнения солдат.

* *
*

Начальник велел трубачу дать сигнал. Низшие командиры повторили приказание своим отрядам. Слова их команд мы не поняли. Говорили, что они дают команду по-русски. Но знавшие русский язык утверждали, что «язык команды этих командиров ничего общего не имеет с русским языком».

Каковы бы ни были слова команды, но солдаты делали под нее различные движения. Мимо нас прошел в ногу отряд в восемь человек. Командир сзади дал протяжную команду:

— Наме-исти!

Отряд, услышав эту команду, зашагал быстрее. Командир, рассвирепев, бегом пустился вдогонку и остановил отряд, при этом он каждому солдату отвесил по пощечине:

— Пусть будет проклят ваш отец, целый год учу вас, а вы не можете запомнить! — потом опять так же протяжно, но уже тише он добавил:

— Когда я говорю «намести», вы должны остановиться!

Один из зрителей сказал другому:

— Очевидно, что русские слова имеют противоположное таджикским словам значение, ведь если у нас говорят «намеисти», то это

значит «продолжай идти». (Впоследствии я узнал, что эта команда по-русски будет «на месте»).

После упражнений небольших отрядов трубач по указанию командира протрубил общую команду. Низшие командиры согласно этой команде все вместе закричали своим отрядам:

— Лапле-чу! (вместо «на плечо»).

Солдаты вскинули ружья на плечо и по другой команде стали по четыре в ряд. Музыка заиграла марш, и эмирская пехота направилась в сторону плаца, находившегося за городом. Во второй части романа «Дохунда», в главе «Еврей-водонос», я описал порядок проведения военных занятий эмирскими начальниками.

* *
*

Когда солдаты ушли, продавцы съестного, стоявшие вместе со зрителями на улице, выходившей на Регистан, выбежали на площадь; у одних в руках были подносы и тазы с похлебкой из бараньих голов и ножек, у других — подносы с сальником и колбасой, некоторые тащили котлы и переносные очаги с углями, на которых жарилась яичница.

Отталкивая друг друга, все они спешили вперед, стремясь занять удобное место.

В это время в воротах цитадели появились участники церемонии «открытия дверей,» с разрешения его величества возвращавшиеся домой. Лишь только они показались, как конюхи, толкаясь и споря, стараясь опередить один другого, погнали лошадей к мосту. Участники церемонии тоже побежали вперед, и каждый старался вскочить на свою лошадь раньше другого, чтобы первым выехать с Регистана. Это должно было свидетельствовать об их «военной доблести».

Теперь уже никто не слушал окрика церемониймейстера: «Соблюдайте порядок!».

Придворные хлестали нагайками по головам своих соперников, стараясь оставить их позади себя, гнали вперед лошадей. Во время этой свалки лошади наскакивали на торговцев снедью, опрокидывали их подносы и тазы, и вся еда оказывалась на земле. Торговцы бра-

нили и проклинали придворных, поднимали с земли запылившуюся снедь, обтирали рукавами и, снова положив на подносы, предлагали покупателям.

Пока придворные разъезжались, вся площадь наполнилась торговцами снедью с их тазами, мисками, подносами и печами. В этот момент Регистан был похож не на главную часть города перед царским дворцом, а на площадь с харчевнями на файзабадском гулянье.

Не успели еще торговцы съестным успокоиться и по-настоящему приступить к торговле, как со стороны бассейна появились водоносы цитадели. Каждый из них, нагрузив на широкое деревянное седло два бурдюка, гнал разгоряченных ослов вперед. Возбужденные животные, подобно участникам церемонии «открытия дверей», старались опередить друг друга, кусались и лягались и с ревом мчались вперед. Они опрокидывали все на своем пути и еще больше увеличивали тот ущерб, который нанесли торговцам снедью лошади придворных.

Особенно привлек мое внимание один продавец бараньих голов и ножек. Какой-то покупатель подошел и сел на корточки возле торговца, как вдруг погоняемый водоносом осел опрокинул поднос с товаром. Проклиная водоноса, торговец правой рукой крепко уцепился за подол покупателя, чтобы тот не ушел, а левой стал собирать упавшие в пыль бараньи ножки и, очищая их о край подноса, предлагал покупателю. Он ругал водоноса и одновременно уверял всех, что его бараньи ножки «самые вкусные».

* *
*

Мы ушли с Регистана.

— Сегодня казнь не состоялась, — сказал мне Пирак. — Идем, я покажу тебе место казни. Если захочешь, можешь сам как-нибудь пойти и посмотреть.

Я согласился. Миновав небольшую площадь, примыкавшую к Регистану, где на земле или в своих лавчонках из циновок сидели торговцы фруктами, мы подошли к ее северо-западному углу. Там была грязная канава, куда стекали дождевые воды и талый снег с Реги-

стана и окрестных улиц. Когда канава наполнялась, тамошние жители разбрасывали из нее вонючую грязь по сторонам. В тот день канаву как раз вычистили, и невозможно было вынести смрад, исходивший от застоявшейся в канаве грязи, эту вонь нельзя было даже сравнить с тем зловонием, которое мы ощущали возле медресе Мир-Араб.

Как объяснил Пирак, людей казнили на краю этой канавы и кровь казненных тоже стекала в нее. Стоя с краю канавы, Пирак показал мне на постройку в возвышенной части цитадели, застекленное окно которой было обращено в сторону Регистана.

Сидя по утрам в этом помещении, которое называют «комнатой приветствий», эмир принимает придворных и через окно смотрит на Регистан, где происходят военные упражнения и казни.

Вокруг канавы, несколько поодаль от нее, прямо на земле сидели торговцы веревками и предлагали свой товар прохожим; напротив канавы, у стены мечети Боло-хауз, также был ряд лавчонок, в которых торговали веревками. Пирак, показав мне на них, сказал:

— Один неудачливый поэт попытался выразить в стихах это сочетание места казни людей и веревочного базара. Он писал так:

Унес мое сердце кумир, продающий веревки.
Друзья, отныне с базаром веревок навеки я связан.

В Бухаре под «веревочным базаром» иносказательно понимали место казни.

СКУПЩИК ХЛОПКА ХАДЖИ-ЗОКИР-БАЙ И СЕМИДЕСЯТИЛЕТНЯЯ СТАРУХА

Однажды в понедельник я сидел на внутреннем дворе медресе Мир-Араб против ворот большой мечети. В тот день на хлопковом базаре было тихо. На следующий день там ожидалась большая торговля, но сегодня еще не успели собраться ни покупатели, ни продавцы. Только на земле лежали большие мешки с хлопком, которые словно поджидали, когда их унесут скупщики.

Возле самого двора медресе, недалеко от меня, на мешке сидели три человека и пили чай с лепешками. Один из них был Хаджи-Зокир-бай, известный торговец хлопком из Гулоби; по виду ему казалось около семидесяти лет. Раньше его звали просто Зокир-баем, но в прошлом году после паломничества в Мекку к его имени прибавилось словечко «хаджи». Рядом с ним сидел юноша лет двадцати двух, у которого только что начали пробиваться усики, звали его Хошим, и был он соседом Хаджи-Зокир-бая, из той же деревни Гулоби. Этот парень работал подручным возле больших весов на хлопковом базаре, и если не оказывалось на месте весовщика, то он сам взвешивал хлопок. У Хаджи-Зокира был сын Комиль-джон, знакомый наших гидждуванцев, он приходил в келью к певцу Мулло-Хомиду и интересовался учением, поэтому я знал немного о жизни Хаджи-Зокира.

Гидждуванцы говорили, что Хаджи-Зокир очень нечестен в торговых сделках, но потом добавляли:

— С тех пор, как старик совершил паломничество, он раскаялся в своих грехах и стал таким же богобоязненным, как шейхи.

Я тоже, подобно гидждуванцам, верил, что после возвращения из паломничества этот купец стал честным и благородным человеком.

Третьим был Мурод — чесальщик хлопка, человек лет семидесяти, согбенный старик с белым, покрытым веснушками морщинистым лицом, похожим на сморщенное яблоко. В молодости он занимался чесанием хлопка, а когда состарился, то стал сторожем на хлопковом базаре.

Во время чаепития Хаджи-Зокир рассказывал своим собеседникам о паломничестве, о том, как он поклонился в Медине гробнице пророка и посетил Каабу в Мекке. По его словам, он слышал от арабских шейхов, что «всякий, кто войдет в Каабу, освободится от всех своих грехов и станет чистым, как новорожденный младенец».

В это время на хлопковом базаре появилась старуха. На голове у нее была рваная паранджа, в руках она держала посох. Она гнала впереди себя тощего осла, на котором лежал мешок, вмещавший пуда три хлопка. Старуха увидела, что на базаре никого нет, остановилась и, опираясь на посох, удивленно осмотрелась по сторонам.

Хаджи-Зокир сказал Хошиму:

— Вставай, взвесь хлопок у старухи и брось его ко мне в мешок. Но так взвесь, чтобы выручить наши сегодняшние расходы на чай, лепешки и мясо!

— Если бы вы сказали «взвесь честно», то я всем сердцем служил бы вам, дядя Хаджи, но...

После этого «но» парень ничего не сказал и потупил голову.

— «Но воровать я не стану» — ты это хотел сказать? Разве не так? — Хаджи-Зокир рассердился. — С каких это пор ты стал «шейхом Барсисо»? Разве вчера ты мало наворовал?

— Я воровал и впредь тоже буду воровать, ведь говорится в пословице: «Хлопок белый, но сердце торгующих хлопком черное». Конечно, среди скупщиков хлопка и весовщиков с черным сердцем и мое сердце не останется белым. Но у этой старухи я воровать не стану! — сказал парень более резко.

— Почему? — удивился Хаджи-Зокир.

— Если бы у старухи был хоть кто-нибудь, она не явилась бы на базар в таком виде. Эта старуха так выглядит, что если она останется жива, то деньги за хлопок пойдут ей на расходы на зиму, а если умрет — то на саван и похороны. У меня душа молодая. Я не хочу украсть пропитание на зиму у дряхлой старухи или деньги на ее саван и похороны.

— Прекрасно! — Хаджи-Зокир снял с себя верхний халат, продолжая издеваться над парнем. — Действительно, тебе нужно бояться за свою молодую душу. Ничего не будет удивительного, если ты сегодня же ночью умрешь от проклятий этой старухи. Но старики обладают крепкой душой...

— Особенно после паломничества, после «очищения от грехов» — прервал Хаджи Мурод — чесальщик хлопка.

— Молодец! — похвалил Мурода Хаджи-Зокир-бай и продолжал:

— Я сам взвешу хлопок этой старухи, как мне заблагорассудится. Во-первых, я не боюсь проклятий старухи. Допустим, что от ее проклятий я умру этой же ночью, по крайней мере перед этим я поем баранью ляжку, а потом уже можно и умереть.

Хаджи-Зокир положил свой халат на мешок, спустился по ступенькам на базарную площадь и, подойдя неспеша к старухе, обратился к ней:

— Сестра! Твой хлопок из недозревших коробочек или полноценный?

— Этот хлопок подобен гиацинту, ведь еще не наступил месяц мизон, а поздний хлопок только зацвел. Откуда же теперь вы найдете недозревший хлопок?

— Я подумал, ведь это может быть и прошлогодний недозревший хлопок? Если позволите, я сниму ваш груз с осла.

— Если вы снимете, я помолюсь за вас богу. Я стою и думаю, что у меня ведь нет сил снять мешок.

Хаджи-Зокир снял мешок с осла, развязал его и посмотрел внутрь:

— У тебя хлопок неплохой, но он выдержал лишь два полива. Он очень легковесный, гири не потянут. Во всяком случае скупщики взяли бы его с большим удовольствием. Жаль, что сегодня на базаре нет покупателей. Почему вы привезли его в небазарный день? Если бы вы привезли свой хлопок в базарный день, то я продал бы его какому-нибудь скупщику и услужил вам.

Хаджи-Зокир снова завязал мешок и в ожидании уставился на старуху.

— Пусть будет проклята моя беспомощность! — ответила старуха. — Мой муж был старше вас. Несмотря на это, с помощью чужих волов он посеял этот хлопок. После взрыхления Аллах прибрал его к себе. Чтобы похоронить его, мне пришлось залезть в долг к деревенскому баю, староста каждый день требует с меня налог, я сама уже целый месяц не ела горячей пищи и немало лепешек взяла в долг у соседей. Вот все это и легло тяжестью на этот хлопок. Но за две недели не нашлось ни одного человека, кто отвез бы мой хлопок на базар и продал его.

Возможно, многословие старухи надоело Хаджи-Зокиру, он оборвал ее и спросил:

— Ну, хорошо, вы сегодня хотите продать свой хлопок?

— Если найдется покупатель, конечно, я продам.

— Вы же видите, что покупателей нет. Почему же вы привезли свой товар в небазарный день, я вас спрашиваю?

— Вот я и хотела ответить на ваш вопрос. Пусть будет проклята старость, у меня выходит слишком длинно. — Извиняющимся голосом старуха продолжала:

— Ведь я не могла взвалить себе этот несчастный хлопок на спину и принести сюда. Я никак не могла раздобыть осла. У меня есть сосед, торгующий на базаре вразнос пряностями и парфюмерией. Он согласился дать мне осла только на понедельник: «В другие дни, — сказал он, — осел нужен мне самому». Так, поневоле, мне и пришлось привезти хлопок сегодня.

— Что же вы теперь будете делать? Ведь покупателей-то нет!

— Пусть падет на вас благословение божье, может быть подешевле, бог с ним, вы сможете все же продать. Как же я теперь повезу этот несчастный хлопок назад? Если я его возьму назад, то уже больше не смогу привезти на базар. Пусть будет проклято одиночество и бедность!

Вот теперь наступил момент *«положить старуху на доску»,* она сама отдала себя в руки Хаджи-Зокира, подобно трупу, попавшему в руки обмывателя покойников.

— Ну ладно, я совершу богоугодное дело. Чтобы угодить богу, люди возводят мечети и медресе, а я, хоть и не потрачу своих денег, постараюсь все же сделать вам добро...

— Дай бог, чтобы вам сопутствовала вера, чтобы вы дожили до свадьбы ваших внуков и правнуков, — прервала старуха своими благословениями Хаджи-Зокира.

— Я ваш хлопок дешево не оценю, — продолжал Хаджи, — завтра утром я продам его какому-нибудь скупщику и выручу свои деньги. После взвешивания я вам заплачу наличными деньгами. Ладно, пусть уж до завтра я вложу свои деньги в ваш хлопок подобно беспроцентному займу. Бог мне возместит на другом.

Пока Хаджи-Зокир разговаривал со старухой, Мурод — чесальщик хлопка рассказывал Хошиму:

— В нашей деревне Бозорча жил один человек по имени Насим,

содержавший ослов. Его ослы участвовали в бегах, сам он занимался извозом между Бухарой и Вобкентом и Бухарой и мазаром Бахауддина. В прошлом году у него случилось несчастье: разбойники напали на прохожего, затащили на землю Насима, где у него было посеяно сорго, все отобрали, а самого прохожего убили и там бросили. Согласно шариату, во всяком преступлении, совершенном на чьей-нибудь земле, в случае, если преступник не известен, обвиняется владелец этой земли. Поэтому полиция схватила Насима и посадила в одну из бухарских тюрем. В течение одного года брат его распродал всех ослов и землю с сорго и все деньги отдал начальнику полиции за освобождение брата. Однако вызволить его не удалось. Недавно я узнал, что эмир принял решение казнить его. Сегодня миршаб заявил брату осужденного, что если сегодня ночью он не вручит ему две тысячи тенег, то завтра утром его брат будет казнен. Но что там говорить о двух тысячах тенег, он не может добыть и две тысячи медных грошей... Мурод — чесальщик хлопка подумал и добавил:

— Если бы я был эмиром, то вместо Насима — любителя ослов, казнил бы Хаджи-Зокир-бая. Этот палач без ножа каждый день проливает кровь многих крестьян. Говорит ведь пословица: «имущество правоверного — кровь правоверного». А теперь он хочет убить и эту старуху...

В это время донеслись крики старухи:

— Я сама своими руками все взвесила на маленьких весах и привезла сюда. Я боялась, как бы на базаре не оказалось у меня меньше, чем надо, да еще чтобы было чем заплатить весовщику, поэтому я взвешивала с походом.

— Ну говори, сколько было? — грубо прервал ее Хаджи-Зокир, пугая старуху своим «ты».

— Я взвешивала в отдельности. Я клала на весы камень весом в чорьяк (два килограмма). Когда я снимала хлопок с весов и клала в мешок, то откладывала в сторону хлопковую коробочку. Когда я все взвесила и сосчитала коробочки, их оказалось двадцать четыре штуки. Каждая из этих коробочек равна одному чорьяку, а у вас вышло только шестнадцать чорьяков.

Хаджи-Зокир, ругаясь, начал запихивать хлопок старухи

обратно в ее мешок. Он бормотал про себя: «„Вместо благодарности — клевета“ — так говорят, и это правда».

— Выходит, что я только для того, чтобы тебя обмануть, истратил в прошлом году четыре тысячи тенег и совершил паломничество?! Забирай свой хлопок, беспутница! После твоей смерти староста деревни сам продаст этот хлопок и похоронит тебя.

Старуха уступила.

— Я не могу везти его обратно, — сказала она. — Делайте, как сами знаете. Я вручаю себя богу.

— Она себя поручает богу, — пробормотал Хаджи-Зокир и, взглянув на старуху, продолжал:

— Вероятно, богу нечего больше делать, как бегать по твоим делам.

В конце концов Хаджи-Зокир-бай после долгих просьб и стенаний старухи переложил ее хлопок к себе в мешок и дал ей, не знаю уж сколько денег. Старуха, не пересчитав деньги, завязала их в уголок своего головного платка. Пустой мешок она бросила на спину осла и погнала его прочь с базара. Опираясь на палку, старуха шла за животным. Я подумал, что без посторонней помощи она не сможет сесть верхом на осла, и подбежал к ней, чтобы помочь.

Но старуха отказалась от моей помощи.

— Я совсем состарилась и не смогу усидеть на осле, у меня темнеет в глазах, я упаду. Дай бог тебе за твое доброе намерение достичь своих желаний! — благословила меня старуха и пошла с базара; из ее подслеповатых глаз на морщинистые щеки катились слезы.

Я сразу же пошел в келью к Пираку и рассказал все, что слышал от Мурода-чесальщика хлопка.

— Возможно, завтра утром состоится казнь Насима — любителя ослов из Бозорчи, — сказал я ему и попросил пойти вместе со мной на Регистан. Он согласился.

Я вернулся в келью брата очень взволнованный, старуха не шла у меня из головы. Ночью я не мог уснуть; всякий раз, когда я закрывал глаза, передо мной возникал ее образ, я не мог забыть, как она, опираясь на клюку, плача, брела с базара.

КАЗНЬ И «ЛЮБИМЦЫ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

Было еще совсем темно, когда мы с Пираком пришли на Регистан. Зрители еще не собрались, и мы без труда нашли для себя хорошее местечко. Утро на Регистане началось так же, как и в первое наше посещение. Но хотя время уже приближалось к восьми часам, цепь с моста не снимали. Было ясно, что сегодня церемония «открытия дверей» не состоится. Участники церемонии, собравшиеся вокруг Регистана в ожидании снятия цепи, увидели, что ничего не будет, и разошлись по своим домам.

Я спросил Пирака:

— Вон сколько придворных не пустили в цитадель, кто же будет там выполнять их службу?

В ответ Пирак только засмеялся.

— Они не несут никакой службы в цитадели, — добавил он уже более серьезно.

— Почему же они торопились туда с такими ссорами и драками? Или, может быть, при каждом посещении цитадели придворные получают от эмира подарки и поэтому так спешат?

— Никто из них никаких подарков не получает!

— Тогда я не понимаю, что же они делают в цитадели и что нужно от них эмиру?

Смеясь, Пирак стал объяснять:

— Помнишь, как говорил нам тогда на Регистане тот пожилой человек: «Это называют царской мудростью», — и нам с тобой не понять, в чем ее смысл... Все же я расспрашивал людей и узнал, что там происходит. Как только придворные являются в цитадель, церемониймейстер и его заместитель (шиговул) расставляют всех по рангам и проводят в длинный проход, ведущий от зала приветствий до мечети и внутрь цитадели. Эмир входит в зал приветствий, садится перед задней дверью и делает знак привратнику. «Сообразительный» привратник, постигнув смысл знака эмира, со словами: «Слушаюсь, повелитель!» — бежит к проходу и там, обращаясь к церемониймейстеру, громко провозглашает: «Приветствие!». Церемониймейстер и его помощник распределяют участников церемонии по группам

в соответствии с их рангами и чинами и выводят во двор, где находится зал приветствий. Во время пути они сопровождают явившихся, идут с левой и с правой стороны от них. Когда группа приближается к помещению, где сидит эмир, и оказывается лицом к лицу со своим повелителем, церемониймейстер громким голосом выкрикивает имя и чин каждого из участников, потом заявляет, что они пришли во дворец для приветствия и благословения. Церемониймейстер и его помощник подталкивают нерасторопных придворных, заставляют их сделать поклон. После поклонов все усаживаются на ковер, подогнув колени, как это принято делать при чтении намаза, и выражают эмиру свое почтение. Эмир лично не может отвечать на приветствие своих слуг, чтобы этим не нанести урон своему величию и благородству сана, для этого существует особый придворный. Он стоит во время церемоний у дверей передней перед залом приветствий и от имени эмира на слова: «Мир вам» (салам алейкум) — громко отвечает: «И вам мир!» (ва алейкум ас-салам). Помощник церемониймейстера от имени пришедших на поклон громким голосом благословляет эмира и желает ему «успеха и победы». После этого церемониймейстер так же громко говорит: «Теперь уходите!». Группа придворных поднимается и, пятясь, выходит из зала приветствий. Когда все группы после окончания приветствий удалятся, церемониймейстер отводит их на широкий двор цитадели, в парадной части которого установлен трон эмира, и рассаживает по рангам на выложенной кирпичом, но не покрытой коврами суфе. Тотчас же слуги начинают разносить плов в глиняных неполивных блюдах. Участники церемонии «открытия дверей» берут блюда из рук слуг и стараются отпихнуть один другого; привстав немного с места, ухватившись за край блюда, один тянет его к себе, а другой — к себе, и нередко случается, что блюдо разбивается или опрокидывается и плов вываливается на землю.

— Неужели они в жизни не видели плова, что так жадно накидываются на угощение? — прервал я Пирака.

— Возможно, что еда, которую у них готовят дома, гораздо вкуснее той, какую они получают из общей эмирской кухни. Придворные поступают так потому, что, по их словам, «еда эмира свя-

щенна», а свалка из-за угощения приятна эмиру. Однако после того, как им удается захватить «священный» плов, никто его не ест, часть плова сыплется на землю, а другая часть возвращается на эмирскую кухню и там пропадает. После плова участники церемонии «открытия дверей» идут в проход и там присаживаются на суфы, устроенные вдоль стен. Они не могут уйти, даже если идет дождь или снег, и возвращаются домой только после того, как последует «монаршее соизволение». Однако нередко это разрешение дается лишь перед самым вечером. Хорошо еще, что с заходом солнца ворота цитадели запираются и без «специального монаршего разрешения» никто не может ни войти в цитадель, ни выйти. А если бы не существовало такого порядка, то разрешение идти домой для участников церемонии могло бы последовать в полночь или даже на рассвете.

* *
*

После того как на Регистане выстроилась пехота, из прохода цитадели через ворота вывели трех человек, руки которых были связаны спереди. Среди зрителей возникло какое-то волнение, движение, шопот. Некоторые выражали свое сожаление покачиванием головы или вполголоса, другие нетерпеливо ерзали на своих местах, поворачиваясь то в сторону цитадели, то в сторону веревочного базара. Было видно, что они ждут необычайного зрелища и хотят увидеть его как можно скорее. Иные спокойно разговаривали со своими соседями об арестованных, и было ясно, что для них подобные происшествия кажутся обыденным делом. Но при этом для всех было очевидно, что эти три человека с завязанными спереди руками будут казнены в ближайшие пять-шесть минут.

Кушбеги по установленному при наказании порядку назвал по очереди имена тех трех людей и спросил у присутствовавших, действительно ли эти люди являются обладателями названных имен, и, получив подтверждение, передал миршабу приговор об их казни. Взяв приговор, миршаб сначала поцеловал его, потом поднял над головой, потер им глаза и, снова поцеловав, спрятал за пазуху, затем дал знак своим людям.

Сразу же рядом с осужденными стали по два палача. Невысокого роста, в коротких подпоясанных халатах, в обычных сапогах и в шапках местного фасона, они ничем особенно не выделялись среди окружающих. По внешности палачи имели мало общего между собой, но глаза были у них одинаковые, как у бешеных собак; казалось, что вместо зрачков и белков в их глазницах сверкает кровь.

Один из палачей в каждой паре держал в руках палку с короткой рукояткой и круглой головкой, у второго на поясе висел в футляре на веревке нож.

Арестованных и палачей окружили стражники с палками, перехваченными тремя кольцами, а по обеим сторонам стояли вооруженные шашками подручные кушбеги, миршаба и эмирские есаулы с дубинками в руках.

Миршаб взял в руки секиру и вышел вперед; миновав мост, он спустился на Регистан и, словно боясь при пешем хождении спустить жир, сел на лошадь, хотя от моста до места казни было не более трехсот шагов.

Вся группа прошла сквозь ряды солдат по заранее оставленному для них проходу. Мы кое-как пробились вперед, чтобы увидеть лица осужденных в последние минуты их жизни. Лишь только мы приблизились к палачам и их будущим жертвам, как едва не лишились чувств: один из арестантов был Мулло-Туроб, второй — Мулло-Бозор, которого Пирак знал, а я хоть лично с ним и не был знаком, но слышал о нем от Пирака. Третьего арестанта, которого вели позади других, мы не знали. Но судя по рассказу, услышанному мною от Мурода — чесальщика хлопка, не оставалось сомнения, что это был Насим — любитель ослов.

Мулло-Туроб и Мулло-Бозор мужественно шли к месту казни. Конечно, вид их и поведение имели мало общего с обычным. Осужденные были бледны, лица их имели землистый оттенок, но шли они, твердо ступая. Казалось, что перед нами богатыри, которые, выпив много вина, не потеряли сознания и не свалились с ног от его дурманящей силы. Они были подобны людям, которые вспоминают наяву увиденный ими жуткий сон, прекрасно понимают, что

теперь это происходит на самом деле, но не боятся или хотят показать себя бесстрашными.

Зато третий арестованный, которого мы признали за Насима из Бозорчи, еще до того, как его коснулся нож палача, был уже почти мертв. Лицо осужденного стало серым с лиловым оттенком, он не имел сил идти, с двух сторон его вели — или, вернее, тащили палачи и силой заставляли двигаться. Иногда ноги его доставали до земли, а иногда повисали в воздухе.

Группа дошла до места казни. Люди эмира, кушбеги, миршаба окружили кольцом канаву на веревочном базаре в конце Регистана. Миршаб верхом на лошади въехал внутрь кольца. Он вынул из-за пазухи приговор, полученный кушбеги от эмира, снова поднял его над головой, потер о глаза, поцеловал и опять спрятал за пазуху. Потом он посмотрел в сторону цитадели в то окошко, откуда, по-видимому, эмир наблюдал за происходящим, и сделал такой низкий поклон, что ртом коснулся гривы лошади. Потом он поднял руки и потребовал, чтобы арестованные и зрители помолились о здравии его величества. Старший палач, растопырив пальцы, поднял руки кверху, также подняли руки и другие палачи и конвойные. Старший палач громким голосом прочел благословение: «Да поможет Аллах его величеству стать покорителем мира, пусть меч его будет всегда острым, а путешествие — безопасным, да сгинет всякий враг, посягающий на его величество! Четыре пророка и святейший владыка людей (Алий) — друзья эмира и его духовные покровители, да помогут они ему во всем этом! Аминь». Все, поднявшие руки, ответили: «Аминь!» — и провели руками по своим лицам.

Миршаб дал знак палачам.

Сначала к краю канавы подвели Мулло-Бозора. Палач с палкой вышел вперед и так ударил ею по голеням осужденного, что все, кто там находились, услышали хруст костей. Мулло-Бозор упал лицом в черную грязь, выбранную из канавы. Палач сел на плечи осужденного и вдавил его голову в грязь. Стражники с палками навалились на осужденного и прижали его тело от пояса до ног к земле.

Другой палач достал небольшой обоюдоострый узкий нож из ножен, висевших у пояса, и всадил в горло своей жертвы. Когда

нож вошел по самую рукоятку, палач повернул его, потом вытащил, вытер о халат казненного и засунул обратно в ножны.

Из горла убитого фонтаном брызнула кровь, сначала она потекла по земле, а потом стала стекать в канаву.

Двух других осужденных казнили таким же способом. Лишь из горла третьего казненного, которого мы называли «Насим — любитель ослов», крови вытекло мало и она быстро остановилась.

Миршаб снова заставил всех прочесть молитву за его величество эмира и вместе с отрядом конвойных и палачей возвратился к себе. Зрители подошли ближе к месту казни. Тела Мулло-Бозора и Мулло-Туроба все еще корчились в конвульсиях, а тело Насима слабо шевелилось.

В это время с южной стороны Регистана от купола базара Тиргарон появилась группа подростков со следами парши на головах, неся три пары носилок в руках. Белые следы парши шли от макушки по всей голове, спускались до бровей, затылка и шеи, и, как говорил поэт Музтариб, живший в то время, «их головы напоминали старую, много раз стиранную вату».

На них не было ни штанов, ни рубашек, а лишь рваная грязная набедренная повязка да рваный халат, подпоясанный веревкой. Трудно было определить цвет их лица и тела, так как с головы до ног они были обсыпаны золой.

Как только они появились, со всех сторон закричали:

— Любимцы его величества! Любимцы его величества!

Они подошли к месту казни и спокойно поджидали, пока кончатся конвульсии казненных. После этого положили их тела на носилки и ушли.

Я спросил у Пирака, почему их называют «любимцами его величества».

— Причина заключается в том, что нынешний эмир Абдулахад — поэт. Он сочинил стихи о том, как запаршивевшие мальчики уносят на носилках тела «его убитых врагов», выразил в стихах свою любовь к добровольным могильщикам и просил у них помощи. Вот поэтому бухарцы и назвали этих подростков с паршой на голове «любимцами его величества».

— Бухарцы — народ остроумный, — продолжал Пирак, — они все понимают и всему дают меткие названия. Беда лишь в том, что никто из них не пытается избавиться от вечного гнета, а так как они много страдают, то уже смирились со зверствами, совсем как наркоманы или опиеманы, которые привыкли употреблять наркотики, убивающие человека, и уже не знают, как без них обходиться.

В заключение Пирак прочел мне стихи эмира Абдулахада:

Когда на пути твоем встретится злой и коварный враг,
Сруби ему голову и тело его на носилках скорей унеси.

(Этот стих приводится в тазкире Афзаля и тазкире Садра Зиё под именем Эмира).

ПЛАЦ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ СОЛДАТ

Мы были под тяжелым впечатлением жуткого зрелища убийства людей и надругательства над человеческим телом. Чтобы немного рассеяться, по совету Пирака я решил отправиться вместе с ним за город. Пирак предложил пойти на плац, где происходят упражнения солдат.

— Там мы немного развлечемся, когда увидим смешные упражнения и услышим, как они вместо «на плечо!» говорят «ляпле-чу», а вместо «на месте» — «наме-исти!», да и воздух за городом приятней, чем в городе, — сказал Пирак.

Еще до того, как совершилась казнь, «вторничная пехота» закончила свои упражнения на Регистане и отправилась на загородный плац. Мы пошли с площади по улице, которая ведет к воротам Имом, и оттуда на север через квартал Мирзо Гафур, потом повернули направо к востоку. За дровяным базаром мы снова продолжили путь на север и дошли до крепостной стены. Здесь еще раз повернули к востоку.

С левой стороны от нас тянулась ветхая городская стена, а с правой — заболоченная равнина. Это было вонючее болото, мимо которого можно было пройти, лишь заткнув нос. По отношению к городу это место находилось в низине, здесь скапливались дождевые

и талые воды, а также застоявшиеся воды, стекавшие из города. За много лет вода в болоте покрылась плесенью и приобрела зеленовато-черный оттенок; кроме того, сюда бросали всякую падаль — дохлых кошек, собак и ослов, что придавало болоту еще более отвратительный цвет и запах.

Мы как только могли скорее прошли мимо заболоченной низины, добрались до Самаркандских ворот, которые находились в северной части Бухары, и выбрались за пределы города. Отсюда на север шла большая дорога в Вобкент и Гиждуван. К востоку от ворот тянулась другая дорога в направлении на Файзабад, Дилькушо, Гурбун и дальше на Самарканд. Плац находился между этими двумя дорогами. На восток от плаца вел небольшой проселок, а с севера к нему примыкали частные сады.

С трех сторон плаца — с запада, юга и востока — были выкопаны большие канавы, которые из-за застоявшейся в них воды мало чем отличались по зловонию и отвратительному виду от болота в городе у Самаркандских ворот. С западной части плаца, за канавой и дорогой, стоял эмирский дворец, а с востока раскинулся эмирский парк Дилькушо. Казалось удивительным, почему этот парк назвали «Дилькушо» — «услаждающий сердце», если он был устроен в таком зловонном месте.

Когда мы пришли на плац, то увидели, что солдаты группами в пять-десять человек лежали на земле в разных уголках учебной площадки. Командир и сотники, расстелив на суфе в северной части плаца ковер, сидели, пили чай и беседовали. Но никаких упражнений не было заметно. Очевидно, из-за того, что солдаты во время занятий на Регистане и в пути сюда очень устали, командир разрешил им отдых.

Воспользовавшись этим отдыхом, мы решили осмотреть плац. Во время прогулки мое внимание больше всего привлекал состав солдатских отрядов: здесь были люди всех возрастов, начиная от десятилетних детей и кончая семидесятилетними стариками. Встречались среди них и дряхлые больные старики, которые не имели сил поднять ружье, поэтому пришли на занятия с шомполами в руках вместо винтовок; шомполы служили им, кроме того, посохами во время пути.

Убедившись, что упражнения еще не скоро начнутся, мы направились в северную часть плаца, где зловоние ощущалось не так сильно, и сели на корточки, прислонившись спиной к садовой стене. Спустя час послышался звук горна. Молодые солдаты, вскочив с мест и взяв в руки ружья, бросились бегом к тому месту, где сидели командиры; за ними, стараясь не отстать, бежали больные и старики с шомполами. Мы тоже подошли поближе.

Командиры выстроили солдат, поставили их по четырем сторонам в каре, так что посредине образовалась как бы четырехугольная площадка. Здесь расположился военный национальный оркестр.

С суфы поднялся высокий, очень толстый человек лет за пятьдесят, с густой темной бородой, напоминавший короля червей в колоде игральных карт. На нем был черный мундир из тонкого сукна и штаны с красными лампасами, на плечах красовались золотые погоны, на голове — кунья шапка, на ногах — лаковые сапоги. На левой стороне груди у него блестел *орден «Благородной Бухары».*

Это был начальник «вторничной пехоты».

Начальник направился к «четырехугольной стене из людей». За ним поспешили сотники, все в хороших мундирах с погонами. Следом двинулся отряд солдат без ружей, но с дубинками. Парень лет шестнадцати в новой офицерской одежде с табуретом в руках, опередив командира, вбежал в каре, поставил там табурет, а сам вышел за пределы строя.

Начальник сел на табурет, по обеим сторонам его выстроились сотники, а за спиной разместился, построившись в ряды, отряд с палками в руках.

В это время к начальнику откуда-то подошел человек с черной бородой, в чалме и халате; он выглядел сорокалетним, но морщины на его лице говорили, что ему перевалило уже за шестьдесят. Он стоял некоторое время, закрыв глаза и опустив голову. Верхний халат у пришельца был такой длинный, что волочился по земле, а когда он шел, то полы халата путались у него в ногах и становилось страшно, как бы этот похожий на мертвеца человек не свалился.

Его нижний широкий сатиновый халат на вате был повязан куском белой материи, из-за пояса торчал пенал, а в руках он держал свернутую в трубку бумагу.

— Почему вы опоздали, мирзо? — спросил его начальник.

Человек, не открывая глаз и не взглянув на командира, несколько раз облизнул губы и лишь после этого ответил:

— Сегодня кукнор-хона возле нашего дома была закрыта, и мне пришлось пойти в квартал Мурдашуён. Там от ваших милостей я выпил вкусную чашку «воды жизни» и благословил вас и его величество. Но я так сюда бежал, что все наслаждение «водой жизни» испарилось. После маршировки я должен буду зайти в кукнор-хону у городских ворот и принять еще одну порцию, а то у меня не хватит сил вернуться домой, но для этого необходимо милостивое соизволение моего повелителя.

— Ладно, — улыбнулся начальник, — скорей начинайте!

Мирзо развернул находившуюся у него в руках бумагу и начал читать:

— Нур-бай из Вагонзи. Преступление его состоит в том, что он в течение недели не являлся на занятия.

Молодой сотник лет двадцати пяти, одетый в голубого цвета суконный мундир, такого же цвета штаны с узкими лампасами, в лаковых сапогах, в папахе из дорогого каракуля, с погонами, шитыми золотом, обратился к одному из своих подчиненных.

— Джевачи, позови Нур-бая!

Джевачи со словами: «Хорошо, господин!» подошел к своему отряду и вывел из строя солдата по имени Нур-бай.

Это был бледный пожилой человек лет пятидесяти, он шел с трудом, опираясь на шомпол. Приблизившись к начальнику, Нур-бай остановился.

Начальник, вытаращив на него глаза, заорал:

— Пусть будет проклят твой отец! Почему ты целую неделю не являлся на маршировку?

— Таксир, да возьму я на себя все твои беды! Я был болен. Я и сейчас болен... Джевачи посылал за мной человека... От страха я был вынужден явиться, я с трудом приплелся...

— Очень хорошо, — сказал с иронией начальник, — эта твоя причина вполне законная. Но, к твоему счастью, здесь тебе не русское государство, чтобы ты мог получить от доктора справку и освободиться от строевых занятий. Это государство носит название «благородная Бухара». Здесь господствуют его величество и шариат. Здесь не нужны ни врачебные справки, ни ложь!

— Вы угадали, ваше благородие, — сказал сотник, — этот скандалист врет. Те, что живут с ним вместе на постоялом дворе, сказали, что он ушел на поденные работы.

Нур-бай перевел взгляд на сотника. Но сотник смотрел в землю.

— У вас молодая душа, побойтесь бога, сотник-бек, ведь вы даже не знаете, на каком постоялом дворе я живу.

— Ну-ка, отвечай, где ты живешь? — снова обратился начальник к Нур-баю.

— Я живу на постоялом дворе Тагипушта, там, где размельчают алебастр после обжига, там живут и другие солдаты. Если вы мне не верите, спросите их.

Во время допроса Нур-бая один солдат шепнул другому:

— Нур-бай говорит правду, он был болен. Но у сотника засвербело в горле (ему хотелось что-нибудь получить), Нур-бай долго не работал, к тому же заболел и ничего не мог ему дать. Вот почему тот набросился на него.

Начальник приказал своему адъютанту найти и привести двух соседей Нур-бая по постоялому двору. Адъютант вывел из строя того солдата, который только что говорил о Нур-бае, и из другого отряда еще одного солдата. Оба они подтвердили сказанное обвиняемым.

Сотник отклонил свидетельства этих солдат и заявил начальнику:

— Они прикрывают грехи друг друга. Сегодня соседи Нур-бая показывают, что он был болен, а завтра, когда те дезертируют, Нур-бай тоже покажет, что они были больны. Все они сговорились!

Один из свидетелей гневно возразил ему:

— Если мы сговорились и врем, то на постоялом дворе Тагипушта имеются рабочие, они не солдаты и с нами не сговаривались, спросите, сударь, у них!

На лице начальника появилось сердитое выражение; он немного помолчал, глядя в землю, потом обратился к сотнику:

— Оказывается, негодяй Нур-бай, сбежавший от строевых занятий, не единственный преступник, здесь выявилось еще одно преступление, в котором одинаково повинны все трое.

— Вы, господин, правильно изволили заметить, — обрадовался сотник, который сразу же догадался, в чем состоит вина новых «преступников».

Лицо начальника на минуту просветлело, он посмотрел с улыбкой на сотника, но тотчас же с прежним сердитым выражением продолжал:

— Эти трое, сговорившись, назвали своего сотника «обманщиком» и позволили себе грубо разговаривать со мной. Всех троих надо наказать!

«Доказав» таким образом их вину, начальник отвернулся и дал знак солдатам с палками.

Те выбежали вперед. Двое из них сначала стащили с Нур-бая одежду. Под военной формой у него был надет грязный рваный халат на вате и пестрядиновая рубаха, эту одежду тоже с него стащили. Затем его положили на большой бочкообразный барабан, с обеих сторон которого была содрана кожа.

Два солдата, подняв палки, стали по бокам Нур-бая. Дирижер оркестра дал знак музыкантам. Послышались звуки флейты, сурная и барабана, слившиеся в одну мелодию. Одновременно солдаты принялись бить палками по голой спине Нур-бая. Иногда крики Нур-бая: «Спасите! Каюсь! Пожалейте меня, больного!» — заглушали оркестр, а иногда музыка покрывала его стоны и возгласы. Все эти противоречащие друг другу звуки, подобно мотиву «мухолиф», переплетались вместе и разносились над плацем. Их ритм подчеркивал то, что слышалось из-под палок.

Гнев начальника начал утихать, и, очевидно, чтобы развеселить себя, он приказал адъютанту:

— Распорядитель, пусть принесут кальян и чай!

Спустя две минуты тот же самый хорошо одетый юноша, который принес табурет, уже стоял перед ним с кальяном в руках, другой

юноша, одного роста с тем и так же хорошо одетый, принес чайник и пиалу. Начальник и сотники сразу же принялись за кальян и чаепитие.

Музыка, равномерные удары палок и крики Нур-бая все продолжались. Расправа на солдатском плацу отличалась от наказания у эмирской цитадели лишь тем, что там наказываемого клали на спину человека, а здесь на военный барабан, там палачи считали удары, а здесь они сыпались без счета.

Спина Нур-бая окрасилась кровью. Но это принесло ему пользу: когда солдаты хотели с новой силой ударить его и подняли кверху палки, с конца палки на колено начальнику упала капля крови. Увидев пятно, он приказал:

— Довольно! Кровь этого негодяя испортила мне одежду.

После Нур-бая таким же образом наказали двух его свидетелей. По списку писаря-опиемана наказали еще нескольких солдат: одни из них пропустили обязательную поденщину, другие грубо ответили приставленному к ним для наблюдения человеку или совершили другие проступки.

В самом конце наказали человека, вина которого особенно привлекла мое внимание. Это был солдат из Джондора по имени Нор-Мурод. Согласно записи писаря-опиемана, проступок его заключался в том, что он три дня не ходил на бесплатную работу к своему командиру.

Во время допроса Нор-Мурод заявил:

— Это правильно, что на прошлой неделе я три дня не ходил на поденщину, так как это был не мой черед. Тот Нор-Мурод из Джондора, который записан в тетради мирзо как пропустивший три дня поденщины, — это другой Нор-Мурод, а не я. Моя единственная вина состоит в том, что меня зовут так же, как и его, и что мы из одного тюменя.

Начальник спросил писаря-опиемана:

— На поденщину не явился этот Нор-Мурод из Джондора?

Писарь сначала несколько раз кашлянул, потом стал поправлять руками воротник халата и, по своей привычке, с закрытыми глазами и опущенной головой ответил:

— Я не знаю ни этого Нор-Мурода, ни того. Ваш садовник сказал мне, что солдат Нор-Мурод из Джондора три дня не являлся на поденщину, я и записал в тетрадь с его слов.

— Где тот Нор-Мурод из Джондора? — крикнул начальник, но было непонятно, к кому обращен его вопрос.

Сотник первого отряда, приблизившись к командиру, ответил:

— Я на прошлой неделе отпустил Нор-Мурода из Джондора по уважительной причине на пятнадцать суток домой.

В заднем ряду какой-то солдат, услышав, что сотник сказал «по уважительной причине», тихонько шепнул соседу:

— Если бы сотник сказал, что отпустил его за взятку, было бы вернее.

Начальник обратился к Нор-Муроду:

— Твой тезка отпущен домой с разрешения сотника, значит тем Нор-Муродом, который без уважительной причины не пришел на поденщину, являешься ты! — и отдал приказание солдатам наказать его...

Пока солдаты стаскивали с несчастного одежду, он вопил:

— Это не я, то был другой Нор-Мурод, моего отца зовут Нуриддин, а его отца зовут Шер-Мухаммад. Если по названию тюменя нас нельзя различить, то по именам наших отцов можно установить, кто мы такие.

Однако никто не слушал его душераздирающих криков и наказание было выполнено.

В дафтарных записях бухарского ханства каждого жителя записывали только по его собственному имени, без упоминания имени отца, указывали лишь тюмень, где он родился.

На этой экзекуции «солдатские учения» и кончились. Мы пошли назад в город.

Картину наказания солдат эмирскими начальниками я отразил потом во второй части «Дохунды», в главе «Новая музыка».

По дороге Пирак сказал мне:

— «Пришел я повеселиться, а меня заставили доставать хлопок из коробочек» — так говорится в пословице. Ведь мы спешили сюда, чтобы немного развлечься солдатскими учениями на плацу, а полу-

чилось, что огорчения, которые мы здесь испытали, прибавились к горестям, пережитым нами на веревочном базаре. Вот и вышло по поговорке: «На покойника еще и сто палочных ударов».

УРОДЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

При возвращении в город мы избрали путь не через Самаркандские ворота, где надо было проходить мимо зловонного болота, а через ворота Имом. С северной части плаца мимо большого сада бухарских персов, называвшегося Ашура-хони, мы направились на северо-запад по проселку, который соединяется с большой дорогой, ведущей к воротам Имом. Недалеко от Гала-Джуя мы выбрались на большую дорогу и поспешили к городу.

С правой стороны от нас к западу тянулась равнина, возвышавшаяся примерно метра на полтора над дорогой; там были поля, а бóльшую ее часть занимали огороды. С левой стороны лежала низменность, пересеченная зловонной канавой, дальше виднелось грязное болото, которое повсюду густо заросло камышом. Среди камышей с громким кваканьем плавали лягушки.

Вскоре мы увидели, что болото примыкает к какой-то усадьбе; двор усадьбы от болота отделяла недавно рухнувшая глинобитная стена. По всему было видно, что земли усадьбы являются продолжением заболоченного пространства. Разница заключалась лишь в том, что трудившиеся здесь люди протоптали среди луж застоявшейся воды во дворе усадьбы дорожки, на которых оставили свои следы.

Между канавой у дороги и усадьбой возвышались остатки еще одной обвалившейся стены, сквозь щели которой гнилые воды из канавы текли по направлению к двору. Среди луж во дворе, так же как и на заболоченных землях рядом, росли зеленые болотные растения, которые народ называет «лягушкины косы».

Немного дальше мы подошли к месту, где усадьбу отделяли от канавы деревянные постройки и покосившиеся в разные стороны стены. Толстые деревянные подпорки предохраняли от падения эти ненадежные сооружения. Кое-где были заметны проломы и щели. Сквозь эти отверстия взорам прохожих целиком открывался вид

на двор. Длинный пролом тянулся до самых ворот усадьбы, ее отделял от дороги свежий фундамент глинобитной стены, на один газ возвышавшийся над канавой.

Сразу за проломом стояли в ряд лошади различной масти, привязанные к кольям, вбитым во дворе. За лошадьми наблюдали два босоногих дряхлых старика в рваных халатах. В этой части двора не видно было ни луж, ни застоявшейся воды, но зато его сплошным слоем покрывали конский навоз и грязь. За лошадьми виднелся еще ряд кольев. Около коновязей стояли люди с руками, скрученными за спиной, их шеи были цепями прикованы к кольям.

Среди связанных я различил двух туркменов лет по пятидесяти. Одежда их состояла из старых красных мелко стеганных туркменских халатов и больших бараньих шапок, похожих на котлы. Остальные шесть человек стояли босые и без шапок. Это были бухарские крестьяне в возрасте от тридцати до сорока пяти лет.

Пролом заканчивался возле самых ворот. Помещение при воротах, примыкавшее к пролому, поддерживалось двумя крепкими столбами, поставленными один против другого. Более отдаленная его часть опиралась на высокую глинобитную стену, которая окружала внутреннюю часть двора.

Там, где кончался пролом, за помещением при воротах, виднелась длинная суфа, возвышавшаяся почти на полметра над двором, на нее вели три ступеньки. Немного южнее стояло высокое здание, двери которого открывались к суфе.

Всю суфу покрывал длинный широкий ковер, посредине лежали в три слоя ватные стеганые подстилки на шелку, а на них сидел удивительный человек. Перед ним была расстелена скатерть с угощением, на скатерти стояло блюдо с холодным жареным мясом и грудой больших горячих лепешек. Человек брал кусок лепешки, завертывал в него мясо и отправлял в рот. Прожевывая пищу, он снова ломал лепешку и, разрывая на куски мясо, приготовлял себе следующую порцию. На суфе у ступеней, лицом к этому человеку, сидел, согнув колени, юноша лет шестнадцати-семнадцати, подпоясанный поверх легкого халата куском белой материи; голову его прикрывала небольшая чалма, конец которой был заткнут за складки. Возле

этого юноши находился чайник с чаем, а на подносике стояла пиала. Юноша не отрывал глаз от человека, евшего мясо. Он как будто ожидал: если этот человек знаком потребует чаю или мясо застрянет у него в горле, то он тотчас же подаст ему на подносике пиалу с чаем.

Не только манера еды этого человека вызывала удивление, не менее сильно поражала его внешность и одежда. Он был ниже среднего роста, смуглый до черноты, с плоским сплюснутым носом, с черными узенькими глазами без ресниц; не очень большая голова его имела удлиненную форму, лоб казался выпуклым и бугристым, лицо — узким, но скулы на нем очень выдавались вперед, вместе с выпуклым лбом они представлялись шляпками деревянных гвоздей, вбитых в землю в виде треугольника.

Но самой удивительной была у него нижняя часть лица. Начиная с нижней губы, она казалась срезанной, подбородок вообще отсутствовал, а на его месте словно кто-то пришил или приклеил кусок черной кожи. Было похоже, что кусок черной кожи сняли с козла и что когда кожу дубили, то осталось несколько волосков и эти-то волоски служили странному человеку вместо бороды.

На голове у него белела легкая тюбетейка; одет он был в широкие белые бязевые штаны без рубашки, а его плечи обтягивал тонкий ситцевый халат без подкладки. Он сидел, скрестив ноги, и все его тело от горла до пупка было хорошо видно, в особенности отвратительным казался его голый живот, выступавший из складок халата и свисавший ему на колени. Всю переднюю часть тела незнакомца, наподобие туловища животного, покрывали курчавые волосы, скрывавшие цвет его кожи.

Трудно было определить и возраст этого человека. По тому, с какой собачьей жадностью он ел, а также по незначительному количеству седины можно было предположить, что на суфе сидит человек средних лет, но по морщинам на лице и по безжизненности глаз он выглядел семидесятилетним стариком.

Был ли он стариком или пожилым человеком — и в том и в другом случае оставался одинаково непривлекательным. По тому, как толстяк на суфе беспечно и спокойно ел, когда перед ним стояли

люди, привязанные к кольям наподобие животных, можно было предположить в нем отвратительные качества характера.

Я спросил у Пирака, что это за человек.

— Его зовут Хайдаркул-Свинья, он из одного рода с эмиром и является для него самым авторитетным человеком; среди придворных нет никого, кто бы мог сравниться с ним по занимаемому положению. При эмире Музаффаре он «отличился» в войне с Кокандом и получил тарханную грамоту. Такая грамота дает ему права и освобождает от всяких налогов и податей. Что бы он ни сделал, даже если бы убил человека, никто — ни эмир, ни везирь, ни верховный судья — ничего не может ему сказать. В Карши и в окрестностях Бухары ему отданы в танхо многие деревни, налоги с которых он взимает в свою пользу.

Потом Пирак добавил о людях, привязанных к кольям:

— Я слышал, что Хайдаркул-Свинья приказывает людям работать на себя по постройке зданий или еще где-нибудь и ничего им не платит, а если они начинают требовать плату, то он попросту выгоняет их из дома. Если же они и после этого не успокаиваются, то он привязывает их к кольям и не дает есть; тогда они сами отказываются от платы и, «вполне удовлетворенные», уходят от него. Но вот почему он привязал этих именно людей, я не знаю.

Я впервые в жизни видел тогда Хайдаркула-Свинью в его усадьбе, но до того уже очень много слышал о нем и в городе, и в деревне. К сказанному Пираком коротко добавлю то, что было мне известно, чтобы яснее стала жизнь этого человека.

Отец Хайдаркула-Свиньи происходил из Карши, принадлежал к узбекскому племени мангыт и, как говорил Пирак, считался одного рода с бухарскими эмирами. Отец Хайдаркула-Свиньи был очень крупным скотоводом, в летнее время его отары паслись по берегам речки Кашка-Дарья между Карши и Шахрисябзом на богатых водой и травой пастбищах. Семья его, по древнему обычаю скотоводов, кочевала за стадами и отарами и ставила юрты на границах заболоченных земель.

Вот в такой семье и родился Хайдаркул-Свинья; он рос, привыкая к жизни в заболоченных местах, на пастбищах. Но уже в моло-

дости он отличался грубостью, стада его вытаптывали посевы крестьян, и за эти черты характера соплеменники дали ему прозвище «свинья».

Когда дурные свойства Хайдаркула-Свиньи получили особое развитие, он был вызван ко двору и направлен в военный поход на Коканд. Во время этого похода, как говорили некоторые, в том числе Пирак, он «показал свою доблесть», а как рассказывали очевидцы, его гнусные действия просто пришлись по душе эмиру Музаффару, который и пожаловал ему тарханную грамоту.

Теперь ему пришлось жить в Бухаре, но он не мог совсем расстаться со своими старыми привычками и избрал для себя эти заболоченные земли вблизи ворот Имом. Здесь он построил «дворец», а так как почва была влажная и рыхлая, то постройки на ней долго не могли держаться. Однако быстрое разрушение построек не очень-то огорчало Хайдаркула-Свинью, ведь он все равно не платил мастерам и рабочим.

Оставив позади усадьбу Хайдаркула-Свиньи, мы вышли на бухарский конный базар, который находился дальше по большой дороге, у ворот Имом. Рано утром у себя в келье во время сборов на «развлечение» мы ничего не успели поесть, и теперь от голода у нас не было сил двигаться дальше. Поэтому я купил две лепешки, а деньги за чайник чая уплатил Пирак, и мы устроились отдыхать в чайной на конном базаре.

Но и за чаем не прекращался разговор о Хайдаркуле-Свинье. Когда я стал высказывать свои предположения о причинах, побудивших его построить свою усадьбу в заболоченном месте, в разговор вмешался самоварщик:

— Возможно, что привычка и заставила его поселиться на болотистых землях у ворот Имом, но я думаю, что дело не только в ней одной. Ведь у каждых бухарских ворот не мало болот, заболоченных мест и канав. Даже и внутри города хватает болот и грязных канав. Но то, что он поселился именно здесь, имеет и другую причину... (Канавы и болотистые места — источники малярии и ришты — после Бухарской революции были засыпаны и осушены. Обе эти болезни с тех пор в Бухаре совершенно исчезли).

— Так что же это за причина?

— Дело в том, что Хайдаркул-Свинья страстный барышник и получает очень большую прибыль от торговли лошадьми. Так как он «большой человек», то барышники продают ему чужих коней подешевле, а его коней сбывают намного дороже. Кроме того, он содержит у себя краденых лошадей. Известно, что очень трудно продать краденых коней, с ними можно попасться. Но тем ворованным лошадям, которые поставлены во дворе Хайдаркула-Свиньи для совершения сделки, ничего не угрожает, даже если хозяин лошади сам при этом присутствует. Он никогда не рискнет сказать: «Это моя лошадь». Если же и осмелится на подобное, то наказанием ему послужит привязывание к колу и недельная голодовка или еще хуже — он будет брошен в эмирскую тюрьму. Конечно, в подобных сделках половина денег попадает к Хайдаркулу-Свинье. Что же касается барышников, торгующих краденными лошадьми, то им это тоже выгодно: пусть они и потеряют половину денег, но зато уверены в своей безопасности.

Я понял, что самоварщик хорошо осведомлен о жизни Хайдаркула-Свиньи, и решил узнать у него о людях, привязанных к кольям.

— Наверное, на цепи у него сидят мастера и рабочие, попросившие плату за свой труд? — спросил я.

— Да, эти люди из числа тех, кому на него приходится работать, но их привязали не из-за денег, они уже давно отказались от вознаграждения. Хайдаркул-Свинья требует, чтобы они восстановили обрушившиеся глинобитные стены, а рабочие не могут это выполнить. Вот он их целую неделю и держит на цепи.

— Разве они разрушили его стены?

— Нет, те два человека — туркмены, мастера по возведению стен, и повсюду славятся своим искусством. А другие шесть человек — рабочие из окрестных деревень, все лето они трудились вместе со своими мастерами, складывали стены у крестьян. Уж не знаю, что за «злая судьба» привела их в наши места, где они попали в лапы этого злодея. Между болотом и усадьбой Хайдаркула-Свиньи они поставили глинобитную стену в три пахсы, а между

двором и канавой — стену в одну пахсу. Так как глинобитная стена была построена на сыром месте и фундамент пропитался влагой, то она обрушилась под тяжестью верхних слоев. Негодяй-хозяин как-то дознался от этих несчастных, что летом каждый из них своим тяжелым трудом заработал по сто-двести тенег, и задумал отобрать у них все оставшиеся деньги. Когда стена рухнула, он нашел прекрасный предлог для своей затеи. Хайдаркул-Свинья обвинил рабочих в том, что стена обрушилась по их вине, и потребовал «возмещения», а так как они ничего не дали, то он привязал их к кольям. Каждый день он еще стегает их плетью.

— Эти несчастные, — продолжал самоварщик, — вынуждены будут найти спрятанные ими на зимние расходы деньги и отдать их ему, чтобы освободиться, либо умереть возле кольев с цепью на шее или в эмирской темнице. Другого выхода нет.

СБОР «ЛЮБИМЦАМИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» МИЛОСТЫНИ НА САВАН

Миновав конный базар, мы через ворота Имом вошли в город и направились прямо через Регистан и Тиргарон в ряд Наддофи. Там издали увидели толпу людей, собравшуюся на большой улице перед баней квартала Тукумдузи.

Оттуда доносились громкие крики, споры и ругань.

Ускорив шаг, мы подошли к спорящим. Перегородив улицу, между домами стояли «любимцы его величества» и хватали прохожих за полы. Одной рукой они крепко держались за одежду прохожего, а другой рукой касались своей покрытой паршой головы, затем вытирали ее о халаты, шеи и руки задержанных, при этом они кричали:

— Скорей давай деньги на саван для трех покойников! А не то вот эту самую руку суну тебе в рот!

Прохожий, если имел при себе деньги, тотчас исполнял требование покрытых паршой мальчишек, если же денег у него оказывалось мало, то со скандалом и спорами отдавал им одну-две теньги, а иногда даже и с помощью половины теньги вырывался из их цепких рук. Но когда прохожий ничего не находил у себя в кармане, то «любимчик» еще раз проводил рукой по покрытой коростой голове, тыкал

ею в рот своего пленника, потом отпускал его и поджидал следующего.

Приблизившись к этой группе, мы стали смотреть на площадку возле банной печи, которую окружили «любимцы его величества». Там на носилках лежали три окровавленных тела. Это были трупы Мулло-Бозора, Мулло-Туроба и Насима — любителя ослов, которых сегодня утром казнили на веревочном базаре Регистана «во славу его величества эмира».

Однако стоять там дольше или идти вперед было рискованно, и нам пришлось повернуть налево, к востоку, в переулок, который вел в квартал Кучаи-Сангин. Кружным путем через кварталы Ходжа-Зайниддин, Хаммоми-Кунджак, Сиддикиён и Таги-Манор мы вернулись в медресе Мир-Араб.

По словам Пирака, «любимцы его величества» постоянно живут в печной золе бани квартала Тукумдузи. Тела всех казненных эмиром на веревочном базаре они уносят на носилках к себе и ставят там. Потом под предлогом погребения вымогают у людей деньги. Если покойный имел родных и близких, то они за большие деньги выкупают тело и сами его хоронят. Но если покойный был одинок, то два-три дня тело его остается непогребенным и начинает издавать сильный запах, что служит поводом к грабежу «любимцами его величества» прохожих. Когда уже дольше держать труп становится невозможным, они относят его за город и бросают в какую-нибудь яму или заросшее камышом болото, подальше от глаз горожан.

ОДИН НЕСЧАСТНЫЙ ВМЕСТО ДРУГОГО

После всего пережитого я не имел покоя ни днем, ни ночью, перед глазами все время вставали картины виденного. Я решил, что на воздухе легче, и перешел спать во двор. Мне удалось устроиться в западной части двора, напротив ворот большой мечети.

От наваленных мешков с хлопком послышался кашель, потом чей-то голос произнес:

— Кто здесь? — я узнал голос сторожа.

— Я! Знакомый! Учащийся этого медресе. Дедушка Мурод, идите сюда, побеседуем.

Мурод — чесальщик хлопка из Бозорчи, опираясь вместо посоха на свою палку сторожа, поднялся во двор. Он двигался медленно, стуча палкой по земле и ступеням. В руках старик держал козью шкурку; расстелив ее на земле, он сел рядом со мной.

— Я состарился, холод камней и сырость очень быстро отзываются на моей пояснице, усиливается боль. Где бы я ни садился, подстилаю шкурку.

Поздоровавшись с ним, я спросил:

— Почему же вы утром не пошли на Регистан попрощаться с вашим земляком Насимом — любителем ослов?

— А разве ты туда ходил?

— Да!

— Ты видел, как его казнили?

— Видел!

— Разве ты его знаешь! — взволнованно спросил меня сторож.

— Нет, не знаю. Но вчера я слышал, что вы рассказывали про Насима Хошиму-весовщику. Сегодня я видел, как на Регистане казнили человека, и решил, что это, наверное, и есть Насим.

Старик немного успокоился и, переведя дыхание, сказал:

— Тот человек, казнь которого ты видел, не был Насимом — любителем ослов, вместо Насима казнили неизвестного бедняка...

Кашель прервал речь старика; когда кашель прошел, старик продолжал:

— Как я вчера говорил Хошиму, миршаб за освобождение Насима потребовал от его брата две тысячи тенег наличными деньгами. Тот быстро вернулся к себе в деревню и продал местному баю за две тысячи тенег дом, землю, упряжку быков, дойную корову и весь домашний скарб, хотя все это стоило в пять раз дороже. Деньги он вручил миршабу. Миршаб сказал ему, что под приговором Насиму эмир поставил печать и теперь он в руках кушбеги. Прямым путем его нельзя освободить. «Сегодня, — сказал миршаб, — я прикажу перевести какого-нибудь давнишнего, безродного арестанта из тюрьмы в „обхону", чтобы его подготовили к казни, а ты вечером приходи к тюрьме. Тюремщик передаст тебе брата, и ты его целым и невредимым отведешь домой». После этого миршаб наказал брату Насима,

чтобы он никому не говорил об освобождении узника и прятал его в течение шести месяцев. Когда пройдет некоторое время, он может всюду показываться, прошлое уже не будет иметь значения.

— Вот так, — закончил Мурод — чесальщик хлопка, — Насим избавился от смерти. Жаль лишь, что вместо него казнили другого безродного бедняка. Я бы хотел, чтобы палачи лучше отрубили голову Хаджи-Зокир-баю, скупщику хлопка.

Я поинтересовался, почему он так ненавидит Хаджи-Зокир-бая. Мурод тяжело вздохнул и рассказал, сколько он претерпел мучений от Зокир-бая, как попал сторожем на хлопковый базар и насмотрелся на несправедливость скупщиков хлопка.

Рассказы Мурода — чесальщика хлопка были повторением того, что я сам видел в деревне Махаллаи-Боло и слышал от дяди Курбон-Ниёза. Эти истории уже были кратко отражены мною в «Воспоминаниях» и в первой части романа «Рабы».

ПРИЧИНА КАЗНИ МУЛЛО-БОЗОРА И МУЛЛО-ТУРОБА

В начале 1891 года в медресе Кукельташ какими-то неизвестными был убит человек по имени Кори-Зохид, о чем все хорошо знали.

Кори-Зохид пользовался известностью в медресе как спекулянт кельями и ростовщик. В Бухаре у него был дом, но он не женился и считал для себя более подходящим жить холостяком в медресе.

Его называли самым безжалостным перекупщиком келий и ростовщиком. Рассказывали, что он обездолил многих состоятельных владельцев келий из числа учащихся медресе, всякими хитростями и уловками делал их своими должниками и отбирал кельи. Говорили также о его омерзительном поведении. Не проходило ночи, чтобы у него в келье не произошла какая-нибудь грязная история.

Убийство Кори-Зохида все объясняли двумя этими причинами. Не приходилось сомневаться, что его убил какой-нибудь разоренный им должник или один из его гнусных соперников.

У Кори-Зохида не оказалось наследников. Может быть, они и были — из числа дальних родственников, — но не сумели доказать свое право на наследство. Все его имущество отошло по распоряже-

нию верховного судьи государству. Чтобы выявить всех должников и взыскать с них деньги, в канцелярию верховного судьи перенесли из кельи его книги и долговые расписки.

На похороны убитого верховный судья выдал всего двадцать тенег, недостающие деньги собрали между собой обитатели медресе в виде милостыни и похоронили его. Так как у него не было близких наследников, правительство не приняло никаких мер к розыскам убийцы. Словно Кори-Зохид явился на свет божий лишь для того, чтобы накопить побольше денег и отдать их верховному судье. Он хорошо справился со своей задачей и ушел из этого мира. А какое другим до него дело?

* *
*

Мулло-Бозор из тюменя Зандани, земляк Мулло-Туроба, в течение многих лет был поваром у Кори-Зохида. Что касается Мулло-Туроба, то после его бегства из медресе Кукельташ он купил себе келью в медресе Джинон и жил там уединенно. Кроме редких поездок в Самарканд, он никуда больше не ездил и даже не выходил на улицу.

Мулло-Бозор не имел своей кельи. В последнее время он уже не работал у Кори-Зохида и остался без жилья. Его приютил у себя Мулло-Туроб, с которым он был из одной деревни.

* *
*

Стремясь обнаружить как можно больше должников Кори-Зохида, верховный судья очень внимательно просматривал его списки и книги. Среди книг и тетрадей, в которых числились имена должников, на глаза верховному судье попалась еще одна тетрадь — с записями личных дел и особых расходов Кори-Зохида.

В заметках о расходах и личных делах ростовщика один факт особенно привлек внимание верховного судьи и явился причиной его беспокойства. Там говорилось о тайных посещениях Кори-Зохида

старшим сыном верховного судьи. Кори-Зохид имел склонность заносить в тетради все свои непотребные похождения. Он очень подробно и бесстыдно описал, какие имел отношения с сыном верховного судьи в молодости.

Когда верховный судья впервые прочел об этом в тетради Кори-Зохида, он едва не потерял сознание. Ему не приходилось сомневаться, что если о случившемся узнают в народе, то опозоренным окажется не только его сын, но и он сам. «А я надеялся, — думал он, — что верховным судьей после моей смерти станет, наверное, старший сын».

Старика успокаивало лишь то обстоятельство, что Кори-Зохид был убит, а все бумаги погибшего попали к нему, верховному судье, в руки. Если какие-нибудь записки и прочел служащий судебной канцелярии, когда переносил бумаги из кельи, то с этой стороны судье опасаться не приходилось. Закрыть рот своим людям, «оберегающим честь хозяина», было легко. Но что же делать с теми, кто принадлежал к числу знакомых Кори-Зохида и знал о позорной тайне? Ведь они в один прекрасный день могли распространить непозволительные слухи среди народа, что тогда будет с ним и с его сыном?

При одной мысли об этом верховный судья содрогнулся и бросился искать людей, которые бывали у Кори-Зохида в те времена, когда он общался с его сыном. Судья решил их уничтожить, чтобы вместе с ними навсегда похоронить постыдную тайну.

После долгих розысков верховный судья проведал, что во время посещений его сыном Кори-Зохида у ростовщика служил поваром один учащийся медресе, некий Мулло-Бозор из Зандани, знал его тайны и даже жил в одной с ним келье.

Потом стало известно, что Мулло-Бозор поселился в медресе Хиёбон вместе со своим земляком Мулло-Туробом. Узнав об этом, верховный судья подумал, что если Мулло-Бозор рассказал о тайне ростовщика своему соседу, то после его уничтожения мало что изменится. Дальновидность и предусмотрительность требовали, чтобы он уничтожил их обоих одновременно, тогда след исчезнет на веки вечные.

Вот как случилось, что Мулло-Бозор и Мулло-Туроб были схвачены и брошены в обхону. Их обвинили в том, что они «убили Кори-Зохида и похитили его наличные деньги, которые из-за отсутствия наследников должны были отойти в казну его величества», через три дня пришел приговор, и их казнили, как я уже описывал выше.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ В МЕДРЕСЕ МИР-АРАБ

Начался 1891—1892 учебный год. В один из первых учебных дней мой учитель-репетитор, Мулло-Абдусалом, пригласил к себе в гости чтеца своей группы Шариф-джон-махдума и некоторых его соучеников и друзей. Во время приема гостей я исполнял обязанности повара и слуги.

Широкая и свободная келья Мулло-Абдусалома считалась одной из лучших в медресе, но, как и в большинстве подобных помещений, кухня и умывальник были расположены у самого порога.

Гости, хозяин кельи и я, повар, находились близко друг от друга, во время приготовления плова и кипячения самовара мне невольно пришлось участвовать в беседах и слушать разговоры собравшихся.

Когда Шариф-джон-махдум явился вместе со своими учениками, он узнал меня и спросил Мулло-Абдусалома:

— Не тот ли это самый мальчик, который в игре в бейты победил нашего всезнайку (Мирзо-Абдулвохида)?

— Он самый!

— Очень хорошо, что он учится.

Я был очень доволен этой пирушкой. Здесь много говорили о поэзии и литературе, и большинство гостей считало себя поэтами либо любителями поэзии. Если некоторые из них и не знали литературы, то все же были приветливы, остроумны, вежливы и говорили очень метко. Собравшиеся постоянно вспоминали смешные истории и весьма уместно приводили во время разговора забавные примеры; поэты неожиданно читали свои экспромты или вступали в поэтическое соревнование, спорили и обсуждали стихи друг друга; любители и знатоки поэзии декламировали лучшие произведения старых поэтов и критиковали неуместные подражания им наших

современников. Случалось и так, что поэтические состязания переходили в осмеяние или восхваления друг друга, иногда слышались едкие насмешки над кем-нибудь из отсутствующих.

Среди гостей был переплетчик Мулло-Назрулло Лутфи, более всех меня заинтересовавший. Позже мне удалось узнать, что в детстве он был переплетчиком, затем стал учиться, но вместо обычных уроков предпочитал заниматься литературой. В то время, когда я его видел, ему было лет двадцать семь или двадцать восемь и он уже закончил курс обучения в медресе. Мой новый знакомый казался очень серьезным и умным человеком, обладающим к тому же весьма привлекательной внешностью. Румяный, кареглазый, с каштановой бородкой, густыми бровями и длинными ресницами, Мулло-Назрулло Лутфи сразу привлекал к себе внимание окружающих. Он не отличался полнотой, был выше среднего роста, имел красивой формы руки и ноги, пропорциональные его росту, и вообще весь его облик вызывал представление о чем-то очень гармоничном.

Лутфи обладал красивым четким почерком; даже неграмотный человек, глядя на изящно и искусно начертанный им текст, получал удовольствие. В то время средства к жизни Лутфи добывал копированием книг и перепиской.

Стихи Лутфи были посредственны и ординарны, но сам он всегда служил украшением любого собрания. Красноречивый оратор, остроумный и находчивый собеседник, наделенный веселым нравом, он всегда был желанным гостем. Все эти достоинства делали его не менее привлекательным, чем если бы он писал хорошие стихи.

В беседе Лутфи чаще всего говорил иносказательно. Прямое значение его слов было ясным и понятным для всех, а второе, переносное, содержало то похвалу, то насмешку над кем-нибудь. В словах своих собеседников он умел находить новые смысловые оттенки, давал неожиданное толкование, которое ранее им не приходило даже в голову.

Другим заинтересовавшим меня гостем был Мулло-Рахмат. В молодости он работал цирюльником. В начале обучения в медресе Мулло-Рахмат продолжал заниматься своим ремеслом, а потом оставил цирюльню и перешел жить в Мир-Араб. Во время летних кани-

кул, чтобы раздобыть себе средства на жизнь, он нередко работал писарем у баев.

Мулло-Рахмату было около тридцати лет, и он считался соучеником Лутфи и Шариф-джон-махдума. Учился он средне, ничем другим не занимался и литературой тоже не интересовался. Но зато его все знали как мягкого и доброжелательного человека, которому были чужды спесь и зазнайство мулл. Он ненавидел шейхов и ишанов и часто говаривал: «Плов — мой духовный наставник». По его словам, сидеть вокруг блюда с пловом куда полезнее, чем проводить время возле шейхов в дервишской обители.

Куда бы ни ездил летом Мулло-Рахмат — на работу или на прогулку, он всегда узнавал удивительные истории или сам их сочинял и, вернувшись, развлекал своими рассказами близких друзей и соучеников. Шариф-джон-махдум все, что слышал от него, считал враньем и, посмеиваясь, говорил: «Приятель, вы от стрижки волос перешли к стрижке истории».

Был здесь еще гость по имени Мулло-Окиль. Его Мулло-Назрулло Лутфи называл в шутку «жертвой среди покойников». Как любитель иносказаний, он всех своих соучеников, в том числе моего репетитора и его сотрапезников, именовал «покойниками». Человек малограмотный, Мулло-Окиль ничего не понимал в научных и литературных вопросах и даже не находил никакого удовольствия в занимательных устных рассказах. Основным его положительным качеством считалось то, что он был простодушным человеком, мягким, веселым и очень покладистым. Если соученики ругали его прямо в глаза, Мулло-Окиль только смеялся и никогда не сердился. Его покладистость и добродушие товарищи объясняли прирожденной тупостью, они говорили: «Он не понимает резких и грубых слов, поэтому и не обижается». К нему вполне подходило название «жертва». Он служил собравшимся мишенью для насмешек; гости развлекались тем, что говорили по его адресу все, что им захочется.

Среди гостей находился кулябец Мулло-Бурхон. Ему казалось лет тридцать. Он был высокого роста, плотный. Окладистая черная борода почти сплошь закрывала его чуть смуглое большое круглое

лицо. Глаза его сверкали, иногда он бросал по сторонам гневные взгляды. Он тоже был приятным собеседником и умел рассказывать интересные истории, прихотливо сочетая в себе грубость горца с бухарской вежливостью.

Стихи Мулло-Бурхона отличались простотой; поначалу он взял себе псевдоним Муштоки, но когда Назрулло Лутфи исказил этот псевдоним и стал иронически называть приятеля «муши токи» (т. е. горная мышь), Мулло-Бурхон отказался от старого псевдонима и выбрал другой — «Бисмил». Он говорил о себе: «Я принесен в жертву яду, источаемому языком моего Лутфи».

Мулло-Бурхон на два года прерывал занятия и провел их у себя в горах. В этом году он вернулся в Бухару и присоединился к своим старым товарищам. В бухарских медресе можно было сколько угодно не заниматься, но это не становилось причиною отставания учащегося от товарищей.

Мулло-Бурхон рассказал нам настоящий роман о причине своего двухлетнего пребывания в горах.

Я разделю этот роман на главы и передам его так, как слышал от Мулло-Бурхона, только придам ему несколько иную форму.

ПЕРЕСТАНОВКА ТУФЕЛЬ СВЯТЫМ ХОДЖА-УБОНОМ

«Как-то летом мне захотелось поехать куда-нибудь и провести некоторое время в уединении, — начал свой рассказ Мулло-Бурхон, — я думал, что повторю пройденное и подготовлюсь к предстоящим занятиям. Мне требовалось такое место, где можно было получить бесплатно еду и лепешки. Мне указали на мазар Ходжа-Убона как на самое подходящее место.

«Всем вам хорошо известно, что мазар Ходжа-Убона находится к северо-западу от Бухары в пяти фарсахах (сорока километрах) от города, в песчаной пустыне. Половина дороги туда проходит среди селений и зеленых полей, вторая половина пути лежит в пустынной местности, лишенной воды и всякой растительности. С большим трудом я добрался до мазара. В его окрестностях не было ни воды,

ни травы, ни селения, ни деревца. Среди пустыни высились лишь строения возле мазара, в котором, кроме могилы Ходжа-Убона, была еще келья, носившая название „чилля-хона", и глубокий колодец с солено-горькой водой; эту воду использовали для лечения больных ложной проказой. Питьевую воду привозили издалека на лошадях и ослах в бурдюках и кувшинах. Внутри мазара имелось еще помещение для молитвы, терраса перед ним и общая трапезная, которую называли „мехмон-хона достопочтенного святого". С северной стороны к мазару и молитвенному помещению примыкала большая усадьба с высокой оградой, принадлежавшая мутевалли мазара.

«Мутевалли был старик невысокого роста, лет семидесяти, очень тучный, с расплывшимся красным лицом, с большой белой бородой и толстой шеей. Этот старик считал себя не только мутевалли, но и проповедником, имамом и шейхом; все дела мазара он крепко держал в своих руках. В подчинении у него находилось несколько слуг, занятых подметанием и уборкой всех помещений.

«Кроме мазара и усадьбы, кругом не было и следа каких-либо построек. Куда ни кинешь взгляд, всюду виднелись лишь красные песчаные холмы. Одна сторона пустыни тянулась в сторону Чарджуя, другая к Хорезму, а северная часть к Кизылкумам.

«Но еды здесь было много, общая мехмон-хона утром и вечером наполнялась вкусной пищей. Эту еду приносили паломники и больные из числа тех, что считали себя почитателями „святого", а также мюриды мутевалли.

«Говорили, что благодаря бесчисленным подношениям, подаркам и милостыне амбары мутевалли ломились от муки, пшеницы, риса и ячменя, корчаги были полны маслом, а на пастбищах паслись многочисленные стада крупного и мелкого рогатого скота. Кроме того, мутевалли захватил в свои руки много земель в окрестностях и десятки мюридов бесплатно обрабатывали для него эту землю.

«Я увидел здесь самые разнообразные блага и почувствовал себя так, словно находился в раю, созданном среди ада. Но позднее мне пришлось убедиться, что ни один путник, ни один пришелец или нищий не может удержаться в этом „раю" дольше трех дней. Глаза

его устремлены на вкусные яства, слюнки текут изо рта, сердце страстно желает их вкусить, но, подобно библейскому Адаму или шайтану, он вынужден убраться отсюда. Причиной изгнания всегда служило „нерасположение святого" к путнику, пришельцу или нищему, находящемуся здесь дольше, чем нужно. Крестьяне, доставлявшие сюда подношения по обету, из-за своей всегдашней занятости не задерживались долго. Вручив скромные подношения и подарки, они обычно наполняли из „целебного колодца" несколько бутылок или кувшинов солено-горькой водой и в тот же день спешили домой. Только тяжело больные оставались здесь на ночь и, получив облегчение (освободившись от всего, что было у них в карманах), возвращались к своим обычным делам.

«Я решил не обращать внимания на расположение или нерасположение „достопочтенного святого" и пробыть здесь сорок дней. Ради этого мне пришлось уединиться в келье, находившейся внутри мазара. Я выходил из нее в общую мехмон-хону только три раза в день и получал там свою долю от обильных яств вместе с другими мюридами и паломниками.

«На третьи сутки я поднялся с постели на рассвете и увидел, что мои туфли стоят у порога кельи, словно приготовленные к надеванию. Первый раз я не придал значения случаю с туфлями и счел это за проявление уважения ко мне со стороны кого-нибудь из слуг. Но когда это повторилось несколько раз, мне стало неудобно перед самим собой и, увидев слугу, я у него спросил:

«— Братец, ты ведь такой же человек, как и я, а благодаря тому, что убираешь мазар Ходжа-Убона, вероятно почтенней и достойней меня. Пожалуйства, не выставляй больше моих туфель, мне от этого неловко.

«— Я не выставлял ваших туфель, — ответил слуга.

«— Кто же их выставляет? — удивился я.

«— Святой!

«— Какой святой? — еще более удивившись, спросил я.

«— Святой Ходжа-Убон, который погребен в этом мазаре! — ответил серьезно слуга, словно он сам собственными глазами видел, как „святой" переставлял мои туфли.

«Его ответ меня слегка озадачил. Я смекнул, что здесь кроется какая-то тайная проделка. Но чтобы понять, в чем тут дело, я не рассмеялся, а очень серьезно обратился к слуге:

«— Зачем же святой выставил мои туфли? Разве он особенно ко мне расположен?

«— Он это делает не из-за особого расположения к какому-нибудь человеку, скорее это знак его неудовольствия! Если святой Ходжа не хочет, чтобы посетитель задерживался здесь, он выставляет его туфли, что значит: „Поскорей убирайся отсюда!". Таково одно из чудес Ходжи, которое очевидно для всех сомневающихся.

«— А что, если какой-нибудь „сомневающийся" после выставления туфель „святым" отсюда не уйдет? Что тогда?

«— Тогда сомневающийся обязательно заболеет ложной проказой! — сказал слуга таким тоном, словно он сам собственными глазами видел не один раз, как подобные скептики заболевали проказой.

«Я понял, почему здесь долго не задерживаются путники, пришельцы из дальних мест и нищие. Посмеявшись над их легковерием, я подумал: „Мне стыдно быть таким дураком, чтобы убраться отсюда из-за их глупых уловок и бросить все здешние блага. Пока мутевалли с помощью слуг меня отсюда не выгонит, сам я не уйду!". Мне захотелось разоблачить „чудеса" Ходжа-Убона. В ту же ночь, после полуночи, когда все уснули мертвым сном, я вышел наружу и выставил вперед туфли всех гостей и почитателей, принесших подношения по обету, спавших где попало — на террасе молитвенного помещения, на суфе возле мехмон-хоны, во всех уголках двора, — а сам вернулся в келью и спокойно заснул.

«Когда наступило утро, все гости, мюриды и паломники увидели, что им надо готовиться в путь. На лицах у них отразились горе и печаль, словно их накрыла черная завеса. Достопочтенный святой не захотел, чтобы они здесь находились... Если они не подчинятся, кто знает, „какие беды падут на их головы".

«Теперь я стал так поступать каждую ночь. Дело дошло до того, что по всем окрестностям распространился слух, будто бы „святой не хочет допускать к себе" никого, кроме мутевалли, слуг и меня.

Вскоре поток молящихся с приношениями и дарами по обету почти прекратился.

«Днем ко мне в келью явился сам мутевалли. Лицо его было красней обычного, и глаза бегали. Я подумал, что он сейчас же меня отсюда выгонит, а если я сам не уйду, то он выбросит меня силой с помощью своих слуг. С лицемерным почтением я вскочил с места. Он сделал мне знак сесть, а сам, быстро подойдя ко мне, силой усадил на прежнее место. Потом, подобно мюридам, сам почтительно сел передо мной на колени и, словно собираясь сообщить что-то тайное, наклонил ко мне голову и заговорил. Изо рта у него исходил запах, который, казалось мне, должен был быть чужд подобным местам, — запах вина. Я понял, что мой семидесятилетний старец, подобно некоторым дряхлым бухарским муллам, „чтобы найти в себе силы на служение Аллаху", употребляет дозволенное шариатом вино собственного приготовления. Однако не приходилось сомневаться, что сейчас старик выпил вина не для того, чтобы „найти силы на служение Аллаху", а для придания себе смелости перед разговором с таким безбожником, как я.

«Мутевалли заговорил:

«— По-видимому, вы не боитесь „выставления туфель почтенным святым"?

«— Конечно! — ответил я резко и сердито, заранее приготовившись к тому, что если он выгонит меня силой, то я уйду лишь после того, как раскрою тайну выставления туфель его же слугам, мюридам и паломникам. Но старик ответил мне совсем другим тоном:

«Если так, то это не обитель святого, а ваш собственный дом. Но у меня к вам есть единственная просьба, чтобы вы, взявшись вместо святого выставлять вперед туфли, не причинили вреда паломникам и мюридам этой обители, а другая моя просьба — не открывать известное вам другим людям, потому что, как говорит пословица: „Лучше, когда чужая тайна остается тайной".

«Из слов мутевалли мне стало ясно, что он не хочет ссориться со мной и считает для себя более полезным наше полное взаимопонимание. Как только старик кончил говорить, он достал из кармана сверток и вручил его мне.

«— Это так же, как из целой квашни — одна лепешка, вознаграждение за ваш приход. К вашему возвращению в город от меня, богомольца, вам будут приготовлены халат и чалма, — сказал старик и быстро удалился.

«Когда он ушел, я раскрыл сверток и сосчитал деньги: там оказалось сто бухарских тенег (пятнадцать рублей).

«После этой встречи мне уже не нужно было выходить к общей трапезе: теперь мне в келью приносили всевозможные вкусные кушанья; если всем давали домашние лепешки, то мне приносили сдобные лепешки из дважды просеянной муки; служанка каждый раз стирала мне белье. Я здесь жил не как гость, а как член семьи мутевалли. Все слуги оказывали мне почтение. Короче говоря, я здесь устроился, как свой человек, и здесь я пережил любовное приключение».

После этого Мулло-Бурхон рассказал нам о своих отношениях с дочерью мутевалли и о трагическом конце девушки. Я счел нужным привести здесь его рассказ в моем пересказе под заглавием «Несчастная девушка».

НЕСЧАСТНАЯ ДЕВУШКА

«Когда мутевалли куда-нибудь уезжал, вместе со служанкой ко мне заходила высокая девушка. На ней была шелковая цвета павлиньего пера паранджа (в Бухаре дочери богатых родителей до замужества носили шелковые паранджи цвета павлиньего пера, а дочери простых людей — бумажные красные паранджи), лицо ее вместо волосяной сетки закрывала тонкая белая кисея. По шелесту, который слышался, когда девушка шла, было ясно, что на ней надето новое шелковое платье, а запах ее духов щекотал мои ноздри и волновал меня.

«Когда служанка приносила ко мне в келью свежее белье или брала ношеное в стирку, ее хорошо одетая и надушенная дорогими духами спутница смотрела на меня, приподняв кончик своего кисейного покрывала. Но я не мог разглядеть ее лица и волос. Если мутевалли не было в мазаре, их посещения повторялись по нескольку раз в день, и мое нетерпение с каждым разом все более возрастало, но я не осмеливался заговорить, особенно в присутствии служанки.

«Однажды служанка, как всегда, отдала мне свежевыстиранное белье, а девушка в это время поджидала ее за дверью. Служанка обратилась ко мне:

«— Моя госпожа слышала, что вы знаете много газелей, хорошо, если бы вы записали для нее одну из них.

«Незнакомая девушка смущенно засмеялась под паранджой и накинулась на служанку:

«— Ах, чтоб тебе, Ситора, умереть молодой! Ведь я ничего тебе не говорила! Обращаясь с такой просьбой от моего имени, ты позоришь меня перед моим старшим братом-муллой!

«При звуках голоса этой девушки я едва не потерял сознание. Говорят, что у соловья прекрасный голос. Да, у соловья очень хороший голос! Я много раз слышал в горах его пенье, и оно всегда производило на меня большое впечатление. Но когда послышался голос девушки, то пенье соловья показалось мне похожим на карканье вороны.

«Ее слова едва не лишили меня сознания, но вместе с тем воодушевили и придали смелости.

«— О моя дорогая! Если раньше я писал стихи каламом на бумаге, то теперь для тебя я напишу ресницами на оболочке своих глаз, — обратился к ней я. — Если ты, мое солнце, вечером *пришлешь ко мне свою Звезду,* то она положит тебе под ноги вместо ковра мое послание.

«Девушка ничего не сказала мне в ответ, только притворно зевнула. Потом вдруг рассмеялась и, с трудом сдерживая смех, промолвила с укором:

«— Выходи скорей, Ситора, идем, ты совсем меня осрамила!

«Но я понял, что мои слова понравились девушке, доставили ей удовольствия больше, чем массаж в бане дряхлому, усталому от работы старику.

«Девушки ушли. Я вслед за ними покинул келью и через заднюю дверь мазара поспешил к дороге, которая вела в усадьбу мутевалли. Стоя здесь, я следил за уходившими девушками. В тот день дул северный ветер. Не знаю, сама ли она подняла руки или ветер раздувал ее паранджу цвета павлиньего пера, но она была в ту минуту похожа на идущего плавной походкой павлина, раскрывшего крылья...

«Я не мог отвести от нее глаз; словно почувствовав что-то, девушка неожиданно обернулась и увидела, что я стою у двери и слежу за ней. Не знаю, из кокетства или от смущения, но она сразу ускорила свой шаг. В это время я тихонько запел бейт Хисрава Дехлави:

Ее походку с чем я сравню? Ступает красиво она, как павлин!
Когда ж обернется и бросит взгляд свой — пугливой лани подобна она!

«Девушка скрылась за дверью усадьбы. Я, совершенно очарованный, вернулся в келью и сел писать обещанную ей газель. „Сверкающему солнцу“ — так начал я свое стихотворение».

Мулло-Бурхон прочел нам газель, посвященную той девушке. Но стихотворение было очень слабым по форме, я его не запомнил и не счел нужным записать. Поэтому передам его содержание в прозаическом пересказе.

Сверкающему солнцу

«О, сверкающее солнце! Если светило, озаряющее мир, долго не покажет своего лица, то все живое увянет и погибнет. Ты, являющаяся моим солнцем, почему ты прячешь от меня свое лицо? Неужели ты хочешь, чтобы я увял и умер в разлуке с тобой? Я не могу поверить, что ты так холодна и жестока! Склоняясь к праху твоих ног, я молю тебя: один единственный раз покажи мне — „очарованному“, „готовому принести себя в жертву“, твою озаряющую мир красоту. Если сегодня ночью, после заката солнца, ты, мое солнце, не явишь мне свой лик, то я брошусь в колодец твоего деда (колодец мазара Ходжа-Убона) и там погибну. Тогда моя кровь падет на твою юную голову...»

— В конце этой газели, — рассказывал Мулло-Бурхон, — я добавил один бейт неизвестного, но очень популярного среди бухарской молодежи поэта:

Не допускай, чтоб умер юноша из-за любви к тебе.
Еще сама ты молода, желанья тайные тебя томят!

* *
*

Мулло-Бурхон продолжал свой рассказ.

«В тот же день перед заходом солнца пришла Ситора. Я ее спросил, грамотная ли она. Юная служанка ответила отрицательно.

«Я очень боялся, как бы моя тайна не была кем-нибудь открыта. Ответ Ситоры меня обрадовал и немного успокоил. Теперь я убедился, что она не может прочесть газель и понять ее любовный смысл. „Конечно, — думал я, — двенадцатилетняя деревенская девочка не в состоянии угадать, какие желания скрыты в моем сердце и в сердце ее прекрасной хозяйки".

«— А твоя госпожа грамотная? — спросил я у девочки.

«— Грамотная, она иногда что-то пишет и очень много читает.

«Мне пришлось предупредить Ситору, чтобы она была осторожней.

«— Смотри, — сказал я ей, — мою газель никому не показывай и никому не проболтайся, что ты приходила ко мне и я дал тебе письмо для твоей госпожи.

«— Это еще до вас она наказывала, — улыбнулась девочка.

«— Ты обещала своей госпоже, что никому не скажешь об этом?

«— И без всяких обещаний я ни одного ее слова никому не передам и никому ничего о ней не стану рассказывать, — ответила девочка очень серьезно, — госпожа очень меня любит и жалеет, мы с ней даже спим в одной постели. Я ее тоже очень люблю и всегда слушаюсь.

«Ситора взяла мое письмо и ушла.

«Выходит так, — подумал я, — что эта двенадцатилетняя деревенская девочка, „во славу обители Ходжа-Убона", все отлично понимает, а мы, грамотеи и поэты, без всякого толка теряем время в своих медресе.

«Вероятно, прекрасная соседка (такой я ее представлял себе) была еще более моего нетерпелива, потому что не прошло и десяти минут, как Ситора вернулась. По тому, как она шла, улыбаясь, можно было заключить, что у нее есть для меня радостное известие. Я не стал дожидаться, пока Ситора войдет в келью, и поспешил ей навстречу.

Но служанка, легонько толкнув меня в грудь своими тонкими нежными ручками, заявила:

«— Не спешите, войдите внутрь, чтобы никто не заметил.

«Мне стало стыдно, и я невольно подумал: „Ого, оказывается, простодушная девочка в вопросах любви куда опытнее меня, а я и не знал. Как жаль тех двадцати дней, что я из-за своей робости и неосведомленности проскучал здесь в одиночестве". Мы вернулись в келью. Я сел на свое место, и мне было неловко взглянуть в лицо юной служанке, ставшей моим учителем в вопросах любви. Она достала из рукава письмо и протянула его мне; не поднимая головы, я взял письмо у нее из рук. Она не стала дожидаться, пока я прочту письмо, а сказала тихонько:

«— Как только стемнеет, выйдите к задней двери мазара. Я приду и отведу вас, куда мне приказано. — Больше она не промолвила ни слова и быстро ушла.

«Подобно верховному судье, получившему указ эмира, я поднял письмо моей милой над головой, потом потер им глаза, приложил к губам и целовал до тех пор, пока оно не стало влажным. Только тогда я развернул, наконец, письмо и стал читать. В нем было сказано: „Братец-мулла! Я очень плохо пишу, поэтому буду краткой. Не осудите! Все, что передаст вам Ситора, то и сделайте!".

«От нетерпения я не мог более оставаться в келье. Еще засветло я вышел к задней двери мазара и стал там прогуливаться взад и вперед. Когда стемнело и на небе засверкали звезды, пришла Ситора. Я увидел девочку издали и хотел было поспешить ей навстречу, но она сделала мне знак остановиться. Подойдя ко мне, Ситора промолвила:

«— Не торопитесь!

«От страха и отчаяния у меня едва не разорвалось сердце, я подумал, что девушка, наверное, назначила другое время и служанка пришла меня предупредить. Но Ситора продолжала:

«— Я сейчас пойду вперед, а вы следуйте за мной на расстоянии двадцати шагов!

«Мне еще раз стало стыдно. Ведь мое „нетерпение" было таким же, как и час назад, когда эта же девочка упрекнула меня за неосмотри-

тельность. Теперь мое поведение опять заслужило замечание с ее стороны.

«Служанка пошла, а я принялся считать ее шаги... Когда она удалилась на установленное расстояние, я сделал свой первый шаг и старался затем идти так, чтобы мои шаги были не шире и не у́же ее шагов. Я одновременно с ней поднимал то одну, то другую ногу и вместе с ней опускал на землю. При такой ходьбе меня можно было принять за эмирского солдата, который старается идти в ногу со своим командиром.

«Я надеялся, что моя красавица примет меня, как гостя, у себя дома. Однако Ситора оставила слева от себя ворота во двор мутевалли, прошла мимо усадьбы и оттуда уже направилась прямо на восток среди песчаных холмов. Я шел за ней. Иногда песчаные холмы скрывали служанку от меня и я терял ее из вида. В такие минуты мое тело охватывала дрожь, я боялся, как бы излишне не приблизиться к ней или не отстать и еще раз не дать повод для упрека.

«Наконец, Ситора дошла до небольшой впадины. Я остановился. Увидев это, она сделала мне знак следовать за ней. Подобно воробью, у которого неожиданно развязалась на ноге веревочка, я словно взлетел и в одну секунду оказался рядом с девочкой.

«Она тихонько сказала:

«— Вы полежите немного в этой впадинке, чтобы вас никто не заметил из тех, кто может здесь пройти, моя госпожа придет сюда.

«Через секунду Ситора скрылась из глаз. Как только она удалилась, на небе стали бледнеть звезды. Через несколько минут на востоке появился какой-то свет, подобный отблескам дальнего пожара, он постепенно распространялся по небу, становился все выше и беднее. Вслед за отблесками появилось нечто подобное огромному медному тазу, раскаленному на огне. Это была полная луна, взошедшая на небе. Она начала быстро бледнеть и через минуту превратилась в небольшой светлый серебряный поднос. При ее свете красные пески приобрели вид густо сбитых сливок. Теперь все вокруг превратилось в молочное море.

«Месяц поднялся выше, но от моего солнца еще не было никаких вестей. Мне стало грустно, тысячи страхов ожили в моем сердце.

Может быть, неожиданно из города вернулся ее отец; может быть, пришел незваный гость; может быть, она, не дай бог, внезапно заболела. И хотя это казалось невероятным, но я допускал даже, что она, подобно коварным девушкам, о которых рассказывается в сказках, обманула меня. Лежит себе сейчас спокойно в постели, обнявшись со своей служанкой, и смеется надо мной, „утолив жажду вместо пахтанья молочным светом луны", а я здесь „вместо того, чтобы насладиться солнцем, наслаждаюсь луной". Такие мысли все время приходили мне в голову...

«Не выпрямляясь, я вылез ползком из своей впадины на песчаный холм. Оттуда я стал смотреть на усадьбу мутевалли; стены ее в лунном свете тоже казались молочными. Мое внимание привлекла маленькая дверца. Я решил, что здесь, наверное, выход из усадьбы, и, подобно кошке, не отрывающей глаз от мышиной норы, я устремил свои взоры на эту дверь надежды.

«Не знаю, прошло полчаса или час (для меня время тянулось подобно ночи зимнего солнцестояния); вдруг дверь моей надежды раскрылась, сердце у меня забилось так, словно стремилось выпрыгнуть из груди и помчаться навстречу к милой. Но сразу же все мои надежды рухнули, с разочарованием увидел я, что выходивший из двери человек был небольшого роста, в то время как милая казалась мне „высокой, стройной, кокетливой, как кипарис". Я всмотрелся более внимательно и увидел, что *выходившая была как будто „звездой" (Ситорой), в то время как я ожидал появления „солнца".*

«Тогда у меня мелькнула мысль: „Вот идет по виду простая, а на самом деле скрытная девчонка, которая сегодня и днем и ночью обманывала меня и заставляет мучиться в ожидании. Она опять хочет найти какую-нибудь уловку и бросить меня в огонь нетерпения. В таком случае... В таком случае мне лучше броситься в колодец, чем, изведав отчаяние, вернуться к себе в келью".

«Однако служанка не пошла в мою сторону, а поспешила вдоль стены усадьбы в том направлении, откуда недавно меня привела. Она задержалась возле юго-восточного угла усадьбы и стала внимательно наблюдать за задней дверью мазара и за главным входом усадьбы. Затем так же вдоль стены пошла обратно на север и, миновав зад-

нюю дверь усадьбы, продолжала свой путь в северном направлении. Когда девочка дошла до северо-восточного угла, она опять там немного постояла и внимательно осмотрела все кругом, затем вернулась к задней двери, вошла в нее и исчезла.

«Я надеялся, что как только Ситора скроется, из двери появится „мое солнце", я уже мысленно видел ее в парандже цвета павлиньего пера, с белым кисейным покрывалом. Но оттуда вместо „солнца" показался небольшой светлый луч, который как бы поднимался от земли к небу и тихо приближался ко мне. Когда „движущийся луч" оказался невдалеке от меня, я понял, что это был человек, человек, одетый в белую одежду, одного цвета с молочной луной. Если бы на моем месте был кто-нибудь другой, не находившийся, как я, в ожидании, то он принял бы его за игру лунного света.

«Теперь у меня не осталось больше сомнений, что это тот самый „мой высокий, стройный, кокетливый кипарис". Стан ее при ходьбе напоминал нежные молодые деревца, которые от ветерка слегка сгибаются из стороны в сторону, или куст с расцветшими розами, клонящийся под тяжестью своего ароматного груза. Опьянев от вина своей красоты или вина радости, мой кипарис шел, слегка покачиваясь.

«Лишь только моя красавица подошла ближе, как я скатился с песчаного холма и лег в ту впадину, которую мне указала Ситора. (Должно быть, Звезда выбрала мне это место по указанию Солнца).

«Прошла минута, и солнце, озаряющее мир, появилось над подушкой моего ожидания, словно сама счастливая судьба говорила мне: „Вставай, над твоей головой взошло солнце!". Я не стал отвергать ее радостное веление, сразу же вскочил с места и оказался лицом к лицу с девушкой.

«На ней, словно лунный свет, переливалась белая шелковая одежда. Покрой ее рубашки был не как у девушек, а как у кормящих женщин, с разрезом на груди, и сквозь разрез я увидел в лучах луны светлую, как хрусталь, грудь, похожую на сверкающую белизной страницу. Это была сама моя светлая судьба, которая пришла ко мне с открытым лицом; рукава ее платья, поднятые выше локтей, оставляли открытыми белые руки, блестевшие при лунном свете серебром,

как форель, плывущая в реке; они казались мне неизъяснимо прекрасными и словно призывали: „Мы готовы к твоим поцелуям", — притягивали к себе сильнее, чем магнит. На голове красавицы белел шелковый платок, который покрывал сверху донизу ее черные длинные распущенные волосы; она накинула его, чтобы, слившись с лунным светом, он скрыл ее от нескромных взоров. По обеим сторонам платка ниспадали две пряди незаплетенных вьющихся волос; кокетливая девушка заложила локоны себе за уши, затем перекинула их вперед почти до самых губ, что делало ее еще более привлекательной.

«Не знаю, с чем сравнить ее прелестное розовое личико? Если я назову ее солнцем, это будет неверно, назову ее месяцем — это будет неверно, розой назову — это тоже будет неверно, назову его зеркалом — и это будет неверно! Ведь солнце, месяц, розу и зеркало каждый человек видит всегда и не придает им особого значения. Но с чем можно сравнить лицо, при одном лишь взгляде на которое человек готов отдать всю свою жизнь? Разве у него хватит совести сравнить его с чем-нибудь обычным?

«Могу лишь сказать, что прелестное лицо ее было очень гармоничным. Красиво очерченный нос, черные ласковые глаза, опушенные длинными ресницами, тонкие изогнутые брови и нежный лоб словно дополняли друг друга, были соразмерны и так прекрасны, что не давали отвести от нее глаз.

«Я весь дрожал, а она, словно опьяненная, приближалась ко мне. Невольно я схватил ее за обе руки. Без всякого жеманства и кокетства она подошла еще ближе. Вместе с дурманящим ароматом духов от нее исходил также легкий запах вина. Я тотчас же все понял: сегодня вечером девушка выпила две-три пиалы того самого дозволенного вина, которое пьет для придания себе сил ее отец, она выпила лишь для того, чтобы на любовном свидании смелее раскрыть книгу своей любви перед новым, незнакомым избранником.

«Увидев ее возле себя в раскрытом на груди платье, с засученными рукавами, я вспомнил стихи Соиба Исфахони и стал их тихонько читать:

Вышла из дома красавица,
Пьяная, еле бредет,

Клонится к долу, падает,
Словно созревший плод.
Бросив любовной игры
И тонких уловок расчет,
Стыд свой в пыли и крови
Топчет она без забот.
Для поцелуев открытую
Руку мне подает,
Платье порвав, обнажилась,
Как лучезарный восход.

«Моя повелительница тоже была подобна созревшему плоду, упавшему сегодня мне в руки, напоминала только что сорванный персик, с которого каплет свежий сок.

«Запястья ее тонких рук были в моих руках и дрожали не меньше, чем у меня, я тихонько их гладил, но не находил слов, не знал, что сказать. Вдруг она резким движением освободила свои руки и, прижав их к белой нагой высокой груди, с неожиданной смелостью предложила:

«— Давайте же сядем!

«Голос ее прозвучал так, будто она упрекает меня в отсутствии решительности.

«— Повинуюсь! — ответил я.

«Она села там, где стояла, а я, следуя ей, сел напротив нее. Между нами оставалось расстояние не более двух четвертей. Я все еще не находил слов, подобно глухонемому, не мог высказать ей, что было у меня на сердце.

«Она заговорила опять:

«— Почему вас называют так странно, Бисмил — „принесенный в жертву"?

«— Это слово означает „убитый", ведь я убит любовью, меня так и называют, — ответил я со смелостью, вернувшейся ко мне после ее слов.

«— Какая же жестокая красавица убила вас, такого милого молодого человека?

«— Я боюсь назвать имя этой красавицы и твоего слова „жестокая", — ответил я, дрожа.

«— Разве не существует средства оживить убитого любовью? Если есть, то что это за средство, и где можно его найти?

«Ее запутанные вопросы вели к тому, что я должен был открыть свое сердце, они волновали меня и усиливали нетерпение. У меня больше не осталось и следа прежней робости, стыда и смущения.

«— Есть! — воскликнул я и придвинулся к своей прелестной возлюбленной, приблизил свои губы к ее губам.

«— Поцелуй этих живительных уст — вот средство оживить убитого любовью!

«Я приник своими дрожащими губами к ее горячим устам. Когда почувствовал, что она меня не испугалась, я еще более осмелел и, обняв ее, хотел прижать к своей груди. Однако девушка, хотя и была взволнована, обеими руками уперлась в мою грудь и резко, с силой оттолкнула меня, а сама отодвинулась немного назад и опять, как прежде, оказалась лицом к лицу со мной. Она опустила голову, и я услышал всхлипывание.

«Пламень, сжигавший мое тело, сразу погас. Я, правда, еще ощущал огонь в голове и ногах, но это был уже дымный огонь, каким горят сырые дрова, и дым их словно разъедал мне мозг.

«Девушка не успокаивалась и продолжала плакать. Радость превратилась в печаль, свадьба — в траур. Для меня, полюбившего ее, мечтавшего доставить ей радость, было невыносимо видеть ее состояние. Я немного приблизился к ней и сказал ласково и печально:

«— О моя дорогая! Меня ввела в заблуждение твоя доброта, я невольно позволил себе грубость. Ты указала мне мое место, и я очень тебе благодарен. Я чувствую себя виновным в твоей печали; вместо того чтобы развеселить, заставил тебя плакать. Прости меня и скажи, что надо сделать? Я хочу заставить тебя забыть твою печаль.

«Девушка постепенно успокаивалась. Но она не отвечала на мои вопросы и все так же, словно под тяжестью какого-то горя, сидела, низко опустив голову.

«— О моя чистая, невинная красавица! Если для твоего спокойствия и радости потребуется моя смерть, я тотчас же покончу с собой; если ты хочешь, я сейчас же уйду отсюда и никто меня никогда

не разыщет, а если я погибну и превращусь в прах, на твое чистое платье не сядет и пылинка моего праха...

«Я умолк, мне хотелось знать, как отнеслась девушка к моим словам.

«Она перестала плакать, но сидела, по-прежнему опустив голову, о чем-то думала и своими тонкими пальчиками чертила на песке. Я продолжал:

«— Я тебя люблю, я с радостью и благодарностью приму всякие муки, горести, несчастья, беды, огорчения, которые выпадут мне на долю из-за любви к тебе. Но я не в силах выносить больше твою печаль, твою грусть, в особенности ту, которую сам вызвал.

«Я снова умолк и с надеждой устремил на нее свой взор. Девушка, не поднимая головы и не глядя на меня, заговорила:

«— Не вы и не ваша грубость являетесь причиной моей печали, моих слез, моего огорчения. Конечно, ваша дерзость мне не понравилась, и я вас оттолкнула. Но разве может стать причиной горести поступок, избавление от которого в моих руках, у меня достаточно сил, чтобы владеть собой... Если бы ваша дерзость и вызвала у меня слезы, то я все равно не смогла бы вас обвинять, да и не имела бы на это права. Ведь я сама обнадежила вас. Причина моих слез, моего горя и тоски — моя злая судьба, которая сделала меня такой отчаянной и бесстрашной. В условиях, когда шариат считает недозволенным даже голос женщины или девушки, — я ночью в уединенном месте беседую с чужим мужчиной, не закрывая своего лица.

«Девушка немного помолчала, подумала и вдруг через секунду, подняв голову, спросила меня в упор:

«— Сколько вы дадите мне лет?

«Я не сразу ответил на ее вопрос. Мне казалось, что ей двадцать один или двадцать два года. Но зная, что девушки и женщины не любят, когда им дают много лет, подумал немного и, чтобы сделать ей приятное, ответил:

«— Я дал бы тебе лет семнадцать-восемнадцать.

«Она улыбнулась:

«— Вы хотите порадовать меня ложью, а ведь мне на самом деле полных двадцать восемь лет...

«С ее лица в ту же минуту исчезло светлое выражение, появившееся при моем ошибочном определении, и его снова покрыла пелена печали и горя.

«— Да, мне двадцать восемь лет, — продолжала девушка, — но я все еще не замужем. Вот какова моя черная судьба! Только история, почему я оказалась в таком положении, очень длинная. Если вы в состоянии меня выслушать, я готова рассказать ее вам!

«— Я жажду услышать все, что вы скажете, мое внимание принадлежит вам.

ПОВЕСТЬ О ГОРЕСТЯХ И ПЕЧАЛЯХ НЕСЧАСТНОЙ ДЕВУШКИ

«— Когда умерла моя мать, — начала свой рассказ девушка, — мне шел уже девятнадцатый год. Я была единственной дочерью в семье. Мать умела читать и писать и меня тоже обучила грамоте. Кроме того, она научила меня готовить, шить и всему тому, что должна уметь делать девушка. Года за два до смерти матери, когда мне исполнилось шестнадцать лет, родители стали думать о том, чтобы выдать меня замуж. Мать хотела осуществить свое заветное желание — дожить до моей свадьбы и увидеть обеспеченным будущее своего единственного ребенка. До последних дней своей жизни она ожидала сватовства какого-нибудь достойного юноши. Но никто не появлялся. — В этом месте девушка остановилась и спросила:

«— А знаете, почему?

«— Нет.

«— Конечно, вы не могли об этом знать. Но, может быть, вам известно, что все ходжи, в том числе и ходжи колена Убона, отдают своих девушек замуж только за мужчин из своего рода. Среди наших родственников не нашлось ни одного молодого человека, который посватал бы меня. Вот почему моя дорогая матушка унесла свои мечты с собой в могилу. Через год отец женился вторично. Как я ни горевала, лишившись матери, но беды, свалившиеся на мою голову после его женитьбы, оказались совсем непереносимыми.

«Рыдания сдавили горло девушки и заставили ее на минуту прервать рассказ. Тяжело вздохнув, она подняла голову и продолжала:

«— В то время у нас в доме жили две служанки, но мачеха всю грязную и тяжелую работу взвалила на меня. Я подметала комнаты, двор, мне приходилось дважды в день убирать в тех местах, назвать которые неудобно. Служанки приготовляли лишь пищу и пекли лепешки. Стирать белье я должна была вместе с ними. Есть она мне давала все самое худшее и невкусное, а иногда даже просто объедки после служанок, хотя те питались тоже не очень сладко. Если мачеха видела, что я, освободившись от работы, сижу в уголке и читаю книгу, сейчас же начинала меня ругать. „Грамотная девушка, — твердила она, — становится развращенной, заводит себе любовников". Чтобы не давать мне читать, она всегда выискивала какую-нибудь работу. Однажды ночью я подслушала, как мачеха ябедничала отцу: „Ваша дочь, — говорила она, — читает бесстыдные газели и становится развратной, возьмите ее немедленно в руки или выдайте замуж и подальше уберите от меня, у меня нет больше сил видеть эту легкомысленную девицу".

«Отец стал оправдываться и объяснять, что среди родственников не находится для меня жениха...

«Девушка немного задумалась.

«— Я тоже мечтала о том, — снова заговорила она, — чтобы нашелся хотя бы семидесятилетний старик и взял меня замуж, тогда я избавилась бы от мучений, причиняемых мне молодой злой мачехой. Пусть прекратится род всех этих ходжей! Уж не знаю, что это за несчастье, что у них всегда родится больше девочек, чем мальчиков. Их юноши могут взять жену из числа своих родственников или найти среди дочерей верных мюридов и почитателей. Ведь девушек приносят в дар святому наравне с быками и баранами. Откуда же можно было найти жениха для меня, несчастной, живущей в этой песчаной пустыне? ...

«От печальной истории, рассказанной бедной девушкой, сердце у меня сжалось и еще более возросла моя любовь к ней, смешанная с жалостью. Меня охватил гнев против ее негодной мачехи. Я подумал: „Улучу как-нибудь удобный момент, свяжу эту злодейку и брошу в колодец мазара". Не выдержав, я спросил у девушки:

«— Сейчас ты все еще живешь с мачехой?

«— Нет. Через четыре года она умерла от сыпного тифа. Вскоре после ее смерти отец снова женился. Однако третья его жена оказалась еще хуже второй. Она целыми днями заставляла меня выполнять грязную работу, еще хуже кормила, запрещала читать книги и злобно обвиняла в развращенности. Новая мачеха не только не позволяла отцу покупать мне на базаре необходимую одежду, но даже запрещала носить платья, оставшиеся после покойной матери. „Наследство от первой жены должно достаться женщине, а не девушке", — говорила она и запирала в сундук на замок одежду моей матери. Меня она заставляла носить бог весть откуда добытые отвратительные старые тряпки, в то время как при первой мачехе я все же ходила в платьях моей матери. — Девушка показала на свою необычную одежду с разрезом на груди и пояснила:

«— Вот это платье моей покойной матери...

«— Где же эта злодейка? — опять перебил я ее.

«— Теперь я не знаю, где она. Мне лишь известно, что мачеха украла у нас вещи и унесла их к своим родственникам. Отец мой — человек очень жадный, он не смог этого вынести, развелся с ней и выгнал ее из нашей усадьбы. Теперь я стала единственной „хозяйкой дома". Все домашние дела выполняют две служанки. Себе в помощь я взяла Ситору, которую вы знаете. Когда я ее нашла, ей было девять лет и она была круглой сиротой. Я люблю ее, как сестру, и она единственная наперсница моих тайн.

«— Значит, теперь тебе живется хорошо?

«— Да, как будто хорошо, — ответила девушка и, вздохнув, продолжала:

«— Но свою юность, время, когда кипит кровь и голова полна мечтами, я провела под гнетом тяжких страданий. Мне тогда уже пришлось похоронить все свои надежды. Сделавшись полновластной хозяйкой, я иногда думала: „Теперь ничего не будет худого, если я выйду замуж, ведь отец состарился, а вечно никто не живет. Возможно, у меня родятся дети от этого неизвестного мужа или хотя бы один ребенок, тогда после смерти отца я не останусь уже в одиночестве". Эти мои мысли были вызваны не мечтами молодости (я ведь говорила, что мечты мои давно умерли), а заботами о будущем. Мне

казалось даже, что все равно, кто будет моим мужем. Однако вскоре произошло событие, которое убедило меня, что всему виной моя черная судьба.

«Бедняжка помолчала, перевела дыхание и продолжала:

«— В Бухаре живет один человек лет пятидесяти из рода Ходжа-Убона, у которого умерла жена. Он решил жениться на мне и прислал сватов. Я стояла за дверью и слышала, что ответил им отец. Он сказал сватам: „Я уже стар, у меня нет других детей, нет и жены. Эта девушка — мое единственное дитя, она ведет все наше хозяйство. Я отдам ее лишь за того, кто согласится войти к нам в дом как зять". Сват посоветовал отцу опять жениться. Отец стал жаловаться на дурной характер и воровство вдовых женщин. „Если бы нашлась невинная девочка лет двенадцати, то я, пожалуй, женился бы на ней, — сказал он, — но и тогда не смог бы расстаться с дочерью. Мое первое условие к зятю, чтобы он вошел в мой дом".

«— Человек, присылавший ко мне сватов, — продолжала девушка, — был ишаном и занимался лечением сумасшедших молитвами. Он имел в городе собственный дом и жил вместе со своими взрослыми детьми. Конечно, он не согласился стать моим мужем и перейти в дом отца. После его сватовства мне стало ясно, что я уйду одинокой из этого мира. Ведь среди потомков Ходжа-Убона не найти никого, кто согласился бы бросить город и переселиться сюда, в пустыню, в дом к моему жадному, скаредному отцу, чтобы стать его зятем.

«Несчастная девушка особенно грустно поведала мне о том, что ей придется одинокой уйти из мира. Она замолчала и стала похожа на солнце, которое скрыла черная туча.

«Но сейчас же на ее лице мелькнула радость, и она снова заговорила со светлой улыбкой.

«— Я за всю свою жизнь еще никого не любила и даже ни разу не посмотрела ни на одного мужчину. Чувства мои давно умерли и, как говорится в народе, „увяли, не успев расцвести". — Девушка еще немного помолчала, но радость все лучезарнее разливалась по ее лицу.

«— И все же случилось так, что в сердце моем возникла любовь к мужчине. Однажды появился человек, который смело выступил

против ветхих обычаев Ходжа-Убона. Я сама была жертвой этих обычаев, и в сердце моем зажглась любовь к дерзкому пришельцу, мне страстно захотелось его увидеть. Я стала подсматривать сквозь щели и, когда убедилась, что это молодой красивый человек, любовь моя еще больше возросла. Потом мне захотелось побыть возле него и услышать его голос. К счастью, мое желание осуществилось не один, а множество раз, и с каждым разом любовь моя возрастала. Наконец, она достигла той силы, что обычно поэты называют „страстью", когда люди от жара своего чувства стенают, словно укушенные змеей...

«Красавица снова умолкла. По-видимому, ее взволновало воспоминание о первой любви. Она сложила руки на груди, переплела и сжала пальцы.

«— По-моему, любовь есть в сердце каждого молодого мужчины и каждой девушки, — задумчиво сказала она. — Но чувство, подобно запруженной воде, стоит недвижно у плотины. Задержанная вода всегда стремится куда-нибудь в сторону, ищет себе выхода; сначала она чуть-чуть просачивается сквозь щели, но постепенно течение ее становится настолько могучим, что уже ничто не в силах ее задержать. Поток срывает на своем пути все препятствия и преграды. Так же и моя любовь, вначале она была просто движением сердца, но постепенно достигла такой силы, что способна снести все преграды...

«Девушка взволнованно смотрела на меня, словно ждала ответа. Угадав ее желание, я спросил:

«— Кто же этот счастливец?

«Девушка не отвела от меня взгляда, только улыбнулась, сверкнув белыми зубами.

«— Если по моим словам и поступкам вы до сих пор не догадались, кто этот человек, то я скажу прямо: это вы! Вам удалось разгадать хитрость с туфлями Ходжа-Убона и высмеять отца. У меня появилась надежда, что можно нарушить и другие обычаи потомков Ходжа-Убона, вот почему я вас полюбила, вы оживили меня и снова разбудили в моем сердце молодые мечты! Это вы меня, двадцативосьмилетнюю девушку, вернули к восемнадцати годам и заставили

сломать все преграды, наконец, вы тот единственный человек, которому я сдалась, не сумев сдержать кипения крови...

«После ее пылкого признания моя любовь к черноокой девушке еще больше возросла, от волнения я не знал, что мне делать, только чувствовал, что безумно люблю ее и от страсти весь горю. Теперь она уже не была для меня покорной девушкой, с которой я так безумно жаждал сблизиться, чтобы поцелуями и объятиями погасить пылавший во мне огонь. Говоря по совести, в начале свидания я счел ее немного легкомысленной и думал, что в эту ночь она достанется мне. Однако девушка оказалась очень серьезной; она обладала не только красивой внешностью, но и тонким умом. Короче говоря, если мое чувство к ней в начале свидания было животным, то теперь оно стало глубоким и человеческим...

«Заметив мое состояние, девушка продолжала:

«— Да, моя любовь привела меня к вам, но это не значит, что я сейчас готова к любым вашим дерзостям. Так могут поступить только безнравственные девушки. Я хочу, если позволит судьба, сочетаться законным браком и открыто жить с вами. Может быть, мне суждено погибнуть одной в горе и тоске, но и тогда я все равно не соглашусь на легкомысленные отношения.

«— Я не только согласен, — ответил я, — но и сам стремлюсь к тому, чтобы мы могли открыть всем свою взаимную любовь и, соединившись браком, жить, как другие люди. Но как мы сможем осуществить это против воли твоего упрямого отца?

«— Есть один путь, но успех будет зависеть от ваших решительных действий.

«— Какой же это путь? — спросил я взволнованно. Мне казалось совершенно невозможным стать зятем одного из потомков Ходжа-Убона. — Я готов пойти этим путем и, если понадобится, даже отдать свою жизнь.

«Девушка улыбнулась.

«— Если бы вашей жизни угрожала опасность, — ответила она, — то я никогда не решилась бы вас ей подвергнуть. Вы дороже мне моей собственной души, сердца, всего моего существования. То, что я придумала, очень просто, но заставить отца дать согласие будет не сов-

сем легко. Я слышала, — продолжала девушка, — что некоторые городские ходжи, когда не могут найти женихов своим дочерям из числа родственников, отдают своих дочерей за мулл и приравнивают мулл по благородству к ходжам. Вы должны найти одного из них, подослать сюда, и пусть он убедит отца, что вас следует избрать женихом его дочери.

«Она замолчала, ожидая моего ответа. Я задумался над тем, как мне найти какую-нибудь ловкую лису, которую бы можно было подослать к этому старому волку. Мою задумчивость девушка истолковала по-своему, будто я обдумываю условия нашей будущей семейной жизни.

«— Может быть, вы не хотите после женитьбы остаться жить здесь, в этой песчаной пустыне? — заговорила она. — Но если вы примете условие отца, то до женитьбы этого вполне достаточно. После свадьбы я стану вашей служанкой, ведь тогда *по шариату моя воля окажется в ваших руках,* и захотите — вы останетесь здесь жить, не захотите — найдете где-нибудь хижину и мы туда переселимся.

«Я собрался ей ответить, но она махнула рукой, чтобы я помолчал, и продолжала говорить сама, словно стремилась устранить возможные сомнения.

«— Не удивительно, если вы думаете о трудностях предстоящей семейной жизни. Но я хочу вас заранее предупредить, что если вы увезете меня в город, то не будете испытывать никаких затруднений. За десять лет, которые я провела в одиночестве, я читала книги и очень расширила свои знания. Всякий раз, когда мне надоедало читать, я занималась вышивкой и это искусство тоже довела до совершенства. Я могу в городе зарабатывать на кусок хлеба, обучая девочек грамоте или вышиванию.

«Я очень сомневался, что ее отец согласится на наш брак, но все же поверил в возможность уговорить его. „Прежде всего, — решил я, — постараюсь сам с ним увидеться и завоевать его сердце, а потом найду солидного человека и пошлю сватать его дочь".

«Ночь близилась уже к концу. Луна, проплыв над нашей головой, начала клониться к западу. На востоке забрезжил столб света, по-

хожий на минарет, бросил свое отражение на синее небо и чуть осветил его. Девушка поднялась с места.

«— Вы меня вернули к жизни, вы возродили в моем сердце юные надежды, — сказала она, — я опять поверила в свое счастье. Теперь моя жизнь в ваших руках, это похоже на те стихи, которые я читала в одном сборнике.

Пусть выберет судьба, чему свершиться,
какой определит она исход.
Рука твоя на голову мне ляжет, иль кровь моя
на голову твою падет.

«Я тоже встал и оказался лицом к лицу с девушкой, обнял ее нежную атласную шею, а она прижала меня дрожащими руками к своей груди. Горячие уста слились в поцелуе, так что трудно было оторваться. В это время утренний свет озарил нас своими лучами, подобно нашему светлому счастью. Но он мог и очернить нашу судьбу. Девушка с тревогой воскликнула:

«— О! Я едва не осрамилась!

«Она оставила меня и убежала. Когда я пришел в себя, то увидел, что стою недвижно, словно окаменелый. Было уже так светло, что можно было различить человека на расстоянии ста шагов. Не приближаясь к усадьбе, я обошел ее южнее между холмами песка и только после этого направился к мазару. Добравшись до кельи, я заперся от друзей и врагов и здесь, в унылой обители печали, погрузился в мечты о своей милой.

* *
*

«На следующий день вернулся из города мутевалли. Я раньше всех поспешил к нему за благословением, лицемерно приветствовал его и, чтобы не утомлять уставшего с дороги старика, быстро удалился. После этого я стал часто заходить к нему под разными предлогами и постоянно наводил разговор на его семейные и личные дела. Но старая лиса, мутевалли, обычно отвечал на мои вопросы очень кратко и не посвящал в свои семейные дела. У меня не было возможности давать ему „советы“.

«Время шло, но передо мной все еще не открывалось никакого просвета. Ситора частенько ко мне забегала, приносила привет от моего солнца и осведомлялась, как я живу. Было очевидно, что моя красавица с нетерпением ждет от меня решительных действий. В то же время старик никуда не отлучался, чтобы я смог повидаться со своей возлюбленной и хоть немного успокоить ее правдой или ложью.

«Наконец произошел случай, благодаря которому этот старый волк раскрыл мне со всякими лисьими уловками истинное положение своей семьи.

«Как-то у одного из бахауддинских ходжей, которому было лет шестьдесят, умерла жена, и он прислал сватов к дочери мутевалли. Старик, как всегда, отклонил сватовство и отослал сватов обратно. Я решил немедленно воспользоваться таким случаем. Сделав вид, что мне ничего не известно о неудаче сватов, я поздравил его с предстоящей свадьбой дочери. В ответ он рассказал мне о причинах отказа.

«— Мои предки восходят к святейшему халифу Осману, который был третьим сподвижником пророка, — говорил мутевалли. — Что же касается бахауддинских ходжей, то они присвоили себе это звание уже после Бахауддина Накшбанда, но кто были предки Бахауддина — неизвестно. Весьма возможно, что их род восходит к доисламским огнепоклонникам Бухары. Как же в таком случае бахауддинцы могут сравниться с нами по происхождению, чтобы мы выдавали за них наших дочерей!?

«— Как мне говорили, — вступил я в разговор, — возраст вашей дочери не маленький. Согласно шариату девушка по достижению совершеннолетия вправе требовать от отца, чтобы он как можно скорее выдал ее замуж. Самое лучшее, что вы можете сделать, — не медлить более и найти мужа вашей любимице.

«— Я мало учился в медресе, — возразил мутевалли, — но шариат знаю, в нем всегда, когда нужно, находятся исключения из правил. Так, в толковании Корана говорится: „Если существует необходимость, то подходит“.

«Мутевалли принялся подробно объяснять мне, что за „необходимость“ препятствует замужеству его дочери. Начал он с того, что

не может найти зятя, равного ему по благородству происхождения, затем перешел к описанию семейного положения и кончил рассказом о воровстве своей последней жены.

«— Я хочу, — добавил он, — отдать свою дочь за человека из ходжей, который будет не ниже ее по рождению. Но такого претендента не находится. Все связано с судьбой и предопределением. — Помолчав немного, он продолжал:

«— Вам сильно преувеличили возраст моей дочери. Ведь на самом деле ей только недавно исполнилось восемнадцать лет. Правильно, что по шариату можно выдавать замуж девочек, достигших девятилетнего возраста. Это очень хорошая мера, чтобы уберечь их от посторонних взглядов. Но по причинам, о которых я уже говорил, счастье вашей сестры так быстро не устроилось.

«— Но ведь из шариата известно, что муллы по достоинству равны ходжам. Если среди ходжей нельзя найти жениха, вы могли бы выбрать достойного из числа мулл и сделать его своим зятем.

«Я немного помолчал, мне хотелось увидеть, какое впечатление произвели на него мои слова. Но, к несчастью, я ясно прочел на его лице следы сердитого несогласия. Все же я продолжал:

«— Конечно, нельзя верить любому мулле, нужно, чтобы тот мулла, который захочет стать зятем вашей милости, трудился здесь, как раб, был приезжим и не имел в городе дома. Так он скорее удостоится чести жить в этом святом месте. Кроме того, мулла, который намерен стать зятем вашей милости, должен быть посвящен в тайну „чудес с туфлями", он сумеет помочь вам в „проявлении этого чуда". Если ваша милость окажет благосклонность, то мулла, обладающий всеми перечисленными достоинствами, с легкостью отыщется. Конечно, ваша милость не нуждается в том, чтобы жених был человеком состоятельным. Если Аллах увеличит его доходы, то ему с женой хватит. Бедный жених, обладающий такими достоинствами, всеми силами будет способствовать приумножению богоданного богатства.

«Конечно, советуя так, я сам предлагал себя в зятья. Все условия подходили ко мне. Я был пришельцем из Куляба и не имел в Бухаре дома, хорошо знал „тайну выставления туфель", которая считалась одним из чудес этого места. К тому же я был до крайности бе-

ден. Мой хитрый противник понял мои намерения, и с его лица тотчас же сошло выражение гнева, он натянул на себя маску искусственной радости. Однако и под этой деланной маской я все же различил своим зорким взглядом его неудовольствие.

«Старый волк сразу догадался, кто должен быть предполагаемым женихом, но прикинулся непонимающим и все с той же притворной радостью ответил:

«— О, если бы мне было суждено найти такого муллу! Я готов тотчас же выложить из собственного кармана деньги на пышную свадьбу, отдать ему свою дочь и вместо одного ребенка получить двух, но здесь нам редко приходится встречаться с муллами. Что если вы окажете мне помощь и поскорее съездите в город?! Может быть, вам удастся найти муллу, который отвечал бы нашим условиям, и вы не откажетесь способствовать тому, чтобы от его имени был послан какой-нибудь известный почтенный человек.

«Все сказанное мутевалли было от начала до конца сплошными уловками и хитростью. Его главной целью было огорчить меня и как можно скорей удалить из своего дома. Он считал опасным пребывание молодого человека, желающего жениться, возле взрослой девушки, мечтающей о замужестве. А требование „почтенного известного человека“ для сватовства было нужно ему как преграда против меня. Согласно обычаям и правилам, ни один „известный почтенный человек“ не согласился бы стать сватом бедного босоногого ученика медресе, и мое предложение, не дойдя до мутевалли, повисло бы в воздухе.

«После разговора с отцом моей любимой я оказался в тяжелом положении и должен был как можно скорее отправиться в город, чтобы найти ему „подходящего зятя“. Но как же я мог уехать и не объяснить возлюбленной, чего мне удалось добиться? Этот зловредный старик никуда больше не отлучался, чтобы я не мог найти удобный момент для встречи с его дочерью.

«Все же однажды мутевалли отправился в Джондорский тюмень на свадьбу к одному из своих мюридов. Я, ожидая прихода Ситоры, сидел, не выходя из кельи.

Ситора не заставила себя долго ждать.

«— Хозяйка велела вам кланяться, — сказала она. — Дедушка-мутевалли ушел сегодня на свадьбу и вернется только вечером. Хозяйка велела, чтобы, как только стемнеет, вы подошли к задней двери усадьбы. Она будет ждать вас за дверью.

«Ситора, рассыпающая искры счастья, принесла мне добрую весть и удалилась. Но я, оставшись наедине со своими чувствами и волнением, не находил себе места. После длительного промежутка времени, прошедшего с нашей первой встречи, сегодня ночью я опять увижу мою сверкающую луну. Предстоящее удовольствие вело меня в счастливые райские кущи, но я также знал, что это будет нашей последней встречей. Мысль о грядущем несчастье ввергала меня в ад безнадежности. На этом свидании я должен был ложью успокоить взволнованное сердце моей дорогой красавицы и делать это, зная заранее, что ее отец отвергнет мое предложение. Если девушка когда-нибудь поймет, что отец мне отказал, здоровье ее и даже жизнь окажутся в опасности. Думать об этом было особенно тяжело, и я боялся сегодня при свидании с ней не сдержаться. Мне хотелось в ту ночь, чтобы темнота наступила как можно позднее. Но, к несчастью, ночь, подобно нашей черной судьбе, пришла слишком быстро, и я медленно побрел вдоль стены усадьбы к назначенному для свидания месту.

«Когда я достиг задней стены усадьбы, дверь открылась и оттуда вышла пери, подобная тем, о которых я читал лишь в сказках. Она появилась здесь, как утешение моей печальной души или словно сама душа, воплотившаяся в образ сказочной пери. Девушка была одета в черное атласное платье, которое сливалось с темнотой ночи. Ее черные, цвета воронова крыла, распущенные волосы свободно лежали вокруг непокрытой головы, спускались до пояса; концы их доходили до колен и завивались кольцами, словно искусно сплетенные силки. Их плена не могла миновать залетная птица — сердце человека, смотрящего на красавицу. Вьющиеся локоны волнами сбегали по обеим сторонам ее сказочно прекрасного лица. Очевидно, девушка вымыла и расчесала волосы, но не успела их заплести и в таком виде вышла ко мне или нарочно не заплела, чтобы порадовать меня ими перед расставанием.

«Я не успел еще обнять и поцеловать красавицу, как она схватила меня за руки и потянула к стене усадьбы. Подобно застывшим изображениям на картинах, мы стояли, не шевелясь, друг против друга. Она взволнованно стала поздравлять меня:

«— Я все слышала из-за двери, вы так хорошо говорили. Отец понял вашу цель, и я заметила, что он в душе согласился. Но от смущения он притворился непонимающим и предложил вам прислать сватов. Мудрый старик не имеет себе равных в распознавании людских сердец. Когда же вы, наконец, поедете в город, найдете свата и пошлете его сюда? Если бы вы на второй же день после разговора с отцом отправились за сватом, то он давным-давно уже сладил бы дело. Нехорошо откладывать надолго задуманное, „в отсрочке таится опасность", говорится в пословице.

«Из ее слов было видно, что она поверила лукавым обещаниям отца и считала, что для осуществления „доброго дела" осталось лишь ждать прихода свата. Как только сват явится, отец тотчас же совершит брачный обряд и мы открыто соединимся друг с другом.

«На все ее нетерпеливые вопросы я не отвечал и только счел нужным объяснить, почему не отправился сразу же в город:

«— Как я мог уйти из мазара, не увидевшись с тобой? Я должен был получить от тебя разрешение и попрощаться перед разлукой.

«— Ну вот, теперь вы со мной повидались, получили разрешение и попрощались. Когда же вы отправитесь в путь?

«— Как только вернется твой отец, я спрошу у него разрешения и отправлюсь.

«— Отец сейчас будет дома. Я велела Ситоре караулить в проходе у ворот, когда он покажется, девочка прибежит к нам и кашлянет, чтобы я успела вернуться в усадьбу и запереть дверь изнутри. А теперь я сообщу еще одну приятную весть: отец сшил для вас новый верхний халат и приготовил новую тюбетейку и чалму. По-видимому, умный старик хочет послать своего будущего зятя к свату в приличном виде.

«Моя простодушная возлюбленная приготовленную для меня ее отцом новую одежду сочла за свидетельство его расположения. А он

делал это лишь для того, чтобы закрыть мне рот и не дать разгласить „тайну выставления туфель". Чтобы не разочаровывать девушку, я согласился с ее предположением о добром предзнаменовании.

«— Если твой отец вернется сегодня ночью, — ответил я, — то завтра утром можно попрощаться с ним и уйти.

«Я так говорил, а в глазах у меня стояли слезы. Я попытался вырвать от нее свои руки, которые она все еще крепко держала, и хотел уйти, прежде чем разрыдаюсь, чтобы мой взволнованный вид не вверг ее в сомнение и беспокойство. Но она, не выпуская моих рук, подняла их кверху и приблизилась ко мне. Я прижал ее к себе, обхватив ее шею. Но рыдания мои усилились, из глаз потекли слезы и смочили мою бороду и лицо. Девушка услышала мои всхлипывания. Удивившись, она спросила:

«— Почему же вы плачете? Прошло время наших рыданий, приблизилась пора смеха и радости до конца жизни. Разве сейчас уместно плакать?

«— Как же я могу не плакать, если надолго расстаюсь с тобой? Все время, что мне пришлось прожить здесь, я хоть и не был с тобой вместе, но все же находился вблизи от твоего порога. А теперь мне нужно отправиться далеко, на целых пять фарсахов от своей милой.

«Конечно, эту ложь я выдумал для того, чтобы скрыть истинную причину слез от моей доверчивой возлюбленной. На самом деле я плакал от того, что мы расстаемся с ней навеки. Но еще больше меня беспокоило ее будущее: если она поймет, что мое предложение отвергнуто, то жизнь ее может оказаться в опасности. Все эти мысли заставили меня желать как можно скорее избавиться от скрытых страданий.

«Своими нежными руками и волосами милая вытерла мое мокрое от слез лицо и засмеялась, но увидев, что смех ее не может остановить моих слез, сказала серьезно:

«— Ну, довольно! Вы ведь не маленький ребенок. Это мне пристало плакать из-за вашего отъезда. Но я надеюсь на наше светлое будущее и уже сейчас готова смеяться. Я никак не думала, что вы

такой нетерпеливый. Справедливо, что боль разлуки тяжела, но она больше ложится на мои плечи, чем на ваши, и все же я готова безропотно нести ее горькое бремя. А вы ведь мужчина, так будьте же мужественны!

«Убедившись, что ее утешения не помогают, она от серьезного тона перешла к шуткам и, кокетничая, заговорила притворно-плачущим голосом:

«— Если вы не перестанете, то я тоже заплачу. Вот видите, я уже плачу. Теперь посмотрим, сможете ли вы перенести мой плач? —и она прижалась ко мне. В это время послышался кашель Ситоры, девушка поспешно поцеловала меня несколько раз и, прежде чем покинуть, напутствовала:

«— До свидания, до встречи, мой любимый, пусть бережет вас бог! Не забывайте меня! Скорее присылайте свата! А за ним следом и вы сами приезжайте!

«Она вошла во двор и заперла изнутри дверь, я же, опершись о стену, застыл, как изваяние. Для меня все было кончено... Спустя немного я побрел, не торопясь, вдоль стены усадьбы по направлению к мазару и с трудом добрался до своей кельи. Всю ночь до утра я безмолвно рыдал. Когда наступил день, я приступил к подготовке отъезда в город.

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА НЕСЧАСТНОЙ ДЕВУШКИ

«Вернувшись в город, я бросился на поиски свата, хотя твердо знал, что мое предложение будет отвергнуто. Но если бы я не послал свата, то девушка могла бы подумать, что я обманул ее и убежал. Тогда она умерла бы от горя. Я не хотел оказаться в ее глазах бессовестным обманщиком и решил во что бы то ни стало разыскать свата.

«Вскоре такой человек нашелся. Это был ходжа из рода ходжей Шейха-красильщика, который отдал двух своих сестер замуж за мулл, так как не мог найти женихов из ходжей. Один из них был моим классным учителем, другой — репетитором. Я очень часто бывал в доме у моих учителей и там познакомился с ним. Вот этого

самого ходжу, считавшегося „известным и почтенным человеком", мне удалось послать в качестве свата.

«Мой посланец вернулся из мазара Ходжа-Убона уже на второй день. Подобно волу, побывавшему на базаре, где его не продали, ходжа очень устал, но усталость свата не была связана только с дорогой, его расстроил мутевалли своим грубым ответом. По словам свата, когда он для примера сослался в разговоре на своих зятьев-мулл, переехавших жить к нему в дом, и предложил отдать за меня замуж дочь мутевалли, тот сердито заявил:

«— Я не совершу такого глупого поступка, мне очень жаль, что вы взялись быть посредником в этом дурацком деле и имя ходжи вываляли в навозе. Мне в доме нужен не нищий, а зять, который смог бы праздновать свадьбу целую неделю и созвать на нее всю округу. Тогда возвысится мой авторитет в глазах народа.

«Меня не очень огорчил ответ мутевалли, я заранее знал, что все так и будет. Однако представив себе, какое несчастье свалится на бедную девушку, когда она узнает об этом отказе, я почувствовал глубокую скорбь. Она, наверное, стояла под дверью и слышала ответ отца, теперь все ее светлые надежды на жизнь превратились в мрачную безнадежность.

«Выслушав рассказ ходжи, я с трудом добрался до своей кельи и там свалился на постель.

«Я проболел пять месяцев. Затем, немного поправившись, вышел на улицу. Первым моим делом было как-нибудь связаться с городскими ходжами из рода Ходжа-Убона, чтобы узнать, что стало с несчастной девушкой. Известие не заставило себя долго ждать. По словам ходжей, дочь мутевалли неожиданно в конце лета „сошла с ума" и в первую ночь „безумия" повесилась в передней перед своей комнатой. Мутевалли, давно задумавший жениться на двенадцатилетней девочке, после самоубийства дочери обратил свои взоры на Ситору, и когда прошло сорок дней после смерти дочери, он женился на Ситоре. Служанка в первую же брачную ночь сошла с ума, плакала и все время твердила: „Моя дорогая хозяйка, спасите меня от дедушки-мутевалли!". На третий день после свадьбы она повесилась на том же самом месте, где повесилась ее госпожа.

«От этого жуткого известия у меня иссякли последние силы. Я быстро вернулся к себе в келью и зарыдал, ведь на мою голову свалилось то, чего я больше всего опасался. Это верно, что я ожидал неизбежного несчастья с девушкой, после того как она узнает об отказе отца. Но в сердце все же жила несбыточная надежда.

«Может быть, думал я, она была чем-нибудь занята и не слышала отказа; возможно, сейчас еще дожидается свата и радуется, надеясь на лучшее будущее. Может быть, девушка и слышала жестокие слова отца, но они не произвели на нее слишком тягостного впечатления. Ведь мирилась же она раньше с отказами двум претендентам на ее руку? Возможно, новая неудача ее лишь огорчила, и она живет, как и прежде, одиноко, в тоске...

«Но теперь несчастье открылось в полной мере и, подобно скале, придавило меня всей своей тяжестью, а горькая судьба Ситоры, гибель этой умной, простой и наивной девочки, оказалась еще дополнительным бременем, свалившимся мне на плечи.

«На этот раз я не заболел, но мне хотелось с непокрытой головой, босоногому бегать по улицам и стенать, как безумному. Это и было началом безумия... Я стал думать, что в Бухаре мало места, где можно предаваться своему горю, и решил возвратиться в родные горы, чтобы там в одиночестве бродить и рыдать. Я немедленно отправился домой и там целый год приходил в чувство и лишь на следующий год окончательно выздоровел. Теперь я снова в Бухаре и вернулся в круг своих соучеников».

Окончив печальную повесть, Мулло-Бурхон добавил:

— И теперь еще часть моего существа связана с песчаной пустыней Ходжа-Убона. Я всякий раз осведомляюсь у тех, кто возвращается оттуда. По приезде в Бухару я слышал от одного человека, что в прошлом году на усадьбу мутевалли напали разбойники и забрали все ценные вещи и наличные деньги. Мутевалли не смог перенести разорение и умер от горя. У него не было наследников, и остатки имущества были взяты казием их тюменя в казну, а на место старого мутевалли пришел другой из рода ходжей Ходжа-Убона. «Чудо выставления туфель» по-прежнему продолжает существовать.

Под впечатлением трагедии, о которой поведал нам Мулло-Бур-

хон, все почувствовали себя удрученными. Тогда заговорил Мулло-Рахмат-цирюльник.

— У меня есть для вас очень забавная и совсем еще свеженькая история, она случилась со мной этим летом. Может быть, после нее сгладится тяжелое впечатление от рассказа Бисмиля.

По просьбе собравшихся Мулло-Рахмат рассказал нам эту историю, а я счел уместным привести ее здесь с моими исправлениями и под другим названием.

ЖЕНЩИНА, ПРЕВРАТИВШАЯСЯ В МУЖЧИНУ

«Этим летом, — начал Мулло-Рахмат, — один из бухарских баев, ехавших в Маргелан за шелковичными коконами, взял меня с собой как секретаря. Принадлежавшая моему хозяину мастерская по сушке коконов была расположена в Маргелане, на берегу полноводного ручья. При входе в мастерскую находилась комната, где мы жили, терраса и мансарда. Далее размещались парильни для коконов, кладовые и другие служебные помещения. Посредине мастерской тянулись полки, расположенные одна над другой, на них сушились распаренные коконы.

«В мастерской служил еще один молодой бухарский парень, который круглые сутки караулил мокрые и сухие коконы. Кроме меня и этого молодого сторожа, все другие рабочие мастерской были маргеланцами; бóльшую их часть составляли женщины, девушки и мальчики. Рабочие-мужчины работали на запарке коконов и грузчиками, женщины, девушки и мальчики с раннего утра до позднего вечера были заняты у полок, сортировали и откладывали в сторону испорченные коконы.

«В самый разгар работы из Бухары в Маргелан приехал один бай, знакомый хозяина, и остановился в нашей мастерской. В дни торговли он уходил на базар, покупал шелк, атлас и бекасаб, подходящие для Бухары, а все остальное время проводил с нами. Что же касается нашего хозяина, то он не чаще одного раза в неделю ночевал у себя в мастерской, остальное время разъезжал по окрестным базарам, скупал коконы и ночевал где придется. В мастерской постоянно жили я, сторож и приезжий бай, наш гость.

* *
*

«Работницы — женщины и девушки постарше выходили утром из дома в парандже, но в мастерской снимали свои покрывала и вешали на столбах около полок, а на головы накидывали платки. Конечно, эти платки полностью не закрывали их лиц, часто сваливались с головы на шею, и любопытные могли свободно разглядывать молодых работниц.

«Наш гость-купец каждый день садился в мансарде и оттуда рассматривал лица женщин, а нам объяснял, что это его „стариковская забава". Очевидно, красота одной из работниц особенно привлекла внимание этого шестидесятилетнего сластолюбца. Постепенно его „стариковские забавы" перешли в подлинную юношескую страсть, и он, спустившись с мансарды вниз, устроился вблизи полок и оттуда стал наблюдать за приглянувшейся ему женщиной.

«Однажды вечером, после работы, когда мы все трое обедали, наш „помолодевший" старик, распустив слюни, стал расхваливать красоту той женщины и между прочим сказал:

«— Прекрасное лицо и томные глаза молодой работницы превратили меня снова в двадцатипятилетнего юношу. Однако нужен посредник, который согласился бы сообщить ей о моей любви и склонить к тому, чтобы хоть одну ночь она провела со мной.

«Я воспротивился желанию старика:

«— Какая же молодая женщина (даже самая легкомысленная) согласится отдать свое горячее молодое тело в ваши холодные объятия?

«— Эти женщины и девушки, работая с рассвета до поздней ночи, получают за свой труд семь копеек, что составляет менее половины теньги. Если вы покажете им пятьдесят или сотню тенег, то они не только окажутся в моих холодных объятиях, но даже полезут в прорубь. Нужен лишь искусный посредник, который сможет растолковать все это той красавице.

«Старик немного помолчал и, вдруг подняв голову, обратился к молодому сторожу:

«— Братец! Что, если ты от моего имени поговоришь с этой женщиной?

«— Что, я для вас сводня?! — рассердился парень.

«Я тотчас же прижал ногу этого парня, сидевшего возле меня, сказал ему: „Успокойся!“ — и постарался примирить старика с молодым.

«— Сводней называют человека, который постоянно занимается тем, что посредничает между развратными мужчинами и женщинами и получает за это низкое дело деньги. Если же ты, — обратился я к парню, — поговоришь с женщиной от имени старика, годящегося нам в отцы, то никак не будешь считаться сводней. Ведь ты от него ничего не получаешь, и это занятие не стало твоей профессией. Ты лишь один раз ради седин нашего гостя обратишься к работнице. Если ты им угодишь, они будут довольны и благословят тебя, а больше ничего тебе не дадут.

«Парень иронически улыбнулся и замолчал. Старик подтвердил мои слова и стал расхваливать меня:

«— Поговорка гласит: „Будь жертвой ради знающего человека“, — и это совершенно справедливо. Хоть наш Мулло-Рахмат вышел из цирюльников, но от благости медресе сам стал крупным ученым и уважает старых людей.

«После этого он обратился к сторожу:

«— Братец, ты послушай своего старшего брата — муллу — и заслужи мою благодарственную молитву. Если ты от моего имени поговоришь с женщиной, даже если ничего не выйдет, то, покуда я жив, буду за тебя молиться.

«Парень завертелся, как ужаленный скорпионом, но по моему знаку он сдержался, ехидно посмеиваясь. После этого разговора я встретил однажды молодого сторожа в укромном месте и посоветовал ему притворно согласиться стать посредником гнусного старика. Но той женщине он не должен ничего говорить, а от ее имени запросить у старой собаки побольше денег, потом я обещал объяснить ему, что надо дальше делать.

«На второй день парень спросил у старика сто тенег для „той женщины“. Я посоветовал ему, чтобы он на эти деньги откуда

угодно достал новую бархатную паранджу, сетку для глаз, хорошее атласное платье и шаровары, пару женских ичигов больших размеров и кожаные калоши, а также флакончик дорогих духов.

«Парень выполнил мое поручение. Мы спрятали вещи в нижней комнате. По моему совету парень сообщил старику, что полюбившаяся ему женщина согласилась прийти на свидание. Бай распорядился приготовить в тот день за его счет различные угощения. Сам он купил на базаре леденцы и конфеты, расставил их на скатерти и принес бутылку хорошего вина. Когда до вечера оставалось уже немного времени, я сказал старику:

«— Мне сегодня придется ночевать в медресе, чтобы вам не мешать. Мой помощник останется здесь для услуг, а так как он был посредником между вами, то ваша возлюбленная не будет при нем смущаться. Я здесь чужой, да к тому же мулла; конечно, она станет меня стесняться.

«Старик снова начал меня расхваливать.

«— Недаром существует пословица: „Будь жертвой ради приятного человека“, — сказал он и принялся читать обо мне молитву.

«Я тем временем спустился из мансарды вниз и укрылся в комнате, где мы спрятали женскую одежду. Парню я заранее дал „необходимые“ наставления и объяснил, как надо ему держаться этой ночью.

«Наступила ночь, все кругом погрузилось в темноту. Женщина все не шла, и старик испытывал сильное нетерпение. Парень его утешал, говоря, что „женщина, наверное, сначала проводит мужа, а потом придет“. Старик же, чтобы заглушить огорчение, пил одну пиалу вина за другой. Однако винные пары ударили ему в голову и еще больше увеличили его нетерпение.

* *
*

«Когда волнение старика достигло крайнего предела, мне сделалось его жаль. Я нарядился, подобно молодой женщине, в атласное платье, облился духами, и от меня стал исходить приятный аромат.

На голову я накинул паранджу, закрыл лицо сеткой и с тысячей кокетливых уловок начал подниматься по лестнице. Скрип моих ичигов и калош казанского шитья, наверно, ввергли старика в такое исступление, что он, вскочив с места, бросился в переднюю. Подол длинного атласного платья высовывался из-под паранджи и подметал землю. При виде этого страсть престарелого сластолюбца возросла вдвое, я заметил, как он стал слизывать выступившую у него на губах слюну и глотать ее.

«Аромат моих духов достиг обоняния старика, и он попытался кинуться ко мне навстречу. Однако молодой сторож сделал предостерегающий знак и заставил его не двигаться с места. Поднявшись в мансарду, я направился в угол, и, не снимая паранджи, сел возле скатерти с угощением. „Нетерпеливый влюбленный" принялся без конца приглашать меня отведать угощение, а сам тем временем протянул руку, чтобы открыть мое лицо. Я изнутри крепко ухватился за сетку и паранджу и не давал ему снять их с меня.

«Парень пришел ко мне на помощь. Он тихонько вызвал нетерпеливого старика в прихожую и сказал ему:

«— Все, что вы дали нашей гостье, было сделано ради ее прихода на свидание, но теперь деньги кончились. Вы должны сперва уговорить ее показать лицо и лишь после этого попытаться снять с нее паранджу. Уговаривать силой невозможно. В этом деле нужно золото, понимаете, золото! Какая бы ни была упрямая женщина, но при виде золота сразу же сделается ручной; говорят ведь: „Положи на сталь золото, и она станет мягкой".

«Сквозь волосатую сетку я увидел, как старик сунул руку в карман и, повторяя: „С удовольствием, с удовольствием", — вошел в комнату. Он сел рядом со мной, достал из кармана пять рублей и очень вежливо положил их около меня, после чего стал упрашивать открыть лицо. Я, ломаясь и кокетничая, крепко держался за паранджу и оттолкнул деньги. Парень сделал знак старику, чтобы тот прибавил денег. Старик добавил еще пять рублей и опять придвинул ко мне деньги. Таким образом я отказывался от денег, пока сумма не достигла двадцати пяти рублей. Всякий раз, когда деньги исторгались из кармана у бая, душа его тоже едва не отлетала от тела, мне стало, на-

конец, жаль старика и я, не отодвигая более двадцати пяти рублей, спокойно уселся. Старик с радостью увидел, что несговорчивая женщина стала покорной, протянул ко мне свои длинные руки и сорвал паранджу и сетку. Первым, что бросилось ему в глаза, была моя борода.

«— Ой! — закричал старик. — Что это? Я впервые в жизни вижу „женщину, ставшую мужчиной"! И он отступил назад. Мы с молодым сторожем громко расхохотались. Старик вначале рассмеялся вместе с нами, а потом стал хныкать:

«— Это меня попутал шайтан. Проклятье бога да падет на голову шайтана!

«— Такое же проклятье пусть падет и на того, кто попадается на удочку шайтана! — дополнил я его слова.

«Когда наш смех и его плач утихли, старик заговорил:

«— Вы имеете полное право на все, что я вам до сих пор давал. Я прибавлю еще двадцать пять рублей на „печать", чтобы вы запечатали свои уста и никому не открыли этой тайны, позорной для меня, старика.

«Тут же он начал собирать свои вещи и рано утром отправился в Бухару, дав нам на прощание обещанные деньги».

В конце Мулло-Рахмат прибавил:

— Когда кончилось время скупки коконов, я вернулся в Бухару, но старика там уже не было. Не поверив, что мы сохраним его тайну, он переехал на жительство в Самарканд.

Я долго сомневался в правдивости рассказа Мулло-Рахмата. Но в 1912 году в Маргелане, на той же самой шелкомотальной фабрике, мне самому довелось быть свидетелем подобного случая. После этого мое недоверие исчезло, и при обработке рассказа Мулло-Рахмата я дополнил недостающее тем, что узнал сам.

Пирушка затянулась до двух часов ночи. Впервые за свое пребывание в Бухаре я видел жизнерадостных людей, любящих литературу, совсем не похожих на тех, кого мне доводилось встречать здесь ранее. Мой учитель-репетитор и его сотрапезники по сравнению с ними казались мертвецами. Конечно, и сни, так же как и их гости, смеялись, когда было смешно. Но их смех был подобен смеху «мед-

ведя Бобо-зода», потому что они не понимали, над чем смеялись. (Историю «медведя Бобо-зода» я приведу в последующих частях «Воспоминаний»). Правда, среди гостей был случайный человек, такой, как Мулло-Окиль, но и он привлекал к себе внимание тем, что был «невинной жертвой».

Когда гости поднялись со своих мест, чтобы уйти, Шариф-джон махдум показал на меня моему учителю Абдусалому и сказал:

— Если этому мальчику будет неудобно жить с братом, отведите его ко мне домой. Там он сможет работать и учиться.

— Хорошо! — ответил мой учитель.

На другой же день после вечеринки я стал работать в доме Шариф-джон-махдума. Рассказ о моем пребывании в его доме войдет в третью часть «Воспоминаний».

Конец второй части

Часть третья

В ГОРОДЕ

УСАДЬБА *ШАРИФ-ДЖОН-МАХДУМА*

Усадьба Шариф-джон-махдума находилась в квартале Чорхароси Бухоро, расположенном между медресе Говкушон и кварталом Гозиён.

Во внешней части усадьбы стоял фасадом на север большой дом. Он был с одиннадцатью поперечными балками на потолке, с прихожей и чуланом; дом считался мехмон-хоной и был основным местом жилья хозяина усадьбы, Шариф-джон-махдума. В прихожей хранились посуда и съестные припасы для приема гостей, а в чулане лежали книги.

В восточной части усадьбы, рядом с чуланом, находился небольшой дом с террасой, в котором жил младший брат Шариф-джон-махдума — Гафур-джон. С северной стороны стояло невысокое строение, служившее жильем для прислуги; на западе, рядом с помещением у ворот, виднелся навес, под которым привязывали лошадей, когда их чистили или седлали.

За мехмон-хоной раскинулся широкий двор с конюшней. В передней части двора была вырыта большая яма, наполненная солено-горькой водой, которую брали для мытья лошадей и поливки.

Далее к востоку находился внутренний двор; там жили мать Шариф-джон-махдума, его жена, дети, сестра и женская прислуга.[1]

Вот в этой усадьбе с сентября 1891 года я и начал работать слугой. Кроме меня, здесь было еще трое слуг. Старшим из них считался некий Мирзо-Баде', человек среднего роста, смуглый, с небольшой бородкой и кривой на один глаз. Ему уже шел тридцатый год. Мирзо-Баде' умел писать и читать и обладал хорошим разборчивым почерком. Он был племянником поэта Мирзо-Шамсиддина, известного под псевдонимом Дои, и в детстве воспитывался в его доме.

Мирзо-Баде' составил сборник стихов, в который записал некоторые произведения своего дяди, а также газели, услышанные им в доме Шариф-джон-махдума. Хоть он и не особенно стремился вдумываться в смысл стихотворений, но под влиянием Дои и Шариф-джон-махдума серьезно занимался сбором газелей. Мирзо-Баде' в доме Шариф-джон-махдума числился экономом, и в его обязанности входила покупка провизии и одежды.

Вторым из слуг был Мирзо-Абдулвохид, смуглый худощавый мальчик, на год старше меня. Он был грамотен, обладал хорошим почерком и все свободное от уроков время упражнялся в письме. Как уже говорилось в последней главе первой части «Воспоминаний», он сильно преувеличивал свою сообразительность, свое знание стихов и и был немного хвастлив.

В обязанности Мирзо-Абдулвохида в доме Шариф-джон-махдума входило прислуживание в мехмон-хоне: он разливал и подавал хозяину и его гостям чай, расстилал скатерть с угощением, уносил ее и выполнял другие обязанности.

Третьим слугой числился безграмотный человек по имени Абдулкарим, по прозвищу Эшонча. Это был невысокий плотный парень лет двадцати пяти. Происходил Эшонча из деревни Розмоз Вобкентского района; он приехал оттуда для ухода за лошадьми Шариф-джон-махдума, и это считалось его основной обязанностью.

---

[1] Летом 1949 года мне довелось побывать в усадьбе Шариф-джон-махдума, которая сохранилась такой же, как и прежде. (*Примеч. автора*).

Моей же обязанностью было помогать этим трем слугам: я подметал мехмон-хону и двор, когда приходили гости, кипятил для хозяина чай; когда подавали угощение, доставлял Мирзо-Абдулвохиду плов, лепешки, чай и тому подобные вещи; помогал конюху мыть и чистить лошадей, а иногда он заставлял меня убирать за лошадьми. Все базарные покупки, сделанные Мирзо-Баде', должен был нести я.

Кроме того, я помогал и на внутреннем дворе. Мне приходилось колоть и носить дрова для очага; если старшая хозяйка — мать Шариф-джон-махдума — куда-нибудь отправлялась, то я сопровождал ее и нес скатерть с угощением, во время снегопада чистил вместе с конюхом крышу большого дома и выполнял множество других мелких работ.

ШАРИФ-ДЖОН-МАХДУМ И ЕГО СОБЕСЕДНИКИ

Шариф-джон-махдум был вторым сыном верховного судьи Абдушукура, происходившего из Бухары. Отец и братья Абдушукура занимались отбелкой кустарных тканей, сам Абдушукур в детстве некоторое время помогал им в этом ремесле.

Шариф-джон-махдум отличался высоким ростом; на его белом лице выделялись карие глаза и каштановая борода. В тот год, когда я к нему поступил, ему исполнилось двадцать семь лет.

Среди учащихся бухарских медресе Шариф-джон, вероятно, принадлежал к числу немногих, кто обладал прекрасным почерком, хорошо владел языками и грамматикой, любил и понимал стихи. Он считал себя покровителем просвещения. Обычно сыновья крупных бухарских мулл хвастались богатством и известностью своих отцов, росли без всякого воспитания или воспитывались очень дурно и когда становились взрослыми, то принимали участие во всякого рода грязных и непристойных делах. Несмотря на это, в жизни им не приходилось испытывать каких-либо затруднений. Благодаря громким именам своих отцов, они достигали высоких чинов, получали хорошие должности и в большинстве случаев злоупотребляли ими. Не слу-

чайно бухарцы сложили много анекдотов и сатирических стихов о сынках казиев. Вот одно из таких произведений:

Из многих сахарных голов слепили казия сынка;
Знаток попробовал: «Безвкусно!» — таков был
отзыв знатока.

Или другой образчик:

Когда сложился мира план, был казия сынок готов;
Из мыльной пены был он создан — из двухсот тазов.

Среди сыновей казиев редко встречались образованные люди, таким счастливым исключением в те годы и был Шариф-джон-махдум.

Каждую неделю во вторник, среду и четверг, когда наступали свободные от занятий вечера, дом Шариф-джон-махдума превращался в место сбора поэтов, любителей литературы, рассказчиков забавных историй и острословов. В такие вечера я прислуживал вместе с Абдулвохидом в мехмон-хоне и мог свободно извлекать для себя пользу из бесед на литературные темы. Свои первые, чрезвычайно важные для дальнейшего развития литературные познания я приобрел именно в этом доме. Там я познакомился с такими людьми, как Мулло-Назрулло Лутфи, Абдулмаджид Зуфунун, Яхьё-ходжа, Содик-ходжа Гульшани, Хомид-бек Хомид, Абдулло-ходжа Тахсин, Мулло-Бурхон Муштоки, Кори-Абдулкарим Офарин «Дузахи», Мирзо-Азим Соми из Бустана, цирюльник Мулло-Рахмат, Азиз-ходжа Азиз и другие. В большинстве они были поэтами или знатоками поэзии.

В конце второй части «Воспоминаний» я познакомил читателей с Мулло-Назрулло Лутфи, цирюльником Мулло-Рахматом и Мулло-Бурхоном Муштоки. Здесь же кратко остановлюсь на биографиях остальных.

Абдулмаджид Зуфунун был учеником Ахмада Дониша по астрологии. Не меньшие познания он имел также в поэзии, литературе и официальных науках, преподававшихся в бухарских медресе. За разнообразные знания современники дали ему прозвище «Зуфунун», что значит «обладающий знаниями». Он был хорошо осведомлен и в древней медицине. Собеседник и последователь Ахмад-махдума Дониша,

он критически смотрел на свое время, на своих современников, а особенно на эмира, его придворных и официальное духовенство. Если ему удавалось найти внимательного слушателя, то он безжалостно разоблачал несправедливые действия власть имущих.

Однако по своим поступкам Зуфунун напоминал безумца. Он постоянно вытаскивал руки из рукавов, просовывал их через воротник, ковырял в носу, иногда с силой выдергивал волоски из усов или бороды. По улицам он всегда бродил один, ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал. Казалось, будто он решает какой-то трудный вопрос: шел, наморщив лоб и пристально устремив глаза себе на грудь. В те дни, когда не было дождя, Зуфунун всегда ходил на площадь Ляби-хаузи-Девон-беги, где находилось единственное в Бухаре место гуляний. Там он садился, ковыряя нос, на крыше одной из чирюлен, которая на один газ возвышалась над двором дервишской обители Девон-беги. Если он видел какого-нибудь приятного для него человека, то подзывал к себе, сажал рядом и начинал беседу. Как только разговор ему надоедал, он говорил собеседнику:

— Ну, хорошо, теперь уходите! Да хранит вас бог!

Однако никто, будь то знакомый или чужой, не решался садиться возле него без приглашения. Его черное, заросшее бородой лицо, густые брови, блестящие, сверкающие гневом, как у сумасшедшего, глаза вселяли ужас в души всех встречавшихся с ним людей.

Зуфунун редко, и то только днем, приходил в дом Шариф-джон-махдума. Если там не было никого из гостей, он немного беседовал с хозяином дома; если же присутствовал кто-нибудь чужой и в разговоре осуждались придворные или духовенство, то он некоторое время принимал участие в заинтересовавшей его беседе. Когда чужой человек не был ему симпатичен, он только заглядывал в прихожую и сразу же удалялся из дома, а если и входил в комнату, то не задерживался больше одной минуты и, ни с кем не попрощавшись, уходил.

— Безумие Зуфунуна — притворное, — говорил Шариф-джон-махдум, — он очень умный и образованный человек. Однако, чтобы его не потребовал к себе эмир, он прикинулся безумным. О Кори-

Абдулмаджиде Зуфунуне мною упоминается в книге «Образцы таджикской литературы».

Яхьё-ходжа. По виду и характеру этот человек отличался от Абдулмаджида Зуфунуна. Он тоже притворялся сумасшедшим, но его «сумасшествие» было активным и деятельным. Людей, которые ему не нравились, он ругал самым непристойным образом. Известные муллы и придворные при виде его поспешно сворачивали в переулок, стараясь скрыться от него, чтобы не подвергаться ругательствам.

Яхьё-ходжа был высокий худощавый человек с белым лицом, обрамленным небольшой бородой. В те времена, когда я работал у Шариф-джон-махдума, в бороде его виднелось уже больше седых волос, чем черных, и ему можно было дать около шестидесяти лет.

Яхьё-ходжа происходил из рода мираконских ходжей Бухары, отец его и деды — все удостоивались высоких званий среди ученых и ходжей. По существовавшему в эмирской Бухаре обычаю, потомков подобных людей следовало уважать высоко. Поэтому все закрывали глаза на его безумие и не привлекали к ответу. Он же, пользуясь уважением к своему роду, резко критиковал и высмеивал духовенство, эмира и его придворных.

В те времена я слышал множество рассказов о поступках Яхьё-ходжи и сам был свидетелем нескольких происшествий, которые прекрасно его характеризовали. О наиболее примечательных историях, связанных с его именем, я расскажу здесь.

В те годы жил в Бухаре один очень видный мулла по имени Кори-Саме'; он обычно появлялся на улицах в большой чалме с вытащенными из рукава четками в сто зерен. Мулла постоянно перебирал четки и что-то бормотал себе под нос. Ему хотелось показать народу, что он думает только о боге и отрешился от всего земного. В действительности же он был самым гнусным обманщиком и отвратительным стяжателем, присваивавшим чужое добро.

Лицемерное поведение Кори-Саме' не укрылось от глаз Яхьё-ходжи, и он решил хорошенько его проучить. С этой целью он приготовил поддельные документы и привлек Кори-Саме' к суду казия, утверждая, что «ему принадлежит дом, в котором живет Кори-

Саме'». После многодневного судебного разбирательства иск Яхьё-ходжи был признан казием и судья постановил, чтобы Кори-Саме' возместил Яхьё-ходже пятнадцать тысяч тенег (две тысячи двести пятьдесят рублей), что равнялось стоимости дома. Яхьё-ходжа потребовал, чтобы Кори-Саме' принес наличными пятнадцать тысяч тенег и вручил ему в присутствии казия, тогда он согласится на мировую. «Его словам я не верю, — сказал он, — и не уверен, что он меня не обманет».

Кори-Саме' принес к казию установленную сумму наличными деньгами и вручил ее Яхьё-ходже в присутствии казия. Когда казий, в связи с окончанием тяжбы и вручением ответчиком истцу присужденных денег, хотел поставить печать на документе, утверждающем прекращение иска, Яхьё-ходжа остановил его:

— Эту сумму я в виде залога временно возвращаю ответчику, вы же верните мне мои документы. Если он даст слово, что никогда больше не будет ходить по улицам, перебирая четки, и тем самым обманывать людей, то я не взыщу с него денег, а если он опять примется за старое, я предъявлю иск и потребую его удовлетворения.

Кори-Саме' согласился на требование Яхьё-ходжи и бесплатно избавился от его притязаний. После этого случая Кори-Саме' до самой смерти редко покидал дом, а если и выходил, то только как простой человек. Несмотря на свою сдержанность, он не избавился от людского злословия. Народ смеялся над ним, вслед ему говорили: «Он продал свои молитвы богу и четки за пятнадцать тысяч тенег».

Однажды Яхьё-ходжа пришел к верховному судье — казию Бадриддину. Тот лицемерно оказал ему почтение, встретил поклонами, надеясь добиться его расположения. Он даже попросил у Яхьё-ходжи благословения, надеясь подобной лестью и низкопоклонством избавиться от его злого языка.

В ответ Яхьё-ходжа, подобно человеку, посылающему благословение, поднял руки вверх со словами:

— О великий Аллах, о господь, поставь вместо себя богом судью Бадриддина!

Верховный судья удивился такому благословению.

— Ой, ой! Произошло осквернение святыни! — воскликнул он.

— Никакого осквернения не произошло и ничего не случилось удивительного,— ответил Яхьё-ходжа. — В нынешние времена в Бухаре ты стоишь выше эмира, жизнь и смерть всех людей в Бухарском ханстве в твоих руках: если ты захочешь, то можешь сжечь человека, а захочешь — возвысишь его, и никто тебе ничего не посмеет сказать. Теперь, кроме как достичь степени бога, тебе уже ничего другого не нужно желать.

Тяжебщики, пришедшие к верховному судье, и его служители окружили Яхьё-ходжу и верховного судью и с интересом слушали их разговор.

Бадриддин, надеясь прекратить это развлечение, сказал Яхьё-ходже:

— Хорошо! Отлично! Пусть будет по-вашему. — Он хотел таким путем избавиться от своего безжалостного противника, но дерзкий и острый на язык ходжа вовсе не собирался пощадить верховного судью. Он продолжал:

— Тебе очень полезно стать богом. Ведь ты являешься ответчиком за разорившихся крестьян, за сирот, оставшихся без родителей, чье наследство ты захватил, за горе вдов и бездомных детей, мужья и отцы которых брошены в тюрьмы. Возможно, что страх перед гневом господа несколько отравляет тебе удовольствие. Вот если ты сам станешь богом, то можешь уже ничего не опасаться, можешь и впредь творить свои дела и без всякого страха перед возмездием непрестанно пополнять свою казну, ведь бог сам себя не станет наказывать.

Яхьё-ходжа обычно носил одежду простых мулл — халат с мелкими узорами, обшитый спереди узенькой тесьмой, и небольшую белую чалму. Но однажды он пришел в дом к Шариф-джон-махдуму в другом виде: на голове у него красовалась чалма из зеленого шелка, повязанная так, как у щеголей, а на ногах — туфли на высоких каблуках.

— Поздравляю вас с необычным для ходжи видом игрока в азартные игры! — воскликнул Шариф-джон-махдум.

— Действительно, этот мой наряд заслуживает поздравлений. Я сегодня вышел из дома и вдруг вижу, что продавец посуды Абдулкарим идет к себе в лавку, надев чалму и халат, подобно мулле. Я спросил, почему он переоделся в это платье. Он ответил мне следующее:

— Сегодня после утреннего намаза имам произнес в нашем квартале проповедь. Он наставлял народ и, между прочим, сказал: «Всякий, кто носит одежду, обычную для его сословия, в день воскресения из мертвых подымется из могилы вместе со своим сословием, и господь отведет ему по заслугам место в раю или в аду». Вот я и решил надеть платье людей духовного сословия, чтобы в день воскресенья из мертвых попасть вместе с ними в рай.

Яхьё-ходжа продолжал свой рассказ:

— Я же про себя подумал: «Если для того, чтобы попасть в рай, нужно всегда находиться среди духовенства, то я лучше обойдусь без рая. Судьба опозорила меня, введя в духовное сословие, с меня этого вполне достаточно; я не хочу и в день страшного суда быть вместе с ними». Вот почему я надел одежду щеголей и игроков в азартные игры. В день страшного суда мне придется разделить их участь, а если потребуется даже отправиться в ад, то он станет для меня раем, потому что я буду вдали от духовенства.

После этого случая Яхьё-ходжа чаще всего бродил босиком с непокрытой головой.

В свободное от занятий время Яхьё-ходжа ежедневно или по крайней мере через день приходил к Шариф-джону. Лишь только он появлялся в воротах, как спрашивал:

— Эй, отбельщик! Что ты делаешь? Можно войти?

Шариф-джон-махдум посылал меня или Мирзо-Абдулвохида сказать ему, чтобы он входил. Яхьё-ходжа подымался на суфу, но в мехмон-хону не заходил. Просунув голову в дверь, он осматривал сидящих там людей и, перекинувшись с ними двумя-тремя словами, снова удалялся.

Однажды Яхьё-ходжа пришел к Шариф-джон-махдуму, когда у него сидело несколько поэтов. Окинув их взглядом, Яхьё-ходжа обратился к хозяину:

— Ты, глупец, сидишь здесь, собрав вокруг себя этих демонов, и думаешь, что они пришли к тебе, чтобы читать стихи и учиться друг у друга? На самом деле никто им не нужен. Они собираются, чтобы есть твой плов и лепешки, ведь они не приходят ко мне, у меня нет лишнего плова с лепешками.

— Ну, хорошо, — ответил хозяин, — я по вашей милости удостоился прозвища «глупец». Но зачем же вы назвали демонами этих бедняг, которые никому ничего худого не сделали?

— Хоть сейчас они, может быть, и кажутся сыновьями людей, но в будущем станут демонами: как только кончат курс обучения, сразу же бросятся в погоню за высокими степенями и начнут славословить эмира, министров и верховного судью. Тот из них, кто в гиперболах и лжи окажется более способным, получит место казия или раиса, и вот тогда-то он из простого превращается в дикого демона.

— Ну, что же, в таком случае я тоже их сотоварищ, — сказал Шариф-джон-махдум. — Если назначение их казиями или раисами еще предположительно, то я без всякого сомнения после окончания учения займу место казия.

— Я никогда не выделял тебя из тех, кто в будущем станет демоном, и не собираюсь и сейчас тебя выделять. Разница между вами лишь в том, что ты получил от отца большое наследство и вполне допустимо, что будешь меньше грабить народ. А вот они, которые впервые увидят чины и степени, несомненно станут безжалостно грабить население. Ведь голодный волк по сравнению с сытым наносит стаду больший ущерб!

Однажды Яхьё-ходжа пришел к Шариф-джон-махдуму, когда у него в мехмон-хоне сидел Джура-бек Арабов — один из крупнейших бухарских купцов. Осмотрев купца с ног до головы, Яхьё-ходжа обратился к нему:

— Хозяин, вы не можете гордиться тем, что происходите из арабов. Ведь тиран Хаджджадж, который с помощью своего агента Кутейбы ибн Муслима залил кровью наш Мавераннахр, тоже был арабом и даже одним из их предводителей. Не можете вы также гордиться своими дорогими халатами и чалмой, своим пышным домом,

похожим на дворец, своими лошадьми, своими бесчисленными боевыми петухами, вы не можете гордиться и своими деньгами, которые вы храните в банке. Я слышал, что у вас выхаживаются десять лошадей специально для игры в козлодрание и вы кормите множество наездников для этой же цели... У вас имеется двадцать пять штук боевых петухов, а чтобы ухаживать за ними, вы содержите несколько слуг. Слышал я, что вы разрушили построенный пять лет назад дом и теперь, израсходовав сто тысяч тенег (пятнадцать тысяч рублей), выстроили новый дом. Знайте же, что всем этим вы тоже не можете гордиться, потому что если примете во внимание, откуда у вас взялись богатства, то вместо гордости придется стыдиться...

Из-под небольшой тонкой кисейной чалмы, которой Джура-бек обвязал голову поверх дорогой парчевой тюбетейки, лился пот и смачивал широкую тесьму, пришитую на воротнике его шелкового халата. Яхьё-ходжа, помолчав немного, спросил:

— Хозяин, вы знаете грамоту?

— Я немного умею читать и писать, — ответил Джура-бек, вытирая платком пот с лица.

— Вы читали когда-нибудь Бедиля? — снова задал вопрос Яхьё-ходжа.

— Я когда-то читал его в школе.

— А вы понимаете смысл стихов Бедиля? — спросил опять Яхьё-ходжа и, не дожидаясь ответа Джура-бека, сам ответил:

— Нет, вы не понимаете! И ваши школьные учителя, — если они умерли, пусть спокойно покоятся, а если живы, да будут они прокляты, — они тоже не понимают стихов Бедиля. Однако Бедиль имеет и общепонятные стихи, которые вы не видали, а если и видали, то прикидываетесь, что не знаете их. Это потому, что подобные стихи вредят вам...

Яхьё-ходжа помолчал немного и продолжал:

— В одном из своих общепонятных стихов Бедиль говорил:

Кармана своего никто не наполнял,
Покуда в кошелек чужой не залезал.

Прочтя этот стих, Яхьё-ходжа повернулся от Джура-бека к Шариф-джон-махдуму:

— Я удивляюсь миршабу и раису Бухары, которые, схватив какого-нибудь босоногого бедняка, обвиняют его в воровстве, наказывают плетью и бросают в тюрьму. Ведь если простому вору повезет, он утащит у кого-нибудь пять или десять тенег, а чаще всего в руки этому карманнику вместо денег попадает тыквенная табакерка, за которую в самый большой базарный день не дадут четырех грошей. Но тех карманников, которых двести лет назад Бедиль заклеймил как воров и которые от своего постыдного ремесла накопили тысячи золотых, миршаб с раисом не только не трогают, но даже оказывают им почет.

— Вчера, — продолжал Яхьё-ходжа, — мне пришлось быть свидетелем удивительной истории. Я гулял по площади Ляби-хаузи-Девон-беги незадолго до послеполуденного намаза. В это время пришел раис города Бухары, расстелил перед мечетью палас, сел на него и послал своих людей за «преступниками». Люди раиса обошли все соседние чайные, нашли какого-то человека и привели его к раису, как «карманника». Раис потребовал, чтобы обвинение в воровстве подтвердил какой-нибудь беспристрастный человек. Этот наш хозяин (он показал на Джура-бека), который, по словам Бедиля, является крупным вором, вышел из толпы и, приблизившись к раису, засвидетельствовал, что тот человек — карманник и что он собственными глазами видел, как тот совершил кражу. Раис с большим почтением пригласил сесть рядом с собой это «подлинное свидетельство» и приказал своему помощнику оголить спину вору, дать ему тридцать девять плетей, запереть в чулан при канцелярии казия и сообщить о нем его величеству.

— Дело совершенно ясное, — продолжал рассказывать Яхьё-ходжа, — доложить его величеству — последняя мера раиса. Но если этот вор имеет солидное состояние, то вопрос разрешится и без доклада эмиру. Все свое имущество он раздаст раису и его помощникам и будет освобожден, а затем станет уже крупным вором и разбойником. Если же у него нет ничего, то доложат его величеству — и этот человек попадет в тюрьму, где до конца своих дней будет гнить, подобно другим неимущим преступникам.

Я никогда раньше не видел Яхьё-ходжу таким разгневанным. Когда он произносил последние слова, в глазах его сверкал огонь, а на губах, как у настоящих сумасшедших, выступила пена. Свой рассказ он закончил словами:

— Тьфу на тех воров, старшим над которыми является его величество! — и, спустившись с суфы, удалился.

Яхьё-ходжа не стал профессиональным поэтом, но говорили, что он обладал большим поэтическим талантом и экспромты его, особенно сатирические, отличались выразительностью и силой. Рассказывали, что в этих стихах он прямо в лицо высмеивает самых почтенных своих современников, в том числе и кушбеги Джон-мирзо.

Однажды Джон-мирзо, обладавший большой бородой, пожелал задобрить Яхьё-ходжу и сказал ему:

— В прежние времена великие поэты, чтобы оставить после себя память, писали стихи в честь современных им везирей. Хорошо бы и вам сложить по моей просьбе стихи, которыми можно гордиться, как достойной памятью для потомков.

Яхьё-ходжа сразу же сочинил экспромт:

Увидел бороду свою кушбеги, в зеркало глядясь,
И молвил с сердцем умиленным: «Вот борода, так борода!».
Но бороду Кори-Саме' когда узрит кушбеги-князь,
Воскликнет с сердцем удрученным: «Вот борода, так борода!».

Прочтя этот экспромт, Яхьё-ходжа обратился к кушбеги:

— Простите, господин кушбеги, но у вас нет ничего, кроме бороды, что заслужило бы восхвалений и чем бы вы могли гордиться. Жаль, что и борода ваша перед бородой Кори-Саме' теряет свою ценность.

Один крупный эмирский военачальник на каком-то собрании тоже попросил из лести Яхьё-ходжу сложить стихи. Яхьё-ходжа немедленно сочинил на него сатирический экспромт в пятьдесят бейтов, написанный размером «Шахнаме» Фирдоуси. (Так как эти стихи с начала до конца непристойны и наполнены уличной бранью, то здесь их приводить неуместно).

Яхьё-ходжа был близким другом Ахмад-махдума Дониша (Ахмада-

Калла) и его постоянным собеседником. В своей книге «Редкости событий» Ахмад Дониш написал самый большой, похожий на роман, рассказ — «Хаджи-бобо» — со слов Яхьё-ходжи.

Содик-ходжа Гульшани принадлежал к числу образованнейших людей своего времени. В те дни, когда я работал у Шариф-джон-махдума, ему шел тридцатый год. Это был стройный человек с черными глазами, густыми бровями и небольшой широкой бородой. Одевался он не очень богато, но опрятно. Его все считали хорошим, очень остроумным рассказчиком, который знал множество различных историй. Содик-ходжа слегка заикался, но легкое заикание придавало еще большую привлекательность его рассказам.

Содик-ходжа был первым из учеников бухарских медресе, кто изучил русский язык. Он жил в одном квартале с Ахмад-махдумом Дониш и несколько раз в неделю навещал его. Говорили, что Ахмад-махдум побуждал его изучать русский язык; как раз в это время произошло событие, благодаря которому он и овладел русским языком.

Гульшани имел дядю по матери, который очень искусно вырезал печати и изготовлял ювелирные изделия. Его многие знали под прозвищем Ходжа — резчик печатей. Во времена эмира Музаффара мастера несправедливо обвинили в каком-то преступлении, он вынужден был бежать из Бухары в Самарканд, там поселиться и принять русское подданство.

Молодой Содик-ходжа каждое лето уезжал в Самарканд и проводил в доме дяди несколько месяцев. Вот в это время у него и появилась возможность последовать совету Ахмад-махдума.

Содик-ходжа жил не в медресе, а в своем собственном доме, и друзьями его были такие люди, как Шариф-джон-махдум, поэтому он не пострадал от изучения русского языка, как это произошло с Мулло-Туробом. Напротив, Шариф-джон-махдум считал, что знание русского языка является его достоинством, и так писал об этом в своем сборнике стихов:

Вот как прекрасно знает он русский язык,
Если б и ты совершенства такого достиг!

Содик-ходжа сумел изучить начатки новых наук своего времени, особенно он любил географию. После окончания учения в медресе он не пожелал получать какие-либо чины, жил бедно, но достойно и независимо.

Шариф-джон-махдум так написал по этому поводу:

Он сам — бедняк, но деньги щедро дарит беднякам.
Учись же у него, коль щедрости не знаешь сам!

Однако эмир Абдулахад такую независимую жизнь считал для него неподходящей, так же как не мог допустить ее для Шохина и для Кори-Каромата Дилькаша. Он привлек Содик-ходжу к придворной службе в качестве советника. Содик-ходжа только назывался советником, а на самом деле подобно безграмотным эмирским нукерам был вынужден зимой и летом разъезжать верхом на лошади по областям Бухарского ханства. Под предлогом выполнения каких-либо незначительных поручений эмир посылал его в самые отдаленные и трудно доступные местности.

Содик-ходжа извлекал для себя немалую пользу из этих поездок, он посещал различные районы бухарского подчинения, измерял расстояния между городами и селами, чертил карты и планы и написал подробную географию на таджикском языке. Человек, привыкший к культурному и независимому существованию, не смог вынести жизни бухарского двора, которая принимала все более омерзительные формы, и скончался в 1910 году.

Стихи Содик-ходжа писал очень гладко, но форма и сравнения, к которым он прибегал, были старыми и избитыми. С точки зрения современного отношения к литературе его нельзя назвать хорошим поэтом. Говорили, что он сочинял стихи на русском языке в манере таджикского стихосложения — аруза. Из этих стихов у меня в памяти сохранилась только одна строка:

«Ни хачу местни вино, дайти мне руски вади!».

Несмотря на все несовершенство его стихов, они показывали, какой интерес был у передовой молодежи к русскому языку.

О творчестве Содик-ходжи Гульшани я говорил в «Образцах таджикской литературы» и привел там лучшие из его стихов.

Хомид-бек Хомид. Отец Хомид-бека в начале царствования эмира Музаффара был правителем в местности Ташкурган, подчинявшейся Бухаре, а затем отошедшей к Афганистану. Он там родился и в шестнадцатилетнем возрасте вместе с воинами своего отца участвовал в войне эмира Музаффара с русским царем. Там он впервые прозрел, увидев гнусные поступки эмира и его придворных, дисциплину и опытность русских солдат.

После окончания войны Хомид-бек остался в Бухаре и, находясь на службе при дворе, выполнял ее добросовестно.

Но судьба свела его с Ахмад-махдумом Донишем; в этом кругу созрели его прогрессивные идеи. Он рассказывал, что Ахмад-махдум свою историю войны между эмиром Музаффаром и Россией написал с его слов. Автор этих «Воспоминаний» также изложил по его рассказам некоторые события русско-бухарской войны.

Хомид-бек привлекал внимание окружающих своим высоким ростом. Длинное лошадиное лицо его покрывала рыжеватая борода, в которой проглядывала кое-где седина. В то время ему было немногим более сорока лет. Он считался прекрасным оратором, но странное впечатление производила его привычка во время разговора сосать язык, так что казалось, будто во рту у него лежит кусок сахара. В беседах он чаще всего рассказывал о том, что слышал у Ахмад-махдума.

Стихосложением он занимался мало; бóльшая часть написанного им относилась к жанру сатиры и была направлена на обличение придворных нравов. Наиболее характерные стихи Хомид-бека приведены мною в «Образцах таджикской литературы».

Абдулло-ходжа Тахсин был человек лет тридцати, высокого роста, смуглый, с небольшой бородкой. Очень общительный и речистый, он принадлежал к числу постоянных посетителей дома Шариф-джон-махдума. Как я уже указывал в «Образцах таджикской литературы», он являлся скорее знатоком поэзии, чем поэтом.

Кори-Абдулкарим Офарин (Дузахи). Когда я работал у Шариф-джон-махдума, этому рослому смуглолицему человеку было уже около сорока пяти лет. Он принадлежал к числу хороших каллиграфов и зарабатывал на жизнь перепиской книг. Самым большим удовольствием для него было натравливание людей друг на друга. Хотя все

хорошо знали эту его манеру, все же очень многие друзья ссорились между собой и становились врагами.

Офарин не считал себя профессиональным поэтом, но чтобы поссорить двух стихотворцев, он охотно сочинял от имени каждого из них сатирические стихи. Так известный поэт того времени Шохин поссорился со своим учителем Кози Курбон-хоном Фитратом из-за его стихотворных подделок. После ссоры между этими поэтами произошло немало комических столкновений, в конце концов они умерли, так и не помирившись.

Офарин был одним из противников существовавшего режима и усердным посетителем собраний, устраивавшихся Ахмадом-махдумом Донишем. За подстрекательство он получил от Дониша прозвище «Дузахи».

Мирзо-Азим Соми Бустони родился в селении Бустон, расположенном в современном районе Кизыл-тепе, в сорока километрах на северо-восток от Бухары, по дороге в Кермине. Закончив начальную школу у себя в деревне, он получил в Бухаре образование в области литературы и различных наук.

После окончания курса медресе он сначала служил писарем у разных правителей, затем был привлечен ко двору эмира Музаффара на должность секретаря и во время войны с царской Россией принимал участие в походе как летописец. В этой войне ему многое открылось, и он примкнул к противникам эмирского режима. Его произведения — «Шахский подарок», посвященный истории династии мангытов, и «Царская усыпальница», являвшаяся дополнением к одноименному произведению Мирзо-Содика Мунши, — написаны в критических тонах и направлены против эмирского двора.

В эпоху Абдулахада, когда безобразия, творимые эмиром и его придворными, еще больше увеличились, а положение народа ухудшилось, критика Соми стала значительно острее. В конце концов его изгнали из дворца и он остался без всяких средств к существованию.

Соми был невысокого роста, не очень плотный, смуглый, с небольшой бородкой, в которой проглядывало больше седых волос, чем черных. В то время ему уже шел шестидесятый год. По поручению Шариф-джон-махдума он составлял сборники своих стихов и других

редких произведений. На получаемые от этой работы средства старик едва сводил концы с концами и с трудом мог обеспечить самое жалкое пропитание своей большой семье. Ему приходилось заниматься перепиской по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки.

Глаза Сомн ослабели от старости и не могли выдержать такой мелкой работы, в конце концов он совсем ослеп. Последние четыре-пять лет Сомн прожил в очень тяжелых условиях и умер в 1907 году в возрасте семидесяти двух лет.

В своем сборнике стихов Шариф-джон-махдум после перечисления талантов и достоинств Сомн так написал о его бедности:

Как странно, что из всех земных услад
Ему на долю выпал только яд...
Хоть в этом мире он еще живет,
Но хуже смерти жизнь его гнетет.
Несчастье — старость вместе с нищетой,
Но хуже — бедным быть, имея чин большой.[1]

Сомн был близким другом Ахмад-махдума Дониша и, пока тот был жив, посещал его не менее одного раза в неделю. В «Образцах таджикской литературы» говорится о жизни и творчестве Сомн, приведены его стихи и дан список созданных им произведений.

Азиз-ходжа Азиз родился в Кундузе, относившемся к Балхскому вилайету. В детстве он приехал в Бухару, здесь воспитывался и достиг зрелого возраста. Азиз считался учеником казия Абдулвохида Садри-Сарира и давнишним соучеником Шариф-джон-махдума. Он был высокого роста, смуглолиц, худощав, с небольшой бородой и постоянно улыбался. Все его считали человеком мягким и деликатным по характеру. Азиз обладал несомненным даром красноречия. В самом обычном разговоре он умел очень естественно, с большим искусством пользоваться тонкостями таджикского языка. Как относился Азиз к официальному духовенству, видно из бейта, посвященного им верховному судье Бухары:

[1] Сомн в прошлом был чиновником, и, согласно обычаю, ему приходилось сохранять внешний образ жизни людей высшего круга. Составитель сборника указывает на это обстоятельство. (*Примеч. автора*).

Когда я на лицо верховного судьи бросаю взгляд,
Тотчас приходит мне на ум в кувшине кислый виноград!

Ненависть Азиза не была направлена только против одного какого-нибудь верховного судьи, он испытывал одинаковое отвращение ко всем казиям, духовенству и чиновникам. После смерти верховного судьи Бадриддина, которого из-за жадности называли «слепым», на его место был назначен тугоухий Кози-Бако-хон, прозванный глухим. Азиз немедленно отозвался на это событие и написал новый бейт:

Из Бухары ушел слепой, теперь на месте том — глухой;
Так этот город благородный явился новой Кербелой.[1]

Все эти люди были лучшими цветами, украшавшими собрания Шариф-джон-махдума, аромат которых вдыхал и я. Конечно, по своему уровню знаний и мировоззрению они мало отличались от других своих современников, но каждый из них в той или иной мере выражал недовольство существующим строем, и это не могло не оказать влияния и на меня.

* *
*

На собраниях, какие происходили в доме Шариф-джон-махдума, говорилось не только о недостойных поступках представителей власти и привилегированных слоев бухарского общества, но и о достоинствах нескольких хороших людей, которых я полюбил заочно. Считаю уместным упомянуть здесь их имена.

Мирзо-Хаит Сахбо родился в Вобкентском тюмене и приехал учиться в Бухару. Однако еще до завершения курса его вызвали ко двору Абдулахада, который, когда в стране властвовал его отец, был правителем Кермине. Став бухарским эмиром, Абдулахад оставил Мирзо-Хаита Сахбо при дворе и поручал ему различные должности.

[1] В этом бейте-полустишье поэт слово Кербела (Карбало) употребил в двух значениях: намек на безводную степь Кербелу — Карбало и на словосочетание: «Этот глухой — другая беда» (ин кар балои дигар аст). (*Примеч. автора*).

По словам друзей Шариф-джон-махдума, посещавших его собрания, Сахбо постоянно разоблачал придворных и не останавливался иногда перед тем, чтобы сказать правду в присутствии эмира.

Шариф-джон-махдум эти качества Сахбо так отразил в своем тазкире:

Девиз его — «знанье», ему неведом страх,
И льву он подобен в поступках и речах.
Такой благородный и сильный человек
На свет не рождался поистине в наш век.
Он выскажет правду, всегда неустрашим,
В лицо, за глаза ли, и малым и большим.
Ведь даже пред шахом, правителем страны,
Всегда его речи правдивы и ясны.

Подобные качества характера Сахбо не могли остаться не замеченными эмиром. По началу он был близок к эмиру и являлся его телохранителем. Сахбо часто обвинял мирабов в торговле водой и притеснении крестьян. Когда эмир рассердился на своего телохранителя, то назначил его мирабом городского канала. В то время мирабы не получали содержания от государства, и Сахбо тоже столкнулся с необходимостью для удовлетворения жизненных потребностей заниматься продажей воды. Но он не пошел на такую подлость и в течение двух лет честно выполнял свои обязанности перед крестьянами, хотя сам жил в очень трудных условиях.

Эмир, увидев, что Сахбо привлекает к себе симпатии народа, снял его с этой должности и назначил городским миршабом. Новые его обязанности оказались еще хуже старых. Если мираб получал от крестьян взятки и добывал таким образом средства к существованию, то миршаб должен был вступать в связь с ворами и игроками в азартные игры, чтобы не только обеспечивать свое существование, но и посылать несколько раз в году подарки эмиру.

И здесь Сахбо честно исполнял свои обязанности, он распродал все свое имущество, украшения жены, жил очень бедно, но не вступал в связь с ворами и игроками в азартные игры и подношений эмиру тоже не делал. Во время его деятельности как миршаба в городе и его окрестностях было спокойно, воровство и грабежи прекратились.

К тому же он убедил население столицы принять участие в освещении улиц. На добровольные пожертвования Сахбо осветил город, тот город, который с самого своего основания всегда по ночам погружался в темноту.

Эмир и здесь не получил удовлетворения от своей нравственной мести Сахбо; он решил освободить его от всяких должностей и заставил сидеть дома на скудном чиновничьем жалованье.

Находясь в уединении, Сахбо сделал свою критику существовавших в то время порядков еще более резкой. Все недовольные эмирским двором группировались вокруг него, и общаясь с ним, разжигали свое недовольство эмиром и везирями. Правительство же искало удобного случая, чтобы рассчитаться с неугодным сановником, и такая возможность, наконец, представилась.

В 1915 году по указанию политического агента царской России кушбеги вызвал к себе Сахбо и сделал ему выговор за чтение газет. Затем кушбеги потребовал от него расписку, что он впредь не будет читать газет. Когда началась Февральская революция, Сахбо объявил себя ее сторонником. Правительство немедленно заключило его в бухарскую крепость, а спустя некоторое время выслало в Кабадиан (нынешний Микоянабад Таджикской ССР), где он и был убит в 1918 году во время событий, связанных с походом Колесова.

О Сахбо есть упоминание в «Образцах таджикской литературы». Там же приведены его стихи.

Шамсиддин-махдум Шохин — известный поэт своего времени. В тот год, когда я служил у Шариф-джон-махдума, говорили, что ему исполнилось тридцать четыре года. Шохин попал тогда в число близких наперсников эмира и не мог свободно общаться с близкими ему людьми, поэтому не приходил и к Шариф-джон-махдуму. Говорили, что до того, как поэт оказался причисленным ко двору, он не менее одного раза в неделю бывал у Шариф-джон-махдума и принимал участие в его собраниях. Стихи Шохина сразу же становились известными его старым друзьям. На следующий день после того, как Шохин сочинял то или иное стихотворение, оно уже читалось у Шариф-джон-махдума. Участники собраний вспоминали его добром. Что касается меня, то стихи Шохина производили на меня,

по сравнению со стихами других поэтов, самое большое впечатление, и я страстно желал во что бы то ни стало, хотя бы один раз, повидать этого замечательного поэта.

Однажды на Регистане один из родственников Шариф-джон-махдума, любитель стихов, указал мне издали на Шохина. Он показался мне человеком среднего роста, худощавым. с черными глазами и бровями и небольшой бородой. Как жаль, что мне не пришлось его видеть вблизи и слышать его речь! Спустя два года после нашей мимолетной встречи он скончался в Карши, куда сопровождал эмира.

О Шохине упоминается в «Образцах таджикской литературы», и там же приведены его стихи.

Ахмад-махдум Дониш (Ахмад-Калла) был человеком, о котором много говорилось на собраниях у Шариф-джон-махдума. Каждый из наших гостей заочно называл его на «вы» и отзывался о нем с очень большим уважением. Их рассказы усиливали мой интерес к этому необыкновеному человеку. Ведь все, что они говорили, было так непохоже на то, что я слышал в медресе Мир-Араб от тамошних мулл. Друзья Шариф-джон-махдума говорили о высоких достоинствах Ахмада Дониша и готовы были считать его ангелом, а мои наставники причисляли его к ученикам дьявола.

Самым удивительным для меня было то, что такие противоречивые суждения о нем высказывали люди, принадлежавшие к одному и тому же духовному сословию, проживавшие в одном и том же городе в одно и то же время.

По своему разумению я считал участников собраний Шариф-джон-махдума порядочными людьми и верил каждому их слову. Под влиянием услышанного моя любовь к Ахмад-махдуму день ото дня возрастала, и мне хотелось как можно больше узнать о нем. Как только выдавался удобный случай, я расспрашивал об ученом каждого из посетителей нашего дома.

По словам Шариф-джон-махдума, предки Ахмада Дониша происходили из тюменя Пирмаст. Теперь этого тюменя более не существует. По современному административному делению часть его отошла к Гиждуванскому району, другая часть — к Шофуркомскому, а третья — к Вобкентскому району. Ахмад-махдум был уроженцем

деревни Сугд, где его родственники занимались земледелием. Отец Ахмад-махдума в детстве учился в деревенской школе, затем кончил бухарское медресе, после чего стал имамом в одном из кварталов города Бухары. Оставшись жить в Бухаре, он построил себе дом в квартале Кучаи-Сангин и обзавелся семьей. Вот в этом доме и родился Ахмад-махдум.

О том, как учился Ахмад Дониш, я рассказываю со слов Шариф-джон-махдума, правильность которых подтверждается записками самого ученого.

Отец Ахмад-махдума отдал мальчика в школу своего квартала, надеясь, что он выучит на память Коран и станет кори — чтецом Корана. Однако упрямый Ахмад не хотел этому подчиниться, каждый день убегал из школы, приходил на Регистан, на площадь Ляби-хауз-Девон-беги и там присаживался к уличным рассказчикам и проповедникам. Он внимательно выслушивал и запоминал их рассказы.

Школьный учитель объяснил отцу Ахмад-махдума, что у его сына не в порядке речь и когда он говорит или читает вслух, то заикается. Если мальчик даже выучит на память Коран, то все равно из него хороший чтец не получится, поэтому лучше всего отказаться от мысли о том, чтобы он стал кори. Поневоле отцу Ахмад-махдума пришлось согласиться с учителем.

После того как Ахмад-махдум овладел грамотой, он оставил школу и перешел учиться в медресе. Особенно охотно юноша упражнялся в каллиграфии и рисовании. За очень короткий срок он стал прекрасным каллиграфом и искусным рисовальщиком.

Поначалу Ахмад-махдум жил в семье отца, которая испытывала большую нужду. Как только юноша овладел искусством каллиграфии и смог сам себя содержать, он нашел келью в одном из бухарских медресе и там поселился. В этот свой период жизни Ахмад Дониш занимался перепиской сборников стихов, которые очень изящно украшал виньетками и заставками. Никаких других доходов у него не было, и он существовал только на средства, вырученные от продажи рукописей.

Вот что примерно писал по этому поводу сам Ахмад-махдум в одном из своих произведений:

«Вначале я был очень жадным, из всего, что мне удавалось добыть перепиской и рисованием украшений в книгах, я старался тратить как можно меньше на свои нужды, а остальное откладывал, будучи ненасытным в накоплении денег. Но вскоре произошло печальное событие, которое отбило у меня желание копить деньги. В деревне жил мой двоюродный брат по отцу, сильный и здоровый юноша. Однажды он отправился в город и по пути случайно утонул при переправе через Зеравшан.

«Это событие произвело на меня очень сильное впечатление, и я решил, что человек всегда может неожиданно погибнуть, зачем же напрасно копить деньги? Не лучше ли хорошо есть, хорошо одеваться и весело проводить время?

После этого все, что мне удавалось добыть своим трудом, я расходовал в тот же день, сам хорошо питался и устраивал угощение для своих друзей».

В одной из тетрадей я видел написанный рукой Ахмад-махдума рассказ о том, как он стал заниматься наукой о звездах. Коротко перескажу содержание его записок.

«Мне очень хотелось узнать свое будущее. С этой целью я решил заняться астрологией. Но люди, которые называли себя астрологами, были очень скрытными и неохотно обучали своей науке. Я с трудом вошел к ним в доверие, долго учился и читал, кроме того, все доступные мне книги по астрологии. В конце концов, я приобрел некоторые знания. Но мне очень надоела жадность моих учителей, и я твердо решил, что если постигну эту науку в совершенстве, то буду бесплатно обучать ей всякого, кто захочет учиться».

В конце своих записок Ахмад-махдум говорит: «Когда я вполне овладел астрологией, то, согласно своему прежнему решению, принимал к себе в ученики всякого, кто хотел ее изучать. Но, к сожалению, почти все ученики оказывались непослушными и, не постигнув еще ничего из науки о звездах, становились гадальщиками и губили сами себя и мой труд».

Составление подробной биографии Ахмада Дониша на основании его собственных произведений и произведений его современников — дело будущего. Здесь же я хочу изложить лишь то, что слы-

шал о его жизни от людей, посещавших дом Шариф-джон-махдума, и что нигде не было еще описано.

В понимании личной жизни и образа мыслей Ахмад-махдума большую помощь оказал мне Хомид-бек Хомид, о котором я упоминал выше наряду с другими участниками собраний Шариф-джон-махдума. Хомид-бек уже более двадцати лет был постоянным собеседником Ахмад-махдума, знал о нем очень много. Он искренне любил своего друга и всегда интересно о нем рассказывал. Если ему задавали какой-нибудь вопрос об Ахмад-махдуме, то в ответ он начинал вспоминать одну историю за другой.

По словам Хомид-бека, Ахмад-махдум отказался от должности казия и уклонился от службы при эмирском дворе. После этого его назначили библиотекарем в медресе Джа'фар-ходжа, что можно было рассматривать как пенсию. В библиотеках бухарских медресе книги давно уже отсутствовали и библиотекарям там нечего было делать.

Однако Ахмад-махдум полагался только на свой собственный труд. Как уже говорилось ранее, он был прекрасным каллиграфом и искусным рисовальщиком; доходы от этого ремесла его вполне обеспечивали. Он не только исполнял с большим мастерством заставки и виньетки, но был также замечательным художником и делал очень живые рисунки. Однажды Хомид-бек показал мне его сатирический рисунок, который поразил меня своей смелостью. В Бухаре в течение долгого времени должность миршаба занимал опиеман по имени Мирзо-Анвар. Дониш нарисовал на него едкую карикатуру. На одном рисунке Мирзо-Анвар был изображен в полусонном состоянии. Он сидел, скрестив ноги, и неторопливо выжимал в чашку опиум. На другом рисунке появляется человек, который сообщает миршабу, что видел вора. Мирзо-Анвар изображен так, будто это известие привело его в замешательство: он лежит на спине и кричит: «Умираю», — чашка опрокинута и катится по ковру, из нее льется сок опиума.

Под этой карикатурой рукой Ахмад-махдума было написано: «Если этот опиеман еще один год останется в Бухаре миршабом, то в городе станет полно воров».

Свое искусство Ахмад-махдум особенно удачно применил в рукописях «Лейла и Меджнун», «Юсуф и Зулейхо» и других лирических

произведениях. Я видел экземпляр рукописи «Юсуф и Зулейхо», выполненный рукой Ахмад-махдума и им же украшенный миниатюрами, заставками и заголовками. Книга была продана тогда за цену, равную стоимости трехсот пудов пшеницы.

По словам Хомид-бека, Ахмад-махдум тратил все, что зарабатывал, и ничего не откладывал в запас.

Ахмад-махдум был вдовцом. Семья его в те годы состояла из сына и дочери; возможно, что он имел и других детей, умерших раньше, но Хомид-бек ничего о них не знал.

Сын Ахмад-махдума, которому исполнилось тогда сорок лет, жил от отца отдельно и тоже зарабатывал на существование перепиской и украшением книг. Ахмад-махдум выдал дочь замуж за своего ученика и взял к себе в дом. Зять вел все его расходы, а дочь была хозяйкой в доме.

В женской половине дома Ахмад-махдума жила еще служанка, а на мужской половине — молодой повар по имени Кори-Не'мат и садовник, ухаживавший за его садом. В кругу семьи Ахмада Дониша проводил большую часть своего времени еще поэт и музыкант Кори-Каромат Дилькаш, который в поэзии и музыке считался его ближайшим учеником.

Сведения о Дилькаше имеются в «Образцах таджикской литературы», там же приведены и его стихи.

Таковы были постоянные обитатели дома Ахмад-махдума Дониша.

ОБРАЗ ЖИЗНИ АХМАД-МАХДУМА

По рассказам Хомид-бека, Ахмад-махдум каждое утро вставал на рассвете. Умывшись, он читал или занимался перепиской книг, после утренней молитвы или перед восходом солнца пил чай и съедал лепешку на масле, запивая ее полчашкой чая со сливками, затем снова садился работать.

Больше всего он любил сидеть в своей мансарде, откуда открывался вид на ворота его усадьбы и ведущий к ним переулок... Всякий раз, когда приходил близкий ему человек, он спускался вниз, шел ему навстречу, и они, беседуя, прогуливались. Как поступал

Ахмад-махдум с людьми, которые были ему не по душе, я описал уже во второй части «Воспоминаний».

Когда не было занятий в медресе, у него часто собиралось одновременно много друзей и знакомых. Гости иногда проводили в его доме целый день и развлекались по собственному усмотрению: читали стихи, играли в шахматы, занимались музыкой или наслаждались домашним вином.

Хозяин дома продолжал в это время свои обычные занятия: копировал рукописи или рисовал, словно никого из гостей не было поблизости. «Если я остаюсь один, — писал он, — я очень тоскую, мне так бывает грустно, что я не могу ничего делать и ни о чем думать, но когда ко мне собираются мои друзья и беседуют или играют, мне открывается путь к мыслям и труду, в такое время я спокойно работаю».

Раз в неделю Ахмад-махдум устраивал у себя дома вечеринки, на которые гости приходили по особому приглашению. Во время пирушки играли на музыкальных инструментах, а в перерывах танцевали, читали стихи или обсуждали их и рассказывали забавные истории. Но даже когда все веселились, хозяин дома сидел в уголке и занимался своим делом.

То, что здесь было рассказано о личной жизни Ахмад-махдума со слов Хомид-бека, Шариф-джон-махдум подтверждает своими стихами:

Ему нравится дервишем-странником быть,
Дни и ночи свои без забот проводить.
Власть имущие, видя все это порой,
Бесконечно завидуют жизни такой.
День и ночь в стороне от собрания он
Пеньем флейты, тамбура и бубна пленен...
Там людей просвещенных беседа идет,
Кто забавный рассказ, кто поэму прочтет.
Здесь веселье кипит, вина пьют без конца,
Там бои шахматисты ведут без конца.
Образованны, чисто одеты, в дому
Служат юноши-слуги охотно ему.
Но средь криков, веселья, средь шумных бесед
Он один соблюдает безмолвья обет.

«ГРЯЗНУЮ ВОДУ — В КАНАВУ!»

В прежние времена на Востоке астрологов обычно считали способными не только определить будущее человека, его судьбу, но даже предсказывать подъем или падение цен на товары. Ахмад-махдум пользовался известностью как астролог, поэтому к нему часто обращались за советами по самым неожиданным вопросам. В таких случаях он немедленно выгонял обратившегося к нему человека, но сам настолько расстраивался, что потом в течение нескольких дней никого не принимал.

Вот какую историю поведал мне Хомид-бек.

«Однажды, — начал он свой рассказ, — я пришел к Ахмад-махдуму, но слуга не пустил меня к нему и сказал, что хозяин приказал никого к себе не впускать. Однако я решил, что это относится только к посторонним людям, не послушал слуги и вошел в дом. Ахмад-махдум спал в задней части комнаты, укрывшись халатом. Я кашлянул. Однако он даже не шевельнулся. Тогда я спросил:

«— Таксир, здравствуйте, что с вами?

«— Меня довел до сумасшествия один дурак-афганец. Ты тоже ступай по своим делам и оставь меня в покое.

«Но я не сдавался:

«— Позвольте мне дать ответ этому глупцу-афганцу. Ведь я родился по соседству с их страной и многих там хорошо знаю. Вы не огорчайтесь, вспомните что „ответ дураку — молчание", и успокойтесь. Однако объясните мне, что он вам сделал?

«Не снимая халата с головы и не поднявшись с постели, Ахмад-махдум ответил:

«— Ну-ка, взгляни в угол, что ты там видишь?

«Я направился туда и увидел белый мешок, в котором находился зеленый чай и пудовая голова сахару. Рядом лежал тулуп из лисьих лапок и сверток с деньгами, там оказалось пятьсот тенег (семьдесят пять рублей) наличными. Я пересчитал все, что обнаружил.

«Не меняя своего положения, Ахмад-махдум объяснил:

«— Сегодня утром эти вещи принес хорошо одетый афганец в сопровождении двух слуг. Он положил все в углу, а сам с глубо-

ким почтением поклонился, потом подбежал ко мне, опустился на колени и поздоровался. Когда он здоровался, то попытался поцеловать мне руку. Я с отвращением отдернул руку и сказал: „Приятель, говори скорее, что тебе от меня нужно?". Плачущим голосом он ответил мне: „Я оказался в таком положении, что вся моя жизнь теперь в ваших руках. Окажите мне милость и скажите: должен я ехать в Афганистан или нет?". Я возразил ему: „Приятель, ты мне не брат и не сын, а посторонний человек. Меня совсем не касается, поедешь ты в Афганистан или нет". Тогда он стал говорить яснее: „Окажите мне милость, объясните, что для меня лучше: ехать в Афганистан или нет?". Я ему ответил: „Я не провидец, если цель твоя — узнать, верно ты поступаешь или нет, то ступай на улицу, там много предсказателей, они помогут тебе определить судьбу". Афганец в ответ: „Кроме ваших предсказаний, ничьи предсказания не сбываются". Потом со словами: „Пожалейте меня!" — он бросился на колени и хотел облобызать мои ноги. Я его оттолкнул и закричал: „Твое поведение для меня оскорбительно, убирайся отсюда!". Афганец валялся у меня в ногах и повторял: „Если вы даже убьете меня, я от вас не уйду!". Слуги афганца, мой повар и садовник стояли в дверях и наблюдали эту сцену. Я приказал своим людям удалить от меня незваного гостя и выгнать его на улицу. Они подошли и схватили афганца за шиворот. Увидев это, слуги афганца напали на моих слуг. Но афганец остановил их: „Негодяи, не притрагивайтесь к людям ишана, а то у вас отсохнут руки. Мы с вами не больше чем собаки в этой обители". Слуги подчинились ему, тогда он обратился к повару и садовнику: „Дорогие мои, отпустите мой воротник, я подчинюсь приказанию его священства и сам на время удалюсь отсюда". Глядя на меня, он сказал: „Я покидаю ваше священство до вечера и вернусь между предпоследним и последним намазом. Тогда вы мне дадите ясный ответ или убьете меня и выбросите мое тело из вашей обители"».

Хомид-бек продолжал:

«Дойдя до этого места, махдум сказал мне:

«— Теперь ты сам подумай, что я могу сделать? У меня нет

никакого выхода из этого нелепого положения. Мне только и остается лечь спать, натянув халат на голову. Горе несведущему!

«— Я легко найду необходимое средство, — отвечал я ему. — Мне известно, кто этот афганец и в чем заключается его беда, я сам отвечу на его вопрос. Вы же напрасно не волнуйтесь, не горюйте и не расстраивайтесь! Теперь уж я не допущу, чтобы он пришел к вам.

«Немного успокоившись, махдум снял халат с головы и, опершись на подушки, стал меня расспрашивать. Я сообщил ему следующее:

«— Посетивший вас афганец — торговый представитель афганского правительства в Бухаре, а его старший брат — наместник в Балхе. В последние дни распространился слух, что афганское правительство арестовало наместника, ему надели на шею колодки и отвезли в Кабул. Однако правильный был слух или нет, торговому представителю не известно. Он хочет с помощью гаданья по звездам узнать, ложь это или правда. Если известие правильное, то он больше в Афганистан не вернется, а сбежит в другое место, если же неправильное — он возвратится на родину, чтобы своим бегством не доставить неприятностей брату, которого за это могут снять с поста.

«— Ну, хорошо, какой же ответ ты дашь этому дураку? — спросил меня махдум.

«— Вчера ко мне из Ташкургана приехал один из близких моему отцу людей. Он сообщил мне новость, что наместник Балха арестован. Я дам знать о беде торговому представителю и посоветую ему бежать как можно скорей в глубь России, куда-нибудь подальше.

«— Когда тот невежда придет, ты отдай ему все его вещи, чтобы у меня в доме не оставалось этой дряни.

«— Они теперь принадлежат уже не вам и не этому вору — афганцу, — ответил я, — мне придется отвечать на его вопрос, значит и вещи становятся моими.

«— Неужели ты их отнесешь домой, жене и детям? — недовольно спросил махдум.

«— Нет, я их израсходую здесь, мы приготовим угощение и съедим его вместе с друзьями.

«— Конечно, я в нем участвовать не буду! — заявил махдум.

«— Это ваше дело, — отвечал я и тотчас же передал чай и сахар Кори-Не'мату, чтобы он приготовил сласти для будущих пирушек: варенье, нишалло и халву. Деньги и тулуп я передал зятю Ахмад-махдума, ведавшему всеми расходами, и просил его закупить сало, рис, мясо и другие продукты, необходимые для угощения. Сам же я составил список певцов, музыкантов, танцоров и друзей, которых следовало пригласить на пир.

«Каждый вечер в течение целой недели мы пировали. Ахмад-махдум, сидя в углу, занимался чтением или перепиской. Всякий раз, когда он поднимал голову и видел, что мы едим с аппетитом и удовольствием, повторял одно и тоже:

«— Кушайте, кушайте! Грязную воду — в канаву, грязную воду — в канаву! — говорится в пословице».

ЕЖЕГОДНЫЕ ПОЕЗДКИ АХМАД-МАХДУМА

Один раз в году Ахмад-махдум совершал поездку по бухарским тюменям, которая продолжалась два месяца.

Обычно он путешествовал в августе и сентябре, когда в садах поспевали дыни и виноград, а вслед за ними гранаты, инжир и другие фрукты.

Ахмад-махдум отправлялся в путь в сопровождении близких друзей, музыкантов, певцов и слуг на двух крытых арбах, в которых было все необходимое для путешествия. Сам же он ехал либо верхом на лошади, либо в арбе. Все расходы по такой прогулке Ахмад-махдум брал на себя.

Выехав из Бухары через Самаркандские ворота, он добирался в течение недели до деревни Сугд, где жили родственники его отца. Расстояние от города до деревни было немногим более тридцати километров, но по дороге он отдыхал в деревенских садах.

В Сугде Ахмад-махдум останавливался в усадьбе своего дяди, в доме, который он выстроил для себя. Здесь он жил около пятнадцати дней, затем переезжал в деревню Котиён Шофуркомского тюменя, где среди местных певцов и музыкантов у него имелись друзья; прожив там неделю, путешественник переезжал в Гиждуван.

В Гидждуване Ахмад-махдум жил почти месяц в усадьбе некоего байского сынка Ашура, где построил для себя небольшой дом и сам его украсил росписью. Затем, переехав Зеравшан по мосту Пули-Эшон, он останавливался на один-два вечера в селениях Бустон, Вагонзи, Азизобод, Хусбудун и Гурбун.

Завершая свой путь, Ахмад-махдум через ворота Мазор въезжал в город и возвращался к себе домой.

Во время поездок Ахмад-махдум не занимался ни перепиской, ни сочинительством; все дни он проводил в прогулках по бахчам и садам, читал или слушал пение и музыку, а иногда играл на тамбуре, так как сам был хорошим музыкантом.

Чтобы лучше представить, чем были заполнены его дни во время поездки, нужно рассказать о тех местах, которые он посещал.

Из Вобкента в деревню Дехнави-Абдулло-джон — с юга на север — шла проезжая дорога. Из Гидждуванского тюменя — с востока на запад — другая дорога вела прямо в центр Шофуркомского тюменя, селение Худжа-Ориф. На пересечении этих двух дорог и раскинулась деревня Сугд.

К юго-западу от перекрестка находилось большое высохшее озеро, которое называлось Кули-Джубор. Севернее этого озера проходил канал Султонобод, который поворачивал здесь прямо на юг, а еще через полкилометра — на запад.

Деревня Сугд была расположена на правом берегу канала возле первого его поворота, а дедовская усадьба Ахмад-махдума находилась там, где канал поворачивал с юга на запад.

Ахмад-махдум выстроил для себя дом во внешнем дворе усадьбы, наружные двери здания открывались прямо в сторону канала, обитатели дома могли любоваться отсюда не только видом на канал, но и на высохшее озеро.

Перед домом на берегу канала, под тенистыми ивами, находилась высокая суфа. Сидеть здесь в жару и смотреть на бегущую воду доставляло истинное наслаждение. В котловине, там, где было когда-то озеро, зеленели бахчи, на которых в середине лета и осенью поспевали дыни и арбузы. Богатый урожай на бахчах радовал взор каждого, кто жил в этом доме или отдыхал на суфе.

Пятнадцать дней во время своего ссеннего путешествия Ахмад-махдум проводил здесь на суфе в тени ив, обслуживали его двоюродные братья; в этих местах обитали в прошлом предки Ахмад-махдума.

* *
*

Канал Пирмаст протекал с северо-востока на юго-запад вблизи гидждуванской крепости и делился на два рукава. Южная часть канала огибала крепость с восточной стороны. Здесь на левом берегу стоял дом с садом, принадлежавший байскому сыну Ашуру. Как-то случилось, что Ахмад-махдум подружился с этим человеком и на берегу канала выстроил дом, весь разукрашенный различными орнаментами. С одной стороны дома двери выходили на восток, в сторону сада усадьбы, а с другой — на запад, в сторону канала.

В доме на берегу канала Пирмаст Ахмад-махдум проводил почти месяц во время своего путешествия.

Поначалу, когда Ахмад-махдум останавливался в этим местах на отдых, у него был здесь старинный знакомый — казий Гидждувана Абдулвохид Садр Сарир, о котором я рассказывал в первой части «Воспоминаний» и в «Образцах таджикской литературы».

* *
*

Для более полной картины личной жизни Ахмад-махдума уместно будет рассказать о его поваре Кори-Не'мате.

Кори-Не'мат имел усадьбу в Бухаре в квартале Ходжа-Аспгардони (между бассейном Дастурхончи и медресе Модари-хон). Над крытым проходом к нему во двор находилась мансарда, которая служила мехмон-хоной.

По словам Кори-Не'мата, казий Абдулвохид Садр Сарир в те времена, когда он был гидждуванским казием, в начале каждого месяца, по заведенному порядку, являлся к эмиру. Казий не имел возможности открыто беседовать с Ахмад-махдумом, поэтому оба друга тайно приходили в усадьбу Кори-Не'мата и встречались в этой самой мехмон-

хоне. В их беседах принимал также участие и Исо-махдум Исо, находившийся в отставке. (О нем упоминается в первой .части «Воспоминаний» и в «Образцах таджикской литературы»). Иногда беседы прерывались музыкой: Сарир выбивал ритм на подносике, Ахмад-махдум играл на тамбуре, а Исо — пел.

САТИРИЧЕСКИЕ СТИХИ АХМАД-МАХДУМА

Важнейшие произведения Ахмад-махдума Дониша до сих пор еще не напечатаны, однако значительная их часть хранится в библиотеках Сталинабада и Ташкента, где над ними работают видные специалисты. Некоторые его стихи в наше время считались неприличными и поэтому нигде не записаны. Подобные стихи обычно содержали острую критику существовавших в Бухаре порядков, и я считаю вполне уместным упомянуть о них здесь.

При дворе бухарского эмира существовал обычай, согласно которому лица, смещенные с должности, во время путешествий эмира должны были следовать за ним. Их называли *«пребывающими подле эмира».* Если какой-нибудь чиновник, снятый с поста, без особого разрешения эмира не следовал за ним, он считался большим преступником и мог подвергнуться наказанию вплоть до смертной казни.

Однажды эмир Музаффар по пути из Бухары в Карши задержался почти на семьдесят дней в селении Четариг, расположенном на границе с Каршинской степью. Положение «отставных», среди которых находился и Ахмад-махдум, было очень тяжелое. Жить длительное время зимой, под снегом и дождем, в матерчатом шатре становилось равносильным самоубийству.

«Отставные» сообща описали эмиру свое грустное положение и испрашивали у него разрешение вернуться домой в Бухару.

Прочтя их прошение, Ахмад-махдум сказал:

— Все это вы пишете напрасно. Эмир, пусть провалится его дом, не даст нам разрешения вернуться. Скорей всего он обрадуется беде, в которую мы попали, и скажет: «Хорошо же я наказал этих гордецов!». Он задержит нас здесь еще дольше и доведет до гибели.

На прошении Ахмад-махдум написал экспромт, который только что сочинил:

Неужто крики «отставных» твой омрачают дух?
Страдают ли слоновьи... от укусов мух?

Увидев такое «прошение», эмир тотчас же прогнал от себя всех «отставных», к чему они и стремились...

Еще более едко высмеял Ахмад-махдум господствующие сословия Бухары *в других стихах*.

В этих стихах, если не обращать внимания на их непристойность, поэт так осрамил бухарскую знать, что читатель может лишь удивиться его смелости.

Об Ахмад-махдуме и его произведениях говорится в книге «Образцы таджикской литературы». О социальном и литературном значении творчества Дониша и его влиянии на мировоззрение молодого поколения того времени будет расказано в четвертой части «Воспоминаний».

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ШАРИФ-ДЖОН-МАХДУМА

Шариф-джон-махдум несомненно принадлежал к числу передовых и наиболее просвещенных людей своего времени. Он не обладал большим поэтическим даром, но стихи писал умело и считался истинным ценителем поэзии. Самой привлекательной чертой его характера было то, что он очень быстро мог определять способности у молодежи, ценил талантливых людей и всеми доступными ему средствами способствовал развитию их возможностей. Шариф-джон-махдум принадлежал к верхушке феодального общества, но в обращении с людьми проявлял скромность и ни к кому не относился с пренебрежением. Со мной, с Мирзо-Абдулвохидом и Мирзо-Баде', находившимся у него на службе, он постоянно ел из одного блюда. Не останавливала его даже моя деревенская одежда, заношенная у него на работе. Сам же он в своей жизни, особенно в еде и содержании посуды, был очень опрятен. Всегда требовал, чтобы мы покрывали посуду с пищей черной проволочной сеткой, а если в мехмон-хону за-

летала муха, то начинал звать меня так, как будто туда забрался волк: «Идите скорей, гоните муху!» — кричал он.

Но все это не мешало ему иметь и свои недостатки. Среди городских и деревенских богатеев у него было несколько знакомых; одни из них увлекались козлодраниями, другие — петушиными боями, а третьи — и тем и другим. Когда они собирались вместе, разговор вертелся только вокруг их любимых забав. В присутствии своих приятелей Шариф-джон-махдум словно становился другим человеком, таким же, как они, и с большим удовольствием обсуждал достоинства лошадей и бойцовых петухов. Иногда он сам участвовал в козлодраниях и выставлял свою лошадь. Он любил грубые забавы и шутки и охотно устраивал у себя в доме всяческие развлечения для своих гостей.

Отрицательной чертой характера Шариф-джон-махдума была его скупость. Он старался скрыть свою слабость от посторонних людей. Многие из посетителей его дома даже не подозревали о скаредности хозяина, потому что во время угощений скатерть у него всегда была полна яствами. Я чувствовал, что он устраивает такие угощения только ради того, чтобы в угоду феодальным обычаям поддерживать славу о своей мнимой «щедрости».

МОЯ ЖИЗНЬ В ДОМЕ ШАРИФ-ДЖОН-МАХДУМА

В доме Шариф-джон-махдума мне жилось и хорошо и плохо. Хорошо мне жилось потому, что там три вечера в неделю я встречался с учеными и писателями, образованными свободомыслящими людьми своего времени, с красноречивыми и остроумными рассказчиками, со всеми теми, от кого можно было многое узнать и многому научиться. Сам Шариф-джон-махдум, когда оставался один, читал диваны классических поэтов и различные рассказы. Он указывал мне и Мирзо-Абдулвохиду наиболее интересные места и восхищался вместе с нами. Иногда он заставлял нас читать вслух, исправлял ошибки в произношении и разъяснял то, что было нам непонятно.

Библиотека Шариф-джон-махдума считалась одной из лучших и наиболее богатых частных библиотек в Бухаре. В ней можно было

найти редчайшие рукописи, переписанные очень четко и красиво вскоре после их создания, и даже произведения, исполненные рукой самого автора. Уж это одно могло служить для любознательного ученика кладезем безграничных знаний.

В особенности меня пленяло его доброе отношение к личности и достоинству слуг, в частности ко мне, деревенскому юноше, в то время как другие хозяева без проклятий и грубой уличной брани не давали своим слугам и куска лепешки.

Жилось же мне плохо потому, что большая часть работы была выше моих сил и возможностей. Днем у меня даже не оставалось времени для занятий и приготовления уроков. Те три урока, которые в прошлом году я имел в медресе Мир-Араб, теперь пришлось сократить до одного. Я мчался сломя голову из квартала Чорхарос до медресе Мир-Араб, находившегося от нас на расстоянии около километра, кое-как с Мулло-Абдусаломом заканчивал один урок по книге «Кофия», возвращался домой и, положив книги на полку, продолжал выполнять свои бесконечные обязанности. Я находился в таких условиях, в то время как учение было главной целью моей жизни в Бухаре и ради него я готов был переносить любые лишения!

Одежда у меня тоже стала совсем плохая: я не обновлял ее с тех пор, как приехал из деревни. На тяжелой работе она совсем износилась. Из трех комплектов рубашек со штанами остались только одна рубаха и штаны. Когда они становились очень грязными, я дожидался момента, чтобы хозяин отлучился из дома, заходил в конюшню и нагревал в ведре воду. Сначала я стирал рубашку, сушил ее и надевал, потом, если позволяло время, то в тот же день или на следующий стирал штаны и сушил их.

Был у меня еще ватный гиждуванский халат мелкой стежки, который служил мне и нижней и верхней одеждой. Этот халат, оттого что я в нем колол щепки, подметал двор и носил тяжести, совершенно изорвался, а рукава его стали такими грязными, что мне самому было противно.

Однако мой брезгливый хозяин, воевавший с мухами, не гнушался моим халатом, он только говаривал: «Засучи рукава до локтей, помой руки с мылом и иди есть с нами плов». Но все же он не находил

нужным справить мне чистый халат, который я надевал бы, когда мы садились к блюду с пловом.

У меня все еще не было ичигов, а мои туфли местного шитья, надевавшиеся прямо на ноги, давным-давно разорвались, и пальцы торчали наружу. В дождливые и снежные дни я по нескольку раз ходил в этой обуви на базар вместе с экономом, чтобы нести домой его покупки.

Ходить в рваных туфлях по незамощенным, без тротуаров, бухарским улицам было мучительно трудно. Иногда одна из туфель застревала в грязи и оставалась позади меня, иногда же при быстрой ходьбе спадала с ноги и отлетала на несколько шагов вперед. Постепенно дело дошло до того, что на очень грязных улицах я снимал с ног обувь, брал ее в руки и босиком бежал за экономом.

Возможно, что тот рассказал об этом хозяину, потому что однажды Шариф-джон-махдум, глядя на мои ноги, заявил:

— Твои туфли совсем развалились, разве тебе больше нечего надеть?

Сказав это, он вышел в сени, снял с полки свои поношенные туфли и дал мне.

— Ну что ж, если у тебя нет ничего другого, носи это.

Однако он даже не подумал о том, подойдут ли туфли двадцативосьмилетнего человека четырнадцатилетнему ребенку.

Конечно, я не смог носить его туфли и отдал их брату. Брат обещал мне, как только появятся деньги, купить мне новые туфли, а мои отнести сапожнику, чтобы тот починил их.

В это время жена хозяина родила. В Бухаре был обычай, по которому, если жена какого-нибудь уважаемого человека разрешалась от бремени, слуги его спешили сообщить о семейном событии его друзьям, а те одаривали вестников за радостную весть.

Шариф-джон-махдум послал меня с этой вестью к одному своему знакомому — Хаджи-Султону. Тот был разорившимся баем и добывал себе пропитание шутовством. Он совершенно не обладал талантом комика, и его шутки сводились к подражанию голосам птиц и диких животных. Однако слушатели «дяди Хаджи» были ими вполне довольны и надрывались от смеха.

Мой хозяин развлекался так же, как и другие. Когда он уставал от чтения, от бесконечных поэтических споров и состязаний, то посылал за «дядей Хаджи», весело смеялся над его имитациями и провожал, накормив досыта.

Вот этому-то человеку я и принес добрую весть о том, что у моего хозяина появился «новый гость» — ребенок. Когда я пришел к Хаджи-Султону, на нем был хлопчатобумажный поношенный халат; сняв с себя, он подарил его мне в награду за добрую весть. Полученный таким образом халат я преподнес хозяину, но тот не взял.

— Это твое, — сказал он, — носи сам.

Однако широкий длинный халат, сшитый на крупного человека, никак не мог подойти мне. Я его тоже отнес брату.

Вот эти две вещи были единственной платой Шариф-джон-махдума за мой труд, хотя я изорвал всю свою одежду, работая на него.

Только значительно позже я понял, наконец, что все слуги работали у него бесплатно и не получали даже одежды. Эконом Мирзо-Баде' надеялся, что Шариф-джон-махдум после завершения курса обучения (до чего оставался всего лишь год) будет назначен куда-нибудь казием; тогда он станет доверенным помощником у своего бывшего хозяина, исполнителем его воли и таким путем заработает много днег. Однако чувствовалось, что при покупках он хоть и понемногу, но ворует и, как умеет, оправдывает свое жалованье. Я догадывался о его проделках потому, что он при покупках скрывал от меня счета и цены на продукты, а когда рассчитывался с хозяином, между ними происходили ссоры.

Мирзо-Абдулвохид, подобно мне, был круглым сиротой. Кто-то из близких друзей его покойного отца, пользуясь знакомством с Шариф-джон-махдумом, привел мальчика сюда и определил на службу, боясь, как бы он не погиб, шатаясь по улицам. Здесь же он не только находился в полной безопасности, но мог еще и кое-чему научиться. Абдулвохид брал уроки у бывшего друга своего отца и у хозяина в свободное от работы время, работа же у него была легкая — на нем лежала лишь обязанность прислуживать в мехмон-хоне. Он упражнялся в письме, в прописях, а также в составлении купчих крепостей и деловых писем, чтобы после того, как хозяина назначат ка-

зием, стать у него писцом. Свою очень опрятную, городского покроя одежду он делал из отцовского наследства.

Старший брат конюха, Абдулкарим, был соучеником Шариф-джон-махдума по медресе. Он надеялся с помощью нашего хозяина хоть немного пополнить свои небольшие знания. Ради этого он определил младшего брата слугой в дом к Шариф-джон-махдуму и заставил бесплатно присматривать за лошадьми, а рабочую одежду, которая не так уже дорого стоила, справлял ему сам.

Лишь я один работал здесь без всякой платы и благодарности и без каких-либо упований на будущее, только ради куска хлеба и учения.

Когда чрезмерное обилие работы стало препятствовать моему учению и мне надоело ходить раздетым, я стал задумываться, как бы мне избавиться от такого невыносимого положения. Мое намерение особенно окрепло после того, как брат конюха получил пособие — дахьяк — и освободил младшего брата от службы у Шариф-джон-махдума. Мне после его ухода пришлось одному ухаживать за парой лошадей.

Я посоветовался с братом и попросил, чтобы он нашел мне такое место, где было бы не так много работы и, кроме еды, давали бы еще и одежду.

В то время мой старший брат жил вместе с младшим братом в медресе Олим-джон, находившемся поблизости от дома Шариф-джон-махдума. Среди владельцев келий в этом медресе был некий Мир-Солех — соученик моего брата, отыскавший ему келью. Брат посоветовался с ним относительно меня.

Мир-Солех обещал устроить меня подметальщиком в медресе Олим-джон, но велел подождать месяца два.

— Сейчас подметальщиком у нас работает один бедный мулла из Куляба, — сказал он, — который хочет через два месяца уехать к себе на родину, тогда я смогу устроить тебя на его место.

Стиснув зубы, я еще два месяца жил в доме Шариф-джон-махдума; когда наступило назначенное время, я ничего не сообщил хозяину и, не получив от него разрешения, стал подметальщиком в медресе Олим-джон. Для ухода от Шариф-джон-махдума у меня не было

убедительной причины. Если бы я сослался на большое количество работы или отсутствие одежды, он на меня бы обиделся. Я не хотел его огорчать; хотя я и был им недоволен, но относился к нему с уважением и считал своим первым духовным наставником.

Когда я уже служил в медресе Олим-джон, мне пришлось проходить мимо дома Шариф-джон-махдума; он стоял у ворот и, увидев меня, подозвал к себе. Я подошел.

— Ты поторопился уйти от меня, — сказал мой бывший хозяин. — Сейчас уже готов халат без подкладки, возьми его и носи!

Он повел меня во двор, вынес из мехмон-хоны легкий ситцевый халат и дал его мне. Было ясно, что из уст в уста передавался слух о причинах моего бегства.

Вернувшись в медресе, я надел подаренный халат и убедился, что он на целую четверть длиннее нужного мне по росту. Очевидно, халат шился не на меня и откуда-то случайно попал к моему хозяину. Это были мои последние расчеты с Шариф-джон-махдумом за нелегкую службу у него в продолжении восьми месяцев.

В МЕДРЕСЕ ОЛИМ-ДЖОН

Здание медресе Олим-джон не было похоже на традиционные постройки бухарских медресе, и его хозяин вначале не предполагал, что здесь разместится учебное заведение. Раньше этот дом принадлежал одному богачу по имени Олим-джон, превратившему его впоследствии в медресе. В первом и втором этажах находилось всего десять больших келий, разделенных перегородками на жилые комнатушки.

Первый этаж медресе был построен из жженого кирпича, а второй — из дерева. Перед нижней террасой возвели стену и устроили там мечеть, а одну из верхних террас превратили в классное помещение.

Жилые кельи медресе Олим-джон были темные и тесные, подобно курятникам, а мечеть и классное помещение — длинные и узкие, наподобие прохода между домами. Перед нижними кельями, выходившими на север, находилась терраса, здесь даже в ясный солнечный день ничего нельзя было ни видеть, ни читать.

Мои братья жили в первом этаже в одной из таких келий. Когда мне удалось устроиться подметальщиком, старший брат, как и в прошлом году, уехал на лето учительствовать в Керкинскую степь, а я с младшим братом остался в этом темном и тесном жилье.

Медресе Олим-джон находилось в центре города на Чорсу и имело свой караван-сарай, завещанный в вакф. Из доходов этого караван-сарая, тоже носившего название Олим-джон, прислужнику полагалось ежемесячно десять тенег (рубль пятьдесят копеек), на которые мне с братом и приходилось жить.

Основные обязанности подметальщика в медресе не были слишком обременительны. Мне, молодому парню, уже много потрудившемуся на своем веку, не казалось особенно тяжелым один раз в день подмести небольшое медресе, а во время снегопада почистить крыши. Однако дополнительных обязанностей у меня было очень много, они-то и мешали мне готовить уроки и заниматься литературой.

Квартиранты проживали здесь только в двух кельях: одним из них был я, а другим — муэдзин мечети. В остальных восьми кельях жили люди, являвшиеся собственниками этих помещений. Все они были бухарцами, зимой и летом не покидали медресе, а члены их семей являлись к ним не менее одного раза в день. Многие из них просто не хотели порывать связи с медресе.

Среди владельцев келий числился соученик моего старшего брата и мой покровитель Мир-Солех. Это был высокий худой человек с белым лицом и рыжеватыми волосами, особенно приметными казались его редкая бородка и большой нос. Он говорил немного в нос, что производило впечатление гнусавости. Учился Мир-Солех хорошо, любил литературу и очень красиво писал. Приветливый и мягкий по характеру человек, он относился к другим людям дружелюбно. Несмотря на то, что доходы его были незначительны, а иногда он и сам терпел нужду, все же почти всегда находил он способ помочь неимущим ученикам или людям, потерпевшим какую-либо жизненную неудачу.

Мир-Солех имел родителей и братьев, владевших домом в квартале Чорхарос. Поэтому значительную часть своего времени он проводил там.

В медресе жил еще родственник Мир-Солеха и мой соученик Мир-Кодир-махдум. Этот высокий и худощавый, темнолицый юноша не отличался особой уравновешенностью характера. По натуре он был вспыльчив и резок. Учился Мир-Кодир жадно и хоть способности имел небольшие, но считал себя человеком весьма одаренным. К счастью, он не относился к числу упрямцев, и если ему достаточно убедительно указывали на его недостатки, он соглашался. По возрасту Мир-Кодир был старше меня, а по занятиям шел наравне со мной. Очень скоро мы стали вместе готовить уроки и подружились. Мой соученик вместе со своим дядей — братом матери — владел небольшим домом, расположенным прямо против медресе. В одной из комнат этого дома жила его мать. Весь день и вечер, до десяти-одиннадцати часов, он находился в медресе, а ночь проводил у матери.

Мир-Кодир стал впоследствии участником революционного движения, о чем будет упомянуто в конце «Воспоминаний».

В медресе жили еще три брата, которых называли Ботурчи. Они были сыновьями одного человека по имени Мулло-Ботурча, который славился в Бухаре своим маленьким ростом, маленькой головой и большой чалмой.

Однажды на улице его встретил Яхьё-ходжа и прочел ему стих Бедиля:

С горошину головка, на ней — сто ман чалмы.
Но в чем здесь смысл? — Поверьте, понять не можем мы.

Стащив с его головы чалму, он бросил ее в лужу с водой.

Двое старших из Ботурчей были, как и их отец, низенького роста, с маленькими головами, узкими лицами и редкой бородой. Их чалмы напоминали громадные зонтики, посаженные на тонкие палочки. Они уже кончили курс учения, и каждый из них занимал должность в одном из кварталов Бухары. Братья были женаты, имели дома в квартале Сиёхкорон и обычно жили со своими семьями.

Однако они не хотели отказываться от своих келий в медресе Олим-джон и раз в день туда приходили.

Младший же из Ботурчей только недавно начал учиться. Он был сложен более пропорционально, чем его братья, и очень от них отли-

чался по речи и поведению. Младший брат считал себя в праве постоянно над ними насмехаться. Однако все трое Ботурчей в равной мере не обладали особыми достоинствами: были малограмотны, не могли гладко прочесть и строчки, написанной по-таджикски, и совсем не умели писать.

Из владельцев келий можно назвать еще некоего цирюльника Джура-бая. Днем он сидел в своей лавчонке на площади Ляби-хаузи Девон-беги и занимался брадобрейным ремеслом, а вечером приходил ночевать в келью.

Это был совершенно неграмотный человек, он даже не назывался муллой и в детстве совсем не учился. Несмотря на это, ему никто не мешал жить в медресе и наряду с другими владельцами келий получать свою долю доходов по вакфу.

Было еще несколько человек, похожих на мулл, постоянно проживавших в медресе Олим-джон. Однако они не имели никакого отношения к занятиям в медресе — не брали уроков и не давали их. Не было известно, имелись ли у них иные доходы, кроме дохода с вакфа, приходившегося на их кельи. Мир-Кодир-махдум и младший Ботурча, которого звали Ма'сум-хон, говорили, что они занимаются ростовщичеством и живут тем, что дают в долг деньги мелким лавочникам под проценты.

Обслуживание всей этой группы людей и явилось той дополнительной работой, которая свалилась мне на шею. Из владельцев келий лишь один Мир-Кодир-махдум не давал мне никаких поручений и даже немного меня уважал. Младший Ботурча, Ма'сум-хон, не имел никаких дел, которые мог бы поручить мне. Мир-Солех-махдум никогда ничего не просил меня сделать бесплатно и даже без всяких услуг с моей стороны угощал чаем с лепешкой и дарил старую одежду. Он у себя дома перешивал старую одежду по моему росту и дарил мне. Остальные же владельцы келий так со мной обращались, словно я был рабом их отцов. Они приказывали мне подметать их кельи, колоть щепки для дома и заниматься другими хозяйственными делами. При всем этом они не находили нужным угостить меня хотя бы пиалой чая с лепешкой. Даже цирюльник Джура-бай — и тот заставлял меня убирать у него в келье, что особенно меня огорчало.

Мутевалли нашего медресе был неграмотный человек. Согласно условиям вакфа, он получал десять процентов доходов, поступающих от караван-сарая. Мутевалли жил у себя в усадьбе. Если там нужно было что-нибудь спешно сделать, то он тоже звал меня к себе и заставлял бесплатно работать.

Летом потребовалось ремонтировать караван-сарай Олим-джон. Мутевалли повел меня туда и поставил на должность старшего. Сам он был неграмотен, поэтому поручил мне вести все счета.

Я здесь проработал два месяца под палящим солнцем Бухары, в грязи и пыли, среди кирпичей, извести и алебастра. Однако мутевалли не заплатил ни одного гроша за мою работу сверх положенного мне жалованья подметальщика.

Старейшины медресе, владельцы келий, имам и преподаватели велели мне незаметно проверять действительные расходы по ремонту и составлять отдельные счета. Эти счета я должен был отдавать им, чтобы они могли проверить, сколько наворовал из затраченных средств мутевалли.

Выполнять это тайное поручение я начал с того, что спросил одного рабочего, из какого расчета в день нанял его мутевалли.

— Хозяин договорился платить каждому из нас по одной теньге в день, — ответил он мне.

Мутевалли записал тогда в отчете по две теньги на каждого рабочего, а в целом двадцать тенег в день (три рубля).

Однако мутевалли имел среди рабочих соглядатая и с его помощью или сам узнал о моей тайной проверке. Как-то раз он отвел меня в сторонку и заявил:

— Перестань проверять расходы по ремонту. Я знаю, что это дело поручили тебе те, которые получают доходы с вакфа, принадлежащего медресе. Но если я захочу, то в течение одного дня выгоню тебя из прислужников, и никто из старейшин ничего не сможет сделать. Слушайся лучше меня!

Я рассказал об этом моему покровителю Мир-Солеху.

— Мутевалли говорит правду, — сказал он, — не проверяй его. Мы с тобой не сможем устранить злоупотреблений. Большинство людей ворует. Если бы одного из тех, кто хочет не допустить во-

ровства мутевалли, поставить во главе этих ремонтных работ, то он сам стал бы красть в десять раз больше.

С этого времени я уже не пытался проверять мутевалли. Но для меня в караван-сарае нашлось более интересное занятие. Здесь жили индусы-ростовщики, и я стал наблюдать за их делами и бытом.

ИНДУСЫ-РОСТОВЩИКИ

Индусы-ростовщики были очень грязными, и от них исходил ужасный запах. Хотя они мылись каждый день, но этот запах не исчезал и по временам становился совершенно невыносимым. Говорили, что после мытья они мажут тело каким-то особым маслом. Что же касается вони, которая исходила из их жилищ, то она уже у самого порога била в нос.

Занятия ростовщиков были еще более грязными, чем их жизнь. Даже самым бедным нищим жителям города и деревни они давали в долг деньги только под большие проценты. Ни один человек, который мог занять деньги в другом месте, к ним не обращался. Наиболее значительную группу их должников составляли эмирские солдаты. Они брали в долг от десяти до двадцати тенег (от полутора до трех рублей) и, разделив эту сумму на несколько частей, постепенно возвращали ее в двойном размере в продолжение одного или двух месяцев.

Свои расчеты индусы не записывали ни в какие тетради. Все их должники были неграмотными людьми. Расчеты они вели с помощью «счетной палочки». Размер палочки не превышал пол-аршина, она имела четырехгранную форму с шириной граней в два сантиметра. На каждого должника заводилась особая счетная палочка. На ней индус писал имя должника и сумму долга по-индийски. Обычно заимодавец получал свои деньги от должников небольшими частями и при уплате каждой части долга ставил на счетной палочке черту.

Ежедневно до полудня индусы безвыходно сидели в своих комнатах. Исключение составляли лишь те дни, когда эмир выплачивал солдатам жалованье. Ростовщики в такие дни с самого утра шли на Регистан к эмирской цитадели, чтобы собрать долги у солдат.

Деньги в долг индусы давали на следующих условиях: например, какой-нибудь нуждающийся хотел взять в долг двадцать тенег, такую сумму он получал под проценты в десять тенег с рассрочкой на два месяца. На счетной палочке отмечали уже не двадцать, а тридцать тенег и делили их на восемь частей. Должник обязан был каждую неделю выплачивать очередную часть долга.

В двенадцать часов дня индусы надевали черные мелкой стежки халаты, которые бухарским правительством были им «назначены для ношения» как «неверным», подвязывались веревкой и надевали на голову четырехугольную тюбетейку без вязаной тесьмы по краям. Положив в грязный мешок сорок-пятьдесят счетных палочек (по числу должников), они засовывали его за пазуху так, чтобы были видны концы палок с именами должников. Это делалось для того, чтобы при встрече с должником заимодавец мог легко отыскать его палочку.

С таким снаряжением индусы до вечера бродили по городу и по караван-сараям, где жили их должники. Собрав деньги, они возвращались к себе домой и пили настой из какого-то растения вроде конопли. Залив листья растения водой, они толкли его в ступке и, как сок опия, процеживали через материю, затем наливали в индийские металлические стаканчики и пили.

По-видимому, этот напиток имел сильное опьяняющее действие, потому что между ростовщиками происходили ссоры и драки.

В караван-сарае Олим-джон жил индус по имени Боярчи. По сравнению с другими он был более опрятен, от него меньше пахло и в комнатке его не стояла удушливая вонь. Он хорошо писал по-таджикски арабским алфавитом и гладко читал. В келье у него хранились всевозможные книги. Здесь я впервые увидел литературные произведения и сборники, изданные в Индии, такие, например, как «Гулистони масаррат», диван Мирзо-Мазхар-джона Джонона и «Хазонаи Омира». Особенно много имелось у него книг, написанных индийскими письменами. Однако он постоянно читал не только индийские, но и таджикские книги, которыми разрешал пользоваться и мне.

Боярчи не занимался ростовщичеством, он торговал драгоценностями. Камни его не относились к числу дорогих, их обычно покупали ювелиры и медники для украшения изготовляемых ими изделий.

Мой новый знакомый пользовался известностью как специалист по камням. К нему приносили на определение и оценку драгоценности отовсюду, и он получал за это вознаграждение и от продавца, и от покупателя. Если в казну поступал драгоценный камень, то его тоже оценивали с помощью Боярчи.

Однажды Боярчи рассказал мне о своих соотечественниках-ростовщиках, жизнь которых вызывала у меня отвращение.

— Таких людей в Индии миллионы, сотни тысяч из них ежегодно умирают от голода и грязи. В их бедственном положении повинны англичане. Кто имеет хоть малейшую возможность добыть кусочек лепешки и избежать смерти, бежит куда глаза глядят. Люди, которых ты видишь здесь, в Бухаре, из их числа. У них нет иной цели, как только поесть досыта и напиться конопляной водки. Ведь с тех пор, как родились на свет божий многие мои обездоленные соотечественники, они не видели чистоты и не могут себе представить иных условий жизни, а в Индии нет даже возможности для того, чтобы люди задумались над этим. Когда некоторые из них приехали в Бухару и убедились, что из всех профессий самая легкая и спокойная — мелкое ростовщичество, то они им и занялись.

Боярчи задумался и молча сделал две-три затяжки кальяна. Выдохнув облачка дыма, он продолжал:

— Во всем виновато английское правительство, да и бухарское правительство тоже в ответе. Если бы эмир не позволял им заниматься делом, разоряющим его неимущих подданных, они, наверное, стали бы переносить тяжести или выполнять какую-нибудь другую черную работу, чтобы быть сытыми.

* *
*

В городе Бухаре было три караван-сарая, в каждом из которых проживало от ста до ста пятидесяти индусов-ростовщиков. Бухарские власти назначили над ними уполномоченного, называвшегося «есаулом индусов». Этот есаул, кроме того, что надзирал за ростовщиками, был также начальником над эмирскими шпионами. В первую очередь он осуществлял свои шпионские обязанности по отно-

шению к индусам: выведывал, сколько заработал каждый из них, кому и сколько давал денег в долг.

Есаул и чиновники эмирского правительства помогали индусам взыскивать долги, потому что считали их имущество и доходы принадлежащими бухарскому государству. И действительно, если умирал какой-нибудь индус и у него не оставалось наследников, то все наличные и розданные в долг деньги немедленно захватывались правительством. Есаул постоянно проверял все достояние индусов, и они не могли даже перед смертью передать деньги своим соотечественникам.

Вот почему эмирское правительство покровительствовало ростовщикам и снисходительно смотрело на ограбление бухарских бедняков.

В Гиждуване, Вобкенте, Карши и других районах, подчиненных Бухаре, тоже были караван-сараи, населенные индусами, которые под защитой властей обирали народ. Там ограбление происходило в еще больших размерах и порождало много трагедий. У меня тогда накапливались наблюдения, на основе которых впоследствии были написаны главы книги «Дохунда»: «Долг индусу» и «Индус в чалме».

МОИ ЗАНЯТИЯ НАУКАМИ И ЛИТЕРАТУРОЙ В МЕДРЕСЕ ОЛИМ-ДЖОН

Начался 1892/1893 учебный год. Я должен был приступать к чтению «Шархи Мулло» — пояснений Абдурахмана Джами к тексту книги «Кофия», посвященных арабскому синтаксису. Пояснения излагались на арабском языке.

Чтобы изучать эти труды, нужно было, кроме занятий с репетитором, посещать уроки какого-нибудь опытного классного преподавателя. Такого учителя мне вскоре удалось найти. Это был домулло Икромча, один из известнейших в то время преподавателей медресе. Мой старший брат, репетитор Мулло-Абдусалом и Мулло-Бозор — все они учились у него.

Домулло Икромча числился тогда одним из сорока преподавателей медресе Джа'фар-ходжа. Несмотря на то, что медресе располагало значительным числом преподавателей, там совершенно отсут-

ствовали классные помещения. Домулло Икромче приходилось давать уроки в квартале Ходжа-Булгори, в собственном доме.

У домулло Икромчи училось более семидесяти учеников, ежедневно на занятиях присутствовало свыше шестидесяти человек. Двор в усадьбе нашего преподавателя был очень тесным, поэтому он сделал над внутренней половиной жилого дома надстройку, которую превратил в аудиторию.

Шестьдесят учеников во время уроков сидели здесь, подобно участникам сборищ маддоха, тесно прижавшись друг к другу. В первом ряду, окруженный со всех сторон собравшимися, сидел чтец группы, он читал текст «Шархи Мулло» по-арабски, а преподаватель переводил каждую его фразу на таджикский язык и пытался разъяснить нам прочитанное. Но почти все ученики, независимо от того, понимали они его слова или нет, громко кричали, как будто о чем-то спорили друг с другом.

Однако домулло был искусен в методике преподавания, принятой в бухарских медресе. Своим басистым голосом и пронзительным сердитым взглядом он прекращал шум и говорил сам, умело объясняя по-таджикски наиболее способным ученикам цели автора книги. Так проходил целый час, и наш единственный за день урок на этом заканчивался. Я чувствовал, что из десяти учеников по меньшей мере восемь человек ничего не понимали. Однако когда они выходили на улицу, то снова возвращались к спору, который прекратил на уроке преподаватель, и всякий раз, когда оказывались в наиболее людных местах, начинали кричать еще громче и бесцеремонно ругать друг друга. Своими спорами они хотели показать народу, что являются очень усердными и способными учениками.

По обычаям бухарских медресе, в каждой группе учеников, занимающихся у одного преподавателя, назначался постоянный чтец. Обычно его выбирали из числа детей духовенства. Если в группе было несколько таких учеников, то чтецом делали того, чей отец пользовался большей известностью или занимал высшую должность.

В нашей группе чтецом назначили сына верховного судьи — Гафурджон-махдума, брата Шариф-джон-махдума.

Однако Гафур-джон не имел ничего общего со своим братом. Подобно большинству сыновей духовных лиц, он был совершенно неграмотен и не мог отличить «а» от «бе». Я хорошо разобрался в его характере, когда еще жил у Шариф-джон-махдума. Все свое время он тратил на петушиные и перепелиные бои. Друзья его тоже были из числа бухарских любителей петушиных и перепелиных боев и даже не нюхали грамоты. Иногда он принимал участие и в азартных карточных играх.

Вот этот самый махдум попросил меня, чтобы я каждое утро заходил к нему домой «побеседовать» об уроке, который должен в тот день читаться. Конечно, он не был способен беседовать на какие бы то ни было серьезные темы. Цель его заключалась в том, чтобы я объяснял урок, который нам предстояло читать в тот день, и не дал бы ему опозориться перед учителем и товарищами.

Мне пришлось отклонить его предложение. Я сказал, что выполняю обязанности подметальщика медресе и у меня совсем нет свободного времени. Однако истинная причина моего отказа была иной: дело это казалось мне очень трудным и бесполезным. Действительно, давать заучивать наизусть арабские выражения человеку, не умеющему читать даже по-таджикски, не имело никакого смысла. Кроме того, если бы я принял предложение Гафур-джона, мне пришлось бы каждый день являться в дом Шариф-джон-махдума, встречаться с моим бывшим хозяином, а потом уже идти к его брату. А я стеснялся его, ибо не мог забыть своего бегства.

Вероятно, Гафур-джон-махдум не нашел никого подходящего среди соучеников, потому что снова решил привлечь меня. Однако на этот раз он сам ко мне уже не обратился, а уговорил стать посредником нашего учителя. Домулло Икром был учеником отца Гафур-джон-махдума. По бухарским обычаям следовало уважать сыновей своих учителей, как самих учителей, и он немедленно принялся меня уговаривать. Я тоже не смог отклонить просьбу своего учителя и был вынужден принять его предложение.

В продолжение нескольких лет я изучал правила арабского языка и уже немного знал их. Кроме того, школьный урок обычно готовили сначала с репетитором. За день до очередного занятия я запоминал

его содержание наизусть и хорошо знал, чему нужно было обучать махдума. Но он во время моих объяснений оставался совершенно бесчувственным, подобно стене, я с трудом заставлял его в течение часа, как попугая, заучивать слова из урока, который состоял всего из двух строк.

Во время ежедневных посещений мне совсем не приходилось стесняться Шариф-джон-махдума, потому что он сам не допускал этого. Когда я с ним встречался, он очень ласково со мной разговаривал и на лице у него появлялось выражение смущения. Я видел, что ему не по душе унизительное положение, когда сын верховного судьи вынужден прибегать к помощи босоногого деревенского ученика (горожане всех сельских жителей называли «деревенщиной»), это оскорбляло его чувства высокородного бухарца и вгоняло в краску стыда.

Зато Гафур-джон-махдум совершенно не смущался и, несмотря на то, что теперь сам нуждался во мне, попрежнему заставлял меня подметать комнату, словно я все еще был слугой его брата.

Нелегко мне приходилось, но я привык к постоянной работе и поневоле мирился со своим положением. Вскоре, однако, возникло еще одно затруднение, которое сделало мою жизнь совсем нестерпимой. Гафур-джон-махдум велел мне каждый день приносить из пекарни квартала одну лепешку, а сам он кипятил чай. Во время «приготовления уроков» мы пили чай с лепешкой.

Я привык покупать каждое утро на пять пулей две лепешки, и мы с младшим братом съедали их за чаем. Когда махдум велел мне приносить лепешку, я, как и прежде, покупал две штуки, одну из них я отдавал брату, а вторую мы съедали с «дорогим махдумом». Через два месяца мне, наконец, надоело смотреть, как от моей утренней лепешки остается четвертая часть.

Из приличия я отщипывал по кусочку, что же касается махдума, то он без всякого стеснения запихивал в рот большие куски, предоставляя мне возможность оставаться голодным. Это, конечно, не могло не сказаться на моем здоровье и силах.

Однажды Мир-Солех проведал откуда-то о поведении Гафур-джон-махдума и стал меня спрашивать, не нуждаюсь ли я в его по-

мощи. Я все ему рассказал. Он мне ничего не ответил. Однако было очевидно, что он передал мои слова одному знакомому человеку, который бывал у махдума.

Как-то раз махдум, покраснев, спросил меня:

— Разве ты покупаешь каждый день лепешку на свои деньги?

— Да, — подтвердил я.

— Напрасно. Мой брат велел, чтобы в пекарне нашего квартала мне давали лепешки, а потом он сам уже расплачивается с ними помесячно. Ты теперь, когда будешь брать лепешки, говори, что это для махдума, и денег не давай.

Таким образом, я избавился от лишних расходов и теперь каждый день, как и прежде, стал пить с братом чай по утрам, а махдуму приносил из пекарни бесплатную лепешку. Однако махдум так и не вернул мне денег, истраченных на протяжении двух месяцев.

Как я уже говорил, каждый урок мне предварительно приходилось готовить со своим учителем Мулло-Абдусаломом. С ним я читал также и главы из книги «Матни Кофия», которые ранее мне не были знакомы.

Мулло Абдусалом, как и прежде, жил в медресе Мир-Араб. После классного занятия я спешил к нему и брал еще два подготовительных урока.

Кроме того, у меня был еще один «добровольный» урок по книге «Мухтасари Викоя», которую мы вместе с Мир-Кодир-махдумом читали с его дядей по матери.

Дядя Мир-Кодир-махдума обладал плотным телосложением и высоким ростом, его лицо украшала большая борода, а голову — громадная чалма. Ему было около пятидесяти лет, он числился имамом в каком-то квартале и раз пять в день ходил во время намаза к месту своего имамства. Никаких других обязанностей он не имел, ни у кого не бывал, а когда шел по улице, то смотрел только себе под ноги. Жил он в небольшой усадьбе, лишенной не только внешнего двора, но и мехмон-хоны.

Вот этот человек решил давать уроки, но не мог найти никого, кто захотел бы у него учиться. Тогда он стал просить сестру, чтобы она велела своему сыну, Мир-Кодиру, брать у него уроки. Мир-Ко-

дир-махдум попросил меня, как соученика и друга, брать вместе с ним уроки у его дяди.

Я согласился, и мы стали изучать у этого муллы мусульманское законоведение по книге «Мухтасари Викоя». Эту книгу два года назад я начал читать в медресе Мир-Араб с Мулло-Авезом из Ходжента, но не закончил.

Однако бедняга домулло не имел в медресе кельи или другого помещения, где бы мог давать нам уроки. Поэтому мы решили каждый день после полудня встречаться в медресе Олим-джон в келье Мир-Кодира и там заниматься.

На этих уроках я понял, что наш учитель был достаточно образованным человеком и умел хорошо объяснять содержание книги. Я тогда пришел к заключению, что в Бухаре для того, чтобы получить известность и собрать вокруг себя учеников, вовсе не требовалось быть хорошим муллой. Ловкий и немного жуликоватый человек, способный расхвалить себя и создать видимость знаний, мог собрать учеников больше, чем настоящий ученый. Некоторые учителя старались, захватив побольше келий в медресе, сдавать их тем, кто не имеет жилья, и таким образом набирали себе достаточное число учеников.

Мой старший брат после возвращения из Керкинской степи снова нашел себе келью в медресе Мир-Араб и стал там жить один, а младший брат остался со мной. Он был неграмотен, мне ежедневно приходилось тратить час на занятия с ним и учить его азбуке. К весне он уже начал читать.

В медресе Олим-джон, кроме Мир-Солеха, я не знал никого, кто обладал бы познаниями в литературе, да и тот серьезно литературой не занимался, а из книг у него в келье имелся лишь диван Хафиза и диван Камоля Ходжанди. Кроме того, у него был толстый сборник, в котором он сам записывал своим красивым почерком лучшие стихи старых и современных поэтов. В сборнике встречались чистые страницы, и если он находил хорошее стихотворение, то вписывал его на один из свободных листков. Всякий раз у него в келье, когда позволяло время, я наслаждался чтением стихов Хафиза, Камоля Ходжанди и произведений, имевшихся в его сборнике.

В келье у Мир-Солеха я впервые в жизни увидел газету. Это была газета «Тарджиман», приходившая к нам из Бахчисарая. Половина ее печаталась на языке крымских татар, а другая половина, такого же содержания, — по-русски.

Газету показал мне Мир-Кодир-махдум и сказал, что взял ее у одного своего родственника по имени Сайид-Ахмад.

Сайид-Ахмад приходился близким родственником Мир-Солеху и Мир-Кодиру. После завершения курса обучения он не принял никакой духовной должности, а занялся книжной торговлей. Побудил его сделать такой выбор Шариф-махдум Му'тасим, бежавший из Бухары и занимавшийся печатанием учебных книг в России и Турции. Более подробно о Му'тасиме я расскажу далее.

Сайид-Ахмад был человеком лет сорока, среднего роста, с красноватым лицом, светлыми волосами и бородой. Он постоянно теребил свою бороду, перебирал ее пальцами и если ему попадался какой-нибудь отдельный волосок, то тотчас же его выдергивал.

По словам Мир-Кодира, раз в год Сайид-Ахмад выезжал для покупки книг в Россию, добирался даже до Казани, а также посещал Турцию. Там он носил европейскую одежду, брил бороду, а в Бухаре, где мусульманин не мог ходить бритым, все время выдергивал надоедающие ему волоски. Однако малознакомые люди утверждали, что он сумасшедший и одержим манией выдирания бороды.

Во время своих путешествий Сайид-Ахмад однажды попал в Бахчисарай, стал читателем газеты «Тарджиман» и подписался на нее. Когда он находился в Бухаре, то газету присылали к нему домой.

Мир-Кодир брал иногда некоторые номера «Тарджиман» и тайком приносил их в медресе, потому что в те времена в Бухаре нельзя было открыто читать газеты. Тогда я еще не понимал тюркских языков. Мир-Кодир уверял, что он часто читает газеты у своего родственника и хорошо изучил татарский язык, поэтому он пытался даже переводить на таджикский язык статьи, предложение за предложением.

Однажды в газете встретилось слово «парламент». Я всегда стремился узнать смысл неизвестных мне слов и спросил у своего «учителя», знатока газет, о значении слова «парламент».

Он пояснил мне:

— В центре мира стоит громадный город Париж, или Порис, в середине его находится очень большое здание, оно называется «Парламент». В Парламенте собрались самые ученые люди со всего мира. Всякий человек, в каком бы уголке мира он ни находился, если ему надо разрешить какой-нибудь трудный вопрос, особенно политический, запрашивает Парламент по телеграфу и члены Парламента также по телеграфу дают ответ на его вопрос.

В то время эмир Абдулахад покинул Бухару и бóльшую часть времени проводил в Кермине и его окрестностях. Об этом в народе распространялось множество слухов. Находились люди, которые говорили, что кушбеги прочел заклинание и отвратил сердце эмира от Бухары, не допускает его в город, чтобы самому независимо править страной.

Другие уверяли, что, когда эмир ездил в Россию, он обидел какую-то женщину и провинился перед русским правительством. В наказание русский царь запретил ему возвращаться в столицу, а велел бродить по степям. Вот по какой причине эмир якобы не приезжает в Бухару.

Мир-Кодир привел именно этот случай и стал объяснять:

— Например, какой-нибудь водонос может пойти на телеграф, дать в Парламент телеграмму и спросить: «Эй! Парламент! Почему бухарский эмир не приезжает в Бухару?». Парламент тотчас же сообщит водоносу, в чем заключается причина этого события.

Я несколько усомнился в объяснениях своего «учителя».

— Ведь все дела бухарского эмира связаны с русским правительством, почему же телеграф, который принадлежит России, будет передавать в Парламент вопрос, касающийся эмира и русского правительства, почему Парламент должен отвечать какому-то никому не известному водоносу?

Мир-Кодир возразил:

— Парламент такой сильный, что его боится не один только телеграфист. Вот, например, если кто-нибудь захочет послать телеграмму в Парламент, а в это время сам русский царь окажется на телеграфе, то от страха царь скажет: *«Паджолиска, паджолиска»...*

Позднее я понял, что мой передовой «учитель литературы» не только не понимал значения таких иностранных слов, как парламент, но даже не знал смысла многих турецких и татарских слов и напрасно тратил мое и свое время на рассуждения.

ШАРИФ-МАХДУМ МУ'ТАСИМ И «РАЗБОЙНИК» ШУКУР-БЕК

Согласно данному мною обещанию я должен рассказать в своих «Воспоминаниях» о Шариф-махдуме и его дружбе с разбойником Шукур-беком.

Шариф-махдум Му'тасим был сыном казия Мулло-Абдурахима балхского. Он родился в Бухаре и здесь получил образование. Его считали одним из наиболее образованных людей своего времени и человеком, наделенным поэтическим талантом.

В начале царствования эмира Музаффара он получил назначение в Вобкентский тюмень раисом. Это был свободомыслящий человек, а после того, как он сам стал одним из государственных деятелей и близко столкнулся с действиями чиновников, он почувствовал к ним глубокое отвращение.

В те времена в Вобкенте амлокдором был некий Абдусаттор, беспощадно угнетавший крестьян.

Согласно обычаям, существовавшим при эмирском дворе, раисы имели право тайно докладывать эмиру о неправильных действиях чиновников и других должностных лиц. Му'тасим неоднократно сообщал эмиру о беззакониях и насилиях, творимых этим сборщиком податей.

Однако все заявления раиса оставались без ответа. Эмир ничего не сделал Абдусаттору и не пресек его незаконных действий.

Му'тасим пришел к заключению, что «вода сверху мутная» и виноват здесь не только сборщик податей.

В те времена в деревне Косагарон Вобкентского тюменя жил крестьянин по имени Шукур. По началу он считался человеком зажиточным, но постепенно, из-за притеснений правителей и деревенских баев, зарившихся на его имущество, потерял свою землю, сельскохо-

зяйственные орудия и даже усадьбу, в которой жил, а сам стал бездомным батраком у богатого землевладельца — ростовщика Хидир-индуса.[1]

После потери дома Шукур поселился с женой и дочерью в хижине, а сам стал наниматься на любые работы. Жена его, болезненная женщина, не смогла выдержать жизни в хижине и, когда наступили дождливые и холодные дни, заболела и слегла.

Когда Шукур-бек стал работать у Хидир-индуса, он переселил свою семью в пустой хлев на байском дворе и там они устроились жить в углу, где хранилась солома. Но состояние его больной жены все ухудшалось, и вскоре она умерла.

После смерти жены несчастный Шукур продолжал работать у бая вместе с дочерью. Шукур трудился на поле, ухаживал за скотом, а дочь помогала на женской половине усадьбы. Ночевали отец с дочерью все в том же помещении для соломы.

Дочь Шукура по красоте и прелести не имела себе равных во всей округе. В жалкой нищенской одежде она была похожа на драгоценный яхонт, брошенный среди мусора. Несмотря на то, что у бая было три жены, он начал бросать свои гнусные взгляды и на эту невинную девушку. Сначала он держался с ней только ласково, но постепенно начал откровенно высказывать свои скотские желания.

Девушка стыдливо отвергла притязания Хидира, но когда приставания бая стали более назойливыми, она отругала его всеми известными ей бранными словами и рассказала обо всем отцу.

Узнав о случившемся, Шукур тотчас же отыскал где-то в дальней деревне пристанище и хотел перекочевать туда со своей дочерью. Но бай не разрешил ему взять с собой девушку.

— Из-за болезни и смерти твоей жены ты задолжал мне тысячу тенег (сто пятьдесят рублей). Отдай сначала долг, а потом можешь брать свою дочь.

Сказав так, бай увел девушку в комнату на женской половине и запер снаружи дверь.

---

[1] В Бухаре очень жестоких ростовщиков сравнивали с индусами-ростовщиками и к их именам прибавляли слово «индус». (*Примеч. автора*).

Шукур явился в вобкентскую канцелярию казия, рассказал обо всем и потребовал, чтобы бай вернул ему дочь и уплатил за два года работы.

Поскольку речь шла о насильственном захвате девушки, казий придал этому делу большое значение и послал к Хидиру вместе со своим прислужником миршаба тюменя. Он приказал им расследовать происшествие на месте и если возможно, то там же все исправить, а если нет, то привести девушку в канцелярию казия.

Когда в дом к баю явились помощник казия и миршаб, там находился в гостях сборщик податей Абдусаттор, прибывший собирать налоги.

Бай устроил для посланцев богатое угощение и дал им, вопреки ожиданиям, значительную сумму денег. Через помощника он немедленно послал изрядную сумму самому казию «за гербовый сбор» и хотел таким путем разрешить спор в свою пользу. В ответ на претензии Шукура он заявил:

— Все, что ему причиталось, ушло на его жену и дочь, их пришлось кормить и одевать. Расходы на похороны жены батрака я тоже принял на себя, и он мне их еще не возместил. Кроме того, я силой не удерживаю его дочь, мне пришлось оставить ее здесь лишь потому, что она считает меня своим нареченным отцом и не хочет идти разутая и раздетая за своим бродягой-отцом.

Помощник казия и миршаб признали ответ бая удовлетворительным и хотели разрешить спор в его пользу. Они начали составлять соответствующий документ об окончании спора, чтобы затем скрепить его печатью и послать баю.

Однако Шукур был не согласен с таким «исправлением» и, явившись к казию, стал плакать и требовать, чтобы у самой девушки в присутствии представителей власти спросили, по своей ли она воле осталась в доме у бая.

Сборщик податей Абдусаттор наслышался о красоте дочери Шукура и задумал захватить девушку для себя. Чтобы осуществить свой замысел, он притворно принял сторону Шукура.

— Согласно шариату, нельзя выносить какое-либо решение, касающееся совершеннолетней девушки, не спросив ее саму, — заявил

он, — поэтому я считаю, что нужно согласиться с Шукуром, привести девушку и спросить ее мнение.

Ни бай, ни помощник казия с миршабом не могли отклонить предложения сборщика податей и велели привести девушку в мехмонхону. Конечно, девушка решительно и с отвращением отвергла все сказанное баем. Прижавшись к отцу, она стала умолять, чтобы ее избавили от негодяя Хидира.

Бай также стал вопить на весь дом:

— Девушка так говорит, стесняясь отца, а на самом деле она ненавидит этого ужасного человека.

Тогда сборщик податей предложил:

— Я человек беспристрастный и не хочу защищать ни бая, ни отца девушки, поэтому, чтобы уладить спор, возьму девушку к себе домой. Она со временем забудет об этом скандале, успокоится и сама чистосердечно поведает мне свои сокровенные мысли об отце и бае, вот тогда мы и примем решение, согласно ее желанию.

Бай не отважился возражать сборщику податей — амлокдору, одному из четырех правителей тюменя. Помощник казия и миршаб, которые уже получили деньги за свою службу и гербовый сбор, тоже не решились отклонить предложение сборщика податей и создать взаимное несогласие.

Простодушный Шукур, посчитавший амлокдора своим доброжелателем и уверенный в твердости дочери, согласился с его предложением. Амлокдор, подобно мяснику, освободившему овцу из когтей волка и потащившему ее резать, забрал девушку от бая и увел к себе домой.

Как говорится в поговорке, «язык птиц понимают птицы», бай сразу разгадал намерения амлокдора. Он подумал: «Вор у вора дубинку украл» — и перестал возлагать надежды на девушку.

Бедный Шукур, считавший амлокдора «справедливым» человеком, через неделю явился к нему в дом и потребовал свою дочь.

Амлокдор сначала пытался уговорить Шукура, он приводил различные доводы и доказывал, что для девушки будет лучше, если она останется у него в доме. Пробегав несколько дней и убедившись в бесплодности своих требований, Шукур заговорил решительней и грубее.

Амлокдор обругал его, назвал разбойником, велел своим людям выгнать на улицу и больше не пускать в канцелярию.

Теперь из четырех правителей тюменя остался лишь один раис, к которому Шукур еще не обращался. Хотя он и не надеялся на помощь раиса, но все же отправился к нему, решив: «Будь, что будет».

Шукур рассказал раису о своей беде и попросил помочь ему вернуть дочь.

Это происходило как раз в то время, когда раис Му'тасим тайно сообщал эмиру о беззакониях своих коллег — казия, сборщика податей и миршаба.

Он видел, что никаких мер к пресечению их злоупотреблений не принимается, а по грубому отношению к себе эмира догадывался, что тому не нравятся его жалобы на притеснителей. Поэтому, выслушав Шукура, он сказал:

— Я ничем не могу помочь тебе. Мы с тобой живем в такое время, когда никому ни до кого нет дела и не может быть. Совершенно бесполезно жаловаться на угнетателей правительству или даже самому эмиру. Каждый должен сам заботиться о себе. Чтобы отстоять свои права и защитить честь дочери, ты сам должен сделать все, что можешь, а не то покорись и отдай себя на волю провидения.

Этот ответ раиса пробудил в душе Шукура чувство мести. Подумав немного, он спросил у раиса:

— Если угнетенный убьет угнетателя, это будет считаться грехом?

— Когда угнетатель хочет совершить какую-нибудь несправедливость, ведь он никогда не спросит у муфтия, дозволено ли насилие по шариату? Дураком будет тот угнетенный, который хочет согласовать свою месть с шариатом. Умный человек поступит по другому, он скажет: «Чтобы размочить сушеный сыр, нужна горячая вода» — и начнет действовать сам по своему разумению, а не так, как велит ему муфтий.

Этот ответ был уже прямым подстрекательством к сопротивлению, и Шукур вышел от раиса с сердцем, пылающим от гнева и жажды мести притеснителям.

* *
*

Прежде чем рассказать о мести, избранной Шукуром, я хочу передать все, что слышал в медресе Олим-джон о его жизни в юности и позднее, как об этом говорили в связи с Му'тасимом.

В молодости, еще при жизни отца, Шукур подружился с молодыми гуляками вокбентского тюменя и участвовал во всех их проделках. Так как он был единственным сыном, то отец ни в чем ему не отказывал и говаривал:

— Не беда, пусть мой сын развлекается, пока я жив.

Сначала Шукур начал заниматься борьбой и прославился как один из лучших борцов среди молодежи, затем он увлекся фейерверками и стал одним из лучших пиротехников Вобкента, участвовавших в состязаниях с гидждуванцами. Так как у него появилось множество соперников и завистников, то он принялся упражняться в метании камней — в искусстве, очень распространенном в те времена среди молодежи. Шукур был так ловок в метании камней, что подобных ему никто еще раньше не знал. Он, как самый меткий стрелок, всегда без промаха попадал в цель. Рассказывали, что однажды к месту состязаний привели козла и бросили перед ним траву. Козел ел траву, мотая вверх и вниз головой. Шукур на расстоянии пятидесяти шагов прицелился козлу в лоб и метнул камень величиной с куриное яйцо. Камень попал прямо в лоб, и козел упал мертвый.

Вскоре умерли родители Шукура, и он не смог более участвовать в состязаниях на силу и ловкость. Он женился и окунулся в повседневные заботы крестьянской жизни. Когда Шукур лишился семьи, земли и дома, он снова вернулся к тому образу жизни, который вел в молодости. Разница заключалась лишь в том, что если в молодости он свое искусство и силу применял в играх и развлечениях, то теперь направил их на отмщение врагам. В первую очередь, улучив удобный момент, он пробил голову Хидира-индуса и покончил с ним, после этого скрылся и принялся за сборщика податей.

Однако он никак не мог выбрать удобный момент, чтобы рассчитаться со своим врагом. Шукур вел теперь бродячую, беспокойную жизнь, но ему приходилось помнить и о повседневных потребностях.

Единственное, что ему оставалось, — это заняться воровством. Но он не грабил кого попало, подобно обычным ворам, а лишал имущества правительственных чиновников, крупных баев и ростовщиков. Из захваченного он брал себе лишь самое необходимое — еду и одежду, все же остальное раздавал беднякам и людям, которым доверял.

Он наводил ужас на правителей тюменя. По ночам они никуда не выходили, а днем решались появляться лишь на самых людных улицах. Баи боялись этого отчаянного человека больше смерти, а народ считал его подлинным властителем тюменя и присоединил к его имени слово «бек». Зато правители называли Шукура только «разбойник». Так и пошло повсюду — Шукур-бек-Разбойник.

Дочь Шукур-бека не подчинилась амлокдору. Не добившись своей цели, сборщик податей принялся ее избивать и истязать.

Девушка не вынесла мучений, которые испытывала в продолжение трех лет, и умерла. Как только Шукур-бек получил это трагическое известие, гнев его против амлокдора еще более возрос.

В это время амлокдора отстранили от должности, и он переселился в Бухару. Шукур-бек также перенес свою деятельность мстителя из деревни в город. Но и там ему никак не удавалось подстеречь своего врага. В Бухаре Шукур-бек продолжал грабить правительственных чиновников и баев, а награбленное раздавал городской бедноте. Имя Шукур-бека приводило в трепет всех чиновников и деятелей правительства. Эмир приказал любой ценой поймать Шукур-бека-Разбойника. Миршаб назначил за поимку живого Шукур-бека десять тысяч, а за мертвого — пять тысяч тенег и объявил об этом повсюду через глашатая. Однако сам миршаб во время ночных прогулок ездил по городу только в сопровождении вооруженной стражи и если слышал издали гудение камня, брошенного Шукур-беком, спешил как можно скорее скрыться.

Иногда соблазненные миршабом люди пытались схватить или убить Шукур-бека. Не боясь гудения камней, они гнались за ним. Однако Шукур-бек обычно не целился в этих людей, а ждал, пока они столкнутся с ним лицом к лицу. Когда такой смельчак приближался к нему, он хватал его за пояс, поднимал кверху, затем подминал под себя и, сдавив горло, крепко нажимал коленом на грудь. Убе-

дившись, что храбрец теряет сознание, он кинжалом притрагивался к горлу побежденного и спрашивал, каковы его цели. Дрожа от страха, тот признавался, что осмелился преследовать его в надежде получить награду от миршаба. Заставив своего противника покаяться в необдуманной и опасной затее, он давал ему денег на мелкие расходы и говорил:

— Возьми эти деньги и убирайся поскорей из города! Если ты здесь останешься, то, очень может быть, снова проявишь такую же безрассудность, тогда не жди от меня пощады.

Вообще же Шукур-бек никого не убивал. Он говорил:

— Нельзя убийствами уничтожить всех негодяев!

Грозный Шукур-бек грабил только правительственных чиновников и бессовестных баев, а их имущество делил среди бедняков. Он был виновен в смерти лишь одного Хидира-индуса, да еще охотился за амлокдором Абдусаттором, надеясь с ним поквитаться, но никак не мог его встретить. От страха перед Шукур-беком тот не выходил на улицу и каждую ночь менял место ночлега.

* *
*

Шариф-махдум Му'тасим за жалобы на действия своих коллег подвергся гневу эмира и был отстранен от должности. Вернувшись в Бухару, бывший раис поселился, как простой ученик, в медресе Абдуллохон в собственной келье.

Шукур-бек разыскал в Бухаре своего вдохновителя и завязал с ним дружеские отношения. Вечерами или после полуночи он иногда приходил к Му'тасиму в келью, готовил там плов, ужинал и уходил. Вообще же по вечерам он чаще бродил в районе Кош-медресе — медресе Абдулло-хон и Модари-хон, — потому что усадьба амлокдора Абдусаттора находилась поблизости, рядом с медресе Мухаммад-Али-ходжа.

Однажды в самом начале вечера, когда улицы еще были полны людей, а лавки на базаре Кош-медресе открыты, Абдусаттор вышел из своего дома купить мясо. Он купил, что ему было нужно, в одной из мясных лавок базара Кош-медресе и быстро возвращался домой.

На обратном пути между двумя медресе он встретился с Шукур-беком.

Дворы медресе в этот час были полны учащихся, повторявших уроки, по улицам сновал базарный люд, но Шукур-бек, не обращая внимания на множество прохожих, решил воспользоваться неожиданной встречей. Он схватил Абдусаттора за талию своими сильными руками, поднял в воздух и бросил на землю. От такого удара Абдусаттор едва не испустил дух, но Шукур-бек этим не удовлетворился, он извлек из ножен кинжал и всадил в сердце врагу по самую рукоятку; вытащив окровавленное лезвие, он обтер его о халат убитого и выпрямился.

Люди не знали в лицо Шукур-бека, но как только им приходилось на улице услышать гудение камня они разбегались в разные стороны. При встрече с Абдусаттором Шукур-бек не имел возможности метнуть камень, и прохожие сочли его за простого разбойника. Они бежали к нему со всех сторон улицы с криками: «Держи вора, держи вора!».

Шукур-бек не захотел отбиваться и расчищать себе путь к бегству, он опасался, что может нечаянно причинить вред невинным людям. Поэтому он не побежал по большой улице, а кинулся в медресе Абдулло-хон. Там Шукур-бек укрылся в келье Му'тасима, находившейся во втором этаже, и рассказал своему наставнику о том, что произошло.

Узнав о случившемся, Му'тасим обеспокоился и задумался.

«Несомненно, — размышлял он, — ученики, готовившие уроки, и другие обитатели медресе видели, как беглец поднялся ко мне в келью. Несомненно также, что сейчас сюда ворвутся стражники и свидетели того, что там произошло, чтобы схватить преступника. Меня возьмут вместе с ним, как соучастника убийцы».

Му'тасим стал обдумывать, как спастись самому и помочь гостю. Вскоре со двора медресе послышались голоса многих людей. Выглянув в окошко, он увидел, что двор полон людей, которым ученики показывают на лестницу, ведущую к нему в келью.

Му'тасим решил не терять больше времени. Беглецы спустились по другой лестнице, вошли в уборную, а оттуда через маленькую зад-

нюю дверку выбежали на улицу, находившуюся за медресе. Там Шукур-бек метнул два камня, расчищая себе путь, и побежал в одном направлении, а Му'тасим в другом.

Несколько дней Му'тасим скрывался в доме одного из своих друзей, а когда розыски несколько ослабели, выехал за пределы Бухары и направился в Турцию. Там он поступил в типографию, держал корректуру арабских учебников и готовил их к печати. Он был очень серьезным ученым, и опубликованные под его наблюдением книги получили в восточных медресе большую известность. Бухарские торговцы книгами установили с ним прочные связи.

Большой спрос на его книги со стороны бухарских книжных торговцев заставил Му'тасима отвозить рукописи в Казань и там печатать их в типографии Харитонова, откуда легче было переправлять готовые издания в Бухару.

Му'тасим был другом и близким человеком отца Сайид-Ахмада, имевшего привычку дергать бороду, посылал ему письма и привлек его к книжной торговле. Вот почему Сайид-Ахмад часто ездил за книгами в Россию и Турцию и стал читать газеты.

Один из подвигов Шукур-бека описан в произведении Ахмад-махдума Дониша «Редкости событий» под заголовком «Разбойник Шукур-бек»; о Му'тасиме с приведением отрывков из его сочинений упомянуто в «Образцах таджикской литературы».

БРАК ДЕВЯТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ

В медресе Олим-джон муэдзином был мулла из Куляба по имени Абдулфаттох, человек высокого роста, очень полный, с белым лицом, рыжеватыми волосами и сверкающими карими глазами. Однако глаза его обычно светились не мыслью или разумом, а гневом или злостью. При взгляде на него казалось, что он недавно убил или еще только собирается убить.

Говорил он всегда сердито, и во время разговора изо рта его во все стороны брызгала пена.

Ему было уже сорок лет, но он числился учеником моего старшего брата и Мир-Солеха и занимался вместе с ними у домулло

Икромчи. Говорили, что он уже взрослым человеком приехал учиться из Куляба в Бухару, поэтому брал уроки вместе с новичками. Он был грамотен по-таджикски и сам переписывал для себя задания из учебников своих товарищей.

Когда Абдулфаттох приехал из Куляба в Бухару и стал учиться вместе с Мир-Солехом, он не имел жилья и был очень беден. Добряк Мир-Солех устроил его в медресе Олим-джон муэдзином и там же добыл для него келью.

Мир-Солех рассказывал про него:

— Когда Абдулфаттох впервые появился в Бухаре, то был простоват и оказался большим скрягой. Он стал муэдзином, но по-прежнему очень мало расходовал на себя и набивал живот самой дешевой пищей. Случалось, что он подбирал с земли очистки моркови и репы, выброшенные другими, мыл их и с удовольствием, причмокивая, поедал.

Увидев однажды алебастровые шары — ишти,[1] которые бакалейщики уложили в коробки на весах, приготовив для продажи детям, он подумал, что это какая-то дешевая еда, и, купив за четыре пуля четыре шара, принес их и показал Мир-Солеху.

— Как они называются, и как их едят? — поинтересовался он.

Мир-Солех, большой насмешник, ответил:

— Их называют европейский сушеный сыр. Он немного тверже местного сыра. Его кладут в котел, заливают водой, насыпают побольше перца и кипятят. Когда он сварится, его едят, он очень вкусный.

Услышав такое объяснение, Абдулфаттох вспомнил о своей деревенской луковой похлебке и начал кипятить шары с перцем. Однако хоть он и кипятил их с утра до ночи, они не становились мягкими. Взяв один из шаров, он показал его дяде Мир-Кодира и спросил, почему они так долго варятся.

---

[1] Ишти — большие или маленькие шары из железа, свинца или камня, служившие для игры. Шары из алебастра похожи на сушеный овечий сыр. (*Примеч автора*).

Дядя Мир-Кодира был честным человеком с простым и откровенным характером. Он совсем не обладал чувством юмора и прямо сказал ему о несъедобности этих шаров.

После нескольких лет жизни в Бухаре наивность Абдулфаттоха совершенно исчезла, он стал даже известнейшим хитрецом, однако скупость его не только не пропала, но усилилась и достигла крайних пределов.

Отдавая мелким лавочникам в долг под проценты деньги из своего жалованья, он оказался обладателем многих тысяч тенег.

В те годы, когда я жил в медресе Олим-джон он, стесняясь людей, уже не собирал для еды очистки моркови и репы, но все же его основной пищей оставалась по-прежнему сырая морковь, дешевле которой на бухарских базарах не было ничего. Если же ему хотелось приготовить что-нибудь горячее на обед, то он варил репу и ел ее, немного посолив. На дверях мечети Абдулфаттох повесил корзинку и попросил обитателей медресе, когда они будуть мыть свои чайники, ссыпать в нее спитый чай.

Накапливавшийся в корзинке чай он каждый день раскладывал на доске, сушил и проветривал. Всякий раз, когда ему хотелось пить чай, он брал горсть сушеных чаинок, засыпал в чайник и заваривал. Говорили, что остатки просушенного чая скряга выносил на базар и продавал под видом настоящего крестьянам, приехавшим из деревни. В те времена, когда я там был, ходили слухи, что у него имеется наличными до десяти тысяч тенег и что у его должников на эту сумму постоянно нарастают проценты.

Когда состояние Абдулфаттоха достигло значительных размеров, он решил жениться.

К кому бы он ни посылал сватов, родители девушек требовали высокий махр и запрашивали с жениха очень большую сумму; тогда он принимался искать другую девушку.

Однажды Абдулфаттоху неожиданно повезло. Один человек предложил продать ему девятилетнюю девочку за тысячу тенег. Это был самый старший из семьи Ботурчей. Я раньше всех догадался о его намерении: всякий раз, когда я приходил во двор Ботурчей сметать снег или колоть щепки, девочка от меня не убегала и играла во дворе.

Однажды, когда я пришел к ним колоть щепки и девочка, как обычно, играла на открытой террасе, отец, позвав ее, увел в дом и принялся ругать жену: зачем она «взрослую девушку на выданье» оставляет одну с чужим юношей.

Я очень удивился. Странным мне показалось не то, что отец девочки назвал меня «чужим» и заставил ее спрятаться, — тогда было принято надевать на девятилетних девочек паранджу и скрывать их лица от посторонних мужчин; я удивился тому, что отец говорил о ней как о «взрослой девушке на выданье». Хотя шариат и дозволял ранние браки, но бухарские жители не выдавали замуж девочек до достижения ими четырнадцати лет.

О своем недоумении я рассказал младшему Ботурче — Ма'сум-хону, с которым был знаком ближе, и спросил, что значат слова его старшего брата.

— Действительно, брат собирается выдать дочку замуж, — ответил он, — уже найден даже жених, все решено относительно махра и заканчиваются приготовления к свадьбе. Скоро девочку выдадут замуж.

Меня удивило это известие, и я спросил его, кто же жених. Когда он назвал имя Абдулфаттоха, я так поразился, что едва не лишился сознания. Вначале я думал, что девятилетнюю девочку хотят сосватать за двенадцатилетнего мальчика. Из его же слов, я понял, что детеныша газели, сосущего еще молоко матери, хотят посадить на хобот дикого слона.

— Неужели твой брат сошел с ума? — спросил я Ма'сум-хона. — Неужели у вас, двух других братьев, такие черствые сердца, что вы не сжалитесь над маленькой племянницей и допустите, чтобы отец отдал ее в руки палача?

— Наш старший брат очень скупой и завистливый человек, — стал объяснять Ма'сум-хон, — после свадьбы он получит наличными тысячу тенег, а для него это — все равно что свалившееся с неба богатство. Затем, он знает, сколько у Абдулфаттоха денег, известно ему также, что у будущего зятя нет своего дома и покупать усадьбу он не собирается. Брат думает, что если Абдулфаттох после свадьбы перейдет жить в его дом, то и все его имущество тоже перейдет к нему.

Кроме того, Абдулфаттох кулябец и верховный судья тоже кулябец и как только Абдулфаттох закончит курс обучения, верховный судья назначит его на высокий пост, тогда у моего брата окажется уважаемый зять. Ничего не будет удивительного, если и он сам через своего зятя достигнет высоких ученых чинов.

Затем Ма'сум-хон рассказал, как он и другой его брат препятствовали этому браку:

— Мы очень протестовали и говорили ему, что если он осуществит свое намерение, то мы порвем с ним всякие отношения. Однако он отвечал: «Я ничего не делаю такого, что противоречило бы шариату. Ведь шариат дозволяет выдавать замуж девятилетних девочек, я так и поступаю. Это моя дочь, а не ваша, если у вас будет дочь, можете держать ее у себя до седых волос, я вам ничего не скажу».

Вскоре был совершен брачный обряд и состоялась свадьба. Муллы из медресе, по обычаю, проводили своего муэдзина, ставшего женихом, в дом его тестя и там оставили. Женившись, он вечером приходил в дом жены, а рано утром, перед первым намазом, возвращался в медресе и до самого последнего вечернего намаза оставался там.

В первое же утро, когда «молодой муж» пришел из дома жены, муллы-шутники собрались вокруг него после утреннего намаза и стали расспрашивать о новобрачной и сладостях семейной жизни. Он отвечал, что до сих пор еще «ничего» не было, но спрашивавшие издевались над ним, обвиняя в слабости. Наконец на пятое утро он заявил:

— Это — бледная слабая девочка, она не понимает еще прелести объятий. Всякий раз, когда я хочу лишь до нее дотронуться, она пугается меня, как демона, и в истерике бежит к дверям, с воплями выскакивает из комнаты и бросается в объятия матери. Деньги мои как будто пропали зря.

На седьмое утро жених был весел и доволен, и все поняли, что этой ночью он добился желаемого, но, как известно, «слова приятно слышать из уст Лукмана»; муллы стали у него допытываться, как он провел ночь.

— Вчера ночью, — ответил он, — я решительно поставил вопрос перед тестем. Я сказал ему: либо вы воздействуйте на дочь, чтобы она мне подчинилась, либо верните мне мои тысячу тенег вместе с расходами на свадьбу, потому что я уже не хочу быть женатым. «Потерпите еще одну ночь», — попросил тесть. — Ночью перед сном он принес ко мне в комнату четыре деревянных кола и вколотил их по четырем углам нашей постели... Вот благодаря этой хитрости тестя я добился желаемого.

В середине того же дня Ма'сум-хон пришел в медресе и пригласил всех его обитателей к себе в дом на похороны. Стало ясно, что девочка умерла от пережитого ужаса.

ХОЛЕРА

Летом 1893 года (1310 год хиджры) в Бухаре вновь вспыхнула холера. Первая эпидемия, во время которой так пострадала наша семья, происходила в 1889 году (1306 год хиджры), это было описано мною в первой части «Воспоминаний». В течение одной недели на улицах почти не стало видно здоровых людей, а уже на следующей неделе из каждого квартала начали выносить мертвых. Во время полуденного намаза перед дервишской обителью Девон-беги и перед мечетью Боло-хауз, куда обычно жители Бухары приносили для чтения заупокойной молитвы своих покойников, со всех сторон все было заполнено носилками с мертвецами в такой степени, что имам не знал, над кем из них читает молитву. Поэтому бухарские законоведы дали фетву о том, чтобы покойников ставили в ряд, как на войне, и что достаточно над каждой группой прочесть одну молитву.

Подобное положение ввергло в ужас население Бухары, и здоровые люди при виде того, как в одном месте одновременно читают заупокойную молитву над десятками мертвецов, заболевали от страха. Правительство издало приказ, чтобы покойников отпевали в мечетях их кварталов, а не приносили к дервишской обители Девон-беги и мечети Боло-хауз.

Против холеры бухарское правительство приняло совершенно смехотворные меры: от имени верховного судьи было издано распо-

ряжение, чтобы муэдзины кварталов и чтецы Корана, обладающие хорошим голосом, разделившись на группы по четыре-пять человек, каждую ночь после последнего намаза обходили до утра городские улицы и в начале кварталов и на перекрестках хором пели азан вне обычного времени, чтобы «милосердный бог во имя этого дополнительного азана избавил людей от холеры».

Представители царской России, находившиеся в Кагане, не остались в стороне: в Кагане, бывшем их непосредственным владением, была открыта холерная больница, а на железнодорожном вокзале устроен карантин. Они предложили бухарскому правительству тоже открыть холерную больницу и устроить карантины на караванных путях.

В Бухаре существовала одна больница, в которой работал русский доктор с переводчиком из местных жителей и кашгарцем-фельдшером. Эти доктор и фельдшер лечили и в больнице, и в амбулатории при больнице. Больница находилась невдалеке от ворот Шейх-Джалол, в одной из наиболее грязных частей города Бухары.

Сведущие люди говорили, что этот доктор не был особенно искусен в медицине и знаний имел не больше, чем фельдшер. Поэтому если крупные бухарские богачи заболевали, то вызывали к себе врача из Чарджуя или Самарканда, а если болезнь не являлась препятствием к путешествию, то уезжали лечиться в один из этих городов.

Судьба всех больных в городе была доверена таким беспомощным лекарям, и холерная больница также была создана под их наблюдением.

Холерную больницу устроили за воротами Шейх-Джалол, поблизости от городской больницы. В тех местах не было ни деревьев, ни зданий, ни проточной воды. По соседству находилась лишь широкая впадина, которая зимой наполнялась водой, а летом пересыхала. С одной стороны этой впадины, где проходил ров крепостной стены, скоплялась вонючая зеленовато-красная вода, с другой стороны, к западу, находился невысокий холм, на котором была могила известного бухарского поэта Ходжа-Исмата. Здесь же на холме окрестное население хоронило своих покойников.

Холерную больницу устроили в этой самой впадине. С севера от нее проходил ров городской стены, на западе виднелась могила Ходжа-Исмата, на востоке шла большая дорога, а на юге находились заболоченные бесплодные земли.

«Больница» состояла из камышевых шалашей и простых цыганских шатров. Эти «здания» не спасали ни от расплавляющего мозги бухарского солнца, ни от знойного ветра.

В первую же неделю после начала постройки этой больницы бухарская администрация — прислужники верховного судьи и раиса, люди кушбеги и миршаба — начали приводить сюда случайно попадавшихся им на улице больных и сдавать их на попечение доктору и фельдшеру. Больница на самом деле оказалась настоящей «бойней». В первую же неделю из десятков больных, которых туда доставили, не выжил ни один; каждый из них жил от одних до трех суток, и затем никто не знал, куда они девались. Говорили, что покойников ночью тайком хоронили на кладбище Ходжа-Исмата, расположенном рядом с больницей.

Население Бухары охватило волнение, никто не выходил на улицу с повязанной головой, и даже люди с бледными лицами, составлявшие бóльшую часть бухарских жителей, перестали появляться на улицах. Базары закрылись, по кварталам и районам города здоровые люди собирались группами и отправлялись в эмирскую цитадель; плача и стеная, они жаловались кушбеги на создавшееся положение.

В конце концов эмирское правительство запретило посылать бухарских подданных в больницу. Теперь «задачей» холерной больницы было уничтожение лишь русских подданных: два эмирских чиновника с двумя конными казаками из охраны русского политического агента и медицинская сестра из больницы обходили весь город, улицу за улицей, и проверяли документы у каждого обнаруженного ими больного; установив его русское подданство, отводили в больницу.

Однажды я был свидетелем такого случая: два эмирских чиновника с медицинской сестрой, посадив на извозчика женщину, похожую на армянку, везли ее в больницу. Конные казаки с двух сторон охраняли извозчика. Женщина кричала громким голосом:

«Я стала мусульманкой, я стала подданной его величества». Она была такой сильной, что, вырвавшись из рук державших ее трех человек, выпрямилась во весь рост и пыталась выпрыгнуть из фаэтона. Склонившись вниз верхней частью тела, она своими сильными руками царапала землю, казаки били ее нагайками по рукам и голове, но она не обращала на них никакого внимания и продолжала вопить: «Я мусульманка, я подданная его величества, вы не имеете права тащить меня на смерть!».

Карантины бухарского правительства были устроены так: один на Каршинской дороге, в местности Четариг, другой на дороге в Кермине в местечке Хомработ. В каждом из этих пунктов, расположенных на границе со степью, находился местный бухарский лекарь и отряд конных эмирских нукеров, там были также устроены шалаши из камыша. Перед шалашами в двух-трех медных котлах, покрытых вместо крышек циновками, кипела вода.

Нукеры задерживали прохожих, лекарь щупал у них пульс и определял состояние здоровья, после этого каждый прохожий снимал с себя одежду и входил в шалаш, на голову ему выливали ведро воды, а одежду расстилали на циновках, где ее обдавало паром. Мыли прохожих водой из этих же котлов. «Дезинфекция» заканчивалась таким образом: прохожий надевал свою одежду, ставшую влажной от пара, и шел дальше своей дорогой.

Я ЗАБОЛЕВАЮ ХОЛЕРОЙ

Из заболевших холерой обитателей медресе Олим-джон двое умерли. Мир-Кодир и его дядя, а также другие заболевшие обитатели медресе лежали у себя по домам. Муэдзин Абдулфаттох, заболев, уехал куда-то в деревню. Вокруг свирепствовала эпидемия, но я, мой брат и Мир-Солех оставались здоровы. Все это, однако, продолжалось недолго. Как-то раз я с братом поел гороховой похлебки, которая была одним из самых дешевых горячих бухарских кушаний. После еды мне стало не по себе и захотелось спать. Я уснул, но спустя час проснулся. Меня тошнило. Я вышел во двор и потерял

сознание; больше я ничего не помнил, знаю лишь, что это произошло в начале июля.

Однажды, открыв глаза, я увидел, что сижу в проходе какого-то двора и подол у меня полон комков глины, возле меня стоит брат и плачет, что я просыплю все комки.

Когда я очнулся, мне стало стыдно и пришла в голову мысль: «Зачем же я насыпал в подол комки глины, а теперь их роняю», — но опять потерял сознание.

Как-то рано утром я пришел в себя, открыл глаза и увидел спящего рядом с собой брата. Комната была незнакомая, я стал осматриваться по сторонам: недалеко от дверей сидел семидесятилетний старик и переписывал книгу. Я его узнал: этот благообразный старик был отец Мир-Солеха — Мир-Изом, а комната была его мехмонхоной. Когда я с удивлением смотрел на старика, писавшего левой рукой, он вытер перо о шелковые лоскутки, затем засунул его за ухо под чалму и, положив страницу рукописи на подушку, взглянул на меня.

— Ну, поздравляю, теперь ты спасен! — сказал он и тотчас же позвал своего сына Мир-Хикмата, обычно занимавшегося домашними делами. Старик велел приготовить для меня чай с молоком и маслом, затем, обратившись ко мне, добавил:

— Спи спокойно, сегодня ты уже можешь выпить чаю с молоком и подкрепиться.

Я хотел разбудить брата, но он не дал:

— Оставь его, пусть он немного поспит. Сегодня тебе было очень плохо и он совсем не спал. Вероятно, ночью наступил кризис твоей болезни, но как бы там ни было, все кончилось благополучно.

Спустя полчаса приготовили ширчой — чай с молоком и маслом — и принесли. Старик налил мне целую пиалу и дал выпить.

— Теперь до полудня ничего не ешь, — сказал он.

Потом Мир-Изом разбудил брата, чтобы тот тоже выпил горячего ширчоя и съел лепешку.

Опытный в уходе за больными старик дал мне в полдень опять такой же чай. Мне хотелось поесть лепешки, но он решительно запретил. Вечером моей пищей снова оказался тот же ширчой.

На другой день утром старик принес мне полкосы такого же чая и кусок тонкой, подсушенной, как сухарь, домашней лепешки, но он не позволил запивать ее чаем.

— Сегодня попробуй только вкус лепешки, — сказал он, — этого довольно.

Днем и вечером он приносил мне поесть немного бульона из постного мяса с горсточкой вареного риса, а на третий день разрешил покрошить в бульон немного подсушенной лепешки.

По словам брата, когда я заболел и потерял сознание, человеколюбивый Мир-Солех не оставил меня в медресе, а вместе со своим братом отнес на носилках домой к отцу. Потом туда же привели и моего младшего брата, чтобы он за мной ухаживал. По его подсчетам я пролежал в доме Мир-Изома без сознания двадцать девять дней.

Через неделю я уже немного окреп и хотел возвращаться в медресе, но сердобольный старик не пустил меня.

— Ты себя погубишь, — заявил он и продержал нас с братом еще целый месяц.

«КОБЫЛЬИ МАХДУМЫ»

Мир-Изом был человек высокого роста, со смуглым лицом и небольшой бородкой. Ему шел уже восьмой десяток, но черных волос в бороде у него виднелось больше, чем седых. Он казался очень крепким стариком. По его словам, он был сыном Мир-Олима из Ура-Тюбе, там и родился. Когда Мир-Изом учился, началась война между эмиром Музаффаром и русским царем. Он оставил учение и принял участие в войне, как эмирский нукер.

Старик так объяснял причину того, что писал левой рукой.

— Во время *битвы под Джизаком* из-за непредусмотрительности эмирского командования мы оказались в осаде внутри крепости. Начальники приказали завалить землей городские ворота. Русские перешли в решительное наступление, во многих местах пробили стены крепости, перелезли по лестницам через стены и появились на улицах города. Мы потерпели поражение, но через заваленные ворота невозможно было выбраться наружу. Бóльшая часть

эмирских воинов и людей, стремившихся погибнуть за веру, стали бросаться со стен крепости и погибали или же, сломав руки или ноги, выходили из строя. Те же воины, которые не утратили храбрости, пытались оказать сопротивление и продолжали сражаться на улицах, я также был среди них.

— Когда я дрался с обнаженной шашкой в руках, — продолжал свой рассказ Мир-Изом, — какой-то русский солдат напал на меня и шашкой отрубил мне пальцы правой руки, я выронил шашку, в это время на меня набросились два других солдата и взяли в плен.

Мир-Изом показал мне правую руку, на которой не было ни одного пальца, и продолжал:

— Меня отвезли в военный госпиталь в Ташкент и там лечили. Когда я поправился, мне дали денег на дорогу и сказали: «Иди куда хочешь, ты свободен!». Тогда я понял, что такое человеколюбие. Если бы в те времена какой-нибудь русский, хоть и не военный, попался в руки людям эмира, его бы убили или во всяком случае *продали в рабство.* Однако русские, несмотря на то, что схватили меня на поле боя, когда я их убивал, не только не убили и не продали в рабство, а даже вылечили, сохранили мне жизнь, сверх того дали денег на дорогу и отпустили домой.

Кончив рассказывать свою историю, Мир-Изом добавил:

— В тот день я твердо решил не служить больше среди нукеров эмира и не стремиться этим путем к успеху, а обеспечить свои жизненные потребности собственным трудом, таким, как переписка книг. Однако главное орудие труда — моя правая рука — вышло из строя. Но я не разрешал себе впадать в отчаяние: «Почему то, что может делать правая рука, не может знать левая?» — спрашивал я себя и начал упражняться в письме левой рукой. В короткое время я так искусно научился писать левой рукой, как не умел в свое время писать правой. Может быть, в левой руке сохранилась та сила, которая отдыхала в мои юные годы, и теперь, когда я стал взрослым, она начала растрачиваться с юношеским огнем.

Мир-Изом умолк, и я его спросил:

— Разве из Ташкента вы, не заезжая в Ура-Тюбе, отправились прямо в Бухару?

— Нет, сначала я поехал в Ура-Тюбе и узнал, что там не осталось никого из близких мне людей, — отец с матерью и моими братьями при захвате Ура-Тюбе русскими перебрались в Бухару. Я также поехал в Бухару и здесь, в этом доме, стал жить с отцом.

* *
*

Отец Мир-Изома, Мир-Олим-махдум, был мусульманским ученым и до занятия царскими войсками Ура-Тюбе считался в тех местах одним из высших представителей духовенства — а'ламом. Во время переселения с семьей в Бухару он ехал на кобыле, самой спокойной из всех его лошадей. Верхом на кобыле показался он и на улицах Бухары.

Тогда в Бухаре считалось постыдным пользоваться для верховой езды кобылой, поэтому к имени Мир-Олима стали добавлять прозвище «кобыла». Потомки и близкие а'лама получили с тех пор в Бухаре известность как «кобыльи махдумы».

В те времена, когда я жил в медресе Олим-джон, «кобыльи махдумы» составляли в Бухаре многочисленный род. В каждом из кварталов — Пошшокул-ходжа, Говкушон, Чорхарос и Гозиён — обитало много семей из их числа. Все они были очень трудолюбивыми и скромными людьми, отличались высокой грамотностью и образованностью, а некоторые из них обладали к тому же хорошим почерком.

Мир-Изом имел четырех сыновей; старшего из них звали Мир-Низом, служил он простым эмирским нукером. За невысокое жалованье Мир-Низом нес вместе с другими нукерами караульную службу на границе Хорезма в Учучоке, иногда его посылали на Каршинскую дорогу, в Караул-Базар. От него я слышал рассказ о карантинах бухарского правительства во время холеры. Тогда он был караульным в Хомработе. Мир-Низом имел жену и детей, но жил отдельно от отца в квартале Гозиён.

Второго сына звали Хаджи-Ато, он тоже был женат и жил по соседству с отцом в квартале Чорхарос. Он числился мелким чиновником при кушбеги и занимался проверкой весов на хлопковых базарах в тюменях.

Третьим сыном был Мир-Солех, он еще не успел жениться и жил в медресе Олим-джон, где учился. Он имел прекрасный почерк и летом помогал писцам кушбеги в переписке документов.

Четвертого, самого младшего, звали Мир-Хикмат, в то время ему шел двадцатый год и на нем лежали все хозяйственные заботы о старике-отце и семье.

Сам Мир-Изом имел чин караул-беги, полученный им на войне. В те времена, когда я его знал, он сидел дома и получал жалованье, которого не хватало и на прокорм лошади.

Мир-Изом по этому поводу говорил мне:

— Чин караул-беги оказался тяжелым грузом на моей шее. Я должен постоянно держать лошадь, а мое жалованье слишком незначительно. Все же я не отказываюсь от этого чина, потому что Мир-Хикмат любит лошадей, а если я подам в отставку, то мне придется отказаться от лошади, с чем не может согласиться любимый мною сынок.

— Себе на жизнь, — добавил Мир-Изом, — я зарабатываю перепиской книг и до сих пор работаю по четырнадцать-пятнадцать часов в сутки.

* *
*

Мир-Изом совершенно не общался с муллами, он очень не любил их, а шейхов просто ненавидел. В дом к нему приходили лишь родичи — «кобыльи махдумы», так как он считался старшим в роду.

Из мулл изредка появлялся у него только Мулло-Рахмат — цирюльник, с которым я познакомился у Шариф-джон-махдума.

О цирюльнике Мулло-Рахмате я рассказал в конце второй части «Воспоминаний».

СТРАХОВАНИЕ БАЕВ

Однажды цирюльник Мулло-Рахмат пришел к Мир-Изому. Мир-Изом, никогда не бросавший работу при посетителях, на этот раз при его появлении вытер перо, вложил в пенал, пенал вместе с бумагой положил на подушку, затем уселся, поджав ноги, и спросил:

— Домулло, рассказывайте, где были, что привезли?

— Я ездил в Чарджуй гулять.

— «Поиски бесплатного проезда заставляют человека рыскать по всей стране», гласит поговорка. Должно быть, вы тоже искали «бесплатный проезд», раз вам захотелось совершить подобное путешествие?

— Конечно, — ответил Мулло-Рахмат и приступил к рассказу.

«Вы знаете, — начал он, — что в юности я был учеником и поваром у Домулло-бая.[1] Когда он разбогател, то меня не забыл и до сих пор иногда приглашает к себе. Как-то раз он встретился со мной в торговых рядах и сказал: „Заходите ко мне, поедем вместе в Чарджуй". Я согласился. Мы остановились с ним в Девона-Боге, так называются русский поселок при железнодорожной станции Чарджуй и пароходная пристань на Аму-Дарье. Здесь у Домулло-бая был очень большой караван-сарай, в нем мы и решили поселиться. Двор караван-сарая оказался заполненным тюками хлопка. Нам отвели очень чистую и богато убранную комнату. В этом помещении мы совершили все три последних намаза — предвечерний, вечерний и последний, руководил молитвой сам Домулло-бай, считающий себя праведником. После ужина, когда прошла уже первая часть ночи, Домулло-бай сказал мне:

«— Погуляем немного, мне хочется подышать свежим воздухом.

«Мы вышли во двор. Там нагревались на кострах большие медные котлы, вместимостью в ман, в них кипела вода. Работники раскладывали рядами на жерди связанный в тюки хлопок. Когда вода закипела, несколько работников стали черпать ведрами кипяток и лить его на тюки с хлопком. Я очень удивился.

«— Зачем вы мочите сухой хлопок? — спросил я бая.

«— Нужно, — ответил он, — после поймете.

«Это странное дело длилось до самого рассвета. Когда работа закончилась, мы вошли в комнату и легли спать. Однако я никак не мог уснуть, все мысли мои были заняты вопросом о том, для чего они

[1] В Бухаре жил очень крупный бай, миллионер, который в ранней юности учился несколько дней в медресе. Поэтому бухарцы не называли его по имени, а говорили «домулло» или «Домулло-бай». (*Примеч. автора*).

мочили сухой хлопок. Днем, когда взошло солнце, Домулло-бай велел своим работникам разбросать хлопок и просушить его на солнце. Удивление мое еще больше возросло.

«— Для чего нужно было сперва мочить хлопок, а потом сушить? — спросил я его. — Какой в том смысл? Ведь это напрасный труд и лишнее беспокойство.

«— Потерпите немного, — улыбнулся бай, — потом поймете!

«Когда тюки с хлопком просохли, бай велел своим людям сообщить в контору, чтобы пришли и приняли хлопок.

«Спустя полчаса пришли несколько похожих на русских людей с тетрадками, взвесили тюки хлопка, записали вес каждого тюка в отдельности. Один из служащих конторы, обмакнув кисть в черную краску, на каждом тюке поставил номер. Взвешенные тюки с хлопком погрузили на арбы и увезли.

«Вечером взвешивание и отправка хлопка закончились. Служащие конторы выписали на русском языке квитанцию, вручили ее баю и ушли.

«Мы вернулись в дом. Бай сразу же, даже не прочитав намаз, поставил перед собой счеты и разложил бумаги. Он начал быстро считать на счетах и торопливо исписывать тетради цифрами и заметками. В это время вошел слуга с блюдом плова. Он поставил блюдо перед нами, но бай даже не взглянул на кушанье и продолжал заниматься своим делом.

«Я был голоден и поэтому сказал ему:

«— Давайте сначала поужинаем, ведь говорят же: „Сначала еда, потом разговоры".

«— Вы ешьте! — ответил он, не отрывая взгляда от тетради, а рук от счетов, — я поем, когда кончу считать.

«Я воспользовался его приглашением и, опустошив половину блюда, снова принялся наблюдать за его работой. Наконец, он кончил свои подсчеты и показал мне бумажку, на которой на одной части была написана цифра пятнадцать тысяч пятьсот, а на другой — шестнадцать тысяч пятьсот рублей. Затем он меня спросил:

«— Которое из этих чисел больше?

«— Конечно, шестнадцать тысяч пятьсот рублей больше, чем пятнадцать тысяч пятьсот!

«— За эту поездку благодаря смачиванию и высушиванию хлопка я заработал тысячу рублей!

«Удивлению моему не было границ. Мне казалось странным, как можно, подмочив и высушив тюки хлопка, выгадать тысячу рублей.

«— Ради бога, объясните мне, — попросил я его, — каким путем вы заработали эту тысячу рублей, а то я уже совсем расстроился.

«Он рассказал следующее:

«— У русских купцов существует дело, которое называется „страхование". Оно заключается в том, что какой-нибудь человек берет на себя ответственность за чье-либо имущество или вещь за небольшую плату; если это имущество пропадет, он обязан вернуть владельцу полную его стоимость. Можно застраховать усадьбу, караван-сарай, товары и многое другое. Для желающих участвовать в страховании существуют богатые товарищества, которые могут возместить убытки при гибели каких угодно ценных товаров. Есть у них компания „Кавказ-Меркурий", которая вывозит в центральные районы России сырье и ввозит в различные области фабрично-заводские товары. За свои услуги компания получает оплату по весу грузов. Эта транспортная компания застраховывает грузы, которые перевозит. За каждую тысячу рублей стоимости груза она взыскивает еще дополнительную плату и берет на себя обязательство уплатить страховку, если этот груз пропадет, сгорит или его окажется меньше. Вот я и хотел извлечь для себя выгоду от этого дела.

«Я все еще не понимал, каким образом мой бывший соученик хочет извлечь пользу из страховки и какое к этому имеет отношение увлажнение и просушка тюков хлопка? Однако мой собеседник постарался рассеять мое недоумение.

«— Раньше я закупал дешевые шкурки и хлопок в Джиликуле, Сарай-Камаре, Термезе и Керки, — пояснил он, — затем, установив на них высокую цену, вносил плату за перевозку и страховку. Контора грузила товары на туркменские каюки и отправляла их водным путем в Чарджуй. Среди туркмен у меня были свои люди, которые топили в Аму-Дарье каюки, и я получал в Чарджуе большие деньги

за свои пропавшие товары низкого качества. Так повторялось много раз, и контора всегда возмещала мои убытки. Наконец они поставили меня в известность, что впредь не будут застраховывать мои товары, переправляемые по Аму-Дарье, а намерены принимать их в Чарджуе, чтобы затем доставлять в Россию по железной дороге, по Каспийскому морю и Волге. Поэтому я здесь организовал тайное извлечение выгоды от страхования...».

Мулло-Рахмат продолжал свой рассказ.

«И все-таки я не понимал, для чего он увлажняет хлопок, и поэтому спросил своего бывшего товарища:

«— Как же вы надеетесь получить здесь тайно выгоду?

«— Все дело именно в смачивании и высушивании, — ответил мой собеседник и пояснил:

«— Лежавшие во дворе тюки хлопка все вместе обошлись мне в пятнадцать тысяч пятьсот рублей. После того как на них был вылит кипяток, вес их увеличился и стоимость тоже возросла на тысячу рублей. Сухой хлопок впитывает в себя горячую воду, подобно иссохшей на солнце земле, и сколько бы мы потом ни сушили на солнце тюки с хлопком, все равно вся влага не испарится, хорошо высохнет лишь мешковина и проволока, которой обвязаны тюки. Это делается для вида, чтобы отвести глаза служащим конторы.

«— А что вы будете делать, если кто-нибудь из служащих догадается?

«— Ни один из них не является пайщиком общества, чтобы предъявить мне претензии. А если кто-нибудь из них и поймет, то не трудно закрыть ему рот полбутылкой водки, — ответил мне Домулло-бай.

«— Эти тюки, — продолжал он, — пока доедут до Москвы, высохнут и восстановят свой подлинный вес. Когда в Москве мой агент получит этот хлопок по весу от конторы, то он потребует компенсации за ту воду, которую получила от меня контора во время взвешивания хлопка и которая по пути испарилась.

«Мой товарищ самодовольно засмеялся и добавил:

«— Если человек и разбогатеет от купли-продажи, то все же не станет крупным баем. Чтобы сделаться большим баем, нужно владеть

еще разными искусствами. Например, у меня служит целая куча секретарей и агентов, каждый из которых получает от двадцати тенег (три рубля) до сорока тенег (шесть рублей) жалованья. Известно, что семейный человек не может прожить на такую сумму. Несмотря на это, они не жалуются. На какие же доходы они живут? Совершенно ясно, что воруют! Конечно, у меня они воровать не могут, но во время торговли воруют у деревенских простаков — продавцов и покупателей. До тех пор, пока мои служащие не накопят значительного богатства, я на все закрываю глаза. Когда же они хорошенько насытятся, разжиреют, я под каким-нибудь предлогом привлекаю их к ответственности, забираю у них все дочиста и голенькими выгоняю прочь, и никто не может им помочь.

«Конечно, я имею и честных агентов, которым хорошо плачу, но они немногочисленны и не уступают мне в ловкости и изворотливости. В действительности они мои совладельцы.

«— Вот, домулло, таков путь к тому, чтобы стать крупным баем! — закончил Домулло-бай свой рассказ».

— Эта «свеженькая» история, которую вы привезли из Чарджуя, не плохая, — заметил Мир-Изом и, помолчав немного, добавил:

— Большинство баев — воры. Жаль только, что, называя какого-нибудь Файзи-Аулиё «вором», эмир сбрасывает его с минарета, а русский царь несчастного босяка, который ворует, наверное, от голода, ссылает в Сибирь. И тот же русский царь или бухарский эмир оказывают уважение грабителям-баям.[1]

«МАХДИ КОНЦА СВЕТА»

Однажды утром, когда солнце еще не взошло, Мир-Изом сидел на северной террасе, расположенной между дверями мехмон-хоны и проходом во внутренний двор, и переписывал книгу. Мы с братом еще не выходили из комнаты. Мир-Хикмат снял цепочку с уличных ворот, бросил лошади охапку травы и занялся ее чисткой.

[1] Файзи-Аулиё был известным разбойником, происходил он из деревни Розмоз Вобкентского района Бухары. Он постоянно грабил эмирские товары. Эмир Музаффар схватил его и казнил, *сбросив с минарета.* (*Примеч. автора*).

В это время из прохода возле ворот послышался кашель и показался человек. Он был маленького роста, толстый, жирный, похожий на ступку. Его желтая круглая голова и лицо на тонкой птичьей шее над плотным туловищем казались похожими на искривленную тыкву для воды, насаженную на ступку. Рыжая, вся в завитках борода, свалявшаяся, как войлок, вместе с чалмой, закрученной вокруг головы и похожей на моток пряжи, напоминали чучело, поставленное в поле для отпугивания птиц; рукава халата у него тоже были длинные, как у чучела. На каждой руке этого человека болтались четки, одни — сделанные из финиковых косточек, другие — из черных бус. Цвет халата у него был желтым, таким же, как его лица и бороды.

Посетитель шествовал с важностью, очень медленно и, поднявшись на суфу, поздоровался с Мир-Изомом. Старик, не оставляя своей работы, ответил кивком головы на его приветствие и молча продолжал писать.

Что касается гостя, то он все так же важно, не торопясь, снял свои кожаные калоши, последовал к задней части террасы и *сел на колени, поджав под себя ноги*, рядом с хозяином дома. Затем он высунул из рукавов руки с четками и провел ладонями по лицу, потом опустил руки на колени и, что-то бормоча, начал перебирать косточки.

Мир-Изом, не отрываясь от работы, уголком глаза наблюдал за действиями этого человека и, улыбаясь, сказал:

— Ваше святейшество, шейх! Другие шейхи, повторяя имя бога, каждый раз перебирают одно зерно четок, вы же каждый раз обеими руками на двух нитках четок отсчитываете по два зерна. Неужели, произнеся сто раз слова: «О Аллах!», — вы считаете, что повторили их двести раз, и этим хотите обмануть бога?

Ишан, перестав бормотать, ответил:

— Если другие шейхи только в сердце и языком поминают бога, то я, бедняк, ваш покорный слуга, достиг большего: каждый член моего тела, каждый волосок беспрестанно упоминают имя божье. Даже если я одновременно поверну сто косточек на четках, все равно нельзя сосчитать число моих обращений к имени бога.

Шейх снова забормотал что-то и стал перебирать четки. Мир-Изом заметил, что я из мехмон-хоны внимательно наблюдаю через

дверь за движениями этого удивительного человека, и обратился ко мне:

— Иди к нам, скажи брату, чтобы он тоже пришел сюда. Вы можете получить свою долю «полной благодати» из беседы с его святейшеством шейхом.

Мы подошли и сели в передней части террасы. В это время Мир-Хикмат, управившись с лошадью, умылся и теперь вытирался, стоя посреди двора.

Отец отдал ему распоряжение:

— Иди, скажи, чтобы поскорее приготовили чай со сливками, зови братьев, принеси скатерть с угощением.

Мир-Хикмат ушел. Явились Мир-Ато и Мир-Солех и сели на террасе. Вскоре к ним присоединился Мир-Низом. Дом его находился в другом квартале, но он каждое утро неизменно приходил здороваться с отцом. Принесли скатерть, лепешки, зеленый чай и чай со сливками.

Мир-Хикмат поставил сначала перед гостем, потом перед отцом и другими по чашке чая со сливками, сам он сел ближе к выходу и тоже занялся чаем. Мир-Изом оставил перо и бумагу и приготовился завтракать. Ишан снова провел ладонями по лицу и положил четки перед собой на скатерть самым удивительным образом. Четки из финиковых косточек находились возле правой его руки и напоминали свернувшуюся кольцом желтую змею с черными пятнами, а самое большое их зерно из черно-красного дерева, которое принято называть «имамом», поднялось кверху, наподобие головы змейки-стрелы, приготовившейся к нападению.

Вторая нитка четок, подобно черной змее, лежала, скрученная в кольцо, против его левой руки. «Имам» на ней тоже возвышался над другими зернами, и маленькие крапинки на его поверхности сверкали, словно злобные глаза змеи.

Чашки чая со сливками ожидали собравшихся, но никто не протягивал рук к еде. Мир-Низом, который обычно ел очень быстро и торопил других, на этот раз не спешил и молчал.

Ишан тоже сидел некоторое время молча с опущенной головой, затем он взял свою чашку с чаем и поставил перед Мир-Изомом,

а его чашку поставил перед собой. Мир-Изом стал крошить в свой чай лепешку. Другие сидели все так же молча и тихо.

Ишан снова взял свою чашку с чаем и поставил перед старшим сыном хозяина Мир-Низомом, а его чашку передвинул к себе. Мир-Низом тоже принялся крошить в чашку лепешку, остальные тихо ожидали своей очереди.

Таким образом ишан переменил чашки у всех сыновей хозяина дома. Только со мной и моим братом он не обменялся чашками. После столь длительной подготовки наш гость прочел, наконец, молитву «Аузу биллохи мин шарризолимин» («Прибегаю к Аллаху от козней творящих зло!»), накрошил лепешку в чай и приступил к еде.

Во время завтрака Мир-Низом, глядя на четки ишана, спросил:

— Ваше святейшество, ишан! Ваши четки похожи на змей. Человек посмотрит на них и испугается. Дух его может ослабеть.

— Действительно, четки заменяют мне змей, — ответил ишан, — только их вернее можно назвать ангелами-хранителями, потому что они оберегают меня от козней врагов. Когда я поминаю бога, они служат мне четками, когда же я их откладываю в сторону, они принимают вид змей. Если кто-нибудь замыслит против меня недоброе, вот эти делаются подобными гадюке (он показал на четки из финиковых косточек), а те (он указал на четки из бус), подобно змее-стреле, набрасываются на злодея и уничтожают его.

— Четки — ангелы и змеи, это очень удивительно! — сказал, улыбаясь, Мир-Солех.

— Ничего в этом нет удивительного, племянник, — ответил ишан Мир-Солеху. — Если посох пророка Моисея[1] может превратиться в змия, то почему четки Махди конца света не могут стать гадюкой или змеей-стрелой?

После еды ишан взял свои четки, вошел во внутренний двор, спустя минутку вернулся оттуда и, не попрощавшись с хозяином дома, вышел на улицу.

---

[1] В религиозных рассказах, в том числе в Коране и Библии, упомянуто о том, что посох Моисея превратился в змия. (*Примеч. автора*).

* *
*

Как только ишан удалился, все поднялись со своих мест и разбрелись по делам. На террасе остался один я, раздумывая о странном поведении этого человека. Вскоре вернулся Мир-Изом. По удивленному выражению моих глаз он понял, что я хочу постичь смысл сумасшедшего поведения ишана, но стесняюсь спросить о нем.

— Вероятно, ты не знаком с этим человеком и не понимаешь, чего ради он обменивал чашки?

— Я никогда прежде не видел ишана и, конечно же, не понял, почему он так себя вел, — ответил я.

— Это мой шурин, брат моей жены, — начал свой рассказ старик. — Мать моих детей — его старшая сестра. В юности он кое-как обучился грамоте в начальной школе и открыл в квартале Джанафар бакалейную лавочку. Однако здесь он не добился успеха и не сумел найти для себя пропитание. Тогда я посоветовал ему овладеть какой-нибудь профессией. «Ты должен стать учеником сапожника или ткача, — сказал я ему, — и тогда за короткий срок сможешь сам добывать для себя хлеб». Он не согласился. «Я хочу стать муллой», — ответил он мне и поступил в медресе. Сестра помогала ему, снабжала одеждой и пищей, но он, проучившись несколько лет, так ничему и не научился. Однажды, придя к своей сестре, он сообщил: «Я стал мюридом у чукмокского ишана и теперь постоянно буду служить ему и жить в его обители. Отныне ты можешь мне больше не помогать». Спустя несколько лет я услышал, что он уже оставил обитель Чукмок, так как получил «хатти иршод» [1] и сам стал брать к себе мюридов. Он знал, что я не люблю ишанов, и перестал приходить ко мне в дом. Через два года мой шурин стал имамом в квартале Джанафар, устроил там свою обитель, где начал проводить десятидневные молитвенные уединения и другие ишанские церемонии. Наконец, перед своими мюридами, безграмотными людьми из деревни,

[1] «Хатти иршод» — документ, который шейхи вручают своим мюридам и который дает последним право брать себе мюридов и руководить ими. (*Примеч. автора*).

он объявил себя «Махди конца света». Все это показалось мне очень странным, и я однажды послал за ним человека, чтобы самому расспросить о его делах. «Ничего не будет удивительного, — думал я, — если окажется, что он сошел с ума». Ишан пришел, я не стал расспрашивать его ни о чем, лишь задал несколько обычных вопросов о здоровье, про себя же подумал: «Ну-ка, посмотрим, что он сам расскажет о себе». В мехмон-хоне было еще несколько человек; дома сварили суп, налили его в чашки и поставили перед гостями. Все, что ты видел сегодня, происходило и тогда. Он обменялся своей чашкой по очереди со всеми присутствовавшими и лишь после того, как взял чашку, стоявшую перед Мир-Хикматом, стал есть суп. Я спросил его, зачем он это сделал.

— Я — Махди конца света, — ответил он, — мне суждено уничтожить всех правителей, в том числе эмира Бухарского, и сделать мир подлинно мусульманским. Правители, конечно, пронюхали о моей цели, поэтому хотят избавиться от меня. Вы ведь тоже были одно время нукером у эмира, а ваш старший сын и сейчас служит у него нукером, поэтому ничего не будет удивительного, если вы подсыплете мне яд. Из осторожности я так меняю поданную мне пищу, чтобы чашка с ядом оказалась между всеми. В таком случае, если среди чашек действительно была одна с ядом, то, конечно, вы не позволите есть из нее, чтобы ваши друзья и любимые сыновья не отравились.

Я ему сказал:

— И раньше в мире ислама тоже появлялось немало Махди. Однако лживость каждого из них своевременно обнаруживалась, и они оказывались опозоренными. Ваша игра очень уже устарела и надоела всем. Лучше будет, если вы для обмана людей найдете какую-нибудь более тонкую хитрость.

— Прошлые Махди тоже не были обманщиками, — ответил ишан, — но они были Махди той поры, поэтому их называли «владыками своего времени». Когда жизнь их угасала, кончалось и их пророчество, так как положенное им время проходило. Нашего пророка зовут пророком конца света, он охраняет мусульманскую веру до дня страшного суда; и я тоже стал Махди конца света, чтобы очистить

мир от угнетения и угнетателей и беречь его чистоту до дня страшного суда.

Закончив свой рассказ о Махди конца света, Мир-Изом добавил:

— Я лишь позже понял, что обман, к которому прибег наш Махди, для него был очень выгодным: во-первых, назвавшись «Махди конца света», он отделил себя от всех проходимцев, которые в прошлом выдавали себя за Махди; во-вторых, он обещает своим мюридам уничтожить угнетение и угнетателей, а ведь это очень нравится тем, кто постоянно испытывает гнет; в-третьих, этот мошенник сделал своими мюридами безграмотных бухарских крестьян, самых обездоленных подданных эмира; из-за своей неосведомленности и простоты они самые доверчивые люди. Поэтому, надеясь в будущем избавиться от гнета, они отдают ему все, что случайно у них осталось от грабежа деспотов-правителей. Я слышал, что он теперь накопил полные сундуки серебра и золота, узлы с платьем и полные амбары зерна. Говорят даже, что в степи у него пасутся стада баранов.

* *
*

Вторично избавившись от гибели, я ушел из дома Мир-Изома и вернулся в медресе Олим-джон. Смертность к этому времени начала падать и эпидемия холеры стала затихать. Я решил бросить службу подметальщика, так как она мешала учиться, и с помощью одного товарища моего старшего брата нашел в новом медресе Бадал-бек келью и переехал туда. Товарищ брата пообещал взять меня к себе поваром и найти какое-нибудь дело для моего младшего брата.

В МЕДРЕСЕ БАДАЛ-БЕК

Новое медресе Бадал-бек было расположено к северу от Бухарской мечети Калон. Их связывала большая улица, ведущая на Регистан; здесь находилось и хорошо знакомое мне медресе Мир-Араб. Двор и главные ворота медресе Бадал-бек выходили на запад, перед ними простиралась небольшая площадь, по другую сторону ко-

торой виднелась задняя дверь нижней усадьбы эмира, известной в народе по имени ее прежнего владельца Мирзо-Хурда.

Медресе, где я поселился, было возведено в традиционном для Бухары стиле. Во входной арке строители оставили очень мало свободного места, кельи были исключительно тесными. Фасад здания был двухэтажным, а три другие стороны — одноэтажными. В медресе насчитывалось всего тридцать пять келий, что же касается «висячих» келий (устроенных наверху в пустых углах между жилыми помещениями), то они отличались еще большей теснотой.

В северо-западном углу медресе Бадал-бек имелся проход, который вел к уборной. Доставшаяся мне келья находилась как раз над ним. Входная дверь была устроена в задней стене медресе, и от нее в келью вели восемь ступеней. В моем новом жилье имелось небольшое окошко, заклеенное промасленной бумагой, через которое проникал слабый свет. В келье отсутствовал очаг и не было умывальника. Однако это не смущало меня, так как я не готовил для себя пищи дома, а умываться всегда мог во дворе медресе. Тяжелее мне давалось другое. Доступ в келью затрудняла очень низкая дверь, а передвигаться внутри помещения приходилось сгорбившись из-за нависшего над самой головой потолка. До меня здесь целый год жил мой старший брат, а когда я поселился там вместо него, он нашел келью в медресе Мир-Араб и переехал туда.

Келья принадлежала некоему Кори-Нурулло из сословия мулл, имевшему на улице Боло-Куча за медресе свой собственный дом. Основным его занятием было чтение Корана; он также занимался продажей рукописных экземпляров Корана. Кори-Нурулло обладал хорошим почерком «наста'лик» и принимал к себе для упражнения в письме учеников.

Он горел желанием заняться преподаванием и свою келью уступил мне с условием, что я буду брать у него уроки. Поэтому я начал с ним изучать книгу «Мухтасари Викоя», которая была наименее важной из всего, что проходили в бухарских медресе.

Кори-Нурулло был полным, среднего роста человеком лет сорокапятидесяти, с бледным лицом и широкой черной бородой. Он обладал веселым, приятным нравом и никогда не хмурился. Конечно, он

не знал того, что преподавал, однако откровенно признавался в своей малой осведомленности и не впадал, подобно другим муллам, в «усложненное невежество» (непонимание своего невежества и есть «усложненное невежество»). Если во время занятий я спрашивал его о чем-нибудь непонятном, относящемся к уроку, он говорил: «Эй, братец, спроси об этом у кого-нибудь другого, для меня достаточно, чтобы ты назывался моим учеником, но не надейся чему-нибудь научиться у меня!».

Большинство обитателей этого медресе состояло из шофуркомцев и нуратинцев, в меньшем числе встречались здесь уроженцы Бухары и ее окрестностей, а также выходцы из других областей.

Владельцами значительной части келий в медресе Бадал-бек были двоюродные братья Абдулло-ходжи Тахсина, их отец занимал должность казия в окрестностях Бухары.

По две кельи имели также два брата-бухарца — Зухур-махдум и Аллом-махдум. Они приходились дальними родственниками Тасхину и числились его учениками.

Зухур-махдум учился вместе с моим старшим братом и Мир-Солехом. Это был человек среднего роста, стройный, с ярким румянцем на щеках. Ему исполнилось тогда уже лет двадцать пять. Товарищи считали его одним из способных учеников домулло Икромчи и возложили на него обязанности чтеца группы. Выбор оказался очень удачным, так как редко тогда случалось найти хорошего, грамотного чтеца. Он постоянно беседовал с моим братом и стал близким его другом.

Аллом-махдуму шел двадцатый год. Юноша казался очень высоким и тонким, на его длинном смуглом лице только что начали пробиваться усы и борода. Черные волоски покрывали его губу и подбородок, подобно муравьям, прилипшим к черному котлу. Аллом-махдум уже три года был болен чахоткой.

Зухур-махдум взял меня к себе поваром. Кроме приготовления пищи и стирки белья, мне приходилось ухаживать за его больным братом. Само это дело не представляло большого труда, но вспыльчивый характер и грубое обращение Аллом-махдума огорчали меня. Однажды я пожаловался на его грубость Зухур-махдуму. Он ответил:

— Брат мой в детстве не был плохим ребенком, он стал раздражительным, когда заболел чахоткой; ничего не поделаешь, ведь это связано с его болезненным состоянием. Постарайся как-нибудь поладить с ним.

Моего младшего брата Зухур-махдум определил помощником по дому к казию в отставке Кози-джон-махдуму, который был старшим братом Абдулло-ходжи Тахсина. Двор Кози-джона находился в квартале Тангбандбоф, расположенном к северу от медресе. До их дома нужно было пройти от нас всего лишь одну улицу.

Абдулло-ходжа Тахсин, не имевший собственного дома, жил вместе с женой и женатым шурином у своего брата. В этом же доме жил и женатый сын Кози-джон-махдума — Абдурахим-махдум. На первый взгляд казалось, что обслуживать такой многолюдный дом — трудное дело, но брату моему не было тяжело. Кози-джон-махдум имел конюха и прислужников, надеявшихся в будущем пристроиться возле него, когда он снова получит место казия; они-то и выполняли всю тяжелую работу. Семья бывшего казия происходила из старого бухарского рода Мавлоно Шарифа, но все ее представители по натуре были скромными людьми. Они сами делали все, что им требовалось, и на долю слуг оставалось немного работы. Ел мой брат вместе со старым казием, одежду ему давали приличную, и его белье стиралось на внутреннем дворе вместе с бельем членов семьи.

Мой братишка недавно научился грамоте и был еще новичком в медресе. Начальные уроки по программе медресе он брал у Абдулло-ходжи, а писать его учил сам казий. Здесь брат выработал красивый почерк и вообще стал хорошо грамотным человеком.

Женой Абдулло-ходжи Тахсина была дочь известного поэта Абдулкодира-ходжи Савдо, и в их семье хранился большой сборник его стихов; когда у меня выдавалось свободное от занятий время, я приходил к ним в дом и читал этот сборник. Сам Абдулло-ходжа, с которым я познакомился в доме Шариф-джон-махдума, беседовал со мной на литературные темы и давал мне книги с тем условием, что я буду их читать у него в доме.

Однако сын поэта Савдо, которого называли Ака-Эшон, приходившийся шурином Абдулло-ходжи, не умел ни писать, ни читать.

Он рассказывал мне о некоторых чертах характера своего отца и читал наизусть его стихи.

По словам Ака-Эшона, отец его был бедным и беспечным человеком. Поэт не придерживался некоторых обычаев, установлений и религиозных обрядов своего времени; жил он на средства, которые добывал своим ремеслом золотых дел мастера и рисованием, в чем считался очень искусным.

Когда эмир Музаффар привлек Савдо ко двору и сделал своим собеседником, ему пришлось очень туго. По своему положению при дворе он должен был содержать пару лошадей и конюха. По обычаям двора эмир Музаффар не платил ему жалованья, лишь иногда отсылал поэта под предлогом какого-нибудь дела к правителю той или иной области, и правитель в виде платы за службу что-нибудь ему давал.

Этот неопределенный доход, похожий скорее на милостыню, не только не мог обеспечить его самого и семью, но даже не давал возможности содержать при эмирском дворе пару лошадей и конюха. При всех творившихся там безобразиях, разврате и разгуле, придворные обязаны были ежедневно читать пятикратные намазы в мечети перед цитаделью.

Как-то во время эмирского гулянья в местности Ширбадан по случаю Нового года Савдо в рубои так описал свое положение:

О судьба, куда насильно ты направила меня!
Без куска сухого хлеба ты оставила меня!
Я же был влюблен в гуляку, презиравшего намаз, —
В Ширбадане ты намаз читать заставила меня.

Сын Савдо рассказывал еще, что однажды эмир отправился в Шахрисябз. Там существовал обычай, что всякий, кто имеет на кого-нибудь жалобу, должен написать ее и вручить одному из придворных, чтобы тот передал ее эмиру для вынесения решения.

Однажды в Шахрисябзе Савдо сидел на суфе перед ставкой эмира в официальной одежде. Один из деревенских имамов передал ему жалобу с заключением муфтия области, чтобы он довел ее до сведения эмира. Содержание жалобы заключалось в следую-

щем: какой-то крестьянин затеял ссору с имамом, когда тот собирал свою долю за имамство, и обругал его. По словам пострадавшего, крестьянин сказал ему: «...тебе в глотку!». Муфтий отмечал в заключении, что если простолюдин обругает муллу, упомянув слово «глотка», то становится кафиром и по шариату должен быть подвергнут смертной казни.

Прочтя жалобу и заключение, Савдо сказал мулле:

— Если какой-нибудь человек, обругает другого «глоткой», совсем не значит, что он станет кафиром, потому что глотка связана с животом, а живот полон нечистот. Это все равно, что «грязная вода попала в канаву». Если вы не верите, то мне придется тоже вам в глотку...! Видите, я от сказанного ведь не сделался кафиром, почему же тот крестьянин стал кафиром? Вставайте и убирайтесь прочь!

Мулла не ожидал такого обращения со стороны официального лица из числа придворных эмира. Он бросил свою жалобу вместе с заключением муфтия и убежал.

В 1873 году Савдо направлялся в горные районы для выполнения одного из поручений эмира и утонул в Вахше у моста Нурек в возрасте пятидесяти лет.

Как жаль, что в те дни из-за недостатка времени я ничего не смог переписать из сборника Савдо и удовлетворялся лишь поверхностным чтением. Среди его стихов встречалось много сатирических, в которых поэт выражал свое отношение к существовавшим тогда порядкам.

МОИ НАУЧНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В МЕДРЕСЕ БАДАЛ-БЕК

Наступил учебный 1894/1895 год. Как и в прошлом году наши групповые занятия в классе по книге «Шархи Мулло» должны были проходить под руководством домулло Икромчи с чтецом Гафур-джон-махдумом. Однако Гафур-джон хотел опередить нас и закончить занятия, длящиеся два года, за один, чтобы как можно быстрее завершить учение и устроиться где-нибудь казием.

Группа с ним не согласилась и решила продолжить занятия по программе медресе. Тогда Гафур-джон собрал для себя другую группу, а у нас не оказалось хорошо подготовленного ученика, который мог бы стать чтецом. Пришлось избрать чтецом бухарского байского сынка Мулло-Иброхима, который надумал учиться и примкнул к нашей группе.

Я готовил тогда домашние уроки с моим репетитором Мулло-Абдусаломом и читал одну часть из книги «Кофия», а в медресе Бадал-бек вместе с Мулло-Бозором из Дехнави-Абдулло-джон мне приходилось читать другую часть того же труда. Включая урок с владельцем моей кельи, у меня в том году на занятия уходило пять часов ежедневно.

Кроме того, много времени затрачивалось на дорогу в медресе, на ожидание очереди, когда группа могла приступить к занятиям, и на уроки в классе. Остаток дня был занят приготовлением пищи для моих хозяев, уборкой их кельи и уходом за больным. Вечером я повторял пройденное и готовился к следующим урокам. Свободные от занятий дни уходили на стирку белья моих хозяев и на прием их гостей. Между всеми этими делами я изредка читал диван Соиба, принадлежавший моим хозяевам.

* *
*

В медресе Бадал-бек между учащимися и муллами никогда не возникали разговоры на литературные темы. Развлечения учеников состояли в том, что в свободные от занятий вечера они собирались в какой-нибудь келье, пели песни и играли в шарики — «гачабози» — или в игру «падишах». Во время пения слушатели не вникали в смысл исполняемой песни и не понимали ее содержания. Они испытывали наслаждение лишь от голоса певца, а певцы чаще всего были любителями с неважными голосами и мелодию исполняли неверно. Игра в шарики заключалась в следующем. Собравшиеся разбивались на две группы и садились друг против друга. Игроки одной партии брали шарик или бусинку, которую называли «гача», затем прятали руки под одеяло, покрывающее сандалй, и передавали шарик по кругу.

Один из игроков зажимал шарик в руке, затем все вместе вынимали кулаки из-под одеяла, протягивали руки противоположной стороне и хором кричали:

— Шарик в моей руке!

— В которой руке?

Игроки противной стороны ощупывали протянутые к ним руки и внимательно смотрели в лицо своим противникам. Наконец, предположив, что шарик находится в руке того или иного человека, схватывали его за руку и кричали:

— Шарик в твоей руке!

— Вот в этой руке...

Если предположение оказывалось верным, то группа считалась выигрывшей, если нет, то проигравшей. Когда одна из групп угадывала сто раз, то по общепринятому условию игра заканчивалась и выигравшие получали у побежденных противников две теньги. Проигравшие собирали эти деньги вскладчину, но победители не делили выигрыш между собой. На следующее утро они покупали гороховую похлебку и вместе с побежденными съедали ее.

Игра в «падишаха» велась совсем по-другому. Ученики запасались бабкой и собирались в какой-нибудь келье. Здесь они садились в круг и бросали бабку. Если бабка падала на сторону, именуемую «лошадь», то игрок становился «падишахом», если на сторону «осел» — «везирем», если на сторону «чикка» — «разбойником», а на сторону «пукка» — «раисом» или «миршабом». Потом из полотенца делали жгут, чтобы он служил «дарра» — плеткой. Когда роли падишаха, везиря, миршаба и раиса были распределены, то «миршаб» или «раис» набрасывались на «разбойника» и «везирь» докладывал «падишаху»: «Ваше величество, мы поймали разбойника!» «Падишах» спрашивал: «Разбойник ваш жирный или тощий?». Если «везирь» отвечал «жирный», то «падишах» говорил: «Сбавьте-ка ему немного мяса и сала, пусть идет и занимается своими „нищенскими" делами». — «Падишах» с помощью «миршаба» или «раиса» что-нибудь отбирал у «разбойника» и велел его освободить. Если «везирь» говорил, что разбойник «тощий», «падишах» приказывал: «Передай раису или миршабу, пусть дадут ему три-

дцать девять или семьдесят пять плетей и отправят в тюрьму, чтобы он там сгнил!». В таком случае «разбойника» наказывали жгутом. Эта игра мне очень нравилась, потому что она полностью отражала эмирские порядки. Действительно, бухарские правители, получив взятку от «жирных» (богатых) воров, освобождали их, чтобы они и впредь занимались своими делами, а неудачливых, безденежных воров заключали в темницы.

* *
*

В медресе Бадал-бек жил некий Мулло-Рузи, любивший и понимавший поэзию. Ему было около сорока лет, он был среднего роста, худощавый, с черными, как у цыгана, бородой, глазами и бровями. Занимал этот обитатель медресе одну из келий двоюродных братьев Абдулло-ходжи Тахсина.

Несмотря на то, что Мулло-Рузи давно уже кончил учение, хорошо овладел таджикским и арабским языками, он не достиг никаких духовных степеней, не имел доходов и жил в большой бедности. Родился Мулло-Рузи в бухарском селении Кульбаи Карамкорон, расположенном на расстоянии четырех километров к северу от Бухары, недалеко от Ситора маххоса. Отец его, которому исполнилось уже семьдесят пять лет, был еще жив. В своей деревне он владел полтанобом земли (одна восьмая гектара) и ежегодно сажал там свеклу. Когда наступала осень, старик каждый день наполнял корзину свеклой, привозил в город и клал свой товар в горячую золу в бане. На следующий день он садился возле медресе Бадал-бек, чистил ножом печеную свеклу и кричал: «Сладкая свекла!», — потом разрезал ее на куски и продавал желающим. Из этих доходов он покупал лепешку для сына, а остальные деньги оставлял на пропитание себе и своей старухе.

Я жалел Мулло-Рузи и стирал ему белье вместе с бельем моих хозяев. В свободные от занятий дни я убирал его келью; у него не было даже приличного паласа на полу, не имел он и учебников.

— Я учился по книгам, взятым напрокат, — говаривал он.

Из литературных произведений у него хранился лишь печатный диван Хафиза, да и тот был весь разорван. Всякий раз, когда мне

случалось подметать у него келью, я немного там задерживался и читал эту книгу.

Единственным занятием Мулло-Рузи было посещение пирушек. Если где-нибудь в окрестностях медресе устраивалась пирушка, то он шел туда поздно вечером и в полночь или рано утром возвращался к себе в келью.

БУХАРСКИЕ ПИРУШКИ И ИХ ПОСЕТИТЕЛИ

В Бухаре на свадьбах обычно устраивались пирушки с игрой на бубне. На свадьбах у баев пиршества происходили при закрытых дверях и на них могли приходить только приглашенные гости. Зато свадьбы у простых людей были доступны для всех; услышав звуки бубна, каждый имел право стать участником свадебного празднества, и таких любителей называли «приглашенными звуками бубна».

В городе часто происходили также дружеские пирушки. Их устраивала в складчину молодежь одного квартала или деревенская молодежь, жившая в окрестностях Бухары. Дружеские пирушки было принято называть по имени того лица, в чьем доме они происходили.

Все эти пирушки устраивались официально, музыкантов приглашали по особому разрешению миршаба на участие в празднике у «такого-то лица». Оркестр обычно делился на несколько групп; каждая группа состояла из главного музыканта, чаще всего старика-дойриста, под руководством которого находился юный танцовщик и три-четыре дойриста. Группы отличались одна от другой по мастерству певцов, искусству дойристов и танцовщиков. Поэтому из-за привлечения хороших музыкантов происходили ссоры и споры, в ход пускались разные «приличные средства» — такие, как взятки и «подарки».

Обычно официальными музыкантами распоряжался миршаб, непосредственно ими ведал назначенный эмиром чиновник, которого называли «голиб». Из доходов музыкантов пятая часть бралась в пользу государства, одна часть поступала к «голибу» и еще одна часть отчислялась для миршаба.

Каждый человек, желавший устроить свадебную или иную пирушку, должен был обратиться с прошением к миршабу. Миршаб писал «голибу» бумагу следующего содержания:

«Такой-то из такого-то квартала (или селения) хочет совершить доброе дело, пошлите ему музыкантов, и пусть он прочтет благословение в честь эмира».

Полученные в течение дня записки «голиб» вечером просматривал и распределял музыкантов. Если записок оказывалось много, то некоторым просителям музыкантов не доставалось. Возникал спор, к кому посылать хороших или плохих музыкантов.

По окончании пирушки баи, провожая музыкантов, дарили им халаты, давали наличные деньги. Однако на пирушках и вечеринках простых людей хозяин праздника сам ничего не платил музыкантам, но объявлялся «сбор». Дойристы расстилали перед собой платок и начинали бить в бубен особым ритмом, и присутствующие, свои ли, чужие ли, привлеченные звуками бубна, каждый отдельно или в складчину бросали в платок одну-две теньги. Неимущие ученики медресе и вообще бедняки во время «сбора» ничего не давали. Платой за труд музыкантов были собранные деньги. Оставшуюся после удержания сумму музыканты всегда делили между собой по существовавшему у них обычаю.

Однако если в чьем-нибудь доме останавливался эмир и музыканты должны были играть перед этим домом или на новогодних гуляньях, длившихся неделями, им приходилось исполнять свои обязанности бесплатно. Еда и другие расходы на таких празднествах шли тоже за их счет.

Не все «приглашенные звуками бубна» посещали любой праздник. Люди стремились лишь на те пирушки, где играли и танцевали их любимые музыканты и танцоры.

Я жил тогда в медресе Бадал-бек. Мулло-Рузи обычно спешил на пирушки, когда там выступал Ахмад из деревни Ходжа-Якшаба. Он был превосходным танцором и не имел себе равных как певец. Среди бубнистов его группы находились гиждуванец Тула и Эргаш из Муллоёна; про них говорили, что их удары в бубен разрывают небо.

Мулло-Рузи и меня брал с собой на пирушки. Так как я по своей природе любил песни и танцы, то постепенно втянулся в посещение подобных праздников и в свободные от занятий вечера уже не остав-

лял Мулло-Рузи. Описанию праздников я посвятил свои первые стихи, но в настоящее время они у меня не сохранились.

Из других посетителей пирушек мое внимание привлек кулябец Мулло-Абдулазиз. Он приехал из Куляба давно и проучился в Бухаре много лет. Возможно, что из занятий он не извлек никакой пользы или ему надоело учиться, но он бросил медресе, поселился в дервишской обители и стал мюридом у какого-то шейха.

А так как ему это тоже надоело, то он стал бродягой и посетителем пирушек. Мулло-Абдулазиз был очень беден, и говорили, что он жил на милостыню, которую ему подавали люди. Ютился он в полуразрушенном медресе Джа'фар-ходжа на окраине города, потому что кельи там постоянно пустовали. Мулло-Абдулазиз не пропускал выступлений Ахмада из Ходжа-Якшаба ни в свободные вечера, ни в вечера занятий. Когда певцы в своем исполнении достигали особого воодушевления, он приходил в сильное волнение, вскакивал с места, издавал крики, как возбужденный верблюд, на губах у него появлялась пена и в конце концов он падал без сознания. Его относили в сторону и укладывали где-нибудь в той же комнате, где шла пирушка. Час спустя он приходил в себя и вставал. Затем опять в самый разгар пения или танца с ним повторялось то же самое, перед концом пирушки он исчезал, а когда гости начинали расходиться, вновь появлялся с небольшим кувшинчиком в руках. В этом кувшинчике он приносил вскипяченный со сливками горячий чай и поил музыкантов и певцов, приговаривая: «Это придаст вашим голосам еще большую силу и сделает их еще более приятными».

БУХАРСКИЕ ГУЛЯКИ

Во время посещения пирушек я знакомился с населением Бухары и ее окрестностей. Чаще всего мне приходилось здесь встречаться с ремесленниками, конюхами, возчиками, разносчиками воды, рабочими по постройке домов, плотниками и другими простыми тружениками. Это были скромные, приветливые люди. Конечно, не все из их среды устраивали или посещали пирушки, но те, которые участвовали в празднествах, почти всегда оказывались разговорчи-

выми, находчивыми людьми. Многие из них, несмотря на свою неграмотность, пели и читали наизусть стихи. Речь их всегда была двусмысленна, а брань выражалась намеками или иносказаниями.

Например, если один из них болтал глупости, то другой говорил: «Не залетай высоко, свалившиеся с высоты не могут подняться с места!». Если кто-нибудь совершал непристойность, ему говорили: «Сиди спокойно, а не то я из твоего рта сделаю старую калошу!». (Раньше, до того как распространились калоши, в подобном случае говорили «кафш», т. е. местные кожаные калоши. Когда жители Бухары увидели старые резиновые калоши, то сочли это слово более подходящим).

Одни из них слагали стихи в честь отличившихся танцоров или певцов, другие же бросали им в голову чашки, тарелки и даже кувшины, чтобы выразить свое бурное восхищение, и нередко наносили увечья.

В отношениях с людьми любители празднеств держались великодушно. Если к ним в гости приходил какой-нибудь парень из отдаленного квартала, то после пирушки они провожали его домой, чтобы ему не причинили зла люди миршаба или разбойники. Ради друзей гуляки не жалели своей жизни, а с врагами были беспощадны, но благородны. Если между одним из них и каким-нибудь проходимцем и буяном возникала вражда, они безжалостно расправлялись с противником. Если же вражда возникала между двумя честными людьми, то вопрос решался единоборством, подобно дуэли у европейцев. Разница была лишь в том, что у европейцев дуэль пользовалась распространением среди аристократов, а единоборства в Бухаре устраивались ремесленниками-гуляками или силачами. Достаточной причиной для единоборства, так же как и дуэли, считалось оскорбление чести, пренебрежительное отношение или даже просто непризнание силы одной из сторон.

Общим прозвищем этих людей было «гуляки» (олуфта), но различали их по одежде. Молодые люди, носившие звание учеников, надевали кожаные калоши на высоких каблуках без ичигов, чалму повязывали не туго и оставляли у нее короткий конец (как мышиный хвост). Подпоясывались они небольшим платком. На пояс они

вешали пару небольших ножей. Гуляки-ученики носили закрытую рубашку с вязаной тесьмой. Прозвище их было «нимтайёр» — «полуготовые». Когда они овладевали искусством разбивать чужие головы, ноги, колени и опережали в борьбе своих сверстников, им давалось прозвище «тайёр» — «подготовленный».

«Подготовленные» носили сапоги на высоких каблуках, повязывались куском материи, на него вешали обоюдоострый нож с лезвием в пол-аршина. Они надевали «халат-рубашку» [1] и оставляли ворот открытым. Конец чалмы «подготовленные» отпускали немного длиннее, чем у молодых, самую чалму повязывали наподобие корзины, т. е. так ее закручивали на голове, что она напоминала сплетенную из прутьев корзину.

Самое высшее прозвище у них было «муж мужей». Обычно его присваивали в определенный промежуток времени не более чем одному человеку. «Муж мужей» носил кожаные калоши с острыми носками без каблуков, сшитые из желтой кожи низшего сорта, без ичигов. Чалму он повязывал небольшую и оставлял, подобно афганцам, длинный конец. Зимой и летом «муж мужей» ходил в «халате-рубашке» с постоянно расстегнутым воротом, талию повязывал поверх халата дешевым носовым платком, на который вешал перочинный нож в футляре.

Клятвой гуляк было «саттор». Если какой-нибудь гуляка говорил: «саттор, я это сделаю», — то, хоть бы обещанное стоило ему головы, он должен был сдержать свою клятву. Если же он нарушал клятву, то его изгоняли из среды гуляк и давали кличку «бесчестный».

«Подготовленные» считались кандидатами в «мужи мужей». Если «муж мужей» умирал или совершал проступок, противоречащий кодексу чести гуляк, и его изгоняли из их среды, то на его место избирали того из «подготовленных», кто превосходил всех в благородстве, не имел себе равных по силе и не замечен был в воровстве или хулиганстве.

---

[1] «Халат-рубашка» — обычно это был легкий халат без подкладки. Под воротником изнутри пришивали другой воротник, подобный вороту на рубашке, его можно было носить открытым и застегивать на пуговицы. Если его застегивали, то казалось, что под халатом имеется рубашка. (*Примеч. автора*).

Иногда случалось, что между «подготовленным» и «мужем мужей» происходила борьба. Если победу одерживал «подготовленный», звание «муж мужей» переходило к нему, если же «подготовленный» оказывался побежденным, то он навсегда изгонялся из среды гуляк. Изгонялся за то, что, не обладая достаточной силой, осмелился проявить по отношению к «мужу мужей» неуважение. Иногда драки происходили и между «подготовленными». Когда побежденный сдавался победителю, он сохранял за собой право называться «подготовленным». Если же он отказывался признать себя побежденным, то его изгоняли из среды гуляк.

ДРАКА МЕЖДУ МАХДУМОМ-МУХАММАДИ И БАРНО-ТАЙЕРОМ

В те годы, когда я жил в медресе Бадал-бек, «мужем мужей» бухарских гуляк считался Махдум-Мухаммади из квартала Моркуши. Ему перевалило уже за пятьдесят лет, но, несмотря на это, в его черной бороде не проглядывало ни единого седого волоска. Это был среднего роста, сухощавый человек со смуглым лицом, густыми бровями, черными большими блестящими глазами.

Он работал подмастерьем в одной из шелкоткацких мастерских Джуйбора. Шелкоткацкие станки обычно стояли в темном и сыром помещении, а ткач во время работы сидел по пояс в яме, все это не могло не сказываться на его здоровье. Махдум-Мухаммади занимался шелкоткачеством с детства, всегда был бледен, вял и, подобно чахоточным больным, казался немощным.

Изнурительный труд не обеспечивал ткачам даже пропитание. Каждую неделю подмастерье должен был сдавать определенное количество шелка без брака и получал за него мизерную плату. Ткачи, так же как и другие ремесленники, работавшие в чужих мастерских, почти целую неделю трудились с утра до глубокой ночи и спали в помещении мастерской. Лишь в середине дня в четверг они освобождались от работы и отправлялись по домам или на гулянье. В пятницу вечером ткачи были обязаны снова явиться в мастерскую и приступить к работе.

Когда наступало прохладное время года, подмастерья бухарских мастерских встречались и беседовали в чайных на площади Ляби-

хаузи-Девон-беги. По четвергам вечером они собирались группами у одного из своих товарищей и устраивали вечеринки или пирушки. Пятничный день ремесленники проводили в прогулках по городу, а если стояла хорошая погода, то выходили за город, в сады или луга.

Махдум-Мухаммади в последнее время не принимал участия в таких прогулках, вечеринках и пирушках. После работы он шел из мастерской прямо домой. Двор его состоял из четырехугольного прохода, над которым была возведена небольшая мансарда.

Махдум-Мухаммади не имел ни жены, ни детей и жил в мансарде со своей старшей сестрой — вдовой. Дома он обычно просил сестру приготовить для него что-нибудь горячее. Если была плохая погода, подмастерье забирался в свою мансарду и там спал и отдыхал от усталости, накопившейся за неделю, а если день выдавался хороший, шел на берег бассейна Гозиён, находившегося в одном квартале от его двора.

У бассейна Гозиён росло много деревьев, всегда был свежий и чистый воздух, но поблизости отсутствовали чайные. Поэтому Махдум-Мухаммади приносил с собой из чайной у базара Гозиён чайник чая, садился на ступеньках бассейна и, если время стояло теплое, опускал ноги в воду до колен. Возле себя он расстилал платок и клал на него разломанную на куски горячую лепешку. Время от времени Махдум-Мухаммади съедал кусок лепешки, запивал ее чаем и погружался в думы. Однако о чем он думал — никто не знал: о своей ли работе, о жизни или, предаваясь воспоминаниям о прошлом, радовался и грустил.

Если поблизости показывался кто-либо из хороших знакомых или приятелей, он подзывал его к себе, наливал ему пиалу чаю и две-три минуты неохотно с ним беседовал, а как только оставался один, снова глубоко задумывался.

Однажды, когда Махдум-Мухаммади сидел на ступеньках бассейна Гозиён, к нему подошел глава цеха сапожников,[1] живший по сосед-

[1] В Бухаре ремесленники одной профессии объединялись в цехи. Каждый цех имел своего главу, бобо, и его помощника — пойкора. Бобо исполнял обязанности старшины, а «пойкор» в случае нужды собирал всех ремесленников. (*Примеч. автора*).

ству, сел рядом с ним и стал жаловаться на местных головорезов; старшина рассказал, что, когда его брат идет на базар, они издеваются над ним и совершают различные непристойности. Он просил Мухаммади обуздать хулиганов, чтобы они больше не осмеливались трогать его брата.

— У меня нет привычки ходить на площадь Ляби-хаузи-Девонбеги, — ответил Махдум-Мухаммади, — но ради вас я сейчас же туда отправлюсь. Скажите вашему брату, чтобы он следовал за мной. Тем самым рты хулиганов окажутся закрытыми, а руки связанными.

Тотчас же приходит брат старшины сапожного цеха и отправляется вместе с Махдумом-Мухаммади; Махдум движется впереди, а тот — на несколько шагов позади. Махдум-Мухаммади минует кварталы Чорхарос, Говкушон, Сесу, мануфактурный ряд, купол Саррофон и выходит к площади Ляби-хаузи-Девон-беги с юго-западной стороны. Затем он делает круг по берегу бассейна на площади и, покинув ее с северо-западной стороны, спешит далее через торговый ряд продавцов чая, базар пряжи, базар парфюмерии и пряностей, базары урюка, изюма и тыкв. Оставив за собой купол Ходжа-Мухаммади Паррон, «муж мужей» выходит в слесарный ряд, отсюда он направляется к бассейну Гозиён через кварталы Сиёхкорон, Модарихон, Бозори-нав, Мухаммади-Газзоли и Даббиён. Брат старшины цеха возвращается домой, а Махдум-Мухаммади садится снова на берегу бассейна.

Среди гуляк и хулиганов немедленно разносится слух, что брат старшины сапожного цеха находится под защитой Махдума-Мухаммади. С этого времени ни один из них не только не позволяет себе чего-нибудь дурного по отношению к брату старшины цеха, но даже не решается смотреть в его сторону.

* *
*

В квартале Понобиён [1] жил в те годы мастер по постройке глинобитных домов Барно-тайёр.

[1] Поноб — деревня в низовьях тюменя Ромитан. Малоземельные или безземельные крестьяне этой деревни были строительными рабочими, мастерами

Это был человек лет двадцати восьми или тридцати, высокого роста, с длинными мускулистыми руками, полный и плотный. Его белое лицо покрывала рыжеватая борода, брови и волосы имели такой же красноватый оттенок, а в карих глазах часто загорались искры вспыльчивости и гнева.

Согласно своему прозвищу «тайёр» — «подготовленный», он носил сапоги на высоких каблуках и корзиноподобную чалму с коротким концом. По силе Барно-тайёр считался первым среди «подготовленных», и те без спора признавали его превосходство. Он стоял ниже Махдума-Мухаммади, но зато горячая натура, жажда славы и самоуверенность обеспечивали ему несомненное преимущество по сравнению с «мужем мужей». Барно-тайёр стремился к ссоре с Махдумом-Мухаммади, надеялся победить его в схватке, стать «мужем мужей» и занять самое высокое положение среди бухарских гуляк.

Покровительство, оказанное Махдумом-Мухаммади брату старшины сапожного цеха, давало в руки Барно-тайёра повод, которого он долго искал. В одном из домов в квартале Гозиён тогда как раз праздновалась свадьба и была устроена пирушка. На пирушку явился Барно-тайёр со своими людьми. Пришел туда вместе с другой молодежью своего квартала и брат старшины сапожного цеха.

Во время пирушки Барно-тайёр, улучив момент, обратился к брату старшины цеха сапожников:

— Братец, не гордитесь особенно заступничеством Махдума-Мухаммади. Он состарился и потерял силу, говорится ведь: «Время Фархада прошло, наступило время Меджнуна». Теперь настало время других.

Весть об этом на другой же день дошла до Махдума-Мухаммади. Согласно обычаям гуляк, слова Барно-тайёра считались вызовом на драку. Махдум-Мухаммади не мог оставить их без ответа, потому что в таком случае оказались бы растоптанными его достоинство и честь человека, в течение сорока лет принадлежавшего к сообществу гуляк.

по сооружениям из глины. Самые искусные из их числа перебрались в Бухару, основали здесь квартал и назвали его по имени своей деревни — Понобиён (Поёнобиён). Известный узбекский строитель Усто-ходжа Ширин происходил из этого квартала. (*Примеч. автора*).

* *
*

В первый же четверг после пирушки Махдум-Мухаммади отправился на площадь Ляби-хаузи-Девон-беги, сел на одну из широких деревянных кроватей в чайной, поставил перед собой чайник и принялся в одиночестве пить чай. Вскоре появился Барно-тайёр. Он подошел к Махдуму-Мухаммади, с почтением приложил правую руку к груди и почтительно с ним поздоровался. После ответа на приветствие и расспросов о здоровье Махдум-Мухаммади протянул ему пиалу чая. Барно-тайёр, стоя, начал пить чай. В это время Махдум-Мухаммади задал ему вопрос:

— Когда?

— Завтра, в пятницу! — ответил Барно-тайёр.

— В какое время? — снова спрашивает Махдум-Мухаммади.

— После пятничного намаза!

— Где?

— На холме Ходжа-Мухаммада Турки-Джанди!

— Пусть бог придаст вам силы, а дух мужей окажет помощь! — сказал Махдум-Мухаммади, выслушав его последние слова.

Выпив чай, Барно-тайёр вытер край пиалы о халат на груди, отдал чашку Махдуму и сказал на прощание:

— Будьте здоровы, брат Махдум, живите долго! — и удалился.

Об этой истории я слышал от юноши, которого звали Шароф-джон, работавшего вблизи медресе Бадал-бек учеником в литейной мастерской. Шароф-джон был увлечен гуляками и очень интересовался всем, что между ними происходило. Он жил в одном квартале с Махдумом-Мухаммади и хорошо его знал.

Шароф-джон, так же как и другие мастеровые, трудился шесть дней в неделю и после окончания работы ночевал в мастерской, среди горнов и наковален. Иногда я приходил в литейную мастерскую и беседовал с ним, а иногда он являлся во двор медресе, садился возле меня и делился своими впечатлениями.

Все его разговоры постоянно вертелись вокруг гуляк. Я был очень любопытен и, желая все понять, с большим интересом слушал рас-

суждения своего приятеля. Я задавал ему вопросы и старался постичь самую суть непонятных мне мест в его рассказах.

Однажды в четверг, в двенадцать часов дня, Шароф-джон освободился от работы и отправился домой. В ту ночь он должен был ночевать у себя дома. Однако после ужина Шароф-джон неожиданно снова появился перед запертой дверью литейной мастерской. Я в это время сидел во дворе медресе. Он подскочил ко мне, сел рядом и рассказал о том, что произошло в тот день между Махдумом-Мухаммади и Барно-тайёром. Закончив рассказ, он добавил:

— Завтра на холме произойдет между ними драка. Если хочешь посмотреть, пойдем вместе.

Я согласился. На следующий день во время пятничного намаза мы с Шароф-джоном поднялись на этот холм. Здесь был мазар, с трех сторон окружавший могилу Ходжа-Мухаммада Турки-Джанди. Посредине холма находилась впадина, где во время дождей и таяния снега скапливалась вода. Впадина обычно служила местом драк и побоищ между гуляками. Мы расположились на пригорке, откуда хорошо просматривалась вся площадка. Там еще никого не было. Спустя несколько минут появился Махдум-Мухаммади, он поздоровался с Шароф-джоном, своим соседом, и поспешил дальше. «Муж мужей» спустился по склону на площадку и сел на корточки в одном из ее углов.

Затем по-одному, по-двое стали появляться зрители, так же, как и мы, прослышавшие о поединке. Постепенно они заняли все места на возвышенностях и кольцом окружили площадку. Самым последним с восточной стороны холма, где находился квартал Понобиён, появился Барно-тайёр. Спустившись на площадку, он подошел прямо к Махдуму-Мухаммади. Махдум встал для приветствия, они поздоровались и расспросили друг друга о здоровье. Затем противники сняли с себя халаты, отложили их в сторону, а сверх халатов положили чалмы.

Вслед за тем они вышли на середину площадки, скрестили на груди руки и стали друг против друга. Барно-тайёр рядом с Махдумом был похож на тополь, стоящий перед ивой. Он обратился к Махдуму:

— Начинайте, брат Махдум!

— Нет, вы!

— Вы должны начать, вы наш старший! — сказал Барно-тайёр.

— Нет, — снова возразил Махдум, — вы потребовали этой встречи, а потребовавший должен начинать первым. Таковы правила мужей!

Барно-тайёр приготовился к нападению: он откинул правую руку назад и, развернувшись, ударил Махдума по уху. Однако Махдум, подобно пню дерева, по которому ударили каблуком, не пошевельнулся, и лицо у него не дрогнуло.

После этого Барно-тайёр, сложив руки, сказал:

— Хорошо, брат Махдум, возьмите свое право!

— Нет, «подготовленный»! Говорят: *«алиф», «бе», се»!* Вы трижды должны показать свое искусство.

— Ей богу, так! — воскликнул Барно-тайёр, подтверждая слова Махдума, и приготовился ко второму нападению.

На этот раз он развернулся левой рукой и ударил Махдума по правому уху.

И на этот раз Махдум не шевельнулся. В третий раз Барно-тайёр приготовился бить ногой. На ногах у него были надеты толстые юфтевые сапоги на высоких каблуках. Ноги Махдума прикрывали лишь простые кожаные калоши, похожие на чувяки, а голени оставались голыми, как полагалось по его званию. Барно-тайёр, заложив руки за спину и скрестив пальцы, поднял правую ногу, наклонился, затем, подобно змее-стреле, сразу выпрямился и голенью ноги в сапоге, вложив в нее всю силу своего удара, ударил по голой голени Махдума-Мухаммади.

Махдум опять не шевельнулся. Барно-тайёр сложил на груди руки и приготовился получить ответный удар.

— Разрешите мне начать и берегитесь, «подготовленный»! — сказал Махдум. Развернувшись, он правой рукой ударил по уху Барно-тайёра.

Барно-тайёр, подобно тополю, подрубленному под корень, отлетел вправо и растянулся на земле. В это время из-за гробницы выскочили три человека, каждый из них держал в руках обоюдоострый обна-

женный нож; в несколько прыжков они подбежали к Махдуму и принялись наносить удары.

Махдум не был готов к такому неожиданному и подлому нападению. Секунду, растерявшись, он стоял неподвижно, затем собрался с силами, обернулся и обеими руками схватил за запястья двух нападавших, а третьего ударом ноги заставил отступить. Однако Барно-тайёр, поднявшись с земли, схватил Махдума за обе ноги и потянул к себе. Махдум получил много опасных ран и уже истекал кровью. Как только Барно-тайёр потянул его за ноги, он рухнул на землю.

Когда на Махдума напали с ножами, многие зрители с криками и воплями: «Махдума-Мухаммади убивают!» — бросились бежать по улице; наиболее смелые пытались отбить его у нападавших и не дали прикончить раненого на земле; иные зрители при виде неожиданной кровавой расправы растерялись.

Как только люди миршаба, ходившие по улицам, наблюдая за порядком, услышали о кровавом побоище, они с толпой зевак прибежали к месту преступления. Однако к этому времени Барно-тайёр и его люди убежали. Официальные лица велели зрителям поднять окровавленного, бывшего без памяти Махдума-Мухаммади, снесли его вниз на улицу и там, отыскав арбу, отправили в больницу.

* *

*

Спустя неделю я услышал, что Барно-тайёр попался и был присужден к высылке, но даже под пытками он не сознался, кто были соучастники его преступления.

Махдум-Мухаммади сорок дней пролежал в больнице, раны его зажили, и он выписался. Однако полностью он уже не смог оправиться и через два месяца после выхода из больницы умер, харкая кровью.

О его смерти сообщил мне Шароф-джон. Он взял отпуск в мастерской и пошел на похороны. Мне было очень жаль трагически погибшего «мужа мужей», и я тоже отправился проститься с ним. Перед домом Махдума-Мухаммади сидел староста квартала и еще два-три человека.

Я опустился рядом с ними на корточки, прислонившись спиной к стене, и промолвил: «Да простит его господь!», — затем провел руками по лицу.

В это время ко мне подошел кожевник Джалил, один из числа «подготовленных», известный своим участием в перепелиных боях на Регистане. Я познакомился с ним еще в доме Гафур-джон-махдума. Он сел рядом с нами на корточки, опершись спиной о стену, и заговорил:

— Махдум-Мухаммади был мужчиной и, как мужчина, всегда делал людям добро и приносил им пользу. Он никогда не лез первым в драку, а терпел до тех пор, пока чей-нибудь кулак не опускался ему на голову, тогда он наказывал врага. Да помилует его господь, и в день воскресения из мертвых пусть он восстанет среди почтенных людей! — Джалил провел руками по лицу, поднялся с места и обратился к старосте квартала:

— Я, — сказал он, — пойду и приведу ребят отнести покойника.

Мне нужно было приготовить плов моим хозяевам, поэтому я не стал дожидаться выноса Махдума-Мухаммади, поднялся и пошел вместе с Джалилом. Мы шли вместе, беседуя, до квартала Бобои-Нонкаш. Я спросил Джалила, в чем таилась причина недостойного поведения Барно-тайёра по отношению к Махдуму-Мухаммади, что противоречило этикету гуляк и явилось причиной его собственной гибели.

— Трудно стать человеком, полагаясь только на силу своих кулаков, — ответил Джалил. — Необходимо еще иметь отзывчивое сердце и не считать себя вправе причинять людям вред. Заблуждается тот, кто суетится и затевает ссоры, стремясь достигнуть высоких степеней. Только скромного человека уважают все и могут признать своим главой.

После этого философского вступления Джалил продолжал:

— С самого начала Барно-тайёр попал к нам по ошибке. Он всегда имел склонность к скандалам и дракам. Ему приходилось удерживаться от безобразий лишь ради того, чтобы стать «мужем мужей». Когда этот бесчестный человек увидел, что ему не удастся быстро достичь своей цели, он все поставил на карту. В этой игре он должен

был либо выиграть, либо проиграть. Если бы Барно-тайёр проиграл, ему безусловно пришлось бы уйти из сообщества гуляк. Тяжело оказаться опозоренным, но еще тяжелее узнать, что враг остался в живых. Он решил: «Если я погибну, то пусть погибнет и мой соперник». Барно-тайёр подговорил несколько хулиганов, которые просили бога о гибели Махдума, подлым образом привел их с собой, и они совершили это черное дело...

* *
*

После смерти Махдума-Мухаммади никто не был избран вместо него «мужем мужей». Между гуляками начались разногласия. Регистанцы предложили Джалила, участника перепелиных боев; гуляки с Чорсу выставили Авлиё-кула от района у ворот Саллох-хона. Оба эти человека постоянно соперничали в перепелиных боях; их сторонники также всегда враждовали между собой. Тогда нейтральные предложили избрать джуйборского Казок-ходжу. Однако против него дружно выступили обе спорящих стороны: «Он из рода ходжей, — говорили они, — он важничает и не может нами руководить». Поэтому избрание «мужа мужей» было отложено до тех пор, пока из среды «подготовленных» появится человек, которого все одинаково признают.

В прежнее время бухарские гуляки вина обычно не пили. Если иногда на вечеринках некоторым из них и случалось пить домашнее вино, то дело никогда не доходило до опьянения. Когда в эмирской Бухаре открылись винные лавки и появилось много водки, то гуляки постепенно научились пьянствовать. Прежнее благородство нравов в их среде уже никто не поддерживал, и многие из них стали обычными головорезами.

Некоторые из гуляк все же сохраняли свою чистоту, но их «подвиги» приобрели очень личный оттенок. Обычай посвящения в «полуподготовленных», «подготовленных» и «мужа мужей» совсем исчез.

О «подвигах» этих одиночек будет рассказано в последующих частях «Воспоминаний».

ШЕЙХ-ЛИТЕЙЩИК И ЕГО МАСТЕРСКАЯ

Медресе Бадал-бек было расположено на холме. Эта возвышенность занимала за медресе квартал на восток и продолжалась к северу еще на один квартал. На юг и на запад местность шла под уклон до самого Регистана. Три улицы, проходившие по этой возвышенности, назывались Верхними улицами.

Медресе Бадал-бек и мазар, расположенный к востоку от него и считавшийся местом, где ступала нога Кутейбы-бин-Муслима (арабского завоевателя Бухары), находились между двумя верхними улицами, которые начинались возле мечети Калон и шли снизу вверх.

В самом начале Верхней улицы, за медресе, существовал в те годы двор, ворота которого выходили на Верхнюю улицу, а задняя сторона примыкала к мазару Кутейбы. Хозяином его был Бобоходжа, по своей основной профессии литейщик, а по дополнительной — шейх. Поэтому его называли шейх-литейщик.

В дни своей молодости шейх-литейщик устроил у себя во дворе небольшой горн и занимался литьем, в то же время он называл себя «подметальщиком мазара Кутейбы» и взыскивал подношения от людей, приходивших на поклонение к мазару.

Когда шейх из двух источников, в особенности от подношений, накопил значительную сумму денег, он решил превратить свою маленькую мастерскую в большую и с этой целью, разрушив свой двор, отстроил его заново. При перестройке он прорыл во дворе землю до уровня большой дороги на Регистане, стенки выемки выложил жженым кирпичом, затем посредине этого обширного помещения поставил толстые столбы из карагачевого дерева, соорудил крышу и предназначил подземелье для литейной мастерской.

Над литейным подвалом он построил другое помещение, разделенное на внутреннюю — женскую — половину и половину, в которой находились чилля-хона и место для молитвы.

Литейщиков, не имевших собственных орудий труда, шейх ловил в свои сети и все шире развивал свое производство. Кустари, владевшие на Регистане небольшими лавчонками-мастерскими, не смогли выдержать конкуренции с шейхом, располагавшим большим капи-

талом; многие из них стали его рабочими и трудились на него сдельно.

В то время, когда я жил в медресе Бадал-бек, рядом с мечетью Калон у большой дороги было три литейных мастерских, в каждой из них работал мастер и несколько учеников, свою продукцию по сдельной оплате они сдавали шейху. Литейщики не только вручали шейху готовые изделия, но были обязаны уступать ему и учеников, ставших мастерами.

Когда Шароф-джон выучился ремеслу и достиг звания мастера, ему тоже пришлось перейти к шейху. Чтобы иметь возможность видеться и беседовать с моим другом, я стал наведываться к нему в мастерскую.

В подземелье у шейха стояли десять горнов и десять наковален. Здесь работало около сорока человек: одни раздували мехи, другие были плавильщиками, третьи — формовщиками, четвертые — сверлильщиками, пятые делали тигли. В мастерской отливались изделия из меди, бронзы, цинка, свинца, олова и тому подобных металлов. Топливом служил древесный уголь из плодовых деревьев, который выжигали и поставляли в мастерскую угольщики. Формы для литья делали из черного песка и особой огнеупорной глины, добываемой в горах. Тигли устраивали наподобие маленьких или больших бокалов. Металл размельчали по размерам изготовляемых изделий, смешивали с примесями и насыпали в тигли, затем ставили их в горн и получали необходимый для работы сплав. Расплавленный металл разливали в формы. После плавки металл терял свое старое название и получал новое — «хула».

Продукция литейной мастерской была разнообразна, но больше всего здесь изготовлялось колокольчиков для верблюдов. В старой Бухаре и за ее пределами, у кочевников в казахских и туркменских степях, в Хиве и Афганистане верблюды служили основным средством передвижения и доставки грузов. В таких условиях колокольчики считались очень выгодным товаром.

Кроме того, в мастерской из сплава металлов изготовлялись металлические части конской упряжи, кольца, молотки для ворот и дверей и многое другое.

* *
*

Шейх-литейщик, человек лет шестидесяти, был высокого роста, толстый, с белым полным лицом. В седой бороде у него еще сохранились кое-где рыжеватые волоски. Красноватые глаза старика не имели ресниц, а на широком морщинистом лбу почти совсем отсутствовали брови.

Он повязывал большую белую чалму на манер шейхов и носил халат из банораса,[1] принятый среди мулл, не выпускал из рук четки и бóльшую часть времени проводил в молельне, что-то бормоча про себя. Он не умел ни читать, ни писать. Несмотря на это, во время общих намазов, которые происходили в его молельне, он становился впереди, как имам, и руководил богослужением.

Шейх-литейщик не брал себе мюридов, но имел многих приверженцев, это были люди, приходившие поклониться мазару Кутейбы с дарами и пожертвованиями. Каждое одиннадцатое число лунного месяца он устраивал поминания — «одиннадцатидневье» в честь Гаус-уль-А'зама Абдулкодира Джилани.[2] На эти поминанья собирались участники дервишеских радений и устраивали в его молельне «джахр». Туда же приходили его приверженцы и любопытные, они «удостаивались благодати» или просто глазели.

Каждый из пришельцев приносил с собой для «одиннадцатидневья» одиннадцать тенег; это число считалось обязательным подношением по обету Гаус-уль-А'заму. Бездетные женщины в этот день тоже вручали шейху одиннадцать тенег. Часть полученных денег он расходовал на приготовление плова и угощал им собравшихся на «одиннадцатидневье», остальная сумма доставалась ему и присоединялась к его капиталам.

Показная «щедрость» шейха проявлялась лишь в том, что он бесплатно давал лекарство от глазных болезней. Это лекарство он при-

---

[1] Банорас — шелковая материя с мелкими белыми и черными цветочками на бумажной основе. Эту кустарную ткань называют также «пари-паша». (*Примеч. автора*).

[2] Гаус-уль-А'зам — один из древних мистиков. (*Примеч. автора*).

готовлял сам: брал пережженный цинк, который называют «тутиё», заливал его уксусом, просушивал и делал нечто вроде порошка. Всем, кто обращался к нему за помощью, он вручал небольшое количество этого порошка в бумажке.

Однажды, под предлогом получения лекарства, а на самом деле, чтобы увидеть вблизи шейха и познакомиться с ним, я притворился, что у меня болят глаза, и пришел к нему в молельню. Он сидел в задней части молельни, прислонившись спиной к дверце, открывавшейся в сторону мазара, на желтом молитвенном коврике, расстеленном на сложенных в четыре слоя толстых ватных подстилках, и перебирал четки. В ответ на мое приветствие он что-то пробормотал, провел руками по лицу и ответил на приветствие.

— Чем могу служить? — спросил он.

Я пожаловался на боль в глазах и попросил у него глазное лекарство.

— Бедняк всегда готов услужить беднякам! — ответил шейх и открыл стоявший возле него сундучок. Оттуда он вынул пакетик, отдал его мне и объяснил, как нужно пользоваться «лекарством».

— Ты ляжешь лицом кверху, — сказал он, — левой рукой приподымешь веко и кончиками двух пальцев правой руки насыплешь в глаза немного этого порошка со словами: «О исцелитель (т. е. Аллах), во имя имама Кутейбы излечи мои глаза!». Твоя боль скоро пройдет. — Затем шейх добавил:

— Я бедняк, все, что удалось мне получить, — проявление благости, снизошедшей на меня от подметания чудодейственного мазара святого Кутейбы. В молодости по соседству с этой обителью я имел небольшую литейную мастерскую. Однажды у меня заболели глаза, я проболел целую неделю, и никакие лекарства и снадобья знахарей мне не помогли. Тогда я взмолился к духу святого имама Кутейбы. Ночью во сне ко мне явился имам, научил меня, как приготовлять и употреблять это лекарство, и завещал давать его бесплатно страждущим глазными болезнями...

В действительности изобретение этого лекарства не принадлежало шейху. В древних медицинских книгах уже был описан способ приготовления из цинка лечебного порошка, названного «тутиё», поэтому

в литературе всякая вещь, раскрывающая глаза, сравнивалась с «тутиё».

Чтобы заставить шейха говорить, я спросил его:

— Каков был облик и одежда имама Кутейбы?

В ответ на мой вопрос шейх так расписал самого Кутейбу и его одежду, что это полностью совпало с его собственным видом.

Мне хотелось пристыдить шейха, и я с упреком сказал:

— Арабы, приезжающие ежегодно из Аравии в Бухару, все черные, кудрявые с большими глазами, и одежда их вовсе не напоминает бухарскую. А по вашему описанию выходит, что имам Кутейба ни фигурой, ни одеждой совершенно не похож на араба.

Однако на лице шейха ничего не изменилось. Подобно людям, твердо уверенным в сказанном, он мне ответил:

— Одна и та же яблоня приносит различные яблоки: одни родятся большими, другие маленькими и сморщенными, иные кривобокими или даже червивыми, и так далее. Люди одной страны тоже не всегда бывают однаковыми. Что же касается одежды, то здесь совсем нет ничего удивительного. Чтобы не отличаться от местного населения и обратить его в мусульманскую веру, имам Кутейба решил одеться по-местному.

Я опять с сомнением в голосе возразил ему:

— Разве тысячу лет назад наши предки одевались так же, как и мы сейчас?

— За тысячу лет могло ничего не измениться, — ответил шейх. Однако он понял, что меня его ответы не удовлетворяют, и повернул разговор на другую тему. Как все невежественные шейхи, побежденные в споре, он решил заставить меня замолчать.

— Если ты хочешь дожить до глубокой старости, наслаждаясь жизнью, не выражай сомнения! Сомневающиеся и невоспитанные юноши умирают молодыми, — проговорил он с налившимся кровью лицом.

Конечно, больше уже нельзя было продолжать разговор. Я поблагодарил его за бесплатное лекарство и поднялся с места. Шейх, с еще более, чем обычно, покрасневшими от злости глазами, недовольно кивнул головой и проводил меня.

* *
*

Шейх редко появлялся в своей мастерской. Он приходил лишь для того, чтобы подсчитать готовую продукцию и сложить ее в амбар. Все его рабочие были на сдельщине, поэтому они как в его присутствии, так и без него работали одинаково. Изделия своей мастерской он продавал в молельне. Покупателями его являлись торговцы вразнос. Они собирались к нему в молельню, сторговавшись, платили наличными деньгами, и шейх собственными руками приносил проданные изделия из амбара и передавал им.

У шейха не было детей. Семья его состояла из него самого и старухи-жены, занимавшейся гаданием, доход с которого добавлялся к мужним капиталам.

* *
*

Если мне хотелось посетить мастерскую шейха и увидеть Шарофджона, то я мог позволить себе это только по вечерам, когда освобождался от занятий.

В подземелье невозможно было находиться более получаса: едкий дым древесного угля, выходивший из десяти горнов, смешиваясь с острым запахом плавящегося металла, не давал возможности дышать. Тамошние рабочие до самых глаз и ушей были так густо покрыты копотью, что их лица нельзя было различить. Узнавал я их лишь по высокому или низкому росту. Литейщики сильно кашляли и сплевывали нечто черное и липкое. Гортань, глотка, легкие — все у них было забито копотью. В мастерской днем и ночью царил мрак, так как, кроме двух выходных отверстий под крышей, отсутствовали другие естественные источники света. Эти отдушины всегда были окутаны дымом, устроить вытяжную трубу в мастерской шейх не нашел нужным. День и ночь возле каждой печи и наковальни горело по одной свече местного производства. В те времена керосиновые лампы в Бухаре не вошли еще в повсеместное употребление, и муллы горячо спорили, согласуется ли употребление ламп с шариатом или нет. Так как в этом вопросе еще не существовало единого мнения,

то шейх «из осторожности» не стал заводить ламп для своей мастерской. Вонь сальных свечей, смешиваясь с дымом и запахом расплавляемого металла, создавала тяжелый угар.

Литейщики работали до полуночи, а ночью укладывались спать среди инструментов и станков, но и во сне они продолжали вдыхать вонь металла и дым, которыми всегда была полна мастерская.

Моему другу только недавно исполнилось шестнадцать лет. За две недели работы у шейха он совсем выбился из сил и с трудом мог передвигаться. Он был мастером по выделке форм и, когда работал в небольшой мастерской на воздухе, никогда не портил своих изделий, здесь же у него дрожали руки и из двух форм, к которым он прикасался, одна ломалась и рассыпалась.

Видя это, я сказал ему:

— Напрасно ты сюда поступил, тебе было лучше работать в той мастерской.

— Если бы я мог поступить по своей воле, — ответил он, горько улыбаясь, — то занялся бы каким-нибудь другим ремеслом. — Несколько раз кашлянув, он продолжал:

— Когда умер мой отец, мне было двенадцать лет. Моя мать из-за крайней нужды взяла у шейха аванс в пятьдесят тенег и отдала меня к нему в ученики. Шейх хотел сделать из меня умелого литейщика и определил на обучение к одному кустарю за пределами нашей мастерской. Этот мастер оказался хорошим человеком. За четыре года он научил меня всем видам литейного ремесла. Я хотя и ученик его, но он все же неплохо кормил меня во время работы. Однако для матери и для того, чтобы одеваться самому, мне приходилось брать у шейха авансы вперед, и мой долг достиг уже ста тенег. Теперь я вынужден здесь работать, пока не выплачу весь свой долг.

— Долг шейху — благословенный, он никогда не кончается, — сказал, смеясь, один пожилой мастер, сидевший возле нас перед наковальней и небольшим молоточком отбивавший язычки для колокольчиков. Затем, став серьезным, он продолжал:

— Я работаю в этой мастерской двадцать лет, однако долг мой не становится меньше и даже наоборот — год от года растет. Ведь оплаты за труд не хватает на жизнь, и я вынужден постоянно брать

авансы по пять-десять тенег. Вероятно, у меня крепкая душа, если я за эти двадцать лет работы среди этого смрада до сих пор не умер. А я ведь многим из молодых ребят, работавших здесь, сам подвязывал челюсти (т. е. хоронил). Шейх, вместо того чтобы прочесть в память этих несчастных поминальную молитву, до сих пор посылает им проклятья и говорит: «Они умерли, унеся мои деньги».

Слова старого мастера подтверждали кивками другие рабочие. Если бы угольная копоть не покрывала их лиц, то на них можно было бы увидеть ужас, появившийся при мысли о неизбежной преждевременной гибели. Как только Шароф-джон услышал это страшное напоминание, все тело несчастного подростка задрожало от отчаяния.

Чтобы несколько ослабить впечатление от слов старого мастера и утешить Шароф-джона, я сказал:

— Никто раньше смерти не умирает.

Старый мастер нахмурил свой черный лоб:

— Эй, деревенщина! Ну-ка, влезай на крышу своего медресе и прыгни вниз, тогда мы увидим, умрешь ты или нет!

* *
*

Шароф-джон проработал в этой мастерской шесть месяцев. День ото дня кашель его усиливался и ему становилось все хуже и хуже. Наконец он совсем ослабел, свалился и слег у себя дома. Спустя месяц прежний мастер Шароф-джона известил меня о его смерти. Я пошел на похороны своего друга. Трудно было перенести рыдания и вопли его матери. На похороны пришел также старый мастер с несколькими рабочими из мастерской шейха. Шароф-джона похоронили на холме Турки-Джанди. Обратно я шел вместе с прежним мастером Шароф-джона и старым мастером из мастерской шейха. Ранняя смерть этого юноши произвела на нас удручающее впечатление, все шли молча, не проронив ни слова. Когда мы дошли до улицы с западной стороны мечети Калон и были уже близко от дома, старый мастер вздохнул и, ни на кого не глядя, промолвил:

— Когда же подохнет наконец этот шейх-убийца, который губит нас раньше срока, до положенного каждому предела?

Снова наступило молчание. На северо-западном углу, у мечети Калон, мы расстались, и каждый пошел своей дорогой.

ПОЖАР

Спустя месяц после смерти Шароф-джона, однажды в вечер накануне пятницы, мы с Мулло-Рузи отправились на пирушку. В час ночи вернувшись в медресе, мы разошлись по своим кельям и легли спать. Я не могу сказать, сколько времени прошло, но знаю лишь, что проснулся от страшных криков многих людей, возгласы которых перемешивались со звуками ударов о медные предметы и мелким, частым грохотом барабанов. Жуткие вопли продолжались, словно я видел кошмарный сон, но я, подобно людям, находящимся во власти кошмара, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой и не в силах был встать с места. Спустя секунду я пришел наконец в себя и открыл глаза. Внутри кельи было светло, и сквозь промасленную бумагу в двери проникал яркий свет, подобный лучу солнца. Так же, как солнечный луч, который в очень ветреный день, пройдя сквозь листья деревьев, смешивается с тенью, этот свет все время двигался, а не стоял на месте.

Я оделся и выбежал из кельи на двор. На крышах келий восточного крыла медресе было полно людей. С той стороны, недалеко от медресе, появлялись дымные языки пламени и уходили в небо; подобно радуге, они были окрашены в различные цвета. Изразцы на куполах мечети Калон и медресе Мир-Араб, отражая пламя, ослепительно блестели.

Я тоже поднялся на крышу медресе. Большая улица между мечетью Калон и медресе, верхние улицы на восток и север от медресе, крыши соседних домов — все было запружено народом. С крыш и с улицы раздавались крики: «Город горит, спасайте!». На крышах изо всех сил колотили палками в медные котлы и подносы, на больших улицах ночная стража жутко била колотушками в барабаны и барабанчики.

Огонь со всех сторон охватил усадьбу шейха-литейщика. Местные жители ведрами, а водоносы бурдюками таскали воду из водоема верховного судьи, который находился на расстоянии квартала от пожарища, во впадине глубиной в четыре метра. Люди, стоявшие на крыше, брали из рук носивших воду ведра и бурдюки и заливали огонь. Вода, попадавшая в бушующее пламя, подобно воде, налитой в котел, где горит масло, еще больше увеличивала силу огня.

— Разрушьте одну сторону усадьбы и преградите огню дорогу! — кричали находившиеся на крыше медресе тем, кто стоял на соседнем доме с северной стороны усадьбы шейха. Собравшиеся там люди от ужаса перед пожаром совершенно растерялись и не знали, что делать. Наконец они пришли в себя, схватили кирки, топоры, цапки, разрушили часть двора и растащили жерди подальше от усадьбы шейха.

Таким путем опасность была устранена, и огонь уже не мог перебросится на соседние дворы. С восточной и южной сторон усадьбы шейха находился земляной мазар, а за ним возвышалось построенное из жженого кирпича медресе.

Пожар продолжался. Людей, таскавших бурдюки и ведра, становилось все больше, но вода, выливаемая в огонь, ни в какой мере не оказывала нужного действия. Настал день, еще больше прибавилось зрителей и помощников. Наконец пламя начало спадать, вероятно, из-за того, что в усадьбе все сгорело. Тогда люди притащили множество кошм, стали смачивать их водой и бросать в пламя. Постепенно огонь совершенно стих. Однако отовсюду поднимался дым, перемешанный с паром. Воду продолжали лить. В двенадцать часов следующего дня прекратился и дым; над пожарищем стоял лишь вонючий густой пар.

* *
*

Никто не знал, сколько людей погибло в этом пожаре. Все подтверждали, что в самом начале, когда пламя охватило дом шейха, оттуда вынесли его обгоревшую жену и отправили к ее родственникам. Однако о судьбе самого шейха и его рабочих никто ничего не знал, и во время пожара их не было видно.

На следующий день городские власти прислали на хашар молодых парней, и они начали кетменями раскапывать пожарище. Жилой дом и молельня шейха находились над мастерской, и все обгоревшие вещи провалились в подземелье, сложенное из жженого кирпича. Здесь с большим трудом приходилось вести раскопки. Тем не менее нужно было прокопать до самого пола мастерской, чтобы вытащить мертвецов.

Однако в мастерской, кроме обгорелого, почерневшего металла, литейного оборудования, домашней медной посуды, разбитых глиняных тарелок и тиглей, ничего не обнаружили.

Тогда стало ясно, что во время пожара, случившегося в ночь накануне пятницы, в мастерской не было ни одного мастера или рабочего. Но всех поразило то, что никак не могли найти тело шейха. Некоторые шутя, а иные простаки и серьезно говорили: «Нет ничего удивительного, если окажется, что во время пожара шейх улетел на небо».

Работавшие на пожарище оттребли в сторону золу, уголь, черную землю с того места, куда обрушилась молельня, но тела шейха все еще не обнаружили.

Во время раскопок один из парней случайно увидел отверстие в стене, прилегавшей к мазару. Здесь раньше находилась дверка, ведущая из молельни. Взобравшись на груду земли, работавшие пытались заглянуть сквозь отверстие в находившееся за ним помещение, но там ничего не было видно. Тогда приставили лестницу, зажгли свечу, поднялись к отверстию и через него вошли внутрь. Здесь оказалась небольшая комната из жженого кирпича со сводчатым потолком. Шейх прокопал холм под мазаром, устроил тайник и соединил его дверью с молельней. В этой комнате он хранил свою казну.

В задней части комнаты вошедшие увидели что-то черное. Когда они разглядели, то убедились, что это был обуглившийся труп шейха, прижавшийся к обгорелому сундуку. Оттащили тело в сторону и раскрыли сундук; там лежали почерневшие от дыма золотые и серебряные монеты.

Тогда всем стало ясно, что, как только начался пожар, шейх выскочил из дома и забрался в свою сокровищницу, надеясь спасти

сундук с ценностями. Однако от старости у него не хватило сил поднять сундук, а может быть дымные языки пламени вслед за ним проникли в тайник и не дали ему возможности вытащить сундук.

Согласно поговорке — «Дурную воду в канаву!» — серебро и золото шейха, не имевшего наследников, перешло государству, а «место, где ступал Кутейба», оказалось засыпанным золой.

* *
*

О причине пожара в народе распространились удивительные слухи. Говорили, что шейх был распутником и однажды посягнул на честь женщины, пришедшей молиться о ниспослании детей. Поэтому его-де покарал дух имама Кутейбы и сжег вместе с домом, мастерской и всем имуществом.

Однако спустя несколько недель, когда о пожаре и о самом шейхе начали понемногу забывать, я уяснил подлинную причину пожара. Как-то раз при встрече я заговорил о случившемся с мастером, у которого учился Шароф-джон. Сначала, иронически смеясь, он сказал, что причиной пожара явилось распутство шейха, а потом добавил:

— Поговорка гласит: «Пока не сгорит город, шашлык дервиша не поджарится». Что было причиной пожара, то и было, но с гибелью шейха десятки литейщиков, которые задолжали ему от пятисот до тысячи тенег и раньше срока умирали в наполненной ядовитым дымом мастерской, сразу избавились от беспросветного рабства.

— По-вашему выходит, что здесь не обошлось без его рабочих? — спросил я мастера.

— Я определенно не могу этого утверждать. Но, если ты помнишь, в день смерти Шароф-джона тот старый мастер, которого зовут Мурод-Луччак, сказал: «Когда же подохнет раньше положенного ему срока этот проклятый шейх, который приводит нас к преждевременной гибели?». Мурод-Луччак такой человек, который не признает пустых мечтаний, желания его согласуются с делом и всегда осуществляются. Он из старых бухарских гуляк. Но с тех пор, как литейщик попал в сети шейха, у него прокоптились дымом легкие

и он уже не мог больше участвовать в делах гуляк. Смерть юного Шароф-джона очень огорчила мастера, ему было жаль и самого юношу и его мать. Когда Мурод-Луччак поделился с нами своими тайными мыслями, я невольно подумал, что он собирается отомстить шейху. Весьма возможно, что все это дело его рук.

Помолчав немного, мастер продолжал:

— То, что это событие случилось в ночь накануне пятницы, когда из мастерской ушли все рабочие и печи были потушены (огонь в них обычно гасился в двенадцать часов дня), позволяет говорить, что здесь произошел умышленный поджог. Поджигатели так все устроили, что пожар вспыхнул на рассвете, когда горожане особенно крепко спали; огонь запылал сразу во всех концах мастерской и по всей усадьбе шейха.

ЖЕНИТЬБА ПОЭТА

В келье Мулло-Рузи я познакомился с поэтом Мулло-Вафо, имевшего тахаллус Вахши. Это был человек лет сорока пяти, высокого роста, худощавый, с бледным испитым лицом; волосы его черной с проседью бороды торчали во все стороны. Он не мог сидеть спокойно: постоянно двигал плечами, руками, иногда грудью, талией, иногда — коленями. Мулло-Вафо мало говорил и, перед тем как сказать хотя бы несколько слов, шевелил руками, часто мигал и дико смотрел на своего собеседника.

Многочисленные стихи его были печальны, слабы и сводились к неудачному повторению избитых траурных элегий. Раз в неделю он приходил в комнату Мулло-Рузи и приносил полную пазуху стихов, сочиненных за неделю. Читал он их подряд, слушали его или нет — не имело для него никакого значения.

За ним утвердилось прозвище «Неженатый», что казалось мне не совсем понятным. Ведь среди мулл имелось много холостых людей, но почему-то такое прозвище дали именно ему. Спросить его самого было совершенно невозможно: если при нем упоминали слово «женщина» или «холостяк», он тотчас же вспыхивал, начинал грязно ругаться и все члены его тела сразу приходили в движение.

В первую нашу встречу в комнате Мулло-Рузи во время беседы (сейчас уже не помню, о чем именно) я нечаянно произнес слово «женщина». Он сразу заволновался и, дрожа всеми членами, строго сказал мне:

— Ты молод, и от тебя еще нельзя требовать вежливости, а то бы я в наказание за такие слова вырвал твой язык! — После того как Мулло-Вафо немного остыл, он добавил:

— Если ты сумеешь стать более воспитанным человеком и проживешь долгую жизнь, вот тебе мой совет: никогда не женись!

Всякий раз, когда Мулло-Рузи надоедали беспомощные стихи его гостя, он говорил:

— Приятель, советую тебе бросить писать стихи, лучше бы ты взял себе жену и жил спокойно!

Тот вспыхивал, начинал трястись и вскакивал с места.

— Эх ты, продавец свеклы (отец Мулло-Рузи действительно был продавцом свеклы). Я пришел к тебе, считая тебя порядочным человеком, но я не знал, что на самом деле ты злой пес! — и с этими словами выходил из комнаты. Но через неделю он снова появлялся и опять начинал читать стихи.

Расспросив Мулло-Рузи, я узнал историю его приятеля. Он объяснил мне, откуда пошло прозвище «Неженатый», и причину отвращения Мулло-Вафо к женщинам. Как рассказывал Мулло-Рузи, отцом Вафо был некий Мулло-Марди-Худо из Гарма. В детстве он приехал в Бухару и здесь учился в разных медресе, но так как был беден, то не смог закончить свое образование и уехал в Гиждуван. Там в деревне Абади он стал имамом и спустя несколько лет женился. От этого брака и родился Вафо.

Вполне грамотный человек, Мулло-Марди-Худо дал хорошее образование своему сыну. Мулло Вафо несколько лет учился в медресе Гиждувана, а затем, после смерти родителей, приехал в Бухару и здесь продолжал свое учение вместе с Мулло-Рузи.

Поселился Мулло-Вафо в медресе Шодим-бий, где также проживал молодой, но уже известный поэт Шохин. Мулло-Вафо очень интересовался поэзией и литературой, поэтому вскоре подружился с Шохином. В комнате своего друга он ознакомился с собраниями

сочинений классиков и со стихами самого Шохина; начал сам писать стихи и свое имя Вафо сделал поэтическим псевдонимом. Из произведений старых поэтов Мулло-Вафо особенно охотно читал любовные стихи и под их воздействием создал в своем воображении образ верной, преданной, нежной возлюбленной и друга.

По мечтам и описаниям Мулло-Вафо, его будущая возлюбленная должна была обладать такой наружностью: стройная, белотелая, с тонкой талией, с ротиком наподобие бутона, со смугловатым лицом, с черными влажными томными глазами, опушенными длинными загнутыми ресницами, с черными изогнутыми бровями, с ушками, похожими на расцветшие тюльпаны, с длинной белой нежной шеей, длинными, до колен, черными, как вороново крыло, волосами.

Мулло-Вафо мысленно говорил ей нежности, ласкал ее, она отвечала ему с блестящими полуприкрытыми глазами, с лицом, заалевшим от смущения, с нежной, милой улыбкой. Всякий раз, когда он, взяв мысленно руку возлюбленной, покрывал ее поцелуями от кончиков пальцев до плеча, его красавица другой рукой обвивала его шею и так крепко прижимала к себе, что губы впивались в губы.

В те времена нельзя было увидеть открытое лицо женщины или молодой девушки. Поэтому Мулло-Вафо пытался во время уличных прогулок отыскать свою воображаемую возлюбленную среди женщин по их парандже и одежде. Мулло-Вафо не сомневался, что всякая женщина, которая показывалась на улице в старой парандже, стоптанных ичигах и кожаных калошах, была уродливой. Его возлюбленную следовало искать лишь среди тех женщин и девушек, которые носили шелковую паранджу и новые лакированные ичиги с кожаными калошами. Если кто-либо из таких хорошо одетых женщин или девушек оказывался поблизости и до него доносился шуршащий звук ее нового платья, особенно когда от нее исходил запах духов и мускуса, словно из цветника при дуновении ветерка, именно она казалась Мулло-Вафо его долгожданной возлюбленной, которая была ему дороже жизни. Он шел за такой женщиной следом, — правда, на значительном расстоянии, — с печалью глядя на нее, и думал: «Ах, если бы только позволяли условия, я загородил бы дорогу моей милой, поднял у нее на лице сетку, высказал ей мою любовь и, упав

перед ней на землю, прикоснулся бы своими полными слез глазами к ее пахнущим мускусом туфлям».

Мулло-Вафо пытался также отыскать свою будущую подругу по внешнему виду братьев девушек; повстречав где-нибудь хорошенького мальчика, он старался с ним познакомиться, расспрашивал его и узнавал, имеет ли тот сестру. Если оказывалось, что у мальчика была взрослая незамужняя сестра, он уже считал ее своей предполагаемой возлюбленной. Согласно известной поговорке: «Какова невеста? — Брат невесты похож на нее!» — он наделял его в своем воображении длинными черными волосами, одевал в красивое женское платье и мысленно боготворил.

Однако Мулло-Вафо не имел даже намерения посылать сватов к какой-либо из своих воображаемых возлюбленных. Все эти хорошо одетые кокетливые девушки были дочерьми баев, крупных мулл и чиновников; они не только под видом жениха, но даже как нищего и то не пустили бы его к себе на порог. «Дурные, злые соперники», о которых Мулло-Вафо читал у старых поэтов и которых он сам проклинал и ругал в своих стихах, были именно их отцы и люди, хотевшие стать мужьями девушек.

* *
*

Мулло-Вафо был беден, отец и мать не оставили ему наследства, которое могло бы хоть сколько-нибудь его обеспечить. Старые ковры и полуразрушенный деревенский дом он продал и деньги истратил еще в первые дни своей жизни в Бухаре. Заработок ему удалось найти, лишь когда он сделался старше и на лице у него появились усы и борода. Каждое лето он отправлялся в какую-нибудь деревню и становился там имамом. Все, что он получал за имамство, потом расходовал понемногу на жизнь и учение в медресе.

Однажды Мулло-Вафо устроился имамом в деревне Калти, находившейся в шестнадцати километрах севернее Бухары, к западу от вобкентской дороги. Деревня была обильна водой, воздух там тоже считался хорошим. Местные жители с ним подружились. В свобод-

ное от работы время крестьяне собирались на суфе возле мечети и, покачивая головами, выражали удовольствие и восторг по поводу чтения стихов своего имама. Он их тоже полюбил. В особое восхищение крестьяне приходили, когда Мулло-Вафо объяснял, что читает им свои собственные стихи. Ведь до сих пор они не видели грамотных имамов. А этот имам, по представлению обитателей Калти, «из самого нутра сочинял стихи» и казался им чуть ли не пророком, способным творить чудеса.

Деревенские парни-певцы просили имама научить их своим газелям, чтобы они могли на вечеринках петь новые песни и поражать слушателей. Мулло-Вафо охотно знакомил молодежь со сложенными им стихотворениями. Когда певцы пели песни имама и кончали их псевдонимом «Вафо», среди слушателей раздавался гул одобрения и восторга по адресу автора газелей и их исполнителей. Имам очень этим гордился, и успех еще больше его вдохновлял.

В Калти Мулло-Вафо нашел также и свою воображаемую возлюбленную. Это была дочь Арбоб-Наима, сельского старосты. По всем признакам девушка могла стать возлюбленной поэта Мулло-Вафо. Прежде всего Мулло-Вафо обратил внимание на ее одежду. В то время, как все деревенские женщины и девушки ходили в грязных и рваных платьях, в стоптанных туфлях, накинув на голову какой-нибудь халатик, она одна носила красную в мелкую полоску шелковую паранджу с аппликациями из тонкой кожи, лакированные калоши на высоком каблуке и ичиги с вышитыми задниками. Во время ходьбы она делала мелкие изящные шажки, выставив вперед грудь и немного покачивая головой. По словам Шохина:

«Проходила, как нежный кумир вдоль ячменного поля».

Правда, от ее одежды не исходил запах духов, мускуса или розовой воды, однако для Мулло-Вафо это не имело никакого значения. Поэт думал, что если он окажется счастливым и соединится со своей милой, то на две теньги привезет из Бухары флакон лучших духов и исправит эту беду. Основным недостатком девушки был ее низкий рост. Однако Мулло-Вафо думал: «Вероятно, причина здесь кроется в ее малолетстве; если ей теперь четырнадцать лет, то когда испол-

нится восемнадцать, она станет высокой, как кипарис, прекрасной, как самшит, и нежной, как туя».

Была и другая отрадная примета: старший брат девушки хотя и имел уже бороду и усы, но его лицо, глаза и брови хранили почти девичью красоту.

Всякий раз, когда Мулло-Вафо видел девушку на улице, его тайная любовь к ней возрастала. Однако он никогда не думал, что при жизни соединится с ней. Для чего сельский староста, владеющий большими земельными угодьями, множеством упряжек быков и бесчисленными стадами овец, отдаст свою дочь за имама, который не имеет даже жилья? На улице в присутствии прохожих поэт не осмеливался и смотреть в сторону той девушки. Ведь ничего не было бы удивительного, если бы люди по его печальным взглядам и бледности лица узнали о скрытой любви и рассказали ее отцу. Тогда, несомненно, сельский староста расценил бы поведение имама как преступное посягательство на свою честь и честь дочери и выгнал бы его из деревни. Поэтому несчастный влюбленный, страдая от разлуки, тайком бродил вблизи улицы, где жила его красавица.

Постепенно Мулло-Вафо перестал ходить по пятам своей милой. Единственным его утешением оставалось читать с чувством любовные стихи, мечтать о красавице и в одиночестве громко петь (хотя у него был очень плохой голос) три последних строфы из стихотворения Абдурахмана Джами:

Закрылся для меня надежды светлой путь,
И по твоей любви тоска томит меня.
Сраженный горестью, в углу укроюсь я,
Полой укрывшись, на колени голову склоня,
Останусь я теперь наедине с моей тоской,
Тебя любить я буду в тайне от тебя самой!

Мулло-Вафо отказался от возможности видеть свою возлюбленную на улице, он просиживал в одиночестве долгие ночи, мечтая о ней, и в его воображении возлюбленная становилась все более прекрасной. Он даже забывал о ее маленьком росте и о том, что ее паранджа, сетка и обувь были не совсем такими, как у городских

девушек. Его возлюбленная казалась ему подобной пери, которая появляется в сказках в сверкающей одежде, или гурии, дивной красавице, украшающей собой райские сады, равной которой нет на свете.

Поэт больше не мог переносить разлуку и готов был, как безумный, с непокрытой головой, стеная, броситься в пустыню. Но в это время произошло событие, после которого у него появилась надежда соединиться со своей милой, и он чуть не умер от счастья.

Однажды несколько деревенских стариков пришли в келью при мечети и после обычных приветствий сказали, что если он хочет обзавестись семьей, то они подыщут ему хорошую, честную девушку.

Мулло-Вафо подумал, что они хотят дать ему в жены одну из крестьянских девушек, которые в грязной рваной одежде, с накинутым на голову халатиком, занимаются тяжелой работой и пасут скотину. Поэтому он решительно отверг их предложение и так объяснил причину своего отказа:

— Я не закончил еще учения, поэтому не имею намерения жениться. Кроме того, у меня нет ни кола, ни двора, куда я приведу свою жену после женитьбы?

Старики возразили ему:

— Те знания, которые вы теперь уже имеете, во сто раз превышают знания мулл, закончивших полный курс. У нас были имамами муллы, которые не могли даже прочесть простой бумажки, написать с наших слов письмо или поставить свою собственную подпись. А ведь вы не только грамотны, но даже сочиняете газели. Ваше искусство привлекло к вам сердца всех мужчин и женщин нашей деревни.

Выслушав рассуждения крестьян, Мулло-Вафо подумал: «А что, если моя возлюбленная также влюбилась в меня? Тогда, если отец и не отдаст ее за меня замуж, я сам ее похищу и убегу с ней. Какой-нибудь казий нас обвенчает, и взаимная любовь сделает меня счастливейшим человеком в мире».

Старики отклонили и другую отговорку своего имама — что у него нет «ни кола, ни двора».

— Что касается вашего жилья, — говорили они, — то вы не печальтесь. Мы вас сделаем зятем такого человека, у которого есть не

один дом, когда вы женитесь, то сможете взять себе тот дом, который понравится, и будете в нем жить с молодой женой.

Мулло-Вафо подумал, что в этой деревне, кроме Арбоб-Наима, нет никого, кто бы имел усадьбу со многими домами. Все другие дворы были полуразрушены или имели одну-две постройки, напоминающие хлев: в одной из них жили все члены семьи, а в другой ставили корову с теленком. Поэтому он сказал старикам:

— Спрашивать не зазорно, кого вы прочите мне тестем?

— Все отцы, имеющие дочерей, хотели бы видеть вас своим зятем. Но мы решили дать вам тестем такого человека, который подошел бы вам. Например, как бы вы ответили нам, если бы узнали, что мы прочим вам тестем Арбоб-Наима?

Мулло-Вафо совсем потерял голову. Он не мог поверить небывалому счастью — что его воображаемая возлюбленная может стать его женой. Но про себя поэт все же подумал: «Весьма возможно, что старики шутят или дурачат меня». Поэтому он сказал им:

— Эге, кто я и кто Арбоб-Наим? Он ведь отдаст свою дочь только за того, кто равен ему и по состоянию, и по весу, и по положению. Он никогда не выдаст родную дочь за такого муллу-голодранца, как я.

— Что бы вы ни думали, — сказал один из стариков, — мы говорим правду. Староста сам послал нас к вам с этой целью. Он пригласил нас к себе, устроил угощение и сказал: «Я ни в чем на этом свете не терплю недостатка. Теперь я хочу сделать какого-нибудь муллу своим зятем и тем самым заслужить богатство и на том свете... Сколько я ни думал, не нашел никого лучше нашего имама. Поэтому я вас побеспокоил и пригласил стать посредниками между нами, чтобы он согласился взять себе в жены мою дочь. Но по некоторым соображениям не говорите ему, что это предложение исходит от меня, и сами от себя устройте это дело».

Другой старик добавил:

— О свадьбе вы не беспокойтесь, все расходы берет на себя староста, чтобы порадовать вас и свою дочь.

— Если так, — сказал Мулло-Вафо, — то отклонение предложения, исходящего от такого уважаемого и просвещенного человека, как

староста, будет проявлением невежливости и явной неблагодарностью. Передайте мое согласие и привет старосте. Я обещаю от всего сердца, что буду служить ему не только как сын, но словно раб, и выражу тем самым свою признательность.

Старики ушли. Однако Мулло-Вафо все еще не мог поверить неожиданно свалившемуся на него счастью.

«О господи, — думал он, — наяву я это вижу или во сне?». Мулло-Вафо крепко протер глаза, широко раскрыл их и долго смотрел по сторонам. «Ничего нет странного, — повторял он, — если окажется, что это сон. Господи, хоть бы мне не пробуждаться от него до дня страшного суда, чтобы больше не знать разлуки».

* *
*

В доме старосты устроили богатую свадьбу, жениху прислали свадебное угощение, поднос халвы, новую одежду и халат. Теперь уже не оставалось никакого сомнения, что счастье бедного влюбленного оказалось явью.

Сельская молодежь обрядила муллу в новое платье и, повторяя: «О, Лейли, Лейли, Лейли», — с песнями проводила его в дом девушки. После брачной церемонии и пения свадебных песен его ввели к невесте. Невеста находилась за свадебной занавеской. Как только жених взглянул на стоявшую неподвижно, закутанную в покрывало девушку, он без чувств упал на пол. Однако Мулло-Вафо вскоре пришел в себя и почувствовал всю неуместность своего поведения. Особенно он устыдился женщин, внимательно следивших за каждым его движением, и, чтобы исправить свою невольную ошибку, потерся лицом об ичиги невесты. Будто́ он не обессилел, а из уважения, по собственному побуждению упал к ее ногам.

Невеста в ответ на это движение «лирического» поэта слегка отпихнула ногой его голову. Хотя этот поступок был достаточно грубым и как будто не подходил для нежной возлюбленной, жених отнес его за счет ее неопытности и молодости и, не обидевшись, поднялся с пола. Встав рядом с невестой, он двумя руками, согласно обычаю, хотел вежливо снять покрывало с ее лица, чтобы как можно скорее

увидеть ее ослепительную красоту и увлажнить свои глаза, источавшие кровь во время разлуки.

Однако невеста обеими руками так крепко прижала покрывало к лицу, что у жениха не хватило сил приподнять его. Он решил про себя: «Лучше что-нибудь, чем ничего» — и удовлетворился поцелуем ее руки.

На следующий вечер один за другим в мечеть начали собираться все жители деревни и поздравлять имама. Сваты и некоторые парни после поздравлений спросили его, какова молодая жена. Он постеснялся признаться, что не смог открыть лицо невесты и увидеть ее. В ответ он расписал возлюбленную так, как представлял в своем воображении.

Однако слушатели, в особенности молодые, только иронически улыбались. Вечером ему, наконец, удалось увидеть невесту. Но, увы, лучше бы никогда это не сбылось. Увидев ее, он едва не умер от горя. Все ее лицо было в оспинах и безжизненно, как у покойника; тусклые, словно сделанные из бутылочного стекла глаза и маленький вздернутый нос довершали облик его жены. Ее грудная клетка до самой ключицы была искривлена от какой-то неведомой болезни и выступала вперед, а голова откинута назад и все время качалась. Причиной маленького роста также оказалась болезнь, а не малолетство. По силе, заключенной в руках, было ясно, что ей никак не меньше двадцати пяти лет.

Мулло-Вафо сразу же покинул дом невесты и пошел по направлению к Бухаре. Здесь он остановился в медресе Шодим-бий, где учился в молодости, нашел келью и стал жить холостяком. Но свободная холостяцкая жизнь Мулло-Вафо ничем не напоминала времена его юности: теперь у него совсем исчез интерес к любовным стихам, и он больше уже не думал о воображаемой возлюбленной. Он по-прежнему охотно читал стихи, но предпочитал такие, содержание которых сводилось к жалобам на судьбу, на тяжелые времена, на отсутствие счастья.

Мулло-Вафо снова принялся сочинять стихи. Они напоминали траурные элегии. Поэт сетовал в них на свою горькую долю и говорил об отсутствии верности на свете.

Теперь Мулло-Вафо вел себя дико, сторонился людей; в особенности он боялся женщин, и даже не выносил простого упоминания о них. Во второй период поэтического творчества он взял себе новый поэтический псевдоним — «Вахши».

Вот почему беспечные люди прозвали Мулло-Вафо «Неженатый», а он убегал от их злых шуток, как от змеи, и вообще не мог слышать слова «женщина».

КРАЖА

В начале 1894 года в медресе Бадал-бек я потерпел большой ущерб, если не забывать о моем тяжелом положении в то время. У меня в келье хранилось несколько книг. Здесь был «Махмуд и Аёз» — небольшой сборник стихов, нужных при игре в бейты (о том, как он попал ко мне, было рассказано во второй части «Воспоминаний»), и «Избранные газели Навои», переписанные рукой отца. Из учебных книг имелась «Кофия», которую мне дал во временное пользование муэдзин медресе Олим-джон, кулябец Абдулфаттох, а также «Шархи Мулло», принадлежавшая Зухур-махдуму. Однажды я взял «Шархи Мулло» и с книгой в руках пошел к больному чахоткой Аллом-махдуму, чтобы его проведать (состояние здоровья у него ухудшалось), а также повторить урок.

Ночь я провел возле больного, утром, вернувшись к себе в келью, увидел распахнутую настежь дверь. Сначала мне показалось, что когда я уходил, то забыл ее запереть. Но лишь только я вошел в келью и зажег свечу, как сразу же убедился, что пропала книжечка стихов для игры в бейты, а с ней вместе «Избранное из Навои» и чужая «Кофия».

Теперь уже не оставалось сомненья, что какой-то бессовестный человек открыл дверь моей кельи и унес книги. А ведь за них в базарный день нельзя было выручить и пяти тенег. Однако для меня обе эти книги являлись бесценным сокровищем, а что касается «Кофии», то за нее мне предстояло краснеть.

Вместе с тем я благодарил бога за то, что, к счастью, взял с собой полученную на подержание «Шархи Мулло» и что у меня в келье

не оказалось хороших подстилок или одежды, которые мог бы украсть вор. Однако с каждой минутой огорчение мое все больше увеличивалось и сильнее беспокоила мысль о том, что я скажу Мулло-Абдулфаттоху. Он был скрягой, а кроме того, очень грубым человеком. Денег, необходимых на покрытие стоимости книги, я совсем не имел.

Мое предчувствие скоро оправдалось: еще не взошло солнце, как в медресе явился Мулло-Абдулфаттох. Я в это время кормил больного. Абдулфаттох вошел к нам с дрожащими губами и без всякого предисловия грубо закричал:

— Отдай мою книгу!

Я едва не лишился сознания. Потом меня охватило недоумение: откуда он раньше всех мог узнать о вчерашней пропаже?

— Ладно, — ответил я, — вот только немного успокою больного, пойду в келью и все вам объясню.

— Я не хочу слушать никаких объяснений, мне нужна моя книга! — заорал он еще громче и грубее.

Я не счел возможным продолжать разговор с этим упрямым человеком, быстро встал и вышел из кельи. Он последовал за мной. Во дворе медресе я сказал ему:

— Произошла очень неприятная история, только что ограбили мою келью, а ваша книга находилась среди моих книг. Я готов возместить вам ее любым способом, какой вы укажете...

Он еще более повысил голос и с пеной у рта стал вопить:

— Я знаю, что ты где-то ее спрятал и хочешь присвоить себе. Ты сам вор, других воров здесь нет. Если ты не отдашь книгу по доброй воле, то я отберу ее у тебя силой! — С этими словами он метнулся к сушившимся во дворе медресе дровам, схватил палку и бросился на меня. Я побежал, а он погнался за мной. Однако я был проворней его. Я бежал вокруг двора, он же безуспешно старался меня догнать.

Во двор вышли все обитатели медресе. К Абдулфаттоху спокойно обратился Зухур-махдум:

— Приятель (муэдзин вместе с моим старшим братом и Зухур-махдумом брал уроки у домулло Икрома), успокойтесь, заходите ко мне в келью! Мы постараемся все уладить.

Но тот ничего не слушал. Среди учеников находился человек по имени Мулло-Бобо-Мурод из деревни Дехнави-Абдулло-джон, он тоже учился вместе с моим братом и Абдулфаттохом. Мулло-Бобо был низенького роста, горбатый, но слыл известным силачом. Со словами поговорки: «И медведь может стать муллой с помощью палки» — он преградил дорогу Абдулфаттоху. Взбешенный муэдзин попытался ударить его палкой по голове. Но тот изловчился, обеими руками схватил длинного Абдулфаттоха за талию, покружил у себя над головой и бросил на выложенный жженым кирпичом двор медресе. После короткой расправы Бобо-Мурод отпустил своего буйного соученика.

Однако здесь находились еще уроженцы деревни Дехнави-Абдулло-джон, одни из которых учились с родственниками моей матери, а другие — со мной. Они не дали Абдулфаттоху подняться на ноги, навалились на него и стали избивать его кулаками и ногами. Он орал, как медведь под палкой.

В это время в медресе пришел мой старший брат, он каждый день заходил за Зухур-махдумом, и они вместе шли на занятия. Увидев все происходящее, он отогнал учеников от Абдулфаттоха. Теперь «дикий медведь» стал опять «муллой» и успокоился. Брат поднял его с земли и отвел в келью Зухур-махдума. Абдулфаттох шел медленно, опустив голову, ни с кем не говоря и ни на кого не глядя. При каждом шаге он потирал свои синяки, полученные при побоях.

В келье Зухур-махдума брат занял у хозяина две теньги и отдал их Абдулфаттоху. Тот, выпив чай, выразил свое удовлетворение и вместе с ними отправился на занятия. Однако по пути в медресе он старался не появляться впереди Мулло-Бобо-Мурода и все время опасался, как бы тот снова не надавал ему тумаков.

* *
*

Обитатели медресе утверждали, что совершенная у меня кража — дело рук самого Абдулфаттоха. В подтверждение своих слов они приводили такие доказательства: до этого времени в медресе никогда

не слышали о воровстве, как же могло случиться, что он, проведав о случившемся в дальнем медресе, пришел туда рано утром требовать свою исчезнувшую книгу? Можно не сомневаться, что он сам утащил ее вместе с другими книгами, спрятал где-нибудь, а потом явился требовать возмещение.

Однако я этому не мог поверить и думал про себя: «Неужели человек, имеющий десять тысяч тенег наличными деньгами, ради того чтобы добыть преступным путем две теньги, совершит такую подлость и настолько унизит себя?».

Когда я получше узнал жизнь, то понял, что скупец, особенно если он ростовщик, чем сильнее богатеет, тем делается более жадным и низким. Ради того чтобы добыть самую малость, он не остановится перед любым преступлением и подлостью. Тогда я перестал сомневаться, что вором был сам Абдулфаттох.

ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД

Летом 1894 года состояние больного ухудшилось. Брат Аллом-махдума и родственники решили послать его на жаркое время в деревню, чтобы он подышал свежим воздухом. Возможно, думали они, перемена климата принесет ему пользу. С этой целью брат больного поехал за город и выяснил, что в деревне Деших сад одного из близких друзей отца подходит для больного. Вернувшись, он взял нас и перевез туда. Деревня находилась на берегу канала Деших, была обильна водой и обладала хорошим климатом. Мы поселились в теневой стороне сада, в мехмон-хоне; перед ней был разбит цветник, за цветником находился бассейн, а в стороне от него — плодовые деревья и виноградник.

Перед бассейном я соорудил очаг, на котором готовил завтрак и ужин и кипятил чай. Кроме того, за садом, на берегу канала Деших, под тенистыми ивами я устроил суфу, а около нее также сделал запасной очаг.

Днем, в самое жаркое время, мы сидели на суфе, устремив глаза на протекавшую воду, там же я готовил обед. По другую сторону канала раскинулись огороды, на которых росли морковь, лук, капуста;

виднелись бахчи с дынями, арбузами, маленькими круглыми дынь-ками и тыквами. Все это радовало глаза.

Я написал тогда следующее двустишье:

У пашни — ивы тень, склонившейся к ручью.
Чудесное местечко, здесь словно сад в раю.

Через много лет, в 1908—1910 годах, я составил «Книгу для чтения» и написал для нее поэму под названием «Объелся». Тогда я снова обработал эти стихи и включил их в книгу; она называлась «Тахзиб-ус-Сибьён» — «Воспитание юношества».

Утром и вечером мы сидели в саду около бассейна, а ночью спали на суфе возле мехмон-хоны, перед цветником.

Хозяин сада, которого звали Нур-Мухаммад, был человек лет шестидесяти со смуглым лицом, круглой черной бородой с небольшой проседью и черными блестящими глазами, которые всегда печально смотрели из-под его широкого морщинистого лба. Поверх заплатанных штанов он носил очень рваный рабочий халат, наполовину стеганый на вате и подпоясанный веревкой; грудь его была голая, а сквозь дыры халата просвечивало смуглое тело. На ногах он ничего не носил, пальцы, подошвы, пятки у него постоянно были грязные, потрескавшиеся. Его ноги выглядели так, как если бы их сделали из черной глины, высушили на огне и во всех местах проступили швы формы. Руки этого человека с широкими ладонями и длинными пальцами сплошь покрывали мозоли от сбора хлопка, казалось, что они усеяны бородавками.

Нур-Мухаммад имел трех сыновей, старшему из них было приблизительно лет тридцать, среднему лет двадцать пять, а младшему лет восемнадцать-девятнадцать. Двое из них были женаты. Старший сын имел трех дочерей в возрасте от восьми до двух лет. У второго сына подрастал двухлетний мальчик, а младший сын еще не успел жениться. Дети и внуки Нур-Мухаммада по внешнему облику и одежде ничем от него не отличались, цвет лица и тела у них тоже был смуглым. Разница между ними состояла лишь в возрасте.

Нур-Мухаммад владел двумя танобами сада; одна сторона сада была отведена под внутренний и внешний дворы; двери из мехмон-

хоны и жилых комнат внутреннего двора выходили в сад. За садом на берегу канала Деших находилось восемь танобов пахотной земли, которые также принадлежали их семье. В их владении было также небольшое количество скота: дойная корова, пара рабочих быков и один осел.

Семья Нур-Мухаммада состояла из работящих и постоянно занятых людей. После короткой летней ночи они уходили на рассвете в поле, забрав с собой кетмени, серпы и цапки для полки овощей. Когда всходило солнце и становилось жарко, они возвращались домой, завтракали, но вместо того, чтобы отдыхать, принимались снова за работу в тенистых местах сада. Вечером они опять отправлялись на поле и работали там до темноты.

Старший сын Нур-Мухаммада, в обязанности которого входила пахота, в десять часов вечера запрягал быков и пахал до восхода солнца.

Закончив пахоту и поев, он принимался работать кетменем и серпом. Ему не нужно было выходить лишь на предвечерние работы, и до начала пахоты он спал.

Младший сын большей частью возил на осле в город фрукты и овощи и ежедневно успевал обернуться раза три-четыре.

Земли по берегам Деших, в том числе земли Нур-Мухаммада, считались «милки хур» — частным владением, и с них не уплачивался налог. С земли взимались лишь сборы на общественные нужды: на поддержание в порядке арыков и каналов Шахруд, Дуоба и на ремонт городской цитадели. Подобные расходы для жителей этих обильных водой плодородных мест не составляли особенных тягот. И вместе с тем все члены семьи Нур-Мухаммада были либо совсем раздеты, либо очень плохо одеты и совершенно разуты. Не видел я у них никогда и горячей мясной пищи. Они довольствовались лишь молоком от своей коровы и тем, что из него удавалось приготовить, да хлебом, добытым крестьянским трудом.

Сначала я думал, что Нур-Мухаммад и его сыновья были очень скупы и все, что получали от своего хозяйства, не ели и не носили, а прятали про запас. Однако поведение членов этой семьи опровергало мои мысли. Если мы приглашали кого-нибудь из них разделить с нами

трапезу, он немедленно отказывался и со словами: «Спасибо, кушайте на здоровье, я только что ел», — уходил.

Всякий раз, когда варили плов, мы посылали миску с угощением на женскую половину. Конечно, больше этого мы не могли давать, но мне было неудобно, и я думал: как же члены такой большой семьи делят одну миску плова между собой?

Однажды мною овладело любопытство, и я спросил у пятилетней внучки Нур-Мухаммада:

— Тебе дали того плова, что я принес?

— Да, — ответила девочка.

— А сестренке и младшему брату тоже дали?

На этот вопрос девочка ответила так, что больше уже не было нужды в других вопросах.

— Взрослые не ели. Дедушка все дал мне, сестренке, братишке и Акбару (мальчику среднего сына Нур-Мухаммада).

Все это свидетельствовало о том, что Нур-Мухаммад и члены его семьи не были скупыми и любили своих маленьких детей.

* *
*

Однажды я имел продолжительную беседу с Нур-Мухаммадом и уяснил истинное положение его семьи.

Как-то раз утром Нур-Мухаммад в своем рабочем халате вышел из дома и целый день его нигде не было видно — ни во дворе, ни на поле. Наступила тихая лунная ночь. Выпало много росы. Кашель больного усилился. Я ввел его в комнату, уложил и, поднявшись на суфу, стал смотреть на тринадцатидневную луну, обливавшую своим молочным светом суфу и цветник. Мне даже казалось, что луна светит специально для меня; деревья, переплетавшиеся ветвями на берегу бассейна, и сад оставались в тени.

В это время кто-то, кашляя, вошел в ворота и приблизился ко мне. Это был Нур-Мухаммад.

— Дядя! Я вас сегодня нигде не видел, куда вы уходили? — спросил я его.

— Эх, всё хлопоты, сынок, — ответил он, подойдя ближе и усаживаясь с края суфы. Он опустил ноги и добавил:

— Я ходил в Гала-Осиё, в канцелярию помощника казия.

— А что случилось? Какое у вас было дело? — снова спросил я его.

— Что может быть в канцелярии? Ссоры и споры!

— Какие же споры?

— Эх, сынок, не спрашивайте! История моя очень длинная, а боль моя неизлечима. Когда вы это услышите, у вас лишь разболится голова, а сами вы расстроитесь.

— Я люблю послушать о житейских невзгодах. Если вас не очень затруднит, пожалуйста, расскажите, я послушаю.

— Этот сад, двор и пахотные земли, что вы видите, достались мне в наследство от отца и дяди. Отец мой и дядя — оба работали, как дьяволы. Они не ведали усталости. Мне приходилось работать вместе с ними, но я успевал также и развлекаться. Я познакомился с озорными студентами медресе и разгульной молодежью из числа сыновей духовенства. Отец вот этого вашего господина (он сделал знак в сторону больного, спавшего в комнате) в то время был моим другом. Он любил повеселиться — по два-три раза в лето вместе со своими приятелями, захватив с собой музыкантов, они устраивали пирушки в моем саду; я также иногда ездил к ним и ел у них студенческий плов.

Нур-Мухаммад помолчал немного, грудь его вздымалась; откинув голову назад и устремив взгляд на луну, он тяжело вздохнул и продолжал:

— Ах! Прошло то время, те дни больше не вернутся, я их больше не увижу, и мои несчастные дети тоже не увидят такие дни...

Понемногу голос моего собеседника начал дрожать и затихать. Когда он выговаривал слова, чувствовалось, как пересохло у него в горле. Я понял, что он хочет и пить и есть, поэтому раскрыл поскорее лежавшую на суфе скатерть с лепешками и расстелил перед ним. Налив из чайника, закрытого платком, пиалу теплого чая, я протянул ее старику. Он съел два или три кусочка лепешки, выпил чай и продолжал:

— Я был единственным сыном у своих родителей. Мой дядя детей не имел, поэтому я и для него тоже являлся сыном. Пришло время, и меня женили. Отец и дядя умерли, моя мать и тетка тоже умерли. Все их имущество досталось мне. Старший сын стал мне помощником. Мы возродили дьявольский труд наших отцов и еще лучше обработали сад. Из садов городских баев и из эмирского сада я привез саженцы ценных плодовых деревьев, посадил их, вырастил и затем привил их ветки к дичкам своего сада. Жили мы спокойно. Это верно, что когда я обзавелся семьей, то перестал ездить на пиры и сам пиров уже не устраивал. Крестьянская работа и садоводство радовали меня больше любого пира. Я никогда не уставал от работы. Но так продолжалось недолго: нужно было женить старшего сына. Появились посредники, сваты, за дело взялись старый и малый, назначили очень большой махр и потребовали много денег на расходы по свадьбе. Между помолвкой и свадьбой определили срок в три года. В течение этих трех лет на подарки невесте в каждый религиозный или народный праздник у меня уходило столько, сколько отец истратил на мою женитьбу. Свадьба сына мне обошлась в десять тысяч тенег, из которых три тысячи пришлось занять. Этот заем я сделал у одного ростовщика из Гала-Осиё и за три тысячи тенег ежемесячно уплачивал проценты по семьдесят пять тенег. Такая сумма в то время, когда нимча винограда стоила один пуль, была для меня очень значительной. В этот момент у меня появился один «благодетель», которого зовут Аловуддин-Говджигар...

— Постойте, — вскричал я, прервав речь Нур-Мухаммада, — этот Аловуддин-Говджигар — не тот ли человек, который торгует в городе чаем?

— Именно он, у него есть лавчонка перед медресе вашего господина.

АЛОВУДДИН-ГОВДЖИГАР

Я на самом деле знал Аловуддина-Говджигара. Против юго-западного угла медресе Бадал-бек у него была примыкавшая к большой мечети лавка, в которой он торговал чаем. Лавчонка была очень маленькой и так прилепилась к стене мечети, что едва там умещалась;

до самого потолка из досок были сделаны полки, и на них лежали завернутые в бумагу пачки чая.

Аловуддин-Говджигар был низеньким, тучным человеком. Он имел белое лицо, узенькие зеленоватые глаза и редкую рыжеватую бороду, которая едва покрывала кончик подбородка. Торговец любил заговаривать со знакомыми и незнакомыми людьми. Тем, кто останавливался возле его лавки, приходилось выслушивать нескончаемые разглагольствования. Аловуддин обычно наливал пришедшему пиалу чая и начинал беседу. У него был тонкий, пронзительный голос, и слова довольно гладко лились из его рта, но так быстро, что слушатель никак не находил удобного момента, чтобы удалиться.

Он никогда не продавал чай на наличные деньги и меньше нимчи тоже никогда не продавал. Всякий раз, когда на полках оставалось мало чая, Аловуддин-Говджигар, не запирая лавки, отправлялся за товаром и просил соседа-литейщика не отпускать явившихся к нему покупателей, так как он быстро вернется. Торговец брал большой бязевый мешок и убегал. Спустя несколько минут он возвращался с мешком, наполненным завернутыми в бумагу пачками чая, и начинал говорить со всяким, кто попадался ему под руку. Обычной темой его разговора была история жизни его должников и их поступки. Он знакомил всех с особенностями каждого из своих должников независимо от того, присутствовал ли тот здесь или нет. Собеседник узнавал, с кем из должников легко иметь дело, кто из них груб в обращении. Обо всем этом торговец чаем рассказывал подробнейшим образом.

Говорили, что Аловуддин-Говджигар такой ростовщик, который берет проценты «по шариату». Поэтому он никому не давал в долг наличными деньгами, а отпускал чай по высокой цене и на определенных условиях. Должник, продав чай, расходовал затем деньги на свои нужды. Например, кому-либо понадобилось занять пять тенег, ростовщик давал ему пачку чая, стоившую пять тенег, с тем, что должник обязан вернуть в течение двух месяцев уже десять тенег. Чем больше требовалось клиенту денег, тем значительнее он снижал цену на чай, чтобы клиент не попал в лапы какому-нибудь другому ростовщику, дающему в долг наличные деньги.

Человек, взявший вместо денег чай, испытывал с ним большие затруднения. Поэтому Аловуддин-Говджигар сам организовал продажу чая своих должников. В одном кожевенном караван-сарае, который находился близко от его лавки, он снял в аренду комнатку и посадил туда своего человека, снабдив его наличными деньгами. Должникам он объяснял, где можно с легкостью сбыть чай. Пачку стоимостью в пять тенег, оцененную хозяином в десять тенег, должник продавал его же человеку за четыре теньги. Таким образом сотни две пачек чая постоянно обращались между лавкой и комнаткой Говджигара. Все его должники являлись жителями окрестностей Гала-Осиё.

Местом рождения и постоянного жительства Аловуддина была деревня Япалок, расположенная вблизи Дешиха. Каждое утро Аловуддин отправлялся верхом в город и вечером возвращался в свою деревню. Он считался близким другом одного горожанина по имени Кори-Абдулкаюм из медресе Бадал-бек. Говорили, что прежде Абдулкаюм занимался мелким ростовщичеством. Он каким-то образом познакомился с Аловуддином и предложил ему отвозить его деньги в сельские местности, чтобы там раздавать в долг нуждающимся крестьянам. «Это даст большую прибыль, — говорил Абдулкаюм, — и ты сам тоже сможешь кое-чем поживиться».

Как набожный человек, Аловуддин сослался на то, что «ростовщичество противоречит шариату», и отклонил его предложение. Тогда Кори-Абдулкаюм научил его хитрости, «согласующейся с шариатом». Он посоветовал ему назначать за товар двойную цену и отпускать его в долг: это уже будет не ростовщичеством, а торговлей. В то время Аловуддин торговал чаем вразнос и располагал небольшим капиталом. Он охотно последовал совету своего приятеля. Когда его сбережения увеличились, он, боясь воров, снял в городе лавочку и комнату. Туда он перевел свое дело, поместил в комнате все ценные вещи и наличные деньги, потом нанял сторожа, который одновременно стал служить ему агентом по скупке чая.

Аловуддин вошел в компанию с Кори-Абдулкаюмом и очень с ним подружился. Кори каждый вечер варил у себя плов. Аловуддин, не запирая лавки и наказав мастеру-литейщику придержать тех, кто мо-

жет к нему прийти, мимоходом забегал к приятелю, ел плов и спешил обратно. Сам Аловуддин раза два в неделю приглашал за город Кори и его приятелей, устраивал там для гостей вечеринку и задавал пир.

Прозвище Аловуддина «Говджигар» означало «бычья печенка». Ростовщики, прежде чем давать деньги в долг, сначала проверяли имущество должника; если оказывалось, что он кредитоспособен, то удовлетворяли его просьбу. Только Аловуддин не занимался проверкой имущества своих должников. Он говорил:

— Мне не нужно ничьего добра, мне нужен сам человек!

Всякому, кто приходил к нему, он давал в долг, не боясь, что его деньги пропадут. Поэтому другие ростовщики дали ему за смелость прозвище «Говджигар».

В действительности, Аловуддин не терпел никакого убытка, потому что вполне удовлетворялся самим должником. Если кто-нибудь не мог вернуть ему долга, он отводил его к многоземельному баю, делал батраком и таким образом выручал свои деньги. Если средняя стоимость годовой службы батрака составляла пятьсот тенег, он оставлял его работать за триста тенег с условием, что бай в благодарность за дешевого батрака уплатит деньги вперед.

* *
*

Нур-Мухаммад продолжал свой рассказ.

— Аловуддин-Говджигар, «пожалев» меня, сказал: «Я слышал, что вы ежегодно за три тысячи тенег уплачиваете тысячу двести тенег процентов. Это насилие, издевательство, это бессовестно! Я найду для вас три тысячи тенег и освобожу от долга. За эти деньги я не возьму с вас процентов, потому что, согласно шариату, берущий проценты и дающий их — оба на том свете будут гореть на адском огне. Вы лишь заложите у меня свою землю под урожай, и я ежегодно буду продавать вам урожай с нее за тысячу тенег. Таким образом, вы ежегодно вместо тысячи двухсот тенег будете уплачивать тысячу тенег, а двести тенег останется вам в доход. И ваше дело и мое

будут сделаны по шариату, и оба мы спасемся от адского огня; таким образом не сгорит ни вертел, ни шашлык. Но от вас потребуется одна милость: вы знаете, что у меня нет крестьянского хозяйства, поэтому, когда поспеют фрукты, вы меня немного угостите и иногда будете давать ячмень и клевер для моей лошади. У меня нет также и сада; если приедет городской гость и я приведу его в ваш сад, то примите моего гостя с открытой душой. Конечно, все расходы по гостеприимству будут от меня». Я, глупец, решил, что буду иметь ежегодно двести тенег выгоды, и с радостью согласился на его предложение. В ответ на просьбу Аловуддина я сказал: «Ячмень, клевер и фрукты мы не покупаем на базаре. Если из того, что нам послал бог, я немного и поделюсь с вами, беды не будет». Согласился я и на то, чтобы оказывать ему гостеприимство: «Нам не впервые встречать гостей. Когда был жив покойный отец, я сам каждую неделю приглашал к себе друзей из города. Приводите гостей — милости просим! Не говорите, что вы берете расходы на себя, мне это не пристало слушать. Говорят ведь: „Пропитание гостя появляется до него самого, всякий, где бы он ни был, ест свой собственный хлеб“».

Нур-Мухаммад помолчал, потом снова заговорил:

— Вот таким образом моя земля и урожай оказались заложенными Аловуддину-Говджигару в присутствии бывшего тогда в Гала-Осиё старшего казия Мирзо-ходжи, и это было подтверждено официальным документом из канцелярии казия. В первый год мои отношения с новым хозяином были хорошими. Кроме тысячи тенег, я дал ему также один ман ячменя и сто снопов клевера. Каждую неделю я посылал ему домой корзину винограда. Трижды он приводил ко мне по четверо гостей, которых я угощал похлебкой. На следующий год мать моих детей сказала, что хочет успеть до своей смерти увидеть женатым нашего среднего сына. Я согласился. В этом деле моим первым советчиком был Аловуддин. По его словам, он нашел подходящую невесту в деревне Кушкиумар. Времена были тяжелые. Пришлось делать много свадебных подарков. Аловуддин любил пиршества: кроме городских музыкантов, он пригласил еще музыкантов из Вобкента и Гиждувана и устроил большой пир. Я, несчастный, занятый свадьбой, не вел никаких счетов. Но зато после празднества

Аловуддин сообщил мне, что, кроме затраченных мною собственных средств, я оказался ему должен еще пять тысяч тенег.

Нур-Мухаммад ослабел, у него перехватило горло. Я налил ему чаю, он выпил и продолжал рассказ.

— Аловуддин меня утешал: «Ничего страшного. Я вам услужу, как брат. До сих пор все ваши земли были заложены за три тысячи тенег, теперь присоедините к этому сад и дом и все вместе заложите под урожай за восемь тысяч тенег». — Он высчитал, что деньги за урожай одного года с земли и сада, т. е. проценты с восьми тысяч тенег, в соответствии с условиями других ростовщиков составят две тысячи четыреста тенег. «Сейчас деньги очень вздорожали, — сказал он, — ростовщики за каждую тысячу берут в год по четыреста тенег, так что вы за свои восемь тысяч должны ежегодно уплачивать три тысячи двести тенег. Но я уступаю вам восемьсот тенег...». Этим он хотел вызвать мою благодарность! Что оставалось делать? Стиснув зубы, я согласился, и в присутствии помощника казия мы подписали новый документ, на что также ушло много денег. Продажей винограда, моркови и лука в один год добыть две тысячи четыреста тенег было нелегко. Мы с сыновьями стали еще больше трудиться и заставили также работать невесток. Урожай выдался хороший. Однако Аловуддин опять выдумал «новую песню».

Нур-Мухаммад умолк. Я подумал, что он решил не расстраивать меня и оставить свой рассказ неоконченным. Я поспешил спросить его:

— Что же потом?

— Что потом? Все пошло прахом. Новая песня Аловуддина оказалась не лучше прежней. Он просил у меня ячменя и клевера так много, что этого хватило бы лошади на целый год. На моей земле не произрастало столько клевера и ячменя, а кроме того, годовой прокорм одной лошади обходится более двух тысяч тенег. Не удовлетворившись этим, он требовал ежедневно корзину винограда, осенью три мана зимнего винограда и пятьсот осенних дынь. Я сказал, что это мне не под силу. В ответ он засмеялся: «О том, что это вам не под силу, надо было думать, когда вы брали на себя обязательство. Теперь уже поздно». Кроме того, Аловуддин каждую неделю начал

приводить по пять-шесть человек гостей. Всякий раз он являлся к нам с ними, словно в свой собственный дом. Он говорил: «Гости очень почтенные люди. Вечером приготовьте пельмени, в полночь лапшу и плов, а утром молочную кашу и жидкую халву». В течение лета ростовщик трижды устраивал у меня домашние пирушки, без особых приглашений и хлопот приводил много гостей, а все расходы падали на меня. При таком положении я не только не мог справить одежду себе и детям, но не в состоянии был выплатить двух тысяч четырехсот тенег процентов за долг. Из денег за урожай с земли и сада, по словам Аловуддина, за мной еще осталась тысяча тенег. Поневоле я пошел к другим ростовщикам, думая, что уж лучше будет отдавать с каждой тысячи четыреста тенег процентов в год и, освободившись от долгов Аловуддина, сбросить с себя весь этот груз ячменя, клевера, фруктов и угощений. Однако ни один ростовщик не согласился дать мне денег. «Мы не можем ссудить тебе денег, — говорили они, — покуда твоя земля и сад заложены под урожай у Говджигара. Освободи их сперва, а потом под твое имущество мы дадим тебе в долг». Я пошел к помощнику казия Мирзо-ходже и пожаловался ему: «Согласно тому, что написано в официальном документе, я буду выплачивать Аловуддину две тысячи четыреста тенег, однако я не могу давать ему без счета клевер, ячмень, фрукты и тому подобные вещи, что не было твердо оговорено, а также у меня не хватает сил на прием гостей. Я человек семейный, хлебороб, зачем мне нужны товарищеские пирушки? К тому же я не могу быть приятелем с Аловуддином: он заимодавец, а я должник. В таком положении наша дружба похожа на дружбу волка с овцой, а это немыслимо». В ответ на мои слова помощник казия засмеялся. «Ты невежда, ты не знаешь шариата! — сказал он. — Раз ты заложил свою землю, сад и дом под урожай, весь урожай с земли и сада и арендная плата за твой дом — все это становится его собственностью. Он может, когда поспеет урожай, все собрать и забрать себе. Он также имеет право и в отношении дома сказать: „Давай в год пятьсот тенег, а не то убирайся, я сдам твой дом в аренду другому человеку“. Аловуддин тебе еще сделал уступку, он мало с тебя берет. Однако одно ты говоришь верно: по поводу даваемого тобой без счета. В действительности все,

что надо ему дать, следует определить и включить в документ. Я завтра ради тебя вызову сюда Аловуддина, ты тоже приходи! Все эти вещи, посоветовавшись и с согласия обеих сторон, мы, переведя на наличные деньги, включим в документ».

Нур-Мухаммад продолжал:

— Сегодня я ходил в канцелярию казия. Аловуддин тоже был там, во время разговора он сказал помощнику казия: «Земля и сад дают в год не меньше десяти тысяч тенег дохода, но я соглашусь на восемь тысяч, пусть он даром живет себе в своем доме. Однако теперь я рассердился на Нур-Мухаммада: напишите в документе, что если осенью он не отдаст всех денег, я заберу себе землю, сад и дом и его выселю». Помощник казия, желая нас «помирить», снизил его требование до семи тысяч тенег. Весь мой долг на этот год составляет пятнадцать тысяч тенег. В документе они записали, что если я осенью не выплачу этих пятнадцати тысяч, то должен буду отдать ему землю, сад и дом.

Нур-Мухаммад, тяжело вздохнув, поднялся с места.

— В этом доме я такой же чужой, как вы и мой гость. Осенью я буду вынужден вывести свою семью на улицу, так как не только пятнадцать тысяч, но пяти тысяч я не смогу дать ему, — с этими словами, всхлипывая, он направился в сторону внутреннего двора. Рыдания сжали ему горло.

* *
*

Обычно я прогуливался по берегу канала. Один день шел вверх по каналу, на северо-восток, другой день направлялся вниз по каналу, на юго-запад, где находились в небольшом отдалении от нашего дома две деревни. Здесь были плодородные поливные земли и встречались хорошие сады. В каждом из таких садов проживали люди, стремившиеся к прохладе и тени (т. е. такие люди, которые арендовали сад ради тени, а не ради фруктов). Здесь обычно селились не бухарцы, а кавказские, персидские, афганские и индийские купцы. Каждый из них имел много денег и получал значительные выгоды

от торговли. В два самых жарких месяца, в середине лета, они не могли переносить бухарский зной и выезжали за город, на свежий воздух. Объединившись группами, они занимали какой-нибудь сад; среди них часто находилось по нескольку больных. В тени ивовых деревьев из свежесрезанных ивовых ветвей они устраивали шалаши, пол шалашей также выстилали ветвями с листьями и на эти настилы клали своих больных. Здоровые отдыхающие, сидя в тени деревьев на берегу канала, курили кальян. Афганцы и индусы курили также и наркотик из индийской конопли — банг, а персы — опиум. Глаза курильщиков банга сверкали огнем, они то рыдали, то хохотали. Опиекурильщики были бледны как смерть и вообще казались смертельно больными.

Купцы арендовали сады за большую плату, одна группа в пять человек брала сад в аренду на два месяца за тысячу тенег, другая группа в четыре человека арендовала сад за семьсот тенег. Фрукты и овощи они покупали на наличные деньги. Даже дрова, которых в сельской местности было много, они покупали по городской цене.

Наблюдая все это, я думал: «В летние месяцы крестьяне, владеющие садами, наверно, хорошо зарабатывают». Однако позднее я понял, что даже тени этих денег не достается крестьянам, обрабатывающим свои сады. Однажды я спросил у одного крестьянина, решив, что он владелец сада, сколько он выручает за тень и прохладу, даваемые его садом.

Он сначала рассмеялся, затем ответил:

— От тени сада я получаю ту пользу, что прихожу сюда и отдыхаю.

— Разве это не ваш сад?

— Раньше это был мой сад, — вздохнув, ответил крестьянин, — потом он перешел к одному городскому баю, а я стал его батраком.

— А как заботится о вас бай?

— Да так, что едва душа держится в теле. Мы четверо обрабатываем у бая землю, и на нас лежит уход за садом. С тех пор как сюда приехали гости, он перестал нам даже давать продукты для приготовления горячей пищи. «Гости будут давать вам свои остатки, — заявил он, — этого вам хватит».

* *
*

Проведя два самых жарких месяца в Дешихе, в конце августа мы вернулись в город. Хотя деревенский климат не оказал заметного воздействия на состояние здоровья больного, для меня он был очень полезен: раньше все время давали о себе знать последствия прошлогодней холеры, а теперь я вернулся в город окончательно поправившимся и окрепшим.

Осенью того же года больной умер. После его похорон Зухур-махдум женился и переехал из медресе к себе домой. Я ему помогал при переезде, и Зухур-махдум предложил мне:

— Выбери себе что-нибудь на память из одежды или книг брата.

Я попросил лишь диван Соиба, который постоянно перечитывал.

— Почему ты не возьмешь что-либо более ценное? — спросил он удивленно. — Ведь если ты захочешь продать эту книгу, ты за нее не выручишь и пяти тенег.

— Я эту книгу беру не для продажи, она мне дороже всего другого.

— Ладно, как хочешь. Она у нас лежала без дела. Может быть, ты ее будешь читать и книга принесет пользу.

Этот диван Соиба и сейчас находится у меня.

* *
*

В 1895/1896 учебном году наши групповые классные занятия проходили у домулло Икромчи, а чтецом группы выбрали сына одного бая по имени Мулло-Иброхим. Иброхим был образован, хорошо знал таджикский язык и обладал красивым почерком. Он любил литературу и даже сам пописывал стихи. Однако в арабском языке он оказался слаб, плохо знал правила грамматики и не умел их применять на практике. В минувшем учебном году ему помогал готовить уроки один из слабых учеников, от чего польза была небольшая. В этом году он решил пригласить меня.

Отец Иброхима, Джура-бай, занимавшийся посредничеством между бухарскими и хивинскими купцами, умер. Иброхим остался вдвоем со своим братом Не'матом. Жили они вместе, в одном доме. Не'мат был женат и занимался торговлей. Иброхим учился, тратя отцовское наследство. Пищу готовили в семье брата, там же стирали ему белье.

Юноша среднего роста, белолицый, с недавно появившейся черной бородкой, в которой золотились рыжеватые волоски, Мулло-Иброхим не обладал особо примечательной наружностью. Только в его карих, подернутых влагой глазах иногда мелькало дикое выражение.

Он взял себе поэтический псевдоним Осим. Его учителем по литературе был Мулло-Холи из Ура-Тюбе. Однако я подозревал, что по своим талантам они мало отличались друг от друга. К ним приходил еще один канибадамский поэт, Мулло-Курбон, имевший псевдоним Джони. Он обладал еще меньшим талантом, чем те двое. Хотя псевдоним *Холи связан со словом «хол» (родинка), а Джони — со словом «джон» (душа) *, но Мулло-Назрулло Лутфи псевдоним Холи объяснял как «бессмыслица», а Джони — как «вредитель стиха».

В то время я сам уже немного писал стихи, но никому их не показывал. Слабость каждого сочиненного мною стихотворения уже через две недели или через месяц становилась мне самому ясной, и я тотчас же сжигал рукописи. В том, что мои стихи были плохими, я убеждался при сравнении их с тем, что писали Холи и Джони. Когда я сочинял стихи, они казались мне хорошими, но, услышав их плохие стихи, я при вторичном, более строгом чтении обнаруживал у себя подобные же недостатки.

Иброхим готовил со мной классные уроки, которые потом читал для группы. Обращался он ко мне за помощью и по другим урокам, хотя я и не посещал их вместе с ним. Поэтому он полностью обеспечивал меня питанием и снабдил на зиму одеждой.

Посещать дом Иброхима для меня не представляло труда, так как там не приходилось готовить обед, убирать помещение и стирать. Все такого рода работы исполняли для него невестка и служанка.

Дом Мулло-Иброхима не мог считаться таким литературным центром, как усадьба Шариф-джон-махдума, но все же его охотно

посещали поэты и любители поэзии. Там я имел возможность заниматься лишь вопросами науки и литературы. Кроме того, в свободные от занятий вечера туда приходили музыканты. В такие вечера, если я не спешил на пирушку, то обязательно появлялся там. Иногда в гости к Мулло-Иброхиму приходил шестидесятилетний Насруллобай, исполнитель мелодий «шаш-макома». Он занимался продажей котлов, но доходы от мелкой торговли не могли обеспечить ему существование. Иброхим оказывал ему материальную помощь, поэтому он из благодарности постоянно бывал у него в доме. Сам Насруллобай не считал себя профессиональным певцом и не любил посещать пирушки.

Конечно, на все эти расходы не могло хватить небольшого наследства, оставшегося поле смерти отца Мулло-Иброхима, купца среднего достатка.

Когда у моего соученика деньги почти иссякли, он заявил:

— На оставшийся капитал я под предлогом хаджа объеду и посмотрю мир; когда вернусь, то, подобно всем бедным ученикам, найму для себя келью и буду там тихонько жить.

В конце того же года он отправился в хадж. В день отъезда, когда я пришел с ним попрощаться и проводить его, он подарил мне на память печатный диван Абдурахмана Джами (этот диван и сейчас еще находится у меня).

После возвращения из хаджа Иброхим и на самом деле сделался отшельником. Поселился он в келье вблизи мечети Поччокул-ходжи. Жил он очень бедно. Из отцовского наследства у него ничего больше не осталось, брат его распродал все имущество, даже дом, которым они оба владели, и, пойдя по дурному пути, все растратил. Потом брат поступил прислужником к какому-то правителю и уехал из города. Иброхим жил на помощь, похожую на милостыню, которую ему оказывали его бывшие приятели. Несмотря на это, он не сожалел об утраченном богатстве и говорил:

— Мой брат растратил отцовское наследство и все, что сам добыл, на разные дурные дела; опозорившись, он пропал без вести. Я же все, что имел, истратил по-человечески, и хоть у меня ничего не осталось, но люди меня уважают.

Позднее, однако, в словах и поступках Иброхима начали появляться признаки душевного заболевания. Хотя его стихи со стороны техники значительно улучшились, но мысли и сравнения казались вышедшими из-под пера безумца.

Об Иброхиме Осиме рассказано в книге «Образцы таджикской литературы».

Осим умер одиноко в своей келье в 1915 году, порвав отношения со всеми.

* *
*

После отъезда Иброхима чтецом нашей группы, занимавшейся у домулло Икрома, стал бухарец Хомид-ходжа, который недавно присоединился к нам. Опрятный, безобидный и мягкий юноша, Хомид-ходжа был моим ровесником. Всегда и всюду у него на губах играла улыбка, и отблеск этой улыбки отражался на лице и в глазах. Хомид-ходжа не имел ни имущества, ни солидных доходов. Поэтому вначале он не соглашался быть чтецом группы, что требовало больших затрат. Несмотря на это, его избрали всей группой. Товарищи решили не обременять Хомид-ходжу лишними расходами и не стали требовать от него угощения, даваемого чтецами раз в год. В подношениях преподавателю (расходы на начало занятий, «добровольная» плата за учение) его приравняли к ученикам среднего достатка. На таких условиях он согласился стать чтецом группы.

Хомид-ходжа был сыном Мирзо-Абдулваххоба, обладавшего хорошим почерком. Отец его в свое время зарабатывал на жизнь перепиской рукописей и служил писцом у казиев. Хомид-ходжа имел старшего брата по имени Ахмад-ходжа, считавшегося одним из наиболее образованных молодых людей того времени. Он тоже числился учеником домулло Икрома и уже заканчивал курс учения. Ахмад-ходжа обладал значительными познаниями не только в науках, которые официально преподавались в медресе, но и в математике. Подобно своему брату, он был милым, веселым и безобидным человеком. Оба брата жили в квартале Ляби-хаузи-Арбоб, в доме, оставшемся им

в наследство от отца. Ахмад-ходжа с женой и детьми занимал внутреннюю половину, а Хомид-ходжа обитал на внешней, в мансарде.

От отца братьям осталась также келья в медресе Турсун-джон. Доходы с вакфа на эту келью Ахмад-ходжа отдал младшему брату, а сам весьма скудно жил на заработок, получаемый им за преподавание в одном небольшом медресе, которое не имело классного помещения. Уроки он давал в мансарде, где жил его брат. У него учились больше всего не официальным наукам, а математике.

Оба брата так любили друг друга, с таким уважением относились один к другому, что я никогда, ни прежде, ни теперь, не встречал более дружеских отношений между родными братьями. Ахмад-ходжа не только по-отцовски заботился о своем младшем брате, но, словно сын, оказывал ему внимание и старался исполнять все его желания.

Хомид-ходжа хорошо читал и писал по-таджикски, но арабский язык знал слабо. Старший брат помогал ему готовиться к урокам, чтобы при чтении арабских выражений не приходилось краснеть перед учителем.

Хомид-ходжа, подобно другим начинающим бухарским ученикам, увлекался стихами и выбрал себе псевдоним «Мехри». Однако талант у него оказался небольшой, вперед он не продвигался и не мог продвинуться. С первого же дня, как только мы начали вместе учиться, он стал моим близким другом и оставался им до конца своей жизни.

Хомид-ходжа участвовал в просветительском и освободительном движении в Бухаре. В 1918 году, во время колесовских событий, его зверски умертвили в эмирской тюрьме.

Далее в своих «Воспоминаниях» я буду неоднократно упоминать о нем по различным поводам.

ПОДЕНЩИНА

Лето я провел в медресе Бадал-бек. Мне приходилось готовить и стирать тем обитателям медресе, которые сами не хотели этого делать. Таким путем я обеспечивал себе скудный заработок, достаточный лишь для того, чтобы не умереть с голоду.

Однако к середине лета из медресе разъехались все ученики, дававшие мне случайную работу. Там остался Кори-Абдулкаюм, но он был ростовщик и сам готовил себе пищу.

Не покинул медресе также Мулло-Сулаймон из селения Дехнав. Он исполнял обязанности муэдзина и с трудом кормился сам. Остался там еще один хезареец, которого называли «хезарейский махдум». Он был сыном шейха, и отец посылал ему много денег. Однако хезареец редко приходил в медресе и постоянно гостил у своих бухарских друзей.

Однажды я целый день ничего не ел. На следующее утро, отбросив в сторону чалму ученика медресе, переодевшись поденщиком, я отправился на Регистан, где был базар поденщиков, и уселся, опершись спиной о стену, у соборной мечети Поянда рядом с другими рабочими, поджидавшими нанимателей.

На базар явились наниматели. Они переходили от одной группы рабочих к другой, осматривали и отбирали тех, кто казался более выносливым и сильным; сторговавшись, хозяева уводили их к себе.

Я же был так бледен от двухдневной голодовки и так мал ростом, что никто даже и не взглянул на меня.

В это время в качестве нанимателя пришел хезарейский махдум. Увидев меня, он спросил:

— Для кого ты нанимаешь поденщиков?

— Я сижу здесь не для того, чтобы нанимать рабочих!

— Может быть, ты сам хочешь идти на поденщину? — спросил он удивленно и, не дожидаясь ответа, добавил:

— Это не пристало ученику медресе!

— А разве умереть от голода или нищенствовать ученику медресе пристало?

Он не смог ответить на мой вопрос и смущенно сказал:

— Ну, ладно, если так, постой здесь! Я возьму двух рабочих и отведу тебя вместе с ними на постройку дома к одному моему знакомому. Хозяин — хороший человек, он уважает мулл и учеников медресе. К чужим людям не ходи, они унизят тебя. Брань, обращенная к одному ученику, распространяется на всех мулл и всех учеников медресе.

— Ладно, — согласился я.

В сущности, никто не собирался меня нанимать. Поневоле пришлось дожидаться хезарейского махдума.

После длительного торга и споров хезарейский махдум нанял поденно двух рабочих, условившись платить по две теньги в день (после холеры рабочая сила очень сократилась и поденная плата возросла вдвое). Прихватив меня, он повел нас к своему знакомому, который строил дом в квартале Ляби-хаузи-Чуббоз.

Там во внутреннем дворе сидел на суфе мастер-штукатур с двумя рабочими. Перед ними была расстелена скатерть, они пили чай, кипяченный с молоком. Мы сели рядом с ними. Осмотрев меня, мастер спросил хезарейского махдума:

— Зачем вы привели этого мальчика, ведь он не сможет обмазывать крышу!

— Если он не сможет мазать крышу, он сможет подавать вам глину с края крыши или носить в ведре глину из ямы, привязать ведро к крюку и подавать рабочим. Можете распоряжаться любым из приведенных мною рабочих и поручать им работу по их силам, — ответил недовольно хезарейский махдум и ушел от нас.

Спустя несколько минут хезарейский махдум вернулся, сделал мне знак, чтобы я подошел к нему, повел к проходу и оттуда по лестнице проводил в мансарду.

В задней части мансарды на сложенных в четыре слоя ватных подстилках полулежал еще не старый смуглый человек среднего роста с черными глазами и бровями. Человек выглядел бледным и больным.

Я поклонился и сел напротив того человека.

— Вот это он и есть! — сказал хезарейский махдум, а сам спустился с мансарды вниз.

Ответив на мое приветствие, хозяин мансарды спросил меня:

— Вы умеете писать?

— Немного.

— Прекрасно, если так, то сегодня не работайте на постройке! Я велю вам дать другую, более подходящую работу.

Хозяин приподнялся со своего места, взял с полочки тетрадь и протянул ее мне со словами:

— Откройте эту тетрадь и читайте с самого начала, я послушаю!

Я открыл тетрадь и пробежал ее глазами; там в беспорядке были записаны доходы и расходы хозяина: что именно, у кого и по какой цене он закупил, кому продал, сколько денег и в какие сроки получил от покупателей. Проценты, взысканные с должников, отмечались не по датам получения, а записывались следующим образом: «Один раз — пять тенег, другой раз — десять тенег, другой раз — пятнадцать тенег». Отметки об уплате с указанием имени одного и того же человека встречались в различных местах тетради. Записи были сделаны так плохо, что я бóльшую часть их не мог прочесть. Те места, которых я не понимал вовсе, или те, где неправильно произносил буквы и слова, мне удавалось разобрать с помощью моего безграмотного хозяина, обладавшего хорошей памятью. Многие фразы он повторял слово в слово, и они полностью совпадали с плохо читаемыми предложениями.

После прочтения двух-трех страниц он заявил:

— Довольно, теперь ясно, что этот человек все перепутал в моей тетради. Ваша работа будет заключаться в том, чтобы все, что записано здесь, аккуратно и разборчиво перенести в другую тетрадь.

Он взял с полочки еще не заполненную тетрадь, достал кисточку и фарфоровую чернильницу и разложил передо мной все необходимое для работы.

Глядя на исписанную тетрадь, я с грустью спросил у хозяина:

— Неужели это писал хезарейский махдум?

— Он писать не умеет. Это писал учитель квартальной духовной школы. Вот негодяй, он все перепутал! Жаль плова и лепешек, которыми я его угощал за эту работу.

Я начал переписывать, но повторяющиеся звуки «бум-бум» и «тук-тук» отвлекали мое внимание и мешали работать. Сначала я думал, что это стучит мастер-штукатур. Но звуки раздавались одновременно, и я понял, что их не может производить один человек. Как бы там ни было, но я не стал спрашивать хозяина и притворился, будто ничего не слышу. Я лишь старался не обращать на них внимания, чтобы не испортить тетрадь и не попасть в разряд «негодяев».

По списку проданных и купленных товаров было ясно, что хозяин торговал сапожным прикладом. В тетради часто повторялись названия таких товаров, как каблуки для кожаных калош и сапог, деревянные и железные гвозди, сапожный клей, лак, столярный клей, белый и красный воск и тому подобное.

Внимание мое привлекла еще одна повторяющаяся запись, которая не имела отношения ни к покупателям, ни к продавцам. Это было слово «аванс». Оно встречалось в тетради возле имен различных лиц и указывало на ту или иную сумму полученных от хозяина денег.

Моя жилка любопытства заиграла, и я спросил хозяина, почему он давал авансы такому большому количеству людей.

— Кроме лавки по продаже сапожного приклада, — ответил он, — я содержу еще и сапожную мастерскую. Постоянный стук, который тревожит мою больную душу и оглушает меня, раздается из этой самой мастерской. — Хозяин тяжело вздохнул и продолжал:

— Блажные парни,[1] нанимающиеся в какую-нибудь ремесленную мастерскую, не соглашаются работать без аванса. Вот видите, какие у меня большие расходы. Этот несчастный аванс — расход без дохода! Соседи мне завидуют, они говорят: «Такой-то имеет выгоду и от лавки, и от мастерской, он стал крупным баем». Однако они не знают, что мои дела идут словно по поговорке: «Верблюд велик, и рана у него на спине соответствует его размерам». Чем больше человек расширяет свое дело, тем больше у него расходов.

Хозяин умолк, закрыл глаза и задумался. Весьма возможно, что он думал о расходах, связанных с лавкой и мастерской. Спустя несколько минут на губах у него заиграла улыбка, и словно про себя, но так, чтобы я тоже слышал, он сказал:

— Если бы господь захотел, чтобы человек, не производя никаких затрат и не вкладывая своих денег, начал получать доходы и от лавки и от мастерской, вот тогда бы он наверное стал обладателем бессчетных богатств.

---

[1] Рабочих ремесленных мастерских в Бухаре в то время называли «блажными парнями» (девонабача). (*Примеч. автора*).

* *
*

У хозяина мастерской я проработал три дня. Ел я тоже там, и каждый вечер, когда заканчивал работу и собирался идти домой, хозяин давал мне заработанные мною две теньги, что за три дня составило шесть тенег (девяносто копеек).

За это время я перенес в определенном порядке все записи из старой тетради в новую. Купленное я отмечал в одном месте, проданное — в другом и, когда закончил работу, вслух прочел хозяину то, что получилось. Хозяин очень обрадовался.

— Спасибо вашему отцу! Вы из деревни, но вы словно соловей, вылупившийся в вороньем гнезде. Каждый ваш палец владеет искусством! Сейчас дела наши кончились, давайте заключим с вами устное соглашение на будущее.

— Пожалуйста, сделайте одолжение! — ответил я.

— Когда я поправлюсь и пойду в лавку, то стану запоминать все свои ежедневные сделки, проверять наличные деньги и долги. Вы приходите ко мне каждый вечер и записывайте с моих слов в тетрадь доходы и расходы за день по заведенному вами порядку. На такую работу уйдет не больше одного часа, а я вас накормлю за это ужином. Но другой платы вы не будете требовать. Что вы скажете, подходят вам мои условия?

— Хорошо, подходят!

— Дня через три-четыре я, наверное, поправлюсь и смогу пойти в лавку. Тогда и начнется ваша работа. Однако до того времени вы тоже будете приходить сюда каждый вечер и ужинать.

— Ладно, — согласился я и ушел.

Однако до начала новой работы я не ходил к нему ужинать, так как у меня в кармане имелось шесть тенег. На них ежедневно я мог покупать две лепешки и миску гороховой похлебки, стоившие десять-пятнадцать копеек, этих денег вполне хватало, и я не нуждался в бесплатной хозяйской еде.

Спустя пять дней хезарейский махдум сообщил мне, что хозяин поправился и уже торгует в лавке. В тот же вечер я пошел к нему домой и приступил к своей новой работе.

САПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Перед мансардой хозяина-лавочника, считавшейся мехмон-хоной, на крыше находилось помещение для спанья (оно имело стены, но потолка над ним не было), там ночевали обитатели дома в душные летние ночи.

В одной из стен этого помещения виднелась одностворчатая дверь со щелями, заткнутыми войлоком. Через нее можно было пройти в обширную мансарду, которая находилась над жилыми комнатами, террасой и кухней внутреннего двора. Верхнее помещение не имело больше ни дверей, ни окон, лишь в потолке светились четыре отверстия для воздуха, каждое размером в квадратный аршин. Отверстия сверху наподобие клеток закрывали треугольные рамки, оклеенные по сторонам промасленной бумагой. Эту широкую комнату освещал бледный свет, падавший сквозь верхние отверстия и напоминавший тусклый свет луны.

Здесь помещалась мастерская, в ней работало приблизительно сорок человек мастеров и подмастерьев; каждый из них сидел на низеньком табурете и был повязан кожаным фартуком. Хотя все они выглядели молодыми или средних лет людьми, но их лица с нахмуренными лбами казались бледными и печальными.

Разговаривали они друг с другом тихим голосом и только о вещах, относившихся к их работе.

Среди них находился парень лет двадцати пяти, постоянно уголком глаз наблюдавший за мастерами и подмастерьями. Он, как и другие, был бледен, и глаза у него глубоко запали. Парень ни с кем не разговаривал, но если замечал, что двое рабочих беседуют, оставлял свою работу и, почесывая кончиком шила мочку уха, внимательно прислушивался к их словам. а лишь только они замолкали, снова принимался за работу.

Когда начинался разговор между рабочими, находившимися от него поодаль, он тихонько вставал, делая вид, что разыскивает что-то, внимательно оглядывался по сторонам и старался приблизиться к ним. Увидев, что парень остановился возле них, рабочие прекращали разговор.

— Продолжайте, продолжайте беседу, мне нужна колодка тридцать шестого размера, я ее разыскиваю, — говорил он и, осмотрев лежавшие перед ними колодки, возвращался на свое место или шел в другую сторону мастерской.

* *
*

Однажды в среду вечером хозяин сказал мне:

— Приходите завтра, в четверг, в полдень, я тоже вернусь из лавки, мы с вами часок поработаем: мне нужно выплатить «блажным» недельный заработок. Лишь только я с кем-нибудь из мастеров рассчитаюсь, вы тотчас же запишите в тетрадь. Расчеты с ними такие запутанные, что трудно все это запомнить до вечера.

Помолчав немного, хозяин, улыбаясь, снова заговорил:

— Дневная работа, конечно, не была оговорена в нашем соглашении. Это для вас дополнительная нагрузка. Но случается, что человек купит на базаре сотню дынь, а ему дадут еще две «дыни» сверх всего. Вот это и есть такое дополнение сверх вашей обычной работы.

Я согласился и на следующий день явился туда к двенадцати часам. Хозяин уже вернулся с базара и сидел в тени, расстелив на крыше ватную подстилку. Перед ним лежали счеты, тетрадь, перо и чернильница.

Я сел напротив хозяина на шерстяной коврик. Он пододвинул ко мне тетрадь с письменными принадлежностями и крикнул в дверь мастерской:

— Раджаб-джон, скажи своим блажным, чтобы они пришли выслушать свой расчет и получить недельный заработок.

Услышав его голос, несколько подмастерьев-мальчиков, топоча, выбежали из мастерской и, став перед хозяином, поздоровались с ним.

— Подметите внутренний двор, уберите нижние комнаты и кухню, наколите дров, чтобы хватило на неделю, и можете идти, — сказал хозяин ребятам.

Ученики с топотом сбежали по лестнице, а из мастерской вышли тот молчаливый двадцатипятилетний парень и мастер средних лет. Мастер сел с краю коврика против хозяина.

— Сколько пар мужских кожаных калош вы сделали за эту неделю, Усто-Мурод? — спросил хозяин мастера.

— Пять пар.

Хозяин вопросительно посмотрел на парня, который ответил:

— Все эти пять пар сделал не он один. Правда, они вышли из его рук, но задники тачали ученики.

— Побойся бога, Раджаб-джон! Ведь ты еще молод, зачем же ты врешь? Я же дал тачать ученикам кусочки кожи, годные для детской обуви, чтобы они научились тачать задники. Ты знаешь, что твой брат сверх всего еще взвалил на меня обязанность обучить четверых учеников.

— Я говорю то, что видел сам. Я не являюсь пайщиком брата в его деле. Остальное знаете вы и хозяин! — ответил Раджаб-джон, нахмурившись.

— Если ученики будут работать на вас, что же они тогда смогут делать для мастерской и для меня? Вы, Усто-Мурод, уже состарились, не старайтесь побольше урвать от благ этого мира! Кому был предан этот мир, чтобы и мы с вами сохраняли ему преданность? — Взглянув на меня, хозяин добавил:

— Мирзо, найдите в тетради имя Усто-Мурода!

Я перелистал тетрадь и нашел имя Усто-Мурода, у которого, как значилось, было забрано пятьсот тенег задатка.

— За пять пар мужских кожаных калош, из расчета две теньги за пару, плата составит десять тенег, из этой суммы за работу учеников мы снимаем две теньги, остается восемь тенег. После того, как мы снимем еще две теньги в счет процентов на задаток, ваш недельный заработок составит шесть тенег. А теперь скажите, согласны ли вы из этих денег снять немного в счет самого задатка?

Усто-Мурод, почесывая затылок и размышляя, ответил:

— Хорошо, снимите еще две теньги!

Хозяин обратился ко мне:

— Под его именем запишите, что Усто-Мурод в этот раз выплатил две теньги из задатка и получил четыре теньги недельной платы.

Я отбросил слова «в этот раз» и записал в тетради в порядке, который я считал нужным, смысл сказанного хозяином.

Получив из рук хозяина четыре теньги, Усто-Мурод, перебрасывая монеты из одной руки в другую, поднялся с места:

— Какую из моих дыр смогу я залатать этой подачкой? — пробормотал мастер, направляясь к лестнице.

— Не печальтесь, Усто! Пока я жив, я не оставлю вас без денег. Если вам придется туго, то пусть ваш задаток составит не пятьсот тенег, а шестьсот. Я для вас не пожалею еще сотни тенег, — утешил его хозяин.

— Скажите лучше: «Я сделаю цепь на твоей шее еще тяжелей, удержу с тебя побольше денег на проценты с задатка и на самый аванс, а заработок твой доведу до сопливых грошей», — так будет правильней! — пробормотал Усто-Мурод, спускаясь с лестницы. — Этот старик — волк, видевший дожди! Но я не поддамся больше на «лисьи уловки»!

Рядом с Раджаб-джоном сел другой мастер. Хозяин произвел с ним такой же расчет, как и с Усто-Муродом. Задаток этому мастеру составлял шестьсот тенег. Хозяин из его заработка удержал три теньги за проценты.

Мастер не согласился:

— Мы с вами договорились, что за пятьсот тенег вы еженедельно будете удерживать по две теньги, это в месяц составит восемь тенег. Зачем же вы, когда задаток возрос всего лишь на сто тенег, стали удерживать на проценты лишнюю теньгу? При таком счете проценты на сто тенег в месяц составят четыре теньги, это почти вдвое больше против того, что берут ростовщики. Имейте же совесть, хозяин! Разделите две теньги на пять частей, присоедините одну пятую часть к счету за сто тенег, полученных мною на прошлой неделе.

— Ах, наивный мусульманин! Верните мне взятые на прошлой неделе сто тенег, и я тогда по-прежнему за пятьсот тенег буду удерживать две теньги. Ведь я даю в долг деньги, чтобы помочь мастерам. Это бескорыстное богоугодное дело. А когда увеличивается задаток, то и проценты растут. Если вы хорошенько раскинете мозгами, то поймете, что я поступаю так для вашей же пользы. Когда вы увидите, что проценты на задаток очень большие, будете меньше брать в долг и станете ограничивать свои желания.

— Какие у нас, несчастных, могут быть желания? — удивился мастер. — На сто тенег я отремонтировал крышу, которая провалилась от весенних дождей. Пришлось купить балки, перекладины для поперечного перекрытия между балками, камыш и циновки, заплатить штукатуру и плотнику. При замешивании глины я работал сам вместе с двумя поденщиками. Мастерам и поденщикам я готовил плов. Разве это «мечты и желания»? Я купил дочери и жене два куска материи на платье, потому что они обе совсем не имели одежды, разве это «мечты и желания»? Что ж, разве мне следовало остаться на зиму с семьей под дождем и снегом? Неужели я должен был видеть жену с дочерью такими же раздетыми, как я сам?..

— Говорите короче! Довольно! — перебил его хозяин. — Ваши дела меня не касаются. Я ведь не обещал вам построить дом или купить на платье вашей жене и дочери! Скажите прямо: вы будете выплачивать за взятые вами лишние сто тенег из недельного заработка одну теньгу, или сейчас же вернете эти сто тенег? Больше не о чем разглагольствовать: да или нет!

— Хорошо, берите, пусть они станут вашими! — ответил мастер.

— Вы посмотрите, как ворчат эти голодранцы! — пробормотал про себя хозяин и обратился ко мне:

— Пишите, мирзо, время идет!

Расчеты с рабочими продолжались.

Недельный заработок мастеров низшей квалификации был еще меньшим, а задаток выше, потому что некоторые из них брали еще в долг и теперь с трудом могли оставить себе две теньги наличными и с ними уходили.

Пока шли расчеты, ученики выполнили все, что им было велено, и, вернувшись с внутреннего двора, стали просить у хозяина разрешения уйти домой.

— Хозяин, мы все выполнили!

— Хорошо, можете идти! — разрешил он.

Я подумал, что хозяин, озабоченный расчетами со взрослыми рабочими, забыл расплатиться с учениками.

Пожалев ребят, я напомнил хозяину:

— Разве ученики уйдут, не получив своего недельного заработка?

— Зачем я им должен платить недельный заработок? — ответил хозяин, нахмурившись. — Что они сделали, чтобы получить за это? По совести, они мне должны платить, потому что через два-три года уйдут от меня мастерами. Однако так как они все не имеют ни родителей, ни покровителей, то я их пожалел и бесплатно учу ремеслу. Когда они станут мастерами и смогут «повязать платок»,[1] им придется год-два поработать у меня в мастерской бесплатно. Вот тогда получится, как в пословице: «От целого быка — одна железá!», — и половина затраченных мною на их обучение денег оправдается. А пока это еще «журавль в небе» — польза в кредит. Наличность же заключается в том, что сейчас я трачу безвозмездно время и силы на их обучение.

Расчеты продолжались, а с ними вместе моя «дополнительная часовая нагрузка» тянулась до самого вечера. Наконец, все рабочие разошлись. Перед хозяином остался только один Раджаб-джон. Он сидел с опущенной головой и царапал ногтями коврик.

Хозяин спросил, глядя на него:

— Ну хорошо, братец! Что ты скажешь? Похоже, что у тебя есть что-то на сердце?

— Вы сами знаете! — ответил Раджаб-джон, не поднимая головы и не переставая царапать коврик.

— Что я знаю? Откуда я знаю, что у тебя на сердце? Допустим, что я кое о чем и догадываюсь, но говорят: «Слова приятно слушать из уст Лукмана». Лучше будет, если ты сам скажешь.

— Я хочу пойти на площадь Ляби-хаузи-Девон-беги, прогуляться там, посидеть в чайной, выпить чайник чая и немного очистить свежей прохладой бассейна отвратительный запах мастерской, который забил мне горло, легкие, сердце и печень, подобно копоти из трубы кузнечной мастерской. Я хочу завтра, в свободный от работы день, купить матери отрез на платье, потому что старуха совсем голая, — проговорил Раджаб-джон, все еще не поднимая головы и не глядя на хозяина.

---

[1] О церемонии повязывания платков ученикам будет рассказано далее. (*Примеч. автора*).

— О, болезнь-то твоя, оказывается, серьезная! — сказал хозяин и, достав из кармана одну теньгу, бросил ее перед Раджаб-джоном, как бросают собаке кость. — Возьми сейчас это и иди погуляй. Что касается платья, то как-нибудь в другой раз найдем выход.

Раджаб-джон кончиком пальца откатил полученную теньгу обратно к хозяину:

— Вот уже шесть месяцев, как вы хотите найти способ, чтобы я смог сделать матери платье, и все не можете найти. Очевидно, вы не найдете его никогда. Во всяком случае рассчитайтесь со мной, как вы рассчитались с «блажными»!

— «Рассчитайтесь со мной, как с блажными!» — повторил хозяин слова Раджаб-джона и добавил:

— А ты работай наравне с блажными, и я заплачу тебе вдвое против них. Каждый из них за эту неделю сделал от четырех до шести пар кожаных калош. А ты даже не смог сделать и двух пар!

— «Не смог сделать даже и двух пар», — повторил Раджаб-джон слова хозяина и сразу поднял голову. Он оторвал руки от коврика, положил левую руку себе на колено, а правую протянул к хозяину и, глядя ему в глаза, продолжал:

— Вы велели мне быть сторожем в мастерской, подслушивать разговоры блажных и передавать все вам, я работаю в полтора раза больше других. Я не успеваю, проколов шилом кожу, протянуть сквозь отверстие дратву, как должен бежать, словно охотничья собака, и все вынюхивать. Если бы меня здесь не было, кто бы вам донес, что задники для Усто-Мурода делали ученики?

— Он сторожит, он шпионит и считает, что приносит мне пользу, значит может залезть ко мне в карман! — пробормотал сквозь зубы хозяин и, обращаясь к Раджаб-джону, продолжал:

— Какую же ты принес мне пользу своим шпионством? Сейчас, как и прежде, лавочки холодных сапожников полны лоскутков кожи из моей мастерской, эту кожу вынесли отсюда мастера и ученики и продали ее. Какая мне польза от твоих доносов! Ну-ка, скажи, разве Сафар и Хотам, каждый из которых взял у меня задаток по тысяче тенег, не сбежали по совету Усто-Мурода? Нет, они не выпьют и пиалы чая, не посоветовавшись с этой старой беглой собакой! А ты,

шпионя за ними, ничего не понял или хотя и понял, но, сговорившись с ними, не поставил меня об этом в известность!

— Вы клевещете, но этого вам мало! — сказал, вспылив, Раджаб-джон. — Вы уже привыкли, оклеветав кого-нибудь, присвоить его заработок.

Повысив голос, он снова обратился к хозяину:

— Вы заплатите мне так же, как и чужим, или нет? Говорите, я хочу слышать ваше последнее слово!

— Господи, прости нас! — с этими словами хозяин сунул руку в карман, достал еще одну теньгу и так же, как прежнюю монету, швырнул ее Раджаб-джону.

Взяв монеты, Раджаб-джон поднялся с места и бросил деньги обратно хозяину, потом снял с гвоздя свой халат, накинул его на одно плечо и, направляясь к лестнице, крикнул:

— Пусть я буду собакой, если еще когда-нибудь ступлю сюда ногой! — и спустился по лестнице вниз.

Хозяин задумался, склонив голову, но спустя минуту снова ободрился и обратился ко мне:

— Он вернется, ни в какую могилу он не провалится, да и некуда ему идти!

Хозяин помолчал немного и продолжал:

— Вероятно, вы не знаете, что он мой брат; правда, не родной брат, но все же брат. После смерти моей матери отец женился на другой женщине, у которой был двухлетний ребенок, мать привела его с собой в наш дом, здесь его кормили, одевали, здесь он и вырос. Мать его старательно присваивала наше имущество. После смерти отца его вторая жена получила сполна свою долю наследства и, захватив все наворованное, переселилась в полуразрушенный дом, оставшийся от отца этого парня. Ему в то время уже исполнилось десять лет. Не даром говорится, что «имущество покойника идет за покойником» и «ворованное впрок не идет». Его мать в течение двух лет проела все, что получила в наследство, и все, что наворовала. Мой сводный брат, раздетый и разутый, с непокрытой головой, голодный, стал бегать по улицам. Я его пожалел, привел в свою мастерскую и определил учеником. Он вырос, сделался мастером, и я поставил его

старшим над рабочими, пусть заслужит авторитет. Как бы там ни было, все же он мне брат. Однако в последнее время он так начал себя вести, словно уже стал участником в моем деле.

Совсем стемнело. Хозяин пошел в мансарду, вынес оттуда спички и свечу. зажег ее и обратился ко мне:

— Ну, ладно, давайте все подсчитаем, уже поздно!

Я снова раскрыл тетрадь и со слов хозяина принялся записывать все, что было в тот день куплено и продано в лавке.

СТАРШИНА ЦЕХА САПОЖНИКОВ

После окончания подсчетов хозяин спустился во внутренний двор и принес скатерть и плов. Мы уселись ужинать. Не успели мы поесть, как из прохода внизу послышался шум шагов, какой-то незваный гость подымался к нам по лестнице. «Кто это может быть?» — сказал хозяин и устремил глаза в проход. Однако до тех пор, пока пришедший не попал в полосу света от свечи, он не мог его узнать. Лишь только неизвестный мне посетитель приблизился, как хозяин воскликнул:

— О, да ведь это старшина цеха! — Он вскочил с пола, подбежал к пришедшему, обнял его и поздоровался.

Оба они сели у скатерти. Хозяин пригласил гостя поужинать, но тот даже не протянул руки к плову.

— Я только что поел дома, — ответил он.

Хозяин тоже не захотел есть. Хоть я был еще голоден, но вместе с ними не прикоснулся больше к плову и стал внимательно прислушиваться к беседе двух близких приятелей.

— Ну, рассказывайте! Вы пришли как лев или как лиса?

— По милости бога и моего пира (покровителя), я всегда хожу львом!

— Поймали?

— Поймал!

— Привели или продали и вернулись?

— Привел, потому что не нашлось хорошего покупателя!

— Это еще лучше. Другие воочию убедятся и поймут, что в побеге для них нет никакой пользы. Ну, а теперь рассказывайте все по порядку.

— Я отправился в Самарканд и у первого попавшегося мне там на улице сапожника спросил, где квартал и дом старшины их цеха. Я пошел прямо к нему, представился и рассказал все, что натворили Сафар и Хотам. Старшина сообщил мне, что беглецы работают в одной самаркандской мастерской и что хозяин до сих пор не дал им задатка.

Гость на минуту прервал свой рассказ и шутя сказал хозяину:

— Плов-то я ваш не ел, но неужели вы пожалеете мне пиалу крепкого чая?

— Простите, пожалуйста! При виде вас я все забыл, даже вежливость и гостеприимство! — сказал, смутившись, хозяин; он торопливо спустился во внутренний двор и вернулся, неся в обеих руках по чайнику.

— В доме были уже заварены два чайника, я их оба сразу и принес.

Хозяин налил гостю пиалу чая.

— Ну, а что произошло потом? — спросил он.

Прихлебывая чай, гость продолжал свой рассказ:

— По словам старшины цеха сапожников, Сафар и Хотам, приехав в Самарканд, пришли к нему и заявили: «Мы оба из Бухары, там мы не брали задатка ни в одной мастерской. Мы хотим посмотреть Самарканд. Если найдем подходящую работу, то здесь и останемся. Если нет, то после осмотра города вернемся к себе обратно. Однако пока мы здесь находимся, нам нужно работать, чтобы добывать деньги на лепешки и чай». Старшиа отвел их в мастерскую, поставил на работу и хотел, чтобы хозяин выдал им хотя бы небольшой задаток. Ведь тогда и ему перепало бы больше. Однако хозяин отказал. «Пусть они раньше поработают здесь месяц-другой. Если их никто не станет разыскивать как беглецов, тогда можно будет дать аванс». Старшина получил в счет их будущих заработков пять тенег и передал мастеров новому хозяину.

По просьбе гостя хозяин снова налил ему чаю.

— Простите пожалуйста, я так увлекся вашим рассказом, что забыл предложить чаю, — сказал он.

Гость выпил вторую пиалу и продолжал:

— На следующий день я вместе со старшиной пошел в мастерскую, где работали Сафар и Хотам. При виде меня они остолбенели, словно курица, увидевшая шакала. Подсчитав сумму задатка, который они у вас взяли, дорожные расходы и долю старшины, я сказал их нынешнему хозяину: «Если они вам нужны, заплатите эту сумму и можете их оставить себе». Однако хозяин не согласился и ответил: «Это для меня обременительная цена, возьмите их и отведите туда, где они ели хлеб-соль». Вот каким образом я привел двух беглых дураков.

Хозяин налил гостю чаю и заговорил:

— Молодец! Вы сослужили мне хорошую службу. Я никогда не забуду вашей услуги. Если какой-нибудь блажной вздумает убежать в любой уголок Бухарского ханства, даже очень далеко, его можно поймать без особого труда. Ведь здесь наша страна, находящаяся под сенью власти его величества эмира, и слова просителя всегда будут услышаны. Но когда я узнал, что Сафар и Хотам бежали в Самарканд, все надежды мои сразу же рухнули. Там русская земля, и правительственные чиновники не станут нас с вами слушать. Поэтому я отношу эту удачу за счет вашей энергии и опытности. Да хранит вас бог!

Гость протянул хозяину пустую пиалу.

— Я поседел на этих делах и знаю, как нужно поступать. Хлеб, который я ем, честно ем! — ответил высокомерно гость, а затем, постаравшись придать голосу оттенок фальшивой скромности, продолжал:

— Говорят ведь, что «петух всюду кричит одинаково», и это совершенно верно. И в Самарканде все блажные подчинены старшине цеха, там они также связаны задатками с хозяевами, а те без согласия старшины не берут на работу ни одного человека. Русские же правители в подобные дела не вмешиваются. Миршаб города заявил старшине: «Все, что записано у вас в цеховом уставе, выполняйте, нас это не касается». Вот если бы в Самарканде петухи не кричали

так же, как и в Бухаре, если бы там блажные не подчинялись старшине цеха, я не смог бы вам принести оттуда даже праха с их ног.

— Ну, а сколько денег ушло на расходы?

— Проезд туда и обратно, оплата дороги беглецам, деньги, которые я истратил в Самарканде, и вознаграждение старшине самаркандских сапожников — все вместе это составило пятьсот тенег.

— Не беда, — сказал хозяин, — я возмещу вам эту сумму и от себя еще прибавлю сто тенег старшинских. Всё вместе составит шестьсот тенег. В субботу, когда вы приведете сюда беглецов, я в вашем присутствии разделю эту сумму на две части и к задатку каждого из них прибавлю по триста тенег. Долг каждого из них будет составлять тысячу триста тенег. Вот тогда они забудут о побеге и, хотя им придется работать до самой смерти, этот долг все равно не смогут выплатить.

Рослый старшина бухарских сапожников поднялся с места. На его бледном лице с крючковатым носом выделялась черная с проседью борода, голову украшала белая, как у муллы, чалма.

— Да хранит вас бог! До субботы! — сказал он на прощанье. Я тоже встал и спустился вместе с ним вниз. Мне хотелось расспросить его по дороге о «блажных парнях» и об их уставе. Однако старшина толком мне ничего так и не объяснил. Когда же я его засыпал вопросами, он сказал:

— Братец, вы ученик медресе, в будущем станете большим муллой и никогда не захотите шить сапоги или кожаные калоши, так зачем вам все это знать? — И он решительно прервал мои расспросы.

Его необщительность сильнее разожгла мое любопытство, и мне еще больше захотелось узнать о порядках, установленных в бухарских ремесленных цехах, и почему ремесленников называют «блажными».

Под куполом Заргарон мы расстались, я пошел в сторону медресе Бадал-бек, а он направился к себе домой. Вернувшись в келью, я лег спать, но думы о «блажных» не давали покоя. «Отчего все ремесленники одной профессии беспрекословно подчиняются старшине и он может их повести куда ему угодно и имеет право устроить их в любой мастерской?» — думал я.

Однажды в четверг, после полудня, я повстречался у бассейна Девон-беги с сапожником Усто-Муродом. Я заказал себе чайник чая, сел рядом с ним и получил ответ на все мои вопросы. Его рассказ я вкратце изложу в следующей главе.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ В ЭМИРСКОЙ БУХАРЕ

В эмирской Бухаре все ремесленники имели свои организации и входили в тот или иной цех, объединявший их по профессии. Чтобы стать членом цеховой организации, не обязательно было подавать заявление или вносить членские взносы. Если ремесленник являлся ткачом, он становился членом цеха ткачей, если он был сапожником, то входил в цех сапожников.

Каждый цех, согласно толкованию духовенства, выбирал себе духа-покровителя — пира (руководителя) — из числа исторических или легендарных личностей. Так, например, пиром ткачей считался Имоми А'зам; пиром сапожников — бухарец Бобо Порадуз, который, по преданию, занимался когда-то починкой обуви; пиром водоносов был Аббас (дядя пророка Мухаммеда), якобы носивший воду из Евфрата приверженцам имама Хусейна во время событий при Кербеле; пиром кузнецов числился пророк Давид, он в свое время искусно выковывал кольчуги; пиром конюхов являлся Канбар, конюх Алия (четвертого друга пророка), и т. п.

Духовные лица составили для каждого ремесленного цеха особый устав, носивший название «рисола». В уставах содержались молитвы, с которыми ремесленник должен был приступать к работе, заканчивать ее или читать в определенные промежутки времени в продолжение рабочего дня. Взаимоотношения ремесленников со своим старшиной (старостой), мастерами и хозяином также были регламентированы в «рисоле».

Конечно, в них все толковалось в пользу старшины или старосты, мастера и хозяина и в ущерб ремесленнику. Если ремесленник нарушал какое-нибудь правило, записанное в рисоле, он должен был уплачивать старшине (или старосте) определенную сумму.

Старшина на часть денег, собранных в виде штрафа «за нарушение правил», несколько раз в году устраивал угощение в честь духа

пира. Это угощение носило характер религиозной церемонии и сопровождалось чтением Корана. В празднике принимали участие духовенство, владельцы ремесленных мастерских, крупные мастера и торговцы, перепродававшие готовую продукцию. Простые ремесленники обязаны были обслуживать и подавать угощение собравшимся. Если после почетных участников угощения что-нибудь оставалось, то ремесленники съедали каждый свою долю, в противном случае уходили, не солоно хлебавши.

Ученики любого цеха, как бы они ни были искусны в своей профессии, не могли получить звание мастера, пока не устроят угощение и им не опояшут талию платком. На угощение по случаю «опоясывания» обычно приглашали мастера ученика, старейшин цеха и других важных гостей, среди которых почетные места занимали представители духовенства.

В конце угощения ученик подносил своему мастеру ценный подарок. Духовенство, старшина, — а если ученик учился в мастерской, то и хозяин, — тоже не оставались без подарков.

После получения подарка мастер опоясывал ученика, платком, читал молитву и давал ему в руки какой-нибудь инструмент (если это был плотник — то топор или пилу, если штукатур — лопатку для штукатурки, если цирюльник — бритву или ножницы, и т. п.) и, согласно рисоле, разрешал своему подмастерью работать самостоятельно. Представители духовенства, прочтя Коран, посвящали нового мастера духу-покровителю этого ремесла. Так заканчивалась церемония «опоясывания».

В каждой цеховой организации был свой старшина (или староста), который руководил всеми делами цеха. Его помощник, когда возникала необходимость, извещал всех ремесленников и собирал их в определенном месте или же выполнял по поручению старшины другие мелкие поручения, касающиеся цеха.

Обычно старшина цеха избирался. Однако в выборах (за исключением двух цехов, об особенностях которых будет рассказано ниже) могли участвовать лишь крупные мастера, владельцы мастерских и скупщики. Фактически эти «избиратели», посоветовавшись между собой, по взаимному соглашению назначали кого-нибудь старшиной

(или старостой), а помощника уже подыскивал он сам. Что касается простых ремесленников, то, присутствовали ли они на «выборном» собрании или нет, им оставалось лишь выслушать сообщение о том, кого «выбрали».

Самыми крупными считались цеховые организации сапожников, водоносов, конюхов и ткачей. Из их числа только цехи конюхов и водоносов соблюдали до некоторой степени интересы рядовых ремесленников. Выборы у них были общими. Старосту водоносов каждого участка открыто избирали все местные водоносы. Там, где водоносов было немного, они примыкали при выборах старосты к водоносам более крупных участков, находившихся вблизи от них.

Главной обязанностью старосты водоносов была защита интересов водоносов в их отношениях с потребителями воды. Например, какой-нибудь водонос условился с хозяином дома, что он ежедневно за определенную плату будет приносить ему один или два бурдюка воды. Если между хозяином дома и водоносом возникнет ссора, — например, владелец дома не уплатит сполна причитающуюся водоносу сумму денег, — то он перестанет носить ему воду и скажет о случившемся старосте. В это время сколько бы ни предлагал денег владелец дома другому водоносу, ни один водонос не будет носить ему воду. Если какой-нибудь водонос соблазнится деньгами и станет носить воду в такой дом, то староста оштрафует его за нарушение правил и запретит ему впредь доставлять туда воду. Если же он не подчинится, то староста вообще лишит его права быть водоносом и изгонит из своего цеха. Короче говоря, пока хозяин дома не уладит спор с первым водоносом, никто его не станет снабжать водой. После окончания спора между владельцем дома и водоносом право носить воду в этот дом оставалось за первым водоносом. Если же он сам не хотел больше носить туда воду, то только тогда это право получал другой водонос.

Подобные правила, защищающие права водоносов, отсутствовали в их рисоле. Однако жизнь вынудила их для защиты своих интересов ввести такие неписанные порядки.

Другой обязанностью старосты было следить за способом ношения воды. Водоносы не могли опускать свои бурдюки на землю. Во время

наполнения бурдюка водой, когда приходилось ставить его одной стороной на ступеньку бассейна, водонос обязан был помыть это место и лишь потом опустить бурдюк и наполнить водой. Также запрещалось класть на землю кожаный черпак, которым наливали воду в бурдюк. После того как водонос наполнял бурдюк, он был обязан вешать черпак на гвоздь или ветку дерева. Если водонос нарушал одно из этих правил, то староста мог оштрафовать его на две теньги. Деньги, собранные таким образом, он потом расходовал на угощение в честь духа-покровителя. Это угощение водоносов обычно носило религиозный характер.

Цехи штукатуров и плотников также до некоторой степени защищали права своих членов. Если между каким-нибудь мастером-штукатуром и работодателем происходил конфликт и мастер, не закончив постройку, бросал ее, то другой мастер не имел права заканчивать эту постройку. После того как работодатель удовлетворял требования мастера, но последний не хотел продолжать работу, другой мастер имел право закончить ее. Обычай угощения, связанный с поминанием пира-покровителя, в этой цеховой организации, так же как и в других, носил религиозную окраску.

Самой демократической организацией был цех конюхов, в который входили и арбакеши. Старшину цеха выбирали из числа самых пожилых конюхов, которые не оставили своей профессии и где-нибудь работали. В выборах старшины участвовали все конюхи. Они тоже имели рисолу, написанную в религиозном духе, однако никогда не осуществляли на практике то, что там было заключено. Члены этого цеха даже не находили нужным устраивать угощения в честь духа-покровителя. После того как ученики конюхов — «навча» (новенькие) — овладевали своей профессией, они начинали работать самостоятельно без всякой церемонии «опоясывания».

Деньги, собиравшиеся среди членов цеха, составлялись не из штрафов за нарушение правил, а взимались за устройство на работу. Если где-нибудь требовался конюх, то владелец конюшни обращался к старшине. Старшина посылал туда одного или нескольких конюхов, в зависимости от того, сколько требовалось, определял им жалованье и ежедневное пропитание. При назначении каждого конюха старшина

взимал с хозяина и с конюха по две теньги. Однако эти деньги он не присваивал себе, а расходовал на нужды цеха. Если какой-нибудь конюх оставался без работы или, не поладив с хозяином, бросал работу и приходил к старшине, то старшина кормил его до тех пор, пока не находил ему другую работу.

Если отношения между каким-нибудь конюхом и хозяином портились и конюх бросал работу, то и другие конюхи тоже покидали этого хозяина. Все они приходили в дом к старшине цеха, жили здесь и питались. Так продолжалось до тех пор, пока хозяин конюшни не удовлетворял требования конюха: за все это время никто из других конюхов не шел к нему работать. Если какой-нибудь человек, не имевший профессии конюха, соглашался работать у этого хозяина, то конюхи его избивали до полусмерти и вынуждали прекратить работу. Все эти порядки распространялись на военное сословие и на придворных эмира, которые имели много лошадей и нанимали конюхов через старшину цеха. Частные лица, имевшие одну лошадь, могли нанимать кого хотели, и никто в их дела не вмешивался.

Остальные ремесленные цехи были организованы так, что принятые в них порядки шли во вред простым ремесленникам. В особенно тяжелом положении находились ткачи и сапожники, они до самой смерти не могли освободиться из лап старшины или хозяина.

Обычай брать задаток (или аванс) тоже был распространен больше всего среди ремесленников этих двух профессий. Старшина и хозяин устанавливали такую низкую оплату за труд, что жизненные потребности ремесленников никак не могли быть обеспечены этим заработком. Поэтому им приходилось под видом «задатка» брать деньги в долг у хозяина. Обычно задаток в очень короткий срок начинал расти. Так как оплата за труд ремесленника, связанного задатком, была меньше оплаты свободного рабочего, то вскоре он оказывался вынужденным взять новый аванс и общий задаток возрастал настолько, что ремесленник уже не мог его выплатить.

Слово «задаток» среди ремесленников употреблялось вместо слов «плата вперед» (аванс). Каждый хозяин, которому удавалось заставить рабочего своей мастерской взять плату вперед, получал возможность держать его в кабале до самой смерти.

Поэтому, где бы ни жили владельцы мастерских, даже если не были знакомы друг с другом, они никогда не брали на работу чужого рабочего, получившего задаток у другого хозяина, а если нанимали, не зная об этом, то, как только узнавали о его задолженности, немедленно передавали такого рабочего прежнему владельцу.

Однако, если бы новый хозяин захотел, а старый согласился, то новый мог возместить прежнему хозяину задаток вместе с расходами на розыски и оставить рабочего у себя. Вполне естественно, что в этом случае, включая плату старшине за перемену мастерской, задаток бежавшего рабочего еще больше увеличивался.

Иногда два хозяина, заключив между собой соглашение, могли передавать друг другу при сокращении мастерской или ее ликвидации одного или нескольких рабочих, получивших задаток. Вместе с платой старшине, принимавшему участие в этой передаче, долг ремесленника при переходе в другую мастерскую делался еще более обременительным. Короче говоря, ремесленник, получивший задаток, продавался одним владельцем мастерской другому, подобно рабочей скотине, а «старшинские» очень напоминали вознаграждение маклера на скотском базаре и попадали полностью в карман старшины.

Все эти сделки происходили в присутствии старшины. Всякое соглашение, достигнутое помимо него, не считалось законным. Так как старшина цеха вынуждал рабочего повиноваться хозяину, был посредником при поимке бежавшего рабочего и при передаче задатка одним хозяином другому в случае перехода задолжавшего рабочего из одной мастерской в другую, то он обычно знал обо всем, что происходило, и в любом случае получал свою долю.

Причина прозвища «блажные парни», присвоенного мастеровым, работавшим в мастерских сдельно, заключалась в том, что они из-за беспрестанного гнета и безжалостной эксплуатации заболевали нервными болезнями. Поэтому рабочие, не взявшие задатка, больше недели не работали на одном месте и в ответ на беззастенчивое ограбление, которому они подвергались, с отвращением бросали работу и переходили в другую мастерскую.

Рабочие, связанные задатком, знали, что в случае бегства будут пойманы и долг их еще больше возрастет, но, несмотря на это, часто

не выдерживали нечеловеческих условий труда и все же убегали. Они старались воспользоваться даже малейшей возможностью пожить свободно.

Вот почему хозяева, старшины цехов, скупщики и вообще все те, кто, не затрачивая труда, пользовались его плодами, презрительно называли мастеровых «блажными». Постепенно сами рабочие тоже стали так себя называть и, поспорив с хозяином, бросали работу и уходили, а сбежав, говорили: «Мы — блажные, мы можем делать все, что хотим, принесет ли это нам пользу или вред, будь что будет, отбросим все невзгоды на конец мира, хоть миг, да наш!».

* *
*

До осени я по часу в день работал у галантерейного торговца. Лишь только в медресе начали приезжать люди, поручавшие мне сварить обед или постирать белье, я немедленно бросил работу у галантерейщика. Сначала хозяин всякими посулами старался заставить меня по-прежнему приходить к нему, но так как я не соглашался, он рассердился:

— Хорошо, уходите, ищите, где лучше! Но знайте, если человек, вкусив в чьем-нибудь доме хлеба-соли, уйдет без согласия хозяина, то это будет неблагодарностью.

— Лучше быть неблагодарным, чем каждый день видеть вас и вашу мастерскую! — ответил я, тоже рассердившись. После этого, если я проходил мимо его лавки, он притворялся, что не знает меня, отворачивался и делал вид, что чем-то занят. С тех пор мы даже не обменивались самыми обычными приветствиями.

* *
*

Когда начались занятия, к нашей группе у домулло Икрома присоединился сын старшего брата Шариф-джон-махдума — Абдулхалил-махдум, худощавый юноша с черными глазами и румяным ли-

цом. Он был сыном казия и внуком верховного судьи, поэтому Хомид-ходжа передал ему свои обязанности чтеца группы.

Абдулхалил-махдум оказался моим ровесником. Прежде его отец был казием в одном из отдаленных районов, а он жил вместе с отцом, и мне во время пребывания в доме Шариф-джон-махдума не приходилось его видеть. Абдулхалил хорошо владел таджикским языком и грамматикой, красиво писал, отлично знал и любил литературу. Несмотря на свое происхождение и принадлежность к высшему классу, он был очень скромен и вежливо обращался с простыми босоногими учениками медресе.

После того как Абдулхалил стал чтецом группы, он пригласил меня к себе помощником. Я согласился. Помощь моя не была похожа на то, как я помогал Гафур-джон-махдуму в заучивании сухих выражений, мы с ним читали и, беседуя, старались вникнуть в смысл урока.

Дом Абдулхалил-махдума находился в кварта́ле Гозиён, позади медресе Мулло-Мухаммад-Шариф, за баней Гозиён. Там жили его отец и два младших брата. Сам он был женат, учебное время проводил в келье, а в свободные от занятий вечера ночевал дома. Его келья находилась над воротами медресе, и окошко выходило в сторону бассейна Гозиён. В условиях Бухары того времени эта келья считалась расположенной в районе с чистым воздухом.

Я приходил к нему каждое утро, мы вместе готовились к занятиям и шли в медресе. Как мой соученик, он и уроки у репетитора тоже стал брать вместе со мной у Мулло-Абдусалома.

В отличие от своих дядей — Шариф-джон-махдума и Гафур-джон-мадхума — Абдулхалил был очень щедрым. Он постоянно оказывал мне помощь, давая одежду и еду. В его келье́ можно было найти почти все диваны известных поэтов прошлого и сборники, составленные из стихов различных поэтов недавнего времени, и я пользовался ими совершенно беспрепятственно.

Жаль лишь, что этот юноша оказался больным чахоткой. Хотя в те времена признаки болезни у него еще не сильно проявлялись и болезнь не успела подорвать его силы, но по частому покашливанию опытные люди понимали, что́ грозит ему в недалеком будущем.

ВЫБОР ПСЕВДОНИМА

Мне следует здесь немного остановиться на вопросе о своем тахаллусе — литературном псевдониме. В первые годы моей жизни в Бухаре люди (за исключением лишь некоторых), в особенности муллы, смотрели на меня очень презрительно и, желая унизить, называли «деревенщиной». Поэтому я выбрал псевдоним «Сифли», что значит «низкий», «презренный». Однако позже мне этот псевдоним не понравился. Я подумал: «Люди считают меня низким, это их дело. Но для чего же я сам себя буду унижать? Я отличаюсь от других лишь тем, что беден и нуждаюсь, они же богаты и ни в чем не испытывают нужды».

Отвергнув слово «сифли», я решил взять для псевдонима слова «кашшоки» (бедняк) и «мухтоджи» (нуждающийся), но слова «мухтодж» и «мухтоджи» показались мне более подходящими, и впоследствии, согласно размеру стиха, я употреблял в качестве псевдонима то Мухтодж, то Мухтоджи.

Постепенно мне они тоже перестали нравиться, и я опять стал думать: «Это верно, что я нуждаюсь, но зачем же объявлять об этом людям через стихи? Как бы я ни нуждался, но должен показать посторонним, что ни в чем не испытываю недостатка». — Так я отклонил и второй псевдоним.

Под влиянием тяжелого детства я был очень нервным и даже испытывал разочарование в жизни. Иногда ночью в одиночестве я читал элегические стихи старых поэтов и рыдал, облегчая свое сердце. Проведав об этом, люди говаривали: «Это способный мальчик, но немного ненормальный». Поддавшись этим разговорам, я выбрал себе псевдоним «Джунуни», близкий по значению к слову «ненормальный».

Постепенно и этот псевдоним перестал мне нравиться. «Ведь я же не сумасшедший, — думал я. — Я все понимаю, все различаю, зачем же должен называть себя безумным? Люди считают меня сумасшедшим, пусть себе считают, это не имеет ко мне никакого отношения».

После таких размышлений я стал подыскивать себе более подходящий псевдоним. В то время некоторые ученики медресе, в особен-

ности бухарцы или дети духовенства, очень увлекались сочинением стихов, даже полная неграмотность не являлась для них препятствием. Однако еще до того, как начинали писать стихи или придумывали хоть один бейт, они уже выбирали себе псевдоним. Обращаясь один к другому, они вместо имен упоминали псевдонимы. Часто молодые поэты спрашивали друг друга о значении какого-нибудь псевдонима и спорили о том, подходит ли данное слово для псевдонима или нет, при этом каждый из них считал свой псевдоним лучшим. Самым важным доказательством преимущества того или иного псевдонима считалось то, что данное слово является редким, странным, а также и то, что ни один из поэтов прошлого не использовал его в свое время.

Вместе с тем бóльшая часть их псевдонимов ничем не отличалась от использованных другими поэтами. Часто оказывалось, что псевдонимы имеют неподходящее значение или совсем бессмысленны. Даже Мир-Кодир-махдум-«Кобыла», который не имел никакого интереса к литературе, не любил слушать стихи и, если при нем начинали их читать, тотчас же уходил, — и он не остался в стороне от поисков псевдонимов. Присутствуя при таких разговорах, он говорил: «Если я стану поэтом, то возьму себе псевдоним „Гамбуск“ (жук), потому что это слово как псевдоним не было использовано ни одним поэтом».

Бесконечные споры и обсуждения, всеобщие поиски псевдонимов заставили меня прийти к следующей мысли: «Нужно найти такой псевдоним, который имел бы значение, свойственное именно мне, и вместе с тем никем из поэтов до сих пор не был использован». С этими мыслями я день и ночь перелистывал словари и в конце концов нашел слово «айн», которому составители приписывали сорок восемь, а иногда и больше значений. Среди наиболее распространенных значений этого слова были «глаз», «источник», «лоскут кожи на тетиве лука для камешка». Приняв за псевдоним слово айн, можно было применить к нему любое из названных понятий и отнести их к самому себе.

Теперь передо мной возник вопрос: было ли это слово использовано другими поэтами для псевдонима или нет? Чтобы найти ответ

на него, я взял у Абдулхалил-махдума поэтические антологии «Оташкада» и «Давлатшах» и просмотрел перечень упоминаемых там поэтов. Слово «айн» как поэтический псевдоним в них не встречалось. Из осторожности я все же счел нужным справиться еще у какого-нибудь знающего человека.

Как раз в эти дни я встретил Мулло-Холи из Ура-Тюбе, о котором упоминалось выше. Хотя сам он писал очень плохие стихи, но хорошо знал историю, биографии поэтов и ученых прошлого. Я спросил у него, использовал ли кто-либо приглянувшееся мне слово «айн» в качестве псевдонима.

— Я никогда не встречал это слово как псевдоним какого-нибудь поэта, — ответил он, — лишь в Египте жил когда-то один ученый, который был комментатором Сахихи Бухори, и научный псевдоним этого человека был «Айни».

Когда я получил от него эти сведения, то решил избрать для себя псевдоним «Айни».

Когда молодые люди, мнящие себя поэтами, узнали, что я сочиняю стихи и выбрал себе псевдоним, они, даже не спросив у меня стихов и не интересуясь их содержанием, стали расспрашивать о смысле псевдонима. Я им ответил:

— Это слово имеет сорок восемь значений. Посмотрите сами словари, почитайте книги, и вы поймете, что оно означает. У меня же нет времени объяснять вам.

Необходимо указать, что никто не видел ни одного моего стихотворения, подписанного псевдонимами Сифли, Мухтоджи, Мухтодж или Джунуни и ни одной газели, написанной тогда, я и сам сейчас не могу вспомнить. Что же касается рукописей, то, как я уже указывал выше, через две недели или месяц после их появления на свет я подвергал их суровой критике и уничтожал. Поэты и мнящие себя поэтами даже и не подозревали, что у меня были еще и другие псевдонимы.

Когда я близко подружился с Хайратом (об этом будет рассказано далее), я впервые поведал ему о поисках псевдонима и перечислил все слова, привлекавшие меня поначалу. Он запомнил только одно из них — «Джунуни».

Хайрат, уже в конце жизни, когда был тяжело болен и не надеялся выздороветь, написал элегическую касыду. В этой касыде он хотел упомянуть обо мне, но так, чтобы слушающие этот бейт не поняли, что речь именно обо мне. Поэтому он упомянул меня под моим отвергнутым псевдонимом. Три бейта из этой касыды таковы:

Когда бы нами увлеклась ты, как и мы тобой,
Так долго с нами бы тогда не враждовала ты.
Как не оплакивать теперь крушение надежд —
Когда-то сладостью речей нас восхищала ты.
То чаровал Джунуна твой пленительный упрек,
То речью ласковой опять нас утешала ты.

ВЗЯТЫЙ НАПРОКАТ ОСЕЛ И МОЯ БОЛЕЗНЬ

В конце лета того года, когда я переселился в медресе Бадал-бек, мне на несколько дней пришлось поехать в Гидждуван. Об этом событии я не упоминал раньше, так как оно имеет отношение к этой части воспоминаний. Я составил себе следующий план путешествия: когда в Вобкенте будет базарный день, нанять в Бухаре осла, доехать до Вобкента и затем на какой-нибудь гидждуванской арбе с грузом поехать в Гидждуван, а оттуда уже пройти пешком в свою деревню, в Соктари.

Согласно этому плану, однажды утром, в воскресенье, я пошел к воротам Имом в Бухаре, где стояли возчики, занимавшиеся извозом по дороге Бухара—Вобкент. Там из отдававшихся напрокат ослов, которые почти всегда были в разгоряченном состоянии и громко кричали, я выбрал большого белого осла с ковровым седлом на спине. На жаргоне бухарских возчиков таких ослов называли «боевой козел». Приглянувшийся мне осел не мог и одной минуты стоять спокойно, он непрерывно издавал крики, храпел, брыкался и, по словам поэта Нозима гератского:

То передними брыкал ногами он,
То ревел, скаля зубы, часами он.
То со львом он гордо равнял себя,
То ужасным драконом считал себя.

Я решил, что это лучший и самый быстрый из всех ослов, и нанял его до Вобкента за одну теньгу и восемь пулей, — в то время, когда за других ослов из Бухары до Вобкента брали только одну теньгу. Я переплатил восемь пулей для того, чтобы добраться быстрей до Вобкента и найти там какого-нибудь гидждуванского возчика, с которым можно доехать до Гидждувана.

Среди бухарских владельцев ослов существовал обычай разделять своих животных на две группы в соответствии с местами стоянок. Каждая группа находилась на одном из конечных пунктов. Если путник, прибыв на такую стоянку, потребует осла напрокат, находящиеся там владельцы ослов должны дать ему либо своего осла, либо осла другого хозяина, находящегося на другом конце пути, и получить плату наличными деньгами. Путник мог ехать на нанятом осле до нужного ему места, а там сдать его другим владельцам ослов, занимавшимся извозом.

Я сел на это беспокойное, раскормленное ячменем животное и отправился в путь.

Хозяин вместо заостренной палочки для понукания осла дал мне прутик, а сам, не подымаясь с места, закричал: «Гей, падаль, гляди в оба!» — и сильно стукнул палкой по земле. Осел нетерпеливо подпрыгивал, когда я садился на него. Лишь только он услышал голос возчика и звук удара палки о землю, как побежал с быстротой птицы. Не спотыкаясь и не замедляя бега, он проскочил конный базар, Гала-Джуй и достиг перекрестка на пути в Ситора маххоса и Гала-Осиё. Там, словно что-то должен был найти, он внезапно остановился, опустил морду к земле и, разбрасывая дорожную пыль по сторонам, принялся ее обнюхивать.

С минуту я ожидал, пока осел насладится пылью, и думал, что после этого его нетрудно будет заставить идти вперед. Однако он вовсе не собирался прекращать свое занятие. Когда я убедился в этом, то начал хлестать его прутом по шее. Но осел не обращал никакого внимания на мои удары и продолжал разгребать пыль. На мои усилия заставить его двигаться он отвечал ослиным упрямством. Увидев, что он добром не пойдет, я изо всей силы хлестнул его прутом между ушей.

Получив чувствительный удар, осел, не поднимая морды от земли, завертелся на месте, затем так стремительно упал боком на землю, что я слетел с него на дорогу, подобно яблоку, упавшему с дерева в ветреный день.

После того как осел несколько раз перевернулся и повалялся по земле, подняв кругом клубы пыли, он вытянул ноги и спокойно уснул. Переведя дыхание, я поднялся с земли, отряхнул пыль со своей одежды и, взяв прут, подошел к ослу. Но сколько я ни понукал его, сколько ни хлестал прутом, осел не обращал на это никакого внимания, а только через некоторые промежутки времени поворачивался с одного бока на другой и ногами и мордой зарывался в пыль.

Наконец, схватив осла за хвост, я изо всех сил потянул его кверху. Осел лениво издал какой-то звук, с трудом поднялся на ноги и стал отряхиваться, смахивая пыль также с гривы и ушей. Я поправил и очистил от пыли покривившееся седло, подтянул подпругу, сел на осла и повернул его на дорогу Гала-Осиё, которая также вела в Вобкент.

Осел не хотел идти, от всех моих понуканий и подхлестываний он лишь с трудом сдвинулся с места и, как будто считая свои шаги, едва передвигал ноги. Но и при медленном шаге он поминутно спотыкался. Цель его злонамеренного поведения была ясна: он хотел меня сбросить с себя подальше. Однако я считал себя неплохим наездником на ослах. У меня уже имелся по этой части большой опыт, однажды я даже сломал себе руку на ослиных скачках. Поэтому, несмотря на то, что осел поминутно спотыкался, я сидел в седле, словно меня к нему приклеили.

Но осел не удовлетворился лишь тем, что спотыкался; всюду, где оказывалась куча дорожной пыли, он сразу падал на бок, начинал валяться по земле, а я, как и в первый раз, слетал с него и снова испытывал те же трудности, пытаясь его поднять. Вот таким образом только через четыре часа я добрался до селения Яланги, — в то время как от Бухары до Яланги на осле со средним ходом можно было доехать за два часа.

При такой езде на расстояние шестнадцати километров осел, конечно, не устал. Несмотря на это, он себя вел так, словно прискакал

издалека. Возле одной чайной осел остановился как вкопанный и больше не двинулся с места. Я провел на жаре в пути четыре часа, все время погоняя осла или поднимая его за хвост, и почувствовал, что очень утомился. Пришлось оставить моего упрямого «скакуна» в покое. Я вошел в чайную, взял чайник чая и решил отдохнуть. Во время чаепития мне пришла в голову мысль изложить в нескольких бейтах мое путешествие на осле в тот день. Из написанных тогда стихов в моей памяти до сегодняшего дня сохранилось несколько бейтов, которые я здесь приведу как образцы моего творчества того времени.

...Едва отойдя от стоянки, осел отдыхал,
Уставший, едва только шаг он прошел, отдыхал...
Где пыли побольше, места выбирал и в пыли
Валялся осел, не желая подняться с земли.
Хватал я за хвост его, тащил со всей силы моей
И все повторял: *Хайя кум, хяйя кум* [1] — ну. вставай же скорей!».

Через два часа, после отдыха в Яланги,, все так же поднимая и понукая осла, я достиг базара в селении Сари-Пули-Мехтар-Косим, у моста через реку Зеравшан. Однако осел не пожелал проходить через селение. Сколько я ни хлестал его прутом, он, вероятно, считая эти удары поглаживанием или почесыванием, стоял спокойно, опустив голову.

— Это у вас осел наемный? — спросил меня средних лет человек, пивший в чайной чай.

Я подтвердил его предположение кивком головы, так как от огорчения у меня не было даже желания разговаривать.

— Наемный осел с этим прутом не будет идти. Подождите немного, я его сейчас сделаю «муллой»!

Человек поднялся со своего места, ушел куда-то, но вскоре вернулся обратно со срезанной с тутового дерева палкой длиной в метр и толщиной в рукоятку небольшого топорика. Он взял веревку и

[1] Хайя кум — арабское выражение, имеющее значение «вставай же!». Я слышал эти слова от арабов, приходивших ежегодно в Бухару за милостыней (*Примеч. автора*).

крепко привязал осла к столбу перед чайной, затем, плюнув на ладони, начал наносить упрямому животному удары палкой по шее и по крупу.

Осел, как и на стоянке перед воротами Имом, громко кричал и брыкался. Однако тот человек, не переставая бить осла, приговаривал: «Теперь ты уже наполовину стал муллой, тебя нужно лупить, пока ты станешь „полным муллой!“». Наконец он решил, что осел, вероятно, уже сделался «полным муллой», потому что перестал его бить и, заострив ножом конец палки наподобие железного гвоздя, дал ее мне со словами:

— Теперь садитесь верхом и поезжайте. Больше вам не придется его бить. Тени этой палки достаточно, чтобы он не забыл преподанного ему только что урока. Если у него придет в движение жилка ослиного упрямства и в пути он начнет трясти лопатками,[1] вы тогда острием этой палочки почешите ему лопатку, он сразу же придет в себя.

Я отправился в путь. Осел, так же как и у ворот Имом, когда я впервые сел на него, словно полетел вперед. Но на этот раз он ни на секунду не останавливался и мчался все пять километров до Вобкента, так что не было нужды и в «почесывании лопатки». Когда я приблизился к постоялому двору, осел еще ускорил свой шаг.

Меня встретил стоявший посредине постоялого двора возчик. Я слез с осла и отдал возчику веревку от недоуздка. Тот, осмотрев с головы до ног потное животное, заметил:

— Доконали вы осла, мулла!

— Я вез осла до моста, а он вез меня от моста досюда. Он мне еще остался должен, — ответил я.

— Не всегда кувшин выходит из воды наполненным — всякое бывает, — сказал другой возчик, — поскорей остуди осла, чтобы он годился для дороги к концу базара.

---

[1] Выражение «трясти лопатками» связано с поведением ослов-притворщиков. Когда на спину такого осла положат груз, он начинает шевелить лопатками, чтобы сбросить груз. Если возчик зазевается, осел сбросит груз. Это выражение таджики переносно употребляют в отношении человека, который под каким-нибудь предлогом увиливает от дела. (*Примеч. автора*).

* *
*

Выехав утром из города, я рассчитал, что к девяти часам приеду в Вобкент. Однако я добрался до вобкентского базара лишь к двум часам, когда все гидждуванские возчики на арбах уже уехали. Чувствовал я себя неважно, в Вобкенте у меня не было ни одного знакомого или места, где бы можно было найти приют. Слабость, которую я испытывал после холеры, появилась снова. Я решил, что это от голода, и, купив лепешку и виноград, позавтракал. Однако сил у меня не прибавилось.

Несмотря на это, у меня не было другого выхода, как идти в Гидждуван пешком, и, сняв туфли, я отправился в путь.

Когда я дошел до местечка Каторгуджум, меня стало лихорадить, потом охватила такая дрожь, как если бы зимой облили ледяной водой; зубы от озноба начали громко стучать. Полежать где-нибудь я не имел возможности, — если бы я лег, то уже не смог бы в тот же день добраться до Гидждувана. Поневоле пришлось идти дальше. Когда я добрался до деревни Регзор, у меня уже не было больше сил двигаться. Все мое тело горело, будто меня сунули в раскаленную печь, во рту пересохло. Не выдержав больше, я бросился под высокую стену какой-то усадьбы, дававшую узкую полоску тени. В глазах у меня пылало пламя.

В это время из ворот усадьбы вышел юноша, у которого, видимо, совсем еще недавно появилась растительность на верхней губе. Он был небольшого роста, полный, смуглолицый. Юноша немного постоял, глядя на меня, потом повернулся и вошел в ворота усадьбы.

Спустя минуту из ворот появились еще двое юношей и тоже остановились возле меня. Один из них, одинакового со мной роста, был смуглым, с большими черными, как у араба, глазами и густыми бровями. Одежда его выглядела очень опрятно.

Второй из пришедших по сравнению со своим товарищем был ниже ростом, смуглее, худощавей. Глаза его казались печальными, а одежда — бедной. Однако ни один из них не напоминал сельского жителя, по лицам и одежде было видно, что оба они горожане. Худощавый юноша спросил меня:

— Приятель, откуда ты родом?

Я показал головой в сторону Гиджувана.

— Откуда ты идешь? — снова спросил он меня.

Я головой показал в сторону Бухары.

— Почему ты не говоришь?

В ответ я лишь высунул сквозь пересохшие губы распухший язык.

Юноша бегом бросился в усадьбу, вернулся с большой чашкой воды и протянул ее мне.

Я приподнял с земли голову, набрал в рот воды и, прополоскав рот, выплюнул воду на землю, затем выпил оставшуюся воду, вернул ему чашку и снова уронил голову на землю. Хотя тело все еще горело, но от холодной воды, которую, видимо, только что достали из колодца, у меня значительно прибавилось сил.

Этот же юноша предложил мне перейти в усадьбу и лечь в тени деревьев у бассейна. Я не согласился, сославшись на предстоящий мне дальний путь.

Тогда он заявил более решительно:

— Если ты в таком состоянии пойдешь дальше, то совсем свалишься.

Я повторил ту же отговорку и снова отклонил его предложение.

Худощавый юноша приказал своему хорошо одетому товарищу с большими глазами не отходить от меня, чтобы я не ушел, а сам с чашкой в руках поспешил в усадьбу и через минуту вернулся. Впереди него шел старик, согбенный стан которого указывал, что ему уже больше семидесяти лет. Старик был такого же невысокого роста, как и юноша с пробивающимися усиками, его смуглое, веснущатое лицо покрывала редкая бородка. Несмотря на сгорбленный стан, в бороде у него черных волос виднелось больше, чем седых.

Было очень жарко, но на старике был толстый ватный сатиновый халат, подпоясанный в несколько слоев белой материей, его голову покрывала белая чалма с концами, аккуратно заткнутыми за складки, как у муллы.

Приблизившись ко мне, старик ласково предложил перейти в усадьбу и отдохнуть у бассейна. Он сказал, что если я почувствую

себя лучше, то смогу идти, куда мне надо, а если расхвораюсь, то полежу у них до выздоровления.

— Считай меня своим отцом, а эту усадьбу своим домом, — сказал мне сгорбленный старик.

По правде говоря, мне не очень нравились эти незнакомые ребята и не хотелось идти в усадьбу, но когда я увидел, что старшим в усадьбе является этот сострадательный человек, я принял его предложение и поднялся с земли. Однако у меня не хватало сил передвигаться. Тотчас же ко мне подбежал худощавый юноша и помог идти. Так я попал в усадьбу.

ДАВИЛЬНЯ ВИНОГРАДА

Усадьба оказалась большой, с прохладным бассейном. Четыре китайских карагача переплелись между собой ветвями и осеняли бассейн и устроенные по его краям су́фы.

Старик положил в тени ватную подстилку с подушкой, худощавый юноша помог мне лечь на эту постель. Потом старик принес толстое ватное одеяло и укрыл меня. Я пожаловался на жару и попросил его, чтобы он меня не закрывал одеялом.

— Нужно, сынок, потерпеть часок под одеялом, — ласково возразил старик.

Мне стало стыдно настаивать. Но я чувствовал себя очень нехорошо и беспокойно. Из-за высокой температуры и ломоты в костях мне каждую секунду приходилось переворачиваться с бока на бок.

— Максуд-джон! — крикнул старик.

— Что изволите? — откликнулся юноша с пробивающимися усиками, который первый подошел ко мне на улице.

— Положи, сынок, в котел одну-две ложки масла, растопи его и брось туда две нарезанных луковицы, зажарь лук и, когда он покраснеет, налей две-три больших чашки воды, прокипяти все это с четырьмя стручками красного перца, чтобы вышла острая луковая похлебка. Для больного в таком состоянии нет лучшего лекарства и лучшей еды. А в жару и для нас похлебка будет тоже хороша.

Потом старик обратился к юноше с большими, как у араба, глазами:

— Ты, сынок Тохир-джон, повесь кипятильник над печью, вскипяти воду и завари чай!

Распорядившись так, старик пошел куда-то по своим делам.

Тохир-джон ушел кипятить чай, со мной остался лишь худощавый смуглый юноша. Как только от моих беспокойных движений с меня сползало одеяло, юноша тихонько укрывал меня и снова садился на свое место.

Скоро Тохир-джон, заварив чай, принес его, поставил перед нами на суфу и ушел. Худощавый юноша, перелив несколько раз чай из чайника в пиалу и обратно, налил полную пиалу чая и поставил передо мной. Я очень хотел пить; приподняв голову и не обращая внимания на то, что чай был очень горячим, я начал его прихлебывать. Выпив чай, я отодвинул пиалу к юноше и снова лег. Он налил вторую пиалу и опять поставил возле меня. На этот раз я подождал, пока чай немного остынет, и таким образом выпил три пиалы.

Горячий чай не утолил сразу моей жажды, подобно холодной воде, но спустя несколько минут я почувствовал удовлетворение, которое он мне принес; оно было полней и целительней.

В это время появился старик, он снял с сучка карагача скатерть и расстелил передо мной. Худощавый юноша достал из деревянного сундука с крышкой, стоявшего под деревом, две больших тонких подсушенных лепешки и положил их на скатерть. Тохир-джон и Максуд-джон, держа в руках по две больших чашки, принесли луковую похлебку и поставили с краю скатерти. Тохир-джон сел рядом с худощавым юношей возле расстеленной скатерти, а Максуд-джон опять куда-то ушел. Старик, разломив сухую лепешку, покрошил ее в похлебку, положил в чашку длинную деревянную ложку и поставил около меня. Две другие чашки он поставил перед худощавым юношей и Тохир-джоном, а четвертую взял себе. Максуд-джон принес себе еще одну чашку и сел рядом со стариком.

Хозяева принялись за еду, но я все еще не решался попробовать похлебку. По тому, как трое юношей и старик после каждого глотка хватали ртом воздух и нетерпеливо шевелили губами, я понял, что луковая похлебка вышла очень острой.

Старик, угадав мои мысли, сказал:

— У нас нет в обычае есть такую острую похлебку. Это я велел сделать специально ради тебя, мы же, по поговорке: «За рисом и сорняк пьет воду», — теперь едим из-за тебя. Как бы ни было остро, ты закрой глаза и съешь эту чашку похлебки, увидишь, что через пятнадцать минут ты поправишься!

Не перебивая старика, я начал есть и с каждым глотком чувствовал облегчение. Я не съел еще и половины похлебки, как с головы, лица, тела полил градом пот. Когда я доел до конца, вся моя одежда стала мокрой от пота. Старик посоветовал мне, завернувшись в одеяло, уснуть, но я не согласился:

— Я совершенно поправился и окреп. Мне скучно лежать. Если вы разрешите, то я пойду.

— Сейчас я не позволю тебе уходить, — ответил старик, — тебе еще опасно идти. Если ты меня послушаешься, то сегодняшнюю ночь проведешь здесь, а завтра утром можешь отправляться куда пожелаешь. Если же ты не хочешь последовать моему совету, то нужно хотя бы часок побыть еще здесь, дать высохнуть поту, чтобы тебя не обдуло ветром. Лучше всего, если ты заберешься под одеяло и поспишь.

— Мне скучно лежать! — ответил я.

— Ну, если так, то посиди спокойно.

Старик пошел в дом, стоявший к западу от бассейна, вынес оттуда байковое одеяло и укрыл меня им.

Ребята собрали и унесли скатерть и посуду, а старик спустился в какую-то яму, вырытую поодаль к востоку от бассейна. Через две минуты оттуда раздался его голос:

— Махдум, пригласите нашего гостя подняться на суфу. Он в одиночестве соскучится, а здесь будет наблюдать за нашей работой и проведет время веселей.

Худощавый юноша расстелил с восточной стороны бассейна ватную стеганую подстилку и пригласил меня сесть на нее. Завернувшись в одеяло, я там уселся.

В большой яме поблизости от суфы стояла давильня из обожженного кирпича, выбеленная внутри алебастром. Глубина давильни достигала полутора метров, ширина — двух метров. Под давильней

виднелось отверстие для стока жидкости, в нем был устроен деревянный желобок. Возле желобка стоял глиняный чан, вместимостью приблизительно в десять ведер. Такую давильню винограда в некоторых районах называют «испор», в других — «чорхишт».

С южной стороны ямы помещалась длинная алебастровая печь, похожая на плиту, шириной в полтора метра и метра в два длиной. Топка печи находилась с северной стороны, а сложенная из жженого кирпича двухметровая дымовая труба была выведена позади, у южного края ямы.

На очаге возле трубы стоял большой чугунный котел, емкостью в пять ведер воды, немного ниже его находились три пары небольших котелков с широкими отверстиями, причем вторая пара была поменьше первой, а третья поменьше второй.

В пространстве между печью, западной стенкой ямы и давильней стояли три чана, полные вина, а вблизи печи я заметил два больших медных кувшина с виноградной патокой.

Старик повязал передник, затем взял в руки ковшик с носиком и направился к медным кувшинам. К нему подошел худощавый юноша, которого он назвал «махдум», с бурдюком в руках. Старик начал ковшиком переливать виноградную патоку из медного кувшина в бурдюк. Закончив работу, он завязал отверстие, отнес бурдюк в сторону и прислонил к одной из стенок ямы. Махдум доставлял ему один пустой бурдюк за другим, и старик наполнял их патокой.

Максуд-джон и Тохир-джон принесли на вилах сырой колючий кустарник, бросили его в давильню и разровняли. Затем они отправились с носилками в южную сторону от большого бассейна за виноградом, доставили его и разбросали поверх кустарника. Пока вычерпывали патоку из кувшинов, давильня напо́лнилась виноградом.

После этого Тохир-джон и Максуд-джон сняли с себя длинные халаты, засунули подолы рубашек в штаны, засучили штаны до колен и крепко подвязали веревочками. Потом чисто вымыли ноги до колен и изо всей силы начали выжимать виноград. Отделявшийся от выжимания виноградный сок просачивался сквозь сырой хворост и тек в нижнюю часть давильни, затем попадал в отверстие и по желобу стекал в чан.

После того как старик освободился от переливания патоки, он стал большим ковшом переливать виноградный сок из наполнившегося чана в поставленные на печь котлы. Махдум, подхватив железными вилами сухой хворост, наваленный в кучу в северной части ямы, складывал его возле печи, затем разжег огонь и все время подбрасывал в топку новые и новые охапки хвороста. Когда запас топлива подходил к концу, он набирал вилами из кучи пучок хвороста и подносил к печи.

Старик наполнил котлы, взял шерстяной мешок, привязал его с двух сторон в верхней части к двум палкам и подвесил все это устройство на толстых веревках к большой ветке карагача, свисавшей над ямой. Под мешок он поставил глиняный чан и, выбрав ковшом осадок со дна чана, из которого вычерпали сок, переложил его в мешок; сок, очищаясь, сквозь ткань начал капать в чан.

Потом старик поспешил к печи и начал переливать ковшиком сок из одного котелка в другой, при этом он помешивал в котелке луженой лопаткой, похожей на уполовник. Утомившись, он присаживался на краю небольшой суфы, устроенной рядом с печью перед стенкой ямы, отдыхал, пил чай, затем снова суетился возле котлов с патокой: переливал сок или помешивал в котле.

Когда сок в самой последней и самой маленькой паре котелков загустел и при кипении на его поверхности начали появляться небольшие пузырьки величиной с птичий глаз, старик вычерпал готовую патоку ковшиком в медный чан. Освободившуюся пару котелков он наполнил из стоявших рядом котелков, а в те перелил полусварившийся сок из двух верхних котелков. Их, в свою очередь, наполнил соком из большого котла и долил его большим ковшом свежего сока. Таким образом старик продолжал варить патоку.

Когда чан, стоявший под желобом, уже больше не мог вмещать сока, стекавшего из давильни, старик большим ковшом опорожнил его и до краев наполнил основной котел на печи, который перед этим очистил от осадка. Сок снова начал литься из давильни в освободившийся чан под желобом.

Варка патоки не прекращалась до вечера. Увлекшись наблюдением за работой, я забыл, что мне пора уходить. Отправляться вече-

ром пешком в дальнюю дорогу уже было неразумно, поэтому, не подавая вида, я продолжал наблюдать за новым для меня делом.

Максуд-джон и Тохир-джон кончили давить виноград, вышли из давильни, снова вымыли ноги и надели свои туфли и халаты.

Максуд-джон *растворял в чанах, наполнившихся выжатам соком, комья глины и земли, высушенные на солнце*, и вместе с Тохир-джоном, взяв две толстые, как ручки кетменей, палки длиной в два метра, начал взбивать сок, так что комья глины и земли в нем растворились и зеленоватый цвет сока приобрел мутный оттенок весеннего паводка.

Когда Максуд-джон и Тохир-джон освободились от размешивания сока, старик велел Максуд-джону сварить суп и вскипятить чай. Тохир-джону он приказал подкладывать вместо Махдума дрова в печь, где варилась патока, а на себя он взял варку патоки в кувшинах.

— Махдум, — сказал старик, — вы устали. Теперь посидите немного со своим гостем, отдохните и не пускайте его в дорогу. Уже поздно, и он не сможет засветло добраться до Гидждувана.

Махдум сел рядом со мной. Старик, стоявший возле ямы, закричал:

— Возьмите из ларя варенье и поешьте с гостем!

Пот уже высох. Я сбросил с плеч байковое одеяло и отошел от бассейна подальше в сад; немного прогулявшись, я обмыл в ручейке лицо и руки, запылившиеся в дороге, и вернулся назад.

Махдум расстелил на суфе у бассейна скатерть, поставил на нее средних размеров чашку с вареньем и положил мягкую лепешку. Тем временем Максуд-джон принес два заваренных чайника чая, один из них с пиалой поставил передо мной, другой отнес на суфу, где отдыхал старик, а сам пошел варить суп.

Мы с Махдумом принялись пить горячий чай и закусывать мягкой лепешкой с вареньем (это было варенье из арбузных корок — «кома», которое вместо сахара варилось с патокой; всякое варенье на патоке называется «кома»).

Старик снова начал варить патоку. Он взял из кувшина, а также из другого чана процеженный сквозь мешок и очищенный от примеси

глины виноградный сок и наполнил им котел для варки патоки. Тохир-джон подкладывал в печь хворост. Старик кипятил сок до тех пор, пока появившиеся на поверхности патоки пузыри не стали величиной с верблюжий глаз. Цвет вновь приготовленной патоки отличался от той, которая варилась раньше. Та была черноватой, а эта имела золотистый оттенок.

Горячую патоку старик вылил в медные чаны, а когда она остыла, переложил в новые глиняные кувшины с длинными горлышками. Отверстия в кувшинах он замазал жидким алебастром и завязал.

После ужина Максуд-джон и Тохир-джон вилами извлекли хворост из давильни, сложили на носилки вместе с веточками винограда, косточками и кожицей и отнесли подальше от сада, где все и высыпали. Затем они вымыли внутри давильню, застелили пол циновками и подготовили к завтрашнему дню.

Ночь я провел у бассейна, а рано утром на следующий день после завтрака пошел дальше.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ХАЙРАТОМ

В последний год моего пребывания в медресе Бадал-бек (1896 год) мои близкие друзья узнали, что я пишу стихи под псевдонимом «Айни». В те годы я сделал для себя сборник и на полях написал по-арабски: «Дата начала 1895—1312 г.». В этот сборник я переписывал своей рукой главным образом стихи классиков и современных поэтов. Если среди моих хороших знакомых встречались люди, обладавшие красивым почерком, то они тоже записывали мне на память удачные стихи. Несколько стихотворений Джами вписал в сборник Мир-Солех, соученик старшего брата и мой покровитель в медресе Олим-джон. Он первый узнал о моих стихах и захотел их прочесть. Мне казалось неудобным скрывать свою тайну от такого гуманного, доброго и близкого человека, каким был Мир-Солех, и я показал ему стихи. Он похвалил их, хотя сделал несколько мелких критических замечаний и указал, как исправить погрешности. Однако я не возгордился от его похвал и постоянно искал среди знакомых взыскательного человека, который мог бы оказать мне помощь в искусстве стихосложения.

Весной 1895 года Шариф-джон-махдум закончил курс учения и в честь этого события устроил большой праздник. Меня пригласили, как бывшего слугу, помогать хозяевам обслуживать гостей. Поэтому наши отношения опять возобновились. Иногда в свободные от занятий вечера я навещал Шариф-джон-махдума, а если у него в это время сидели его друзья-поэты, то слушал их беседы и по мере своих сил и возможностей старался из этого извлечь для себя пользу.

Я решил воспользоваться возобновлением нашего знакомства, чтобы получить от Шариф-джон-махдума полезный совет, и однажды показал ему свои стихи. Кроме Мирзо-Абдулвохида, у него никого не было. Не сделав никаких критических замечаний, он очень похвалил мои поэтические упражнения и велел написать стихи, посвященные памяти его отца — верховного судьи Абдушукура, чтобы в них упоминалась дата его кончины. Отец Шариф-джон-махдума скончался в 1306 (1889) году, т. е. шесть лет тому назад. Заказывать через столько лет начинающему юноше-поэту стихи на смерть крупного ученого можно было лишь ради испытания. Я почувствовал, что Шариф-джон-махдум сомневается, действительно ли я сам написал те стихотворения, и заказал мне эпитафию, чтобы убедиться в истине.

Я трудился целую неделю и выполнил его поручение. Стихотворение состояло из шести бейтов — двенадцати строк. По уровню поэтического мастерства оно было очень слабым, ученическим, а по своей сути — выражению в стихах даты смерти — просто бесталанным. Несмотря на недостатки, Шариф-джон-махдум одобрил его и совсем не подверг критике. Тем самым он признал меня поэтом.

* *
*

Зимой 1895/1896 года в медресе Бадал-бек некоторые ученики, занимавшиеся хуже меня, приходили ко мне и спрашивали по поводу непонятных мест из уроков. Это были мои соседи по кельям. Среди них чаще всего наведывался ко мне некий Мулло-Эшон-кул из селения Шахри-Ислом.[1] Он видел несколько раз, как я пишу на память стихи, и стал считать меня поэтом.

[1] Шахри-Ислом — деревня к западу от Бухары. (*Примеч. автора*).

— В прошлом году, — рассказал он мне, — когда я жил в медресе Мухаммад-Али-ходжа, по соседству со мной поселился один способный ученик из Бухары по имени Махдум-Хайрат. Я часто заходил к нему в келью и просил прослушать мои уроки. Он так же, как и вы, сочинял и записывал газели.

— Вы и теперь с ним знакомы? — спросил я.

— Ну, разумеется! Я ему очень обязан и уважаю его, как своего учителя. Иногда в свободные дни я захожу его проведать.

— Если так, то приведите его поскорее ко мне в келью!

В первый же свободный день на следующей неделе Эшон-кул привел ко мне Махдум-Хайрата. Юноша оказался немного меньше меня ростом, с короткой шеей и смуглым худощавым лицом. Его черные, всегда немного прищуренные глаза на все смотрели молча и удивленно. Псевдоним «Хайрат» так к нему подходил, что при виде его я изумился, насколько полно смысл псевдонима соответствовал личности поэта. Когда мы здоровались и приветствовали друг друга, я внимательно посмотрел на него и мне показалось, что я как будто где-то его уже видел, но не в состоянии вспомнить. Во время беседы, — уж не знаю, по какому его жесту, — но память мне вдруг подсказала, что это был тот самый худощавый юноша, которого называли «Махдум», когда два года назад я случайно встретился с ним в деревне Регзор, в саду, где варили патоку, во время своей тяжелой болезни.

Он проявил тогда человеческое участие и заботу. Если бы он не пожалел меня и не привел сгорбленного сострадательного старика, который дал мне приют в своей усадьбе, я мог погибнуть на пыльной дороге.

Несмотря на то, что я его узнал, из осторожности я все же спросил своего гостя, он ли был тем добрым юношей или нет.

— Лишь только я вошел к вам в келью, как сразу же увидел, что вы и есть тот самый больной упрямый юноша. Неужели вы меня только сейчас узнали?

Прежде всего я попросил своего нового знакомого объяснить мне, кто был тот приветливый старик, что за юноши ему помогали и какое он сам имел к ним отношение.

Хайрат ответил, что все они из одного квартала, а старик был в свое время близким другом его отца. Звали старика Мулло-Давлат, и занимался он приготовлением халвы. Когда поспевал виноград, он приезжал в деревню Регзор, там скупал из нескольких садов виноград и варил патоку. Эту патоку он перевозил в город, потом сам приготовлял на ней различные сорта халвы и продавал свой товар. Максуджон был его старшим сыном и получил лишь начальное образование. Зато младший сын старика, Тохир-джон, оказался не только ровесником Хайрата, но и его соучеником. Он хорошо усвоил грамматику, понимал поэзию и благодаря этому стал приятелем Хайрата и даже его близким другом. Так как отец очень любил Тохир-джона, он разрешил ему заниматься музыкой и пением. Теперь он хорошо играл на дутаре и изучал многие мелодии «шаш-макома».

Тот год, когда я с ними встретился, совпал с холерным годом. Хайрат тоже болел холерой и долго лежал в постели. Когда он выздоровел, Мулло-Давлат в память его отца и потому еще, что считал юношу близким другом своего младшего сына, взял его для поправки на время сбора винограда в деревню Регзор. Там Хайрат, питаясь виноградом, патокой и вареньем, хорошо поправился.

* *
*

Наша беседа с Хайратом в первое свидание протекала очень оживленно и сердечно, словно мы были старыми друзьями. Он попросил у меня мои стихи. Я без стеснения показал ему стихотворение, написанное мною под псевдонимом «Айни» по случаю гулянья «Красного цветка».[1] Это было то самое стихотворение, которое я показывал Шариф-джон-махдуму и которое он похвалил, не сделав никаких замечаний, и даже выразил сомнение, действительно ли я его сам написал.

[1] Гулянье «Красного цветка» (Гули сурх) устраивалось ежегодно на мазаре Бахауддина Накшбанда, расположенном в десяти километрах от города. Это гулянье происходило в апреле и мае, когда начинали цвести красные розы. (*Примеч. автора*).

После того, как я продекламировал стихотворение, Хайрат взял его и молча внимательно прочел, затем еще раз прочел мне его громким голосом, указал на недостатки и посоветовал переработать.

Тогда же под руководством Хайрата я его исправил и считаю уместным привести здесь в память моего дорогого друга.

Красный цветок

Открыл бы тайну, если б друга, что душа желала, я имел,
Когда б того, кому печаль мою узнать пристало, я имел.
И не раскрылись бы в ночи разлуки раны сердца моего,
Когда бы ту, которая меня очаровала, я имел.
Вся горечь мира не похитила бы сердца у меня тогда,
Когда бы помощь друга, что и мертвых оживляла, я имел.
В день Красного цветка зачем бы зрелища гулянья был лишен,
Когда бы денег столько, чтоб на праздник мне достало, я имел.
И разве стал бы я тогда блуждать и колебаться, как весы,
Когда бы я, Айни, достатка много, а не мало я имел.

Хайрат тоже прочел мне на память несколько своих газелей. А во время нашей беседы, когда он хотел подтвердить ту или иную свою мысль, читал без запинки касыды старых мастеров, содержащие по сорок или пятьдесят бейтов. Я убедился, что у него была поразительная память.

В беседе он свободно, со знанием дела, но в доступной для понимания форме говорил о правилах метрики, об особенностях поэзии и других тонкостях литературы и всякий раз подтверждал свои слова примерами из старых поэтов.

При нашей первой встрече я убедился в его исключительных способностях и знаниях, и мне казалось, что этот худенький подросток был именно тем человеком, которого я так долго разыскивал среди поэтов и знатоков поэзии того времени, чтобы он руководил моей работой над стихами. Несмотря на то, что он являлся моим сверстником и в медресе мы с ним проходили одно и то же, я его сразу признал своим учителем и про себя говорил:

Хоть друг рядом с нами — по свету блуждаем мы;
Вода под ногами — от жажды страдаем мы.

Я записал тогда для себя одну газель Хайрата, которую он мне прочел. Однако при всей силе своего поэтического дарования он не хотел, чтобы его считали поэтом. Он попросил меня, чтобы я никому не показывал его стихов, в особенности поэтам, и не рассказывал, что он занимается стихосложением.

Но я не мог мириться с тем, что эта редкая жемчужина остается скрытой на дне глубокого океана безвестности. Я хотел, чтобы знатоки поэзии того времени, каждый из которых считал себя неподражаемым, узнали о моем друге, единственном и неповторимом поэте, и достойно его оценили. Поэтому, вопреки его запрету, я показал записанную мною газель Шариф-джон-махдуму.

Вот текст этого стихотворения:

О кипарис, на сад цветущий ты взираешь с высоты!
Но не гордись; ее ли стана ты не видел красоты?
Во влаге глаз моих находит свой покой мой кипарис;
О кипарис, в воде ручья ты отразил свои черты!
Чарует плавными движеньями мой нежный кипарис;
А ты, бесплодный кипарис, стыдливо прячешься в кусты!
Она проникла в сердце мне, она укоренилась в нем;
Твои же корни вязнут в глине средь подземной темноты!
Она изнежена, горда своих густых кудрей красой;
Ты рос в саду, твои же ветви острижены и не густы.
Хайрат, ты, право, слишком веришь в этот стройный кипарис.
Ты удаляешься... Быть может наш спор услышала и ты?

Эта газель казалась мне не только простой и понятной, все слова в ней были выбраны с большим искусством и употреблены там, где нужно, словно редкостная инкрустация. Хайрат начал борьбу против неестественных избитых сравнений, взятых у старых поэтов и без конца повторявшихся их эпигонами. Известно, что всюду, где упоминается о стане возлюбленной, поэты обязательно сравнивают его с кипарисом, самшитом, сказочным райским древом и даже с пирамидальным тополем, который выглядит весьма непривлекательно. Хайрат для своего стихотворения выбрал кипарис, который из всех этих видов деревьев является наиболее подходящим, и, сделав его пред-

метом спора, с большим поэтическим мастерством доказал, что у кипариса нет никаких преимуществ перед станом возлюбленной.

Шариф-джон-махдум также понял достоинства газели Хайрата, но не мог скрыть своих сомнений в том, действительно ли подобное стихотворение написал юноша.

— Я не могу поверить, — сказал он, — что в наше время какой-нибудь человек мог бы создать столь прекрасное поэтическое произведение.

Все же Шариф-джон-махдум велел мне привести к нему Хайрата, чтобы самому убедиться в его таланте. Однако он наказал мне ничего не говорить юноше о сомнениях относительно его стихов.

Мирзо-Абдулвохид, который присутствовал при нашем разговоре, решительно отрицал, что подобное стихотворение способен написать юноша, на год моложе его.

— Без всякой проверки я убежден, — говорил он, — что это стихотворение не принадлежит тому незнакомому юноше. Он, наверное, заимствовал его у какого-нибудь неизвестного поэта прошлого и выдает за свое.

Тогда я понял, почему Хайрат скрывает свой поэтический талант и свои стихи от людей, в особенности от современных ему поэтов и знатоков поэзии.

Как бы там ни было, я рассказал Хайрату, что показал Шариф-джон-махдуму его стихи, и спросил, когда он сможет пойти к нему домой.

Хайрат не обиделся на меня и даже выразил свое удовольствие.

— Совсем не плохо познакомиться и завязать отношения с Шариф-джон-махдумом, одним из наиболее образованных людей нашего времени, дом которого стал литературной школой, — ответил Хайрат. — Я не знал, что вы бываете у него, а не то я сам попросил бы вас познакомить меня с ним.

Хайрат предоставил мне самому выбрать время для посещения Шариф-джон-махдума. В один из свободных дней на той же неделе я повел его в дом Шариф-джон-махдума.

Когда мы туда пришли, там были в гостях поэты Лутфи и Абдулло-ходжа Тахсин, а Мирзо-Абдулвохид подавал чай.

Шариф-джон-махдум знаками осведомился у меня, действительно ли моим спутником был Хайрат, и представил его своим собеседникам. Однако при виде невзрачной наружности Хайрата его недоверие к поэту еще больше возросло. Несмотря на сомнение, он прочел стихотворение Хайрата своим гостям и добавил, что Хайрат является его автором. В то время, когда читалось стихотворение, я заметил, как на лицах слушателей отразилось недоверие.

Беседа затянулась, но Хайрат ничего не говорил, а только слушал. Он и по природе был мало разговорчив. В особенности здесь, в доме одного из знатных лиц города, он считал неудобным вмешиваться в разговор известных поэтов.

В конце беседы, когда мы попросили разрешения уйти, Шариф-джон-махдум дал Хайрату газель в девять бейтов, написанную его отцом в подражание Бедилю, и заказал ему написать на нее мухаммас.

Мы вышли во двор.

— Это испытание, — промолвил Хайрат.

На второй день он принес мухаммас на газель и дал мне, чтобы я отнес его Шариф-джон-махдуму.

Познакомившись со стихами моего друга, Шариф-джон-махдум поверил в поэтический талант Хайрата и назвал его редкостным явлением своего времени.

Я считаю уместным привести здесь для образца три строфы из мухаммаса Хайрата.

Друг ужаса, от страсти к знанью на фарсанг далек душой,
Я с разумом борюсь и с честью и со славою людской.
Не спрашивай, о друг, чем вызван необычный жребий мой.
«Я — просвещения и чести враг, я — как безумец злой,
Хочу, чтоб камень бросила она в меня своей рукой».[1]
Приди, разлукой истомлен, твоего прихода жду,
Надеждой, страстью упоен, я твоего прихода жду,
Бежал от глаз кровавых сон, я твоего прихода жду,
«Создав тебя достойный трон, я твоего прихода жду,
Приди и услади мой взор, коль тронулась моей тоской!».

[1] Строчки, взятые в кавычки, принадлежат отцу Шариф-джон-махдума, три другие строчки в каждой строфе принадлежат Хайрату. (*Примеч. автора*).

В игре страстей, как ветер, я блуждал всю жизнь,
Путем пустынным я в тоске влачился и рыдал всю жизнь,
Не следуйте никто за мной, ведь цели я не знал всю жизнь,
«Как на верблюжьей шее колокольчик, пробренчал всю жизнь.
Мне нечего сказать, остался жизни смысл не познан мной».

Стихотворная манера, которой Хайрат следовал в этом мухаммасе, противоречила его собственному художественному вкусу. Сам он писал стихи простые, без всякой пышности. Однако юноше был заказан мухаммас на газель, написанную в духе Бедиля, и ему пришлось придерживаться той же торжественной манеры. Сила мастерства Хайрата проявилась в том, что он преуспел и в чуждом ему подражании. Ведь написать что-либо, противоречащее собственному стилю, очень нелегко.

Шариф-джон-махдум очень хвалил за глаза молодого поэта. Под влиянием разговоров о таланте Хайрата Мирзо-Абдулвохид, который до того времени упражнялся только в прозе — переписывал разные прозаические сочинения, — тоже захотел стать поэтом. Он начал слагать стихи и выбрал себе псевдоним «Мунзим», который, по его мнению, означал «пищущий стихи». Так как он был немного высокомерен и ни с кем не советовался в литературных вопросах, а в арабском языке разбирался слабо, то не понял допущенной им ошибки. В арабском языке слово «мунзим» не имеет значения «пишущий стихи», «стихотворец». Более того, в этой форме оно вообще не связано с поэзией и стихосложением. Позднее Мирзо-Абдулвохид понял свою ошибку, но решил все же не менять псевдоним, так как был уже известен.

* *
*

Так Хайрат стал моим другом и другом моих друзей. Через нас он познакомился со всеми деятелями литературы того времени. Он сделался также близким другом Абдулхалил-махдума, Мирзо-Абдулвохида и Хомид-ходжи, и все они его очень уважали. Хайрат постоянно ходил со мной в дом к Шариф-джон-махдуму, присутствовал на происходивших там литературных и поэтических диспутах, но сам не принимал в них участия.

Раньше Хайрат жил в медресе Мухаммад-Али-ходжа, расположенном вблизи от Кош-медресе. Оттуда было далеко до центра города, и Хайрату приходилось проходить большое расстояние, чтобы попасть на Чорсу, где в то время часто собирались литераторы. Поэтому он летом того же года перебрался в небольшое медресе Сузангарон, находившееся в центре Бухары.

БИОГРАФИЯ ХАЙРАТА

Звали Хайрата Мухаммад Сиддик. Он родился в 1878 году в квартале Арусони Бухоро, который в просторечье известен под именем квартала Урусон, в семье муэдзина. Вместе со своим младшим братом он лишился в восьмилетнем возрасте отца, а в двенадцатилетнем — матери.

В наследство от отца Хайрату достался небольшой дом в одну комнату без внешнего двора, келья в медресе Мухаммад-Али-ходжа и келья в медресе Сузангарон. Он жил на весьма скудные доходы с вакфа, приходившиеся на эти кельи, и воспитывал брата.

Хайрат был очень способным человеком. Он окончил квартальную школу и научился там хорошо читать и писать. В медресе Хайрат всегда шел впереди своих соучеников, — несмотря на то, что не уделял должного внимания занятиям, — и запоминал все, что требовалось. Он обладал отличной памятью. Ему достаточно было бегло просмотреть книгу или выслушать урок, чтобы запомнить все, что нужно. Юноша не придавал значения выбору учителя и шел к кому-либо в ученики лишь потому, что так было принято. Бóльшую часть предметов он изучал самостоятельно. Мы занимались с ним по одной программе, но у нас не было с ним ни одного óбщего преподавателя. Его официальным репетитором считался Мулло-Абдукарим балхский, а классным учителем — араб Мулло-Хомид. Ни один из них не пользовался известностью как ученый и не имел никакого отношения к литературе. Несмотря на это, он в совершенстве овладел грамматикой арабского языка и логикой.

Когда Хайрату исполнилось пятнадцать лет, он, подобно другим ученикам, перебрался из дома в медресе. Сначала юноша поселился

в медресе Мухамад-Али-ходжа, находившемся недалеко от его дома, а потом, как уже говорилось, переехал в медресе Сузангарон в собственную келью, доставшуюся ему по наследству.

Брат Хайрата в то время был еще малограмотен, но по желанию жителей квартала, из уважения к памяти его отца, он был назначен муэдзином местной мечети. Поэтому он отделился от старшего брата и зажил самостоятельной жизнью. Две кельи, оставшиеся им в наследство, были поделены между братьями: келья в медресе Мухаммад-Али-ходжа досталась младшему брату, а келья в медресе Сузангарон — старшему. Дом остался в их общем владении, но так как младший брат стал муэдзином у себя в квартале, то он перешел из медресе к себе домой.

Хайрат с трудом жил на доход с вакфа кельи в медресе Сузангарон, в месяц он имел всего двести тенег (тридцать рублей). Все его учебники и книги по литературе были взяты под залог или получены на время, покупать книги он не имел возможности.

Когда Хайрат еще учился в школе, он начал писать стихи, и как уже говорилось выше, за два-три года достиг высокого поэтического мастерства. В детстве он часто бывал у своего соседа по кварталу Хаджи-Хомид-джона. Это был образованный человек, библиофил, и у него в доме хранились всевозможные рукописи и печатные издания, касающиеся различных наук и литературы. Хайрат брал у него книги, прочтя их, возвращал хозяину и получал новые. Так как он обладал прекрасной памятью, то, прочтя лишь один раз книгу, запоминал ее содержание. Любое стихотворение, какой бы оно ни было длины, сохранялось в его памяти навсегда. При посещении своих друзей, имевших много книг, он умел сразу же находить книгу, которую раньше не видел, и, усевшись в уголок, быстро прочитывал ее от начала и до конца. Если присутствовавшие спрашивали его, он мог рассказать содержание книги и тут же прочесть на память имевшиеся в ней стихи.

За короткое время Хайрат научился русскому языку у одного своего друга, который знал по-русски. Юноша овладел языком настолько хорошо, что мог без труда изъясняться и даже записывать уроки.

В 1898 году плохое материальное положение сказалось на здоровье Хайрата и худоба его еще больше увеличилась. Чтобы поправить свои дела, он поступил писцом к маклеру Ашур-беку, занимавшемуся продажей каракулевых шкурок. Каждое лето в период заготовок каракуля, с марта по август, он работал у Ашур-бека, ездил с ним на каракулевый базар, записывал все сделки по продаже и покупке шкурок, а вечерами сидел у него дома и вел книги. Хозяин за эту службу платил ему ежемесячно по двадцать тенег (три рубля).

Ничтожная оплата, составлявшая за пять месяцев пятнадцать рублей, не улучшила материального положения Хайрата, и он худел день ото дня; в 1900 году у него появились признаки чахотки и он начал кашлять.

В те времена местные лекари знали против чахотки лишь два лекарства: одно из них было вино, а другое — поездка на свежий воздух. Лекари полагали, что чахотка происходит от тоски и горя, поэтому и обращались к средствам, «веселящим человека».

Сын Ашур-бека, Рахматулло-бек, который подружился с Хайратом во время его службы у отца, после того как узнал о болезни приятеля, решил применить к нему одно из этих средств. Хотя лекари рекомендовали как лекарство натуральное виноградное вино, Рахматулло-бек под видом лечения спаивал Хайрата водкой.

Это «лекарство» ухудшало состояние его здоровья и делало болезнь еще тяжелей. Тогда Рахматулло-бек обратился ко второму средству и летом 1900 года, после окончания сезона заготовки каракуля, взял Хайрата с собой в путешествие по Фергане. Конечно, это средство тоже не помогло, и зимой 1900/1901 года болезнь Хайрата обострилась. Несмотря на это, он продолжал зимой учиться, по-прежнему принимал участие в литературных бесе́дах, а летом работал на каракулевом базаре.

Зимой 1901 года ему пришлось уже оставить многие дела — посещение уроков и встречи с друзьями — и лежать в своей келье. Медресе Сузангарон было самым маленьким и самым плохим из всех бухарских медресе. Со всех сторон его окружали торговые ряды, базары, торговые склады и двухэтажные дома, даже вонючий городской воздух, и тот не проникал туда. Что же касается кельи Хайрата, то она

представляла собой сырую конуру без окон, размером в два квадратных метра, расположенную в первом этаже. Питался Хайрат тоже очень скверно: кроме чая и лепешки, он ничего больше не имел.

Я считал положение своего друга очень опасным и глубоко задумался. Однако у меня не было никаких возможностей помочь ему. Поэтому я обратился за советом к Абдулхалил-махдуму, Ахмад-джону и Мирзо-Абдулвохиду, которые, подобно мне, были близкими друзьями Хайрата. Мирзо-Абдулвохид после назначения Шариф-джон-махдума казием жил самостоятельно в медресе Мулло-Мухаммад-Шариф.

Самое большое великодушие проявил Абдулхалил-махдум. В то время у него в келье был пуд курдючного сала, пуд риса и две нимчи (один килограмм) чая. Как женатый человек, он редко обедал у себя в келье, расположенной во втором этаже, как раз против бассейна Гозиён. Эту келью со всеми продуктами он решил передать мне и Хайрату. Мирзо-Абдулвохид взялся иногда варить в своей келье плов с маком, что является полезным при кашле, а Ахмад-джон, имевший свой дом, обещал иногда заказывать дома блюда из теста, такие, как пельмени и лапша, и приносить их Хайрату, чтобы больному не надоело ежедневно питаться пловом. Я же обязался ежедневно покупать половину нимчи мяса для плова и две базарных лепешки.

Таким образом, мы перевели Хайрата из его кельи в келью Абдулхалил-махдума. Поскольку сам Абдулхалил также был болен туберкулезом и считал неудобным, как владелец кельи, приходить к больному, то он никогда у нас не появлялся. Я постоянно ухаживал за больным, другие же друзья приходили его проведывать. Даже Мир-Кодир-махдум иногда появлялся у нас и смешил больного своими рассказами юродивого.

Вероятно, благодаря хорошей еде, больной после двухмесячного пребывания в келье Абдухалил-махдума очень окреп, он даже захотел посещать пирушки и иногда по вечерам со мной и с другими друзьями отправлялся на праздник, как гость, приглашенный звуками бубна.

Когда началась летняя жара, состояние его опять очень ухудшилось. Его брат Тохир-джон, который в неделю один-два раза приходил проведать Хайрата и, расспросив о здоровье, удалялся, счел те-

перь необходимым перевезти его домой. В то время больной совсем слег и не мог уже выходить.

Этот совет принял и сам Хайрат, и другие. В начале июня 1902 года мы перевезли его в квартал Арусон, где жил его холостой брат.

Каждый из нас ежедневно приносил продукты, готовую еду или какое-нибудь лакомство и осведомлялся о его здоровье. Постоянно за ним ухаживал брат. Но я и Ахмад-джон-махдум каждую ночь по очереди тоже ночевали у него; нам было ясно, что он доживает последние дни.

Хайрат скончался в середине июня, в ночь, когда возле него дежурил Ахмад-джон. Утром, когда я занялся стиркой белья и старался пораньше ее закончить, чтобы пойти проведать больного, кто-то пришел из его квартала и принес печальное известие. Я хотя и потерял всякую надежду на его выздоровление, но эта весть все же оказалась для меня неожиданной. Тогда я держал в руках мокрую рубаху, которую собирался повесить сушить на веревку. Услышав о смерти Хайрата, я с рубахой в руках застыл от изумления и горя.

Спустя минуту я пришел в себя, внес в келью таз с намоченным бельем и побежал к дому Хайрата. Я, не заплакавший даже тогда, когда скончались мои родители, теперь громко рыдал; плакали и все наши друзья.

Мы похоронили его за воротами Талипоч, на дороге в Чорбакар, в мавзолее его предков.

После похорон я отправился прямо к себе в келью и под впечатлением невозвратимой утраты несколько дней не мог выходить на улицу и навещать друзей.

Молодые поэты и любители литературы вместо дома Хайрата приходили ко мне в келью, выражали свое соболезнование по случаю кончины моего дорогого друга и слагали элегии.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО ХАЙРАТА

Хайрат имел обыкновение записывать свои стихи в тетрадь. Некоторые стихи, занесенные рукою самого поэта, мною или Мирзо-Абдулвохидом сохранились у меня в сборнике, другие остались в доме

у его брата. Мы хотели переписать в особую тетрадь все, что от него осталось. Однако Тохир-джон сначала не соглашался отдать нам его стихи, затем выразил готовность давать по одной-две газели в день; он говорил, что после того, как мы их перепишем и вернем ему оригинал, получим следующую газель.

У нас не было иного выхода, как подчиниться его условиям. Каждый день я или Ахмад-джон шли в дом к Тохир-джону, находившийся от нашего жилья на расстоянии почти двух километров, и приносили одну или две газели. Мирзо-Абдулвохид переписывал их своим красивым почерком.

Таким образом мы получили все, что было в руках брата поэта. Мирзо-Абдулвохид переписал также и то, что имелось у меня. Газели, касыды, поэмы, кыт'а и рубои составили в общей сложности две тысячи бейтов (или четыре тысячи строк).

После смерти Хайрата слава его значительно возросла. При жизни поэта любили и хвалили лишь друзья, после же смерти всякий, кто имел хоть малейшее отношение к литературе, стал его почитателем. От всеобщего восхищения Хайратом не остался в стороне и эмир Абдулахад, выдававший себя за поэта. Он приказал верховному судье Бадриддину разыскать стихи Хайрата и доставить ему. Верховный судья вызвал меня к себе и попросил, чтобы я дал ему стихи моего друга. Я отказался и заявил: «У меня нет стихов Хайрата, все, что от него осталось, находится у брата, он мне ничего не дал». Тохир-джон спустя два месяца после смерти Хайрата тоже умер, заразившись болезнью брата.

От страха, как бы люди верховного судьи не стали обыскивать мою келью и не отобрали у меня сборник стихов, я отнес его в дом Мирзо-Абдулвохида, и мы подвесили мой и его экземпляры на потолке темного чулана. Однако в 1918 году, во время выступления Колесова, когда дом Мирзо-Абдулвохида был разгромлен, оба экземпляра погибли.

Сейчас у меня имеются лишь несколько газелей, касыд, кыт'а, рубои и одна поэма, которую Хайрат написал по моей просьбе во время поездки в Фергану, они напечатаны в книге «Образцы таджикской литературы».

Здесь я хочу предостеречь молодых критиков в одном вопросе: когда верховный судья по приказу эмира принялся разыскивать стихи Хайрата и ничего не смог найти, со всех сторон ему на помощь бросились разные поэтишки и люди, мнящие себя поэтами. Желая угодить Бадриддину, они стали приносить ему весьма посредственные стихи, подписанные псевдонимом «Хайрат». Поэтому критикам не следует всякое стихотворение, имеющее в конце псевдоним «Хайрат», принимать за подлинное его произведение. Прежде всего нужно сравнить подобное стихотворение с какими-нибудь не вызывающими сомнения стихами Хайрата и лишь после этого прийти к определенному заключению.

Приведу здесь стихотворение Хайрата, написанное им в конце жизни. Это мусаддас, в котором вкратце описана вся его тяжелая жизнь.

Я так стеснен, совсем покоя моей тоской лишен;
Нет в сердце уголка такого, что боли злой лишен.
Я жажды наслажденья жизнью — теперь и той лишен,
Вином веселья полной чаши я круговой лишен.
Желания в саду цветущем искать покой — лишен,
Я даже аромата розы любви былой лишен.
Своею жизнью в этом мире я тяжко удручен,
И осыпают стрелы горя меня со всех сторон.
Своей бедой я отовсюду охвачен и пленен;
Мечты о достиженьи цели развеялись как сон.
И в этот день душой я болен, растерян и смущен;
В ночи разлуки света лампы мой взор слепой лишен.
Из рук моих надежды чаша упала и разбилась,
В грудь кровь прихлынула и в сердце вдруг излилась.
День ото дня печалью сердце все тяжелей томилось.
Не знало раньше сердце горя, теперь им полонилось.
Из сердца прочь ушло желанье и в прахе схоронилось.
Я счастья и желаний теперь судьбой лишен.
Зачем ты знать мой жалкий жребий желаньем увлечен?
Зачем на мой вопрос ответом быть хочешь затруднен?
Мне горько, я пред небом грехами отягчен.
Увял я от печали, и стан мой истощен.
Мой дух в тоске томится, вотще страдает он.
Совсем былой отрады дух бедный мой лишен.

Насильем времени измучен — его несносен гнет, —
Как и Хайрат, сломал я крылья и прекратил полет.
От этих бед страдает сердце, тоска его гнетет,
Моя печаль в тисках — как рифма в стихах не пропадет.
Бесперой птице я подобен, я пал с моих высот;
Иметь бы хоть вороны перья — мечты иной лишен.

В заключение мне хочется показать, что думали о Хайрате признанные и беспристрастные ценители поэзии того времени. Привожу отрывки из тазкире Садра Зиё, написанные этим автором после смерти Хайрата.

Он — юноша, кого умней и лучше нет,
Подобного кому еще не видел свет;
В своих речах всегда он, как колонна, прям;
Зовут Сиддиком верного своим словам.
Ему дивятся люди все — и стар и млад.
Вот потому-то и зовут его Хайрат.
Когда он говорит, его приятна речь;
Она невольно может каждого увлечь.
Его же мысли — что капкан, и из него
Не вырваться добыче разума его.
Он мысль свою так тонко выразить сумел,
Как будто сладкозвучный соловей запел.
Умом и благородством щедро наделен;
Науки нет такой, какой не знает он.
Все в мире ум его науки воспринял,
И вещи нет такой, какой бы он не знал.
Большой ученый, овладел он знаньем всем,
Но никогда не чванится он тем.
С Мунзимом и Айни, все годы с ними вместе,
Он делит радость и невзгоды с ними вместе.
Когда Хайрат покинул царство бытия,
Оплакали разлуку с ним его друзья.
Поэтому Айни, томящийся тоской,
Подобен рыбе, что разлучена с водой;
В день годовщины смерти, горестью объят,
Как жемчуг, нанизал он звучных бейтов ряд.

Различные эпизоды из жизни Хайрата будут приведены мною далее в соответствующих местах «Воспоминаний».

ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЕ МИКРОБЫ

После большой эпидемии холеры, охватившей в 1893 году Бухару, хотя и не отмечалось массовых заразных заболеваний, но город и его ближайшие окрестности летом никогда не были избавлены от болезней и значительной смертности.

Это положение не осталось тайной для русских медиков, и летом 1895 года из Петербурга приехала специальная комиссия, в состав которой вошли ученые-микробиологи и крупные специалисты — представители медицинской науки того времени.

Вначале комиссия обошла город и его окрестности и все обследовала — бойни, болота, водостоки, водоемы, каналы и арыки, а также базарные харчевни, ознакомилась с приготовлением в них гороховой похлебки, рыбы, студня из голов, шашлыка и мытьем посуды. Заинтересовалась она и горячей пищей, которую в тазах и подносах вразнос продавали на перекрестках больших дорог.

Обратившись к эмирскому правительству, комиссия предложила для устранения болезней и уменьшения смертности перестроить и переоборудовать все то, что противоречило условиям санитарии и гигиены. Перед эмирским правительством была поставлена самая неотложная задача: очистить каналы, арыки и водоемы, привести в порядок водостоки, осушить в городе болота, прорыть каналы для отвода воды, вынести за пределы Бухары скотобойни, принять самые необходимые санитарные меры в харчевнях, запретить продажу горячей пищи на улицах и дорогах. Правилом эмирского правительства было испрашивать разрешение у фанатичных улемов во всех случаях, когда возникало какое-либо новое дело, исходившее от русских, и для его осуществления требовались большие затраты. Естественно, что улемы были против всяких новшеств и не давали разрешения на их осуществление.

Во время проведения в городе санитарных мероприятий правительство также сочло необходимым испросить фетву у улемов. Услышав этот ответ, комиссия хотела сама доказать бухарским улемам с помощью научных доводов, что нынешнее состояние города является причиной опасных заболеваний. Поэтому в городской больнице устро-

или лабораторию; принесли туда пробы воды из каналов, арыков, водоемов, болот, пробы пищи из харчевен, кровь с боен и т. п. и провели исследование. Затем комиссия попросила правительство прислать группу бухарских ученых, чтобы они своими глазами увидели через микроскоп микробы, вызывающие болезни, и дали разрешение на очистку города. Комиссия сочла необходимым включить в состав бухарской группы Ахмад-махдума Дониша, Абдулмаджида Зуфунуна и домулло Икромчу, слава о познаниях которых дошла также до русских ученых.

Бухарское правительство согласилось с предложением комиссии. Но в состав группы оно включило также Абдурахмон-махдума Рафтора, Киём-махдума и Джумбул-махдума, известных своим невежеством и фанатизмом, всегда готовых кричать на диспутах в тех случаях, когда они ничего не понимали. Кроме них, к группе присоединился еще слабоумный человек по прозвищу Букрот — Гиппократ. Он считал себя выдающимся врачом и философом, а народ в насмешку назвал его Букрот.

Ахмад-махдум из-за болезни, приковавшей его к постели, не смог принять участия в работе комиссии. Зуфунун и домулло Икромча оказались среди четырех невежд, которых пригласили именно из-за их невежества, только для того, чтобы они учинили шум и беспорядки.

Русские ученые приступили к работе в лаборатории и начали показывать бухарской комиссии в микроскоп микробов в воде, в пище и других предметах, объясняли, в чем вред каждого микроба, каким образом и какую они вызывают болезнь.

Домулло Икромча и Зуфунун подтверждали все, что говорили члены русской комиссии, и для подкрепления их слов кое-что добавляли от себя.

Как только Абдурахмон-махдум Рафтор, Киём-махдум, Джумбул-махдум и Букрот убедились, что домулло Икромча и Зуфунун считают мнение комиссии правильным, они сразу же все четверо завопили:

— Мы не согласны! Мы из-за страха не продадим своей веры, мы знаем одного лишь господа, единственного творца, который насы-

лает болезни и исцеляет от них. Мы не верим всем этим «фокусам», с помощью которых оживляют воду и показывают несуществующее, нас нельзя заставить поддаться обману!..

Члены русской ученой комиссии ничего не поняли из этих криков и слов, произносившихся по-таджикски, не сумели они разобраться и с помощью переводчика. Исследование прекратилось, и ученые удивленно смотрели на происходящее...

Неожиданно четыре человека из состава бухарской группы вскочили со своих мест и, сняв с ног туфли, начали бить есаула улемов,[1] который стоял в комнате, опираясь на посох. Они обвиняли его в том, что он привел их в такое нечестивое место.

В это время возле больницы послышались крики огромной толпы мулл и учеников медресе, подосланных тайными агентами бухарского правительства для устройства скандалов и беспорядков. Невозможно было понять, что они кричат и чего хотят. Однако находившиеся здесь правительственные чиновники не давали им проникнуть в больницу.

Члены русской ученой комиссии, увидев, что возникло бессмысленное волнение, которое грозит превратиться в крупные беспорядки, прекратили работу и разрешили уйти бухарским представителям, однако те четверо отказались покинуть помещение и с криками обратились к прибывшему из Петербурга председателю комиссии.

— Эй, господин, или дай нам немедленно расписку, что ты больше не будешь вмешиваться в дела нашей веры, или убей нас здесь же на месте!

Наконец появились двое уполномоченных бухарского правительства и предложили скандалистам удалиться. Те, согласно поговорке: «Язык птиц понимают птицы», — быстро выполнили их требование и без всяких проволочек вышли из больницы.

---

[1] Существовал особый правительственный чиновник, который всегда присутствовал на собраниях улемов. Этого чиновника называли «есаулом улемов» или «оламиён». (*Примеч. автора*).

* *
*

Члены русской ученой комиссии, конечно, поняли, что это дело искусственно создано бухарским правительством. Они обратились к политическому агенту русского правительства и просили в дальнейшем предотвратить подобные безобразия.

Политический агент русского правительства сделал соответствующее представление эмиру. Бухарское правительство вину за скандал переложило на тех четырех человек, выслало их на несколько дней из города и таким образом как будто «предотвратило» беспорядки. Однако прошло совсем немного времени — и тех четверых снова вызвали в город. Каждому из них дали место преподавателя в солидных и доходных медресе.

Очистка города и санитарно-гигиенические мероприятия не стали проводиться под предлогом того, что их не утвердили улемы и они послужили причиной беспорядков. Лишь за городом, на юг от мечети Намозгох, построили деревянное здание, куда были переведены бойни, но это принесло правительству не убыток, а выгоду. Правительственный чиновник взимал теперь определенную сумму с каждой головы приведенного на убой скота, и уже в первый год налог покрыл все расходы по строительству, а на следующий год это мероприятие принесло уже чистую прибыль.

* *
*

В перенесении боен за город некоторые наивные люди увидели признак передачи дел бухарским правительством правительству царской России. Один мулла, который мечтал стать казием, откровенно говорил: «Как было бы хорошо, если бы русское правительство дало мне возможность годика два-три побыть казием и обеспечить себе будущее, а потом пусть присоединяет Бухару к России, ладно уж! Теперь же я до конца дней своих останусь раздетым и голодным, как жаль!».

Когда слух о беспорядках в связи с «микробами» и спор о перенесении боен за город распространился по городу, Хайрат на это заметил:

— Настоящие микробы — это наши невежественные улемы и грабительское правительство. Если русские ученые хотят помочь населению Бухары в уничтожении микробов, то прежде всего пусть окажут помощь в изгнании вот этих человекоподобных микробов, которые распространяют среди людей духовные болезни. Тогда будет легко устранить и причины, вызывающие физические недуги.

СЛЕПОЙ УЧЕНЫЙ

Как уже говорилось выше, мой младший брат Сироджиддин поступил в услужение в дом Кози-джон-махдума. После того как Кози-джон-махдума назначили казием в один из районов, Сироджиддина взял к себе старший брат хозяина, Даниёл-ходжа.

Даниёл-ходжа, почтенный человек лет семидесяти, всю свою жизнь был казием в окрестностях Бухары. В то время он только что ушел в отставку по старости и стал вести отшельнический образ жизни. Его старший сын Саади-хон тогда еще учился в медресе.

Даниёл-ходжа и его сын, так же как и другие их родственники, были людьми скромными и мягкими. Моему брату жилось у них неплохо, сам старик и Саади-хон помогали ему готовить уроки.

Кроме того, в доме Даниёл-ходжи каждую неделю по пятницам собирались друзья хозяина, вели интересные беседы, обсуждали научные вопросы, и все это доставляло немалую радость моему брату, обслуживавшему их.

По словам брата, по пятницам к ним приходил слепой от рождения Мусо-ходжа. Собиравшиеся там муллы вели с ним научные диспуты, из которых он всегда выходил победителем.

Выслушав рассказ брата, я очень удивился: «Как мог человек, слепой от рождения, стать таким ученым, чтобы всех побеждать?». Поверить этому мне казалось очень трудным. Чтобы развеять свои сомнения, однажды в пятницу, когда должен был начаться диспут между зрячими и слепым, я пошел туда.

В глубине комнаты сидел хозяин дома Даниёл-ходжа, рядом с ним занял место слепой ученый. Слепому было лет сорок. На полном и румяном лице ученого выделялась короткая, щегольски под-

стриженная борода, а его безжизненные полузакрытые глаза без ресниц напоминали два кусочка голубого шелка, вшитые под черными и густыми бровями. Одежда ученого казалась бедной, но выглядела очень опрятно, на ней совершенно отсутствовали следы грязи или пыли. Его небольшая аккуратно повязанная чалма из белой кисеи не имела ничего общего с причудливыми украшениями на головах у мулл.

По сторонам комнаты сидели восемь мулл, которых я прежде не видел. Все это были пожилые, хорошо одетые люди.

Диспут начался. Один из мулл задал слепому вопрос по логике. Тот улыбнулся. Быстро заморгав веками, он поднял лицо и устремил свои незрячие глаза к потолку, словно хотел там что-то разглядеть, потом заговорил. Ученый очень подробно объяснил вопрос по-таджикски и, словно желая документально подтвердить свои слова, прочел на память почти целую страницу из авторитетной арабской книги по логике, затем перевел арабский текст на таджикский язык. Все еще продолжая «глядеть» в потолок, он спросил задавшего вопрос:

— Вы поняли или мне продолжать дальше?

— Понял, — ответил мулла.

Другой мулла пустился в рассуждения о мудрости природы и спросил слепого, что говорит Авиценна по этому вопросу. Слепой сначала привел на память по-таджикски несколько цитат из «Дониш-нома» Авиценны, имеющих прямое отношение к теме, затем прочел отрывок из арабского сочинения ученого, перевел его на таджикский язык и, кончив объяснять, спросил, как и в первый раз:

— Вы поняли?

Получив утвердительный ответ, он успокоился и стал ждать других вопросов.

Один из мулл, бывший помоложе слепого, сказал ему:

— Дядя ишан, никто не может сомневаться в ваших знаниях, жаль только, что вы не в состоянии понять одной вещи, доступной лишь зрячим глазам.

— А что это такое? — удивленно спросил слепой, все еще «глядя» в потолок и широко улыбаясь.

— Это разнообразие цветов. Конечно, слепой не может различать цвета?

Слепой, улыбаясь, запрокинул голову назад, поднял руки на уровень лица и, взяв большим и указательным пальцами правой руки мизинец левой руки и шевеля его, сказал:

— Вот это белый цвет, подобный снегу. Если вы будете долго на него смотреть, то у вас заболят глаза.

Затем слепой взял пальцами правой руки безымянный палец левой руки, пошевелил его и опять заговорил:

— Вот это черный цвет. Если долго на него смотреть, потемнеет в глазах. Если вы пробудете, не выходя, неделю в комнате, стены и двери которой плотно занавешены толстыми черными покрывалами, а затем выйдете на улицу, сразу вы ничего не увидите, даже вначале не сможете открыть глаза на свет и ослепнете еще больше, чем я. Потому что я хоть и слепой, но это меня не огорчает. Но вы будете огорчены так сильно, что даже захотите умереть.

Он описал каждый цвет, сравнив его с чем-нибудь зримым, и объяснил, чем один цвет отличается от другого.

Кто-то из мулл прочел несколько арабских фраз из книги Авиценны «Шифо» и попросил слепого перевести их и объяснить.

В то время, когда мулла читал эти предложения, слепой, по своей привычке откинув назад голову и «рассматривая» что-то на потолке своими незрячими глазами, поднял правую руку над головой и стал вертеть во все стороны, что должно было означать: «Неверно читаешь». Когда мулла кончил, слепой сказал ему:

— Вы, братец, читали неправильно! Первая ошибка заключается в том, что вы исказили текст Шейх-ур-Раиса (Авиценны), вставляли от себя слова в предложения, благодаря чему высказывания великого врача потеряли всякий смысл. Вторая ваша ошибка заключается в нарушении правил арабской грамматики: в таком-то слове нужно было читать «а», вы прочли «и»; в таком-то слове следовало прочесть «у», вы прочли «а»! — слепой одну за другой перечислил грамматические и синтаксические ошибки чтеца и в доказательство привел выдержки из учебников по арабской грамматике. Затем он добавил:

— Ваш покорный слуга играл глиняными комьями на улицах книги «Шифо» Шейх-ур-Раиса. Если вы передо мной только рас-

кроете рот, комья глины, выпадающие из моих рук или подталкиваемые моими ногами во время игры, попадут вам в рот и забьют его так, что вы не сможете и слова сказать. Будьте осторожны!

Слепой замолчал. Мулла покраснел от стыда, и пот градом полил у него с лица и головы. Слепой снова заговорил.

— Вот, вот, вы покраснели! — сказал он тому мулле.

Затем обратился к мулле, который спрашивал его о различии цветов.

— Видите, братец, как я сумел рассмотреть цвет лица вашего товарища! Помилуй бог, я ошибся, он не покраснел, как алая роза, а лишь немного, подобно розе бледно-розового цвета.

Диспут продолжался. Но никто не мог одолеть слепого. В науке о логике, в законоведении и в других науках, которые были известны тогда бухарским ученым, он без ложного стеснения показывал свои знания и в подтверждение особенно важных мыслей читал на память целые страницы из нужных ему книг.

В конце диспута хозяин дома подал собравшимся угощение. После этого гости начали расходиться.

Когда слепой покинул дом Даниёл-ходжи, я пошел следом за ним, задержал его у ворот и спросил, где могу побеседовать с ним наедине.

— Каждый день после полудня, — ответил он, — я бываю в чайной, что находится в квартале возле бани Чубин. Когда вы захотите меня видеть, всегда там найдете!

Улица квартала шейхов Ходжа-Убон идет с севера на юг. Когда квартал кончается, улица поворачивает на запад. На этом повороте расположен квартал бани Чубин. Здесь, с южной стороны улицы, были бассейн, мечеть и чайная, в которой я и нашел слепого.

Поздоровавшись, я хотел напомнить ученому об его обещании встретиться со мной. Но лишь только я заговорил, как он рукой дал мне знак помолчать.

— Я по звуку ваших шагов понял, что вы и есть тот любознательный юноша. Рассказывайте, что вас интересует!

Я спросил его, как он мог, несмотря на свою слепоту, овладеть такими знаниями.

— Я происхожу из рода джуйбарских ходжей, и зовут меня Мусо-ходжа. Хотя среди джуйбарских шейхов много землевладельцев, чиновников и крупных богачей, но встречаются также и бедняки. Положение бедняков из их среды гораздо тяжелее, чем других нуждающихся. Люди из простого народа занимаются каким-нибудь делом, на худой конец нанимаются носильщиками или чернорабочими и находят себе пропитание. Для джуйбарских шейхов быть ремесленниками, в особенности чернорабочими, считается неприличным, даже постыдным. Они убеждены, что подобные занятия наносят ущерб их чести и достоинству.

Мой собеседник налил себе из завернутого в платок чайника пиалу чая, выпил ее, затем налил в пиалу остатки чая и протянул мне.

Мусо-ходжа постучал крышкой о чайник, чтобы заказать свежего чая, пододвинул пустую посуду к краю широкой деревянной кровати и продолжал:

— Мой отец был из числа этих «безденежных гордецов» — ходжей, «бедняком, чванящимся своим происхождением», вспыльчивым и ленивым. Он ничего не делал, постепенно проел все, что получил в наследство от моего деда, и остался с одним лишь полуразрушенным домом. В это время родился я, слепой, что было для него, как в поговорке: «На покойника еще и сто палочных ударов». Какое непереносимое горе для отца дать жизнь слепому сыну, не обеспечив его средствами, да еще если этот сын — единственный его ребенок. Отец, беспокоясь о моем будущем, по примеру других родителей, имеющих слепых сыновей, отдал меня в школу чтецов Корана, чтобы я там выучил на память священную книгу и мог впоследствии существовать, читая ее вслух или питаясь даровыми блинами на мазарах.

Слепой начал переливать для заварки чай из чайника в пиалу и из пиалы в чайник. Подняв лицо кверху, он так искусно и осторожно выполнял свое дело, что на землю не пролилась ни одна капля. (А я до сих пор не могу перелить чай из пиалы в чайник, чтобы не пролить его). Затем он налил не больше чем на один глоток чая в пиалу, выпил сам, налил еще полпиалы для меня, покрыл чайник сложенным вчетверо платком и снова обратился ко мне.

— Мне в тот период было шесть лет, — начал он. — В течение двух лет я выучился читать Коран так, как произносят его арабы. В это время умер мой отец, и мать определила меня «есть блины». Восьми лет от роду я по вечерам в канун пятницы и понедельника шел на мазары. Здесь обычно собирались слепые и зрячие чтецы Корана. Женщины, у которых умерли мужья, дети или другие близкие родственники, приносили на мазар блюда с блинами или подносы со сдобными и простыми лепешками. Слепые и зрячие все хором начинали читать Коран, и я, малыш, присоединялся к ним. Говорят, что женщины сердобольны. В особенности сердца у них добреют на мазарах или на могилах их близких; при раздаче блинов и лепешек им делалось жаль меня, восьмилетнего ребенка, и по сравнению со взрослыми они давали мне бóльшую часть. Видя это, зрячие чтецы Корана, люди, которые могли добывать средства к существованию и другими путями, принимались громко протестовать. Они говорили, что женщины поступают несправедливо, выделяя несовершеннолетнему ребенку часть бóльшую, чем тридцати- или сорокалетним мужчинам. Взрослые слепцы, узнав тоже о таком «несправедливом» распределении, присоединяли к их крикам свои еще более громкие вопли. Мазар, где еще минуту назад повсюду слышались рыдания женщин и в сердцах рождалась особая грусть, как от печальной песни, становился теперь похожим на базар пряжи, где только-что поймали карманника. Однако женщины пытались их успокоить и говорили: «У вас черствые сердца, вы не имели своих детей, вы не понимаете, что значит маленький ребенок, и не жалеете его!».

Слепой налил из чайника настоявшийся чай, с удовольствием выпил его и протянул мне пиалу.

— До двенадцати лет я вполне был сыт сам и кормил мать блинами и лепешками с мазаров, — продолжал он свой рассказ. — У меня оказался хороший голос, и мое чтение Корана производило на слушателей такое же впечатление, как пение. Несмотря на мое малолетство, меня все чаще начали приглашать читать Коран в частные дома. Кроме блинов и лепешек, мне платили за чтение также и наличными деньгами одну или две теньги. На эти деньги мы смогли справить себе новую одежду, так как старая вся была в заплатах. Мать радо-

валась и говорила, что мы теперь стали жить лучше, чем при отце. Но ее радость оказалась недолгой. Когда мне пошел тринадцатый год, она умерла, оставив меня одного. Похоронив мать, я задумался о своей дальнейшей судьбе. Я думал: «Нельзя всю жизнь проводить за чтением Корана и в ссорах на мазарах при дележе блинов и лепешек». Мне хотелось приобрести знания и достойно обеспечивать себе существование. Эту мысль внушила мне жизнь Мухаммада Тохир-ходжи Зарира, умершего шесть лет назад. (О Зарире и его стихах упоминается в «Образцах таджикской литературы»). Мухаммад Тохир-ходжа Зарир был нашим родственником и происходил из джуйбарских шейхов. Он так же, как и я, родился слепым и поэтому взял себе псевдоним Зарир (слепой от рождения). Несмотря на это, он стал одним из крупнейших ученых своего времени и талантливым поэтом. Правда, Зарир был землевладельцем и имел большие доходы. Однако доходы с земли он не растрачивал попусту, а отдавал на просвещение и даже обучил на свои средства несколько способных учеников, в том числе и Шамсиддин-махдума Шохина.

Слепой рассказчик, ощупав чайник, заметил, что содержимое его остыло. Он налил полную пиалу холодного чая, выпил его двумя глотками, заказал хозяину горячий чай и снова принялся за свой рассказ:

— Вот мне и пришла в голову мысль: «Хоть я и не так богат, как Зарир, но все же могу вместо своей умершей матери прокормить какого-нибудь способного ученика, чтобы с его помощью овладеть знаниями. Пусть чтение Корана даст мне временно средства на обучение, ведь это лучше, чем если оно станет источником моего существования до конца жизни». Я сразу же приступил к осуществлению своего замысла. Мне удалось найти достаточно подготовленного ученика медресе, и мы с ним договорились, что он будет со мной заниматься по два часа в день, а я за это обеспечу его пищей и одеждой. С помощью своего наставника я за один год изучил по таджикским книгам арабскую грамматику, кроме того, он каждый день читал со мной одну-две газели Хафиза и толковал их. За короткий срок я значительно обогатил свои познания в области поэзии. На следующий год я стал изучать арабскую грамматику и синтаксис по арабским книгам, а также ознакомился с произведениями Саади, Джами

и других поэтов по их диванам, затем перешел к изучению логики. К этому времени я избрал своим учителем одного из способных, но нуждающихся мулл. Кроме того, я посещал уроки известных мулл и, отыскав себе место позади группы, слушал все, что там говорилось. Я освоился с приемами их споров и постепенно сам стал в них участвовать.

В это время самоварщик принес свежезаваренный чай. Слепой сам выпил чаю, угостил меня и закрыл чайник платком. Потом он предложил мне, не дожидаясь его, наливать себе чай.

— Я не очень люблю чай, — сказал слепой, — а когда увлекусь разговором, то совсем о нем забываю и чайник зря остывает.

— Вероятно, вы знаете, каким способом ведутся у нас в Бухаре споры? — задал он мне вопрос и сам на него ответил:

— Прежде чем привести логические доводы, стараются ошеломить своего противника острыми, полными иронии словами. В логике подобный метод ведения научных споров считается «неверным» и называется «зазнайством друг перед другом» или «приписыванием друг другу ошибок». Правда, сам я избегаю раньше других показывать свои познания или обвинять собеседников в ошибках и прежде всего стараюсь обосновать свои утверждения логическими доводами. Но я знаю, что этих мулл научными доводами не проймешь, поэтому в конце спора говорю что-нибудь язвительное, задевающее моего противника, и заставляю его умолкнуть. «Лучшим средством размочить сушеный сыр служит горячая вода» — не зря сказано в пословице.

Хотя слепой говорил, что он «не очень-то любит чай», все же налил пиалу настоявшегося чая и выпил ее с удовольствием.

— Чай, — произнес он, — служит для спайки речи и соединяет рассыпающиеся слова. Об этом поэт Кози Курбон-хон так говорил:

Кто чай зеленый пить из пиалы не рад,
Того ни проза, ни стихи не вдохновят.

Если человек не будет пить чай, он не только о поэзии или прозе забудет, но даже и о том, что с ним самим происходит. О чем это я сейчас рассказывал? Да, о том, какую пользу я извлек из посещения классных занятий и как изучил правила споров. Я кончил

бухарское медресе, в котором учатся в течение восемнадцати-девятнадцати лет, за шесть лет и по сравнению с другими учениками узнал гораздо больше. Затем я перешел к домашним занятиям. Во время этих занятий мне постоянно помогал какой-нибудь мулла, хорошо владеющий арабским языком. Мы вместе читали и разбирали арабские и таджикские книги. Так прошло еще четыре года. Конечно, я не стал поэтом, как Зарир, но очень хорошо научился понимать таджикские и арабские стихи. Больше всего я уделял внимание логике, медицине и философии. Основным источником знаний по этим наукам для меня были произведения Авиценны, я их тщательно изучил, а многие места из них, подобно Корану, выучил наизусть. Вообще же я могу, один или два раза прослушав любое научное произведение, как бы оно ни было велико, запомнить его. Если в детстве за два года я выучил наизусть такую большую книгу, как Коран, не понимая ее смысла, а затем упражнял свою память в запоминании различных вещей, то для меня уже не представляло труда усваивать ясные по мысли научные труды.

Мой собеседник умолк и стал пить чай. Я спросил у него, чем он занимается теперь.

— Мой родственник со стороны матери, казий Даниёл-ходжа, хороший человек, любящий науку, рассказал верховному судье о моем положении; тот устроил меня мударрисом в одном из медресе, где нет помещения для классных занятий. От этого медресе я имею доход в тысячу тенег в год. Так как дом отца был в квартале Джуйбор, далеко от центра города, то я его продал и купил себе небольшой дом по соседству с Даниёл-ходжой в квартале Собунгарон. Там ежедневно я даю четыре-пять уроков и получаю за свой труд от учеников средства, достаточные для существования. Таким образом, живу я неплохо. Как только я стал мударрисом, сразу же оставил чтение Корана, — занятие, которое мне очень не нравилось.

Я спросил его, женат он или нет.

— Я решил не жениться, — ответил он и пояснил:

— Ведь у меня может родиться сын такой же слепой, как я. А это явится причиной страданий не только для меня и для его матери, но и для самого невинного ребенка. Так уж лучше жить в одиночестве.

Слепой секунду печально помолчал, затем снова заговорил:

— Конечно, одиночество очень тяжко, но что поделаешь? Поэтому каждый день, освободившись от уроков, я прихожу сюда, в чайную поблизости от моего дома, сижу здесь и пью чай.

— Кто же в таком случае готовит вам пищу, стирает белье? — спросил я участливо под влиянием рассказа о его одиночестве.

— Это не трудно. Я договорился с одним из бедных учеников, чтобы он каждый день, освободившись от занятий, приходил ко мне, готовил обед, убирал двор и дом, а раз в неделю стирал белье. Я полностью кормлю его и одеваю. Иногда я даю ему две-три теньги на покупку книг.

В конце беседы я просил извинить меня, что отнял у него драгоценное время.

— Не нужно извинений, — сказал он. — Хорошо, если бы каждый день мне встречался такой человек, как вы, и я в беседе с ним не замечал, как проходят дни моего одиночества.

Мы расстались, довольные друг другом.

«БЛАГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ С ОБЕИХ СТОРОН»

Чтецом группы, в которой Хайрат брал уроки у араба Мулло-Хомида, был молодой бухарец по имени Аслон-ходжа (Арслон-ходжа). Когда Хайрат познакомился с моими друзьями, то я через него тоже познакомился с его соучениками, в том числе с Аслон-ходжой. Это был невысокого роста юноша, белолицый и бледный, вел он себя очень скромно. Его отец, пожилой мулла, которого звали Мухтор-ходжа, служил в каком-то медресе мударрисом и казался тоже очень скромным человеком.

Мухтор-ходжа имел еще старшего сына — Абдулло-ходжу, уже окончившего курс учения в медресе и назначенного мударрисом. Хотя он был таким же белолицым, как младший брат, но по росту, бороде и даже по манере повязывать чалму очень от него отличался. Абдулло-ходжа настолько выделялся среди людей своим непомерным ростом, что в Бухаре трудно было найти подобно ему высокого человека. Его длинная фигура с огромным свисающим животом напо-

минала тополь с привязанным к нему большим кувшином. Рыжеватая борода Абдулло-ходжи не казалась особенно большой, но выглядела так, будто с тех пор, как на его лице и подбородке появилась растительность, ее не касались ни ножницы, ни гребень, волосы спутались наподобие фитиля, разделились на прядки, вились и падали вниз, а на концах так закручивались, что напоминали спутанную пряжу.

Свою громадную чалму Абдулло-ходжа завязывал иначе, чем другие муллы. Складки ее тесно переплетались одна с другой, кольцами опускались книзу и достигали самых завитков его бороды. Некоторые говорили, что он углублен в науку, у него нет времени думать о чалме, поэтому от одной стирки до другой — на пятнадцать дней — он повязывает ее лишь один раз. Каждый вечер перед сном он вешает чалму на гвоздь, утром, не перевязывая ее, снова надевает на голову и идет, куда ему нужно. По этой причине складки его чалмы постепенно нарушаются и спускаются вниз.

Такое объяснение казалось всем достаточно убедительным. Однако даже люди, которые уверяли, что складки на его чалме с течением времени растягиваются, — и те ни разу не видели, чтобы чалма у него когда-нибудь была повязана как следует.

Внешность Абдулло-ходжи тоже вызывала отвращение: глаза его постоянно слезились, слезы стекали по белому безжизненному лицу и, высохнув, застывали на нем. Из носа всегда текло прямо в рот. Однако он не обращал на это внимания. Лишь иногда мударрис, втянув с шумом в нос воздух, секунду не давал течь слизи. Его сторонники говорили, что он постоянно раздумывает о высоких материях и забывает высморкаться.

Абдулло-ходжа считал себя поэтом и писал стихи под псевдонимом Абди. Но он не отличался вежливостью и скромностью, как его отец и младший брат. По улицам он ходил, ни на кого не глядя (хотя встречный мог быть его старым знакомым), и ни с кем не здоровался. Когда его громко приветствовали, он не откликался и не смотрел на здоровавшегося даже уголком глаз. Он всегда так быстро шел по улице, будто старался убежать от людей.

Обитатели медресе Кукельташ, из числа влиятельных владельцев келий, рассказывали удивительные истории о чванстве Абдулло-

ходжи. В мечети медресе Абдулло-ходжа обычно стоял в первом ряду рядом со своим отцом, но лишь только начинался намаз, как он на вершок выходил вперед старика.

Некоторые остряки, притворившись непонимающими, спрашивали его в беседе после намаза под входной аркой медресе:

— Сударь, если я не ошибаюсь, во время намаза вы как будто стояли на четверть впереди его священства, вашего уважаемого отца, хотя согласно шариату вам следовало стоять рядом. Конечно, вы большой ученый и ничего не делаете, не согласовав своих поступков с шариатом. Однако для таких невежд, как мы, причины этого непонятны. Если вы объясните нам их, мы будем очень польщены вашей любезностью. Если же нам все это показалось и на самом деле вы не стояли впереди святейшего сосредоточия надежд, то, надеюсь, вы нас простите, ведь милосердный бог также прощает ошибки своих рабов...

Почтительная форма вопроса была приятна для благородных ушей Абдулло-ходжи, фигура его еще больше против обычного потянулась вверх, щеки надулись от самодовольного смеха. Однако вспомнив, что солидному человеку не пристало смеяться, он, с трудом сдержавшись, приступил к объяснению.

— Вы не ошиблись, я действительно во время намаза стоял впереди отца, — ответил Абдулло-ходжа.

Сам он никогда не называл отца уважительно, вроде «почтенный старец», но если кто-нибудь при нем говорил о Мухтор-ходже недостаточно почтительно, то приходил в ярость, так как считал, что если проявлено неуважение по отношению к его отцу, то подобное неуважение распространяется и на него самого.

— Мой поступок соответствует шариату и обычаям, — продолжал он, — потому что мои познания несомненно выше познаний моего отца. И по происхождению я тоже выше его. Отец мой лишь со своей отцовской стороны является сайидом и благородным, я же считаюсь сайидом и со стороны отца и со стороны матери. Моя мать происходит из рода саманидов, и никто не сомневается, что эта династия принадлежит к сайидам, поэтому я могу называть себя благородным с обеих сторон. Таким образом, я имею перед отцом преимущество

и по знаниям, и по происхождению. Известно, что каждому необходимо и даже обязательно оберегать свою честь. Соблюдение равенства ряда во время намаза — это установление религии, но когда оно приходит в противоречие с необходимостью, то человек умный и ученый, конечно, скорее будет подчиняться необходимости. Вот на каком основании я совершенно сознательно стал впереди отца...

Присутствовавшие отлично знали, что саманиды не имели никакого отношения к роду пророка — сайидам — и происходили от балхских таджиков, а не от арабов, но никогда не говорили ему этого. Они не хотели лишать себя удовольствия поразвлечься шутками на его счет в часы вечернего отдыха перед последним намазом, когда беседы мулл под входной аркой бывают особенно горячими.

Обитатели медресе Кукельташ множество раз слышали от Абдулло-ходжи рассказ о его благородном происхождении, но несмотря на это, если не находили ничего более интересного, снова в шутку задавали ему прежний вопрос и слышали его избитый ответ (однако каждый раз по-другому) и получали удовольствие.

* *
*

Уж не знаю, в связи с чем, но однажды Аслон-ходжа пригласил Хайрата и меня к себе в гости. Мы пошли. В задней части комнаты сидел Абдулло-ходжа. Кроме нас, присутствовало еще несколько гостей.

Мы с уважением, достойным более почтенных людей, приветствовали Абдулло-ходжу. Однако в ответ он с трудом пошевелил губами, но звука не последовало. Мы раскаялись в своем приходе и уселись в уголке. Хозяин дома был младшим братом Абдулло-ходжи, поэтому он тоже считался хозяином дома. Однако каким бы большим человеком ни мнил себя хозяин, ему не следовало так обращаться с гостями.

Все сидели молча, подобно тому, как сидят шейхи. Аслон-ходжа приносил чай, лепешки и другое угощение. Всякий раз он обращался к нам со словами: «Что же вы молчите, беседуйте!», — но никто не открывал рта.

Наконец самый старший среди собравшихся, Абдулло-ходжа, посмотрев на Хайрата, спросил:

— Братец, говорят, что вы поэт, это правда?

Это был такой вопрос, что Хайрат предпочел бы получить удар кинжалом, чем слушать что-либо подобное. Все же он сдержался и вежливо ответил:

— Господин!..

Однако по его восклицанию нельзя было понять, утвердительно или отрицательно он ответил на вопрос.

Абдулло-ходжа продолжал:

— Если у вас действительно есть склонность к поэзии, то мой вам разумный совет: постарайтесь от нее избавиться. Чтобы стать поэтом, нужно очень много знать и много лет учиться у мастеров стиха. Человеку, который еще не успел подняться от земли, рано заниматься подобным делом.

Должно быть, для того чтобы проверить, какое впечатление произвели на Хайрата его слова, Абдулло-ходжа снова спросил:

— Разве, братец, не так?

— Возможно, что и так, — ответил Хайрат.

— Конечно, так! — решительно сказал Абдулло-ходжа и добавил:

— Нельзя великим быть и опираться для того на ложь,
Хотя все подготовил ты, чтобы скорей величия достичь.

— Это очень правильно.

Разговор закончился, и комната снова стала напоминать место сборища мертвецов. Ни я, ни Хайрат не протянули рук к плову. На нас не подействовало и приглашение бедного Аслон-ходжи. Как только забрали скатерть, мы вышли из их дома. Хайрат вместе со мной отправился ко мне в келью. Взяв перо и бумагу, он написал экспромтом сатиру на Абдулло-ходжу в пятьдесят бейтов; я считаю уместным привести здесь из нее несколько начальных бейтов.

Как пряжи праздничной базар — чалма на голове твоей!
К нему же борода твоя — в придачу меж других вещей.
Лицо — как жидкая земля, размякло в сырости оно,
И желобу подобен нос в канаве грязных щек-полей!

Пуста, как тыква, голова, и глупостей полны уста!
А станом ты с верблюдом схож, живот — корзина отрубей
Твоя фигура так длинна, как древко стяга высока,
Подобна знамени Каве чалма огромная на ней.
И, как у водостока, грязь под носом у тебя всегда...
А там, где уголочки глаз, еще значительно грязней.
Ужасны действия твои, и отвратителен твой вид,
Поступки смысла лишены, и нет глупей твоих речей!

Кончив стихотворение, Хайрат переписал его начисто, тотчас же отнес Аслон-ходже и, отдавая, сказал:

— Это благодарственное стихотворение в ответ на гостеприимство вашего брата!

Аслон-ходжа, который во время приема гостей сидел молча, огорченный поведением брата, взял стихотворение, сразу же в отместку отнес его ему и вручил.

Когда Абдулло-ходжа прочел стихотворение, он потерял голову и стал умолять брата принять меры, чтобы сатира не распространилась по городу, а то он окажется опозоренным на весь мир.

Абдулло-ходжа был прав. В те времена в Бухаре никакой прессы еще не существовало. Литературные произведения переписывались или передавались устно. Серьезные стихотворения распространялись довольно медленно, зато сатирические стихи, будь то приличные или неприличные, немедленно переходили из рук в руки, из уст в уста. Их можно было услышать на улицах, в чайных, в мехмон-хонах, в течение одного-двух дней они облетали весь город.

Однако Аслон-ходжа поначалу не указал брату никаких путей к предотвращению беды. Когда его мольбы перешли, наконец, в слезы, Аслон-ходжа посоветовал ему обратиться ко мне. Он сказал, что я, близкий друг Хайрата, может быть, смогу на него повлиять и помешаю распространению стихов.

На следующий день, рано утром, еще до восхода солнца, Абдулло-ходжа пришел ко мне в келью. Это было удивительное зрелище: человек знатного рода, который не отвечал на приветствия других знатных горожан и считал себя выше своего отца, плакал перед босоногим деревенским учеником медресе, умоляя оказать ему помощь.

Я видел, что от него нелегко будет избавиться, поэтому пришлось пообещать ему, что не допущу распространения стихов. Я знал, что Хайрат никому, кроме меня, стихотворения не показывал.

Таким образом Абдулло-ходжа познакомился со мной и при каждой встрече держался подобострастно. Иногда он даже обращался ко мне за советом и называл меня «много пережившим» и «опытным» человеком. Однако с другими он по-прежнему вел себя высокомерно и чванливо.

ДРУЖБА ДВУХ ГОРДЕЦОВ

Абдулло-ходжа всегда ходил по городу один, никто его никогда не встречал в сопровождении какого-либо другого человека. И вот в последнее время он вдруг нашел для себя неразлучного спутника. Его приятелем оказался мой родственник, сын Устоамака — Парвардигор-худжа, с которым читатели познакомились в первой части «Воспоминаний».

Сайид-Акбар-ходжа, который благодаря своему высокомерию получил от людей прозвище «Парвардигор-худжа», сначала был прислужником у бухарского ахунда Ориф-хона, после смерти ахунда стал жить самостоятельно и приобрел весьма «знатный» вид... При среднем росте он обладал стройным и гибким станом, рябое лицо его всегда казалось свежим, глаза хотя и были узенькими, но смотрели очень внимательно, а на кривых губах постоянно играла снисходительная улыбка. Бородка у Парвардигор-худжи отросла небольшая, красноватого оттенка, но от постоянного мытья мылом и расчесывания гребнем она по волоску торчала во все стороны и, подобно шелковым нитям, как-то по-особенному блестела.

Кожаные калоши, ичиги, чалма и халат его отличались чистотой, на них не заметно было и пылинки; петли на халате накидывались на две обтянутые белым шелком пуговицы, красовавшиеся на самой середине груди. Сайид-Акбар-ходжа носил большую чалму, но, в противоположность Абдулло-ходже, плотно ее повязывал.

Моему высокомерному родственнику не исполнилось еще и тридцати лет, но по улицам он ходил с посохом, который на четыре пальца возвышался над его головой. В отличие от Абдулло-ходжи, он

шествовал очень медленно и всегда вежливо отвечал на приветствия. Остановившись на секунду, он, улыбаясь, внимательно смотрел на здоровавшегося с ним человека, потом очень тихо отвечал на приветствие. Если встречный был достоин особой милости, то, ответив на приветствие, он еще добавлял: «Как ваше здоровье?».

Сайид-Акбар-ходжа вел себя так, словно он — восьмидесятилетний многоопытный старец и все, кто с ним встречаются на улице, годятся ему в сыновья, внуки или правнуки, а он с трудом узнает своих потомков и в меру оставшихся физических сил оказывает им милость. Если он не смотрит на людей и первый не здоровается с ними, то это происходит не из-за его невоспитанности или невежливости, а только по старости. А в остальном, при благородстве своего происхождения, знаниях и преклонном возрасте, он любезен и милостив с людьми.

Парвардигор-худжа до того, как подружился с Абдулло-ходжой, тоже ходил один по улицам, и его никому не приходилось видеть с кем-нибудь вдвоем.

Когда эти два гордеца подружились, внимательные люди заметили, что они стараются приноровиться друг к другу и, чтобы укрепить свою дружбу, прощают один другому некоторые черты характера. Так, каждый из них, считавший себя самым благородным, самым образованным, самым ученым, самым важным, не чванился перед другим, не опережал его и не садился на более почетное место.

Привычка Абдулло-ходжи быстро ходить по улицам, по мнению Парвардигор-худжи, противоречила святости, поэтому Абдулло-ходжа ради друга избавился от этой привычки и, подобно ему, стал шагать солидно. Так же точно и Абдулло-ходжа счел манеру Парвардигор-худжи любезно и вежливо отвечать на приветствия противоречащей благородству и знатному происхождению. Поэтому Сайид-Акбар-ходжа ради друга оставил эту манеру.

Однако по поводу посоха Сайид-Акбар-ходжи между друзьями несколько дней шла дискуссия. Абдулло-ходжа не одобрил посох своего друга:

— Это признак принадлежности к шейхам и отшельникам, а я ненавижу шейхов. Я поэт, философ и врач, поэтому не хочу хо-

дить с палкой. Однако если вы, идя рядом со мной, будете держать в руках посох, невежественные люди сочтут вас за шейха и будут считать, что вы выше меня. Это повредит моему авторитету!

Парвардигор-худжа ни за что не хотел отказываться от посоха и говорил своему другу:

— У вас очень высокий рост, и если я без посоха буду идти рядом с вами, то недальновидные люди при виде моей маленькой фигуры рядом с вашей мощной, похожей на верблюда фигурой примут меня за вашего ученика или младшего брата. Этого я, при моем благородном происхождении, никак не смогу перенести!

После нескольких дней споров Абдулло-ходжа, наконец, нашел выход из затруднительного положения. Он вспомнил, что Амхад-Калла, ученый, врач и философ, всегда ходит, опираясь на русский посох (трость). «Почему бы мне, — подумал он, — не ходить с таким посохом? Ведь в знаниях по медицине и философии я намного опередил его. Если я найду красивую палку со змееподобной верхней частью, которая напомнит всем причину превращения пророка Моисея в дракона, мое величие и святость в глазах людей во много раз возрастут».

Когда Абдулло-ходжа изложил свою примиряющую мысль Сайид-Акбар-ходже, тот ее одобрил. Поэтому оба они решили, что при выходе на улицу Абдулло-ходжа будет брать русский посох, а Парвардигор-худжа — длинный посох, какие носят шейхи.

Однако каждый из них в душе считал свою палку по сравнению с палкой друга обладающей бóльшими достоинствами и радовался, что, к счастью, приятель не догадывается об этих достоинствах, а не то они не смогли бы договориться. Абдулло-ходжа думал так: «Поэзия, медицина и философия — это высокие достоинства, которые делают вечным имя человека, и народ до сих пор почитает таких поэтов, врачей и философов, как Саади, Хафиз, Джами и Авиценна. Не будем далеко ходить за примером, Ахмад-Калла при всем несовершенстве своих стихов и недостатках во врачебных и философских познаниях, несмотря даже на то, что он приобрел славу безбожника, пользуется уважением взрослых и детей, а правители его боятся. В чем внешне выражается его превосходство над простыми

людьми? Вот в этой русской палке со змеевидным набалдашником. Как хорошо, что деревенский невежда (Парвардигор-худжа) не понимает преимуществ моего посоха, ведь он большой упрямец и никогда бы не согласился, чтобы я со своей палкой ходил рядом с ним по улицам».

Сайид-Акбар-ходжа думал о преимуществах своей палки так: «Этот посох указывает на мой почтенный возраст, достойный уважения, и свидетельствует также, что я шейх — отшельник. Уважение, выпадающее на долю человека, похожего на шейха, — это „халва, не пахнущая дымом". Звание шейха в наше время — такое несомненное достоинство, которое не только заслуживает всеобщего почтения, но даже стало предметом поклонения народных масс. Если несколько босоногих мулл, выдающих себя за философов, презирают шейхов, это не беда! Однако правители, которые ненавидят врачей и философов, проявляют к шейхам рабское уважение. Вот этот длинный посох приближает меня к шейхам и делает достойным уважения масс и даже властей. Хорошо еще, что этот длинноногий глупец (Абдулло-ходжа) по своему скудоумию не понимает преимуществ моей палки, иначе нам никогда бы с ним не сговориться и мне бы пришлось, как прежде, бродить одному...».

* *
*

Наблюдать за прогулками двух гордецов по улицам Бухары было очень забавно. Оба приятеля всегда шагали рядом и, словно по команде, одновременно поднимали и опускали свои ноги. Если бы они носили военную форму и ступали не так тяжеловесно, то их вполне можно было бы принять за солдат, прошедших долгую муштру.

Если перед кем-нибудь из них на пути возникало препятствие и заставляло остановиться, то и спутник, подобно тени своего приятеля, тоже останавливался. После того как препятствие наконец преодолевалось, оба друга торжественно продолжали свое шествие.

Однако если путь им преграждала арба, приятели оказывались в затруднительном положении. Улицы Бухары были очень узкими, а местные повозки довольно широкими, когда они проезжали по

улице, обе оси почти касались противоположных стен, поэтому бухарцы дали арбам прозвище «мерило ширины улицы».

Шагающие рядом гордецы не могли пройти с одной стороны арбы, занимавшей без малого всю ширину улицы. Если один из них пропустит другого, то это повредит его достоинству и нарушит одно из основных условий их дружбы, а вместе с тем и самую дружбу.

Однако два друга, хотя и с трудом, но сумели разрешить этот сложный вопрос. Они договорились одновременно расходиться вправо и влево, чтобы обойти арбу с двух сторон, подобно проточной воде, которая, огибая на своем пути отмель, разветвляется на два рукава, затем, соединившись, течет дальше. Так и они после встречи снова продолжали рядом свою прогулку.

Короче говоря, оба приятеля-гордеца ревностно соблюдали свое соглашение и старались, чтобы ни у кого не возникло и малейшего подозрения в прочности их дружбы. Одинокие прогулки очень им надоели, а в городе никого нельзя было найти, кто бы захотел их сопровождать. Ни один из приятелей-гордецов не считал хоть кого-нибудь равным себе и требовал признания своего превосходства. Поэтому дружба оказалась «ниспосланной им богом» для избавления от одиночества и ее следовало беречь. Оба они готовы были идти на взаимные жертвы, чтобы не нанести вреда чести и достоинству друг друга.

* *
*

Дружеские отношения между Абдулло-ходжой и Парвардигор-ходжой поддерживались больше года. Но однажды по городу распространился слух, что у приятелей начались разногласия и они расстались. Вскоре слух подтвердился: оба гордеца стали гулять в одиночестве. Сайид-Акбар-ходжа, как и прежде во время своих одиноких прогулок, шагал солидно, не жалел вежливых поклонов, сопровождаемых любезными улыбками в ответ на приветствия прохожих, которых он не замечал совсем недавно ради приятеля. Абдулло-ходжа тоже по-прежнему бегал один и ни с кем не здоровался. Однако разница заключалась в том, что он теперь гулял с русской палкой в руках. Конечно,

он не находил нужным носить эту палку в память о погибшей дружбе, а не бросал ее лишь для того, чтобы бухарцы считали его поэтом, врачом и философом.

Когда люди увидели бывших друзей в одиночестве с их прежними привычками, никто уже больше не сомневался, что между ними произошла серьезная ссора. Однако причины этой ссоры оставались неизвестными, рассказывали только, что они вместе, дружески поехали в Чарджуй гулять, а оттуда уже вернулись порознь.

Меня вечно мучило любопытство, мне казалось, что я не смогу жить спокойно, пока не узнаю о причинах их размолвки. Однажды я встретил своего родственника Парвардигор-худжу и попытался выяснить, что заставило его порвать дружеские отношения с Абдулло-ходжой.

Внимательно посмотрев на меня и осыпав своими любезными улыбками, он ответил:

— Родственничек! Ты еще мал и не должен проявлять любопытство по отношению к поступкам взрослых. Это не приносит благости, ведь кто излишне любопытен, тот долго не проживет. Учи хорошенько свои уроки и старайся получить от взрослых благословение. — Закончив так свое поучение, он не произнес и слова по поводу ссоры.

После неудачной беседы с Парвардигор-худжой я решил обратиться к Абдулло-ходже. Он опасался, что я могу распространить «злополучное» сатирическое стихотворение или, что еще хуже, показать его бывшему другу, а нынешнему врагу — Парвардигор-худже, и относился ко мне очень почтительно, всячески старался меня ублажить.

Действительно, мое обращение к нему дало блестящие результаты и он мне рассказал, почему они расстались.

— Ваш родственник, оказывается, не такой правдивый человек, как вы, он человек скрытный, злой, с черным нутром. Мы с ним, как два друга, поехали в Чарджуй. После поклонения «месту, где ступала нога Шохи-Мардона Муртазо Али», я по-дружески договорился с ним побывать у правителя области. (Когда муллы посещали какую-нибудь местность, они, по обычаю, не уезжали оттуда, не повидав правителя области. Тот давал им денег на дорожные расходы и подносил различные подарки). Мы пришли к правителю и, согласно существовавшему между нами условию, сели друг против друга

с двух сторон комнаты, потому что если бы мы сели рядом, то один из нас мог оказаться ближе к почетному месту, а это роняло достоинство другого. Однако во время беседы я неожиданно заметил, что ваш родственник тихонько подвинулся на четверть вперед к почетному месту. Это глубоко меня оскорбило. Я тоже из мести подвинулся ближе к почетному месту, на четверть дальше него. Он в свою очередь повторил то же самое и переместился еще на четверть. Оба мы из упрямства, желая сохранить свое достоинство, продолжали подвигаться. В конце концов мои колени столкнулись с коленями правителя и мне уже некуда было больше двигаться. Однако он подвинулся дальше с другой стороны и уселся в углу еще ближе к почетному месту. Так ваш родственник оказался впереди меня, на одной линии с местом правителя. Я больше не мог терпеть, пришел в ярость и закричал: «Эх ты, деревенщина, навозник! Кто тебе позволил садиться дальше меня, рядом с правителем области? И ты еще называешь себя сайидом?! Кто тебя знает! Ничего удивительного не будет, если окажется, что ты раб по рождению! Я знаю лишь, что твой отец плотник, а мой отец почтенный ученый. Не говоря уже о других достоинствах, уже это одно различие не дает тебе права быть равным мне и сидеть со мной в одних и тех же собраниях!..». Он прервал меня и обругал по-деревенски. Я вскочил с места и хотел, схватив его за шиворот, выставить из дома правителя. Однако он опередил меня и схватил за бороду, а я его за воротник, и мы начали колотить друг друга кулаками. Правитель приказал своим людям разнять нас и вывести из дома. Люди правителя, которым только прикажи: «Принесите чалму», — и они принесут голову, разняли нас и, отколотив, выгнали на улицу. Драться и ругать друг друга на глазах у людей было нельзя, это могло повредить чести и достоинству нас обоих, мы молча разошлись, и каждый из нас самостоятельно вернулся в Бухару. Вот причина того, что мы расстались!

* *
*

В 1896 году в квартале Сари-Пули-Равгангарон один бай, по имени Хаджи-Зохид, построил небольшое медресе. В новом медресе,

наряду с другими учениками, не имевшими жилья, и мне с братом тоже досталась келья.

В том же году мой друг и соученик Абдулхалил-махдум купил келью в медресе Кукельташ и предложил мне в ней поселиться.

К этому времени мой старший брат стал уже взрослым, ему нужно было жить более по-человечески, поэтому я передал ему келью в медресе Кукельташ, а сам поселился в медресе Хаджи-Зохид.

Четвертая часть «Воспоминаний» начинается со времени моего пребывания в медресе Хаджи-Зохид.

Конец третьей части

Часть четвертая

В ГОРОДЕ

МЕДРЕСЕ ХАДЖИ-ЗОХИД

В конце третьей части «Воспоминаний» я рассказывал о том, как в 1896 году в Бухаре, в квартале Сари-Пули-Равгангарон, некоим Хаджи-Зохидом было выстроено новое медресе, куда я переехал.

Это медресе состояло всего из двадцати двух келий, фасад его был двухэтажным, а три остальные стороны — одноэтажными. Ворота медресе выходили на юг, перед ними была небольшая площадка, по другую сторону которой, сразу же за узенькой улочкой, протекал городской канал.

С восточной стороны к новому медресе примыкало медресе Хусейн-бай, с северной стороны находилась усадьба владельца медресе, а с западной — крытый проход к нему во двор.

Келья, в которой я обитал, была построена над воротами медресе. Входная дверь кельи открывалась изнутри в тесный небольшой проход, соединявшийся с восточной частью крыши медресе, из него вела вниз лесенка; против двери находилась другая, открывавшаяся в сторону площади, улицы и канала. По обоим берегам канала росли тутовые деревья и раз в неделю или в пятнадцать дней по каналу текла вода, поэтому мое жилье по тогдашним условиям жизни в Бухаре считалось неплохим. Я раньше никогда не жил в Бухаре в таких местах, где росли деревья, и эта келья казалась мне приятной.

Само помещение внутри было тесным. Сразу же у входа, вблизи места, где снимали калоши, начиналась жилая часть кельи. Жи-

лая часть была квадратной, и если бы высокий человек лег в любой ее стороне, он уперся бы ногами либо в дверь, либо в противоположную стену. Посредине кельи стояло сандали́, с каждой из его трех сторон, обращенных к стенам и к двери на улицу, с трудом мог усесться один человек, но с четвертой стороны, против входа, где за спиной сидящего имелось свободное пространство, можно было расположиться очень удобно.

У входа с одной стороны стояла корчага или кувшин для воды, а с другой, примыкая к стене, находился очаг, труба от которого была вмазана в стену. Труба была общей на две кельи, и в ветреные дни, когда в одной разжигали огонь, дым от него заполнял соседнюю келью.

Раз в неделю или в десять дней я готовил себе горячую пищу, на что уходило не больше часа. Однако для моего соседа по келье, киргиза, который ежедневно тратил на варку конины не менее трех часов, моя келья в ветреные дни как бы исполняла функцию вытяжной трубы.

В противоположность другим бухарским медресе, кельи здесь не имели специального места для умывания, и умываться приходилось на крыше или во дворе.

В моей келье, как и в других кельях этого медресе, не было окна, входную же дверь приходилось постоянно держать закрытой; *дверь, выходившая на улицу, имела вставную раму, которая не открывалась;* если нужно было открыть эту дверь, раму снимали и ставили в келье. Всякий раз, когда мне хотелось «отдохнуть взглядом» на запыленных листьях деревьев по берегам канала, я так и поступал.

По своим размерам и характеру постройки моя келья могла считаться образцом лучших келий в этом медресе; некоторые угловые кельи были еще более тесными, кельи же, расположенные в первом этаже, все имели одну лишь дверь, через которую входили в помещение; через нее же проникал и свет.

Это медресе не имело вакфа, и владелец кельи сам от себя ежемесячно выдавал двадцать тенег имаму мечети и десять тенег муэдзину.

ВЛАДЕЛЕЦ МЕДРЕСЕ

Владельцем медресе был бухарский бай средней руки, человек лет шестидесяти, невысокого роста, очень тучный, с большой бородой. Детей он не имел и построил это медресе, по-видимому, для того, чтобы часть наследства после его смерти осталась как бы вечной памятью о нем. Он передал медресе для учащихся в виде вакфа, и, согласно шариату, строение ему не принадлежало, тем не менее он приказал муэдзину после последнего намаза запирать медресе на замок и препятствовал входу и выходу как учеников, проживавших в медресе, так и посторонних.

Столь жесткого порядка, весьма обременительного для учеников, не существовало больше ни в одном из бухарских медресе. Обычно в учебные дни по вечерам ученики ходили готовить уроки к знакомым, проживавшим в других медресе, а в свободное от занятий время посещали пирушки. В большинстве кельи в бухарских медресе были тесными, а бедные ученики к тому же не имели ни лишних подушек, ни одеял, поэтому после приготовления уроков или вечеринки ученики нашего медресе вынуждены были возвращаться ночевать в свои кельи.

Мера, введенная владельцем, лишала обитателей медресе возможности свободно общаться с другими учащимися.

Я находился в числе тех, кто страдал от этого порядка.

Когда я жил в медресе Бадал-бек, мне в свободные вечера удавалось посещать пирушки или участвовать в товарищеских вечеринках, теперь же, в этом новом медресе, я стал настоящим отшельником. Ученики, которые учились и жили в кельях этого медресе, собрались сюда из разных мест, поэтому я с ними не дружил и вообще не знался.

Мой ближайший сосед был родом из киргизов Ура-Тюбе, и звали его Мулло-Туйчи.

Это был молодой человек высокого роста, смуглый, с гладкими волосами, узкими злыми глазами; он был лет на восемь-девять старше меня и по программе ушел года на четыре вперед. Не говоря о претензиях к нему из-за дыма от приготовления им супа из ко-

нины, мне не нравилась и его внешность, поэтому я вовсе не хотел завязывать с ним дружеских отношений.

Но однажды он постучался ко мне и, по обычаям медресе, получив разрешение, вошел, уселся и без предисловий заговорил о цели своего посещения:

— Я приехал в Бухару от степных киргизов учиться, а не для того, чтобы есть плов, но у меня не хватает способностей. Мне нужен помощник. Эту обязанность взял на себя один из моих более способных земляков. Он из уратюбинских таджиков и живет в медресе Рашид. Каждый вечер после позднего намаза я ходил к нему готовить уроки. Однако мера, введенная владельцем медресе, препятствует этому; вот уже неделя, как я не готовлю уроков. Посоветуйте, что мне делать?

— Я поговорю с муэдзином, может быть, он не станет чинить вам препятствий, — ответил я.

Он ушел обрадованный. Я же, согласно обещанию, повидал муэдзина и попросил, чтобы он в виде исключения разрешил киргизу уходить вечером для приготовления уроков и возвращаться назад в медресе.

Однако, как я и предполагал, муэдзин отклонил мою просьбу. Это был молодой парень из Миянкаля (из Хатырчи или Зиёуддина), совершенно неграмотный и ничего не смысливший ни в занятиях, ни в приготовлении уроков. Он знал лишь владельца медресе, который отыскал его неизвестно где, привел сюда, дал ему келью и сделал его за десять тенег в месяц и муэдзином и подметальщиком, а кроме того работником по дому, поручая колку дров и другую тяжелую работу.

Так как муэдзин отклонил мое предложение, я придумал для киргиза другой, «незаконный» способ, чтобы этот стремящийся к знаниям бедняга не лишился возможности готовиться к урокам. Это был очень легкий путь, который раньше не приходил мне в голову, однако печальное положение Мулло-Туйчи вынудило меня пораскинуть мозгами и придумать этот выход. Когда я его нашел, мне тоже пришлось немного потрудиться.

Как уже упоминалось, медресе Хаджи-Зохид находилось рядом

с медресе Хусейн-бай. В западном углу этого медресе на втором этаже жил один ученик из Гисара, мой знакомый и соученик. Его келья с западной стороны имела окошко. После постройки медресе Хаджи-Зохид рядом с медресе Хусейн-бай крыша первого этажа нового здания оказалась на одном уровне с окном кельи моего знакомого гисарца.

Я попросил его разрешить киргизу возвращаться после приготовления уроков через окошко в его келье, выходящее на крышу медресе Хаджи-Зохид. Гисарец с радостью согласился, и киргиз Мулло-Туйчи таким способом смог продолжать готовиться к занятиям. Случалось, я тоже по ночам уходил из медресе и возвращался назад этим же путем.

Неизвестно, как муэдзин узнал, что киргиз тайком по ночам уходит и возвращается. Он задумал его поймать, однажды ночью устроил засаду и стал караулить, когда киргиз полезет в окошко. Как только Мулло-Туйчи выбрался через окно и показался на крыше, муэдзин подбежал к нему, схватил за шиворот и стал ругать за то, что ученик нарушил установленный владельцем медресе порядок.

Ярость, постоянно сквозившая на лице киргиза, мгновенно вспыхнула, как огонь; обеими руками он схватил муэдзина за талию, приподнял его и засунул в трубу какой-то кельи, приблизительно на метр возвышавшуюся над крышей. Силу удара можно себе представить по тому, что сложенная из обожженного кирпича труба, обмазанная алебастром, разлетелась на куски.

Я еще не спал. Услышав шум драки, я выскочил из кельи и подбежал к дерущимся: муэдзин, как мышь в когтях у кошки, корчился на земле, киргиз пинал его ногами и отвратительно ругался по-киргизски, муэдзин же на своем языке, хрипя, просил пощады, говоря, что он раскаивается в своем поступке. Ученик из Гисара, услышав шум, тоже вылез через окно и стоял возле дерущихся; он увещевал их по-таджикски и пытался освободить муэдзина из лап киргиза. Однако это ему не удавалось.

Подойдя к ним, я сразу же схватил Мулло-Туйчи за руку и оттащил его подальше в сторону. Сначала он, не обращая на меня вни-

мания, продолжал пинать муэдзина. Я очень решительно обратился к киргизу, назвав его на «ты»:

— Ты с ума сошел? Сейчас же отпусти его! Он близок к смерти!

Киргиз оставил муэдзина и со злостью посмотрел на меня, затем плюнул и заговорил.

— Я действительно хотел его убить, и только ради тебя я пока не пролью его крови. Но сейчас отпусти меня, я заставлю его покаяться и дать слово, — сказал он мне, тоже обращаясь на «ты».

— Я тебя отпущу, — ответил я все так же решительно, — но сначала ты сам дай мне слово, что больше не станешь его бить.

— Даю слово, — сказал киргиз, — что ради тебя сейчас я его больше бить не стану.

Я отпустил его руки. Он снова подошел к муэдзину, заложил руки за спину и, немного наклонившись, посмотрел на него, затем окликнул его по имени:

— Тагой-кул!

— Что изволите? — откликнулся муэдзин голосом мухи, запутавшейся в паутине.

— Во-первых, ты ничего не должен говорить хозяину об этом происшествии; во-вторых, ты не должен мне мешать свободно уходить из медресе и возвращаться. Если ты нарушишь хоть одно из этих условий, то я тут же убью тебя, а потом пусть со мной делают, что хотят!

— Клянусь богом, что я об этом не расскажу ни баю и никому другому и не буду препятствовать тебе или другим уходить и приходить, — ответил муэдзин, приняв на себя — да еще вдвое расширив — условия, предложенные киргизом.

— Если так, то вставай и убирайся в свою келью! — приказал ему киргиз.

Однако у муэдзина не было сил двигаться. Сколько он ни старался, он только приподнимался, но встать на ноги не мог. Киргиз помог ему подняться и, обняв, отвел в келью, а сам пошел к себе и запер дверь. Мой сосед гисарец засмеялся:

— «Мясо осла годится для собачьих зубов» — гласит пословица, и это совершенно верно! — с этими словами он полез в окно своей кельи. Я тоже вернулся к себе, запер дверь и решил лечь спать...

Однако не успел я задремать, как в дверь моей кельи постучали. Я вскочил, зажег светильник и отпер дверь. Перед дверью стоял писец бая.

— Пожалуйте! — пригласил я его, он вошел, но калош не снял, а сел у самого входа.

— «Для дела, которое не может решиться миром, требуется какой-нибудь безумный поступок», — начал он. — Наш хозяин — дурак с черным нутром. Суть в том, что он раскаялся в постройке медресе, но теперь у него нет возможности уничтожить документ о передаче медресе в вакф и вернуть медресе в свою собственность. Поневоле, подобно тому как «желание утолить жажду пахтаньем удовлетворяют, глядя на молочный свет луны», он, притесняя учеников, каждый день выдумывает новые правила и старается утвердить свои права и власть в медресе. Словами нельзя исправить ни его, ни его подхалима муэдзина, который еще глупее его. Чтобы их исправить, требовался какой-нибудь безумный поступок. Этот поступок совершил не я, не вы и никто другой. Вольно или невольно, намеренно или случайно, безумный поступок совершил этот сумасшедший киргиз. После этого все, живущие здесь, избавятся и от бая и от муэдзина...

— По моему, муэдзин испугался, он ничего баю не расскажет, вы тоже не говорите, и это происшествие само собой забудется, — сказал я.

— Почему это я ему не скажу? Я еще преувеличу и разукрашу больше, чем было. Насколько хозяин глуп, насколько он подл, настолько же он труслив. Услыхав об этом происшествии, он испугается и решит, что ученики его убьют, и больше даже не взглянет в сторону медресе. Простите, я не дал вам спать, — с этими словами писец бая вышел из кельи.

* *
*

Этого писца звали Не'мат. Ему было тридцать лет, он был хорошо грамотен и обладал красивым почерком. Он не имел ни дома, ни вообще какого-либо жилья. Хозяин нанял его на условиях пре-

доставления ему жилья и выдачи ежемесячно двадцати тенег (три рубля) жалованья. Он выделил ему келью в медресе, которое построил «во имя бога, для учеников, изучающих богословские науки». Этот писец жил по другую сторону моей кельи. Хотя он знал о драке между киргизом и муэдзином уже с самого начала, но, чтобы не оказаться свидетелем и остаться в стороне, не подошел к месту происшествия.

Каждое утро писец вместе с баем отправлялся к нему в лавку, записывал в книгу наличность и долги бая, а затем обходил лавки и торговые ряды, собирая отданные в долг деньги, которым вышел срок. Когда какой-нибудь лавочник не выплачивал в срок свой долг, хозяин ругал писца, обвиняя его в нерадивости и недостатке твердости.

По вечерам писец вместе с баем возвращался в медресе и уходил в предоставленную ему келью. Так как медресе крепко-накрепко запиралось, он никуда не мог пойти и не мог приглашать друзей к себе. За двадцать тенег в месяц он был вынужден трудиться с утра до ночи, выслушивать грубости от бая, а по вечерам сидеть, словно арестант, в келье, похожей на могилу.

Вот почему писцу до такой степени понравился безумный поступок киргиза, что, когда все кончилось, он пришел ко мне выразить свою радость и пообещал избавить нас от тюремного заточения.

Действительно, после драки киргиза с муэдзином бай больше не показывался в медресе. Когда же ему очень хотелось посмотреть на «свою собственность», он приходил в медресе и обходил его в свободные от занятий дни, когда ученики уходили гулять и в медресе никого не оставалось или оставалось мало людей. Но если он случайно кого-нибудь встречал, то, не говоря ни слова, опускал голову и уходил из медресе.

Однако до драки киргиза с муэдзином хозяин дважды в день — утром, перед уходом на базар, и вечером, после возвращения оттуда, — приходил в медресе, обходил его, внимательно осматривая каждый кирпич. Если он обнаруживал вывалившийся или сдвинувшийся с места кирпич, то с пеной у рта принимался попрекать и ругать учеников.

Однажды я был свидетелем такой сцены: владелец медресе, придя с базара, прежде чем пойти домой, вошел в медресе и по своей привычке стал осматривать все вокруг. В тот день один из учеников стирал белье, а грязную воду вылил во дворе. Увидев мокрую землю, хозяин закричал:

— Кто сегодня стирал белье?

Ученик, который занимался в тот день стиркой, вышел из своей кельи и ответил:

— Я стирал белье.

Другие ученики тоже вышли во двор и стали дожидаться, какую чепуху понесет бай.

— Вы — домулло! — сказал он сердито. — У вас поясница не болит, и вы не знаете, сколько денег истрачено на постройку этого медресе, откуда и каким трудом они добыты. Поэтому в медресе вы так ведете себя, как не стали бы вести себя в доме своего отца. Но вы должны знать, что от воды после стирки кирпичи расшатываются и вываливаются и в результате разрушается все здание.

Окончив свои наставления, бай распорядился:

— Отныне всякий, кто будет стирать, должен сливать воду в ведро, а когда ведро наполнится, выносить его из медресе и выливать в канал — вот так!

Среди учеников был один кулябец Мулло-Суллам. Немного грубоватый, он был, однако, большим шутником и остряком. Услышав слова хозяина медресе, он обратился к нему:

— Дядюшка бай, вы уже состарились, человек не может жить вечно. Кто после вас будет надзирать за медресе и предохранять его от разрушения?

— Бог будет надзирать, бог! — ответил бай. — Раз я построил это богоугодное заведение во имя бога, то сам бог будет за ним наблюдать и сам будет наказывать тех, кто осмелится разрушать это святое здание.

— По моему разумению, — сказал кулябец, — из-за того, что вы «построили медресе во имя бога», бог не возьмет на себя обязанность быть сторожем медресе, ведь бог не Тагой-кул, чтобы вам подчи-

няться. Уж лучше бы вы не строили медресе и не поручали богу такое низкое дело.

— Увы! Тысячу сожалений, что я, построив это медресе, совершил такое бесполезное дело. Я надеялся, что здесь будут жить ученики и изучать науки, относящиеся к религии, но я не знал, что сюда найдут дорогу и безбожники. — Отвернувшись, бай пробормотал вполголоса: «Было бы лучше, если бы они, взвалив на спину свои паласы и одеяла, бродили по улицам в поисках пристанища». Продолжая бормотать, он вышел из медресе. Ученики проводили его громким хохотом.

После описанной выше драки киргиза с муэдзином бай не только перестал ходить в медресе, но, как и обещал писец, снял все замки и запоры. Таким образом, проживающие здесь, подобно ученикам других бухарских медресе, получили свободу. Они могли беспрепятственно уходить и приходить в любое время, колоть дрова, стирать белье. Вместе со всеми обрели свободу и я, и киргиз, и писец. А мой соученик гисарец избавился от необходимости превращать свою келью в проход.

МОЯ ЖИЗНЬ И ЗАНЯТИЯ В МЕДРЕСЕ ХАДЖИ-ЗОХИД

В медресе Хаджи-Зохид я жил почти самостоятельно. Чтобы обеспечить себе пропитание, я не был вынужден заниматься черной работой, так как Абдулхалил-махдум, как упоминалось в третьей части «Воспоминаний», за мою духовную поддержку и помощь в научных занятиях помогал мне материально. Он обеспечивал мне питание, а иногда давал и одежду. Хотя он и не платил мне денег (согласно обычаям того времени, для ученого считалось неприличным получать за научные труды наличные деньги от частных лиц), но мне вполне хватало того обеда, который я получал ежедневно. Чаще всего это был плов. Сам я плов для него не готовил и келью не убирал. Всю эту работу выполнял один ученик по имени Кори-Нурулло, который по программе продвинулся меньше нас. Конечно, я тоже иногда варил плов, но делал это по-приятельски, а не в качестве слуги. Эту работу иногда выполнял в келье соученика и Мирзо-

Абдулвохид Мунзим. Он добивался признания того, что умеет готовить плов лучше меня, но в этом состязании я тоже не отставал от него. Ведь благодаря тому, что я готовил плов различным людям, у меня было больше опыта, чем у него, и я считал себя более искусным. Товарищи также признавали мое превосходство.

Шариф-джон-махдум, став казием, уехал из города, и поэтому Мирзо-Абдулвохид, чтобы продолжать образование, должен был уйти от него. Он поселился в медресе Мулло-Мухаммад-Шариф, в очень хорошей келье над воротами, принадлежавшей Шариф-джон-махдуму. Мирзо-Абдулвохид получал доход с отцовского наследства, и в медресе жилось ему неплохо. Он был моим соучеником, и мы вместе готовились к занятиям. В бухарских медресе подобные совместные занятия назывались собеседованием. Подготовка к занятиям в келье Абдулхалил-махдума проходила ежедневно в полдень между уроками и после уроков, пока варился плов.

Келья Абдулхалил-махдума, как уже говорилось в третьей части «Воспоминаний», находилась в медресе Гозиён над воротами. Она помещалась напротив кельи Мирзо-Абдулвохида, их разделял бассейн Гозиён и большая дорога в Джуйбор и Миракон, причем если бы деревья на берегу водоема Гозиён не мешали, то обитатели этих двух келий могли бы видеть друг друга и переговариваться с помощью знаков.

У Мирзо-Абдулвохида не осталось и следа былого высокомерия. Теперь он уже не смотрел на меня иронически, уже не претендовал, как прежде, на умение писать стихи и понимание поэзии, а в занятиях всецело признал мое превосходство. Он был не очень способным, однако тянулся к знаниям и не отставал от меня до тех пор, пока не усваивал трудные разделы. Теперь он считал себя более искусным лишь в приготовлении плова, — конечно, только в шутку.

Мирзо-Абдулвохид по красоте почерка и по мастерству каллиграфии в то время был искуснее всех своих товарищей и большинства сверстников, но так как он усвоил высокие нравственные качества, то открыто не хвастал этим. Однако в его характере осталось постоянно проявлявшееся с детства тщеславие; хотя и приглушенное, оно давало себя знать. Он стремился чем-нибудь так удивить всех

окружающих, чтобы они от изумления даже слова не могли вымолвить.

Так, однажды в весенние каникулы мы целую неделю нигде не могли найти его. Я, Абдулхалил-махдум и Кори-Нурулло по нескольку раз в день приходили в его келью, но дверь оказывалась на запоре. Мы были очень удивлены, так как если бы он уехал из города на несколько дней, то, конечно, известил бы нас, в городе же, у знакомых, он не мог задержаться так долго. К тому же в городе у него не было более близких знакомых, чем мы.

— Удивительно, — волновались мы, — что могло с ним случиться?

Дверь в его келью находилась в конце темной лестницы, которую я описал в «Дохунде» (в главе «Медресе»). Однажды я снова (не помню, в который раз) зашел его проведать; поднявшись по этой лестнице, я подошел к двери кельи. Из-за двери доносился шорох, словно там что-то грызла мышь; как только я подошел к двери, шорох прекратился. Я постучался, но ответа не последовало. Сколько я ни прислушивался, больше ничего не было слышно.

Я подумал: «Вероятно, он в келье и занят каким-нибудь тайным делом, ведь если бы этот шорох производила мышь, то она не сидела бы так долго без движения».

Чтобы проверить эту догадку, я еще раз, стараясь не шуметь, подошел к двери. Снова услышав тот же шорох, я постоял несколько минут, но теперь шорох не смолкал. Тогда я постучал, однако и на сей раз не услышал ответа; шорох, подобный мышиному, вновь прекратился. Теперь я был уверен, что Мирзо-Абдулвохид-махдум, сидя в келье, чем-то занят. И я решил накрыть его за этим занятием.

На следующий день, рано утром, за час до восхода солнца я бесшумно поднялся по темной лестнице и подошел к дверям его кельи. Дверь была открыта. В прихожей, очень обширной, где помещалась кухня, склад для дров и угля, а пол был кирпичным, но без паласа, горел светильник.

Вопреки обычаям медресе, я бесшумно и без всякого предупреждения вошел в прихожую. Весь пол был усеян какими-то белыми и желтыми липкими обрезками, они прилипали к подошвам моих кожаных калош.

Я так же тихо прошел к средней двери, ведущей в келью. Внутри горела висячая тридцатилинейная лампа, ярко освещавшая помещение. Мирзо-Абдулвохид сидел на корточках спиной к двери и что-то подбирал с пола.

Стараясь не шуметь, я снял в прихожей кожаные калоши и вошел в келью. На ковре, покрывавшем пол, было рассыпано что-то белое, но не липкое, повсюду валялись желтые и белые обрезки, вроде тех, что я видел в прихожей; опасаясь, что эти обрезки могут оказаться такими же липкими, и стараясь не наступить на них, я тихонько подошел к Мирзо-Абдулвохиду.

Когда я проходил мимо висячей лампы, он увидел мою тень на противоположной стене и сразу же понял, что пришел кто-то нежданный. Он вскочил и, как солдат, услышавший приказ командира «Кругом!», быстро обернулся; увидев меня, он секунду стоял без движения, а потом заговорил:

— Эге! Безжалостный проныра! Я очень боялся, что ты пронюхаешь об этом деле: «На голову мне свалилось то, чего я опасался». Ну, иди, садись, я расскажу тебе, что со мной произошло за эту неделю.

Я хотел сесть, но он показал мне на угол, очищенный от белой и желтой пыли:

— Садись вот здесь, если сядешь в другом месте, то можешь испачкать одежду.

Я сел, он остался стоять:

— Я запру дверь в прихожей и потушу светильник; уже день, как бы еще кто-нибудь не вошел. — С этими словами он пошел, запер дверь, потушил светильник и, вернувшись, сел напротив меня.

— Раз ты застал меня за этим делом, безвредным для других, но являющимся преступлением по отношению ко мне самому, то я тебе все расскажу, но при условии, что ты не передашь никому. Если ты скажешь Абдулхалил-махдуму — это твое дело, так как если я и попрошу тебя не говорить, ты все равно ему скажешь. Но чужим людям не рассказывай, потому что они меня засмеют.

— А Хайрату? — спросил я.

— Ладно, можешь сказать, ведь ты ему все равно расскажешь. Но попроси его никому дальше не передавать. Он человек правдивый и выдержанный, если даст слово — не разболтает чужой тайны.

— Хорошо, — сказал я, — кому можно говорить, а кому нет, я сам знаю. Предоставь это мне, а сам поскорей рассказывай.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИРЗО-АБДУЛВОХИДОМ МЫЛЬНОЙ ХАЛВЫ

— Ты знаешь, что такое шофуркомская мыльная халва? — спросил Мирзо-Абдулвохид.

— Конечно, кто же ее не знает? А в чем дело?

— Я хотел сварить такую халву у себя в келье.

Прежде чем рассказать со слов Мирзо-Абдулвохида, как он готовил мыльную халву, нужно, я думаю, привести краткие сведения об этой халве, в частности о шофуркомской: ее варят из муки, масла и сахарного песка, делят на крупные, как орех, куски и в таком виде едят или продают.

Шофуркомская халва приготовляется из тех же продуктов, но в Шофуркомском тюмене варят ее специальные мастера особым способом. Однако они не считают это своей профессией и варят халву не на продажу, а для себя или по просьбе других людей.

Шофуркомскую мыльную халву не делят на круглые куски, а в горячем виде выливают в новые большие глиняные тарелки, но без поливы; когда же она остынет и затвердеет, каждую тарелку покрывают белой бумагой и тарелки складывают попарно. В таких сложенных тарелках ее и переносят, кому куда нужно.

Шофуркомская мыльная халва как по виду, так и по вкусу сильно отличалась от обычной мыльной халвы: она тоже приготовлялась из муки, масла и сахарного песка, однако во время еды совершенно не чувствовался вкус ни одного из этих продуктов; это было что-то необыкновенно вкусное, таявшее во рту наподобие сливочного мороженого.

В народе говорили: «Нигде, кроме деревни Гала-Осиё под Самаркандом, не умеют печь лепешки „нони осиё", нигде, кроме Карши, не приготовляют рассыпчатую халву, и нигде, кроме деревни Зар-

митан под Бухарой, не получают зармитанское кислое молоко». И мыльную шофуркомскую халву также считали принадлежностью исключительно Шофуркомского тюменя (хотя, надо заметить, после революции один бухарский мастер-халвовщик перебрался в Самарканд и сварил халву, которая ничем не отличалась от бухарской леденцовой халвы, одна жительница Самарканда, родом вовсе не из Гала-Осиё, испекла в Сталинабаде лепешки «нони осиё» ничем не хуже, в некотором отношении даже лучше самаркандских).

Шофуркомские кондитеры, приготовлявшие мыльную халву, свое искусство считали даже наследственным даром их рода и никому не раскрывали секрет ее приготовления. Они, бывало, говорили: «Если на халву взглянет кто-нибудь чужой, она испортится».

После этого небольшого предисловия я перейду к рассказу Мирзо-Абдулвохида.

— Моей целью было доказать лживость утверждений, будто секрет приготовления этой халвы принадлежит только Шофуркомскому тюменю. С другой стороны, я хотел научиться искусству, которым не смогли овладеть искусные бухарские кондитеры, и повергнуть всех в изумление. Сколько я ни просил, ни один шофуркомец, владевший этим секретом, не хотел открыть его мне, каждый только рассказывал, какие нужно взять продукты и как их варить.

По словам Мирзо-Абдулвохида, который слышал это от специалистов, нужно было вскипятить курдючное сало, зажарить на нем просеянную муку, расплавить сахарный песок и смешать все вместе. Сначала жареная мука, смешанная с сахарным сиропом, станет красноватой, а затем, после кипения и длительного помешивания, приобретает белый цвет.

Мирзо-Абдулвохид рассказывал:

— Я приготовил муку, сало и песок, запер дверь и приступил к делу, так как боялся, что, если у меня ничего не выйдет, меня засмеют. Поэтому, чтобы никто не разгадал моего секрета, я принял все меры предосторожности и принялся работать тайком.

Согласно указаниям шофуркомских кондитеров, Мирзо-Абдулвохид целый день, с утра до ночи, пока не ложился спать, много раз сбивал смешанную с сахарным сиропом пережаренную муку, а затем

месил ее, но халва не становилась белее и вкус ее был довольно противный.

— Я подумал, — рассказывал он дальше, — что, наверное, шофуркомцы меня обманули. Нужно, по-видимому, не обжаривая муку, смешать ее с салом и сахарным сиропом, чтобы она стала белой и вкусной. Поэтому я отложил в сторону все приготовленное прежде и, перемешав муку с салом, добавил туда сиропа. На этот раз хотя халва по цвету и стала беловатой, но вкусом она напоминала сырое тесто, так что ее нельзя было взять в рот. Тогда я решил, что, наверно, мало положил сиропа; я опять растопил сахар и добавил в муку с салом. На этот раз масса уже не имела вкуса сырого теста, но к нему прибавилась дерущая горло приторная сладость, и я уже вовсе не различал ее вкуса...

День разгорался, и на улице показались одинокие прохожие; Мирзо-Абдулвохид прервал свой рассказ:

— Как бы знакомые, увидев свет лампы, не догадались, что мы здесь сидим, и не вошли бы. — Он встал, погасил лампу, снова сел и продолжал:

— Потом я подумал, что, может быть, не хватает сала; если я прибавлю еще немного сала, то весьма возможно, что пропадет вкус сырого теста и приторность сиропа. Я растопил и вскипятил еще кусочек курдючного сала и прибавил его в свое сырое тесто, дерущее горло. Однако сало не смешивалось и плавало на поверхности, как в очень жирной каше. Вкус был еще хуже прежнего. «О горе, — подумал я, — стало не лучше, а хуже». Отставив в сторону смесь, я снова принялся делать все так, как мне говорили специалисты. Я решил, что, вероятно, больше, чем нужно, пережарил муку; поэтому на сей раз я только слегка поджарил муку и смешал ее с сиропом, — но опять ничего не получилось...

Суть рассказа Мирзо-Абдулвохида заключалась в том, что он добавлял в смесь то сало, то сироп, то пережаренную муку или непережаренную и целую неделю занимался этим с утра до ночи. Оттого, что он без конца сбивал массу теста и мял ее, руки у него совсем отказывались служить. В конце концов он понял, что не сможет приготовить халвы; и, когда прибирал в келье, я его «застукал».

— Если бы ты сегодня не пришел часов до десяти, — заключил он свой рассказ, — я вычистил бы ковер от муки и кусочков теста, вымыл бы пол в сенях, где я большей частью работал и где пол от теста и сиропа сделался скользким, как лед, а затем, «замазав себе рот», вышел бы на улицу, похоронив в глубине сердца свою дурацкую тайну...

Помолчав немного, он добавил:

— Все же с одной стороны это неплохо, что ты меня разоблачил. Ведь я никому ничего не говорил, но мысль об этом настолько глубоко запала мне в душу, что, оставшись там, она бы разрослась и могла довести меня до болезни. Раз ты пришел, я оказался вынужденным все тебе рассказать. Теперь на сердце у меня стало легче, и я чувствую себя очень хорошо.

Мне захотелось увидеть, что́ он приготовил с таким трудом. Он провел меня через дверь к нише в своей келье и показал глиняную миску для теста и два жестяных эмалированных подноса, называемые в Бухаре «карабо́й». Они были наполнены жирным и сладким тестом разных цветов. Я попробовал из каждого подноса, но все это было несъедобным.

Эта особенность характера Мирзо-Абдулвохида — желание хвататься за всякое дело, все равно, знал он его или нет, совершать удивительные поступки, а затем, из боязни, что его высмеют или не дадут закончить, скрывать от близких друзей, его стремление к «изобретательству», — сохранилась у него до конца жизни.

Я считаю уместным привести здесь нижеследующую историю, чтобы подтвердить высказанную мысль, а также чтобы еще лучше обрисовать индивидуальные особенности характера Мирзо-Абдулвохида, хотя событие, о котором пойдет речь, по времени очень далеко от тех, которые я излагаю в исторической последовательности моих «Воспоминаний».

УСТРОЙСТВО МИРЗО-АБДУЛВОХИДОМ ВОДОПРОВОДА

В 1920 году, после Бухарской революции, Мирзо-Абдулвохид, которому не нравилась вонючая вода в бухарских водоемах — рассадниках ришты, задумал построить в Бухаре водопровод. Это была

очень хорошая идея, но по тогдашним условиям осуществить ее было невозможно. В стране еще продолжалась гражданская война, фабрики и заводы не работали, многие рабочие были на фронтах, а те промышленные предприятия, которые работали, заняты были выпуском предметов, нужных для защиты революции, и товаров первой необходимости.

Мирзо-Абдулвохид хорошо знал положение, но оно не казалось ему неблагоприятным для осуществления его идеи. Он рассуждал так: «Что за беда, если трубы не будут чугунными или цементными? Мы используем глиняные трубы, которые можно изготовлять в самой Бухаре».

Не посоветовавшись ни с кем, он решил сам осуществить свою «выдающуюся идею», почему-то никому не пришедшую в голову прежде. Он заказал бухарским гончарам глиняные трубы. Спустя короткое время они были изготовлены и в количестве трех тысяч сложены возле печей. После этого он съездил в Каган и там обратился к одному инженеру, работавшему в депо на ремонте паровозов:

— Где можно найти инженера или техника по устройству водопровода?

— Зачем вам нужен такой человек? Скажите, в чем дело, может быть, я сам смогу вам помочь.

— Я хочу устроить в Бухаре водопровод. Если вы можете справиться с этим делом и возьмете его на себя, то я не только полностью заплачу вам за труд, но и буду вам очень признателен.

— Эту работу решило осуществить бухарское правительство и вы говорите со мной в качестве его уполномоченного или это собирается осуществить какое-нибудь товарищество и вы его представитель?

— Нашему молодому правительству сейчас некогда заниматься подобными делами, оно озабочено уничтожением последышей эмира и укреплением советской народной власти в Бухаре. Байские товарищества не станут заботиться о народе. Я сам, лично, хочу ради народного блага осуществить это на собственные средства.

Инженер очень удивился и про себя подумал: «Кто же это такой?

Будь это бай-миллионер, о каких он сам только что сказал, он никогда не занялся бы подобным делом. Бухарские баи в страхе перед бухарской революцией только о том и думают, как бы надежней припрятать свои запасы и богатства, да еще приумножить их с помощью спекуляции. Если же это простой человек, заботящийся о благе народа, то где он отыщет нужные средства и материалы для столь серьезного дела? Может быть, он помешанный? Впрочем, это неважно, расспрошу его и выясню, в чем дело».

Инженер обратился к нему:

— Кто вы такой и где надеетесь достать деньги и материалы для задуманного предприятия?

— Я инспектор отдела здравоохранения народного советского правительства Бухары, — ответил Мирзо-Абдулвохид; чтобы подтвердить это и рассеять сомнения инженера, он предъявил выданное ему правительством удостоверение. — Используя врачей и лекарства, предоставленных в мое распоряжение правительством, я лечу больных, с помощью народа очищаю город от грязи и стремлюсь к тому, чтобы вывести болезни. Одним из главных рассадников их является, по моему мнению, вода бухарских водоемов. И вот, чтобы уничтожить эти гнезда заразы, нужен водопровод. Правительство сейчас не в состоянии заняться этим, поэтому я хочу на собственные средства провести водопровод и дать городу чистую воду. Когда люди увидят, что это дело нетрудное и вполне осуществимое, они сами соберут между собой деньги, устроят другие водопроводные линии и обеспечат весь город чистой водой.

Эти слова и официальное удостоверение убедили инженера, что перед ним не помешанный. Поэтому первый свой вопрос он повторил вполне серьезно, только в других выражениях:

— В этом деле материалы гораздо важнее, чем инженер или техник. Ведь в Бухаре прежде не было водопровода, и вы не можете отремонтировать и использовать старое оборудование. Но даже если вы добудете все необходимое, понадобится еще значительная сумма денег. Я не представляю себе, чтобы инспектор, работник советского правительства смог осуществить такое предприятие на свои собственные средства.

— Часть основного необходимого оборудования, а именно трубы, давно уже готова, — возразил Мирзо-Абдулвохид. — Я собрал все свои средства, распродал все лишнее и, истратив тысячу рублей золотом, приобрел три тысячи обожженных труб длиной в метр, диаметром в двадцать пять сантиметров, с толщиною стенок в два сантиметра. Если мы устроим водохранилище перед разветвлением канала Зарманах, то этих труб вполне хватит. Пусть для устройства водохранилища и укладки труб понадобится еще тысяча рублей золотом — я смогу собрать их у своих друзей на условиях долгосрочного кредита. Когда же мы доведем водопровод до города, пусть сам народ найдет способ им пользоваться, я же хочу лишь подать пример людям.

Тут инженер понял, что его собеседник хотя и не сумасшедший, но без сомнения человек не очень умный, невежественный, однако искренно желающий добра людям и укрепления народного здоровья. Поэтому, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, инженер прочел Мирзо-Абдулвохиду длиннейшую научную лекцию о невозможности осуществить его идею с водопроводом. Он назвал необходимое количество воды, ее давление и научно объяснил, что, соответственно объему поступающей сверху воды, увеличивается и ее напор.

— При таком давлении, — заключил он, — когда немного более тонкие, чем нужно, чугунные и цементные трубы иногда не выдерживают и лопаются, ваши глиняные трубы ни в коем случае не смогут выдержать напор воды. Поэтому я советую вам отложить осуществление вашей заслуживающей всяческого одобрения идеи до того времени, когда начнут работать советские фабрики и заводы. А пока, если найдется покупатель, продайте ему ваши глиняные трубы. Когда позволят условия и появится необходимое оборудование, советское правительство без излишнего беспокойства и без ваших личных средств осуществит задуманное вами дело.

(Действительно, в 1923—1924 годах болота в Бухаре и ее окрестностях были осушены, с помощью дренажных канав устроены водостоки, что способствовало сокращению заболеваний риштой и малярией, а в 1926—1927 годах в Бухаре построили водопровод и тем самым полностью ликвидировали источник болезней).

Однако Мирзо-Абдулвохид ушел от инженера неудовлетворенным и обвинил его в консерватизме. Отчаявшись провести водопровод и найти исполнителя своей затеи, он рассказал эту историю некоторым своим близким друзьям, причем горько жаловался на инженера из Кагана. Однако всякий, кто слышал его рассказ, не давал себе труда терпеливо и убедительно разъяснить неосуществимость затеи с водопроводом. Наоборот, его высмеивали, и за короткий срок бедняга Мирзо-Абдулвохид, подвергаясь беспрестанным насмешкам друзей и врагов, приобрел в городе славу беспочвенного мечтателя.

В это самое время, когда Мирзо-Абдулвохид отказался от мысли провести водопровод и был очень расстроен неуместными насмешками, я, — если не ошибаюсь, в конце мая 1921 года, — приехал из Самарканда погостить в Бухару.

Первым навестил меня Мирзо-Абдулвохид. Он подробно рассказал мне историю с водопроводом и поведал обиды, скопившиеся у него на сердце. При этом он не обижался на своих друзей и вообще на бухарцев, высмеявших его идею.

— Они ничего не смыслят, потому что невежественны, — говорил он. — Я не обижаюсь на них за насмешки надо мной и прощаю их. Однако мне обидно за инженеров и ученых людей, знакомых с техникой. Все они консерваторы и трусы — боятся хоть на шаг выйти за пределы своих представлений, они не прислушиваются к словам таких, как мы, не окончивших технические училища, не хотят использовать местные материалы. Пьем же мы чай не из фарфоровых, а из глиняных пиал, и даже гончары делают глиняные чайники для заварки чая. Так почему же нельзя устроить водопровод из глиняных труб?

Я понимал, что насмешки не заставят Мирзо-Абдулвохида отказаться от его идей, наоборот, в этом случае он станет упорствовать и обвинять своего противника в невежестве и глупости. Не было также никакой возможности убедить его с помощью научных доводов, опирающихся на технические данные и на сведения из физики, так как он не знал ни того, ни другого. Чтобы заставить его отказаться от задуманного, нужны были доказательства, доступные его пониманию. К счастью, я ими располагал. Поэтому, терпеливо и без

тени насмешки выслушав его, я привел свои доказательства и убедил его в неосуществимости его плана. Таким образом я спас людей от обвинения в недальновидности и глупости, а инженеров — от обвинения в консерватизме.

КАК Я ИЗГОТОВИЛ НАСОС

Чтобы познакомить читателей с доказательством, благодаря которому упрямый Мирзо-Абдулвохид отказался от своей ошибочной идеи, необходимо дать следующие разъяснения. Читатели, вероятно, помнят мой рассказ (в первой части «Воспоминаний») о том, как Усто-амак сделал мне насос и как он рассказывал о моем дедушке, с помощью насоса поднимавшем воду из бассейна на крышу мечети.

Однажды летом, когда я жил в Бухаре, там случилась засуха: деревья, цветы в палисадниках, овощи в окрестных огородах — все повяло, лишилось свежести и перестало расти. В один из таких дней я отправился в сад моего бывшего хозяина Шариф-джон-махдума. Он пожаловался на отсутствие воды.

Я рассказал о том, как мой дед поднял воду на крышу мечети.

— Устроив такой насос, можно будет во всяком случае поднять воду из колодца и полить огород, — заключил я. — Если вы разрешите и дадите все необходимое, я готов сделать насос.

Он тотчас велел найти для трубы длинное прямое бревно, а для его скрепления достать веревок и тонкой проволоки. Однако он не решился заказать кузнецу железные обручи и пригласить слесаря, чтобы тот набил эти обручи на трубу.

— С одной стороны, это дело потребует много расходов и беспокойства, — говорил он, — с другой стороны, неизвестно, даст ли еще оно положительный результат, между тем о нем узнают в городе и мы подвергнемся всеобщим насмешкам.

Я знал, что без железных обручей деревянная труба, обмотанная веревками и проволокой, не сможет выдержать напор воды, тем не менее, чтобы доказать мою правоту, а также реальность плана в целом, я приступил к устройству большого насоса. Двусторонней пилой я распилил вдоль тополевое бревно, внутри каждой половины стаме-

ской и топориком продолбил желоб; у каждой половины вверху и внизу я проделал отверстия, из прямой длинной жерди сделал ручку с лопастями для нагнетания воды, а к лопастям и в нижнем отверстии трубы, через которое должна была поступать вода, прикрепил кусок кожи. После этого вдоль всего разреза я положил немного ваты, сложил вместе обе половины бревна, крепко обвязал их веревками и проволокой и поставил трубу торчком в колодец. На верхнем отверстии трубы я укрепил желоб, внутрь трубы просунул ручку, а сверху в поперечном направлении приделал к ней палку. На этом я окончил свою работу.

Затем я велел двум садовникам взяться за поперечную палку и двигать ее вверх и вниз. Однако как только вода из колодца с помощью трубы поднялась до верха и по желобу вылилось примерно около ведра воды, — веревки и проволока, стягивавшие трубу вместо обручей, с треском лопнули, половинки бревна развалились и вода вылилась обратно в колодец.

Хотя вся затея оказалась безрезультатной, зрители полностью поверили в возможность ее осуществления. Даже Шариф-джонмахдум согласился заказать кузнецам железные обручи, позвать слесарей для скрепления трубы, чтобы снова пустить в работу все сооружение. Однако этому воспротивились садовники:

— Мы едва не вывихнули руки, поднимая воду до верха трубы, но добыли всего одно ведро. Таскать из колодца воду ведрами в тысячу раз легче, — заявили они.

Мирзо-Абдулвохид был одним из свидетелей этого опыта. Теперь я напомнил о нем:

— Веревки и проволока гораздо прочнее, чем стенки глиняных труб. (В то время мы, считая себя важными людьми, вместо «ты» усвоили обращение на «вы»). Но и они лопнули, не выдержав напора пяти ведер воды, поднявшихся со дна колодца на высоту в пять газов. Как же ваши трубы выдержат напор массы воды, которой вы намерены обеспечить целый город!?

Хотя Мирзо-Абдулвохид при этом напоминании полностью убедился в ошибочности его затеи с водопроводом, все же, чтобы заставить его начисто отказаться от подобных идей и поверить в законы

техники и физики, я напомнил ему еще одну историю, случившуюся в дни нашей молодости.

После смерти Усто-амака, о котором я упоминал в первой части «Воспоминаний», остался грудной ребенок по имени Довуд-хон. Этому мальчику в период бухарской революции было лет семнадцать-восемнадцать.

Не знаю, по наследству или благодаря матери, но он полностью усвоил идеи отца и его стремление овладеть мастерством. Как и отец, он работал только с деревом и все хотел делать из дерева.

После бухарской революции юноша поступил в городе на учительские курсы; впервые увидев велосипед, он целиком усвоил его устройство. Вернувшись во время каникул в деревню, он из карагачевого дерева (одной из самых крепких местных пород) с помощью оставшихся от отца инструментов смастерил настоящий велосипед. Довуд-хон вместо цепи, которая приводит в движение малое колесо, поворачивающееся много раз при каждом повороте большого колеса, приладил веревку из козьей шерсти. Он сплел ее с небольшими колечками, полностью соответствующими зубцам малого колеса.

Сев на велосипед и осторожно выведя его, он выехал на середину улицы. Здесь он стал быстрее вертеть колеса; они треснули вместе со своими деревянными осями и разлетелись на куски.

Рассказав об этом Мирзо-Абдулвохиду, я заключил:

— Если бы вы и построили водопровод с глиняными трубами, то с вами случилась бы такая же беда, как и с деревянным велосипедом Довуд-хона. Если мы к идее постройки водопровода с глиняными трубами применим народную поговорку, то это будет такой же бесплодной мечтой, как «построить из снега минарет».

Услышав этот рассказ, Мирзо-Абдулвохид признал свою ошибку.

— Моя затея с приготовлением мыльной шофуркомской халвы была большим преступлением по отношению к себе самому, — сказал он. — Однако я не отрезвел и совершил еще порядочно менее крупных ошибок. Что же касается замысла построить водопровод с помощью глиняных труб, то он причинил мне огромный вред, я лишился всего достояния, и кроме того, сделался предметом насмешек

целого города. Надеюсь, что впредь я уже не стану заниматься подобными делами.

Однако эти надежды Мирзо-Абдулвохида, как и его изобретательские затеи, оказались пустыми: до конца жизни он тратил свой труд и деньги на осуществление несбыточных замыслов, примеры которых мы не считаем нужным приводить.

КОРИ-НУРУЛЛО

Кори-Нурулло, исполнявший обязанности повара Абдулхалил-махдума, отличался некоторыми удивительными качествами. Отец его, бедняк преклонных лет, работал у одного бухарского бая. Кори-Нурулло был единственным сыном, отец и мать воспитали его в ласке и неге. Отец с большим трудом, из последних сил справлял ему хорошую одежду; кормился же юноша у Абдулхалил-махдума, которому готовил пищу и убирал келью. Кори-Нурулло обладал хорошим голосом и, не умея петь по правилам весь цикл «шаш-макома», некоторые мелодии исполнял с большим чувством. Он выучил и часто пел газели Хилоли, Джами, Хафиза, Бедиля и других классиков.

Прозвище «кори» он получил оттого, что отец в детстве отдал его в школу чтецов Корана, чтобы он выучил Коран наизусть; хотя ему это и не удалось, прозвище «кори» пристало к его имени.

Кори-Нурулло тоже учился, но по программе отстал от нас на несколько лет и был соучеником моего младшего брата. Грамоту он знал плохо, из уроков, преподаваемых в медресе, ничего не понимал и не стремился понять. Взяв с полки книгу, он отправлялся на урок, возвратясь, клал ее опять на место и до следующего дня ни разу в нее не заглядывал. Ясно было, что он ходил на уроки, только чтобы считаться учеником и называться «мулло-бача».

Однажды между мной и Абдулхалил-махдумом зашел об этом разговор. Махдум сказал:

— Если вместо той книги будет лежать другая, он возьмет ее и так же пойдет на занятия, а вернувшись домой, положит ее на прежнее место и даже не заметит своей ошибки.

Я не мог поверить этому, но махдум проделал этот опыт и доказал свою правоту. В те дни Кори-Нурулло читал «Кофию», излагающую арабский синтаксис. Абдулхалил-махдум снял эту книгу с полки и вместо нее положил «Шамсию», посвященную логике. Кори, отправляясь на занятия, вместо «Кофии» взял «Шамсию», а вернувшись, положил книгу на место, не сказав ни слова.

Я невольно засмеялся, но Абдулхалил-махдум сделал мне знак, чтобы я сдержался. В отсутствие Кори-Нурулло приятель сказал мне:

— Если мы или еще кто-либо не расскажет, сам он никогда не догадается, что вместо «Кофии» брал «Шамсию». Поэтому не надо смеяться и не будем ничего объяснять; посмотрим, сколько времени это продолжится.

Действительно, несколько дней Кори-Нурулло носил на уроки «Шамсию» вместо «Кофии». Но как-то раз один из его соучеников случайно заметил, что за книга у него в руках, и сказал ему.

Вернувшись в тот день с уроков, Кори сердито спросил Абдулхалил-махдума:

— Кто трогал мои книги и положил мне «Шамсию» вместо «Кофии»?

— Должно быть, я сделал это по ошибке, — сказал махдум извиняющимся тоном.

— Если не можете отличить «Шамсию» от «Кофии», прошу не трогать моих книг! — все так же сердито сказал Кори. — Я вам служу, но не хочу, чтобы вы трогали мои учебники.

При этом он будто не заметил того, что сам в течение нескольких дней носил одну книгу вместо другой и, тем не менее, упрекал Абдулхалил-махдума в том, что он не разбирается в книгах.

Когда Кори-Нурулло сердился или раздражался, его очень легко можно было успокоить; лучшее средство — попросить его спеть что-нибудь. Так произошло и в тот раз: он очень рассердился и обиделся на Абдулхалил-махдума, и тот, признавая свою вину, сказал:

— Бывает, что человек ошибается. Простите меня, я тоже ошибся! Время дорого, пусть все беды отойдут к концу света, а вы лучше спойте газель.

И Кори-Нурулло тотчас, взяв подносик, запел газель Хилоли, начинающуюся следующим двустишием: «Приди, приди, пусть сердце мое и душа станут ради тебя жертвой». Как только он запел, на его лице не осталось и следа гнева или обиды. Он забыл про уроки, книги, и про то, что вместо «Кофии» таскал на занятия «Шамсию», и про то, что Абдулхалил-махдум умышленно или случайно подменил книгу. Принявшись за приготовление плова, Кори продолжал петь и у очага.

Он был весьма невежествен и безразличен к окружающему. Однако сам себя считал высокообразованным и способным человеком и глубоко оскорблялся, когда его принимали за то, чем он был в действительности.

Абдулхалил-махдум по натуре был человеком мягким, вежливым и скромным; хоть он и был шутником, но шутил всегда деликатно и умно. Он хорошо изучил характер и привычки Кори-Нурулло и обращался с ним очень мягко, настолько, что можно было подумать, что Кори-Нурулло является владельцем кельи, а ее хозяин Абдулхалил-махдум — его слугой. Однажды, когда в отсутствие Кори-Нурулло зашел об этом разговор, Абдулхалил-махдум сказал:

— Если он доволен тем, как я с ним обращаюсь, пусть радуется; он считает себя выше всех и выше меня? Пусть считает! Что от меня убудет? Хайрат пересказал в стихах народную поговорку: «Иди же, день короток, а мир прекрасен, все наладится». Я тоже так поступаю; я не обращаю внимания на его высокомерие, и таким образом мы оба довольны: и он, и я.

ЧЕМОДАН КОРИ-НУРУЛЛО

Одной из черт характера Кори-Нурулло было то, что какая бы ни появилась новая вещь, она ему нравилась именно своей новизной и он принимался придумывать, как бы получше использовать эту вещь. Так, однажды мы, несколько друзей, решили отправиться погулять в деревню; одним из наших спутников был Кори-Нурулло. Предполагаемый маршрут нашего путешествия был таков: Вобкент—деревня Котиён—деревня Ходжа-Ориф—Гиждуван и оттуда через

Вобкент в Бухару. Для подобных прогулок мы нанимали ослов и лошадей.

Мы договорились собраться у ворот Имом утром, до восхода солнца, чтобы раньше других путников нанять хороших ослов и до наступления жары добраться до Вобкента.

Все явились в условленное время, каждый держал в руках переметную суму, где были сложены одежда и другие вещи, необходимые в дороге. В руках у Кори-Нурулло был чемодан.

Я хорошо знал его привычки, однако, сделав вид, что ничего не замечаю, спросил:

— Кори, куда вы собираетесь ехать?

Удивившись моему вопросу, он минуту помолчал, затем ответил:

— Разве вы забыли, что мы условились вместе поехать в деревню?

— Я не забыл, но при виде чемодана у вас в руках подумал, что вы, может быть, передумали и решили отправиться в Самарканд.

— А разве в деревню нельзя ехать с чемоданом? — спросил он, еще более удивившись.

— Можно, но трудно. Каждый из нас взял с собой в путешествие переметную суму, мы положим ее на лошадь или на осла, сами сядем верхом и поедем. А как вы сможете положить на лошадь или осла свой чемодан, да еще сесть на него сверху? Вот если человек едет в Самарканд или еще куда-нибудь по железной дороге, тогда чемодан может ему пригодиться, он положит его на полку и поедет спокойно.

— До каких же пор мы будем привязаны к дедовским обычаям и к тем вещам, которые достались нам от предков? Мы должны извлекать пользу из всего нового. Когда мы решили ехать в деревню, я, зная, что мы поедем на ослах и лошадях, отправился вчера в Каган и специально для этого путешествия купил чемодан. А как я его повезу — это я сам знаю.

Наши товарищи хотели продолжить этот разговор, но по моему знаку замолчали.

Договорившись с владельцами животных, каждый из нас нанял осла, бросил свою переметную суму на ослиное седло, и мы отправились в путь. Кори-Нурулло тоже сел верхом, по его просьбе вла-

делец осла подал ему чемодан. Обычно там, где наниматель берет осла и садится на него, владельцы заставляют ослов бежать быстро. Животные, хорошо зная об этом обычае хозяев, от страха перед их острой палочкой бегут, что есть силы, с громким ревом.

Как только наши ослы, словно на гонках, побежали, кусая друг друга за уши, шеи, хребты и хвосты, лягаясь, громко крича и подпрыгивая, Кори-Нурулло, у которого обе руки были заняты чемоданом, при первом же скачке вместе со своим чемоданом кувыркнулся на землю. Осел, освободившись от груза, лягаясь всеми четырьмя ногами, обогнал своих соперников, т. е. других ослов.

Хорошо еще, что мы не отъехали далеко от стоянки. Владелец осла, увидев происшедшее, окликнул нас. Натянув недоуздки, мы остановили животных. Хозяин осла, подбежав, позвал сбежавшего осла и приказал ему остановиться. Тот сейчас же выполнил приказание хозяина, державшего в руке заостренную палочку. Хозяин, подойдя, повернул его назад.

Подавая чемодан, хозяин обратился к Кори-Нурулло:

— Брат кори,[1] где вы раздобыли этот неуклюжий груз? Такую редкостную вещь берут с собой, когда путешествуют на огненной арбе (поезде)!

Прилаживая чемодан на седло, хозяин посоветовал Кори-Нурулло внимательно следить, чтобы чемодан не соскользнул на шею ослу:

— А не то осел испугается, поскачет, и вы свалитесь вместе с вашим неудобным грузом. — Потом он добавил:

— Домулло, когда бывает нужен лед? Неужели вы скажете, что зимой?!

Мы снова отправились в путь. Хозяин опасался, что, если он закричит на осла, тот опять сбросит Кори-Нурулло, поэтому он промолчал и не кольнул животное палочкой, заставляющей бежать быстрее. Ослы, уже удалившиеся от стоянки, не слыша голоса хозяина, пошли медленнее.

---

[1] Простой народ в Бухаре при виде человека в белой чалме, будь он старше говорящего или младше, кори это или не кори, обращался к нему со словами: «брат кори». *(Примеч. автора).*

В пути Кори-Нурулло пришлось очень трудно. Обычно хозяева ослов уменьшают седла, чтобы наниматели, отъехав от стоянки, не садились по двое. Кори-Нурулло не помещался на узком седле, переднюю часть которого занимал чемодан; как он ни сжимал коленями седло, он все время сползал на круп осла. Наконец, он вовсе уселся на круп, а чемодан поставил на седло.

Когда хозяин осла отправил меня и вернулся восвояси, один из товарищей спросил Кори:

— Этот безбожник, погонщик ослов, хорошенько отчитал вас, не правда ли?

— Что значит отчитал? — вспыхнул Кори. — Будь это человек понимающий, я бы пристыдил его, рассказав о положительных свойствах чемодана и вообще всякого нововведения. Но я счел ниже своего достоинства разговаривать с простым невеждой и решил: пусть говорит, что хочет. Я не стал ему отвечать, а не то показал бы я ему.

— Разве сами вы довольны, что отправились в путь с этим чемоданом? — спросил другой товарищ.

— Конечно! — ответил Кори решительным тоном. Затем, должно быть, под влиянием испытываемых неудобств, немного смягчил тон.

— Верно, ехать верхом на осле с чемоданом довольно трудно. Но ведь вначале, когда вводят какую-нибудь новинку, всегда бывает трудно, однако постепенно человек привыкает и трудное становится легким...

Кори-Нурулло немного подумал и продолжал:

— Если бояться трудностей при введении в обиход новшеств, то в мире никогда ничего нового не появится, а если и появится, то не будет развиваться.

Если бы, слушая эти слова, мы могли не думать о том виде, какой был у Кори-Нурулло, сидевшего со своим чемоданом на осле, то нам пришлось бы признать его высказывания поистине мудрыми. Однако нам после того, что произошло, слова его показались очень смешными.

Мне подумалось, что Кори-Нурулло, вероятно, слышал подобные речи от какого-нибудь ученого человека, любящего прогресс, и, как

попугай, повторяет их. Однако сам он, не способный оценивать такие вещи по достоинству, не знал, где применить эти мудрые слова.

Удалившись от стоянки ослов, мы проехали бухарский конный базар и добрались до Гала-Джуя. Наши наемные ослы все время шли очень медленно и теперь, по своему обычаю, остановились сразу все вместе, сунули морды в кучи дорожной пыли и, как будто отыскивая что-то, принялись нюхать пыль и тереться головами о землю.

Я давно уже узнал, как заставить наемного осла идти вперед (об этом я писал в главе «Наемный осел и моя болезнь» в третьей части «Воспоминаний»). И теперь, сразу же спешившись, я срезал с тутового дерева прутья длиной в один газ, заострил кончики и роздал их товарищам. Один из прутьев я дал также и Кори-Нурулло. Каждый из нас, безжалостно стегая своего осла палкой и покалывая острым концом, заставлял его двигаться. Один только Кори-Нурулло, у которого обе руки были заняты чемоданом, не мог ни стегнуть своего осла, ни уколоть его. Поэтому его осел, не двигаясь с места, продолжал рыть и обнюхивать землю.

Один из товарищей, повернув своего осла вспять, заехал со спины Кори-Нурулло и стал стегать его осла по крупу. Осел, почувствовав удары палки, начал брыкаться и вприпрыжку побежал вперед. Но как только осел начал брыкаться и скакать, Кори слетел с него вместе с чемоданом и покатился в дорожную пыль.

Поднявшись, Кори снова сел на осла, ему подали чемодан. Все двинулись в путь и между спутниками опять завязалась дискуссия на темы, как трудно с чемоданом ездить верхом на осле, и о преимуществах употребления при любых обстоятельствах, невзирая на трудности, нового взамен старого.

Один из нас, видя, что в конце концов этот спор закончится ссорой и обидами, обратился к своим спутникам:

— Давайте закончим бессмысленный разговор об осле и чемодане. Если хотите, я расскажу вам одну сказку; она поможет забыть это глупое происшествие.

Все в один голос (исключая одного Кори-Нурулло) стали просить его рассказать сказку. Он согласился и начал свой рассказ.

ПРИНЦ-ГАДАЛЬЩИК

Было ли, не было, — жил один падишах. У него был очень глупый сын. Падишах думал, что сын, унаследовав после его смерти престол, не сможет управлять государством. Поэтому лучше заблаговременно научить его какому-нибудь ремеслу; когда его прогонят с трона, он хоть этим ремеслом сможет добыть себе кусок хлеба. «Но какому же ремеслу научить сына?» — думал падишах. На этот вопрос он не мог найти ответа, так как считал своего сына неспособным ни к какому ремеслу. Поневоле созвал он гадальщиков со всего города и приказал им с помощью гадания определить, к чему имеет склонности его сын, чтобы этому ремеслу и отдать его учиться.

Гадальщики, раскинув зерна на доске, в один голос заявили: принц имеет способности к гаданию.

— Беретесь ли вы научить моего сына вашему искусству?

Те дружно ответили:

— Мы с благодарностью возьмем на себя эту почетную обязанность.

Падишах отдал гадальщикам своего сына в ученики, заплатил им за учение вперед и пообещал, что, когда его сын овладеет мастерством, он их еще наградит подарками.

Гадальщики, продержав у себя принца в течение шести месяцев и обучив искусству гадания, привели его к падишаху и заявили:

— Ваш сын хорошо усвоил наше искусство.

Падишах, желая проэкзаменовать сына в присутствии гадальщиков и придворных, спрятал в руке какой-то предмет, велел сыну раскинуть зерна и угадать, что у него в руке.

Принц несколько раз бросал зерна, разглядывал их и записывал выпавшие знаки. Наконец он сказал отцу:

— У вас в руке что-то круглое с отверстием посредине, с одного края этого предмета что-то выдается.

Падишах очень обрадовался:

— Ты точно описал спрятанный предмет, — сказал он сыну. — Теперь скажи, что же это такое?

Принц, подумав немного, ответил:

— Вы спрятали в руке мельничный жернов!

Услышав это, придворные невольно громко расхохотались. А падишах, разгневавшись, раскрыл кулак и показал гадальщикам, что у него в руке был перстень, затем он с гневом обрушился на них:

— Где же та наука, которой вы обучили моего сына? Вы хотели меня обмануть!? Всех вас надо сурово наказать!

Гадальщики извиняющимся тоном ответили:

— Ваше величество! Мы научили принца всему, что касается науки гадания, и он это усвоил. Он отгадал, какова форма предмета, спрятанного вами. Действительно, мельничный жернов — это нечто круглое с отверстием посредине, с одного края имеющее выступ — т. е. палочку, которую подвешивают с краю, чтобы во время вращения она собирала смолотую муку и сметала ее в мешок. Однако, чтобы определить, какой именно это предмет, нужно было еще сообразить, что мельничный жернов не может поместиться в руке человека. Мы научили принца искусству, но научить его разуму, догадливости и сообразительности не в наших силах.

Когда товарищ окончил сказку, все мы, подобно придворным сказочного падишаха, громко расхохотались. Мы отлично поняли, что в сказке заключался намек на Кори-Нурулло. Подобно сыну падишаха, он затвердил, как попугай: раз новое — значит хорошее. И при этом он не мог сообразить, где и когда следует применять ту или иную новую вещь.

Однако Кори-Нурулло совсем не смеялся; он не понял, что сказка эта намекает на него. Возможно также, что он не слушал ее и не старался вникнуть в ее смысл. По-прежнему поминутно сползая и падая, он был занят тем, чтобы удержать своей чемодан. (Бедняга Кори-Нурулло, страдавший неумеренной приверженностью к прогрессу, был убит эмиром во время колесовских событий 1918 года).

МОЯ ЖИЗНЬ И ЗАНЯТИЯ НАУКАМИ И ЛИТЕРАТУРОЙ В МЕДРЕСЕ ХАДЖИ-ЗОХИД

Жизнь моя и в частности литературные и научные занятия в период пребывания в медресе Хаджи-Зохид были, по сравнению с прежним, гораздо плодотворнее. В те времена я в течение целого

учебного периода, с начала месяца мизон и до начала месяца хамал (т. е. с 24 сентября до 22 марта по новому стилю), изучал в основном два предмета: один в трех местах, другой в одном месте. Первый был классным уроком: сначала я проходил его с моим репетитором Мулло-Абдусаломом, затем с домулло Икромчой, моим классным преподавателем. Впоследствии этот же самый урок я, по обычаям того времени, трижды повторял у верховного судьи Бадриддина.

На всех этих уроках чтецом нашей группы был Абдулхалил-махдум. Моими постоянными соучениками и друзьми были также Мирзо-Абдулвохид, Мир-Кодир-махдум (о котором рассказано в третьей части «Воспоминаний», в главе «В медресе Олим-джон») и Хомид-ходжа (о котором также упоминается в третьей части «Воспоминаний»).

У муллы-репетитора нас училось десять человек, а у домулло Икромчи — от семидесяти до ста; такое же количество было и у верховного судьи.

У верховного судьи в те времена занимались по той причине, что чтец нашей группы, Абдулхалил-махдум, был сыном казия и после окончания курса учения сам хотел стать казием. В Бухаре в те времена нельзя было достичь никакой ученой должности, в особенности казия или раиса, без знакомства с верховным судьей. Абдулхалил-махдум считал, что классный урок нужно также повторять у верховного судьи, поэтому он тащил с собой и нас, своих близких приятелей и друзей. Ради него мы согласились посещать эти занятия, хотя для нас они были бесполезны.

Хоть занятия в канцелярии казия ни на грош не имели пользы, но для таких любопытных, как я, падких на всякие сборища, они представляли очень интересную картину. Если вообще в бухарских медресе учащиеся (как это отмечал Ахмад-махдум Дониш в своем произведении «Редкости событий») в большинстве кричали, ничего не понимая, то у верховного судьи, чтобы обратить на себя его внимание, кричали еще громче. Ученики (как я описал это в своем произведении «Смерть ростовщика»), входя к верховному судье, старались, подобно наездникам в козлодрании, врезаться в самую гущу схватки за тушу козла, они колотили, толкали один дру-

гого, хватали за шиворот, оттаскивали назад. Сильные и крепкие оттирали плечами к дверям более слабых и едва не давили их насмерть. Таким способом каждый старался пробиться вперед, сесть поближе к почетной части мехмон-хоны верховного судьи, где в то время проходили занятия, т. е. занять такое местечко, чтобы верховный судья мог получше видеть его, запомнить и не забыть до той поры, когда кончится курс учения.

Второй предмет заключался в чтении текстов (например, текст книги «Шамсия» или «Акоиди Насафи»). Это было неофициальным уроком, не входившим в программу медресе. Я с близкими друзьями, о которых упоминалось выше, проходил его под руководством Мулло-Абдусалома.

Как уже говорилось, днем мы готовили уроки в келье Абдулхалил-махдума. Здесь со мной всегда бывали Абдулхалил-махдум и Мирзо-Абдулвохид Мунзим. Иногда, если приготовлялись особо важные или трудные уроки, присутствовали также Хомид-ходжа и Мир-Кодир-махдум.

В свободные от занятий дни там устраивались литературные собрания и музыкальные вечера; украшением литературных собраний в дружеском кругу, как бы лучшей розой цветника, был Мухаммад Сиддик Хайрат. На этих собраниях читались и обсуждались стихи классических таджикских поэтов, иногда также критиковались стихи современников.

На музыкальных вечерах, как уже говорилось, постоянно пел Кори-Нурулло, иногда также Мулло-Хомид Савти из Гиждувана и Зайниддин-ходжа (о которых упоминалось во второй части «Воспоминаний»).

Порой в свободные вечера мы собирались у Абдулхалил-махдума и шли на пирушки. Как мы искали их, как находили и какое принимали в них участие, — все это я описал в одном стихотворении, первые строки которого были следующими:

К ы т' а

Вчера, в каникулы, сойдясь под вечер, несколько друзей,
В бесплодных поисках пиров скитались всюду мы, блуждая.
Опережая всех, Кадыр — имама сын — тащил фонарь,

Айни-бедняга позади чуть успевал за ним, хромая.[1]
Когда прошли мы наконец и медресе «Модари-хон»,
Звон «черепков» со стороны раздался, небо потрясая.[2]
И без расспросов стало нам вполне понятно по всему,
Что свадьбу сына здесь ишан — «его святейшество» — справляет.
Бегом пустились мы туда, чтоб в этом «славном торжестве»
Успеть участие принять, возможности не упуская.
Вот мы уселись на суфе, где шел давно веселый пир,
Как вдруг внезапно хлынул дождь, как из ведра нас поливая.
Жаровню, лампу и мангал схватив, мы потащили в дом
И там пристроились в углу, поспешно место занимая...

* *
*

Кроме названных товарищей, у меня в описываемое время были и другие приятели, с которыми я также вместе готовил уроки. Один из них был Мулло-Комиль из Гидждувана, живший в медресе Мир-Араб. Он не учился со мной вместе, однако мы с ним проходили по программе медресе одно и то же; учился он в другом медресе, у других преподавателей.

Мулло-Комиль очень туго усваивал уроки, но у него было горячее стремление вникнуть в суть каждого вопроса, чтобы приобрести знания. Однако он был очень беден, и из среды его соучеников не нашлось никого, кто согласился бы безвозмездно и совершенно бескорыстно помочь ему готовить уроки и вообще оказать духовную поддержку.

Мы были с ним из одного тюменя и поэтому давно знали друг друга. Естественно, что он, обратившись ко мне, попросил раз или два в неделю помогать ему готовить уроки. Конечно, я с радостью согласился, ведь он был моим земляком, а помогать ему никто не хотел из-за его бедности.

---

[1] В те времена у меня из ноги вышел червь — ришта, нога еще не зажила, и я хромал. *(Примеч. автора).*

[2] Звон бубна, приглашавший на праздник, напоминал звук разбиваемой глиняной посуды, поэтому его в Бухаре называли «сафолак» (т. е. черепок). *(Примеч. автора).*

Однако келья его находилась далеко, поэтому после приготовления уроков он не мог возвращаться ночевать домой. В моей келье он также не мог оставаться: у меня не было лишней подушки и одеяла, чтобы дать ему, у него же не было их, чтобы оставлять у меня в келье и пользоваться ими в те вечера, когда он задерживался у меня из-за приготовления уроков. Он имел только одно одеяло, половину его расстилал, другой половиной покрывался, а вместо подушки клал под голову свой толстый ватный гиждуванский халат.

Поневоле в те вечера, когда мы вместе готовились к занятиям, он приносил свое одеяло ко мне в келью и спал на нем, а утром уносил с собой.

Кроме Мулло-Комиля, у меня были еще два говарища, с которыми я готовил уроки. Они были братья, и дом их находился в квартале Мир-Дустум, а келья — в небольшом медресе при мечети того же квартала. Их отец служил у верховного судьи, и жили они в среднем достатке.

Старший из братьев был Насриддин-махдум. Он незадолго до этого стал моим соучеником, так как только в тот год начал брать уроки у домулло Икромчи. Он обладал красивым почерком, был хорошо грамотен и любил литературу. Однако в детстве он придавал мало значения урокам в медресе, поэтому очень отстал, и теперь, чтобы помогать ему готовиться к урокам и объяснять пропущенное, пришлось вспомнить множество пройденных тем, что представляло для меня немалые трудности.

Младшего брата звали Салохиддин, он незадолго до этого начал учиться и только еще приступил к изучению арабского синтаксиса и этимологии.

Согласно нашей договоренности с Насриддин-махдумом, я должен был два-три раза в неделю приходить к нему в келью, а так как его келья находилась далеко от моей, да еще часть пути была очень плохой, то, выучив с ним вместе урок, я оставался у него ночевать. Обычно он сам назначал время наших встреч. В день классных занятий он говорил, чтобы в такой-то вечер я пришел к нему. Мы с ним занимались не чаще трех и не реже двух раз в неделю.

Мулло-Комиль также приходил ко мне два-три раза в неделю в учебные дни. Если же в тот вечер, когда он приходил, я должен был отправляться к Насриддин-махдуму, он оставлял свое одеяло у меня в келье и мы вдвоем шли к Насриддин-махдуму. Там мы все вместе готовили уроки, а потом ложились спать.

Утром Мулло-Комиль шел со мной до моей кельи, забирал свое одеяло и отправлялся домой.

В учебные дни и вечера я не мог готовить уроки с Салохиддином. Поэтому мы решили, что два раза в неделю — по средам и четвергам, — в утренние часы он будет приходить ко мне.

Конечно, я не готовил с ним уроки так же, как со своими учениками; в занятиях с ним я выступал в роли преподавателя. Однако я не излагал материал так поверхностно, как это делали настоящие преподаватели медресе; в два наших занятия я объяснял ему материал на всю последующую неделю. Он был способнее, чем его брат, быстро усваивал материал и, с моей помощью, шел у своего преподавателя впереди своих соучеников.

Эти братья за мою помощь давали мне вознаграждение в виде одежды, чая, сахара, а иногда еще масла и риса. Принося все это, они будто невзначай рассказывали, что якобы сами получили от кого-то богатый подарок и долю из него выделили и мне. Однако было ясно, что они покупали все это на собственные деньги и отдавали мне за мой труд на ниве знаний.

* *
*

Как уже говорилось, Насриддин-махдум был хорошо грамотен, любил литературу и очень хорошо понимал поэзию. При этом, однако, сам он не мог сложить даже и одного двустишья, хотя и мечтал о славе поэта. Об его мечтах я догадался благодаря следующему: иногда он писал на бумажке какую-нибудь неизвестную газель классического поэта (большей частью Джами, Хафиза или Саади) без псевдонима и при встрече показывал мне, спрашивая, чья это газель. Я называл поэта, которому принадлежала эта газель.

— Это написал Джами, или Хафиз, или Саади, — говорил я.

Так повторялось много раз, и я наконец собразил, что если я не отгадаю, кому принадлежит стихотворение, то он, не смущаясь, припишет его себе. Чтобы проверить свое предположение, я однажды на его вопрос, кто написал это стихотворение (на самом деле оно принадлежало Джами), ответил:

— Не знаю, но это хорошая газель.

Он улыбнулся:

— Это написал я. Только газель не очень хорошая. Однако если она вам нравится, я завтра допишу заключительную часть, содержащую тахаллус, и снова покажу вам.

Конечно, я расхвалил это стихотворение. На следующий день он принес мне конец этого стихотворения, но вместо тахаллуса «Джами» написал «Насри».

Подобные опыты продолжались весьма долго, и я каждый раз прикидывался незнающим; он же, не задумываясь, без всякого стеснения все эти стихи приписывал себе. Об этой его привычке я рассказал нашим знакомым, любившим поэзию, чтобы он не смог ввести в заблуждение других.

* *
*

После целого года занятий со мной Салохиддин в шестнадцатилетнем возрасте умер в очередную летнюю эпидемию холеры в Бухаре, когда меня не было в городе. Я от души жалел его, столь безвременно ушедшего из жизни. Он был еще очень молод и имел исключительные способности. Горевал не только я: все, кто знал обоих братьев, тяжело пережили смерть Салохиддина.

Мухаммад Сиддик Хайрат, как выразитель настроений своих друзей, написал на его смерть элегию. Несколько бейтов из нее следует привести — в память как о самом Хайрате, так и о рано скончавшемся способном юноше:

Салохиддин скончался юным, ушел, оставив след печали,
На цветнике-странице ветер тюльпаном вывел день кончины,
Чтоб из земли со свежим ликом возникли розы, базилика,
На цветнике тяжелым градом начертит туча день кончины.

Сердца бесчисленных друзей от горя кровью обливались,
Из уст в уста передавали в печали — день его кончины,
Один просил меня назвать ему печальный день утраты,
Ответил я: «печаль и слезы»; сложи — вот день его кончины.[1]

Смерть Салохиддина произвела сильное впечатление на его брата Насриддина, который очень любил покойного. Несколько лет он бродил печальный, подобно человеку, перенесшему тяжкое горе; хотя и продолжал учиться и готовиться к занятиям, однако у него не осталось и следа прежней увлеченности, он больше не стремился прославиться как поэт. Еще четыре-пять лет он жил все так же, безучастный ко всему, и в конце концов умер.

МЕДРЕСЕ ЛЯБИ-ХАУЗИ-АРБОБ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

В те годы, когда я жил в медресе Хаджи-Зохид, у меня, кроме келий Абдулхалил-махдума и Мирзо-Абдулвохида, появилось еще одно место постоянных посещений. В этом новом месте я встретился и познакомился с различными юношами, со странными и удивительными людьми.

Это место — небольшое старое медресе в квартале Ляби-хаузи-Арбоб.

Названный квартал находился вблизи вокзала, к востоку от медресе Хаджи-Зохид. Между ними располагались только медресе Хусейн-бай, к которому с запада и примыкало, как уже сказано, названное выше, медресе. Что касается квартала Ляби-хаузи-Арбоб, то он был расположен к востоку от медресе Хусейн-бай. Между крайними строениями этого квартала и медресе проходила лишь одна кривая узкая улочка. От ее края до мечети квартала было не более сотни шагов.

Мечеть, медресе и бассейн Ляби-хаузи-Арбоб размещались между городским каналом и большой улицей; канал протекал севернее мечети и бассейна, а большая улица проходила к югу от них. Мечеть была построена на берегу канала, бассейн вырыли к востоку от нее,

[1] Слова, взятые в кавычки, составляют по абджаду 1314 год хиджры (1897 год). *(Примеч. автора).*

он примыкал к террасе мечети. Медресе же было выстроено к юго-западу от мечети, на восток от мазара Ходжа-Рушнои, приблизиться к которому можно было, пройдя мимо южной стороны мечети.

Это медресе было очень старым и ветхим, в нем находилось не более пяти-шести келий, в которых проживали некоторые молодые ученики, не имевшие своих домов в этом квартале или жившие в очень тесных домах; они же сами и ремонтировали свои кельи. Одним из таких учеников, отремонтировавшим свою келью, был Кори-Абдулваххоб из жителей этого квартала. Доставшийся ему в наследство дом он продал, чтобы похоронить родителей, а затем, не имея жилья, отремонтировал для себя келью и поселился в ней. У него было прозвище «кори», однако от чтения Корана он не получал никаких доходов. Должно быть, его достоинство не позволяло ему заниматься этим ради заработка, поэтому он, хотя и с трудом, добывал средства к существованию перепиской книг.

Другого ученика звали Кори-Усмон. После смерти родителей он сдавал свой дом внаймы, а сам, отремонтировав одну из келий, поселился в ней. Чтецом Корана он только назывался: в детстве отец, желая, чтобы он выучил Коран, отдал его в школу. Однако мальчик не захотел заниматься столь тяжелым делом и в конце концов сбежал из школы. Благодаря тому, что он несколько дней проучился в школе, где изучался Коран, к его имени прибавилась приставка «кори». Другой профессии у него не было, и он жил очень бедно на средства, получаемые от сдачи внаймы своего дома.

Кори-Усмон был грамотен, знал литературу, помнил очень много таджикских пословиц и поговорок. Он был весельчак, постоянно пересыпал свою речь пословицами и поговорками и умел развлечь людей, собравшихся на пирушку или вечеринку.

Среди друзей Кори-Усмон был известен под кличкой «гозиёни». Сначала я думал, что он происходит из квартала Гозиён и по этой причине его называют «гозиёни». Однако позднее мне стало известно, что это прозвище было дано ему по другой причине: хотя он и приходил иногда на пятикратные намазы в мечеть, опасаясь упреков религиозных людей и наказания от городского раиса, который присуждал к ударам плетью людей, не читающих намаз, но пятничных на-

мазов не посещал никогда. Случалось, какой-нибудь любопытный фанатик спрашивал его:

— Кори, вас что-то не было видно в пятничной мечети, где же вы были?

Тогда он отвечал:

— Я читал пятничный намаз в соборной мечети Гозиён.

Квартал Гозиён находился далеко от Ляби-хаузи-Арбоб, и ни один из верующих этого квартала не ходил туда по пятницам молиться. Поэтому никто не смог бы сказать, присутствовал ли на молитве Кори-Усмон. Вот почему друзья дали ему прозвище «гозиёни».

Постепенно история эта столь широко распространилась по городу, что про всякого, кто не ходил молиться в соборную мечеть, говорили: «Этот человек пятничную молитву читал в соборной мечети Гозиён».

Третьим был молодой человек по имени Мирзо-Иброхим. Отец его служил школьным учителем; они жили в очень темном доме, поэтому Мирзо-Иброхим отремонтировал келью и поселился в ней. У него был красивый почерк, и он занимался переписыванием книг, помимо этого он обладал поэтическим дарованием и писал под псевдонимом «Субхи».

Четвертого звали Кори-Шариф. Его отец был мастером по изготовлению ножей. Сам он тоже изучил это ремесло, однако отец не хотел, чтобы юноша им занимался и мечтал сделать его чтецом Корана. Он отдал сына в школу чтецов Корана, но тот не интересовался этим делом. Он решил, что если будет сидеть дома, то после школы ему придется повторять Коран под наблюдением отца. Тогда под предлогом того, что в медресе легче повторять Коран в одиночестве, он получил разрешение отца отремонтировать келью и поселиться в ней. На самом же деле он ни разу даже не взял Коран в руки, но зато получил неограниченную возможность общаться с обитателями медресе.

Пятым был Ашраф-джон, мастер по изготовлению сундуков, его также называли Мирзо-Ашраф. Он происходил из другого квартала, но после смерти родителей, еще в детстве, перешел в дом своей сестры в этом квартале. Мирзо-Ашраф стал учеником мужа сестры —

мастера, изготовлявшего сундуки, — и тоже овладел этой профессией. Юноша стал искусным мастером и хорошо жил на свой заработок. Став немного старше, он произвел ремонт в одной из келий этого медресе и поселился в ней.

Ашраф-джон был хорошо грамотен, глубоко понимал стихи и, как говорили бухарцы, «увлекался поэтами», т. е. уважал поэтов, завязывал с ними знакомства, был общителен и красноречив. Будучи еще молодым (он был ровесником моим и Хомид-ходжи), он не был женат, поэтому весь свой заработок тратил на одежду и наряжался, словно байский сынок.

Благодаря своей профессии Ашраф-джон был знаком с самаркандскими мастерами, изготовлявшими сундуки, часто ездил в Самарканд. Во время этих поездок, беседуя в дороге, он немного выучился русскому языку.

Вот эти пять человек были основными жителями описываемого маленького медресе. Кроме того, их навещало довольно много людей, живших поблизости.

Одним из них был Хомид-ходжа, имевший в этом квартале собственный дом. В нем он и жил в мансарде, но свои вечеринки устраивал в медресе вместе с его обитателями. Как уже говорилось, он был моим соучеником, пытался сочинять стихи и в качестве тахаллуса взял слово «Мехри».

В этом же квартале жил также портной Хаджи-Абдусалом. Здесь в медресе он раскрывал свое сердце и освобождался от усталости, накопившейся за целый день работы иглой.

Среди жителей квартала был еще байский сынок Гулом-джон; он часто приходил в медресе, не обращая внимания на запреты своего отца и дяди.

Дом певца Кори-Камоля в те времена тоже находился в этом квартале. По вечерам, если он не был приглашен в гости, он приходил сюда и увеселял своих друзей песнями. Иногда Кори-Камоль приводил с собой своего коллегу, певца Кори-Наджми, служившего у какого-то бая; порой с ними приходил и известный певец, гиждуванец Мулло-Хомид Савти. В таких случаях нищенская пирушка в медресе превращалась в роскошный пир.

Я также через Хомид-ходжу Мехри завязал отношения с обитателями этого медресе и проводил здесь большую часть вечеров, свободных от уроков.

Затем я познакомил со здешними людьми Мухаммада Сиддика Хайрата, и он регулярно проводил здесь один-два вечера в неделю, хотя жил довольно далеко.

Здесь велись беседы на самые обычные темы; кроме того, будучи любителями литературы, мы часто играли в бейты. В эту игру по предложению Кори-Усмона было внесено нововведение: одна сторона, отвечая на бейт другой стороне, должна была прибавить пословицу или народное выражение.

Кори-Усмон внес это дополнение, так как сам, о чем уже говорилось выше, очень любил пословицы и поговорки. Приняв его предложение, мы для игры разделялись на две группы и садились друг против друга. Меня с Кори-Усмоном никогда не включали в одну и ту же группу. В те времена я еще не знал большого количества пословиц и поговорок, однако после Кори-Усмона я все же знал их больше, чем другие. Поэтому назначением нас с ним в разные группы достигалось равновесие сторон.

Кори-Усмон внес это предложение только ради собственного удовольствия, но эта игра принесла мне большую пользу, так как значительно обогатила мою речь. То же следует сказать о речи других участников этих собраний: она день ото дня становилась богаче и выразительнее, так как во время игры они, хотя и бессознательно, заучивали новые пословицы и поговорки. Каждый день они для этой игры узнавали от стариков и старух новые, свежие поговорки; новые запасы присоединялись к тем, что уже были накоплены всеми участниками.

Иногда собравшиеся на вечеринку затевали другую игру, в ней играющие не разделялись на группы и каждый отвечал сам за себя. Суть заключалась в том, чтобы каждый во время беседы, подтверждая слова собеседника, вместо «да» говорил «конечно» или «обязательно».

Всякий, кто говорил «да», считался проигравшим, другие же хлопаньем в ладоши и улюлюканьем высмеивали его.

В этой игре Кори-Усмон всегда оказывался победителем, редко проигрывал и Мирзо-Иброхим Субхи, остальные проигрывали постоянно. Я сначала, хоть и редко, тоже проигрывал, но несколько позже никому уже не уступал.

Эту игру я устраивал и в келье Абдулхалил-махдума. В ней участвовал также Мирзо-Абдулвохид, но он никогда не произносил ни слова до самого конца игры и не отвечал ни на чьи вопросы, чтобы не осрамиться в случае проигрыша. Кори-Нурулло в этой игре не участвовал вовсе.

— Я не принимаю участия в таких дурацких играх, — говорил он.

Постепенно эта игра распространилась в городе, ребята по двое, по трое, по четверо договаривались, что в течение длительного периода или без ограничения срока при каждой встрече вместо «да» они будут произносить «конечно» или «обязательно».

Однажды я заключил с тремя другими подростками договор о том, что длительное время мы ни разу не скажем «да». Мои противники при каждой встрече все-таки проигрывали разок-другой, я же за три года не проиграл ни разу. В конце концов, мои противники обманным путем сумели заставить меня сказать «да». (Если окажется возможным, я расскажу об этом в каком-нибудь месте «Воспоминаний»).

Мне в точности не известно, кто из жителей квартала Лябихаузи-Арбоб придумал эти игры. Несомненно, что они, хоть и в незначительной степени, способствовали приближению разговорного языка к литературному.

Одним из обычных видов времяпрепровождения в нашем обществе было пение газелей и других песен. В этом, хотя и редко, принимали участие Кори-Камоль, Кори-Наджми и Мулло-Хомид Савти. Впоследствии стал также участвовать Рахмат-ходжа, один из выдающихся музыкантов-тамбуристов своего времени, и его ученик Хаджи-Абдурахмон.

Здесь следует отметить, что на этих вечерах я впервые познакомился с Хаджи-Абдулазизом Самарканди и именно тут услышал его игру на дутаре и чудесный голос.

В связи с этим я хочу пересказать первую часть своего очерка, посвященного кончине этого артиста. Очерк был опубликован во втором номере журнала «Барои адабиёти социалисти» в 1936 году. Здесь я изменяю заглавие и сокращаю весь текст, отредактировав его в духе «Воспоминаний».

МОЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ХАДЖИ-АБДУЛАЗИЗОМ САМАРКАНДИ

Все мы, участники собраний в этом маленьком медресе в квартале Ляби-хаузи-Арбоб, были любителями музыки, знали многих певцов и музыкантов Бухары и слышали их игру и пение. Однако самаркандского артиста Хаджи-Абдулазиза мы никогда не видели воочию, до нас доходили только похвалы ему от наших друзей, любителей музыки. В особенности восхищался им Ашраф-джон, мастер по производству сундуков. Он много раз слышал этого певца в Самарканде, принимал участие в пирушках, на которых тот присутствовал. Расхваливая певца, он каждый раз пробуждал в нас желание послушать звуки его дутара и его прекрасное пение.

Однако мы не имели средств, чтобы поехать в Самарканд и присутствовать на его выступлениях на пирушках. Не было у нас денег и для того, чтобы пригласить его в Бухару и послушать его музыку и пение.

Когда мы горевали об этом, вдруг распространился слух, что один из крупных бухарских богачей устраивает свадьбу и что наряду с другими известными музыкантами из ближних и дальних мест он собирается пригласить известного самаркандского музыканта Хаджи-Абдулазиза.

Этот слух пробудил в нас безмерную радость и надежду на то, что мы хотя и будем приглашены на эту свадьбу «ударами бубна», но все-таки попадем на пир и услышим певца. Воодушевленные этой надеждой, мы стали дожидаться счастливого дня.

В конце концов он наступил, и вечером из дома, где происходила свадьба, понеслись такие громкие звуки бубна, что, казалось, они

достигают неба. Едва заслышав их, мы направились туда вместе с другими завсегдатаями пирушек, которые, согласно обычаю Бухары, без всякого приглашения ходят на них.

Байский двор был очень обширным, но от большого количества собравшихся здесь буквально иголке негде было упасть. Посреди двора поставили ступу, налили ее доверху льняным маслом, бросили внутрь старую тряпку наподобие фитиля и подожгли. Во дворе стало светло, как днем. Но подобно тому, как в ветреный пыльный день нельзя ни дышать, ни раскрыть глаза, — так и здесь густой вонючий дым от льняного масла и старой тряпки разъедал глаза и стеснял дыхание.

Вокруг ступы с трудом очистили от зрителей небольшой круг, с одного края его сели музыканты и стали изо всех сил ударять в бубны. Тотчас же в круг устремились танцоры; они терли глаза, делая вид, что так и нужно по ходу танца, на самом же деле, вероятно, спасаясь от ядовитого дыма.

Придя позднее, мы вместе с другими «приглашенными звуками бубна» стали в сторонке, ожидая выхода Хаджи-Абдулазиза. Все наше внимание, все чувства были устремлены только к нему, поэтому мы не слышали ни звуков бубна, ни пения бубнистов; не видели мы и танцев, как ни восхитительны они были...

Первая часть пиршества закончилась, ступу унесли, и «дымный, пыльный день» превратился в черную безлунную ночь. Настало время уходить незваным гостям, вроде нас, приглашенным ударами бубна.

— Где же Хаджи-Абдулазиз? — спросил я товарищей, уже собравшихся уходить.

— Вероятно, он в мехмон-хоне, — ответил кто-то.

— Хоть бы разок взглянуть на него... — высказал я вслух общее желание.

— Давайте, не выходя со двора, напрямик обогнем суфу и пройдем мимо мехмон-хоны, — предложил один из товарищей. — Если он там, то хоть издали посмотрим на него через окно.

Мы прошли той частью двора, где находилась мусорная яма и где только что стояла ступа, а затем поднялись на высокую суфу и

по ней спустились по ступенькам во двор с другой стороны суфы и пошли вдоль стены мехмон-хоны. Подойдя к окну, мы остановились и заглянули в мехмон-хону. Внутри нее под потолком висели в ряд сорокалинейные лампы, вдоль стен сидели разряженные в богатые одежды баи и байские сынки. Это были бухарцы, и мы всех их знали в лицо. В почетной же части комнаты сидел невысокого роста человек с узким подбородком, небольшим лицом, очень смуглый, с узенькими глазками; борода у него свисала узким клинышком, лицо выражало надменность и высокомерие. Его мы не знали и прежде никогда не видели. На нем в несколько слоев были надеты очень богатые халаты. Хотя на улице было не холодно, а в комнате от сорокалинейных ламп наверное стало жарко, как в бане, на этом человеке был надет еще меховой тулуп из черных лисьих лапок, покрытый каршинским шелком «кори-мулло». Вероятно, не выдержав жары, он спустил один рукав, благодаря чему оказалась на виду надетая под тулупом богатая одежда. Видимо, желая вызвать зависть разодевшихся, самоуверенных бухарских баев, он отвернул полу снятого с одного плеча тулупа, чтобы дорогой мех бросался в глаза.

Этот человек сидел, скрестив ноги. Бухарские баи и байские сынки, сидя на коленях и опираясь на пятки, не отрывали от него глаз. При каждом его взгляде, жесте или слове они, при всем их высокомерии, складывали руки на груди и склоняли головы, всячески выказывая ему свое уважение.

Над головой неизвестного на полочке стоял прислоненный к стене дутар в чехле, поэтому один из товарищей сказал:

— Возможно, это и есть Хаджи-Абдулазиз?

Однако мне никак не хотелось соглашаться с таким предположением. Очень уж не понравилась мне его волчья, хищная внешность, злое, нахмуренное выражение лица, весь его надменный и высокомерный облик. Мне совсем не хотелось, чтобы этот неприятный человек оказался Хаджи-Абдулазизом, которого мы долгие годы заочно обожали и возвеличивали в своем воображении как вдохновенного артиста. Я думал: «Если этот отвратительный человек окажется Хаджи-Абдулазизом, я от него отказываюсь и, как говорил Саади ширазский, „я отказываюсь от его даров в его пользу“».

В это время к нам подошел слуга бая, устроителя свадьбы, собиравший с суфы кошмы. Мы знаками подозвали его и, указав на человека, сидящего на почетном месте, спросили:

— Это и есть самаркандский дутарист Хаджи-Абдулазиз?

— Не-ет! — протянул слуга, словно желая упрекнуть нас в ошибке. — Откуда у музыканта столько спеси и важности, столько богатых халатов? — сказал он, стараясь как будто оправдать свой тон.

Этими своими последними словами он как бы давал понять: «Неужели ты так невежествен, что не можешь отличить какого-то бродячего музыканта от почтенного уважаемого человека?».

Потом слуга объяснил:

— Это самаркандец Мухаммад Рахим Тойча, один из известнейших в мире баев. У него много таких слуг и батраков, как Хаджи-Абдулазиз. Этот человек — дорогой гость у нашего хозяина. Чтобы пригласить его на свадьбу, он послал в Самарканд своего старшего сына, и бая с большим почетом едва привезли сюда.

Меня сильно задели слова этого байского блюдолиза; тем не менее, подобно человеку, внезапно проснувшемуся от жуткого кошмара и с облегчением понявшего, что его страх был напрасным, я обрадовался словам слуги и возблагодарил в душе бога, что неприятный незнакомец оказался не Хаджи-Абдулазизом. Тотчас же я спросил слугу:

— А где же Хаджи-Абдулазиз? Ведь говорили, что его тоже специально пригласили на свадьбу.

— Да, его тоже привели сюда, — сказал слуга. Посмотрев через окно в сторону менее почетной части мехмон-хоны, ближе к порогу, он показал нам человека, которого мы раньше не заметили, да и не могли заметить: не предполагая, что Хаджи-Абдулазиз может сидеть в этой части комнаты, мы даже не смотрели в ту сторону.

— Вот этот человек — Хаджи-Абдулазиз, — сказал слуга.

Мы, подобно женихам прежних времен, которые с любопытством через забор или щели в дверях рассматривали невест, с большим интересом стали разглядывать знаменитого певца через окно. Это был человек с каштановыми волосами, с белым открытым лицом

Казалось, его блестящие добрые глаза улыбаются одновременно со смеющимися губами. Одет он был очень просто, но опрятно. Не знаю, какими остроумными словами, однако он без устали смешил сидевших возле него людей.

— Почему он не пел и не играл на празднике? — с удивлением спросил я слугу.

Байский блюдолиз, бросив на меня иронический взгляд, ответил:

— Дядюшка кори, до чего же вы наивны! Ведь хозяин, истратив большую сумму денег, привез его не для того, чтобы устраивать пиры для голодранцев, неизвестно откуда взявшихся, приглашенных ударами бубна. Для них вполне достаточно, даже больше чем достаточно, и этого праздника вокруг ступы. Наш хозяин испытал столько беспокойства и истратил такое количество денег ради того, чтобы устроить особый пир для баев и байских сынков Бухары.

Теперь у нас уже не оставалось надежды услышать прекрасный голос Хаджи-Абдулазиза в доме этого бая; люди, приглашенные звуками бубна, почти все уже разошлись и двор очистился от посторонних. Если бы мы задержались или замешкались при выходе, нам, вполне возможно, пришлось бы услышать: «Дорогие незваные гости, добро пожаловать в другой раз!». Поэтому мы ушли расстроенные из этого праздничного, но невеселого дома.

Естественно, что по дороге и в келье Кори-Усмона, куда мы все вернулись, наши разговоры вылились в сплошные жалобы на то, что мы лишились возможности послушать пение Хаджи-Абдулазиза. В то время мы были похожи на человека, испытывающего жажду, которого подвели к источнику, но не дали пить и увели от воды, или же на голодного, перед которым поставили вкусные яства, но есть не дали...

* *
*

Ашраф-джон, принимавший у себя в качестве гостя мужа своей сестры, в тот вечер не ходил с нами на праздник к баю. Но когда мы сидели в келье Кори-Усмона и горевали, он, проводив своего гостя, пришел туда. Увидев нас опечаленными, он сказал:

— Нечего печалиться и горевать. Это верно, что привезти Хаджи-Абдулазиза из Самарканда было трудно. Теперь же, когда он здесь, вы устройте угощение, я приведу его, тут-то мы повеселимся на славу. Пусть себе бай устраивает свои интимные домашние пиры!

— Как же мы с нашими средствами сможем устроить угощение, достойное Хаджи-Абдулазиза? — заметил один из нас.

— Для Хаджи-Абдулазиза вовсе не нужно никакой пышности. Если мы соберем и приготовим то, что ежедневно каждый из нас готовит для себя или ест со своими родителями, будет вполне достаточно, — сказал Ашраф-джон. — Я познакомился и подружился с ним в Самарканде. Если я скажу ему, что имеется несколько бедных учеников медресе, любящих искусство, среди которых есть поэты, и они мечтают с ним повидаться, он непременно придет.

— Чем же мы сможем ему заплатить и кто заплатит? — спросил я.

— В таких случаях ему ничего не нужно платить, — ответил Ашраф-джон. — Если же мы захотим ему заплатить, он все равно не возьмет и даже обидится.

Благодаря этому совету Ашраф-джона наши угасшие было надежды вновь ожили, увядшие от печали сердца вновь повеселели. Тут же на собрании каждый из нас обещал что-нибудь принести для угощения, договорились и о том, что именно следует приготовить. Вечеринку решили устроить в келье Кори-Усмона, которая была самой просторной в этом медресе. Назначить время предоставили самому Хаджи-Абдулазизу. Ашраф-джон пообещал в первый же вечер, как только артист не будет занят на свадьбе бая, взять с него слово, что он пожалует к нам.

* *
*

Наконец радостный день наступил. Ашраф-джон сообщил добрую весть, что в этот вечер он приведет с собой Хаджи. Товарищи, согласно обещаниям, приготовили все необходимое для угощения. Не было только Кори-Шарифа, изготовлявшего ножи; он обещал принести мясо, но все еще не шел. Однако он неоднократно подтвердил

свое обещание, говоря, что принесет мясо после вечернего намаза. Не принес обещанного сахара и байский сынок Гулом-джон, сам он тоже не явился. Когда одни из наших друзей пошел к нему домой и напомнил о данном обещании, тот сказал:

— Я сегодня вечером очень занят, сам прийти не могу, а потому думаю, что давать ничего не обязан.

Услышав об этом, товарищи очень рассердились. Однако я сказал:

— Нечего сердиться; если бы баи так не экономили, они не стали бы баями. У меня есть приготовленный сахар, я сейчас принесу.

— Благодаря одной только экономии нельзя стать баем, — сказал Кори-Усмон, особенно рассердившийся на Гулом-джона. — Скажите лучше, если бы они не экономили, да еще не воровали, то не становились бы баями, — поправил он меня.

Я вспомнил известный бейт Бедиля из поэмы «Ирфон»:

Кармана своего никто не наполнял,
Покуда в кошелек чужой не залезал,

— и, пойдя к себе в келью, принес сахар, который в тот день в виде подарка вручил мне Насриддин-махдум.

* *
*

Едва стало смеркаться, мы приступили к приготовлению плова. Надо было до прихода гостей обжарить мясо с луком, положить в котел морковь и залить кипятком рис, а после их прихода положить рис в котел и накрыть, чтобы он упрел. Поэтому я занялся резкой моркови, а Кори-Усмон стал пережаривать масло.

Масло уже закипело, однако о мясе ничего не было слышно, и мы стали опасаться, как бы масло не загорелось. Поэтому Кори-Усмон убавил огонь под котлом.

Мы подождали еще немного, но мясо так и не появлялось. Тогда мы решили пойти в дом торговца шашлыком, взять у него в долг

мясо, а на следующий день рассчитаться наличными деньгами или мясом.

Мы еще не вышли из кельи, как послышались чьи-то шаги и пришедший, не постучав по обычаям медресе в дверь, стремительно раскрыл ее и в сильном волнении вошел в келью. Это был Кори-Шариф, изготовлявший ножи; он обещал принести мясо, но явился с пустыми руками.

— Где мясо? — недовольным тоном спросил Кори-Усмон.

— Пусть оно провалится, я едва не попался, — ответил Кори-Шариф.

— Разве ты ходил куда-нибудь воровать? — удивился Кори-Усмон.

— Нет, воровать я не ходил, но и из моего собственного дома, не украв, нельзя вынести мяса. Отец и мать хотят сохранить до весны мясо барана, которого они сами выкормили, зарезали и мясо его развесили для провяливания. При таких обстоятельствах, конечно, они не дадут мне ни кусочка, чтобы я его куда-нибудь отнес и съел вместе с друзьями.

— Разве твой отец, подобно отцу Гулом-джона, хочет стать баем? — прервал его Кори-Усмон. — Что же было потом?

— Я стал дожидаться, пока стемнеет. Тогда я смог бы выйти из дома под предлогом, что иду в медресе, но прежде пойти в погреб, взять мясо и убежать, подобно кошке. Когда стемнело, я вышел из дома; стараясь не скрипнуть дверью, я вошел в погреб, снял с веревки мясо, но когда выходил, должно быть, от волнения нечаянно стукнул дверью. Мать услышала и закричала: «Кто там? Кто там?». Взяв светильник, она выскочила из дома на суфу. Я же, опасаясь, что меня обнаружат, побежал в проход, ведущий на улицу. В это время я лицом к лицу столкнулся с отцом, возвращавшимся домой. Отец, испуганный криком матери: «Кто там? Кто там?», — спросил меня: «Что случилось?». Я не успел ответить, как мать, услыхав голос отца, подошла к нам со светильником в руке. «Отчего-то стукнула дверь погреба, — сказала она. — Как бы туда не забрался какой-нибудь жулик!». Увидев меня, она спросила: «Ты сейчас был тут?». «Я был там», — ответил я, показывая на уборную. «Вот из-за

этого я постоянно говорю вам, чтобы вы с вечера запирали ворота», — с этими словами отец взял из рук матери светильник и двинулся вперед, а мы пошли следом за ним к дверям погреба. В самом деле, я так сильно хлопнул дверью, что она от удара снова наполовину отворилась. Мы вошли в погреб, в нем никого не было, а на земле лежал кусок мяса. «Очевидно, я забыла запереть погреб, кошка пробралась туда и стащила с веревки два куска, — сказала мать. — С одним куском она наверно убежала». Отец с матерью на этом успокоились, и я, тоже оправившись от волнения, ушел из дома.

— А какой толк с того, что ты сам пришел, а мяса не принес? — сердито заметил Кори-Усмон.

— Нет, я принес, — ответил наш приятель. «Похититель мяса» опустошил карманы своего верхнего халата, и из нагрудного кармана появились две кости с мясом, да еще кусок мякоти с бараньей ляжки...

Когда мы сложили все припасы в котел, пришли Кори-Камоль и Кори-Наджми. Хотя они были здесь завсегдатаями, но в этот вечер их специально пригласили ради Хаджи-Абдулазиза.

Спустя час пришел Ашраф-джон; он привел Хаджи-Абдулазиза с дутаром. В ту ночь до самого рассвета у нас, действительно, шел пир на славу. Но это был пир бедняков, так как нашу скатерть с угощением «украшал» лишь плов с толстыми покупными лепешками, посыпанными тмином, а из напитков мы смогли подать только зеленый и черный чай с сахаром; все наше пиршество освещала одна семилинейная лампа.

Когда Хаджи отдыхал, Кори-Камоль и Кори-Наджми время от времени исполняли газели, но бóльшую часть вечера пел сам Хаджи. Своей игрой на дутаре и исполнением трогательных газелей он мог бы вызвать зависть соловьев в цветнике роз.

В тот вечер Хаджи пел исключительно газели классических поэтов. В их числе он спел лирическую газель Бедиля с редифом на «ноз». Один бейт из этой газели я запомнил и здесь приведу его в память о том вечере:

У нее глаза пьянящие, брови черные, дразнящие,
О, как много в ней кокетства, боже, буря настоящая.

Он исполнил также несколько газелей Камоля Ходжанди, *одна из них была с редифом «натавон кард».* Три бейта из этой газели сохранились у меня в памяти, и я считаю уместным здесь их привести:

Если враг ножом ударит, друг жестокий упрекнет,
От тебя, твоей любви — отказаться невозможно.
Ты блистаешь добротой к нищим у твоих дверей,
Нынче милость прояви, — завтра будет невозможно.
Сердце бедного Камоля о тебе болит; от боли
Без свидания с тобой излечиться невозможно.

Это была моя первая встреча и первое знакомство с Хаджи-Абдулазизом.

«ДОМ СПЛЕТЕН»

Почтенные жители квартала Ляби-хаузи-Арбоб называли свое маленькое медресе «домом сплетен» и не позволяли своим сыновьям посещать его. Из байских сыновей квартала сюда изредка приходил только Гулом-джон, который хранил свои посещения в тайне от сурового отца и фанатичного дяди.

Сыновья других солидных граждан, которым родители запрещали посещать «дом сплетен», зимой в долгие скучные ночи собирались в самовар-хоне квартала. Эта самовар-хона не была чайной, посетители здесь не сидели. То было черное, грязное, закопченное помещение, и в обязанности его владельца входила продажа не чая, а кипятка. Из самовар-хоны можно было пройти в узкий темный проход, ведущий во двор владельца, из этого прохода попадали в такой же узкий и темный, крытый сверху переулок. Кроме того, с малолюдного берега канала в самовар-хону проходили через маленькую дверцу; покупатели подавали свои чайники через эту дверцу и забирали их наполненными кипятком.

Таким образом, самовар-хона представляла большие удобства для совершения всяких темных делишек. Ее владелец был опиеман, и его первейшим делом было приучить молодежь к употреблению опиума. Другим его делом было увлечь молодежь, собиравшуюся

в его лавке, игрой в карты и другие азартные игры. Проценты с банка он забирал себе.

Короче говоря, старейшины и приверженцы религии этого квартала запрещали своим сыновьям посещать «дом сплетен» и в то же время собственными руками, сами того не сознавая, толкали «свет своих очей» в грязные вертепы, где происходили картежные и другие азартные игры и где занимались курением опиума.

Прозвище, данное медресе Ляби-хаузи-Арбоб, до некоторой степени было оправданным. Здесь критиковали миршаба, казия, раиса, эмира, его придворных, а также вообще правителей города и деревни, подвергались осуждению низкие поступки баев, мулл и ишанов, приносивших вред народу.

В те времена в Бухаре миршабом был Абдурахим-бек; по словам бухарских старожилов, им еще не приходилось видеть миршабов хуже его; без сомнения, он был худшим из миршабов.

Чины эмирской администрации (казии, раисы, правители и другие) вообще не получали жалованья от казны и удовлетворяли свои жизненные потребности единственным путем, оставшимся от прежних времен, да еще делали подношения эмиру. Нечего и говорить, что все чиновники брали много взяток и подарков, чем вызывали население на скандалы и подрывали благосостояние тружеников. Вместе с баями и ростовщиками они грабили народ; под предлогом взимания налогов вынуждали крестьян и горожан продавать своих дочерей и сыновей. Помимо этого, у них были еще и прямые, освященные обычаем, источники дохода.

Однако у миршабов не было ни одного прямого источника дохода. Их первейшей обязанностью была поимка воров, но они входили в долю с ворами и грабили народ. Другой их обязанностью было запрещать азартные игры. Однако в своих караульнях они открыли игорные дома, называли их «пойтуг» и более половины выигрыша под видом процентов клали себе в карман, и т. д.

Что же касается Абдурахим-бека, занимавшего в Бухаре должность миршаба в течение более чем пятнадцати лет, то он каждый день придумывал все новые и новые способы грабить население. Так, например, он велел своим людям ночью вымазать нечистотами

ворота какого-нибудь почтенного горожанина. На следующий день он арестовывал хозяина дома и говорил ему:

— Если бы ты, твоя жена и дочь были честными людьми, твои ворота никогда бы не вымазали дерьмом. О тебе следует заявить его величеству, пусть он посадит тебя в тюрьму.

Тому, бедняге, приходилось порой продавать свой дом, чтобы откупиться от миршаба.

Мирзо-Абдулвохид Мунзим написал по этому поводу следующее четверостишие:

Господь, спаси нас от миршаба злого
И от дыхания его дурного;
Коль он не дрянь, так отчего ж тогда
Так много у ворот ..... такого.

Миршаб Абдурахим-бек был маленького роста и настолько тучен, что его шея, живот и ляжки достигали почти одинаковых размеров. Поэтому народ прозвал его «гуладинг» — чурбан; этим прозвищем его и награждали, когда ругали, не стесняясь ни его сподручных, ни шпионов.

Его сына звали Даврон-бек, этот был еще хуже своего отца — невероятно злой и жестокий. День и ночь он пьяный скакал верхом по городу с гурьбой своих прихлебателей, вооруженных дубинками. Если ему в руки попадался какой-нибудь бедняк, то под любым предлогом или без всякого предлога он приказывал своим людям избить этого несчастного дубинками. Сам же он, сидя на лошади, лупил их плеткой и осыпал грязными ругательствами. Затем избитого, говоря, что тот был пьян, Даврон-бек посылал в распоряжение своего отца. Того бедняка сажали в тюрьму, где пытками вымогали деньги. Если получить их не удавалось, его как «вора» сажали в тюрьму или сдавали в эмирские солдаты, что было еще хуже тюрьмы.

Этих насильников — отца и сына — Хайрат вывел в нижеследующем четверостишии:

Мой крик и стоны — дело рук сына твоего!
Повержен гибким телом я сына твоего!

Миршаб, ты запрещаешь нам грешным пить вино,
Не видя осовелых глаз сына своего!

В «доме сплетен» по поводу миршаба-чурбана однажды было сочинено сатирическое стихотворение, у которого, употребляя современное выражение, был коллективный автор: Хомид-ходжа Мехри, Мирзо-Иброхим Субхи и я. На следующий же вечер Хайрат отредактировал его. Вот это произведение:

Эй, чурбан! Ведь в седле ты сидишь, как свинья,
Диво: жадные волки в подчиненьи твоем,
Хоть свиньи-командира никто не видал,
Этой «чести» достойно поведенье твое!
Будь ты волк, будь свинья — все едино для нас,
С волчьим нравом пастух [1] — вот спасенье твое.
Скоро ль сыщешь воров? Атаман без стыда,
Есть у них на грабеж позволенье твое!
Где найти хоть один неразграбленный дом?!
Этот «век», как «Даврон»,[2] — порожденье твое.

Упомянутые два четверостишия и сатирическое стихотворение вышли из «дома сплетен» и широко распространились среди «любителей сплетен». Четверостишия много раз переписывались, а стихотворение распространялось изустно. Авторы его, а также завсегдатаи «дома сплетен», считали опасным держать у себя список этого стихотворения и распространять его в письменной форме, так как в нем упоминались «соратники эмира».

ПОДДАННЫЙ РОССИИ

В те годы среди молодежи появился один смелый юноша. Отец его в прошлом был из числа известных бухарских мулл, поэтому юношу все называли «Махдум».

---

[1] С волчьим нравом пастух — намек на эмира. *(Примеч. автора).*

[2] Этот Даврон — тот самый Даврон-бек, который в 1918 году в связи с колесовскими событиями был по приказу эмира Сайид-Алима послан в Кабадиан (ныне Микоянабад) и казнил известного поэта и просветителя Мирзо-Сахбо. Во время казни он нанес поэту первый удар мечом. (*Примеч. автора*).

Этот молодой человек дружил с бухарскими гуляками, часто навещал их. По выражению гуляк, он был «болтуном», а по словам бухарцев — «невоздержан на язык», потому что о любом человеке он смело говорил кому угодно все, что считал справедливым.

Этот юноша не был завсегдатаем «дома сплетен», он появлялся там время от времени; в каждый свой приход он рассказывал присутствовавшим какую-нибудь удивительную историю, а затем быстро уходил. Если повествование было кратким, он обычно даже не входил в келью; не снимая калош, усаживался на пороге, рассказывал свою историю, подымался и исчезал.

Оправдывая свою репутацию «болтуна» и «невоздержанного на язык», он бросал в лицо колкости даже самому миршабу. Чем больше росло число гнусных поступков миршаба, тем больше был невоздержан на язык Махдум.

Однажды вечером, особенно резко нагрубив миршабу, он пришел в «дом сплетен» и, усевшись на пороге кельи, заявил:

— Я стал подданным России!

Прежде чем рассказать, как Махдум стал русским подданным, я должен пояснить, какое значение имело русское подданство в глазах правителей Бухары.

Согласно договору, заключенному между правительством России и эмиром, бухарские власти не имели права арестовать русского подданного по обвинению в каком-либо проступке. Если они даже уличали его в крупном преступлении, то и в этом случае ничего не могли сделать, а должны были сообщить кушбеги. Тот, в свою очередь, ставил в известность о случившемся политического агента России, имевшего резиденцию в Кагане.

Если политический агент считал возможным лично наказать русского подданного (исходя из собственных соображений, а не из характера преступления), он так и делал, причем уведомлял об этом кушбеги. В противном случае он посылал кушбеги короткий ответ вроде следующего: «Ваше письмо мною получено и принято к сведению». Этим дело заканчивалось. Вот почему некоторые люди, будучи бухарцами, переходили в русское подданство, чтобы обезопасить себя от произвола эмирского правительства; но были и такие,

которые меняли подданство, чтобы иметь возможность спокойно и беспрепятственно заниматься всякими темными делами.

Мы, зная обо всем этом, не удивились переходу Махдума в русское подданство. В самом деле, подобного рода «болтун», позволяющий себе смело говорить правителям, в особенности миршабу, правду в лицо, только таким путем мог оставаться недосягаемым для эмирских властей.

Но когда мы услышали рассказ Махдума, то переход его в подданство России предстал в ином свете. По его словам, задумав усилить свои нападки на миршаба, его сына Даврона и близких им людей, он решил стать русским подданным с целью собственной безопасности. И вот, обеспечив себя столь сильной защитой, он во многих местах несколько раз прочел вышеприведенное сатирическое стихотворение, причем так, чтобы его слышали люди, близкие миршабу.

Крупные муллы и их дети, как и джу́йбарские мираконские ходжи, особо почитались эмиром и его приближенными, поэтому люди миршаба не решились помешать Махдуму или арестовать его. Наряду с другими, слышавшими эти стихи и смеявшимися от удовольствия, они также вынуждены были иронически улыбнуться. Однако тотчас же они донесли миршабу о содержании стихов, о тоне, которым они читались, и о том смехе, какой они вызвали у народа.

Выслушав все это, миршаб не приказал арестовать Махдума, однако сказал:

— Всякому делу свое время, свой час. Когда это время наступит, он получит достойное возмездие. Ибо уважение, оказываемое детям духовенства, тоже имеет свои границы.

Люди миршаба по этим его словам ясно по́няли: миршаб хочет схватить Махдума, но ищет удобного случая. Поэтому они тоже стали ждать, когда такой случай представится.

Как раз в эти дни наступила пора новогоднего гулянья, происходившего перед эмирским загородным парком Ширбадан, в деревне Ширбадан. Во время гулянья миршаб днем обычно сидел под аркой городских ворот Кавола, через которые проходили идущие на гулянье и возвращавшиеся с него.

У ворот при выходе из города с левой стороны была терраса, а в глубине ее — небольшая комнатка. Миршаб иногда сидел на террасе, а иногда в этой комнатке; люди его располагались поодаль по обеим сторонам улицы, подстерегая прохожих, подобно охотникам. Если они видели человека со слегка раскрасневшимся лицом и устанавливали, что этот человек не принадлежит к числу «уважаемых людей», они под предлогом того, что он пьян, хватали его и отсылали в полицейский участок. Если они видели двух громко разговаривавших и смеявшихся людей, также не принадлежавших к «почтенным гражданам», они их задерживали под предлогом того, что они дерутся и нарушают порядок. При виде разбитного мальчика, шедшего на гулянье без сильного покровителя, они и его тащили в свои сети, говоря: «Он идет на гулянье, чтобы там дурно вести себя, его нужно наставить на путь истинный». Случалось, что миршаб сидел на террасе у помещения при воротах, тогда «из уважения к нему» стражники заставляли всадников спешиваться, чтобы они, кланяясь, приветствовали миршаба и только потом, пройдя ворота, снова садились верхом.

В такой именно день Махдум со своим приятелем, наняв на базаре Алаф извозчика, собрались на гулянье и подъехали к воротам Кавола. Миршаб находился в комнате; следовательно, в тот момент не было никакой необходимости спешивать проезжающих, чтобы они воздавали ему знаки уважения. Однако люди миршаба, желая затеять скандал и тем создать удобные обстоятельства для ареста Махдума, преградили дорогу лошадям и заставили Махдума и его приятеля слезть с экипажа, чтобы они из уважения к миршабу прошли через ворота пешком.

Разразился скандал, и Махдум начал бесстрашно осыпать бранью миршаба и его людей. Услышав шум, на террасу вышел Даврон, который сидел с отцом в комнате. Вмешавшись в ссору, он сказал Махдуму:

— Хвастаясь своим покойным отцом, вы позволяете себе проявлять неуважение к правительственным чиновникам. Вы должны уважать власти, подобно другим подданным! А не то с вами придется поступить так же, как в подобных случаях поступают со всеми прочими.

— Бегиджон! — насмешливо сказал Махдум. — Вы еще слишком молоды, чтобы действовать подобным образом. Когда вы станете таким же «чурбаном», как ваш отец, тогда сможете так говорить и так поступать.

После этого Махдум толкнул извозчика в спину и приказал:

— Гони!

Даврон сделал знак своим людям, чтобы они дали ему дорогу.

Когда Махдум проехал, Даврон вернулся к отцу. Тот сказал ему:

— Я слышал все вонючие слова этого негодяя, слышал все, что он говорил, зачем же ты дал ему дорогу? Почему ты не приказал задержать его и отвести в участок? При таком мягкосердечии и простоте ты не получишь права стать чиновником его величества и таким образом добывать себе пропитание.

— Извозчик был русский подданный, — ответил Даврон. — Я побоялся, что если задержу Махдума, то извозчик отправится в агентство и заявит: «Миршаб и его люди препятствуют мне заниматься извозом, снимают на полпути пассажиров с моего экипажа и лишают меня заработка». Для нас это будет не очень хорошо. Что же касается Махдума, его можно будет схватить в другой раз. Он теперь из Бухары не скроется.

— Это верно, — заметил миршаб, немного остывая. — С подданными России следует обращаться осторожно. Однако нечего ждать другого удобного случая для поимки этого наглеца, не то мы дождемся от него еще более гнусных ругательств. Скажи людям, пусть войдут.

Даврон привел людей отца, сидевших в засаде на улице. Миршаб приказал:

— Вы вчетвером стойте по очереди на базаре Алаф. Как только этот негодяй, вернувшись с гулянья, сойдет с фаэтона на извозчичьей бирже, сразу же хватайте его и тащите в участок! Хватайте также всякого, кто будет с ним, потому что порядочный человек никогда не станет другом дурного. Его приятель, вероятно, такой же скандалист, как и он.

Отдав это распоряжение, миршаб посадил у ворот своего сына Даврона, а сам верхом отправился в полицейский участок.

* *
*

Когда Махдум со своим утренним приятелем, возвратившись с гулянья, сошел с экипажа на базаре Алаф, что с южной стороны примыкает к медресе Девон-беги вблизи площади Ляби-хаузи-Девонбеги, люди миршаба схватили его и потащили в участок.

Махдум так передавал этот эпизод:

— Я мог не подчиниться людям миршаба, но, чтобы хорошенько его наказать и опозорить, мы с товарищем спокойно, как достойные граждане, а вовсе не как арестованные, пошли впереди них в участок.

Когда Махдума и его приятеля посадили напротив миршаба, тот начал поносить обоих непристойной уличной бранью, которой научился еще в детстве и затем на посту миршаба.

Махдум сидел не шевелясь и терпеливо выслушал все эти отвратительные ругательства. Наконец миршаб отдал приказ:

— Возьмите этих скандалистов, бросьте их в чулан с седлами, наденьте им на шеи колодки, а на ноги — кандалы. Я написал его величеству донесение о них и, как только получу разрешение, отправлю их в тюрьму, пусть они там сгниют!

Тогда Махдум достал из-за пазухи две бумаги и показал их миршабу:

— Мы являемся подданными высокого русского правительства, вот наши паспорта. Ни вы, ни ваш эмир не имеете права арестовать нас. Зато ваши люди ответят перед русским судом за неуважение, какое они проявили, когда задержали нас, и вы также ответите перед русским судом за свои ругательства!

Услышав это, миршаб побледнел. Задрожав, как ивовый листок, он извиняющимся голосом, то и дело заикаясь, стал умолять:

— Дорогой Махдум! Да буду я жертвой ради вас, простите мою невежливость! Я накажу и посажу в тюрьму моих людей, которые проявили неуважение к вам. Ведь я — ученик вашего покойного отца, а по словам пророка и святого Алия ученик является рабом своего учителя. Я верный раб вашего отца, для вас же, любимого сына своего отца, я *раб, рожденный при доме, с кольцом в ухе.*

При последних словах миршаб притронулся пальцами к мочке уха, затем, повернувшись в профиль, показал Махдуму на ухо и продолжал:

— Дорогой Махдум, вы имеете право таким вот образом взять за ухо этого рожденного в вашем доме раба, отвести к себе домой и заставить его работать или же продать на базаре. Я легкомысленно поверил людям; в то же время я хотел наставить вас на путь истины. Однако из-за моего невежества мое доброе намерение обернулось злом. Прошу вас в память духа вашего отца простить меня, безграмотного невежду.

Едва миршаб замолчал, как заговорил Махдум:

— Ты врешь, бессовестный, бесчестный, бесстыжий трус! Ты ни в грош не ставишь и моего отца, и пророка, и Алия. Разве не после того, как увидел паспорт русского государства, ты вспомнил, что был учеником моего отца? Ты никого не признаешь, ты не только никого не уважаешь, но и никого не жалеешь. Сейчас ты, безбожник, из страха перед русским правительством говоришь эти лживые слова. Перед эмиром и русским правительством ты ведешь себя, как осел, а с народом ты, как свинья и волк...

Миршаб, почувствовав, что не может больше терпеть язвительных речей Махдума, вскочил с места, выбежал через другую дверь во внутренний двор; оттуда он со слугой выслал два шелковых гисарских халата, чтобы их надели на Махдума и его приятеля и выпроводили вон.

Однако Махдум бросил халаты на землю, плюнул на них, растер ногой и, ругая на чем свет стоит миршаба и его людей, вышел из участка.

Когда он кончил рассказ о своих приключениях, я спросил его:

— Когда вы стали русским подданным, ведь мы ничего об этом не знали. Достаньте-ка вашу бумагу, посмотрим, какой это паспорт в русском государстве.

— Поссорившись с миршабом, я ради собственной безопасности решил стать русским подданным. Однако, чтобы облегчить себе эту задачу, я не подавал заявление в канцелярию агента, а у одного бакалейщика купил два паспорта для себя и своего приятеля. —

С этими словами Махдум достал из-за пазухи две бумаги и показал нам.

Мы осмотрели эти бумаги, во всем похожие на обертки от мыла. В те времена дорогое душистое мыло, чтобы оно привлекало к себе внимание покупателей, завертывали на мыловаренных заводах в белую толстую бумагу с картинками. Завод мог быть удостоен правительством награды, тогда на его обертках об этом было напечатано четкими русскими буквами, а сверху стояло изображение государственного герба.

Миршаб, с трудом различавший арабские буквы и вовсе не знавший русской азбуки, поверил, что эти разрисованные бумаги и есть паспорта русского государства. Люди же его были совершенно неграмотны; они не знали не только русской азбуки, но даже арабской, употреблявшейся в то время в Бухаре.

«ВОРОВСТВО» ХАДЖИ-МАХДУМА [1]

Махдум был до некоторой степени неосмотрительным человеком, в силу своего характера и невоздержанности он смело и не раздумывая мог сказать что угодно и где угодно. Так, он всюду рассказывал историю своего столкновения с миршабом и очень смешил народ. Постепенно миршабу стало ясно, что Махдум мошеннически выдал себя за русского подданного; он понял, что дал себя провести самым глупым образом. Издавна вынашивая злобу против Махдума, миршаб прибавил к этому ругательства, услышанные от него при аресте, обман, на который так глупо поддался, — и злоба его превратилась в лютую ярость; он задумал жестоко отомстить.

Махдум знал об этом. Он понимал, что если попадется, то на этот раз уже не сможет вырваться из рук тирана. Поэтому по совету друзей он бежал из Бухары и несколько лет скитался в Аравии и Индии, тяжело бедствуя.

---

[1] Хотя это событие произошло на несколько лет позднее описываемого, следует все же ради цельности изложения рассказать о нем здесь, ибо оно связано с миршабом и его деятельностью. *(Примеч. автора).*

В это время умер кушбеги Джон Мирзо (по представлениям цивилизованных государств, этот сан соответствовал премьер-министру); вместо него кушбеги стал Остона-кул девон-беги. Странствия Махдума за границей длились долго, ссора между ним и миршабом почти забылась. Поэтому родственники Махдума написали ему, что в связи со смертью прежнего кушбеги и приходом к власти нового в Бухаре воцарилась «справедливость», теперь ни миршаб, ни его люди, ни другие правители не смеют угнетать народ, потому что новый кушбеги — человек справедливый и не допускает, чтобы правительственные чиновники причиняли народу зло.

Написав такое обстоятельное письмо, его авторы просили Махдума вернуться на родину, так как ему якобы ничто больше не угрожало.

Махдум, перенесший за границей тяжкие лишения, как только получил письмо, сразу же вернулся в Бухару и стал наносить визиты под именем «Хаджи-Махдума».

С возвращением Махдума в сердце миршаба ожила старая ненависть. Однако он не считал удобным теперь же напасть на Хаджи-Махдума: его старые друзья и вообще многие бухарцы любили последнего, зная его как «Махдума, говорящего правду в лицо». Крупные же муллы и представители бухарской верхушки уважали его, как сына духовного лица и в особенности как Хаджи-Махдума — человека, возвратившегося из паломничества. Поэтому его нелегко было затронуть без какой-либо причины, основательной в глазах старейшин города.

Махдум, сохраняя свое достоинство хаджи, не шатался по улицам, не посещал пирушек и мало общался с гуляками. Таким образом он прожил два или три месяца, как вдруг ему снова пришлось столкнуться с миршабом и его людьми и затеять с ними ссору.

Случилось так, что у одного из стариков, живших в том же квартале, что и Махдум, происходила свадьба и пир. Махдум, как сосед, явился на свадьбу, однако не принял участия в пире вместе с молодежью квартала, считая это зазорным для своего положения.

Ночью на пир собралась молодежь квартала, званые гости и, как обычно, гости, «приглашенные ударами бубна». В самый разгар

пиршества четверо из ночного дозора миршаба, обходившие город, вошли в дом, где происходила свадьба, и вынудили хозяина дать им денег на вино. Один из них в лавке армянина Лазаря, не имевшего права продавать вино бухарским подданным, купил на эти деньги водку, принес в дом, и все вместе ее распили.

Опьянев, стражники начали безобразничать, приставать к юношам квартала и гостям; они явно искали повода к ссоре.

Хозяин дома смекнул, что люди миршаба хотят затеять ссору, арестовать молодых ребят из квартала и гостей, отвести их в участок и сорвать с них побольше денег, тех же, с кого денег получить не удастся, отдать в эмирские солдаты или посадить в тюрьму.

Хозяин свадьбы — сапожник, человек бедный — не имел влиятельных заступников. Однако он знал, что его сосед Махдум, прежде чем отправиться в хадж, одержал верх над миршабом и опозорил его, а теперь, вернувшись из паломничества в качестве Хаджи-Махдума, завоевал еще более высокий авторитет. Тотчас побежал он к Махдуму и попросил у него помощи:

— Если вы не поможете, — сказал он, — свадьба расстроится, арестуют многих гостей. Не будет ничего удивительного, если они заберут и меня, старика, и моего сына, который женится. В таком случае, не говоря уже о позоре, я не смогу рассчитаться с миршабом, если даже продам усадьбу.

При этих словах в груди Махдума закипела отвага, он надел халат «Хаджи-Махдума» и вместе со стариком отправился к нему домой. Он увидел, что действительно дозорные, поставив в угол свои барабанчики, колотушки и палки с бронзовыми кольцами,[1] бесчинствовали вовсю.

Махдум подумал, что удалить их из дома мирными уговорами или криком не удастся. Поэтому он без всякого предупреждения схватил одну из палок с кольцами и изо всей силы принялся колотить их по головам.

---

[1] Эти палки — «себанд» — изготовлялись из горного клена, длина каждой достигала трех газов, толщина — как у ручки кетменя, в трех местах на палку были насажены бронзовые кольца. Они служили специальным оружием ночной стражи в Бухаре. *(Примеч. автора).*

Люди миршаба от сильной боли немного пришли в себя и решили, что если они попробуют сопротивляться и на удары отвечать ударами, то, весьма возможно, на них нападут все гости и жители квартала и убьют их. Поэтому они увидели свое спасение в бегстве; оставив барабанчики, колотушки, палки с кольцами, полуопустошенные бутылки водки, они с разбитыми головами и окровавленными лицами побежали вон со двора.

После их бегства Махдум велел парням из квартала взять барабанчики, колотушки, палки и бутылки с водкой; все это в качестве вещественных доказательств безобразий караульных поставить у него во дворе на террасе. Затем, проводив помогавших ему молодых людей, он пошел в дом и лег спать.

* *
*

Той же ночью люди миршаба через крышу дома Махдума втащили к нему во двор несколько узлов с краденными вещами и бросили возле террасы, где лежали также их принадлежности ночного дозора (барабанчики с колотушками и палки). Бутылки же с водкой — единственные улики их непристойного поведения — они утащили. На рассвете двор Махдума окружили люди миршаба — кроме тех, кто был ранен накануне ночью на свадьбе, — вместе с людьми кушбеги. Когда совсем рассвело, несколько человек спустились по крыше дома во двор; взяв «краденые вещи», а также разбудив Хаджи-Махдума, они арестовали его.

Они постарались представить дело так, будто в ту ночь Хаджи-Махдум вместе с шайкой воров нес наворованные где-то вещи и столкнулся с людьми миршаба. У тех, якобы обходивших улицы с целью защиты города от воров, при виде узлов в руках спутников Махдума зародилось подозрение, и они, «выполняя свой долг», хотели задержать и допросить встреченных. Однако Махдум, не повинуясь приказу, велел своей шайке избить и обезоружить людей миршаба.

Так как воров было много, а людей миршаба мало, то, хотя последние и сопротивлялись, пока не получили ранения, они все же вынуждены были спасаться бегством, побросав барабанчики, колотушки и палки. Тем не менее они продолжали выслеживать воров по улочкам и переулкам и в конце концов увидели, что те прячут краденое и принадлежности ночной стражи во дворе Хаджи-Махдума, сами же расходятся. Махдум, якобы, пошел к себе домой и лег спать. В таком виде стражники доложили все дело миршабу, он же приказал схватить Хаджи-Махдума и отобрать краденое.

Этот вымышленный рассказ, в сочинении которого несомненно принимал участие сам миршаб, его люди стали специально рассказывать народу перед самым домом Хаджи-Махдума. При этом они еще многое добавляли, чтобы как можно сильнее опозорить его.

Из числа людей миршаба некоторые, держа в руках узлы с «краденым» и принадлежности ночной стражи, шли по бокам Хаджи-Махдума, другие окружили «вора» со всех сторон, чтобы он не убежал; с нарочитой внушительностью вся процессия отправилась на Регистан. Взрослые и дети, стар и млад из квартала Хаджи-Махдума и соседних кварталов, хорошо знавшие обстоятельства ночного нападения, двинулись вслед за «шествием», чтобы, если представится случай, рассказать властям истинную суть дела и восстановить справедливость.

Хаджи-Махдума привели на Регистан и ввели в цитадель; однако никому из сопровождавших его жителей, кроме старика-сапожника, хозяина свадьбы и пира, не позволили туда войти. Вероятно, старику позволили это для того, чтобы каким-нибудь путем запутать его вместе с Хаджи-Махдумом, а затем хорошенько с ним расправиться, утолив жажду мести.

Люди миршаба и кушбеги, приведя Хаджи-Махдума в цитадель, ввели его в канцелярию кушбеги и посадили снаружи перед дверью комнаты, где тот находился. Миршаб же вошел внуть комнаты и сел напротив кушбеги.

Кушбеги у своих людей и у людей миршаба стал выяснять суть дела. Есаул-боши изложил все обстоятельства так, как это было рассказано выше. Миршаб кивками головы и словами: «Вот так! Вот

так!» — подтвердил все рассказанное, словно он лично наблюдал ночное происшествие.

Когда люди миршаба кончили говорить, кушбеги спросил Хаджи-Махдума:

— А вы что скажете?

Хаджи-Махдум, достав из кармана какую-то бумагу, ответил:

— Я бежал в Аравию от всех безобразий, в особенности от тех несправедливостей, которые творил миршаб и его люди над населением и, в частности, надо мной. После совершения хаджа я поселился в благородной Медине и зажил там спокойно. Однако в нынешнем году, в связи с кончиной кушбеги Джон Мирзо и вашим приходом на его место, я получил из Бухары вот это письмо.

С этими словами Хаджи-Махдум подал кушбеги письмо и затем продолжал:

— Прочитав в этом письме, что при вашем справедливом правлении в Бухаре полностью уничтожено пьянство, бесчинства и издевательства людей миршаба, я вернулся на родину. Однако вчера ночью произошло событие, опровергающее то, что написано в этом письме. — И Хаджи-Махдум подробно и правдиво рассказал все, что случилось в доме старика-сапожника.

Кушбеги внимательно прочел письмо, в котором с начала до конца расхваливались его собственные действия; не удивительно, что письмо понравилось ему. Авторы этого послания, желая склонить Хаджи-Махдума к возвращению домой, расписали, что новый кушбеги — справедливый правитель и поэтому в городе, словно в сказочном раю, «воцарились покой и порядок». В одном месте сообщалось: «...этот необыкновенный сановник полностью уничтожил все безобразия миршаба и его людей и настолько их принизил, что они не осмеливаются даже взглянуть на кого-нибудь недоброжелательно».

Письмо было написано с такой убедительностью, что даже сам кушбеги чуть было не поверил в реальность дел, которых не совершал. Он подумал: «Вполне возможно, что все эти справедливые деяния и принадлежат мне, но по своей занятости я забыл о них. Во всяком случае, нужно удержать эту легкую славу». Поэтому, взглянув на миршаба, он сказал:

— Как жаль, туксабо (таков был чин миршаба), что вы, вместо исполнения приказов его величества и моих указаний о том, чтобы прекратить в городе безобразия и в первую очередь удержать своих людей, — вместо этого выпустили их, словно стаю диких волков, на головы народа. Сейчас же этих... как их зовут?...

Кушбеги смолк. Некоторое время помолчав, он повторил последние слова и опять помолчал. Должно быть, он не мог вспомнить нужные ему имена. Тогда он обратился к Хаджи-Махдуму:

— Как зовут этих диких волков, которые минувшей ночью совершили все эти безобразия?

— Старший из них — Кали-Курбон, а трое других — его люди, — ответил Хаджи-Махдум.

— Кали-Курбон? — задумчиво переспросил кушбеги. Затем, обратившись к миршабу, продолжал:

— Вы, туксабо, сейчас же арестуйте Кали-Курбона с теми, кто был с ним вчера, и посадите в тюрьму. Пока не утихомирите своих людей, не показывайтесь мне на глаза!

Миршаб совсем растерялся и не знал, что сказать. Услышав приказ кушбеги, он подумал, что все это ему мерещится во сне: подобное поведение кушбеги было из ряда вон выходящим...

Кушбеги кратко повторил приказание:

— Вставайте и убирайтесь отсюда!

Кушбеги хотел проявить особую милость по отношению к Хаджи-Махдуму, который, как он полагал, благодаря только что прочитанному письму, распространил о нем добрую славу по всей Аравии и Индии. Он спросил:

— Вы, Хаджи-Махдум, должно быть, изучили в Аравии арабский язык?

— Немного изучил.

— Если так, то будьте любезны, пройдите ко мне. У нас сейчас гостит один араб, но мы не понимаем его языка. Вы возьмете на себя роль переводчика, и мы с ним немного побеседуем.

Хаджи-Махдум вошел к кушбеги. Тот посадил его возле себя и приказал подать угощение.

За угощением, до прихода араба, Хаджи-Махдум много еще рассказал кушбеги о бесчинствах, творимых миршабом и его людьми. Кушбеги прикинулся, будто впервые в жизни слышит об этом, и притворно выражал сожаление.

* *
*

Эта победа Хаджи-Махдума над миршабом была выдающимся событием. Если в первый раз он одержал подобную победу благодаря мошенничеству, то теперь он победил в открытой борьбе, высказав правду в глаза, благодаря чему торжество его было прочным. Хаджи-Махдум решил воспользоваться этим до конца и опозорить миршаба перед народом. С этой целью Махдум бродил по улицам, надеясь встретить миршаба где-нибудь в людном месте.

Такой случай не заставил себя долго ждать. Однажды, когда Хаджи-Махдум спускался со стороны Чорсу к куполу Ходжа-Мухаммади-Паррон, со стороны торгового ряда Сузангарон и Бозори корд показался миршаб; он ехал верхом на лошади, а за ним бежало не менее пятидесяти человек.

Впереди этого пешего отряда шагал есаул-боши миршаба, прижимая к груди и показывая народу его секиру, имевшую форму молодого пятидневного месяца; секира с ручкой, украшенной черненым серебром, блестела подобно месяцу.

Купол Ходжа-Мухаммади-Паррон был местом, где соединялись семь улиц; каждая из них заканчивалась аркой под ним. С севера и с юга к нему примыкали еще два купола поменьше. Под северным куполом был книжный базар, а под южным — шапочный. В начале каждой улицы, завершавшейся в точке пересечения, располагались базары одеял, веревок, несъедобных тыкв, ичигов и кожаных калош, а также ряд менял; всюду здесь шла бойкая торговля.

Из этого краткого описания читатель поймет, какое множество людей обращалось под куполом Ходжа-Мухаммади-Паррон, включая прохожих на семи улицах, продавцов и покупателей на многих базарах.

И вот посредине этого многолюдного купола Хаджи-Махдум стал дожидаться миршаба. Лишь только тот приблизился, Хаджи-Махдум победным, торжественным голосом прочел:

Эй, чурбан! Ведь в седле ты сидишь, как свинья,
Диво: жадные волки в подчиненьи твоем.
Хоть свиньи-командира никто не видал,
Этой чести достойно поведенье твое!

Прочитав эти два бейта, Хаджи-Махдум снова обратился к миршабу:

— Эй, чурбан! Что, ничего не выходит?! Если ты знаешь какой-нибудь другой способ, отдай приказание, я готов снова держать ответ и еще больше тебя опозорить!

Когда Хаджи-Махдум читал стихи, прохожие начали останавливаться, а базарный люд вокруг перекрестка стал сбегаться к центру и скапливаться под куполом, так что все проходы оказались забиты толпами людей.

Правда, люди из чтения стихов Хаджи-Махдума еще не понимали, в чем суть дела; однако его последнее обращение ясно показало всем, что мишенью этой острой стрелы был миршаб. Поняв это, все громко расхохотались. Однако некоторые зрители не смеялись, боясь последствий, и предостерегали своих смеющихся соседей:

— Замолчи, поберегись! Если руки этого тирана не достанут до Хаджи-Махдума, то всех, кто стоит здесь, он хорошенько запомнит и безжалостно расправится с такими, как мы с тобой...

После этого случая миршаб старался не встречаться с Хаджи-Махдумом. Всякий раз, объезжая верхом город, он посылал вперед человека, чтобы тот. хорошенько осмотрел все кругом; заметив Хаджи-Махдума, он должен был подать знак, чтобы миршаб смог повернуть свою лошадь вспять.

Если миршаб даже на больших людных улицах издали замечал Махдума, он поворачивал коня в какой-нибудь переулок. Если же подходящего переулка не оказывалось, он поворачивал лошадь и уезжал той же дорогой, которой приехал.

* *
*

Конечно, читатели хотят узнать, как поступил миршаб со своими людьми после приказа кушбеги и какое они понесли наказание.

С сожалением приходится сообщить, что миршаб ничего не сделал. В исполнение приказа кушбеги он велел Кали-Курбону и его сподвижникам некоторое время не попадаться людям на глаза, где-нибудь укрыться или уехать в деревню, пока спустя месяц кушбеги не забудет об этой истории.

На следующий же день миршаб под каким то предлогом посетил кушбеги, чтобы посмотреть, сердится на него кушбеги или уже остыл. Однако кушбеги ничего не спросил об исполнении его приказа, хотя сам же накануне заявил миршабу, отдав распоряжение об аресте Кали-Курбона и его помощников: «Пока не утихомирите своих людей, не показывайтесь мне на глаза!». За двадцать четыре часа он из-за своей занятости забыл и о приказе и о том, что сказал; возможно, он не счел нужным повторить приказ и сказанные в тот день слова, наносившие ущерб авторитету эмира.

Ощутительный результат победы Хаджи-Махдума над миршабом заключался в том, что, кроме случая под куполом Ходжа-Мухаммади-Паррон, миршаб до самой своей смерти не попадался ему на глаза и люди его никогда больше не бесчинствовали ни в квартале Хаджи-Махдума, ни в ближайших к нему. Однако миршаб и его люди по-прежнему продолжали безобразничать в других местах.

«ВНУК ФАЙЗИ-АВЛИЁ»

Еще в детстве некий Мулло-Амон приехал из деревни Розмоз, что в Вобкентском тюмене, учиться в Бухару; закончив курс учения, он остался жить в ней. Когда я с ним познакомился, ему было сорок пять лет. Несмотря на это, у него не было ни жены, ни детей, ни дома; он жил в медресе Турсун-джон, в наемной келье.

То был высокий, сильный, смуглый человек, черноглазый, с черными бровями и бородой, — он казался здоровым. Однако в некоторых

его поступках и словах, во всем его поведении люди усматривали ненормальность и потому называли его помешанным.

Его помешательство было точно таким же, как «помешательство» Яхьё-ходжи и Абдулмаджида Зуфунуна, о которых упоминалось в третьей части «Воспоминаний». Однако на самом деле это был сильный, умный, знающий и благородный человек.

Если в некоторых отношениях — например, в критике господствующей верхушки того времени — он имел много общего с Яхьё-ходжой и Зуфунуном, то в других он от них отличался. Например, Яхьё-ходжа где попало, в любое время, заочно или в глаза ругал представителей господствующей верхушки и разоблачал их недостойные действия. Напротив, Мулло-Амон был неразговорчивым человеком и не ругал всех, где попало. Если же речь заходила о гнусных поступках столпов того времени, он проявлял признаки настоящего бунтарства и говорил: «От ругани и проклятий никаких последствий не будет, надо заставить их каяться по-волчьи, — т. е. уничтожать».

Этими свойствами он сильно отличался от Абдулмаджида Зуфунуна, ибо, хотя Зуфунун выражал недовольство властями и ненавидел их, он свое недовольство выражал пассивно и был весьма осторожным человеком.

Из предметов, преподававшихся в медресе, Мулло-Амон больше всего занимался логикой и философией, о богословских же предметах — Коране, хадисах и фикхе — он говорил: «Это не наука, это может изучить любой, ибо все это написано в книгах. Наукой является только то, что заключает в себе работу для ума и открывает простор для мысли. В богословских же науках тебя с четырех сторон окружают высокие крепкие стены. Если захочешь выйти за пределы этих стен, невежды сразу же заявят, что ты неверный».

По поводу своего увлечения логикой и философией он говорил:

— В детстве я слышал много фантастических рассказов и легенд об Авиценне. В те времена я жил в Вобкенте, возле мазара Мирихурд и Мири-калон, и учился у тамошних мулл. Тогда-то я и решил, что, как только попаду учиться в бухарские медресе, непременно стану последователем Авиценны. Тогда я думал, что в Бухаре

имеются его последователи. Мой отец, не желавший отпускать меня далеко от себя и не дававший мне позволения ехать учиться в Бухару, скончался. Я стал свободен, приехал в Бухару, где путем расспросов надеялся отыскать последователей Авиценны. Мне указали на Мулло-Хомида Араба как на единственного знатока философии и медицины, которого можно считать последователем Авиценны; я стал его учеником. Он немного знал науку логики, но о философии и медицине, которые были моей главной целью, он ничего не мог сказать. Постепенно я понял, что мой домулло только потому считается врачом и философом, что сам хочет заслужить славу в этих областях; он не придает особого значения богословским наукам и религиозным обрядам, чтобы учащиеся медресе называли его «врач и философ».

— Ты знаешь, — продолжал он, — что в мире большинство людей гонится за славой. Игроки в азартные игры, участники перепелиных, петушиных боев, наконец владельцы беговых ослов — и те стремятся заслужить славу и известность в своем кругу. Даже улемы, пусть они вовсе не знают богословских наук, и те хотят прославиться как ученые в области богословия. Подобная слава среди массы неграмотных досталась им очень легко. Мой «святой учитель», как и упомянутые богословы, даже и не нюхал медицины и философии, тем не менее с легкостью сумел обрести славу врача и философа. Во всяком случае, если мы взглянем на все с точки зрения погони за славой, то мой домулло по сравнению с улемами нашел более выгодный путь. Ведь богословов так много, что если убить собаку, то она упадет на одного из них. В то же время в нынешней Бухаре нет больше никого, кто бы прославился в области медицины и философии, мой учитель — единственный, и это великая слава.

Мулло-Амон так заключил свой рассказ:

— Я потерял всякую надежду найти последователей Авиценны и знатоков философии, поэтому я бросился читать книги. Но, увы, я не нашел произведений Авиценны, ни книг, в которых подробно излагались бы его мысли. Поневоле я занялся чтением таких книг, в которых авторы, после слов «кола аш-Шайх-ур-Раис» («говорит

Авиценна»), приводили цитаты из высказываний этого философа с целью либо подкрепить свои слова, либо опровергнуть его (первое значительно чаще, чем второе). Это те самые книги, из которых в бухарских школах читают несколько первых строк, т. е. хутбу или предисловие. Я же пытался проникнуть в самую их сущность. В результате я не сделался ни ученым-богословом, ни врачом, ни философом, я стал лишь бездельником, о котором можно сказать, что он «обременяет оба мира».

Ахмада-Калла[1] называют большим ученым, разве вы с ним не общаетесь? — спросил я Мулло-Амона.

— Я познакомился с ним, ходил к нему и сейчас иногда захожу. Без сомнения, это один из крупнейших ученых нашего времени. Однако если я «беспокойный невежда», то он «ученый, потерявший кончик пряжи», — ответил Мулло-Амон и принялся объяснять сказанное:

— Он еще в детстве изучил множество наук. Затем он попал во дворец к эмиру, увидел царившие там грязь и подлость и впал в уныние. После того, как в составе эмирского посольства он посетил Россию, он решил упорядочить дела и в эмирате. Однако то были пустые мечты. Можно привести в порядок и очистить от навоза ослиные конюшни и коровьи хлевы, потому что их обитатели подчиняются людям. Но как привести в порядок стадо быков и ослов, считающих себя единовластными правителями, хозяевами жизни и смерти людей, как очистить их жилища?

Мулло-Амон продолжал:

— При дворе эмира Ахмад-Калла не мог провести ни одного полезного мероприятия, поэтому его уныние перешло в безнадежную грусть; он подал в отставку и уединился у себя дома. Но он не похож на других безумных отшельников, которые, уединившись, уходят из мира. Ахмад-Калла не избегает людей, и дом его всегда полон друзей. Он их сердечно принимает, весело и приветливо с ними

---

[1] В те годы Ахмада Дониша почти никто еще не называл этим именем; многие звали его «Ахмад-Калла», а некоторые — Ахмад-махдум. *(Примеч. автора).*

беседует. Однако наблюдательный человек сразу поймет, что сердце его, как распустившийся тюльпан, усеяно темными пятнами и все изранено от уколов жизни. Это его внутреннее состояние отчетливо видно всякому читателю или слушателю по его произведениям.

— В чем же смысл его произведений и читали ли вы их сами? — спросил я.

— Бóльшую часть своего времени он пишет, и содержание написанного им — это сетования на жизнь, на эмира и его сановников. Если он считает кого-либо способным понять его мысли, такому человеку он читает написанное вслух или дает прочесть самому. Мне он тоже изредка дает читать разрозненные листки...

Мулло-Амон замолчал, на минуту задумался и продолжал:

— Однако от его писаний нет никакой пользы. Конечно, если бы в нашем государстве, как в других странах, была типография и в ней печатались бы новые книги, в том числе и произведения Ахмад-махдума, да еще если бы они попадали к большому количеству читателей, то его книги открыли бы глаза многим угнетенным и ненавидящим гнет. Вот тогда все объединились бы и заставили этих кровожадных волков принести волчье покаяние. А так — что за польза, если будешь писать, писать и писать, а твои писания прочтут пятьдесять человек из числа твоих близких друзей и в конце концов эти листочки, завалившись куда-нибудь в угол, станут пищей мышей.

Снова помолчав минуту, Мулло-Амон сказал:

— Единственное, что позволяет мне надеяться на лучшее будущее, — это изменения, происходящие в мире. Я поверил в это, прочитав о них в философских произведениях. Вполне возможно, что наряду с переменами в окружающем мире произойдут изменения и у нас в стране, где пока что нет никакого порядка. Откроются типографии, и, возможно, некоторые произведения Ахмад-махдума сохранятся, будут напечатаны и станут доступны народу. Или же они будут храниться в библиотеках, и люди начнут читать их, чтобы извлекать пользу для себя. Однако и тогда полезность этих книг будет заключаться лишь в том, что люди, прочитав их, поймут: в прошедшие мрачные времена жили мудрые, образованные люди, они оставили по себе память, описав то, что видели...

* *
*

Я давно знал Мулло-Амона, так как мы были из одного тюменя, но поначалу не был с ним знаком. Однажды я случайно встретил его в саду за воротами Мазор, где продают цветы; мы познакомились. Мне показалось, что он сильно отличается от всех людей, встреченных мною прежде. После нашей встречи я часто беседовал с ним; мы обычно встречались в том же самом саду. Я узнал, что у него была привычка в погожие дни перед вечером гулять за городом. Он отправлялся в сад к воротам Мазор, пил чай, а затем, подышав свежим воздухом, возвращался в город. Всякий раз, когда мне хотелось побеседовать с ним, я шел туда же, где он прогуливался.

Постепенно мы близко познакомились; иногда по его желанию мы уходили подальше от города, гуляли среди крестьянских полей и возвращались в город.

Мне хотелось втянуть его в беседы, которые велись в медресе Ляби-хаузи-Арбоб. Чтобы заинтересовать его, я старался как можно красочнее передать ведшиеся там разговоры и представить их участников умными и благородными юношами.

Иногда он приходил к нам. Однако при этом он не говорил ни слова и ни в чем не принимал участия, сидя в углу, подобно бесчувственной статуе. Едва соскучившись, он вставал и уходил. Тем не менее он продолжал посещать наше медресе, появлялся там регулярно раз или два в неделю.

После того как Мулло-Амон неоднократно побывал в медресе и его обитатели познакомились с ним и подружились, один из них спросил:

— Вы время от времени участвуете в наших собраниях, и мы очень благодарны вам за это. Однако так как вы никогда не высказываетесь, мы стали сомневаться и подозревать: может быть, из-за того, что вы уже взрослый, а мы еще слишком молоды, вы не считаете удобным разговаривать с нами? Или, может быть, вам не нравится наша манера вести беседу и поэтому вы воздерживаетесь от участия в ней?

— Если бы я стеснялся вас, считая себя взрослым, а вас детьми, я не посещал бы ваших собраний. Наоборот, я считаю вас лучшей частью современной бухарской молодежи. И хотя ваши разговоры кажутся мне скучными, я не в силах оторвать мои ноги от этого места, как не в силах оторвать от вас мое сердце.

Последние слова Мулло-Амона всех изумили, и один из нас, выражая общее впечатление, спросил:

— Удивительно, как это так: сами мы приятны, а разговоры наши скучны?

— Вы мне нравитесь, ибо, как я только что сказал, вы — лучшие юноши современной Бухары. Я люблю сыновей моей родины, и лучших из них я люблю еще больше; вот почему я не в силах оторвать от них мое сердце. Однако что касается скучных разговоров, то, если хотите услышать критику, я готов это доказать.

Со всех сторон раздалось: «Послушаем, послушаем! Пожалуйста, говорите!».

Мулло-Амон заговорил:

— Одно из ваших излюбленных занятий — музыка. Вообще музыка — дело хорошее. Особенно искусно ваши друзья играют на тамбуре. Исполнение Хаджи-Абдурахмона и Рахмат-ходжи особенно сочно и живо, но мне не нравится их игра. Если струн касаются пальцы настоящего артиста, звуки до слез трогают слушателей. Я же не люблю слез. Это, наверно, от того, что в деревне я с детства воспитывался на звуках бубна. В нашей деревне Розмоз, в вобкентском тюмене, а также поблизости от нас в гиждуванском тюмене, имеются такие искусные бубнисты, что потрясают слушателей своей игрой, так что в их сердцах не остается места горестям и печалям. Не напрасно писал Ходжа Хафиз:

Я слышал: коль горе внезапно доймет,
Полезно бить в бубен, и горе пройдет.

Помолчав немного, Мулло-Амон продолжал:

— Сейчас, когда я так опечален нынешним состоянием страны, мне хочется под громкие звуки бубна выбежать на улицу, чтобы, подобно Рустаму, с громким ревом подойти к цитадели эмира и зары-

чать львиным рыком: «Эй, вы, кровожадные волки! Напрасно ждать от вас человеческих поступков, напрасно надеяться, что вы когда-нибудь станете людьми. Это заблуждение! Вас нужно уничтожить!». Другим вашим занятием является игра в бейты и пословицы, игра в «утверждение». Это очень интересные и в свое время даже полезные игры, так как они обогащают и очищают язык. Однако теперь, при нынешнем положении, они могут служить лишь вечерним времяпрепровождением для бездельников. Если пользу от этих игр определить словами крестьян, то надо сказать: «От безделья сажают тыквы».

Мулло-Амон посмотрел на каждого из нас в отдельности, привлекая к себе общее внимание. Видя, что все внимательно слушают, он продолжал:

— Подумайте сами: при нашем современном положении, когда в школах и медресе не преподается родной язык, когда в нашем государстве нет ни типографий, ни газеты, — какая польза вам и народу, если из вас пять-шесть или, самое большее, десять человек обогатят свой язык? Однако если бы в наших школах или медресе изучался родной язык и вы передавали бы своим ученикам то, чему сами научились, или если бы у нас была типография или газета и вы смогли бы печатать в газете важнейшие выводы из своих собеседований и преподносить это народу, — вот тогда ваши занятия следовало бы назвать полезными. А что теперь? Теперь это, как я говорил, «от безделья сажать тыквы» — всего-навсего.

Мулло-Амон, переведя дыхание, помолчал немного и проверил, какое впечатление произвели его слова на слушателей. Увидев, что все слушают его с напряженным вниманием, он снова заговорил:

— Самое важное из всего, чем вы обычно занимаетесь, наиболее тесно связанное с положением общества, — это жалобы на современные порядки и критика их. Но если вы вдумаетесь, то увидите, что и это занятие не приносит никакой пользы ни вам самим, ни народу. Ведь никому нет дела до слез вдов, у которых умерли мужья, до сыновей, брошенных в тюрьмы. И от ваших разговоров не пошатнется положение даже одного-единственного негодяя. Если осущест-

вить совет, даваемый Бедилем в его бейте, который как-то прочли здесь во время игры, а именно:

С жестокосердыми будь сам жестокосерд,
Железом раскаленное бери железо...,

то вы могли бы уничтожать кровожадных волков. Вот тогда вы принесли бы народу громадную пользу. Как жаль, что теперь вы бессильны сделать это!

По-видимому, эти слова понравились собравшимся — все они стали кивать головами, подтверждая то, что он сказал. Один из присутствовавших заметил:

— В точности, как Хаджи-Махдум поступил с миршабом, — и напомнил два описанных выше случая.

Мулло-Амон, услышав этот рассказ, иронически улыбнулся и отрицательно покачал головой:

— То, что сделал Хаджи-Махдум, по-вашему считается «геройством», на самом же деле это не стоит и ломаного гроша. Всякий поступок следует оценивать с точки зрения общественной пользы. Если и есть какой-нибудь результат от поступка Хаджи-Махдума, так это его личная победа над миршабом. Реальным следствием этого явилось разве лишь то, что люди миршаба в его квартале и поблизости больше не творят безобразий. Однако они бесчинствуют в других местах. Точно так же и сам миршаб, который от стыда боится встретиться с Хаджи-Махдумом и убегает от него на улицах, без всякого страха и стеснения, не стыдясь и не задумываясь, попрежнему творит свои безжалостные и кровожадные дела. Какая же польза народу от того, что совершил Хаджи-Махдум? Это как если бы волку сказали: «Не трогай меня и мою семью! А других, кого захочешь, можешь разорвать и пить их кровь! Это твое дело!».

Помолчав немного, Мулло-Амон продолжал:

— Если бы в результате победы Хаджи-Махдума кушбеги даже отстранил миршаба от должности, все равно для народа от этого не было бы никакой пользы, так как на место отстраненного пришел бы другой, еще более жестокий миршаб. Ведь у бухарского правительства такой обычай: если недовольство народа каким-нибудь

правителем одержит верх и его снимут с должности, то на его место посадят еще худшего, чтобы недовольные с благодарностью вспоминали смещенного «грабителя саванов» и, опасаясь прихода еще худшего, больше не жаловались на правителей и чиновников. Если предположить, что Хаджи-Махдум убил бы миршаба, — опять-таки это было бы бесполезно. Ведь известен случай, когда Мухаммад-Шариф девон-беги зашел в дом к одному человеку с целью конфискации имущества, а хозяин дома вместо ключей от сундука выхватил из кармана пистолет и застрелил Мухаммад-Шарифа на месте. Какой был результат? Убийцу схватили, связали ему веревкой ноги, дали от нее конец верховому, который привязал ее впереди себя к луке седла и таким образом проскакал по городским улицам. Это продолжалось, пока человек не только умер, но был растерзан в клочья и отделившиеся от тела куски его мяса, кости, кожа — все оказалось под ногами людей. Но и тогда от него не отступились, схватили его останки и бросили в болото за городом, где их сожрали собаки. Люди, видевшие это зверство, больше не осмеливались даже смотреть на этих кровожадных волков, а конфискация имущества продолжалась...

Мулло-Амон под впечатлением собственного рассказа грустно поник головой и помолчал. Затем, подняв голову, продолжал:

— Меня называют внуком Файзи-Авлиё.[1] Прозвище это мне дали потому, что я происхожу из деревни Розмоз и «святой» Файзи также из этой деревни. Пусть это был известный вор — я не смущаюсь таким сближением, так как у него была хорошая цель. Если бы при жизни он совершил какое-нибудь значительное дело, полезное для народа, я даже гордился бы тем, что меня связывают родством с ним. Но, увы, ничего полезного совершить он не мог: нельзя считать значительным то, что он отнимал собранный эмирский налог, грабил байские дома и делил все между бедняками. В результате эмир не только не облегчал, но даже увеличивал

[1] Файзи-Авлиё был известный вор из деревни Розмоз, он захватывал деньги, собранные эмиром в виде налога, грабил байские дома и раздавал награбленное беднякам. Пойманный эмиром Музаффаром, он был сброшен с минарета. *(Примеч. автора).*

налоги, стремясь вдесятеро возместить отнятые деньги; ограбленные баи не только не перестали заниматься ростовщичеством, но еще усилили нажим, чтобы открытым грабежом многократно пополнить то, что у них было украдено тайком. Что же касается тех пятидесяти бедняков, которым Файзи-Авлиё при разделе отдал часть награбленного, то они все равно не избавились от нужды. Практическим результатом этих дел «святого» Файзи явилось только то, что сам он попал в лапы палачей и его сбросили с минарета.

В заключение Мулло-Амон сказал:

— Вот почему я против домашних жалоб, которые правильнее было бы назвать «стонами слабых». Я против единоличных действий и подвигов в одиночку. Я говорю: если есть возможность, надо всем вместе напасть на этих кровожадных волков и заставить их покаяться по-волчьи (т. е. уничтожить их).

Должен признаться, в те времена я как следует не понимал смысла слов Мулло-Амона; цели его я уяснил только после Октябрьской революции. А в то время я понял лишь, что он твердо верил в лучшее будущее, считая, что для уничтожения кровожадных волков (жестоких правителей) необходимо нападение на них сообща (т. е. революция). Однако он не знал, да и не мог знать, в каких условиях, с чьей помощью и каким образом следовало осуществить это всеобщее нападение. Он даже считал, что если бы имелись типография и печать, если бы народ, читая произведения Ахмад-махдума и ему подобных, прозрел, то можно было бы предпринять «общее нападение» (т. е. революцию) и уничтожить «кровожадных волков». Но эти его идеи были пустыми мечтаниями.

Значение того, что говорил Мулло-Амон, я понял только после революции, поэтому и бесплодность его мечтаний стала мне очевидной тогда же.

ССОРА МУЛЛ С АРБАКЕШЕМ

В Бухарском эмирате возле мазара Бахауддина Накшбанда ежегодно в месяц савр — с 22 апреля по 22 мая — в течение четырех недель устраивались гулянья. Еженедельно по вторникам и средам —

одну ночь и два дня — в этих гуляньях принимали участие мужчины, а по четвергам и пятницам только женщины. Гулянья происходили в период цветения красных роз, поэтому их называли «Гулянье в сезон красного цветка».

Сельские жители приезжали верхом, а горожане в наемных экипажах или на арбах. В этот период сообщение на дороге между Бухарой и мазаром Бахауддина становилось весьма оживленным. Здесь занимались извозом люди двух родов: владельцы ослов и арбакеши.

Первые заключали между собой соглашение, по которому они разделялись на две группы: одна стояла у базара Мазор, другая на бирже у городских ворот того же названия. Каждая группа сдавала внаем ослов, которые принадлежали находившимся здесь владельцам или владельцам, входившим в другую группу; при этом деньги брались вперед. Вторая же группа, располагаясь в другом месте, принимала у пассажиров ослов и сдавала их внаем новым пассажирам, следовавшим в обратную сторону.

В пассажирские крытые арбы, которые в Бухаре называли «кокандскими», а в Фергане и Ташкенте — «арбы с зонтиками», при поездках на ближние расстояния сажали от десяти до двенадцати путников без багажа.

Арбакеши на таких арбах во время гулянья «Красного цветка» набирали пассажиров по определенной таксе, с учетом вместимости арбы и силы лошадей. Обычно в пути они останавливали лошадей и собирали с пассажиров деньги за проезд, чтобы по прибытии на место некоторые пассажиры, воспользовавшись толчеей на заезжем дворе, не ушли, ничего не заплатив.

Однажды в среду, в день гулянья «Красного цветка», пятеро мулл — не из самых крупных, однако из числа «известных в Бухаре» — пришли на заезжий двор, возвращаясь с гулянья. Не спросив о цене, они сели в арбу, верх которой был разрисован, а запряженная в нее лошадь откормлена и украшена помпонами и подвесками. Муллы заняли передние сидения.

Когда арбакеш хотел назначить плату, они заявили:

— Мы дадим столько же, сколько ты получаешь от других седоков.

— Передние места по цене отличаются от задних, — сказал арбакеш. — Вам придется уплатить в полтора раза больше, чем платят пассажиры на задних местах.

— Так ведь и мы — не то же, что другие. Мы отличаемся от простого люда, и не смей равнять нас с кем попало, — сказал один из мулл. — Ты же видишь, мы — муллы, читающие молитвы. Мы не пропускаем ни одного из пяти намазов и после каждого еще произносим благословение в честь правоверных мусульман. На мазар Бахауддина мы ездили не как другие, не на гулянье, а для того, чтобы совершить поклонение. Поэтому, если ты приравняешь нас к остальным, это будет оскорблением для нас.

Арбакеш волей-неволей согласился, хотя они сидели на передних местах, взять с них ту же плату, что с тех, кто сидел сзади; ради их духовного сана он простил им разницу в цене.

Взяв еще пятерых пассажиров и назначив каждому плату по одной теньге, арбакеш стал дожидаться других седоков. Но муллы просили его поскорее отправиться в путь.

— Лошадь у меня сильная, откормленная, и я всегда брал двенадцать пассажиров, — возразил он. — И если сейчас я выеду только с десятью пассажирами, то из-за вас потеряю не только разницу в цене между передними и задними местами, но и еще две теньги.

— Из-за двух тенег ты не должен доставлять нам мучение, — сказал один из мулл. — Если же ты возьмешь еще двух пассажиров, в арбе станет тесно и нам придется стоять на коленях. Пока доберемся до города, у нас так разболятся ноги, что и ходить не сможем. Если речь идет о двух теньгах, то лучше получи от нас благословение. Тогда господь из своей сокровенной казны эти две теньги превратит в четыре.

Арбакеш увидел, что с этими несговорчивыми и упрямыми «горячими ослами, требующими уколов острой палочкой»,[1] разговаривать бесполезно, лучше как можно скорее доставить этот

[1] «Горячий, требующий укола острой палочкой» — так говорят об осле, который при виде палки начинает скакать, но в пути, когда на него сядут верхом, не идет, сколько бы его ни кололи палочкой. Метафорически это характеризует вспыльчивого человека, который быстро раздражается и ничего не

«неуклюжий груз»[1] на место и освободиться от них. Поневоле он выехал на дорогу и погнал лошадь.

Действительно, лошадь этого арбакеша была упитанной, сильной, легкой в беге. Обогнав другие арбы, а также лошадей и ослов со всадниками, она избавила своих пассажиров от пыли, поднимаемой ногами животных и людей. Таким образом доехали до местечка Джуги-хона, находившегося вблизи Бухары.

Остановив лошадь, арбакеш, как обычно, стал собирать плату за проезд. Пятеро пассажиров — простых людей, сидевших позади, — при первом же требовании достали каждый по одной теньге и отдали арбакешу, согласно тому, как договорились с ним на бирже. Что же касается мулл, то они с ворчаньем порылись в карманах и с трудом наскребли несколько пулей. Пересчитав их, они собрали по тридцать два пуля — полтеньги с человека, а за всех вместе отдали две с половиной теньги.

Арбакеш, собирая деньги, сидел в седле верхом на лошади. Обернувшись к муллам, он увидел, что один из них, сидевший ближе к нему, держит две пригоршни медных пулей. Арбакеш протянул тюбетейку, чтобы тот высыпал в нее деньги.

Мулла положил деньги в тюбетейку арбакеша, тот, прикинув, сообразил, что денег в ней мало, и спросил:

— Сколько здесь денег, таксир?

— Сто шестьдесят медных пулей, что равняется двум с половиной превосходным серебряным теньгам чеканки благородной Бухары, — ответил мулла.

— Это за сколько же человек? — опять спросил арбакеш.

— За пятерых!

слушает; хоть сто раз ему говори, он не сделает того, что нужно. (Из народных бухарских выражений). *(Примеч. автора).*

[1] «Неуклюжий груз» — груз, брошенный на дороге; его в принудительном порядке нагружают на спину кому-нибудь из проходящих. Так говорят о человеке, который, привязавшись к другому, перекладывает на него свои обязанности, так что избавиться от него невозможно. (Из народных бухарских выражений). *(Примеч. автора).*

— Разве мы не договорились, что плата за пятерых составит пять тенег?

— «Слова без действия не имеют цены» — сказано в книгах, — ответил один из мулл арабским изречением.

— Я ваших слов не понимаю. Может, вы скажете по-таджикски?

Мулла по-таджикски повторил то же самое.

— Я совершенно не понимаю того, что вы говорите. Ведь я не ученик ваш, чтобы вы толковали со мною по-книжному. Поскорее платите сполна, не то уже поздно. Не отрывайте меня, господа, от извоза — промысла бедняков!

— Здесь все сполна! — вмешался другой мулла. — Если этого и недостаточно, все равно считай, что мы расплатились полностью. Ведь мы еще помолимся о тебе, о твоей жене и детях.

— Моей жене и детям лепешка нужнее, чем молитва. Не задерживайте меня, давайте то, что причитается!

— Э!... Что там болтает этот мужик! Безбожник, он сомневается в молитве?! — воскликнул третий мулла. Глядя на своих спутников и арбакеша, он продолжал:

— Хочешь — бери, не хочешь — не бери. У нас нет больше денег, чтобы заплатить тебе!

— Ладно, не надо! — ответил арбакеш, протягивая муллам тюбетейку с деньгами. — Если б я надеялся на деньги или молитвы таких «благородных», как вы, то давно бы уже подох с голода. Плату за провоз до этого места я дарю духу ваших родителей. Возьмите эти деньги, купите себе халвы в обертке и полакомьтесь на здоровье. Ну-ка, живо освобождайте арбу, мне надо заниматься своим делом!

— Что он мелет, этот безбожник? Так ты вторично усомнился в молитве и боге!? Ты посмел ругать нас!? В таком случае мы не сойдем с твоей арбы, а вместе с ней потащим тебя к господину верховному судье, «убежищу шариата», пусть он тебя хорошенько отругает! Ну-ка, погоняй лошадь!

Арбакеш до сих пор с трудом сдерживался, но услышав эту клевету, осознав меру бесстыдства мулл, он вспылил, выбросил медяки из тюбетейки на песчаную дорогу возле Джуги-хона и закричал муллам:

— Сейчас же слезайте прочь с моей арбы, не то я вышвырну вас, как вот эти гроши!

— Без всякого сомненья этот арбакеш неверный! — заявил один из мулл своим спутникам. — Надо немедленно, тут же связать его по рукам и ногам, хорошенько отколотить и потащить к верховному судье!

Обратившись к другим пяти седокам, он сказал:

— Ребята, помогите нам, а потом пройдите с нами в канцелярию верховного судьи. Вы будете свидетелями и перескажете «убежищу шариата» слова этого неверного, чтобы и вас тоже коснулась благодать!

Однако пассажиры не захотели принять участие в этом опасном скандале и оказаться свидетелями. Они потихоньку слезли с арбы сзади, а затем скрылись, пройдя в какой-то переулок в Джуги-хоне. Что же касается арбакеша, то он, засунув кнут за пояс, поднялся во весь рост на оглобли:

— Еще не родился человек, — закричал он, — что связал бы меня по рукам и ногам! — Пройдя по оглоблям в арбу, он одного за другим похватал мулл и выкинул их из арбы на дорогу. Затем, погнав лошадь с опустевшей арбой, помчался прямо к постоялому двору.

* *
*

Хаджи-Махдум, передававший нам разные удивительные истории, пришел в тот же день и рассказал об этом скандале. Он случайно услышал о нем от одного из пяти пассажиров, не пожелавших быть свидетелями. Тот рассказал, что арбакеш был с постоялого двора из Файзабада, поэтому Хаджи-Махдум, любопытный и падкий до происшествий, отправился туда, разыскал арбакеша и сам расспросил его обо всем. Арбакеш сказал, что среди мулл был один по имени Джумбул-махдум. Тогда Хаджи-Махдум пошел в келью Джумбула в медресе Девон-беги и от него услышал то же самое. Все три свидетельства полностью совпали, и таким образом в их достоверности не осталось никаких сомнений.

Хаджи-Махдум узнал у Джумбула, кто были остальные четыре его спутника. Прежде чем охарактеризовать каждого из них, следует указать, что читатели наших «Воспоминаний» уже познакомились с ними в третьей части книги: то были Джумбул-махдум, Абдурахмон Рафтор и Киём-махдум, о которых рассказано в главе «Человекоподобные микробы», четвертый — Кори-Саме', о нем упомянуто в связи с рассказом о Яхьё-ходже; пятым был Мухтор-ходжа, о котором рассказано в главе «Благородное происхождение с обеих сторон».

Происшествие с арбакешем завершилось при содействии мулл невиданной жестокостью и неслыханной трагедией. Поэтому мы считаем необходимым поближе познакомить читателя с каждым из них.

Джумбул-махдум был человек около тридцати пяти лет, высокий, тощий, словно стебель кукурузы. В то же время он своим длинным и узким красноватым лицом напоминал шакала; отсутствие на лице бровей и узенькие глазки без ресниц дополняли его сходство с этим животным. Единственным отличием его от шакала было, пожалуй, то, что лоб его и нос хранили на себе следы оспы и при взгляде на него вызывали отвращение. Жидкая его бороденка, свисавшая с узкого подбородка, напоминала шерсть дохлой рыжей кошки.

Основным занятием Джумбула было ростовщичество. Он давал деньги под проценты в долг бакалейщикам с мучного базара и владельцам келий в медресе Девон-беги, где он также имел келью.

Джумбул считался окончившим курс обучения в медресе, однако грамоту знал плохо. Слабо разбираясь в вопросах религии, он был ханжой и вел себя так, словно без него погибла бы мусульманская вера.

Абдурахмон Рафтор был низенького роста, полный; по выражению бухарцев, его можно было бы назвать «чурбаном». Во время ходьбы каждая часть тела у него двигалась сама по себе, словно у пьяного. Бухарцы за эту виляющую походку присоединили к его имени слово *«рафтор».*

Абдурахмон Рафтор считался одним из богатых благочестивых мулл Бухары. В медресе Кукельташ у него было несколько келий, а на базарах — изрядное количество лавок; как вакф, так и аренда

с лавок приносили ему значительный доход. Кроме того, он увеличивал свои капиталы ростовщичеством и спекуляцией кельями.

В то время он достиг сорокалетнего возраста; в одном из медресе он числился мударрисом. Однако вместо того, чтобы ходить туда и давать уроки, он предпочитал сидеть под входной аркой медресе Кукельташ и заниматься болтовней.

Разговоры его больше всего касались различных религиозных вопросов и предрассудков.

Киём-махдум когда-то был соучеником Абдурахмон-махдума. Ростом он казался чуть повыше последнего, но по фанатизму и распространению религиозных предрассудков ничем от него не отличался. Как и Абдурахмон Рафтор, он участвовал в глупых спорах мулл, причем громко кричал, ничего не понимая.

Киём-махдум, подобно Абдурахмон-махдуму, завладел несколькими кельями в медресе Кукельташ, и таким образом без одобрения и совета этих двух близких приятелей не совершались на купля-продажа келий в этом медресе, ни сдача вакфа в аренду, ни дележ вакуфных доходов.

Не будем останавливаться на описании Кори-Саме', ибо поведение, поступки и внешность этого ханжи были описаны во второй части «Воспоминаний» при рассказе о Яхьё-ходже.

Здесь же мы несколько подробнее остановимся на Мухтор-ходже. Как говорилось в третьей части «Воспоминаний», это был пожилой человек, один из старейших бухарских мударрисов, в медресе Кукельташ ему принадлежало несколько келий. Он был среднего роста, умеренно полный, смуглолицый, и хотя ему уже перевалило за шестьдесят, но в его большой бороде было мало седых волос, в связи с этим люди называли его «старик без седины».

Он казался скромным человеком, не проявлял фанатизма и приверженности к предрассудкам, скромность его доходила до того, что он с улыбкой молча слушал, как его собственный сын утверждал, что он благородней отца по происхождению, более образован и более достоин уважения. Все были удивлены, как мог такой мягкий человек поругаться с арбакешем.

Согласно известию, полученному Хаджи-Махдумом от Джумбул-махдума, муллы, поругавшиеся с арбакешем, решили привлечь его в канцелярию верховного судьи, доказать, что он неверный, и добиться приговора о предании его казни.

* *
*

Во всей этой истории нужно еще кое-что пояснить, дабы некоторым не могло показаться странным, как это в условиях эмирата, когда муллы были неограниченными правителями и опорой эмирского правительства, когда они находили оправданными по шариату любое насилие и несправедливость, любую мерзость, исходившую от эмира, какой-то арбакеш выступил против пятерых известных мулл и опозорил их?

Однако если читатели заглянут в третьей части «Воспоминаний» в главу «Организация ремесленников в эмирской Бухаре», то всякие сомнения у них исчезнут. Там говорилось, что цех конюхов и арбакешей, по сравнению с другими ремесленными цехами, был более демократичным. Кроме того, арбакеши из файзабадских постоялых дворов славились храбростью, нетерпимостью к насилию, свободолюбием и буйством нравов. Нижеследующая история очень ярко выявила все эти качества файзабадских арбакешей.

Бывший председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, покойный Юлдаш Ахунбабаев, до революции работал арбакешем у одного андижанского бая, занимавшегося торговлей между Ферганой и Кашгаром. Однажды между Ахунбабаевым и его хозяином произошла ссора из-за жалованья. Хозяин хотел, воспользовавшись своим авторитетом у царских чиновников, обвинить Ахунбабаева в каком-нибудь политическом преступлении и добиться его ссылки в Сибирь.

Узнав об этом, Ахунбабаев бежал в Бухару; здесь, укрывшись у файзабадских арбакешей, он несколько лет занимался извозом.

Это произошло в эпоху, когда, согласно договору между эмиром и царским правительством, эмирские власти обязаны были аресто-

вывать беглых русских подданных и передавать их политическому агенту России, а также сурово наказывать тех из своих подданных, кто укрывал таких беглецов.

Файзабадские арбакеши, не боясь грозившей им кары, несколько лет укрывали у себя Ахунбабаева и по-товарищески с ним обращались. (Эту историю мне рассказал сам Ахунбабаев в 1935 году, когда я гостил у него. Достоверность рассказанного подтвердил также девяностолетний файзабадец Ато-бай Саидов, один из старых гуляк тех мест, ныне проживающий в Сталинабаде. Он говорил, что еще с тех времен поддерживал знакомство с покойным Ахунбабаевым).

В ОЖИДАНИИ ТОГО, КАК АРБАКЕША ПОБЬЮТ КАМНЯМИ

На следующий день после ссоры мулл с арбакешем по городу распространился слух: «Муллы подготовили решение улемов, с тем чтобы обвинить арбакеша в отпадении от веры, каковое проявилось якобы в том, что он ругал улемов, пророка и бога, религию и шариат. Говорят, что его арестуют и казнят или подвергнут избиению камнями».

Некоторые передавали слух в сокращенном виде: «Один арбакеш допустил „сабби наби" — осквернение пророка; говорят, что муллы собираются побить его камнями». Смысл выражения «сабби наби» бухарцам был ясен: основное значение слова «сабб» — ругать кого-либо или бесчинствовать, однако в Бухаре слово это в сочетании с «наби» употреблялось в значении «хулить или осквернять бога и пророка».

На третий день разнесся слух, что верховный судья арестовал арбакеша, написал с согласия улемов донесение эмиру и теперь ожидает его указа. Лишь только будет получен эмирский указ, как арбакеша побьют камнями на Регистане, или на ослином базаре в Ходжа Нурабаде, или же за городом, на военном плацу.

При этом известии на Регистан ежедневно стали собираться ищущие развлечений бездельники, чтобы посмотреть, как преступника будут побивать камнями. Увидев, что на Регистане пока не за-

метно даже и признаков этого зрелища, они спешили на ослиный базар, а когда и там ничего не находили, то бежали за город на плац, где производились учения солдат. Не обнаружив и там ничего интересного, они разочарованно расходились по домам. Стремление народа поглазеть на редкостное зрелище имело свои причины. Бухарцам уже много раз доводилось видеть, как эмир наказывал семидесятью пятью палочными ударами, как режут людей, словно баранов. Но как побивают камнями, они еще никогда не видели и даже не слышали от своих отцов и дедов о такой казни. Вот почему они так много внимания уделяли предстоящему событию.

Народ также не знал, каким образом производится избиение камнями. Поэтому люди спрашивали друг у друга, как это делается. В местах скопления народа их вниманием овладел тот, кто слышал от мулл, как приводят в исполнение эту кару. Если же в толпе любопытных оказывался человек, слышавший обо всем непосредственно от кого-либо из пятерых мулл-истцов, имена которых перечислены в предыдущей главе, то, кроме этого человека, никого больше не слушали. Считали, что слова пяти мулл, добивавшихся избиения арбакеша камнями, более убедительны, чем уличные слухи, а слова того, кто сам непосредственно слышал об этом от них, вполне достоверны.

Муллы-истцы не заставляли томиться ожиданием тех, кто жаждал известий об избиении камнями. Особенно старался Джумбул-махдум. Он слонялся по улицам, присаживался у лавок знакомых и незнакомых купцов и всем рассказывал о случившемся. Объясняя смысл заключения улемов, он все дело приписывал себе одному, выдавая себя за инициатора выполнения шариатского приговора. По его словам (а они соответствовали действительности), не будь его в тот момент, когда арбакеш допустил богохульство и отпал от веры, дурной поступок остался бы неизвестным, подобно «воде, пролитой на сено». Ибо, говорил он, поскольку близится «конец света», не только простой народ, но даже муллы — и те потеряли честь и достоинство. Но он, в качестве поборника ислама, проявил вложенное в него богом рвение, поэтому четыре его спутника ходили за ним следом и подкрепляли его рассказ выдержками из Корана.

При этом Джумбул-махдум никогда не вспоминал о деньгах за проезд и о ссоре, возникшей из-за них между муллами и арбакешем. Событие это он представлял так: наняв этого арбакеша, они якобы возвращались с гулянья в город; в Джуги-хоне арбакеш поспорил с путниками по поводу платы за проезд, причем допустил богохульство. Когда муллы сделали ему наставление, арбакеш, обругав их заодно с другими, повторил и еще усугубил богохульство. Прочие пассажиры, повздорившие с арбакешем, после вмешательства мулл сошли с арбы и скрылись, видимо, испугавшись последствий дела или же мести кровожадного арбакеша. «Как жаль, — говорил Джумбул-махдум, — что муллы не знают, кто были эти седоки и откуда. Не то их тоже привлекли бы в качестве свидетелей; они могли бы придать этому делу еще более серьезный характер и добиться для арбакеша более сурового наказания». После того как «неизвестные» убежали, пятерым муллам пришлось самим выступать и в качестве истцов и в качестве свидетелей, поэтому провести дело согласно шариату оказалось затруднительно. «Но, хотя это дело доставило множество хлопот, все же мы испытываем удовлетворение, свершив его. Ибо человек, сколько бы мучений за веру ни испытал, в конце концов непременно удостоится божьей милости».

В дни, когда арбакеша привлекли к суду и собирались побить камнями, под входной аркой медресе Кукельташ было полно мулл — любителей происшествий. Это место под аркой в обычные времена служило средоточием всех сплетен верхушки мулл, почему завсегдатаев его поэт Мухаммад Сиддик Хайрат назвал «старейшинами племени курейшитов».[1] Теперь же (если читатели признают удачным это выражение, до сих пор не вошедшее ни в общеразговорный, ни в литературный язык) входная арка приняла вид военного лагеря приверженцев религии, ожидающих приказа.

---

[1] В первые годы ислама старейшины одного из арабских племен курейш, сидя в здании Каабы, решали судьбы людей, выносили приговоры о казнях, высылке или закапывании в землю живыми. В истории арабов их называют «старейшинами курейшитов» (санадид курайш). Чтобы выразить сходство с ними, Хайрат дал такое прозвище бухарским муллам, заседавшим на почетных местах под аркой медресе Кукельташ. *(Примеч. автора).*

В центре пространства под аркой, превратившегося в «военный лагерь», сидели Мухтор-ходжа и Кори-Саме', у которых от старости не было сил бродить по улицам. Место справа от них занимал Абдурахмон Рафтор, а слева — Киём-махдум. Эти двое были помоложе и имели достаточно сил, чтобы ходить по городу, однако считали ниже своего достоинства бродить по улицам в поисках славы, подобно Джумбул-махдуму. Они полагали, что для приобретения славы гораздо выгоднее сидеть здесь и отвечать на вопросы любопытных по делу арбакеша и по поводу того наказания, какое его ожидает.

В неглубоких нишах центральной арки, а также противолежащих стен сидели любопытные и пришедшие за фетвой; они расспрашивали расположившихся на почетных местах мулл о происшествии с арбакешем и о его судьбе.

Муллы, как и Джумбул-махдум на улицах, очень подробно излагали все детали этого события, рассказывали, какие усилия пришлось им приложить для ареста арбакеша, а также истолковывали смысл заключения, полученного от муфтия. При этом каждый из них старался представить себя главным зачинщиком дела. Поэтому каждый перебивал других, как бы желая поправить или уточнить сказанное, но так, чтобы выходило, что именно он является инициатором всего.

Что же касается дальнейшей судьбы арбакеша, то муллы все вместе, хором отвечали:

— Он будет побит камнями!

По их словам выходило, что наказание это производится следующим образом: преступника закапывают где-нибудь на площади по пояс в землю, затем собравшиеся мусульмане бросают в него камни, поражая голову, спину, грудь, лицо. Если преступник при этом умрет, то в него бросают камни до тех пор, пока он весь не окажется погребенным под ними. Во всяком случае, первые камни должны бросить муллы-истцы и первая божья милость падет на них. Но и все другие, кто станет бросать камни, также удостоятся благости.

Толпы зевак, собиравшиеся каждое утро на Регистане, на ослином базаре и военном плацу в надежде увидеть избиение камнями

преступника, услышав от «почтенных» людей о способе осуществления наказания (о чем те рассказывали со слов вышеупомянутых мулл), принялись обсуждать предстоящее событие.

— Если так, — говорил один из них, — то в день казни на площади, наверно, будет высыпано несколько арб камней, чтобы людям было чем кидать в преступника.

— Удивительно, как ты рассуждаешь! Где это видано, чтобы даром удостаивались божьей милости? Нужно, чтобы каждый, кто намерен удостоиться ее, сам собрал камни на улицах и, притащив их в подоле, метнул в преступника, тогда только человек удостоится милости, — заметил кто-то, слышавший о казни от самого Джумбул-махдума.

— А я камней не стану ни таскать, ни бросать в преступника, — вмешался в разговор еще один из толпы. — Кто знает, преступник этот арбакеш или нет? Зачем, домогаясь божьей милости, участвовать в неправедном убийстве человека?

— Как же такое убийство может считаться неправедным, если муллы признали преступника неверным, а муфтии дали фетву, считая, что он заслуживает казни путем избиения камнями.

— Есть муллы, которые считают его казнь неправедной.

— Назови мне таких мулл? — спросил тот из зевак, кто услышал о казни от самих мулл и верил, что избиение неверного камнями является богоугодным делом. — До сих пор я не видел ни одного муллу, который считал бы это дело неправедным.

— А что ты скажешь о Мулло-Амоне из Розмоза? Он из передовых мулл и уже давно закончил курс обучения. Вчера в ряду торговцев сливками на Новом базаре я сам слышал, как он говорил одному человеку, что дело это неправедное.

— Слова Мулло-Амона не имеют никакого веса, — ответил первый. — Прочие муллы называют его «внук Файзи-Авлиё», а тот был вором.

— «Козла вешают за свои ноги, барана за свои», так говорят опытные люди, — прервал спорщиков какой-то сведущий осторожный человек. — Если муллы совершают неправедное дело, они «сами ответят на том свете». Нам-то что? — сказал он, специально обращаясь к тому че-

ловеку, который говорил, что Мулло-Амон считает это дело неправедным, потом добавил:

— Если муллы эту беду, несмотря на неправедность, сумели взвалить на шею арбакеша, то они и тебя за эти твои слова ввергнут в какое-нибудь несчастье, сказав: «Оказывается, он за арбакеша». Кто считает это дело неправедным, пусть не бросает камень, но лучше помалкивать, ибо, как говорят старые люди, «под стеной мышь, а у мыши — уши». На свете много доносчиков, следует быть осторожным...

Таким образом, толпы зевак каждый день по утрам собирались на площадях, где предполагалось избиение камнями арбакеша, и проводили много времени в спорах и обсуждениях предстоящего «невиданного зрелища». Однако само «зрелище» все не начиналось и никто не мог сказать, когда же это произойдет.

Постепенно зеваки стали терять надежду, и на площадях день ото дня собиралось все меньше народа, толпы таяли. Теперь на разочарованных зевак не производили уже никакого впечатления слова «почтенных людей», слышавших от мулл-истцов, что «арбакеша через два дня непременно побьют камнями»; такие разговоры уже не могли вторично вселить в них надежду.

Среди любопытных еще продолжались пересуды об этом деле, однако говорилось не о том, когда и каким образом все это произойдет, а какова причина задержки.

Некоторые по этому поводу утверждали: «Его величество не захотел, выслушав двух-трех мулл, убивать человека, который не причинил никакого вреда ни ему, ни государству».

Другие высказывали предположение: «Видимо, Мулло-Амон говорил правду, муллы-истцы затеяли неправое дело. Верховный судья понял это; хотя он, опасаясь возмущения мулл, уже доложил об этом эмиру, однако следом он послал еще один секретный доклад, в котором указал на несправедливость обвинения и попросил, чтобы эмир не издавал об этом указа, ибо он не будет соответствовать истине».

Были и такие, которые объясняли все совершенно иначе — будто казнь не начиналась по следующей причине: «Эмир не может ничего сделать без разрешения русского правительства. Русский агент сказал:

„Не делайте этого и не убивайте человека по наговору мулл!". Поэтому эмир оставил без последствий донесение верховного судьи с заключением улемов по поводу избиения камнями арбакеша».

Бухарские «политики» подкрепляли это последнее объяснение следующими доводами. По их словам, когда на престол взошел эмир Абдулахад, русское правительство через туркестанского генерал-губернатора наказало своему политическому агенту в Кагане не допускать публичных казней. Если один человек убьет другого или проявит неуважение к правительству его величества, эмирские власти могут по своему усмотрению казнить такого преступника. Однако они должны следить, чтобы это согласовалось с шариатом. Иначе иностранцы смогут обвинить его величество в жестокости и даже запросить великое светлейшее императорское правительство, «как оно допускает подобную жестокость в государстве, находящемся в сфере его влияния?».

В подтверждение сказанного «политики» добавляли: «Поэтому во времена Абдулахада публичные казни происходят реже. Конечно, те, кто умирают в тюрьмах под пытками, от палок палачей или от рук местных правителей, не могут считаться „публично казненными", о них не спросят ни русские, ни иностранцы. А ведь при эмире Музаффаре не было дня, чтобы не казнили людей на Регистане, на веревочном базаре, не вешали на ослином базаре. В те времена в день казни убивали не одного-двух, а сразу до десятка; на ослином базаре казненные висели в ряд, словно бараньи туши в лавке мясника. В правление Музаффара даже в сезон гуляний в Ширбадане однажды на глазах у гуляющих было убито одновременно более ста человек».

В эти дни муллы-истцы очень волновались. Они на все лады объясняли тем, кто обращался к ним: «Без сомнения, арбакеша побьют камнями, не может быть, чтобы его величество отклонил просьбу мулл и заключение улемов». Но сами они уже начали недоумевать по поводу затяжки. Это раздирало их сердца, подобно тому как у верблюда нестерпимо чешется рана, в которой завелись черви. Они, однако, не могли, подобно верблюду с зудящей раной, тереться о всякую дверь или стену, чтобы умерить жжение. Ведь тогда всем стало бы ясно, что их «стрела, направленная в человека, попала в камень», это подорвало бы

их авторитет, что было бы непереносимо для их «величия и достоинства священнослужителей».

Единственной «стеной и дверью», о которую они могли тереться, чтобы успокоить свое зудящее оскорбленное сердце, был дом верховного судьи. В эти беспокойные дни они ежедневно по нескольку раз бегали туда и где-нибудь в уединенной комнате кричали верховному судье:

— Неужели его величество ради какого-то вероотступника-арбакеша, ставшего в конце концов неверным, отклонит просьбу таких искренно молящихся, как мы? Разве отклонение нашей просьбы не явится причиной подрыва нашего авторитета, что на самом деле подорвет авторитет всех улемов? Неужели его величество, будучи повелителем правоверных, отклонит заключение улемов, в то время как правители Самарканда и Ташкента, хотя они русские, все же, как слышно, не отвергают заключений духовенства? Разве отмена того, что постановили мусульманские улемы, не есть непризнание шариата? Мы не решаемся даже выговорить, каковы могут быть последствия этого. Скажите сами, что же дальше? Вы, сидящие в законном суде, должны открыто и прямо доложить об этом его величеству.

— Его величество еще не отклонил ваше требование, вам следует набраться терпения, — ответил им верховный судья. — Если бы он отклонил его, нам бы сообщили. Я думаю, в ближайшее время мы получим доброе известие.

Верховный судья знал, почему задержался ответ на его представление, но так как это было «государственной тайной», он не мог открыть причину задержки муллам, у которых «язык без костей». В конце концов, когда его прижали, он с помощью намеков пояснил происходящее:

— Его величество хорошенько обдумает и взвесит все обстоятельства дела и затем издаст указ, чтобы после этого не было уже никаких разговоров. Мудрость главы государства заключается именно в этом. Не будьте легкомысленны, потерпите еще несколько дней; в конце концов все уладится. Поступайте согласно поговорке: «Лучше позже, зато вернее».

Эти намеки немного успокоили мулл, и они больше не досаждали верховному судье. Действительно, «добрая весть», обещанная им, не

заставила себя долго ждать; прошло немного времени, и по городу распространился новый слух. Формально он исходил не от верховного судьи, однако распространял его человек, которого все называли «Джабраилом», так как обычно он заблаговременно распространял различные сообщения, исходившие от правительства. Этим сообщениям нельзя было верить полностью, однако приблизительно наполовину они все-таки оказывались достоверными.

СООБЩЕНИЕ «ДЖАБРАИЛА» ПО ПОВОДУ ДЕЛА АРБАКЕША

Прежде чем рассказать об этом, следует познакомить уважаемых читателей с личностью «Джабраила». Он был старшим сыном Мулло-Хомида Араба, получившего известность как «философ» и «врач», о чем уже говорилось выше, в одной из глав. Мулло-Амон из Розмоза стал его учеником, надеясь изучить философию и медицину.

Что касается старшего сына этого «философа», то ради достижения славы он не стремился овладеть философскими знаниями и не стал, подобно отцу, последователем улемов. Имя «единственного в своем роде» он решил заслужить совсем иным способом: он сделался полезным духовному и служилому сословиям своего времени настолько, что они стремились к беседам с ним, жаждали его видеть и всегда старались во что бы то ни стало найти его и привести к себе.

Израсходовав часть средств, получаемых отцом от преподавания и деятельности муфтия, он завязал связи с придворными, с приближенными кушбеги и верховного судьи и через них наперед узнавал обо всех назначениях духовных и гражданских лиц; затем, навещая духовенство и чиновников, он рассказывал им об этих назначениях. Это и явилось причиной того, что заинтересованные в его сообщениях прозвали его «Джабраил».

Конечно, не все новости, которые он добывал и передавал интересующимся, оказывались достоверными, — частью они подтверждались, частью нет. Поэтому некоторые «остряки» называли его «Джабраил-обманщик».

Ростом, сложением и всем своим внешним обликом он отличался от других людей — был длинный, черный и неприятный, как говорится, словно «зимняя ночь». Кроме того, он был кривым на один глаз. Его второй глаз, огромный, словно у араба, казалось, вобрал в себя силу первого, слепого; он был вытаращен, точно у зарезанной коровы, и поселял в сердцах людей страх и отвращение. Вследствие всего этого некоторые нашли уместным присоединить к его прозвищу еще одно — «одноглазый шайтан».

Говоря беспристрастно и по совести, следует признать, что два последних прозвища родились под влиянием враждебности и ненависти. Прозвищем же этого человека, признанным среди мулл и чиновников, было «Джабраил».

Этот «Джабраил» видел, что мысли и простых людей, и в особенности духовных лиц прикованы к делу арбакеша. И он решил, потратив часть своего времени и денег, добыть достоверные или, по крайней мере, близкие к истине сведения, распространить их по городу и таким путем привлечь к себе общее внимание.

Смысл известия, добытого «Джабраилом» после нескольких дней стараний из авторитетных источников и распространенного им по городу, коротко сводился к следующему: эмир, получив представление верховного судьи и заключение улемов по делу арбакеша, через кушбеги обратился к русскому агенту и попросил его совета.

Агент не счел возможным самостоятельно дать совет по столь важному вопросу и обратился к генерал-губернатору Туркестана.

По словам «Джабраила», генерал-губернатор на запрос агента ответил так: «Хотя по шариату и допускается побивание камнями преступника, согрешившего против веры, но в благородной Бухаре при дедах и прадедах *его высочества* не слышали о подобном наказании, как никто не слышал об этом и в других мусульманских странах Востока. Поэтому нужно быть очень осторожным, применяя это наказание. По тем же причинам нельзя удовлетворяться лишь требованием мулл-истцов и заключением улемов; необходимо устроить суд, как это делается в других цивилизованных странах. Для организации суда со стороны правительства его высочества должен быть назначен прокурор; один из тех, кто принимал участие в этом проис-

шествии, пусть будет истцом, а другие — свидетелями; со стороны же обвиняемого должен выступать адвокат, который будет защищать его права; председательствование на этом суде пусть возьмет на себя его высокоблагородие, опора шариата — верховный судья; он же в надлежащее время представит суду заключение улемов и предписания шариата. В таком суде, обладающем как юридической, так и религиозной компетенцией, вина преступника будет полностью доказана. Тогда он подвергнется наказанию — избиению камнями, и у нас на руках окажется основание, чтобы заткнуть рот корреспондентам газет и всяким болтунам, которые, когда кара будет приведена в исполнение, попытаются клеветать на его высочество эмира и на правительство его императорского величества».

Когда это известие, — конечно, изложенное не так, а в запутанном виде, — было распространено «Джабраилом» по городу, улицы снова закипели, площади, где предполагалась казнь, наполнились зеваками и любителями происшествий. Опять Джумбул-махдум забегал по городу, «старейшины племени курейшитов», собираясь под входной аркой медресе Кукельташ, занялись привычным словоблудием.

Мулло-Амон из Розмоза, услышав новые сведения о деле арбакеша, пришел в ярость. Гнев свой он пропитал ядовитой иронией и с горькой усмешкой говорил: «Туркестанский генерал-губернатор исполняет обязанности господа бога Бухары, русский политический агент — пророк его, а наш „Джабраил“, которому известно о переговорах между ними, может теперь называться „Правдивый Джабраил“, а не „Джабраил-обманщик“ и не „одноглазый шайтан“. Однако мне не очень-то по душе дела „господа бога Бухары“; ведь бог мусульман и вообще всех верующих известен как милосерднейший из милосердных, а этот самозванный „бог“ оказался жесточайшим из жестоких. Подвизаясь в качестве „распространителя цивилизации среди дикарей“, каким он старается показать себя во всем мире, он мог бы не допустить зверства мулл и бухарского правительства, — но вместо этого он нашел способ представить эту жестокость как „законную“ и „не противоречащую цивилизации“».

* *
*

Спустя два-три дня после того, как «Джабраил» разнес по городу новость насчет дела арбакеша, она нашла подтверждение в официальных действиях верховного судьи. Вечером он пригласил к себе муллистцов и назначил Джумбул-махдума «государственным обвинителем», этот термин в странах мусульманского Востока, связанных с Европой, употребляют в значении «прокурор». Мухтор-ходжа был назначен истцом; ему следовало подать в суд «жалобу» и указать, что «арбакеш, произнеся такие-то и такие-то еретические слова, отпал от веры». Кори-Саме', Абдурахмон Рафтор и Киём-махдум были назначены свидетелями; им, как «незаинтересованным лицам, не имеющим никаких связей ни с арбакешем, ни с Мухтор-ходжой», предстояло «дать беспристрастные показания, что претензии Мухтор-ходжи основательны и справедливы».

Теперь следовало еще со стороны арбакеша назначить адвоката, чтобы он защищал «права обвиняемого». Муллы не захотели сидеть с арбакешем на одном судебном заседании. Они говорили: «Этот арбакеш — вероотступник, он всех всегда и всюду поносил самыми грязными ругательствами. Теперь же, когда он не надеется остаться в живых, он во время разбирательства дела и на суде, начиная от нас и кончая „опорой шариата" — верховным судьей, эмиром и везирами, будет обливать самой непристойной бранью. В таком случае все мы будем опозорены в глазах людей, которые, конечно, придут на открытое заседание суда. Лучше, если обвиняемый не будет присутствовать на судебном процессе и приговор по его делу вынесут заочно».

Верховный судья с помощью какой-нибудь уловки, согласной с шариатом и законом, решил осуществить это предложение мулл. «Если так, — сказал он, — то мы заявим, что он тяжело болен. Тогда человек, которого назначат его адвокатом, будет его личным уполномоченным на следствии, а также законным защитником его прав на суде».

Мысль эта понравилась муллам, и «авторитетным» адвокатом арбакеша решено было назначить самого подлого, самого жестокого

человека и в то же время самого неутомимого говоруна из числа стражников миршаба — Кали-Курбона, с которым наши читатели частично уже познакомились в предыдущих главах.

На следующий день помощник верховного судьи отвел Кали-Курбона в тюрьму под конюшней при цитадели, где сидел арестованный арбакеш.

Помощник верховного судьи объяснил арбакешу, что он должен взять Кали-Курбона в качестве защитника: «Если ты явишься сам, то ученики мулл могут поднять скандал, — сказал он, — и для тебя это может кончиться плохо. Будет лучше, если ты назначишь своим адвокатом этого красноречивого человека, хорошо знакомого с шариатом».

Чтобы еще больше расположить арбакеша в пользу его адвоката, помощник верховного судьи присовокупил: «Без сомнения, этот человек защитит тебя от клеветы мулл, но когда освободишься, ты должен будешь хорошенько отблагодарить за эту услугу и меня, и его».

У арбакеша вначале зародилось подозрение, однако, услышав заключительные слова, он подумал: «Конечно, они в погоне за большими деньгами захотят освободить меня», — и он с надеждой в сердце назначил этого дьявола своим адвокатом. При этом он подробно рассказал ему о ссоре по поводу платы за проезд, чтобы «адвокат», изложив все это на судебном процессе, доказал лживость притязаний мулл.

«Адвокат», стремясь привлечь к себе арбакеша, попросил его повторить некоторые детали ссоры, которые остались ему непонятны, чтобы «во время процесса он смог открыть всю правду».

Помощник верховного судьи написал доверенность по форме, принятой в канцеляриях судебного ведомства. В таких доверенностях подпись доверителя не была обязательной. Однако к копии этой доверенности, которая шла в русское консульство, хотя достаточно было печати верховного судьи, арбакеш приложил свой большой палец, предварительно окунув его в чернила. Это свидетельствовало, что документ написан самим арбакешем.

Таким образом, был определен состав участников судебного процесса, и в городе об этом сразу же стало известно. Горожане не при-

нимали всерьез ни одного из членов суда, однако над двумя из них они особенно смеялись — во-первых, над Кали-Курбоном, адвокатом арбакеша: «Волк сделался защитником овцы», — говорили в народе; во-вторых, смеялись над обвинителем и «защитником прав бога и его пророка» — ростовщиком Джумбул-махдумом.

Один из самых передовых и остроумных бухарцев, Кори-Усмон, живший в квартале Ляби-хаузи-Арбоб, услышав о назначении Джумбул-махдума, выразил общее мнение в следующих словах: «Если защитником прав бога и пророка является Джумбул-махдум, то придется отказаться и от бога, и от пророка. Чего следует ждать от такого бога и такого пророка, которые сами не могут защитить своих прав, а препоручают это людям, подобным подлецу Джумбул-махдуму?».

ПРИГОВОР «СУДА» И ПОБИВАНИЕ КАМНЯМИ АРБАКЕША

Удивительным был весь ход «суда, опирающегося на шариат и закон», на силу религии и права! Согласно обычаю, верховный судья сидел у задней двери своей мехмон-хоны. Снаружи, как при повседневных тяжбах, разрешавшихся в духовном суде, были расстелены циновки; разница заключалась только в том, что обычно расстилалась маленькая циновка, а на этот раз — широкая и длинная. На ней уселись Джумбул-махдум, Мухтор-ходжа, Кори-Саме', Абдурахмон Рафтор и Киём-махдум; Кали-Курбон, «адвокат» арбакеша, сел в стороне.

Прислужник верховного судьи по заведенному порядку, взяв у Мухтор-ходжи исковое заявление, передал его верховному судье. Тот, пробежав глазами бумагу, остановился на заключительной части, где Мухтор-ходжа обвиняет арбакеша «в том, что тот отпал от веры, так как поносил бога и пророка». Затем, глядя на Мухтор-ходжу, судья спросил:

— У вас есть свидетели?

— Да, свидетели есть! — ответил он и показал на сидевших слева Кори-Саме', Абдурахмона Рафтора и Киём-махдума.

Верховный судья приказал им:

— Дайте ваши показания!

Каждый из них заявил:

— Я свидетельствую во имя бога, а не лицемерно, что арбакеш, произнеся такие-то и такие-то ругательства, стал неверным.

Затем верховный судья спросил Кали-Курбона, доверенного арбакеша:

— Ну, а ты что скажешь?

— Я подтверждаю вину моего подзащитного, — начал Кали-Курбон, произнося одно за другим грязные ругательства. Ничего подобного не было в заявлении, да и свидетели не приписывали произнесения таких слов арбакешу; однако защитник представил дело так, будто арбакеш этими словами поносил бога и пророка и сам же рассказал ему об этом.

В то же время он ни словом не обмолвился о ссоре мулл с арбакешем по поводу платы за проезд.

Тогда верховный судья, взяв заключение улемов, прочел вслух его содержание «представителю подсудимого», истцам, свидетелям и всем зрителям. По его словам, улемы на основании доводов, согласующихся с шариатом, сочли необходимым подвергнуть арбакеша казни путем избиения камнями. Затем верховный судья обратился к Джумбул-махдуму:

— Согласны ли вы, являющийся главным государственным обвинителем, с этим решением по шариату, указанным в заключении мусульманских законоведов?

— Я не согласен с этим шариатским решением... — заговорил Джумбул-махдум.

Услышав эти слова Джумбул-махдума, верховный судья улыбнулся, делая вид, что не понимает; свидетели, переглянувшись с истцом, усмехнулись, закрыв нижней губой верхнюю, и, — должно быть, от стыда, — уставились глазами в землю. Однако зрители, стоявшие возле участников судебного процесса, вполголоса переговаривались друг с другом, так что, прислушавшись, можно было разобрать:

— Сказав: «Я не согласен с шариатским решением», — он сам сделался неверным, потому что отклонил решение, вынесенное согласно шариату.

Под это бормотание Джумбул продолжал говорить. Повторив непристойные ругательства, произнесенные Кали-Курбоном, и добавив к ним еще немало других, подхваченных на улице, он все их приписал арбакешу:

— Арбакеша следует не только побить камнями, но и «опозорить».[1]

На этом расследование дела и суд были окончены. Следуя указанию политического агента России, во время следствия и судебного разбирательства надо было записать показания каждого лица и заставить его подписаться под ними; однако верховный судья не счел нужным проделать это, и все, что там было говорено, разлетелось по ветру.

По словам служащих верховного судьи, он не выполнил этого указания, так как оно противоречило существовавшим обычаям; в противном случае народ сказал бы: «Верховный судья превратил священный духовный суд в русский суд».

Однако после окончания суда верховный судья вызвал к себе писца и сам на память продиктовал ему все, что говорилось на суде. Затем он вызвал участников судебного разбирательства и заставил каждого из них подписаться под документом, написанным якобы от имени данного лица.

И все-таки, составляя показания Кали-Курбона, верховный судья оказался в затруднительном положении, он не знал, как записывать произнесенные им ругательства. Он решил посоветоваться со своим писцом и сказал ему:

— Я ничего не понял ни из слов этого гнусного плешивца (Кали-Курбона), ни из других подобных выражений. Однако для обвинения арбакеша его слова очень важны. Этот безбожник наговорил таких отборных ругательств со слов арбакеша, что ничего подобного я не слышал даже во сне. Как тут быть?

Писец, не дав ответа, сказал только «слушаю», взял в руки калам и приготовился записывать.

[1] Опозорить (ташхир) — по шариатской терминологии означает: человека, совершившего преступление против религии, провести по городу, всенародно объявляя о его преступлении и о назначенном ему наказании. *(Примеч. автора).*

— А сами вы тоже не знаете этих выражений, чтобы записать их в показание Кали-Курбона, якобы со слов арбакеша? — снова спросил писца верховный судья.

— Я-то не знаю их, — ответил писец, — зато хорошо знает наш новый главный конюший.

— Какой конюший? Тот самый, которого зовут Хикмат-Козел?

— Да, этот самый Хикмат-Козел, — подтвердил секретарь. — Когда Мулло-Мирзо не смог справиться с конюхами, которые все отъявленные безобразники, он был вынужден привести этого Хикмата-Козла и назначить его главным конюшим. Это известный хулиган и картежник; он знает, каким языком нужно разговаривать с конюхами. А что касается уличной брани, то он ни на волос не уступит Кали-Курбону.

— Хорошо. Если так, приведите его!

Писец привел Хикмата-Козла. Тот начал произносить отборнейшие уличные ругательства. Писец стал записывать их, в качестве произнесенных арбакешем, в показания Кали-Курбона.

Хикмат-Козел отыскивал столь отвратительные уличные ругательства, что верховный судья не мог удержаться от смеха. Наконец, одобрительно стукнув его по плечу, судья сказал:

— Ну, довольно, Хикмат-Козел! Если подсчитать по количеству, так ты нашел вдвое больше ругательств, чем Кали-Курбон, а если по занимательности, то в десять раз. Молодец! [1]

Хикмат-Козел, как и Кали-Курбон, был неграмотен, поэтому вместо подписи он приложил под своими показаниями, написанными якобы со слов Кали-Курбона, большой палец, предварительно обмакнув его в чернила.

---

[1] После этого случая Хикмат-Козел сделался приближенным верховного судьи Бадриддина, и тот очень скоро добился для него чина у эмира. Постепенно Хикмат-Козел приблизился и к эмиру; в конце царствования эмира Сайид-Алима он стал миршабом в Бухаре. В дни Бухарской революции его убил какой-то крестьянин у ворот Шайх-Джалол. (Хикмат-Козел как реальное историческое лицо выведен в романе «Дохунда», вместе с Кали-Курбоном). *(Примеч. автора).*

* *
*

После суда, когда слухи о нем распространились повсюду, в городе началось сильное волнение: теперь не только бездельники, ищущие развлечений, но почти все, кто только мог передвигаться, каждое утро устремлялись на Регистан в надежде увидеть, как будут побивать камнями арбакеша. Не найдя никаких приготовлений к казни, все бежали на ослиный базар, оттуда на военный плац. Таким образом, люди, забросив все дела, каждый день до десяти-одиннадцати часов утра бегали с одной площади на другую; в конце концов, изнемогая от голода и жажды, они возвращались домой, в свои лавки или к обычным своим занятиям.

Прошло уже пятнадцать дней после суда, но на улицах и площадях не уменьшались толпы людей, жаждущих зрелищ. Всем в точности было известно, что арбакеша подвергнут избиению камнями; однако, не ведая причин задержки, а также дня, на который назначена казнь, люди буквально сгорали на огне ожидания. Они не знали, что для исполнения приговора «официального» и «священного» суда необходимо было доложить эмиру и получить от него разрешение. Копии же «документов», составленных с бесчисленными хитростями, неимоверными трудностями и уловками, следовало переслать через кушбеги в русское агентство, чтобы получить согласие представителя императорского правительства.

Но разве есть на свете что-либо, не получающее завершения? Хотя и с тысячами огорчений, дни ожиданий для алчущих зрелищ окончились; однажды ночью, сразу после объявления указа эмира и получения согласия политического агента русского правительства, «Джабраил» принес наконец долгожданное известие.

Теперь все знали, что приговор будет приведен в исполнение на следующий день утром; не было только известно, где это произойдет. Поэтому все, кто интересовался столь «редкостным зрелищем», провели ночь без сна и, едва услыхав утренний азан, после которого разрешалось хождение по бухарским улицам, вышли из домов и побежали в сторону Регистана.

Однако еще до того, как зеваки, жившие далеко, добрались до Регистана, «место зрелища» оказалось уже заполненным теми, чьи дома находились поблизости. Волей-неволей толпы людей, подобно весенним дождевым потокам вливавшиеся на площадь с четырех сторон из темных и тесных бухарских улиц, напирали друг на друга, словно воды Зеравшана. Так же, как воды, они, почувствовав себя как бы скованными льдом, вздымались и постепенно откатывались назад.

Таким образом, еще до рассвета массы людей отовсюду стекались к центру города — Регистану. Подошедшие с юга, от купола Заргарон и от торговых рядов Наддофон и Мисгарон, и с юго-запада, от базара Кох и от купола Аллофон, толпились в пространстве до квартала Мурдашуён и моста Сари-Пули-Ошикон; подошедшие с запада стояли от кварталов Усто-Рухи и Накорачиён до ворот Углон; те же, кто пришел с севера, наполняли квартал Мирзо-Гафур до ворот Имом и квартала Арабон.

Столпы эмирского правительства — верховный судья, главный раис и миршаб — собрались у кушбеги, чтобы выполнить волю главы государства в отношении преступника.

Согласно приговору «официального» и «священного» суда, заключению улемов и требованию «государственного прокурора» арбакеша следовало подвергнуть двойному наказанию: во-первых, провести по городу и всенародно опозорить, во-вторых, побить камнями; на это была получена санкция эмира и согласие политического агента царской России.

«Столпы государства» решили, что эти оба наказания должны быть применены одновременно. Они рассудили, что, когда преступника будут водить по улицам, его сможет видеть каждый и, таким образом, все жители будут наблюдать его «поругание». Но ведь каждый, кроме того, жаждет увидеть, как преступника будут избивать камнями. Если же казнь произойдет на площади, большая часть жителей не сможет наблюдать ее, ибо в Бухаре нет площади, где бы могли вместиться все жители или по крайней мере большинство их. Кроме того, в этот момент на площади произойдет большое скопление народа и от напора толпы может погибнуть немало людей.

Для того чтобы обе кары были приведены в исполнение одновременно, преступника решили посадить на верблюда и провести по городу; в это время «жаждущие спасения» будут швырять в него камни.

Однако Регистан и все улицы вокруг него были настолько переполнены зрителями, что иголку негде было бросить. В тот день даже водоносы не смогли принести воду в цитадель. Поэтому нельзя было ни провести в цитадель верблюда, ни спустить преступника вниз, чтобы посадить на него верхом. Народ пытались разогнать с Регистана дубинами есаулов и палками с кольцами стражников, а когда это не удалось, решили отвлечь людей какой-нибудь хитростью.

Осуществить это взялся Кали-Курбон. Держа в руках палку с тремя кольцами, с которой по ночам обходил город, он выбежал из цитадели на Регистан и, приблизившись к толпе с криком: «Дайте дорогу!» — хотел пройти сквозь нее.

Люди узнали Кали-Курбона; кроме того, всем было известно, что он, как пользующийся доверием миршаба, участвует в проведении казни. Его со всех сторон стали засыпать вопросами:

— Дядя Курбон, когда арбакеша будут избивать камнями? Это произойдет здесь или в другом месте? Где сейчас преступник?

— Арбакеша будут избивать камнями на военном плацу, потому что он самый просторный. Преступник сейчас в тюрьме. Я как раз иду, чтобы взять его из тюрьмы и отвести на плац. Чтобы закопать преступника по пояс в землю, посредине плаца выкопана яма, а для того, чтобы его забросали камнями, повсюду навалены груды камней. Чем скорее вы дадите мне пройти, тем скорее я пойду и приведу преступника на плац и казнь осуществится.

Услышав это «вполне точное» известие непосредственно из уст доверенного лица самого миршаба, люди, даже не дослушав его последних слов, сразу же отхлынули от цитадели и Регистана и кинулись в сторону плаца. В это время Кали-Курбон, пробежав пустеющую от народа площадь Регистан, обошел пятничную мечеть Поянда, затем, выйдя со стороны нового арсенала, поднялся на мост по южной лестнице и вошел в цитадель.

На Регистане остались только те, которые точно знали, что арбакеш находится не в тюрьме, а в подземелье под конюшней, расположенном в проходе цитадели. Здесь также остались жители квартала Ляби-хаузи-Арбоб, среди которых был и я.

* *
*

Когда толпа любопытных очистила Регистан, в цитадель ввели верблюда, приведенного из квартала Сорбон. Его остановили в арсенале и заставили опуститься на колени перед дверью помещения, где содержался арбакеш.

Арестанта вывели из тюрьмы и завязали руки впереди; затем его усадили на верблюда, а ноги его подтянули под брюхо верблюда. На ноги у самых лодыжек надели петли из намыленной крепкой веревки, а концы ее стянули прочными узлами. На талию и на руки преступника накинули веревочные петли, концы веревки от них накрест привязали впереди и позади верблюжьего седла, после чего заставили верблюда подняться на ноги.

Кали-Курбон взял в руки повод. Первый камень в арбакеша бросил Джумбул-махдум, и первое забористое ругательство арбакеша в виде «вознаграждения» получил именно он. Затем бросили по камню также четыре муллы-истца; они тоже получили соответствующее «вознаграждение». После них бросил камень верховный судья; он не попал в арбакеша, но тот не оставил судью без своего сочного «вознаграждения». Потом бросили по камню кушбеги, главный раис и миршаб; каждый из них удостоился «вознаграждения» в свою очередь.

После этого «столпы государства» приказали повести преступника из цитадели вниз на Регистан и провести по городским улицам, чтобы каждый мусульманин, швырнув в него камнем, смог удостоиться божьей милости.

Вперед вышли Мухтор-ходжа, Кори-Саме', Абдурахмон Рафтор и Киём-махдум; за ними, отстав на один-два шага, шел Джумбул, считавшийся «главным государственным прокурором», а по выражению бухарцев — «представителем бога пророка»; далее следовал

Кали-Курбон — «доверенный защитник», выбранный самим арбакешем; он вел в поводу верблюда.

Вся процессия двинулась в путь, окруженная чуть ли не сотней стражников миршаба, вооруженных палками. За этой группой шел отряд почти в пятьсот человек, состоявший из помощников верховного судьи и раиса, чиновников кушбеги, стражников миршаба, стрелков, старших и младших палачей — караульщиков у ворот цитадели. В руках у каждого из них была торба для лошадиного корма, наполненная камнями.

Едва представители мулл в том порядке и с той «торжественностью», которые только что описаны, вышли из цитадели по мосту на площадь Регистан с преступником, сидевшим на верблюде, сразу же палачи, державшие в руках торбы, окружили верблюда и начали метать камни. У несчастного арбакеша не было ни времени, ни возможности ответить хотя бы ругательствами этим кровавым палачам, потому что уже от первого камня величиной с кулак, брошенного одним из палачей, череп его был раздроблен, окровавленный мозг брызнул во все стороны, и он лишился чувств...

Избиение камнями продолжалось. Большинство зрителей, поддавшись обману Кали-Курбона, ушло с Регистана в сторону военного плаца, однако едва процессия с преступником спустилась на площадь, как она опять заполнилась народом. Но никто из собравшихся не бросал камней в арбакеша; люди стояли неподвижно и с жалостью смотрели на него. Иные при виде того, как лицо и голова арбакеша покрываются ранами от ударов камней, выбирались из толпы, закрыв глаза руками; многие сразу отходили в сторону.

Из числа зрителей только двадцать или двадцать пять учеников медресе, среди которых был и муэдзин медресе Хаджи-Зохид, словно лишившись рассудка, участвовали в бросании камней. Но им нечего было бросать, поэтому они поднимали с земли камни, брошенные эмирскими палачами, и снова метали их в арбакеша.

Как эмирские палачи, так и эти, похожие на безумцев, ученики медресе с таким удовольствием предавались зверскому занятию, словно занимались охотой или игрой в футбол. Того, кто не попадал камнем в цель, высмеивали, того же, кто попадал, громко хвалили.

Тогда-то я впервые в своей жизни увидел, как человек вследствие дурного воспитания и зверских обычаев может потерять человеческий облик и стать хуже дикого зверя.

В самом деле, эти люди были хуже диких зверей; те хотя и нападают на человека или животное в целях самозащиты или насыщения желудка, однако при этом не проявляют даже признаков радости. А эти, павшие ниже зверей, с исключительной жестокостью, убив связанного по рукам и ногам человека, рвали на части его руки и ноги, голову, мясо и кожу — и при этом веселились так, словно присутствовали при церемонии выхода жениха или прибытия невесты в дом будущего мужа...

Когда процессия дошла до купола Тиргарон, арбакеш уже не проявлял никаких признаков жизни. Он был очень крепко привязан, поэтому не падал с верблюда, хотя и сполз на одну сторону. На его лице и голове уже нельзя было различить ни ушей, ни носа, ни рта, ни глаз, ни бровей — все было расплющено и растерзано безжалостными камнями; кости его черепа, треснувшего во многих местах, виднелись среди клочьев кожи, напоминая сломанную, залитую водой тыквенную баклагу. И все же камни продолжали лететь...

У нас не оставалось больше сил идти с этой ватагой жестоких людей, чтобы узнать, чем все кончится, поэтому мы отделились от этой жуткой процессии и переулком пошли домой. Не произнеся ни слова, мы разошлись по своим кельям.

* * *

Наутро после этого жуткого дня мы узнали конец трагедии от некоего Абдузохира из квартала Ляби-хаузи-Арбоб, сына служащего верховного судьи, который вместе с отцом участвовал в церемонии казни заодно с прочими волками в человечьем обличье.

По его словам, участники церемонии, все также бросая камни в свесившееся с верблюда безжизненное тело арбакеша, прошли по большой улице кварталов Наддофон и Тукумдузи, затем по новому базару и по улице Ляби-Руд. Пройдя улицу между мечетью Ходжа-

Калон и медресе Нав, они вышли на улицу Сесу, затем по торговому ряду Баззози, через купол Саррофон, прошли на бухарское Чорсу, наконец через квартал Хуллабофон и улицу Мургкушон дошли до ворот Кавола.

Выйдя через ворота Кавола из города, процессия повернула налево, прошла вдоль городской стены до ворот Мазор, вошла через эти ворота в город, свернула направо, проследовала по главной улице квартала Джа'фар-ходжа, по улицам кварталов Мехчагарон и Дегрезон, достигла купола Заргарон и оттуда, свернув направо, пошла по главной улице квартала Тупхона, от дровяного базара Чорбакколи она повернула влево — к западу, прошла по кварталам Маддохон и Арабон до квартала Мирзо-Гафур, оттуда вышла на главную улицу у ворот Имом, затем повернула влево и вышла на Регистан. Отсюда палачи поднялись в цитадель и доложили «столпам эмирского государства», что «хорошо выполнили» свои палаческие обязанности; они также просили нового указания о том, как поступить с телом арбакеша.

Согласно приказу «столпов государства», пятеро палачей низшего ранга, уже не швыряя камни, должны были вывести верблюда за город через ворота Углон и бросить там тело арбакеша собакам на свалку, вместе с трупами павших животных. Когда палачи на этом «кладбище падали», заставив верблюда опуститься на колени, стали разрезать веревки, которыми был связан арбакеш, и хотели снять его с верблюда, пятеро вооруженных мужчин, головы и лица которых были завязаны черными платками с отверстиями для глаз, выскочили из камышевых зарослей возле городской стены и напали на палачей.

В результате нападения один палач был убит, один ранен, а трое других убежали. Неизвестные завернули в войлок истерзанное в клочья тело арбакеша и скрылись в камышах.

По словам Абдузохира, жители города, которые в ожидании зрелища побивания камнями более месяца бегали с улицы на улицу или с одной площади на другую, не смогли перенести отвратительно жестокой церемонии наказания и убегали с дороги, а другие, закрыв глаза рукой, ждали, когда процессия пройдет мимо.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ МУЛЛО-АМОНА ПО ПОВОДУ ПОБИВАНИЯ КАМНЯМИ АРБАКЕША

Спустя неделю после завершения истории с арбакешем однажды вечером в медресе Ляби-хаузи-Арбоб пришел Мулло-Амон из Розмоза. Мы едва узнали его; сбросив одежду муллы, он оделся, как арбакеш. На нем был легкий полосатый халат из синей ткани местного производства, повязанный куском такой же синей ткани; с левого бока висел длинный обоюдоострый нож с костяной ручкой; голову его украшала синяя хлопчатобумажная чалма из кустарной клетчатой материи, оставшийся конец чалмы свешивался набок; поверх нижнего был надет еще толстый гиждуванский халат на вате. Только обувь его не была грубой, как у арбакешей: на нем были рваные ичиги с кожаными калошами, как у всех мулл.

При виде его я вспомнил Яхьё-ходжу, сменившего наряд муллы на одежду игрока в карты (об этот было рассказано в третьей части «Воспоминаний»).

Этот Яхьё-ходжа переодевался шутки ради. Когда его спрашивали о причинах этого, он то притворялся сумасшедшим, то в шутливой форме — на самом же деле вполне серьезно — разоблачал людей, которых считал вредными для общества.

Что же касается Мулло-Амона, то он в своей грубой одежде уселся перед нами с таким серьезным и даже сердитым видом, что никто из друзей не решился спросить его о причине переодевания. Во всяком случае нам было ясно, что этим своим поступком он подражает действиям Яхьё-ходжи, но не в шутку, а вполне серьезно, с какой-то целью.

Мулло-Амон все с тем же видом просидел несколько минут молча. Присутствовавшие смолкли, как только он вошел; его серьезный вид заставлял всех хранить молчание. Спустя немного Мулло-Амон заговорил:

— Увидев меня в этой грубой одежде, вы без сомнения удивились. Некоторые, должно быть, подумали: «Внук Файзи-Авлиё подражает мираконскому Яхьё-ходже, сумасшедшему комедианту». Однако я не мираконский ходжа; я не сумасшедший и не коме-

диант; кроме того, вообще не люблю комедиантства и шуток. Я человек деревенский, сын крестьянина, да еще, как утверждают муллы, внук вора Файзи-Авлиё. Уж если я начну шутить, это никому не понравится... Ну-ка, вели подать чайник чая, у меня пересохло в горле, — прервал он себя, обратившись к Кори-Усмону.

Кори-Усмон, засыпав чай, передал чайник ножовщику Кори-Шарифу и велел наполнить его кипятком в чайной квартала. Мулло-Амон продолжал:

— Я не шучу, все мои поступки вполне серьезны. — Потом, взглянув на собравшихся, он спросил:

— Вы, которых называют «бухарскими сплетниками», разве вы можете представить, что произошло в последнее время?

Никто не ответил, и он продолжал:

— Все вы знаете, что гнусный Джумбул, змея Мухтор-ходжа, дрянной Кори-Саме', Абдурахмон Рафтор (этому развратнику я не могу подыскать эпитета, само его прозвище «рафтор» — «походка», данное народом, показывает, чем он занимался в юности), — сказал Мулло-Амон, заключив как бы в скобки последние слова, — а также бездельник и бродяга Киём-махдум — эти пять отвратительных и гнусных людей, только бы не платить полтеньги за проезд, бесстыдно подняли весь этот шум. Но этого им было мало, они дошли до такой степени бесстыдства, безжалостности и безбожия, что под флагом религии с невиданной жестокостью и неслыханными мучениями погубили человека...

— Мы все знаем Джумбула, Кори-Саме, Абдурахмона Рафтора и Киём-махдума, ждать от них человечности было бы ошибкой. Но что произошло с Мухтор-ходжой, если он также примкнул к ним? Я думал, что он мягкий, скромный человек, и не мог даже помыслить, что он примет участие в столь грязном и страшном деле, — прервал я Мулло-Амона.

Посмотрев на меня внимательно, он ответил:

— Я считал тебя способным и сообразительным, однако ты не оправдываешь моих предположений! Разве ты не обратил внимания, что я, перечисляя всех пятерых, каждому дал соответствующее определение, а Мухтор-ходжу назвал «змеей». Ведь змея тоже ласкова

до того, что если ты, не боясь яда, дотронешься до нее, это покажется даже приятным. Однако ядом своим она убивает людей. Не даром говорят арабы: «Пусть Аллах спасет от гнева мягкосердечного человека». Поговорки, какому бы народу ни принадлежали, являются результатом многолетного опыта умных людей...

В это время Кори-Шариф принес чай, и Кори-Усмон, несколько раз перелив чай из чайника в пиалу и обратно, первую пиалу протянул Мулло-Амону. Отпив глоток горячего чая, словно пробуя на вкус, и смочив горло, тот отставил пиалу и продолжал:

— Должно быть, вы думаете, что всю эту жестокую несправедливость совершили только перечисленные «пять диких двуногих волков». На самом же деле это не так. Во время последних событий я посетил известных мулл, и многие из них называли «религиозным рвением» варварский поступок, совершенный теми пятью, причем еще хвалили и благословляли их за это. Даже мой учитель, домулло Хомид-Араб, который выдает себя за «философа» и «врача», услышав о гнусных действиях пятерых, выразил свою радость. «Ибо в последнее время, — сказал он, — простой народ вовсе перестал уважать духовных лиц, теперь же народ вынужден снова проникнуться уважением к духовенству и в каждом деле прежде всего будет испрашивать у него разрешения». Ну, что вы скажете по поводу этих слов моего учителя — философа? Неужели, чтобы заслужить уважение для себя и для тех, кто с тобой в одном ярме,[1] необходимо убивать людей? Этот безграмотный «философ» не знает, что принудительное уважение ничего, кроме вреда, не приносит. Ведь если уважать заставляют и за неуважение грозят смертью, то понуждаемый человек постарается убить «уважаемое» лицо или во всяком случае унизить его при первом же удобном случае...

Выпив остывший чай и пустив пиалу катиться по направлению к Кори-Усмону, Мулло-Амон продолжал:

— Все, сказанное мною, свидетельствует, что эти пятеро негодяев не оставались одинокими в своих действиях и во время нападения на

[1] Этим выражением Мулло-Амон уподобил духовных лиц своего времени волам. *(Примеч. автора).*

«стадо» только помогали своим волкам-вожакам, не выдвигавшимся на передний план. Поэтому я всегда говорю, что всю стаю диких волков нужно заставить «покаяться по-волчьи»...

Отпив глоток горячего чая, который поставили перед ним, Мулло-Амон обратился к Мирзо-Иброхиму Субхи:

— Прочти, пожалуйста, сатирическое стихотворение, которое ты написал о миршабе.

(Мулло-Амон полагал, что стихотворение это сложил Субхи; он считал также Субхи единственным поэтом среди присутствовавших).

Мирзо-Иброхим прочел сатирическое стихотворение о миршабе, сложенное коллективно. Мулло-Амон два-три раза повторил про себя последний бейт (по-видимому, чтобы лучше запомнить):

Будь ты волк, будь свинья, — все едино для нас,
С волчьим нравом пастух — вот спасенье твое.

Затем Мулло-Амон заметил:

— Как жаль, что я не поэт! Не то я переделал бы это стихотворение, посвященное миршабу; вместо единственного числа я поставил бы множественное, чтобы в нем речь шла о муллах с волчьими повадками и подобных им людях. Кроме того, я добавил бы слово «свинопас», ибо немало имеется погонщиков свиней, которые заступаются за этих волков.

После этого предисловия, выпив еще глоток чая, Мулло-Амон смочил горло, перевел дыхание и продолжал развивать свою основную мысль, связав ее с только что слышанным.

— Если мы в этом стихотворении поставим множественное число и уподобим его героев волкам или диким свиньям, чьими когтями, словно овца, был растерзан арбакеш, то их заступниками окажутся муфтии, верховный судья и эмир. Разве муфтии не знали, что эти злодеи, в силу своей гнусности, из-за тридцати двух грошей (полтеньги) хотят предать арбакеша смерти? Знали! Однако, зная обо всем, они подготовили и выдали этим бешеным волкам и диким свиньям разрешение на убийство человека, разрешение, сыгравшее роль когтей и клыков, потому что муфтии были их защитниками! Разве верховный судья не знал, что его волки клевещут на арбакеша?

Знал! Но, зная об этом, он признал их иск справедливым, потому что сам является их покровителем! Разве эмир не знал истинной причины нападения тех пятерых волков на арбакеша? Конечно, знал, потому что его шпионы раньше всех доложили ему суть дела. Но и он также, зная об этом, издал такой указ, какой они хотели. Ему нужно было только получить разрешение у своих покровителей, поэтому он и затянул это дело на несколько дней. Теперь я объясню, кто такие покровители эмира, которые через него, а иногда и непосредственно, являются покровителями всех столпов эмирского правительства. Однако прежде я должен смочить горло чаем и перевести дыхание...

Кори-Усмон тотчас же налил и подал Мулло-Амону пиалу горячего чая. Медленно прихлебывая, он погрузился в раздумье. Возможно, он решил заняться чаем, чтобы привести в порядок мысли, перед тем как приступить к новой теме.

Выпив чай и отдав пиалу Кори-Усмону, Мулло-Амон снова заговорил:

— Прежде чем рассказать о покровителях эмира, я хочу поделиться с вами одним воспоминанием. Однажды мы с приятелем решили поехать в Каган. Мы пошли на биржу у вокзала, где стоял единственный одноконный фаэтон; в нем сидел пассажир. Сторговавшись, я сел в фаэтон и попросил извозчика за определенную плату посадить еще и моего спутника на козлах. Однако извозчик отклонил мою просьбу, сказав, что, согласно правилам, в одноконный фаэтон нельзя сажать больше двух пассажиров, так как для лошади это будет тяжело. «Если я нарушу правило, меня оштрафуют, а на уплату штрафа не хватит и всей моей выручки за день», — объяснил он.

Рассказав об этом случае, Мулло-Амон перешел к главному:

— Представитель правительства «великого» императора сидит здесь в качестве агента, в действительности же эмир и столпы его государства без разрешения этого агента не смеют выпить даже пиалы чая. И этот человек, в силу своей «гуманности» и «доброты» не допускающий, чтобы мучили лошадей, не только дает разрешение на зверское убийство, но еще и облекает это в законную форму,

чтобы ни ему самому, ни его императору, который является покровителем эмира и всех столпов государства, не было неприятностей от корреспондентов газет и от русских «болтунов» (т. е. тех русских, которые бесстрашно разоблачают пороки правителей)...

Снова выпив чаю, Мулло-Амон продолжал:

— Кому же следует жаловаться и у кого искать помощи? Мне опротивели господствующие сословия, в особенности духовное, к которому я сам принадлежал и чью одежду я носил до сих пор, вот почему я решил прежде всего своим нарядом уподобиться арбакешам, конюхам, игрокам, которых я считаю лучшими людьми нашего времени.

Помолчав минуту и переведя дыхание, Мулло-Амон снова заговорил:

— Да, они — лучшие люди нашего времени. Возьмите для примера самых низших из упомянутых мною — азартных игроков в бабки. Допустим, такой игрок проиграет; в этом случае он не сочтет унизительным стать «рабом» своего партнера и, пока не выплатит долга, остается у него в «кабале» и никуда от него не прячется. Однако он стыдится незаконно посягать на чужое добро и не станет отрицать прав выигравшего, предоставленных тому бездушной игральной костью. Разумеется, говоря об азартных игроках, я имел в виду игроков в бабки, которые хотя и считают себя «играющими на золото рабами бога», все их достояние составляет «шесть по шесть грошей», т. е. всего тридцать шесть медных грошей, или, самое большее, «шесть по шесть тенег», т. е. тридцать шесть тенег. Разумеется, я не говорю о тех байских сынках, которые, опьяненные большими деньгами, играют в азартные игры; эти если проигрывают сумму покрупнее, то не стесняются отвергнуть «право партнера».

Подумав немного, Мулло-Амон в виде пояснения к сказанному продолжал:

— Вы не думайте, что игру в азартные игры я считаю благим делом. Напротив, азартные игры — отвратительнейшие из всех игр. Какой-нибудь бедняк на тяжелой работе за целый день заработает всего «шесть по шесть грошей». И вот, попав на этот дурной путь, он забывает, что голоден, забывает поесть и сразу же проигрывает

эти деньги. А если ему «повезет» и он сохранит свои деньги, то они постепенно под видом отчислений перейдут в карман людей миршаба. Вот каковы результаты азартных игр, поощряемых миршабом ради собственной выгоды.

После этого разъяснения Мулло-Амон сказал:

— Мы удалились от нашей основной цели. Смысл сказанного в том, что если какой-нибудь азартный игрок проиграет сразу весь свой однодневный заработок, составляющий одну-две теньги, он не отвергает притязаний партнера. Наши же «ревнители шариата», владеющие тысячами тенег, полученных от вакфов медресе, от ростовщичества, от всевозможных праздников, от пересказа священных историй, короче говоря, владеющие капиталом, который добыт разными нечестными путями, — эти люди не отдали тридцать два медных гроша арбакешу, который довез их чуть ли не на себе от Мазора до города. Пусть бы они не уплатили этой ничтожной суммы и, подобно нечестным игрокам, заявили: «сдаюсь». Тогда и арбакеш не сказал бы им ничего плохого. Но они мало того, что не уплатили, а еще поднимают скандал и самым жестоким образом казнят человека. Теперь сопоставьте игроков и этих мулл и посмотрите, какая между ними разница. Первые по своему благородству поднимаются до самых небес, а вторые по безжалостности и подлости опускаются до самой преисподней...

Перейдя от азартных игроков к арбакешам, Мулло-Амон сказал:

— По своему благородству арбакеши несомненно стоят намного выше этих мулл. Я еще не видел муллу, который, будучи богатым, помог бы неимущему или несчастному; наоборот, как бы ни был богат мулла, он прикидывается нищим, да еще бросает алчные взоры в карманы чужих людей (какими бы ни были они бедными). Однако я видел арбакешей, занимающихся извозом, которые сажают к себе в арбу утомленных бедняков, вынужденных идти пешком из Вобкента в Гиджду ван, и довозят их до места, не требуя от них даже благодарности...

— Кроме того, арбакеши — настоящие мужчины, — продолжал Мулло-Амон свой рассказ. — Они очень великодушны и ничего не пожалеют ради товарища по профессии. Жаль только, что они так

простодушны и все еще не могут распознавать людей, в особенности верховного судью и муфтиев. Примером такой простоты может служить этот несчастный покойный арбакеш: когда муллы получили от верховного судьи нужное им решение и готовились арестовать его, ему передавали, чтобы он бежал куда-нибудь в другой город и некоторое время не попадался на глаза муллам. Однако он не согласился: «Если меня потянут в духовный суд, — сказал он, — пусть тянут, там я расскажу всю правду; в присутствии верховного судьи я прямо в глаза скажу этим скупцам, что весь этот шум они подняли из-за какой-то полтеньги. Верховный судья никогда не арестует меня по явной клевете и наговору». Сколько его ни уговаривали не верить верховному судье, ибо он не остановится перед арестом и наказанием, лишь бы не уронить авторитета своих мулл, арбакеш по своему простодушию не соглашался. «Я не побоюсь угроз и не убегу, подобно трусу», — отвечал он; в конце концов с ним произошло то, что вы видели...

Мулло-Амон, подумав еще немного, продолжал:

— Жаль, что я несколько преувеличил смелость и благородство арбакешей по сравнению с тем, что есть на самом деле. Это также выяснилось в связи с делом несчастного арбакеша. Когда люди миршаба и верховного судьи, схватив его, потащили к верховному судье, арбакешам Файзабада посоветовали иметь наготове несколько человек, чтобы на обратном пути, когда арестованного поведут из канцелярии верховного судьи в тюрьму, эти люди, улучив удобный момент, выручили его и помогли бежать. Однако файзабадские арбакеши не послушались этого совета. Они ответили: «Люди, посаженные в тюрьму, сразу не умирают. Если же мы организуем ему побег, то либо тут же попадемся и погибнем, либо нам придется бежать в Русский Туркестан. В обоих случаях наши жены и дети осиротеют и умрут в бедности и несчастье. Мы не страшимся ни бегства, ни гибели, но трудно перенести смерть своих близких. Если же его арестуют, мы сможем собрать деньги и освободить его». По простоте душевной они не поняли, что в глазах духовенства и правительства дело этого арбакеша не похоже на дела воров или простых людей, подвергшихся клевете, когда можно откупиться.

Здесь дело шло об авторитете духовенства, о прочности шариата и веры, — а это все равно, как если бы речь шла об авторитете нынешнего правительства Бухары. В этом случае ни миршаб, ни палачи, ни люди кушбеги, ни тюремщики из страха перед правительством и духовенством не решились бы за деньги освободить преступника... Как жаль, — сказал Мулло-Амон, грустно помолчав несколько секунд, — что файзабадские арбакеши слишком поздно сумели предугадать леденящий сердце исход этого дела, — когда время было уже упущено и этого несчастного, посадив на верблюда, вывели для совершения казни из цитадели. Тут уж если бы поднялись не только файзабадские, но и все бухарские арбакеши, все равно не удалось бы избавить его от трагической гибели. Ведь не было никакой возможности спасти арбакеша, потому что его убили сразу же, у самого моста цитадели. Что касается вызволения его тела, то, по словам файзабадских арбакешей, ничего делать было не надо: согласно обычаю, тело казненного должны были провезти по всему городу и бросить на веревочном базаре на Регистане; живущие возле бани квартала Тукумдузи могильщики, взвалив труп на носилки, отнесли бы к банной печи, где его выкупили бы близкие...

— Однако некоторые дальновидные люди, — продолжал Мулло-Амон, — напомнили последствия казни убийцы Мухаммад-Шарифа девон-беги, когда его тело не отдали могильщикам, а бросили за городские ворота на съедение собакам. Один из этих дальновидных людей подобрал себе четверых сообщников, и все пятеро, вооружившись и приготовившись к любым неожиданностям, притаились в зарослях возле ворот Углон. Им удалось отбить тело того несчастного.

— Конечно, — заключил свой рассказ Мулло-Амон, — для этого страдальца, убитого столь зверским способом и с такими мучениями, безразлично, сгниет его тело в земле или станет пищей собак. Но чтобы по возможности поддержать человеческое достоинство, необходимо было вызволить его тело. Ведь тело человека — не падаль, которую можно выбросить собакам! Так поступает лишь тот, кто лишился человеческого облика и сам превратился в собаку.

Из рассказа Мулло-Амона слушателям стало ясно, что именно он посоветовал файзабадским арбакешам организовать побег арестованного по пути в тюрьму и имено он был дальновидным человеком, устроившим похищение тела несчастного. Однако никто ни при нем, ни за глаза никогда об этом даже не заикался, чтобы не подвергнуть его опасности в случае, если это станет известно муллам или правительству.

ЖИЗНЬ МУЛЛО-АМОНА И ЕГО СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ СЛУЧАЯ С АРБАКЕШЕМ

В предыдущих главах мы рассказали, с какой целью Мулло-Амон переехал из деревни в город, как он учился в городе наукам, а также описали его жизнь в медресе Турсун-джон.

В этом медресе он занимал временно предоставленную ему келью одного из своих друзей. Жил он очень бедно, так как, хотя давно уже окончил курс обучения, нигде еще не занимал поста мударриса, чтобы иметь доход. Он был образованней своих сверстников и достаточно хорошо усвоил официальные науки, однако ради получения материальных благ от учеников, жаждущих знаний, не избрал своей профессией преподавание.

Перед окончанием курса ему, как мулле, было выделено пособие — «одна десятая», что в год составляло сто двадцать тенег (восемнадцать рублей). Кроме того, ему помогали братья, что и было для него основным источником средств существования. Его братья крестьянствовали в деревне Розмоз на земле, унаследованной от отца; они два-три раза в месяц пекли лепешки и привозили ему или посылали с кем-нибудь. Зимою же, зарезав для себя откормленного барана, они выделяли часть и для Мулло-Амона. Братья обеспечивали его также одеждой.

После истории с арбакешем им овладело тягостное состояние, которое можно определить как «бегство от людей»: он больше не общался ни с кем, не посещал своих друзей и почти никого не пускал к себе в келью. Он перестал также приходить в медресе Ляби-

хаузи-Арбоб. Каждый день после полудня он надевал свой грубый халат, повязывал синюю чалму и выпускал один конец в виде «мышиного хвоста», выйдя из своей кельи, шел через Чорсу, обходил площадь Ляби-хаузи-Девон-беги, после чего направлялся прямо к воротам Мазор и выходил за город.

Здесь, усевшись где-нибудь в цветнике, он пил чай, глубоко погрузившись в думы. Конечно, никто не знал, о чем он думает. Сам он ни с кем не разговаривал, так что трудно было понять, что с ним происходит.

Лишь только день склонялся к вечеру и в сад начинали приходить покупатели цветов или гуляющие, Мулло-Амон вскакивал со своего места и шел на холмы Бехиштиён, где находилось одно из самых обширных бухарских кладбищ. С наступлением темноты, прежде чем запирались ворота, он входил в город и шел прямо к себе в келью.

Однажды, надеясь распознать его внутреннее состояние, я пошел следом за ним и нашел его за городом в одном саду. Он сидел в сторонке; именно после этой беседы мы стали близкими друзьями.

Я поздоровался, он ответил на приветствие и даже стал расспрашивать меня о здоровье. Ответив ему, я спросил, как он себя чувствует.

— Благодарение богу, живем помаленьку, — сказал он и задумался.

Усевшись поодаль, я подозвал садовника и заказал чай.

— Не нужно, мой чайник полон, я выпил одну только пиалу и больше пить не буду. Выпей сначала этот чайник, а если не утолишь жажду, то закажешь себе новый чай, — сказал он, пододвинув мне чайник и пиалу.

Я придвинул их поближе; затем, желая узнать, о чем он думает, стал наблюдать за ним. Он тоже устремил на меня свой взор, но я ждал когда он сам заговорит. Обычно если он хотел сказать что-либо важное, то сначала пристально смотрел на собеседника и только после этого заговаривал.

Так и теперь, на некоторое время задержав на мне взгляд, он заговорил:

— Лучше, если вы оставите меня в покое, от пустых слов никакой пользы нет.

Перед ним лежал на земле букет базилики, в котором выделялась ароматная махровая роза. Он поднял букет, несколько раз понюхал и протянул мне. Я тоже понюхал цветы и вернул ему, однако он не взял.

— Пусть остается у тебя, — сказал он и вполголоса продекламировал четыре стиха из Саади:

Увы, но ведь жизнь и без нас, как обычно, пойдет,
Распустятся розы не раз, и цветник зацветет,
Не раз еще снова весна зашумит на полях,
Когда мы истлеем и глиною станет наш прах.

Затем он поднялся с места:

— Ну, ладно, будь здоров! Живи долго! «Мы не достигли своей цели; может быть, ты достигнешь», — с этими словами он пошел между грядками цветов в сторону файзабадских полей.

Прежде, когда он еще не уединялся от людей, он всегда брал меня с собой, встречаясь в саду. На этот раз он не пригласил меня сопровождать его. Что он не собирается делать это, стало ясно, когда он поставил передо мной чай и сказал: «Теперь оставьте меня в покое». Однако, видя затем его приветливое обращение, я надеялся, что он все же разрешит мне идти с ним, и подумал: «Во время дальней прогулки я сумею распознать его состояние». Однако он так и не позвал меня. Все же из этого короткого разговора я понял, что он очень расстроен, что все надежды его рухнули и что он гневается не только на врагов, но и на друзей.

* *
*

Настало время раздачи «одной десятой». Обычно ее раздавали в бухарских медресе каждый учебный год в начале марта, в определенный день, в эмирской цитадели. Все деньги, разделенные на тысячу частей и завязанные в тысячу кусков белого полотна, клались к кожаные дорожные сундуки у самых ворот цитадели. Верховный

судья и кушбеги садились в воротах на су́фы, казначей вставал возле сундуков, рядом с ним становился есаул улемов, которого называли «оламиён»; он стоял, опираясь на свой ивовый посох. Возле них на коврике садился писец из канцелярии кушбеги, а на ступеньках с южной строны моста в цитадель пристраивался помощник «оламиёна».

С южной же стороны моста сидели на корточках получатели «десятой части», обычно в количестве тысячи человек. Им не могли помешать ни грязь, ни дождливая погода. То были получатели «десятой части», собиравшиеся в этот определенный день из города Бухары, из ее окрестностей и из Русского Туркестана. Для получения этой пенсии не являлись только те муллы, чей официальный доход превышал тысячу тенег; они не имели права получать «десятую часть». Не являлись также те, кто был в это время болен, а также некоторые из дальних тюменей, считавшие невыгодным проделать такой путь, чтобы получить сто двадцать тенег. Если к этим неявлявшимся прибавить умерших в течение года, то получится, что не приходило от ста до ста пятидесяти человек; остальные же восемьсот пятьдесят или девятьсот человек являлись в назначенный день к семи часам утра.

В условиях эмирской Бухары, где никаких зрелищ не было, церемония раздачи «десятой части» в сравнении с публичной казнью могла считаться «культурным» зрелищем. Большинство бухарских жителей до начала своих утренних занятий, а также учащиеся медресе собирались на Регистане, чтобы посмотреть на раздачу «десятой части». Из числа зрителей одни устраивались возле получавших пособие мулл у южной части моста, другие стояли с его северной стороны. Здесь имелись ступени, по которым на площадь спускались муллы, получившие свою часть. Прочие рассаживались по всей площади, где удавалось найти место. Основная часть зрителей — те, кто пришел рано утром, — размещалась на крышах медресе Дор-уш-Шифо и соборной мечети Поянда. Эти считались самыми «счастливыми»: им все было очень хорошо видно. Они могли видеть, как пришедшие за «десятой частью» поднимались на мост, как кланялись верховному судье и кушбеги, как, получая свою часть, в растерян-

ности и волнении они не знали, с кем здороваться и кому кланяться, и, наклоняясь во все стороны, вызывали смех у присутствующих. Довольные зрители наблюдали, как муллы спускались по ступеням моста, ожидая от присутствующих приветствий и поздравлений, как они проходили сквозь толпу.

В восемь часов утра верховный судья и кушбеги давали знак начинать церемонию раздачи «десятой части». Затем писец из канцелярии кушбеги, раскрыв «тетрадь», т. е. развернув свернутый трубкой, наподобие талисмана, длинный лист бумаги, начинал по порядку читать записанные в ней имена.

Как только писец громким голосом прочтет какое-нибудь имя, помощник «оламиёна», глядя вниз, где сидели получатели «десятой части», повторял это имя возможно громче.

Если его обладателя не оказывалось на месте и присутствовавшим была известна причина этого, они отвечали: «Он умер»; или: «У него повысились доходы»; или: «Он болен». Если же обладатель имени отсутствовал по неизвестной причине, снизу отвечали: «Взгляд»; это выражение, употреблявшееся во время раздачи «десятой части», означало: «Он отсутствует, и причина этого не известна».

Помощник «оламиёна» громким голосом повторял писцу все, что услышит снизу, тот делал пометку возле прочитанного имени и называл следующее.

Если обладатель очередного имени присутствовал, он отвечал: «Есть»; затем поднимался с места, расправлял халат, помявшийся от сиденья на корточках, застегивался, оглаживал бороду и по ступенькам поднимался на мост. Здесь он здоровался, отвешивая поклон верховному судье и кушбеги. В это время казначей доставал из кожаного сундука кусок материи с завернутыми в нее ста двадцатью теньгами, передавал сверток «оламиёну», тот — своему помощнику, который вручал его мулле — получателю «десятой части» и при этом произносил громким голосом: «Они получили». Писец же, вместо «они получили», писал в своем списке против имени получившего: «Он получил».

Приняв сверток с деньгами, мулла — получатель «одной десятой» — снова отвешивал поклон в сторону верховного судьи и кушбеги,

а затем спускался по ступеням с северной стороны моста. Некоторые муллы, доведшие льстивость и низость до высшей степни, *получив от помощника «оламиёна» сверток со ста двадцатью теньгами, подносили его сначала ко рту и целовали, потом, поднеся к лицу, терли им глаза,* целовали еще раз, наконец клали за пазуху и лишь после этого, кланяясь в сторону верховного судьи и кушбеги, спускались по лестнице.

Эта церемония целования, потирания глаз и повторного целования свертка со ста двадцатью теньгами по содержанию своему, а также по искренности чувств, проявляемых участниками, напоминала церемонию целования креста верующими христианами.[1]

* *
*

Мулло-Амон был в числе давних получателей «десятой части» — его преподаватель «философии», домулло Хомид-Араб, удостоил его этого «ученого вознаграждения» еще за пять лет до окончания курса. Когда мы с ним познакомились, со времени окончания им учения прошло уже пятнадцать лет. Следовательно, он получал это пособие в течение целых двадцати лет. После истории с арбакешем, когда он сбросил одеяние муллы, никто не думал, что он снова явится на церемонию раздачи «десятой части». Однако, вопреки ожиданиям знавших его, он все же появился на площади.

В тот год я, как и прежде, пришел на церемонию раздачи «десятой части» с двумя-тремя товарищами; мы поднялись на крышу со-

[1] Здесь изображена только церемония раздачи «десятой части» и получения ее муллами, имевшими на это право. О том же, что это была за «десятая часть», каковы официальные условия, дававшие право на ее получение, как велась подготовка к тому, чтобы стать достойным «десятой части», какими способами в эмирской Бухаре добивались права получать ее — обо всем этом будет рассказано в последующих частях «Воспоминаний» в надлежащем месте. *(Примеч. автора).*

борной мечети Поянда и раньше всех смогли занять там удобные места. Церемония началась, и писец стал одно за другим называть имена получателей. Каждый из названных лиц поднимался на мост и получал свой сверток со ста двадцатью теньгами.

В это время помощник «оламиёна» крикнул: «Мулло-Амон из Розмоза!» Один из сидевших рядом с Мулло-Амоном ответил: «Есть!»; сам же он, не говоря ни слова, поднялся с места и пошел к мосту. Зрители, узнавшие его и слышавшие, что он сменил одежду, не удивлялись; однако при виде его грубого халата и синей чалмы, повязанной наподобие «мышиного хвоста», в толпе среди не знавших его учеников медресе поднялся шопот; люди спрашивали друг друга: «Неужели этот мужик, похожий на арбакеша, получает пособие?».

Мулло-Амон поднялся по ступенькам, взглянул на верховного судью и кушбеги, поздоровался с ними очень просто, однако не поклонился. Получив сверток, он спустился по ступенькам вниз с противоположной стороны. Едва Мулло-Амон пошел по направлению к лестнице, как верховный судья сделал знак рукой помощнику «оламиёна», чтобы тот подошел к нему. Когда он подошел, верховный судья что-то сказал ему. Помощник «оламиёна» громким голосом ответил: «Слушаю, таксир!», — побежал за Мулло-Амоном, спустился вниз, и через минуту на ступеньках вновь появился Мулло-Амон, следовавший за помощником «оламиёна». Тот вернулся на свое место, а Мулло-Амон, подойдя к верховному судье и кушбеги, положил перед верховным судьей сверток с «десятой частью», что-то сказал ему, а затем спустился на Регистан, — только не по тем ступеням, где спускались получившие «десятую часть», а в сторону запада. Он затерялся среди зрителей и скрылся из виду.

Церемония раздачи «десятой части», приостановившаяся, когда помощник «оламиёна» подошел к верховному судье, возобновилась по знаку последнего. Однако писец, прежде чем называть новые имена, что-то пометил у себя в списке. По-видимому, вначале он возле имени Мулло-Амона из Розмоза сделал пометку «получил», а затем, когда Мулло-Амон вернул сверток с деньгами, зачеркнул прежнюю помету и написал: «Лишен „десятой части“».

* *
*

После раздачи «десятой части» мы разошлись, каждый из нас пошел к себе домой. Однако вечером все мы собрались в медресе Ляби-хаузи-Арбоб, в келье Кори-Усмона. Объектом нашего разговора стал Мулло-Амон. Незадолго до этого, унав, что он сменил наряд муллы на грубую одежду, мы сделали вывод, что на сей раз он не придет вместе с другими муллами за получением «десятой части», а его уединенный образ жизни, по нашему мнению, свидетельствовал также, что он вообще никогда и нигде больше не появится в обществе мулл.

Увидев его, вопреки нашим ожиданиям, в простой одежде среди мулл, получающих пособие, мы очень удивились и стали говорить: «Раз уж он, несмотря на свое бегство от людей, счел возможным прийти вместе с другими муллами за получением „десятой части", то ему следовало хотя бы надеть одежду муллы, так как если он будет в простом платье, ему не выдадут пособия и он попадет в очень неловкое положение перед муллами и всеми зрителями».

Когда ему без всякой задержки и замечаний выдали «десятую часть», наше удивление еще больше возросло, ибо подобные действия бухарских правителей противоречили их обычаям.

Но когда после выдачи «десятой части» его вернули и отняли у него сверток со ста двадцатью теньгами, мы прониклись к нему неприязнью: ведь он, вопреки нашим ожиданиям, совершил поступок, противоречивший его достоинству, перед всеми, в том числе и перед нами, уронив свой авторитет. В то же время, когда мы представили себе, сколь тяжелое впечатление произвел на него сегодняшний случай, нам стало попросту жаль его. Мы подумали, сможет ли он перенести тяготы и неприятности, обрушившиеся на него.

Сидя в келье Кори-Усмона, мы обсуждали впечатления этого дня, связанные с поведением Мулло-Амона, — как вдруг он собственной персоной вошел в келью. Его неожиданный приход спустя семь-восемь месяцев после истории с арбакешем, в течение которых он не появлялся, нас всех весьма удивил. Однако более всего нас

поразил его веселый и воодушевленный вид, чего мы никак не могли ожидать.

Едва войдя и усевшись, он сразу же заговорил:

— Конечно, мои дорогие друзья, увидев меня среди мулл в этой грубой одежде, да еще сидящего в ожидании получения «десятой части», вы очень удивились, не так ли? Чтобы вывести вас из этого удивления, я хочу сказать вам несколько слов.

После этого небольшого предисловия он продолжал:

— Когда, желая выразить свое отвращение к муллам, я изменил свою одежду, я решил никогда больше не получать «десятую часть», чтобы избавиться от всего, связанного с положением муллы. Но когда настал день раздачи «десятой части», я подумал: «Из-за того, что я сбросил одежду муллы, меня называют безумцем. Если теперь я не пойду получать „десятую часть", то для этих отвратительных людей, увидевших, что я сам, по доброй воле отказался от „десятой части", мой поступок окажется лишним поводом называть меня сумасшедшим». Вот почему я решил в этой самой грубой одежде подняться к воротам цитадели якобы для получения «десятой части». Я знал, что в таком виде никакого пособия мне не дадут. И я решил, что сам подойду к верховному судье и скажу ему все, что следует, — пусть он и другие знают, что я сменил одежду не по причине безумия, но совершенно сознательно, из отвращения к муллам.

Помолчав немного, Мулло-Амон продолжал:

— Жаль, что мне все-таки выдали «десятую часть», не обратив внимания на мою одежду, вопреки ожиданиям мулл и всех зрителей, среди которых были и вы. Верховный судья, который в ответ на приветствия и рабские поклоны получавших «десятую часть» мулл с трудом кивал головой, ответил на мое простое приветствие; этот волк с лисьими повадками даже взглянул на меня и лицемерно улыбнулся. В этот момент я понял свою ошибку и пожалел, что вместе с другими пришел получать «десятую часть». У меня не было никаких оснований подойти к верховному судье и дать выход скопившейся во мне желчи. Поневоле взяв «десятую часть», я спустился с моста...

Мулло-Амон перевел дух и снова заговорил:

— Когда я сходил со ступеней моста, помощник «оламиёна» догнал меня, и эта «рысь»[1] мне сказала: «Господин „опора шариата“ (т. е. верховный судья) велел передать вам свое приветствие, а также следующие слова: „Нам нет дела до того, какую одежду носит домулло Амон, но когда он является в цитадель его величества за получением «десятой части» вместе с другими муллами, лучше, если он придет в одежде муллы, чтобы не давать повода для ненужных пересудов“».

Рассказав об этом замечании верховного судьи, Мулло-Амон продолжал:

— Услышав о «милости» верховного судьи, я безмерно обрадовался, ибо, хотя и поздно, у меня появился повод сказать ему несколько слов. Я мысленно ответил: «Хорошо же!»; затем по тем же самым ступенькам вернулся обратно на мост, подошел к верховному судье и положил перед ним сверток с «десятой частью». При этом я сказал: «Если для получения этой вот „материи“, которая в моих глазах не стоит даже горсти пыли, необходимо надевать одежду муллы, то я не возьму этого. Я испытываю отвращение к муллам. Большинство из них я считаю людьми подлыми, самонадеянными, лживыми, безжалостными и жестокими по отношению к народу. Поэтому я отказался от одежды муллы, считаю ее позорной и не желаю носить ее ради ста двадцати тенег». Верховный судья пытался мне ответить: «Мы только хотели дать вам совет, если же вам не нравится, как угодно, а „десятая часть“ по праву ваша, получите!». Не слушая его, я спустился с моста. Я хорошо понимал, что подобное обращение со мной лицемерно, что верховный судья лживыми речами надеется уберечь себя от моего языка до того подходящего момента, когда он сможет со мной расправиться, — заключил Мулло-Амон свой рассказ.

---

[1] Рысь — небольшое дикое животное; сама она никогда не выходит на охоту, а довольствуется объедками, остающимися от других хищников. Мулло-Амон, сравнив помощника «оламиёна» с рысью, этим сравнением уподоблял верховного судью и других мулл хищным животным. *(Примеч. автора).*

Больше он не хотел у нас оставаться и заявил:

— Все-таки сердце успокоилось! — С этими словами он вышел из кельи Кори-Усмона.

ИСТОРИЯ С ЛЮДЬМИ, ОДЕТЫМИ В ЧЕРНЫЕ КОШМЫ, И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЛА МУЛЛО-АМОНА

В нынешней Кашка-Дарьинской области имеется район Чиракчи; во времена эмирата власти этого района были в подчинении не у правителей ближайших областей (например, Карши или Шахрисябза), а непосредственно у эмира.

Известно, что гнет эмира, правителей, казия, раиса и эмирских чиновников в любой местности Бухары был чрезвычайно тяжелым. Однако гнет правителей Чиракчи достиг такой степени, что у народа не осталось больше сил терпеть.

В прежние времена, если угнетенные той или иной местности выступали против своих правителей, проявляли какие-нибудь признаки мятежности или непокорности, местные правители заключали в тюрьмы нескольких человек, а наиболее упорных отсылали в тюрьмы Бухары и такими жестокими мерами усмиряли народные волнения.

Если человек, потерпевший из-за несправедливости, отправлялся ко двору жаловаться на местных правителей, он, как правило, не мог довести свое заявление до эмира. Но если «счастье оказывалось на его стороне» (в действительности — несчастье) и жалоба попадала к эмиру, то на имя правителя, на которого жаловались, эмир посылал письменное распоряжение: «Такой-то жалуется на то-то; проверьте, если в отношении его на самом деле проявлена несправедливость, то помогите ему».

Когда несчастный жалобщик приносил послание эмира тому деспоту, то в результате «проверки» жалоба, конечно, оказывалась «несправедливой». Тогда, согласно поговорке, которую сочинили бухарцы о гнете бухарских правителей, «на мертвеца сыпались еще и

сто ударов» — к насилиям и несправедливости, которые перенес этот бедняк прежде, добавлялись еще наказание палками и бессрочная тюрьма за «неосновательную жалобу».

Население Чиракчи, у которого терпение совершенно истощилось, решило поднять восстание и расправиться с местными властями, а потом перейти в Русский Туркестан или в другое государство, чтобы навсегда избавиться от гнета эмира и его правителей.

В это время у них отыскался какой-то советчик; то ли по злобе, то ли как доброжелатель, не ведающий, что творит, он посоветовал не делать, как было задумано. Иначе, говорил он чиракчинцам, вас сочтут мятежниками и всех перебьют. Лучше послать эмиру коллективную жалобу, и тогда он как следует накажет жестоких правителей.

— Ни один государь не согласится, — говорил он, — чтобы его государство пришло в упадок из-за жестокости его же подданных, чтобы население, наполняющее его казну пошлинами, налогами и закетом, обнищало и было вынуждено бежать. Кто же тогда будет уплачивать пошлины и налоги?

Жители Чиракчи, послушавшие этого «советчика», выделили из своей среды двести человек самых смелых, а также более других пострадавших от гнета, чтобы они доставили эмиру коллективную жалобу. Они получили наказ: если придворные начнут расспрашивать и выяснять, в чем дело, то и на словах рассказать о бедственном положении жителей.

Представители угнетенного населения приготовили двести черных кошм, посредине каждой кошмы проделали дырку. Каждый из них, надев на себя такую кошму, просунул голову сквозь дыру; таким образом, все тело его оказалось завернутым в черную кошму и только голова и шея оставались открытыми. Согласно древним традициям, такие одежды свидетельствовали, что носящие их подвергаются нестерпимому гнету.

Народные представители, внешний вид которых рождал в сердце каждого ужас, смешанный с жалостью, отправились пешком через горы Карнаб и вышли к Кермине — постоянной резиденции эмира Абдулахада.

Кермине был маленьким, тесным городком. Когда в нем появились люди в черных кошмах, горожане в страхе и тревоге стали спрашивать друг друга: «Кто это? Что случилось?».

Известие о приходе людей в черных кошмах достигло раньше всех эмира и его придворных. Эмир приказал чиновникам приветливо встретить пришедших, но не допускать их общаться с жителями Кермине и жаловаться тем на свое бедственное положение.

Согласно этому приказу есаулы двора приветливо встретили людей в черных кошмах, отвели в сад, где жил эмир, и предоставили им пристанище. Затем есаулы довели до сведения эмира их жалобу и в ответ сообщили «о большой милости», какую эмир якобы оказал пришедшим. Во время расспросов, услышав обо всех бесчинствах и несправедливостях, творимых местными властями, придворные выражали «сожаление» и «дружески» упрекали представителей населения Чиракчи за то, что те не пожаловались его величеству раньше. Тут же придворные сами ответили на свой упрек, говоря в утешение жалобщикам: «Не беда, поговорка гласит: „Пусть позже, зато вернее!“. Вы пришли поздно, зато принесли подробное и безупречное заявление. Его величество прикажет кушбеги хорошенько проучить ваших правителей и послать вместо них справедливых сановников».

Короче, в первый же день придворные наговорили им разных добрых слов и «наполнили их карманы гнилыми пустыми орехами», т. е. надавали пустых обещаний, или же, говоря словами народной поговорки, «пообещали из пустого амбара сто манов риса».

Когда стемнело, жалобщикам вручили эмирскую грамоту на имя кушбеги; затем, окружив со всех сторон, чтобы они не смогли разговаривать ни с одним из жителей Кермине, их вывели в степь Чули Малик за пределы населенных мест. Отсюда их направили в Бухару к кушбеги, говоря, что там «все будет сделано соответственно их желанию».

История с приходом людей в черных кошмах, сильно раздутая, с невероятными преувеличениями, распространилась по Бухаре: говорили, будто все жители Восточной Бухары, от Карши до Гарма и Дарваза, не выдержав гнета и несправедливостей, завернулись

в черные кошмы и отправились в Кермине, в резиденцию эмира; всюду на своем пути они все грабят и уничтожают...

Когда слухи о том, что эмир направил их из Кермине в Бухару к кушбеги, докатились до Бухары, жителей города, особенно торговцев, охватил ужас. Заперев двери лавок и спрятав внутри все товары, купцы по двое, по трое усаживались на суфах возле дверей и обсуждали сообщения о людях в черных кошмах. Однако они разговаривали очень тихо или шопотом, поэтому прохожим не было слышно, о чем они говорят.

Владельцы караван-сараев, постоялых дворов и складов, замкнув большие ворота, оставили только калитки для входа и выхода, а сами, усевшись в помещении,тоже без конца говорили о людях в черных кошмах. Перед входной дверью постоянно дежурил сторож, не допускавший в караван-сарай или на постоялый двор незнакомых или «подозрительных» лиц.

На следующий день ожидания прихода людей в черных кошмах эти слухи несколько приутихли; их распространители немного «подправили» прежние сведения. Теперь они говорили, что среди людей в черных кошмах не было никого из Ширабада, Гисара и горных районов страны, а были только жители Карши, Гузара, Чиракчи, Яккабога, Шахрисябза и Китаба.

На третий день слухи сделались еще менее тревожными; люди говорили: «Среди идущих нет каршинцев, там только жители Кенагаса (из Шахрисябза), ведь кенагасцы с давних времен являются врагами эмиров из племени мангыт».

Когда распространился этот слух, торговцы стали говорить: «Что могут сделать кенагасцы против мангытов? Если его величество прикажет Хайдаркулу-Свинье,[1] он в течение часа всех их уничтожит». Лавочники успокоились, открыли свои лавки, выставили напоказ товары. Крупные баи, владельцы караван-сараев, постоялых дворов и складов тоже распахнули ворота и вздохнули свободно.

---

[1] Кто такой Хайдаркул-Свинья и чем он занимался, рассказано во второй части «Воспоминаний». *(Примеч. автора).*

Прошло совсем немного времени, и стало известно, что люди в черных кошмах — это всего лишь несколько нищих из Чиракчи, которые, не имея никакой одежды, завернулись в черные кошмы и отправились попрошайничать; они добрались до Кермине, а оттуда пошли в сторону Бухары.

Услышав это известие, один из лавочников с бухарского Чорсу сказал с радостью и с издевкой:

— Очень хорошо, добро пожаловать, мы с радостью встретим их, не пожалеем для них медного гроша.

На следующий день сведения опять приняли совсем иной характер. Говорили, будто несколько именитых граждан Чиракчи, желая удостоиться чести увидеть великолепие его величества, озаряющее мир, с подобающими подарками прибыли ко двору его величества в Кермине. Его величество пригласил их к себе пред светлые очи, угостил, а затем выразил пожелание, чтобы гости осмотрели также Бухару, побывали в цитадели, после чего вернулись бы восвояси. Исполняя высочайшее волеизъявление, люди кушбеги выехали к Хомработаку навстречу гостям, препроводили их в город, отвели в цитадель и там их угостили. В данное время гости осматривают кварталы города.

Содержание, а также пышные выражения последнего известия не оставляли сомнения, что сочинили его люди кушбеги, в его мехмон-хоне; они же и распространяют его.

Однако население Бухары не видело ни мятежных людей в черных кошмах, ни нищих, которые, не имея лучшей одежды, завернулись в кошмы, ни «дорогих гостей эмира и кушбеги». Это известие, подобно черной весенней туче, не пролившейся дождем и только перепугавшей мир громовым раскатом, в конце концов прошло без видимых результатов.

* *
*

Спустя два-три дня после того, как были забыты люди в черных кошмах, однажды вечером Мулло-Амон появился в келье Кори-Усмона. В последний раз он приходил сюда после церемонии раздачи

«десятой части», о чем было рассказано выше; с той поры прошло шесть-семь месяцев, и за это время он ни разу не появлялся. Его неожиданный приход каждому из нас дал понять, что произошло что-то необычайное.

Не расспросив нас о здоровье, Мулло-Амон заговорил:

— В медресе Мирзо-Убайд есть один мулла по прозвищу «Модари-Гети» — мать мира. Настоящее его имя Мулло-махдум. Ему уже более шестидесяти лет, однако он совершенно не имеет бороды, и лицо у него, как и у всех старых и дряхлых людей, все в морщинах и кривых извилинах. Поэтому бухарские остряки прозвали его Модари-Гети, что ему очень подходит. Он настолько широко известен под этим именем, что его настоящее имя никто не помнит.

Далее Мулло-Амон рассказал биографию Модари-Гети и указал особенности его характера.

— Модари-Гети, — рассказывал он, — байсунец. По его словам, во время войны эмира Музаффара с горцами и шахрисябзцами он воевал на стороне последних и проявил большой героизм. С той поры он не перестает возмущаться действиями эмира и его правителей, направленными против подданных, в особенности в отношении горцев и шахрисябзцев.

Переведя дыхание, Мулло-Амон продолжал:

— Я познакомился и сблизился с ним по той причине, что он постоянно выражал недовольство властями и духовенством. Однако позднее я понял, что он болтает о справедливости лишь в темноте комнаты, а среди людей, на улице, он ведет себя совсем иначе.

— Как говорится: дома он лев, а на поле брани его нет! — прервал Мулло-Амона Кори-Усмон, у которого была привычка по любому поводу приводить пословицу или поговорку.

— Этого мало, — отозвался Мулло-Амон. — Правильнее назвать его бесстыдным и единственным в своем роде лицемером. В темной келье, в беседе с глазу на глаз с человеком, о котором ему известно, что тому не нравятся поступки и действия правителей и мулл, он начинает жаловаться на них, осыпать их грязными ругательствами и смешивать с грязью. Однако на улице или в другом месте, встре-

тившись с каким-либо муллой или чиновником, он так низко и подобострастно кланяется и так льстит им, что едва ли не облизывает их обувь.

Помолчав немного, Мулло-Амон продолжал:

— Когда мне стало очевидным его лицемерие, я отдалился от него. Но однажды, когда распространился слух о приближении людей в черных кошмах, я встретился с ним на улице, и он потащил меня в свою келью. Тут он рассказал мне о своей поездке нынешним летом в Шахрисябз и в разговоре заметил, что положение жителей Чиракчи невыносимое. «Я, — сказал он, — посоветовал им облачиться в черные кошмы, отправиться к эмиру и подать жалобу на действия местных властей. Они меня послушались, выбрали из своей среды двести человек, надели на них черные кошмы и отправили в Кермине ко двору эмира»...

Пересказав со слов Модари-Гети то, о чем мы рассказывали в начале этой главы, Мулло-Амон продолжал:

— Когда из повествования Модари-Гети я понял, что эмир, обманув этих несчастных, послал их в Бухару, я решил вернуть их с пути, чтобы они здесь не попали в тюрьму или в лапы эмирских палачей и не погибли напрасно.

По словам Мулло-Амона, он, чтобы вернуть их с дороги в Бухару, выехал им навстречу и нашел их на постоялом дворе Хомработ, у самой пустыни Чули Малик, на границе культурных земель. Встретившись с ними, он прочел эмирскую грамоту на имя кушбеги. Мулло-Амон разъяснил им, что гонец с приказом об их истреблении доберется до кушбеги раньше их. «Если вам жизнь дорога, — сказал он им, — немедленно возвращайтесь к себе и делайте то, что в ваших силах».

В это самое время со стороны Бухары появились люди кушбеги с крытыми арбами. Они привезли множество халатов, стянули с жалобщиков их черные кошмы, надели на каждого халат, посадили по восемь-десять человек на арбу и отправили в Бухару. При этом они каждому арбакешу велели ехать в город через определенные ворота и запретили через одни и те же ворота въезжать в город одновременно двум арбам.

Люди кушбеги, увидев Мулло-Амона среди жалобщиков, очень удивились и решили, что, по-видимому, именно он взбудоражил этих людей. Они стали допытываться у жалобщиков. Те сказали, что этого человека не знают и прежде никогда не видали. За то, что на них вместо черных кошм надели эмирские халаты, они были очень благодарны эмиру и его приближенным, и их доверие к властям еще больше возросло. Представители чиракчинцев не скрыли, что Мулло-Амон подстрекал их бежать.

Поняв это, Мулло-Амон выбрался из толпы жалобщиков и остановился в стороне; когда стемнело, он пошел в город, но другой дорогой, по которой, как он предполагал, не должны были проехать люди кушбеги.

* *
*

По словам Мулло-Амона, так как арбы с чиракчинцами въезжали в город по разным дорогам, жители города остались в неведении относительно их прибытия. Как только арбы въехали на Регистан, люди кушбеги с лаской и знаками почтения предложили жалобщикам сойти и ввели их в цитадель. Там они поместили всех представителей в одном из тюремных дворов — и на этом «почет и уважение» кончились; с них стащили эмирские халаты, надели им на шею колодки, а на ноги кандалы, после чего подвергли невыносимым пыткам.

Ночью, после того как собрали всех жалобщиков, среди них выделили самых молодых и смелых; по пять-десять человек их отсылали в тюрьму и сырые подземелья, где одного за другим предавали казни, а трупы уничтожали.

Нескольких стариков и больных, которые были близки к смерти, выслали в Чарджуйскую тюрьму, а также на каторгу в Кабоклы и Учучок, расположенные на границе с Хивой.

После этого, согласно приказу эмира, в Чиракчи начались розыски «мятежников и подстрекателей», которых отправляли в Бухарскую тюрьму.

* *
*

Рассказав нам обо всем этом, Мулло-Амон вскоре ушел. Подобно большинству жителей Бухары, удивленные неизвестностью и безрезультатностью столь громких разговоров о «людях в черных кошмах», мы, услышав от Мулло-Амона это достоверное известие, прониклись к нему благодарностью. Как жаль, что это была наша последняя беседа с ним и последнее свидание!

Еще несколько лет Мулло-Амон пребывал в Бухаре, по-прежнему ведя отшельнический образ жизни. С тех пор, как стал отшельником, он без крайней необходимости ни с кем не общался и ни к кому не ходил; как было сказано выше, он не приходил даже к нам, если не случалось каких-либо чрезвычайных событий.

Возможно, что в течение нескольких последних лет его жизни в Бухаре ничего необыкновенного с ним не происходило, ибо он больше не приходил к нам с новостями или же с целью облегчить сердце; не встречались мы с ним и на улицах хотя бы случайно. Однако мы знали, что он здоров, живет в Бухаре на прежнем месте — в медресе Турсун-джон.

Но однажды (не могу теперь сказать, через сколько лет после нашей последней встречи) распространился слух, что Мулло-Амон пропал и что ни среди живых, ни среди мертвых следы его не обнаруживаются.

Мы проверили этот слух: по словам соседей Мулло-Амона по келье, он, выходя оттуда, якобы сказал, что поедет в Розмоз, но больше не возвращался. Спустя несколько дней пришли его братья проведать его. Из их слов стало ясно, что в Розмозе он тоже не появлялся. В течение года братья Мулло-Амона обыскивали город и все деревни в окрестностях Бухары, а также все тюмени, но нигде не обнаружили его следов.

Некоторые предполагали, что он сошел с ума и бросился в реку или в колодец, где и погиб; некоторые считали вполне вероятным, что его уничтожили враги. Во всяком случае, никто не мог определенно сказать, что с ним произошло.

Я счел своим долгом во имя дружбы оживить здесь его имя спустя пятьдесят пять лет после нашей последней встречи.

КЛЫКАСТЫЙ РУСТАМ ИЗ ГИДЖДУВАНА

Весной 1897 года я поехал в деревню в Гидждуванский тюмень, чтобы немного отдохнуть и укрепить свои легкие, отравленные зловонным городским воздухом, дав им подышать ароматом полей и свежестью берегов Зеравшана.

В те дни эмир Абдулахад прибыл из Кермине в Бухару на свадьбу одного из своих придворных; при этом распространился слух, что он также намерен совершить поклонение у мазара Ходжа-Абдухолика Гидждуванского. Крестьянская молодежь, в жизни своей не видевшая эмира и окружающую его «торжественность», на рассвете, кто пешком, кто верхом на лошадях и ослах, направилась в центр гидждуванского тюменя. Я же не очень спешил на это «зрелище», ибо много раз видел эмира на городских улицах. Но так как всюду, где бывал эмир, у его лагеря устраивались народные празднества, я, чтобы посмотреть на танцы и послушать пение, попросил у одного из своих соседей осла, сел на него и отправился в путь.

Едва я достиг деревни Намадгарон, между нашей деревней и Гидждуваном, как мне навстречу попались молодые парни, мои односельчане. Они возвращались из Гидждувана, где хотели поглазеть на эмира. Повстречавшись, мы придержали наших верховых животных.

Они громко хохотали, что меня весьма удивило. Я удивился, во-первых, тому, что молодежь смеется без всякой причины; во-вторых, тому, что они не стали смотреть ни на эмира, ни на празднество и так быстро возвращаются из Гидждувана.

В конце концов я спросил причину их смеха и столь быстрого возвращения.

— Эмир прибыл в Гидждуван утром, вошел в бекскую канцелярию и, испугавшись Клыкастого Рустама, сразу же сбежал обратно в город, — ответил один из парней, и все захохотали еще громче.

— При такой трусости он еще и эмир! Чтоб ему пусто было! — добавил другой, и окружающие снова засмеялись.

— Ну, ладно, — продолжал я расспрашивать, — трусость эмира известна. Ведь всякий, кто причинил людям много зла, боится и собственной тени. Но отчего он испугался Клыкастого Рустама и убежал?

— Мы не знаем и не понимаем причины этого, — ответил один из парней. — Мы только поняли, что эмир со всеми своими солдатами, пушками, ружьями и порохом убежал от Клыкастого Рустама, известного силача.

— Если вы не поняли причины, то я постараюсь понять, — сказал я и погнал своего осла в сторону Гидждувана, а парни поехали по направлению к деревне.

* *
*

У самого гидждуванского базара я привязал осла на одном из постоялых дворов и отправился прямо к Чорсу, где уселся возле лавки халвовщика Файзи-бая. Мы были с ним знакомы, лавка же его представляла собой центр, куда стекались всевозможные слухи и откуда они потом уже распространялись повсюду.

Я не выпил еще и одного чайника чая, как узнал от хозяина лавки, почему эмир испугался Клыкастого Рустама и бежал.

Файзи-бай рассказал, что придворные заблаговременно сообщили гидждуванскому амлокдору о «намерении эмира совершить поклонение мазару Ходжа-Абдулхолика Гидждуванского». Услышав эту добрую весть, амлокдор стал готовить подношение эмиру, приготовил все необходимое, но когда он попытался найти девушек и мальчиков, которых, согласно заведенному обычаю, приводили к эмиру, он столкнулся с большими трудностями. Посягнуть на детей гидждуванского населения, известного своим благородством, — а по выражению эмира и придворных, «бесчинством» и «чрезмерной жадностью», — было невозможно. Предстояло найти таких мальчиков или девочек, у которых не нашлось бы родных или защитников. Но таких безродных детей найти не удалось.

Все же посредники амлокдора нашли мальчика, которого, как им казалось, было не трудно захватить.

Это был подросток лет шестнадцати-семнадцати, по имени Махмуд-джон, занимавшийся продажей веревок. Отец Махмуд-джона, житель одной из гидждуванских деревень, прежде считался крестьянином средней руки. Однако под бременем налогов на землю, с одной стороны, и долгов сельским ростовщикам, с другой, — он совершенно лишился земли и сделался затворником. Еще в те времена, когда ему хорошо жилось, он выучил Махмуд-джона грамоте, и этот мальчик кормил своих родителей, когда они состарились и обеднели.

Отец и мать, сидя дома, занимались прядением волокна и витьем веревок, а Махмуд-джон изготовленные ими веревки два раза в неделю — в субботу и среду — отвозил на гидждуванский базар; там, на площади, где продавали скот, он, расстелив на земле палас, торговал своим товаром и на вырученные деньги содержал отца и мать.

Отец Махмуд-джона еще в те времена, когда задолжал и потерял землю, был в дурных отношениях с именитыми людьми своей деревни — непосредственными виновниками его разорения, поэтому неизвестно было, окажут ли они ему поддержку в беде.

Посредники амлокдора, воспользовавшись этими обстоятельствами, однажды перед вечером, когда Махмуд-джон, нагрузив свой палас на осла, направлялся домой, подстерегли его на пути между базаром и домом, схватили и отвели в канцелярию амлокдора. Все это они проделали тайком и в темноте, поэтому народ ничего не узнал.

Махмуд-джон до полуночи не вернулся домой, и отец сам отправился на его розыски. Он пришел в Гидждуван и там, после долгих расспросов, от одного человека, связанного с канцелярией амлокдора, в конце концов узнал, что сын его находится там.

Опытный старик, досконально изучивший все хитрости и уловки правителей своего времени, хорошо знал, когда и как следует оказывать им сопротивление. Поняв, с какой целью был схвачен его сын, он отправился за помощью прямо к Клыкастому Рустаму.

Клыкастый Рустам в те времена был одним из известнейших гидждуванских гуляк; вступившись за честь человека, обратившегося

к нему за помощью, он не пожалел бы и собственной жизни. Он очень хорошо принял отца Махмуд-джона и обещал ему освободить сына, но попросил старика до избавления мальчика поступать так, как он его научит.

Согласно совету Клыкастого Рустама, мать Махмуд-джона должна была пойти в канцелярию амлокдора, с помощью жен этого сановника повидаться со своим сыном и дать ему следующий совет: пусть он перед амлокдором и его людьми сделает вид, будто очень рад, что попал в руки амлокдора, а если ему повезет и он окажется во дворце эмира, то будет еще более счастлив, ибо возвыситься от продавца веревок до приближенного его величества — редкостное счастье.

В конце беседы Клыкастый Рустам сказал:

— Ходят слухи, что эмир вскоре прибудет в Гиждуван. Если Махмуд-джон выполнит все, что ему скажет мать, он заслужит доверие амлокдора и его людей и сможет беспрепятственно выйти из канцелярии амлокдора. В ночь накануне приезда эмира, как только стемнеет, пусть он выйдет оттуда и направится прямо к воротам Намозгах в гиждуванской крепости; там он найдет меня с лошадью. Я посажу его позади себя на седло и через пустыню вывезу из пределов Бухары, в русские владения. В Катта-Кургане или в Самарканде я достану для него русский паспорт, после чего он опять вернется к вам. Тогда уже ни эмир, ни везир не смогут и слова ему сказать!

Советы и меры, предложенные Клыкастым Рустамом, были претворены в жизнь: в ночь, когда ожидали приезда эмира, Махмуд-джон, беспрепятственно выйдя из канцелярии амлокдора, убежал вместе с Клыкастым Рустамом.

Сколько амлокдор и его люди ни старались скрыть это известие от ушей эмира, «чтобы не волновать его величество», все же его доносчики среди других новостей сообщили ему и об этом. Когда эмир, спешившись, вошел в канцелярию амлокдора, чтобы осведомиться о положении дел, он прежде всего прочел сведения, доставленные шпионами; поняв, что Махмуд-джон убежал с Клыкастым Рустамом, он едва не лишился сознания.

Конечно, эмир испугался не бежавшего Клыкастого Рустама, он вспомнил бесстрашие, непокорность и мятежность жителей Гиждувана, о чем всегда имел сильно преувеличенные сведения.[1] Вот почему эмир потерял присутствие духа и даже не допустил к себе для приветствия казия, амлокдора, раиса и миршаба; не приняв их подношений и не вкусив угощения, он поспешно возвратился домой.

ИЗВЕСТИЕ О СМЕРТИ АХМАДА ДОНИША

Заканчивая свой рассказ о причинах того, почему эмир Абдулахад, испугавшись, бежал из Гиждувана, халвовщик Файзи-бай сообщил мне новость, которая бесповоротно омрачила удовольствие от его рассказа и очень меня расстроила. Это было известие о смерти Ахмада Дониша, которое он неделю назад получил из Бухары.

Как уже было сказано в третьей части «Воспоминаний», Ахмад Дониш ежегодно в конце лета выезжал в деревню и часть времени в этот период проводил в Гиждуване. В такие дни его посещали некоторые из местных жителей, среди которых самым молодым был этот самый Файзи-бай. Он поставлял продукты своего производства и каждый день во время завтрака приносил ему мороженое.

Файзи-бай овладел лишь самой элементарной грамотой и мог только отмечать в своих приходно-расходных книгах наличность и долги; он не обладал и широкими познаниями, чтобы оценить достоинство и образованность Ахмад-махдума. Однако он дал Ахмаду Донишу весьма простую и наивную и в то же время очень высокую оценку. Он говорил:

— Ахмад-махдум великий человек, и величие его заключается не

---

[1] Во времена бухарского эмирата население Гиждувана называли «едущими на арбе, сидящими на носилках». Смысл этих слов заключается в том, что каждый год несколько гиждуванцев бунтовали против властей, тогда их сажали на арбу, привозили в Бухару и бросали в тюрьму, а некоторых убивали. Убитых могильщики клали на носилки и уносили. Однако такого рода наказания не оказывались назидательным примером для населения Гиждувана, и как только являлась необходимость, они снова выступали против правителей. (*Примеч. автора*).

в том, что он мулла, а также и не в возрасте и не в чисто физических достоинствах. Его величие заключается в том, что всякий, кто с ним сталкивался, был обласкан и в то же время сам, проникшись к нему любовью (не из боязни!), уважал его. При всем своем величии, внушительности и достоинстве Ахмад-махдум с каждым, кого встречал, обращался по-братски, как бы тот ни был незначителен. В этом мире много старых мулл высокого роста, но никто искренне не любит и не уважает их; подобных мулл народ «уважает» лишь потому, что боится, как бы они не придрались к чему-нибудь и под предлогом «оскорбления духовенства» не потащили в канцелярию казия.

По-видимому, в этот момент у Файзи-бая заиграла его гиждуванская жилка вранья и хвастовства, и он проговорил:

— Не каждый может понравиться нам, гиждуванцам. Самый большой человек в Бухаре — эмир, всех людей в своем государстве он считает своими рабами. Однако мы, гиждуванцы, не только не уважаем его, но даже смеемся над ним. Я думаю, — продолжал Файзи-бай, — у Ахмад-махдума была какая-то внутренняя, скрытая сила и своих собеседников он этой силой привязывал к себе, словно невидимыми веревками.

Теперь уже Файзи-баем овладели суеверные представления, свойственные простому народу, и он заявил:

— Я думаю, он был очень сильным заклинателем и мог заколдовать любого, кого хотел. Но он не сделал заклинания своим ремеслом, — наоборот, ругал заклинателей, называя их «мошенниками».

Заканчивая, Файзи-бай выразил искреннее сожаление по поводу кончины Ахмада Дониша.

— Как жаль, тысячу раз жаль, что столь великий человек, как Ахмад Дониш, скончался, — сказал он. — Услышав известие о его смерти, — добавил он, — мы, несколько гиждуванцев, искренне к нему привязанных, в течение трех дней собирались каждый вечер в том доме, где он останавливался во время своего путешествия, оплакивали покойного и читали заупокойные молитвы.

Я знал, что Ахмад-махдум останавливался и жил в Гиждуване, но до этого времени не видел дома, в котором он проживал, поэтому я попросил Файзи-бая показать его мне.

Этот дом, как рассказано в третьей части «Воспоминаний», находился к востоку от гиждуванской крепости, в небольшом саду, примыкавшем к усадьбе некоего байского сынка Назрулло. От гиждуванской крепости этот дом отделял рукав канала Пирмаст и улица. Комната, где жил Ахмад-махдум, имела потолок в девять балок, украшенных резьбой; стены были побелены алебастром и расписаны узорами, изображения цветов казались настолько естественными, что хотелось сорвать цветок и понюхать. На одной из стен в задней части комнаты под потолочной балкой виднелась надпись на бумаге золотом:

Вспомни, взирая на прелесть узора прекрасного,—
Сломано ныне перо Мир-Ахмада несчастного.

Этот стих, а также рассказ Файзи-бая неоспоримо свидетельствовали, что роспись стен и резьба были выполнены руками самого Ахмад-махдума.

* *
*

Пословица гласит: «Что имеем — не храним, потерявши плачем», — и это очень справедливо. Когда Ахмад-махдум был жив, я не особенно стремился встретиться с ним и удовлетворялся рассказами его собеседников. Теперь же, при известии о его смерти, во мне вспыхнуло пламя сожаления и скорби. Я стал упрекать себя, почему, когда он был жив, я не нашел пути сближения с ним и от него самого не услышал его мыслей о нашем времени и современниках? Размышляя таким образом, я невольно повторял сердечные слова Файзи-бая: «Как жаль, как грустно!».

В Бухаре было много друзей и почитателей Ахмада Дониша, но я ни с кем из них не был коротко знаком. Одним из его близких друзей, раньше других высоко оценившим Ахмада Дониша, был Шариф-джон-махдум, который теперь состоял казием в тюмене Пешку. Я был с ним близко знаком и служил у него прежде; поэтому я решил поехать к нему и провести с ним некоторое время, беседуя о покойном. Спустя два-три дня я распростился со своими земляками и отправился в Пешку через Гиждуван и Вобкент.

* *
*

Пешку был одним из окраинных тюменей Бухарского эмирата, расположенный в тридцати двух километрах к северо-западу от столицы (наиболее дальние селения этого тюменя, расположенного на самой границе с хорезмской песчаной пустыней, находятся на расстоянии сорока-пятидесяти километров от Бухары).

В прежние времена тюмень то и дело подвергался нападениям ургенчцев, поэтому здесь, перемежаясь с группами деревень, стояли крепостцы на холмах; во время нападений жители со всем своим скарбом прятались в этих крепостцах и оборонялись.

Древним центром района была крепость Зандани, находящаяся в наши дни на самой границе движущихся песков. (Кустарная хлопчатобумажная ткань «занданеги», в арабоязычной литературе именуемая «занданеджи», до арабского завоевания Средней Азии и сразу же после завоевания была очень широко известна в различных странах мира).

После присоединения Средней Азии к России разбойничьи нападения прекратились, но и тогда некоторые из этих крепостей (подобно Зандани и Пешку) оставались населенными.

Дворец Иштивон, служивший во время арабского завоевания летней резиденцией бухар-худатов, а ныне известный под именем Кокиштивон, оказался окруженным песками пустыни.

Тюмень этот был маловодным, поэтому, несмотря на плодородие земель, население его жило в бедности; жители Бухары редко туда наезжали, столичные же мелочные торговцы не появлялись вовсе. Казий, прежде в столице все свое время проводивший в беседах с друзьями, здесь очень тосковал: поэтому он принял меня горячо, притом не как своего бывшего слугу и ученика, любящего стихи и литературу, а как родного брата или близкого родственника.

Кроме долгих бесед, которые мы вели с казием об Ахмаде Донише, я здесь прочел от начала до конца огромный черновик рукописи этого ученого, написанный его рукой. Рукопись была переплетена в красный переплет из овечьей кожи, в толщину имела две чет-

верти, в ширину — полторы; материалом послужила местная кокандская бумага.

Манускрипт принадлежал повару казия по имени Кори-Не'мат, с самого детства служившего Ахмад-махдуму.

После смерти Ахмад-махдума и траура Кори-Не'мат по просьбе Шариф-джон-махдума перешел к нему на службу.

По словам Кори-Не'мата, эту рукопись Ахмад-махдум будто бы оставил ему «на память». Однако в тексте ее об этом ничего не говорилось. Во всяком случае, для меня в те дни чтение этих страниц было таким же счастьем, как находка редкостного драгоценного камня.

Рукопись содержала запись воспоминаний, рассказов и рассуждений автора по поводу некоторых событий, однако все это *было написано не по порядку, а разбросано, и не ровными строчками, а наискосок*. После того как я, — о чем будет рассказано в следующей главе, — познакомился с крупнейшим произведением покойного, мне стало ясно, что большая часть вошедшего в указанную рукопись представляла собой материалы, использованные автором при написании основного его произведения. Очевидно, всякую мысль, приходившую ему на ум, он прежде всего записывал в этой тетради, а затем уже, обработав записи и разделив их на главы, создал произведение «Наводир-ул-вакое» — «Редкости событий».

Конечно, в этой рукописи имелись отрывки, не вошедшие в «Наводир-ул-вакое», а также записи, сделанные уже после написания книги.

В одном из отрывков, не вошедших в «Наводир-ул-вакое», описаны причины, побудившие автора заняться астрономией. Он пишет об этом следующее (я передаю здесь лишь содержание; тетради этой у меня сейчас нет, подлинных же слов автора память не сохранила):

«В детстве я страстно желал узнать свое будущее и был уверен, что смогу достичь этого с помощью астрологии. (Следовательно, Ахмад-махдум вначале занимался изучением небесных светил не в качестве астронома, а в качестве астролога). Поэтому я обратился к специалистам, надеясь изучить астрологию. Однако учителя оказа-

лись жадными и скрытными; несмотря на мои усилия и значительные материальные траты, они меня ничему не научили, а если и научили, то не тому, что было нужно. Поэтому я занялся поисками и чтением книг по этой науке и проверкой прочитанного на практике; в результате я этой наукой овладел».

В конце этих своих воспоминаний автор записал (передаю общий смысл): «Во времена, когда я был занят изучением астрологии и испытал множество трудностей и мучений на этом пути, я в душе своей решил: если я овладею этой наукой, то бесплатно и с большим удовольствием стану учить всякого, кто придет ко мне за помощью. Овладев этой наукой, я всегда был верен данному мною слову. Но как жаль, что за свою жизнь мне не удалось подготовить ни одного астронома, в то же время я обучил очень много гадальщиков: с сожалением я видел, что всякий, приходивший ко мне учиться, спустя шесть месяцев или год, еще ничего как следует не усвоив, уже отправлялся в лавки купцов. Накануне нового года он предсказывал, какие товары в будущем подешевеют и какие вздорожают, таким подлым путем он набивал карманы и наполнял свои тарелки».

Другой прочтенный мною отрывок касался рассуждений автора во время его болезни. Известно, что к концу жизни он долго и тяжело болел и был прикован к постели. Из этого отрывка ясно, что у него было тяжелое желудочное заболевание. Об этом он писал так (передаю общий смысл):

«С тех пор, как я себя помню, я всегда стремился к свободе и никогда не надевал себе на шею ярма неволи. В те времена, когда я был призван ко двору и получал от эмира жалованье, я и тогда не утратил своей свободы и не попал в неволю. Мои письма и заявления эмиру были свободны от всякого рода преувеличенных восхвалений, низкопоклонства и лести.

«Однако к концу своей жизни я понял, что неограниченной свободы на свете не бывает. Когда я состарился, стал больным и дряхлым, я оказался вынужденным, ради удовлетворения своих самых низменных человеческих потребностей, каждый день идти с чьей-либо помощью из восточной части Бухары (где был расположен двор

автора) в западную (где находилась больница) и там предавать себя в плен доктору и его людям».

Секретарь казия Мирзо-Абдурахим был местным жителем. Видя, с какой жадностью я ищу сведений об Ахмад-махдуме, он однажды пригласил меня к себе в гости и показал произведения Нозима Гератского «Юсуф и Зулейхо», переписанное почерком Ахмад-махдума; рукопись была иллюстрирована рисунками, связанными с содержанием повести.

Не обладая знаниями в области искусства, я не могу оценить мастерство Ахмад-махдума. Однако Мирзо-Абдурахим показал мне другой его рисунок, который привлек мое внимание. Это было нечто вроде карикатуры на тему: «Миршаб Мирзо-Анвар и его чашка для опиума» — выполненной тем же художником.

Как объяснил Мирзо-Абдурахим, эмир Музаффар сделал опиемана Мирзо-Анвара миршабом Бухары. Опиеманы очень пугливы, обязанность же миршаба — бесстрашно бороться с ворами; Ахмад Дониш, высмеяв этот поступок эмира, нарисовал серию карикатур.

Рисунки были сделаны на местной бумаге. На первом был изображен прежде всего Мирзо-Анвар; он сидел, скрестив ноги на тюфячке, положенном на ковер; перед ним стояла большая чашка, и он с закрытыми глазами выжимал в ней мак.

На втором рисунке рядом с Мирзо-Анваром был изображен стражник, якобы о чем-то ему докладывавший; Мирзо-Анвар, не отнимая руки от чашки, в волнении слушал его, широко раскрыв глаза.

На третьем рисунке Мирзо-Анвар лежал, растянувшись, без чувств; по-видимому, падая, он задел ногой чашку с опиумом — она была нарисована в стороне, а выжатый мак изображен разлитым по ковру.

Под этим третьим рисунком стояла подпись, как бы воспроизводившая слова стражника: «Говорят, что где-то обнаружен человек, заподозренный в воровстве». Далее следовала подпись — как бы слова миршаба: «Ой, умираю!» (*Будто бы миршаб, услышав слово «вор», упал без чувств и опрокинул при этом чашку с опиумом, разлив маковый сок*).

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ АХМАДА ДОНИША «РЕДКОСТИ СОБЫТИЙ»

С крупнейшим произведением Ахмада Дониша «Редкости событий» мне удалось познакомиться спустя три-четыре года после того, как он умер. Однако ради связности описываемых событий мне хочется рассказать об этом сразу же после воспоминаний о его смерти.

Те, кто имел отношение к науке и литературе, знали, что у Ахмад-махдума имеется крупное произведение под названием «Редкости событий», но экземпляра этого сочинения не было ни у кого из известных мне людей. Книгу эту читали только те, кто навещал автора и видел ее у него в руках. На дружеских вечеринках они пересказывали содержание книги, многократно переставляя при этом ее части.

Позднее стало известно, что Ахмад Дониш при жизни один экземпляр книги, переписанный его рукой, преподнес Сиддик-хону Хишмату.

Сиддик-хон Хишмат, брат эмира Абдулахада, при жизни своего отца, эмира Музаффара, был правителем в Чарджуе. Во время болезни эмира Музаффара Сиддик-хон без разрешения отца, под предлогом того, что хотел навестить его, приехал в Бухару. Однако отец уже умер, и придворные, скрыв его смерть, привезли в Кермине Абдулахада, являвшегося наследником престола, а Сиддик-хона, не знавшего о смерти отца, арестовали.

Сиддик-хон, отстраненный от политических дел и изолированный от общества, жил, находясь под домашним арестом, в одном из своих домов, вдали от эмирской цитадели. Он занимался науками и литературой, при этом средства, получаемые от эмира на содержание, тратил на книги. Все свое время он проводил за чтением.

В течение трех-четырех лет он прославился своими знаниями и, став поэтом, избрал для себя псевдоним Хишмат.

Ахмад-махдум, глава всех недовольных при дворе, завязал с Сиддик-хоном тайные связи и бесплатно, без всякого материального вознаграждения, преподнес ему свою книгу.

Шариф-джон-махдум, любивший произведения Ахмад-махдума,

также завязал с Сиддик-хоном тайные отношения и взял на время у него рукопись, чтобы снять с нее копию. Эту работу он поручил неоднократно упоминавшемуся нами Мирзо-Абдулвохиду Мунзиму, который обладал каллиграфическим почерком.

До окончания переписки Мирзо-Абдулвохид никому не открывал этой тайны, даже мне. Однако, когда работа была выполнена, Шариф-джон-махдум позвал меня, рассказал обо всем (заметив, что это нужно держать в тайне) и попросил, чтобы я принял участие в сверке переписанного с подлинником и сделал необходимые исправления. Все это надо было выполнить совместно с Мирзо-Абдулвохидом.

Как говорится: «Что нужно слепому? Два зрячих глаза!». Я с большим удовольствием, даже с неописуемой радостью согласился выполнить эту работу, и мы приступили к ней в тот же день.

Мы работали в келье Мирзо-Абдулвохида, расположенной над воротами медресе Мулло-Мухаммад-Шариф (в квартале Гозиён).

Во время работы я просматривал экземпляр рукописи Ахмад-махдума, а Мирзо-Абдулвохид громким голосом читал переписанный им экземпляр. Обнаружив ошибку, я прерывал его, и он, остановившись, своим каламом вносил поправки. Когда он уставал читать, я читал вслух по оригиналу, и если он у себя обнаруживал ошибку, то останавливал меня и делал исправления в своем экземпляре.

Мы работали, заперев дверь кельи, чтобы не разгласить тайны. Но однажды к нам зашел поэт Мухаммад Сиддик Хайрат, от которого у нас не было секретов, потому что он, как и мы, не болтал лишнего и умел хранить тайны.

В первый же день, когда Хайрат услышал чтение рукописи, она произвела на него сильное впечатление, и он попросил у нас разрешения приходить ежедневно и присутствовать в келье в качестве слушателя при чтении. Мы согласились, и таким образом мы правили рукопись как бы втроем.

Мой кругозор и начитанность были тогда очень узкими. Я не понимал многих мест из «Редкостей событий», касающихся астрономии, философии и суфизма. Однако то, что я понимал, приводило меня в изумление.

Наибольший отклик вызывали во мне те места «Редкостей событий», которые касались случаев, наблюдаемых мною в жизни и крайне огорчавших меня, причем я никогда не думал, что существующие порядки можно исправить или что они сами изменятся. Я рассуждал так: «Мир с самого основания таков, таким же останется и впредь. Что ж тут поделаешь?». И я утешал себя бейтом Бедиля, который в то время повторялся всеми, кто испытывал грусть:

Жизнь обрушилась, Бедиль, тебе на плечи,
как же быть?
Радостен ты — надо жить, печален —
тоже надо жить.

Однако, когда я прочел в «Редкостях событий» об этом невыносимом положении, причем оно изображалось реалистически, представлено было так, как я сам наблюдал это в жизни, мысли мои приняли иное направление. Я решил: «Это положение нужно исправить; если же я не могу это сделать, то должен проникнуться к нему отвращением». (Нравственная революция, хоть еще в очень слабой степени, произошла во мне именно в это время).

Одно из мест «Редкостей событий», в то время произведшее на меня большое впечатление, было посвящено семейным отношениям. Ахмад Дониш хорошо изучил семейные отношения своего времени, он показал причины ссор между невесткой и свекровью, происки тещи и свояченицы в доме мужа, приводившие к разрушению семьи, — все то, что я наблюдал и о чем слышал множество раз.

В качестве образца я приведу здесь некоторые высказывания автора, извлеченные из различных мест главы, посвященной вражде между невесткой и свекровью.

В необходимых случаях отдельные выражения или слова автора я буду пояснять в скобках. Чтобы облегчить чтение, текст автора я облеку в форму, свойственную современной письменной речи, т. е. *введу красную строку, запятые, точки, кавычки и скобки*.

О вражде между свекровью и невесткой в этой главе говорится следующее:

«Если ты можешь представить себе вражду между кошкой и собакой, то тебе станут яснее обстоятельства ссор между невесткой и

свекровью, ибо собака думает: „Кошка хочет стащить у меня кость", — а кошка ревниво думает: „Собака собирается отнять у меня куски лепешки". Поэтому у них невольно при встрече... возникает ссора. Здесь (т. е. в семье) также... эти двое (т. е. невестка и свекровь) ссорятся и друг дружке желают несчастья; мать доказывает: „Мой сын был беспомощным и слабым и вырос лишь благодаря... моим стараниям и труду... Сколько бессонных ночей провела я, пока его воспитала... В благодарность за все это я хочу, чтобы мой сын... повиновался мне во всем и без моего позволения и согласия не смел даже воды пригубить".

«А жена настаивает на своем: „Я завладела этим человеком, я отдала себя в его распоряжение, я оставила своих родителей и всех родных... За эту свою жертву я требую, чтобы ключи от всех дел мужа были в моих руках".

«Эти двое злятся одна на другую, поэтому корень вражды заключен именно здесь... Мать видит, что на почетном месте в доме сидит жена... и в доме ее сына она играет главную роль, в то время как мать претендовала на то, чтобы быть главной и повелевать всеми в доме своего сына...

«Жена видит, что старуха с морщинистым лбом сидит на краю постели ее мужа, мешает ей, отменяет все ее распоряжения и вмешивается... в ведение хозяйства, и это в то время, когда она хотела бы стать независимой... По этой именно причине на чело ее садится пыль недовольства.

«Лишь только муж входит в комнату и замечает на лице своей хозяйки (жены) следы печали, он старается с помощью супружеских ласк выяснить, в чем дело. После долгого ломанья (со стороны жены) он мольбами и упрашиваниями, наконец, выведывает, что все это расстройство — от ненавистничества матери. Из уважения к ней он начинает почтительно умолять мать: „Не трудись по дому, сиди себе спокойно на одном месте, проводи время в молитвах и воздай хвалу господу, что у тебя теперь вместо одного ребенка — двое. Теперь твоей обязанностью является сидеть спокойно в уголке и молиться богу, а все дела предоставь хозяйке (невестке) и не утруждай себя напрасно".

«Эти наставления мужчины... идут от его уважения и вежливости по отношению к матери..., потому что большинство браков происходит благодаря инициативе и стараниям матерей...

«Мать так поступает оттого, что считает: раз сын — ее, то и его жена должна быть ее служанкой... Если она захочет, пошлет эту служанку к сыну, если нет — не пошлет, если захочет, даст ей хлеб, если не захочет — не даст!..

«Сын думает так: „Любовь матери довела меня до брака; конечно, мать ради меня будет любить также и мою жену“... Поэтому он ласково разъясняет матери ее благо.

«Из этих слов мать... делает вывод, что жена сводит ее сына с пути истины; тогда она начинает ссориться. „Неужели, — говорит она, — я вырастила тебя для того, чтобы ты во всем поступал по велениям жены, чтобы запретил мне заниматься домашними делами, отдал меня в подчинение своей жены и выделял мне хлеб? Повсюду, в любом доме мать распоряжается за столом своего сына, а жена сына им прислуживает“.

«Бедняга-муж удивляется, отчего возник этот скандал, и думает: „Вероятно, таков путь и таковы законы“. Тогда он идет к жене и с лаской и любовью начинает ее уговаривать:

«„Не огорчайся, ты должна благодарить бога, что моя мать ведет все хозяйство, готовит и ухаживает за нами, а ты посиди спокойно и займись лучше белилами и румянами, все у тебя будет готовое, и ты будешь освобождена от всяких хлопот и беспокойств“.

«Жена, слышавшая этот скандал и затаившая злость против старухи (свекрови), если она по характеру подлая, начинает браниться и заявляет: „Я не буду жить вместе с твоей матерью, ты должен ее убрать от меня..., если боишься своей матери, зачем же ты женился? В семье настоящего мужчины женскую работу выполняют служанки и рабыни, а не злобные старухи“. Если же жена благородна и по характеру мягкая, то, хоть это и противоречит ее желаниям, она ради любви к мужу, не задумываясь, сразу же откажется от главенства в доме. Она хорошо знает, что в этом залог ее спокойствия: в доме воцарится порядок и тишина, все дела она передаст свекрови, а за-

тем, затаив ненависть..., станет думать: „Посмотрим, что из этого получится", — и ни до чего не будет дотрагиваться.

«Мать, по своему неведению сама на себя накликавшая беду, в тот же день или на следующий или, в крайнем случае, в течение трех дней станет готовить пищу и выполнять всю работу в доме сына и в первый же день, или на второй, или, наконец, на третий день, каждый раз подавая еду невестке и сыну, она начнет жаловаться и говорить: „Я уже состарилась, устала, но никому нет до меня дела, никто не обращает внимания на то, как я работаю. Все спят себе спокойно, а я топчусь с утра до ночи...". Это — намек на жену сына, так как в доме нет никого другого, кто спит спокойно. И мать более вкусное предлагает сыну, уговаривая его: „Вкусите это, ведь вы заняты на базаре и в торговых рядах, другие-то всегда могут поесть где-нибудь в уголке в доме или на террасе".

«Здесь, конечно, также намек на невестку... Жена при этом уподобляется прожорливому дракону — она даже не прикасается пальцем к кушанью и не смачивает в нем губы. Поневоле при этом у скатерти с едой поднимаются шум и споры.

«После этого мужа охватывает гнев и он... все домашние дела передает в руки жены, а мать со злостью отстраняет от всех дел.

«Мать видит, что ей выделяют кушанья, она устраивает скандалы и отравляет жизнь сыну и невестке... Все это длится до тех пор, пока господь не облегчит всех их: приберет одну из женщин, или обеих, или всех троих...».[1]

Изложив права жены и матери согласно шариату и господствовавшим обычаям феодальной эпохи, автор еще раз возвращается к вопросу о свекрови:

«Если мужчина станет слушаться мать, он всегда будет себя чувствовать неловко перед женой. (Многие матери) согласны даже на развод сына; из ревности и мстительности они, если имеют состояние, готовы все его растратить на то, чтобы сын развелся с женой и женился на другой; с этой новой невесткой свекровь поступает

[1] Избранные отрывки из рукописи «Редкости событий», № 1409 Сталинабадской гос. библиотеки им. Фирдоуси, стр. 391—397. (*Примеч. автора*).

так же, как с прежней, и даже хуже. (Некоторые матери) по пять-семь раз разводили своих сыновей, и, как мы слышали, их ненависть не только не уменьшалась, но с каждым разом еще увеличивалась».

Переходя затем к описанию условий семейной жизни, автор пишет:

«Одно из условий: мужчина, собирающийся жениться, не должен иметь матери; если же он ее имеет, она не должна жить вместе с ним».

Автор перечисляет и другие условия, необходимые для вступления в брак, — наличие определенного дохода, наличие жилья и другие, — без которых в феодальное время невозможен ни брак, ни существование.

Среди условий, которые автор ставит стороне невесты, — чтобы она не имела богатых родственников. По этому поводу он говорит следующее (передаю по смыслу):

«Жизнь не проходит без неприятностей, и может статься, что между мужем и женой возникнет ссора; в таком случае родственники жены „засучив рукава и закусив удила", придут к мужу и заявят: „Кто ты таков, если не чувствуешь благодарности, став нашим зятем? Как ты смеешь говорить нашему ребенку (или нашей сестре) то-то и то-то!? При таком своем состоянии зачем же ты женился я втоптал в грязь мужскую честь?".

«Так как большинство людей не знает этой истины, то муж начнет волноваться, и жизнь его омрачается; ибо известно это или нет, но ненависть женщин к мужчинам не утихает ни днем, ни ночью, и даже при незначительной ссоре они готовы забыть тысячу отцов, матерей и детей».

Условием брака автор также ставит отсутствие у невесты матери, если же у нее есть мать, то она должна жить в доме своего мужа, но не в доме зятя. Ибо, по мнению автора, теща стремится к тому, чтобы поссорить дочь с зятем. «Она говорит (дочери): „Старайся, чтобы у твоего мужа не было много одежды, а то, что́ у тебя есть, не показывай, потому что он это продаст и возьмет, кроме тебя, еще одну жену. Не допускай также, чтобы он ночевал вне дома, иначе он заведет себе друга. Не давай ему и общаться с людьми, иначе

он ввергнет тебя в другую беду — начнет приглашать гостей и делать траты, ты же будешь сидеть, ни к чему не притронувшись, или же он даст тебе развод и ты останешься голая. Ради того дня, когда тебе придется уйти от мужа, ты должна делать запасы, потому что нельзя верить мужской любви — привязанность мужчин не основывается на искренности и правдивости".

«Источником этих наставлений тещи являются та естественная любовь и несправедливые претензии, о которых мы говорили, — т. е., если мать ребенка мужского пола (свекровь) имеет подобные претензии, то и мать ребенка женского пола (теща) считает, что поскольку это ее дочь, то и муж дочери принадлежит ей и является ее рабом... И теща настолько (озлоблена), что стремится к тому, чтобы дочь не получила наследства, дабы не передала его своему мужу».

В конце этой главы автор пишет:

«Все сказанное несколько преувеличено... Среди мужчин имеются такие, которые по своей подлости и низости много хуже женщин, имеются и женщины, которые по своему благородству и чистоте выше мужчин. Если свекровь или теща принадлежат к их числу (т. е. к числу благородных)..., то жениху ничего не угрожает, кроме изобилия и любви, но если они к этому числу не относятся, то они не что другое, как несчастье века, и подобны дракону с разинутой пастью.

«Однако вследствие своей неосведомленности и причин, о которых мы говорили выше, мужчина полагает, что все его беды происходят от жены, но не от свекрови или тещи. Поэтому холостые, или женатые, не имеющие матери, или те, которые не живут вместе с матерью, совершенно неосновательно утверждают: „Такой-то угнетен своей женой и тещей, возмутился против своей матери и заслужил ее проклятье"; „Какую ценность представляет женщина, что ее нельзя ни побить, ни убить, ни выгнать ее или развестись с ней?". Они не знают, что женщина, как и они сами, обладает душой и считает себя равной мужчине...

«Если мать потребует от сына, чтобы он развелся с женой, и сын не выполнит этого требования, причем мать останется недоволь-

ной, тогда, согласно шариату, мать не может проклясть сына». (Та же книга, выборки со стр. 398—410).

По поводу обращения мужей со своими женами и развода автор пишет:

«Однако они должны хорошо обращаться с женами. Это значит, что они не должны обижать их, должны терпеливо относиться к их невыполнимым требованиям, терпеть их неблагодарность и переносить от них обиды...

«Кроме того, мужья насколько могут, должны воздерживаться от развода. Когда дело дойдет до ссоры и сварливость и грубость жены перейдут все границы, муж не должен выходить из себя и в гневе и раздражении давать жене развод. Напротив, он должен ласково попросить у нее прощения, а если жена не примет (его извинений),... тогда он должен заявить ей о разводе; если же она сама хочет развестись, он должен прежде всего успокоить сердце жены подарком и извиниться, сказав: „Я неизбежно должен с тобой расстаться, исходя из взаимного блага...". Когда жена успокоится, тогда только он должен с ней разойтись...

«Муж никому не должен раскрывать секреты своей жены и никому не сообщать о причинах развода. Одного человека спросили: „Почему ты разводишься с женой?". Он ответил: „Нельзя раскрывать тайны своей жены". Когда же он развелся, его спросили: „Почему ты дал своей жене развод?". Он ответил: „Какое мне дело до чужих женщин, чтобы я о них рассказывал?"». (Та же книга, выдержки со стр. 414—419).

* *
*

Во второй части главы под названием «завещание детям», в разделе о профессиях и занятиях, Ахмад-махдум сначала говорит о преподавании и в связи с этим приводит отрывки из своих воспоминаний и наблюдений:

«Из официальных наук я ограничился... арабским языком и считал совершенно излишним давать уроки и собирать учеников; мне также было жаль преподавателей, у которых я учился. Я думал:

почему они согласились на это беспокойство и шум? В книгах я искал смысл жизни настоящей и будущей. Отыскивая во всем недостатки, я впал в сомнение относительно того, как определить значение науки и ученых, ибо говорят: „Наука — величие этого мира и слава будущей жизни". О какой же науке идет здесь речь? Собираются несколько невежд; ничего не понимая, они грубо шумят и через определенные промежутки времени заставляют бедных учеников приносить им блюда с изюмом и халвой, а также деньги; с радостью и удовольствием они принимают все это. Учитель от долгих разговоров устает до смерти, пищеварение у него нарушается, зубы расшатываются, он уже не может жевать и переваривать пищу; (ночью) вместо сна он читает, а днем с раннего утра до вечера слушает шум и гвалт; он не может прогуляться, не находит времени ни для еды, ни для прогулки и сидит, словно под арестом, и в холод, и в жару под просторным куполом (аудитории)...

«Когда он соберется домой, двое прислужников (ведущий под уздцы лошадь и снимающий кожаные калоши — люди, обслуживающие крупных мулл) держат стремена и бегут рядом с лошадью, чтобы учитель не свалился и не сломал себе шею. Перед лицом подобных явлений как можно уважать науку, если многие из эмирских военачальников, например миршаб и эшик-око-боши, посылают глупцов к стремени и все сообща участвуют в этом проявлении вежливости по отношению к господину домулло... При подхалимстве царских придворных, при их непротивлении гнету — какова же может быть будущая жизнь?».

Здесь автор приводит одно предание об учащихся медресе, связанное с пророком; смысл предания заключается в следующем: «Кто в поисках знаний покроет прахом свои ноги, тело того господь сделает недоступным адскому огню». Далее он пишет: «Как же может чтение хутбы с покрытыми прахом ногами и предавание по ночам разврату спасти тело от адского огня?».

«Короче говоря, не отвлеченные размышления удерживали меня от заучивания уроков; когда глаза мои раскрылись, я увидел, что все эти шейхи и ишаны — обманщики, а улемы — взяточники...». (Та же книга, выдержки со стр. 706—711).

* *
*

Ахмад Дониш в своем произведении «Трактат о состоянии цивилизации и о взаимной солидарности», помещенном в начале «Редкостей событий», одно за другим перечисляет все безобразия, творимые при дворе эмира бухарского, требует их исправления и определяет обязанности монарха и всех его чиновников. Например, он считает монарха работником и слугой народа и по этому поводу пишет: «Монарх, в действительности, — работник и слуга своих подданных; так, если в какой-нибудь местности существует опасность от воров и разбойников и народ возьмет кого-либо для несения караульной службы, то он обеспечит этому человеку хлеб и воду, чтобы ночью он караулил, не спал и таким образом принял на себя обязанность уничтожить врагов порядка. Точно так же и подданные приносят монарху десятину, пошлину и закет с такой же целью; они говорят: „Заботься о нас и обеспечь нас водой и очисти наши дороги от разбойников, чтобы мы могли спокойно жить; если же ты будешь сам сидеть спокойно, то откуда мы обретем спокойствие?“. Если кто-либо берет на себя общественные обязательства, где же у него будет досуг, чтобы проявлять спесь и надменность? В действительности монарх имеет право на богатство лишь настолько, чтобы... обеспечить себе жизненные потребности; тем же, что сверх этого, он не вправе владеть — это принадлежит и должно принадлежать другим». (Та же книга, стр. 102).

В другом месте этого трактата по поводу придворных он пишет:

«Это сословие собирается при царских дворах по той причине, что люди, принадлежащие к нему, из-за крайней своей лености и беспомощности непригодны ни к какому ремеслу или занятию. Они не в состоянии приложить хотя бы немного ума к какой-нибудь профессии, ибо даже следов ума у них не видно. Они полагают, что даровой хлеб... можно найти на службе у монарха, потому что служба у него ничем не регламентируется: всякий, кто туда попадает, получает лошадь и халат, сесть же на лошадь и отправиться в эмирский дворец, чтобы отдать салам, сможет всякий дурак; не составляет труда и отправиться вместе с истцом и ответчиком в какую-нибудь

деревню и разрешить тяжбу между сторонами, которая обычно разрешается амином и арбобом...

«„Доброжелательство“ и „заботы“ их таковы, что если загорится город и станут рушиться дома, а до монарха в его дворце донесется шум из города и дым пожара, они почтительно доложат: „Ничего особенного не случилось, гончары разожгли огонь, и это пламя из их печей“.

«А если ночью воры заберутся в жилище мусульманина, разграбят его имущество и прольют кровь, а крики о помощи достигнут ушей монарха, они заявят: „Ничего особенного, это какая-то женщина бранится со своим мужем“.

«Также и в поле, в отношении воды, которой не хватает для города, они говорят: „Земли крестьян богаты водой, лишняя влага уходит в море“. Также и на базарах, где из-за дороговизны количество зерна и материй уменьшается, они говорят: „Все товары подешевели, поэтому никто ничего не покупает“, — хотя на самом деле люди ничего не покупают из-за дороговизны.

«А в местностях, где монарх проходил со своим войском и от этого народ изнемог, они говорят: „Народ этой области все свои взоры устремил на дорогу и с нетерпением ждет благословенного прихода государя“». (Та же книга, выдержки со стр. 94—96).

Ахмад-махдум в те времена не мог представить себе государства без государя. Самым смелым его идеалом была упорядоченная монархия, примером которой он считал русское государство, по своей культуре, порядку и цивилизованности действительно стоявшее в тысячу раз выше управляемой эмиром Бухары.

Его мечты и желания шли даже дальше этого; он считал, что монарх должен быть слугой народа и получать от народа необходимое для себя содержание из общенародной казны. Такие мысли были чрезвычайно благородными в условиях эмирской Бухары того времени, где не только все богатства страны, но даже все ее жители, мужчины и женщины, считались личными рабами и рабынями эмира.

Идеи Ахмад-махдума не могли не оказать влияния и на меня, ибо, видя все безобразия, творимые в государстве и при дворе, я в те времена думал: «Все это было раньше, будет и впредь, что тут поделаешь?».

* *
*

Другое место из «Редкостей событий», также оставившее у меня сильное впечатление, — это описание жадности базарного люда в целях накопления богатств. В этом отношении особенно взволновал меня рассказ об одном лавочнике, соседе автора, который свою страсть к стяжательству перемешал с религиозностью.

Я хочу здесь привести этот отрывок в изложении автора, сократив его, снабдив современной пунктуацией и в скобках объяснив некоторые слова.

В одной из глав «Редкостей событий» — «Завещание детям и правда о ремеслах и профессиях» — автор наставляет своих детей в том, чтобы они обязательно занимались каким-нибудь ремеслом или другим полезным делом. Он требует, чтобы они собственным трудом обеспечивали свои жизненные потребности, но не поддавались бы страсти копить богатства.

В назидание детям в качестве отрицательного примера людей, обуреваемых страстью стяжательства, автор выводит одного лавочника:

«Знаете ли вы, что с вами по соседству живет купец, владеющий землями, водой и садами, орудиями труда, большими стадами, прекрасной лавкой, наполненной халвой и патокой, при взгляде на которые у вас потекут слюнки, а у меня, лишь только я представлю себе его жизнь, потекут из глаз слезы?

«В этой лавке две двери; в ней сосредоточено все, что нужно людям; сам же хозяин восседает посреди гранат и винограда, подвергаясь нападению мух и ос; сам он стар и немощен — и если бы сидел себе спокойно и тратил свое богатство на себя, то и после его смерти еще оставалось бы достаточно.

«Вы видите, как летом и зимой он сидит в этой лавке с двумя дверьми; зимой здесь холодно, так как гуляет ветер, а летом жарко от горячего самума.

«В мороз он ставит перед собой глиняную плошку с горячими углями, но поминутно хватает гири, кладет их на весы, взвешивает

морковь или репу. Ему становится холодно, он подходит к огню, но не успеет согреть даже руки, как входит покупатель и что-нибудь просит. Лавочник быстро вскакивает, отпускает (товар), и не успевает он опять усесться, как входит другой покупатель; опять он, не садясь, отпускает его, а угли за это время превращаются в золу, и руки и ноги его делаются холодными, как лед.

«Когда ему присылают из дома еду, он только опускает руку в чашку и кладет в рот кусок лепешки; не успеет ее проглотить, как кто-нибудь входит. С лепешкой во рту, отпустив покупателя, он опять хочет приняться за еду, как входит другой человек. С руками, перепачканными едой, со ртом, набитым лепешкой, он крутится по лавке, разыскивая то, что спрашивает покупатель.

«Наступает время молитвы, а так как он человек религиозный, то, растерявшись, он читает свой намаз в каком-нибудь углу лавки посреди гирь и весов, лука и моркови. Не успевает он произнести и первых слов намаза „Аллах велик", как приходит новый покупатель и что-нибудь требует. Торговец не успевает дочитать молитву, как входит другой человек... каждому из них он делает знак рукой или головой, мол, посиди, пока я кончу намаз. Когда он приходит в соборную мечеть, то начало его молитвы: „Как бы кошка не стащила мясо с крюка", — а вместо повторения имени бога и перебирания четок он думает, как бы мальчишки не выкрали орехи, продырявив дно ящика.

«Летом он, несмотря на то, что является владельцем сада, не может наслаждаться его благами и даже видеть его плоды. У него нет свободной минутки, чтобы хоть напиться холодной воды в этой душной лавке, которая от знойного ветра становится похожей на адские кельи. Подобно лошади, приводящей в движение маслобойку или мельницу, он тысячу раз обходит свою лавку, халат его гниет от пота, а от него самого исходит зловоние. Ночью, когда он кладет голову на подушку, ему приходится поджимать колени под грудь, потому что нет места, куда вытянуть ноги.

«Если у него иссякают товары, он иногда верхом, иногда пешком с мешком за спиной отправляется на базар и, задыхаясь, тащит

к себе в лавку товары, чтобы оживить торговлю». (Та же книга, стр. 695—697).

Это описание Ахмад-махдума произвело на меня настолько сильное впечатление, что лавочник все время словно стоял у меня перед глазами; мне хотелось в жизни разыскать подобного торговца и посмотреть на него. Но я не мог подолгу разглядывать лавочников, сидевших в торговых рядах и на базаре.

Наконец, напротив юго-западного угла двора медресе Кукельташ я нашел одного лавочника, даже по внешнему виду похожего на того, что описал Ахмад Дониш: он тоже был старым и немощным. Однако если лавочник Дониша отличался набожностью и читал намазы, то этот был балагур и весельчак; останавливая прохожего, он, конечно, прежде всего говорил: *«Да стану я жертвой вместо вас!».* В его лавке летом тоже гулял знойный ветер, а зимой стояла стужа; лавка впереди была открыта настолько, что во время снегопада с ветром все товары вместе с владельцем покрывались снегом. Вместо плошки с углями перед ним стоял тазик; улучив свободную минутку, он грел над ним руки и ноги.

Сидеть во дворе медресе и глазеть на улицу было в обычае у всех учеников бухарских медресе, поэтому никто не удивлялся, что я сидел и смотрел на лавочника; каждый день часами просиживая в углу двора и очень внимательно наблюдая за всеми его действиями, я находил, что все его поступки совпадают с описанным у Ахмад-махдума; мое восхищение наблюдательностью автора «Редкостей событий» и правдивым изображением жизни все больше и больше возрастало.

Однажды этот лавочник, взяв под мышку мешок и опустив перед лавкой занавеску, отправился на базар. Я остался сидеть в углу двора, дожидаясь его возвращения.

Спустя час, лавочник вернулся. Он нес на спине мешочек риса; вместе с ним шел крестьянин, он гнал осла, нагруженного мешком с морковью, которую крестьянин продал лавочнику.

Положив рис на место, лавочник стал пересыпать морковь крестьянина из мешка в ящик, стоявший в амбаре перед лавкой. В верхней части мешка морковь была крупной, но на дне оказалась мелкой.

Увидев это, лавочник, ворча, сложил морковь, но когда он стал расплачиваться, то дал крестьянину сумму меньшую, чем они договорились на базаре; он объяснил это тем, что часть моркови на дне мешка оказалась раскрошенной.

Крестьянин стал возражать:

— Обычай таков, — сказал он, — что наверх мешка кладут более крупную морковь и лук, а вниз мелочь. Если бы вы на базаре заявили, — мол, в случае, если на дне мешка окажется мелочь, я не возьму у тебя товар или же уплачу меньше, — то я не продал бы вам своей моркови. Даже если бы здесь поставили такое условие, я взял бы свой товар и вернулся на базар. Теперь же, когда вы смешали мою морковь с вашей старой морковью и этим самым устранили возможность торговаться, я требую заплатить мне сполна.

Что касается лавочника, то он, не обращая внимания на слова крестьянина, вопил: «Да стану я жертвой вместо вас, имейте совесть! Нечестность не удостоивается благости, да стану я жертвой вместо вас! Деньги, добытые нечестным путем, недолго держатся!..».

В конце концов от словесной перепалки дело перешло к рукопашной. Лавочник, придя в ярость, с криком: «Да стану я жертвой вместо тебя!» — выскочил на улицу, одной рукой схватил крестьянина за шиворот, а другой ударил его по голове.

Крестьянин тоже левой рукой схватил лавочника за шиворот и начал правой отпускать ему пощечины, такие звонкие, что казалось, будто бьют по медному подносу; лицо лавочника сделалось красным, подобно раскаленной на огне меди.

Лавочник был немощный старик, а крестьянин — помоложе и покрепче. Наконец, старик больше не мог выдержать побоев крестьянина, вырвался из его рук и с криком: «Да стану я жертвой вместо вас, пожалейте меня, старика, стоящего на краю могилы!» — вбежал в свою лавку. Однако при денежном расчете он не уступил ни на грош, опять хотел дать крестьянину меньше денег и все приговаривал: «Да стану я жертвой вместо вас, если хотите, берите, это все, что я дам, если нет — идите и жалуйтесь казию, эмиру или самому богу! Да стану я жертвой вместо вас, я не поддамся на ваш обман!..».

Крестьянин порывался вытащить лавочника из его лавки и опять надавать ему тумаков; однако люди, собравшиеся поглазеть на драку, удержали крестьянина: «Хоть убей этого старика, он больше не даст ни гроша. Передай все это богу, а он благословит твои поля!» — говорили они, успокаивая крестьянина.

Поневоле крестьянин забрал свой мешок и деньги, которые дал ему лавочник, сел на осла и уехал.

Когда крестьянин удалился, лавочник, словно не произошло ничего необычного, смеясь, сказал стоявшим людям: «Да стану я жертвой вместо вас, человек не может разбогатеть от одной лишь прибыли, которую он получает от торговли. Чтобы разбогатеть, нужно уметь извлечь выгоду из гирь и весов, из расчетов с покупателями или продавцами, а также из перемешивания хорошего товара с плохим».

Он рассказывал все это весело, словно в шутку. Некоторые слушатели посмеялись над его словами, другие же, ругая лавочника и призывая на его голову проклятья, разошлись. А он, повторяя: «Да стану я жертвой вместо вас, освободите место перед лавкой, дайте мне торговать!» — просил всех разойтись...

(Повествовать о двух событиях на одну и ту же тему, в особенности если рассказ о втором по своей художественности уступает рассказу о первом, — дело никуда не годное. Однако я сделал именно так, рассказав о «лавочнике Ахмада Дониша» и о «своем лавочнике». Я поступил так для того, чтобы читатели, сравнив два описания, увидели, какой силой обладало перо Ахмада Дониша).

* *
*

Другое место «Редкостей событий», которое произвело на меня очень сильное впечатление, — это тонкие наблюдения автора над дворянским и аристократическим обществом России. Хотя я был совсем еще юн, однако нечто подобное наблюдал среди местных богачей и в высших слоях бухарского общества.

В описании одного из своих путешествий в Россию автор, рассказав о бале, где присутствовал император, рисует перед мысленным

взором читателя пышное празднество; затем, обращаясь к внутреннему миру этого общества, он пишет:

«Некоторые думают, что они (т. е. представители высших слоев российского общества) очень веселы и удовлетворены, не знают никакой печали и живут всегда в довольстве и радости...

«(В действительности) это не так... Пишущий эти строки во время своего первого путешествия уяснил (истинное положение вещей), ибо глаза мои были открыты для примеров, и то уныние, (т. е. отчаяние), которое я наблюдал в среде высших классов этой страны (России), (было безмерным)... Каждый из них завидовал тому, кто был выше его, и стремился достичь такого же положения, а в отношении людей, стоящих ниже его, выказывал гордость и надменность.

«В мире нет человека, который смог бы удовлетворить все свои желания и мечты. Конечно, один стоит выше, другой — ниже. Поэтому люди постоянно завидуют друг другу. Пример этого можно было наблюдать на императорском балу — на пиршестве, которое трудно себе представить и про которое можно лишь сказать, что мало кто из властителей прошлого устраивал подобные празднества, а из властителей будущего когда-либо устроит. Ни в одной мелочи, ни в одной части бала никто не нашел бы ни одного изъяна. То был рай, воплотившийся в пышных дворцах и гуриях.

«(Однако) на этом балу я видел, что все присутствующие грустны и подавлены. Там было много того, что дает радость, женщины и мужчины опьянели и каждый мужчина хотел быть со всеми женщинами, а каждая женщина готова была пойти с каждым мужчиной.

«Но был императорский бал, поэтому открыто удовлетворить свои желания не представлялось возможным. И каждый из присутствующих тяжело вздыхал: жена Зайда (условное имя) видит, что жена Амра (также условное имя) в наряде стоимостью в тысячу динаров, вся украшенная драгоценностями, танцует с красивым знатным партнером, положив ему руку на шею и талию; она же сама в плохом наряде, партнер ее уродлив; грустная, расстроенная, она с трудом кружится в танце. Башир (также условное имя) видит, что его красивая супруга, обнявшись, танцует с Холидом, а уродливая жена Холида, танцуя с ним самим, еле передвигает ноги.

«На женщин более пожилых мужчины не обращали внимания, а женщинам не было дела до стариков. Старики завидовали молодым и красивым, завидовали их силе, ревновали и были очень опечалены. Даже сам царь, не имея возможности удовлетворить свои желания, разве тайком, мог лишь облизываться; жена царя также от старости и дряхлости инстинктивно старалась держаться среди молодых.

«Короче, я не видел ни одного человека, который не был бы печален и который не вздыхал бы тяжко».

Сходное положение автор наблюдал и на улицах, и в театрах Петербурга; объединив эти свои впечатления с теми, что остались от императорского бала, он писал:

«В театрах, на базарах и в торговых рядах также не видно было ни одного веселого или беспечного человека. Например, на одной большой улице (автор подробно описывает один из петербургских проспектов, по обеим сторонам которого расположены пышные здания и богатые товарами магазины) все люди были печальны и озабочены. Я видел там жену Зайда, сидевшую с красивым спутником в экипаже, запряженном шестеркой лошадей; ее наряд и драгоценности стоили не менее чем десять тысяч динаров, да и сам экипаж стоил около тысячи динаров. Жена Амра сидела в экипаже менее роскошном, чем у жены Зайда, и ее наряд и спутник также были несколько хуже, чем у той; или, может быть, экипаж и наряд ее были такими же (как у жены Зайда), но спутник ее был менее привлекателен. У третьей женщины спутник был привлекательный, но все остальное хуже, чем у первых двух. Каждая из них завидовала другой — ее выезду и нарядам, и ни одна из них не была удовлетворена и счастлива тем, что имела. Поэтому все они тратили ежедневно много сил на то, чтобы приобрести лучших лошадей, лучшие наряды и экипажи, — такие, каких не имел никто.

«Но уже на следующий день им казалось, что приобретенное вчера ничего не стоит. Из-за всех этих хлопот и огорчений, несмотря на все украшения и средства косметики, цвет лица у мужчин и женщин — желтый или зеленый от ревности и зависти... они всегда очень грустны. Ведь на балах они также постоянно следили за поступками, словами и поведением друг друга и все время выискивали

один у другого недостатки». (Та же книга, выдержки со стр. 542—547).

Когда я впервые увидел и прочел «Редкости событий», очень много мест из этого сочинения произвели на меня сильное впечатление; однако здесь я ограничиваюсь приведенными в виде образца отрывками.

В конце своего повествования об этом я должен еще добавить, что мое знакомство с «Редкостями событий» не только произвело во мне нравственную революцию, но также внушило мысль писать прозу. В те времена я мечтал о том, чтобы появился прозаик и стал писать прозой, подобно Ахмад-махдуму, чтобы образно, простым языком рассказать читателям о различных событиях. Эта моя мечта осуществилась лишь после Великой Октябрьской социалистической революции, когда, благодаря знакомству с произведениями русских писателей-классиков и советских писателей, я решил пойти дальше, чем Ахмад-махдум, в упрощении языка.

Да, мысль о более простом языке возникла у меня после того, как я познакомился с «Редкостями событий», ибо хотя язык этой книги для современных читателей кажется очень трудным, да и на самом деле весьма сложен, — в те времена, когда я познакомился с этой книгой, ее язык, в сравнении с языком других произведений, все же был значительно легче.

Мухаммад Сиддик Хайрат, участвовавший в правке и сличении на слух рукописи «Редкости событий», также испытал на себе ее влияние. Он жалел, что при жизни автора не познакомился с ним и не извлек для себя пользы из этого знакомства. Познакомившись с «Редкостями событий», т. е. спустя три-четыре года после смерти автора, он свое сожаление выразил в стихах. Свою элегию он посвятил кончине автора.

Вот она:

Увы, из-за вдруг разразившейся бури
В груди распустился печали бутон, —
Мир знаний, искусств, где царил он единый,
В печаль из-за смерти его погружен.
Ведь он, Мир-Ахмад, — астроном превосходный —
Был в тайны высоких наук посвящен.
Весне и цветенью мы больше не рады,

Весною он был в тесный склеп погребен.
Мне рвать на себе остается одежды,
В беспечности не был он мной сбережен.
Год смерти спросил я у мудрого старца,
«Свет знаний погас», — так ответствовал он.

1314 год хиджры (1897 год).

В своих «Редкостях событий» Ахмад-махдум, описывая свадьбу дочери русского царя, рассказывает также о французской певице Патти, присутствовавшей на этой свадьбе и получившей затем приглашение в Америку. Он расхваливает ее талант и посвящает ей стихотворение.

В то время автор этого стихотворения предстал перед нами — Хайратом, Мунзимом и мною — как лирический поэт. Считаю уместным в конце главы привести упомянутое стихотворение. Вот оно:

Стройна и прекрасна парижская Патти,
Улыбкою с губок роняет цветы,
Не видно ушей под густыми кудрями,
Юней и свежей гиацинта черты,
И взгляд на нее — наслажденье большое,
Она опьяняет вином красоты.
Ласкали нам слух ее голоса звуки,
Как трель соловья, и чисты и просты.
Когда Петербург наш она покидала,
Рыданья достигли небес высоты.

МОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В МЕДРЕСЕ КУКЕЛЬТАШ

Как было рассказано в конце третьей части «Воспоминаний», мой соученик Абдулхалил-махдум купил келью в медресе Кукельташ и пригласил меня в ней поселиться. Однако из уважения к моему старшему брату я передал эту келью ему, а сам поселился в медресе Хаджи-Зохид, в келье, которая досталась ему.

Когда брат женился и переехал в арендованный дом, я переселился в медресе Кукельташ. Это случилось в начале 1899 года.

Медресе Кукельташ было одно из самых больших в Бухаре: оно имело два этажа и 153 жилых кельи, которые, по сравнению

с кельями в других медресе, были более приспособлены для жилья. Кельи в первом этаже имели по большей части одну арку; позади жилого помещения находилась кладовка, *свет попадал через отверстие в потолке.*

Кельи же второго этажа имели, как правило, по две арки: одна из них, выходившая внутрь двора медресе, служила для сообщения с соседями, а внешняя являлась выходом специально для данной кельи.

Помещение, в котором я жил вначале после своего переселения в медресе Кукельташ, находилось на втором этаже, в юго-восточном углу; келья моя не имела арок, зато состояла из трех жилых помещений: первое находилось под высоким просторным куполом и освещалось окошечком на восточной стороне задней стены медресе; второе было расположено над общим коридором, примыкавшим ко входу, здесь был низкий потолок, а освещалось оно через окошечко, выходившее внутрь двора медресе; сюда приходилось подниматься по ступенькам из первого помещения; третье помещение было пристроено с южной стороны первого, и в него также надо было подниматься по лестнице. Это помещение было расположено над кладовкой с дровами и углем, относившейся также к этой келье, оно освещалось окошком, выходившим на восточную сторону медресе.

У меня было мало подстилок, поэтому я избрал своим жильем первое помещение, а в двух других расстелил белые циновки.

Медресе Кукельташ построил молочный брат и высший сановник Абдуллы-хана шейбанида — Кульбобо Кукельташ, когда был правителем Герата. В 986 году хиджры (1578 год европейского летоисчисления) он передал этому медресе в вакф несколько караван-сараев и базаров внутри страны и земледельческий район на Каршинской равнине.

После того как Абдулла-хан во время своей вражды с сыном Абдулму'мином умер от горя в 1006 году хиджры (1597 год европейского летоисчисления), Абдулму'мин среди других крупных сановников отца, подвергнув пыткам и мучениям, зверски умертвил Кульбобо Кукельташа. Поэтому в народе, благодаря толкованиям духовенства, появилось предание, будто «всякий, кто станет жить в медресе Кукельташ, сделается либо крупным муллой, либо богачом,

либо мученически погибнет, став невинной жертвой, — либо сделается и тем, и другим, и третьим, так как строитель этого медресе Кульбобо Кукельташ был и ученым, и крупным богачом, окончил же свой путь мученической смертью».

* *
*

Медресе Кукельташ имело богатые вакфы, его кельи были удобны для жилья, поэтому почти все они принадлежали байским сынкам, отпрыскам крупного духовенства и казиев. Даже сыновья баев из отдаленных селений, приезжая в Бухару учиться (или есть плов и развлекаться), старались получить келью в медресе Кукельташ.

Иные простаки или лицемеры, обосновывая свои притязания, приводили поверье, рассказанное выше.

Некоторые из сыновей бухарских богачей, не имевшие к занятиям в этом медресе никакого отношения, приобретали здесь для себя келью, производили в ней ремонт, а затем украшали ее и оснащали всем необходимым для наслаждений и развлечений. Устав от торговли или от домашних удовольствий, они в один из вечеров, избавившись от жены и детей, устраивали здесь пирушку в кругу интимных друзей.

Прежним владельцем моей кельи был некий байский сынок по имени Расул-кул. Несмотря на то, что в городе у него был хороший двухэтажный дом, наполненный дорогой утварью и обстановкой, он купил эту келью и третье помещение в ней оборудовал для себя под жилье, богато обставив его и разрисовав стены и потолок цветами; один или два вечера в неделю он устраивал здесь пирушки. Однако, обанкротившись, он вынужден был продать келью.

Благодаря указанным причинам, да еще богатому вакфу стоимость келий в этом медресе была более высокой и добыть здесь келью даже людям, имевшим большие деньги и жаждавшим наслаждений, было нелегко; по большей части им удавалось достичь этого благодаря взяткам в пользу руководителей медресе.

В медресе Кукельташ разврат и распутство почти не считались предосудительными, и владельцы келий, жаждавшие развлечений,

чуть ли не открыто занимались непотребными делами, о каких простой народ и представления не имел. В большинстве кладовок и на полках в кельях стояли кувшины с виноградным вином.

Порой случались там и убийства, и поножовщина, чему не придавали значения ни руководители медресе, ни правители города. Об одном таком убийстве в этом медресе я рассказал во второй части «Воспоминаний». Однако в те времена, когда я там жил, один «ученик» из туркменских байских сыновей, принадлежавший к племени эрсари, убил одного или нескольких туркмен.

Сторона убитого уплатила властям штраф — «деньги за кровь» — и заявила: «Мы сведем свои счеты в туркменской степи, а вы в наши дела не мешайтесь», — и этим заставила замолчать власти, которым в действительности ни до чего не было дела, лишь бы получить деньги. Что же касается руководителей медресе, то, с удовольствием отведав поминального плова за убитого, они «замазали себе рот глиной».

В этом медресе считалось обыкновенным делом зверски нападать друг на друга, собираться в какой-нибудь келье и играть в карты в учебные вечера или затевать пьяные скандалы, нарушая тем самым представление о благопристойности бухарских духовных школ.

В эмирской Бухаре муллы и их прихлебатели (ученики) были, по общему мнению, более свободны и стояли выше остального населения, однако «свобода творить непристойные дела» в медресе Кукельташ была абсолютной и неограниченной.

Конечно, все, что здесь сказано о поведении и нравственности живущих в медресе Кукельташ, касается большинства, однако и в нем были муллы и ученики, среди всего этого шума и гама продолжавшие учиться.

В этом медресе людей, занимавших кельи временно, насчитывалось немного: это были люди, либо вовсе не имевшие собственных келий, либо проживавшие в качестве слуг богатых владельцев келий, учеников и крупных мулл, либо, подобно мне, находившие сюда доступ благодаря дружбе с сыновьями какого-нибудь высокопоставленного лица. Поэтому и временные обитатели медресе также пользовались свободой под защитой своих покровителей.

Однако защита покровителя — владельца кельи лишь тогда была полезной для временного обитателя, когда между покровителем и руководителями медресе устанавливались хорошие или по крайней мере безразличные отношения. Если же между покровителем и одним из почтенных обитателей медресе возникала ссора, в особенности если последнему не нравились некоторые поступки временного жильца, то он подвергался всевозможным нападкам и неприятностям.

Подобный случай произошел в этом медресе в то время, когда я жил там. В те времена в Бухаре степенью «а'лам» обладал один крупный мулла по имени Гиёс-махдум. Эта почетная степень означала «самый образованный среди улемов». Смысл такого звания заключался в том, что если между муфтиями возникал спор по правовому вопросу, то каждая из спорящих сторон давала — одна истцу, другая ответчику — фетвы друг против друга, и казий был вынужден решать спор в пользу того, на чьей стороне стоял а'лам.

Гиёс-махдум-а'лам, прежде чем достигнуть этой степени, был казием в Гиждуване и в это время привлек к себе одного из тамошних мальчиков, сына одного маддоха. Сделавшись из казия а'ламом, он под предлогом того, что будет учить этого мальчика и сделает муллой, привез его с собой в город в качестве интимного слуги.

Поступок Гиёс-махдума очень задел гиждуванцев. Гиждуванские маддохи и их сыновья славились своей безнравственностью. Однако именно потому, что юноша был из Гиждувана, гиждуванцы сочли поступок а'лама позорным, вследствие чего возненавидели и а'лама, и самого юношу.

Согласно своему обещанию, а'лам купил в медресе Кукельташ келью, поселил в ней гиждуванца — сына маддоха и велел одному из своих верных учеников, бухарцу, одного уровня знаний с тем юношей, каждый вечер приходить в келью к сыну маддоха, помогать ему приготовлять уроки, а потом оставаться там ночевать и охранять его.

Эти действия а'лама еще больше возмутили гиждуванцев, и они между собой говорили: «Ну-ка, посмотрим, как сможет а'лам защитить своего наперсника с помощью одного бухарца?».

В те времена в медресе Кукельташ жил авторитетный гидждуванец Мулло-Файзи, занимавшийся прежде отливкой наконечников для сох. Он решил отомстить сыну маддоха. Другие гидждуванцы, жившие в этом медресе, не присоединились к его мщению, однако и не препятствовали, так как, по их мнению, мешать подобному делу — значит нанести ущерб чести гидждуванцев.

Для осуществления своего плана мести Мулло-Файзи привлек еще двух учеников-гидждуванцев, живших в другом медресе, а также одного своего ученика, Хаджи-Манона из Карши, который был не только хаджи, но также и мюридом ишана Шояхси. Келья Хаджи-Манона стояла как раз на пути, которым обычно ходил сын маддоха, поэтому из нее удобно было выследить его.

Однажды ночью мстители решили привести свой план в исполнение. Мулло-Файзи вместе с двумя своими бесстрашными приятелями засел в келье Хаджи-Манона, расположенной в первом этаже; они погасили фонарь, открыли дверь и приготовились встретить сына маддоха. После полуночи он вместе со своим сторожем, несшим фонарь, спустился со второго этажа и хотел пройти в уборную. Те трое внезапно набросились на них сзади, двое из нападавших схватили обоих в охапку, закрыли рты, чтобы те не кричали, а третий погасил их фонарь, потом все вместе втащили свою добычу в келью Хаджи-Манона.

Здесь хозяин кельи присоединился к трем нападавшим, и что они вчетвером сделали со своими пленниками, никто не знает. Известно лишь, что когда они их освободили, то в руки сына маддоха дали записку; в ней было написано:

«Скажи своему а'ламу, что если он хочет с нами бороться, пусть сам открыто выйдет к нам. Напрасно он выставил на поле битвы бухарца, у которого еще не обсохло молоко на губах. Пусть а'лам не становится причиной позора подобных юнцов».

ГИДЖДУВАНСКИЕ ПОЧТЕННЫЕ СТАРЦЫ

Конечно, а'лам не пожаловался ни верховному судье, ни кушбеги, ни эмиру; он и не мог жаловаться, ибо результатом этого был бы только его собственный позор. Поневоле на следующий же день он

забрал сына маддоха из медресе Кукельташ и спустя несколько дней, купив келью в медресе Мир-Араб, относительно более спокойном, поселил его там.

Однако слухи об этом событии распространились по городу, как всегда, в преувеличенных размерах, и авторитет а'лама упал даже ниже, чем он сам ожидал.

Завершая описание условий жизни в медресе Кукельташ, необходимо еще рассказать об одном событии. Хотя оно являлось частным случаем, однако весьма наглядно рисует свойства характера большинства обитателей этого медресе.

Еще в те времена, когда мой отец жил в бухарских медресе, он купил небольшой глиняный горшок для масла. После его смерти этот горшок остался у нас в доме. Поступив в медресе, я привез с собой из деревни и этот горшок.

При переезде в медресе Кукельташ мне пришлось купить для масла цинковый сосуд. Когда глиняный горшок освободился из-под масла, муэдзин попросил меня отдать ему этот горшок. Я отдал.

Позднее я понял, что какой-нибудь ученик из того же медресе попросил муэдзина достать промасленный горшок для вина. Муэдзин, выпросив у меня горшок, продал его тому ученику за полную цену.

Об этом событии я написал следующие стихи:

Кувшинчик от отца в наследство мне достался,
Гляди — он в медресе предлогом пьянства стал.
Послушать стоит, как святой служитель
Для пьяниц ревностно сосуд искал.

Абдулхалил-махдум, знакомый с положением дел в медресе, после моего переезда в его келью сам пришел ко мне и устроил угощение для нескольких руководителей этого учебного заведения. Представляя меня, он сказал:

— Я прошу не считать этого человека временным жильцом; эту келью я купил для него и передаю ему. Поэтому владельцем кельи следует считать его.

Кроме этих, были еще несколько других «почтенных» гиждуванцев, владельцев келий, которые меня уважали. Благодаря этому я вполне спокойно жил в этом весьма беспокойном медресе.

* *
*

Мои занятия в период жизни в этом медресе, в особенности после знакомства с «Редкостями событий» Ахмада Дониша, сильно расстроились; домашние же занятия с репетитором я считал бесполезными, а время на них — напрасно потраченным. Однако, согласно обычаю, я брал книги, посещал уроки и говорил со своими друзьями о необходимости исправления программы медресе.

Мои рассуждения пришлись по душе моим соученикам — Хайрату, Мирзо-Абдулвохиду Мунзиму, Абдулхалил-махдуму, Хомид-Ходже-Мехри и даже Мир-Кодир-махдуму, считавшемуся безумным. Они еще больше заострили и развили мои мысли, но считали невозможным осуществить их в условиях тогдашней Бухары.

Однако некоторые из моих соучеников, целью которых было поскорее закончить учение и стать где-нибудь казием, раисом, преподавателем медресе или хотя бы имамом в каком-нибудь квартале или, на худой конец, вернуться к себе в деревню и стать среди неграмотного населения «знатоком шариата», не хотели даже слушать подобных разговоров и смеялись над ними.

Основным моим занятием в медресе Кукельташ было чтение книг по литературе и истории; таких книг я не имел, но мои друзья давали мне их на время и этим утоляли мою жажду знаний.

Устав заниматься, я шел к упомянутым друзьям, участвовал в их литературных вечерах, иногда же они приходили ко мне.

Посещения различных праздников и пирушек, на некоторое время сократившиеся, снова участились, когда я охладел к ученью; стоило только мне услышать звук бубна или разговор о том, что где-то устраивается праздник, на который будут приглашать ударами в бубен, как я шел туда и развлекался.

Эта моя привычка, которая в глазах почтенных мулл считалась неприличной, оказала влияние и на моих близких друзей: если сна-

чала они лишь ради меня шли вместе со мной на подобные праздники, то постепенно сами втянулись в эти посещения; а так как в эмирской Бухаре не было никаких мест развлечений и театров, то они постепенно стали завсегдатаями таких праздников и считали это даже необходимым для отдыха.

Мы посещали праздники также в деревнях, расположенных в окрестностях города; если один из нас имел где-нибудь знакомого, то мы все вместе отправлялись туда и проводили там вечер.

ССОРА ХАДЖИ-МАХДУМА С БУХАРСКИМ А'ЛАМОМ

В гнусных условиях эмирской Бухары одинокие юноши не могли спокойно существовать. Если таких юношей не трогали городские хулиганы и дерзкие ученики медресе, то их не оставляли в покое миршаб и эмир. Даже сам миршаб подстрекал хулиганов нападать на таких одиноких юношей и затевать с ними ссоры, тогда под этим предлогом он мог бы схватить их и передать эмиру «на воспитание».

Так, в Бухаре жил один юноша по имени Сиддик-джон, оставшийся круглым сиротой; его дяди по матери были тихими, скромными людьми. Несколько раз под теми или иными предлогами стражники пытались его схватить, но его дяди с помощью взяток выручали его. Однако они видели, что так будет продолжаться до бесконечности, между тем из-за взяток они потеряют свое состояние и все-таки в конце концов миршаб схватит их племянника и передаст эмиру. Поэтому они принялись искать ему покровителя.

В это время стало известно о победе Хаджи-Махдума над миршабом, о чем было частично рассказано выше в этой же части «Воспоминаний». Дяди Сиддик-джона, решив воспользоваться этой победой, отдали своего племянника под его покровительство.

Хаджи-Махдум взялся воспитывать юношу. В те времена единственным путем воспитания было учение, поэтому он решил учить юношу и определил его к а'ламу Гиёс-махдуму, у которого сам был учеником.

Под предлогом того, что юноша в доме Хаджи-Махдума «испортится», а'лам запретил ему посещать Хаджи-Махдума и заставил его

дядей согласиться с тем, чтобы тот жил у него в доме, говоря, что сам защитит его от всяких напастей.

Авторитет а'лама стоял намного выше авторитета Хаджи-Махдума, кроме того было очевидно, что миршаб никогда не осмелится захватить их племянника в доме а'лама, поэтому дяди приняли предложение а'лама и отдали Сиддик-джона под его покровительство.

Хаджи-Махдум, принадлежавший к числу старых гуляк, обиделся на а'лама и решил отомстить ему, опозорив перед людьми. Он искал удобный момент для осуществления своей мести, и такой момент вскоре ему представился.

Это произошло на праздник курбан. Мы, несколько друзей, имели обычай в праздничные дни выходить за городские ворота Намозгох и там отдыхать на суфе.

Город расположен значительно выше окрестностей, поэтому, сидя внизу, можно было видеть каждого, выходившего с пышностью через городские ворота на праздник.

Напротив нас, шагах в пятидесяти, находился бассейн, на суфе возле бассейна сидела еще одна группа; это также были пышно разодетые ради праздника люди, жаждавшие развлечений. Бассейн располагался ниже нас, и мы могли обозревать и это место. Вскоре мы заметили, что в той группе находился и Хаджи-Махдум.

Цепочка людей, шедших на праздник, не прерывалась; один за другим выходя из города, они проходили мимо нас и направлялись к праздничной площади Намозгох. Наблюдать за ними было поистине занимательным развлечением. Баи и их сыновья, надев на себя несколько толстых дорогих халатов из разноцветной материи, передвигались с трудом, обливались потом и при этом с любопытством осматривали других баев и их сыновей. Если они находили, что одежда других богаче и красивей, а халатов на тех больше, то на лицах у них появлялись гримасы огорчения. Если же они видели, что те одеты хуже их, то снова — может быть, в сотый раз — осматривали себя, от вязаной тесьмы на халате до свисающего кончика чалмы; удовлетворившись красотой и стоимостью своего наряда, они расцветали от гордости и тщеславия.

Другим развлечением было наблюдать за высшими эмирскими чиновниками; кроме них, никто не имел права ехать к месту праздника верхом. Украшения на них составляли часть их официального наряда; сами они были одеты в парчу, тканую золотом, сбруя их лошадей, украшенная драгоценными камнями, также была из золота; все это слепило глаза зрителей, отражая солнечные лучи.

Едва кто-нибудь из высоких чиновников появлялся вдали, прохожие очищали дорогу, чтобы зрители, сидевшие по обеим ее сторонам, могли хорошенько разглядеть его, а он смог бы видеть их. Чиновник, в силу своего великолепия считавший себя единственным человеком, достойным уважения, посматривал по сторонам, стараясь уловить знаки одобрения, привета и почета.

Однако зрители, видевшие «превосходство» этого чиновника над простыми людьми только в его пышном наряде, не обращали никакого внимания на того, кто облачен в этот наряд, а глазели только на его одеяние и убранство лошади.

Чиновник же, не встретив ожидаемого приема, решал, что в его одежде есть какой-нибудь недостаток, и внимательно разглядывал полы и рукава своего халата.

Некоторые догадливые зрители, поняв по этим действиям внутреннее состояние чиновника, смеялись; он же, заметив этот смех и еще более разволновавшись, ощупывал свою чалму, боясь, как бы не нарушилась одна из складок или не развязался нижний конец, смешно повиснув сзади на спине, подобно хвосту змея, запускаемого мальчишками.

В самый разгар зрелища со стороны города показались трое: посредине — Сиддик-джон, а по бокам — два нарядных ученика бухарского а'лама. Все трое были разодеты в праздничные одежды, на поясе у каждого висело по два ножа в украшенных драгоценными камнями ножнах, видневшихся из-под верхних халатов.

Они прошли мимо нас и подошли к бассейну, как вдруг из группы, сидевшей у бассейна, выскочил Хаджи-Махдум и одним прыжком очутился на середине улицы. Он сгреб в кулак воротники халата, рубашки и камзола у щеголя, шедшего справа, и с бранью потащил его вперед. Должно быть, в руках у Хаджи-Махдума был кри-

вой нож, потому что когда он потащил этого щеголя, то у того халат, рубашка и камзол оказались распоротыми от воротника до самой талии.

Как только разразился скандал, мы побежали к месту происшествия. Зрители и прохожие сразу же окружили обоих, и на дороге собралась большая толпа людей.

Второй щеголь, шедший слева, увидев унижение, которому подвергся его приятель, и его порванную одежду, вытащил из футляра свой нож и показал Махдуму, но не приблизился, чтобы ударить.

Увидев, что щеголь вытащил нож и не решается подойти, Хаджи-Махдум открыл грудь и со словами: «Иди, бей!» — подошел к щеголю. Тот, боясь приблизиться и пустить в дело нож, отступил немного назад.

Хаджи-Махдум осыпал его грязной уличной бранью:

— Если ты не умеешь ударить ножом, — сказал он, — зачем же ты его повесил и для чего вытащил? Эй, трус, либо ударь меня ножом, либо отдай его мне, чтобы я научил тебя, как надо им владеть! — и он подошел еще ближе.

Щеголь обратился в бегство, стараясь скрыться в толпе. Однако плотная масса людей не дала ему возможности осуществить это намерение.

В это время люди верховного судьи и кушбеги, в дни скопления народа поддерживавшие на улицах порядок, подошли к месту ссоры и принялись увещевать Хаджи-Махдума:

— Стыдно, Махдум, стыдно! Успокойтесь! Пусть сгинет дьявол! — говорили они, стараясь потушить скандал.

В тот момент, когда люди верховного судьи и кушбеги, схватив Хаджи-Махдума, читали ему наставления, со стороны города до толпы, собравшейся вокруг ссорившихся, донеслись крики: «Берегись, берегись, отойдите в сторону, дайте дорогу!». Люди, насколько могли, расступились, очистив путь для одного всадника.

В образовавшемся коридоре, среди густой толпы, появился а'лам Гиёс-махдум; на нем был парчовый халат, на голове — чалма и шитая золотом шапка, на ногах также шитые золотом ичиги и кожаные калоши. Его верховая лошадь украшена была не меньше

его самого: нагрудное украшение, султан на голове и подхвостник были выложены золотом и украшены сердоликами, попона сплошь расшита золотом, покрывало на седле — из алого вышитого цветами бархата, уздечка также выложена золотом и украшена двенадцатью золотыми подвесками, которые вместе с расчесанной гривой украшали лошадь, словно юную невесту.

А'лам подъехал к месту ссоры в тот момент, когда люди верховного судьи и кушбеги увещевали Хаджи-Махдума, говоря: «Стыдно, стыдно!». Как только Хаджи-Махдум увидел подъезжавшего а'ламa, он, хотя его держали люди правителей, протянул правую руку в сторону прибывшего и сказал:

— Позор этому человеку! Он нацепил себе на грудь и голову по два пуда золота и на лошадь тоже навесил пуд золота; он считает себя а'ламом Бухары и знатоком шариата, а сам учит своих учеников безобразничать и подобным поведением вынуждает честных людей так же бессовестно обращаться с его безобразными учениками.

А'лам, желая показать народу свое праздничное великолепие, ехал с достоинством и не спеша; однако, увидев протянутую в его сторону руку и услышав слова Хаджи-Махдума, он наклонил голову, стегнул плетью лошадь и поспешно поскакал в сторону Намозгоха.

Народ, услышав сочные язвительные слова Хаджи-Махдума и увидев смешное положение, в которое попал а'лам, и его бегство, разошелся с громким хохотом.

ТЕАТР ХАДЖИ-МАХДУМА

После того как Хаджи-Махдум в присутствии толпы простого народа и тех, кто состоит на службе у сановников, обругал а'ламa города, он не мог открыто появляться на улицах — его тотчас схватили бы и наказали, чтобы защитить честь крупных чиновников и а'ламa, который считался самым уважаемым среди духовенства. Поэтому, когда толпа рассеялась, Хаджи-Махдум не пошел в сторону Намозгоха; пройдя улочками и переулками, он укрылся в доме одного из своих друзей.

Как это обычно бывает в феодальном обществе, в ограблении народа, в насилиях и жестокостях чиновники, представители власти

и придворные вполне солидарны, однако при распределении и получении должностей они превращаются в смертельных врагов. Так, верховный судья Бадриддин, сын которого Бурхониддин был раисом в Бухаре, мечтал, чтобы сын после его смерти стал верховным судьей. Однако этому желанию препятствовали такие крупные муллы, как например а'лам Гиёс-махдум, сам стремившийся занять место верховного судьи; поэтому Бадриддин считал а'лама и его друзей своими врагами, а его врагов — своими близкими друзьями и старался не причинять им обид.

Когда а'лам пожаловался на Хаджи-Махдума, верховный судья, хорошо зная через своих шпионов, где прячется Хаджи-Махдум, тем не менее ответил а'ламу:

— Неизвестно, где скрывается этот преступник. Мы проводим тщательные поиски; конечно, он попадется нам в руки, и тогда мы его так накажем, что это будет служить примером и для других. — Столь горячими увещеваниями он стремился ослабить гнев а'лама, а на самом деле «наполнял его подол пустыми орехами».

В это время любители происшествий всюду — в чайных, в мехмонхонах, по улицам — со многими добавлениями и преувеличениями рассказывали историю ссоры Хаджи-Махдума с а'ламом, и у народа теперь не осталось даже частицы уважения к а'ламу. Дошло до того, что друзья его возненавидели и прониклись к нему отвращением. Поэтому шансы его стать верховным судьей все уменьшались, что весьма радовало верховного судью и его сына.

Спустя три дня после описанного события раис Бурхониддин ночью тайком послал человека в дом, где скрывался Хаджи-Махдум, и пригласил его к себе, чтобы от него самого услышать подробности ссоры с а'ламом, ибо, как говорится, «слова приятно услышать из уст Лукмана».

Хаджи-Махдум, хорошо зная о противоречиях между верховным судьей, раисом и а'ламом. принял приглашение и ночью явился в дом раиса. Тот ждал его вместе с сыновьями, зятем и служками.

Когда раис спросил об этой ссоре, тот ответил:

— Таксир, когда я совершал хадж, то в России и в других странах видел дома, где показывали представления и называли это теат-

ром; там люди изображали различные истории, и это было весьма занимательно. Если позволите, я здесь приготовлю все необходимое для игры и так изображу нашу ссору, что вы будете очень довольны.

Раис разрешил, и Хаджи-Махдум начал: из раиса он сделал как бы а'лама, двоих его сыновей нарядил в пышные халаты, и они должны были изображать щеголей — учеников а'лама; зятя раиса превратил в Сиддик-джона, нескольких служек заставил изображать людей верховного судьи и кушбеги и стражников, наблюдавших за порядком на улице; остальные служки были толпой зрителей.

Распределив таким образом роли, Хаджи-Махдум превратился в «режиссера» и провел со своими «артистами» репетицию. С их помощью он разыграл свою историю: на одном из сыновей раиса, изображавшем щеголя и шедшем по правую сторону, он разорвал одежду, другого сына, игравшего роль «щеголя, шедшего с левой стороны», осыпал уличной бранью.

Раис, стоявший в передней и с удовольствием наблюдавший за представлением, по знаку «стражников» вышел вперед, и Хаджи-Махдум, как бы принимая его за а'лама, тоже осыпал его бранью во много раз грубее, чем подлинного а'лама, как это было описано выше.

При виде этого зрелища раис хохотал до колик и попросил Хаджи-Махдума снова все повторить. Так, заставив Хаджи-Махдума повторить это представление несколько раз, он услышал и в свой адрес и в адрес своих сыновей изрядную брань — в такой степени, как этого хотелось Хаджи-Махдуму.

* *
*

В ту ночь у нас была вечеринка в келье Хомид-ходжи Мехри в медресе Турсун-джон. В час ночи неожиданно явился Хаджи-Махдум и рассказал нам о своей проделке, а затем добавил:

— Этот дурак (т. е. раис), своей гнусностью, спесивостью и погоней за высокими чинами превзошедший а'лама, считающий себя и своего отца неограниченными властителями Бухары, а женщин и мужчин, что населяют эту страну, — своими слугами и рабами, был очень

доволен, что я осрамил его врага. Однако я очень рад, что, не упустив момент, сумел по мере возможности отомстить также этому негодяю и его сыновьям за все, что они творили с подвластными людьми, т. е. одним выстрелом поразил две цели.

Один из участников вечеринки одобрил рассказ Хаджи-Махдума, сказав:

— Хорошо, когда, раз подмигнув, достигаешь двух целей.

МЕСЯЦ РАМАЗАН В БУХАРЕ И НОЧНОЙ БАЗАР

Месяц рамазан в Бухаре был по характеру своему временем сложным и противоречивым. С одной стороны, он считался «благословенным месяцем» — месяцем молитв и поклонений, прощения грехов; согласно обычаю, в этот месяц мусульмане соблюдали пост; сверх обычного пятикратного намаза они каждую ночь читали дополнительный намаз, в большинстве мечетей во время этого намаза читали или слушали с начала до конца весь Коран и бодрствовали всю ночь напролет, в дервишских обителях шейхи со своими мюридами сидели в уединении последние десять дней месяца, и т. д.

С другой стороны, этот месяц для людей сытых или бродяг был порой безделья, обжорства и наслаждений, порою игры в карты, ссор и скандалов.

Удивительно то, что большинство упомянутых выше непристойных дел совершалось вперемежку с делами благочестивыми. Короче, следует сказать, что рамазан в Бухаре был месяцем лицемерия, лжи и обмана, месяцем болезней и всяческих тягот.

Он начинался официальным лицемерием духовенства. Согласно шариату, начало и конец рамазана нельзя было определить с помощью астрономии, — то и другое мусульмане должны были определять по появлению молодого месяца. Все мусульмане не могут заметить появление новой луны, поэтому двое или более «беспристрастных благочестивых мусульман, в жизни своей не произнесших лживого слова», увидев молодой месяц, должны прийти к казию и свидетельствовать, что видели новолуние. Если казий признает их свидетельство соответствующим шариату, то он официально объявляет: «Завтра рамазан» или «Завтра праздник».

Таково веление шариата! Теперь посмотрим, как это осуществлялось в «благородной Бухаре», получившей этот титул благодаря тому, что она была религиозным центром Средней Азии. «Обычные знатоки календаря» из среды духовенства, которые считали в шести лунных месяцах через месяц — по 30 дней, а в остальных по 29, в месяце рамазане всегда считали 30 дней и уже заранее определяли: «Рамазан начнется в такой-то день».

Согласно этому определению, в канун праздника муфтии, верховный судья и раис Бухары собирались на Регистане возле мечети Поянда незадолго до предпоследнего намаза. Помощник раиса посылал на крышу медресе Мир-Араб двух-трех подкупленных или подговоренных свидетелей.

Независимо от погоды — облачная ли, ясная ли — они с крыши, «увидев сразу же после захода солнца молодой месяц», мчались прямо на Регистан и свидетельствовали о появлении молодого месяца.

К этому времени улемы и верховный судья, закончив предпоследний намаз, сидели, ожидая свидетельства людей, «увидевших новый месяц». Помощник раиса, усадив «беспристрастных свидетелей» напротив казия, говорил:

— Они видели новый месяц рамазана и хотят дать свои показания в присутствии «опоры шариата».

Верховный судья спрашивал их о предписаниях веры и обо всем, что, согласно шариату, полагается знать свидетелям.

Они отвечали то, что усвоили лет 15—20 назад, чтобы овладеть этой профессией (т. е. лжесвидетельством), и что ежегодно повторяли перед казием.

После этого казий приглашал их дать свидетельские показания. Каждый из них по очереди произносил: «Во имя бога, а не лицемерно, свидетельствую, что я видел на западе после захода солнца новый месяц в форме лука, один конец которого загнут кверху, а другой опущен книзу».

Верховный судья спрашивал муфтиев, соответствуют ли шариату эти показания свидетелей. Когда муфтии кивком головы признавали показания достоверными, верховный судья выносил определение, что

со следующего дня начинается рамазан и что об этом следует объявить официально.

Помощник раиса, услышав его решение, направлялся к мосту в Арк и давал знак бить в барабаны барабанщикам, уже сидящим над воротами Арка в специальной комнате, с палочками в руках и с барабанами, на которые туго натянута разогретая кожа. Те одновременно начинали бить в десять-двенадцать барабанчиков и в огромный барабан.

Таким способом население города официально оповещалось, что на следующий день наступает рамазан. Помощник раиса выплачивал «беспристрастным свидетелям» по две теньги за их «службу» и с благодарностью отпускал их.

Относительно лживости этого свидетельства среди бухарского населения ходил анекдот, причем не сочиненный каким-нибудь шутником, а отразивший вполне реальный случай. Один из бухарских верховных судей, домулло Абдушукур, в прошлом отбельщик тканей, не боявшийся разоблачать разные шариатские уловки и лицемерие, спросил одного из свидетелей, дряхлого старика со слезящимися красными подслеповатыми глазами:

— Отец! Мы, будучи моложе вас и обладая более острым зрением, поднялись на крышу цитадели, выше, чем крыша медресе Мир-Араб, и, сколько ни всматривались, не могли увидеть молодой месяц. Как же вы, при вашей старости и ваших слепых глазах, смогли его узреть?

Престарелый свидетель ответил:

— Вот уже пятнадцать или двадцать лет, как я, глядя на молодой месяц, привык видеть его. Если я даже закрою глаза, то увижу молодой месяц так же, как если бы то была четырнадцатидневная луна.

* *
*

В месяц рамазан все лавки, торговые склады, чайные, харчевни и парикмахерские были открыты до полуночи. Люди ночью покупали все товары, кроме съестных.

В торговых рядах, на базарах, в чайных певцы распевали песни, а в некоторых местах рассказывали сказки и легенды. Эти народные сборища называли «ночным базаром».

На улицах за делом и без дела толпился народ. Здесь не запрещалось гулять даже после закрытия ночного базара, т. е. после полуночи. Жители Бухары, в течение одиннадцати месяцев в году от времени последнего намаза (т. е. через полтора часа после захода солнца) до предрассветного намаза (т. е. до времени, когда до восхода солнца оставалось полтора часа) не смевшие выходить на улицу и осужденные сидеть дома, считали великим благом эту возможность свободно ходить по улицам ночью. Поэтому-то большинство людей в эту пору слонялось по улицам.

Во многих мечетях кварталов начиналось чтение Корана. Праздношатающиеся спешили туда. В мечети, где чтецом Корана был молодой, красивый юноша с хорошим голосом, число «слушателей Корана» было больше, и когда такой чтец читал Коран, слушатели бормотали про себя:

Как хорошо, красавец, пенью Корана твоему внимать,
Тобой любуясь, с наслажденьем в слова священные вникать.

Некоторые после закрытия ночного базара собирались в доме одного из друзей и посвящали ночь веселью, пению, играм в карты и другим развлечениям.

В месяц рамазан все жители Бухары официально считались постящимися. Даже евреям запрещалось есть что-либо на глазах у мусульман, чтобы не возбуждать у соблюдающих пост желания вкусить пищу, не нанести ущерб посту. Те, кто не держал поста, вели себя на глазах у других так, словно тоже постились: они потягивались, жаловались на слабость в теле и на тяготы поста.

Жители города, постились они или нет, ночью по большей части бодрствовали до рассвета, потом ели, ложились спать и спали до двенадцати или до двух часов пополудни. Проснувшись, умывались и выходили на улицу; в это время лавочники и купцы уже открывали свои лавки.

Однако торговля несъестными, а также и съестными товарами днем была не особенно бойкой; купцы открывали свои лавки только для того, чтобы как-нибудь провести день. Поэтому еще до вечернего намаза вся торговля прекращалась и люди шли на площадь Ляби-хаузи-Девон-беги. Бездельники же и праздношатающиеся, как только просыпались, шли туда же, обойдя улицы разок-другой.

Сойдясь на площади Ляби-хаузи-Девон-беги, люди присаживались к кружку маддоха, фокусника или рассказчика легенд или же бродили по площади взад и вперед.

Раис Бухары также под вечер приходил туда, садился под аркой возле дервишской обители, а его люди, смешавшись с толпой, хватали бедных и босых, обвиняя одного в том, что он нарушил пост, другого — что он играет в азартные игры, третьего еще в каком-нибудь грехе.

«Определив» преступление каждого из них, раис назначал наказание: одним тридцать девять ударов плетью, другим — пятнадцать или девять. Люди раиса обнажали спину осужденного, один из них вскидывал его себе на спину, а тот, у кого была плеть, отпускал удары, сколько назначал раис. Затем тот, кто привел этого бедняка, и другой, с плетью в руках, получали от наказанного мзду «за службу». Их служба по отношению к нему заключалась в том, что они его схватили и привели.

Деятельность раиса была «весьма занимательной» для соблюдавших пост горожан, собиравшихся на площади Ляби-хаузи-Девон-беги: в другое время, исключая месяц рамазан, ее проявление можно было наблюдать не так уж часто. В обычные месяцы раис раз в неделю, по четвергам, приходил на площадь Ляби-хаузи-Девон-беги и в каждый свой приход наказывал одного или двух человек. В рамазан же он появлялся там каждый день и всякий раз наказывал десять-двенадцать человек.

Одно происшествие, случившееся уже после революции, прекрасно характеризует впечатление, какое оставалось у людей от этих экзекуций раиса (рассказ об этом нарушает историческую последовательность, однако я считаю его здесь уместным для оценки деятельности раиса и его людей в месяц рамазан).

После Бухарской революции однажды в месяц рамазан я попал в Бухару. На площади Ляби-хаузи-Девон-беги рамазан все еще праздновался с прежней пышностью. Только исчезли раис и его люди, наказывавшие народ. Однажды перед вечером я прогуливался возле дервишской обители Девон-беги. Среди гуляющих находился некто Аллоуддин, бывший служащий раиса, в свое время ходивший с плетью. Один мальчик лет девяти-десяти, обернувшись к нему и отступая назад, спросил:

— Дядя ишан, где же ваша плеть? Почему вы теперь не бьете людей? А что, если вы и сейчас кого-нибудь накажете? Ну-ка, я погляжу, как вы будете бить! — Так потешался он над человеком, прежде носившим плеть, а народ смеялся.

Этот поступок ребенка выражал настроения всего бухарского люда.

Другим развлечением для собиравшейся на площади Ляби-хаузи-Девон-беги толпы были драки и ссоры между людьми, прикидывавшимися, что они соблюдают пост; словно изнемогая от страстного желания покурить кальян или пожевать «нас», они сначала затевали словесную перебранку, а потом переходили в рукопашную и пускали в ход кулаки. Некоторые наивные старики, приняв их за соблюдавших пост, становились между ними и принимались разнимать:

— Ведь он постится! Это не беда! Человек, соблюдающий пост, от желания курить делается как безумный. Но не следует поддаваться шайтану, надо спокойно относиться к словам друг друга и избегать драк. Ведь из-за драки теряется благость поста, — пытались увещевать драчунов старики.

Не успевала затихнуть драка, вспыхнувшая в одном месте, как начинали драться в нескольких других местах. Это весьма развлекало гулявших на площади Ляби-хаузи-Девон-беги.

ДРАКА ПРИ РАССТИЛАНИИ КОВРИКОВ В МЕСЯЦ РАМАЗАН В БУХАРЕ

В месяц рамазан во всех бухарских медресе наступали каникулы. Бедные ученики, связанные с деревней, уезжали к себе домой и помогали в сельских работах родителям или близким родственникам.

Если такие ученики не имели связи с землей и были уже не очень молоды, они отправлялись в какую-нибудь деревню, становились там имамами и таким способом добывали пропитание. В конце месяца, собрав праздничные подношения крестьян, они обеспечивали себе существование и на будущее (ровно настолько, чтобы не умереть с голоду).

Однако состоятельные ученики, бухарцы, а также те бедняки, которые не имели связей с деревней и, кроме того, не хотели делаться имамами, оставались в медресе. Большую часть праздношатающихся на ночном базаре и «любителей послушать Коран» составляли богатые ученики, а также бедные, оставшиеся без дела. Каждый день, поднявшись с постели, они группами (внутри которой все, конечно, были между собой дружны) приходили на площадь Ляби-хаузи-Девон-беги, расстилали коврики и беседовали на всевозможные темы. Разговоры эти бывали и содержательными, и бессмысленными. В таких беседах иногда участвовали и бухарцы не из числа учеников медресе, а просто друзья или близкие знакомые влиятельных членов или большинства группы.

Пришедшие компанией расстилали свои коврики на крышах цирюлен. Эти цирюльни были расположены одна за другой от юго-западного до северо-восточного угла площади Ляби-хаузи-Девон-беги. Задние стены цирюлен выходили во двор дервишской обители Девонбеги или в крытый проход. Двор и проход на шесть-семь ступеней возвышались над бассейном, поэтому и крыши цирюлен в задней своей части были подняты над двором не больше чем на метр и с этой стороны на крышу легко можно было взобраться.

Крыши цирюлен привлекали «сидевших на ковриках» (конечно, это условное выражение, оно не относится к сидевшим в дервишских обителях или мечетях) главным образом близостью их ко двору обители: чем ближе ко двору обители находилась крыша, тем выше она ценилась. Поэтому каждая группа старалась захватить крышу поближе ко двору.

К счастью, крыши распределялись между претендентами на основе твердых традиционных установлений, действовавших неукоснительно, наподобие официального документа. Сущность их заклю-

чалась в том, что группа, занимавшая ту или иную крышу с начала рамазана или даже с прошлых рамазанов, считалась вправе занимать ее постоянно. Однако для осуществления этого «традиционного права» необходимым условием было, чтобы группа эта расстелила свой молитвенный коврик не позже трех часов пополудни. Если бы не эта традиция, то, без сомнения, ежедневно происходили бы кровавые побоища из-за лучшей крыши и немало было бы сломано голов и свернуто шей.

Тем не менее между группами, которые усаживались на ковриках, по различным поводам возникали драки, причем некоторые из них кончались кровавыми стычками. Пишущий эти строки был однажды свидетелем такой стычки.

Две группы сидевших на ковриках состояли из учеников медресе — известных безобразников. Каждую из компаний возглавляли отъявленные буяны из числа сыновей бухарских духовных лиц. Коврики обеих групп постоянно стелились рядом.

В одной компании, занимавшей место ближе к краю крыши, верховодил некий Шариф-махдум, по кличке «Круглый фитиль», сын казия; его помощником состоял сын бухарского муллы, по прозвищу «Махдум-Пашня» (лицо его, сплошь изрытое следами оспы, было очень неровным, наподобие вспаханной земли, поэтому бухарцы сочли это прозвище вполне подходящим для него, и люди, в том числе пишущий эти строки, по большей части даже не знали его настоящего имени).

Главарем другой компании, сидевшей позади первой, был Махмуд-махдум, сын муллы, по прозвищу «Махдум-Американец» (основанием для прозвища послужило следующее: когда из России в Бухару впервые привезли лакированную кожу, он первым сшил себе из нее обувь); помощником его также был сын человека из числа бухарского духовенства, по прозвищу «Махдум-Красавец» (пединская язва оставила на его лице глубокие круглые шрамы и отвратительные красные рубцы, и бухарцы нарекли его этим именем в силу своего обыкновения давать прозвища по контрасту).

В один из дней рамазана дежурный из группы Махдума-Круглого фитиля не успел до трех часов пополудни расстелить коврик.

Группа Махдума-Американца, уже давно с вожделением посматривавшая на эту крышу, воспользовалась моментом и расстелила свой коврик, заняв чужое место.

Когда все крыши были заполнены людьми, сидевшими на ковриках, появился со своей группой Махдум-Круглый фитиль. Увидев, что их место занято, они без всякого предупреждения, ни слова не говоря, напали на «захватчиков», которые, ни о чем не ведая, восседали, скрестив ноги, на своем коврике. Пока они поняли, что происходит, люди Махдума-Круглого фитиля сначала сбросили с крыши в сторону бассейна главаря группы — Махдума-Американца, а потом и его помощника — Махдума-Красавца.

Члены этой группы, наконец, пришли в себя, вскочили со своих мест и сцепились с нападающими. Те и другие начали колотить друг друга кулаками, царапать ногтями лица и шеи, рвать одежду. Двое врагов, обхватив друг друга, пытались сбросить один другого с крыши, но это ни одному не удавалось. В пылу драки они оказались на краю крыши, нога одного поскользнулась, и противник попытался столкнуть его вниз; тот же, увидев, что ему не удержаться на краю крыши на одной ноге в объятиях врага, потащил его вместе с собой; оба, кувыркаясь, свалились вниз.

Увидев это, дерущиеся сделали попытку перенести драку на середину крыши и на ее более низкий край. Однако пыл этих озверевших молодцов, обезумевших от ярости, не был охлажден кулачным побоищем — каждый стал думать о том, чтобы найти какое-нибудь оружие и одолеть врага. С этой целью они начали озираться по сторонам.

Позади цирюлен на табуретках и невысоких суфах сидели холодные сапожники, чинившие обувь. Когда вспыхнула драка, они оставили работу, поднялись со своих мест и стали наблюдать за дерущимися. Один из сапожников держал в руке сапожную колотушку. Кто-то из дерущихся, искавший оружие, увидел эту колотушку, выхватил ее из рук сапожника и стукнул ею Махдума-Круглого фитиля по голове; от удара череп его треснул и сам он повалился на ковер. Как только дерущиеся увидели это, они устремились к сапожникам, похватали у них с верстаков кто колотушку, кто молоток, кто клещи, кто сапожную колодку; все это немедленно было пущено в ход.

Плотная толпа зевак со всех сторон обступила дерущихся, однако никто не решался вмешаться и разнять этих диких волков; в самом начале драки один-два человека вошли в середину, чтобы прекратить побоище, однако, получив с обеих сторон тумаки, они отказались от своего намерения и отошли в сторону. Теперь, если кто-нибудь хотел вмешаться, ему кричали:

— «Ослиное мясо годится для собачьих зубов», — говорит пословица. Видишь, что не вышло, — оставь; пусть эти собаки вместо ослиного с удовольствием полакомятся мясом друг друга.

В конце концов подоспели люди верховного судьи и кушбеги, обязанные следить за порядком во время больших скоплений людей. Участники драки с обеих сторон в это время были по большей части ранены, лежали на земле; у всех, продолжавших драться, были пробиты головы, разбиты и залиты кровью лица.

Представители власти разняли дерущихся, затем отправили на арбе тяжело раненых в больницу, а легко раненых отвели в канцелярию верховного судьи, где и задержали.

Так проходило празднование «благословенного месяца рамазана» в «благородной Бухаре».

* *
*

Разумеется, все, описанное выше в связи с рамазаном в Бухаре, не имеет никакого отношения к трудящимся массам этого города; они, как и в другое время, больше всех переносили тягот и лишений. Возьмем к примеру водоносов. С рассвета до темноты, взвалив себе на спину бурдюки вместимостью в семь-восемь ведер, они разносили воду своим клиентам в радиусе одной-двух тысяч шагов; при этом им приходилось подниматься на вторые этажи в такие медресе, как Кукельташ, Девон-беги, Мир-Араб и т. п., на высоту сорока-пятидесяти ступеней.

Это и в обычные дни считалось очень тяжелой работой, однако тогда водоносы между делом иногда могли съесть кусок лепешки, выпить пиалу чая и закончить трудовой день, немного передохнув. Но

в месяц рамазан такой возможности не представлялось: голодный водонос вынужден был трудиться без перерыва по четырнадцати-шестнадцати часов; кроме того, из-за праздника и прихода гостей расход воды в домах увеличивался, и это ложилось лишним грузом на плечи водоносов.

Поэтому в дни рамазана водоносы возвращались вечером домой утомленные и разбитые; жены готовили им что-нибудь жидкое на ужин. Наскоро поев, чтобы набраться сил для предстоящей работы, они вынуждены были ложиться спать, но сон почти не освежал и не приносил бодрости.

Однако еще до света они должны были вставать и снова проглотить что-нибудь в преддверии голодного долгого дня.

Люди постарше и даже средних лет уже в первые десять, самое большее — пятнадцать дней рамазана выходили из строя и заболевали.

Сходным было и положение сапожников: прикованные задатком к мастерской, они в обычные месяцы работали по двенадцать часов в сутки, а в месяц рамазан работали по шестнадцать, так как владельцы мастерских по случаю праздника набирали множество заказов, и хотя плата за срочные работы назначалась выше, чем за обычные, заработок подмастерьев оставался прежним.

Подмастерья вынуждены были работать до позднего вечера; во время разговенья, поев что-нибудь, они снова работали до раннего завтрака, который съедали без всякого аппетита, после чего с полным желудком ложились спать. Спустя несколько часов хозяин будил их и сажал за работу, а сам отправлялся домой и спокойно спал до вечера.

В последние десять дней рамазана сапожники работали даже по двадцать часов; с приближением праздника требования заказчиков становились настоятельней, и хозяин не давал рабочим уже ни минуты отдыха.

Наконец, в последние три дня рамазана сапожники трудились почти без сна, чтобы выполнить в срок праздничные заказы. Молодые по большей части не выносили напряжения: они валились с ног и заболевали в середине месяца, некоторые — в конце его.

Сапожники-одиночки, работавшие самостоятельно и «свободно» у себя на дому, также не имели покоя: с одной стороны, розничные торговцы, сбывавшие их товар, вынуждали их, в связи с месяцем рамазаном и приближением праздника, изготовлять как можно больше обуви; с другой стороны, сами они также были вынуждены в этот месяц брать побольше дорогих заказов, чтобы оправдать дополнительные расходы, появлявшиеся во время рамазана, — каждый день им приходилось для разговенья покупать на базаре жене и детям хотя бы одну лепешку, обсыпанную конопляными семенами, леденцов и чашку нишалло, а также справить всем членам семьи к празднику новые платья.

Положение других ремесленников — например, ткачей — было точно таким же.

Рабочие, строившие глинобитные дома, плотники и художники, украшавшие комнаты узорами, во время рамазана также оказывались в стесненных обстоятельствах, ибо строительство домов прекращалось и строители были вынуждены в течение рамазана брать в долг на дополнительные расходы в надежде на будущие заработки.

Наиболее тяжелым оказывалось положение поденщиков. Обычно безземельные крестьяне и городские бедняки ежедневно собирались на Регистане в Бухаре. Люди, нуждавшиеся в их труде, приходили сюда и нанимали их на поденную работу. В рамазан же, когда всякие строительные и иные черные работы прекращались, поденщики оставались без заработка.

Если случайно кому-нибудь и требовались чернорабочие, то в связи с рамазаном он нанимал одного или нескольких рабочих на полдня без питания, и получаемой платы не хватало даже на одну черствую лепешку для самих работников, а дети и жены их оставались голодными. Поэтому для поденщиков, у которых челюсти двигались, только когда работали руки, безделье в месяц рамазан было большим несчастьем.

Не лучше было и положение рабочих, обжигавших известь, перевозивших на своих ослах землю и кирпич на строительных работах; дополнительным бременем для них в этот период были расходы

на прокорм вьючных ослов. О положении трудящихся масс в месяц рамазан один поэт того времени сложил такие стихи:

Совсем больной [1] во время рамазана,
Читал я все молитвы — для чего?
Днем тяжко я страдал, а ночью хуже
Мне только становилось оттого.

Этими простыми строками он выразил общее настроение трудящихся.

ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА И ГУЛЯНЬЕ В ШИРБАДАНЕ

Праздник Нового года, приходившийся на первые дни месяца хамал в начале солнечного года, по своему происхождению относится к эпохе до ислама. Поэтому таджикский народ, на курбан или рамазан отводивший по одному дню, справлял праздник Нового года неделями.

Этот праздник падал на начало весны, когда вся природа оживала и люди также приходили в движение. Поэтому таджики говорят: «В месяц хамал все в движении». Действительно, этот праздник, связанный с появлением всходов пшеницы и ячменя, а также с началом сева других культур, служащих человеку для пропитания, представлялся людям основой их существования.

В прежние времена таджикские крестьяне в деревнях перед Новым годом — перед месяцем хамал — собирались на площадях, занимались борьбой и другими физическими упражнениями, словно хотели влить новые силы в свои уставшие за зиму члены: в начале хамала три дня продолжались общие гулянья, а затем приступали к пахоте.

Однако духовенство придало этому празднику религиозную окраску, привило обычай — размачивать в воде бумажку, на которой написаны семь изречений из Корана со словом «салом», — сделав это

[1] Если это слово (маразон — «больной») считать полностью арабским, то значение его будет «две болезни», если же конечное «-он» считать показателем таджикского множественного числа, слово будет означать «болезни». (*Примеч. автора*).

источником дохода. Бессовестные муллы якобы от имени пророка сочинили даже предания «в честь новогоднего праздника».

Что касается последних бухарских эмиров, то они использовали этот праздник, чтобы надолго занять народ бесцельным, вредным и обременительным в материальном отношении времяпрепровождением, рассчитывая тем самым обеспечить себе спокойную жизнь.

Первым придал этому народному празднику официальную форму эмир Музаффар после поражения в войне с Россией. Как рассказывали автору этих строк старые люди, любящие истину, эмир Музаффар после поражения в войне с русскими совершенно утратил свой престиж в народе; в особенности его возненавидели, когда он начал грабить население с целью пополнить казну, опустевшую во время войны. Разъезжая по своим владениям, он останавливался где придется и устраивал народные празднества, увлекая на них народ, стремясь отвести людям глаза от собственных неблаговидных поступков, чтобы не оставалось и времени видеть их. Помимо этого, он каждую весну устраивал новогодние народные гулянья в своем загородном саду Ширбадане, в двух километрах от города. Это гулянье продолжалось до двух месяцев, а иногда до семидесяти дней. На праздник в Ширбадане насильно собирали из всех тюменей Бухары народных борцов и музыкантов; их доставляли четыре правителя каждого тюменя (казий, раис, амлокдор и миршаб).

Музыканты и борцы поселялись в крестьянских домах в окрестностях сада Ширбадан и с начала до конца гулянья жили там на свои средства, увеселяя зрителей на эмирском гулянье.

На это время — в самом начале весны — они бывали вынуждены забросить все свои сельские работы и обычно упускали срок весенних посевов.

Но не только эти люди, насильно приведенные на гулянье, отрывались от своих дел: многие окрестные крестьяне, в том числе молодежь, волей-неволей собирались на гулянье, тратили здесь деньги, а полевые работы стояли.

Эмир Музаффар не удовлетворялся тем, что занимал народ новогодним гуляньем. Он преследовал также цель запугать своих подданных. Поэтому по его приказанию на площади, где происходило

гулянье, в таком месте, мимо которого каждый гуляющий должен был пройти один-два раза, рыли канаву и на краю этой канавы на глазах у всего народа ежедневно убивали несколько преступников, приводимых из тюрьмы. Это должно было служить назиданием, чтобы народ не вздумал поднять мятеж, ругать эмира или противиться его приказам. Тела убитых в течение целого дня оставались неубранными на краю канавы, а на следующий день их место занимали новые трупы.

Эмиру казалось мало и того, что на это гулянье он сгонял народ из бухарских тюменей; он приглашал также борцов и зрителей из Карши, Шахрисябза, Хатырчи, Кермине и Нур-Ата, подчинявшихся Бухаре; одни лишь горцы были избавлены от этой беды, так как эмир из-за дальности расстояния не мог их привести.

Во времена Абдулахада казни людей на гулянье из-за страха перед русскими прекратились, период гуляний сократился до полутора месяцев. Однако взамен этого в загородной усадьбе Ситора махоса, которую эмир построил для себя, и в Кермине, где он проводил большую часть времени, после гулянья в Ширбадане устраивались новые гулянья, продолжавшиеся пятнадцать дней или целый месяц. Продолжительность же всех этих трех гуляний в целом соответствовала длительности гуляний, которые прежде устраивались отцом этого эмира. На празднестве в Кермине Абдулахад «изобрел» способ стравливать людей, о чем мы поговорим в другой главе.

* *
*

В Ширбадане главное гулянье устраивалось по обеим сторонам большой дороги, проходившей мимо эмирского сада: на пути из города по левую руку раскинулась огороженная площадь, называемая «сорокатанобной» (в десять гектаров), куда можно было попасть через большие ворота.

Внутри ограды находились пятничная мечеть, площадки для гуляний и различные постройки для зрелищ, остальные места были заняты продавцами съестного, мясниками и владельцами харчевен.

На другой стороне площади находились громадные ворота, через которые выходили на большую дорогу, с южной стороны дорога вела к воротам эмирского сада, рядом с которыми возвышалась открытая терраса, с нее придворные могли наблюдать за гуляньем. С северной стороны дороги тянулся длинный навес, под которым во время гулянья располагались торговцы материями, халвой, парфюмерией, галантереей и т. п.

За этими лавками по левую сторону дороги простиралась другая площадь, называемая «пятитанобной» (немного больше одного гектара); здесь стояла мечеть для пятикратного намаза; в дни гуляний ишаны, «занимаясь торговлей», устраивали там свои радения. Распорядитель гулянья — верховный судья или раис Бухары — также помещался в шатрах на этой площади.

Далее, по правую сторону, залегла еще одна обширная площадь, которую называли «семидесятитанобной» (приблизительно в восемнадцать гектаров). В ее передней части раскидывались шатры военачальников и крупных торговцев, а задняя часть считалась продолжением эмирского сада — ее осеняли фруктовые и декоративные деревья, а земля была покрыта травой и клевером.

Главным пунктом, где происходили все зрелища, была площадь перед воротами эмира; то было наименее широкое место на всей территории гулянья. Каждое утро там устраивались сперва выступления музыкантов и танцоров, затем борьба. Удобнее всех это зрелище могли наблюдать придворные, в менее удобном положении оказывались лавочники.

Жители городов и сел, подходившие группами, ничего не видели, потому что есаулы своими дубинками старались осадить их назад, охраняя поле состязаний. Однако подходившие новые и новые группы, стараясь пройти, сзади напирали на передних. Поэтому простые зрители не могли пройти ни вперед, ни назад; кроме того, ежеминутно следовало опасаться, чтобы не раздавила толпа.

Пишущий эти строки выразил в стихах свои первые впечатления об этом гулянье; теперь я хочу, исправив поэму, предложить ее вниманию читателей. В те времена я усиленно читал «Шахнаме» Фирдоуси, поэтому ее размер и форма оказали влияние на мою поэму.

Поэма о гулянье в Ширбадане

Зима миновала, настала весна,
Безоблачно небо, земля зелена,
Прохладой и негою воздух ласкал,
Дыханье возлюбленной напоминал.
На ивах листочки раскрылись, и вдруг
Все ивой цветущей запахло вокруг.
Зеленых плодовых деревьев кольцо
Цвело, как от хмеля красотки лицо.
Весны торжество наступило, и вдруг
Все радостней стало как будто вокруг,
И праздник в честь нового года был дан
В местечке по имени Ширбадан.
Текли туда тысячи тысяч людей,
На пиршество радости близких друзей.
Я видел, как радостно каждый спешит,
Лишь я одинок был и всеми забыт.
Из дома страданья я вышел в тот день
И брел на гулянье печально, как тень,
Где для наслажденья был каждый вершок
Готов — от торговых рядов до дорог.
Торговцев каких только не было там,
Товар был разложен по разным сортам.
Тут жарится разного рода еда,
Там плов, там чилов — не уйдешь никуда.
Для тех, кто с деньгами, — того и другого,
Тому, кто без денег, — лишь дым от жаркого.
Солдаты эмира шатры и палатки
Раскинули на поле в строгом порядке.
В одной стороне — только лавки купцов,
В другой протянулись ряды продавцов.
Брезент натянули они на товар,
Чтоб дождь или снег не нарушил базар,
Сиденья покрыты парчой, полотном,
По три, по четыре под каждым шатром.
Расселись придворные в шахских шатрах,
Военные — все в золотых поясах.
А тут перед ними идет пир горой,
Сменяются пенье и пляска игрой.
Собралось народу тьма-тьмущая, страсть,
Иголке — и той просто негде упасть.

От толп на дороге никак не пройти,
Спокойного места нигде не найти.
Кто должен был стоя игре той внимать,
Не мог ее прелести воспринимать.
Все чувства свелись к одному: упадешь,
Так с жизнью простись, пропадешь ни за грош!
И правда, уж если б в тот день кто упал,
Народ несомненно его б растоптал.
Усталый я встал в стороне, но притом
Глядел в оба глаза с разинутым ртом.
От страха упасть я совсем ослабел,
Вдруг будто бы шквал на меня налетел:
Толпа меня силой на землю смела,
Свалился я, словно убитый, с седла.
С усильем в сторонку отполз я тотчас,
Знать, с жизнью расстаться невольно боясь.
Однако я в страхе дрожал перед тем,
Что люди сомнут и растопчут совсем.
Какой-то добряк мне попался, тотчас
Меня от беды и опасностей спас.
Завел меня в лавку свою, усадил,
Меня от волненья и бед оградил.
Спросил я: «О, имя, добрейший, скажи?».
А был он по прозвищу «Рыжий-хаджи».
Добрейший из всех современников, он
Лишь прозвищем этим и был награжден.
По свету немало он странствовал лет
И всюду нес шутку да добрый совет...
В том месте на долю мне выпало, знать,
Сидеть — от беды свою душу спасать.
На толпы людей я оттуда взирал,
Хадже благодарность мою выражал.
Но вот уже музыка смолкла вдали,
Вот флейты и бубны совсем унесли.
Очистили место для группы борцов,
Собрались любители с разных концов.
Борцы — все бесстрашный и сильный народ —
Отважно, как львы, выступали вперед.
На поле сражения шли, как Рустам,
Тверды, как Сухраб, в бой навстречу врагам,
Искусство, проворство и ловкость свою
Один за другим показали в бою.

То руки скрутив, то искусным «крючком»
На землю друг друга бросали ничком.
Борьба завершилась, и зрители все
Разбились на группы по восемь, по семь,
Степенно к лужайке шагали они
И спорили жарко о чем-то они,
Уселись одни есть и пить — пировать,
Другие пошли в Чиль-таноб погулять.
Тогда я искать развлеченья пошел
И цирк по дороге случайно нашел.
Едва взял билет — оказался внутри,
Мест пропасть: плохих и хороших, смотри,
Лишь ложи одни были там впереди,
Потом шли скамьи «первый ряд» — позади,
За первым второй начинается ряд.
Скамьи все по плану, в порядке стоят.
На месте на третьем для зрителей есть
Места из досок, чтоб могли они сесть.
Увы, мой билет был «четвертый разряд»,
На жалких местах, где обычно стоят.
Я так до конца ни на миг и не сел
И все представление стоя смотрел.
Сначала большой натянули канат,
И женщина русская — «акробат» —
Вверху начала представленье свое,
Ты птицей летящей назвал бы ее!
Все начали громко ее восхвалять,
Ладонями хлопать, ногами стучать.
Вот вывели лошадь, что ночи черней,
Наездница смело гарцует на ней,
Вскочив, она лошади шпоры дала,
И лошадь галопом ее понесла.
Но той все едино: седло, стремена...
Легла на седло, как на ложе, она.
Вот вышли два русских больших шутника
И, к богу воззвав, поболтали слегка.
Они все острили опять и опять,
Но только язык их не мог я понять.
Потом богатырь, словно лев молодой,
С огромной на мощных плечах головой,
Пришел и, большущие гири подняв,
Их под ноги бросил, вверху подержав.

Красавицы русские вышли затем,
Да так хороши, что понравились всем!
И стройный их хор, как литавры, звучал,
А танец их русский, как песня, пленял.
Там девушка Нина блистала меж них,
Что пеньем своим затмевала других,
Запела, да так начала танцевать,
Что ты бы сказал: равных ей не сыскать.
Внимая ей, каждый невольно затих,
Любуясь, забыв об артистах других.
Она извивалась фигурою всей,
И всюду шептали: «Она без костей».
Затем представленью конец наступил,
И кто-то оттуда уйти разрешил.

* *
*

Лишь выйдя оттуда, я время узнал:
Пробило четыре и пятый настал.
Я должен был в город по делу спешить,
Невольно гулянье пришлось отложить.
Вот я до ворот Чиль-таноб добежал,
Немедля, о, как я себя подгонял!
Едва только я увидал фаэтон,
Как мною был занят немедленно он.
В него, не торгуясь, я сел и просил,
Чтоб только извозчик как мог поспешил.
Но три человека за мною вослед,
Примчавшись бегом, закричали: «Нет, нет!
Давно этот заняли мы фаэтон,
А ну, без расспросов, слезай-ка ты вон!».
Один лишь без криков стоял среди них,
Он мне показался добрее других.
«О добрый, — сказал я ему, — человек,
Кареты другой тут не сыщешь вовек
В квартале во всем! — Только место бы мне,
Коль надо, его оплачу я вдвойне».
В итоге, два-три этих теплых словца
Смягчили и черствые эти сердца.
Однако извозчик — злодей и нахал, —
Взглянув на меня, на беднягу, сказал:

«Слезай-ка, мулла, и довольно болтать».
«Слезай», — слов других не хотел он и знать.
Хоть сердце заныло, слезать мне пришлось,
Сдержать не сумел я от горечи слез.

* *
*

Когда пишущий эти строки впервые в жизни на гулянье в Ширбадане увидел русский цирк, как это описано в поэме «Гулянье в Ширбадане», внимание всех, а также и мое, привлекла девочка Нина. Еще до написания этой поэмы я сложил об этой девочке газель в форме акростиха. Считаю уместным привести здесь эти стихи, пусть они свидетельствуют о том, в какой степени автор владел различными стихотворными жанрами.

Девушку-красавицу вчера на гулянии
Увидал я в цирке и потерял сознание.
В Европе рожденная, в России взращенная,
Плечи обнаженные — роз благоуханнее.
Четырнадцатилетняя — самый юный цвет ее,
Ты к объятиям ее не тянись желанием.
Всем, кто видел, нравится юная красавица,
И с собой не справиться в жажде обладания.
Веру, голову и честь — все к ногам ее принесть,
И, пока возможность есть, требуй с ней свидания.
Душ успокоение, мира вдохновение, —
Вольный, стройный кипарис в зеленом одеянии.
Чтоб не забывалася, в памяти осталася,
В честь красотки той, Айни, выпей на прощание.

КОНЕЦ МАХДУМА-БЫКА

Во второй части «Воспоминаний» я обещал, что в третьей части опишу трагический конец Махдума-Быка и Рустамчи. Однако там описание это не поместилось, поэтому приходится найти ему место здесь. Я хочу в этой и последующей главах выполнить свое обещание.

После моего переезда из медресе Мир-Араб я ничего не знал о Махдуме-Быке и Пираке, мне ни разу не случалось присутство-

вать с ними вместе на какой-нибудь вечеринке или пирушке. Иногда я сталкивался с Пираком на базаре или в торговых рядах, но мы ограничивались одним лишь приветствием и шли себе каждый своим путем, так как на тесных бухарских улицах в густой толпе прохожих не представлялось возможности спросить, как его дела.

Что же касается Махдума-Быка, то его я и вовсе не встречал. Однако иногда я слышал о нем от гидждуванца Мулло-Хомида Савти и Зайниддина-ходжи совершенно невероятные рассказы. По их словам, он стал в больших количествах употреблять опиум, отошел от друзей, сблизился с опиеманами и поселился вместе с ними.

Расставшись и с ними, он сделался мюридом ишана Шояхси, стал отшельником и в конце концов (когда я переехал в медресе Кукельташ), разочаровавшись и в дервишской обители, и в своем шейхе, уединился на кладбище, расположенном на холме Бехиштиён, в каком-то мавзолее. Только брат Пирак навещал его ежедневно, приносил ему еду и порцию опиума.

Едва узнав о последнем местонахождении Махдума-Быка, я захотел повидать его. Однажды мы с Мухаммад-Сиддиком Хайратом поднялись на кладбище на холме Бехиштиён, что на восток от городской стены. Осмотрев одну за другой все разрушенные гробницы, мы в конце концов дошли до мавзолея кушбеги Мухаммад-Шоха, относительно пригодного для жилья. Войдя в мавзолей, мы увидели, что одна из имевшихся здесь келий открыта, оттуда доносился кашель. Но сколько мы ни стучали в дверь кельи, мы не услышали ответа; несмотря на это, мы вошли. В келье мертвецким сном спал Махдум-Бык.

Должно быть, от звука наших шагов он проснулся, поднял голову, затем подтянул себе под бок подушку и сел, склонившись на сторону. Заметно было, что он не в состоянии сесть прямо. Тело утратило следы прежней силы и упитанности, можно было сказать, что он «высох, как щепка». Его черная широкая борода, словно кусок черного грязного войлока, лепилась к щекам и подбородку; цвет лица из смуглого сделался серым, точно к смуглому оттенку подмешали сажу с котла. Однако глаза его, потухшие и глубоко запав-

шие, сверкали, подобно звезде из-за тучи, и порою ярко вспыхивали, а губы, совершенно сухие и тонкие, все еще хранили его обычную улыбку.

Махдум-Бык узнал меня, познакомился с Хайратом, которого я ему представил, сказав, что очень рад встрече с нами. Свою радость он объяснил следующим образом:

— До сих пор я не встречал ни одного человека, который действительно относился бы ко мне искренне и по-дружески. Ты же (в это время мне было уже немало лет, и даже мой прежний хозяин обращался ко мне на «вы»; Махдум-Бык говорил мне «ты», очевидно, считая как бы своим братом) был искренним другом моего младшего брата; сердце подсказало мне, что ты для меня тоже близкий друг, а этот твой высокочтимый товарищ, — он показал на Хайрата, — должно быть, твой единомышленник.

Затем Махдум-Бык продолжал:

— Каждый знает, что́ произошло со мной за последние годы, однако никому, даже моему родному брату, не известно, что́ перечувствовал я за это время. Брат противился всему, что я ни затевал в последние годы, я же не соглашался с ним. Когда я видел, что он прав, я стыдился раскрыть ему тайну моего сердца. Теперь, на краю могилы, я хочу открыть свое сердце вам, одаренным юношам, чтобы тайна эта не ушла со мной в могилу и чтобы моя жизнь послужила вам в назидание и вы знали, как следует жить.

Он достал из золы очага чайник, который закопали до носика и крышки, налил в пиалу чая и смочил горло, затем сказал извиняющимся тоном:

— Я не даю вам этого чая, потому что вам не годится пить его, к тому же чайник и пиала очень грязные. (Действительно, грязь, покрывавшая чайник и пиалу, вызывала отвращение).

Выпив чаю, Махдум-Бык продолжал:

— Бухарские махдумы и сыновья казиев не могли одержать надо мной верх. Эти «благородные существа», безмерно спесивые и равнодушные к людям, не смогли поставить меня на колени, спаивая водкой и заставляя курить наркотики. Однако в конце концов я сам себя погубил, и вы теперь видите, до какого я дошел состояния.

После этого предисловия он, прихлебывая чай, рассказал все, что с ним случилось в последние годы и что он перечувствовал.

По словам Махдума-Быка, однажды Асад-джон-махдум, зять казия Сироджа, пригласил его к себе, чтобы взять с собой в деревню попутчиком. Но когда Махдум-Бык пришел к нему в дом, то хозяина не застал; зато там оказался Исхок-аттор, приготовлявший наркотик «барш».[1] Он собирался перекипятить целую коробку этого снадобья, приберегавшуюся издавна.

Здесь необходимо пояснить, что казий Сиродж, брат казия Бадриддина, был завзятый курильщик «барша», настолько ненасытный, что в доме у него всегда хранились запасы в виде нескольких коробок с баршем, так как чем дольше он сохраняется, тем сильнее действует. Перед употреблением лежалый барш немного согревали и размягчали.

Исхок-аттор велел Махдуму-Быку вынуть лопаточкой из коробки старый, затвердевший барш и положить его в котел из-под меда; сам же он собирался в москательный ряд проведать свою лавку. Уходя, он сказал, что по возвращении сам согреет барш.

Исхок-аттор ушел, а Махдум-Бык приступил к делу. Он так рассказывал об этом:

— Отколупнув одну лопаточку барша из коробки, я клал ее в котел, а вторую отправлял себе в рот; его сладковато-терпкий вкус понравился мне; я тогда еще не предвидел последствий его воздействия.

В этом рассказе Махдум-Бык многое сильно преувеличил, однако мы узнали, что в тот день он действительно съел вдоволь барша; потом пришел хозяин дома с другими гостями, и все на арбе отправились в деревню.

На половине пути Махдум-Бык почувствовал, что ничего не видит и что все его тело с головы до ног пылает, словно в огне. В это время они подъехали к какому-то каналу, и возчик остановился напоить лошадей. Махдум-Бык, увидев воду, как был — в одежде — бросился в канал.

[1] Барш — наркотик, опьяняющий человека; пристрастившийся к нему не имеет сил отвыкнуть. (*Примеч. автора*).

Дело происходило зимой, и поверхность воды была покрыта чешуйками льда. Пробыв некоторое время в воде, Махдум-Бык снова стал видеть, и тело его постепенно перестало гореть.

— Ледяные чешуйки кололи меня, и мне очень понравилось, — рассказывал Махдум-Бык. — Точно массажист в бане, намылив мне тело, растирал его шерстяной перчаткой.

Короче говоря, после долгого пребывания в ледяной воде Махдум почувствовал, что очень озяб; тогда он вышел на берег. Возвратившись из деревни, Махдум-бык рассказал об этой истории Исхок-атору. Тот сказал:

— Если бы половину съеденного вами барша съел кто-нибудь другой, он умер бы на месте. Ваше тело и организм обладают исключительной силой, если вы смогли устоять против этого смертельного яда. Не выкупавшись в ледяной воде, вы тоже могли бы умереть. Однако если бы вы ели барш с осторожностью, согласно указаниям лекарей, то перестали бы употреблять другие наркотики, потому что такое тонкое наслаждение, какое приносит барш, не дают ни вино, ни банг.

— Так как водка и банг мне надоели, — продолжал рассказывать Махдум-Бык, — я научился употреблять барш и, увидев, что он действительно дает очень тонкое наслаждение, больше уже не прекращал это.

По словам Махдума-Быка, он сначала принимал барш малыми дозами; а когда привык и увидел, что они не оказывают вредного влияния, начал повышать дозу и наконец достиг предела. После употребления наркотика он засыпал, как убитый; однако никакого иного воздействия барш на него не оказывал. Тогда он испугался, что если еще и дальше будет увеличивать дозу, то в конце концов может умереть.

В это время он столкнулся с одним опиеманом, который, узнав о его состоянии, заявил:

— Лучший наркотик — это опиум!

Желая проверить этот «совет», Махдум-Бык, кроме барша, стал также пить опиум. Он слышал, что как барш, так и опиум очень трудно оставить после того, как человек к ним пристрастился;

если же перестать их употреблять, то тело покроется язвами и этот человек умрет в мучениях.

Вначале опиум доставлял Махдуму-Быку «наслаждение», поэтому он всецело отдался ему и даже перешел жить в притон опиеманов.

Вот как он об этом рассказывал:

— Наслаждения, доставляемые баршем и опиумом, перемешались и совершенно увели меня из этого мира. Вкусив барша и выпив опиум, я опускал голову, закрывал глаза и часами сидел, погрузившись в забытье. В конце концов я пришел к выводу, что целиком вышел за пределы этого мира и что во мне не осталось ничего человеческого. Почему это произошло? Что же делать? — думал я; но сколько я ни прикидывал, я не мог найти способа, чтобы вновь вернуться в этот мир. Я продолжал думать, и перед моим воображением начали проноситься «конец света», мальчики и гурии, населяющие рай. Тогда я подумал: «Если этот свет для меня потерян, нужно захватить тот свет!». С этими мыслями я решил открыться шейху, раскаяться и, отказавшись от всех своих грехов и от всех мирских дел, предать себя в руки божьи.

Выпив еще чаю, смочив горло и немного передохнув, он продолжал:

— О своих мыслях и об этом решении я не сказал товарищам-наркоманам, потому что я уже давно изучил их цели и желания: они не думали ни о печалях этого света, ни о том свете. Напиться опиума, опустить вниз голову, прикрыть глаза и говорить друг другу приятные слова было, по их представлениям, дороже всех богатств этого мира и «благ того мира». Поэтому, не говоря им ни слова, я отправился в самую большую дервишскую обитель Бухары — Шояхси, отдался в руки самого крупного шейха нашего времени — Шояхси и отрешился от всех мирских дел, кроме употребления барша и опиума, необходимых для поддержания жизни. Шейх счел употребление их безвредным и разрешил мне заниматься прежним делом. Среди его мюридов было несколько наркоманов, употреблявших опиум; они приспособили для этого одну из келий обители. Ишан посоветовал мне примкнуть к ним. Что касается барша, то мой брат приносил мне его коробками, и в этом я также не испытывал ника-

ких затруднений. Придя в состояние забвения, я в надежде поскорей добраться до бога и попасть в рай без конца твердил одни и те же молитвы, преподанные мне шейхом, а также выполнял всякую черную работу в обители и в его доме.

По словам Махдума-Быка, он целый год служил в обители и у шейха, но, сколько ни старался, не мог найти пути к богу и к тому свету. Наоборот, там он узнал, какие гнусные дела творит шейх вместе со своими самыми близкими мюридами.

Таких насчитывалось не более четырех-пяти человек, они считались интимными друзьями шейха в гареме и в его личной комнате, всегда старались убедить других мюридов, чтобы они все свое имущество передали шейху, а сами отреклись от этого мира, т. е. чтобы они не пользовались плодами своего труда — земледелия, скотоводства или какого-либо ремесла, а удовлетворялись лишь самым необходимым из еды и одежды. Ближайшие мюриды шейха дошли до такого бесстыдства, что уговаривали других мюридов, имеющих дочерей, подносить их в дар шейху для его гарема.

Из этих девушек самые красивые сначала доставались шейху, а потом переходили в руки его ближайших мюридов. Всякий раз, когда в гарем попадала юная невинная девушка, шейх прежнюю свою наложницу, проявив «отцовскую заботу», выдавал замуж за кого-либо из своих мюридов второй степени. Некрасивые и непривлекательные девушки чахли на работе в кухне, пекарне и прачечной шейха; целыми ночами они должны были работать на сотни человек, укрывшихся в обители.

Приближенные шейха, чтобы уговорить простодушных мюридов приносить подобные жертвы, рассказывали им всевозможные выдумки о «чудесах», якобы совершаемых шейхом.

Махдум-Бык все это видел, слышал, понимал и в результате решил про себя, что, по-видимому, путь достижения бога и обретения загробной жизни должен быть иным. После таких размышлений он стал сомневаться в шейхе и в обители, так как видел, что, с одной стороны, эмир и его правители, а с другой стороны, шейх и его мюриды совершенно одинаково грабят и унижают народ. Разница за-

ключалась только в том, что, во-первых, если эмир и его чиновники грабили по всей стране, то грабеж, проводимый шейхом и его интимными последователями, был ограничен узким кругом его учеников, от тысячи до пяти тысяч человек. Однако если подсчитать всех шейхов, сидевших по обителям всего Бухарского ханства, то сфера их грабительской деятельности окажется по объему такой же, как и сфера грабежа, развернутого эмиром и его чиновниками.

Во-вторых, разница заключалась в том, что если эмир и его чиновники грабили народ с помощью силы и угнетения, побоев и тюрем, то шейх и его ближайшие мюриды грабили, опираясь на хитрость и обман. Махдум-Бык не видел никакой разницы между двумя группами угнетателей и в том произволе, который существовал в отношении девушек. Эмир также, захватив дочь правителя, чиновника или еще чью-нибудь, сначала сам пользовался ею, а затем дарил ее придворным.

Повествуя об этом, Махдум-Бык сказал:

— Правда, я потерял все, что имел, однако еще не окончательно лишился разума и соображения. Точно так же, хотя внешне я утратил человеческий образ, чувства человеческие во мне оставались живы. Поэтому, поняв все, я не мог ни минуты там оставаться. Однако ложь, пущенная в ход шейхом, одержала победу над моим ослабевшим мозгом, который под действием барша и опиума был погружен в грезы, и я еще год пробыл в этой грязной яме.

Как рассказывал Махдум-Бык, шейх каждый день по нескольку раз, во всяком случае не менее одного раза, после многократного повторения молитв, обычных для дервишской обители, наставлял мюридов. Темой его проповедей и наставлений были «искушения шайтана». Вот что он говорил:

— Шайтан не дает мюриду приблизиться к богу и удостоиться чудес. Поселившись в сердце мюрида, шайтан сеет в нем подозрения и недоверие к шейху, к обители и вообще к подвижнической, аскетической жизни. Всякий поступок шейха, связанный со скрытой божественной мудростью, он представляет противоречащим шариату и даже развратом и безнравственностью. Мюрид, который остановился на этой ступени, т. е. не уничтожит в своем сердце семена подозре-

ния и недоверия и не победит искушений дьявола, навсегда останется заблудшим. Главное условие подвижничества, путь следования за шейхом — это искоренение из своего сердца всяких сомнений; другими словами, дело шейха нужно считать праведным. Вот что значит внутреннее очищение.

Рассказав о проповедях и наставлениях шейха, Махдум-Бык продолжал:

— Однако спустя год я хорошо понял, что в действительности «искушения дьявола» состояли из подобных проповедей и наставлений шейха. В постижении интимных сторон шейха и обители мне «помогли» его самые близкие мюриды.

По словам Махдума-Быка, самые верные мюриды шейха начали делать шаги к сближению с ним: они высказали сожаление, что он до сих пор еще не прозрел и не удостоился ни одного чуда. Каждый раз они завершали разговор об этом следующими словами:

— У большинства из нас через год-полтора наступало прозрение и случались чудеса. Очень жаль, что с вами в течение двух лет ничего не произошло. — Затем тоном сочувствия и совета они добавляли:

— По нашему мнению, причиной такой задержки вашего духовного развития является то, что вы недостаточно служите шейху. Поэтому мы вам советуем усерднее служить ему и выполнять все работы от чистого сердца.

Махдум-Бык с самого начала взял на себя уборку обители внутри и снаружи и никого не допускал к этой работе, он также сам колол дрова и носил воду для общей кухни и для дома шейха. Теперь он решил трудиться еще больше. Например, если эконом шейха отправлялся на базар за покупками, то он шел вместе с ним, босой, с непокрытой головой, и приносил на своих плечах все, что покупал эконом. Зимой он сам сметал снег с крыши обители и с крыши гарема шейха. Он слышал, что Бахауддин Накшбанд в зимние ночи согревал на своей груди глиняный кувшин с водой и затем подносил его для омовения своему духовному наставнику, Мир-Кулолу. И теперь, кроме перечисленных выше работ, он в холодные зимние ночи согревал кувшин с водой теплом своего тела и давал шейху для омовения.

Однако верные мюриды шейха по-прежнему продолжали говорить, что он должен еще усерднее трудиться ради шейха и обители.

В конце концов Махдуму-Быку надоели эти безосновательные разговоры и непрошенные заботы; он сказал мюридам:

— Наслушавшись ваших наставлений, я, не жалея сил, начал делать все, что могу, чтобы послужить его святейшему ишану (т. е. шейху) и обители. Если имеется работа, которую душа моя не принимает, укажите мне; я выполню ее, приложив для этого все силы.

— Что касается физической работы, которую вы выполняете для шейха, то в этом нет никакого недостатка; она даже несколько чрезмерна. Однако этого мало. В служении шейху нужно совершить нечто такое, что увеличило бы доходы обители, покрывающие расходы шейха и его мюридов. Вы сами видите, что сто-двести ищущих бога постоянно едят лепешки и горячую пищу за скатертью шейха. В месяц рамазан число питающихся здесь превышает тысячу человек. Но ведь наш мир — это мир материальный, и мы с вами должны добывать средства, чтобы окупить эти расходы.

— Я не владею имуществом, которое смог бы принести и пожертвовать шейху и обители, — ответил Махдум мюридам. — У меня есть одна только келья, приходящийся на нее доход с вакфа получает мой брат и тратит на мои наркотики. Часто случается даже, что этого дохода не хватает на мои нужды, тогда брат вынужден тратить на меня и часть доходов с вакфа, падающих на его келью. Вам известно, что без наркотиков я не могу прожить и одного дня. Как же в таком случае я могу оказать шейху материальную поддержку?

— Никто не требует от вас, чтобы вы из своего кармана оказали материальную помощь шейху и обители. Если бы вы даже и владели имуществом, все равно никто бы от вас ничего не потребовал, потому что вы мулла и сын муллы, — сказал один из мюридов. — Ведь муллам и их детям необходимо оказывать материальную помощь, а не требовать, чтобы они делали пожертвования и подношения. Однако мы вам укажем такой путь, вступив на который вы не только намного увеличите доходы обители, но и сами будете жить спокойно;

наркотики вы станете получать за счет обители, а вакф на вашу келью останется вам про запас или пойдет на покрытие расходов вашего брата; он также сможет жить спокойно и еще на этом свете увидит плоды той службы, которую он выполнял для вас.

Другой мюрид добавил:

— Если вы вступите на указанный нами путь, то очень скоро обзаведетесь семьей, женитесь на красивой девушке; ведь все мы от щедрот шейха женились на девушках, которые были подарены для его гарема. В этом случае вы поселитесь в одном из двориков обители, ваша красивая жена будет услаждать одного только вас, а такие работы, как стирка, уборка, приготовление пищи, будут выполнять служанки обители и гарема шейха.

В этом месте своего повествования Махдум-Бык сказал:

— Теперь у меня уже не оставалось ни малейшего сомнения, что шейх и его ближайшие мюриды — гнусные обманщики. Несмотря на то, что мое сознание ослабло, я совершенно ясно понял, что шейх и мюриды были охотниками за людьми; «божественный путь, достижение загробной жизни, блага и яства рая» — все это их силки и приманка. Однако я хотел из их собственных уст услышать, что это за путь, на который они меня толкают. Поэтому я спросил:

— Что же это за путь, на котором, по вашим словам, я приумножу богатства обители и обеспечу свое собственное существование?

— Это путь простой и общеизвестный, — принялись они мне объяснять. — Вы знаете, что к шейху из городов и деревень стекается множество простодушных мюридов, в особенности наивных крестьян. Они думают, что едва они придут, отдадут себя в руки шейху и покаются во грехах, как тотчас достигнут бога и обеспечат себе райскую жизнь на том свете. Они не знают, что для этого нужно пожертвовать душой и имуществом. Ведь если человек не откажется от мирских благ, как же он удостоится вечной жизни на том свете? Вот эти-то условия и надо разъяснять мюридам. Каждый из нас по мере сил доказывает им, что они должны пожертвовать своей жизнью, имуществом, женой и детьми. Однако так как мы малограмотны, то некоторые сомневающиеся не очень-то нам ве-

рят. Вы же — мулла и сын муллы, вашим словам сразу поверят; если вы станете говорить то же, что и мы, это придаст вес и нашим словам. В особенности вы должны рассказывать мюридам, не живущим в обители, «о чудесах шейха»; ваши слова никогда не останутся втуне и будут приняты как божественное откровение.

Далее Махдум-Бык рассказал:

— Желая еще лучше постичь путь обмана уединявшихся в обители, я сказал им: «Как же я смогу рассказывать мюридам „о чудесах" шейха, если в течение двух лет я сам не удостоился совершить ни одного чуда?».

Они отвечали:

— В библиотеке шейха имеются книги, например, «Тазкират-ул-Авлиё» и «Манокиб» (биографии шейхов прошлого). В них много рассказов о чудесах, совершавшихся шейхами. Вы, хорошо владея грамотой, станете читать эти книги, выберете оттуда один-два рассказа, приспособите их к нашему времени и, приписав эти чудеса нашему шейху, будете рассказывать их приехавшим мюридам.

Другой мюрид пояснил:

— Вот когда в вас откроется дар провидения и внутренняя скованность пройдет, тогда вы сами увидите чудеса нашего шейха и приблизитесь к богу.

Далее Махдум-Бык рассказал:

— Когда я понял все хитрости и уловки уединившихся в обители, я поставил себе целью сказать прямо им в лицо о гнусности их поступков и уйти оттуда. Однако я боялся, как бы они ради сохранения своей тайны не погубили меня. Поэтому я внешне выразил свое согласие и в ту же ночь бежал из обители. Но я бежал так, что лишился всякой надежды и на этот свет и на загробную жизнь. Если раньше я считал себя покинувшим этот свет и вступившим на путь достижения жизни загробной, то теперь у меня не осталось и тени сомнения, что я не смогу достичь вечной жизни. Поэтому я почувствовал отвращение к добру и злу, исходящим от людей, и избрал для своего жилья это кладбище; остаток своих дней я хотел бы провести среди мертвецов, чтобы никто не потерпел никакого ущерба; да и я сам не смогу здесь никому принести вреда.

Читатель, вероятно, не забыл, что Махдум-Бык, когда мы пришли к нему, сказал нам: «Я сам себя погубил и теперь, вы видите, до какого состояния дошел».

Однако эти слова Махдума-Быка не отражали действительности. Не он себя погубил, он явился жертвой вконец разложившейся феодальной среды эмирской Бухары. Эти условия погубили не только такого человеколюбивого богатыря, каким был Махдум-Бык, они способствовали гибели сотен тысяч талантливых сынов народа. Гибель «мужа мужей» Махдума-Мухаммади, ремесленников Барно-Тайёра и Шароф-джона, силача Усто-Мурода и других ремесленников, о которых упоминалось в «Воспоминаниях», людей, подобных Рустамче, о котором я еще расскажу, таких поэтов, как Шохин, Хайрат, имена которых упоминаются в поэтических антологиях, а также гибель, болезни, отчаяние и смерть таких мыслителей, как Ахмад-махдум, — все это яркие примеры тех несчастий и страданий, какие перенес народ при прогнившем эмирском строе. То были бессмертные народные таланты, которые в эмирской Бухаре не только не воспитывались и не развивались, но сгорали, превратившись в пепел, развеянный ветром небытия.

Если бы эти талантливые сыны народа жили при советской власти, то каждый из них стал бы народным героем, героем социалистического труда, выдающимся писателем или литературоведом, мыслителем или философом с мировым именем, великим изобретателем — т. е. полезным и уважаемым членом общества.

Читатель не должен лишь поверхностно пробежать глазами историю Махдума-Быка и ему подобных, он должен помнить, что жизнь этих людей — это куски истории общества и эмирского строя, не запечатленные ни в одном историческом произведении.

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО РУСТАМЧИ, СМЕРТЬ МАХДУМА-БЫКА И ПИРАКА

После моего первого посещения Махдума-Быка на кладбище я весной и летом (если бывал в городе) раз в неделю навещал его на холме Бехиштиён, зимой же ходил к нему не менее одного раза в пятнадцать дней.

Приходя к Махдуму-Быку, я несколько раз сталкивался у него с его братом Пираком. Физическое и моральное состояние Пирака, как мне казалось, было еще хуже, чем у его старшего брата. Пирак, от природы маленький, худощавый и тонкокостный, теперь весь согнулся и стал похож на волосок, скорчившийся от огня. Он безумно любил брата и не мог перенести его трагического положения, от этих переживаний он совсем изменился.

Однако разум, чувства и способности Пирака не были ослаблены. Он хорошо понимал, что не сегодня—завтра брат его уйдет из этого мира. Пирак, у которого единственной привязанностью на этом свете был брат, при мысли о его смерти впадал в уныние и переставал воспринимать все блага этого мира.

На меня состояние Пирака оказывало большее впечатление, чем состояние его брата, потому что я думал: «Если Пирак умрет раньше брата, что же станется с этим „живым мертвецом"? Кто будет приносить ему еду и наркотики?». Сколько я ни размышлял, я не ощущал в себе сил, не видел условий и материальных средств, чтобы после смерти Пирака заменить его и обеспечивать существование его брата.

Итак, состояние Пирака производило на меня столь удручающее впечатление не только потому, что он был моим первым другом в Бухаре, но и потому, что к моей печали присоединялось чувство беспокойства за его брата, положение которого в случае смерти Пирака должно было стать еще тяжелей и безвыходней.

* *
*

Как уже говорилось во второй части, с наступлением весны, за месяц до Нового года, в Файзабаде еженедельно по пятницам устраивались народные гулянья. В одну из таких пятниц я и Хайрат отправились на гулянье в Файзабад. Воздух был упоителен, с полей и садов дул легкий ветерок, принося живительные запахи всходов пшеницы и ячменя, диких трав, росших по берегам арыков, а также аромат цветущих абрикосовых деревьев.

В такую погоду мне не хотелось сидеть с массой людей в чайной или во дворе дервишской обители; заварив в кипятильнике чай и захватив с собой соленые зернышки миндаля, фисташек и абрикосов, мы отделились от толпы и, расстелив одеяло под цветущим абрикосовым деревом на краю пшеничного поля, сели и принялись есть зернышки и пить чай.

Хайрат обладал изумительной памятью: он знал наизусть как утомительно длинные касыды, так и полные смысла стихи классических поэтов прошлого. Извлекая из своих необозримых запасов редкостные драгоценности, он читал их, нанизывая одно на другое. Он декламировал подходящие к случаю касыды и стихи, где воспеваются травы, растущие по берегам ручьев и по краям полей, стихи, посвященные цветению плодовых деревьев; я же, весь превратившись в слух, восклицал: «хай-хай!», «бай-бай!», — и подстрекал его читать дальше.

В конце Хайрат перешел к чтению стихов, которые говорили о вечности природы и неизбежности смерти человека; эти стихи рождали грустное чувство. В те дни у Хайрата уже появились признаки чахотки, и он чувствовал, что жизнь его в опасности. Теперь стихами он словно хотел выразить свое состояние.

Среди прочего он прочел следующее четверостишие Саади:

Увы, но ведь жизнь и без нас, как обычно, пойдет,
Распустятся розы не раз, и цветник зацветет.
Не раз еще снова весна зашумит на полях,
Когда мы истлеем и глиною станет наш прах.

Слушая эти строки, я вспомнил свою прогулку в эти же места много лет тому назад. В те дни поля и сады, трава и клевер ласкали наши взоры и вливали в нас бодрость и силу, нас освежали ароматы цветущих деревьев. Мы набирались свежих сил, вдыхая этот чудесный воздух. Однако из друзей, которые тогда были с нами (как это описано во второй части «Воспоминаний») двое лучших — Махдум-Бык и Пирак — стояли теперь на краю могилы. Жизнь моего лучшего друга — Хайрата находилась также в опасности. Травы и клевер, цветы и всходы зеленели и расцветали, как прежде, и в будущем они все так же будут зеленеть и цвести...

* *
*

Раздумье, вместе с приятным прохладным ветерком с севера, незаметно погрузило нас в дрему. Когда мы проснулись, день уже клонился к вечеру; немного поодаль от нас, на клеверном поле, затевалась борьба.

Захватив кипятильник, пиалу и одеяло, мы отправились в ту сторону. Как и в прошлые годы, жители Мазора, наблюдая за борьбой, сидели напротив жителей Гала-Осиё. Горожане с беспристрастным видом расположились в сторонке, готовые оказать необходимую помощь при поражении одной из сторон. Мы в качестве нейтральных зрителей присоединились к горожанам.

Было ясно, что мы опоздали. С обеих сторон уже вышли борцы, одни одержали победу, других одолели; в кругу оставался только поджидавший противника парень невысокого роста, худощавый, с красным лицом. Он стоял с каким-то пристыженным видом. Словно находясь среди молящихся или перед какой-нибудь важной персоной, он стоял, опустив голову и скрестив руки на груди.

Сидевшие рядом с нами рассказывали, что этот парень уже положил на обе лопатки пятерых противников со стороны Гала-Осиё и теперь поджидал шестого. В это время один из устроителей борьбы объявил:

— Азим из Дехчи хочет бороться с Рустамом из Шуркуля. Сейчас они покажут свое мастерство. Зрители, смотрите внимательно!

Я понял, что худощавый парень, стоявший со смущенным видом и опущенной головой, был Рустамча из Шуркуля, о котором упоминалось в главе «Гулянье в Файзабаде», во второй части «Воспоминаний». Там было рассказано, что в двадцатилетнем возрасте он выступил против Махдума-Быка. Пожалев Рустамчу, Махдум-Бык не поборол его. Когда он извинился перед Махдумом-Быком за свою смелость, тот посоветовал ему побольше упражняться, не кичиться силой и предсказал будущность борца.

Очевидно, Рустамча так и поступил. С тех пор он не подрос и не пополнел, однако руки его и ноги казались мускулистыми; от прежней кичливости не осталось и следа, несмотря на то что он победил

пятерых борцов. Он стоял в круге, словно готовый провалиться сквозь землю от смущения.

Против него выступил Азим из Дехчи. Он был выше Рустамчи, плотнее, с выпяченной грудью. Надменно оглядевшись по сторонам, он стал лицом к лицу с Рустамчой. После того как они обменялись приветствиями, Азим протянул к Рустамче обе руки. Казалось, будто он хочет, положив свои руки на плечи противнику, силой прижать его к земле.

Однако Рустамча этого не допустил; прежде чем противник коснулся его плеч, он крепко схватил его за кисти рук, не давая тому подойти ближе; Азим своими длинными ногами намеревался ударить Рустамчу по ногам, но последний предотвратил удар.

Азим из Дехчи силился высвободить свои руки из рук противника и попытаться применить другой прием. Однако Рустамча препятствовал этому; он так крепко вцепился руками в его запястья, что зритель мог подумать: железные тиски зажали кусок железа, и освободить этот кусок нет никакой возможности.

Рустамча, сжимая запястья рук противника, то притягивал его к себе, то отталкивал; проделав это несколько раз, он перебросил его с правой руки на левую и снова поставил перед собой. Повторив эти приемы неоднократно, Рустамча увидел, что у Азима совсем не осталось сил, тогда он еще раз перебросил его на правую руку, а сам, с удивительной ловкостью склонившись влево, поднял противника, подобно мешку с пшеницей, над своей головой, наклонив немного его голову, повертел им в воздухе и бросил наземь. Однако он так осторожно и с таким мастерством проделал все это, что противник не очень ушибся, — не то все позвонки его разорвались бы и он мог умереть.

Говорят, этот прием, который называют «дастпеч», Рустамча употребил только в схватке с Азимом, потому что его противник был очень силен и прежде никто не мог его положить на землю.

Когда схватка была окончена, раздались одобрительные крики зрителей и поздравления, долетавшие чуть не до неба.

Даже старики враждебной стороны, окружив Рустамчу, с возгласами: «Да будет тебе радость!» — ласково похлопывали его по спине и плечам. Борьба закончилась, и люди разошлись.

* *
*

Мы с Хайратом тоже отправились в город. Наш путь пролегал позади файзабадской обители. Мы шли очень медленно, пока добрались туда, на террасе обители уже никого не осталось, владельцы чайных также собирали свои кошмы и ковры и готовились уходить в город.

— Обычно люди, приходящие сюда, оставляют всевозможные надписи на террасе и стенах, — сказал Хайрат, — и это не лишено интереса. Давай обойдем всю террасу и обитель и прочтем, что там написано.

Я согласился; войдя во двор, мы поднялись на террасу, которая имела ряд арок. Действительно, написанное там представляло интерес: некоторые писцы-каллиграфы красиво и отчетливо выписали на стенах один или несколько бейтов из старых поэтов; однако они наделали таких ошибок и так исказили буквы, что оставалось только удивляться их неграмотности.

Некоторые не только исказили буквы и допустили орфографические ошибки, но вообще настолько плохо написали стихи старых поэтов, что для прочтения их требовалась помощь самих переписчиков.

Другие начертали здесь свои собственные стихи — бессмысленные и глупые — почерком, стоившим этих стихов, да еще подписались под ними. Ясно было, что подобные «поэты» понятия не имели о том, что такое стихи, хороший почерк и орфография. Несмотря на это, они, без сомнения, считали свои произведения и свой почерк отличными и, чтобы удостоиться «похвалы» неизвестных читателей, оставили здесь свои имена.

Когда мы просмотрели все написанное, Хайрат сказал:

— Пока мы шли сюда, я вспомнил одно стихотворение, посвященное весне. Мне хочется написать его здесь. Может быть, сюда

придет какой-нибудь грамотный человек, прочтет его, и это доставит ему удовольствие.

С этими словами он спустился во двор, где владельцы чайных разжигали самовары, взял кусок угля, затем, выбрав место на одной из стен, покрытых алебастром, где еще ничего не было написано, вывел углем нижеследующее стихотворение:

Весеннее рубои

О, в красоте твоей — удел счастливый мой,
Мой каждый день — весна от встреч с тобой,
При мысли о тебе я молодею,
Тебя не видя, я — старик седой.

Выйдя со двора обители, мы продолжали свой путь. Всюду шли люди — парами, группами по четыре. Среди тех, кто шел впереди нас, я заметил шагающих рядом и увлеченных беседой Азима из Дехчи и Рустамчу. Увидев их, я очень обрадовался; два знаменитых борца, показав свою силу на поле боя, шли вместе, словно старые друзья, и было ясно, что у них в душе не осталось чувства мести.

В особенности меня обрадовал Азим из Дехчи — он не обиделся, хотя его победил парень моложе его самого. Такое редко можно было встретить среди борцов или гуляк Бухары старого времени.

Мы продолжали идти своим путем и достигли пересечения двух дорог: одна шла прямо на юг, в Джуги-хону, другая поворачивала влево, к западу, пролегая позади селения Каландар-хона по направлению к городским воротам. Мы пошли на юг, потому что хотели повидать Махдума-Быка, а по этой дороге можно было быстрее добраться до него.

Рустамча с Азимом вместе с другими также пошли впереди нас той же дорогой. Не знаю, по какой причине я потерял их из виду и взглянул в другую сторону; в это время в толпе раздался душераздирающий вопль: «Убил, убил!» — и со всех сторон все бросились бежать к тому месту, где только что шли Рустамча с Азимом. Мы тоже поспешили туда и увидели, что Рустамча лежит на земле в собственной крови, а в груди у него торчит нож с длинным лезвием.

всаженный почти по самую костяную рукоятку. Из раны фонтаном била черная кровь. Азима поблизости не было.

Один из присутствовавших поднял голову Рустамчи и спросил:

— Кто тебя ударил?

— Азим из Дехчи ударил ножом, — ответил раненый, не открывая глаз. — Ой! — вскрикнул он и больше не произнес ни звука.

Большинство собравшихся не знало ни раненого, ни Азима из Дехчи. Я коротко рассказал о Рустамче и Азиме и выразил сожаление, что Азим так подло бежал.

Спустя несколько минут появились трое парней с длинными окровавленными ножами в руках; не говоря ни слова, они подошли к Рустамче. Сколько его ни тормошили, сколько ни спрашивали, он не подавал никаких признаков жизни. Однако глаза его, закрытые в момент кончины, были теперь раскрыты; безжизненные, они словно глядели на тех, кто над ним склонялся.

Когда в толпе раздались возгласы сожаления о том, что убийца бежал, парни рассказали, что он попался и получил возмездие. По их словам, дело произошло так.

Когда Азим из Дехчи пригласил Рустамчу идти с ним и они пошли вместе, у этих парней из Шуркуля зародилось подозрение. Поэтому они иногда забегали вперед, иногда шли позади, не спуская глаз с Азима; про себя они решили, что если Азим неожиданно нападет на Рустамчу, они станут защищать его и оборонять.

Однако, к сожалению, в момент убийства они находились на несколько шагов впереди убийцы и его жертвы; подобно другим прохожим, они узнали о случившемся лишь по крикам: «Убил, убил!». Услышав эти крики, они бросились назад, убийца же пробежал мимо них.

Парни были довольны, что, проявив сообразительность, побежали не к убитому, чтобы осведомиться о его состоянии, а стали преследовать убийцу.

Тот (должно быть, боясь, что будет схвачен идущими ему навстречу прохожими) не счел удобным бежать по прямой дороге, а забежал в открытые ворота какого-то двора, где жили цыгане. Преследователи настигли его здесь; не дав ему возможности скрыться, они

окружили его, втроем с трех сторон напали со своими ножами и тут же прикончили.

— К счастью, — сказал один из парней, — убийца, растерявшись, побежал, не вытащив своего ножа из тела убитого, поэтому в момент нашего нападения он оказался совершенно безоружным и мы, не понеся никакого ущерба, смогли отомстить за своего друга.

Двое парней остались сторожить убитого, а третий отправился на извозчичий двор достать арбу для перевозки тела в деревню. Мы также не сочли больше возможным оставаться здесь и решили взобраться на холм, чтобы проведать Махдума-Быка.

Однако Хайрат сказал, что нам не следует сейчас, после этого трагического происшествия, в таком волнении идти к Махдуму-Быку:

— Наше состояние может произвести на него удручающее впечатление, — сказал он, — поэтому нам лучше посидеть где-нибудь и успокоиться, а потом уже пойти его проведать.

Я согласился, и мы вошли в находившийся неподалеку мавзолей казия Садриддина. Попросив у одного из отшельников, живших в келье при мавзолее, холодной воды, мы умылись и утолили жажду.

Хайрат, достав из внутреннего нагрудного кармана калам и бумагу, подсчитал по счету «абджад» сумму числового выражения знаков в словах Рустамчи перед смертью: «Азим из Дехчи ударил ножом». Получилось число 1306. Оно было на 12 единиц меньше данного года хиджры — 1318. Хайрат прибавил число, образованное из букв последнего восклицания Рустамчи — вой! Получилось 1323, что было на 5 больше года хиджры. Тогда последнюю букву в этом восклицании он переделал из «й» на «х»: вместо «вой» сделал «вох». В результате получилось требуемое число, ибо «вой» и «вох» означают одно и то же восклицание. Таким образом, дата убийства Рустамчи была выведена из слов, сказанных им самим: Азими дехчаги бо корд зад, вох! — Азим из Дехчи ударил ножом, ох!

Талантливый поэт, для которого экспромты не составляли трудности, тотчас же прибавил еще несколько строк: получилось то, что называется историческим стихотворением. Из него я приведу здесь несколько строк в память о Рустамче, которого я любил за его силу,

храбрость и скромность, а также в память моего дорогого друга Хайрата.

Отрывок

Увы, по воле злых небес и их вращенья
Наш Рустамча, чья жизнь была еще в мечтах,
В день пятницы ушел от нас навек внезапно,
Днем божьей мести стал тот день, увы, на страх.
Упал наш Рустамча, чтоб больше не подняться,
Своею кровью он омыл дороги прах.
Он так нам рассказал о дате убиенья:
«Азим дехчагский нас ножом ударил, ах!».
Но ведь и сам Азим не огражден от смерти,
Судьба ему воздаст, да славится Аллах.

1319 год хиджры
(1900 год нашей эры).

* *
*

Отдохнув немного, мы поднялись на холм к мавзолею Мухаммад-Шоха-кушбеги, где ночевал Махдум-Бык. Войдя в мавзолей, мы увидели картину, мало чем отличавшуюся по своему трагизму от зрелища убитого Рустамчи: в одном углу без движения, словно мертвец, лежал Пирак, в другом углу в гробу лежало тело Махдума-Быка, завернутое в саван; гроб был покрыт черным покрывалом.

В похоронах принимали участие муэдзин и подметальщик медресе Мир-Араб, а также старые друзья Махдума-Быка — Мулло-Хомид Савти из Гиждувана и Зайниддин-ходжа из Мир-Кулола. С нашим приходом число участников похорон, кроме Пирака, который был родственником покойного и к тому же лежал без чувств, достигло шести человек.

Из лиц, участвовавших в похоронах, возле Пирака оставили подметальщика медресе Мир-Араб, чтобы он, побрызгав холодной водой лицо и влив немного воды в рот, привел его в чувство. Мы же все пятеро, стремясь поскорей удалить от Пирака его любимого умершего брата, подняли погребальные носилки и понесли к могиле, вырытой неподалеку.

Муэдзин медресе, согласно обычаям, при опускании тела вошел в могилу, где имелась *ниша для покойника.* Мы четверо с помощью двух могильщиков подняли тело с носилок и на куске материи осторожно опустили на руках в могилу.

После похорон мы вернулись в мавзолей Мухаммад-Шоха-кушбеги. Пирак уже очнулся, но ни с кем не захотел разговаривать. Словно безумный, он озирался по сторонам, глядел на окружающих, но в глазах его не было даже следа слез. Их словно высушило тяжкое горе.

Подметальщика послали на извозчичий двор за фаэтоном. Поддерживая Пирака под мышки, мы помогли ему потихоньку спуститься с холма на большую дорогу. Подъехал фаэтон. Муэдзин, подметальщик и Зайниддин-ходжа, все еще живший в медресе Мир-Араб, сели вместе с Пираком в фаэтон, чтобы присмотреть за ним и довезти до жилья. Мулло-Хомид Савти, живший в то время в медресе Кукельташ, присоединился к нам, и мы все вместе направились в город.

* *
*

У меня не хватало сил встречаться с Пираком; он сильно горевал. Я не пошел на поминки к могиле его брата и решил, что через неделю или десять дней, когда он немного успокоится, я пойду к нему и выражу свое соболезнование.

Однако это мое намерение не осуществилось: спустя неделю я узнал, что Пирак тоже умер и что его похоронили рядом с братом.

ЗАБОЛЕВАНИЕ РИШТОЙ

Одной из распространеннейших в период эмирата болезней, против которой не находили средств, была ришта. Я заболел этим «неизлечимым» недугом уже на четвертый год моего пребывания в Бухаре, однако счел нужным перенести воспоминания об этом в данную часть книги, так как окончательно избавиться от болезни мне удалось лишь в 1901 году. Я здесь хочу рассказать читателям о мучениях, которые

я терпел в течение одиннадцати-двенадцати лет, о том, что собой представляет и откуда взялась эта болезнь, от которой в советской Бухаре не осталось и следа.

В один из летних дней, когда я жил в медресе Бадал-бек, я почувствовал у себя внизу на теле, там, где нет ни мускулов, ни сухожилий, какой-то прыщик. Посмотрев внимательно, я увидел маленький белый нарыв, величиной с просяное зернышко. Я подумал, что этот нарыв уже созрел, поэтому, чтобы его уничтожить и выдавить гной, я с кусочком ваты в руках сорвал его.

Из ранки показалось что-то белое, похожее на головку дождевого червя. Разница была только в цвете: как известно, червяк бывает красноватым.

Я подумал, что это какой-нибудь желвак, его надо вытащить и тогда все пройдет; я потянул за кончик. Когда он вышел на три-четыре сантиметра из тела, толщина его стала равной веревке на колесе ручной прялки.[1] Несмотря на то, что неведомый предмет выходил из самого тела, он был холодным, как лед. Ни когда я тащил его, ни когда останавливался, я в том месте, где тащил, не чувствовал никакой боли; прыщик же, прежде отчетливо ощущавшийся, исчез бесследно.

Я продолжал вытаскивать эту «веревку», и в конце концов она целиком вышла из тела; ее кончик, подобно головке дождевого червя, был узенький, а длина достигала более одного аршина. Я подумал, что вытащил из своего тела червяка, и испугался последствий.

Взяв этот червеобразный предмет, я вышел из кельи, чтобы показать его кому-нибудь и спросить, что меня ожидает. Во дворе медресе возле цветника сидели Мулло-Рузи и муэдзин медресе Мулло-Сулаймон. Я показал им этот предмет и спросил, что это такое.

— Это же ришта, откуда ты ее взял? — спросили они меня.

Услышав их ответ, я очень испугался; я слышал, как страдали бухарцы от этой мучительной болезни. Я знал, что люди, заболевшие

[1] Толщина ришты, извлеченной из моего тела, равнялась толщине веревки на прялке и имела в диаметре два миллиметра. Мой последующий опыт показал, что диаметр ришты колеблется от одного до трех миллиметров. (*Примеч. автора*).

риштой, месяц, два, а то и три бывали прикованы к постели, некоторые начинали хромать, а некоторые выздоравливали, но лишались ног. «Что же будет со мной? — думал я в страхе. — При моем одиночестве, при отсутствии близкого человека, когда мне не на что надеяться, кроме как на свои руки и ноги, — что будет, если мне придется два-три месяца пролежать в постели?».

Я так испугался и растерялся, что забыл ответить на вопрос Мулло-Рузи и Мулло-Сулаймона. Увидев мою растерянность и испуг, Мулло-Рузи повторил вопрос:

— Откуда ты взял эту ришту, только что появившуюся из тела?

— Вытащил из своего тела, — ответил я и рассказал все: как обнаружил и как извлек червя.

Они меня поздравили, что я с такой легкостью избавился от столь мучительной болезни, а Мулло-Рузи добавил:

— Место, откуда вышла ришта, больше не загноится, не будет болеть и мучить тебя. Яд ришты — беловатая, словно молоко, жидкость; он появляется из тела ришты, и в нем заключается весь вред. Если при вытягивании ришты — например, оттого, что место, где появилась ее головка, неудобное, — она оборвется внутри тела и начнет загнивать, жидкость разольется по телу и причинит невероятные страдания. Человек вынужден провести в постели два-три месяца, а после захромает или же вообще лишится ног.

Увидев, что я очень испугался его объяснений, Мулло-Рузи добавил:

— Однако ришта никогда не убивает человека; поэтому заболевание риштой называют «доброкачественным».

От этих слов Мулло-Рузи мой страх не уменьшился; умереть я не боялся, гораздо страшнее казалось мне пролежать в постели два месяца и остаться без ног.

* *
*

Спустя несколько дней после того, как я вытащил ришту, я почувствовал в теле словно шевеление какого-то существа. Ощупав себя, я ощутил под кожей что-то, напоминающее веревку. Неведомое существо сворачивалось кольцами, шевелилось, передвигалось.

Я рассказал об этом Мулло-Рузи и попросил у него совета.

— Ни разу в жизни, — ответил он, — я не вытаскивал ришты и не могу сказать, ришта это или нет, и что нужно делать. Однако все бухарские цирюльники умеют ее вытаскивать. Лучше всего, если ты пойдешь на площадь Ляби-хаузи-Девон-беги, покажешься кому-нибудь из них и он тебе скажет, ришта это или нет. Если ришта, то цирюльник объяснит тебе, когда нужно ее тащить...

Подумав минутку, Мулло-Рузи добавил:

— Если это в самом деле окажется ришто́й, лучше, если ты дашь ее вытащить какому-нибудь искусному цирюльнику. Ты не думай, что и на этот раз сможешь вытащить ее сам. То был удачный случай, он представился тебе один только раз: ришта появилась в таком месте тела, где нет ни мускулов, ни сухожилий.

— Где же я найду искусного цирюльника, умеющего извлечь ришту?

— Большинство цирюльников на площади Ляби-хаузи-Девон-беги умеют тащить ришту и являются хирургами. Степень их мастерства определяется количеством штук ришты, висящих на гвозде в лавке. Если увидишь, что в лавке на гвозде висит червей больше, чем у других, — знай, что владелец этой цирюльни является самым искусным в этом деле...

Немного помолчав, он продолжал:

— Говорят, лучше всех умеет тащить ришту Усто-Хаким, но я с ним не знаком и не знаю, где находится его лавка. Можно определить так: в какой цирюльне увидишь больше штук ришты, та и будет цирюльня Усто-Хакима. Только ни у кого из цирюльников не спрашивай о нем, потому что любой из них — умеет ли он тащить ришту или нет — скажет, что он и есть Усто-Хаким, только чтобы получить одну теньгу.

* *
*

Спустя несколько дней то, что, по моим предположениям, было ришто́й, постепенно спустилось вниз и дошло до бедра. Теперь

кольца ее разомкнулись, она заняла больше места и вышла ближе к поверхности кожи. Увидев это, я больше не сомневался, что в теле у меня поселилась ришта.

Прошло еще несколько дней, и головка ее, дойдя до левого колена, показалась наружу. Коленная чашечка не покрыта мясом, поэтому я подумал, что смогу легко вытащить ришту. Использовав свой случайный прошлый опыт, я сковырнул прыщик и, захватив кончик ришты, потянул за него. Выйдя на два или три сантиметра, ришта дальше не вытягивалась.

Вдохновившись указаниями, которые Усто-Хаким дал одному человеку, также заболевшему риштой, я приготовил местную свечу. (Дело в том, что однажды, отправившись на площадь Ляби-хаузи-Девон-беги, я по приметам, которые мне указал Мулло-Рузи, нашел цирюльню Усто-Хакима и там наблюдал за его действиями по извлечению ришты. Усто-Хаким, вскрыв ланцетом участок кожи размером в полгорошины на бедре человека, страдавшего риштой, срезал ее бритвой, затем поковырял в мясе зубочисткой; измучив человека, — он проделал это трижды, — он не смог ухватиться за кончик ришты. Тогда он сказал больному, чтобы тот до следующего дня побольше ходил пешком и в том месте, где он почувствует шевеление ришты, смазал свечным салом. Если ришта покажется из другого участка тела, то он ее вытащит).

Держа кончик ришты пальцами правой руки, я стал мазать левой рукой то место, где чувствовал шевеление ришты, и снова потянул. Я подумал, что вытащил ее еще на один сантиметр. Однако, посмотрев внимательней, я увидел, что ришта дальше не показывается, но только удлинилась и сделалась тоньше та часть ее, которую я вытянул раньше.

Однако я не оставлял надежды на успех и продолжал тащить дальше. Наконец около двух сантиметров ришты осталось у меня в руке, остальная же часть оборвалась и ушла обратно в тело. В этот же момент я почувствовал, как что-то влажное и холодное разлилось у меня внутри по всему телу, через минуту тело мое с ног до головы начало гореть, словно в огне, спустя еще пять минут вся кожа покрылась сыпью — не мелкой сыпью, но пятнами, каждое из кото-

рых по величине напоминало ноготь; пятна эти были красного цвета и сильно зудели.

Чем больше я чесал, тем сильнее становился зуд. Постепенно зуд сделался до того сильным, что у меня захватило дыхание, внутренний жар тоже усилился, и я почувствовал себя как в раскаленной печи. Я уже не мог свободно дышать, каждую минуту издавал душераздирающий стон, который вырывался у меня из груди вместе с дыханием.

В это время я понял, почему люди, болеющие ришто́й, отдают себя в руки такому безжалостному мяснику, как Усто-Хаким, а он в результате того, что больные, не раздумывая, предаются на произвол судьбы, вытаскивает сотни неповрежденных экземпляров ришты и вывешивает их в виде образцов на гвоздях в своей лавке.

Наконец мои душераздирающие крики были услышаны Мулло-Рузи и муэдзином медресе; они прибежали ко мне (по случаю лета в медресе оставалось мало людей, и они в это время не находились в своих кельях).

Увидев сыпь у меня на теле, Мулло-Рузи сказал:

— Эта сыпь появляется, когда портится кровь от ришты, т. е. когда яд ее проникает в кровь; зуд постепенно становится нестерпимым. Первое средство — перестать чесаться. Кто чешется, подобно тебе, тот оказывается в очень тяжелом состоянии. Второе средство, успокаивающее зуд, — смазать кожу салом.

Мулло-Рузи велел муэдзину смазать мне тело свечным салом, которое я приготовил для вытягивания ришты. При втирании от высокой температуры тела свечное сало растопилось и стало впитываться в кожу, от этого зуд немного утих и дыхание сделалось ровнее.

Однако внутреннее жжение и температура достигли такой степени, что во рту у меня все пересохло, язык прилип к нёбу; жажда была так велика, что я схватил кувшин и стал пить прямо из носика сырую холодную воду, не имея терпения сначала налить в пиалу.

Мулло-Рузи не позволил мне пить сырую воду:

— При высокой температуре употребление сырой воды, особенно из бухарских водоемов, может привести к гибели, — сказал он и велел муэдзину медресе принести из чайной кипятку.

После этого Мулло-Рузи принялся лечить сыпь, чтобы она совсем исчезла и больше не появлялась. Он велел муэдзину принести из москательной лавки несколько мискалей махзара,[1] а от бакалейщика — косу кислого молока или густого пахтанья.

Когда все было готово, Мулло-Рузи смешал махзар с кислым молоком и заставил меня выпить залпом, запив горячей водой. После этого Мулло-Рузи и муэдзин навалили на меня в два слоя ватные одеяла и велели не раскрываться, если начну потеть. Затем оба ушли.

Час спустя сыпь совершенно исчезла и вздутия на коже стали опадать. Однако я так вспотел, словно лежал в воде, причем в горячей воде.

Вечером пришли Мулло-Рузи с муэдзином, вытерли меня и переодели в чистое белье. Температура и жажда по-прежнему были невыносимы. Горячая вода, когда я пил, только смачивала горло, но не утоляла жажды. Мои покровители заварили крепкий зеленый чай, который показался мне приятней горячей воды.

Температура была столь высокой, что я иногда терял сознание и видел какие-то удивительные сны: то я попадал в опасные места, то погружался в бурную реку, то оказывался в огне. Стараясь спастись, я начинал метаться, и тогда приходил в сознание; увидев себя на прежнем месте, я спрашивал тех, кто за мной ухаживал, сколько времени я проспал.

— Ты только на минуту закрыл глаза и сразу же их открыл, — отвечали они. — Вероятно, во сне ты чего-то очень испугался, так как сильно метался и кричал.

В те времена ни я, ни мои знакомые не знали, что такое термометр и как надо измерять температуру тела; поэтому я не знаю, сколько у меня было градусов. Однако, познакомившись позднее с различными уровнями температуры тела и сопоставив с тем, что было тогда со мной, я установил, что в те страшные дни температура

---

[1] Махзар — растение с листьями желтого цвета, чуть более красноватое, чем шафран, и менее приятное по запаху, — я видел его только засушенным, у бухарских москательщиков. (*Примеч. автора*).

у меня поднялась до такого уровня, выше которого больной не может выдержать и умирает.

Так, в лихорадке, прошла эта ночь, показавшаяся мне длиннее года. Только когда рассвело, я задремал без всяких сновидений. Открыв глаза, я увидел, что уже взошло солнце. Место на теле, где появилась головка ришты, горело, будто ножевая рана. Я развязал тряпку и увидел, что левое колено у меня распухло, красная опухоль распространилась вверх до бедра и вниз до икры. Тело и внутренности горели, как в огне, но я больше не терял сознания.

Муэдзин Мулло-Сулаймон принес из цирюльни мазь и смазал ею опухшие места на ноге, сверху положил материю, большой кусок ваты и завязал. Спустя час ощущение жжения, похожее на то, как если бы ногу резали ножом, сменилось пульсацией, «как будто рубили мясо»; казалось, будто по колену бьют колотушкой для мяса или рубят мясо одновременно многими кухонными ножами.

Мазь меняли раз в сутки, и на одиннадцатый день в том месте, где появилась ришта, кожа пожелтела.

— Теперь созрело, — сказали мне. — Если ждать, пока прорвет само, пройдет много времени и ты будешь очень мучиться. Лучше позвать хирурга, пусть он вскроет.

Я согласился, и ко мне привели цирюльника, который давал мазь. Он разрезал опухоль в двух местах.

В течение прошедших одиннадцати дней я ничего не ел, только пил арбузный сок. Когда вскрыли опухоль, я начал есть; сначала я только пил чай с размоченной в нем лепешкой, постепенно стал есть все без ограничений. Жар сильно понизился, и температура дошла почти до нормальной; рана меньше беспокоила, и опухоль сверху и снизу тоже опала. Однако я не мог двинуться с места; с той поры, как у меня обнаружилась ришта, я был прикован к постели и все еще лежал без сил.

В течение десяти дней рана совершенно очистилась, но не заросла кожей. Наконец, спустя тридцать один день, я смог, опираясь на палку, выходить во двор, а еще через десять дней, хромая, начал уже выходить с палкой на улицу. В это время рана совсем затянулась, за-

росла молодой кожей, но левая нога пока не могла свободно двигаться.

На следующий год ришта появилась в правой ноге. Я почувствовал это, когда она поднялась до самой груди. Она угнездилась глубоко в мышцах и среди костей, так что ее нельзя было прощупать, однако я хорошо ощущал, как она шевелится.

Эта ришта, не выходя на поверхность кожи, спустилась до бедра и здесь скрылась в мышцах бедра; больше я не чувствовал ее шевеления.

Спустя еще несколько дней она обвилась вокруг коленной чашечки, и уже на следующий день головка ее спустилась до голени и здесь вышла наружу.

На этот раз я (на основании прошлого опыта) не решился сам тащить ришту и отправился к Усто-Хакиму.

— Вы пришли вовремя! — воскликнул он и приказал мне лечь навзничь на небольшую суфу, так как ришта находилась в колене и в передней части голени. Однако я не согласился.

— Я сяду и протяну ногу; делайте, что нужно! — заявил я цирюльнику.

— Боитесь? — спросил он.

— Нет, не боюсь! — ответил я.

Причиной моего упрямства было то, что я хотел вблизи посмотреть, как тянут ришту. Конечно, сидел бы я или лежал, боль оставалась бы одинаковой.

Протянув ногу, я сел. Мастер, приступив к делу, хотел вскрыть место около коленной чашечки.

Я спросил его:

— Почему вы не вскрываете там, где показалась головка ришты (я показал на голень), а хотите разрезать здесь?

— Возле голени нет и четвертой части ришты, она вся свернулась возле коленной чашечки. Если я потяну за показавшийся кончик, она выйдет не больше чем на палец, потому что хвост ее застрял здесь, — ответил мастер. — Неумелые мастера или те, кто тащит ришту без надлежащего опыта, не обращают внимания на то, где застрял ее хвост. Полагая, что им легко удастся вытянуть ее за по-

казавшийся кончик, они срывают прыщик и начинают тянуть, сколько есть силы за этот кончик, но ришта обрывается, а больной мучается два-три месяца.

Испытав все это в прошлом году на себе, я подтвердил про себя все, что говорил мастер, и, больше не вмешиваясь, полностью доверился ему.

Мастер в намеченном месте, — снаружи, у коленной чашечки, — сделал надрез ланцетом, но ришта не показалась. Он вторично надрезал, и тогда ришта обнаружилась. Мастер подцепил ее зубочисткой и вытащил наружу. Было очень больно, однако я стыдился кричать или плакать в присутствии лекаря и здоровых зрителей, столпившихся у дверей цирюльни. Поневоле стиснув зубы, я сдержался.

Мастер ухватил пальцами повиснувшую на зубочистке ришту и легко потянул ту ее часть, которая спустилась к голени, а потом вытащил ее наружу. Но сколько он ни старался, сколько ни мазал свечным салом, ему никак не удавалось вытащить ту часть, которая лежала возле коленной чашечки.

— Напрасный труд ломит поясницу, — говорит пословица. Извлекать ришту хуже, чем лечить перелом поясницы. — С этими словами мастер, протянув руку, достал с полочки ножницы для стрижки усов. Захватив оставшийся в теле кусок ришты приблизительно с полпальца он остриг все остальное.

Ту часть ришты, которую мастер держал между пальцев, он обтер ватой, выдавил всю белую жидкость и белой шелковинкой крепко перевязал червяка в месте надреза. Ришта тотчас же ушла внутрь.

Я очень испугался, подумав, как бы не повторились прошлогодние мучения. Мастер догадался о моих опасениях:

— Не бойтесь, — сказал он. — Оборвавшаяся или обрезанная и ушедшая внутрь тела ришта бывает опасна, только когда находящаяся в ней жидкость смешается с кровью. Я насухо вытер жидкость в месте среза, там же, где завязано, жидкость из ришты не сможет проникнуть внутрь тела.

Он смазал свечным салом кожу на коленной чашечке и вокруг нее, посыпал ранку жженой ватой и завязал чистой тряпочкой, которую я сам принес.

Мастер наказал мне до утра еще несколько раз смазать это место свечным салом и побольше ходить пешком, а назавтра снова явиться к нему.

Я уплатил ему за работу одну теньгу, но он не взял:

— Если завтра мне удастся вытащить всю ришту, тогда я возьму вознаграждение; но если, не дай бог, ришта не появится, вы будете очень страдать. Мучить человека и брать за это плату неприлично и бесстыдно, — заявил мастер.

Я выполнил его наставления и на следующий день явился в назначенный срок. Обнаружив ришту, он вскрыл кожу возле коленной чашечки, зацепил кольцо червя и потащил. Боль была гораздо сильнее, чем накануне, однако ришта вся вышла и я избавился от мучений.

* *
*

В последующее время у меня ежегодно появлялась ришта; иногда ее вытаскивали, иногда вытаскивал я сам; бывало и так, что ришта появлялась в неудобном месте, вытащить ее не мог ни я сам, ни другие и на два-три месяца я оказывался прикованным к постели. Таким образом, я в течение многих лет страдал от этой неизлечимой болезни эмирского времени. В конце концов, поняв причины ее появления, я постарался устранить их и тем самым избавиться от напасти.

КАКИМ ОБРАЗОМ И ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕВАЛИ РИШТОЙ И КАКИЕ «МЕРЫ» ПРОТИВ НЕЕ ПРЕДПРИНИМАЛО ЭМИРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Описанные выше муки и страдания, перенесенные мною от ришты, ежегодно испытывала по меньшей мере половина бухарского населения. Конечно, каждый искал причины этого общего заболевания. Люди, хотя бы немного соображавшие, усматривали эту причину в бухарских водоемах. Действительно, вода в водоемах, особенно весной, когда оживала вся природа, наполнялась глистами. В бухарских водоемах водяные глисты были круглые, красноватого цвета, некото-

рые из них достигали значительной длины. Кое-кто из жителей Бухары перед употреблением фильтровал эту воду через марлю, тем не менее у них тоже появлялась ришта. Люди, веривщие в предопределение, использовали это в своих целях.

— Это глупости, — говорили они, — что ришта может появиться из воды; мы пьем процеженную воду, тем не менее болеем ришгой. Отсюда неопровержимо следует, что если господь предопределит кому-нибудь заболеть ришгой, тот и заболеет, а если не предопределит — не заболеет!

Приводились еще и такие доводы:

В одной и той же семье у одних появляется ришта, у других нет; точно так же в одной семье все болеют ришгой, в другой никто не болеет и даже не знает, что это такое.

Развивая эти мысли, они говорили:

— Такой-то прошлым летом, несмотря на то, что постоянно жил в деревне и ни разу не пил воды из бухарских водоемов, болел ришгой два месяца; и наоборот, такой-то деревенский житель, целое лето проживший в городе и постоянно употреблявший воду из этих водоемов, ни разу не заболел ришгой.

Некоторые обманщики извлекали прямую выгоду из этих представлений наивных людей и однажды — не помню, в какой год — набили карманы добытыми без труда теньгами. Естественно, что бухарцы, страдавшие всевозможными болезнями и не находившие исцеления у своих табибов и местных заклинателей, моментально собирались вокруг человека, приехавшего издалека, из-за границы, и объявившего себя знахарем или заклинателем. Зная об этом, некоторые чаеторговцы и продавцы индиго, приезжая из Пешавера, объявляли себя лекарями или заклинателями и таким путем грабили невежественных бухарских тружеников.

Как-то летом, когда почти каждый второй житель Бухары страдал ришгой, один из таких торговцев чаем объявил, что он заклинатель и может заговорить ришту. Жил этот купец в караван-сарае Сайфиддина, к югу от площади Ляби-хаузи-Девон-беги, ближе к улице Калон. Люди, страдавшие ришгой, на рассвете до открытия ворот караван-сарая, собирались у дверей и заполняли всю улицу Калон;

каждый стремился первым или хотя бы одним из первых подвергнуться заклинаниям.

Когда слава этого заклинателя широко распространилась и он заработал много денег, в караван-сарае Рашид другой пешаверский купец, продавец индиго, также объявил, что он будет заклинать больных риштой. Клиентов у него оказалось не меньше, чем у первого.

Здоровые люди, любители происшествий, также собирались возле этих заклинателей; увидев, а то и не увидев, как заклинают ришту, эти праздношатающиеся после рассказывали об этом на все лады и еще больше способствовали успеху купцов-«целителей». Они без стеснения преувеличивали виденное; один из них, например, говорил:

— Я своими глазами видел, как заклинатель прочел молитву и затем сказал «куф, суф» над телом больного в том месте, где завелась ришта. Подобно земляному червю, выползающему из земли, ришта подняла головку и вышла из-под кожи наружу. Отрезая ее кусками, заклинатель бросал куски в бумагу. «Вызвав» с помощью заклинания из тела всю ришту и разрезав ее, он завернул остатки в бумагу и отдал больному, таким образом «очистив» подношение за свое заклинание.

Будучи от природы любопытным, а также скептиком, я не верил в подобные чудеса, покуда сам не убеждался в достоверности; поэтому однажды я отправился вместе с больными риштой (хотя тогда был здоров) в караван-сарай Сайфиддина к первому заклинателю. Я был четвертый в очереди.

Помощник заклинателя вводил в комнату больных по четыре человека. Я вместе с бывшими передо мной тремя людьми четвертым вошел к заклинателю. Он сидел посредине комнаты на ковре, скрестив ноги. Перед ним стояла большая эмалированная миска, в ней лежало четыре куска липкой глины.

Заклинатель велел стоявшему перед ним больному подойти поближе и показать то место, где была ришта, а затем лечь. Больной выполнил это. Ришта завелась у него в бедре.

Заклинатель оторвал от комка глины небольшой кусок, помял его в руках, придал ему форму круглого длинного фитиля и приложил к коже больного на то место, где была ришта; затем, взяв

в руки старый тупой нож, он стал читать заклинание. Читал он не по-таджикски и не по-арабски, а, должно быть, на урду или на каком-нибудь другом языке Индии, потому что среди других иногда слышались слова, напоминавшие таджикские.

Останавливаясь после каждой части молитвы, заклинатель произносил над больным «куф, суф», отрезал ножом кусочек скатанной фитилем глины, клал его в бумажку и снова продолжал молитву.

Таким образом, прочтя молитву, он разрезал всю глину и положил в бумагу, затем велел больному встать, дал ему в руки бумажный сверток с глиной и сказал:

— Вынесите это из города и бросьте в полноводный ручей, чтобы уничтожить ее следы. — Потом тоном наставления добавил:

— Будьте осторожны, чтобы ни одной частички не упало в городе; под действием молитвы семена ришты вышли из вашего тела и смешались с глиной, если же глина упадет среди людей, то может заболеть еще какой-нибудь мусульманин.

Больной, взяв бумажный сверток, положил его в карман; затем, достав оттуда серебряные монеты, протянул заклинателю. Тот не взял деньги руками, а показал, что их нужно положить на расстеленный перед ним платок. Больной выполнил это. В течение времени, которое я там провел, на платок было положено около двухсот серебряных тенег «чеканки благородной Бухары».

Я глядел, как заклинатель обращался со вторым больным; он проделал то же самое, что с первым. Вероятно, этот больной был побогаче первого, потому что звон падающих на платок монет был громче и давал понять остальным, что этот больной пожертвовал больше денег.

Когда дело дошло до третьего и подходила моя очередь, я прикинулся, что у меня схватило живот, и, корчась, вышел из комнаты.

Когда пора заболевания риштой подошла к концу и число заболевших уменьшилось, оба пешаверских заклинателя одновременно исчезли из города. Они лучше всех знали, что их заклинания никому не принесли пользы; должно быть, боясь, что больные уличат их в мошенничестве, они свернули свои торговые дела или передали их товарищам по профессии, а сами убрались из города.

* *
*

В течение двух-трех лет, когда я еще болел ришто́й, в Бухару в сезон появления ришты из Москвы и Петербурга систематически приезжали русские биологи; они брали у цирюльников свежую ришту, извлеченную из тела больных, а затем исследовали ее в своих лабораториях. Результаты этих исследований официально не были известны населению Бухары, однако через осведомленных людей я узнал, что основную причину заболевания они видели в бухарских водоемах; стало также известно, что после фильтрования воды через марлю в воде все же остаются невидимые для простого глаза яйца ришты.

Поверив в эти выводы, я решил сопоставить их с тем, что мне самому пришлось перенести; мне хотелось укрепиться в этой уверенности, проверить все выводы на деле, чтобы уже навсегда избавиться от этой болезни.

Мой опыт подсказывал, что вода бухарских водоемов только в том случае может явиться причиной заболевания ришто́й, если организм человека окажется восприимчивым. В организме же того человека, который будет бороться с яйцами ришты и выйдет победителем, ришта погибнет и человек не заболеет. Именно поэтому одни, употребляя воду из бухарских водоемов, заболевают ришто́й, другие — нет.

С другой стороны, зимой вода бухарских водоемов не является источником заболевания ришто́й (возможно, что от холода в ледяной воде яйца ришты погибают); поэтому не заболевают люди, живущие зимой в Бухаре и выезжающие ранней весной из города, чтобы провести лето в деревне или в другом городе.

Те же, кто пьет воду из бухарских водоемов летом, если их организм восприимчив к риште, могут заболеть не сразу, а только на будущее лето. В таком случае, живи он в самой Бухаре, в деревне или в другом городе, человек все равно не убережется от болезни.

Согласно моему собственному опыту, появление, созревание и выход ришты наружу протекал следующим образом. Если человек, предрасположенный к заболеванию ришто́й, пил летом воду из бухар-

ских водоемов, то на следующий год, в самом начале весны, когда растения появлялись из земли, он чувствовал движение ришты. Вначале червь начинает шевелиться в верхней части тела, чаще всего в груди или около нее. Однако в это время под кожей еще ничего нельзя ощутить такого, что можно потрогать рукой. Долгое время страдая риштой и никогда не выпуская ее из поля зрения, я понял, что она приходит в движение внутри мышц под кожей и постепенно движется по телу сверху вниз.

Спустившись пониже, червь начинает шевелиться энергичнее, и теперь его движение ощутимо; однако нащупать его рукой, пока он проходит под кожей, от пупка до сгиба колена, удается очень редко. Если он выйдет наружу в этой части тела, его очень легко вытащить; это может сделать сам больной без помощи специалиста. Однако обычно ришта в этой части тела не выходит на поверхность; чаще всего, пройдя через бедро, она стремится выйти наружу возле коленной чашечки. А в этой части тела делать надрезы и извлекать ришту очень опасно.

Если ришта, пройдя под коленом и через голень, появится возле лодыжки, то здесь опять-таки вытащить ее довольно легко. Однако если она обовьется вокруг лодыжки и нижней части голени, извлечь ее можно только с большим трудом.

Здесь следует сказать, что один раз ришта появилась у меня в правой ноге, прошла через колено, голень, лодыжку и оказалась в ступне, однако не вышла наружу и не показала головки. Я пошел к цирюльнику. Ощупав больное место, он сказал:

— Ришта забралась далеко, в самые мышцы; между тем, кожа и мышцы ступни очень твердые, это место нельзя вскрыть, чтобы вытянуть ришту целиком. Надо положиться на волю божью и терпеть: если ришта подойдет ближе к поверхности кожи и покажет головку, тогда приходите, попробуем что-нибудь сделать. Оставшись, она загноит мышцы или сама сгниет и выйдет на поверхность в виде гноя; тогда вы сляжете в постель и помучаетесь два-три месяца, но что поделаешь?

Это случилось в июле. До самых осенних холодов ришта шевелилась и двигалась, но на поверхности не появлялась; когда же похоло-

дало, она успокоилась. На следующий год в начале весны ришта снова пришла в движение, но до осени не появлялась наружу, а зимой опять успокоилась. Таким образом в течение десяти лет каждое лето она шевелилась и усиленно двигалась, но наружу не появлялась и кожу не прорывала. Затем шевеление ее постепенно начало утихать, но при ощупывании было ясно, что она спит, свернувшись кольцом.

Короче говоря, до последних пятнадцати лет моей жизни (т. е. приблизительно в течение сорока лет) каждое лето ришта шевелилась, хотя и слабо, а затем совершенно замерла; затем в течение пяти лет ее еще можно было нащупать рукой, после этого она исчезла совсем. Возможно, она умерла, не лопнув и не выпустив в кровь ядовитую жидкость, и стала составной частью мышц в ступне ноги.

* *
*

Окончательно уверившись, что ришта появляется в результате употребления сырой воды из бухарских водоемов, я перестал пить эту воду и полностью избавился от болезни. Это произошло в 1903 году. Правда, спустя семь лет, в 1910 году, я снова заболел риштой, но позднее один мой товарищ признался, что для проверки он дал мне выпить под видом кипяченой сырую воду. Сам он никогда не болел риштой и не верил, что она распространяется с водой; он всегда спорил со мной на эту тему. Он решил дать мне сырой воды, ибо, по его мнению, я не должен был заболеть риштой; впоследствии он постоянно приводил этот случай и побеждал меня в спорах.

Однако, увидев мои мучения, он вынужден был отказаться от своего убеждения и в споре со мной признать себя побежденным.

* *
*

Конечно, русские ученые в результате своих научных изысканий сообщили бухарскому правительству о том, что в бухарских водоемах водится ришта, и разъяснили, что необходимо очистить водоемы. Однако бухарское правительство не только не приняло никаких мер, но даже не попыталось через влиятельных лиц разъяснить населе-

нию, что нельзя пить сырую воду и таким путем можно избавиться от этой жестокой болезни.

Единственная «мера», предпринятая эмирским правительством против ришты, заключалась в том, что каждый год в сезон особенно сильного распространения ришты из государственной казны выделяли две тысячи тенег (150—300) рублей для раздачи нуждающимся, тяжело больным ришто̆й ученикам медресе, по десять тенег (полтора рубля) на каждого.

Чиновник, уполномоченный кушбеги, вместе с писцом, запасшись этой суммой, обходили одно медресе за другим. Муэдзин или другое «уважаемое» лицо из числа живущих в медресе называли кого-либо из «бедных учеников, тяжело больных ришто̆й»; ему выдавали десять тенег. Муэдзин и «уважаемый» обитатель медресе или же «бедный ученик, тяжело больной ришто̆й» из этих десяти тенег отдавали теньгу чиновнику «за службу» и теньгу писцу «за труд», остальные восемь тенег делили между собой.

В качестве примера приведу одну историю, случившуюся со мной при «раздаче денег за ришту», когда я болел в течение десяти-двенадцати лет. Еще в первый раз, когда я заболел ришто̆й и лежал в своей келье в лихорадке, то приходя в сознание, то теряя его, ко мне вошел муэдзин Сулаймон, в руке у него были деньги.

— В медресе принесли деньги на ришту, кроме вас здесь нет ни одного больного, да и вообще нет никого из учеников. Я не счел удобным привести к вам представителей власти, когда у вас был такой сильный жар; поэтому я себя записал в число «бедных учеников, тяжело больных ришто̆й», и получил десять тенег. Из этой суммы я две теньги отдал представителям власти. Из оставшихся восьми тенег возьмите себе, сколько хотите, а остальное оставьте мне, — сказал муэдзин.

— Пусть все останется вам, — ответил я, — потому что вы очень помогали мне во время болезни и теперь тоже продолжаете оказывать помощь. У меня нет ничего, чем бы я мог отблагодарить вас за ваши услуги, и я ни за что не возьму у вас деньги, свалившиеся вам с неба. Кроме того, сейчас я ни в чем не нуждаюсь, так как мне ничего не хочется, Шариф-джон отпускает мазь в долг. Вчера Мулло-Рузи

принес из пятничной мечети шесть свечей — из тех, которые молящиеся сжигают в память усопших. Если я проболею даже целый год, этих свечей вполне хватит для смазыванья.

Муэдзин прочел молитву за мое скорейшее выздоровление и удалился довольный. Однако позднее Шароф-джон (о нем упоминалось в третьей части «Воспоминаний»), изредка навещавший меня, рассказывал:

— Кроме вас, муэдзин записал еще троих «бедных учеников, тяжело больных риштой», и на четырех человек ему выпало сорок тенег. Представители власти, получившие «за службу» и «за труд», не стали проверять, поверив муэдзину на слово.

В последующие годы, лежа в своей келье и страдая от ришты, я слышал, как при дележе денег за ришту между «бедными учениками, тяжело больными риштой», муэдзином и «уважаемыми» людьми медресе поднимались крик и споры; они ругали друг друга, но никто даже не вспомнил обо мне — о том, что «такой-то лежит и мучается от ришты».

Это было единственной мерой эмирского правительства против «неизлечимой» ришты. (Население Бухары избавилось от этой болезни только после революции, когда были осушены все водоемы и построен водопровод, из которого брали питьевую воду. Теперь молодежь даже не знает, что такое ришта, а старики порой вспоминают о ней, словно о каком-то кошмарном сне).

* *
*

Завершая эту главу, я хочу рассказать одну историю, связанную с моей болезнью. Эта история послужила толчком к написанию стихотворения о риште.

Однажды ришта показалась у меня из голени. Усто-Хаким был болен и не приходил к себе в цирюльню. Поневоле, чтобы вытащить ришту, мне пришлось обратиться к другому мастеру. Осмотрев место, где показалась ришта, он сказал:

— Чтобы вытащить червя, вовсе не нужно резать тело, Усто-Хаким напрасно мучает людей. Для извлечения ришты без того, чтобы

разрезать тело, я изобрел мазь; если смазать ею несколько раз участок кожи, то ришта вылезет наружу и вы сами, без помощи мастера, сможете ее вытащить.

Сказав это, мастер занялся своими делами: переменил воду в сосуде с пиявками, вытер носовым платком кровососные банки... Он даже не взглянул ни на меня, ни на ришту. В конце концов мне это надоело, и я спросил:

— Разве вы не дадите мне свою испытанную мазь?

— Ее нельзя давать, так как в течение суток она не только потеряет свою силу, но даже сделается вредной. Однако я могу каждый день сам смазывать вам больное место.

Он снова занялся своими делами, которые, по-моему, не имели никакого значения, и не торопился применить свою мазь.

Я опять обратился к нему:

— Ну, хорошо, смажьте сами.

— С удовольствием, — ответил мастер. — Но это будет дорого стоить.

— Сколько именно?

— От других я за каждое смазывание получаю по две теньги, но с вас, поскольку вы ученик медресе, мы положим за каждое смазывание по одной теньге. (Между тем мази на одну теньгу хватало больному ришгой на целый месяц).

Я согласился, и мастер смазал мне ногу мазью, количество которой не превышало объема абрикосового зернышка; получив теньгу, он отпустил меня.

От действия этой мази или благодаря тому, что место было удобным, на третий день после смазывания я сам вытащил ришту; мастер, чтобы поскорей зажило место, откуда вышла ришта, еще дважды смазал его, получив две теньги. Истратив всего пять тенег, я опять избавился от ришты.

* *
*

В тот же год, собираясь в деревню, я у себя в бедре снова обнаружил ришту. Я подумал: «В деревне нет ни мастера, умеющего извлекать ришту, ни мази от нее; правда, сейчас в городе нет такого

искусного мастера, как Усто-Хаким, заго есть хорошая проверенная мазь. Если, по словам мастера, она не только портится, но даже становится вредной спустя сутки, лучше будет, если я останусь в городе и воспользуюсь ею».

Позже я подумал, что смогу взять у мастера рецепт этой мази, купить на базаре ее составные части и взять с собой в деревню; в нужный момент я смогу приготовить мазь и пользоваться ею. Поэтому не стоит оставаться в городе теперь, когда поспели арбузы и виноград, не следует лишать уставший организм запасов сладкого на целый год.

Я отправился к мастеру и попросил у него перечень веществ, составляющих мазь. Поломавшись вдоволь, он за пять тенег дал мне этот перечень, я скопировал его; в этой бумажке указывался также способ приготовления мази.

Купив у москательщика составные части мази, за что пришлось уплатить всего одну теньгу, я поехал в деревню. Спустя немного времени ришта зашевелилась, я сразу же сварил мазь и смазал ею больное место. Я почувствовал, что мазь — совсем не та, которой мастер смазывал мне ногу; та мазь смягчала, а эта сильно жгла и словно делала кожу еще жестче.

Как бы там ни было, я продолжал мазать. Через несколько дней кончик ришты вышел наружу, но когда я потянул за него, ришта не поддалась: казалось, она вросла в мышцы. Наконец, когда я попробовал тянуть сильнее, ришта оборвалась, и я оказался в таком же состоянии, как в начале заболевания ришой.

Пролежав два месяца в постели, я наконец смог вернуться в город.

УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА ДОКТОРА И ЛЕКАРЕЙ ЭМИРСКОЙ БУХАРЫ И СМЕРТЬ МУЛЛО-ХОМИДА САВТИ

Как говорилось в главе «Холера» в третьей части «Воспоминаний», в Бухаре была одна лишь больница, она одновременно выполняла также и функции амбулатории. Степень врачебного искусства тамошнего доктора, который был и главным и вообще единственным врачом, также описана выше на основании того, что́ мне довелось видеть и слышать.

Следует еще сказать, что эмирское правительство и улемы, боясь ущерба для обычаев и основ религии, не хотели, чтобы в Бухаре появились ученые и искусные врачи, и умышленно не допускали их в Бухару. В то же время безграмотный и невежественный человек, каким являлся эскулап упомянутой больницы, ронявший в глазах народа авторитет и врачей и самой медицины, не казался улемам «опасным»; наоборот, он был удобен для их антинаучной деятельности. Вот почему такого рода безграмотные врачи порой попадали в Бухару.

Я хочу здесь рассказать о «медицинском искусстве» этого врача, имея в виду лечение, которое он применял ко мне. Как уже говорилось в начале этой части, я поселился в медресе Хаджи-Зохид в то время, когда оно только что было выстроено (т. е. когда еще не просохли стены). На второй год моего пребывания в нем у меня так разболелись ноги, что я с трудом мог передвигаться.

Я глубоко верил русским ученым, поэтому не пошел к местному лекарю, а обратился к упомянутому доктору и через переводчика объяснил, что́ у меня болит. На осмотрев моих ног и тела, не пощупав пульс и не смерив мне температуру, не выслушав ни сердца, ни легких (в те времена я и сам не знал, что для лечения нужно все это проделать), он велел своему фельдшеру, раздражительному пьянице-кашгарцу, смазать мне ноги йодом.

Фельдшер в это время перевязывал кому-то рану. Для представления о моральном облике этого фельдшера следует знать, что, когда он промывал или завязывал больному рану и больной при этом стонал или охал, фельдшер осыпал его непристойными уличными ругательствами на турецком языке и, стукнув раза два кулаком по шее или по спине, заставлял замолчать.

Закончив перевязку, фельдшер грубо позвал меня, велел обнажить ноги и лечь на место того больного, на койку, забрызганную кровью.

Испугавшись брани и побоев этого пьяницы, я, не обращая внимания на то, что одежда моя может испачкаться в крови и гное, лег на место, которое он мне указал. Фельдшер смазал мне йодом ноги от сгиба в колене до лодыжки.

Встав с койки, я спросил доктора через переводчика:

— Когда мне еще приходить?

— Пока не прекратятся боли, нужно приходить ежедневно, — ответил доктор тоже через переводчика, не вынимая изо рта трубки.

Я ходил к ним в течение шести дней, и все лечение заключалось в смазывании йодом. Должно быть, йод был слабо разведен и от этого очень крепок, потому что у меня начала облезать кожа на ногах. С каждым днем действие йода сказывалось сильнее и жжение увеличивалось; в более нежных частях тела, у сгибов, появились даже раны. Первоначальная боль, как и прежде, не утихала, но теперь к ней прибавилась еще боль от раздражения йодом.

Поневоле я перестал ходить к врачу и пошел к лекарю Мулло-Курбону. Он велел мне сделать из глины кальян наподобие старинных светильников. Обычно отверстие для масла и фитиля в старинных светильниках выдалбливалось в виде желобка с носиком, я же должен был это отверстие заполнить глиной и в носик вставить камышинку.

Объяснив мне устройство глиняного кальяна, лекарь наполнил бумажный мешочек искрошенным древесным мусором и дал мне со словами:

— Ты должен три раза в день бросать в «чашечку», твоего глиняного кальяна горсть этого лекарства; сверху положи два уголька из только что разгоревшегося огня от дров абрикосового дерева, ложись на землю и через камышинки вдыхай дым и выпускай его через нос. Через сорок дней ноги совершенно перестанут болеть.

Я выполнил все, как велел лекарь, но спустя сорок дней боль в ногах не только не прошла, но к ней еще прибавились стесненное дыхание и сильный кашель. Это мучило меня настолько, что я не мог подыматься по лестнице. (Очевидно, густой дым «лекарства» закупорил все дыхательные пути, как у дымоходной трубы).

Тогда я отправился к другому известному бухарскому лекарю по прозвищу Хакимча. Он обвинил Мулло-Курбона в невежестве и велел мне курить обычный табак в обычном водяном тыквенном кальяне, при этом обещал, что в течение одного-двух, самое большее трех месяцев боль совершенно исчезнет.

Я курил кальян в течение целого года, но боль в ногах оставалась такой же сильной. В это время я переехал из медресе Хаджи-Зохид в медресе Кукельташ и там тоже продолжал курить кальян. Спустя еще шесть месяцев боль прошла. (Сначала я думал, что боль прошла под воздействием табака. Но потом от врачей я узнал, что боль появилась в медресе Хаджи-Зохид из-за сырых стен, когда же я переехал в медресе Кукельташ, в сухое помещение, боль прекратилась сама по себе).

Однажды, когда я сильно страдал от риштy, мне опять пришлось столкнуться с тем же доктором. Это событие произошло после посещения Бухары научной экспедицией из Москвы и Петербурга. Мне стало известно, что члены этой экспедиции определили причины появления ришты, и я решил, что, возможно, эти ученые нашли также средство против заболевания риштой и сообщили о нем врачу в больнице.

Поэтому, когда я обнаружил у себя в бедре ришту, я пошел в больницу и через переводчика объяснил доктору, в чем заключалась моя болезнь.

Доктор, как и в прошлый раз, не осмотрев место, где завелась ришта, велел фельдшеру смазать мне бедро йодом. Я знал, что, пока ришта находится в теле, йод не приносит никакой пользы; однако, боясь брани и побоев пьяницы-фельдшера, я согласился. Больше я уже никогда не ходил в больницу.

* *
*

В те времена в Бухаре появилась женщина-врач, которую русские называли «докторша», а таджики *«доктор-шах».* Ей было около пятидесяти лет, но она так наряжалась, столько употребляла косметических средств, что ей можно было дать всего лет тридцать-тридцать пять.

«Доктор-шах» сняла дом в квартале Говкушон, перестроила его на европейский лад, но у себя дома больных не принимала. Богачи и их сыновья присылали за ней фаэтон, и она по вечерам ездила и лечила их на дому.

В Бухаре жил некто Джура-Корвон, имевший десять-двенадцать фаэтонов и пять-шесть арб; у него служили извозчики, сам же он ничего не делал.

Этот самый Джура-Корвон также лечился у «доктор-шах». Когда дружба окрепла, «доктор-шах» купила двух рысистых лошадей с английским седлом и упряжью и поставила в конюшне Джура-Корвона; за этими лошадьми ухаживали его конюхи. Каждый день, часа в три-четыре (время указывала «доктор-шах»), Джура-Корвон садился на одну из лошадей, на другую сажал грума и подъезжал к дому доктора.

«Доктор-шах» вместе с Джура-Корвоном садились на лошадей и выезжали за город. Обратно они возвращались вечером, ко времени, когда богачи обычно присылали за «доктор-шахом» фаэтоны.

* *
*

Шел месяц рамазан. Я бродил по ночному базару, навестил некоторых друзей и домой вернулся поздно. Почему-то мне трудно было уснуть. Едва взошло солнце, я вышел из кельи во двор медресе, чтобы немного прогуляться; может быть, думал я, удастся уснуть позже.

Во время прогулки я взглянул на келью, в которой жил гиждуванец Мулло-Хомид Савти. Мне показалось, что земля перед кельей залита кровью. Я посмотрел внимательней: кровь вытекала из-под дверей кельи на сводчатую галерею, затем текла во внутренний двор медресе. В его задней части, лежавшей ниже, стояла лужа черной крови чуть ли не в два квадратных метра.

Дверь жилой кельи Мулло-Хомида стояла открытой, а занавеска была опущена. Я подошел и постучался, но не услышал ни единого звука; поневоле, подняв занавеску, я без разрешения вошел в келью. Передняя часть ее также была залита кровью, Мулло-Хомид сидел, скрестив ноги, опершись о стену, из обеих ноздрей его на одежду и на пол лилась кровь, глаза были закрыты, как будто он спал.

Я кашлянул, он открыл глаза и на мой вопрос ответил:

— Не знаю, в какое время ночи у меня пошла носом кровь. Я сел возле таза, в нем была вода, и он быстро наполнился кровью. Я позвал подметальщика, он вынес таз, вылил его и снова принес. Кровотечение все продолжалось, подметальщик несколько раз обливал мне голову холодной водой, но кровотечение не останавливалось и не утихало. Подметальщик, несколько раз вынеся таз и полив мне голову холодной водой, ушел. Я очень ослабел, и у меня не было больше сил сидеть возле таза. Поневоле я прислонился к стене и стал ждать смерти.

Выдернув клок ваты из круглой подушки Мулло-Хомида, я заткнул ему ноздри, а затем сказал:

— Я пойду, принесу от врача лекарство или приведу его самого, чтобы он остановил кровотечение. Как только кровь перестанет течь, у вас опять появятся силы, не бойтесь!

Он благословил меня. Я поднялся к себе в келью и оделся. На доктора из больницы я не надеялся, потому что по опыту людей, «любящих врачей» (в Бухаре тех, кто верил врачам, называли «любящий врачей»), и согласно тому, что я сам знал, этот доктор был абсолютно невежествен. Единственной моей надеждой оставалась «доктор-шах».

Я много слышал о том, что в Самарканде и Ташкенте русские врачи ничего не жалеют, чтобы спасти жизнь больному. И тут я подумал: если мужчины-врачи готовы принести любые жертвы ради спасения находящегося в опасности человека, то «доктор-шах» — женщина, а женская натура по природе мягче мужской; вероятно, она с радостью окажет помощь человеку, находящемуся на краю гибели.

С такими мыслями я пошел к «доктор-шах». Ворота ее дома были открыты. Войдя в проход, я потянул за ручку звонка на дверях сеней, ведущих в дом. Спустя минуту в сени из внутренних комнат вышла «доктор-шах» и приоткрыла дверь. Хотя погода была уже не очень жаркая, а время было утреннее, она держала в руках китайский веер, которым все время обмахивалась. Она говорила по-таджикски; обратившись ко мне грубо «на ты», она недовольно спросила:

— Что тебе от меня нужно?

Я коротко рассказал о состоянии больного и попросил ее прописать какое-нибудь лекарство, останавливающее кровь; если же она согласится, то я возьму фаэтон, чтобы она поехала посмотреть больного.

«Доктор-шах» ответила все так же грубо:

— Этими делами и больными такого рода я не занимаюсь, мне некогда! — она хлопнула дверью и заперла ее изнутри на ключ.

Я повернул вспять, но еще не успел дойти до ворот, как она опять открыла дверь и закричала изнутри:

— С твоим приходом в сени влетело несколько мух, теперь мне придется немало потрудиться, пока удастся их выгнать, вот какая для меня польза от твоего прихода!

Раскрыв ворота, я вышел и, подражая хозяйке, с треском захлопнул их. Но я никак не мог решиться прийти к больному с пустыми руками, ибо знал, что в этом случае он впадет в уныние и даже может умереть. С такими мыслями я некоторое время стоял, не двигаясь, посреди улицы.

* *
*

Вдруг мне в голову пришла одна мысль, которую я немедленно принялся осуществлять: в те времена в Бухаре прославился один лекарь по имени Мулло-Мухаммад-Амин-хаким. Отец его был из пешаверских купцов, а мать — уроженка Бухары, где сам он родился и вырос. При жизни отца он несколько раз ездил в Индию и проводил там по шесть месяцев или по году. Говорили, будто в Индии он изучал врачебное искусство, «овладев» как древнегреческой медициной, так и европейской. После смерти отца, от которого не осталось больших капиталов, он открыл лавочку в москательном ряду, принимал больных и лечил, в зависимости от их желания, кого по греческому методу, кого по европейскому. Он умел писать названия лекарств по-латыни, поэтому он договорился с городской аптекой и там принимали и выполняли его рецепты.

Однако опыт многих больных показывал, что он толком не знал ни древнегреческих, ни европейских методов лечения. Несмотря на

это, чтобы получить лекарство и успокоить больного, я постучался к нему в ворота. Когда он вышел, я рассказал ему о болезни Мулло-Хомида, и попросил лекарства.

Мулло-Мухаммад-Амон хорошо знал Мулло-Хомида, так как был не только врачевателем, овладевшим «двойной медициной», но еще и поэтом. Сочинив однажды газель, он дал ее Мулло-Хомиду, чтобы тот выучил ее, подобрал к ней музыку и исполнял на вечеринках и пирушках.

Газель его была неискусной и никак не ложилась на музыку, поэтому Мулло-Хомид все успокаивал его, говоря: «Завтра», — и, чтобы не обижать автора, откладывал сочинение мелодии. Теперь для лекаря, мнящего себя поэтом, представился удобный случай извлечь пользу из болезни артиста и донести свой стих до ушей любителей поэзии. Поэтому он с удовольствием согласился оказать помощь больному.

— В Бухаре только я один могу лечить эту болезнь. Подождите немного, я сейчас приготовлю лекарство и вынесу вам, — сказал он и вошел во двор.

Спустя несколько минут лекарь принес бутылочку, в которой было граммов двадцать пять масла (что это было за масло, я не знаю) и две палочки с накрученной на концах ватой. Эти палочки были местными спичками, которые изготовляли из можжевельника, с намазанными серой кончиками. Сера у спичек была соструган а.

Лекарь, вручая мне бутылку с маслом и палочки, обмотанные ватой, сказал:

— Обмакните эти палочки в масло и зажгите; затем возьмите их в руки и одновременно поднесите к ноздрям больного так, чтобы дым шел внутрь. Всякий раз, когда масло на палочке выгорит, вы снова обмакните палочку в масло и зажгите. Продолжайте это до тех пор, пока остановится кровотечение. Может быть, это произойдет не сразу, но пока все масло из бутылки выгорит, кровь непременно остановится.

Я хотел заплатить за лекарство, но лекарь не взял денег:

— Когда больной поправится и встанет, тогда я получу деньги за лекарство от него самого. Я дал ему одну мою газель, и если он

подберет к ней подходящую музыку и споет ее на вечере, то я вообще не возьму с него денег за лекарство. Я даже бесплатно дам ему еще укрепляющее средство; ведь он несомненно очень ослабеет после такой потери крови, и укрепляющее понадобится ему.

Я поблагодарил лекаря от имени больного, прибежал в медресе и вошел в келью Мулло-Хомида. Он все еще сидел, прислонившись к стене, кровь продолжала идти. Но так как я заткнул ему перед уходом ноздри ватой, то кровь шла через рот.

Услышав, что я пришел, больной открыл глаза. Я поздравил его с тем, что нашлось хорошее лекарство, и приступил к делу. Я не спал ночь, все утро пробегал в поисках лекарства от доктора к лекарю и очень устал; после того как я два-три раза зажигал масло на палочках, меня одолел сон и палочки стали валиться у меня из рук. Поневоле я оставил это дело; выйдя из кельи, я нашел подметальщика и велел ему зажигать палочки, а сам пошел спать в свою келью.

Приблизительно через час я проснулся; проворно спустившись вниз, я пошел в келью больного, чтобы узнать о его состоянии. Взойдя на порог, я увидел, что подметальщик сидит прямо напротив больного, в некотором удалении от него. Знаками я осведомился о состоянии больного. Он мне тихонько ответил:

— Когда палочки погорели полчаса, кровь остановилась и больной уснул. Я больше ничего не стал делать, однако сижу и наблюдаю; если кровь снова пойдет, я начну зажигать палочки.

Обрадованный, я прошел в келью и приблизился к больному: раньше от слабости он сидел с закрытыми глазами, а теперь широко их раскрыл и будто внимательно смотрел на меня. Он был мертв, но сидел, все так же опираясь о стену.

«ЖИЛЬЕ ВНУТРИ РУБАШКИ»

После четырех лет жизни в медресе Кукельташ, в одной из лучших его келий, я снова остался без жилья и вынужден был скитаться.

Отец Абдулхалил-махдума, моего соученика и владельца кельи, в которой я жил, был казием в различных местностях Бухары. После

того как его сделали преподавателем в одном медресе, он уже не надеялся больше получить место казия. Вакфа, причитавшегося ему в этом медресе как преподавателю, не хватало на расходы, так как у него была большая семья. Поэтому Абдулхалил-махдум был вынужден продать свою келью, а вырученные деньги израсходовать на жизнь.

Продажа произошла зимой. В это время ни в одном из медресе нельзя было найти кельи. Однако новый владелец вынудил меня незамедлительно передать ему помещение.

Среди учеников из Гиждувана был некто Сиродж-махдум, который по занятиям был года на два-три старше меня; он жил в медресе Кукельташ, в келье одного из своих друзей. Келья его, весьма тесная, находилась на первом этаже, примыкавшем ко двору.

В ней были антресоли, т. е. в высоту она делилась на две части и, кроме потолка, имела еще одно перекрытие. Нижняя часть служила кладовой, там лежали дрова и уголь, стоял кувшин с водой, котел, кухонная и обеденная посуда и прочие вещи; там же находился и очаг. Верхняя часть служила жильем, в нее надо было подниматься по лесенке в несколько ступеней; освещалась эта часть окошечком, выходившим во двор медресе.

Одна сторона жилого помещения была предназначена, чтобы складывать одеяла с подушками, одежду, съестные припасы и книги; на другой стороне, у окна, сидели и спали.

Сиродж-махдум жил в этой келье вместе со своим младшим братом и с братом зятя сестры. Место, отведенное для спанья, было столь узким, что если все трое лежали, тесно прижавшись друг к другу, вытянув ноги, четвертому негде было даже сесть.

Несмотря на это, Сиродж-махдум, узнав о моем бедственном положении, предложил мне оставить вещи у него в келье. Он приглашал меня к себе также ночевать, когда один из его братьев или он сам куда-нибудь уходил. Когда же они все трое находятся в келье, говорил он, я смог бы переночевать у кого-либо из моих друзей.

У меня не было иного выхода и я принял его предложение. Я принес свои подстилки и другие вещи, сложил их под антресолями среди дров и угля. Одеяло и подушку, одежду и книги я положил

на антресолях вместе с вещами хозяина кельи, а сам пошел бродить по улицам.

В те времена я уже разочаровался в уроках, преподаваемых в медресе, и посещал аудиторные занятия только для формы, поэтому мне не нужно было читать учебники и готовиться к занятиям. Когда подходило время урока, я шел в келью Сиродж-махдума, брал нужные книги, по окончании клал их на место, сам же опять отправлялся на улицу.

Все мои знакомые узнали, что я остался без кельи. Поэтому каждый из них, встретив меня на улице и осведомившись о моем здоровье, спрашивал:

— Вы нашли келью?

— Нет!

— Где же вы теперь живете?

— Внутри своей рубашки! — отвечал я.

Поэтому в те времена среди моих знакомых и друзей было распространено выражение: «жилье внутри рубашки».

Вечера и ночи я проводил в медресе Гозиён, в келье Абдухалил-махдума, который из-за того, что отец закрыл их мехмон-хону, постоянно жил вместе с братьями в келье медресе. Иногда я проводил время то в медресе Мулло-Мухаммад-Шариф, в келье Мирзо-Абдулвохида, то в медресе Турсун-джон, в келье Хомид-ходжи Мехри или Мир-Абдулкодира-Кобылы. Если случалась пирушка, я посещал ее, а на обратном пути заходил в келью «коллеги» — того, кто ходил на эту пирушку и там оставался.

* *
*

Весной того же года братья Сиродж-махдума уехали в деревню и мы остались вдвоем с хозяином кельи. Однако с наступлением мая в этой келье жить стало невозможно: она выходила на юг, и солнце било и в дверь, и в окно. Входную дверь еще можно было закрыть, но закрывать окно нельзя было, так как в келье становилось темно и душно. От солнца и безжалостного бухарского зноя стены кельи

раскалялись подобно меди, до полуночи нечем было дышать, и находиться в келье стало совершенно невозможно.

Поэтому большинство вечеров я проводил теперь на вечеринках и пирушках либо до полуночи сидел во дворе медресе. Когда температура в келье спадала, я заходил и ложился спать. Сиродж-махдум также пережидал ночную духоту в домах своих друзей, или шел со мной на пирушку, или, как и я, до полуночи сидел во дворе медресе.

В одну из таких ночей, когда я сидел во дворе медресе, Сиродж-махдум разыскал где-то пирушку и пришел звать меня с собой (летом в Бухаре, в особенности в самом городе, свадьбы и тому подобные праздники устраивались редко). Я согласился. Мы пошли в дом, где была пирушка. Там играли на бубне, барабане и сурнае, но не было ни песен, ни танцев. Однако усадьба, недавно отстроенная, была очень красива.

Позже выяснилось, что три брата из бухарских богатеев в тот год великолепно отделали свои усадьбы. Обычно бухарские богачи очень много денег тратили на свои дома, но не для того, чтобы жить там с удобствами: они расходовали большие суммы с целью похвастать своими домами перед людьми. Поводом для этого было устройство праздников и пирушек. Поэтому каждый богач, построив новую усадьбу, обязательно находил какой-нибудь предлог для устройства праздника.

Эти три брата, вложившие большие деньги в постройку дома, прикинули, что если они устроят праздник, то могут потерять все свое состояние. В то же время во что бы то ни стало надо было показать людям новый дом, в противном случае все их расходы оказались бы напрасными. Братья, подумав, нашли легкий способ показать народу свой дом, а заодно удовлетворить свою спесь и гордость: они украсили двор коврами и паласами, пригласили нескольких друзей, одного бубниста, одного барабанщика и одного играющего на сурнае, оплата которых не превышала и десяти тенег, — таким образом распространили слух о «пире», который они намерены задать. Народ, услышав звуки бубна, поспешил к ним во двор; хотя никакого пира не было, люди осмотрели здание, удовлетворили тщестлавие хозяев дома и разошлись.

Подобный же «пир» где-то разыскал и Сиродж-махдум; он позвал меня с собой. Очень скоро мы вернулись, и я в нижеследующих стихах описал вечер, дом и «байский пир»:

Когда я вечером вчера в углу двора сидел,
Стучало в грудь и в голове как будто кто галдел.
Вдруг подошел и рядом сел со мной Махдум-Сиродж, —
Он радость и беду, как друг, со мной делить умел,
Сказал: «Не хочешь ли кутнуть, вставай-ка и пойдем
Туда, где радостно; хочу, чтоб ты повеселел».
Ну, словом, оба поднялись мы и туда пошли,
Места красивы были там — дома белы, как мел.
Был так просторен горизонт, как степь весной в цвету,
А дом, в который мы пришли, был роскоши предел.
По замыслу то зданье — рай, лишь гурий лишено,
Взамен красавиц были там ослы, да бык ревел.
Там даже не было следа танцоров иль певцов,
Звучали бубен и зурна, да барабан гремел.
Скамеек, стульев до двухсот стояло по рядам,
Но признака веселья там найти б ты не сумел.
На стульях несколько глупцов сидело, говоря:
«Игра прекрасная», — и всяк, разинув рот, смотрел.
Местечко славное, но вот безрадостно оно,
Как бы потушенный очаг, тот праздник еле тлел.
Напившись чаю, я тогда Махдуму так сказал:
«Твой угол лучше во сто крат, чего ты здесь хотел...».

Читателю этого раздела «Воспоминаний» стихи могут на первый взгляд показаться безвкусными и неинтересными; однако, хорошенько вдумавшись, он увидит, что они передают настроение и дух общества в Бухарском ханстве. В то время как мне и тысячам других подобных мне учеников и трудящихся было негде преклонить голову и они имели только «жилье внутри рубашки», — богачи хвастались перед народом своими пышными усадьбами.

* *
*

Летом я много бегал и хлопотал, но так и не нашел подходящей кельи. Правда, келью можно было найти на окраине города или в медресе похуже, но в таком месте я поселяться не хотел. Я много

лет жил в центре города, привык, и переселиться на окраину было бы для меня все равно, что попасть в незнакомые места. К тому же в это время мои основные научные и литературные занятия заключались в чтении книг. Сто́ящих книг у меня не было, и я брал у друзей на время дорогие рукописи. На окраине города и в плохих медресе эти рукописи у меня могли украсть. Я извлек должный урок из того случая, когда меня обокрали в медресе Бадалбек (об этом говорится в третьей части «Воспоминаний), и считал, что теперь следует быть осторожней и осмотрительней.

Тогда-то, в 1901 году, я сочинил рубои, посвященное моим скитаниям.

В медресе даже жалкого нет уголка для меня,
Ни в одном кабачке нет вина ни глотка для меня.
Так доколе ж твердить: «Ничего нет пока у меня!».
В мире нет ни копейки, ни хлеба куска у меня.

Настал сентябрь. Братья Сиродж-махдума вернулись из деревни. Мне опять пришлось «жить внутри рубашки». В середине зимы отыскалась келья в медресе Домулло-Шер, расположенном к северо-востоку от медресе Кукельташ. Однако медресе Домулло-Шер было небезопасно в отношении воровства. Поэтому лишнюю одежду и чужие книги я сложил в келье Сиродж-махдума; перенеся в новое помещение свои подстилки, я устроил себе там место для занятий и спанья. Туда я приносил с собой только ту книгу, которую в данное время читал, причем ночью из предосторожности клал ее себе под голову.

Эта келья была тесной и на метр ниже уровня улицы, проходившей позади нее. Улица эта, подобно большинству улиц в эмирской Бухаре, не имела водостока, поэтому в мою келью, как и в соседние, просачивалась дождевая и снеговая вода. Пол в келье из-за этого был всегда сырой, а на задней стене появлялись капли воды, напоминавшие капли пота на человеческом теле.

Живя в этой келье, я очень ослабел; мне трудно стало вставать с постели, постепенно я потерял аппетит, появились признаки болезни. Самое худшее, что я не мог оставлять келью пустой и идти

ночевать к друзьям, так как в этом случае могли украсть мои подстилки.

Я отказался и от посещения пирушек, сделался «отшельником».

Однажды вечером в доме у одного из моих знакомых позади моей кельи был пир. Обычно я ходил на пирушки «по звукам бубна», но на этот раз, несмотря даже на специальное приглашение хозяина празднества, не пошел. Уже в середине пира хозяин дома еще раз позвал меня через небольшое отверстие в задней стене кельи, выходившее на улицу. Я пошел на пирушку и, пробыв там не более часа, вернулся к себе. Подойдя к келье, я обнаружил, что замок на дверях давно уже сбит и из кельи украден мой маленький самовар. Видимо, воры не успели взять все остальное или же, заметив, что я возвращаюсь, не тронули моих подстилок.

После этого случая я бесповоротно решил сменить келью. Во время моих поисков и беготни один из друзей, живших в собственном доме, предложил мне временно поселиться у него в мансарде. Эта мансарда не относилась ко двору, а была позади него. В нее можно было попадать по особой лестнице из тупика. Мансарда освещалась окошком, выходившим во двор небольшой мечети; в этом дворе находился склад гончаров, а также их печь для обжига посуды — кувшинов для умывания и для воды, горшков и т. п.

Здесь тоже было небезопасно в отношении воровства, но мансарда была сухая, солнечная и вполне пригодная для укрепления здоровья. Находилась она в северо-западном углу медресе Кукельташ; этот угол принадлежал к кварталу Пои-остона, но народным названием его было Такишур-Кулолгари.

То было хорошее жилище, но две вещи очень мне досаждали; одна из них — нашествие мышей.

Не знаю, был ли тут поблизости склад зерна или еще чего-нибудь излюбленного мышами, но их здесь развелось великое множество. Часть из них поселилась между стенами мансарды, где в основании имелись две поперечные балки. Мыши начали грызть и портить мои книги; у всех этих книг были местные переплеты, листы у корешков были проклеены клеем. Увидев, что мыши скоро без остатка уничтожат мою библиотеку, я связал несколько книг в платок и повесил их

на гвоздь под потолком. Не были в безопасности также сухие лепешки, присылаемые мне из деревни семьей старшего брата. Эти бесстыдные животные, которых правильней было бы назвать «домашние хищники», не стесняясь меня, бегали по полу, искали книг или сухих лепешек; некоторые, наиболее наглые, стояли, устремив глаза на книгу у меня в руках, словно с целью, обманув меня, наброситься на нее и сожрать клей на ее листах.

Когда наступила весна, мыши вывели детенышей и число их значительно возросло; взрослые мыши вместе с мышатами бегали целыми стаями по комнате, обнюхивали каждый предмет, — жизнь в комнате стала для меня невыносимой.

Второе обстоятельство, досаждавшее мне, — это попытки одного муллы выдать себя за святого. У хозяина моей кельи был старший брат, служивший мударрисом в одном из медресе; он претендовал на то, что может творить чудеса. Каждый день он поднимался ко мне, рассказывал о чудесах, совершенных разными святыми в прошлом, и в конце, переведя разговор на себя, приписывал и себе такую же способность.

Сначала я слушал его истории, как усыпляющие сказки, и иногда дремал под звук его слов. Но постепенно это мне очень надоело. Действительно, каждый день в течение многих часов слушать его бессмысленные рассказы, не имея возможности читать интересные книги, было скучно и очень утомительно.

Поэтому я снова устремился на поиски кельи. Во время этих поисков один из моих друзей посоветовал мне написать в честь а'лама Бухары Гиёс-махдума касыду и попросить келью у него. В медресе Кукельташ у него имелась келья; после скандала с жившим в ней гиждуванским юношей, сыном маддоха, Гиёс-махдум перевел его в медресе Мир-Араб (рассказ об этом помещен в этой же части «Воспоминаний», в главе «Мое переселение в медресе Кукельташ»), и вот уже четыре-пять лет эта келья пустовала, дверь ее была заперта на замок.

До тех пор я ни у кого *ничего не просил при помощи касыд*, и теперь сердце мое никак не хотело примириться с необходимостью этого. Однако друзья очень настаивали и упрашивали меня. В конце

концов я придумал такое содержание касыды, чтобы из вступительной части стало ясно, что я не имею кельи. Я решил написать такую касыду, но в последней части, где одописцы-профессионалы высказывают свою просьбу, решил ничего не просить, а в заключительную часть являющуюся благодарственной молитвой, включить благословение, построенное в стиле традиционных для медресе споров.

Про себя я подумал: я являюсь учеником а'лама; весьма вероятно, что благодаря этой касыде он предоставит в мое распоряжение пустующую келью.

Если же этого не произойдет — не беда; ведь я не просил у него келью и, следовательно, в случае отказа не подвергаюсь унижению.

Вот эта касыда:

Я бездомный без приюта, без чалмы и без халата,
У меня нет угощенья, нет вина и нет собрата, —
Сколько ж стою после этого я сам в глазах людей?
Как же станет тот жестокий плут и другом мне и братом?
Скажем, если бы каморка для меня доступной стала,
Ничего нет для забавы, что за смысл бывать тогда там?
Если ж все, что для веселья нужно, я и приготовлю,
Из жеманства не придет туда ко мне красавец статный!
Если шуткой тот надменный навестить меня решится,
То соперники воскликнут: «Не ходи, ступай обратно!».
Если возгласы такие до него не донесутся
И пройдет по медресе он без событий неприятных,
Все отложат «повторенье» и начнут шептаться громко:
«И куда ж оно шагает, то бессонное богатство?».
Словом, если бы пришел он и вошел бы в дверь каморки,
У меня б ослабли руки, ноги стали бы, как вата,
Я б лишился чувств тотчас же, у меня бы не осталось
Сил взглянуть ему в лицо, и сказать хоть слово внятно,
Чуть мигнул бы он глазами, милыми и озорными,
Все пропало б: вера, разум и сознанье, да куда там!..
— Все, чему я обучался, все наставников старанья,
Сразу все пошло бы прахом, все б исчезло без возврата...

В таком духе касыда шла до конца, и там, где помещаются традиционные восхваления, было сказано:

— До поры, пока на свете разногласья есть и споры,
Тайный смысл любой задачи станет пусть тебе понятным!

Закончив касыду, я сам не отнес ее а'ламу, а отдал слуге Икболю и попросил передать по назначению.

Однако и после шести месяцев касыда не дала никаких результатов и келья а'лама в медресе Кукельташ по-прежнему оставалась пустой и запертой, я же скитался по-прежнему. Однако а'лам с гордостью показывал мою касыду всем любителям поэзии, и слушатели понимали, что моей целью было получение кельи; некоторые из них объяснили это и а'ламу. Тем не менее на а'лама это не произвело никакого впечатления, и он даже не подумал исполнить мою просьбу.

* *
*

Хотя касыда, написанная в честь а'лама, с его стороны осталась без ответа, она все-таки дала некоторые результаты. Один из знатоков поэзии того времени, казий в одном из районов эмирата, услышал мою касыду и написал мне специальное письмо, в котором просил прислать ему это произведение.

Прочтя касыду, он задумал купить в каком-нибудь медресе келью и предоставить мне для жилья. В те дни произошло одно событие, позволившее казию с легкостью осуществить задуманное. В его районе жил некий купец, имевший келью в медресе Кукельташ. Обанкротившись, он был вынужден продать келью по определенной цене. Однако кредитор не согласился на это без купчей, выданной канцелярией казия. Они вместе пришли за купчей; казий, заверяя документ печатью, узнал суть дела и спросил кредитора, не согласится ли он вместо кельи получить наличные деньги. Тот, вынужденный брать келью из-за отсутствия у его должника наличных денег, охотно согласился, получил от казия наличные деньги, и келья перешла в собственность последнего.

Этот казий передал келью мне, и я спокойно прожил в ней пятнадцать лет — до самого моего ареста людьми эмира. Между тем, в это самое время я в честь казия — любителя поэзии — не писал никаких восхвалений ни до, ни после того, как он предоставил мне келью. Эта келья находилась в северо-западном углу медресе Кукель-

таш. Проход в нее вел из крытой прихожей. В прихожую выходили двери из четырех келий, моя келья была вторая справа, она имела окошко на улицу, проходившую с северной стороны медресе.

КАК Я ПОПАЛ В СЕТИ ЭМИРА АБДУЛАХАДА И КАКИМ ОБРАЗОМ СКОРО ИЗ НИХ ОСВОБОДИЛСЯ

Хайрат очень боялся попасть в сети эмира. Поэтому он, сколько мог, скрывал свой поэтический дар. На Хайрата очень повлияла история с Шамсиддин-махдумом Шохином, вследствие чего он стал бояться славы и пытался уберечься от эмирских сетей. Шамсиддин-махдум Шохин, попав в них, оказался в нестерпимо унизительных условиях; в конце концов он заболел чахоткой и умер, сопровождая эмира во время поездки в Карши.

Свою трагическую историю Шохин запечатлел в различных произведениях и даже в тех стихах, которые, казалось, были написаны в честь эмира и показаны ему. Таким путем он предостерегал молодежь, чтобы она всячески избегала сетей эмира.

Свою цель Шохин особенно отчетливо изложил в месневи «Дар друзьям», написанном в подражание «Бустану» Саади: в нем он призывал потомков (молодежь) остерегаться эмирских сетей.

Во вступительной части этого произведения Шохин прежде всего для примера в нижеследующих строках описал свое положение в свите эмира:

В благодарность я при нем всякий день хвалю его,
— Мол, светлей его по знаньям и не сыщешь никого.
Но — наступит время мести — я врагу уподоблюсь,
Да, врагом закоренелым я для всех невежд явлюсь.
Для чего склоняться сердцем должен я к глупцу такому?
Мудрый думает одно, глупый мыслит по-другому,
Разницы не понимает меж глупцом и богословом —
Хлопок он отождествляет с маслом из него готовым.
От противников подобных — горе! — Даже не желая
В слепоте своей они лишь народ с пути сбивают.
Пестуют они народ с той заботой, без сомненья,
Как та кошка, что котят пожирает при рожденье.

Завершая сетованья на двор и придворных и на свое положение, он обращается к тем, кто идет за ним, т. е. к молодому поколению:

На меня взглянув, скорей в барабан примера бей, —
Все прошедшие лишь мост для идущих вслед людей!
Оттого такому миру я упрек произносил,
Изо всех последних сил мир жестокий поносил,
Чтобы предостереженьем стало это вслед идущим
В отношеньи сильных мира, в отношеньи власть имущих.
Их манеры, обхожденье — лишь ловушка для охоты,
Говори «пропал», коль даже лев попался в те тенета.
Умный сам не попадет в эту сеть по доброй воле,
Разве вырвешься оттуда, коль попался поневоле?
Перепелка, от силка место дальше выбирай ты!
Головы своей за зерна, берегись, не отдавай ты!
Я, несчастный, много видел, так хоть ты счастливым будь!
Жизнь мою, как назиданье, как урок — не позабудь!

Конечно, эти жалобы Шохина на двор имели характер личный. Он и молодежь пугал двором ради спасения достоинства отдельного человека.

В то же время жалобы на двор у Ахмада Дониша имели социальное значение. Он вызывал в своих читателях отвращение к эмиру и сановникам, называл их тиранами и грабителями народного достояния. Поэтому хотя Хайрат, прочитав стихи Шохина, ради своего личного спасения и бежал от двора, однако, когда я познакомился с «Редкостями событий» Ахмада Дониша, бегство Хайрата приобрело в моих глазах социальный смысл.

О том, как Хайрат остерегался двора, рассказывают в своих воспоминаниях придворные поэты того времени. Старейшими из них в те годы были Мулло-Шариф Анбар (о котором упоминается в «Образцах таджикской литературы») и Мулло-Дуст-Мухаммад Нодир, байсунский муфтий, не обладавший никаким поэтическим галантом (о нем также см. «Образцы таджикской литературы»). Эти двое ни за что не хотели допустить, чтобы какой-нибудь молодой таджикский поэт, вроде Хайрата, нашел путь ко двору и пытался затмить их. Поэтому они не говорили ни эмиру, ни придворным о появлении молодого таланта.

Позднее ко двору были приближены два молодых поэта. Они обладали высокими по тому времени поэтическими дарованиями. Однако по молодости они считали себя неотъемлемой частью двора. Оба они принадлежали к семьям крупных бухарских мулл; по тогдашнему выражению, «их кости окрепли от эмирского хлеба-соли», и приближение ко двору было их естественной целью. Сначала они научились писать стихи, содержащие игру слов, поэтические загадки, исторические касыды, *касыды, оканчивающиеся на букву без точки,* и тому подобные вещи, в эпоху прогнившего феодального строя считавшиеся высоким «искусством». Позже, когда при дворе эмира Абдулахада стали процветать беспутство и безнравственность, они старались не отстать от времени и принялись писать порнографические стихи.

В частности, один из них, по имени Не'матулло-махдум, взявший себе сначала псевдоним «Нозук», а потом «Мухтарам», совершил хадж и некоторое время жил в Аравии, где изучил арабский язык. В честь эмира Абдулахада он сочинил мухаммас, у которого первые строфы, а также некоторые строки последних строф — на арабском языке. Вступительная часть прославляла бога, пророка и первых четырех его преемников.

После этого религиозного вступления поэт непосредственно переходил к воспеванию виночерпия, которого изобразил таким образом, что если бы в человеке даже исчезло все человеческое и он опустился до степени быка или осла, то, и тогда он устыдился бы присутствия подобного «виночерпия» на своем пиру. Другими словами, поэт, смешав «достоинство религии» с полнейшим беспутством, действительно стал как бы принадлежностью двора.

Близкий друг Мухтарама — Идрис-ходжа Рожди — не отставал от своего приятеля в такого рода «искусстве». Оба этих молодых человека были привлечены ко двору в период расцвета поэтического дара Хайрата.

Оба они даже на мгновение не могли себе представить, что Хайрат или иной юноша, владеющий поэтическим даром, будет сторониться двора. Поэтому они опасались, как бы, не дай бог, Хайрат не нашел пути ко двору и их звезда не закатилась. Хорошо зная о яр-

ком таланте Хайрата, они старались, чтобы о славе Хайрата и о нем самом не прослышали при дворе, чтобы эмир-хамелеон не перетянул его к себе и не противопоставил бы им опасного соперника.

Эта их вражда к Хайрату, в действительности обернувшаяся по отношению к нему дружеской услугой, принесла желаемые результаты: имя Хайрата до его смерти, т. е. до лета 1902 года, о чем упоминалось в третьей части «Воспоминаний», совершенно не было известно. Однако после смерти Хайрата стенания и рыдания молодых поэтов, литераторов и любителей поэзии и литературы наделали в городе шуму. Через своих доносчиков о них узнал и эмир.

Прослышав обо всем этом, эмир задумал прибрать к рукам литературное наследство Хайрата и поручил это дело верховному судье Бадриддину. Как рассказывалось в третьей части «Воспоминаний», я, Мирзо-Абдулвохид и еще один наш товарищ с большими усилиями достали у брата Хайрата и привели в порядок часть его стихов. Однако подлинники рукописей остались у брата, который вскоре умер, так что все это пропало.

Доносчики сообщили верховному судье, что стихи Хайрата находятся у Айни и Мунзима. Мы услышали об этом прежде, чем верховный судья потребовал у нас стихи Хайрата; мы хорошо себе представляли также, что если сборник уйдет из наших рук, то от произведений Хайрата ничего не останется. Поэтому мы спрятали сборник под потолком одной из комнат Мирзо-Абдулвохида и приготовились к вызову верховного судьи.

Спустя немного времени к нам пришел служитель верховного судьи и пригласил к нему. Мы отправились. От имени эмира верховный судья попросил у нас стихи Хайрата. Мы отрицали, что они хранятся у нас.

— Хайрат, — сказали мы, — боялся славы, поэтому если он и показывал нам некоторые свои стихи, то не позволял их переписывать. Что касается его брата, то он был болен и помешан, после смерти Хайрата он нам ничего не дал. Он говорил: «Перед смертью брат все сжег».

Услышав этот ответ, верховный судья оставил нас в покое. Он понял, что если уж мы отрицаем наличие у нас произведений Хай-

рата, то, будь это и не так, мы все, что у нас имеется, спрятали в недоступном месте. Он счел также бесполезным производить у нас обыск. Однако, прослышав о требованиях эмира и верховного судьи, объявились (как я упоминал об этом в третьей части) многочисленные «знатоки Хайрата»; они сочиняли стихи, подписывали его именем и приносили верховному судье, удовлетворив таким способом его требование.

В связи со смертью Хайрата и вдвое раздутой его славой, достигшей ушей эмира и придворных, при дворе и в присутствии эмира упоминалось и мое имя, как имя одного из друзей и последователей покойного. В это время мой старый знакомый Мулло-Назрулло, писавший под псевдонимом Лутфи, был привлечен ко двору и сделался приближенным эмира. Он также, проявив ко мне «обезьянью дружбу», расхвалил меня, сильно преувеличив перед эмиром мой талант. Обычно люди приписывают другим то, о чем думают сами. Лутфи, чрезвычайно обрадованный тем, что приблизился ко двору, полагал, что я также обрадуюсь, попав туда.

Все это привело к тому, что эмир решил приблизить меня ко двору. Он совсем не задумывался, станет ли вызванный ко двору способный молодой человек повиноваться ему. Если такой юноша повинуется, то эмир затащит его в свою грязную яму и отдалит от общества; если же проявит непокорность, упрямство, то его низведут до положения придворных быков и ослов, будут причинять ему телесные и моральные мучения и в конце концов уничтожат (из поэтов таким путем погубили Шохина, а из артистов — тамбуриста Кори-Каромата). Сверх этого эмир еще с удовлетворением заявлял, что «умерший в расцвете сил неблагодарный гордец получил от бога соответствующее возмездие».

Таким образом, эмир, решив привлечь меня ко двору, приказал осуществить это раису Бухары Бухониддину, отец которого, Бадриддин, в то время был в Бухаре верховным судьей.

Однажды двое из людей раиса пришли ко мне и пригласили к раису. Бухарские власти обычно посылали двоих: либо за преступником, в отношении которого существовало опасение, что он собирается бежать, и тогда они смогли бы задержать его, либо за каким-

нибудь почтенным человеком в знак уважения к нему. Никогда прежде не замечая уважения к себе со стороны раиса, я стал искать за собой какую-нибудь «вину» и тотчас подумал, что, по-видимому, меня зовут, чтобы потребовать диван Хайрата. Если я опять откажусь и не отдам диван, тогда меня арестуют и вышлют. Поэтому и послали двух человек, чтобы я, не дай бог, не сбежал, догадавшись о «своем преступлении».

Чтобы проверить это предположение, я сначала решил сказать людям раиса:

— Идите, а я приду через часок.

Они согласились и ушли. Теперь я понял, что за мной послали двух человек из уважения. Однако я в себе не находил ничего, достойного уважения; поэтому «догадка об уважении» еще больше, чем «догадка о преступлении», удивила меня и обеспокоила.

Как бы там ни было, я через час явился к раису Бурхониддину. Он без всякого предисловия заявил:

— Поздравляю вас с достижением величайшего счастья!

Удивление мое от этого несвоевременного и беспричинного поздравления еще больше возросло, и я спросил:

— А что это за «величайшее счастье»?

Раис, порывшись в тюфяках, на которых он сидел, достал из-под колена листок бумаги и пробежал его глазами, затем ответил:

— Его величество этому молельщику послал августейшее распоряжение и приказал, чтобы я направил вас к высочайшему стремени. Приготовьтесь и если успеете до отправления поезда в Кермине, то поезжайте сегодня же, а если нет, то поезжайте завтра (основной резиденцией эмира Абдулахада был Кермине и его окрестности).

— Я очень благодарен за эту высочайшую милость, — сказал я. — Но я беспечный ученик медресе и не вижу в себе способностей служить при стремени его величества. Я боюсь, что не смогу отвечать правилам поведения при августейшем дворе и сделаюсь причиной огорчения благословенного владыки; кроме того, я страдаю обмороками, близкими к падучей; от малейшей причины, а иногда без всякой причины, я начинаю задыхаться и с воплем падаю на землю; изо рта у меня появляется пена, и я часами лежу без сознания. (Это было

правдой, потому что в те времена жизнь опротивела мне, я стал очень нервным и у меня появились признаки болезни, похожей на эпилепсию). В таком состоянии я ни в коем случае не смогу быть полезным на службе при дворе его величества.

Наша беседа с раисом, принявшая характер спора, продолжалась очень долго; раис повторял свои приглашения, я отказывался. Наконец мне все это надоело, я поднялся с места и заявил раису:

— Я не могу принять это предложение по причинам, о которых я уже несколько раз докладывал вам. Прошу вас подобающим языком доложить мои извинения его величеству и освободить меня.

Не слушая его возгласов: «Подождите, послушайте!», — я ушел.

Конечно, раис не мог даже и помыслить, что я отвергну предложение, которое каждый принял бы с величайшей готовностью. Вероятно, мой отказ привел его к заключению, что «я нездоров и близок к умопомешательству». Однако эмир велел ему доставить меня ко двору, и он всеми силами старался выполнить приказ. Поэтому он нашел двух людей, которых я, по его представлениям, должен был послушаться, и прислал их ко мне.

В тот же самый день, уже перед вечером, они пришли ко мне. Одним из них был Сайид-Акбар-ходжа, которого я неоднократно упоминал в «Воспоминаниях» под именем Парвардигор-худжа. Он, соответственно своей натуре, счел отклонение мною «великого счастья» одним из видов помешательства. Вторым был Насриддин-ходжа, мой земляк, наш дальний родственник и сосед, человек серьезный и опытный. Он хорошо усвоил программу бухарских медресе, но не собирался стать муллой; будучи скромным человеком, он по-братски относился к простым неграмотным крестьянам.

Парвардигор-худжа сильно порицал меня за то, что я «топчу ногами предложенный мне хлеб».

— Ах, если бы это предложение сделали мне! — говорил он. — Если другие пошли бы ногами к стремени его величества, то я пошел бы на голове! Если бы вы принесли мне такую добрую весть, я отдал бы вам все, что имею...

А Насриддин-ходжа ничего не говорил и сидел, слушая с улыбкой слова товарища; сам он тоже испытывал отвращение ко двору.

Когда Парвардигор-худжа исчерпал все свои просьбы и упреки и не хотел слушать моих оправданий, я, согласно поговорке: «Для дела, которое не может решиться миром, нужен безумный поступок», — вскочил с места и заявил:

— Потерпите немного, я сейчас дам вам окончательный ответ!

С этими словами я запер изнутри дверь кельи, сложил в кучу в передней части книги и несколько ватных стеганых подстилок, принес бутылку с керосином, спички и сказал:

— Если вы сию минуту не оставите меня в покое и не уберетесь, то я залью все это керосином и подожгу. Мы с вами превратимся в пепел, вместе с нами и этот наш сосед, дорогой родственник, а так как дверь заперта, то никто снаружи не придет помочь нам тушить пожар!

Парвардигор-худжа испугался и поднялся с места:

— Откройте дверь, мы уйдем. — Выходя, он обратился к Насриддину-ходже:

— Ишан-раис говорил мне: «Ваш родственник выглядит несколько ненормальным». Но я возразил ему, сказав, что это умный, серьезный, способный юноша. Сегодня я понял, что он настоящий сумасшедший!

На следующий день ко мне пришел слуга домулло Хаджи-Икрома, бывшего моим самым лучшим учителем, — если я чему-нибудь из официальных наук научился в бухарских медресе, то исключительно благодаря ему. Слуга пригласил меня к учителю.

Я пошел. У домулло Икрома сидели два других муллы: Мулло-Бозор и Мулло-Абдусалом, оба старые ученики домулло Икрома, ставшие преподавателями, а вместе с тем моими репетиторами.

После краткого введения домулло Икром заговорил о приказе эмира и о просьбе раиса; он стал меня уговаривать, чтобы я не отвергал предложения.

Мои репетиторы в свою очередь начали убеждать меня и выразили сожаление, что они не поэты; наконец, они заговорили тоном поучения:

— Приказ государя обязателен к исполнению; ты должен подчиниться, хотя бы и против собственного желания. Нам тебя жаль,

потому что невыполнение приказа эмира может привести тебя к тюрьме и ссылке.

Услышав эти угрозы, я уже больше не мог сдерживаться и закричал:

— Если меня даже вздернут на виселицу или сбросят с минарета, я не соглашусь!

Рыдания сдавили мне горло, нервы сдали, и я, задыхаясь, упал на пол.

Увидев это, домулло Икром заговорил совсем по-другому:

— Явиться ко двору или не явиться — это твоя добрая воля. Если не хочешь — не ходи, и если ты отвергнешь требование эмира и раиса, никто ничего не может тебе сделать. Они (он указал на Мулло-Бозора и Мулло-Абдусалома) говорят, сами не понимая сути дела. Я лишь выполнил то, о чем просил меня раис, — попытался уговорить тебя. Если бы ты принял это предложение, я бы очень огорчился, потому что двор эмира — не место для порядочного человека. Я повторяю, если ты отклонишь это предложение, никто не сможет тебе повредить. Если, предположим, тебя и захотят обидеть, то я пущу в ход все свое влияние, весь свой авторитет, чтобы тебя выручить: либо я тебя выручу, либо сам погибну. Ступай, успокойся!

Эти слова учителя еще больше укрепили меня в моем решении. Выйдя наружу, я умылся холодной водой и вернулся к себе.

* * *

После моего посещения домулло Икрома я десять дней жил спокойно. От раиса ко мне больше никто не являлся и не уговаривал меня. Однако спустя десять дней ко мне пришел Мулло-Мирзо, один из самых авторитетных людей верховного судьи Бадриддина, с которым последний постоянно советовался, и снова пригласил меня к верховному судье.

— Что за несчастье свалилось мне на голову? — подумал я и отправился. Верховный судья принял меня с уважением:

— Сын мой, раис совершил ошибку и в течение нескольких дней тревожил тебя и других почтенных людей. Он толком не понял це-

лей его величества. — Помолчав немного, верховный судья продолжал:

— Суть дела в том, что его величество — поэт и любитель поэзии. Однако он не может, подобно вам, свободно беседовать с поэтами и участвовать в поэтических диспутах — этому мешает его положение государя. Вот почему его величество собирает к себе поэтов, желающих служить при дворе, и хочет познакомиться с произведениями тех, кто, принеся свои извинения, не желает служить при дворе.

Верховный судья вынес решение по тяжбе, разбиравшейся у дверей его канцелярии, и продолжал:

— Да, раис проявил недальновидность; он не понял намерений его величества. Его величество изволил сказать, что если ты не хочешь явиться к его стремени, то принеси мне свое новое стихотворение, которое я отошлю к его величеству.

Помолчав немного, верховный судья продолжал:

— Конечно, тебе не придется писать новые стихи каждый день, и ни один разумный человек не станет ежедневно требовать от поэта новых стихов. Если ты хоть раз в неделю или в десять дней принесешь одно стихотворение, этого будет вполне достаточно. Если же в конце некоторых газелей ты по собственному побуждению помянешь добром имя его величества, это явится причиной радости его величества и гордостью для всех нас.

Такую просьбу нельзя было отвергнуть, но мне хотелось так ее выполнить, чтобы это противоречило «этике двора». Существовал обычай, согласно которому всякий человек, по какой бы то ни было причине приближенный эмиром, надевал большую чалму, наглухо застегивал все петли на халате и с важностью, на какую только был способен, шагал по улицам, подобно Парвардигор-худже. Он не должен был знаться с «низшим сословием»; если же ему приходилось встречаться с подобными людьми, он должен был «стоять выше» и смотреть на них уголком глаза.

Я же, будучи по натуре против такого поведения, беспечно шатался по улицам, а после того как меня обязали посылать свои стихи ко двору, еще в большей степени начал проявлять беспечность. Я

подружился с уличными забияками и, как и они, буйствовал на пирушках, где проводил с ними многие вечера.

В те дни я сочинил нижеследующие стихи:

Из-за тебя я сдружился с дурными людьми,
Видно, назло мне теперь ты к святым благосклонен?

Сразу покинули память угрозы муллы,
Чуть увидал, как с гуляками шествует этот шалун.

Все это я делал для того, чтобы как можно скорее досадить эмиру и чтобы он счел общение со мной «ударом по авторитету двора».

* *
*

В течение шести месяцев я посылал эмиру стихи. Согласно договоренности с верховным судьей, я приносил их еженедельно или раз в десять дней. Он отсылал мои стихи эмиру. Чаще всего я перерабатывал свои прежде написанные вещи, сделав их «подходящими для эмира». Как советовал верховный судья, я в конце некоторых стихов обращался к эмиру, называя его «шахом» или «султаном» (вот почему мои старые черновики представляются читателям в разных вариантах и кажутся иногда лишенными логики).

Иногда я писал и новые стихи. В них случайно (а иногда и намеренно) пробивался социальный смысл. Так, однажды я написал касыду, прославляющую эмира; в ее вступительной части содержалось описание того, как ученики медресе тратят ради получения пособия все свое состояние.

Стихотворение, где говорилось о взяточничестве и злоупотреблениях духовенства при разделе пособий, нельзя было послать эмиру через верховного судью, поэтому «Главы и разделы» (они будут приведены в главе о пособиях) я не показал ему, но читал их разным придворным. Сами они, не будучи поэтами, приносили эмиру все новые и новые стихи, которые им удавалось добыть; мои стихи они также переписали и принесли ему.

В стихотворении, отосланном эмиру, имелись такие строки:

Друзья, ступайте и вина пурпурного несите,
Сюда домбру, да барабан, да флейту принесите.
Кто обездолен, слезы льет и не идет на праздник,
Того без ссор и лишних слов сюда на пир тащите.

В конце этой газели к состязанию приглашался старейший придворный поэт Мулло-Дуст Нодир:

Коль рифма для Айни тесна, по утвержденью Дуста,
Скорее прелесть в рифму ту труднейшую внесите.

В действительности, *рифма в этом стихотворении была очень «тесной», и дать на нее подходящий ответ было довольно трудно.* Поэтому, когда эмир показал газель Мулло-Дусту и потребовал ответа, тот, извиняясь, доложил эмиру, что не в состоянии составить его.

Поневоле сам эмир приступил к написанию поэтического ответа и послал его мне через верховного судью (жаль, что экземпляр этого ответа затерялся среди моих бумаг). В газели эмира были две строки немного получше, которые я запомнил и приведу здесь:

Нет, нас противников слова́ ничуть не устрашают,
Их на пути схватив, сюда, на честный бой ведите.

Это было ответом на мои бейты:

Кто обездолен, слезы льет и не идет на праздник,
Того без споров, лишних слов, сюда на пир тащите.

Из ответа эмира было ясно, что он понял мои намерения и моя стрела попала в цель. В те времена бухарский миршаб придирался к молодым поклонникам искусства и другим честным юношам, всячески их чернил, а затем, обвинив в каком-нибудь «преступлении», сажал в тюрьму. Чтобы «уничтожить смуту и соответствующим образом воспитать этих молодых людей», он их отсылал к эмирскому двору.

На все это я и намекал в стихах. В своем ответе эмир, показав, что он не боится пересуд и жалоб народа, надменно заявлял, что и впредь будет поступать точно так же.

После шести с лишним месяцев, в течение которых я посылал эмиру стихи, однажды, когда следовало нести новые стихи, я отправился к верховному судье. В тот день у меня не было готовых стихов; я хотел извиниться, что ничего не принес, и пообещать принести в следующий раз.

Однако выяснилось, что не было больше нужды ни в извинениях, ни в обещаниях, — верховный судья не принял меня так горячо, как прежде, и не спросил о новых стихах. Я понял, что связь моя с эмиром. заключавшаяся в преподнесении стихов, прервалась. Верховный судья, порывшись в лежавших перед ним бумагах, поднялся с места и прошел в кладовую при мехмон-хоне; оттуда он вынес кусок бумажной нуратинской алачи на халат и, положив передо мной, заговорил:

— Сделай себе из этой алачи халат и носи его; у его величества пропал интерес к стихам. Пока тебя не пригласят, стихи приносить не нужно.

Теперь стало несомненным, что эмир на меня рассердился; я очень обрадовался этому, но в то же время и расстроился из-за этого «подарка» верховного судьи; такая материя на базаре стоила десять тенег (полтора рубля), и в том, что меня ею «одаривали», заключалось нестерпимое унижение. Моим первым движением было бросить эту алачу перед верховным судьей и демонстративно выйти. Но потом я поразмыслил: то, что я избавился от связи с эмиром, является для меня большим счастьем; теперь, когда эмир на меня рассердился, не следует гневить еще и верховного судью, это может иметь дурные последствия. С другой стороны, в глазах верховного судьи и эмира, который еще более скуп, чем верховный судья, эта штука алачи представляется чем-то значительным. Вот в чем причина того, что Хайрат назвал двор «силком для перепелки». Следовательно, верховный судья этим подарком вовсе не хотел меня унизить.

С этими мыслями я взял алачу и, не поблагодарив, вышел в сени. В тот день в сенях дежурил один доверенный человек верховного

судьи, по имени Ахром-ходжа, средних лет, обремененный семейством. Я отдал ему подарок со словами:

— Возьмите подаренную мне господином судьей алачу и употребите на свои нужды, мне она не нужна. Только не говорите об этом ишану — верховному судье, — сказал я и ушел успокоенный.

* *
*

Немного спустя после того, как я перестал посылать свои стихи, эмир отправился в путешествие в Россию, имея целью посетить Ялту. А в Бухару, к себе домой, приехал отдыхать Мулло-Назрулло Лутфи, бывший собеседником эмира и придворным поэтом. Я навестил его, и он подробно рассказал о разговорах, какие велись у эмира по поводу моих стихов.

— Я расхвалил тебя эмиру, — рассказывал он, — поэтому он показывал мне каждое твое стихотворение и, заставляя читать ему, очень одобрял эти стихи. Так, он показал мне стихотворение о пособиях, а также то, которое ты написал в его честь и где говорилось о пособии ученикам. Он похвалил его и сказал: «Нужно дать знать верховному судье, чтобы он выдал Айни пособие». Я ответил эмиру: «В прошлом году Айни получил пособие».

Продолжая, Мулло-Назрулло сказал:

— Последней от тебя была получена газель, содержащая следующий бейт:

Да нужно ли всех бедняков обижать,
Чтоб сердце двух-трех богачей услаждать?

Эмир вызвал меня к себе и, не показывая всего стихотворения, прочел только этот бейт, а потом сказал: «Айни в этом бейте выставляет меня покровителем богачей, подавляющим права неимущих. Он смутьян, такими стихами он хочет настроить против меня бедняков».

(Надо сказать, в то время уровень моей политической сознательности еще не стоял так высоко. Тему для своего произведения я заимствовал из практики канцелярий казиев, которые всегда прини-

мали сторону богатых и грабили бедняков. Но, как говорится, «вор собственной тени боится»; эмир принял этот бейт на свой счет).

Далее Мулло-Назрулло рассказал:

— В конце нашей беседы эмир принял решение: «Нужно перечитать все стихи Айни», — после чего разрешил мне уйти.

— Спустя несколько дней, — продолжал Мулло-Назрулло, — эмир опять вызвал меня к себе. Перед ним были разложены листки бумаги с каким-то текстом. Эмир обратился ко мне: «Я еще раз внимательно посмотрел стихи „Главы и разделы" и „Пособие", которые вы читали, захлебываясь от восторга; они необъективны. Конечно, если бы Айни не получал от нас пособия, то мы решили бы, что он все это написал от обиды. Но он получал пособие, следовательно стихи эти написаны, чтобы поднять босоногих учеников против верховного судьи, раиса, ахунда, а'лама и муфтиев — духовных руководителей и государственных людей». Затем эмир добавил: «Стихи „Пособие" как будто написаны в мою честь; однако он так меня поносит в них, что я даже сотой доли подобной ругани не слышал от его величества моего покойного отца».

— После этого, — рассказывал Лутфи, — эмир немного помолчал. Видно, у него на сердце были и другие обиды и он решал, сказать о них или нет. Должно быть, он решил сказать, потому что, найдя среди бумаг один листок, продолжал: «Вы знаете, что у меня есть близкие люди, давно служащие, но молодящиеся; они бреют бороду или выщипывают волосы на лице щипчиками и ходят как будто гладко выбритые. Конечно, в этом нет греха, все русские бреют бороды. А если даже это и порок, то ко мне он не имеет никакого отношения. Айни бесстыдно изобразил это в стихах и хочет обвинить в этом меня».

По словам Лутфи, после такого предисловия эмир прочел следующий бейт из моей касыды «Пособие»:

> Но, смотри, по простодушью не веди опять такую,
> У которой от белил да известки вид невинный.

По словам Мулло-Назрулло Лутфи, эмир еще несколько моих стихов истолковал как направленные против него или высмеивающие

его, а в заключение сказал: «Да, этот Айни — вовсе не из тех, чьи стихи должны мне посылаться вместе со стихами других поэтов. Этот голодранец, шалопай, шляющийся по пирушкам; стыдно читать его стихи наряду с произведениями других поэтов!».

Из всего рассказанного мне стало ясно, что мои стрелы, пущенные наугад, попали в цель и я навсегда освободился от обязанности посылать эмиру свои стихи.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ УЧЕНИКАМИ МЕДРЕСЕ

Несколько выше в этой части своих «Воспоминаний», рассказывая про Мулло-Амона из Розмоза, я описывал порядок выдачи эмирским правительством пособий, а также обещал в будущем рассказать, как это пособие получали учащиеся бухарских медресе. Теперь я хочу выполнить свое обещание.

Пособие — дахьяк (одна десятая) — состояло из тысячи единиц, каждая по сто двадцать бухарских тенег. Это строго регламентированное пособие называлось «дахьяк» по той причине, что источником его был урожай с земель, с которых, исходя из нужной суммы, взималась одна десятая часть.

В прежние времена реальный доход, получаемый в виде урожая с земель, делили на тысячу частей, причем иногда выходило больше этого, иногда — меньше.

Размер пособия на одного человека был твердо установленным и неизменным: сто двадцать тенег (восемнадцать рублей). Эмиры не допускали повышения этой суммы, чтобы удержать за собой, во-первых, ту часть стоимости урожая с земель, предназначенных для финансирования пособий, которая возрастала вследствие повышения цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты, во-вторых, ту дополнительную часть урожая, которая появлялась в результате того, что на этих землях эмиры искусственно год от года повышали урожай (как они делали это и с налогом на земли амляка).

Право получать пособие имели те учащиеся, которые могли свободно прочесть по-арабски книгу «Хидоя» и сделать устный перевод

ее на таджикский язык, а также те, у которых до окончания курса обучения оставалось не более пяти лет; иными словами, право на пособие имел всякий учащийся за пять лет до окончания курса, а также в течение одного-двух лет после окончания.

Не будь этих условий, можно было бы факт назначения пособия приравнять к успешной защите дипломной работы в современных вузах. Ибо если ученик медресе не смог хотя бы через год после окончания курса получить пособие, то завершение им курса не имело никакого значения: он не мог получить ни места преподавателя медресе, ни места имама в крупном селе или городе, ни другой почетной должности, — например, раиса или казия. Поэтому каждый ученик стремился любым путем в последние годы учения добиться получения пособия.

Порядок включения лучших учеников в число лиц, получающих пособие, был следующим: ежегодно из тысячи пособий, выдаваемых стипендиатам, высвобождалось сто—сто пятьдесят, вследствие то ли смерти кого-нибудь, то ли получения высокой ученой должности, доход с которой превышал две тысячи тенег, то ли отказа некоторых стипендиатов от получения пособия. Эти освободившиеся стипендии сам эмир лично распределял между верховным судьей, раисом, а'ламом, ахундом и муфтиями, чтобы они выдали пособие удостоившимся этой чести ученикам. Конечно, из этих освободившихся пособий наибольшее число доставалось верховному судье, а остальным духовным лицам, соответственно их званию, доставалось кому больше, кому меньше — вплоть до того, что простому муфтию без должности выпадало всего две-три единицы.

Лица, раздававшие пособия, считались экзаменаторами. Каждый из них в день проверки приглашал к себе трех-четырех высших преподавателей медресе, чтобы по совету «беспристрастных людей» по справедливости оценить знания экзаменующихся «и дать право на пособие тому, кто его заслужил».

Экзамен, согласно условиям выделения вакфа на пособия, проводился, как уже упоминалось выше, по книге «Хидоя». Книга эта посвящена мусульманскому законоведению, она состоит из двух тетрадей (т. е. из двух частей), в ней излагаются правила омовения,

намаза, поста, хаджа, закета, а также брака, развода, торговых сделок и тому подобных случаев взаимоотношений как между мусульманами, так и между ними и государством.

На экзамене, выявлявшем претендентов на пособие, ученику давали читать отрывок из первых глав и разделов «Хидоя». Если он без ошибок или хотя бы с двумя-тремя ошибками правильно прочитывал указанную ему страницу и затем полстраницы прочитанного устно переводил на таджикский язык, он получал право быть включенным в список получающих пособия.

Каждый «экзаменатор» отсылал кушбеги список своих учеников, прошедших проверку, по числу выделенных ему стипендий. Кушбеги эти списки передавал эмиру, тот утверждал их и с соответствующим указом возвращал кушбеги, чтобы «этим упомянутым в списках» выдали пособие. Получив указ, кушбеги в определенный день приглашал новых стипендиатов в эмирскую цитадель, раздавал им пособия и присоединял этот список к общему списку получающих пособие.

Претенденты на пособие ежегодно за два-три месяца до раздачи пособий садились зубрить «главы и разделы», т. е. начальные части каждой главы и раздела первой тетради «Хидоя», — на тот случай, если им выпадет удача и какой-нибудь «экзаменатор» включит их в число лиц, проходящих проверку, чтобы они, не дай бог, «не покалечились», т. е. не провалились на экзамене.

Обычно два, три или даже четыре ученика, друживших между собой, собирались в чьей-нибудь келье и читали по-арабски начальные части глав и разделов, а затем переводили их на таджикский язык. Один из учеников, лучше других подготовленный по-арабски и по-таджикски, руководил группой, другой читал начало главы, прочие слушали и исправляли ошибки читавшего. Если возникали разногласия и споры, то старший группы высказывал свое суждение и оно принималось всеми, хотя бы он поддерживал мнение только одного и это противоречило бы мнению всех других.

Я получил пособие за пять лет до окончания курса, поэтому в последующие годы и в год после оканчания вынужден был участвовать в собраниях моих товарищей, учивших главы и разделы книги «Хидоя». Среди них находились и мои соученики, которым я

помогал готовить уроки в начале учения, а они помогали мне материально, поэтому я считал себя морально им обязанным. Другие по своим способностям были достойны того, чтобы им помочь, к тому же, будучи бедняками, они вообще ниоткуда не получали помощи. Оказывать духовную поддержку таким ученикам я считал своей моральной и общественной обязанностью.

В это время мой старший брат окончил медресе и стал имамом, хатибом и преподавателем у нас в деревне, поэтому у него появился приличный доход и он стал оказывать мне помощь, хоть и незначительную. Я жил вполне сносно, и, чтобы улучшить материальное положение, мне уже не приходилось работать у кого бы то ни было ни физически, ни умственно. (Однако способным ученикам, готовящимся к экзамену на получение пособия, я оказывал помощь, пока жил в Бухаре).

Все, что я выше писал о получении и раздаче пособий и доходов с вакфа, касалось официального порядка, правил, которые никогда не осуществлялись, ибо фактически все здесь решалось с помощью взяток и подобных способов, основанных на деньгах. Однако ни один из «экзаменаторов» открыто ничего не смел брать от кого бы то ни было, потому что нуждающиеся претенденты — те, у кого «речь шла о жизни, а нож дошел до самых костей», т. е. дошедшие до крайности — день и ночь сидели у дверей «экзаменатора», могли схватить с поличным дающего или берущего взятку и опозорить перед всеми. Чтобы этого избежать, богатые ученики, найдя какую-нибудь посредницу, посылали ее на женскую половину к «экзаменатору» и через нее передавали взятку.

Конечно, наряду с богатыми пособия получали и некоторые бедные ученики. Но то были люди, прославившиеся своими знаниями. «Экзаменаторы», в чье распоряжение эмир предоставил большее число пособий, чтобы прикрыть свои незаконные действия, вызывали к себе одного или двух прославившихся учеников (если пособий было больше десяти) и говорили:

— Будь готов прийти сюда в день проверки по книге, потому что я намерен дать тебе читать книгу и, если ты выдержишь экзамен, я выдам тебе пособие.

Если в дни раздачи нуждающиеся ученики, не получив пособия, на улицах и базарах распространяли слухи о взяточничестве «экзаменатора», то в ответ на это, чтобы обелить себя, «экзаменатор» приводил в пример прославившихся знаниями учеников, которым он выдал пособие без всяких для себя материальных выгод. Он говорил:

— Ведь в вакуфных документах не сказано, что пособие должно выдаваться каждому бедному ученику. Для обретения права на пособие нужно прежде всего знать книгу «Хидоя», как свои пять пальцев. Тем бедным ученикам, которые подошли под это условие (например, такой-то и такой-то), я сам, без чьего-либо посредничества, послал человека, вызвал их к себе, в присутствии беспристрастных людей и мулл устроил проверку и выдал пособие. Все знают, что им нечего есть, как же они могут дать взятку?

Чтобы придать силу своим словам, «экзаменатор» добавлял:

— Ведь я не раздатчик пожалований его величества, чтобы каждому бедному ученику выдавать по сто двадцать тенег.

В те времена я изложил в стихах, какими путями богатые ученики «приобретали право» на получение пособия. Это стихотворение я хочу предложить вниманию читателей:

Уже наступает пора «десятины», приятель.
Науками брось заниматься, «главу и раздел» изучай!
Глава есть посредник, а двери — значенье раздела,
И в их изученьи — итог обучения, знай!
Ступай ты к дверям того дома, где будет экзамен,
Там сядь и посредника сам для себя выбирай.
В разделе — в дверях-то все дело, смотри не зевай,
Но нужно, чтоб этот посредник внутри [1] находился,
Ведь место «раздела» внутри, ты главу полистай.[2]
Во всем, что сказал я, есть смысл и главы и раздела,
А если значенье другое найдешь, — не скрывай.

[1] Внутри — здесь в значении «внутренний двор», «женская половина», иными словами — средством для достижения цели может явиться женщина, которая проникнет к жене экзаменатора. (*Примеч. автора*).

[2] В старинных сочинениях каждая глава делилась на несколько разделов; здесь слова «раздел» и «глава» употреблены в таком именно значении. (*Примеч. автора*).

Прежде чем закончить эту главу, я должен еще упомянуть, что «пособие» составляло сто двадцать тенег и получать его можно было не свыше пяти или шести лет. Богатые ученики ради получения пособия бросали на ветер тысячи тенег: кроме взяток, передаваемых экзаменаторам через посредниц, они после получения пособия в течение нескольких дней устраивали открытые угощения. Каждого приходившего, знакомого и незнакомого, одаривали головой сахара весом в два килограмма или, по крайней мере, коробкой леденцов в один килограмм с добавлением двух горячих лепешек. Лицу, выдавшему пособие, стипендиат, как бы «поздравляя» его, относил котел плова, девять горячих лепешек и пудовую голову сахара. Так как пособие уже было получено, это подношение экзаменатору не считалось взяткой.

Кроме того, собирали близких людей, устраивали угощение и пир с певцами и музыкантами. Некоторые ученики среднего достатка с получением пособия продавали свою келью, тратились на угощение и, потеряв все средства к существованию, бросали медресе и уезжали к себе в деревню или в свой тюмень. На эту тему у меня имеется касыда, из предисловия к которой я хочу привести несколько строк:

Вновь с базара, друг, — не даром, а на деньги с десятины, —
Принеси горох, варенье, шашлычку, халвы, вина,
Да в мешок набей полнее ты изюм, миндаль, фисташки,
Да коробку разносортной принеси сюда халвы нам,
Люди все тебя прославят, люди все тебя поздравят,
Стань Хотамом — по головке сахару ты подари нам.
Для веселья и гиджак, и рубоб, и звонкий бубен,
Барабан, и чанг, и флейта будут нынче все нужны нам.
Барабан сыщи побольше, нет — так малым обойдемся,
Ведь и так певец не сможет в шуме отыскать пути к нам.
Коль сольются звуки флейты, бубна с трелями гармони,
И сама звезда Венера станет хлопать с высоты нам.
Ну, а коль гармонь Гулома не звучит сегодня что-то,
Пусть Ашур-судья притащит барабан с собой старинный.
Но без друга нет веселья, так зови же поскорее
Эту юную красотку, что шалит еще наивно,
Да такую молодую, от которой поцелуя —
И того с трудом добьешься! — Плод созрел наполовину.
Но, смотри, по простодушью не веди опять такую,

У которой от белил да известки вид невинный.
Пир подобный задавать ты в городе не собирайся,
В окружении врагов не избегнуть клеветы нам.
Для веселья и похмелья хороши полей просторы,
Только на арбе высокой ехать очень уж противно.
На арбе высокой ехать в день подобный неприлично,
Да к тому же неудобно животы в арбе трясти нам.
Ты беги скорее снова, да с базара травяного
Лошадей возьми получше, да кареты там найди нам.
Ты сегодня не останешься ни голым, ни без денег,
Не печалься, коль деньжат тебе не хватит с десятины.
Ростовщик готов охотно одолжить тебя деньгами,
Лишь каморку, дом и вещи заберет — все до единой.[1]

(Здесь через один бейт касыда преходит к славословию эмира).

Бедные ученики, случайно получившие пособие, тоже не освобождались от расходов на поздравления. Соответственно своему положению они, продав что-нибудь или взяв в долг, расстилали скатерть с угощением, принимали поздравителей, одаривали приходивших горячей лепешкой и горстью конфет, а экзаменатору относили блюдо плова. Не сделав этого, они рисковали подвергнуться упрекам и проклятиям.

«ВОЛКИ-ОСЛЫ» И «ЛИСЫ»

В годы, когда мои соученики получали пособие у бухарского а'лама Гиёс-махдума, в нашей группе появился новый товарищ. Это был бухарец, очень хорошо одетый.

Появление нового человека очень обеспокоило претендентов на получение пособия, в особенности потому, что его хорошая одежда указывала на его состоятельность: бедные ученики боялись, что этот богач заберет себе одно пособие. Даже состоятельные ученики, уверенные, что им удастся получить пособие, тоже опасались его. Они думали, что этот человек может оказаться богаче их и сумеет больше

[1] В тазкире Садра Зиё эта касыда по воле составителя представлена в сокращенном виде и некоторые бейты переделаны. Над порчей бейтов этой касыды потрудились и переписчики касыды. (*Примеч. автора*).

заплатить за право получать пособие, в то время как они окажутся оставленными на следующий год.

Однако постепенно страх начал ослабевать: новичок не сближался ни с чтецом группы, ни с получавшими пособие учениками, тогда как для претендентов необходимо было установить связь с этими людьми, какими бы способами они ни добивались пособия.

Претенденты на пособие, не выпускавшие дом «экзаменатора» из поля зрения, следившие за всеми, кто входил туда и выходил оттуда, и тем самым стремившиеся показать «экзаменатору», что они-то и являются настоящими претендентами, а также обнаружить взяточников, — ни разу не видели этого человека входящим к а'ламу или выходящим от него. Это послужило еще одним поводом, чтобы у претендентов исчезли причины для беспокойства.

Однако в день «экзамена» новичок оказался среди бесчисленных претендентов на пособие и зрителей. Появление его в этой среде также никого не обеспокоило — все сочли его за зрителя, к тому же он не кричал, подобно другим, жаждущим пособия:

— Таксир, дайте мне книгу, проверьте меня, — если я провалюсь, то свалю это на свою судьбу!

Но когда началась раздача книг (экзамен), а'лам вызвал его раньше всех, дал ему книгу и, не обращая внимания ни на то, как он читал, ни на реплики зрителей и претендентов, включил его в список стипендиатов.

Получив пособие, он не подчинился существовавшим обычаям — никому не устроил угощения, никому не дал и куска лепешки, а'ламу же не только не преподнес пудовую сахарную голову, но не отнес ему и плова с лепешкой. Короче говоря, если неожиданное получение им пособия удивило стипендиатов, претендентов и вообще всех учеников медресе, то еще больше удивило его пренебрежение к обычным церемониям, связанным с получением пособия. Так как он недавно появился в нашей группе и ни с кем не был близко знаком, «ревнители и знатоки обычаев» не могли найти к нему пути, чтобы устыдить его или «предать проклятью». Только за глаза они называли его молодцом, так как он заставил всех изумиться. Но то был уже не упрек, а выражение высшей похвалы и восхищения.

* *
*

После окончания сезона раздачи пособий, когда успокоились и затихли все разговоры, новичок нашел повод к сближению с нашей группой, в которую входило несколько друзей-единомышленников. Как стало известно из его рассказов, его звали Кори-Ибод (это не тот Кори-Ибод, о котором упоминалось в повести «Бухарские палачи» как о главаре воров и разбойников), дом его находился в квартале Тахти-Зиндон (Таки-Зиндон), и в связи с этим его называли Кори-Ибод «такизиндони» (тот, что у тюрьмы). Старший его брат был чиновником по сбору закета. Однако Кори-Ибод не имел с ним никакой связи; кроме того, среди высших придворных того времени у него был родственник — дядя по матери — Рахмон-кул-бий додхо, главный церемониймейстер двора; но и с Рахмон-кул-бием он тоже никаких отношений не поддерживал. Будучи кори — чтецом Корана, он получал значительный доход со специального вакфа и на эти средства жил.

Когда мы спустя некоторое время подружились, я спросил его, сколько он истратил денег на получение пособия. Он ответил:

— Дураки тратят на это много денег; слава богу, у меня хватает ума, чтобы понять смехотворность и нелепость выбрасывания на ветер нескольких тысяч ради получения ста двадцати тенег.

— Каким же образом вы столь неожиданно и таинственно получили пособие? — опять спросил я.

— Государственные чиновники и власть имущие в наше время, будь они из служилого или духовного сословия, все «волки-ослы». — Далее он следующим образом пояснил это удивительное и туманное выражение:

— Перед эмиром и людьми, старшими по чину, они, подобно ослам, покорны и тихи. Для тех же, кто ниже их, кто по своему рангу и положению им подчиняется, а также для простого люда они — дикие волки!

(Об этом я писал в романе «Рабы»).

Он умолк, а я продолжал его расспрашивать:

— Это ваше определение «столпов государства» очень краткое, но меткое; в таджикском языке трудно найти лучшее, более точное и всем понятное выражение. Вы молодец! Но какая связь между получением вами пособия и тем, что наши «столпы» — «волки-ослы»?

— Потерпите немного, — ответил он. Наряду с «волками-ослами» существуют еще «лисы», которые знают, как без всякого шума или скандала надо с ними бороться. Я как раз принадлежу к этим «лисам».

— Какую же лисью уловку вы применили, чтобы получить пособие? — опять спросил я его.

От его медленного и размеренного повествования мне сделалось грустно. Вот что он рассказал:

«Однажды в день занятий когда а'лам находился в аудитории, а все наблюдатели — претенденты на пособие — оставили его дом, сгрудились вокруг аудитории и продолжали свои наблюдения, я купил корзинку винограда „дамские пальчики", вошел к нему во двор и стал дожидаться его возвращения с урока. Он вернулся, вошел в мехмон-хону, переоделся и сел на свое обычное место. Я подошел к средней двери террасы перед мехмон-хоной и стал, выставив вперед корзинку с виноградом. Когда он на меня посмотрел, я, поклонившись, поздоровался с ним. Он знаком велел мне войту в мехмон-хону. Я вошел, приблизился к нему, затем, став на колени, обеими руками, по всем правилам приличия, протянул ему корзинку с виноградом. После этого я поднялся с колен и, попятившись назад, опустился у входа на колени и стал глядеть прямо перед собой.

«— Кто ты такой? — спросил а'лам. — Я вижу тебя уже несколько дней у себя в аудитории, но до сих не знаю, кто ты.

«Все так же не глядя на него, я назвал свое имя, место, где я живу, и добавил, что являюсь племенником Рахмон-кул-бия додхо, церемониймейстера двора. Когда а'лам услашал имя додхо, его внимание ко мне возросло и он спросил:

«— Ты недавно видел церемониймейстера?

«— Пятнадцать дней назад.

«— Разве ты ездил в Кермине?

«— Нет, в тот вечер он получил позволение его величества съездить в свой сад. Он предварительно известил своих родственников, и мы пошли с ним повидаться. Но из-за политических соображений он никому больше не сообщил о своем приезде, а тех, кто случайно узнал об этом и явился, он не принял.

«— Ну, а что он рассказывал о дворе его величества? — спросил с любопытством а'лам.

«— Рассказал кое-что весьма важное, но предупредил, чтобы мы об этом никому не говорили.

«Любопытство а'лама еще более возросло:

«— Неужели они не велели рассказывать даже мне, твоему учителю? — снова спросил а'лам; невольно соскользнув со своего места, он пододвинулся ко мне вплотную.

«— В сущности, то, что я стал учеником вашей милости, связано с этой государственной тайной, — сказал я, раздувая его любопытство.

«— Иди сюда поближе! — велел он мне. Я подошел.

«— В самом деле, почему ты явился ко мне в конце занятий?

«Я засмеялся.

«— Почему ты смеешься? — спросил а'лам, немного покраснев; только я не понял, покраснел он от стыда или от гнева. При этом он добавил:

«— Разве я сказал что-нибудь смешное?

«— Вы хотите незаметно выведать у меня государственную тайну. Однако разглашение этой тайны может повредить не мне, а вашей милости и додхо, — ответил я. Теперь а'лам совсем растерялся, он потерял нить речи и, словно обезумев, нетерпеливо переспросил:

«— Если разглашение этой тайны для меня опасно, зачем же я буду ее разглашать? Я на основе своего права учителя прошу тебя открыть мне эту тайну и даю тебе слово, что никому ее не передам.

«— Раз вы заговорили о своем праве учителя, что для меня всего дороже, и, кроме того, даете слово, что никому не расскажете, я вынужден, вопреки данному додхо слову, открыть вашей милости эту

тайну. Когда я вечером встретился в нашем саду со своим дядей, он меня спросил, где я учусь. Я назвал канцелярию верховного судьи, а также нескольких других аудиторий. Додхо снова спросил: „Неужели ты до сих пор не стал учеником а'лама?" — „Нет", — ответил я ему. Он с сожалением покачал головой и сказал: „С завтрашнего же дня ты должен стать учеником его милости а'лама и все время держаться за него, потому что после Бадриддина он станет верховным судьей".

«Я замолчал, а'лам сильно разволновался; затем, немного успокоившись, опять спросил:

«— А ты не узнал, в связи с чем додхо заговорил об этом? Может быть, его величество когда-нибудь проявил подобную милость?

«— Я спрашивал, — ответил я и начал объяснять все подробно. — По словам додхо, в связи с тем, что казий Бадриддин очень состарился, при дворе шли разговоры о будущем кандидате на пост верховного судьи. Остона-кул кушбеги стоял за казия Бако-хона, ибо он сайид и считает себя потомком шиитских имамов. Однако додхо и несколько крупных придворных из Бухары и Карши взяли сторону вашей милости. Додхо сказал „Мы смогли перетянуть на свою сторону верных рабов его величества, таких, как Абдулхафизбий инóк, правитель Чарджуя, Низомиддин-ходжа, правитель Зиёуддина, Авлиё-кул бек, правитель Китаба, и Мирзо-Насрулло, правитель Шахрисябза; поэтому его величество решил после смерти Бадриддина назначить верховным судьей его милость а'лама. Однако он предупредил, чтобы до смерти казия Бадриддина это решение оставалось тайной".

«Услышав эти слова, — продолжал Кори-Ибод, — а'лам так разволновался, что не мог спокойно усидеть на месте. Он то крепко потирал ладони и вертелся из стороны в сторону, то тер ладонями голову и грудь, то прижимал руки к груди, словно сердце у него готово было выпрыгнуть, а он стремился его задержать. Я испугался, как бы он не умер от радости. Наконец, он немного успокоился и спросил:

«—Ты получаешь пособие?

«— Нет! — ответил я.

«— В этом году я назначу тебе пособие.

«— В этом году я его не возьму, — снова ответил я решительно, хотя и спокойно.

«—Почему? — удивленно спросил а'лам.

«— Потому что у вас есть ученики, которые учатся по пятнадцати лет и еще не получали пособия. Если вы дадите его мне, вашему пятнадцатидневному ученику, это вызовет множество толков, может повредить и вам и мне.

«— Его величество дал в мое распоряжение десять-двенадцать пособий, поэтому я имею право не выдать его ни одному из моих учеников, а приведя учеников с улицы, сказать: „Они хорошо знают книгу «Хидоя»", — и отдать им пособие, никто не имеет права контролировать меня. Конечно, в день раздачи пособий ты должен присутствовать здесь, я дам тебе книгу и приму у тебя экзамен; таким образом, будут соблюдены все официальные правила, и я назначу тебе пособие.

«— Нет, так не выйдет, — возразил я. — Ведь я никогда не читал „Хидоя", а так как не собирался в этом году получать пособие, то не подготовил, подобно другим претендентам, начальные части глав и разделов этой книги. Я совершенно не желаю провалиться на глазах у народа и опозорить себя. Если буду здоров, то в будущем году или еще года через два я получу пособие.

«— Ты удивительный простак! — прервал меня а'лам. — Я дам тебе книгу и начну беседу с преподавателями медресе, которые в тот день будут присутствовать на экзамене. Кто поймет, читал ты книгу или не читал, или же читал с ошибками? Несомненно, зрители или претенденты начнут кричать: „Он прочел неправильно!". Однако их слова не имеют никакого веса, они — заинтересованная сторона. Известно, что претенденты не могут быть беспристрастны. Что касается зрителей, то они являются сторонниками одних претендентов и противниками других. Поэтому их выкрики во время чтения книги не стоят и гроша в базарный день.

«После долгих упрашиваний а'лама и моего ломанья я в конце концов согласился прийти в день чтения книги „Хидоя" и получить

пособие. Таким образом я неожиданно, будто с неба, свалился на головы экзаменующихся и получил пособие».

В заключение Кори-Ибод сказал:

— Я знал, что вы, несколько поэтов, являетесь самыми сознательными людьми нашего времени. Я хотел, подружившись с вами, рассказать о моей «лисьей уловке», чтобы вы оставили где-нибудь в уголке своей тетради стихотворение. Пусть от нас останется память, которая послужит примером для других и не уйдет со мной в могилу. Ведь я об этой своей тайне никому не могу рассказать. Если она откроется, я буду разорван «волками-ослами».

После своего первого рассказа на том же собрании и на последующих Кори-Ибод поведал еще множество историй о своей борьбе с «волками-ослами». Однако ни одну из них не стоило обнародовать, потому что все они были личными и приносили пользу лишь тому, кто пользовался «лисьими уловками». Они лишь доказывали, что «столпы» того времени были глупы, как ослы, и кровожадны, как дикие волки.

Следует лишь рассказать об одной «лисьей уловке» Кори-Ибода, которую он предпринял, участвуя в нашей прогулке. Рузультаты этой хитрости тоже были сугубо личными, однако для доказательства правильности выражения «волки-ослы» применительно к власть имущим, а также ради пользы, которую смогли извлечь из борьбы с ними «лисы», эта история заслуживает внимания.

История о том, как Кори получил пособие, очень хорошо разъясняет употребленное им выражение, однако весьма возможно, что некоторые читатели сочтут ее случайной. Когда же к ней, в виде подтверждения присоединится повествование о нижеследующем событии, которое пишущий эти строки наблюдал своими глазами, то явление приобретает общий характер.

ПРОГУЛКА ЛЖЕМАХДУМОВ

Однажды в сентябре мы решили отправиться на прогулку в деревню. Наша главная цель состояла в том, чтобы подышать свежим воздухом и полакомиться дынями и виноградом, чего в деревне было

вдоволь. В наши намерения входило также посетить деревню Сугд, где находилась усадьба деда по отцу Ахмада Дониша и дома его родственников, а также побывать в деревне Котиён, где жили музыканты — родичи Кози Курбон-хона Фитрата — и где во время своих ежегодных сельских прогулок Ахмад Дониш останавливался на несколько дней.

В соответствии с этим мы отправились по маршруту: Бухара—Вобкент—деревня Сугд—Котиён, оттуда в Гидждуван, где жила моя родня, далее — Вагонзи, Бухара.

Наша компания состояла из Мирзо-Абдулвохида, Хомид-ходжи Мехри, Мир-Абдулкодира-Кобылы, одного из приятелей Хомид-ходжи — Кори-Са'дулло и меня. Кори-Ибод Такизиндони откуда-то прослышал о нашей прогулке и, придя к нам, стал просить, чтобы мы взяли его с собой.

— Вам это не причинит никакого вреда, — говорил он. — Я, как и остальные, буду участвовать в расходах и, может быть, даже окажусь вам полезен в устройстве развлечений.

Мы согласились. Таким образом, число членов нашей компании достигло шести человек. Для поездки мы наняли большой пароконный экипаж. Кори-Ибод для себя привел лошадь. Рано утром мы выехали через городские ворота Имом прямо по направлению к Вобкенту.

В двух километрах от Вобкента, с левой стороны от большой дороги, стоит деревня под названием Кофар-Работ. Там у одного нашего знакомого имелся сад; в этом саду мы сделали нашу первую остановку. И сама эта деревня, и ее староста выведены в романе «Дохунда» в главе «Молитва о спасении».

Умывшись и оставив лишние дорожные вещи, мы пошли осмотреть центр Вобкентского тюменя. Здесь, в центре района, с востока на запад протекал широкий канал, а большая дорога из Вобкента в Сугд и Шофурком пересекала его.

Через канал был перекинут мост. По другую сторону, на северном берегу, находилась чайная. То было красивое здание, прохладное, убранное хорошими шерстяными коврами; чайная всегда была полна посетителей. Мы тоже расположились в этой чайной на берегу

канала, на красном, каршинской работы, ковре, и принялись пить чай.

На южном берегу канала, у большой дороги и моста, находились ворота полицейского участка, стоявшего прямо напротив чайной.

Во время чаепития наши разговоры вращались главным образом вокруг здешних достопримечательностей, постепенно речь зашла о людях искусства — уроженцах этого района, который после Гиждувана или даже наравне с ним снабжал всю бухарскую округу артистами. Упомянули одного молодого человека по имени Искандар, обладавшего прекрасным голосом, который в то время прославился во всех «семи тюменях Бухары».[1]

Степень искусности Искандара прекрасно характеризуется следующим рассказом. Согласно обычаям того времени, на народных празднествах певцов по голосам и по мастерству соединяли парами, чтобы во время пения «шаш-макома» на высоких нотах они помогали бы один другому и этим способствовали правильному исполнению мелодии.

В те времена в Гиждувane прославился своим искусством некий юноша по имени Эргаш. Во время пения он, словно опьянев от собственного мастерства, сильно изменял голос. Поэтому ему дали кличку «Шаидои». Степень его мастерства видна также из того, что в советское время он воспитал, подобно Бобокулу Файзуллаеву, многих талантливых учеников, благодаря чему его называли Усто-Эргаш — мастер Эргаш.

Кроме своего искусства, Эргаш обладал еще красивой внешностью, пропорциональным сложением, в то время как Искандар был очень смуглым, под носом и под глазами у него виднелись впадины, лоб был выпуклым, а подбородок выдавался вперед; будучи небольшого роста, он имел за плечами горб, отчего его называли горбуном.

Во время праздника на гулянье в Ширбадане, где мы были вместе с Хайратом и наблюдали среди массы зрителей за выступле-

---

[1] В то время бухарская область имела девять тюменей (районов), но, соответственно древнему делению, говорили «семь тюменей», что означало «повсюду», «повсеместно». (*Примеч. автора*).

нием артистов, руководитель певцов и музыкантов поставил Эргаша рядом с Искандаром, чтобы они пели вместе (Эргаш был очень хорошим певцом, но он не мог равняться с Искандаром). Искандар не согласился петь с ним вдвоем.

— Его голос на высоких нотах может сорваться, и это испортит пение; если для меня не найдется подходящий товарищ, то лучше, если я стану петь один и сам буду брать высокие ноты, чтобы не испортить мотив.

Это возражение Искандара было принято руководителями, а Хайрат экспромтом сочинил нижеследующий бейт, который он впоследствии включил в свою сатирическую газель, посвященную этому празднику.

Вот он:

С Эргашем рядом ты сидишь за голос чудный твой.
Ведь сам ты — Искандар-урод, так не ломайся, пой!

(Вторая строка этого бейта может явиться примером того, что иногда в таджикском языке интонация полностью выражает значение, не высказанное словами, и одна лишь мелодика речи служит для выражения идеи поэта).

* *
*

Во время чаепития, когда зашел разговор о певце Искандаре, один из товарищей сказал просительным тоном:

— В Вобкент стоит ездить только для того, чтобы послушать пение Искандара!

— Если хотите, — сказал Кори-Ибод, — не так трудно устроить выступление этого певца.

— Как же не трудно? — возразил другой товарищ. — Группа Искандара за свое выступление на одном вечере берет вперед пятьсот тенег. На угощение и другие расходы уйдет еще не менее ста тенег. Шестьсот тенег на пирушку мы шестеро не сможем сэкономить из наших средств даже в течение шести лет.

— Если вы действительно хотите послушать пение Искандара, — снова вмешался Кори-Ибод, — это можно устроить, не потратив ни гроша.

— Как же это возможно? — отозвался один из нашей компании. — Ведь здесь не Бухара, чтобы мы явились на пирушку «по звуку бубна». В деревне прийти незваным к кому-нибудь на праздник считается самым большим неприличием.

— Я еще раз повторяю: если вы хотите устроить пирушку с пением, то я без гроша в кармане приведу Искандара в тот самый сад, где мы остановились, и он будет для нас петь.

Конечно, мы все в один голос заявили, что жаждем послушать Искандара, и Кори-Ибод тотчас же вскочил с места, чтобы все устроить.

— До моего возвращения оставайтесь здесь и не двигайтесь с места, — наказал он нам и ушел.

Пройдя мост, Кори-Ибод вошел в полицейский участок и спустя полчаса вышел оттуда. Вернувшись, он снова сел на свое место.

— Дело выгорело, — заявил он. — Но все вы должны принять на себя такой вид, будто вы крупные чиновники или их сыновья. Никто не должен смеяться, друг с другом следует разговаривать с особым почтением...

Я прервал его:

— Что же вы сделали и каковы результаты? Все мы с волнением ждем вашего ответа. Оставьте эту науку о чванливости, она вовсе нам не подходит!

— Сейчас не время излагать ход дела, обратите внимание на то, что результаты моих хлопот связаны с тем, как вы сумеете перевоплотиться. Подходит это вам или нет, вы должны на пять минут представить себя важными персонами, я же превращусь в вашего слугу, выполняющего приказания. Однако до того, как наступит время играть роли, т. е. вам изображать из себя важных персон, а мне — слугу, все вы должны выслушать, что я скажу, и повиноваться.

Товарищи согласились. Кори-Ибод велел всем, кто имеет гребни, — а кто не имеет, пусть возьмет у него, — аккуратно расче-

сать бороду и усы. Это приказание было выполнено со смехом и шутками. Потом он застегнул каждому из нас халат и воротники на все пуговицы, как у важных лиц. Затем, встав со своего места, он показал, как себя держат важные персоны и как отвечают на приветствия; заставив каждого встать с места, велел все это повторить, причем исправлял допущенные ошибки.

Мы хохотали, а он сердился и очень серьезно укорял смеявшихся. Я в прежнее время долго наблюдал чванное поведение Парвардигорхуджи, поэтому теперь быстро все усвоил; кроме того, я обладаю способностью при виде смехотворных поступков, а также слушая что-нибудь смешное, удерживаться от смеха и сохранять серьезный вид. Это мое свойство помогло мне в тот раз при исполнении своей роли.

За это я удостоился похвалы Кори-Ибода. Приводя меня в пример, он и других научил игре. Кори-Ибод определил также, как мы должны двигаться: Мир-Кодыр-Кобыла — высокого роста, смуглый, в хорошем халате, с козлиной бородкой — должен был шествовать впереди; рядом с ним, но чуть-чуть поотстав, двигался Хомид-ходжа Мехри, красивый опрятный юноша. Дальше должен был идти Мирзо-Абдулвохид, имевший хорошую одежду, а немного позади него — я. Кори-Са'дулло предназначалось следовать за всеми позади с одеялом под мышкой, как слуге.

Когда Кори-Ибод все это объяснил, он показал нам средних лет мужчину, стоявшего у ворот полицейского участка.

— Это миршаб района, — сказал Кори-Ибод, — посмотрите на него внимательно, чтобы ни с кем не спутать.

Мы стали внимательно его разглядывать: то был человек среднего роста, с густой длинной бородой, в которой виднелись седые волосы, в чалме и халате, как у бухарских чиновников. Сложив на животе руки, он стоял, устремив взгляд на большую дорогу. Иногда он разнимал руки, сложенные в почтительной позе, подносил их к голове и ощупывал повязанную в виде репы чалму, проверяя, не свалилась ли она на одну сторону, потом доставал из кармана нижнего халата носовой платок и вытирал им глаза, затем снова, сложив руки, смотрел на дорогу.

— Ну, настало время приступить к исполнению своих ролей, — заявил Кори-Ибод, — к нашему счастью, у него слезятся глаза и он даже вблизи плохо различает людей. Поэтому он просил меня стоять возле него и представлять вас согласно «вашим чинам», чтобы он смог соответствующим образом приветствовать каждого.

Направляясь к миршабу, Кори-Ибод наказывал нам, чтобы мы (в ответ на приветствия) не теряли важности и надменности, смотрели на миршаба уголком глаза и отвечали на его приветствия легким кивком головы.

— Смотрите, тысячу раз будьте осторожны и не засмейтесь; он может догадаться, и тогда все пропадет. Когда я стану возле него, тогда только идите.

Кори-Ибод пошел к миршабу, и мы тронулись с места, по мере возможности разыгрывая роль важных персон.

Действительно, вид у миршаба был очень комичный; он был вынужден, сложив почтительно руки на груди, кланяться нам и в то же время брать в руки платочек и вытирать глаза, чтобы лучше нас разглядеть. Поэтому он в растерянности то складывал руки на груди, то подносил их к глазам, чтобы не пропустить поклон, он то и дело склонялся и выпрямлялся и еще принужден был слушать, что говорил ему Кори-Ибод о каждом из нас.

Во всяком случае, мы спокойно, не подвергаясь никакой опасности, прошли по дороге; пройдя шагов десять-двенадцать вперед, мы больше не стали сдерживаться и невольно все вместе захохотали. Лавочники на вобкентском базаре удивленно смотрели на это неуместное и несвоевременное веселье. Однако подоспевший Кори-Ибод прекратил наш смех, и мы в своем экипаже, а он на лошади направились в деревню Кофарработ, где и остановились.

* *
*

В дороге Кори-Ибод не раскрыл своего секрета.

— Я боюсь, что из-за какого-нибудь пустяка расстроится все дело и вы будете надо мной смеяться, — сказал он. — Когда все сойдет благополучно, тогда я вам все открою.

Мы приехали к своей стоянке. Там нас встретил певец Искандар, четверо искусных бубнистов и вобкентец Каримча, игравший на тамбуре, — словом, целый оркестр. Среди них лишь один Каримча как будто знал всех нас, так как он принимал участие в пирушках в городе. Но Кори-Ибод быстро оттащил его в сторону и попросил не раскрывать нашей тайны.

Увидев у себя таких гостей, мы собрали между собой деньги и вручили хозяину сада, чтобы он купил на вобкентском базаре необходимое количество мяса и риса и приготовил плов.

Однако он не взял денег.

— В этом нет необходимости, — сказал хозяин. — Когда пришли музыканты, следом за ними явился какой-то незнакомый человек и принес большую переметную суму, обе половинки которой были наполнены всеми необходимыми для плова продуктами, да еще десять сдобных лепешек из дважды просеянной муки, по два чорьяка каждая. Он отдал это мне, но не назвал имя пославшего, а только сказал: «Это для угощения городских гостей».

Мы осмотрели продукты и увидели, что их хватит, даже если гостями наполнить весь дом. Поэтому мы велели хозяину сада пригласить на нашу пирушку своих соседей, ибо если в доме будет полно гостей, пир будет интересней; что касается плова, то его хватит на всех.

Короче говоря, в тот вечер у нас состоялся такой интимный пир, что его следовало лучше назвать, по выражению того времени, «пиром Джемшида». В конце угощения Искандар сказал:

— Я в жизни не пел так много и с таким удовольствием; может быть, среди вас находится волшебник, который меня околдовал. Удивительно, что я после того, как пел без передышки с самого начала вечера до сих пор, нисколько не устал, ни в горле, ни в легких я не ощутил ни малейшей усталости.

— Все это от благословенности следов бухарских махдумов — сыновей духовенства, — сказал тамбурист Каримча, значительно подмигнув нам. — А что вы скажете о моем тамбуре? Сегодня он был просто чудо, если мой медиатор прежде извлекал из струн тамбура музыку, то сегодня он заставлял их говорить; все газели, которые

ты сегодня пел, — обратился он к Искандару, — медиатор отчетливо повторял на струнах тамбура.

— Во всяком случае, — сказали мы, — мы очень рады и очень всем вам благодарны. Не следует забывать и бубнистов. Это те самые артисты, в честь бубна которых ходжа Хафиз сложил следующие стихи:

Я слышал: коль горе внезапно доймет,
Полезно бить в бубен — и горе пройдет.

Провожая музыкантов, мы собрали между собой немного денег и предложили им, но они не взяли.

— Если мы возьмем деньги, миршаб не оставит нас в живых, — заявили они.

Мы попытались передать эти деньги в укромном уголке тамбуристу Каримче, знавшему нашу тайну, но он тоже отказался.

— Возьмите, — сказал я ему, — вы семейный человек, рты вашего семейства движутся лишь благодаря движению ваших рук. Если вы будете играть бесплатно, то «у них заиграют на тамбуре животы».[1]

— Будьте совершенно спокойны, о плате за наше выступление мы договорились заблаговременно. Когда миршаб нас собрал и послал сюда, он приказал ничего не брать от гостей. «Кто же нам заплатит?» — спросил я у него. Он ответил: «В двух последующих выступлениях я от вас не возьму пятой части сбора; все, что получите, вы разделите между собой». Я в шутку сказал: «Миршаб-бек, если вы не выполните своего обещания, я как-нибудь при случае, будучи в городе, пойду к сыну верховного судьи и скажу ему, что миршаб заставил нас играть даром на его пирушке». Миршаб принял мою шутку всерьез: «Каримча, — сказал он, — никогда этого не делай, иначе я буду опозорен. Если вы даже с трех пирушек не дадите пятой части, я не буду возражать, только нигде не рассказывайте об этом!».

---

[1] В Бухаре это выражение означает «быть голодным». (*Примеч. автора*).

* *
*

После ухода музыкантов мы собрались вокруг Кори-Ибода и стали расспрашивать о его «подвиге». По его словам, когда он пришел к миршабу, тот сидел на одеялах в почетной части комнаты и вытирал платочком глаза.

Кори поздоровался с ним и сел на тюфячок, положенный у стены, ближе к двери.

— Миршаб, — рассказывал Кори-Ибод, — спросил меня: «Чем могу служить?». Я ответил: «Нас несколько учеников медресе выехали на прогулку за город. Товарищи выразили желание послушать пение Искандара. Вот я и пришел к вам за разрешением». «Искандар очень болен, — ответил миршаб, — вот уже три дня, как он не может подняться на ноги. Если он даже и поправится, то в ближайшее время не сможет к вам явиться, потому что их руководитель набрал отовсюду по шестьсот-семьсот тенег и прежде всего он пошлет музыкантов в эти места». Помолчав немного, миршаб добавил: «Но так как вы являетесь учениками медресе, я уговорю руководителя музыкантов, чтобы он послал их к вам за пятьсот тенег, однако при условии, что деньги вы заплатите вперед». Я, будто не разобрав, что он говорит, сидел, уставившись в землю, — рассказывал Кори-Ибод. — Мое молчание затянулось, в конце концов это надоело миршабу и он опять заговорил: «Ну, что скажете, домулло, да или нет?». Я опять продолжал молчать. Должно быть, чтобы найти какой-нибудь предлог и выставить меня, миршаб спросил строго, как подобает миршабу: «Кто вы такой и чем занимаетесь в Бухаре?». Я тоже ответил серьезно: «Как я уже сказал, я ученик медресе, зовут меня Кори-Ибод, наш дом в квартале Таки-Зиндон, а сам я племянник по сестре Рахмон-кул-бия додхо, церемониймейстера двора». Когда миршаб услышал имя додхо и то, что я его племянник, он несколько остыл и, вытирая слезящиеся глаза, посмотрел на меня внимательно. «Ага, — произнес он, — а кто ваши спутники?». — «Кто мои спутники, — ответил я, — сказать довольно трудно по политическим соображениям, но так как вы являетесь верным рабом его вели-

чества и миршабом тюменя, я думаю, что если я скажу вам, вреда не будет, потому что вы умеете хранить тайны столпов государства его величества». Услышав от меня эти слова, миршаб разволновался; он подполз ко мне поближе, хорошенько вытер свои подслеповатые глаза, словно ими слушал меня: «Говорите!» — произнес он. — «Один из них — внук, другой — зять, третий — племянник их милости верховного судьи, казия Бадриддина, а я — их слуга».[1] Услышав это, миршаб растерянно вскочил с места и подошел ко мне. Он схватил меня под руки, пытался заставить сесть на его место, а сам хотел сесть ближе к двери. Но так как я не согласился, он из-под своего сиденья — одеял, сложенных в несколько слоев, — вытащил тюфяк, подтащил поближе к двери и уселся на него прямо напротив меня, вытирая глаза. Затем, крикнув в прихожую, он приказал своему приближенному принести скатерть с угощением и добавил, чтобы не был также забыт рахат-лукум.[2] Он велел позвать главу музыкантов, сам же смотрел на меня, улыбаясь и вытирая глаза. Я решил дополнить сказанное ранее: «Махдумы в городе очень соскучились и решили совершить прогулку, поэтому ишан верховный судья разрешил им это, но с одним условием — никому не говорить о своих родственных связях, надеть простое платье и в тюменях не останавливаться в домах правителей». Доверенный миршаба принес скатерть с угощением. Явился также и руководитель музыкантов; сложив почтительно руки на груди, он стал дожидаться приказаний. Миршаб обратился к нему: «Я сказал господину гостю, что Искандар якобы болен, на самом же деле ничто его не берет. Поскорей пошлите кого-нибудь за ним и за бубнистами, пусть немедленно явятся сюда, в полицейский участок!». Руководитель музыкантов

---

[1] Верховный судья, казий Бадриддин, среди бухарских чиновников и духовенства пользовался таким весом и значением, что эмир без его совета не назначал никого ни на государственные, ни на духовные должности, и кушбеги, являвшийся как бы премьер-министром, без разрешения Бадриддина ничего не мог делать. (*Примеч. автора*).

[2] Рахат-лукум — «дающее наслаждение горлу» — сласти, которые в те времена привозились паломниками и купцами из Турции в виде гостинца важным лицам. (*Примеч. автора*).

со словами: «Слушаю, таксир!» — вышел из комнаты, а миршаб продолжал смотреть на меня, вытирая платочком глаза. Казалось, он что-то хочет сказать, но не отваживается или обдумывает, поэтому я его спросил: «Вы что-то хотите сказать?». — «У меня есть просьба». — «Пожалуйста, соблаговолите ее изложить». — «Нельзя ли устроить вашу пирушку здесь, в полицейском участке?». — «Это совершенно невозможно, — ответил я. — Я только что докладывал вам, что их милость верховный судья строго-настрого запретил останавливаться в официальных местах». — «Если так, то, может быть, не раскрывая, кто они, привести их сюда поближе в мою разрушенную хижину, и я предложу им „воду для омовений" (т. е. предложу угощение)». Я понял, что не смогу легко избавиться от этого нахала, и ответил решительным тоном: «Не будем затягивать разговора, я уже несколько раз вам говорил, что им нельзя останавливаться в домах правителей. Я придумал эту пирушку сам, не спросив у них, чтобы их немного развеселить. Теперь я уже не хочу устраивать эту пирушку». «Если вы не устроите ее, то уж лучше убейте меня, а потом уходите отсюда, — печально сказал миршаб, — умоляю вас божьим словом — Кораном, поскольку вы являетесь чтецом Корана, не лишайте меня, несчастного, неожиданной милости, свалившейся на мою голову». — «Ну, ладно, — ответил я. — Ради вас я согласен». Он стал благодарить меня, но мое поспешное согласие еще больше разожгло его жадность, и он опять начал меня умолять: «Что случится худого, если я хоть издали отдам салам махдумам и удостоюсь милости взглянуть на их озаряющую мир красоту?». «Это можно, — ответил я. — Сейчас они заняты поклонением на мазаре Мири хурду Мири калон. Я пойду и проведу их по этой дороге мимо ворот полицейского участка в деревню Кофарработ, где они остановились. Если вы минут через пятнадцать выйдете из канцелярии и постоите у ворот, то, когда они будут проходить, вы сможете отдать им приветствие и выразить свое уважение». В ответ на эту «любезность с моей стороны» миршаб вскочил с места и в знак благодарности низко мне поклонился; затем, усевшись на свое место, он снова заговорил: «Если вас это не очень затруднит, у меня есть к вам еще одна просьба». — «Сделайте милость», — ответил я. «Мои потерявшие

шие зрение глаза не могут на расстоянии отличить верблюда от осла и уважаемых махдумов от простых крестьян. Может быть, вы смогли бы, когда они будут проходить, подойти ко мне поближе, показать каждого из них и объяснить, какое он имеет отношение к верховному судье; этим самым вы еще раз заслужите мою благодарность».

Кори-Ибод закончил свой рассказ следующим образом:

— Я обещал удовлетворить эту просьбу миршаба и, вырвавшись от него, вернулся к вам в чайную.

Кори-Ибод распределил роли следующим образом: Мир-Кодир должен был играть роль младшего сына верховного судьи, Хомид-ходжа — его внука, Мирзо-Абдулвохид — зятя, я — племянника.

Все товарищи, кроме меня, знавшего историю о том, как Кори-Ибод получил пособие, не поверили его рассказу, а Мир-Кодир-Кобыла, считавшийся помешанным из-за своего многословия, сказал Кори:

— Все, что вы рассказали, — это ложь. Вероятно, вы взяли от своего дяди-додхо или от какого-нибудь другого придворного письмо к миршабу, чтобы он устроил нам угощение с выступлением музыкантов. Из уважения к этому письму миршаб так разошелся. Теперь вы все приписываете своему искусству.

У Кори-Ибода был такой характер: внешне он никогда не раздражался и не сердился, как бы с ним ни обходились и что бы ни говорили. Однако своими поступками он старался доказать, что его оппонент или оскорбитель неправ. Отвечая Мир-Кодир-махдуму, он, соответственно своему обыкновению, сказал:

— Вы, махдум, имеете право так думать; по-видимому, и другие думают точно так же. Но — если удастся, во время этой нашей прогулки, если нет, в другом случае — я докажу вам и всем остальным, что говорил правду.

* *
*

Сперва мы отправились в деревню Сугд, где осмотрели усадьбу родственников Ахмада Дониша; оттуда поехали в деревню Котиён

и там провели ночь в доме родственников Кози Курбон-хона, которые также приходились Хомид-ходже родней по матери. Оттуда мы взяли направление на Гидждуван.

Мы остановились в центре Гидждувана, в доме нашего знакомого — секретаря казия. Оставив у него все лишнее, мы пошли гулять на базар и в торговые ряды.

Кори-Ибод повел нас через центр гидждуванского базара, мимо рисового базара, на запад. Там, напротив больших весов для риса, с северной стороны главного рукава канала Пирмаст, находилась чайная. Она была не особенно прохладной и благоустроенной, однако Кори-Ибод попросил нас в ней посидеть и выпить чайник чаю.

Мы не стали ему перечить и уселись пить чай. На запад от больших весов, возле большой дороги, находились ворота гидждуванского полицейского участка. Возле весов, с краю большой дороги, на широкой деревянной кровати с тюфяком сидел старик лет семидесяти и пил чай.

Показав на него, Кори-Ибод спросил:

— Знаете, кто этот старик? — Никто из нас не знал, поэтому мы ответили отрицательно.

— Это миршаб Гидждувана. Увидев его здесь, я заставил вас остановиться именно в этой чайной, чтобы нагляднейшим образом показать вам, уважаемые коллеги-скептики, мое искусство. Я подойду к миршабу, а вы, не отрывая глаз, следите, как я буду с ним обходиться. Хорошенько смотрите, чтобы я не отвел вам глаза и не «передал ему рекомендательного письма» (это был намек на Мир-Кодир-махдума).

Кори-Ибод направился к миршабу, а мы стали глядеть на них во все глаза. Кори-Ибод поздоровался с миршабом, стал на колени прямо на землю перед кроватью и заговорил. Однако мы их разговора не слышали. Во всяком случае, спустя пятнадцать минут старик миршаб растерянно сошел с кровати, помог Кори-Ибоду подняться на нее и посадил его на свое место; затем, подозвав одного из своих людей, он что-то сказал ему. Тот побежал в полицейский участок; сам же миршаб, усевшись на земле на место, где сидел Кори-Ибод, налил в пиалу чаю и подал ему.

В это время из ворот участка выехал верховой. Миршаб, подозвав его к себе, что-то сказал. Тот в знак повиновения кивнул головой и помчался на запад.

Выпив чай, Кори-Ибод сошел с кровати и зашагал в нашу сторону. Старик проводил его до большой дороги и стал, склонившись в почтительной позе.

Кори-Ибод, подойдя к нам, рассказал о своем обхождении с гиждуванским миршабом, которое было точно таким же, как и с миршабом Вобкента.

— Я только для того, чтобы вам доказать, принял его приглашение сесть на кровать. Вообще же в таких случаях надлежит «величие перемешать со скромностью». Этот мой поступок был неправильным, тем более что миршаб — пожилой человек. Мне следовало проявить скромность и не принимать его предложения.

По словам Кори-Ибода, всадник, выехавший из ворот участка и поскакавший на запад, по просьбе Кори-Ибода отправился за музыкантами. В этот день музыканты пошли в деревню Ходжа-Ориф в Шофуркомском тюмене на свадьбу к какому-то баю.

Выйдя из чайной, мы обошли гиждуванский базар и вечером вернулись в дом, где остановились. Секретарь казия, придя с работы, готовил для нас суфу, украшая ее коврами и одеялами.

— Мизро, — обратился к нему Кори-Ибод, — подготовьте для пирушки мехмон-хону и разожгите в ней два мангала.

— Пирушка состоится завтра, — возразил секретарь. — Здесь имеется очень хорошая труппа музыкантов Абдулкодира. Я от имени казия составил бумагу и послал ее миршабу с просьбой прислать нам эту труппу. Миршаб ответил: «Сегодня вечером эти музыканты отправились в Шофурком, завтра я вам их пришлю».

— Не верьте словам миршаба, верьте мне: сегодня вечером эта труппа явится к вам в дом, — сказал Кори-Ибод.

Секретарь и Кори-Ибод долго еще препирались, тем временем труппа музыкантов, вернувшихся из Шофуркома, входила во двор секретаря.

Конец четвертой части

ПРИЛОЖЕНИЯ

САДРИДДИН АЙНИ И ЕГО «ВОСПОМИНАНИЯ»

Крупный ученый — историк литературы, поэт и журналист, зачинатель таджикской художественной реалистической прозы и ее самый яркий представитель, Садриддин Айни на склоне лет приступил к написанию мемуаров. По замыслу автора, это произведение должно было охватить период с 80-х годов XIX в. до наших дней. Ему удалось закончить лишь четвертый том: смерть оборвала эту яркую жизнь, всю без остатка, до последнего дыхания, отданную своему народу.

Историческим фоном для «Воспоминаний» послужила обстановка в самой Бухаре и окружающих ее селениях. С. Айни был человеком из гущи народа, крестьянским сыном, полностью разделявшим судьбу самой передовой и просвещенной части таджикской интеллигенции. Об этом писатель сам говорит в одной из своих статей, посвященных роману «Рабы»: «В какой-то мере роман „Рабы" является историей и моей собственной жизни. В нем рассказано о том, как таджики провели последний век в рабстве и как они покончили с ним, чтобы начать новую, достойную человека жизнь...».[1]

Советскому читателю, особенно молодежи, фон «Воспоминаний» может показаться излишне мрачным, но те времена были слишком жестокими и суровыми, и Айни-реалист не мог отойти от жизненной правды.

В «Воспоминаниях» писатель воскрешает образы давно ушедших людей, события тех лет, картины сельской и городской жизни на

---

[1] С. Айни. Судьба одного народа. — Новое время, 1951, № 45, стр. 7.

грани двух веков. Он раскрывает читателям уродливые порядки, существовавшие в Бухарском ханстве: мракобесие и ханжество безграмотного духовенства, жажду наживы и произвол власть имущих, тюрьмы и казни, тяжелый труд, беспросветное невежество и темноту народных масс, беспощадную их эксплуатацию. Но наряду с этим писатель показывает, что и в условиях той мрачной действительности, хотя и с большим трудом, пробивал себе дорогу светлый человеческий разум и зрели те силы, которые впоследствии навсегда освободили страну от эмирского ига.

* *
*

Бухарское ханство,[1] ликвидированное в результате революционных событий 1920 г., просуществовало свыше четырехсот лет. Оно было основано кочевыми узбеками в начале XVI в. на развалинах государства потомков Тимура.

Расположенные к северу от культурных среднеазиатских оазисов, степи Дашти Кипчак с древних времен были заселены тюркоязычными кочевниками. В течение длительного времени эти степи наводнялись с востока все новыми и новыми пришельцами тюркского и монгольского происхождения. После монгольского нашествия племена, кочевавшие на обширном пространстве между Уралом и Иртышом, вошли в удел внука Чингиз-хана Шейбана и стали называться узбеками. Первоначально эти кочевники в политическом отношении не представляли собой единого целого и лишь в середине XV в. были объединены потоком Шейбана Абулхайр-ханом. На рубеже XVI в. внук Абулхайр-хана Мухаммед Шейбани во главе узбеков завоевал культурные области Средней Азии и Хорасана, изгнав из них последних тимуридов.

[1] Подробно о Бухарском ханстве см.: Б. Г. Гафуров. История таджикского народа в кратком изложении, т. 1, раздел VI, М., 1955, История Узбекской ССР, т. 1, кн. 2. Ташкент, 1956; З. Раджабов. Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй половине XIX и в начале XX вв. Сталинабад, 1957; О. А. Сухарева. К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки). Инст. истории и археологии АН УзССР, Ташкент, 1958.

Потомки Шейбани-хана, стоявшие во главе вновь образованного государства, придерживались еще старинных кочевых традиций: вся завоеванная территория делилась на уделы, во главе которых стояли члены правящего рода — султаны, в то время как наиболее могущественный из них, верховный правитель, назывался ханом (хон); его местопребыванием был город Бухара, отчего с течением времени и все ханство стало называться Бухарским.

На рубеже XVI и XVII вв., в связи с пресечением правящей династии шейбанидов, бухарский престол переходит к аштарханидам — потомкам сына Чингиз-хана Джучи, владевшим Астраханью до завоевания ее Иваном Грозным. Если первым ханам из аштарханидской династии удавалось укрепить свою власть и обуздать мятежных феодалов, то в первой половине XVIII в., при последних аштарханидах, наступает полный упадок центральной власти и распад государства на отдельные феодальные владения. Значительные территории, принадлежавшие ранее Бухарскому ханству, навсегда уходят из-под власти Бухары; Ферганская долина и бассейн Сыр-Дарьи захватываются вновь возникшим к тому времени Кокандским ханством, области к югу от Аму-Дарьи объединяются в отдельные небольшие государства, которые впоследствии поглощаются Афганистаном; несколько ранее, еще в XVII в., бухарские ханы навсегда теряют власть над Хорезмом и над значительной частью Хорасана.

Узбекская феодальная знать, эксплуатировавшая не только своих соплеменников — скотоводов и земледельцев, но и местное оседлое население на правах владельцев крупных ленных пожалований (суюргаль или танхо), становилась все более могущественной. Последние аштарханиды попадают в полную зависимость от крупных феодалов, среди которых особенно выделяются представители племени мангытов, вотчиной (юртом) которых был г. Карши и его округа. Первые мангыты были наместниками (которых называли аталык) при аштарханидах. В 1747 г. мангыт Мухаммед-Рахим убил последнего хана из династии аштарханидов и занял бухарский престол с титулом эмира; Мухаммед-Рахиму в 1758 г. наследовал его дядя Даниял-бий, а затем сын последнего Шах-Мурад (1785—1800)

Правление первых мангытов было временем относительного укрепления Бухарского государства; Шах-Мурад вел агрессивную внешнюю политику и довольно удачно воевал с Ираном и Афганистаном.

Преемники Шах-Мурада, эмир Хайдар (1800—1826) и эмир Насрулла (1826—1860), должны были вести длительные войны с соседними странами, в частности с укрепившимися Хивинским и Кокандским ханствами, с мятежными феодалами; так, например, эмир Насрулла совершил в годы своего правления 32 похода против шахрисябзских владетелей. Страна была в значительной степени разорена непрерывными междоусобицами и войнами, произволом центральной власти и феодальной знати. Население, испытывавшее тяжелый налоговый гнет и различные притеснения, поднимало восстания, которые иногда охватывали значительные территории и продолжались по нескольку лет. Таким было восстание китай-кипчаков на Зеравшане, в непосредственной близости от столицы, продолжавшееся с 1821 по 1825 г. Хотя эмир Насрулла предпринимал энергичные попытки ликвидировать феодальную раздробленность бухарского ханства, к середине XIX в. территорией, прочно входившей в состав ханства, являлась лишь долина среднего и нижнего Зеравшана.

Несмотря на некоторое развитие товарно-денежных отношений и товарного производства как в области сельского хозяйства, так и в области ремесленной промышленности, среднеазиатские ханства середины XIX в., и в первую очередь самое крупное из них — Бухарское, отличались застойным характером производительных сил и феодальных производственных отношений. Феодальная собственность на землю по-прежнему оставалась основой производственных отношений. По сравнению с предыдущими столетиями она изменилась в сторону усиления частного феодального землевладения (путем раздачи центральной властью огромных земельных наделов, особенно ленных пожалований) и роста зависимости крестьян от феодалов, носившей местами характер настоящего крепостничества. Низкому развитию производительных сил и застойному характеру феодальных отношений соответствовал и крайне низкий культурный уровень общества.

Окруженная огромными пустынными пространствами, лишенная мало-мальски удобных путей сообщения и связи, Бухара жила своей самобытной жизнью, а ее правящие круги во главе с самим эмиром и в особенности духовенство ревниво следили за тем, чтобы никакие новшества, никакое чужеземное влияние не проникли в страну и не нарушили господствовавших в ней порядков, привычных взглядов и суждений.

Однако среднеазиатские ханства, несмотря на свою отдаленность от более передовых стран и специфические условия, способствовавшие их обособлению, не были, да и не могли быть полностью изолированы от внешнего мира. Укрепление Российского государства, развитие русского торгового капитала стимулировали торговлю со странами Востока, в частности со Средней Азией. Начиная с XVI—XVII вв. время от времени из России в Среднюю Азию и из последней в Россию направлялись торговые караваны и дипломатические миссии, имевшие своей целью добиться взаимных торговых льгот и преимуществ для купцов. Со времени Петра I эти сношения начинают носить более регулярный характер; в течение XVIII в. в среднем каждые 5—6 лет отправлялись торговые караваны и посольские миссии из России в Среднюю Азию и обратно.

В первой половине XIX в. торговые связи Средней Азии с Россией еще более расширяются и приобретают важное значение для обеих сторон; среднеазиатские ханства, территориально примыкая к русскому национальному рынку, были заинтересованы в вывозе своего сырья, в частности хлопка-сырца, тканей, кож и других изделий местного производства; в то же время изделия русской промышленности пользовались широким спросом на среднеазиатских рынках. Развивающийся русский капитализм, стесняемый недостаточной емкостью внутреннего рынка, стремился получить новые территории для сбыта своей продукции и новые источники сырья. К захвату новых территорий стремился и правящий класс помещиков, надеявшийся таким путем ослабить внутренние противоречия и укрепить пошатнувшееся положение самодержавия.

Непосредственному наступлению на среднеазиатские ханства предшествовало закрепление русских сил на широких пространствах

казахских степей, в частности создание двух укрепленных линий — Сибирской и Сыр-Дарьинской — с целым рядом фортов и крепостей.

Первым этапом наступления русских войск на Среднюю Азию было предпринятое в 1864 г. соединение названных выше укрепленных линий, для чего были захвачены у кокандцев Туркестан, Аулие-Ата и Чимкент. Развивая наступление дальше, весной 1865 г. войска генерала Черняева взяли приступом Ташкент. Следует отметить, что кокандцы, занятые войной с Бухарой, не могли оказать серьезного сопротивления русским, так как значительная часть их войск была направлена против бухарцев. Взятие Ташкента вызвало обострение отношений с эмиром бухарским; в результате возникшего затем военного столкновения с бухарскими войсками в 1866 г. были заняты Ходжент, Ура-Тюбе и Джизак.

В 1868 г. военные действия между Россией и Бухарой возобновились, в результате чего русскими войсками были заняты города Самарканд и Катта-Курган с их округами, отошедшие затем по мирному договору к России и присоединенные к ранее занятой территории, получившей название Туркестанского генерал-губернаторства (Туркестанского края). Этим же договором от 23 июля 1868 г., дополненным затем договором от 18 сентября 1873 г., Бухарское ханство было поставлено в вассальные к России отношения.

Затем решилась судьба и двух других ханств. В 1873 г. генерал-губернатор К. П. Кауфман предпринял поход на Хиву, которая вскоре была занята русскими войсками; по договору от 12 августа 1873 г. над Хивой устанавливался русский протекторат, а территория ханства по правому берегу Аму-Дарьи отошла к России и вошла в состав Туркестанского края.

Поражение эмира Музаффара в войне с Россией поощрило мятежных бухарских феодалов и вызвало усиление междоусобной борьбы внутри страны. Заключение в 1868 г. позорного для Бухары мира с царским правительством привело к отпаданию от Бухарского ханства всех южных владений. Однако царское правительство вовсе не склонно было поощрять сепаратистские тенденции местных феодалов; оно оказало эмиру Музаффару как моральную, так и материальную помощь в ликвидации независимости отпавших областей, а

в ряде случаев даже нашло возможным посылать русские войска для подчинения эмиру некоторых владений. Дважды, в 1868 и 1870 гг., предпринимались военные экспедиции против шахрисябзских правителей, и в августе 1870 г. города Карши, Шахрисябз и Китаб были заняты русским отрядом и переданы эмиру Музаффару. В 1869 г. эмир, при активной помощи со стороны русских властей, предпринял поход против правителей Ширабада, Куляба, Бальджуана, Денау и Гисара, которые были покорены им после страшных кровопролитий и казней; население покоренных областей обложили тяжелыми налогами. В 1877—1878 гг. были подчинены эмиру Музаффару горные владения Каратегин и Дарваз. Все вновь присоединенные территории к востоку от Гисара в административном отношении составили несколько провинций, или бекств, известных под общим названием Восточной Бухары.

После присоединения Средней Азии к России в 60-х годах прошлого столетия и образования обширной территории Туркестанского генерал-губернаторства Бухарское ханство фактически утратило свою независимость; это обстоятельство внесло значительные изменения в судьбу ханства. В территориальном отношении ханство лишилось плодороднейшей Самаркандской провинции. Земли по верхнему и среднему течению Зеравшана отошли к России, и водоснабжение Бухары и бухарской провинции стало зависеть от произвола русских властей. После длительных переговоров царская администрация решила отпускать одну треть вод Зеравшана для орошения бухарской территории, что было далеко не достаточно. С другой стороны, опираясь на российскую военную мощь, эмир бухарский смирил непокорных феодалов и прочно подчинил своей власти все восточные провинции эмирата вплоть до Памира; таким путем была ликвидирована феодальная раздробленность ханства и стабилизированы его границы.

В тех районах Средней Азии, которые оказались присоединенными непосредственно к России, капиталистические отношения стали развиваться быстрыми темпами. Крестьянские хозяйства все более и более приобретали товарный характер, все шире внедрялась культура хлопка, в котором были остро заинтересованы русские

промышленники; хлопковое хозяйство почти повсеместно развивалось за счет других культур. В кишлаки проникали скупщики хлопка, выдававшие авансы под будущий урожай, тем самым закабаляя крестьянина. Бурно развивался процесс классовой дифференциации деревни, происходила концентрация земель в руках кулачества — байства, в то время как широкие бедняцкие и середняцкие массы разорялись и лишались своих земельных наделов. Все глубже в кишлаки проникал ростовщический капитал. В крае создавались промышленные предприятия — главным образом русскими предпринимателями, извлекавшими из них громадную прибыль. Росло население городов Туркестанского края.

Все эти процессы не могли не отразиться в какой-то мере и на соседнем с русскими владениями Бухарском ханстве. Постепенно и здесь начали развиваться товарно-денежные отношения, в чем немалую роль сыграла внешняя торговля ханства, главным образом торговля с Россией. В начале 90-х годов русское правительство заставило эмира согласиться на установление таможенной линии на границе Афганистана, тем самым Бухарское ханство было фактически превращено в российский внутренний рынок, а товарооборот между Россией и Бухарой значительно вырос. Бухара в большом количестве стала вывозить в Россию хлопок, каракуль, шерсть, в то же время из России в Бухару усилился ввоз мануфактуры, сахара, керосина, посуды, железных изделий и других товаров. Экономические и политические связи с Россией еще более укрепились после проведения в 1885 г. железнодорожной магистрали в Закаспии, продолженной в 1888 г. через Бухару до Самарканда. С постройкой железной дороги в ханстве возникли русские поселения, главным образом вдоль железнодорожной магистрали, которые со временем превратились в центры местной промышленности и торговли. В этих поселках впервые в ханстве появились русские рабочие — железнодорожники и строители, служащие и другие трудовые люди.

Проникновение товарно-денежных отношений в Бухарское ханство сказалось до некоторой степени и в сельском хозяйстве, появились элементы классовой дифференциации кишлака, усилилась скупка земельных участков богатеями-баями.

Несмотря на указанные прогрессивные явления в социально-экономической жизни Бухарского ханства, оно оставалось страной с безраздельным господством феодальных отношений и феодальных порядков, страной с замкнутым бытом и отсталой культурой, с деспотической формой правления. В крае продолжала господствовать феодальная система землевладения и землепользования; широкие народные массы, задавленные тяжелыми налогами, поборами, барщинным трудом, были лишены элементарных человеческих прав; повсеместно в ханстве царили насилие, угнетение, произвол.

Доведенное до отчаяния, разоренное и обнищавшее население на притеснения и насилия отвечало многочисленными восстаниями; одно из наиболее крупных восстаний произошло в 1885 г. в Бальджуане под руководством Восе. Народные выступления, обычно стихийные и плохо организованные, жестоко подавлялись властями. Для поддержания «порядка и спокойствия» в стране царское правительство оказывало эмиру помощь и содействие. Это исходило из самой сущности национально-колониальной политики царского правительства, направленной на сохранение в ханстве феодальных отношений. Одним из краеугольных камней колониальной политики царизма был принцип всяческого поддержания авторитета эмира в глазах его подданных. Русские власти считали, что все меры и нововведения в ханстве наилучшим образом могут осуществляться именно через эмира, который имеет в глазах своего народа авторитет мусульманского владыки и повелителя правоверных.

Со своей стороны, бухарские эмиры, — уже эмир Музаффар (1860—1885), а в еще большей степени его преемники — сын Абдулахад (1885—1910) и внук Алим-хан (1910—1920), — хорошо поняли, что при поддержке царских властей им легче осуществлять угнетение и эксплуатацию своего народа. Бухарские эмиры, а также высшие сановники ханства с течением времени оказывались все теснее связанными с самодержавием, становились покорными исполнителями воли царского правительства. Последних эмиров царское правительство награждало различными военными званиями и орденами, они приобретали недвижимую собственность в Европейской России, хранили в русских банках свои капиталы, совершали поездки в Петербург и

на курорты Крыма; пользуясь своим положением, эмиры вели прибыльную для себя крупную торговлю каракулем и, желая снискать благодарность русских царей, жертвовали часть своих огромных барышей на нужды русской армии и флота.

Присоединение Средней Азии к России, бывшее в целом безусловно прогрессивным явлением, поскольку оно расшатывало самые основы феодального способа производства, а также способствовало установлению элементарного порядка в крае, прекращению кровавых междоусобиц, ликвидации рабства, в то же время было чревато целым рядом социальных противоречий. В Бухарском и Хивинском ханствах в силу их своеобразного — полунезависимого, полувассального — положения в отношении России эти противоречия ощущались особенно остро.

Народы Средней Азии в результате присоединения края к России встретились с двумя Россиями — Россией реакционной, царской, и Россией народной, революционной. Трудящимся Средней Азии реакционная Россия несла колониальный гнет, притеснения царской администрации, царских чиновников, великодержавный шовинизм, а трудящимся среднеазиатских ханств, в частности Бухарского ханства, — двойный гнет, гнет эмирского деспотизма и царского самодержавия. Но вместе с тем трудящиеся Средней Азии, а со временем и трудящиеся Бухарского ханства, встретились и с Россией революционной. В конце XIX и начала XX в. центр мирового революционного движения переместился в Россию, растущий русский рабочий класс стал во главе национально-освободительной борьбы всех народов царской России. Русские революционеры, передовые русские рабочие, жизнь и деятельность которых протекала в Средней Азии, стали учителями и руководителями трудящихся местных национальностей. Как показали дальнейшие события, революционное движение 1905—1907 гг., а также революционная борьба последующего десятилетия привела к сплочению усилий трудящихся, как русских, так и местных, в борьбе против гнета царского режима и бухарского деспотизма. Широкие народные массы начали отчетливо понимать, что у русских трудящихся и трудящихся коренных национальностей Средней Азии единый враг — царский и эмирский режимы, взаимно

поддерживающие друг друга. Противоречивы были интересы и умонастроение нарождающейся местной буржуазии, которая, с одной стороны, была крайне заинтересована в русском национальном рынке, а с другой — испытывала неприязнь к русским предпринимателям, видя в них опасных и сильных конкурентов.

* *
*

Социально-политическая обстановка, создавшаяся в Средней Азии после присоединения ее к России, социальные противоречия, о которых говорилось выше, не могли не отразиться на идеологических течениях. Одним из важнейших идейных вопросов, ставших перед передовыми людьми того времени, явился вопрос об отношении к светской культуре, в первую очередь к России и русской культуре. Лучшие и наиболее прогрессивные умы отдавали себе отчет в том, что ужасающая действительность — бесправное положение народа, гнет эмирской деспотии, полнейший произвол правящих классов, бескультурье — не может быть дальше терпима. Эти идеи и настроения оформились в идейное течение, получившее название просветительства; родоначальником его является Ахмад-махдум Дониш (1827—1897), прозванный «Калла», т. е. «Голова».

Дониш происходил из небогатой семьи, его дед был крестьянином, а отец — имамом одной из квартальных мечетей Бухары. Благодаря своим способностям и личному упорству Дониш стал одним из образованнейших людей Бухары; он был прекрасным каллиграфом и зарабатывал себе на жизнь тем, что переписывал книги и рукописи: он также сочетал в своем лице врача, поэта, музыканта, художника, астронома. Несмотря на то, что за свои вольнолюбивые и критические высказывания Дониш прослыл среди реакционного духовенства «еретиком» и «учеником сатаны», его исключительная образованность и знания заставили считаться с ним эмира бухарского. Дониш три раза побывал в Петербурге в качестве члена бухарского посольства; непосредственное знакомство с Россией, Петербургом несомненно имело особое значение для формирования его мировоззрения. В последние годы своей жизни Дониш отказался от предло-

женных ему эмиром правительственных должностей и жил в своем доме в Бухаре, принимая у себя друзей и учеников; в этом доме образовался как бы литературно-политический кружок, имевший огромное значение для всего бухарского просветительного движения.

В своих рукописных произведениях, главными из которых являются трактат «Наводир-ул-вакое» (Редкости событий) и «Тарджумаи ахволи амирони Бухорои шариф» (История царствующей бухарской династии мангытов), Дониш изложил свои основные философские и политические воззрения. Несмотря на то, что в своих философских взглядах Дониш оставался идеалистом, он разделял учение Абу Али ибн Сина (Авиценны) и Омара Хайяма о вечности и несотворимости мира, что в условиях бухарской действительности являлось чудовищной ересью. Политические его взгляды изложены в основном в истории бухарских эмиров. Трактат этот является страстным обличением бухарских владык и порядков в ханстве.

Характеризуя одного из первых мангытских правителей — Данияла, Дониш пишет:«...бóльшая часть медресе и мечетей перестала быть местом учения и молитвы. Кельи медресе превратились в хлев ишака водоноса (и) в кладовую для зерна бакалейщика. Причина этого в том, что узбеки (т. е. династия мангытов) вмешались в дела государства, (они), пользуясь неблагоустройством в управлении, овладевали всем, что они находили, где бы ни было: затушили огонь в лампе вдовы, украли хлеб из амбара вакуфа (и) жили в свое удовольствие, некому было осудить и взыскать с них. Азартные игры, вино и разврат среди чиновников и правителей вошли в обычай, но у подданных не было мочи шевельнуться».[1]

Не менее резко Дониш критиковал и других эмиров. Он писал, что эмир Насрулла не питал интереса к беседам с учеными и образованными людьми, приближал к себе только недостойных людей, никто не осмеливался сказать ему правду; богатые угнетали народ и грабили его имущество. По словам Дониша, Насрулла считал противоречащим шариату все то, что не было в его пользу. Гневными

[1] З. Раджабов. Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй половине XIX и в начале XX вв., стр. 156—157.

словами клеймит Дониш и другого современного ему эмира — Музаффара, эпоху которого он называет мрачным периодом, когда в Бухаре царил разврат и страна «повернулась лицом к упадку». Эмир Музаффар в представлениях Дониша не являлся «тенью бога на земле», как было принято его называть, а бесчестным сыном своего отца, кровопийцей, угнетателем, главарем воров-чиновников. А. Дониш всячески подчеркивал государственную и культурную отсталость своей родины, господство средневековья. Он многократно останавливался на тяжелом положении трудящихся масс, на рабском положении женщины, на отсутствии просвещения, всеобщей темноте и невежестве.

Однако Дониш, обличая поступки эмира и его чиновников, не отдавал себе отчета в том, что все это, как и самая власть эмира, является порождением определенных социально-экономических условий господствовавшего феодального строя. Характер его обличений — типично просветительский: главное зло заключается в невежестве, беззаконии, темноте; основным его идеалом являлось просвещение, всевластие справедливых законов. Он рисовал образ идеального эмира, стремящегося к добру и справедливости, пекущегося о благе своего народа. В конечном счете Дониша не интересовало, каким путем будет достигнут этот идеал. Будет ли он осуществлен в результате народных волнений и восстаний или же в результате реформ сверху — для Дониша не представлялось существенным.

Присоединение Средней Азии к России внесло новую струю в просветительские взгляды Дониша. Борьба за просвещение и прогресс имела уже не только социальное, но и национальное значение. Просветительская деятельность, овладение плодами высшей культуры в целях национального возрождения и развития могли мыслиться как призыв воспринять от носителей этой культуры все необходимое и, овладев этим оружием, добиваться своей собственной свободы и независимости. Но, с другой стороны, восприятие русской культуры могло привести к органическому слиянию с царской Россией, поскольку символом прогресса для бухарских просветителей второй половины XIX в. являлась русская империя во главе

с царем. Первая точка зрения неизбежно вела к признанию национальной концепции в ее буржуазном понимании, вторая же — к апологии царского самодержавия и национального гнета.

Дониш и его современники и единомышленники колебались между двумя этими крайностями, но они не пытались, да и не могли разрешить этой проблемы. Просветители не видели еще другого выхода: возможности иного союза с Россией — включения в русское революционное движение, союза с русским революционным народом.

Лишь впоследствии, уже после смерти Дониша, в ходе революционных событий 1905—1907 гг., стал ясен путь — путь восприятия лучших демократических традиций русского народа, путь совместной революционной борьбы русских, узбеков, таджиков и других трудящихся из числа коренных национальностей Средней Азии.

Заложенное в просветительстве Дониша и его сподвижников противоречие в начале XX в. перерастает в борьбу двух противоположных направлений — революционно-демократического и буржуазно-националистического, известного под названием движения джадидов (джадид — «новый»).

Движение джадидов было тесно связано с идеями панисламизма и пантюркизма. Как известно, панисламизм являлся идеологией умирающего феодализма (объединение всех народов, исповедующих ислам); пантюркизм был непосредственно связан с буржуазным национализмом (объединение под турецким владычеством всех тюркских народов). Джадидизм с самого начала обнаружил свой двурушнический характер. В вопросах, в которых была заинтересована местная буржуазия, джадиды прибегали к лозунгам панисламизма и пантюркизма и выступали против царского самодержавия, когда же начинался революционный подъем, джадиды обращались за помощью к самодержавию. Своей большой заслугой джадиды считали открытие в 1906 г. в Средней Азии нескольких новометодных школ, которые должны были подготовить грамотных людей для обслуживания в первую очередь интересов торговцев (приказчики, переводчики); однако в бухарском ханстве по приказу эмира эти школы вскоре были закрыты. Джадиды выступали также против некоторых

феодальных порядков, тормозивших развитие капитализма, но очень робко. Они никогда не поднимали вопроса о ликвидации эмирата. До 1917 г. среднеазиатские джадиды не имели оформленной программы и политической партии. Некоторая часть джадидов заигрывала с русской либеральной буржуазией, но большинство их стояло за отделение Средней Азии от России и установление власти помещиков и капиталистов под эгидой Турции, в пользу которой они вели подрывную работу. Когда 7 апреля 1917 г. последний бухарский эмир Алим-хан издал манифест о «реформе», не содержавшей ничего, кроме пустых обещаний, джадиды устроили восторженную демонстрацию; однако эмир учинил кровавую расправу с демонстрантами и со всеми, кто был заподозрен в свободомыслии. После Октябрьской революции джадиды стали заклятыми врагами советской власти.

Другая группа — группа действительно передовых людей своего времени, главным образом писателей и поэтов, — восприняла многие лучшие черты просветительства Дониша: критику эмирата, стремление служить народу распространением просвещения. К таким людям принадлежали Хайрат (ум. в 1902 г.), Асири (ум. в 1915 г.), Сахбо (казнен эмиром в 1918 г.), Айни (1878—1954). Однако неумение соединить свое просветительство с революционной работой, осознать задачи нараставшей революции ограничивало их взгляды и придавало их деятельности либеральный характер. Многие писатели находились под влиянием джадидской идеологии. Из числа названных передовых людей лишь Айни дожил до советской власти, которая помогла ему избавиться от либеральных тенденций, приобщиться к революционной работе и стать выдающимся писателем, общественным деятелем и ученым.

* *
*

«Воспоминания» Садриддина Айни охватывают период приблизительно с 1884—1885 г., когда будущему писателю было всего лишь шесть-семь лет, до 1904 г., кануна первой русской революции.

Уже после смерти Айни была опубликована его автобиография, озаглавленная «Коротко о моей жизни» и датированная 1940 г. Эта автобиография в известной степени дополняет «Воспоминания». В ней в сжатой форме писатель рассказывает о своей жизни до конца тридцатых годов.[1]

Садриддин Сайидмурадович Айни родился в 1878 г. в деревне Соктари Гиждуванского района Бухарской области. Его отец Сайид-Мурад-ходжа происходил из рода ходжей, ведущих, по преданию, свое происхождение от пророка.

В отличие от некоторых своих сородичей, отец С. Айни не стал духовным лицом, хотя и учился некоторое время в медресе, не занялся также знахарством и писанием амулетов. Владея мастерством плотника и ткача, он обрабатывал, кроме того, небольшой участок земли и зарабатывал своим трудом пропитание для семьи. Сайид-Мурад-ходжа был хорошо грамотным человеком, знал и любил поэзию и с глубоким уважением относился к образованным людям. Эту любовь к знанию он привил и сыну.

Отец и мать Айни умерли во время эпидемии в 1889 г., когда ему едва исполнилось одиннадцать лет. После их смерти осталось четверо сыновей. Старший из них, Мухиддин, учился в то время в Бухаре, и вся тяжесть по содержанию младших братьев легла на плечи Садриддина. Казалось, что для него навсегда была потеряна возможность получить знания, к чему он так страстно стремился. Однако благодаря приезду одного из влиятельных бухарцев в деревню, где жили родители матери Айни, и беседе с ним у мальчика созрела решимость поехать учиться. Оставив младших братьев у бабушки с дедушкой, он в 1890 г. приехал в Бухару. Потянулись долгие годы учения, сопровождаемые тяжелыми лишениями. Чтобы обеспечить себя материально, пятнадцатилетний подросток вынужден был выполнять обязанности повара у старших учеников медресе, домашнего слуги, подметальщика медресе, писца, репетитора. Но никакие лише-

---

[1] Садриддин Айни. Мухтасари тарҷимаи ҳоли худам. — Шарқи сурх (Красный восток), 1955, №№ 6—9. Русский перевод М. Занда: Садриддин Айни. Коротко о моей жизни. Таджгосиздат, Сталинабад, 1958.

ния и невзгоды не могли заглушить в юноше жажду знаний. То, что не входило в официальный курс наук, преподававшихся в бухарских медресе, Айни дополнял самообразованием.

Постепенно кругозор его расширялся. Проводя много времени за книгами, он хорошо изучил классических поэтов. Будучи от природы любознательным человеком, Айни пристально вглядывался в окружавший его мир. Наблюдая за жизнью города и деревни, за многочисленным бухарским духовенством, учащимися медрессе, эмирским двором, чиновниками, за трудовым людом — ремесленниками и крестьянами, писатель под влиянием Ахмада Дониша и его единомышленников присоединился к просветительскому движению.

В те годы Айни разделял иллюзии о том, что борьба с невежеством, косностью, распространение грамотности, приобщение к культуре — главная задача нового, прогрессивно настроенного поколения.

После русской революции 1905 г., под влиянием развития школьного образования в Русском Туркестане — Ташкенте, Самарканде и других городах Средней Азии — и в Бухаре в 1906—1907 гг. татары открыли новую школу, где обучали грамоте. Желая облегчить таджикским детям учение, Айни поступил в эту школу переводчиком.

Однако спустя шесть месяцев он вместе с Мирзо-Абдулвохидом Мунзимом самостоятельно открыл школу.

«В преподавании, — пишет в своей автобиографии Айни, — я применил опыт, почерпнутый в татарской школе. Вместе с Мирзо-Абдулвохидом мы составили букварь. Сам я написал книгу для чтения, аналогичную по материалам тем урокам, которые переводились мною в татарской школе. Книга эта носила литературный характер, и дети читали ее с удовольствием. Правда, в нее были включены, как полагалось тогда, и религиозные вещи, но в целом она была все же чем-то новым. В 1909 году я опубликовал ее под названием „Воспитание детей“...

«Однако во время экзаменов, которые мы решили провести публично, чтобы подать пример другим, высшее духовенство выступило против нашей школы с разными провокациями.

«Было вынесено решение, что такая школа делает детей вероотступниками. При поддержке эмира высшее духовенство добилось закрытия школы».[1]

Закрытие школы не остановило Айни в его борьбе за просвещение. Он стал организатором и активным деятелем тайного общества «Воспитание детей», имевшего целью реформу мусульманской начальной школы и медресе. Это общество создавало свои тайные школы, после окончания которых на средства общества детей посылали учиться в центры мусульманского образования — Казань, Уфу, Крым и Турцию. Общество, конечно, не ставило перед собой политических целей. Его задачи были очень скромными и не шли дальше реформы просвещения. «Эмирское правительство, — пишет Айни в автобиографии, — с его средневековыми порядками и деятели русского царизма, действовавшие в Бухаре средневековыми методами, даже работу в области науки и просвещения считали революционной, и поэтому члены такого общества, как наше, были в их глазах „государственными преступниками“» (стр. 75).

Но репрессии и преследования бухарских властей и духовенства уже не могли остановить ширившееся демократическое движение. В Бухаре появляются первые журналы и газеты. Сначала они проникают сюда из Турции, Ирана, из Азербайджана, Казани и Крыма, а затем начинают издаваться и в самой Бухаре. В борьбе против прогрессивных сил эмирское правительство все чаще прибегает к обыскам и арестам. Чтение газет рассматривается едва ли не как признак неблагонадежности. В автобиографии Айни описывает, как он был вызван к кушбеги и как тот запретил ему читать газеты. После этой весьма недвусмысленной беседы он из предосторожности уехал из Бухары и устроился работать в семенном цехе хлопкоочистительного завода на станции Кизыл-Тепе. На заводе Айни проработал восемь месяцем — с начала сентября 1915 г. до конца апреля 1916 г., значительно обогатив своей жизненный опыт. Лето и осень 1916 г. писатель провел в разъездах, но в сентябре того же года

[1] Садриддин Айни. Коротко о моей жизни, стр. 74—75. (В дальнейшем все ссылки на автобиографию С. Айни даются в тексте по этому изданию).

был вызван в Бухару телеграммой; неожиданно ему была предложена должность преподавателя в медресе Хиёбон, от которой он отказался.

Когда вести о февральской революции докатились, наконец, до Бухары, тайное общество, в которое входил Айни, распалось. Большинство участников этого общества примкнуло к джадидам, которые стояли за «реформы» и, как уже говорилось, подстрекали народ выйти на «благодарственную» демонстрацию в честь обнародованных эмиром куцых реформ «в рамках шариата».

Эта демонстрация явилась поводом к реакционному фанатическому выступлению озверелых мулл и «мулло-бачей» — учащихся медресе; 9 апреля 1917 г. в городе начался погром, сотни людей явились жертвами провокации. В их числе был и Айни, которого подвергли зверскому истязанию — наказанию 75 палочными ударами, после чего он, окровавленный и измученный, был брошен в «обхону» — тюрьму в проходе в эмирскую цитадель. Лишь благодаря русским революционным солдатам, которых послал каганский Совдеп, Айни и другие оставшиеся в живых жертвы эмирского террора были спасены и перевезены в больницу в Кагане. Сделанные тогда же фотографии красноречиво говорят о перенесенных Айни муках.

Вот как рассказывает писатель о своем спасении:

«Прошло еще немного времени, и у дверей нашей тюрьмы послышался топот сапог. Заскрипел замок, дверь открылась, и русский солдат с винтовкой в руке сунул голову в раскрытую дверь и сказал сначала по-русски, а потом на какой-то смеси узбекского с русским:

«— Выходите! Российская революция освободила вас!

«Даже не собрав своих вещей, все бросились из камеры. В меня и в Мирзо Назрулло весть о свободе вдохнула такие силы, что мы, которые только что не могли и шевельнуться, встали и сами вышли из нашей тюрьмы.

«По крытому переходу Арка расхаживали солдаты. Они открывали другие камеры „обхоны“ и выпускали арестованных. У стен жались эмирские сановники, со злобным удивлением взирая на происходящее.

«Выведя арестованных из Арка, солдаты распустили всех, а нас, подвергшихся истязаниям, и людей, называвших себя революционерами, посадили в фаэтоны или на коней и вывезли из города.

«У городских ворот Кавола, на площади перед станцией ветки Каган—Бухара, по которой в те годы ходила только „кукушка", стояло в шеренгах множество солдат. Здесь состоялся митинг. Друг за другом выступали солдаты. Они обещали отомстить за нас эмиру. Развевалось красное знамя. Я стоял под ним, и двое солдат поддерживали меня под руки. И я, не то что не заплакавший, но даже не охнувший под семьюдесятью пятью палками эмира, здесь не смог удержать слез. Это были слезы радости, о которых раньше я читал только в книгах, но которые теперь ощутил на глазах у себя самого» (стр. 106—107).

После выздоровления и выписки из больницы, где он пролежал пятьдесят два дня, Айни не мог вернуться в Бухару; там все еще держалась власть эмира, она была навсегда свергнута лишь 2 сентября 1920 г. Из мести к писателю в апреле 1918 г. в той же самой «обхоне» был подвергнут жестоким пыткам и казнен младший брат и воспитанник Айни и его единомышленник Сироджиддин, а весной 1922 г. в родном селении Соктари басмачи убили и старшего брата писателя — Мухиддина, бывшего в это время муллой (стр. 116—118).

Выписавшись из больницы, Айни уехал в Самарканд. Здесь он сначала занимается педагогической деятельностью, затем начинает сотрудничать в таджикском журнале «Шӯълаи инқилоб» («Пламя революции») и в узбекской газете «Меҳнаткашлар товуши» («Голос трудящихся»). «Литературных работников из таджиков и узбеков было тогда очень мало, — пишет в автобиографии Айни, — и поэтому — могу теперь в этом признаться — значительную часть публиковавшегося в газете и журнале материала составляли мои стихи и статьи под разными подписями...» (стр. 113—114).

В декабре 1920 г. Айни женился и с тех пор окончательно обосновался в Самарканде.

Еще в августе 1920 г. Айни приступил к написанию исторической повести «Бухарские палачи», которая сначала была напечатана на

узбекском языке (1922 г.) в ташкентском журнале «Инқилоб» («Революция»), а позднее — на таджикском языке (1936 г.). В это же время им была написана большая работа «Материалы по истории бухарской революции», опубликованная в Москве в 1926 г.

В первые годы после революции литературный труд не мог в достаточной степени обеспечить писателя. Ему приходилось выполнять различную работу — служить в самаркандском отделении Бухарского госторга, быть инспектором школ и т. п., — а жить у родных жены в доме с дырявой протекающей крышей.

Начиная с 1924 г. Айни всецело отдается литературной деятельности.

Выступая на первом Всесоюзном съезде советских писателей, Айни говорил: «Около сорока лет я работаю в области литературы. Был очевидцем феодального периода Бухары. Но в ту пору я не смог создать сколько-нибудь значительного произведения. Все, что есть заслуживающего внимания в моем творчестве, создано мною после Октября. Вот почему я говорю, что из старика стал юношей».[1]

Позже, в ноябре 1935 г., в своей речи на торжественном заседании, посвященном тридцатилетию его литературной деятельности, Айни сказал об этом же в другой форме: «Сорокалетним писателем я встретил Октябрь и в этом возрасте вступил в школу Октября. Эта школа воспитала меня, и, пройдя ее, я словно заново родился».[2]

Еще в годы учения в медресе Айни начал писать стихи. Свои первые поэтические опыты он считал мало удачными и рукописи уничтожал. Но впоследствии мастерство молодого поэта окрепло.

Одаренный юноша обратил на себя внимание бухарских любителей и знатоков поэзии. Его стихи включили в свои антологии Афзаль Пирмасти, Садр Зиё (в «Воспоминаниях» Айни — Шариф-джон-махдум), а также и другие составители антологий.[3]

---

[1] На высшую ступень мастерства. — Известия, 1934, 1 сентября.

[2] Коммунист Таджикистана, 1935, 28 ноября.

[3] Rahim Hoşim. Pire ki çavon şuda ast. Сталинабад — Л., 1937, стр. 14 (Рахим Хошим. Старик, ставший юношей); Р. Хади-заде. Источники к изучению таджикской литературы второй половины XIX века. — Труды Инст. языка и литературы АН Таджикской ССР, т. LVI, Сталинабад, 1956.

Первое стихотворение Айни «Гули сурх» («Красный цветок») относится к 1896 г. До этого времени он писал под разными псевдонимами, не удовлетворявшими его, но это стихотворение он подписал псевдонимом Айни, который и оставил на всю жизнь. Стихотворение «Гули сурх» было впервые опубликовано лишь в 1949 г. в «Воспоминаниях».[1]

Юношеские стихи Айни были разбросаны по антологиям, журналам и газетам, издававшимся в те годы в Средней Азии.[2] Первый сборник стихов Айни вышел в 1923 г. на двух языках — на узбекском под названием «Инқилоб учкунлари» («Искры революции») и на таджикском под названием «Ахгари инқилоб» («Пламя революции»). Впоследствии, в 1935 г., вышел сборник «Едгори» («Память»), в 1958 г. — сборник «Ашъори мунтахаб» («Избранное»).[3]

Айни был не только поэтом, но и крупным знатоком персидской и таджикской поэзии.

О его глубоком интересе к поэзии свидетельствует составленная им антология «Образцы таджикской литературы», содержащая обширный и ценный материал по истории таджикской литературы.[4] В антологию были включены избранные произведения многих поэтов за целое тысячелетие, в том числе и современников Айни, и других малоизвестных поэтов, о которых до этой книги ничего не было известно. В предисловии к этой антологии поэт Лахути писал: «В августе 1925 года я удостоился чести посетить уважаемого писа-

---

[1] См. данное издание «Воспоминаний», стр. 583.

[2] Х. Н. Ниязов. Поэтическое творчество Садриддина Айни. (Из истории развития поэзии социалистического реализма в таджикской и узбекской литературах). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 1958, стр. 4.

[3] Х. Н. Ниязов. Айни и революция. (Из творческой биографии Айни-поэта в эпоху Великой Октябрьской социалистической революции). — Вестник ЛГУ, 1958, № 2, серия «История, язык и литература», вып. 1, стр. 133—134; см. также: А. Маниёзов. Публицистика ва назми устод С. Айни (1918—1921). Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1958 (А. Маниёзов. Публицистика и поэзия С. Айни).

[4] Садриддин Айни. Намунаҳои адабиёти тоҷик. Центриздат народов СССР, М., 1926 (Садриддин Айни. Образцы таджикской литературы).

теля. Ученый сидел в своей комнате, потонув в сотнях книг и рукописей, и писал на листке бумаги, положенном на ладонь. Это была „Антология". Житейские горести, тюрьмы и пытки состарили его, глаза его ослабели, но, несмотря на это, он уже около года был занят составлением „Антологии". К моменту моего посещения он уже переписывал ее начисто. А ведь для того, чтобы отыскать ту или иную рукопись таджикского поэта, Айни приходилось по многу дней бродить по улицам Бухары, из дома в дом, пока, наконец, он не доставал ее».[1] Содержательные очерки и монографии Айни посвятил многим поэтам: Рудаки, Фирдоуси, Саади, Бедилю.[2]

В 1918 г., восторженно приветствуя Октябрь, Айни написал на мотив «Марсельезы» «Марш свободы»:

О рабы! Поднимайтесь из праха,
Красным знаменем мир озаря!
Сбросьте иго покорности, страха —
Засияла свободы заря.
Мы рассеем унынье и горе,
Мы неправду развеем, как дым.
Во всемирном безмерном просторе
Справедливость навек утвердим.
Отныне свобода свободна от пут.
Отмщенье царям и эмирам!
Отныне да властвует миром
Лишь труд! Свободный труд!..[3]

Это были первые революционные стихи в таджикской литературе, причем поэт отошел от рамок канонизированной классической поэзии и для нового содержания избрал и новую форму. Стихи Айни писал на протяжении всей своей жизни, но подлинное свое призвание он нашел в прозе, создав превосходные произведения, которые явились драгоценным вкладом в многонациональную советскую литературу.

[1] Там же, стр. VII.

[2] И. С. Брагинский. Айни — историк таджикской литературы. — Вопросы литературы, 1959, № 4, стр. 9—11.

[3] Антология таджикской литературы. Гослитиздат, М., 1957, стр. 549. (Перевод И. Сельвинского)

Попытки творческой работы в прозаических жанрах Айни делал еще в молодости. Однажды, как он рассказывает в автобиографии, ему пришлось составить за писца казия Шариф-джон-махдума ответ брату казия. Письмо очень понравилось Шариф-джон-махдуму, и он высоко оценил способности Айни в эпистолярном жанре. Казий заявил: «В своей антологии (Шариф-джон-махдум составил в стихах антологию современных ему поэтов) я, давая оценку тебе и Мирзо-Абдулвохиду, указывал, что ты силен в поэзии и слаб в прозе, а он, наоборот, силен в прозе и слаб в поэзии. Теперь я вижу, что ошибся. Ты, оказывается, сильнее его и в поэзии и в прозе» (стр. 70).

В 1924 г. в Самарканде в газете «Овози тоҷик» («Голос таджика») начала печататься повесть Айни «Одина». Отдельным изданием повесть вышла в 1926 г. Эта печальная история о жизни и невзгодах таджика-горца Одины до революции была первой таджикской повестью, ознаменовавшей собой новый этап в развитии таджикской литературы.[1]

Таджикская литература до Айни не знала жанра художественной реалистической прозы. На протяжении многих сотен лет в ней, так же как и в персидской литературе, преобладала поэзия, областью же прозы были научные сочинения, дневники путешествий («сафар-наме»), исторические хроники, мемуары, деловые документы, частная переписка. Конечно, и в описаниях путешествий, и в дидактических или философских сочинениях, и в исторических хрониках и мемуарах встречалось немало ярких образов и зарисовок, талантливо переданных диалогов; наконец, встречались и вставные рассказы с законченным сюжетом; и все-таки это не было художественной прозой в современном ее понимании, с типизацией образов, сюжетностью, психологическими характеристиками и присущими ей иными, чем поэзии, стилистическими и языковыми средствами.

Эстетические вкусы и взгляды верхушечных слоев Средней Азии и Ирана требовали от поэтов, особенно в последние века, изыскан-

[1] И. С. Брагинский. Садриддин Айни. Очерк жизни и творчества. Труды Инст. языка и литературы АН Таджикской ССР, т. XXIV, Сталинабад, 1954, стр. 71—73.

ных цветистых выражений, головоломных упражнений, усложненной формы, всевозможных стилистических ухищрений. Авторы прозаических произведений совершенно механически, не считаясь со своеобразием повествовательной формы, пользовались языковыми и стилистическими средствами, почерпнутыми из арсенала поэзии. Отсюда — чрезвычайное усложнение таджикского и персидского языков, засорение их без всякой нужды архаической лексикой и арабизмами настолько, что многие прозаические произведения XIX и начала XX в., издаваемые в наши дни, с трудом могут быть поняты современным таджикским читателем и обычно снабжаются обширными словарными комментариями. Известное высказывание Ф. Энгельса в письме к К. Марксу о сложности персидского языка [1] вполне применимо и к таджикскому языку, так как до XV—XVI вв. у таджиков и персов был общий литературный язык.

Вот здесь-то и сказалась роль Айни как создателя не только художественной прозы, но и необходимых для нее изобразительных средств, прежде всего качественно нового литературного таджикского языка.

В повести «Одина» Айни уже выступал как реформатор языка. Писатель Сатым Улуг-заде свидетельствует, что в овладении литературным языком эта повесть оказала большую помощь молодым таджикам и что, читая ее, они впервые наслаждались чистым литературным языком таджикской прозы.

Двадцатые годы в Таджикистане ознаменовались бурными спорами и дискуссиями о путях развития таджикского литературного языка. Айни был активным участником этих споров. В многочисленных статьях он отстаивал свою точку зрения на развитие родного языка, страстно протестовал против всяких попыток опрощения, вульгаризации языка, а также против его «персизации». Свои взгляды писатель не только отстаивал в полемических статьях, но и воплощал в своей творческой практике. Рассказы, романы и повести Айни являются самым убедительным аргументом его правоты.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXI, М.—Л., 1929, стр. 495—496 (письмо от 3 июня 1853 года).

Чутьем тонкого художника и стилиста писатель отбирал все ценное и жизнеспособное, создавая новый литературный язык, укреплявшийся с каждым новым произведением самого Айни и следующей его путем писательской молодежи.[1]

В романе «Дохунда» (1930) С. Айни выступает уже зрелым мастером. Язык «Дохунды», композиция, герои, имена которых стали нарицательными, глубина характеристик, страстная ненависть к эксплуататорам, гуманизм — сразу же привлекли симпатии широкого круга читателей к этому роману.

В «Дохунде» проявился талант Айни как бытописателя-реалиста, до мельчайших подробностей знающего жизнь своего народа. В памяти читателя надолго остаются чудесные горные пейзажи, сцены сельской жизни, описание свадьбы, похорон, а также картины тяжкого труда, бессовестной эксплуатации сельскими богатеями батраков, разорения крестьянства.

Особенно удались автору образы бедняка Бозора и его сына Ёдгора, попавшего в кабалу к кулаку и превратившегося затем из забитого батрака в сознательного борца за справедливость, строителя новой социалистической жизни. Яркой индивидуальностью наделил писатель и свою героиню — смелую горянку Гульнор, олицетворяющую в этом произведении тип передового борца за права женщин.

С большим мастерством обрисованы автором также характеры отрицательных персонажей романа, прежде всего сельского богатея, жадного Азим-Шоха, и других врагов трудового народа.

Во второй и третьей части романа «Дохунда» описывается жизнь Бухары; заканчивается «Дохунда» победой социалистической революции и соединением главных героев — Ёдгора и Гульнор — после долгой разлуки и всех пережитых ими невзгод. Ёдгор испытал тя-

[1] Этой стороне деятельности Айни посвящена интересная диссертация: Н. А. Масуми. Язык повести С. Айни «Смерть ростовщика». (К вопросу о развитии языка современной таджикской художественной прозы). Автореферат. Сталинабад, 1954; см. также: Н. Масъуми. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. Сталинабад, 1959, стр. 5—39. (Н. А. Масуми. Очерки развития таджикского литературного языка).

желый подневольный труд, солдатчину, тюрьму и пытки, участвовал в борьбе с басмачами; Гульнор, эта хрупкая горская девушка, проявила подлинное мужество и смелость, борясь против насильственного брака за свое счастье. Роман дает возможность читателю расширить свои познания о феодальной дореволюционной Бухаре и о борьбе трудящихся за укрепление советского строя.

В 1935 г. выходит крупнейшее произведение Айни — «Рабы» («Ғуломон»), исторический роман в пяти частях. Отдельные части этого романа были сначала написаны и напечатаны на узбекском языке (Айни одинаково владел и таджикским и узбекским языками и некоторые свои произведения писал на обоих языках).

Роман «Рабы» охватывает большой период истории таджиков и узбеков, начиная со второй половины XIX в. и кончая коллективизацией сельского хозяйства в Средней Азии.

Роман посвящен борьбе таджикских трудящихся против угнетателей. Повествование начинается с драматического эпизода подготовки набега туркмен на окрестности Герата, затем похищения трудовой крестьянской семьи и распродажи ее членов в рабство. В основу романа-эпопеи положена история этой семьи на протяжении трех поколений. Композиционно роман построен так, что одновременно с описанием тяжелой жизни рабов автор дает историю знатной семьи, члены которой принадлежат к господствующей верхушке бухарского эмирата. Мастерски воссоздан автором образ ханжи и жадного стяжателя Кылыч-Ого. Этот персонаж является главой большой группы тунеядцев и грабителей. В эпизодах классовой борьбы Айни рисует острые столкновения между угнетателями и беззащитными перед эмирским законом угнетенными.

В романе выведены представители различных слоев общества в Бухарском ханстве: высшее духовенство, служилое сословие во главе с эмиром и чиновниками, купечество, низшая сельская администрация, баи и сельское духовенство — вся эксплуататорская верхушка феодального общества, живущая трудом рабов, а после их освобождения продолжающая высасывать соки из трудового крестьянства. Особенно ярко идейный замысел автора раскрывается в эпизодах бунта и бегства рабов, в сборе налогов с крестьянского

урожая. Ряд глав посвящен описанию городской жизни Бухарского ханства.

В романе строго выдержан исторический принцип построения сюжета. В нем пять частей, и каждая часть охватывает определенный отрезок времени; последние три части посвящены революции в Бухарском ханстве, борьбе с басмачеством и коллективизации сельского хозяйства. В заключительной части внуки бывших рабов в ожесточенной схватке с кулаками, пробравшимися в колхоз, одерживают над ними победу. Повествование заканчивается сценой колхозного праздника.[1]

Значительное место в романе занимают женские образы. Здесь мы находим представительниц различных общественных прослоек. Главные персонажи не только ярко индивидуализированы, но и типичны. В романе много бытовых зарисовок, язык его изобилует метафорами, меткими выражениями, пословицами и в то же время лаконичен и точен.

Для повествовательной манеры Айни характерна любовь к вставным новеллам, сказкам, притчам, отрывкам из стихотворений, умело вводимым в основной текст, чаще всего в форме рассказов действующих лиц. Подобные отступления очень оживляют повествование, усиливая его занимательность и многогранность.

Роман «Рабы» был представлен автором на конкурс, объявленный организовавшимся в 1934 г. Союзом писателей Таджикистана накануне первого Всесоюзного съезда советских писателей.

В статье «Судьба одного народа», напечатанной через семнадцать лет после опубликования романа «Рабы», Айни дал ему следующую характеристику: «Я писал этот роман о судьбах моего народа, о жизни прежних поколений, но, признаться, взгляд мой меньше всего был обращен в прошлое. Моя мысль устремлялась в будущее. Эта книга о прошлом написана как завет для будущего, потому что

---

[1] Подробно о романе «Рабы» см.: И. С. Брагинский. Садриддин Айни. Очерк жизни и творчества, стр. 93—111; см. также: С. Т. Табаров. Роман «Рабы» С. Айни как исторический роман. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Сталинабад, 1949.

история только тогда имеет смысл, когда в руках людей она становится оружием борьбы за будущее».[1]

Большая часть художественных произведений Айни содержит в значительной степени автобиографические сведения, искусно переплетающиеся с художественным вымыслом. На это обстоятельство писатель неоднократно указывает в «Воспоминаниях» и в автобиографии.

Так, например, действие повести «Одина» развертывается сначала в горном селении, а затем — на хлопкоочистительном заводе. Здесь отразились личные впечатления писателя, почерпнутые во время работы на хлопковом заводе в Кизыл-тепе. Такое же отражение личных переживаний автора можно найти в его романах «Дохунда», «Рабы» и других произведениях.

Почти все свои художественные прозаические произведения Айни создавал на протяжении 30-х годов. Это были годы большого плодотворного труда: в 1930 г. выходит рассказ «Ахмад — заклинатель дивов» («Аҳмади девбанд»), направленный против суеверий и построенный на материале детских воспоминаний писателя; в 1935 г. была напечатана его автобиографическая повесть «Старая школа» («Мактаби кӯҳна»), также связанная с детскими годами писателя; в том же году издается сборник стихов «На память» («Ёдгорӣ»), куда Айни включил свои произведения разных лет; в 1938 г. была опубликована одна из самых ярких повестей писателя — «Смерть ростовщика» («Марги судхӯр»), дополненная автором и переизданная в 1953 г.; в 1940 г. был напечатан роман «Сирота» («Ятим») о мальчике-батраке, попавшем вместе с бежавшими от революции приспешниками эмира в Афганистан и затем вернувшемся на родину. Также в 1940 г. вышла поэма Айни «Война человека с водой», посвященная орошению Вахшской долины. За эти годы им были опубликованы и многочисленные статьи и очерки.

Среди перечисленных произведений наиболее высокой художественностью, глубиной замысла, острой сатиричностью отличается

---

[1] С. Айни. Судьба одного народа, стр. 7.

повесть «Смерть ростовщика». Айни, прекрасно знавший бухарский быт, в этой повести нарисовал картину нравов эмирской Бухары накануне очистительной октябрьской бури. Центральной фигурой повести является резко очерченный, почти гротескный образ отвратительного скряги, ростовщика, ненасытного обжоры, получившего за свое обжорство в народе кличку «Кори-Ишкамба» («Кори-Требуха» или «Кори-Брюхо»).

Хотя Кори-Ишкамба вышел из-под пера таджикского писателя, но при всех его специфических чертах, характерных для позднего предреволюционного бухарского средневековья, он оказался сродни образам скупцов и стяжателей — шейлоков и гобсеков, иудушек головлевых и им подобных, созданных великими реалистами мировой литературы.

В то время, когда развивается действие повести, в Бухару уже начали проникать капиталистические отношения; Кори-Ишкамба явился одним из ярких представителей нарождавшегося нового класса эксплуататоров. Кори-Ишкамба был одержим лишь одной мыслью, одной страстью, которой он подчинил всю свою жизнь. Эта страсть — накопление денег, ради которых он ни перед чем не останавливался: он сдавал внаем кельи студентам медресе, обязав их, кроме арендной платы, еще и кормить его; он бегал по похоронам, стараясь урвать подлиннее кусок материи из той, что по обычаю раздают присутствующим; он посещал все поминки, свадьбы, семейные праздники и всюду объедался сверх меры, набивая пловом свой огромный живот; у него было две жены, но он умудрялся наживаться и на их труде, беря себе комиссионные за продажу тюбетеек, которые они шили; свою лампу он зажигал от их светильника, в свою жаровню он клал жар от их очага; он не стеснялся брать у разносчика лепешку без денег, пообещав помолиться за него. Но главный его доход — это проценты с денег, которые он отдавал в рост, ласково называя проценты на проценты детьми, внуками и правнуками. Если при этом иметь в виду, что Кори-Ишкамба — мулла и чтец Корана, то образ его приобретает особенно сильное социальное звучание. Свои капиталы Кори-Ишкамба хранил в русском банке, куда он ежедневно являлся пить чай. Смерть ростовщика на мостовой перед бан-

ком символизирует гибель старого мира, эмирского строя и всего того, что породило таких, как Кори-Ишкамба.

Повесть «Смерть ростовщика» написана сжато, экономно, сюжет развивается динамично, автор включил в текст повествования несколько самостоятельных новелл и сказок, почерпнутых из народного творчества, в языке повести много образных выражений, пословиц и поговорок.

Все эти элементы художественного стиля Айни, как говорилось, присутствуют и в других его произведениях, но ни в одном из них они не достигают такой силы и отточенности, как в этой повести. Это позволяет считать повесть «Смерть ростовщика» одним из самых выдающихся произведений таджикской литературы.[1]

Пережитое самим писателем, виденное им в судьбах своих соотечественников и современников позволило ему создавать глубокие по содержанию произведения, полностью соответствовавшие жизненной правде и написанные с позиций социалистического реализма. Уже в первом своем художественном произведении — повести «Одина» — Айни выводит русского рабочего-большевика Ивана, разъясняющего забитым таджикам идеи коммунистической партии, руководимой великим Лениным.В «Дохунде» учителем главного героя романа Ёдгора выступает мужественный большевик, замученный затем эмирскими палачами, Абдулло-ходжа; благодаря ему Ёдгор становится сознательным борцом за счастье своего народа.

В романах «Рабы» и «Дохунда», в многочисленных очерках, статьях и речах Айни выступает как писатель-гражданин, пропагандист новой жизни и нерушимой дружбы советских народов. В этом отношении очень интересны его очерки. В очерке «Колхоз „Коммунизм“» (1933) Айни рассказывает о социалистических преобразованиях в его родном Соктари: о первом тракторе и своем земляке-энтузиасте Салиме Саиб-Назар-заде, погибшем от руки подосланного убийцы, о создании на землях односельчан колхоза «Коммунизм».

[1] См. указанные выше работы Н. А. Масуми и И. С. Брагинского; см. также: Г. Р. Самандаров. Айни и сатирические мотивы в его творчестве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 1949.

В другом очерке — «Два тридцатилетия» — Айни, рассказав о том наказании, которому подверг его эмир, отмечает: «Вот какой трагедией закончились тридцать лет моей жизни в эмирской Бухаре». В заключительных строках очерка автор пишет: «Мне нет нужды с помощью диаграмм, статистики и цифр рассказывать, что дали народу и стране тридцать лет советской власти, мне достаточно рассказать лишь о своей собственной жизни на протяжении двух тридцатилетий, и это будет убедительней всяких цифр».[1]

Айни откликался на все важнейшие события культурной и политической жизни своей республики и всего Советского Союза. В августе 1941 г. Айни напечатал очерк «Семиголовый див» («Деви ҳафтсар»), в котором сравнил Красную Армию с легендарным Рустамом, предсказав победу над семиглавым чудовищем — фашизмом. В годы войны им были опубликованы патриотические стихи, статьи и книги, посвященные героям освободительной борьбы таджикского народа против захватчиков в различные периоды его истории («Чингиз-хан XX века», «Герой таджикского народа Тимур-Малик», «Восстание Муканны» и другие).[2]

В послевоенный период Айни отдается кипучей общественной, литературной и научной работе. Он неоднократно избирается депутатом Верховного Совета Союза ССР и Верховного Совета Таджикской ССР, участвует в работах второго Съезда советских писателей Таджикистана, внимательно следит за родной литературой, своими статьями, письмами, беседами помогает росту молодых сил.[3]

В апреле 1951 г. в Сталинабаде была открыта Академия наук Таджикской ССР. Айни, который в ноябре 1943 г. был избран почетным членом Академии наук Узбекской ССР и которому в ноябре 1948 г. Ученым советом Восточного факультета Ленинградского государственного университета была присуждена ученая степень доктора

---

[1] Журнал «Шарқи сурх», 1947, № 11, стр. 12.

[2] См.: З. Раджабов. Садриддин Айни — историк таджикского народа. (Краткий исторический очерк). Таджгосиздат, Сталинабад, 1951.

[3] Садриддин Айни. См. например: Мактуби кушод ба рафиқ Толис. — Шарқи сурх, 1948, № 11, стр. 37—140 (Садриддин Айни. Открытое письмо товарищу Толису).

филологических наук, избирается президентом Академии наук Таджикской ССР. Заслуги Айни в развитии таджикской советской литературы, таджикского литературного языка и науки были отмечены тремя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Уже будучи тяжело больным, Айни не оставлял работы над своим последним и самым ярким и значительным произведением — «Воспоминания». В мае 1954 г. Айни принял участие в работах Четвертого пленума Союза советских писателей Таджикистана, а через два месяца — 14 июля того же года — его не стало.

* *
*

Первая часть «Воспоминаний» (Ёддоштҳо) впервые была опубликована в таджикском журнале «Шарқи сурх» («Красный Восток») в 1948 г. (№№ 8, 9, 11, 12). В течение 1949 г. (№№ 1—4, 7, 8) печаталась вторая часть, а в № 11—12 за тот же год началась публикация третьей части, продолжение и окончание которой печаталось в журнале на протяжении почти всего 1950 г. (№№ 2—9). В 1953 г. на страницах журнала (№№ 1, 2, 4 и 5) начала печататься четвертая часть. Продолжение ее появилось в № 6 за 1954 г. и печаталось до № 9, но писателю уже не довелось увидеть изданными последние главы своих «Воспоминаний».

«Воспоминания» выпускались в свет Таджикским государственным издательством также отдельными книгами: первая и вторая части — в 1949 г., третья часть — в 1950 г. и четвертая — в 1954 г. За первую и вторую части «Воспоминаний» Айни была присуждена Сталинская премия.

Через год все четыре части вышли в Сталинабаде в двух книгах (части первая и вторая — в 1954 г., а третья и четвертая — в 1955 г.). Вторая книга была подготовлена к печати дочерью писателя Холидой Айни.

«Воспоминания» неоднократно и под разными названиями издавались в переводах на русский язык, однако в этих переводах имеется множество купюр (чаще всего неоговоренных), изменений текста и

неточностей. Тем не менее, они и в таком виде нашли отклик в сердцах многочисленных советских читателей. Отдельные главы были переведены на ряд европейских языков. «Воспоминания», написанные рукой крупнейшего таджикского советского писателя, вошли в золотой фонд советской литературы.

Уже эпиграф, предпосланный автором к своим «Воспоминаниям», вводит читателя в атмосферу книги и описываемых в ней событий.

Начинаются «Воспоминания» с далекого детства автора в его родном селении Соктари, ставшем известным благодаря этой книге далеко за пределами родины писателя.

Фон первой части, которой автор дал подзаголовок «В деревне», еще светлый, в ней описаны его детские радости и огорчения, окружающие его люди, прежде всего отец и мать, братья, многочисленные родственники с отцовской и материнской стороны и соседи. В центре первой части стоит отец автора — удивительно цельная и благородная, богато одаренная натура, духовные таланты которой остались нераскрытыми до конца вследствие тех социальных условий, в которых он жил. Так же щедро природа наделила и брата отца — Усто-амака, прекрасного резчика по дереву, веселого и остроумного человека, и их старую, дряхлую тетку-сказочницу, которая, по словам Айни, открыла ему тайну искусства рассказа.

Первым учителем и наставником автора был отец, которого он беззаветно любил и глубоко уважал. Все, что пишет о нем в своих «Воспоминаниях» Айни, проникнуто волнующей сыновней любовью. Страстная ненависть к несправедливости, к унижению человеческого достоинства, ко всякого рода сделкам с совестью, к раболепию, презрение к тунеядцам перешли от отца к сыну. Отец внушил маленькому Садриддину уважение к труду, научил его ценить людей труда, быть правдивым, он вдохнул в него неуемную жажду знаний, веру в светлый человеческий разум. Именно эти мысли и настроения вдохновляли автора при написании «Воспоминаний».

В одиннадцатилетнем возрасте Айни осиротел, и на этом кончилось его детство. Впереди предстояла жизнь, полная невзгод, лишений во имя овладения знаниями, к которым всей душой тянулся маленький Садриддин.

Вторая часть «Воспоминаний» озаглавлена автором «В городе». Здесь уже краски сгущаются, фон повествования становится мрачным и остается таким и в последующих частях. Перед взором читателя одна за другой следуют картины феодальной Бухары с ее многочисленными медресе, шумными базарами, тесными улицами и площадями, с ее иерархической лестницей, на вершине которой восседает эмир со своими льстивыми придворными и со всем аппаратом насилия — чиновниками и духовными судьями, раисами и миршабами. На нижних ступенях этой лестницы — подданные эмира, крестьяне и ремесленники, те, чьим трудом живет господствующая верхушка. Однако из всей массы людей Айни сумел выделить наиболее характерные фигуры.

Во второй части впервые появляется крупнейший ученый и просветитель XIX в. Ахмад Дониш, идеи которого оказали большое влияние на молодого Айни, уделившего ему впоследствии много страниц в своих «Воспоминаниях». Завершается вторая часть превосходно написанной, полной лиризма новеллой о девушке, павшей жертвой нелепых кастовых предрассудков, алчности и жестокости собственного отца — святоши и ханжи.[1]

Третья и четвертая части также озаглавлены «В городе». Третья часть начинается с описания усадьбы одного из образованных людей бухарского общества — Шариф-джон-махдума, вокруг которого группировались знатоки и любители литературы. Здесь много спорили, читали стихи, обменивались новостями. Сюда приходили и лица, близкие к Ахмаду Донишу, и от них-то и узнал Айни подробности его жизни.

В третьей части много внимания уделено ремесленникам, особенностям их быта, жесточайшей эксплуатации, которой подвергались ученики, подмастерья и мастера, не имевшие собственных средств производства и вынужденные за гроши продавать свой труд.

В этой же части писатель знакомит нас с особым общественным явлением, характерным для городской жизни феодального Бухарского

[1] «Воспоминаниям» посвящена содержательная диссертация Мухаммада Шукурова: Об идейных и художественных особенностях «Воспоминаний» С. Айни («Ёддошт̣о», части первая и вторая). Автореферат. М., 1954.

ханства, — с бухарскими гуляками («олуфта»). Читатель узнает об организации гуляк, их времяпрепровождении, драках, пирушках, о своеобразном кодексе чести. Ряд глав посвящен бухарским ростовщикам и их методам закабаления своих жертв. В этом отношении особенно интересны главы о шейхе-литейщике, Аловуддине-Говджигаре и ростовщике-скупце — муэдзине Абдулфаттохе.

В четвертой части отчетливо ощущается та напряженная обстановка, в которой жила Бухара накануне первой русской революции. В центре этой части — трагическая история бессмысленной гибели извозчика (арбакеша), жертвы бухарского духовенства. Полны обличительной силы эпизоды, связанные с шествием людей в черных кошмах, отправившихся к эмиру за справедливостью. Умонастроение лучшей части бухарской интеллигенции отражает своеобразный поединок Хаджи-Махдума с бухарским духовенством. Наиболее меткие высказывания о нетерпимом положении в эмирате автор вложил в уста отважного Мулло-Амона. В этой же части писатель рассказывает о своих скитаниях в Бухаре в поисках жилья, о близких друзьях — участниках кружка вольнодумцев.

Современному читателю покажется, может быть, несколько странным отношение населения Бухары к казням и другим зверствам, творившимся в Бухарском эмирате. Однако в этих жутких проявлениях деспотизма люди тех времен не видели ничего необычного, они взирали на публичные казни, считая их таким же незыблемым установлением, как и самый эмирский строй, исходящий от всемогущего бога. Да и самое отношение к смерти, избавлявшее от беспросветной и безрадостной жизни на земле, было иным, чем в наши дни. Мусульманская религия обещала правоверным, что они попадут в рай, с его благоухающими садами и прекрасными гуриями. Невольно приходят на память строки, давно написанные А. М. Горьким, наблюдавшим изуверскую траурную процессию («шахсей-вахсей») шиитов на Кавказе: «Смотришь и изумляешься — откуда у этих людей так много железного терпения? Или подъем ликующего духа и в наши дни способен заглушить бурный протест истязуемой плоти? Фанатизм, экстаз, исступление — все это сильные слова; но разве дают они понять, что есть в сущности та разительная сила, которую они скры-

вают за собой? И невольно думается, что если б эту дивную мощь человека направить не на работу разрушения, а на создание жизни, на творчество новых форм ее, может быть, действительно „поразили бы люди и демонов, и сами боги удивились бы им", как это сказано в одной хорошей книге...».[1]

Чрезвычайно многосторонне в «Воспоминаниях» представлено бухарское духовенство. Известно, что Бухара считалась центром мусульманского богословия, религия в Бухарском ханстве не была отделена от государства и в стране допускалось только духовное образование. Светские школы начали появляться лишь перед самой революцией. В многочисленных бухарских медресе при девятнадцатилетнем курсе обучения всегда находилось великое множество «муллобачей» — семинаристов. Их быт был хорошо известен Айни, прожившему в Бухаре около двадцати лет и получившему образование в бухарских медресе. Подавляющее большинство учеников и их учителей, как показывает Айни, отличалось крайним невежеством и фанатизмом. В учении они видели лишь одну-единственную цель — закончить медресе и добиться тепленького местечка, которое вознаградило бы их за лишения молодости и обеспечило на всю жизнь.

Эта фанатичная масса, состоящая из учащихся медресе, учителей, чтецов Корана (кори), глав различных дервишских орденов — шейхов и их мюридов, имамов, ходжей, казиев и раисов, мутевалли — хранителей огромного числа «святых мест» (мазаров), уличных проповедников (маддохов), от самых низших представителей духовного сословия до его верхушки, сопротивлялась любым нововведениям, изгоняла всякую свежую мысль, ненавидела иноверцев и подстрекала народ к нетерпимости.

В этой среде господствовали самые отвратительные пороки, жестокость, стремление к наживе, под маской ханжеского благочестия совершались ужасные преступления.

Айни, подлинный реалист, показывает, что и в этом «темном царстве» были яркие личности, стремившиеся к прогрессу, к знаниям, по-своему выражавшие протест против тех невыносимых обществен-

[1] А. М. Горький. Праздник шиитов. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 23, Гослитиздат, М., 1953, стр. 273.

ных условий, в которых им приходилось жить. Примером этому может служить мастерски рассказанная история мести Шукур-бека за свою поруганную честь. Как воплощение будущего автор изображает плеяду передовых ученых и поэтов во главе с Ахмадом Донишем, престарелого судью Мирзо-Абдулвохида, старика-переписчика Мирзо-Изома, слепого ученого, а также своих ближайших друзей — Мирзо-Абдулвохида Мунзима, рано умершего поэта Хайрата, чудаковатого приверженца новшеств Кори-Нурулло, вольнодумцев Хаджи-Махдума и Мулло-Амона, по-своему боровшихся с вековыми устоями бухарского эмирата.

В «Воспоминаниях» отчетливо выступают две группы действующих лиц: с одной стороны — представители господствующей верхушки и те, кто их обслуживает, поддерживает и старается им подражать; с другой стороны — простой народ и лучшая часть интеллигенции, которая стремится к прогрессу, к справедливому устройству жизни. Айни со свойственным ему мастерством сумел показать самое характерное, что отличает представителей одного класса от другого. Вспомним типы крестьян и ремесленников, выведенных в «Воспоминаниях». С подлинным лиризмом и теплотой рисует их автор. В иных — сатирических тонах, с нескрываемой ненавистью и презрением выводит писатель эмира и его окружение. Зло и непримиримо относится Айни к духовенству, изображает его с самой неприглядной стороны (а'лам, верховный судья, учащиеся медресе, особенно заканчивающие курс обучения, мутевалли мазара Ходжа-Убона, Джумбул-махдум и его сподвижники и другие). Писатель стремится вызвать у читателей не только чувство гнева, но и презрительный смех.

С глубоким сочувствием рисует он жизнь трудящихся масс, показывая, что даже в тяжелейших условиях эмирского деспотизма и произвола в народе жил дух протеста и бунтарства. Правда, это были еще разрозненные усилия смельчаков-одиночек (эпизод с сожжением шейха-литейщика) или протест, облеченный в форму коллективных жалоб людей, свято веривших в бога и его представителя на земле — эмира (эпизод с людьми в черных кошмах). Но в этом уже были зародыши сознательной классовой борьбы.

Наиболее ярким образом «Воспоминаний» и главным героем является сам автор. Он не беспристрастный регистратор событий прошедшей жизни, а борец. О чем бы ни рассказывал автор, он выступает как страстный обличитель жестокостей и несправедливостей старого строя, как его грозный обвинитель.

Важной особенностью «Воспоминаний» является их историческая достоверность: действия и события, описанные в книге, — это реальные факты; люди, о которых пишет автор, — его современники, с которыми ему приходилось встретиться в жизни.

Приведем лишь один пример. В главах, посвященных высказываниям Мулло-Амона по поводу избиения камнями арбакеша, дважды упоминается о казни убийцы Мухаммад-Шарифа девон-беги. Это реальное событие имело место в конце прошлого века и было описано на страницах «Исторического вестника».

Вот что писал автор П. П. Ш. в статье под заголовком «Трагедия в Бухаре»: «Казнь эта, достойная времен Каракалы и Нерона, заключалась в следующем: убийца был привязан к хвосту лошади и, при огромном стечении народа, возим таким образом по улицам, площадям и базарам города. Затем ему раздробили кости рук и ног и еще живым бросили за городскую стену на съедение собакам».[1]

Можно было бы привести множество примеров достоверности «Воспоминаний», но в этом нет нужды, так как и сейчас еще живы люди, бывшие свидетелями если не описываемых событий, то всего строя жизни Бухарского эмирата.

Какую бы эпоху ни изображал Айни, его герои действуют на широком жизненном фоне своего времени. На первом плане — социальная среда, история, связь событий с судьбами народа.

Айни во всех своих произведениях выступает как писатель, стоящий на позициях социалистического реализма. Его творческий метод близок к методу основоположника советской литературы А. М. Горького.

Сам Айни в статье «Мудрый учитель» указывал: «Творчество Горького очень многому научило меня и, нужно прямо сказать, ока-

[1] Исторический вестник, 1892, май, стр. 475.

зало решающее влияние на формирование меня как советского писателя». В этой же статье Айни писал о Горьком: «Мои мемуары написаны под влиянием „Детства", „В людях" и других произведений этого большого мастера».[1] С А. М. Горьким Айни встречался лично во время работы первого Съезда советских писателей.

Однако больше всего Айни сближают с Горьким общие взгляды на литературный процесс, на судьбы советской социалистической литературы, на отношение к «свинцовым мерзостям» прошлого.

И Горький и Айни — выходцы из трудового народа, своим беззаветным служением народу и Родине выдвинувшиеся в первые ряды советской литературы, — рассматривали свою литературную деятельность как великий гражданский долг. В этом и следует искать корни общности между автобиографической трилогией А. М. Горького и «Воспоминаниями» Айни.[2]

Несомненно также, что между «Воспоминаниями» Айни и лучшими мемуарными произведениями русской литературы имеется много общего. Назовем ли мы «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, «Историю моего современника» В. Г. Короленко или превосходную автобиографическую дилогию старейшего советского писателя Ф. Гладкова («Повесть о детстве», «Вольница»), мы убедимся, что с «Воспоминаниями» Айни их роднит правдивость изображения суровой действительности, непримиримое отношение к угнетению и деспотизму — источнику нищеты и невежества народа, страстное стремление к прогрессу и, наконец, глубокое понимание человеческих характеров и социальных мотивов, управляющих поступками людей.

В то же время Айни теснейшими узами связан с традициями таджикской литературы, которые он не только впитал в себя, но и творчески развил. Это проявилось в стиле, языке и композиции «Воспоминаний». Достаточно указать на такой факт, как обилие стихо-

---

[1] С. Айни. Мудрый учитель. — Правда, 1951, 18 июня, № 169 (12006), стр. 3.

[2] М. Сойфер. 1) О некоторых вопросах влияния Горького на творчество Айни. Ученые записки Сталинабадского гос. педагогического института им. Т. Г. Шевченко, вып. I, 1952; 2) Горьковские традиции в творчестве Садриддина Айни. Там же, вып. III, 1953.

творений, стихотворных цитат, столь характерных для всей таджикской прозы дореволюционного периода.

На первый взгляд «Воспоминания» могут показаться циклом самостоятельных новелл, но это лишь первое впечатление. На самом деле расположение материала в виде отдельных новелл нисколько не нарушает художественной целостности произведения. В нем действует большое количество лиц, судьбы которых тесно переплетаются, оно объединено общим планом, едино по стилю и языку и по своей идейной направленности.

Одной из характерных особенностей композиции «Воспоминаний» является то, что автор искусно чередует мрачные эпизоды со светлыми, а иногда даже, желая сгладить тяжелое впечатление, рассказывает о каком-либо комическом случае.

В «Воспоминаниях» Айни впервые в художественной литературе дана грандиозная по масштабам картина общественной жизни эмирской Бухары. Заслуга Айни в том, что он раскрыл многие стороны бухарского быта, которые, несмотря на то, что о Бухаре было написано немало, оставались совершенно неизвестными советскому читателю.

Данное издание «Воспоминаний» на русском языке преследует цель восполнить этот пробел и сделать доступным широким массам советских читателей замечательный памятник таджикской советской литературы.

А. Розенфельд.

К ПРОШЛОМУ БУХАРЫ[1]

Замечательный таджикский писатель нашей эпохи Саид Садриддин, по псевдониму «Айни» (более правильная форма — Сейид Садруддин), рисует в своих «Воспоминаниях» те социальные и бытовые условия, в которых он рос, воспитывался и провел большую часть своей жизни. «Воспоминания» связаны главным образом с городом Бухарой и его окрестностями — центром политической и умственной жизни Бухарского ханства.

Автор, родившийся через десять лет после разгрома этого ханства Россией, еще застал в полной мере сохранившийся в Бухаре тот косный, замкнутый в себе мир, куда не проникала никакая чуждая ему мысль, никакое новшество, где давно уже не светил свет знания и просвещения, а наука превратилась в сухую схоластику; в религии под покровом показной набожности скрывались самые омерзительные пороки и преступления, а под проповедью снисхождения к простому народу и защиты его от тирании и несправедливостей власть имущих крылось безудержное ограбление народных масс и самое бесцеремонное обращение с ними, как с подневольными и безответными рабами.

Айни писал «Воспоминания» для своих соотечественников и, исходя из своих соображений, что весь бухарский быт с его местной терминологией им совершенно понятен, не снабдил свою книгу пояснениями исторических, бытовых, социальных и культурных реалий. Но

---

[1] В статье для всех имен собственных, географических названий и терминов сохранена транскрипция автора — ныне покойного проф. А. А. Семенова.

прошли годы, и немалые! За сорок с лишним лет, протекших со дня Великой Октябрьской социалистической революции, в корне изменилось лицо страны, в которой родился, вырос и воспитывался автор «Воспоминаний». Старый бухарский феодальный строй и быт с его идеологией канул в вечность. Выросло новое поколение таджикского и узбекского народов, которое воспитывалось в совершенно ином духе и которому многое уже непонятно из того, о чем писал автор «Воспоминаний».

Тем более для русского читателя были бы почти недоступны эти «Воспоминания», рисующие быт совершенно чуждой ему страны, если бы их не снабдить необходимыми пояснениями и примечаниями. Поэтому в настоящем издании дается краткий очерк, характеризующий состояние Бухарского ханства эпохи Садриддина Айни (главным образом южной части Зеравшанской долины, где протекла большая часть его жизни). В очерке дается характеристика административного управления страной, состава ее народонаселения, деления на сословные группы и занятий каждой из них, взаимоотношений между городом и деревней, положения крестьянских масс, поземельно-податного обложения и всего того, что может служить фоном к картинам прошлого, воссозданным автором «Воспоминаний». А все не объясненные им термины и выражения, особенности литературных и научных произведений раскрываются в комментариях.

Бухара представляла собой разноплеменное государство, раскинувшееся на обширной территории с населением приблизительно в 2.5 миллиона жителей, из которых одни вели оседлый образ жизни (таджики, часть оседлых тюрков и арабов, евреи и индусы), другие были кочевниками (узбеки разных племен, карлуки, барласы, казахи, киргизы, туркмены, арабы, цыгане и др.). Из пришлого населения, проживавшего в разных местах ханства временно, следует отметить парсов из Индии, занимавшихся торговлей по разным городам, армян, лезгин, русских и других. Все иноземцы — не мусульмане, принадлежавшие к числу постоянных жителей Бухары, вроде евреев и индусов, причислялись к так называемым зиммиям. По существовавшим в эмирате обычаям им разрешалось исповедовать свою религию, владеть имуществом, совершать между собою сделки, регу-

лируемые их собственными порядками. Но в делах уголовных и в сделках с мусульманами они подчинялись законам ислама. Им воспрещались браки с мусульманками и владение рабами-мусульманами. При появлении на улицах зиммии могли носить лишь темное и не новое платье с желтой заплатой, подпоясанное грубой веревкой. Они не могли ездить верхом на лошадях, а только на ослах или лошаках, в собраниях не имели права занимать почетные места, не смели приветствовать мусульман, но обязаны были почтительно уступать им дорогу. Им не разрешалось также возводить дома выше, чем у мусульман. Всех зиммиев соединяли, по возможности, в отдельные кварталы под начальством их собственных старшин (у евреев — калонтаров).

Неполноправные бухарские подданные — иноверцы не могли публично совершать действий, оскорблявших чувство мусульман: пить вино, громогласно читать библию и т. п. Поголовная подать — джиз'я, которую платили иноверцы, была гораздо выше взимаемой с мусульман, несмотря на то, что при сборе этой подати все зиммии разделялись по своим доходам на три имущественных группы: богатых, людей среднего достатка и бедных.

Все мусульманское население Бухары делилось на крестьян (дехкон), кочевников-скотоводов (сахронишин, чорводор), горожан (шахрнишин или хисори). Горожане подразделялись в свою очередь на ремесленников (косиб), купцов (тоджир, савдогар) и представителей служилого сословия (амальдор). Особую социальную группу составляло духовенство (уламо) и многочисленные дервишские корпорации, возглавлявшиеся пирами, шейхами или ишанами.

У каждой категории населения была своя особая традиционная манера одеваться, причем одежда отличалась если не покроем, то цветом и материалом. Так, крестьяне носили разноцветные ситцевые чалмы и халаты из домотканной материи довольно ярких цветов (калами), обувались в сапоги из грубой кожи без каблуков (мукки); духовенство отличалось по одежде от остального населения большими белыми кисейными чалмами и пышными халатами из серовато-белой полушелковой, с муаровым отливом ткани (банорас); горожане-ремесленники и торговцы носили небольшие белые чалмы, одевались

преимущественно в полушелковые или из бумажной материи (алоча) халаты. Духовенство, купечество и ремесленники обувались в сапоги на тонкой подошве без каблуков (ичиги), поверх которых надевали кожаные туфли (кафш). Представители дервишских братств, всецело посвятившие себя бедности и сопутствующему ей нищенству, именовались каландарами и проживали в особых общежитиях (хонако). Они разделялись на ряд орденов или толков (маслак) и имели свои специальные костюмы. Нищенствующие последователи наиболее распространенного ордена ходжей, или накшбандия, носили на голове конусообразный колпак, отороченный мехом, короткий, до колен, шерстяной халат с соответствующими для данного ордена вышитыми надписями (вроде надписей на одеяниях христианских схимников), а на ногах грубые сапоги без каблуков (мукки). У каждого из них сбоку привешивалась на кожаных ремнях большая, полая внутри, тыква-травянка. Часто у многих к этому добавлялся так называемый кашкуль — выдолбленный из дерева лодкообразный сосуд или приспособленные для этого очень твердые, полые внутри большие раковины, доставлявшиеся в Бухару из Индии. Такие кашкули нередко украшались бирюзой и покрывались художественной резьбой в виде цветочного орнамента, на них воспроизводились персидско-таджикские стихи мистического содержания или же целые сцены из дервишской жизни.

Многочисленные ремесленники и мастера, снабжавшие бухарское население обувью, одеждой и разнообразными предметами бытового характера, группировались в цехи (наподобие дервишских орденов). Каждый цех имел свои правила поведения, обязательные для всех входивших в него мастеров, свои церемониалы и свои писаные уставы или статуты, так называемые рисоля, содержавшие предания о возникновении данного ремесла или занятия, некоторые наставления ремесленнику и угрозы тем, кто нарушит предписания устава. Так как каждое ремесло, как и всякое занятие, которым человек добывает себе пропитание, по воззрениям мусульман, имеет божественное происхождение, то основоположниками и покровителями ремесленных цехов являлись различные пророки и святые. Существовало даже широко распространенное арабское выражение, приписывавшееся

Мухаммеду: ал-касибу хабиб-ул-лахи — т. е. «ремесленник — друг Аллаха». Официально в Бухаре считалось тридцать два ремесленных цеха, хотя их в действительности было больше. Все они представляли собой своеобразные братства. Во главе каждого из них стоял старший мастер (усто), которому подчинялись все ремесленники данного цеха города, через него принимались от обывателей заказы, и он распределял их по мастерам. Дисциплина в цехах была крепкая и строгая, и ею достигалась большая профессиональная сплоченность ремесленников. Всякое нарушение твердо установленных правил влекло за собой изгнание виновного из цеха. Вообще в организации ремесленных корпораций Бухары было много общего с организацией дервишских орденов.

Служилое сословие делилось на два разряда: военных в узком смысле слова, солдат и командиров армии — сипо, и представителей военно-административного состава, так называемых амальдоров.

Военные после подчинения Бухары России носили форму русского образца, но вместо фуражек на них были низкие бараньи шапки. Эти войсковые части производили самое забавное впечатление карикатурной выправкой солдат и командного состава, отсутствием воинской дисциплины и понятия о единообразии формы. На плечах солдата или офицера нередко можно было видеть два разных погона с обозначением русскими буквами разных воинских частей; пуговицы на мундирах, как правило, были разного образца, русские винтовки были далеко не у всех, их часто заменяли старые кремневые ружья. Команда подавалась необычайно зычно на русском языке, а так как солдаты ее воспринимали механически, без всякого предварительного разъяснения, то и выполнялась она обычно вразброд. Полковая музыка состояла из разного рода флейт (най), труб (сурнай, карнай) и барабанов, и ее идеалом было произвести наибольшее впечатление необычайным шумом, грохотом и громом.

Чины военно-административного состава или ведомства как правило одевались в халаты из разных шелковых и полушелковых материй, опоясывались широкими поясами, украшенными различного вида и рисунка серебряными с позолотой или чернью бляхами (в зависимости от чина). На ногах они носили высокие сапоги с очень вы-

сокими каблуками, настолько суживающимися книзу, что конец их нередко бывал с шляпку большого гвоздя. Головы амальдоров украшали белые чалмы не очень большого размера. Кривая шашка пристегивалась не к портупее, а к поясу из особого рода местной замши (гузори). Такой пояс обычно поддевался под более широкий чиновный пояс.

Амальдоры имели свою служебную иерархию и делились на пятнадцать чинов, из коих низшим был баходур, а высшим — оталик. В представителях служилого сословия народ видел злостных притеснителей, вымогателей и насильников. Отсутствие штатно-окладной системы и определенного государственного бюджета вело к тому, что все служащие, начиная от губернаторов (хокимов) областей и кончая последним канцелярским писцом (мирзо), не получая от правительства никакого жалования, «кормились» за счет населения. И если в казну эмира ежегодно исправно поступали определенные суммы или натура податей и налогов с областей (вилойатов) ханства, то столь же исправно население должно было содержать на свои скудные доходы всю огромную ораву опекавших его властей, от представителей сельской администрации до губернатора включительно. А так как нормы взимания на «кормление» не были известны населению, то чиновничество стремилось взять с крестьянина и ремесленника как можно больше.

Но во всей этой системе «кормления» за счет народных масс для служилого сословия была и своя «оборотная сторона медали». Должностные лица имели право взимать в свою пользу только известные процентные отчисления со сбора: судьи — от тяжебных дел, а все прочие многочисленные чиновники — от подати, платимой казне эмира. Все они теоретически не имели права злоупотреблять «кормлением» и вынуждены были «прибедняться», чтобы скрыть свои истинные доходы. Должностные лица остерегались скупать земли и разного рода недвижимости, не имели возможности слишком широко жить и вообще избегали казаться людьми богатыми. Нарушение этих мер предосторожности неизбежно навлекало подозрение эмира (доносы и шпионаж весьма широко бытовали в правительственных кругах!). Если какой-

либо судья или чиновник владеет большой недвижимостью, значит он приобрел ее за счет расхищения доходов своего государя. За этим следовала конфискация всего имущества виновного в устройстве своего личного благополучия, суровое наказание ему самому и потеря чести. Поэтому все стяжатели стремились обратить избыток своих средств или на покупку недвижимостей на имя подставных лиц, или на накопление денег в серебряной или золотой валюте, а более высокие по рангу люди старались скупать драгоценные камни.

Я помню, как с лишком пятьдесят лет назад, в майский полдень, к поезду Туркестанского генерал-губернатора, стоявшему подле самаркандского вокзала, приблизилась небольшая группа афганцев. Впереди был пожилой мужчина в круглой плоскодонной черной каракулевой шапке, на которой ярко блестел бриллиантовый эгрет. Его навыпуск черные суконные брюки прикрывал средней длины казакин тоже черного сукна, опоясанный довольно широким поясом с большой четырехугольной пряжкой, сплошь усыпанной бриллиантами. Среди них выделялся своим блеском крупный бриллиант — солитер. Я пригласил их всех войти в вагон-салон, где выяснилось, что это был двоюродный брат афганского эмира Абдуррахмана, Исхак-хан, когда-то правитель Чар-вилаета и претендент на афганский престол. Он был разбит Абдуррахманом, бежал в русские пределы и проживал теперь в Самарканде, получая от русского правительства ежегодную субсидию.

«Я — странник в земле чужой, достопочтенный господин, — повествовал мне Исхак-хан, — и ныне пользуюсь щедротами русского правительства, живу здесь, в Самарканде, в надежде лишь на милость Аллаха». И когда во время разговора я как-то невольно остановил свой взгляд на крупном солитере в поясе Исхак-хана, последний заметил это и с живостью сказал:

«Вот вы, высокий господин, заметив мои бриллианты, вероятно, подумали нечто о моем богатстве. Должен вам сказать, что восточные государи не любят, чтобы их подданные копили богатства. Я учел это и своевременно все, что имел, обратил в драгоценности. Подумайте, когда я бежал из Афганистана, что бы я делал со всеми моими недвижимостями, если бы они у меня были? А это все (и Исхак-хан кос-

нулся поясной пряжки) было так легко увезти и при нужде обратить в деньги».

Влиятельным сословием в ханстве было духовенство, к которому принадлежали судьи (кози), муфтии (своего рода юрисконсульты), а'ламы (муфтии высшего ранга), ахунды (старейший и авторитетнейший из муфтиев, так сказать — верховный муфтий), раисы (блюстители нравственности среди населения в духе шариата и инспекторы за правильностью мер веса и длины на базарах), мударрисы (преподаватели высших конфессиональных школ — медресе или мадрас) и все приходские имамы или муллы. Духовенство представляло очень сплоченную корпорацию, спаянную одним неподвижным духом мусульманства, покоящимся на непреложных велениях единого божественного закона, называемого шариатом. Никакая свежая мысль, никакое новшество или даже намек на него не могли проникнуть в эту окаменелую в своей неподвижности среду. И нередко даже эмиры, эти абсолютные властелины над жизнью и смертью своих подданных, вынуждены были самым серьезным образом считаться с настроением бухарского духовенства. Так, например, предпоследний бухарский эмир, Абдулахад (1885—1910), человек весьма властный и всегда чувствовавший за собою поддержку царского правительства, вынужден был в 1897 г. покинуть свою столицу из-за какого-то очень крупного столкновения с духовенством и навсегда перенести свою резиденцию в Кермине. И даже большие беспорядки, возникшие в начале 1910 г. в Бухаре в связи с кровавым столкновением шиитов с суниитами во время «шахсея-вахсея», когда по настоятельному требованию из Петербуга эмир должен был самолично прибыть в свою столицу и своим авторитетом прекратить кровопролитие, — не сломили упорство Абдулахада. Командированному к нему в Кермине для сообщения названной директивы русского правительства первому секретарю Российского императорского политического агентства эмир заявил, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не вступит в столицу, даже если ему это будет грозить свержением с престола и удалением из Бухары.

Сплоченность бухарского духовенства, которое в важных государственных делах не боялось заявлять эмирам свое властное non pos-

sumos («мы не можем»), не раз вынуждала эмиров изменять намечавшиеся ими решения или отменять уже сделанное. Этим самым бухарские владыки ставили себя в крайне неприятное для своего авторитета положение, когда, изменяя свое решение, они делались нарушителями данных ими обязательств или обещаний.

Я помню, как перед Октябрьской революцией, в сентябре 1917 г., мы с российским резидентом в Бухаре посетили эмира Сейид Алима по вопросу ничем не оправданного закрытия бухарским правительством в г. Бухаре новометодных школ. Эмир заявил, что он отлично сознает всю незаконность такого мероприятия, тем более что новометодные школы существуют в столице очень давно, но в данном случае он совершенно бессилен что-либо предпринять, так как их закрытия потребовало бухарское духовенство в лице верховного судьи (кози-йи калон). «Попробуйте, поговорите лично с верховным судьей, сошлитесь на меня, что я прошу его не касаться вопроса о закрытии новометодных школ. Может быть, вам удастся так или иначе убедить его», — добавил эмир.

Мы не замедлили посетить верховного судью, им тогда был Бурхануддин-садр, находивший весьма большую поддержку среди учащихся медресе. Этот прелат принял нас крайне любезно, но наотрез отказался выполнить переданную ему эмиром директиву русского правительства. Он ссылался на то, что ныне все новометодные школы находятся в руках джадидов, этих врагов правоверного ислама, что джадиды слишком высоко подняли голову в ханстве — всячески подкапываются под устои веры, что он, верховный судья, как блюститель шариата, обязан всемерно противодействовать этому, и проч., и проч. Мы уехали ни с чем.

Свою опору духовенство г. Бухары, задававшее тон всему прочему духовенству ханства, находило в многотысячной корпорации студенчества столицы, в так называемых мулло-бачах, учащихся многочисленных бухарских медресе (мадрас). Это студенчество делилось на две группы или партии. К одной относились студенты — уроженцы г. Бухары и тяготевших к ней округов или тюменей (туманов). Они назывались талаба-йи тумани. К другой группировке принадлежали студенты из Восточной Бухары, страны по преиму-

ществу гористой, и потому они назывались талаба-йи кухистони. Обе эти партии (вернее, быть может, землячества) не всегда жили между собою в мире и дружбе. Особенно острыми противоречия становились, когда одна из партий выдвигала на тот или иной высокий духовный пост своего кандидата, а другая партия, не желавшая этого кандидата, выставляла своего. Происходили взаимные пререкания и крайне шумные митинги, пока, наконец, не брала верх та сторона, представители которой путем своекорыстных происков более искусно использовали повышенное настроение студенчества. И нередко устанавливались своего рода династии влиятельнейших в стране судей столицы, так называемых «верховных судей» (кози-йи калон), должности которых занимали в продолжение трех-четырех поколений члены одной и той же семьи. Иногда это бывали представители горных районов (кухистони), иногда — уроженцев равнинной Бухары (тумани).

Вместе с тем, бухарское духовенство умело использовало настроения мулло-бачей для смещения неугодных ему высших сановников ханства или устранения того или иного нежелательного, с шариатской точки зрения, явления в общественной жизни страны. Мударрисы духовных семинарий стремились всячески расположить к себе студенчество и при случае использовать его для своих целей. А это, в свою очередь, вело к тому, что многие высокопоставленные лица всячески заискивали перед наиболее влиятельными мударрисами, памятуя о непрочности своего положения. Враждебное настроение против того или иного сановника, подогретое студенческими выступлениями, могло погубить всю его служебную карьеру. Разумеется, подобные свойства студенческого движения отнюдь не содействовали улучшению общественных порядков или совершенствованию центрального административного аппарата ханства и его ответвлений в провинциях. Но эмирскому правительству все же приходилось серьезно считаться с массовыми выступлениями «мулло-бачей», так как они обычно касались людей влиятельных, делавших внутреннюю политику в стране.

Система преподавания в медресе, в основу которого было положено священное мусульманское писание, покоилась, как и в старой

христианской духовной школе с доминирующим в ней латинским языком, на заучивании наизусть учебных пособий, составленных в основном на чуждом для учащихся арабском языке. Их как-то нужно было понять, усвоить, научиться пользоваться ими в последующей жизни, чтобы стать хорошим муллою, муфтием или другим хорошо обеспеченным должностным лицом. Но далеко не все выдерживали этот искус, очень многие по неспособности не шли дальше сельского муллы, бросали медресе, не окончив в нем курса, другие где-нибудь пристраивались на скромное место мирзы (писаря) при каком-либо правительственном чиновнике. Среди людей, преодолевших в течение пятнадцати-двадцати лет все тяготы схоластического обучения, было немало хороших знатоков арабского языка, калама (схоластической теологии) и прочих предметов, преподававшихся в медресе. Многие из окончивших курс действительно любили науку, книги, интересовались литературой и поэзией. И вообще начитанных бухарцев было немало и из бесед с ними всегда можно было почерпнуть много интересного и поучительного.

Духовенство, как и служилое сословие, не пользовалось симпатиями широких масс. В представителях духовенства, а особенно в судьях, муфтиях и других, население Бухары видело только бессовестных людей, решавших за взятки дела, как им было выгодно. В народе ходило множество метких и крайне злых рассказов «о несправедливых судьях», об их проделках и преступлениях. Существовала даже пословица, что «денег муллы, совести судьи и глаз крота никто не видел».

Задавленные всяческими поборами, непосильными налогами и разными неправдами, народные массы стремились найти какой-то выход из своего невыносимо тяжелого положения. Не зная других путей, они пытались уйти под покровительство глав дервишских корпораций, так называемых пиров или ишанов. Они тоже обирали народ, но психологически это было совсем не то, что поборы и вымогательства чиновных правительственных лиц. Последние вымогали в свою пользу насильственно, мерами понуждения и побоев, а пирам приносили добровольно, зная при этом, что глава общины в трудную минуту может оказать своему покорному «ученику»

(мюриду) как материальную, так и моральную помощь. Ишаны свободно владели своими недвижимостями, всячески приумножая их за счет «доброхотных даяний» многочисленных учеников и последователей, принадлежавших ко всем классам общества. И никакой хан или эмир никогда не осмелился бы конфисковать собственность дервишских «старцев», так как такая мера могла вызвать большие народные волнения. Авторитет руководителей общин среди народа был весьма велик, в день дервишских радений (зикров, обычно по четвергам) в помещение ишана собирались все многочисленные его ученики (мюриды) и последователи (дастнадихандагон или, по-узбекски, кулбирмянганляр — не давшие пиру руки, еще не ставшие его всецело покорными учениками). Они все принадлежали к самым разнообразным слоям населения: рядом с важным купцом находился какой-нибудь смиренный, плохо одетый ремесленник, с человеком, имеющим высокий придворный чин, сидел оборванный чернорабочий. Для всех членов этого своеобразного братства в дни радений бесплатно устраивалось ишаном угощение, и все они участвовали в общем хоре дервишских кружений под пение или мелодекламацию мистических стихов. Все это, как и доступность ишанов, их обходительность, помощь в нужде импонировали народу, влекли к этим «старцам» народные сердца. Дервишские общины открывали людям какой-то мнимый просвет в их тягостной, полной горя и мучений, безрадостной жизни.

Реакционное, мистическое учение — тесеввуф, или суфизм, — с его весьма заумным и туманным мировоззрением, разумеется, не было доступно массам. Крестьяне и ремесленники, вступавшие в дервишские общины, не подозревали, что здесь все подчинено корыстным целям. Ишаны стремились завербовать себе как можно больше мюридов лишь потому, что получали от них обильные приношения. В зависимости от имущественного положения последователя в дар мог быть принесен и крупный земельный участок, и ничтожное количество денег, масло, яйца и т. п.

Дервишские корпорации в Бухаре делились на разные ордена, из которых наиболее распространенный был накшбандия или ходжагон. Основателем этого ордена и вместе с тем патроном Бухары был

шейх Бахауддин Накшбанд (ткач цветной шелковой материи с золотыми и серебряными нитями, умер в 1389 г.). Его гробница, находящаяся в 12 километрах от г. Бухары, считалась своего рода национальной святыней, привлекавшей множество народа со всех концов не только Бухарского ханства, но и всей Средней Азии. Орден накшбандия считался наиболее ортодоксальным. Другой орден — кубравия — исповедовал идеи более рационалистические и поэтому считался как бы еретическим. Его центром являлось селение Соктари, родина автора «Воспоминаний», Сейида Садриддина Айни. Несколько шейхов ордена кубравия из этого селения были известны своими трудами, излагающими принципы учения ордена, пронизанные весьма смелыми философско-суффийскими воззрениями. Среди них замечательны произведения шейха Мухаммед-Хусейна. Исходя из предположения об акцидентности мира, автор развивает мысль, что мир и составляющие его свойства и части подчиняются неизбежному закону изменения и восстановления в других формах, с другими качествами, что таким образом всякая вещь в мире имеет свои стадии, степени и завершения. К сожалению, все подобные труды соктарийских шейхов находятся только в рукописях, и в какой мере их рационалистические идеи отразились на мировоззрении последователей ордена кубравия, — остается неизвестным. Но все же, судя по воспоминаниям детских лет С. Айни, чувствуется некоторый налет вольномыслия и своеобразного радикализма в высказываниях представителей старшего поколения соктарийцев.

Помимо перечисленных сословий, следует отметить такие общественные группы, как сейиды и ходжи, ведущие свои родословные от арабов-завоевателей. К сейидам причислялись потомки Мухаммеда от его дочери Фатимы и ее мужа Алия. Сейидское достоинство весьма почиталось в Бухаре, представители высших классов ханства правдами и неправдами стремились породниться с каким-либо семейством сейидов. Из истории бухарских мангытов мы знаем такой случай. Последний бухарский хан из династии аштарханидов Абулфайз (убит в 1747 г.) был сейид. Его дочь взял в замужество Надир, шах персидский, а после него — узурпатор бухарского пре-

стола Рахим-хан мангыт. Он умер, не оставив детей. Вдову Рахим-хана взял в жены его племянник, Шах-Мурад, будущий бухарский эмир, который имел от нее сына Хайдара, ставшего, таким образом, сейидом. Вследствие этого все его преемники стали сейидами и прибавляли это звание к своему титулу, ставя его впереди всех прочих наименований (вроде: Сейид эмир Абдулахад бахадур-хан). Помню, я как-то спросил эмира Абдулахада, почему слово «сейид» ставится прежде всех имен, званий и титулов. На это он мне сказал следующее: «Эмиром я могу сегодня быть, а завтра могу очутиться в ничтожестве или быть свергнутым, перестану быть эмиром, государем, а звание сейид у меня никто не может отнять, ибо оно наследственно-родовое».

Ряд должностей в бухарском военно-административном управлении был предоставлен лицам только сейидского происхождения.

Поскольку у Алия и Фатимы было два сына, Хусейн и Хасан, и оба оставили большое потомство, то сейиды нередко прибавляли к своему имени то хусейни, то хасани, в связи с тем, от кого они вели свой род. Так как подобная генеалогия являлась весьма сомнительной, а претендентов на право считать себя потомком пророка было много, то разбором жалоб и претензий на ложное или действительное сейидское происхождение при последних мангытах в г. Бухаре стал заниматься шейх-ул-ислам, которого освободили от прямых его обязанностей блюстителя высшего правосудия в мусульманском духе.

Помимо своеобразного «божьего племени» сейидов, в Бухаре существовали группы мусульман, причислявших себя к мирам. Они претендовали на происхождение от первых трех преемников Мухаммеда: Абу-Бекра, Омара и Османа. Термин этот («мир») не следует смешивать с таким же термином «мир», которым именовались правители областей, наряду с присвоенным им должностным званием хаким (по-арабски) и бек (по-тюркски). Родовое наименование «мир» обычно ставилось перед собственным именем лица, его носившего. Весьма часто после собственного имени прибавлялись прилагательные, производные от имен вышеназванных преемников

пророка, вроде сиддики (т. е. потомок Абу-Бекра «сиддика» — правдивого), Омари (Умори) и Османи (Усмони).

К ходжам причислялись потомки первых арабских завоевателей. Исторически звание «ходжи» возникло следующим образом. Арабский полководец Кутейба (VII в. н. э.) приказал жителям отдать под постой арабских солдат и офицеров половину их жилищ, чтобы арабы, поселившись у бухарцев, могли в точности знать уклад их жизни и следить, как они соблюдают обряды насильственно навязанного им ислама, не исповедуют ли побежденные тайно своей старой религии и т. п. Бухарцы надолго сохранили память о невыносимых насильственных мероприятиях Кутейбы. Поселившийся в доме бухарца и живший на его иждивении араб-победитель вел себя, как неограниченный деспот. Бухарец должен был всячески его ублажать, наилучшим образом кормить и из вежливости называть ходжа, т. е. господин, хозяин. И так потом повелось, что всех потомков этих непрошеных «хозяев» арабского происхождения стали по всей Бухаре называть ходжами. Ходжи постепенно образовали очень сплоченную и весьма влиятельную общественную корпорацию, широко распространившуюся по всей Средней Азии.

Среди ходжей встречались даже сейиды и руководители дервишских орденов — пиры, или ишаны. Образуя своеобразную аристократическую прослойку, эти ходжи были особо почитаемы и пользовались большим влиянием среди населения. По своему социальному положению ходжи принадлежали к различным сословиям: среди них были представители служилого сословия, купечества, ремесленников, крестьян, рабочих и бродячих дервишей (каландаров). Вследствие этого и материальное благосостояние их было самое различное. Тем не менее их кастовый дух был настолько силен, что в какой бы бедности ни находился ходжа, он никогда не выдавал своих дочерей замуж в семьи «не ходжей». Но сами ходжи могли свободно жениться на женщинах, не имеющих отношения к их роду.

Следует отметить, что все сословия населения Бухары имели свою особую титулатуру, свои специфические почетные названия. Так, например, бухарский кушбеги — этот своего рода премьер-министр — титуловался иморат-панох (убежище власти); казии — шари'атпанох

(убежище шариата); ходжи — исолатпанох (убежище благородного происхождения); купцы, ремесленники и крестьяне именовались иззатджох (достопочтенный). Титулатура суфийских шейхов или ишанов была более высокой: к их нарицательному имени (шейх, пир, ишан) прибавлялось слово хазрат (хазрат-и ишон, т. е. святейший ишан).

Бухарское ханство было по преимуществу страной земледельческой и скотоводческой. Однако разнообразные ремесленные производства играли здесь хоть и второстепенную, но весьма существенную роль. Их удельный вес в экономике Бухары и в торговле с зарубежными странами был достаточно велик.

Климат Бухарского ханства был весьма разнообразен, различным было и плодородие почвы, поэтому коснемся земледелия и садоводства только в окрестностях столицы. Бухарский вилайет (т. е. область) делился на районы, называемые монгольским словом туман (тюркское — тюмень). Таких туманов, или тюменей, в этом вилайете было девять: Шофурком (или Вардонзи), Колит (или Вобкент), Хутфар (или Зандани), Ком-и Абу Муслим (или Вагонзи), Фаровиз, Пирмаст, Ромитан (или Самиджан), Хайрабод и Тарабим Охугир. Наименования тюменей и их границы не были устойчивыми и в различные периоды изменялись. Земли этих районов орошались водами реки Зеравшан и ее притоков, от которых тянулись многочисленные искусственные каналы. С северо-запада и с запада к Бухарскому вилайету подступали пески пустыни Кизылкум, а с юго-запада — пустынные степные пространства. Весь Бухарский вилайет представлял собою по существу характерный среднеазиатский оазис, которому было присуще маловодье. Последнее особенно стало ощутительным после присоединения к России в 1868 г. Самаркандского вилайета, когда в пределах русского Туркестана оказались верховья главной водной артерии Бухарского оазиса, реки Зеравшан. Возник острый вопрос о равномерном и справедливом распределении воды этой реки между новыми русско-подданными Самаркандской области, жившими в долине Зеравшана, и их соотечественниками, оставшимися в пределах Бухарского ханства. Дело осложнялось тем обстоятельством, что опекунами водоснабжения населения теперь яв-

лялись два правительства. В течение четверти века пререкания из-за воды между русскими и бухарскими властями не прекращались, а вместе с ними не прекращались и жалобы населения Бухарского вилайета на недостаток поливной воды, вследствие чего из года в год страдали посевы, сады и огороды. В 1902 г. особой русско-бухарской комиссии удалось достичь соглашения о пропуске воды из реки Зеравшан в Бухарские владения «в размере одной трети всего количества ее». Бухарцы приняли это соглашение с условием, что такой пропуск воды будет производиться «непрерывно постоянным током в течение года». Для того чтобы наладить водоснабжение, в Бухаре была учреждена специальная должность инженера-мелиоратора. Несмотря на принятые меры, распределение вод Зеравшана до конца бухарского эмирата оставалось самым острым и больным вопросом; полагавшаяся бухарцам по соглашению вода отпускалась крайне неисправно.

Народные массы Бухарского вилайета вели плачевную жизнь не только из-за недостатка воды, но и в связи с общими условиями землепользования, существовавшими в ханстве. Все земли здесь разделялись на несколько особых категорий. Наибольшее количество орошаемых пространств занимали так называемые хараджные земли, которые были оставлены когда-то победителями-арабами в вечное пользование населению с уплатою за них несколько повышенной поземельной подати (харадж), в размере от одной восьмой до одной пятой снимаемого урожая. Земли, орошаемые атмосферной влагой, колодезной или ключевой водой, облагались податью в размере одной десятой части урожая (ушри — десятинные земли). Кроме того, существовали совершенно свободные от налогов частновладельческие земли (мульк-и хурр или мульк-и хурр-и холис), владельцы которых получили такие участки за те или иные заслуги «перед престолом и церковью». Обычно такие «обеленные» земли принадлежали ишанам, сейидам, высшим сановникам и разным другим привилегированным лицам. Владение частными землями подтверждалось специальными ханскими или эмирскими грамотами. Путника, проезжавшего по Бухарскому вилайету, всегда поражала неравномерность всходов хлебов: на одних полях зреет превосходный урожай, а на других он

во много раз хуже. Это явление обусловливалось не одними свойствами почвы и количеством воды для орошения, но зависело главным образом от условий владения землею. Все хорошо обработанные поля почти сплошь принадлежали владельцам мульковых земель и настолько резко отличались от всех прочих, что их безошибочно можно было определить по одному внешнему виду.

Особую категорию земель, присущую только мусульманским странам, составляли так называемые вакфные (или, по установившемуся в русской литературе названию, — вакуфные) земли, завещанные их владельцами особым юридическим актом в вечное пользование каким-либо общественным или религиозным учреждениям с благотворительной и богоугодной целью, так сказать, «в вечный помин своей души». Такого рода недвижимая собственность обычно не отчуждалась никакой властью. Различались три вида ее: вакфы, принадлежавшие конфессиональным учреждениям — медресе, мазарам, мечетям и т. п. (это были своего рода церковные земли); вакфы, завещанные в пользу рода или потомства завещателя и носившие название «семейственных вакфов» (своего рода майоратные земли); вакфы, завещанные в пользу общественных учреждений для поддержания их в исправности (бань, дорог общественного пользования, колодцев в степи и т. п.).

Наибольшее число вакуфных земель в Бухаре принадлежало конфессиональным учреждениям, которые сдавали их в аренду крестьянам за определенную долю урожая (обычно четвертую часть), отсюда такой издольщик назывался чорьяккор или, в просторечии, чорикор. Характерным являлось то обстоятельство, что, независимо от величины дохода, деньги на ремонт и поддержание в исправности вакуфного имущества не расходовались, а расходились по карманам мутаваллиев (экономов, заведующих вакуфными доходами) и других лиц, обслуживавших эти учреждения. Некогда великолепные мечети, медресе и прочие здания стояли обычно облупленные и покосившиеся. Возведение вакуфных сооружений потребовало в свое время массу средств, бездну художественного вкуса и талантливости зодчих, и все это лишь для того, чтобы потомки совершенно не заботились об их поддержании.

Земли, находившиеся в непосредственном ведении эмира и носившие название государственных (замин-и подшохи, замин-и султони), представляли собой особый фонд, состоявший из земель, конфискованных у разных лиц (за те или иные преступления), оставшихся без владельцев (выморочное имущество), всех впусте лежащих неорошенных земель (мавот), орошенных средствами эмира и заселенных с уплатой ему подати бóльшей, чем взималась с хараджных земель, и, наконец, земель заболоченных, илистых или покрытых камышевыми зарослями. Обрабатываемые из государственного фонда земли назывались амляковыми, и подать с них носила название амляк.

Из всех перечисленных выше земель в Бухарском вилайете (по статистическим данным Бухарской народной социалистической республики 1921—1923 гг.) наибольшее количество было хараджных и амляковых (около 114 тысяч гектаров), за ними следовали вакуфные земли (около 70 тысяч гектаров), затем частновладельческие, свободные от всяких налогов (около 57 тысяч гектаров), и, наконец, земли, принадлежавшие лично эмиру, занятые его дачами и садами (около 1500 гектаров).

Наибольший доход эмирской казне давала поземельная подать с хараджных земель. Она была двух родов: постоянная, взимавшаяся в деньгах и в некотором количестве зерна с определенного участка земли (харадж-и вазифа или харадж-и муаззав) и пропорциональная (харадж-и мукосама), означавшая уплату известной части урожая. Первого рода харадж взимался, например, в одних районах по 1 теньге и 7.5 фунтов зерна с одного таноба[1] обрабатываемой земли, в других по 1 теньге весною и по 1 теньге и 15 фунтов зерна осенью. Второго рода харадж выражался в уплате от одной восьмой части урожая с облагаемого налогом поля. На первый взгляд такие размеры поземельной подати, установленные на основе шариатских норм, не кажутся особенно обременительными. Но на самом деле, в со-

[1] Таноб бухарский равнялся 600 квадратным саженям или 2730 квадратным метрам.

четании с огромными поборами на кормление чиновников, они были для земледельцев сущим разорением.

Размеры хараджа определялись путем пробного умолота. Когда хлеб почти уже поспевал, то поземельно-податный чиновник (амлокдор) выезжал со своими людьми на поля, где его встречал сельский старшина, староста и крестьяне. Окинув «авторитетным» взором поле, амлокдор определял «на глазок», сколько в нем танобов земли и сколько следует взять с посева батманов хараджного зерна. Земледельцы вступали с амлокдором в пререкания, ссылаясь на свидетельства своих старшин, старост и соседей, на данные по уплате подати в прошлом году и другие доказательства. В конце концов, после долгих споров, клятв и угроз, останавливались на приблизительных цифрах. И амлокдор, не слезая с лошади, или сам записывал цифру следуемой подати, или приказывал сделать это сопровождавшему его писарю (мирзе). Вернувшись домой после такого объезда полей, обычно продолжавшегося несколько дней, амлокдор составлял начисто раскладки поземельно-податного налога, которые совершенно не отражали действительного состояния урожая, а являлись плодом его собственных статистических измышлений. При составлении таких сводок основным стимулом было стремление поменьше сдать в казну, а побольше забрать себе и своим людям — чиновникам более низкого ранга. Амлокдор скреплял чистовые списки своею печатью и рассылал по селениям. Только после получения их крестьяне могли приступить к сбору урожая. А так как амлокдор сплошь и рядом запаздывал с объездом полей на две-три недели, а то и больше, и несжатый хлеб подвергался всем опасным случайностям (осыпанье зерна, ливни с градом, саранча и прочее), то урожайность полей оказывалась гораздо ниже, чем ожидалось. Но этим дело не оканчивалось. После того, как хлеб бывал обмолочен, провеян и ссыпан в кучи на гумнах, амлокдор особым образом опечатывал каждую кучу так, что земледелец «до особого распоряжения» не мог дотронуться до своего зерна. В это время поместные судьи (кози) зорко следили за базарными ценами на хлеб, донося о них эмиру для установления «справедливых цен» на зерно. Их донесения были той базой, на которой эмир устанавливал твердые цены на хлеб по

районам и бекствам. Они сообщались через кушбеги губернаторам (хокимам или мирам, бекам), а те спускали их амлокдорам. И когда, наконец, приступали на гумнах к сбору натурального поземельного налога, то к этому времени базарные цены оказывались выше, чем те, по которым взимали с крестьянина зерно. Амлодор был неумолим и требовал от земледельца взноса в установленном ранее размере. Одновременно с хараджем взимался кавсан, особый налог на содержание амлокдора (им облагались урожаи всех зерновых хлебов и хлопка в размере полпуда зерна с каждых 10 батманов, а с хлопка по 15 фунтов с того же количества). Затем шел кафсан дарга (или кафсан даруга), такой же сбор зерном в пользу даруги или дарги — специального чиновника, наблюдавшего за отправлением хлеба по назначению — в казну. Наконец, взимался муштак (горсточка) — подачка сельскому амину, следившему за правильной сдачей харадж-ных продуктов, потом аксакалу (старшине), мирабу (надзирателю за правильным распределением оросительной воды) и прочим лицам низшей сельской администрации. В довершение всего появлялся сельский имам или мулла (священник), собирались каландары (странствующие дервиши) и просто бедняки —калеки, вдовы и т. п. Все стремились получить свою долю от собранного крестьянином урожая. Если же мы примем во внимание, что местами муштак взимался не в виде горсти зерна, а в пределах стоимости чорьяка (почти два килограмма) пшеницы или чорьяка джугары, то часто оказывалось, что зерна у крестьянина едва оставалось на семена.

Если же мы присоединим к перечисленным выше и другие налоги с того же земледельца, вроде: налог на каждый таноб земли, занятый под садом и огородом (таноб-пули), налог с клеверных полей (алаф-пули), налог на каждую пару рабочего скота, ходящего под плугом (кош-пули), налог на рабочий скот вообще (с лошади, осла, быка — як-сари), налог за сбор камыша, колючки, сухих веток, за переправы по мостам через реки и прочее, то окажется, что бремя, ложившееся на плечи многострадального бухарского земледельца, было поистине непосильным.

Помимо сказанного, нельзя не коснуться и другого обстоятельства, делавшего подчас жизнь земледельца еще более горькою.

Великим злом в Бухаре была система временных земельных пожалований наиболее видным представителям служилого сословия (танхо). Оно являлось своего рода дополнительным вознаграждением к правительственному содержанию, которое выплачивалось крупным чиновникам и военнослужащим. Если в танхо поступали земли с сидящими на них крестьянами, то в этом случае правительство временно отказывалось от взимания с населения податей и налогов, предоставляя последние в пользу жалуемого этой землею лица (так называемого танходор'а). Но так как танходор обычно стремился извлечь как можно больше выгод из пожалования, то он не довольствовался только взиманием законных податей, а обирал население часто до последней нитки, распоряжаясь к тому же зависимыми от него людьми, как крепостными. Особенно тягостным было положение населения Восточной Бухары, откуда, между прочим, происходил один из героев романа Айни «Дохунда». В этой горной стране пахотных земель насчитывалось очень мало и они к тому же были разбросаны по склонам и высям гор, поэтому изобретательное бухарское правительство взамен земельных участков стало выделять в танхо определенное количество домовладений (буна). Чтобы содержать и обслуживать своих танходор'ов, владельцам домов приходилось работать от зари до зари. Они становились в полном смысле рабами. Количество «жалуемых» буна зависело от чина или ранга должностного лица; одни получали несколько семейств таких рабов, другие — целые селения.

Следует отметить тесную связь с земледелием почти всех ремесленников и мелких торговцев столицы эмирата и крупных поселений городского типа, вроде Гиждувана, Вобкента и других. Почти каждый ремесленник и торговец имел свои посевы, сады и огороды за чертой города, где он жил, обрабатывал их вместе с членами своего семейства или с помощью наемных рабочих (в зависимости от размеров землевладения). Он платил те же подати, что и крестьянин-земледелец, владел жилыми постройками, рабочим и другим домашним скотом. Такой владелец обычно переселял весной свою семью за город, а в праздничные дни и сам проводил там время.

В свою очередь в многочисленных селеньях бухарской части Зеравшанской долины, помимо земледелия, были широко распространены кустарные промыслы. Здесь выделывали хлопчато-бумажные и шелковые ткани, вытачивали всевозможные деревянные изделия, вроде шпулек, колес, челноков, изготовляли глиняную посуду, выпекали сласти и производили многие другие предметы сельского обихода. И едва ли не самым показательным образцом этой деревенской кустарной промышленности были резные двери. Любовь к ним местного населения была поразительна. Прекрасною глубокою резьбою покрывались не только двери, ведущие во двор или в комнаты, но даже двери у кладовых и амбаров. Они неизменно украшались отличной резьбой с разнообразным орнаментом. Хозяева гордились такими дверями, не жалели на них ни средств, ни труда. Это была характерная особенность в быту населения нижней части долины Зеравшана. Каждый сельский крестьянин-ремесленник, обычно работавший «всем кустом», т. е. с помощью всех трудоспособных членов семьи, имел при своем доме отдельное помещение для мастерской.

Таким образом, низовая часть Зеравшанской долины была связана с городом не обычным товарообменом, основанным на разделении труда и специализации в области сельского хозяйства и промышленности, а общими торговыми, ремесленными и земледельческими интересами. Не без основания вся бухарская часть долины Зеравшана иногда приравнивалась к типу ремесленно-торговых слобод с подсобным значением земледелия. Здесь велась обширная торговля, значительное развитие получили кустарные промыслы, но не хватало воды и были слишком скудны посевы, чтобы прокормить многочисленное население столицы.

Земледельцы бухарской части Зеравшанской долины возвели огромное количество построек из глины. Основная их масса находилась в небольших селениях, расположенных столь часто, что промежутки между ними не превышали 200—250 метров. Встречались и отдельные дворы, огороженные высокими глинобитными стенами (так называемые «курганча»). Больших селений в Зеравшанской долине встречалось сравнительно немного.

По внешнему виду сельские постройки делились на две резко противоположные группы. В одних селениях преобладали хорошие строения с высокими заборами и большим числом разных служб, с чисто убранными дворами, улицами, исправными колодцами и другими проявлениями благоустройства и довольства. В других селениях теснились жалкие глинобитные лачуги с полуразвалившимися заборами, с разбросанными повсюду нечистотами, с засоренными колодцами, с пыльными и грязными улицами. Первые принадлежали счастливым хозяевам мульковых земель, свободных от всяких налогов; вторые составляли достояние всех налогоплательщиков, задавленных тяжестью всяческих податей и безысходною нуждою.

Устройство жилых домов в большинстве селений также резко различалось в зависимости от достатка или бедности их владельцев. Зажиточные люди строили высокие дома (иногда двухэтажные) оштукатуренные снаружи, с окрашенными внутри в разные цвета стенами, покрытыми иногда своеобразной росписью орнаментального характера или лепкой. Потолки настилались из тонких круглых деревянных брусков, располагавшихся между балок. Они окрашивались в разные цвета, как и самые балки, или расписывались сложными узорами клеевыми красками. Печей и очагов не было; изредка, по столичному образцу, у самых состоятельных владельцев встречались в стенах камины (мури). Окон со стеклами тоже не было, их заменяли сделанные обычно над дверями особые рамы с вставленными в них деревянными или ганчевыми решетками, часто очень сложного и красивого орнамента. Рамы затягивались промасленной бумагой. Свет через них проникал весьма скудно.

Все прочие постройки отличались бедностью архитектуры, часто представляли собой лишь жалкие лачуги, сооружавшиеся из комков сухой глины, соединенных полужидкой лёссовой грязью. Обычной принадлежностью домов богатых людей и людей среднего достатка был двор и двухэтажный сарай. В некоторых сараях имелись полукруглые отверстия для складывания через них, прямо с улицы, соломы. На крышах сараев хранились снопы люцерны, хворост и вороха сорных трав, идущих на топливо.

В Зеравшанской долине, как и во всей Средней Азии, жилые постройки располагались не по сторонам улиц, а в глубине дворов, которых у домохозяина бывало несколько. Лишь торговые и ремесленные помещения находились на виду и ход в них вел прямо с улицы. К заборам, идущим вдоль улиц, пристраивались хозяйственные помещения и хлевы для домашнего скота. Ворота, которые вели со стороны улиц непосредственно к зданиям, делались лишь в караван-сараях и торговых дворах с сельскохозяйственными продуктами (последние, впрочем, имелись в больших базарных селениях, где скоплялось значительное количество зерна и хлопка). Для входа же в обычные обывательские дворы служили небольшие калитки, часто немногим более метра высотою. Местом для помещения арб многих хозяев часто служили небольшие узкие закоулки, иногда арбы ставились прямо на улице, затрудняя до крайности проезд по ней. Вообще при таком характере построек улицы немногим отличались от дорог, по окраинам которых устраивались стенки для охраны полей.

Однообразие улиц в селениях было поразительное. Ориентироваться по зданиям не было возможности, требовалось несколько раз проехать по селению, чтобы найти нужный вам дом. Только лавочки, мечети, арыки вдоль улиц и плохие мосты иногда служили отличительными признаками некоторых селений.

Густота расположения небольших селений в бухарской части Зеравшанской долины способствовала возникновению городов. По определению местных факихов (законоведов), четыре селения, имеющие общий значительный базар и мечеть, составляют касаба (т. е. большой населенный пункт городского типа, своего рода слободу), а шесть селений с большим базаром и двумя мечетями уже образуют шахр или шаар (город). Если же они обнесены стеною, то это будет хисор (укрепление, укрепленный город). Местные жители различали у себя четыре вида населенных пунктов: 1) шахр (шаар) или хисор (город), что давало основание именовать городских жителей шахри или хисори; 2) курган — поселок, обнесенный глинобитной оградой; 3) канд или кант (кент) — большое селение и 4) мачит (масджит) — небольшое селение. В просторечии же деревня, вообще

селение обозначалось словом дех (откуда старинное таджикско-персидское дехкон (дехкан) или (в арабизированной форме) дихкон (дихкан).

Мечетей по селениям встречалось много, и все они были обычного среднеазиатского типа: обширная комната, сложенная из сырцового кирпича или просто глинобитная, с террасой. Внутренняя часть здания служила местом молитвы в зимние месяцы, а терраса — в летнее время. Обязательной принадлежностью каждой мечети являлся двор с прудом посредине, обсаженным деревьями. Небольшие пристройки к стенам двора служили приютом и местом ночлега для приходящих и приезжающих. Мечетей из обожженного кирпича насчитывалось очень мало, и почти все они относились к временам минувшим. Некоторые из них были замечательны по древности и по своеобразию архитектуры. Такова, например, мечеть в Хазора (VIII—IX вв.), расположенная к северо-востоку от Гиждувана; выдающимся памятником старины являются также минарет и мечеть в селении Вобкент, между г. Бухарою и Гиждуваном, построенные в XII в., и некоторые другие сооружения.

Начальные школы (мактабы) были многочисленны, главною их целью считалось обучение арабской азбуке и чтению Корана (без понимания его содержания, так как он написан на арабском языке), одновременно учащиеся знакомились с начатками мусульманской религии и читали произведения Саади и Хафиза. Учителями начальных школ чаще всего оказывались люди малограмотные (это относилось даже к начальным школам столицы ханства), и дети почти ничего от них не получали. А если принять во внимание, что, едва окончив мактаб, ребенок сразу же погружался в трудовую жизнь, то ясно, что он довольно быстро забывал даже, как следует читать. И во всю свою последующую жизнь такой человек помнил лишь кое-какие начала мусульманской религии, вроде обычных молитв и исполнения повседневных ритуальных предписаний. Но и эти навыки закреплялись у него главным образом потому, что все окружающие следовали изо дня в день установленным издавна обрядам, а он обязан был принимать участие в традиционных проявлениях религиозного чувства.

Однако нередко можно было встретить среди крестьян-ремесленников и таких людей, которые понимали по-арабски, много читали из области шариата и даже имели представление о таджикско-персидской литературе. Они обычно принадлежали к числу тех, которые по недостатку средств не смогли закончить курс высшей конфессиональной школы — медресе (мадраса) — и вернулись к профессии своих отцов, но жажда знания их не оставила, и они продолжали любить книгу.

Медресе или мадрас в бухарской части долины Зеравшана было мало, они сосредочивались преимущественно в самом городе Бухаре, куда стремились молодые люди со всех концов страны, чтобы получить там законченное образование в мусульманско-правоверном духе.

Город Бухара являлся своего рода Меккой для большинства среднеазиатских мусульман. Здесь многие места почитались священными и привлекали паломников. В Бухаре проживали известные ученые-теологи и укрепляли ее славу как центра исламского правоверия. Это обстоятельство, по мнению самих бухарцев, особо отличало их город от всех прочих городов мира. Если повсюду свет шел сверху, с высоты небес, то в Бухаре он исходил снизу, из почвы самого города, уверяли они, из-за обилия святых мест и святых людей. Окруженный высокой и мощной глинобитной стеной с башнями и воротами, город Бухара расположен на возвышенности, к которой с востока подходит вода единственного в этих местах оросительного канала Шахр-руд (т. е. Городская река), выведенного из реки Зеравшан ниже селения Вагонзи. Высота городской стены составляла в среднем 10.5 метра и длина — почти 15 километров; в ней было 11 ворот. Каждые ворота находились между двумя массивными башнями из обожженного кирпича; помимо них, стена имела 116 фланкирующих выступов или полубашен. Деревянные, окованные железом ворота были огромные (около 4 метров в высоту и около 6 метров в ширину), запирались толстенными засовами и необычайной величины замками, ключи от которых после последнего вечернего намаза относились в «высокий арк», разиденцию правителя. Интересно отметить, что изнутри города нигде не существовало подъемов или въездов для поднятия на стены орудий, а имевшиеся входы на

банкет были срезаны и уничтожены. И все это осуществлялось только по одному-единственному поводу — как бы с высоты стены чей-либо нескромный взор не проник во внутренние дворы прилегавших к стене домов. По той же причине на бухарской стене отсутствовали часовые или караульные.

От городских ворот к центру города шли лучшие улицы, но они были настолько узки, что две встречные арбы или два каравана верблюдов во многих местах не могли разойтись. Им приходилось пятиться назад или свернуть в одну из ближайших улиц и там переждать пока освободится путь.

Цитадель столицы, своего рода кремль (арк), находилась не в центре города, а ближе к воротам Углон. Она была построена на высоком обособленном холме, быть может искусственного происхождения, и окружена такою же глинобитною стеною, что и городская. В арк вели единственные ворота, помещавшиеся между двумя кирпичными башнями. Холм, на котором стоял бухарский арк, настолько возвышался над улицами города, что с находившейся перед ним площади (Регистан) приходилось подниматься по широкой и длинной аппарели, занимавшей немалую часть самой площади. За воротами, вглубь арка, подъем продолжался по изогнутому сводчатому коридору, ведущему на вершину холма. Внутри цитадели находился дворец эмира с многочисленными службами, мечеть, дом кушбеги, монетный двор, казнохранилище и другие помещения. Все это размещалось на площади, не превышавшей двух гектаров. Какая-либо растительность здесь совершенно отсутствовала.

Город делился на две части линией, проходящей с севера на юг, от Самаркандских ворот до ворот Саллох-хона. Части эти назывались сахм и делились в свою очередь на шесть частей, именовавшихся джариб. Во главе сахма стоял начальник, называвшийся бобо (старейшина). Каждый джариб был подчинен дахбоши (десятскому); у дахбоши находилось в подчинении по несколько полицейских — шабгардов, что в дословном переводе означало «ходившие по ночам». Управление бобо называлось тахта-чарог, их было два по числу самих бобо: одно находилось у водоема (хауз) Девон-беги (Хауз-и Девон-беги), а другое — вблизи Регистана, подле так называемого

«Верхнего водоема» (Боло-хауз). Управления дахбошей именовались пои-туг или, в просторечии, пойток, т. е. «находящиеся у подножья бунчука». Эти управления, как и управления бобо, искони находились на определенных местах.

В дневное время полиция обычно себя ничем не обнаруживала и поддержание порядка на улицах и в других местах являлось обязанностью самих обывателей. Зато в ночные часы она полностью вступала в свои права. Вся полиция столицы подчинялась главному начальнику, называвшемуся миршаб (собственно — мир-и шаб, т. е. князь ночи). С вечера закрывались все огромные базары города (в летнее время около пяти часов вечера), постепенно к шести часам почти совсем замирала городская жизнь, а в семь часов запирались ворота столицы, и с этого момента никто не смел показаться на улицах. Исключение допускалось только для врачей (табиб) и повивальных бабок (доя), направлявшихся по спешным вызовам к своим клиентам. По местным понятиям, в ночную пору на улицах могли находиться только преступники, а все верующие мусульмане и добронравные люди должны были спать. И в заботах о поддержании такого, соблюдавшегося веками, порядка патрули шабгардов регулярно обходили улицы спящего города, причем немилосердно колотили в большой барабан, которому вторили серебристые звуки металлических треугольников, в знак того, что все могут спать спокойно, ибо их охраняет недреманное око «князя ночи». Эти патрули задерживали подозрительных лиц или без нужды проходивших и проезжавших в неурочное время и оказывали помощь тем, кто в ней нуждался. Соблюдая эти древние правила, шабгарды без всяких оговорок отводили в миршаб-хону (так сказать, полицейское управление) всех попадавшихся им ночью на улицах, откуда на утренней заре их направляли чистить банные печи, а утром отпускали по домам.

В связи с этим мне вспоминается курьезный случай с видным бухарским сановником Мирзой Наим-бием, который с крайним возмущением рассказывал мне, что он «на днях» часов в одиннадцать ночи возвращался домой от эмира из Арка в русском экипаже, запряженном тройкой лошадей, с русским кучером. На пути его остановил полицейский патруль во главе с самим миршабом. Тщетно

тучный и вспыльчивый Мирза Наим горячился, доказывая, что он едет по служебной надобности и не виноват, если его задержал слишком долго сам эмир, что он известное лицо и его хорошо знает сам миршаб. Все было напрасно. И Мирза Наим в своем пышном дорогом халате вместе с кучером был взят и посажен в «миршаб-хоне» под арест вместе с разными подозрительными лицами. Мирза Наим с крайним раздражением и проклятиями красочно описывал свое состояние, когда возвращался утром после работы по очистке бань в своем дорогом, но перепачканном одеянии среди разных оборванцев, сопровождаемый насмешливыми взглядами и нелестными замечаниями встречных. «Кровно обиженный» сановник пытался пожаловаться на миршаба сначала кушбеги, а потом эмиру, но кушбеги ничего ему не ответил, а эмир только усмехнулся. Очевидно, древнему правилу — не ходить ночью по улицам «честным людям» — требовалось следовать всем неукоснительно.

Я впервые попал в столицу эмирата, когда еще не прошло 25 лет после заключения Шаарского договора о союзе между Россией и Бухарою. Закаспийская военная железная дорога была доведена тогда лишь до Самарканда, и русские воинские части еще не занимали территории Термеза и Керки. В то время Бухарское ханство не включалось полностью в русскую таможенную черту и южная пограничная линия была более или менее открыта для свободной торговли с зарубежными соседями. Все это создавало условия для необычайного оживления на бухарских базарах, где воочию можно было убедиться, насколько разнообразен этнический состав базарных толп и обильно представлены всевозможные товары Востока и Запада. Я хорошо знал торговые места всех больших городов Средней Азии, но бухарские базары подавляли своею грандиозностью. При небольшой сравнительно численности населения столицы (не более восьмидесяти-девяноста тысяч) базарные ряды в ней занимали первенствующее место, и если бы расположить их в одну линию, она растянулась бы на десятки километров. Все базары строго распределялись по рядам (раста), торговавшим только определенными товарами, и никакое смешение их не допускалось. Если вам нужно было купить веревки, надлежало идти в специальный ряд

продавцов этого товара; если появлялась необходимость купить какую-либо золотую вещь, вы шли в ряд ювелиров. Разнообразие и обилие товаров поражало приезжих. Здесь можно было купить почти все, что производили Восток и Запад: от настоящего швейцарского сгущенного молока и концентрата бульона Либиха до сухого имбирного варенья из Шанхая и душистых свечей из Рангуны, от эффектных мальтийских шалей с серебряными блестками до чудесной индийской кисеи, тканной золотом. В ряду менял (раста-йи саррофон) вы могли разменять свои деньги на любые: индийские рупии, мексиканские серебряные доллары, золотые турецкие лиры, английские фунты стерлингов и т. п. Местные антикварные лавки таили в себе немало интереснейших предметов большой древности, вызывавших иногда неподдельное удивление. Здесь можно было встретить внушительные по виду и тяжелые мечи крестоносцев с серебряными латинскими девизами у гарды вроде: Hos Dedi oras capiam, Anno Domini 1405 (т. е. «Сегодня я дал, завтра получил. От рождества Христова 1405 год»), Memento mori. A. D. 1376 («Помни о смерти. От рождества Христова 1376 год»); увесистые восточной бронзы чаши с серебряной насечкой, с горельефными изображениями сцен из древней жизни Ирана, прекрасной сохранности древнюю фарфоровую посуду с чудесными reflet metallique XI—XIII вв., интереснейшие древнегреческие, индо-скифские, парфянские, мусульманской эпохи и прочие монеты. И нумизмат, и любитель-коллекционер восточных древностей одинаково нашли бы здесь для себя «богатый улов» и непередаваемую привлекательность длительного рытья в удивительных редкостях. К сожалению, в то время таких людей в Бухаре не существовало.

Жизнь в столице ханства начиналась рано. В летнее время часов в пять утра начинали торговлю огромные бухарские базары и городские ворота уже были открыты. Людской поток широкими волнами заливал все улицы, и потому теснота и давка на них были столь велики, что двигаться вперед удавалось лишь с превеликим трудом. Когда позади или впереди показывалась арба со своими огромными колесами и загораживала улицу, ехал всадник или кавалькада их, то все стремительно кидались в узкие закоулки, жались

к стенам, вспрыгивали на прилавки лавок и старались поскорее избавиться от неожиданной помехи. И кого только не встречалось в этом густом человеческом море! Были тут, помимо бухарцев в их ослепительно белых чалмах и живописных шелковых и полушелковых халатах, рослые патаны в широчайших белых «сасанидских» шароварах, в белых длинных рубахах под черными короткими куртками; туркмены в высоких папахах с заткнутыми за пояс «бейбулами» и в красных с черной полоской халатах; длиннокосые китайцы в широких кафтанах и юбках, обутые в туфли с толстой мягкой подошвой; арабы в белых или темных бурнусах с характерными чалмами, свернутыми из довольно толстых жгутов, обмотанных шнурами; щеголеватые индийские парсы в шитых золотом туфлях с загнутыми носками, и многие, многие другие.

Этот калейдоскоп национальностей, купля и продажа у лавок, людской водоворот часто оживлялись сценами чисто местного быта, не менее оригинальными и красочными.

Вот едет худой старец в большой белоснежной чалме, в богатом парчовом халате; под ним хороший конь с богатой сбруей, золоченое седло и посеребренные стремена. За ним следуют быстрым шагом девять здоровых молодых людей с палками. Это едет раис-уш-шариат Бухары, блюститель мер веса и длины на базарах, суровый цензор нравственности «правоверного» города и глава всех раисов ханства. Следующие за ним — его мулозимы, своего рода ликторы. Среди базарного люда замешательство и любопытство. Вот ишан-раис (их милость раис в просторечии) въезжает, например, в ряд шелковых тканей, где сидят купцы, важные и степенные. Он поровнялся с одной из лавок, попридержал коня и слегка кивнул головой на торговца. Моментально к тому подбегает кто-нибудь из «мулозимов» раиса с образцом базарного аршина (газ-и бозори) и, сравнив последний с тем, что был у купца, быстро возвращается к раису и показывает, что газ купца несколько короче установленного образца. Раис называет одну какую-либо цифру (но всегда нечетную), например, одиннадцать. Тогда к продавцу приближаются двое ликторов с палками. Один стаскивает его с прилавка, быстро вскидывает себе на спину, а другой закидывает ему халат и рубашку на голову и, спу-

стив штаны, начинает наносить палкой удары. Если виновный кричит, то счет палочных ударов считают снова с той палки, под которой наказуемый испустил свой первый крик. По окончании экзекуции продавец, обливаясь горькими слезами от боли и стыда, с волочащимися по земле штанами, подходит к ишану-раису и целует ему руку. Преступление открыто и преступник наказан. Раис едет дальше...

В другом месте базара, где-нибудь под сводами древнего тима (откуда расходятся базарные ряды), показывается процессия дервишей-каландаров. Все они в своих специфических костюмах. Впереди идет пожилой шейх, позади него — большая группа рядовых дервишей. Шейх, медленно выступая, сильно жестикулирует руками и напевно скандирует, соблюдая все правила просодии:

Дони ки чист давлат? Дидор-и йор дидан,
Дар джо-йи у гадои бар хусрави гузидан.

(«Знаешь ли ты, что такое счастье? Это видеть лицо друга и в месте его пребывания долю нищего предпочитать доле царской»). И мощный хор из двадцати пяти—тридцати следующих за ним дервишей вторит ему: Ой, наи наи дуст! («О, о, друг!»).

А где-нибудь дальше у хауза (водоема), под сенью огромных развесистых чинар, ветви которых защищают водоем от жарких лучей солнца и создают приятную тень для отдыха, настлано много ковров и циновок. Здесь восседают почтенные бухарцы в белоснежных чалмах и пестрых халатах; они внимательно слушают странствующего рапсода или сказителя (маддох). Последний с одушевлением и с непередаваемой мимикой и жестикуляцией излагает какую-либо чудесную историю, повествование из жизни святых или, наконец, просто проповедует известные правила морали, подкрепляемые то стихами из Корана, то ссылками на слова пророка.

Однажды в жарский июльский день я вышел к Лаб-и-Хаузу, одному из наиболее значительных бухарских водоемов, где множество народа, сидевшего правильными рядами под древесной тенью, внимательно слушало высокого, худого маддоха в черном узком халате

и в небольшой черной чалме. Он усиленно размахивал руками и каждую длинную тираду заключал одними и теми же словами: «Ин гунох-и бузург аст» («Это великий грех!»). Я подсел с краю одного ряда слушателей и потихоньку спросил молодого бухарца, что́ это говорит маддох? «Дар бачабози́» («О противоестественной любви к мальчикам»), — лаконически ответил он. И когда маддох закончил свое выступление, откуда-то быстрой поступью к нему приблизилась женщина в парандже лилового бархата, богато расшитой шелками; из-под волосяного чашмбанда (лицевой сетки) высунулась маленькая смуглая ручка с золотым браслетом и опустила в руку маддоха золотой. Женщина так же быстро скрылась, как и подошла. «Ой бо-о-й!» — пронесся по рядам слушателей возглас удивления. Кто была эта женщина и что заставило ее столь щедро заплатить бедняку-маддоху? Все это, разумеется, осталось неизвестным, тая в себе какую-то драму женской души.

Автор «Воспоминаний» в ряде мест касается гомосексуализма, распространенного в то время среди некоторых его соотечественников. Приведенная мною сцена — характерный показатель реакции на это мрачное явление со стороны представительниц другого пола местного населения.

В водовороте базарной жизни Бухары в те далекие времена меня поражало одно обстоятельство. Сколь бы ни велика была базарная сутолока и давка, какие бы покупатели ни обступали многочисленные лавки, но едва прозвучал призыв к обязательной молитве с минаретов 360 мечетей столицы и не успели еще затихнуть в воздухе последние слова азана, как все ряды базаров моментально пустели. Продавцы и покупатели, все прохожие и верховые устремлялись к близлежащим мечетям. Продавец тканей бросал свой аршин и покупателя или покупательницу, саррафы оставляли кучи серебра и золота, бумажные деньги и банкноты, ювелиры — свои золотые изделия и драгоценные камни, и все устремлялись на молитву. Все ненадолго оставалось открытым и беспризорным. Через каких-нибудь двадцать—двадцать пять минут торговые ряды опять принимали прежний вид: продавцы возобновляли свои торги с теми же покупателями, саррафы продолжали свои финансовые операции. И никто не

мог себе даже представить, чтобы за время молитвы у продавцов могло что-либо пропасть. Я не собираюсь идеализировать прошлое, но должен сознаться, что через каких-нибудь десять лет, торопясь на молитву, торговцы уже прикрывали лавки циновками, а менялы и ювелиры спешно прятали свои драгоценности. Я родился и вырос в самом глухом месте Поволжья, носившем в Московской Руси название «Диких полей», и хорошо помнил рассказы стариков, что в годы их молодости никто не запирал домов, амбаров и кладовых, так как никаких воров не было. Но я уже не застал этого и в Бухаре был поражен подобной «идиллией».

Если прохожий отклонялся от района бухарских базаров в глубь города, то его внимание привлекала безотрадная картина узких пыльных улиц, лишенных растительности, мертвых в своем безлюдии, полных всякого рода нечистот. Нередко (ближе к базарам) встречались группы сидящих и стоящих «убогих и сирых», слепых и хромых, людей, покрытых струпьями, паршами, со страшными лицами, изъеденными волчанкой и проказой, взывающих к прохожим о помощи и подаянии. И над всем этим простиралась зловещая тень систематической недостачи воды, долгого пользования совершенно негодной и вредной для здоровья водою. Малое количество воды, отпускавшейся бухарской части Зеравшанской долины, пагубно отражалось на водоснабжении столицы. В одетых камнем водоемах вода портилась не так быстро, как в обычных, с простыми земляными берегами. Под палящими лучами солнца в земляных водоемах она быстро загнивала и кишела мириадами видимых простым глазом организмов, издавала отвратительный запах. К тому же здесь совершали омовения окрестные жители, полоскали рты, мыли грязные ноги и руки, стирали свою одежду. Такую воду сотни специальных водоносов (машкобов) брали в кожаные турсуки (бурдюки) и разносили ее по базарам и улицам на продажу; несли даже в эмирский Арк. И этой ужасной водою пользовались решительно все — «от царя до нищего».

Если петербургские сановники царской России часто болели подагрою, то сановники эмирской Бухары нередко столь же мучительно страдали волосатиком — риштой — из-за употребления негодной

воды. О разнообразных страданиях всего прочего населения и говорить нечего!

Таков был общий фон или, вернее, таковы были основы самой жизни, которую изобразил автор настоящих «Воспоминаний». Он как бы отразил в них все черное, беспросветно-реакционное, тупое и злое, что отравляло существование народных масс Бухары. На этом мрачном фоне светлыми бликами выступают образы людей, которые не хотели мириться с невыносимыми условиями, сложившимися в эмирате. Мы ощущаем также оригинальную, во многих отношениях самобытную бухарскую культуру, своими корнями уходящую в неведомые нам эпохи; она воплощалась в красивых и единственных в своем роде бухарских шелковых материях, в неподражаемом золотом шитье, в великолепных вышивках, в чудесно оформленных рукописях с художественными миниатюрами, в превосходной резьбе по ганчу (алебастру) и дереву, в своеобразной красочной росписи потолков, карнизов и капителей колонн, в тончайшей, артистической резбе металлических изделий, в памятниках поэзии и литературы. И этот свет искусства, высокого мастерства и истинной поэзии, донесенный гением народа с древнейших времен, до сих пор привлекает к себе все передовое человечество, всех тех, кто так или иначе стремится к высотам прекрасного и совершенного. И свет этот неизмеримо сильнее того мрака, где копошились темные и злые силы, ныне навсегда низринутые во всепоглощающую бездну времени.

А. Семенов.

КОММЕНТАРИИ

Пояснения даются к именам наиболее значительных лиц, прозвищам и псевдонимам, названиям произведений, упоминаемым в «Воспоминаниях», терминам, таджикским словам, оставшимся в тексте без перевода, мало понятным выражениям, связанным с местными реалиями, а также к важнейшим историческим событиям.

Географические названия в большинстве случаев комментируются, исключения составляют те населенные пункты, о которых достаточно полно сказано в самом тексте «Воспоминаний».

Когда комментируется более пространный отрывок — предложение или его часть, то в тексте этот отрывок выделяется звездочками.

Все комментируемые слова и выражения даны в общем алфавитном порядке. Названия, относящиеся к городу Бухаре (базары, ворота, кварталы, купола торговые, медресе, мечети, площади, торговые ряды, улицы), помещены под словом «Бухара».

Имена собственные и географические названия в переводе и комментариях приводятся в том же написании, что и в таджикском оригинале, при этом переводчик руководствовался современным таджикским произношением и орфографией. В некоторых случаях это привело к расхождениям с принятой в русской востоковедческой литературе передачей имен собственных. Однако, учитывая, что и в указанной литературе существует большой разнобой в передаче местных имен собственных и названий, издатели «Воспоминаний» нашли целесообразным руководствоваться в данном вопросе оригиналом. Исключение сделано для географических названий крупных населенных пунктов (Бухара, Самарканд и т. п.) и других объектов (названий крупных рек, горных хребтов и т. п.). Это же относится и к именам собственным.

Слова, вошедшие в русский литературный язык, приводятся в русской орфографии (азан, бек, кишлак, намаз, муэдзин, визирь, дервиш, раис, хаджи и др.); те же слова, которые не вошли в русский язык и не имеют в нем эквивалентов, в данном издании приводятся в таджикской форме (мехмон-хона, домулло, туй, маддох и т. п.).

Все даты в примечаниях даются только в европейском летоисчислении.

Примечания составлены А. Н. Болдыревым (историко-литературные), Н. А. Кисляковым (исторические, географические и этнографические), А. З. Розенфельд (текстологические). Помета (*Ред.*) означает, что данный комментарий принадлежит редактору книги А. А. Семенову.

Абади — селение в Бухарском оазисе, недалеко от Гиждувана.

Аббас — дядя пророка Мухаммеда, младший брат его отца Абдаллаха; династия багдадских халифов, пришедшая к власти в середине VIII в., претендовала на происхождение от Аббаса, отсюда название — аббасидская династия. См. также Кербела, Хусейн.

абджад (хисоби абджад) — счет посредством числовых значений букв арабского алфавита («а»-1, «б»-2, «дж»-3, «д»-4, и т. д.); применяется главным образом для зашифровки исторических дат. Такая зашифровка носит название «тарих» (хронограмма).

Абди, Абдулло-ходжа (ум. 1922) — бухарский мударрис и чиновник, второстепенный придворный поэт реакционно-аристократического направления, автор неизданной тенденциозной антологии «Тазкир-уш-шуарои мутааххирини Бухоро» («Антология позднейших поэтов Бухары»), составленной в первых годах XX в.; антология включает биографии и образцы произведений 108 бухарских поэтов начала XX в.

Абдулахад — предпоследний бухарский эмир из династии мангытов (правил с 1885 по 1910 г.); играя роль мецената, привлекал ко двору (часто насильственно) лучших поэтов и ученых ханства; писал подражательные стихи под псевдонимом «Оджиз» (слабый, беспомощный); став эмиром после прихода в Среднюю Азию русских, понимал необходимость проведения ряда реформ в ханстве; однако его планы встретили противодействие со стороны реакционного духовенства, и в результате ссоры с духовенством эмир покинул Бухару и сделал своей постоянной резиденцией город Кермине.

Абдулвохид Садри Сарир — см. Сарир, Абдулвохид.

Абдулла-хан Шейбани (Абдулло-хон) — предпоследний хан из бухарской династии Шейбанидов (правил с 1557 по 1598 г.), один из сильнейших ее представителей, пытавшийся создать могущественное узбекское государство; в народной памяти Абдулла-хан сохранился как строитель многочисленных общественных зданий и сооружений.

Абдулло-хон Шейбани — см. Абдулла-хан Шейбани.

Абдулму'мин — сын известного шейбанида Абдулла-хана, вступивший на бухарский престол после его смерти, в 1598 г.; убит спустя шесть месяцев после начала своего правления; последний правитель из шейбанидской династии.

Абу Али ибн Сино (Авиценна) (980—1037) — великий мыслитель, врач, поэт и государственный деятель, автор многочисленных произведений (главным

образом на арабском языке); среди них — знаменитый «Канон медицины», наиболее полное врачебное руководство как мусульманского, так и христианского средневековья.

Абулфайз-хон — последний бухарский правитель из династии аштарханидов (правил с 1711 по 1747 г.); фактически в эпоху его правления власть находилась в руках аталыков (наместников) из мангытов; был убит Мухаммад-Рахимом мангытом, который затем занял бухарский престол с титулом эмира.

Абумуслим — арабский политический деятель и полководец, способствовавший падению омейядской династии халифов и утверждению новой династии аббасидов (середина VIII в.); возглавляя борьбу с омейядами, он собирал под свои знамена всех недовольных и был очень популярен в народе; в 755 г. был умерщвлен халифом Ал-Мансуром, боявшимся его популярности.

Авиценна — латинизованная форма имени Абу Али ибн Сино (см.).

Авлиё — святой.

«Авомил» («Авомил ал-ин'а») — сочинение по арабской грамматике, изучавшееся в среднеазиатских медресе; автор — Абдалкахар Джурджани (ум. ок. 1080). *(Ред.).*

авроди фатхия — беспрестанное повторение тех или иных стихов Корана.

аджина — демоническое существо, оборотень.

адрас — кустарная полушелковая ткань с пестрым рисунком, который делается путем перевязки нитей основы.

азан — мусульманская религиозная формула, служащая призывом верующих на молитву; громко возглашается с минарета или с другого высокого места.

Азиз, Абдулазиз-ходжа Эшон-джон — по свидетельству Айни, род. в 60-х годах XIX в. и был еще жив в 1925 г. (см. «Образцы таджикской литературы», стр. 431); происходил из Кундуза (Афганистан), учился и жил в Бухаре, где занимал различные духовные должности; знаток литературы и поэт; сохранилось небольшое количество его стихов любовно-лирического характера.

Азиз-ходжа Азиз — см. Азиз, Абдулазиз-ходжа Эшон-джон.

Азизобод — селение в окрестностях Бухары, по дороге в Гиждуван.

«Азим дехчагский нас ножом ударил, ах!» — в оригинале: «Азим деҳчаги бо корд зад, вох!»; здесь заключена хронограмма, составляющая 1319 год хиджры, что соответствует 1900 году европейского летоисчисления.

Айни, Садриддин Сайидмурадович — род. 15 апреля 1878 г. в селении Соктари Гиждуванского тюменя Бухарского вилайета, умер 15 июля 1954 г. в Сталинабаде; его ранние псевдонимы: Джунуни, Кашшоки, Мухтодж, Мухтоджи, Сифли (по свидетельству писателя, стихи, подписанные указанными псевдонимами, были им уничтожены).

Ак-Мечеть — город на Сыр-Дарье, ныне Кзыл-Орда; Ак-Мечеть принадлежала кокандцам и после занятия русскими в 1853 г. была переименована в Перовск.

«Акоиди Насафи» («Несефиевы догматы») — богословское сочинение Наджмуддина Абу Хафса Насафи (1068—1142); в бухарском медресе изучалось также толкование на эту работу, написанное Са'даддином Тафтазани (см.). *(Ред.).*

алача — шелковая или хлопчатобумажная кустарная ткань в полоску или в клетку.

Алий — зять и двоюродный брат пророка Мухаммеда, четвертый халиф (правил с 656 по 661 г.); последователи одного из течений ислама — шииты — признают Алия единственным преемником пророка и считают трех первых халифов узурпаторами, а исмаилиты и некоторые другие мусульманские сектанты доходят до прямого обожествления Алия.

Алим-хан (Сайид-Олим-хон) — последний бухарский эмир (правил с 1910 по 1920 г.); в 1920 г. был свергнут с престола восставшим народом и бежал в Афганистан, откуда пытался организовывать диверсии против Советской власти; умер в Кабуле.

«алиф», «бе», «се» — начальные буквы арабского алфавита.

Аллом Тафтазони — см. Тафтазани, Са'даддин.

амак-бобо — буквально «дядя-дедушка», пожилой, почтенный родственник; пожилой, уважаемый человек.

амин — представитель низшей сельской администрации; старшина (типа русского дореволюционного волостного).

Амир Абдуллах Ямини — см. Мир-Араб.

амлокдор — заведующий сбором поземельных налогов; в Бухарском ханстве каждое бекство делилось на несколько участков (амлок), во главе которых находились амлокдоры.

амляк (амлок) — см. амлячная эмирская земля.

амлячная эмирская земля (замини амлок) — земля, находившаяся в фактическом пользовании сидевших на ней крестьян, но юридически считавшаяся собственностью эмира; крестьяне за пользование амлячными землями вносили в казну эмира налог — ренту.

Аму-Дарья — крупнейшая река Средней Азии; берет начало в горах Памира, впадает в Аральское море.

Анбар Мулло-Мухаммад Шариф (ум. 1915) — бухарский поэт придворно-панегирического направления, автор многочисленных бессодержательных и напыщенных стихотворений.

ангор — поле с убранным урожаем, служащее выгоном для скота.

Арабов, Джура-бек — крупнейший бухарский купец; занимал первое место на мировом рынке в торговле каракулем; его годовой оборот составлял 18 миллионов рублей. *(Ред.).*

арабские поселенцы — потомки арабов, переселявшиеся в Среднюю Азию в различное время после арабского завоевания.

арабское завоевание — после разгрома иранской державы сасанидов (40-е годы VII в.) войска арабского халифата подошли к Аму-Дарье. Во второй половине VII в., укрепившись в Хорасане, арабы начали производить набеги на территорию среднеазиатского междуречья, захватывая добычу и облагая данью побежденные народы. Однако систематическое завоевание арабами Средней Азии началось с первых лет VIII в., главным образом при Кутейбе ибн Муслиме (см.). Побежденные обращались в ислам, они вынуждены были вносить подати наместнику халифа. В городах арабы оставляли большие гарнизоны, расквартировывая в домах местных жителей воинов, которые должны были наблюдать за тем, как выполняло население предписанные исламом обряды и молитвы. К середине VIII в. арабы дошли до восточных пределов Средней Азии, где столкнулись с китайскими войсками. Непокоренными остались лишь труднодоступные горные районы. Средняя Азия находилась под властью арабских халифов до второй половины IX в. и образования государства саманидов, которые зависели от халифов лишь номинально.

арбакеш — возчик на арбе; лицо, промышляющее извозом.

арбоб — в Бухарском ханстве деревенский староста.

Арк — цитадель; в бухарском Арке находилась резиденция эмира, в случае отсутствия эмира его должен был заменять кушбеги (см.), чтобы Арк не оставался без главы; расположен на Регистане в древнейшей части Бухары на высоком холме и обнесен стеной; неоднократно разрушался; внутри Арка в стенах коридора, ведущего вверх на холм, находилась тюрьма — «обхона» (см.); в настоящее время в сохранившихся постройках Арка расположен краеведческий музей.

аруз — система арабского и персидского стихосложения, основанная на чередовании долгих и кратких слогов.

арык — канал, канава для орошения.

аттор — москательщик, парфюмер (прозвище).

«Ахмади девбанд» — «Ахмад — заклинатель дивов», — рассказ Айни (1928), первый из цикла автобиографической прозы и первый в таджикской советской литературе образец жанра короткого рассказа.

Ахмад-махдум Дониш, Ахмад Дониш, Дониш, Ахмад-Калла (1827—1897) — знаменитый таджикский просветитель, поэт и прозаик, в произведениях которого содержится резкая критика эмирского режима Бухары; Дониш трижды посетил Петербург в составе бухарского посольства (1856, 1868, 1870 гг.), оставив интересное описание своего путешествия — «Наводир-ул-вакое» (см.) («Редкости событий»).

Ахмад-Калла — буквально «Ахмад-Голова» (см. Ахмад-махдум Дониш).

Ахунбабаев, Юлдаш (1885—1943) — крупный советский деятель Узбекской ССР,

первый и бессменный председатель ЦИК Узб. ССР, затем председатель Президиума Верховного Совета Узб. ССР.

ахунд — звание и должность, присваивавшиеся наиболее крупным знатокам мусульманского богословия и права; в Бухаре позднейшего времени ахундами назывались старшие мударрисы некоторых крупных медресе (например, медресе Кукельташ).

аштарханиды — династия, правившая в Бухаре с 1599 по 1753 г., одна из ханских ветвей, ведших свое происхождение от Чингис-хана; ее представители проживали в Астрахани, и один из них был приглашен на бухарский престол после прекращения шейбанидской династии; правление аштарханидов — эпоха наибольшей феодальной раздробленности Бухарского ханства.

Ашура-хони — сад под Бухарой, принадлежавший бухарским персам (ашура — первые десять дней мусульманского месяца мухарам, в которые шииты отмечали гибель имама Хусейна; ашура-хони — театрализованные представления и декламирование воспоминаний о Хусейне).

а'лам — титул, присваивавшийся в Бухаре одному из высших муфтиев (см.); в позднейшей Бухаре а'ламом обычно являлся мударрис (см.) медресе Кукельташ (см.). *(Ред.)*.

бай (бой) — богач, торговец, кулак; слово «бай» иногда являлось приставкой к мужскому имени.

Байсун — крупное селение в горах Байсун-тау (южные отроги Гисарского хребта); в Бухарском ханстве — центр одноименного бекства, в настоящее время районный центр Сурхан-Дарьинской области Узб. ССР.

байсунец — житель или уроженец Байсуна (см.).

Балх — небольшой город в северном Афганистане (по современному административному делению Мазари-Шерифской провинции); в древности на этом месте была столица греко-бактрийского царства.

банг — гашиш, наркотик, употреблявшийся для курения и другими способами, приготовлялся из индийской конопли (см. чарс).

«Барои адабиёти социалисти» — «За социалистическую литературу», название, которое носил с 1933 по 1940 г. основной таджикский литературно-художественный и общественно-политический журнал, орган Союза советских писателей Таджикской ССР; в 1940 г. переименован в «Шарқи сурх» («Красный Восток»).

Барсисо — имя одного святоши; его историю всегда связывают с Кораном, — например, в суре 59, ст. 16 Аллах говорит о таких святошах: «Они подобны сатане; он говорит человеку: „Будь нечестив!“. И когда тот станет безбожником-нечестивцем, такой человек говорит: „Я не виноват перед тобою! Я боюсь Аллаха, господа миров!“». История шейха Барсисо существует в разных версиях; сущность ее в следующем: этот шейх долго жил в своей келье, сопротивляясь всем искушениям сатаны, но в конце концов он

вступил в любовную связь с одной женщиной; когда она забеременела от шейха, то последний, чтобы скрыть свой грех, убил ее и зарыл в своей келье (ср. средневековое европейское «Искушение св. Антония»). (*Ред.*).

барф — снег.

Бахауддин Накшбанд — бухарский суфий (дервиш), живший в XIV в. и основавший суфийский орден Накшбандия (см. Мазар Бахауддина Накшбанда).

бахауддинские ходжи — последователи Бахауддина Накшбанда (см.), принадлежали к суфийскому (дервишскому) ордену, носившему название Накшбандия или Ходжагон (множественное от «ходжа», см.).

баяз — рукописный сборник стихотворений, подобранных составителем по особому признаку (тематическому, хронологическому и пр.); во многих баязах сохранились материалы уникального характера.

бегиджон — буквально «бек-душечка», «бекчонок»; так называли детей беков, правителей, сыновей служилых людей.

Бедиль, Мирзо Абдулкодир (1644—ок. 1721) — знаменитый индо-персидский поэт и мыслитель. Литературное наследство его огромно. Бедиль призывал к общественной справедливости, к терпимости, требовал улучшения положения крестьян, в труде которых видел основу жизни общества. Религиозно-философские взгляды его имеют пантеистический, мифический и натурфилософский характер, очень сильно влияние мистики; стиль трудный, до непонятности. Творчество Бедиля оказало сильное воздействие на таджикскую литературу XVIII—XIX вв.

бедняк — слова «бедняк» (камбагал), «раб», «слуга» (банда́) употреблялись вместо местоимения первого лица единственного числа в знак уничижения перед собеседником, что являлось своеобразной формой вежливости.

бейт — стихотворная строка в арабской, персидской и таджикской поэзии; состоит из двух полустиший (мисра), рифмующихся только в месневи и в первом бейте касыд, газелей и рубои (см. эти термины).

бек — в Бухарском ханстве правитель вилайета (см.), он назывался также «хаким» или «мир»; иногда слово «бек» служило приставкой к титулу или имени представителей знати или служилых людей.

бекасаб — полушелковая полосатая или узорчатая ткань кустарного производства.

бекство — см. вилайет.

Бехиштиён — кладбище на холме в Бухаре.

«Бидон» («Знай!») — обиходное название анонимного трактата по арабской грамматике на таджикском языке; был широко распространен в Средней Азии в качестве учебника арабского языка; его начальные слова: «Знай, да осчастливит тебя Аллах в обоих мирах...». (*Ред.*).

бий — 1) у кочевых тюркоязычных народов в прошлом (казахи, киргизы, каракалпаки) — знатный, влиятельный человек, принадлежащий к патриархально-феодальным верхам, а также судья (суд биев), судивший на осно-

вании обычного права; 2) в Бухарском ханстве — один из высших светских чинов (девятый в восходящем порядке).

Бисмиль (буквально «принесенный в жертву», псевдоним), Мулло-Бурхон Кулоби — второстепенный бухарский поэт конца XIX—начала XX в., представитель мистической подражательной поэзии; первоначальный псевдоним (тахаллус) поэта — Муштоки (см.: С. Айни. «Образцы таджикской литературы». 1926, стр. 228).

битва под Джизаком — Джизак был занят русскими войсками 18 октября 1866 г. после непродолжительного боя с бухарскими войсками.

Бобо Порадуз — буквально «дедушка, кладущий заплаты», полулегендарный патрон (пир) цеха сапожников.

Бобо Соиб — буквально «дедушка Соиб»; речь идет об известном поэте XVII в. Мухаммад-Али Соибе Исфахони (см. Соиб).

Боги-Афзаль — селение бывш. Шофуркомского тюменя (см. Шофурком).

Бозорча — селение вблизи Бухары (к северу от города, за воротами Имом).

Болои-Руд — буквально «над каналом», селение в нескольких километрах к северо-западу от Гиждувана (см.).

борон — дождь.

брак у казия — обращение к казию (см.) для совершения брачного договора; так бывало в тех случаях, когда девушка решалась на брак против воли родителей и бежала из дома; казий заключал этот договор по шариату (см.), поскольку для брака было достаточно согласия обеих сторон.

будто бы миршаб, услышав слово «вор», упал без чувств и опрокинул при этом чашку с опиумом, разлив маковый сок — описание этой карикатуры приводится автором второй раз (первый раз см. стр. 405).

буква «н» — в арабском алфавите буква «н» пишется с одной точкой наверху, буква «т» (той же формы, что и «н», в слитном написании) — с двумя точками наверху; отсюда возможны описки при написании слов, содержащих эти буквы.

Букрот — арабизованная форма греческого имени Гиппократ; имеется в виду знаменитый греческий врач и естествоиспытатель V—IV вв. до н. э., оказавший большое влияние на развитие арабской медицины; прозвище *(Ред.)*.

«Бустан» («Сад») — известная этико-дидактическая поэма Саади (см.), законченная им в Ширазе в 1257 г.

Бустон — селение в окрестностях Бухары, по дороге в Гиждуван.

Бухара — город в низовьях Зеравшана. Основание города относится к глубокой древности. В VI—VII вв. н. э. Бухарой управляли владетельные князья бухар-худаты (см.), в конце IX—X вв. Бухара была столицей обширного государства Саманидов. В начале XVI в., с приходом в Среднюю Азию кочевых племен узбеков во главе с Шейбани-ханом, Бухара становится столицей Бухарского ханства, которым управляли узбекские династии шей-

банидов, аштарханидов и мангытов (см.). С сентября 1920 г., после народной революции и свержения последнего эмира, Бухара оставалась главным городом Бухарской Народной Советской республики. В результате национального размежевания Средней Азии Бухара вошла в состав Узбекской ССР. В настоящее время Бухара является центром одноименной области Узб. ССР. Соединена 12-километровой железнодорожной веткой со ст. Каган — железнодорожным узлом Ташкент—Красноводск—Сталинабад. В Бухаре сохранилось много архитектурных памятников различных исторических эпох.

— базары — в эмирской Бухаре насчитывалось пятьдесят крытых и обыкновенных базаров; большие базары представляли собой систему улиц, проходов и проездов, часто крытых, по сторонам которых тянулись ряды лавок и торговых помещений; в каждом ряду продавался известный род товаров, по имени которого назывался и самый ряд. Помимо того, были и специализированные базары. На пересечении торговых улиц и рядов устраивались купола (см.); в книге упоминаются следующие базары: Алаф (Сенной); Бозори корд (Базар ножей); Веревочный базар (Бозори ресмон) — находился вблизи Регистана, там же происходили казни; Гозиён (в квартале Гозиён, см.); Кох (Травяной базар); Мазор (у ворот Мазор); Нав (Новый); Ходжа-Нурабад (Ослиный базар); Чорбакколи (Дровяной базар); также упомянуты базары: ичигов и кожаных калош; книжный; конный; одеял; парфюмерии, пряностей и снадобий; пряжи; тыкв; урюка и изюма; шапочный.

— ворота — в окружавшей Бухару стене было одиннадцать ворот, которые запирались с наступлением темноты; вечером и ночью никто не мог войти в город или выйти из него. В книге упоминаются следующие ворота: Имом — на север, Кавола — на юго-восток, Мазор — на восток, Намозгох — на юг, Саллох-хона — на юг, Самаркандские — на север, Талипоч — на северо-запад, Углон — на северо-запад, Шайх-Джалол — на юг.

— кварталы (махалла, гузар, см.) — число кварталов, на которые разбивался город, было велико. Кварталы назывались часто по имени того ремесла, которым занимались его жители, го личным именам — возможно, его основателей, по нахождению возле какого-либо объекта; названия некоторых кварталов остаются неясными. В книге упоминаются следующие кварталы: Арабон (Арабы); Арусони Бухоро, см. Урусон; Бобои-Нонкаш (Дед-пекарь); Бозори-нав (Новый базар); Бозори-Ходжа (Базар Ходжи); Боло-хауз (Над бассейном); Говкушон (Забивающие скот); Гозиён (Борцы за веру); Даббиён; Джуйбор (Канал) — большой квартал — предместье Бухары, жители которого занимались шелкоткачеством, населён выходцами из Ирана — ирани; Дегрезон, Дегрези (Литейщики котлов); Джанафар; Джа'фар-ходжа; Калобод; Кемухтгарон (Кожевники); Кучаи-Сангин (Замощенная улица); Ляби-хаузи-Арбоб (У бассейна старосты); Ляби-хаузи-

Чуббоз (У бассейна Чуббоз); Маддохон (Уличные проповедники); Мехчагарон (Гвоздильщики); Мир-Дустум; Мирзо-Гафур; Мисгарон (Медники); Модари-хон (квартал мечети Модари-хон — матери хана); Моркуши (Уничтожение змей); Мургкушон (Режущие кур); Мурдашуён (Обмывальщики покойников); Мухаммади-Газзоли; Наддофон, Наддофи (Чесальщики хлопка); Накорачиён (Барабанщики); Пои-остона (Подножие порога); Пошшокул-ходжа; Понобиён (Выходцы из деревни Поноб); Сари-Пули-Мехтар-Косим (У моста конюха Касыма); Сари-Пули-Ошикон (У моста влюбленных); Сари-Пули-Равгангарон (У моста приготовляющих масло), Сесу (Три стороны); Сиддикиён; Сиёхкорон (Красильщики в черный цвет); Собунгарон (Мыловары); Сорбон (Погонщики верблюдов); Таги-Манор (У минарета); Таки-Зиндон, Тахти-Зиндон (У тюрьмы); Такишур-Кулолгари; Тангбандбоф (Ткачи золотых поясов); Тукумдузи (Шитье ослиных седел); Тупхона (Артиллерия); Урусон (Русские — народная этимология названия квартала Арусони Бухоро — Бухарские невесты); Усто-Рухи (квартал мечети Усто-Рухи); Хаммоми-Кунджак (Угловая баня); Хаммоми-Чубин (деревянная баня); Ходжа-Аспгардони (Ходжа, выводящий лошадь); Ходжа-Булгори; Ходжа-Зайниддин; Хуллабофон; Чорхарос (Чорхароси Бухоро); Шайхи Ходжа-Убон.

— купола торговые (ток, тим) — в XVI в. было построено пять торговых куполов (ток), стоявших на перекрестках главных улиц города; кроме них, были и другие купола. Под ними велась торговля, по роду которой часто назывались купола. В книге упоминаются купола: Аллофон (Сенной); Заргарон (Ювелиры); Саррофон (Менялы); Тиргарон (Литейщики пуль); Ходжа-Мухаммади-Паррон.

— медресе — в городе в эмирское время было большое число медресе. Многие из них представляли собой великолепные здания, построенные в эпоху расцвета строительной деятельности бухарских правителей (в XVI в.), другие были бедными медресе, и их помещения не отличались величиной и пышностью. Большинство медресе называлось по имени их основателей. В книге упоминаются следующие медресе: Абдулло-хон (Абдулла-хан) — входит в архитектурный комплекс Кош-медресе (см.), возведено в 1539 г. в честь Абдулла-хана Шейбани, грандиозный архитектурный памятник, отличающийся большой роскошью и оригинальной архитектурой; Бадал-бек — небольшое медресе в центре Бухары, к северу от мечети Калон; Говкушон; Гозиён — медресе в квартале Гозиён (см.), вблизи медресе Мулло-Мухаммад-Шариф; Девон-беги — медресе в юго-восточной части Бухары на площади Ляби-хаузи-Девон-беги (см.); Джа'фар-ходжа; Джинон; Домулло-Шер; Дор-уш-Шифо (буквально «Дом исцеления», «Больница») — было устроено в г. Бухаре аштарханидом Субхан-кули ханом (1680—1762), большим любителем медицины, имело свои вакфы (см.) и библиотеку (там не только лечили больных, но и обучали медицине), потом

пришло в упадок, закрылось и превратилось в обычное медресе; Заргарон — в квартале Заргарон; Кош-медресе (буквально «Пара медресе»), архитектурный комплекс из двух медресе (Абдулло-хон и Модари-хон, см.), расположенных друг против друга у входа в современный Парк культуры и отдыха; Кукельташ — расположено на площади Ляби-хаузи-Девон-беги, одно из наиболее крупных медресе в Средней Азии, построено в 1578 г. Кульбобо Кукельташем — молочным братом Абдулла-хана Шейбани и его влиятельным сановником; в медресе насчитывалось 160 худжр (келий), имелась богатая библиотека; великолепный архитектурный памятник с ганчевыми арками; портал облицован плитками различных тонов; Ляби-хаузи-Арбоб — небольшое медресе в Бухаре (в южной части города) в одноименном квартале, вблизи медресе Хаджи-Зохид (см.) и Хусейн-бай (см.); Мир-Араб — медресе расположено в центре города, против мечети Калон, построено в 1534 г. и названо в честь шейха Мир-Араба (Амир Абдуллах Ямини), который погребен здесь вместе со своими родственниками (шейх был выходцем из Аравии, из Йемена); в архитектурном отношении представляет ценный памятник — с величественным порталом, с высокими орнаментированными куполами, отделано поливными плитками и мозаикой; в медресе 111 худжр; в настоящее время в нем расположена высшая мусульманская семинария — медресе; Мирзо-Убайд; Мирзо Улуг-бек — самое старое из трех медресе, построенных известным астрономом Улуг-беком, внуком Тимура, в 1417 г.; прекрасный архитектурный памятник с пропорциональными гармоничными формами; все последующие медресе строились по этому типу; Модари-хон (входит в архитектурный комплекс Кош-медресе, см.), выстроено шейбанидом Абдулла-ханом в честь его матери в 1566 г.; Мулло-Мухаммад-Шариф; Мухаммад-Али-ходжа; Нав (Новое); Олим-джон; Рашид; Сузангарон; Турсун-джон — построено в 1796—1797 г., к югу от Регистана; Фатхулло-кушбеги — медресе построено в 1595—1596 г. на дороге, ведущей к воротам Мазор; Хаджи-Зохид — небольшое медресе, построенное в 1896 г., в квартале Сари-Пули Равгангарон; Хиёбон — окончено постройкой в 1654/1655 г., крупное здание с массивным порталом, в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии; Хусейн-бай — небольшое медресе (в южной части города), поблизости от медресе Хаджи-Зохид (см.); Шодим-бий — построено в конце XVII в. на Регистане, ныне не сохранилось.

— мечети — в Бухаре, считавшейся очагом мусульманства, было огромное количество мечетей (свыше 350), из них восемь больших (пятничных) мечетей. В книге упоминаются следующие мечети: Боло-хауз (буквально «У бассейна», «На берегу бассейна») — название мечети, расположенной на площади Регистан, против ворот эмирской цитадели (Арка); мечеть построена в XVIII в., перед ней айван с огромными деревянными колоннами, возведенный в 1917 г., и хауз (бассейн); Гозиён — была расположена в квартале того же названия; Намозгох — расположена в полукилометре

к югу от города за воротами того же имени, построена в 1119—1120 гг. и перестроена в XIV в. по указанию Тимура; здесь, на площади перед мечетью, два раза в год совершались большие моления; Ходжа-Калон (Большая мечеть) — крупнейший архитектурный памятник Средней Азии, построена по типу мечети Биби-Ханым в Самарканде, окончена постройкой в 1514 г.; мечеть открытого типа, с внутренним двором, предполагается, что вмещала более десяти тысяч молящихся; отделана цветными поливными изразцами; находится в центре города, напротив медресе Мир-Араб (см.); между ними находится минарет Мир-Араб или Калон (минарет смерти — см.); Поччокул-ходжа, Пошшокул-ходжа; Поянда — одна из больших пятничных мечетей Бухары, находившаяся недалеко от эмирской цитадели с южной стороны; Шайх-шо — пятничная мечеть в центре города, недалеко от медресе Кукельташ.

— площади — являлись средоточием общественной жизни. Наиболее крупными из них были: Ляби-хаузи-Девон-беги — торговая площадь с большим бассейном посредине, одна из центральных площадей города, окруженная монументальными архитектурными сооружениями — с запада дервишская обитель Девон-беги, с востока медресе Девон-беги и с севера медресе Кукельташ и Ир-Назар-Ильчи, — в настоящее время торговый и культурный центр города; Намозгох — расположена за городом, к югу от него, здесь находилась большая мечеть и устраивались массовые моления под открытым небом (см. мечеть Намозгох); Регистан — расположена перед входом в эмирскую цитадель (Арк), в более древний период была окружена многочисленными постройками медресе и мечетей, из которых в настоящее время сохранилась лишь мечеть Боло-хауз.

— торговые ряды — в книге упоминаются следующие ряды: Баззози (Мануфактурный); Кандолотфуруши (Продажа сластей); Мисгарон, Мисгари (Медники); Наддофон, Наддофи (Чесальщики хлопка); Собунфуруши (Продажа мыла); Сузангарон (Игольщики); Тагишур (Мясной ряд); Тиргарон (Литейщики пуль); кроме того, упомянуты: ряд менял; продавцов чая; слесарный.

— улицы — в большинстве своем были узкие, немощеные, грязные, окаймленные глинобитными стенами. В книге упоминаются следующие улицы: Боло-Куча (Верхняя); Калон (Большая); Ляби-Руд (На берегу канала); Мургкушон (Режущие кур); Сесу (Три стороны); Хиёбон (проспект).

бухарская революция — революционные события в Бухаре, закончившиеся свержением власти эмира. Несмотря на установление в 1917 г. в Туркестане Советской власти, в Бухарском ханстве (так же, как и в Хивинском) еще три года сохранялся феодальный строй и деспотическая власть эмира. Пользуясь темнотой и забитостью широких народных масс и на словах обещая различные реформы, эмир бухарский Алим-хан, поддерживаемый агентами

империализма, на деле жестоко подавлял всякие стремления к реформам, сплачивая вокруг себя все реакционные силы. В последних числах августа 1920 г. население Бухары под руководством бухарской Коммунистической партии подняло восстание против эмира и деспотии; восстание было поддержано частями Красной Армии во главе с М. В. Фрунзе. 1 сентября эмир был низложен и бежал в Дюшамбе (кишлак на месте нынешнего Сталинабада), откуда продолжал руководить басмаческим движением, и лишь в мае 1921 г. скрылся за рубежом. После свержения власти эмира на территории бывшего ханства была создана Бухарская Народная Советская республика.

«Бухарские палачи» — см. «Джаллодони Бухоро».

бухарские персы — немногочисленные в Бухаре персы (или ирани) представляли собой потомков насильственно переселенного эмиром Шах-Мурадом (см.) населения разрушенного им г. Мерва; многие персы были рабами, несмотря на это некоторым из них удавалось занимать высшие должности в ханстве, вплоть до должности кушбеги.

Бухарское ханство — феодальное государство, основанное в среднеазиатском междуречье узбекским ханом Мухаммедом Шейбани в начале XVI в. на развалинах государства Тимуридов, с центром в г. Бухаре; в пору наибольшего могущества в состав владений ханства входили Хорезм, Ташкент, часть Хорасана, Бадахшан, однако с середины XVIII в. большинство этих владений отпало и территория ханства сильно сократилась; в 60-х годах XIX в. ханство было поставлено в вассальное отношение к царской России; перестало существовать в 1920 г. в результате народной революции и свержения бухарского эмира.

бухар-худаты — правители Бухары VI—VII вв. н. э.; стояли во главе союза мелких владений, расположенных вблизи Бухары, первоначально подчинялись правителям тюркского каганата, а затем арабам, которыми их власть и была уничтожена.

была с редифом «натавон кард» («не может быть сделано») — рефрен в одной из газелей Камоля Ходжанди.

было написано не по порядку, а разбросано и неровными строчками, а наискосок — средневековые писцы для экономии бумаги занимали свободные поля рукописи дополнительным текстом, который, в отличие от горизонтального основного текста, писался наискось; иногда так писали и основной текст.

Вагонзи — крупное селение в бухарском оазисе, в нескольких километрах к юго-востоку от Гиждувана (см.), в бухарском ханстве бывшее центром одноименного тюменя.

вакуфный — состоящий в вакфе (см.).

вакф — земля и другое недвижимое имущество (строения и мельницы), завещанные их собственником какому-либо мусульманскому учреждению (мечети, мавзолею, медресе, на устройство колодцев и т. п.); доходы с этого иму-

щества поступали в пользу объекта, которому они были завещаны, и шли на разные его нужды (на ремонт зданий и на обеспечение обслуживающего персонала, на стипендии учащихся, на сооружение новых зданий и т. п.).

Вардонзи — селение недалеко от Бухары, славившееся гончарным производством.

варкони — способ полива в бухарском оазисе (поливают по засеянному полю, а уже затем для следующих поливов делают канавки).

Вафо — верность (псевдоним).

Вахш — река, берущая начало в Алайской долине и впадающая в Аму-Дарью (в верхнем течении носит название Кизыл-Су и Сурхоб).

Вахши — дикий; псевдоним поэта Вафо, занимавшего должность казия в Ховалинге (бывш. Кулябское бекство).

введу красную строку, запятые, точки, кавычки и скобки — обычно в письме арабским шрифтом все эти орфографические знаки отсутствовали.

в других стихах — дословно эти стихи привести нельзя, так как на русском языке они звучат вульгарно.

везирь — первый министр, первый сановник и ближайший помощник правителя в странах Востока.

великое слово или «великое имя» (исми а'зам) — по верованию мусульман, одно из величайших имен Аллаха, обладающее магическим и волшебным свойством в устах избранных людей.

верховный судья (кози калон) — судья столицы — г. Бухары и в то же время как бы начальник всех судей ханства, которых он аттестовал перед эмиром; на его заключение местные судьи представляли дела в затруднительных случаях (судьи назначались на должность из числа лиц, окончивших медресе, — мулл).

вилайет — административная единица (область); Бухарское ханство делилось на вилайеты; во главе вилайетов стояли миры или беки, поэтому в русской специальной литературе их называли также бекствами.

внешний и внутренний дворы — в Средней Азии, как и в других мусульманских странах, дом или усадьба делились на две половины: внутреннюю — женскую, куда посторонние мужчины не допускались, и внешнюю, на которой находились служебные и парадные помещения и принимались гости.

Вобкент — крупное селение вблизи Бухары (к северу от нее), бывшее центром одноименного бухарского тюменя; в селении сохранился большой старинный минарет; ныне районный центр Бухарской области.

Вобкентский тюмень — см. Вобкент.

в основе слов «способность» и «стих» лежит один и тот же корень... — «способность» по-арабски شعور (шуур), а «стих» شعر (ше'р), оба слова происходят от одного корня شعر (шаара).

в последние десять дней Рамазана... в связи с приближением праздника —

месяц Рамазан лунного мусульманского календаря является месяцем поста; он заканчивается праздником разговенья (рузи фитр), приходящимся на первый день следующего месяца шавваль.

время Фархада прошло, настало время Меджнуна — эта поговорка означает: теперь другие времена; те времена прошли; Фархад и Меджнун — персонажи многих романтических поэм, классические влюбленные, принявшие смерть во имя своей любви; Фархад — персонаж поэтических произведений, написанных в домусульманскую эпоху, герой поэмы Фирдоуси «Шахнаме», см. также Меджнун.

входная арка медресе (миёнсарой) — обычно по фасаду медресе (см.) был расположен аркообразный широкий вход, ведший во двор медресе; так как здание медресе представляло собой четырехугольник, окаймлявший двор, то и входная арка являлась проходом, по длине равным ширине всего здания; по бокам прохода располагались ниши со скамьями, в которых почти всегда сидели обитатели медресе; здесь велись беседы, споры и т. п.

выходившая была как будто «звездой» (Ситорой), в то время как я ожидал появления «солнца» — здесь игра слов: появилась ситора — звезда, а рассказчик ждал появления «солнца» (афтоб), т. е. дочь мутевалли.

вы хотите сами опорочить этим свою невинную жену — см. поклялся разводом с женой.

Гаждумак — селение в бухарском оазисе, на дороге между Бухарой и Гиждуваном (см.), в нескольких километрах западнее последнего.

газ — мера длины в Бухарском ханстве, равна приблизительно 87 см (расстояние от кончика носа до среднего пальца вытянутой на уровне плеч руки). *(Ред)*.

газель — короткое (пять—двенадцать бейтов) монорифмическое стихотворение, преимущественно любовно-лирического содержания.

Гала-Джуй — селение к северу от Бухары.

Гала-Осиё — селение в окрестностях Бухары, расположено на большой дороге Гиждуван — Бухара. Под этим же названием имеется селение и вблизи Самарканда.

Гамбуск — жук (псевдоним).

Гариб-Мазар — «кладбище для странников», для умерших на чужбине (вблизи деревни Соктари — см.).

Гарм — город в горном Таджикистане, в долине реки Сурхоб (Каратегин), в Бухарском ханстве был центром Каратегинского бекства.

Гаус-ул-А'зам — «Величайший (мистический) пояс», прозвище известного суфийского шейха Абдулкадыра Гилани или Джилани (Джили), умершего в 1166 г. и бывшего основателем широко распространенного суфийского ордена «Кадырия». *(Ред.)*.

Герат — город на северо-западе Афганистана, в средние века крупный центр таджикской культуры, один из многолюдных городов Востока.

гиджак — смычковый музыкальный инструмент; имеет полусферический корпус из тыквы, кокосового ореха или выдолбленный из дерева, деку из кожи или пузыря и металлическую ножку, являющуюся опорой для инструмента во время игры.

Гиджду́ван — небольшой город в 50 км от Бухары (к северо-востоку от нее), бывший центром одноименного бухарского тюменя (района) и имевший цитадель; крупнейший в Средней Азии рынок скота; свое название сохраняет с древнейших времен.

Гиджду́ванская крепость — цитадель в Гиджду́ване, резиденция местного амлокдора (см.).

гиджду́ванский халат — толстый, мелкой стежки халат на вате (см. Гиджду́ван).

Гисар — обширная долина, расположенная к югу и востоку от Гисарского хребта, орошается истоками реки Кафирниган; в Бухарском ханстве Гисар входил в состав Гисарского бекства, с центром в селении Гисар, имевшем цитадель, ныне селение Гисар является районным центром Таджикской ССР; в Гисарской долине находится столица Таджикистана — Сталинабад.

гисарский халат — по сравнению с халатами других мест Средней Азии шьется более просторным, при ношении подпоясывается (см. Гисар).

Гисарский хребет — большой горный хребет на юге узбекской ССР и северо-западе Таджикской ССР, тянется на протяжении 450 км, является водоразделом между бассейном Зеравшана и Аму-Дарьи; южные его отроги отделяют бассейн Сурхан-Дарьи от бассейна Кашка-Дарьи.

«Главы и разделы» («Фаслу боб») — первые главы и разделы из учебной книги «Хидоя» (см. «Мухтасари Викоя»), предлагаемой ученикам медресе на экзамене, предназначенном для получения пособия.

говджигар — буквально «Бычья печонка», переносно «смельчак».

год курицы — см. соли мург.

голиб — человек, ведавший музыкантами и танцорами, своего рода организатор и руководитель группы.

горцы — жители восточных областей Бухарского ханства: Гисара, Куляба, Каратегина и Дарваза.

государственная земля (замини подшохи) — земли, находившиеся в непосредственном ведении эмира (собственность которого была и государственной собственностью) и обрабатывавшиеся обычно путем устройства хашаров (см.).

Гузар — город, расположенный в 50 км к юго-востоку от Карши, на р. Гузар-Дарье, притоке Кашка-Дарьи; был центром одноименного бухарского бекства и важнейшим скотопромышленным рынком ханства, ныне районный центр Сурхан-Дарьинской области Узб. ССР.

гузар — см. махалла.

«Гулистан» — «Цветник», знаменитое произведение Саади (см.), написанное в 1258 г., состоит из ряда нравоучительных рассказов, пересыпанных персидскими и арабскими стихами.

«Гулистони масаррат» («Цветник веселья») — сборник стихов, изречений, хронограмм, принадлежащих крупнейшим поэтам Ирана, Средней Азии и Индии; в сборник в большом количестве включены стихи видного персоязычного индийского поэта Насир Али Насира (ум. 1697); составитель — Закир Абдурахман-хан Шакир.

Гульшани, Содик-ходжа (ум. 1910) — бухарский математик и землемер, автор утраченного сочинения «Подробная география»; писал искусные любовно-лирические стихи подражательного характера.

Гурбун — селение, расположенное к северо-востоку от Бухары.

гурии — прекрасные девы, населяющие мусульманский рай.

Давлатшах — автор известной антологии «Тазкират-аш-шуаро» (см.).

Дарваз — горная местность по течению реки Пянджа, от устья реки Вандж до устья реки Оби-Ниоу; при бухарском владычестве вместе с долиной реки Хингоу Дарваз входил в состав Дарвазского бекства, в 1895 г. запянджский (левобережный) Дарваз отошел к Афганистану.

Дарвешобод — квартал в селении Гиждуван, где устраивались гулянья в месяц мизон (седьмой месяц распространенного в Средней Азии солнечного календаря, начинавшийся 23 сентября).

дарвоза-хона — крытый проход от ворот во двор, нередко с помещением наверху.

дарра — плеть, которой раис (см.) наказывал провинившихся.

да стану я жертвой вместо вас — распространенная в Средней Азии формула, которая должна характеризовать степень почтения и уважения говорящего к собеседнику (готовность пожертвовать собой).

дафтарные записи ханства — поземельно-податные государственные росписи с подробным поименованием домовладельцев, которые составляли тайну и хранились в Арке столицы. *(Ред.)*.

Дахбед — селение в 15 км к северо-востоку от Самарканда, в дореволюционное время привлекавшее множество паломников, так как в нем был мазар известного среднеазиатского ишана Махдум-и-А'зам (ум. 1542).

дахьяк — буквально «десятая часть»; в бухарских медресе так называли денежную стипендию, которую получали лучшие учащиеся в последние годы обучения.

дважды употребил слово «три» — в оригинале приведено арабское числительное салос ثلاث (три).

дверь, выходившая на улицу, имела вставную раму, которая не открывалась — В Средней Азии до начала XX в. вместо стекол употребляли промасленную бумагу, которой оклеивали вставные рамы; подобную раму ставили на невысокое основание и снимали целиком, если нужно было дать в комнату доступ воздуху.

девон-беги — один из высших светских чинов в Бухарском ханстве (тринадца-

тый в восходящем порядке); кроме указанного чина, существовала и должность девон-беги, как в центре, так и в бекствах; девон-беги ведал финансами и хозяйством, при беке имел более низкий чин.

Девон-беги (хонакох) — дервишская обитель, расположенная в Бухаре на площади Ляби-хаузи-Девон-беги; построена в двадцатых годах XVII в., входит составной частью в архитектурный ансамбль площади Ляби-хаузи-Девон-беги.

дервиш, или суфий — последователь мистического направления в исламе и член одного из многочисленных суфийских орденов, возглавляемых ишанами (см. ишан и ишанство); дервиши образовывали дервишские общины, жили вместе в специальных помещениях (см. дервишская обитель), где происходили их собрания и моления, нередко сопровождавшиеся радениями (см. джахр), а многие из них вели нищенский образ жизни, собирая подаяние среди населения; атрибутами дервишей была коническая шляпа (кулах), посох и чаша для сбора подаяния (кашкуль).

дервишская обитель (хонакох) — здание, в котором проживали дервиши (монастырь).

Дехнави Абдулло-джон — селение бывш. Шофуркомского тюменя (см. Шофурком); под тем же названием была известна группа селений с центром в селении Дехнави Абдулло-джон, в которую входило и селение Махаллаи-Боло (см.).

«дж» — в таджикском языке это сочетание является отдельным звуком-аффрикатой и обозначается в современном алфавите знаком «ҷ».

Джабраил — арабизованная форма имени Гавриила, архангела христианских верований; Джабраил в исламе получил ту же роль посланца бога, сообщавшего Мухаммеду веления Аллаха; прозвище.

«Джаллодони Бухоро» — «Бухарские палачи», первая повесть Айни; первые издания: 1922 г. — на узбекском языке, 1935 г. — на таджикском.

Джами, Абдурахман (Абдуррахмон Джоми) (1414—1492) — последний выдающийся представитель классической традиции в литературе персов и таджиков, автор многочисленных поэтических и прозаических произведений; жил в Герате, работал в творческом содружестве с Навои (см.), возглавлял суфийскую организацию накшбанди; в идейном отношении творчество Джами очень противоречиво.

джахр — радение у дервишей, в некоторых дервишских орденах сопровождавшееся исступленными плясками и самобичеванием.

джевачи — один из низших бухарских чинов (четвертый в восходящем порядке); этот чин присваивался и младшим командирам бухарского войска.

Джемшид — один из древнейших персонажей иранской мифологии, в эпосе Фирдоуси «Шахнаме» — четвертый царь династии пишдадидов; предание приписывает Джемшиду несметные сокровища, отсюда «пир Джемшида», т. е. роскошный пир.

Джизак — город, расположенный между Самаркандом и Ташкентом на границе степей; был занят русскими войсками в 1866 г. и вошел в состав русских владений в Средней Азии, являлся крупным перегонным пунктом мелкого скота из степных районов в оседлые оазисы, главным образом в Ферганскую долину.

Джиликуль — селение в низовьях р. Вахш, ныне районный центр Таджикской ССР.

джинн — сверхъестественное демоническое существо.

Джоми — см. Джами, Абдурахман.

джон — душа; милый, дорогой; часто служит приставкой к мужскому имени.

Джондор — селение, центр одноименного бухарского тюменя.

Джондори — см. Мирзо-Содик Мунши.

Джони — душевный, сердечный, искренний (псевдоним, образованный от слова джон — душа).

Джони, Джонон, Мирзо-Мазхар (ум. 1781) — крупный деятель индийского дервишизма, автор мистического дивана (см.).

Джуги-хона — селение вблизи Бухары, по дороге к мазару Бахауддина Накшбанда.

джуйбарские ходжи (шейхи) — род влиятельных ишанов (см.) из Джуйбара (предместья Бухары), приобретший особое влияние и несметные богатства в середине XVI в., при Абдулла-хане (см.), которому джуйбарские ходжи помогли укрепиться на престоле.

Джунуни — одержимый бесами, безумный (псевдоним; см. Айни).

Джура-Чулок — хромой Джура (прозвище).

див — сверхъестественное демоническое существо; по поверьям, див представлял собой страшное чудовище, наделенное огромной силой.

диван — собрание лирических монорифмических (газелей, четверостиший и од) стихотворений одного автора; в диванах стихи, как правило, располагаются в порядке алфавита рифм.

Дилькушо — селение и эмирский сад в одном километре к северо-востоку от Бухары, вблизи большого селения Файзабад.

динар — старинное наименование монеты (римская серебряная монета — denarius); арабский динар — золотая монета, впервые отчеканенная в VII в.; в настоящее время сохраняется в ряде стран, имея различное достоинство.

додхо — в Бухарском ханстве один из высших светских чинов (десятый в восходящем порядке); додхо занимал высокие должности — например, бека.

Дои, Мирзо Шамсиддин — придворный писец (мунши) в правление эмира Музаффара (см.), автор искусных любовно-лирических стихотворений подражательного характера; более подробных сведений о его личной жизни и литературной деятельности не сохранилось.

дойра — бубен; в Средней Азии бубен особенно был в ходу среди женщин, а также среди «бачей» (мальчиков-танцоров); обычно служит для аккомпанемента при танцах; дойрист — музыкант, играющий на дойре.

доктор-шах — от русского «докторша»; речь, по-видимому, идет о враче Ракитской, погибшей во время резни, устроенной в Бухаре в 1918 г. после так называемых колесовских событий (см.) при активном воздействии бухарского духовенства на «правоверные» умы, — тогда там были истреблены не только «джадиды», но и все русские. *(Ред.)*.

домулло — мусульмански образованный человек; образованный, хорошо эрудированный человек; слово «домулло» присоединялось к имени или званию человека, оно служило также почтительным обращением; в настоящее время также служит обращением к образованным людям.

Дониш — буквально «знание» (см. Ахмад-махдум Дониш).

«Дониш-нома» — «Книга знаний», одно из второстепенных сочинений Абу Али ибн Сино (см.), написанное ок. 1030 г. на персидском языке; содержит популярное изложение элементов естественно-исторических и философских знаний.

«Дохунда» — первый роман Айни (первое издание — 1930 г.), являющийся также первым романом в таджикской литературе; герои романа, Ёдгор и Гульнор, — первые в таджикской советской литературе образы борцов за новую жизнь.

дувоздах-гирех — буквально «двенадцать узлов» — название узора.

Дузахи — адский (прозвище).

дутар — двухструнный щипковый музыкальный инструмент с длинным грифом; дутарист — играющий на дутаре.

Евфрат — одна из двух крупных рек Месопотамии.

его величество, будучи государем мусульман — эмир бухарский, как правитель самостоятельного мусульманского государства, рассматривался как повелитель мусульман, т. е. не только как светский, но и как духовный владыка.

его высочество — титул, которым русские именовали эмира Бухарского в официальных сношениях; в начале колониального периода эмира величали преимущественно титулом «высокостепенство».

есаул-боши — должностное лицо, ведавшее личной охраной правителя и исполнявшее поручения последнего, в частности приведение в исполнение различных приговоров (заключение под стражу, наказание палками); в распоряжении есаул-боши находились есаулы.

жож, жожхои — название безвкусной жесткой травы, которую верблюды жуют, но не могут проглотить; метафорически — чепуха, вздор, ерунда. В оригинале:

Жожу можу жожу можу жожу мож
Ин ҳама жож аст, сар то пой жож.

Слово «мож» не имеет самостоятельного значения и выступает как слово-эхо.

жола — град.

забар — надстрочный знак в арабской графике, обозначающий в таджикском языке краткий гласный «а».

закет — поимущественный налог в размере одной десятой стоимости облагаемого предмета; взимался с товаров и со скота; в первые века после возникновения ислама представлял собой очистительную милостыню в пользу бедных и на богоугодные дела.

Зандани — одно из древних селений Бухары, славившееся своими тканями, расположено в 24 км на запад от Гиджувана (см. занданеги). *(Ред.)*.

занданеги — название ткани, вырабатывавшейся в Зандани (см.).

«Занджони» — обиходное название (по имени автора Иззуддина Занджони) трактата по арабской грамматике «Ат-Тасрир ал-'Иззи» (написан ок. 1257 г. в Багдаде), служившего учебником в среднеазиатских медресе. *(Ред.)*.

занятие Самарканда войсками царской России — весной 1868 г. начался поход русских войск в бухарские владения (см. Присоединение Средней Азии к России). Первого мая было нанесено поражение бухарцам на Чупанатинских высотах под Самаркандом, а второго мая занят самый город. В Самарканде был оставлен небольшой гарнизон, а главные силы русских войск под командованием генерала Кауфмана двинулись далее к западу и второго июня под Зербулаком разбили наголову бухарскую армию. Поражением эмира Музаффара воспользовался его старший сын Абдулмалик, который встал во главе отложившихся от эмира городов и бекств южной части ханства, объявил священную войну (газават) и захватил Самарканд. Русский отряд заперся в цитадели и продержался там до подхода от Зербулака главных сил. Абдулмалик и бывшие с ним беки бежали.

запрашивала за дочку высокую цену — имеется в виду выкуп за девушку — калым, практиковавшийся среди населения Бухарского ханства.

зарбафт — материя типа парчи.

заргар — золотых дел мастер.

Зарир, Мухаммад Тохир-ходжа (ум. 1890) — бухарский поэт и ученый реалистического направления, по прозвищу Узбак-ходжа, слепой от рождения; усыновил и воспитал поэта Шохина (см.); произведения Зарира не собраны и не изучены (см.: С. Айни. «Образцы таджикской литературы», стр. 396)

зер — подстрочный знак в арабской графике, обозначающий в таджикском языке краткий гласный «и».

Зеравшан — крупная река в Средней Азии. Берет начало в горном узле между Зеравшанским и Туркестанским хребтами, орошает оазисы Пенджикента, Самарканда и Бухары и теряется в песках недалеко от Аму-Дарьи.

Зиёуддин (Зиадин) — город, центр одноименного бухарского бекства в долине Зеравшана; в бекстве в больших размерах было развито хлопководство; в 12 км от города расположена железнодорожная станция Зиадин; ныне Пахтакор — районный центр Самаркандской области.

Зиё, Мухаммад-Шариф (Садр Зиё), Шариф-джон-махдум (1865—1931) — видный бухарский политический деятель, историограф и поэт буржуазно-либерального направления; среди его многочисленных произведений выделяется стихотворная антология таджикской поэзии XIX в. «Тизкор-ул-аш'ор» (закончена в 1910 г.) и обширные, еще не изданные и не изученные мемуары, содержащие ценные сведения о политической и культурной жизни Бухары конца XIX в.; после революции в общественной жизни участия не принимал.

Зуфунун («обладающий знаниями», псевдоним), Кори-Абдулмаджид (ум. 1903) — врач и талантливый поэт передового направления, ученик Ахмада Дониша, один из образованнейших людей своего времени; литературное наследие почти полностью утрачено.

зять при доме (хонадомод) — человек, переходивший на жительство в дом тестя, примак; в Бухарском ханстве нередко юноша-бедняк шел в услужение к богатому человеку и работал безвозмездно ряд лет, после чего по заключенному условию хозяин выдавал за работника замуж свою дочь.

игра в бабки (буджулбози) — для игры употреблялись бараньи астрагалы (таранная кость, между стопой и голенью), которые подкидывали и смотрели, какой стороной упала кость; каждая из сторон астрагала имела свое название: чикка, пукка, аспа («лошадиная»), хара («ослиная»).

игра в рифмы (байтбарак) — популярная народная игра, в которой один из соревнующихся читает какой-либо стих, а его противник отвечает ему другим стихом, начинающимся с буквы, которою кончается первый стих.

игра с ремнем (тасмабози) — азартная игра: в середину сложенного вдвое и скрученного ремня вставляется гвоздь или металлический стержень, при раскручивании ремня рывком гвоздь или стержень должен оказаться внутри ремня, при этом условии игрок считается выигравшим; если гвоздь или стержень окажутся снаружи ремня, то игрок, сделавший рывок, считается проигравшим.

иджтимоона — пирушка в складчину; такие пирушки устраивали студенты медресе.

имам (имом) — духовное лицо, руководящее молитвой в мечети; стоит впереди молящихся; нередко также преподаватель в мусульманской школе; у шиитов термин «имам» имеет специальное значение — имамами называют потомков Алия и Хусейна, признаваемых руководителями всего мусульманского (шиитского) мира (см. шиитские имамы).

Имоми А'зам — «Величайший имам», распространенное среди суннитов Средней Азии прозвище знаменитого мусульманского законоведа Нумана Абу

Ханифы (род. ок. 700, ум. 767), основателя одного из четырех суннитских толков ислама; Абу Ханифа был по профессии ткачом и торговцем тканями, это и послужило причиной того, что бухарские ткачи считают его покровителем своего ремесла.

индийская школа — см. «индийский стиль».

«индийский стиль» (индийская школа) — литературное течение в Иране, Индии и Средней Азии XVII—XVIII вв., отличавшееся стремлением к крайнему формализму.

инóк — в Бухарском ханстве один из высших светских чинов (одиннадцатый в восходящем порядке).

ирок — название шестого макома в бухарском музыкальном цикле «шаш-маком» (см.).

«Ирфон» — «Познание», самое крупное произведение Абдулкадыра Бедиля (см.), написано в 1712 г.; поэма из двадцати двух тысяч двустиший, в которой изложены философские взгляды Бедиля и его этическое учение.

исмаилиты — последователи одной из мусульманских сект, вышедших из шиизма; название этой секты произошло от Исмаила, старшего сына шестого шиитского имама (см. шииты) Джа'фара, который лишил сына права наследовать ему в качестве имама; исмаилиты, признавшие Исмаила седьмым и последним имамом, в дальнейшем разработали довольно сложную религиозно-философскую систему, заимствовав некоторые положения неоплатоников и буддистов; они создали широко разветвленную тайную организацию, с помощью которой им удавалось захватывать власть в отдельных странах; в настоящее время последователи исмаилизма встречаются во многих странах Востока, много их в Индии, где проживает духовный глава и руководитель исмаилитов.

Исмат — см. Ходжа Исмат.

Исо-махдум Исо (1827—1888) — второстепенный бухарский поэт, представитель подражательного мистического направления.

Исомиддин, Мулло — известный гератский богослов, младший современник Джами, автор ряда схоластических сочинений, в том числе толкования на «Кофия» (см.).

испарак — растение песчаной зоны Средней Азии (delphinium camptocarpum, d. Zalil), из цветов которого добывается желтая краска, употреблявшаяся в красильном ремесле. *(Ред.)*.

Истамзи — один из каналов, связанных с Шофуркомским каналом (см.).

Исфендияр — герой древних мифических преданий, павший в бою с Рустамом; сказание об Исфендияре является одним из самых сильных драматических мест поэмы «Шахнаме» Фирдоуси (см.).

ифтитохона — деньги, собранные учащимися медресе для подарка преподавателю в связи с началом занятий.

ичиги — высокая обувь, которую носили в Средней Азии, заимствованная у татар, из мягкой кожи с мягкой тонкой подошвой; для выхода на улицу поверх ичигов надевают кожаные или резиновые калоши.

ишан (эшон) — глава, руководитель суфийской общины, которому подчинялись рядовые члены общины, так называемые мюриды; мюрид должен был беспрекословно подчиняться своему ишану, отдавать ему часть своих доходов.

ишанство или ишанизм — мистическое направление в исламе: суфизм, последователи которого раньше были организованы в крупные суфийские ордена, в XIX—начале XX в. выродился в ишанизм — каждый ишан оказывался основоположником отдельной общины.

иштибози (ишти) — игра, по условиям которой играющий должен отбить находящийся на краю ямки шарик противника и загнать свой шар в ямку.

Кааба — здание в г. Мекке, имеющее форму куба (арабское ка'б), считающееся самой большой святыней мусульман и являющееся объектом паломничества — хадж; в стене Каабы находится черный камень, по-видимому метеоритного происхождения, служащий предметом почитания.

Кабадиан — селение в нижнем течении р. Кафирниган, бывший центр одноименного бухарского бекства; ныне Микоянабад, районный центр Таджикской ССР.

Кабоклы — селение на левом берегу Аму-Дарьи, в 100 км ниже Чарджоу; в Бухарском ханстве — центр одноименного бекства, ныне входит в состав Чарджоуской области Туркменской ССР.

Кабул — город, столица Афганистана.

Каве — кузнец, один из наиболее ярких персонажей «Шахнаме»; поднял восстание против тирана и поработителя родины Зохака.

Каган — железнодорожная станция в 12 км от г. Бухары; близ станции с приходом русских возник поселок Новая Бухара, в котором находилась резиденция русского политического агента в Бухарском ханстве; ныне Новая Бухара переименована в г. Каган.

Казалинск — город Кызыл-Ордынской области Казахской ССР на р. Сыр-Дарье.

казий (кози) — судья в мусульманских странах, ведающий разбором гражданских дел на основе мусульманских установлений — шариата; назначался верховным судьей (см.).

кази-калон (козии калон) — верховный судья (см.).

Казок-Работ (Работи-Казок) — селение в бухарском оазисе в километре от селения Соктари (см.).

калам — тростниковое перо; после революции также называется и стальное перо, карандаш.

калами — полосатая хлопчатобумажная материя кустарного производства.

каландар — дервиш, нищенствующий монах, член суфийского религиозного ордена.

Каландар-хона — селение вблизи Бухары, к востоку от нее.

Кали-Курбон — плешивый Курбан (каль — плешивый).

кальян — курительный прибор, распространенный на Востоке, состоит из сосуда с водой, трубки с табаком, укрепленной в горлышке сосуда так, что ее нижний конец опускается в воду, и длинной трубки, выведенной из сосуда выше уровня воды.

Камол Ходжанди (Камол Худжанди) (ум. 1400) — крупный таджикский поэт-лирик религиозно-мистического направления, родился в Ходженте (ныне Ленинабад).

кана-хона — буквально «дом клещей», так называли подземную тюрьму, помещавшуюся в бухарском Арке (см.); она представляла собой нечто вроде колодца с узким отверстием вверху, кишевшего кровососущими клещами; осужденных спускали сверху, они находились на дне этого колодца, где воздух был очень тяжелый и почти не было света.

Канбар — легендарный патрон (пир) цеха конюхов, бывший якобы конюхом у халифа Алия (см.).

Канибадам — город в Ленинабадской области Таджикской ССР.

карагач — вяз (ulmus campestris), одно из наиболее распространенных деревьев на равнине и в предгорьях Средней Азии, дающее густую тень; карагач является хорошим строевым и поделочным материалом.

Каракуль — город, расположенный к юго-западу от Бухары (в 65 км от нее) по дороге на Чарджоу, в низовьях реки Зеравшана; одно время был центром одноименного бухарского бекства, ныне районный центр Бухарской области Узб. ССР.

Караул-Базар — селение и железнодорожная станция к юго-востоку от Бухары, по дороге на Карши.

караул-беги — один из бухарских чинов (следующий после джевачи — см.); как и другие бухарские чиновники, часто не имел определенных обязанностей, но мог быть вызван эмиром или беком для исполнения того или другого поручения.

Карахони — селение к востоку от Махаллаи-Боло (см.).

Караягоч — селение Шофуркомского тюменя (см. Шофурком).

карбос — местная кустарная грубая хлопчатобумажная ткань.

Карнаб — невысокие горы, возвышенность к югу от Кермине и Хатырчи.

Карши — город, расположенный в 150 км к юго-востоку от Бухары, в низовьях р. Кашка-Дарьи, в Бухарском ханстве был центром Каршинского бекства, в которое беком обычно назначался наследник престола; Карши являлся главным рынком для окружающей кочевой степи и крупным транзитным пунктом для Восточной Бухары.

Каршинская равнина — полупустынная степь к западу и юго-западу от Каршинского оазиса; в Каршинской степи выпасается большое количество каракулевых овец.

касыда — длинное (от двадцати до ста и более бейтов) стихотворение «высокого штиля», ода панегирического, философского или религиозно-мистического содержания; достигла наибольшего развития в поэзии XI—XII вв.; касыда, как и газель, монорифмична; собственному восхвалению предшествует обычно вступление с описанием весны, картины природы, праздника и т. п.

касыды, оканчивающиеся на букву без точки — один из формалистических приемов упадочной поэзии, заключался в том, что поэт ставил себе дополнительное осложняющее условие — например, чтобы рифмующее слово в стихотворении состояло только из «безточечных» букв (из 28 букв арабского алфавита 10 имеют отличительные — диакритические — точки).

Катта-Курган — город в долине Зеравшана между Самаркандом и Бухарой, в 1868 г. вошел в состав русских владений и находился на самой границе с Бухарским ханством, ныне районный центр Самаркандской области Узб. ССР; в районе развито хлопководство и садоводство, на территории района находится большое Катта-курганское водохранилище.

Каторгуджум — небольшое селение по дороге в Гиждуван.

кафир — не мусульманин, неверный.

Кахкашон — селение примерно в 4 км на северо-восток от Бухары.

Кашгар — город и местность в Западном Китае, граничащая со среднеазиатскими республиками; кашгарцы — население Кашгара или выходцы из него, принадлежат к уйгурской народности говорящей на уйгурском языке (тюркской системы).

кашгарец — житель или уроженец Кашгара (см.).

Кашка-Дарья — река в Средней Азии, берущая начало с западных отрогов Зеравшанского и Гисарского хребтов; ниже г. Карши, пройдя свыше 300 км, река разветвляется на большое число каналов и теряется в песках.

Кашшоки — бедняк (псевдоним; см. Айни).

Кенегес — селение вблизи Шахрисябза.

кенегес — одно из племенных подразделений узбеков, проживают в основном в районе Шахрисябза; племенное подразделение кенегес имеется и у каракалпаков; вожди кенегесов постоянно враждовали с бухарскими эмирами, стремившимися подчинить Шахрисябз.

Кербела (Карбало) — город в Ираке, в 85 км юго-западнее Багдада; в Кербелу, к предполагаемому месту гибели и захоронения имама Хусейна (см.), мусульмане-шииты (см.) совершают паломничества.

Керки — город на левом берегу Аму-Дарьи, недалеко от афганской границы, расположен в районе с туркменским населением, издавна имел важное торговое значение на караванном пути из Самарканда и Бухары в Афганистан, являлся центром одноименного бухарского бекства; в 1889 г. рядом с бухарским городом возникло русское укрепление и была учреждена таможня; район коврового производства.

Керкинская степь — пустынная степь вдоль Аму-Дарьи в районе г. Керки, славится каракулевым овцеводством.

Кермине — город, центр одноименного бухарского бекства, расположен в 100 км к северо-востоку от Бухары, в долине Зеравшана; был постоянной резиденцией предпоследнего бухарского эмира Абдулахада, ныне поселок городского типа Бухарской области Узб. ССР; в районе развито хлопководство, виноградарство, каракулеводство.

кетмень — ручное орудие типа мотыги, состоит из плоского, слегка вогнутого с внутренней стороны железного овала с отверстием для ручки и длинной рукоятки, употребляется при сельскохозяйственных, дорожных и строительных работах; благодаря удобству пользования им на лессовых почвах был перенят русскими поселенцами, заменив собой лопату.

кирьётахта — стальная пластинка, употребляющаяся в ювелирном деле для изготовления тонкой проволоки.

Китаб — город в бассейне Кашка-Дарьи; до прихода русских управлялся самостоятельными беками, лишь номинально зависевшими от Бухары, в 1870 г. вместе с Шахрисябзом взят войсками генерала Абрамова и передан эмиру Музаффару; в дальнейшем — центр одного из бухарских бекств, ныне поселок городского типа и районный центр Сурхан-Дарьинской области Узб. ССР.

кишлак — у таджиков и узбеков селение (от тюркского «кышлак», буквально «зимовка»).

когда по бухарской земле прошла железная дорога — после присоединения Средней Азии к России и установления русского протектората над Бухарским ханством последнее постепенно вовлекается в сферу капиталистических отношений. В 1885 г. Закаспийская железная дорога от Красноводска была доведена до Ашхабада, эмир бухарский вынужден был согласиться на продолжение этой линии на бухарской территории, и железнодорожный путь в 1888 г. от Ашхабада был проложен через Чарджоу и Бухару (собственно через Каган, находящийся в 12 км от Бухары) до Самарканда. Проведение железной дороги через бухарские владения еще усилило зависимость ханства от царизма и русского капитала. Вдоль железнодорожной линии была создана «полоса отчуждения», на которой стали создаваться русские поселки; они были подчинены русской туркестанской администрации и на население этих поселков распространялась русская юрисдикция.

Кози Курбон-хон, Фитрат (ум. 1888) — видный представитель реакционно-клерикального направления в литературной жизни Бухары, придворный поэт и чиновник; преследовал Шохина, который ответил на его нападки обличительным стихотворением.

козибача — сын казия (см.).

козлодрание (*бузкаши*) — игра с козлом, заключавшаяся в следующем: среди группы всадников бросали тушу козла с отрезанными головой и конечно-

стями, и каждый старался поднять тушу и доскакать с ней до определенного места, другие отбивали ее; победитель получал приз; чаще всего игра устраивалась во время праздничных увеселений, нередко на состязаниях присутствовали представители знати, вручавшие призы победителям.

Коканд — город в Ферганской долине, до 1875 г. был столицей Кокандского ханства, ныне районный центр Ферганской области Узб. ССР.

кокандская арба — отличается от других среднеазиатских арб (двухколесных повозок) очень большими колесами, но со сравнительно тонким ободом и спицами; оглобли арбы укрепляются на шее лошади с помощью деревянного хомута; возчик — арбакеш сидит не на арбе, а верхом на лошади.

Ко-ко — степь между Гиждуваном (см.) и Шофуркомом (см.), к северу от Бухары, на границе с песками.

Колесов Ф. И. (1891—1940) — председатель СНК Туркестана; с мая 1918 г. — председатель СНК Туркестанской АССР; в феврале—марте 1918 г. предпринял попытку свергнуть власть эмира бухарского вооруженным путем, однако вследствие того, что широкие народные массы Бухары еще не были подготовлены к восстанию против своих эксплуататоров, попытка Колесова окончилась неудачей.

колесовские события — см. Колесов.

«Колхоз „Коммунизм"» — автобиографический очерк С. Айни, впервые опубликован в журнале «Барои адабиёти сотсиалисти» (1934, № 3—4); русский перевод (под названием «Через двадцать лет») в журнале «Наши достижения» (1934, № 5).

кома — варенье на патоке, виноградном сиропе, также из дынных или арбузных корок, моркови.

«Коммунист Таджикистана» — ежедневная газета на русском языке, издается в Сталинабаде с 1929 г.

конфискация имущества продолжалась — здесь речь идет о реальном событии, имевшем место в марте 1888 года в Бухаре (см.: П. П. Ш. Трагедия в Бухаре. Исторический вестник, 1892, май, стр. 466—475). *(Ред.).*

кори — профессиональный чтец Корана на молитвенных собраниях во время поста, по умершему, на семейных празднествах и в других подобных случаях, многие суры Корана кори читает наизусть; в Бухаре существовали специальные школы — «кори-хона», где обучались чтению Корана наизусть, в подобные школы обычно отдавали слепых детей; слово «кори» являлось также приставкой к имени мулл или учащихся медресе.

Кори-Каромат Дилькаш Тамбури (ум. 1903) — талантливый бухарский поэт, ученик и последователь Ахмада Дониша (см.), известный музыкант-тамбурист, знаток «шаш-макома» (см.).

кори-мулло — название кустарной шелковой материи, вырабатывавшейся одним из известных мастеров в г. Карши.

коса — чашеобразный сосуд, глиняный или фарфоровый, в основном употребляется для подачи жидких кушаний на одного человека; нимкоса (полкосы) — такой же сосуд меньшего размера.

Котиён — селение бывш. Шофуркомского тюменя.

Коф (кухи Коф) — мифическая гора, на которой, по поверьям, обитали пери и другие сверхъестественные существа.

Кофарработ — селение в окрестностях Бухары, к северу от нее, бывш. Вобкентского тюменя.

«Кофия» — полное название «Кофия фи-н-нахв», один из самых распространенных учебных трактатов по арабской грамматике; автор — Ибн ал-Хаджиб (ум. 1249).

Кочихурон — селение бывш. Шофуркомского тюменя (см. Шофурком).

кукнор-хона — притон опиеманов, где пили маковый сок (кукнор), употреблявшийся в качестве наркотика.

Кульбобо Кукельташ — крупный сановник эпохи Абдуллы-хана Шейбани и его молочный брат; построил в 1578 г. в Бухаре медресе, носящее его имя.

Куляб — город в южном Таджикистане, расположен недалеко от берегов Пянджа. При бухарских эмирах был центром одноименного бекства, входившего в состав Восточной Бухары.

Кундуз — город в северном Афганистане; до занятия левобережья Аму-Дарьи афганцами в конце XIX в. Кундуз являлся центром одноименного узбекского бекства, временами зависевшего от Бухары.

курбан — религиозный праздник мусульман-суннитов, отмечаемый в 10-й день зульхиджи — двенадцатого месяца лунного календаря (см. солнечный календарь); в праздник курбан обычно закалывается жертвенное животное (баран или верблюд); мусульмане связывают этот праздник со сказанием о принесении Авраамом в жертву своего сына Исаака.

курейшиты — арабское племя, проживавшее в Мекке и в ее окрестностях; из этого племени в конце VI в. н. э. вышел мусульманский пророк — основатель ислама Мухаммед.

Кутейба ибн Муслим — арабский полководец и наместник Хорасана, завоевавший в 705—715 гг. значительную часть Средней Азии: области по Зеравшану и Кашка-Дарье, а также Хорезм; походами Кутейбы положено начало завоевания арабами Средней Азии.

«куф-суф» — магические слова, произносимые в качестве заклинания мусульманскими знахарями (также муллами или ишанами) для удаления злой силы.

кушбеги — первый сановник Бухарского ханства и заместитель эмира при его отлучках из Бухары. Кушбеги имел свою канцелярию, и в его руках сосредоточивались все дела государства, он являлся постоянным докладчиком эмиру; кушбеги проживал постоянно в бухарской цитадели (Арк), а при выезде эмира из цитадели не имел права покидать ее.

Кызылкум — полупустынная степь, переходящая на северо-запад от бухарского оазиса в песчаную пустыню.

кыт'а — буквально «отрывок», короткое стихотворение на случайную, внеканоническую тему, преимущественно из области бытовой и интимной лирики; формальный признак — отсутствие рифмы в полустишиях первого бейта (см.).

«Лейли и Меджнун» — название многих средневековых романтических поэм, сюжетом которых является история любви арабского юноши-поэта Кайса («Меджнуна», т. е. одержимого) к красавице Лейле.

«Ленин юли» — «Ленинский путь», газета, издается на узбекском языке в Вобкенте (см.) с 1933 г.; с 1942 г. называется «Кизыл-пахтачи» («Красный хлопкороб»).

лечение заклинаниями безумцев — по поверьям, которых придерживались и невежественные муллы, всяческие психические расстройства объясняли вселением в человека нечистой силы; поэтому, чтобы «изгнать беса», над больными читали молитвы, а также подвергали их побоям.

Лори, Абдулгафур (ум. 1506) — гератский богослов и философ, ученик Джами, автор его подробной биографии и комментария к «Шархи Мулло», т. е. к известному толкованию Джами на классический арабский грамматический трактат «Кофия фи-н-нахв» Ибн ал-Хаджиба (ум. 1248).

Лукман — легендарный арабский мудрец, неоднократно упоминаемый в Коране; ему приписывается множество изречений и сентенций, вошедших в пословицы.

Лутфи, Мулло-Назрулло — мелкий бухарский чиновник, выдающийся каллиграф, автор лирических стихотворений, друг Айни; умер в 1918 г. после наказания по приказу эмира 75 палочными ударами; Айни отозвался на его смерть элегией; творчество Лутфи не изучено.

Мавераннахр — буквально «то, что за рекой», «заречье»; в арабоязычной литературе халифата — название территории, расположенной к северо-востоку от реки Аму-Дарьи, области бассейна рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи.

мавлоно — «господин наш», первоначально арабское обращение к вышестоящему лицу, затем получило распространение на мусульманском Востоке как почетное обозначение поэта и ученого, а также как почтительное обращение к ним; из него образовалось путем стяжения известное слово мулло (мулла) (см.); иногда заменяет самое имя.

Мавлоно Абдуррахман Джами — см. Джами, Абдурахман.

Мавлоно Шариф — один из родов, члены которого принадлежали к бухарскому духовенству.

Мавлоно Шарифи Бухорои (полное имя Мавлоно Мир Мухаммад Шариф Хусайни-ул-Сиддики) — ученый и второстепенный поэт, родился в Шахрисябзе, умер в Бухаре в 1697—1698 г., был мударрисом, дослужился до степени ахунда (см.) и а'лама (см.), автор многочисленных работ по мусульманскому законоведению и суфизму (см.). *(Ред.)*.

маддох — уличный проповедник, профессиональный рассказчик разных историй, как священных, так и этических и нравоучительных.

мазар — священное место, гробница мусульманского святого, иногда кладбище; население почитало также в качестве мазаров отдельные деревья или рощи, камни, скалы, источники, в чем можно видеть пережитки анимистических воззрений; нередко такие места среди населения были известны под названием «кадам-джой», т. е. «место следа» (имеется в виду отпечаток ног святого), что свидетельствует о позднейшем напластовании мусульманских воззрений; при особо почитаемых и известных мазарах жили их «хранители» — шейхи, собиравшие в свою пользу подношения (назр) верующих, приходивших на поклонение.

Мазар Бахауддина Накшбанда — весьма почитаемая гробница известного бухарского суфия (см. Бахауддин Накшбанд), находящаяся в 12 км к северо-востоку от Бухары. Гробница является местом паломничества. Сюда же жители города выходили на весенние гулянья. При гробнице находится ханака с огромными куполами. Здесь жили дервиши, члены ордена Накшбандия, и главный шейх — хранитель мазара.

мазар Мири хурд и Мири калон — почитаемая гробница в Вобкенте.

мазар Ходжа-Мухаммади Турки-Джанди — гробница на городской окраине Бухары, в южном направлении; кладбище.

мазар Ходжа-Абдулхолика Гиждуванского — весьма почитавшийся мазар в г. Гиждуване (см. Ходжа Абдулхолик).

мазар Ходжа-Исхака Калободи — один из мазаров в окрестностях Бухары, к востоку от нее.

мазар Ходжа-Рушнои — мазар в г. Бухаре, вблизи архитектурного комплекса Ляби-хаузи-Арбоб (мечеть и медресе с бассейном).

мазар Ходжа-Убон (Ходжаи-Аубон) — находится в 40 км на северо-запад от Бухары.

мазар Чиль-Духтарон — буквально «Сорок девушек»; мазар Чиль-Духтарон находился к северо-западу от Бухары, на границе с пустыней; Чиль-Духтарон — название различных селений, гор, урочищ и других мест, связанных с распространенной в Средней Азии легендой о сорока девушках, бежавших от преследования.

Мазор — название селения, то же, что и Бахауддин (см.).

Мазрангон — канал, проходивший через селение Соктари (см.).

Мазхар Мирзо — см. Джони Джонон.

мактабдор — содержатель начальной мусульманской школы, учитель.

ман (батман) — в позднейшей Бухаре мера веса, равная 8 пудам (128 кг). *(Ред.).*

мангал — жаровня, переносный очаг с горячими углями для обогревания помещения.

мангыты — династия из узбеков-мангытов, сменившая аштарханидскую дина-

стию и правившая в Бухаре с 1753 по 1920 г.; мангыты — крупное узбекское родо-племенное подразделение, жившее в районе города Карши.

«Манокиб» — «Славословия», общее название произведений средневековой литературы, содержащих описание легендарных подвигов и восхваление святых и «борцов за веру».

маориф — просвещение, образование; название колхоза в селении Файзабад (см.).

Маргелан — крупный город в Ферганской долине, ремесленный и торговый центр; славился шелкоткачеством, производством вышивок, в дальнейшем центр хлопководческого района; с приходом русских недалеко от старого Маргелана вырос Новый Маргелан, в 1907 г. переименованный в Скобелев, а после революции — в Фергану, ныне центр одноименной области Узбекской ССР.

махалла (или гузар) — кварталы в городах и в крупных селениях Средней Азии. В среднеазиатской махалла были сильны пережитки общинных отношений (общее ремесло, общие мечеть и кладбище, совместное участие населения квартала в празднествах и т. п.) и кровнородственные связи (все население квартала или часть его вело происхождение от общего предка) (см. Бухара, кварталы); также — квартал, населенный бухарскими евреями.

Махалла — селение в Бухарском оазисе, вблизи селения Махаллаи-Боло (см.).

Махаллаи-Боло — селение бывш. Шофуркомского тюменя (см. Шофурком), из которого была родом мать Айни.

Махди (Мехди) — мессия, спаситель, который по религиозным представлениям мусульман, якобы должен восстановить чистоту ислама; у мусульман-шиитов представление о Махди связано с их двенадцатым имамом, который, по легендам, взят живым на небо и должен впоследствии явиться на землю для восстановления истинной веры.

махдум — так в Бухаре обычно называли сыновей духовных лиц (судей, шейх ул-исламов, раисов и др.); употребляют и самостоятельно, заменяя имя собственное.

махзар — разумеется сафлор, желтяница красильная (carthamus tinctorius), ее среднеазиатское народное название — масхар, у нашего автора махзар; и то и другое местное название, быть может, является испорченным арабским названием этого растения — му'асафар; разводится для получения масла и красителя для тканей. *(Ред.)*.

«Махмуд и Аёз» — мистико-эротическая поэма персидского поэта Зулали (ум. 1616), посвященная султану Махмуду Газневи (998—1030) и его любимцу Аёзу, отношения которых явились сюжетом для многих других поэтических и прозаических произведений.

махр — денежное и имущественное обеспечение, которое, согласно шариату, жених дает невесте; махр делится на две части: наличный — даваемый перед

бракосочетанием, и отложенный — который муж должен дать жене в случае развода, но который практически является фикцией; нередко махр смешивали с калымом, однако между ними нет ничего общего: калым являлся платой, выкупом за невесту и выплачивался ее отцу или ближайшим родственникам.

Меджнун — буквально «безумный от любви», прозвище Кейса, героя поэмы Низами «Лейли и Меджнун» и других одноименных произведений.

Медина — город на западе Саудовской Аравии, второй после Мекки священный город мусульман и место их паломничества; в нем провел значительную часть своей жизни пророк Мухаммед и здесь развернулась его деятельность.

медресе — высшая духовная мусульманская школа, семинария.

Медресе Гиждуванского Чубина — медресе в Гиждуване (см.); суфи Чубин, по-видимому, — Ходжа-Мухаммад Суфи, один из учеников бухарского шейха первой половины XIV в. Ходжа-Баба-Семаси (ум. 1354). *(Ред.)*.

Мекка — священный город мусульман в Саудовской Аравии, в котором находится главная мусульманская святыня — Кааба (см.); в Мекке родился пророк Мухаммед.

месневи — стихотворная форма с рифмой в полустишиях каждого бейта (см.); применяется главным образом в крупных произведениях эпического, повествовательного и дидактического содержания.

Мехди — см. Махди.

мехмон-ҳона — помещение для гостей, чаще всего ставилось отдельно от дома или находилось на внешнем дворе усадьбы; в мехмон-хоне устраивались мужские собрания, пирушки, увеселения.

Мехри — любящий, ласковый (псевдоним).

Мешхед — большой город в Хорасане, северо-восточном Иране; место паломничества мусульман-шиитов к гробнице похороненного здесь имама Реза.

мизон — по-арабски буквально «равновесие», «баланс»; первый осенний месяц по распространенному на Востоке солнечному календарю, начинающийся в день осеннего равноденствия; гулянье в мизон — по-видимому, пережиток древнего иранского обычая, когда с мизона начинался новый год.

милк (заминхои милк) — частное владение, частновладельческие земли.

минарет смерти — так в народе называли минарет Мир-Араб или Калон, минарет при соборной мечети в Бухаре, один из прекрасно сохранившихся памятников древнего зодчества, построенный в 1127 г. Арслан-Мухаммад-ханом; служил местом призыва мусульман к молитве; известны несколько случаев казни преступников путем сбрасывания с минарета, высота которого достигает $46^1/_2$ м.

мираб — лицо, наблюдавшее за распределением воды для орошения среди населения; формально мирабы были выборными лицами, но фактически они назначались властями.

Миракон — селение около Бухары, к юго-западу от нее.

Мир-Араб (Амир Абдуллах Ямини) — основатель бухарского медресе Мир-Араб (см.).

мир-газаб — буквально «князь (царского) гнева», т. е. палач.

мирза — см. мирзо.

мирзо (мирза) — писарь, писец, секретарь.

Мирзо-Азими Соми Бустони — см. Соми.

Мирзо-Махзар Джони Джонон — см. Джони Джонон.

Мирзо-Содик Мунши — секретарь эмира Хайдара (правил с 1800 по 1826 г.) и его отца Шох-Мурода (правил с 1785 по 1800 г.); известен в таджикской литературе как поэт (псевдоним — Джондори); главное его произведение — «Дахмаи шохон» (Гробница царей); Мирзо-Содик умер 20 октября 1819 г.

Мир-Кулол — духовный наставник Бахауддина Накшбанда (см.), считается патроном гончаров.

Мир-Кулол — селение.

мирохур-боши — мирохур — один из светских чинов в Бухарском ханстве (шестой в восходящем порядке), буквально «начальник конюшни»; мирохур-боши — старший мирохур.

миршаб — в Бухаре начальник полиции, которая выполняла свои обязанности только ночью; отсюда и название начальника полиции «мири шаб», буквально «ночной правитель».

мисколь — мера веса, примерно соответствует старому русскому золотнику.

миср а — полустишие (чаще — первое полустишие), половина бейта (см.); иногда слово «миср а» употребляется в значении «бейт»; второе полустишие бейта именуется «макта».

Миянкаль — густонаселенная и плодородная местность по среднему Зеравшану между Самаркандом и Хатырчи; Миянкаль расположен между двумя рукавами реки — Ак-Дарьей и Кара-Дарьей — и тянется более чем на 100 км в длину при 15 км (в среднем) ширины.

могила полна огня — выражение, по-видимому, связано с представлением об ангелах-допросчиках Мункире и Накире, которые взвешивают грехи; если их оказывается больше, чем добрых дел, то покойника жгут на адском огне и он превращается в золу.

мола — своеобразная борона, представляющая собой доску с торчащими гвоздями или щит-плетенку из ветвей; мола употребляется для выравнивания поля после пахоты, а также в качестве орудия молотьбы.

мош — бобовое растение (Phascolus Mungo).

мошоба — похлебка из моша (см.).

муаллим — учитель, преподаватель, педагог; в современном таджикском языке употребляется в том же значении.

мударрис — старший преподаватель медресе.

Музаффар — бухарский эмир (правил с 1860 по 1885 г.), в царствование которого Средняя Азия была присоединена к России, а Бухарское ханство поставлено в вассальное к ней отношение.

Музтариб, Мулло-Абдулмаджид (1842—1896) — бухарский поэт передового направления, почитатель Ахмада Дониша (см.), автор талантливых сатир и эпиграмм; умер в крайней нужде; произведения его не собраны, творчество не изучено.

«Муиззи» («Ал-Му'иззи») — анонимный трактат по арабской морфологии, приписывается Иззуддину Занджони (ок. 1257). *(Ред.)*.

мулла (мулло) — грамотный, мусульмански образованный человек, мусульманский священник.

мулло-бача — буквально «мулла-мальчик»; так называли в Средней Азии учащихся мусульманских школ, главным образом учащихся медресе.

Мулло-Бурхон Кулоби — см. Бисмиль.

«Мулло-Джалол» — обиходное название комментария, составленного Джалолиддином Даввони (ум. 1502) на сочинение по догматическому богословию «Акоид ул-Адудият» Иджи (ум. 1356); комментарий значительно облегчал понимание трудного арабского текста «Акоид» (см.). *(Ред.)*.

Мулло-Мухаммад Шариф Анбар — см. Анбар Мулло-Мухаммад Шариф.

Муллоён — название селения вблизи Бухары.

мулозим — низший служитель или чиновник, исполнявший различные поручения при крупном должностном лице (например, при раисе — см.).

мунаджджим — астроном, астролог.

Мунзим, Абдулвохид (1877—1935) — выдающийся таджикский поэт, участник бухарской революции, близкий друг и сподвижник Садриддина Айни; с начала 30-х годов почти не принимал участия в общественной жизни; творчество Мунзима не изучено.

мунозара — буквально «ода-прение», поэтическое произведение, в котором каких-либо два действующих лица ведут спор о своих достоинствах.

мунши — секретарь при правителе; лицо, составляющее описание событий (летописец).

мусаддас — буквально «шестиричный», строфическое стихотворение, каждая строфа которого состоит из шести строк (ср. мухаммас).

мусульманский брак — обычно совершается в форме прочтения муллой особой формулы (хутби никох); предварительно оба лица, вступающие в брак, должны быть спрошены при наличии двух свидетелей о согласии вступить в брак с данным лицом (называется имя и имя отца жениха и невесты) и дать устное согласие; существует ряд условий, которые соблюдаются при заключении брака; препятствием к браку являются некоторые категории

близкого родства и молочное родство, психическая ненормальность, несовершеннолетие (хотя родители могут совершать обряд и над малолетними детьми) и ряд других причин.

мутевалли — лицо, ведавшее имуществом, навечно отказанным в пользование какого-либо духовного или общественного учреждения (что обозначалось общим термином «вакф» — см.).

муфтий — толкователь вопросов мусульманского права; муфтии рассматривали постановления, основанные на шариате (так называемые фетвы или ривояты) и своей печатью свидетельствовали их правильность; обычно являлись также и преподавателями медресе.

мухаммас — буквально «пятиричный», одна из форм строфической лирики классической поэзии: каждая строфа мухаммаса состоит из пяти строк, из которых четыре рифмуют между собой, а пятая рифмует с пятыми строками всех остальных строф; особенное распространение получил мухаммас в подражательной поэзии XVI—XIX вв.; в «подражательном мухаммасе» только первые три строчки каждой строфы принадлежат автору его, а последние две являются очередным бейтом того стихотворения, на которое написан «подражательный мухаммас»; строчки же всякого мухаммаса являются не бейтами (т. е. не двустишиями), а простыми, ординарными строчками — мисра (см. бейт и мисра).

Мухаммед (570—632 гг. н. э.), — пророк, основатель ислама.

Мухаммад Боки — селение бывш. Шофуркомского тюменя (см. Шофурком).

мухаррам — первый месяц мусульманского лунного года, как и все лунные месяцы, приходившийся на различное время солнечного календаря (см.); в первые десять дней (ашура) месяца мухаррам шииты (см.) отмечают трагическую гибель своего имама Хусейна (см.): в эти дни организуются чтения воспоминаний о гибели Хусейна, театральные представления и карнавальные шествия, посвященные этому событию, во время которых фанатики занимаются самобичеванием и наносят себе раны кинжалами; в 1910 г. именно во время этих церемоний была спровоцирована в Бухаре резня между шиитами и суннитами (см. шииты).

Мухиддин — старший брат Садриддина Айни, убитый басмачами весной 1922 г. в Соктари.

мухолиф — буквально «противоречащий», особый мотив с диссонансами в среднеазиатской музыкальной системе «шаш-маком» (см.).

мухрона — от слова «мухр» (печать); сбор, взимавшийся за приложение печати к документу.

Мухтарам, Ходжи Не'матулло (ум. 1920) — посредственный бухарский поэт реакционного направления, выдвинувшийся в первых годах XX в. (первый псевдоним — Нозук); в 1910 г. закончил составление обширной антологии «Тазкират-уш-шуаро», посвященной таджикским поэтам конца XIX—начала XX вв.; до нас дошло две рукописи антологии: автограф, содер-

жащий несколько более половины работы (125 авторов), и сокращенная редакция всей работы, выполненная Садри Зиё (см.), содержащая 175 авторов.

«Мухтасари Викоя» («Мухтасар ал-Викоя» — «Сокращенная Викоя») — название распространенного в Средней Азии учебника XIV в. по мусульманскому праву ханифитского толка (см. Имоми А'зам); является вторичным сокращением основного юридического свода «Хидоя» (см.), составленного Али Маргинани — крупным мусульманским богословом-законоведом, автором многочисленных трудов; Али Маргинани происходил из Маргелана (Ферганa), умер в 1197 г.

Мухтодж, Мухтоджи — нуждающийся (псевдоним; см. Айни).

Муштоки — нуждающийся (псевдоним; см. Бисмиль, Мулло-Бурхон Кулоби).

муэдзин — служитель при мечети, провозглашающий азан (см.).

Му'тасим Шариф-махдум — см. Шариф-махдум Му'тасим.

мюрид — ученик, последователь духовного руководителя — ишана (см.).

на букву арабского алфавита «с» с тремя точками — в ранее принятой для таджикского языка арабской графике имеются три разных буквы, которые в таджикском языке читаются как «с», одна из этих букв имеет наверху три точки.

Наводир-ул-вакое — «Редкости событий», самое большое произведение Ахмада Дониша (см.), состоит из двадцати двух разделов различного содержания, написанных между 1875 и 1882 гг. (первая редакция); центральной частью является политический трактат, содержащий критику эмирского строя.

Навои, Алишер (1441—1501) — великий узбекский поэт и писатель, мыслитель и государственный деятель, основоположник узбекской литературы и создатель узбекского литературного языка.

Навруз (ноуруз) — Новый год (буквально «новый день»), новогодний весенний праздник. Празднование навруза в Иране и соседних странах известно еще в глубокой древности. И до настоящего времени Навруз в Иране является наиболее значительным праздником, имеющим не только народный, но и официальный характер; с Навруза (день весеннего равноденствия — 21 марта общепринятого календаря) начинается иранский солнечный год. В Средней Азии наступление Навруза отмечалось массовыми народными гуляньями — выходом на ближайшие к городу холмы, где в это время года распускались тюльпаны, коллективными угощениями, крашением яиц, устройством качелей, на которых качались женщины и девушки. К Наврузу убирали и приводили в порядок дома, старались справить всем членам семьи новую одежду. В прежнее время учащиеся медресе ходили группами из дома в дом с букетами цветов и распевали песни, в которых славили Навруз, наступление весны; хозяева домов давали им подарки — деньги, сласти. В ряде мест весенние празднества растягивались на значительное время; так, например, в Бухаре в течение целого месяца до Навруза ежедневно по пятницам устра-

ивались массовые гулянья за городом. Иногда празднования, связанные с Наврузом, — по-видимому в зависимости от климатических и погодных условий, — отрывались ото дня весеннего равноденствия, и тогда различали как бы два праздника — Навруз и «сари сол» (буквально «начало года»). В Навруз, который справлялся раньше или позднее дня весеннего равноденствия, устраивались различные мероприятия, часто местными властями, — например, всевозможные состязания, козлодрания и т. п.; «сари сол» носил более интимный характер.

нагрузка — в тексте также русское слово «нагрузка».

Наджмиддин Умари Казвини (по прозвищу Дабиран) (ум. 1276) — автор ряда сочинений на арабском языке по логике, богословию и т. п., служивших учебниками в среднеазиатских медресе.

Накшбанд — юродивый, одержимый, безумец, прозвище бухарского суфия Бахауддина (см.).

накши ислими — название узора: растительный непрерывный орнамент, обрамляющий центральное поле.

Намадгарон — буквально «валяльщики кошм», селение вблизи Гиджувана (см.).

намаз — молитва; мусульманскими религиозными предписаниями для верующих установлена ежедневная пятикратная молитва: первый намаз совершается на рассвете (намози бомдод), второй — после полудня (намози пешин), третий — перед вечером (намози аср), четвертый — в сумерках (намози шом), пятый — часа через два после наступления темноты (намози хуфтан); для совершения намаза верующие собираются в мечети.

наме-исти! (русск. «на месте!») — по-таджикски — отрицательная форма повелительного наклонения второго лица единственного числа от глагола истодан (стоять), т. е. «не стой!».

Намруд (Немврод) — в мусульманской традиции легендарный царь — богоотступник и нечестивец, объявивший себя богом.

народ бросился к чашке с водой, которую обычно употребляют во время брачного обряда — на свадьбе перед муллой, совершающим обряд, ставилась чашка с водой, из которой затем по обычаю отпивали немного воды новобрачные; после этого каждый из присутствовавших старался выпить немного «брачной воды», которая считалась благословенной (особенно неженатая молодежь, чтобы скорее жениться).

нас (нос) — род жевательного табака, употребляемого в Средней Азии.

Насри — помогающий (псевдоним).

наста'лик — из слов «насхи та'лик», буквально «насх с вязью», название одного из почерков арабско-персидской графики, получившего всеобщее распространение в Иране и Средней Азии начиная с XV в.; в отличие от предшествовавшего ему почерка «насх», позволял писать значительно быстрее, мельче и каллиграфичней.

невеста стояла за свадебной занавеской — в свадебном покое часть комнаты отгораживали занавеской, за которой сидели молодожены; сюда же приходили родные молодого для «смотрения лица новобрачной» — «рубиник», при этом ей должны были делать подарки.

неграмотный переписчик написал «нок» — буква «н» в арабском алфавите пишется с одной точкой наверху, буква «т» — с двумя точками, отсюда возможны описки при написании слов, включающих эти буквы.

не свой (номахрам) — мужчина, не являющийся родственником, не может встречаться с женщинами данного дома.

нимтайёр — полуподготовленный (см. тайёр); так назывались люди, достигшие известной степени удальства среди гуляк Бухары.

нимча — бухарская мера веса, равная русскому фунту или 409.5 грамма; автором приводится приблизительное исчисление нимчи в 500 грамм. *(Ред.)*.

«Нисоб-ус-Сибьён» — «Основание [обучения] детей», очень известный учебный арабско-персидско-таджикский словарь в стихах, который до самого последнего времени служил школьным пособием в Иране и Индии; употреблялся и в Средней Азии; его автор, Абу-Насри Фарахи, составил этот словарь в 1221 г. *(Ред.)*.

ничего не просил при помощи касыд — касыда — хвалебное стихотворение, в конце которого часто содержится откровенная просьба награды (см. также касыда).

ниша для покойника — в Средней Азии в ряде мест при мусульманских захоронениях у дна могилы устраивают нишу (лахад), в которую и кладут покойника.

нишалло — лакомство, приготовляемое из сахара и сбитых яичных белков с прибавлением мыльного корня, на которое был особенный спрос в праздники, а также в дни поста рамазан; белый цвет нишалло символизировал благополучие.

Нодир, Дуст-Мухаммад (ум. 1922) — происходил из Байсуна, в течение ряда лет служил казием в различных областях бухарского ханства, под конец достиг должности муфтия в Бухаре; подражательный поэт реакционного направления; произведения его почти не сохранились.

ноз — кокетство.

Нозим из Герата (Нозими Хироти) (ум. 1670—1671) — придворный поэт персидских наместников Герата; особенной известностью пользовалась его поэма «Юсуф и Зулейхо».

Нозук — нежный, деликатный (псевдоним; см. мухтарам).

... но когда попытался найти девушек и мальчиков, которых было в обычае представлять эмиру, он столкнулся с большими трудностями — здесь имеется в виду вербовка среди населения красивых девушек для эмирского гарема, а также мальчиков в качестве «бача» (излюбленным развлечением феодаль-

ной знати, среди которой были широко развиты гомосексуальные извращения, были пляски красивых разряженных мальчиков — «бачей»); существовали специальные агенты эмира, разыскивавшие красивых девушек и мальчиков и насильно забиравшие их для эмирского двора; естественно, что родители всячески скрывали и оберегали от этого своих детей.

нон — хлеб, хлебная лепешка.

нони осиё — буквально «хлеб мельницы», толстые лепешки из просеянной муки, которые выпекали в селении Гала-Осиё под Самаркандом (одноименный кишлак был и под Бухарой — см. Гала-Осиё).

нукер (наукар) — мелкий служащий, посыльный, курьер в эмирской Бухаре; нукеры за свою службу получали ничтожное вознаграждение, если же они были из крестьян, то освобождались от государственных налогов с земли.

Нурата — крупное селение, районный центр Самаркандской области, славящееся народными ремеслами.

нуратинская алача — шелковая или полушелковая ткань из селения Нурата, для которой был типичен мелкий, тонкого рисунка растительный орнамент с мягкой расцветкой.

Нурек — мост на реке Вахш (см.), перекинутый в узком месте реки над каньоном; рядом с мостом расположено одноименное селение.

Обеспечение невесты на случай развода — см. махр.

«Образцы таджикской литературы» («Намунаи адабиёти тоджик») — первая антология таджикской литературы с X по XX в., составлена Айни, издана на арабской графике в 1926 г. в Москве.

обхона — буквально «водяной дом»; тюрьма, расположенная в крытом проходе в эмирской цитадели под конюшнями, от чего в камерах было сыро от просачивавшихся сквозь потолок нечистот и воды; в обхоне после наказания 75 палочными ударами в апреле 1917 г. сидел Айни, там же был умерщвлен его младший брат Сироджиддин (см.).

огнепоклонники — в основном последователи зороастрийского вероучения, почитавшие огонь священным, так же как и другие стихии; в древности поклонение огню в Средней Азии было широко распространено.

одог (обдог) — заливной луг, пойма реки.

оламиён — представитель улемов (см.), выполнявший различные обязанности (по Айни, являвшийся правительственным чиновником) и, в частности, бывший одним из главных участников церемонии раздачи пособия (стипендии) учащимся медресе и муллам.

Олим-хон — эмир Алим-хан (см.).

олуфта — щеголь, хорошо одетый человек; гуляка.

омейяды — династия мусульманских халифов (потомков Омейи, принадлежавшего, как и пророк Мухаммед, к племени курейшитов), захватившая халифскую власть после смерти Алия в 661 г. и уничтоженная в 750 г. аббасидами (см. Аббас); столицей омейядов был Дамаск.

омовение — мусульманская религия предписывает верующим совершение ритуального омовения перед молитвой, а также после отправления естественных надобностей, половых сношений и в ряде других случаев; при омовении соблюдается определенный порядок омовения различных частей тела.

он начал ватой капать отцу воду в рот — обычай капать воду в рот умирающему связан с поверьем о том, что таким образом мешали дьяволу, старавшемуся дать выпить умирающему своей мочи; по другому поверью, вода вливалась для того, чтобы умирающий смог напиться из мифического райского источника Кавсар, т. е. попасть в рай (вероятно, капли воды символизировали воду Кайсара).

орден «Благородной Бухары» — «Орден государства благородной Бухары» — надпись на бухарских орденских звездах. *(Ред.).*

Оренбург — город, областной центр; Оренбург в XVIII—XIX вв. сыграл огромную роль в качестве передового форпоста России для торговых сношений с Казахстаном и Средней Азией, а затем и для присоединения указанных областей к русскому государству.

Осим («защитник», псевдоним) Ходжа-Иброхим (ум. 1905) — второстепенный бухарский поэт, соученик Айни по медресе (см.: С. Айни. Образцы таджикской литературы, стр. 428); более подробные сведения о его жизни и творчестве не сохранились.

Осман (644—656 гг. н. э.) — третий халиф, преемник пророка Мухаммеда; представитель мекканской родовой аристократии; при нем арабами были совершены обширные завоевания.

Остона-кул-бек, бий — бухарский кушбеги из персов (ирани), был смещен после беспорядков в Бухаре в 1910 г.; беспорядки эти, спровоцированные духовенством, вылились в кровавую резню между населением, исповедовавшим официальный толк ислама — суннизм, — и персами-шиитами (см.).

«Оташкада» («Храм огня», «Храм огнепоклонников») — составлена в 1761—1780 гг., содержит краткие биографии и образцы произведений 842 поэтов; автор — известный в свое время персидский поэт Лутфали-бек Азар, родился в Исфагане в 1722 г.

«Ответ» — подражательное стихотворение, которое должно обязательно иметь размер и рифму подлинника; см. также мухаммас.

паджолиска — искаженное русское «пожалуйста».

палас — шерстяной ковер без ворса.

Памуза — из Пахнмуза (широкий сапог) — селение к югу от Гиждувана.

паранджа (фаранджи) — особая женская выходная одежда в виде халата с фальшивыми рукавами, которая набрасывалась на голову и запахивалась спереди, совершенно скрывая, таким образом, фигуру женщины, в то время как лицо закрывалось густой волосяной сеткой — чачван (чашмбанд); паранджа и чачван бытовали, главным образом, в городах, где женщина не была занята производительным трудом, а в сельских местностях, особенно же

в горных районах, паранджа и чачван заменялись накинутыми на голову платками или детскими халатиками, которыми женщины закрывали лицо от посторонних.

парвардигор — господь, творец-питатель (один из эпитетов Аллаха).

пари-паша — один из сортов шелковой материи (буквально «крылышко комара»).

Патти, Аделина (1843—1919) — известная итальянская певица, с 1861 г. гастролировала во всех европейских странах (в том числе неоднократно в России); Айни ошибочно назвал ее французской певицей.

пахса — битая глина, употребляющаяся для возведения стен; такие стены возводятся обычно рядами (блоками) из глины, накладываемыми один на другой; подобный ряд (блок) также называется пахса.

пендинская язва — накожное заболевание, оставляющее после себя очень заметный рубец; было широко распространено в Средней Азии, особенно в Туркмении («пендинка» по имени оазиса Пенде в долине р. Мургаб).

первая утренняя молитва (намози бомдод) — см. намаз.

передняя и задняя части комнаты — задняя часть комнаты (пешгох — почетный угол) считалась почетной, устилалась коврами, паласами; передняя часть (пойгох), ближе к двери, служила нередко (если не было перед ней другого помещения) для оставления обуви; при трапезах почетные гости усаживались в задней части комнаты или «вверху» (боло).

пери — сверхъестественные существа; по народным поверьям, пери являются преимущественно в виде прекрасных женщин, которым не чужда любовь к смертным.

Пешавер (Пешавар) — город в западном Пакистане, административный центр Северо-Западной Пограничной провинции, лежит на путях, ведущих из Индии в Афганистан.

Пешку — один из бывш. тюменей бухарского оазиса, расположенный на северо-запад от города (на расстоянии 35—50 км), на границе с пустыней.

пиёба — луковая похлебка.

пир — наставник (у суфиев), покровитель, патрон (у ремесленников).

Пирмаст — канал в бухарском оазисе (см. Пирмаст, тюмень).

Пирмаст — один из бывш. тюменей в бухарском оазисе, по соседству с Гиждуванским, Шофуркомским и Вобкентским тюменями; славился изготовляемой в нем виноградной патокой.

Пирмасти, Афзаль-махдум (род. в конце 40-х годов XIX в., ум. 1915) — бухарский мулла, чиновник и литератор реакционного направления, автор известной антологии (см. тазкире Афзаля), а также посредственных лирических и панегирических стихов.

погребальные носилки — деревянные носилки, на которые клали покойника, обернутого в саван, и относили на кладбище; такие носилки хранились при кладбище.

подвязав умершему подбородок, большие пальцы ног — покойнику подвязывали челюсть, чтобы рот не остался открытым, затем выпрямляли руки и ноги и связывали большие пальцы ног.

подвязывая челюсти — т. е. обряжая покойника, которому подвязывают челюсть.

подмастерьев у нас в мастерских часто зовут «блажными» — девона-бача (блажные парни) называли подмастерьев в ремесленных цехах Бухары; это название возникло, по-видимому, в связи с тем, что подмастерья, не имевшие собственной мастерской, часто переходили из одной мастерской в другую.

поёноб — низовья реки, поёнобиён — живущие в низовьях реки.

пожелаем работающим на хашаре не знать усталости — обычным пожеланием работающим людям является: мондахо, монда нашавед! (не уставайте!), подобно старому русскому «бог в помощь!».

пойкор — человек, выполняющий разные поручения в ремесленном цеху, помощник старшины цеха.

пойтуг — буквально «подножье туга», т. е. мазар (см.), над которым часто сооружался шест с хвостом лошади или яка, называвшийся «туг»; переносно «пойтуг» на жаргоне гуляк и игроков называли воровской притон, игорный дом.

поклялся разводом с женой — клятва разводом с женой была очень убедительным аргументом: по шариату, мусульманину достаточно было трижды произнести слово «талок» (развод), как он считался разведенным с женой, при этом разведенную жену он снова мог взять в жены лишь после того, как она выйдет замуж за другого мужчину и затем с ним разведется.

положить старуху на доску — соответствует русскому «взять за горло»; имеется в виду доска, на которой обмывают покойников.

получив от помощника «оламиёна» сверток со ста двадцатью теньгами, подносили его сначала ко рту и целовали, потом, поднеся к лицу, терли им глаза — выражение почтения ко всему, что исходит от эмира; так поступали и с эмирскими указами, жалованными грамотами и т. п.

помогите — в оригинале первое слово стиха начинается на букву «с» ثابت (ث): (собит); также и последнее слово кончается на ту же букву «с». الغياث (алгиёс).

пост (руза) — мусульмане обязаны соблюдать пост в течение всего месяца рамазана (см.), т. е. в продолжение дня верующий должен воздерживаться от еды, питья и курения; это воздержание нарушается лишь с наступлением темноты, поэтому во время поста к вечеру приготовляют обильную трапезу, а кроме того, едят еще раз рано утром, до рассвета.

по шариату моя воля окажется в ваших руках... — имеется в виду установление шариата (см.) о том, что жена обязана подчиниться мужу во всем, что пред-

писано по закону; по кораническому изречению, «мужья стоят выше жен потому, что бог дал первым преимущество над вторыми, и потому, что они из своих имуществ делают траты на них» (сура IV, стих 38).

пошшо — искаженное слово «подшох» (государь, государыня); слово пошшо является также приставкой к некоторым женским именам.

пояки — человек, разносивший кальян (чилим) на базарах.

право жены и матери согласно шариату — по шариату (см.) муж обязан при женитьбе дать жене обусловленное обеспечение, в дальнейшем содержать свою жену, устроить ей особое помещение, предоставить жене право навещать своих родственников и принимать их у себя; после смерти мужа жена наследует $^1/_4$ его имущества, если у него не осталось детей, и $^1/_8$ — если имеются дети; сын обязан обеспечивать свою мать: если он человек состоятельный, обеспечение осуществляется без указания размера пособия, если же он не имеет средств, то обязан довольствовать нуждающуюся мать наравне с собственным семейством; мать имеет право на $^1/_3$ наследства умершего сына, не оставившего детей, в противном случае — на $^1/_6$ часть.

«пребывающий (подле эмира)» (истикоматчи или истикомати) — буквально «живущий», «жилец», пребывающий при ком или при чем-либо; в бухарском административном обиходе находящиеся не у дел чиновники назывались «состоящими или пребывающими при высочайшем стремени». *(Ред.)*.

предвечерний намаз — см. намаз.

прибавить «у» — т. е. прибавить союз «и» («у» — по-таджикски союз «и»).

приложил большой палец, обмакнув его в чернила — это заменяло подпись и было особенно распространено при почти поголовной неграмотности населения; следует отметить, что даже должностные лица, умевшие читать и писать, вместо подписи ставили свою печать.

пришлешь ко мне свою звезду — здесь игра слов: девушку-служанку звали Ситора, что значит «звезда».

провели ладонями по своим лицам — по мусульманскому ритуалу при произнесении молитвенной формулы, заключающей дело, или при прощании проводят обеими ладонями по лицу сверху вниз.

продали в рабство — несмотря на обязательство, принятое бухарскими властями, отменить в ханстве рабство, таковое скрытно сохранялось вплоть до падения эмирата в 1920 г.; рабами в ханстве являлись главным образом иностранцы — пленные русские, калмыки, персы.

Пули-Эшон — мост на Зеравшане в окрестностях Бухары.

пуль — в Бухаре монетная единица, равная примерно одной четверти копейки; при номинальном курсе бухарской серебряной теньги в двадцать коп. в ней было восемьдесят пуль; в описываемое время курс теньги был, вероятно, копеек восемнадцать, следовательно, в теньге фактически было семьдесят восемь пулей. *(Ред.)*.

Пьянит твой томный взгляд сильнее, чем сто кувшинов вина.

Краса твоя несравненна и жизней стоит, таких как я, более ста! — Это двустишие в оригинале:

Наш'аи сад хум шароб аз чашми мастат ғамзае.
Хунбаҳои сад чу ман аз ҷилваҳоят як адо;

последняя строка, если прочесть слово «чуман» как «чаман» (луг, лужайка), будет иметь иное значение: одно явление твоей красоты — цена за жизнь сотни зеленых лужаек.

пятничный намаз — по пятницам (у мусульман праздничный день, аналогичный христианскому воскресенью) совершается особо торжественный дневной намаз (см.).

раб, рожденный при доме, с кольцом в ухе — раб, рожденный в рабском состоянии (от раба); кольцо в ухе — знак рабства.

Работи-Казок — таджикское название селения Казок-Работ (см.).

«Рабы» («Гуломон») — исторический роман Айни, крупнейшее его прозаическое произведение, вошедшее в классический фонд общесоюзной советской литературы; опубликован в 1935 г.

размачивать в воде бумажку с написанными на ней семью изречениями из Корана — один из приемов «лечения», применявшихся табибами (см.); воду с растворенными в ней чернилами от написанных на бумаге молитв считали целебной и давали пить больному.

раис — должностное лицо в Бухарском ханстве, наблюдавшее за благочестием, следил за выполнением всех предписаний религии населением, а также за правильностью мер веса и длины у торговцев; нарушители по его приказанию наказывались плетью (дарра) или палками.

рамазан — название девятого месяца лунного мусульманского года, в течение которого соблюдался пост (руза, см.).

Рафтор — буквально «походка» (прозвище, намекающее на то, что Абдурахмон, носивший это прозвище, был известен своим безнравственным поведением — склонностью к гомосексуализму).

растворял комья глины и земли, высушенные на солнце, — такой способ применялся при изготовлении «шинни» (виноградной патоки или бекмеса) для осадка мути в виноградном соке.

Рахим-хан (Мухаммад Рахим) — основатель мангытской династии (правил с 1753 по 1758 г.), устранивший последних ханов из династии аштарханидов.

Рахмон-кул-бий — один из высших сановников при эмире Абдулахаде, церемониймейстер двора.

Регзор — селение по дороге из Бухары в Гиждуван.

Регистан — буквально «песчаное место», «пустыня», название площади перед дворцом правителя (перед Арком в Бухаре — см. площади Бухары; также в Самарканде).

редиф — слово или группа слов, повторяющихся вслед за рифмой, подчеркивая и усиливая ее.

«**Редкости событий**» — см. «Наводир-ул-вакое».

рисола — прозаическое (в редких случаях — поэтическое) произведение, посвященное изложению одной самостоятельной темы; трактат, сочинение, история происхождения какого-либо ремесла, изложение установлений ремесленного цеха.

рифма в этом стихотворении была очень «тесной» (танг), и дать на нее подходящий ответ было довольно трудно — классические формы поэзии, газель и касыда, монорифмичны, т. е. поэту для каждого стихотворения требуется найти столько рифмующихся слов, сколько в нем строчек; если в языке очень мало слов на ту или иную рифму, если поиски таких слов, а тем более попытки соединить их в контексте стихотворения, вызывают большие трудности, то такую рифму называют «тесной».

риштa — червь-волосатик, попадающий с водой в организм человека и паразитирующий под кожей; заболевание «риштой» было широко распространено в Бухаре, где пили из водоемов с редко менявшейся водой.

Ришти — название селения под Бухарой.

Роджи, Идрис-ходжа (1880—1919) — плодовитый бухарский поэт, казий, сподвижник Мухтарама (см.), близкий к придворному кругу эмира Абдулахада (см.); считался одним из искуснейших поэтов своего времени.

Розмоз — селение в окрестностях Бухары, бывш. Вобкентского тюменя.

Ромитан (Рометан) — селение к северу от Бухары.

Рубахо (лисы) — селение бывш. Шофуркомского тюменя (см. Шофурком).

рубоб — многострунный музыкальный инструмент, по размерам больше дутара, с большим резонатором, часто с вычурной ручкой.

рубои — четверостишие, наиболее излюбленная из малых лирических форм в народной и письменной таджикской и персидской поэзии.

рузи киёмат — день «воскресения из мертвых».

Руми, Джалолиддин (родился в Балхе в 1207 г., умер в Конии в 1273 г.) — наиболее значительный поэт мистико-дидактического (суфийского) направления, писал на персидском языке.

Русский Туркестан — области Средней Азии, после присоединения края к России отошедшие непосредственно в ведение русской администрации, в отличие от ханств Бухарского и Хивинского, находившихся в вассальных отношениях к России.

Рустам — легендарный богатырь, герой эпических сказаний народов Средней Азии и Ирана; наиболее полное художественное воплощение образ Рустама получил в «Шахнаме» Фирдоуси (см.).

Саади (Шейх Мушрифуддин сын Муслихуддина Саади Ширази; ок. 1200—ок. 1290) — великий персидский поэт, автор поэм «Гулистан» и «Бустан» (см.).

сабзоб — настой конопли, употреблявшийся как наркотик.

Савдо, Абдулкодир-ходжа (1824—1873) — бухарский поэт, выдающийся представитель передового направления таджикской литературы XIX в.; в его «шуточных» стихотворениях богато представлена жизнь простых горожан, широко использована разговорная лексика; участвуя в придворном литературном круге, Савдо отдал дань лирической подражательной поэзии.

савр — второй месяц распространенного в Средней Азии солнечного календаря; начинался 21 апреля.

савти калон (длинная песня) — лирические песни, импровизации без музыкального сопровождения (ср. узб. катта ашула).

Садр Зиё, Мухаммад Шариф — см. Зиё.

сайид — потомок пророка Мухаммеда; сайиды относились к привилегированной части населения в Бухарском ханстве.

Сайид-Олим-хон — см. Алим-хан.

Сайид-Ато — селение бывш. Шофуркомского тюменя (см. Шофурком).

Сайидкент — селение вблизи Соктари (см.).

салам — приветствие, пожелание здоровья.

салам алейкум — формула приветствия: «мир вам»; ответная формула — ва алейкум ас-салам: «и вам мир».

саманиды — таджикская династия (875—999), создавшая обширное государство в Средней Азии со столицей в городе Бухаре. По преданиям, саманиды ведут свой род из города Балха от некоего Самана, внуки которого — Нух, Ахмад, Яхья и Ильяс — занимали государственные должности в арабском халифате и были правителями различных областей Мавераннахра (см.). Второй сын Ахмада, Исмаил, положил конец междоусобицам среди отдельных правителей Средней Азии, объединил страну и создал централизованное, сильное и независимое государство. В состав государства Исмаила вошли весь Мавераннахр, Хорасан, ряд восточных и северных областей Ирана. Исмаил ввел в государстве стройную систему управления, под властью Исмаила и его преемников страна достигла значительного политического могущества, экономического и культурного процветания, выросли города (особенно Бухара), широкий размах получила торговля с ближайшими и отдаленными странами. Правление саманидов было эпохой блестящего расцвета средневековой науки, таджикского языка и таджикской литературы (поэты Рудаки, Дакики, Фирдоуси, историки Наршахи и Балами, ученый-энциклопедист Абу Али ибн Сино и многие другие). Ослабление власти саманидов начинается с середины X в., причиной чего явились распри между отдельными представителями династии, феодальные междоусобицы, нападение кочевников извне, а также народное недовольство и восстания. В конце X в. Мавераннахр был захвачен тюркскими кочевниками, возглавлявшимися ханами из племени ягма, называемыми караханидами, а южные

области саманидского государства попали под власть основателя династии газневидов Махмуда.

само-осмон, арзу гарбро-замин — первое и второе слово значат «небо» (арабское слово с переводом на таджикский язык); следующие три слова (первые два — арабские, а третье — таджикское) значат «земля».

самовар-хона — буквально «самоварная», чайная, где продавали кипяток для чая и чай.

санг — в Бухарском ханстве единица измерения веса (от 5 до 8 кг) и длины (около 8 км), а также воды (количество воды, которым можно привести в движение один жернов — санг на мельнице).

сандали́ — невысокий табурет, который ставят над жаровней или углублением в полу с горячими углями и накрывают толстым одеялом; зимой обычно сидят вокруг сандали́, засунув ноги под одеяло, так же и спят.

Сарай-Камар — в бухарское время крупное торговое селение на Пяндже, где имелся пограничный пост, таможня и переправа через Пяндж; ныне город Кировабад — районный центр Таджикской ССР.

Сарвари — селение бывш. Шофуркомского тюменя (см. Шофурком), недалеко от селения Махаллаи-Боло (см.).

Сари-Пули-Эшон — небольшое селение вблизи Соктари (см.).

Сарир, Абдулвохид (Садри-Сарир) (1810—1886) — бухарский поэт придворного круга, в течение 50 лет занимал должность казия в разных районах ханства; выдающийся представитель подражательного мистического направления в поэзии и один из образованнейших людей своего времени; стихотворения его имели большое распространение.

сароджа — паланкин, вьючные носилки.

саттор — прощающий грехи, всепрощающий (эпитет бога); самая сильная клятва у гуляк Бухары: преступивший эту клятву подлежал наказанию, вплоть до убийства его.

Сахбо, Мирзо-Хаит — талантливый бухарский поэт; несмотря на высокое положение в эмирской администрации, смело обличал беззакония и разврат придворных кругов, за что неоднократно подвергался преследованиям и наконец в 1918 г., в возрасте около 70 лет, был предан мучительной казни (см.: С. Айни. «Образцы таджикской литературы», стр. 394).

Сахихи Бухори («Сахих» Бухори), «Сахих» (полное название — «Джами-ус-Сахих», т. е. «Истинный сборник») — сборник высказываний Мухаммеда, автор его — Абу Абдаллах Бухари (ум. 870); сборник имел большое распространение, на него написано несколько комментариев, автором одного из них был ученый богослов Айни (ум. 1451). *(Ред.)*.

сбросив с минарета — см. минарет смерти.

«свет знаний погас» — в оригинале: «гӯё бирафт равнақи илми нуҷум»; здесь содержится хронограмма, составляющая 1314 год хиджры, что соответствует 1897 году европейского летоисчисления.

свет попадал через отверстие в потолке — во многих домах Бухарского ханства в потолке делалось отверстие, через которое в помещение, лишенное окон, падал свет, а также из помещения наружу выходил дым от очага; это отверстие закрывалось в случае надобности особой крышкой или затыкалось ветошью.

сель — бурный поток с гор, чаще всего случается в весеннюю пору в результате выпадения обильных дождей; сель нередко причиняет большие разрушения — сносит постройки, размывает поля; в результате селя иногда гибнут люди и домашний скот.

сидеть на коленях, опершись на ноги — один из распространенных способов сидения на Востоке, при котором, опустившись на колени, опираются на пятки.

симкаши — вытягивание проволоки (в ювелирном деле).

Сироджиддин — младший брат Садриддина Айни и его воспитанник, был убит в 1918 г. в эмирской цитадели, в тюрьме «обхона», после тяжелых истязаний; Садриддин Айни посвятил брату элегию (написана в августе 1918 г.).

ситора — звезда.

Ситора махоса (Ситораи-Мох-и-Хосса, Ситора маххоса) — загородный дворец последнего эмира, расположен в 4 км от Бухары; ныне во дворце помещаются отделы прикладного искусства Бухарского краеведческого музея, а в зданиях, находящихся в саду дворца, разместился Дом отдыха для трудящихся.

Сифли — низкий, презренный, псевдоним (см. Айни).

Сиявуш — знаменитый герой древнего эпического предания, образ светлого юноши, убитого по наущению коварной женщины, один из персонажей «Шахнаме» Фирдоуси (см.).

«Смерть ростовщика» (Марги судхур) — повесть Айни, опубликованная в 1939 г. и вновь переработанная в 1953 г.; с огромной психологической глубиной дан образ скряги и ханжи, ростовщика, типичной фигуры для Бухары на рубеже XIX и XX вв.

соат — часы, час.

Соиб, Мирзо Мухаммад-Али Исфахони (1603—1677) — знаменитый индо-персидский поэт, выдающийся представитель позднеклассического, в значительной мере подражательного направления, последователь Хафиза; оказал большое влияние на персидскую и таджикскую литературу XVII—XVIII вв.

Сокгари — селение бывш. Гиждуванского тюменя (см. Гиждуван), родина Айни.

соли мург (год курицы) — в Средней Азии был распространен счет лет по двенадцатилетнему животному циклу; каждый год этого цикла носил имя ка-

кого-либо животного (мышь, корова, барс, заяц, кит, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья), причем по некоторым свойствам этого животного год считался хорошим или плохим, счастливым или несчастливым; это убеждение распространялось и на судьбу человека, якобы связанную со свойствами того животного, в год которого он родился.

солнечный календарь — в Средней Азии вели исчисление времени года как по солнцу, так и по луне; солнечный календарь делился на двенадцать месяцев (по 29, 30 и 31 дню) и начинался с весеннего равноденствия (21 марта); лунный календарь также насчитывал двенадцать месяцев, но, сообразуясь с фазами луны, месяцá были короче и лунный год был короче солнечного на десять дней, поэтому лунный календарь был переходящий и начало лунного года ежегодно передвигалось на 10 дней вперед, считая по солнечному календарю.

Соми (Мирзо-Азими Бустони) (ум. 1907) — таджикский поэт; будучи чиновником эмирского двора, выступал со смелыми обличениями бухарской знати; автор нескольких исторических работ; умер в опале и нищете.

Сохибов, Шохназар — талантливый и популярный в Таджикистане певец и музыкант, исполнитель и один из лучших знатоков «шаш-макома» (см.); родился в 1903 г. в кишлаке Кумушкент Гиждуванского района Бухарской области; играет на дутаре и тамбуре (см.); в 1941 г. кончил Консерваторию им. Чайковского в Москве; заслуженный деятель искусства Узб. ССР и Тадж. ССР.

стандартный — в оригинале также русское слово «стандартный».

«Старая школа» (Мактаби кухна) — автобиографическая повесть Айни; первое издание — 1935 г.

Субхи — буквально «Утренний» (псевдоним).

Сугд — деревня в бухарском оазисе (между Вобкентом и Гиждуваном); в этом названии сохранилось древнее наименование Согдианы — местности по Зеравшану.

Султонобод — один из каналов в северной части бухарского оазиса.

сунниты — последователи основного, ортодоксального направления в исламе; суннизм сформировался на основе раннего ислама. Сунниты признают первых четырех халифов — Абу-Бекра, Омара, Османа и Алия (в отличие от шиитов, которые из них признают только Алия), а также халифов омейядской (см.) и аббасидской (см. Аббас) династий. В дополнение к священной книге мусульман — Корану — сунниты признают также сунну, т. е. сборник мусульманских преданий, составленный из хадисов (отдельных рассказов). Сунниты считают, что халифы могли избираться общим согласием верующих (это согласие, конечно, было весьма условным), в то время как шииты признают халифами (имамами) только потомков Алия.

сура — глава Корана, состоящая из ряда стихов.

сурнай — духовой деревянный музыкальный инструмент типа гобоя, зурна; сурнайчи — музыкант, играющий на сурнае.

суфа — глинобитное возвышение, площадка; устраивается при доме, в саду, около пруда и т. п., на нее обычно кладут тростниковые циновки, паласы, кошмы, ковры; суфа служит для времяпрепровождения на открытом воздухе, на ней едят, пьют чай, принимают гостей, спят.

суфизм — религиозное учение мистического и пантеистического характера, в IX—XI вв. осуществлявшее известную оппозицию к ортодоксальному исламу, отражая недовольство средних и бедных слоев городского населения; впоследствии суфизм превратился в одну из самых реакционных форм мусульманского сектантства.

Сухраб — один из героев «Шахнаме» (см.), сын Рустама (см.), убитый на поединке с отцом.

Табариён — селение бывш. Шофуркомского тюменя недалеко от селения Махаллаи-Боло (см.).

табиб — лекарь, знахарь; в качестве табибов в Средней Азии часто выступали ишаны и муллы, «лечившие» заговорами, заклинаниями, чтением молитв.

тазкире — антология; антологические сборники являлись основной формой средневековой схоластической науки о литературе; первая антология персоязычных авторов появилась в начале XIII в., вторая — в 1487 г., это антология Давлатшаха (см.); особое развитие получила антологическая литература в XVII—XIX вв.; главный недостаток антологий их некритичность.

«Тазкират-аш-шуаро» — «Антология поэтов», известная также под названием «Тазкираи Давлатшохи», т. е. антология Давлат-шаха; составлена в 1487 г. и посвящена Алишеру Навои (см.); содержит краткие биографии и образцы произведений около 150 поэтов; автор — Давлат-шах Самарканди (ум. 1495).

«Тазкират-ул-Авлиё» — сборник биографий суфийских святых, составленный известным суфийским шейхом и поэтом Фарид-ад-Дином Аттаром (ум. 1230).

тазкире Афзаля («Афзал-ут-Тизкар») — антология, содержащая краткие биографии и образцы произведений 135 таджикских поэтов и ученых второй половины XIX—начала XX в.; составлена в 1904 г. Пирмасти Афзалем (см.).

тазкире Садра Зиё — стихотворная антология таджикских поэтов и ученых второй половины XIX—начала XX в.; составлена в 1910 г., автор — бухарский судья (садр) Зиё, Мухаммад Шариф (см.).

тайёр — подготовленный; так назывались люди, достигшие высшей степени удальства среди гуляк Бухары (см. нимтайёр).

Таких, как мы, тут много отдыхало,
Ушли — в мгновенье ока их не стало. — Эти строки из Бустана Саади послужили, как известно, Пушкину эпиграфом к поэме «Бахчисарайский фонтан», затем

Пушкин снова повторил эти слова в последней песне VIII главы «Евгения Онегина» — «Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал»; эти же строки имеются и в варианте стихотворения «На холмах Грузии»:

Все тихо. На Кавказе идет ночная мгла...
Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет.
Со мной одни воспоминанья.

Этот вариант датируется 1829 г., т. е. временем возвращения Пушкина из Арзрума (см.; Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III, кн. 2, 1949, изд. АН СССР, стр. 722—723).

таксир — арабское слово, означающее «ошибка», «вина», «недостаток»; при обращении к почтенным и знатным людям говорилось или писалось: «Таксирам шавад» — «Да будет моей виной (что я обращаюсь к Вам)»; впоследствии эта формула сократилась до одного слова «таксир» и стала осмысляться как величание лица, к которому обращались, отсюда в просторечии слово «таксир» значит «господин», «сударь».

Тали-Зарангари — селение недалеко от Гиждувана (см.).

тамбур — струнный музыкальный инструмент с длинным грифом.

таноб — мера земли, площади, различная по районам, примерно от одной четверти до половины гектара.

танхо — широко практиковавшаяся в Бухарском ханстве система временного пожалования представителям знати и административным лицам крестьянских хозяйств или земли, обрабатываемой крестьянами; отданный в танхо крестьянин обязан был все подати и налоги, которые он обычно платил государству, отдавать владельцу танхо — танхохуру.

«Тарджиман» («Переводчик») — орган мусульманских буржуазных националистов, издававшийся на наречии крымских татар в Бахчисарае Исмаил-беем Гаспринским с 1883 г.

тарф — пиротехнический глиняный сосуд, наполненный горючей смесью и металлическими опилками; употреблялся на праздниках для устройства фейерверков; сосуд поджигали и бросали в воздух.

тарханная грамота — грамота на освобождение от налогов, сборов (см. тархун).

тархун — лицо, пользующееся льготами от государства в отношении уплаты налогов, сборов и т. п.; в Бухарском ханстве тархунами являлись лица, не имевшие феодальных пожалований, но в то же время освобожденные он налогов (некоторые духовные лица, баи-торговцы и др.).

Тафтазани, Са'даддин (Аллом Тафтазони) (ум. 1381) — видный бухарский богослов и законовед, автор многих сочинений, изучавшихся в бухарских медресе.

тахаллус — литературный псевдоним, как например Саади, Хафиз, Фирдоуси

и т. д.; начиная с XII в. отдельные поэты вводят свой тахаллус в текст стихотворения (обычно в последний или предпоследний бейт), позже это становится правилом.

«Тахзиб» («Тахзиб ул-мантик ва-л-калам») — «Устроение логики и догматики», богословское сочинение Са'даддина Тафтазани (см.), изучалось в бухарских медресе.

«Тахзиб-ус-Сибьён» — «Воспитание юношества», книга для детского чтения, составлена Айни в 1909 г.; первое издание — 1909, Бухара; второе — 1917, Самарканд.

Тахсин, Абдулло-ходжа — бухарский казий, знаток классической поэтики, автор посредственных лирических стихотворений; по свидетельству Айни, знавшего его лично, Тахсин родился в 60-х годах XIX в. и был еще жив в 1925 г. (см.: С. Айни. «Образцы таджикской литературы», стр. 240); более подробных сведений о его жизни и произведениях не сохранилось.

Тахта-Пуль — буквально «Дощатый мост», название моста, ведущего с Регистана в эмирскую цитадель.

Ташкурган — город в северном Афганистане, в XIX в. входил в состав узбекских бекств, временами подчинявшихся Бухаре.

Тезгузар — селение бывш. Шофуркомского тюменя (см. Шофурком), а также канал (Тезгузар — быстротекущий, быстропроходящий; тез гузар! — проходи скорей!).

теньга — бухарская серебряная монета стоимостью в 18—20 копеек, а позднее (с начала XX в.) — в 15 копеек. *(Ред.).*

Термез — один из древнейших городов Средней Азии, расположен на Аму-Дарье при устье Сурхан-Дарьи; в Бухарском ханстве — важный торговый и караванный пункт на пути в Афганистан, ныне центр Сурхан-Дарьинской области Узбекской ССР.

«Тоджикистони Сурх» — «Красный Таджикистан», ежедневная газета на таджикском языке, выходила в Сталинабаде с 1926 г.; с 1 января 1955 г. носит название «Тоджикистони совети» («Советский Таджикистан»).

ток — виноградник.

третий намаз — см. намаз.

туи фотиха — праздник помолвки.

туй — праздник, пиршество; праздник по поводу семейных событий — обрезания сына, свадьбы и др.

туксабо — один из светских чинов в Бухарском ханстве (седьмой в восходящем порядке).

туркестанский генерал-губернатор — высший военно-административный пост в присоединенных к России среднеазиатских владениях, имел резиденцию в Ташкенте; во главе отдельных областей генерал-губернаторства стояли губернаторы, под контролем генерал-губернатора находились также ханства Бухарское и Хивинское; первым генерал-губернатором (с 1867 г.) был

К. П. Кауфман (умер в 1882 г.); в эпоху, к которой относятся воспоминания Айни, туркестанскими генерал-губернаторами были: А. Б. Вревский (1889—1898); С. М. Духовской (1898—1901); Н. А. Иванов (1901—1904).

Турки-Джанди — то же, что и мазар Ходжа-Мухаммади Турки-Джанди.

тутиё — лекарственное средство для глаз в виде мази из окиси цинка.

ты стал лишь «старшим над лисицами» — название селения «Рубахо» значит лисицы, отсюда и эта игра слов «старший над лисицами».

«Тысяча и одна ночь» — знаменитый сборник арабских сказок, литературно сложившийся в IX—X вв. в Багдаде; многие сказки — индийского происхождения, первоначально переведенные на персидский язык, затем на арабский; впоследствии сборник многократно дополнялся и перерабатывался.

тюмень (туман) — административная единица в Бухарском ханстве, более мелкая, чем вилайет (см.), по значению близкая к русскому дореволюционному уезду.

удайчи — лицо из свиты эмира, нечто вроде церемониймейстера, следовавшее вместе с выездом эмира.

удары бубна, зовущего гостей — в Средней Азии при устройстве многолюдных праздников, общественных или семейных, оповещали о начале праздника игрой на больших трубах (карнай) или на бубне (дойра).

у которых на головы были накинуты детские халатики — иногда детский халатик исполнял роль покрывала — в сельских местностях, где не всегда и не все женщины носили паранджу и чашмбанд (см.), или же при отлучке из дома по соседству.

улем (мн. число уламо) — книжник, ученый, богослов; так называлось в целом высшее мусульманское духовенство в Бухаре; улемы получали от эмира одно из установленных духовных почетных званий — урок, садр и судур.

Ура-Тюбе — город, лежащий у северных склонов Туркестанского хребта; до присоединения к России (в 1866 г.) являлся центром полунезависимого владения, служившего объектом раздора между Кокандским и Бухарским ханствами, ныне — районный центр Ленинабадской области Тадж. ССР.

Ургенч — город в Хивинском оазисе, расположенный недалеко от берега Аму-Дарьи; в Хивинском ханстве являлся важнейшим оптовым торговым центром.

ургенчцы — жители или уроженцы города Ургенча (см.).

урду — один из трех наиболее распространенных языков Индии, государственный язык республики Пакистан.

урус — русский.

усто — мастер; слово это часто употребляется перед именем и входит составной частью в имя собственное.

усто-амак — дядя-мастер (обращение).

уфар — танцевальная мелодия, заключающая каждую самостоятельную вокально-музыкальную пьесу в системе «шаш-маком» (см.).

Учучок — урочище на правом берегу Аму-Дарьи, в пустынной местности, на северо-западной окраине бывш. Бухарского ханства.

Файзабад — селение в километре к северо-востоку от Бухары.

Файзулаев, Бобокул — народный певец Таджикистана, родился в 1897 г. в кишлаке Вобкент Гиждуванского района Бухарской области; крупный знаток и исполнитель «шаш-макома».

фарсанг — см. фарсах.

фарсах — мера длины, равная примерно 7—8 км.

Фергана — Ферганская долина, обширная котловина между горами Памиро-Алайской и Тянь-Шанской горных систем; по Ферганской долине проходит Сыр-Дарья в верхнем своем течении; ныне один из богатейших хлопководческих районов Средней Азии.

фетва — юридическое заключение, основанное на шариате и составляющееся муфтиями (см.).

фикх — мусульманское право (основанное на шариате и других установлениях).

Фирдоуси, Абулкасим (934—1020) — великий эпический поэт персов и таджиков, автор «Шахнаме» (см.); Фирдоуси воспевал высокие идеалы человеческой морали — храбрость и преданность долгу, самопожертвование и рыцарскую честь.

фирман — эмирский приказ, письменный указ.

Фир'авн — «фараон»; в мусульманской традиции титул египетских царей воспринят как нарицательное имя легендарного богоотступника и нечестивца, объявившего себя богом.

хадж — паломничество в Мекку, а также в другие места, где находятся мусульманские святыни, с целью поклонения им; хадж у мусульман считается одной из важнейших религиозных обязанностей, поэтому каждый набожный мусульманин стремится совершить его, если позволяют обстоятельства.

Хаджджадж — один из крупных деятелей арабского халифата в конце VII—начале VIII в., наместник Ирака при халифах Абдулмелике и Валиде, отличался жестокостью; при нем Кутейбой (см.) была завоевана значительная часть Средней Азии.

хаджи (ходжи) — мусульманин, совершивший паломничество (см. хадж) в Мекку.

Хаджи-Абдулазиз Самарканди (1852—1936) — выдающийся узбекский и таджикский певец и музыкант, репертуар которого включал более двухсот названий вокальных и инструментальных пьес; крупнейший знаток и исполнитель «шаш-макома» (см.), народный артист Узб. ССР.

хадис — мусульманское предание о поступках, изречениях или суждениях пророка Мухаммеда, засвидетельствованное его сподвижниками и затем передававшееся в устной форме из поколения в поколение; с течением времени, естественно, увеличивалась опасность появления малодостоверных или под-

ложных хадисов, поэтому в III в. хиджры (мусульманской эры) мусульманскими теологами был произведен отбор хадисов и кодификация.

«Хазонаи Омира» — название всеобщей антологии персоязычных поэтов (тазкире), составлена в Индии в 1762—1763 гг. индийским ученым Гулом-Али-хоном Озодом Белграми.

Хайрат (буквально «удивление», псевдоним), Мухаммад Сиддик (1876—1902) — безвременно умерший бухарский поэт, товарищ Айни по обучению в медресе; немногие сохранившиеся стихи Хайрата говорят о его высокой поэтической одаренности.

хайя кум — по-видимому, это сокращение известного арабского выражения «хайиякум уллах» (да приветствует вас Аллах, да продлит Аллах вашу жизнь). *(Ред.).*

хакк дуст! Е ху! Е ман ху! — «О истина — друг! О он! О тот, который он!» — так в своих возгласах дервиши называют бога (Аллаха).

халиф — верховный правитель, глава арабского государства, образовавшегося после Мухаммеда; халиф в то же время являлся и духовным руководителем всех мусульман; государство халифов — арабский халифат — было уничтожено монголами в середине XIII в.

хамал — первый месяц распространенного в Средней Азии солнечного календаря, начинавшийся в день весеннего равноденствия.

хан — см. хон.

ханака (хонако) — молельня, помещение мечети, в более узком смысле — дервишская обитель, странноприимный дом.

Хархур — буквально «поедающий ослов», прозвище.

хатиб — проповедник; духовное лицо, читавшее в мечети по пятницам «хутбу» — особую молитву с прославлением Аллаха, Мухаммеда и его семейства, затем моление за благополучие царствующего мусульманского государя и в заключение наставление этического порядка.

хатти иршод — грамота на право наставничества в суфийских орденах.

Хатырчи — селение на Зеравшане между Кермине (см.) и Катта-Курганом (см.); являлось центром одноименного бухарского бекства.

Хафиз, Мухаммад — великий персидский лирический поэт, родился в 20-х годах XIV в. в Ширазе, умер там же в 1389 г.; одна из основных тем поэзии Хафиза — призыв к борьбе против тирании, мракобесия и ханжества, часто прикрытый лирико-эротическими иносказаниями.

хафт салом — семь «салом», т. е. семь коранических стихов со словом «салом» (привет) писали шафраном на бумаге, затем эту бумагу клали в воду, которую выпивали.

хашар — 1) общественная добровольная помощь односельчанину, соседу при каких-либо работах; такой хашар обычно происходил в течение одного дня, при этом хозяин хашара устраивал работающим угощение; 2) общественные работы по прокладке дорог, рытью каналов и пр.; 3) коллективная работа

крестьян на полях или в усадьбе феодала, богача, административного лица; на такие работы крестьяне сгонялись в принудительном порядке, и работы эти носили характер барщины.

хезареец — представитель народности хезаре (иранской по языку и монгольской по происхождению), проживающей в северном Афганистане.

Хива — город в долине Аму-Дарьи; в прошлом столица Хивинского ханства.

хиджра — начало мусульманской эры (622 г. н. э.), год бегства пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

«Хидоя» (Хидояи шариф — священная Хидоя) — под этим названием был известен знаменитый арабский труд по мусульманскому праву, составленный Али Маргинани, уроженцем Ферганы (ум. 1197); ср. «Мухтасари Викоя».

«Хикмат-ул-Айн» — сочинение Наджмиддина Казвини (псевдоним «Дабиран») (ум. 1276); служило учебником естествознания и метафизики в среднеазиатских медресе. *(Ред.).*

Хилоли, Бадриддин (род. в 70-х годах XV в., ум. 1529) — выдающийся таджикский поэт-гуманист, родом из Астрабада (Иран), автор трех больших поэм и сборника прекрасных лирических стихотворений, многие из которых до настоящего времени исполняются народными певцами Таджикистана; убит в Герате за свои шиитские убеждения по приказу Убайдулло-хона Шейбани.

Хисрав Дехлави (1255—1325) — знаменитый индо-персидский поэт, основоположник «индийского стиля» (см.); автор огромного количества произведений во всех жанрах классической поэзии и прозы, представитель аристократического направления в литературе.

Хишмат, Сиддик-хон (Мир-Сиддик-ходжа) — младший брат последнего бухарского эмира Абдулахада (см.); провел 35 лет в домашнем заключении и в 1920 г. эмигрировал в Афганистан; посредственный поэт, но крупный знаток литературы, автор нескольких неоконченных тазкире, содержащих ценный историко-литературный материал.

ходжа — представитель замкнутой общественной группы, считавшей себя потомками арабов-завоевателей; среди них были и потомки Мухаммеда, т. е. сайиды (см.); ходжи не выдавали замуж своих девушек за лиц, не принадлежавших к ходжам, пользовались известным почетом со стороны населения; слово «ходжа» (разговорное «худжа») употреблялось в смысле «господин», «хозяин».

Ходжа Абдулхолик Гиждуванский (ум. 1179—1180) — один из столпов среднеазиатского дервишизма, родился и скончался в Гиждуване, где его мазар привлекал массы народа. *(Ред.).*

ходжагони хатчаги — ходжи (см. ходжа), имевшие документальную родословную, подтверждавшую их принадлежность к этой группе.

Ходжа-Исмат Бухори (умер во второй четверти XV в.) — выдающийся бухарский поэт придворного круга, одописец и наперсник тимуридского правителя

Султан-Халиля (ум. 1411); в свое время пользовался большой известностью, но впоследствии произведения его были забыты; могила его в Бухаре традиционно почиталась до последнего времени.

ходжи мираконские — один из родов бухарских ходжей.

Ходжа-Ориф (Худжа-Ориф) — селение в бухарском оазисе, являвшееся центром бывш. Шофуркомского тюменя.

Ходжа-Убон (Ходжа-Аубон) — почитавшийся в Бухаре мусульманский святой, от которого ведет свое происхождение многочисленная группа ходжей, живущих в Бухаре (см. мазар Ходжа-Убон).

Ходжа Хомони — канал, проходивший через Гиждуван (см.).

Ходжа-Якшаба — селение вблизи Бухары.

Ходжент — город на левом берегу Сыр-Дарьи на западной окраине Ферганской долины, один из древнейших городов Средней Азии, был присоединен к русским владениям в 1866 г.; Ходжент и его округа славились садоводством и шелководством; ныне — Ленинабад, областной центр Таджикской ССР.

хозяин дома, перелив из чайника чай в пиалу, а из пиалы в чайник, налил снова чай в пиалу и сначала выпил сам — по обычаю, в компании чай пили из одной или двух пиал; наливающий чай (хозяин) сначала переливал чай из чайника в пиалу и обратно несколько раз, чтобы чай лучше заварился, после этого он наливал немного в пиалу и пил сам, а затем уже наливал каждому, придерживаясь порядка в круге.

Холи связано со словом «хол» (родинка), а Джони со словом «джон» (душа) — тут не совсем точная игра слов: холи — пустой, свободный от всего постороннего, а Лутфи, используя созвучие слов «хол» и «холи», придает последнему значение «свободный от здравого смысла»; джони — душевный, а Лутфи сближает это слово со словом джинояткори — «преступное действие», откуда — «вредитель стиха». *(Ред.)*.

Хомид-бек Хомид (Хомид-ходжа) (ум. 1910) — бухарский чиновник, примкнувший к просветительскому движению, автор стихотворения, обличавшего невежество и безнравственность господствующей верхушки.

Хомработ(ак) — остановка, почтовая станция, караульный пост на границе со степью Чули Малик (см.), по дороге из Бухары в Кермине.

хон (хан) — князь, правитель; слово «хон» («хан») иногда являлось приставкой к мужскому имени.

хонадомод — зять при доме (см.).

Хорезм — оазис в Средней Азии, расположенный в низовьях Аму-Дарьи, на древней и современной дельтах реки; ныне в административном отношении принадлежит к Кара-Калпакской АССР, Хорезмской области Узб. ССР и Ташаузской области Туркменской ССР; до революции входил в состав Хивинского ханства, часто враждовавшего с Бухарским.

Хорезмская песчаная пустыня — песчаные безводные пространства, начинающиеся к северо-западу от Бухары сразу же за бухарским оазисом.

хорпули — буквально «деньги за колючку, колючий кустарник»; так назывался сбор с крестьян за пользование пустошами (пастьба скота, сбор хвороста).

Хотам — легендарный богач, богатый, щедрый человек.

«Хошияи Кутби» — комментарий на комментарий к учебнику логики «Шамсия» (см.), составлен Кутбиддином Рази (ум. 1365). *(Ред.)*.

худжа — разговорная форма слова «ходжа» (см.).

хула — сплав металла (бронза).

хут — последний месяц распространенного в Средней Азии солнечного календаря (23 февраля—22 марта).

хутба — см. хатиб.

Хусбудун — селение в окрестностях Бухары по дороге в Гиждуван.

Хусейн — имам, сын Алия (см.), внук пророка Мухаммеда; выступив претендентом на звание халифа против халифской династии омейядов (см.), был убит в битве при Кербеле с войсками халифа Иезида в 680 г. Алий и Хусейн — наиболее почитаемые лица у мусульман-шиитов.

хуфтан — см. намаз (намози хуфтан).

чайрикор — издольщик, арендатор; в бухарском ханстве чайрикоры арендовали землю у крупных землевладельцев или баев; дележ урожая производился в зависимости от того, кому принадлежали семена, рабочий скот и инвентарь; иногда арендатор получал не более одной четверти урожая (отсюда и термин «чайрикор», «чорьяккор» — «работающий из четверти»).

чанг — инструмент типа цимбал, на котором играют двумя палочками.

Чарджуй — старое название Чарджоу — города на левом берегу Аму-Дарьи; лежит на железной дороге Красноводск—Ташкент и Чарджоу—Кунград; до революции крупный транспортный и торговый город, центр одноименного бухарского бекства, ныне — центр Чарджоуской области Туркменской ССР.

чарс — наркотик из индийской конопли (см. банг).

чашмбанд (чачван) — густая сетка из конского волоса или покрывало, которыми женщина закрывала лицо, выходя на улицу в парандже (см.).

Четариг — селение к юго-востоку от Бухары, на границе с Каршинской степью.

четвертый намаз — см. намаз.

четыре халифа (чорьёр) — имеются в виду четыре первых халифа или имама, преемники Мухаммеда: Абу-Бекр, Омар, Осман и Алий. Чорьёр — буквально «четыре друга».

чилав — различные соуса-подливки (мясные, рыбные, овощные), подаваемые к вареному рису.

чилля — буквально «сорокодневье»; период в сорок дней, связанный с определенным сезоном или событием: зимнее сорокодневье — конец декабря и январь, когда, как считают, бывают наиболее сильные холода; летнее сорокодневье — наиболее жаркий период года; сорокодневье после свадьбы,

рождения ребенка или смерти; сорокодневье, в течение которого уединяются для поста и молитв в чилля-хона (см.), или какое-либо заброшенное помещение.

чилля-хона — келья, предназначенная для уединения, молитв и поста, в которой, по обету, проводят сорок суток.

чилчуб — буквально «сорок прутьев», веничек для сбивания халвы.

Чиль-таноб — буквально сорок танобов (см.) — площадь в Ширбадане, где устраивались ежегодные новогодние гулянья.

Чиракчи — селение в бассейне реки Кашка-Дарья, к западу от Шахрисябза (см.); в Бухарском эмирате являлось центром одноименного небольшого бекства; чиракчинец — житель Чиракчи или выходец из него.

Чорбакар — дорога, ведущая из Бухары на северо-запад, через ворота Талипоч.

Чорсу — буквально «четыре стороны», перекресток дорог, улиц; площадь, от которой отходят четыре улицы; в городах — часто центральный городской перекресток, иногда и прилегающий сюда район города.

чорьяк — мера веса, примерно около двух кг.

чтение заупокойной молитвы в вечер понедельника, чтение Корана — полагали, что в воскресенье (а также в четверг) души умерших (арвох) приходили в дом навещать живых родственников и им приятно было слышать, что за них молятся.

чтец Бедиля — произведения Бедиля (см.), весьма распространенные в XVIII—XIX вв. в Средней Азии, настолько трудны, что чтением и толкованием их занимались особые знатоки (бедилхон), обычно искажавшие вольнодумный смысл подлинника.

Чули Малик — степь по пути из Кермине в Бухару; здесь сохранились развалины рабата Малик — почтовой станции с водосборным сооружением.

Шаддод — легендарный царь, приравнивавший себя к богу, в мусульманской традиции — образ нечестивца.

Шайдои — безумно влюбленный, обезумевший от любви (псевдоним).

шайтан — сатана, дьявол.

«Шамсия» — сокращенное название арабского учебника по логике («Аррисалат аш-шамсия фи-л-кава'ид ал-мантикия»), принятого в среднеазиатских медресе; автор — Наджмуддин Казвини («Дабиран»), ум. 1276. *(Ред.)*.

шариат — свод мусульманских религиозных правил, основанных на Коране, предания о поступках и словах Мухаммеда, сборник старых судейских решений.

шариатские тонкости — хитросплетения, основывающиеся на шариате (см.), возможные благодаря тому, что шариат — древний свод правил — уже не соответствовал условиям жизни XIX в.

Шариф-джон-махдум — см. Зиё; вторая книга «Воспоминаний» Айни заканчивается обещанием автора о том, что в третьей книге он даст описание усадьбы Шариф-джон-махдума, в то же время в третьей части описана усадьба Латиф-джон-махдума и затем на протяжении третьей и четвертой

книг упоминается многократно Латиф-джон-махдум и ни разу не встречается имя Шариф-джон-махдума; тем не менее совершенно очевидно, что здесь имеет место недоразумение и имя Шариф-джон-махдум случайно оказалось замененным именем Латиф-джон-махдум; исходя из этого (а также опираясь на указание сына Айни, Камала Айни), переводчик заменил в русском переводе третьей и четвертой части имя Латиф-джон-махдум на Шариф-джон-махдум.

Шарифи Бухорои (ум. 1698) — бухарский богослов и филолог, автор комментария к «Шархи Мулло», т. е. к известному толкованию Джами на классический арабский грамматический трактат «Кофия фи-н-нахв» Ибн ал-Хаджиба (ум. 1248); Шариф также занимался поэзией, сохранилось несколько его любовно-лирических газелей подражательного характера.

Шариф-махдум Му'тасим — второстепенный таджикский поэт 60—70-х годов XIX в. (даты рождения и смерти не известны); первоначальный тахаллус — Ширин, затем — Му'тасим; родился в Бухаре, после окончания учения занимал должность раиса и мухтасиба в различных тюменях Бухарского ханства; автор многочисленных любовно-лирических стихотворений, из которых сохранилась лишь небольшая часть, писал также на арабском и турецком языках; жил в Турции, занимался книжной торговлей.

«Шархи Мулло» — «Толкование муллы», обиходное название комментария, составленого Абдурахманом Джами (ум. 1492) для своего сына на учебник арабской грамматики «Кофия фи-н-нахв» (см.); комментарий служил учебником в среднеазиатских медресе.

Шах-Мурад — бухарский эмир (1785—1800) из династии мангытов, отличался крайним религиозным фанатизмом, жестоко преследуя всех тех, кто вел светский образ жизни; вел кровопролитные войны; при нем был разрушен город Мерв, в котором сидел иранский наместник и на который одновременно имели притязания Хива и Бухара; населявшие Мерв персы-шииты были переселены в Бухару и другие города Бухарского ханства.

«Шахнаме» («Книга царей») — грандиозная эпическая поэма Фирдоуси (см.), содержащая поэтическое изложение мифических и исторических преданий Ирана от сотворения мира до арабского завоевания в начале VII в.

Шахрисябз — город в бассейне Кашка-Дарьи, он же Шаар; один из древнейших городов Средней Азии (древнее название — Кеш), родина Тимура, центр одного из бухарских бекств, до 1870 г. управлявшегося независимыми беками (см. Китаб), ныне — районный центр Сурхан-Дарьинской области Узб. ССР.

Шахруд (Шахр-руд) — большой бухарский канал, проходящий через весь город.

шаш-маком — классическая система таджикских и узбекских народных ладов, построенных на основе вокально-музыкальных произведений; начало сложения «шаш-макома» относится к IX—X вв., полное развитие — к XII—XIII вв.; в системе «шаш-макомов» различают три цикла: бухарский, хо-

резмийский, фергано-ташкентский; бухарский цикл состоит из шести «макомов»: бузрук, рост, наво, дугох, сегох, ирок; все части «макомов» начинаются обязательно в низком регистре, затем мелодия постепенно повышается и достигает «ауджа», представляющего в «макомах» широко развернутое кульминационное построение в высоком регистре; после «ауджа» следует неизменный плавный спуск мелодии в исходный низкий регистр.

шейх — в Бухарском ханстве действительный или мнимый потомок «святого», похороненного на мазаре, или же лицо, взявшее на себя обязанность ухода за мазаром; шейхи жили на доходы с мазаров, получаемые от приношений верующих; иногда шейхами называли также ишанов — руководителей суфийских общин.

шейх-ул-ислам — буквально «глава ислама», в Бухарском ханстве в прежнее время был высшим среди судей и ближайшим сотрудником эмира в делах отправления правосудия; однако в XIX в. обязанности шейх-ул-ислама свелись к ничтожным по своему значению функциям разбирателя жалоб и заявлений, касавшихся насаба, т. е. происхождения от пророка и его первых преемников и сподвижников; при двух последних эмирах это звание было просто почетным и давалось эмирами лицам духовного сословия. *(Ред.)*.

Шейх-ур-Раис — буквально «старец-глава», почетное прозвище Авиценны (см. Абу ибн Сино).

шиизм — распространен главным образом в Иране, где является государственной религией. В Бухаре было довольно много шиитов, преимущественно переселенцев из Мерва (см. Шах-Мурад), называвшихся ирани; они населяли особый квартал. В январе 1910 г. в Бухаре произошла кровавая резня между шиитами и суннитами (см.), составлявшими большинство населения города. Резня была спровоцирована суннитским духовенством, недовольным тем, что эмир возвышал некоторых персов, в частности назначил из их среды кушбеги (см.).

шиитские имамы — сыновья Алия (см.) Хасан и Хусейн, а также потомки Хусейна (см.).

шииты — последователи шиитского учения, одного из крупных подразделений ислама; признавали двенадцать «правоверных» имамов, которые подвергались постоянному гонению со стороны мусульманских халифов, придерживавшихся суннитского учения; двенадцатый шиитский имам — Мухаммед Махди — жил в IX в. и, по преданиям, был взят живым на небо, чтобы явиться впоследствии и восстановить правильное (шиитское) учение.

«Шифо» («Китаб-аш-Шифа») — буквально «Книга исцеления», основное философское сочинение Абу Али ибн Сино (см.), в котором его передовое для своего времени мировоззрение нашло свое наиболее полное отражение; в то же время «Китаб-аш-Шифа» является энциклопедией современных автору естественноисторических и философских знаний.

Ширабад — селение у южных отрогов Гисарского хребта, в 60 км северо-западнее г. Термез, расположено на реке Ширабад; в Бухарском ханстве — центр одноименного бекства, ныне — районный центр Сурхан-Дарьинской области Узб. ССР.

Ширбадан (Ширбудун) — сад и эмирский дворец к юго-востоку от Бухары; весной в этом саду устраивались народные гулянья.

Шохи-Мардон Муртазо Али — буквально «царь мужей, избранник Алий» — эпитет четвертого преемника, зятя и двоюродного брата Мухаммеда — Алия (был халифом с 656 по 661 г. н. э.). *(Ред.)*.

Шохин, Шамсиддин-махдум (1859—1894) — выдающийся таджикский поэт, представитель передового просветительского направления, последователь Ахмада Дониша (см.).

Шофурком — тюмень в Бухарском ханстве, подчинявшийся непосредственно Бухаре; ныне — район Бухарской области; в современной русской литературе — Шафрикан.

Шофуркомский канал — канал, орошающий земли кишлаков Шофуркома (см.).

«Шохнома» — см. «Шахнаме».

Шояхси — ишан, шейх; усердно пропагандировал в 1916 г. газават — «священную войну» — против русских, подстрекал к этому население и уговаривал афганского эмира начать войну «за веру».

Шуркуль — (соленое озеро), селение и озеро на границе Бухарского оазиса к северо-востоку от Гиждувана (см.).

эмир (амир) — арабский термин, дословно означающий «повелитель», «властитель»; титул этот установился за бухарскими владыками лишь с прихода к власти династии мангытов (вторая половина VIII в.), до этого времени, при прежних бухарских властителях, называвшихся ханами, титул «эмир» широко жаловался отдельным феодалам — главам племен и другим влиятельным лицам; с указанного времени его носили исключительно бухарские владыки. *(Ред.)*.

эрсари — одно из крупных племенных подразделений туркмен; основная масса проживает в Афганистане, вдоль советской границы, меньшая часть живет на советской территории по Аму-Дарье, между Термезом и Бурдалыком, а также в районе Чарджоу.

Этот «век», как Даврон, порожденье твое — здесь игра слов: имя Даврон имеет значение «век».

эшик-око-боши — один из светских чинов в Бухарском ханстве (восьмой в восходящем порядке).

«Юсуф и Зулейхо» — название многих средневековых романтических поэм, сюжетом которых является древнее предание о порочной любви Зулейхи к Юсуфу (Иосифу Прекрасному).

Я видел когда-то в другой такой же рукописи слово чаман — «зеленый луг» — подобные описки возможны, поскольку краткие гласные звуки не обозна-

чаются в арабском письме. Сочетание звуков «ч», «м», «н» может быть прочитано и как «чу ман» (тогда оно будет значить «подобно мне»), и как «чаман» («зеленый луг»).

Яккабог — селение в 15 км к югу от Шахрисябза (см.); в Бухарском ханстве центр одноименного бекства; ныне районный центр Сурхан-Дарьинской области Узб. ССР.

яккарез — название классической танцевальной мелодии.

яктак — легкий летний халат без подкладки.

Яланги — селение на половине пути между Бухарой и Вобкентом (см.).

Япалок — селение рядом с Бухарой.

ярлык — указ, жалованная грамота.

ях — лед.

СПИСОК ОСНОВНЫХ (ПРИЖИЗНЕННЫХ) ИЗДАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. АЙНИ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

А. Художественные произведения

1. Ёдгорӣ (Подарок). Сборник стихов. Сталинабад, 1935.
2. Ятим (Сирота). Роман. Сталинабад, 1940.
3. Асарҳои мунтахаб (Избранные произведения). Сталинабад, 1949:
1) Ҷаллодони Бухоро (Бухарские палачи);
2) Аҳмади девбанд (Аҳмад — заклинатель дивов);
3) Мактаби кӯҳна (Старая школа);
4) Марги судхӯр (Смерть ростовщика);
5) Саргузашти як тоҷики камбағал ё ки Одина (История бедняка таджика или Одина).
4. Ҷанги одаму об. Достони Вахш. (Битва человека с водой. Поэма о Вахше). Сталинабад, 1940.
5. Дохунда. Роман. Сталинабад, 1949.
6. Ғуломон (Рабы). Роман. Сталинабад, 1950.
7. Ёддоштҳо (Воспоминания), ч. I, ч. II. Сталинабад, 1949; ч. III. Сталинабад, 1950; ч. IV. Журн. «Шарқи сурх», 1953, №№ 1, 2, 4, 5, 1954, №№ 6, 7, 8, 9.
8. Марги судхӯр (Смерть ростовщика). Повесть. Сталинабад, 1953.

Б. Исторические, историко-литературные и другие произведения

9. Таърихи амирони манғитияи Бухоро (История мангытских эмиров Бухары). Ташкент, 1923.
10. Намунаи адабиёти тоҷик (Образцы таджикской литературы). Центральное издательство народов СССР. Москва, 1926.
11. Тирози ҷаҳон (Украшение мира). Сталинабад, 1939.
12. Ҷашни таърихӣ (Исторический праздник). Сталинабад, 1939.
13. Дар бораи Фирдавсӣ ва Шоҳномаи ӯ (О Фирдоуси и его «Шахнаме»). Сталинабад—Ленинград, 1940.
14. Устод Рудакӣ. Сталинабад, 1940.

15. Як симои номашҳури адабиёти тоҷик (Восифӣ) [Неизвестная фигура таджикской литературы (Васифи)]. Журн. «Бо роҳи Ленинӣ», 1940, № 12, 1941, №№ 1, 3, 4, 5.

16. Шайхурраис Абуали Сино. Сталинабад, 1941.

17. Шайх Муслихиддин Саъдии Шерозӣ. Сталинабад, 1942.

18. Исьёни Муканнаъ. Очерки таърихи — тадқиқӣ (Восстание Муканны. Исторический очерк). Сталинабад, 1944.

19. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. Очерки адаби-таърихӣ (Герой таджикского народа Темурмалик. Историко-литературный очерк). Сталинабад, 1944.

20. Восифӣ ва асари ӯ Бадоеъ-ул-Вақоеъ (Васифи и его произведение «Удивительные события»). Журн. «Шарқи сурх», 1946, № 4—5.

21. Симои фаромӯшнашуданӣ (М. Горький) [Незабываемый образ (М. Горький)]. Журн. «Шарқи сурх», 1946, №№ 4—5.

22. Ду XXX сол (Два тридцатилетия). Журн. «Шарқи сурх», 1947, № 11.

23. Мир-Алишер Навоӣ. Сталинабад, 1948.

24. Мирзо Абдулқодир Бедил. Сталинабад, 1954.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

	Стр.
Садриддин Сайидмурадович Айни	8
Дом в деревне Соктари, где родился С. Айни. Рис. Т. Полетика	19
Автограф первой страницы рукописи «Воспоминаний»	24
Садриддин Айни за работой	192

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От редакции . . . . . .

ВОСПОМИНАНИЯ

Несколько слов вместо предисловия 9

Часть первая. *В деревне*

Вступление 11
Туй 17
После туя 24
Мастерская по изготовлению халвы 30
Передвижение песков 32
Борьба с движущимся песком 38
В Соктари 42
Умный батрак и бай-обманщик 46
Всему свое время 53
«Див» и «дракон» 56
Хайбар 60
Дядя-мастер 64
Толстяк Лутфулло 70
Новое русло Шофуркома 75
В Шофуркомском тюмене после прорытия нового канала 86
Школьные годы 90
После школы 103
Упражнение в письме 109
Пост и нарушение поста 113
Гулянье в Дарвешоболе 117
«Парвардигор-худжа» 133
Отец 137
Мои первые воспоминания о Бухаре и медресе 147
Посещение свадьбы мираконских ходжей 158

Земледелие 160
Смерть отца и матери 162
Уборка урожая и его распределение 175
Глава семьи и её помощник 177
Положение в нашей деревне в те годы 182
Приготовление к поездке в Бухару на учение 185

Часть вторая. *В городе*

Вступление 192
Здания бухарских медресе 193
История превращения келий в бухарских медресе в частное владение . . 194
Поиски келий учащимися бухарских медресе 196
Программа занятий в бухарских медресе и мударрисы 197
Учебный год и порядок занятий в бухарских медресе 200
Итоги девятнадцатилетнего курса обучения 202
Материальные взаимоотношения между учащимися и учителями медресе 206
В медресе Мир-Араб 208
Махдум-Бык и Пирак 217
Необыкновенный богатырь 225
Гулянье в Файзабаде 234
Мулло-Туроб и Мулло-Камар 246
Странный человек 252
Поездка в деревню 266
По дороге в город. Маджид из деревни Кахкашон 284
Второй год в медресе Мир-Араб 289
Прогулка на Регистан. Церемония «открытия дверей». Семьдесят пять палок. Упражнения солдат и бойня людей 294
Скупщик хлопка Хаджи-Зокир-бай и семидесятилетняя старуха 304
Казнь и «любимцы его величества» 311
Плац для упражнений солдат 317
Уродливый человек 325
Сбор «любимцами его величества» милостыни на саван 331
Один несчастный вместо другого 332
Причина казни Мулло-Туроба и Мулло-Бозора 334
Последние дни моей жизни в медресе Мир-Араб 337
Перестановка туфель святым Ходжа-Убоном 340
Несчастная девушка 345
Повесть о горестях и печалях несчастной девушки 357
Трагическая судьба несчастной девушки 371
Женщина, превратившаяся в мужчину 374

Часть третья. *В городе*

Усадьба Шариф-джон-махдума 381
Шариф-джон-махдум и его собеседники 383
Образ жизни Ахмад-махдума 406
«Грязную воду в канаву!» 408
Ежегодные поездки Ахмад-махдума 411
Сатирические стихи Ахмад-махдума 414
Личные качества Шариф-джон-махдума 415
Моя жизнь в доме Шариф-джон-махдума 416
В медресе Олим-джон 421
Индусы-ростовщики 426
Мои занятия науками и литературой в медресе Олим-джон 429
Шариф-махдум Му'тасим и «разбойник» Шукур-бек 437
Брак девятилетней девочки 446
Холера 451
Я заболеваю холерой 454
«Кобыльи махдумы» 456
Страхование баев 459
«Махди конца света» 464
В медресе Бадал-бек 470
Мои научные и литературные занятия в медресе Бадал-бек 475
Бухарские пирушки и их посетители 479
Бухарские гуляки 481
Драка между Махдумом-Мухаммади и Барно-тайёром 484
Шейх-литейщик и его мастерская 494
Пожар 502
Женитьба поэта 506
Кража 516
Поездка за город 519
Аловуддин-Говджигар 524
Подёнщина 537
Сапожная мастерская 543
Старшина цеха сапожников 551
Организация ремесленников в эмирской Бухаре 555
Выбор псевдонима 563
Взятый напрокат осёл и моя болезнь 566
Давильня винограда 573
Мое знакомство с Хайратом 579
Биография Хайрата 588
Литературное наследство Хайрата 592
Человекоподобные микробы 596

Слепой ученый 600
Благородное происхождение с обеих сторон 609
Дружба двух гордецов 615

Часть четвертая. *В городе*

Медресе Хаджи-Зохид 623
Владелец медресе 625
Моя жизнь и занятия в медресе Хаджи-Зохид 632
Приготовление Мирзо-Абдулвохидом мыльной халвы 636
Устройство Мирзо-Абдулвохидом водопровода 639
Как я изготовил насос 644
Кори-Нурулло 647
Чемодан Кори-Нурулло 649
Принц-гадальщик 654
Моя жизнь и занятия науками и литературой в медресе Хаджи-Зохид . . 655
Медресе Ляби-хаузи-Арбоб и его обитатели 662
Моя первая встреча с Хаджи-Абдулазизом Самарканди 668
«Дом сплетен» 677
Подданный России 680
«Воровство» Хаджи-Махдума 687
«Внук Файзи-Авлиё» 696
Ссора мулл с арбакешем 706
В ожидании того как арбакеша побьют камнями 715
Сообщение «Джабраила» по поводу дела арбакеша 723
Приговор «суда» и побивание камнями арбакеша 728
Высказывания Мулло-Амона по поводу побивания камнями арбакеша . . 739
Жизнь Мулло-Амона и его состояние после случая с арбакешем 748
История с людьми, одетыми в черные кошмы, и последствия дела Мулло-Амона 758
Клыкастый Рустам из Гиждувана 767
Известие о смерти Ахмада Дониша 771
Мое первое знакомство с крупнейшим произведением Ахмада Дониша «Редкости событий» 778
Мое переселение в медресе Кукельташ 798
Гиждуванские почтенные старцы 803
Ссора Хаджи-Махдума с бухарским а'ламом 806
Театр Хаджи-Махдума 810
Месяц рамазан в Бухаре и ночной базар 813
Драка при расстилании ковриков в месяц рамазан в Бухаре 818
Праздник Нового года и гулянье в Ширбадане 825
Конец Махдума-Быка 833

Зверское убийство Рустамчи, смерть Махдума-Быка и Пирака 845
Заболевание риштой 855
Каким образом и почему заболевали риштой и какие «меры» против нее предпринимало эмирское правительство 865
Уровень мастерства доктора и лекарей эмирской Бухары и смерть Мулло-Хомида Савти 875
«Жилье внутри рубашки» 883
Как я попал в сети эмира Абдулахада и каким образом скоро из них освободился 893
Получение пособия учениками медресе 908
«Волки-ослы» и «лисы» 914
Прогулка лжемахдумов 921

ПРИЛОЖЕНИЯ

Садриддин Айни и его «Воспоминания». *А. Розенфельд* 939
К прошлому Бухары. *А. Семенов* 980
Комментарии 1016
Список основных (прижизненных) изданий произведений С. Айни на таджикском языке 1080
Список иллюстраций 1082

Садриддин Айни

ВОСПОМИНАНИЯ

Утверждено к печати
Редакционно-издательским советом
Академии наук СССР

Редактор издательства *Б. Д. Летов*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Г. А. Аухимович* и *Е. Я. Лапинь*

Сдано в набор 21/V 1960 г. Подписано к печати 19/VIII 1960 г. РИСО АН СССР № 6—137В. Формат бумаги $70 \times 92^{1}/_{16}$. Бум. л. 34. Печ. л. 68=79.56 усл. печ. л. + 3 вкл. Уч.-изд. л. 59.28 + 3 вкл. (0,15). Изд. № 1022. Тип. зак. № 699. М-34077. Тираж 4000.
Цена 38 руб., с 1 января 1961 г. 3 р. 80 к.

Ленинградское отделение
Издательства Академии наук СССР
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. Издательства Академии наук СССР
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

САДРИДДИН АЙНИ

САДРИДДИН АЙНИ

*

ВОСПОМИНАНИЯ

30 руб.
с 1/I-1964 г. 3 р. 80 к.